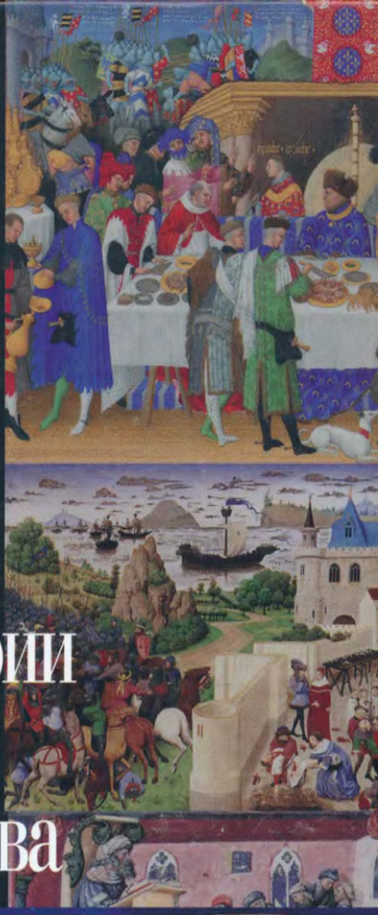
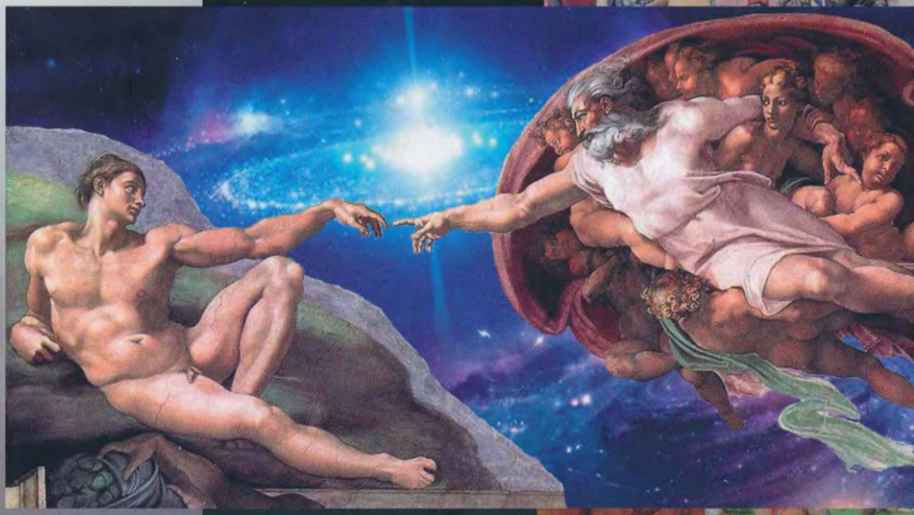
Книга Вести

Иоганн Готфрид Гердер

Идеи к философии истории человечества





Иоганн Готфрид Гердер

Идеи к философии истории человечества

Центр
гуманитарных
инициатив

Москва—Санкт-Петербург
2013

ББК 87
Г37

Главный редактор и автор проекта «Книга света» С. Я. Левит

Редакционная коллегия серии:
Л. В. Скворцов (председатель), А. С. Аксенов, Е. Н. Балашова, В. В. Бычков, П. П. Гайденко, И. Л. Галинская, В. Д. Губин, П. С. Гуревич, А. Л. Доброхотов, Г. И. Зверева, И. А. Осиновская, Ю. С. Пивоваров, Г. С. Померанц, Л. В. Порохницкая, М. М. Скибицкий, А. К. Сорокин, П. В. Соснов

Перевод и примечания А. В. Михайлов
Ответственный редактор А. В. Гулыга
Редактор Б. П. Гинзбург

Гердер И. Г.

Г37 Идеи к философии истории человечества / И. Г. Гердер ; [пер. с нем. А. В. Михайлова]. – 2-е изд., испр. – М.; Спб. : Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 760 с. – (Книга света).

ISBN 978-5-98712-122-1

Гердер (Herder) Иоганн Готфрид (1744–1803) – немецкий философ и теоретик искусства. Творчество и взгляды Гердера представляли собой переходное звено от Просвещения к романтизму. В своем основном труде «Идеи к философии истории человечества» он предпринял попытку осмыслить весь процесс развития человечества и его историю как продолжение истории природы. В его понимании человечество является живым организмом, мировой душой, которая все пышнее расцветает с каждым новым поколением. Вся история – это путь к высшей цели, гуманности. Содержание прогресса, по его убеждению, заключается в зарождении, укреплении и расцвете идеи человечности, или гуманности. Эту идею Гердер считал главной чертой, отличающей мир человека от мира животных. Он стремился единым взором окинуть пройденный человечеством путь и на конкретном материале истории культуры обосновать необходимость и неизбежность определенного характера общественного развития.

ISBN 978-5-98712-122-1

© Левит С. Я., составление серии, 2013
© Михайлова Н. А., правообладатель, перевод, 2013
© Выхрыстюк-Андреева И. С., правообладатель, послесловие, 2013
© Центр гуманитарных инициатив, 2013

Часть первая

– Quem te Deus esse
Juseit et humana qua parte locatus es in re.
Disce –

Pers

Кем быть тебе велено Богом
И занимать средь людей положенье какое.
Это познай.

Персий[1]

Предисловие

Когда десять лет тому назад я опубликовал небольшое сочинение под заглавием «И еще одна философия истории для воспитания человечества»[2], то словами «и еще» я отнюдь не хотел сказать «Anch'io son pittore»[3]. Эти слова, как и подзаголовок – «Новый опыт в дополнение к множеству опытов нашего века» – и помещенный на титульном листе эпиграф[4], должны были, напротив, выразить скромность автора, потому что он был далек от того, чтобы сочинение свое выдавать за полную философию истории нашего рода человеческого, а хотел только указать на пролегающую в стороне от проторенных путей маленькую тропку, о которой забыли, но которая заслуживает того, чтобы идти по ней, развивая свои мысли. Книги, процитированные в разных местах этого сочинения, достаточно показывают, от каких именно проторенных – исхоженных, истоптанных – путей хотел отвлечь людей автор. Итак, новый опыт был задуман просто как сочинение на злобу дня, в дополнение к опытам века; и это намерение ясно обнаруживает вся его форма.

Сочинение мое вскоре было распродано, и многие побуждали меня вторично издать его, но я не решался представить его на суд публики в прежнем виде. Я уже заметил тогда, что некоторые мысли моей маленькой книги перешли в сочинения других авторов[5], ссылались на меня не всегда, а использовали широко, чего я не мог и вообразить прежде. При этом забывали скромные слова «и еще», тогда как мне и в голову не приходило проложить широкую дорогу посредством таких понятий, как «детство», «юность», «возмужалый», «престарелый» возраст человеческого рода, ибо такие понятия применены мной и вообще могут быть применимы лишь к немногим из народов, населяющих Землю, – тем более не было и мысли о том, чтобы твердою мерой измерить всю *историю культуры,* не говоря уж о *философии всей человеческой истории.* Разве есть на свете народ, совершенно лишенный культуры? А какую неудачу потерпело бы Провидение в своих начинаниях, если бы всякий индивид человеческого рода создан был для той культуры, которую *мы* именуем так и которая на самом деле есть скорее изнеженность и бессилие? Нет ничего менее определенного, чем это слово – «культура», и нет ничего более обманчивого, как прилагать его к целым векам и народам. Как

мало культурных людей в культурном народе! И в каких чертах следует усматривать культурность? И способствует ли культура счастью людей? Счастью отдельных людей – вот что хочу я сказать, ибо может ли быть счастливо целое государство, понятие абстрактное, в то время как члены его бедствуют? Это противоречие или, лучше сказать, мнимость, которая незамедлительно разоблачает сама себя.

Итак, нужно было идти на бóльшую глубину, нужно было очертить куда более широкий круг идей, чтобы сочинение хотя бы в малой степени заслуживало своего заглавия. Что такое счастье людей? И есть ли на земле счастье? И, коль скоро все земные существа и, главное, люди так различаются между собой, нельзя ли сказать, что есть счастье повсюду – во всяком климате, во все времена, во все возрасты, при всяком строе и во всяком жизненном укладе, при всех катастрофах и переворотах жизненных судеб? Есть ли общая мера для всех столь различных условий и состояний, и рассчитывало ли Провидение на благополучие творений своих в любых жизненных ситуациях как на последнюю и конечную, главную свою цель? Все эти вопросы надо было исследовать, проследить их и расчислить в неудержимом беге времен, в смене жизненных форм, прежде чем вывести общий, относящийся к человечеству в целом результат. Предстояло перейти широкое поле, глубоко уходить в почву. Читал я, можно сказать, все, написанное на эту тему, и с юношеских лет всякая новая, касавшаяся истории человечества книга, от которой ждал я нового для решения своей грандиозной задачи, была для меня словно неожиданно найденный клад. Меня радовало в последние годы, что философия истории пошла в гору, и всем, что дарил мне Случай, я старался пользоваться.

Если книга, которую автор представляет своим читателям, содержит пусть не им первым изобретенные (много ли изобретешь в наши дни нового, по-настоящему нового!), но по крайней мере им обретенные и усвоенные идеи, с которыми он на протяжении долгих лет сжился словно с неким сокровищем души и сердца, то, будь книга хорошей или дурной, автор в руки читателей отдает частицу своей души. Он не просто открывает, чем занят был дух его в известные периоды времени, при известных жизненных обстоятельствах, что за сомнения обуревали его в жизни и как он их разрешал, что его подавляло и что ободряло, но он рассчитывает также (иначе что за прелесть заделываться в сочинители и неукротимую чернь одаривать заботами своей души?), он рассчитывает на немногих, быть может, даже очень немногих людей, чьи сердца бьются в такт с его сердцем, кому в странствии по лабиринту лет стали дóроги такие же или похожие представления. С ними незримо ведет он беседу, им сообщает свои чувства и переживания, а если собеседники пошли дальше его, то и ждет от них урока, наставления, новых мыслей. Незримое общение умов, сердец – это единственное величайшее благодеяние книгопечатания, изобретения,

которое пишущим нациям принесло много пользы и вреда. И автор представил себе, что он – в кругу тех, для кого писал, что у каждого он выманит сочувственные и куда более совершенные рассуждения. Вот прекрасная награда писательства: благонамеренный человек больше порадуется тому, что пробудил в душе читателей, чем тому, что сказал сам. Кто вспомнит, как кстати бывала ему в жизни та или иная книга, как кстати бывала даже и какая-нибудь отдельная мысль, высказанная в книге, как радовала встреча с живущим далеко, но притом близким по кругу своей деятельности человеком, идущим по тому же следу, по которому идешь и ты сам, или нашедшим еще лучший путь, как нередко даже одна такая встреченная в книге мысль занимает годами ум, развивает и ведет его вперед, – кто вспомнит все это, тот взглянет на писателя не как на поденщика, а как на друга, поверяющего ему всю свою душу, доверительно высказывающего даже и не додуманные до конца мысли, чтобы читатель, куда более опытный, думал вместе с ним, завершая и совершенствуя все несовершенное.

Но если тема такая, как у меня, – история человечества, философия истории, то я полагаю, что самый первый и приятный долг читателя – быть гуманным. Я человек, я писал – ты человек, ты читаешь. Писатель мог заблуждаться и, наверное, заблуждался, но у тебя есть знания, которых нет, которых не могло быть у писателя, – итак, пользуйся тем, что есть у тебя, но снизойди к доброй воле пишущего, не только кори, не только попрекай, но совершенствуй и строй. Писатель своими немощными руками положил несколько камней в основание здания, которое только века возведут, которое только века и могут возвести, – и прекрасно, если камни эти будут покрыты землей и забудутся людьми, как и сам принесший их на это место, и прекрасно, если великолепное здание возвысится над ними или даже будет возведено совсем на другом месте.

Однако я незаметно ушел от того, с чего начал, – я хотел рассказать, как случилось, что я стал разрабатывать свою тему, а впоследствии, погруженный в другие дела и заботы, вновь вернулся к ней. Уже в довольно ранние годы, когда раскинулись предо мною украшенные утренней свежестью нивы науки, от которых полдневное солнце жизни отнимает так много прелестей, уже в те ранние годы не раз приходила мне мысль: *коль скоро обо всем, что есть на свете, трактует особая философия и наука, почему бы и не быть такой философии и такой науке, которые трактовали бы то, что прежде всего нас касается, – историю человечества, всю историю человечества в целом?* О таком предмете все напоминало мне: и метафизика и мораль, и физика и естественная история, а больше всего – религия, Бог, все в природе установивший по мере, весу, числу, Бог, утвердивший сущность вещей, их облик и их связь, определивший им течь и пребывать, – так что от целого мироздания и до мельчайшей пылинки, от силы, удерживающей земли и

солнца в движении их, и до незримой паутинки повсюду царит единая мудрость, благость, держава, – Бог, так чудесно и божественно все промысливший в человеческом теле и в человеческой душе, наделенной своими силами и способностями, – так чудесно, так божественно, что когда рискнем мы хотя бы издали последовать за мыслью единомудрого, так сразу же тонем в бездне мысли, – как, говорил я себе, неужели в предопределении и устройстве рода человеческого в целом Бог вдруг отступился от мудрости своей и доброты и никакого замысла не положил в основу своих установлений?! Или он пожелал скрыть его от нас, тем более что столь многие законы своего вечного плана явил он нам в творениях низших, нас менее касающихся? Что род человеческий в целом – не стадо ли без пастыря? Как говорит скорбящий мудрец: «И оставляешь людей как рыбу в море, как пресмыкающихся, у которых нет властителя?»[6]. Или, быть может, люди не должны знать план? Я могу это понять: ведь ни один не в силах обозреть и малый замысел своей жизни! И все же человек видит все, что до́лжно ему увидеть, и знает довольно, чтоб направлять шаги свои, впрочем, не это ли самое незнание – предлог для извращений и искажений? Многие не видят плана и отрицают, что такой план есть, а некоторые думают о нем с дрожью и робостью, – сомневаясь, веруют и, веруя, сомневаются. Они изо всех сил противятся возможности рассматривать род человеческий не как муравьиную кучу, в которой под стопами сильного – а этот сильный тоже уродливый и несоразмерный муравей – гибнут тысячи, уничтожаются тысячи занятых своими малыми-великими делами существ, пока, наконец, два величайших на земле тирана – время и случай – не ведут всю кучу прочь и не предоставляют опустевшее место, где и следа не сохранилось от прежнего, новому, усердно трудящемуся цеху, который, придет его время, тоже будет уведен прочь и тоже исчезнет без следа...

Человек с его гордостью противится тому, чтобы в племени своем видеть исчадие земли, добычу тления, все разрушающего и все уничтожающего, – но что же, разве история, разве опыт жизни не представляет такую картину глазам человека? Что же на земле доведено до конца? Что на земле – целое? Так разве не упорядочены времена, как упорядочены пространства? А ведь время и пространство – близнецы, и одна у них мать – судьба. Пространства полны мудрости, а времена полны мнимого хаоса, и, однако, человек сотворен, очевидно, чтобы искать порядок, чтобы внести ясность в свой малый промежуток времени, чтобы грядущее строить на прошедшем, – иначе зачем человеку память, зачем воспоминания? Но если времена надстраиваются друг над другом, то разве целое, разве весь человеческий род не превращается в безобразное циклопическое строение, где один сносит то, что сложил другой, где веками стоит то, что не должно было строиться вовсе, и где все воздвигнутое спустя всего несколько веков ломается и обращается в

груду мусора и щебня и под этой грудой тем покойнее, чем неустойчивей она, живет робкое племя людей?

Не буду продолжать далее и прерву этот ряд сомнений, не стану исчислять противоречия, в которых запутывается человек, в которых запутываются люди и в которых оказываются люди и весь остальной сотворенный мир. Довольно, – где только мог, я отыскивал *философию истории человечества*.

Обрел ли я эту философию? Книга моя скажет о том, но только не ее первая часть. Первая часть содержит лишь основы. Мы осматриваемся на Земле, предназначенной служить нашим местожительством, и перебираем органические существа, которые вместе с нами, поставленные ниже нас, наслаждаются светом Солнца. Я надеюсь, что такой ход изложения никому не покажется чрезмерно длинным и отдаленным от существа дела. Нет иного способа прочесть судьбу человечества по книге творения, а потому нужно идти своим путем осмотрительно, с расстановкой, не спеша. Путь метафизических рассуждений короче, но если они отвлечены от опыта, от аналогии[7] в природе, то это – плавание по воздуху, без опоры, и оно редко приводит к цели. Путь Бога в природе, мысль вечного, реально воплощенная им в цепочке его творений, – вот священная книга, и хоть я хуже ученика и подмастерья, я разбирал ее буквы, я читал ее по слогам, читал усердно и доверчиво и никогда не перестану читать ее. О, если бы я был столь счастлив, чтобы хотя бы одному своему читателю передать тот сладостный восторг, который чувствовал я, наблюдая в творениях Бога вечную мудрость и благость непостижимого творца и ощущая в душе своей некое невыразимое доверие, какое не передать словами, – тогда этот проникнутый глубокой верой и надеждой восторг повел бы нас в лабиринт человеческой истории и мы смело последовали бы за ним. Великая аналогия природы повсюду подводила меня к истинам религии, и мне приходилось делать над собой усилие, чтобы не повторять их, чтобы, предвосхищая их, не забегать вперед и не отнимать их у самого себя, чтобы делать шаг за шагом и всегда быть верным лишь тому свету, что ярко сияет во всех творениях Бога, излучаемый сокровенным присутствием творца. И для читателей, и для меня самого тем большим удовольствием будет, если, идя своим путем и ни на шаг не отступая в сторону, мы увидим наконец, что этот неясный свет, мерцающий впереди, восходит над горизонтом ярким пламенем и Солнцем.

Пусть не смущает никого и то, что иногда я олицетворяю природу. Природа – не самодеятельное существо: *Бог – все в своих творениях*[8]; но я не хотел без нужды, всуе повторять священное имя, которое ни одно признательное существо не называет без глубочайшего чувства почтения, тогда как при чрезмерно частом упоминании я не мог бы называть его с подобающей святостью. Если для читателя слово «природа» по

вине некоторых написанных в наш век сочинений утратило смысл и стало словом низким, то пусть читатель вместо «природы» представляет себе «всемогущество, благость и мудрость», пусть в душе своей произносит имя незримого существа, которого не умеет наименовать ни один земной язык.

То же, когда я говорю об *органических силах* творения, – не думаю, чтобы кто-либо увидел в них qualitates occultas*, – ведь мы видим явные их действия, но я не знаю, какое дать им иное, более определенное, более чистое наименование. Однако я оставляю за собой право более подробно обсудить в дальнейшем и этот вопрос, и другие темы, которые я пока мог только назвать.

Радует меня, напротив того, что ученическая моя работа появляется в такие времена, когда руки мастеров работают в разных областях знания, собирая материал для наук; плодами их трудов мог воспользоваться и я. Я убежден, что мастера своего искусства не отнесутся с презрением к экзотерическому сочинению человека, постороннего их науке, – они опыт его усовершенствуют; я не раз замечал, что чем реальнее и основательнее дисциплина, тем меньше пустого спора среди строящих и любящих ее. Словесную перебранку предоставляют начетчикам. Многие разделы моей книги показывают, что пока еще рано писать философию истории человеческого рода, но что такую философию, наверное, напишут в конце нашего столетия или в конце нашего тысячелетия.

И вот, о великое существо, о незримый возвышенный гений рода человеческого, к твоим стопам кладу несовершенный труд, написанный смертным, – в нем он осмелился мыслью и чувством следовать за тобою. Страницы книги развеет ветер и распадутся буквы; распадутся и формы и формулы, в которых увидел я след твой, попытавшись выразить его для своих собратьев, но мысли твои останутся, и ты ступень за ступенью раскроешь их перед сотворенным тобою родом во все более великолепных образах и созданиях. И прекрасно, что страницы эти уже потонут в реке забвения, но яснейшие мысли засветятся в душах людских.

Гердер.

Веймар, 23 апреля 1784 года.

---

* Тайные силы, сокровенные свойства (*лат.*).

Книга первая

Quid non miraculo est, cum primum in notitiam venit? Quam multa fieri non posse, priusquam sint facta, judicantur? Naturae vero rerum vis atque majestas in omnibus momentis fide caret, si quis modo paries ejus ac non totam complectatur animo.

Plin

Что только не считают чудом из того, с чем сталкиваются впервые? Сколько всего почитают за невозможное, пока оно не совершено? Никогда не постигнуть силы и величия природы, если дух будет схватывать только ее части, а не целое.

Плиний

I. Наша Земля – одна из звезд

Философия истории человеческого рода должна начать с небес, чтобы быть достойной своего имени. Поскольку дом наш – Земля – не сама по себе наделена способностью создавать и сохранять органические существа, не сама собою устроилась и обрела свою форму, а все это – форму, устройство, способность рождать существа – получает от сил, пронизывающих целую нашу вселенную, то и Землю нужно прежде всего рассмотреть не отдельно, а в хоре миров, куда она помещена. Незримые, вечные узы привязывают ее к центру – к Солнцу, от которого на Земле – свет, тепло, жизнь и цветение. Не будь Солнца, и мы не могли бы помыслить нашу планетную систему: круг не существует без центра; явилось Солнце, явились благотворные силы притяжения, которыми наделило вечное существо и Солнце, и всю материю, – и вот мы видим, как вкруг Солнца начинают складываться планеты, как по простым – по прекрасным и величественным – законам начинают вращаться они вокруг своей оси и вокруг общего для них центра в пространствах, пропорциональных величине и плотности каждой из них, как вращаются они бодро и неустанно, как по тем же самым законам вокруг некоторых из них складываются луны, удерживаемые силами притяжения планет. Нет ничего более возвышенного, чем образ величественного мироздания, и никогда не пускался человеческий рассудок в полет более дерзкий и дальний, отчасти и счастливо завершенный, чем когда открыл он простые, вечные и совершенные законы образования

и движения планет; законы эти установлены Коперником, Кеплером, Ньютоном, Гюйгенсом, Кантом*.

Если не ошибаюсь, Гемстергейс[3] сожалел, что эта величественная, разработанная наукой система не производит на весь круг наших представлений того воздействия, которое, несомненно, оказала бы она на весь человеческий рассудок, если бы установлена была, притом со всей математической точностью, во времена греков. Мы обычно довольствуемся представлением о том, что Земля – это песчинка, что она плавает в огромной бездне, что все земли вращаются по своим орбитам вокруг Солнца, что Солнце и тысячи подобных ему солнц, а может быть, и множество таких солнечных систем вращаются по своим орбитам вокруг своего центра в рассеянных небесных пространствах, – наконец наше воображение, да и наш рассудок теряются в этом океане безмерности и вечного величия и не знают уже, где начало, где конец. Простое удивление нас ничтожит, но это не самое благородное и весьма скоро проходящее действие. Природа повсюду довольствуется существующим, и песчинка так же дорога ей, как и безмерное целое. Природа определила точки пространства и существования, в которых должно было складываться мирам, и в каждой из таких точек Природа присутствует целиком и полностью, со всем своим могуществом, мудростью и благостью, как будто никаких других точек, где складывались бы миры, как будто никаких других атомов и нет вовсе. Итак, когда я открываю великую книгу небес и вижу пред собой этот неизмеримый дворец, который только и способно заполнить одно Божество, я заключаю от целого к отдельному и от отдельного к целому, и целое тут неделимо. Одна и та же сила создала ярко сияющее Солнце и сохраняет пылинку, питая ее светом Солнца; одна и та же сила вращает Млечный путь солнц, предположительно вокруг Сириуса, и действует на мое тело согласно законам тяжести. Теперь я вижу: пространство, занимаемое Землею в храме Солнца, путь, который проходит она, вращаясь вокруг Солнца, масса Земли и все, что зависит от нее, – все это определено законами, действующими во всей безмерности вселенной, а потому я и не буду бессмысленно яриться против бесконечности, но удовольствуюсь своим местом и буду радоваться, что вступил в такой гармоничный хор бессчетных существ, и более того, стану разузнавать, чем надлежит мне быть на этом месте, – вот в чем будет заключаться самое возвышенное мое занятие; но чем надлежит мне быть, тем я, по всей вероятности, и могу быть только на этом своем месте. Итак, даже если во всем самом ограниченном, во всем, что кажется самым безобразным и противным, находятся не только следы великой творческой, пластической силы, но и обнаруживается очевидная связь всего самого малого с простирающимся в безмерность замыслом творца, то самое

* «Всеобщая естественная история и теория неба» Канта, Кенигсберг и Лейпциг, 1755. Это сочинение заслуживает большей известности. Ламберт[1] в своих «Космологических письмах» высказывает сходные идеи, хотя и не читал Канта, а Боде[2] в своей «Астрономии» воспользовался некоторыми гипотезами, похвально отозвавшись об авторе.

лучшее для моего разума, подражающего Божеству, будет следовать его замыслу и подчиниться божественному рассуждению. Вот почему я не буду искать на Земле ангелов небесных, которых не видел взор мой, но обитателей Земли, людей, мне захочется найти на Земле, и я удовлетворюсь всем, что производит, питает, терпит и с любовью принимает в лоно свое великая матерь. Сестры Земли, другие земли, быть может, и гордятся иными, куда более великолепными существами, – но на Земле живут те, кто может жить на ней, и этого довольно. Глаз мой создан для того, чтобы луч Солнца воспринимать на таком, а не ином расстоянии от Солнца, ухо мое создано для этого воздуха, тело – для этих размеров Земли, и все мои чувства созданы этим строением Земли и созданы для такого, а не иного строения Земли; соответственно и действуют все мои душевные силы; пространство, на котором живет род человеческий, весь круг деятельности людей столь же твердо определен и четко очерчен, как и размеры и орбита Земли, на которой проживу я весь свой век, – вот почему во многих языках имя человеку дано по матери его Земле. Но чем обширнее хор гармонии, благости и мудрости, в котором кружится мать наша Земля, чем непреложнее, чем величественнее законы, на которых зиждется существование Земли и всех миров, чем более все вытекает из одного и одно служит всему, тем более чувствую я, что и моя судьба связана не с прахом земным, но с незримыми законами, которые управляют прахом земным. Мыслящая и творящая во мне сила по природе своей столь же вечна, как сила, утверждающая порядок Солнца и звезд, – орудие, которым пользуется сила, может износиться, сфера деятельности ее – измениться, – так старятся земли и меняют места свои звезды, – но законы, согласно которым сила эта есть здесь, во мне, и точно так же обретается и в иных явлениях, эти законы вечны и неизменны. И природа этой силы вечна, как рассуждение Божества, и опоры моего существования (не моего физического явления) столь же прочны, как и столпы, поддерживающие мироздание. Ибо всякое существование равно себе, понятие неделимое, – в самом великом и в самом малом оно основано на одинаковых законах. Мироздание строем своим во веки веков бережет внутреннее мое существо, внутреннюю жизнь. Где бы, кем бы я ни был, я буду то, что я есмь теперь, – сила в системе сил, одно из живых существ в бескрайней гармонии единого *мира божия*.

II. Земля наша – одна из срединных планет

Перед Землею – две планеты, Меркурий и Венера, а позади Земли – Марс, затем та планета, которая, возможно, скрывается еще за ним, и потом Юпитер, Сатурн, Уран и другие вероятные планеты, расположенные в пространствах, где постепенно теряется правильный круг действия Солнца и эксцентрическая орбита последней планеты переходит в неукротимый эллипс кометы. Итак, Земля – тело срединное и по положению в солнечной системе, и по величине, и по времени и пропорции вращения ее вокруг оси и обращения вокруг Солнца, и далеки от нее обе крайности: и слишком большое и слишком малое, и слишком быстрое и слишком медленное. Но коль скоро наша Земля весьма удобно расположена для целей астрономического обзора всей системы*, то очень кстати будет поближе познакомиться с некоторыми членами этой возвышенной звездной пропорции. Путешествие на Юпитер, Венеру или даже на Луну столь много нового открыло бы перед нами в строении нашей Земли, возникшей по тем же законам, что и все перечисленные планеты, так много сказало бы нам об отношении населяющих Землю органических существ к органическим существам на других планетах, к существам высшего или низшего порядка, а может быть, и позволило бы нам судить о грядущем предназначении рода человеческого, так что по особенностям двух или трех членов пропорции мы смелее могли бы судить о закономерности всей прогрессии. Но природа всему кладет твердые пределы, все ограничивает, а потому она закрыла перед нами подобную перспективу. Мы смотрим на Луну, видим на ней чудовищные пропасти и горы, мы смотрим на Юпитер и видим на нем полосы, и видим его неукротимый бег, мы видим кольцо Сатурна, красноватый свет Марса, кроткий свет Венеры и гадаем, что же счастливое или несчастливое может проистекать отсюда для нас. Пропорция определяет расстояния между планетами; о плотности их вещества тоже делались определенные вероятные выводы, и с плотностью была поставлена в связь скорость их вращения вокруг оси и обращения вокруг Солнца, но все это математика, а не физика, потому что мы знаем только Землю, а второго члена для сравнения у нас нет. Еще не выведена общая формула отношения между размерами Земли, скоростью ее вращения вокруг оси и обращения вокруг Солнца и углом ее наклона к плоскости эклиптики, – формула эта и здесь все объяснила бы через один закон космогонии. Еще менее знаем мы о том, насколько продвинулось развитие каждой из планет, а всего меньше известно нам об органическом строении и судьбе их обитателей. Сны и мечтания Кирхера и Сведенборга, шутки Фонтенеля, самые разные предположения Гюйгенса, Ламберта[5] – все это доказательства того, что

* См. «Похвалу астрономии» Кёстнера в «Гамбургском журнале». Ч. 1. С. 206 сл.

мы ничего не можем и не должны знать об этом. Мы можем быть более или менее умеренными в своих оценках и гипотезах, мы можем селить ближе к Солнцу или дальше от Солнца более совершенные существа – все это мечты, мечты, на каждом шагу разрушаемые отсутствием прогрессии, при полном различии планет, так что в конце концов нам остается один вывод: повсюду, как и на Земле, царит единство и многообразие, но для того чтобы судить о прогрессе или регрессе, у нас нет меры, потому что ее не дает нам ни рассудок, ни угол, под которым видим мы всю систему. Мы не в центре – мы в сутолоке: как и другие земли, мы плаваем в потоке и лишены меры для сравнений.

Но если мы вправе делать выводы о других планетах на основании положения Земли относительно Солнца, то нашей Земле, очевидно, выпал двусмысленный золотой жребий посредственности; в утешение мы можем думать, что это – золотая середина. Меркурий обращается вокруг оси примерно за шесть часов, и за этот период на нем сменяется день и ночь, год на Меркурии равен 88 суткам, и освещен он Солнцем в шесть раз сильнее, чем Земля; напротив, Юпитер со своей широкой орбитой обращается вокруг Солнца лишь за 11 лет и 313 дней, тогда как вокруг своей оси он успевает обернуться всего за десять часов; древний Сатурн, где свет Солнца в сто раз слабее, чем на Земле, за тридцать лет едва успевает облететь Солнце, тогда как вокруг оси он обращается часов за семь; так получается, что средние планеты – Земля, Венера, Марс – отличаются и средней природой. Дни на этих планетах мало разнятся между собою, а от дней на других планетах отличаются так же сильно, как и годы. На Венере день тоже примерно равен 24 часам, на Марсе он длится почти 25 часов. Год Венеры составляют 224 дня, Марса – один год и 322 дня, хотя он в три с половиной раза меньше Земли, а от Солнца почти в полтора раза удаленнее. Если идти дальше, то пропорции величины, обращения вокруг оси и вращения вокруг Солнца резко расходятся. Итак, природа поселила нас на одной из срединных планет, где, как видно, царят средние пропорции, более размеренные отношения времен и величин, – так, возможно, и в строении живых существ. Вероятно, отношение материи и духа в нас столь же уравновешено, как и время дня и ночи. Вероятно, скорость нашей мысли соразмерена с отношением скорости вращения нашей планеты вокруг своей оси и вокруг Солнца к скорости (или медлительности) других планет, а наши органы чувств пропорциональны сложности органического строения, какая могла и должна была быть достигнута на нашей Земле. Если же двигаться в обе стороны от срединных планет, то вновь будут, верно, замечены величайшие расхождения. Итак, пока мы тут живем, давайте рассчитывать на среднее человеческое разумение и еще более двусмысленную человеческую добродетель. Другое дело, если мы могли бы глядеть на Солнце глазами Меркурия, на крыльях его облетать Солнце, если бы вместе с поспешностью Сатурна и Юпитера

(во вращении вокруг своей оси) нам дана была и их медлительность, их огромный объем, если бы мы на хвосте кометы облетали широчайшие просторы небес, из страшной жары бросаясь в леденящий холод, – тогда мы могли бы, конечно, говорить об иных пропорциях, а не о размеренном среднем пути человеческих мыслей и способностей. А пока мы на Земле, останемся верны среднему пути с его сглаженными пропорциями: он, наверное, как раз соответствует длительности нашей жизни.

Если мы вообразим себе, что однажды, когда познаем мы все строение нашей планеты, нам позволено будет путешествовать не по одной звезде и что в этом будет состоять жребий и изменение к лучшему нашей судьбы, что некогда нам, быть может, будет определено общаться со всеми достигшими своей зрелости живыми творениями многочисленных, самых различных миров, наших братских миров, – какие перспективы! – они пробудят душу самого ленивого человека, стоит только представить себе, что пользуемся мы всеми богатствами созидательной природы, в которых пока отказано нам. Наши мысли, наши силы и способности, очевидно, коренятся в строении нашей Земли и не перестают изменяться и преобразовываться до тех пор, пока не достигают возможной для нашего земного мира чистоты и тонкости, – и на других планетах все будет точно так же, если только можно нам взять аналогию в руководительницы свои, – но какая же необъятная гармония представится нам, когда живые творения каждой из планет, достигшие своего полного и каждый раз столь различного развития, вместе пойдут вперед к одной цели, сообщая друг другу свои чувства и жизненный опыт!* Наш рассудок – это рассудок земной, и он постепенно сложился на основе чувственных впечатлений от нашего земного окружения; то же можно сказать о склонностях и влечениях нашего сердца, – но другой мир, вероятно, не знает ни земных средств развития, ни земных препятствий к развитию. Но неужели же неведомы ему и сами конечные результаты развития? Нет, конечно же, известны! Потому что все радиусы стремятся к центру. Чистый рассудок всегда будет рассудком, от каких бы чувственных впечатлений ни был он отвлечен, и энергия сердца всегда будет той же доблестью, той же добродетелью, на каких бы предметах она ни упражнялась. Итак, может быть, и здесь величайшее многообразие стремится к единству, и всеобъемлющей природе известна такая точка, в которой объединятся все самые благородные порывы многоразличных существ и цветы вселенной соберутся в один сад. Что физически находится в единстве, почему не должно прийти к единству и духовному, и моральному, – ведь и дух, и мораль тоже относятся к физическому миру и подчиняются все тем же законам, зависящим в конечном счете от солнечной системы. Итак, если допустимо сравнить общие свойства каждой из планет, проявляющиеся и в органическом

* О Солнце как населенном небесном теле см. «Мысли о природе Солнца» И.Э.Боде в «Занятиях Берлинского общества естествоиспытателей». Т. II. С. 225.

строении, и в жизни их обитателей, с цветами радуги или со звуками звукоряда, то я бы сказал, что, по всей вероятности, свет единого солнца добра и истины по-своему преломляется на каждой из планет, так что ни одна не может гордиться тем, что пользуется всем Солнцем. И только потому, что всех их освещает одно Солнце и все они движутся в одной плоскости образования и воспитания, можно надеяться, что все они, каждая своим путем, приблизятся к совершенству и в далеком будущем, после всех странствий и перемен, соединятся в одну школу добра и красоты. Пока же будем людьми – только людьми, то есть только одним цветом, только одним звуком в гармонии звезд. Если свет Солнца, какой доходит до Земли, можно сравнить с мягким зеленым цветом, то не будем считать его чистым солнечным светом, а рассудок и волю человека не будем принимать за рычаги целой вселенной, – явно, что мы и вся наша Земля – незначительная дробная частица целого.

III. Наша Земля претерпела множество катастроф, пока не приняла свой теперешний облик

Доказательство теоремы дает сама Земля, показывая, что́ находится на ее поверхности и под самой поверхностью (глубже люди не проникли). Вода заливала землю, и образовались слои почвы, образовались горы, долины; огонь бушевал, разрушал земную кору, дыбил горы, разливал кругом расплавленные недра Земли; заключенный внутри земли воздух поднял своды пещер и облегчил извержение могучих стихий; ветры бушевали на поверхности Земли, а другая причина, еще более мощная, переменила даже все климатические зоны Земли. Многое из сказанного совершалось уже тогда, когда существовали на Земле органические, живые создания; в одних местах такие события происходили быстрее, в других – медленнее, как показывают окаменелости – животные и растения, которых находят почти повсеместно – и на огромной высоте, и в глубинах земли. Многие из подобных переворотов постигли уже сложившуюся в своем строении Землю и были, наверное, случайными, но другие, как кажется, были существенны для ее истории и придали Земле ее первоначальный облик. У нас нет полной теории случайных и закономерных переворотов (различить их трудно), а теория случайных переворотов и вообще едва ли возможна сама по себе, потому что такие перевороты – по своей природе как бы исторические события, а зависят они от множества частных причин. Но мне бы очень хотелось дожить до создания теории закономерных переворотов. Я очень на это надеюсь: ведь хотя фактические сведения, собранные в разных частях света, еще и весьма неполны и неточны, но принципы и наблюдения общей физики и опыты химии и горного дела приближаются к той точке, где всех их, быть может, приведет в единство счастливый взгляд на целое, тогда

одни факты объяснят другие. Конечно, Бюффон со своими дерзкими гипотезами[6] – это Декарт такой науки, и нужно желать только, чтобы поскорее выступили новый Кеплер и Ньютон, которые превзойдут и опровергнут его, согласовав все фактические данные. Новые открытия в области тепла, воздуха, огня, их различных воздействий на составные части земных веществ, на их связь и разложение, кроме того, простые принципы, к которым повели исследования электрической, а также и магнетической материи, – все это если и не совсем приблизило нас, то, во всяком случае, начинает приближать к такому этапу, когда удачливый ум с помощью одного среднего термина сумеет дать простое объяснение всей геогонии подобно тому, как Кеплер и Ньютон просто объяснили строение солнечной системы. И было бы превосходно, если бы в общем итоге разнообразные природные силы, до сих пор гипотетически принимаемые в качестве qualitates occultae*, были бы сведены к известным физическим элементам.

Но как бы то ни было, нет сомнения в том, что и здесь природа шла своим привычным величественным шагом и составила величайшее многообразие из неразложимой далее простоты, продолжающейся в бесконечность. Прежде чем были образованы воздух, вода, земля, требовались разные stamina**, растворяющие и осаждающие друг друга; а сколько разложений, сколько переворотов потребовалось, чтобы возникли разнообразные почвы, горные породы, кристаллические образования и тем более органические строения – ракушки, растения, животные и наконец человек! Поскольку природа и теперь еще все производит, пользуясь материей тончайшей и мельчайшей, и, не считаясь с нашей мерой времени, преизобильные богатства сообщает со скупостью и бережливостью, то, как видно (даже если судить по иудейской традиции), тем же путем она шла и тогда, когда закладывала первые основания для будущего создания или, вернее, развития и воспитания живых существ. Земля возникла из смеси деятельных сил и элементов, а смесь эта, по-видимому, содержала в себе все, что могло, что должно было сложиться на Земле. Из духовных и телесных stamina, из этой ткацкой основы творения развились в периодических промежутках времени воздух, огонь, вода, земля. Разнообразные соединения воды, воздуха, света предшествовали появлению семени первого растительного образования, то есть, вероятно, мха. Множество растений произведено было на свет и погибло, прежде чем создалось первое животное образование; и здесь насекомые, птицы, водяные и ночные животные предшествовали более развитым созданиям дня и земли, и только затем выступил на Земле венец органического строения – человек, *микрокосм*. Он был сыном всех стихий и веществ, избраннейшей их квинтэссенцией, и он

---

* Тайных сил (*лат.*).

** Букв, «ткацкие основы» (*лат.*).

мог быть лишь последнее любимое дитя, рожденное в лоне природы, и чтобы зачат и воспринят он был, потребовалось множество процессов и переворотов, совершившихся на Земле.

Но естественно, что и человеку пришлось пережить немало таких переворотов, и поскольку природа никогда не отступается от своего творения и тем более не склонна пренебрегать им и запаздывать из-за изнеженного своего питомца, то спустя долгое время после того, как появился уже на Земле человек, все еще продолжались и процесс складывания и высыхания земли, и внутреннее ее горение, и наводнения еще нередко происходили на земле. Даже древнейшая письменная традиция сохранила воспоминания о таких потрясениях, и позднее мы увидим, какое влияние почти на весь род человеческий оказали страшные бедствия первых времен. Теперь такие чудовищные перевороты в истории Земли случаются реже, потому что Земля совсем уже сложилась или, вернее сказать, состарилась, но так, чтобы наш род и наш дом совершенно позабыли о них, быть не может. Совсем нефилософского свойства шум поднял Вольтер, когда разрушен был Лиссабон[7], и он, можно сказать, богохульствовал, во всех бедах виня Божество. Разве не всем обязаны мы стихиям: и своим собственным существованием, и всем, чем мы владеем, и нашим домом – Землей? И если законы природы не перестали действовать, если стихии периодически пробуждаются и громко требуют назад свое, что принадлежит им, если огонь и вода, если воздух и ветер, населившие нашу Землю, доставившие ей плодородие, не останавливаются в своем беге и разрушают землю, если Солнце, всю жизнь согревавшее нас, словно родная мать, воспитывавшее все живое и, золотыми цепями удерживая существа, направлявшее их путь вокруг своего живительного лика, если теперь Солнце, видя, что Земля, силы которой обветшали, не способна уже нестись по своей старой орбите, возьмет да и вовлечет ее в свое пылающее лоно, – разве совершится нечто такое, чего не должно быть согласно вечным законам мудрости и порядка? Если природа полна вещей изменчивых и переменчивых, если должны они нáходиться в постоянном движении, то где ход, там и заход, то есть мнимый заход и закат, перемена обликов и форм. Но никогда не затрагивает такой переворот внутренней сущности природы; возвышенная над любыми развалинами, она, словно Феникс, восстает из пепла и цветет, юная и могучая. Уже дом наш на Земле, его строительство, все вещества, какие могла доставить природа, – все это должно было подготовить нас к мысли о бренности и непостоянстве человеческой истории, и эти бренность и непостоянство все яснее выступают перед нами всякий раз, когда мы всматриваемся в историю.

IV. Земля – шар, вращающийся вокруг своей оси и вокруг Солнца в наклонном положении

Круг – самая совершенная фигура; своими самыми легкими очертаниями он из всех фигур замыкает наибольшую поверхность и в прекрасной простоте заключает величайшее многообразие; так и наша Земля и все планеты и солнца вышли из рук природы шарами, предначертаньями простейшей полноты, скромнейшего богатства. Поразительно многообразно все то разное, что действительно существует на Земле, но еще более поразительно единство, которому подчинена вся эта непостижимая многогранность. Мы детей своих воспитываем под знаком глубоко укоренившегося северного варварства, потому что с ранних лет не внушаем им глубокого впечатления красоты, единства и многообразия, царящих на нашей Земле. Мне хочется, чтобы удались мне хотя бы некоторые штрихи в изображении этой величественной перспективы, захватившей меня с ранних лет самообразования, – она, перспектива эта, впервые вывела меня на бескрайние просторы вольных понятий и представлений. Вид природы священен для меня, пока вижу я всеобъемлющий свод небесный над своею головой и под ногами моими эту всеохватывающую, кружащуюся вокруг себя самой Землю.

Непостижимо, что люди так долго наблюдали тень Земли на поверхности Луны и не чувствовали в глубине души своей: все, решительно все на Земле – окружность, колесо, изменение. Кто принял близко к сердцу фигуру круга, неужели отправился бы тот обращать весь мир в чисто словесную философскую и религиозную веру или же стал с тупым и фанатичным усердием убивать людей за их верования? Все на нашей Земле есть изменчивость шара: ни одна точка не равна другой, ни одно полушарие не равно другому, восток и запад противоположны, и противоположны север и юг. Рассчитывать изменения только по широте – это узость, – долгота будто бы не так бросается в глаза; и такая же узость – членить человеческую историю по древней птолемеевой системе сторон света. Древние не так хорошо знали Землю, как мы, – теперь мы знаем не только градусы северной и южной широты, все могут лучше обозреть и оценить Землю.

Все на Земле – изменение: никакие разделения, никакая градуировка глобуса и карты не принимаются в расчет. Вращается шар; вращаются на нем и умы и климаты – нравы и религии, сердца и платья. Несказанная мудрость не в том, что все так многообразно, но что на Земле, на этом шаре, все создано столь единосообразно и настроено в унисон. Яблоко красоты и заключено в законе: многого достигать одним, величайшее многообразие вести от непринужденного единства.

Незаметный вес прикрепила природа к стопам нашим, чтобы придать нам единство и постоянство, – в мире физическом вес этот

называется тяжестью, в мире духовном – привычкой. Все на Земле тяготеет к центру, ничто не может удалиться прочь с Земли, и не от нашей воли зависит, хотим ли мы жить и умирать на Земле, – так и дух каждого из нас природа с детских лет крепко-накрепко привязывает к собственности его – к земле, – ибо что иное, кроме земли, может быть нашей собственностью? Всякий человек любит свою страну, свои нравы, свой язык, свою жену, детей не потому, что они лучше всех на свете, а потому что они показали, что принадлежат ему, потому что в них он любит себя самого и труд свой. И так всякий из нас привыкает в конце концов к самой дурной пище, к самому жестокому образу жизни, к самым грубым нравам и самому суровому климату и во всем этом находит для себя удобство и покой. И перелетные птицы гнездятся там, где родились, и самое неблагодатное и суровое отечество обладает притягательной силой для племени людского, привыкшего к своей стране.

Итак, если мы спросим: «Где отечество людей? Где средоточие земли?» – то повсюду нам ответят: «Здесь!» – будь то у самого полюса или под палящими лучами южного солнца. Везде, где могут жить люди, они и живут, а жить они могут почти повсюду. Поскольку великая матерь не могла и не хотела производить на Земле всегда только одно, одно и то же, то не было иного выхода и пришлось производить на свет многое, самое небывалое многообразие, а людей природа сотворила из такого материала, что они могут переносить все это великое многообразие. Позднее мы обнаружим прекрасную лестницу: по мере того как органическое строение живого существа усложняется и становится все искуснее, умножается и его способность переносить самые различные состояния и сообразовываться с каждым. Среди всех существ меняющихся, приспособляемых, восприимчивых к условиям – человек самое восприимчивое: вся Земля создана для него, он – для всей Земли.

А поскольку нам предстоит философски рассуждать об истории человеческого рода, то нам нужно, насколько это возможно, отбрасывать все узкие формы мысли, основанные на особенностях только одной области Земли или даже на понятиях одной школы. Нам надлежит рассматривать намерения природы, а потому не человека, каким он бывает в наших странах или тем более каким бывает он по представлениям какого-нибудь мечтателя, а человека, каким он бывает повсюду на Земле, но притом и со всеми теми особенностями, которые присущи ему в разных областях Земли и которые могут быть результатом всего многообразия случайностей. Не будем выбирать для него ни обликов, ни областей, никому и ничему не будем отдавать предпочтения: везде, где живет человек, он – господин и слуга природы, самое любимое ее дитя, а вместе с тем иной раз и жестоко казнимый раб. Везде, в каждой части Земли, ждут человека свои преимущества и свои недостатки; беды, болезни и новые наслаждения, полнота жизни и благодать – каков

выпадет жребий, в каких обстоятельствах, при каких условиях случится ему жить, таким он и станет.

Незаметная и до сих пор необъяснимая причина не только способствовала многообразию живых существ на Земле, но и ограничивала его и положила ему твердый предел, – причина эта заключается в *наклоне земной оси относительно экватора Солнца*. Этот наклон не зависит от законов вращения шара: Юпитер движется по своей орбите строго вертикально относительно Солнца. У Марса наклон меньше, а Венера, напротив, образует необычайно острый угол, Сатурн со своим кольцом и со своими лунами тоже наклонился в сторону и вниз. Какому необычайному различию полагает все это начало! Как разнятся времена года, как переменчиво воздействие Солнца! Нашу Землю и тут щадит природа, и Земля занимает срединное положение, потому что угол наклона не составляет и 24°. Всегда ли был такой наклон, сейчас еще не время спрашивать – пока довольно того, что он существует. Неестественный, по крайней мере необъяснимый, наклон стал специфической особенностью Земли и уже тысячелетия как не изменялся; но представляется также, что без такого наклона не могут обойтись ни Земля, ни человеческий род, если они хотят стать тем, чем должны стать. Дело в том, что благодаря такому наклону к плоскости эклиптики на Земле складываются климатические зоны, сменяющие друг друга, – от полюса к экватору и от экватора к полюсу; вследствие этого вся Земля обитаема. Земля должна равномерно наклоняться, для того чтобы лучи света были доступны и тем областям, которые в противном случае пребывали бы в киммерийской стуже и прозябали во мраке, – теперь же и в этих областях происходит развитие органических существ. А поскольку долгая история Земли учит нас, что соотношения климатических зон оказывали весьма сильное влияние на все перевороты в человеческом рассуждении с их последствиями и что ни холодный, ни жаркий пояс Земли никогда не воздействовали на целое так, как зона умеренного климата, отсюда вновь явствует, какими тонкими движениями перстов всемогущая природа предначертала и ограничила пределы и все потрясения, и все незаметные переходы, какие совершаются и существуют на Земле. Чуть измени наклон Земли к Солнцу – и все на Земле будет иным.

И здесь пластическое искусство творца мира руководствуется законом размеренного многообразия. Не довольно ему было того, что Земля разделена между светом и тенью и человеческая жизнь – между днем и ночью, – и времена года тоже должны сменять друг друга, и только от нескольких лишних осенних и зимних дней избавил нас творец. А вместе с тем определены были длительность и краткость человеческой жизни, и мера наших сил, и перемены возрастов, и смена занятий и мыслей, и ничтожество или долговечность наших решений и дел – ведь все это, как мы увидим, в конечном счете связано с простым законом смены времен

суток и времен года. Если бы жизнь человека длилась дольше, если бы не так рассредоточены и переменчивы были силы, цели, наслаждения человека, если бы не так спешила природа с возрастами его жизни, как спешит она с периодической сменой времен года, то, конечно, царство людей не раскинулось бы столь широко по Земле и не было бы в истории той хаотической путаницы сцен и эпизодов, какую наблюдаем мы теперь, и наша жизненная сила в тесном кругу населенной Земли проявлялась бы с гораздо большей глубиной, силой, твердостью. А теперь «Книга Экклезиаста» – вот символ нашей Земли; всему свое время: зиме и лету, осени и весне, юности и старости, деятельности и покою. Под косыми лучами нашего Солнца все дела людские – периоды, они сменяются, словно времена года.

V. Земля окружена кольцом тумана и подвержена влиянию нескольких небесных тел

Мы не способны дышать чистым воздухом, будучи столь сложным органическим строением, квинтэссенцией почти всех органических строений Земли, первые составные части которых, по всей вероятности, выпали из воздуха и посредством ряда переходов из незримых сделались зримыми. Когда только складывалась наша Земля, воздух был арсеналом всех сил и материй, потребных для ее образования, – не остается ли он таким арсеналом и поныне? Сколько прежде неизвестных веществ открыто было в воздухе в последние годы, и всякое творит и действует. Тут и электрическая материя, и магнитный поток, и горючее вещество, и воздушная кислота, и охлаждающие соли, и, может быть, даже частицы света, которые Солнце только приводит в движение, – могучие начала творческой природы! А сколько их предстоит еще открыть! Воздух оплодотворяет и разлагает, впитывает, вызывает брожение, сгущает. Кажется, не что иное, но именно воздух породил и все земные существа, и самою Землю, будучи всеобщей средою вещей, все вещи втягивая в лоно свое и все исторгая наружу.

Атмосфера наряду с другими факторами влияет и на самые тонкие, и на самые духовные свойства земных существ: воздух прежде создавал, изваивал Землю, а теперь вместе с Солнцем, под небом Солнца он правит Землей; это не нуждается в доказательствах. Какое различие было бы во всем, если бы воздуху присуща была иная степень упругости и тяжести, чистоты и плотности, если бы иная вода и иная земля концентрировались в нем, если бы иные влияния оказывал он на органическое строение тел! Это иное, несомненно, и происходит на других планетах – вот почему так опасно заключать о свойствах веществ и явлений на других планетах на основании земных веществ и явлений. На Земле творил Прометей, он придал форму осевшей из воздуха мягкой глине и с

высот небесных принес столько ярких искр и духовных сил, сколько мог уловить на таком удалении от Солнца и в такой смеси со свойственной ей такой, а не иной тяжестью.

И различия между людьми, и различия между всеми произведениями земного шара объясняются, стало быть, специфическими свойствами той среды, в которой мы живем, словно бы в теле Божества. Дело не только в разделении зон на холодные и жаркие и не только в тяжести, с которой давит на нас воздушный столб, но бесконечно значительнее пронизывающие воздух духовные силы, квинтэссенцию которых, возможно, и составляют все свойства и феномены воздуха. Вот что позволит прийти к ощутимым выводам касательно свойств и истории всякой породы людей; нам нужно узнать, как обтекают нашу Землю электрический и магнитный потоки, какие туманы и испарения поднимаются с Земли, куда они направляются, во что преобразуются, какие органические соединения порождают и долго ли эти соединения сохраняются; ведь человек, как и все прочие вещи и живые существа, – питомец воздуха; замкнутый в кругу своего существования, человек родственен всем органическим строениям Земли.

Мне кажется, что мы идем навстречу целому миру знаний, что в единую систему природы сольются все наблюдения над холодом и теплом, электричеством, веществами воздуха и другими химическими веществами, их влиянием на землю и растения, на животных и людей – все сделанное Бойлем, Бурхаве, Хейлзом, Гравесандом, Франклином, Пристли, Блэком, Крофордом, Вильсоном, Ахардом и другими. Если со временем, по мере того как познаём мы произведения Земли и изучаем все области и страны, подобного рода наблюдения умножатся и будут происходить повсеместно, если исследования природы приведут к созданию распространенной по всей земле независимой Академии, которая, следуя духу истины, точности, пользы и красоты, будет повсюду отмечать и наблюдать влияния веществ, разумно рассредоточив свое внимание, то в наших руках окажется наконец географическая аэрология[8] и мы увидим, как по одним и тем же основным законам, порождая тысячи изменений, творит великий парник природы. Объяснится вместе с тем и духовное и телесное строение человека и будет написана картина, для которой пока есть в нашем распоряжении лишь отдельные, хотя отчасти и весьма отчетливо намеченные контуры.

Но Земля – не одна во вселенной, и на атмосферу ее, на этот грандиозный резервуар творческих сил влияют другие небесные тела. Солнце, вечный огненный шар, пробуждает атмосферу действием своих лучей; Луна, тяжелое, давящее небесное тело, которое к тому же находится, вероятно, в самой атмосфере Земли, давит на нее то своим холодным и мрачным, то своим нагретым от Солнца ликом. Луна то восходит раньше, то позже Солнца; то она ближе к Солнцу, то дальше от него. Другие небесные тела приближаются к Луне, оказывают влияние на ее орбиту,

воздействуют на ее силы. Вся небесная система – это система тяготений равных или неравных, но с огромной силой увлекаемых друг против друга шаров, и лишь великая идея всемогущей природы уравновесила этот великий механизм тяготений, помогая каждому в его борьбе. Человеческий рассудок и в этом бескрайнем лабиринте тяготений нашел для себя путеводную нить и совершил, можно сказать, настоящие чудеса, причем более всего способствовала этим изысканиям столь непостоянная, направляемая двусторонним давлением и, к счастью, столь близко расположенная к нам Луна. Если все эти наблюдения и результаты их будут применены к изменениям, происходящим в окружающей земной шар атмосфере, как уже были применены они к явлениям прилива и отлива, если будет продолжен многолетний усердный труд в разных местах Земли и с помощью тонких инструментов, которые отчасти уже изобретены, будут наблюдаться, приводиться в порядок и систематизироваться по временам и положению небесных тел кругообращения небесного океана, тогда, полагаю я, вновь вернется к нам и займет самое славное и почетное место среди самых полезных наук астрология[9], и дело, начатое Тоальдо, продолженное Делюком, Ламбертом, Тобиасом Майером, Бёкманом и другими, возможно, завершит второй Гаттерер, свободно распоряжающийся материалом и географии, и истории человечества[10].

Довольно! Мы рождаемся, растем, странствуем и стремимся в том море, или на дне моря, где действуют и творят отчасти известные, отчасти только предполагаемые небесные силы. Если воздух, если погода пользуются таким влиянием на нас, на всю землю, то, может быть, так происходит и в бóльших масштабах: как в одном человеческом существе чище и яснее проскользнула электрическая искра, как в другом сгусток воспламеняющегося вещества накопил энергии больше обычного, так в одном месте масса холода и ясное небо, в другом кроткое текучее и все смягчающее вещество определяли и переменяли величайшие периоды и круговращения, совершившиеся в человечестве. И только под взглядом Вездесущего, по вечным и неизменным законам слагаются формы и из этого теста, и только его взгляд указывает в физическом мире место, время и круг деятельности каждой точке стихии, каждой мелькающей искре и каждому лучу эфира, смешивая их с противодействующими силами, укрощая и смягчая их.

VI. Населяемая людьми планета есть горный хребет, выступающий над поверхностью моря

Простой взгляд, брошенный на карту, подтверждает это. Цепи гор не только пересекают материки, но утверждены словно каркас, вокруг которого образовалась суша. В Америке горы идут вдоль западного берега с юга на север, через перешеек. Направление гор – поперечное, как и всего материка здесь; там, где горы сдвигаются к центру и Земля шире – к северу от Новой Мексики[11], горы теряются в неизведанных областях. Быть может, они продолжаются и дальше на север вплоть до гор Илии и связаны с Голубыми и другими горами; точно так же и в Южной Америке горы расходятся на север и на восток, как только материк становится шире. Итак, Америка, если даже судить только по ее очертаниям, – это страна, которая привешена к своим горам и как бы пристроена к их подножью, где более полого и более круто.

Три другие части света, скорее, сливаются друг с другом, и при всей своей обширности они, по сути дела, составляют только одну часть света; но и здесь нетрудно распознать, что горные хребты Азии – это средоточие горных цепей, расходящихся по всей этой части света, по Европе, а может быть, и по Африке, во всяком случае, если иметь в виду северную ее часть. Атлас – это продолжение азиатских гор, которые в центре этой страны просто стали выше; полоса гор вдоль Нила, вероятно, связывает их с Лунными горами. Что такое эти Лунные горы по ширине и высоте – настоящие ли горные хребты, – покажет будущее. Но можно с уверенностью это предполагать, исходя из того, сколь обширна эта земля, и опираясь на отрывочные известия; однако относительно небольшие и немноговодные реки этой области Земли не свидетельствуют в пользу того предположения, что Лунные горы – настоящие горные хребты, как Урал в Азии или Кордильеры в Америке. Довольно того, что, очевидно, и в этих частях света суша прилегает к горам. Все земли расположены параллельно горным отрогам; если горы расширяются и разветвляются, то шире и материк. Можно это сказать даже и о предгорьях, островах и полуостровах: земля протягивает рукава, вытягивает члены тела, согласуясь со скелетом, который образует горы; итак, земля, суша – это масса вещества, многообразная, многослойная, которая сложилась вокруг гор и которая в конце концов была населена людьми.

Итак, какой будет твердая земля, материк, предрешили первые горы: они, можно сказать, были древним ядром и контрфорсами земного строения, вода и воздух складывали на них свое бремя, и вот рассадник живого творения был покрыт покатой крышей и был выровнен. Древние горные цепи не объяснимы вращением Земли, они не находятся на экваторе, где скорость вращения была наибольшей, они даже и не

параллельны экватору, а цепь американских гор протянулась даже в перпендикулярном относительно экватора направлении. Итак, математически выведенные зоны Земли ничто нам не прояснят, тем более что самые высокие горы и горные цепи – ничто по сравнению с общей массой вращающейся Земли. И потому я считаю нецелесообразным устанавливать совпадения горных цепей с экватором и меридианами, поскольку между горами и этими линиями нет подлинной связи, и такой подход может только запутать нас. Все дело в другом: в изначальной форме гор, в их происхождении и расположении, в их высоте, в занимаемой ими площади, короче говоря, все дело – в *физическом законе природы,* который объяснит нам и строение гор, а вместе с тем и строение материков. Но сможем ли мы установить физический закон, по которому горы, словно лучи, то исходят из одной точки, то как ветви отходят от ствола, то угловатыми подковами лежат на земле, сможем ли мы установить правило, по которому, словно каркас земли, поднимались к небу первые на земле, ничем не покрытые горы, – вот вопрос, который до сих пор не получил разрешения; вопрос важный, и мне хотелось бы, чтобы он был решен удовлетворительно.

Итак, мы знаем: все материки простирались в том же направлении, что и горы. Первой была заселена Азия, потому что здесь были расположены самые высокие и самые широкие горные цепи и потому что здесь раскинулось целое горное плато, и море нигде не подходило близко к нему. Итак, вероятность позволяет предполагать, что здесь, в какой-нибудь благословенной долине у подножия гор или в самом сердце гор находилось первое, избраннейшее местожительство человека. Отсюда люди шли на юг, спускаясь в прекрасные плодородные долины рек; к северу от гор сложились более суровые племена людей, кочевавших между реками и горами, а со временем расселявшихся на запад – вплоть до Европы. Народы один за другим шли на запад, один народ теснил другой, и наконец опять пришли они к морю – к Восточному морю[12]; одни переплыли его, другие распались, третьи заселили Южную Европу. А в Южную Европу уже раньше с юга пришли другие народы, поселились здесь, и вот почему так получилось, что этот угол Земли густо заселен, – здесь сливались потоки разных, нередко противоположных направлений. Не одному теснимому народу приходилось уходить в горы, оставляя победителям равнины и поля; вот почему остатки древнейших народов, языков можно встретить по всей земле именно в горах или отдаленных уголках суши. Почти нет ни островов, ни стран, где бы низменности и долины не были заняты чужестранным народом пришельцев, где бы менее культурные туземные племена не прятались в горах и ущельях. Эти-то народы, жившие в своих горах, сохранявшие суровый образ жизни, нередко и служили позднее причиной глубоких потрясений, когда все на ровной земле переворачивалось, можно сказать, сверху донизу. Не раз воинства горных народов затопля-

ли целую Индию, Персию, Китай, даже и западные азиатские страны, более того – даже и Европу, которой служили заслоном естественные препятствия, а также знания и искусства. Происходившее на великой сцене народов совершалось и в малом. Маратты в Южной Азии, дикие горные народы многих островов, храбрые горные племена Европы, сохранившиеся в некоторых местах, – все они не переставали совершать набеги, но не могли одержать решительной победы и превращались в разбойников. Одним словом, горы – это и первое местожительство человека на Земле, и кузница переворотов и потрясений, и очаг сохранения человеческой жизни. С гор спускаются бурные потоки, спускаются и народы; в горах бьют ключи, дающие людям воду, в горах просыпается и дух мужества и вольности, когда равнины уже томятся под бременем законов, искусств, пороков. И теперь еще в азиатских нагорьях резвятся дикие народы, и кто знает, чего ждать от них в грядущие века – каких потопов, каких обновлений?

Об Африке мы знаем слишком мало, чтобы судить о том, как ведут себя тут народы, как теснят они друг друга. Население северных областей, несомненно, происходит из Азии, о чем говорит их порода, и культура Египта почерпнута в Азии, а не в нагорьях африканского материка. Конечно, и Египет наводняли эфиопы, и не на один берег этого континента (внутренних его частей мы не знаем) спускались с гор неукротимые, дикие народы. Гаги[13] – это самые настоящие людоеды, а кафры и народы к югу от Мономотапы[14] не уступают им в дикости. Короче говоря, вся первоначальная дикость и суровость этих африканских племен скопилась близ Лунных гор, занимающих бóльшую часть внутренней Африки.

Давно ли или недавно заселена Америка, но самое культурное государство в этой части света, Перу, расположилось как раз у подножия Кордильер – там, где они выше всего – расположилось именно у подножия, в прекрасной долине Кито, в умеренном климате. Вдоль горных цепей Чили, вплоть до самых патагонцев, сменяют друг друга дикие народы. Другие горные цепи и внутренние области мы знаем слишком плохо, но известного достаточно, чтобы вновь подтвердить теорему: лишь в горах, между гор бытуют древние нравы, первоначальная дикая вольность. Большинство здешних племен не могли покорить испанцы и назвали их los bravos*. Холодные области Северной Америки и Азии, если судить по климату и образу жизни населяющих народов, – это большие горные плато.

Итак, проведя цепи гор, проведя линии сбегающих с гор рек, природа установила как бы общие, но неизменные начертания человеческой истории вместе со всеми ее потрясениями и переворотами. Народы снимались с насиженных мест и открывали для себя широкие

* Смельчаками, разбойниками (*исп.*).

просторы земли, они двигались вдоль рек и на плодородных равнинах строили свои хижины, строили деревни и города, они словно запирались в своих горах и пустынях, где иной раз протекала большая река, и отныне эту огражденную природой и привычкой область называли своей; впоследствии местные условия таких областей порождали различный образ жизни, какой вели люди, в таких местах возникали царства и государства; наконец род человеческий дошел до морского побережья и отсюда, с пустынных и худых берегов, отправился искать пропитание в море. Все такие события одновременно принадлежат и к истории человечества, развивающейся естественно, идущей своим чередом, и к естественной истории Земли. Одни горы воспитывали охотников, укрепляли их дикий, неукротимый нрав, другие горы, нагорья, шире раскинувшиеся, с климатом более мягким, послужили пастбищами для пастушеских племен, а в спутники пастухам дали кротких домашних животных; одни горы побуждали заниматься земледелием и делали занятие это незаменимым, другие учили плавать по рекам и ловить рыбу, что привело, наконец, и к торговле, – все это особые этапы человеческой истории, особые состояния, в которых находятся племена и народы, и все это предопределено строением Земли с естественным различием и многообразием существующих на ней условий. В одних местах нравы, образ жизни людей сохранялись тысячелетиями, в других они менялись под влиянием внешних причин, но всякий раз изменения происходили под соразмерным воздействием той земли, от которой исходило влияние, и той, на которую это влияние распространялось. Моря, горные цепи, реки – естественные, самые естественные границы стран, границы народов, образа жизни, языка, государства; даже когда величайшие перевороты совершались во всем мире людей, горы, моря, реки служили границами, линиями, определявшими течение всемирной истории. Если бы горные цепи были протянуты иначе, если бы реки текли в ином направлении, если бы иными были очертания побережий, то бесконечно иначе происходило бы и все движение народов на бурлящей сцене истории!

Всего лишь несколько слов о морских побережьях: твердая земля, суша, широка и многообразна, и столь же обширны просторы морей. Отчего так едина вся Азия по нравам своим и верованиям, отчего Азия и стала тем местом, где воспитывались народы и где закладывалась их первая культура? В первую очередь оттого, что Азия – это огромное пространство материка, и народы не только без труда расходились на нем во все стороны, но и вынуждены были жить рядом и вместе, хотели они того или нет. Северную и Южную Азию разделяют горные хребты, но никакое море уже не делит эти обширные пространства, и только у подножья Кавказских гор сохранились остатки древнего мирового океана – Каспийское море. Итак, перед традицией культуры в Азии были

открыты пути, и всякая традиция могла обогащаться тут другими традициями и традициями других областей земли. Все так глубоко уходит тут в почву – и религия, и культ предков, и деспотизм! Азия – родной кров всего этого; чем ближе к Азии, тем больше таких древних нравов, и, несмотря на все различия, какие существуют тут между разными государствами, такие древние нравы распространены по всей Южной Азии. Северная Азия, отделенная от Южной высокой стеною гор, и сложилась иначе, однако и здесь, при всем различии народов, существует все же одна и та же основа всего. Татария, самая огромная площадь ровной земли, кишит народами самого разного происхождения, и, однако, все они стоят примерно на одной ступени развития: они не разделены морями, и все они бурлят и кипят на одной-единственной наклоненной к северу плоскости.

И вот обратный пример: какое маленькое Красное море – и какие небывалые различия! Абиссинцы – племя арабское по своему происхождению, египтяне – азиатский народ, и, однако, между ними, в нравах их, в образе жизни, утвердился совершенно иной мир! То же и на самых южных оконечностях Азии. Небольшой Персидский залив – но какая граница между Аравией и Персией! Маленький Малайский залив – но как отличаются между собой жители Малайи и Камбоджи! А если взять Африку, то очевидно, что нравы ее обитателей мало различаются между собой, и все потому, что племена не разделены ни морями, ни заливами, а в лучшем случае только пустынями. По этой самой причине и чужестранные народы не могли оказать сильного воздействия на эту часть света, и если мы облазили каждый угол земли[15], то все же внутрь этого огромного материка мы до сих пор так и не проникли – и только по той простой причине, что море не врезается внутрь этой страны и, словно неприступная страна золота, она повсюду обращает к нам свои тупые углы. И, вероятно, потому так полнится Америка небольшими племенами и народностями, что и на юге и на севере она сплошь изрезана реками, озерами, горами, расколота на мелкие и мельчайшие части. Получается, что Америка расположена так, что с любой стороны удобно подобраться к ней, она состоит из двух полуостровов, связанных узким перешейком, рядом с которым обширная выемка залива образует еще целый архипелаг островов. Можно сказать, что вся Америка только и состоит из островов, вот почему она стала добычей европейских морских держав и вот почему она оказывается яблоком раздора во время войн. Для нас, европейцев-грабителей, эта страна, Америка, расположена уж очень удобно; напротив, изрезанность ее побережья была крайне неблагоприятна для развития культуры у ее туземного населения. Племена были слишком разъединены озерами и реками, крутыми обрывами и пропастями, так что, в отличие от Азии, на ее территории не могла утвердиться и распространиться вширь ни культура, общая для всей части света, ни *древнее слово* традиции отцов.

А почему же Европа отличается от других частей света таким многообразием народов, ее населяющих, многогранностью нравов и искусств, в ней царящих, но более всего влиянием своим на все другие части света? Я, конечно, знаю, что существует такое стечение обстоятельств, в котором мы не можем выделить сейчас отдельные нити и струи, но если смотреть со стороны физической географии, то пересеченность всей местности, многообразие условий было одним из поводов и причин для того, чтобы сложилась наша Европа. Народы Азии в разные времена, разными путями шли сюда – сколько нашли они здесь бухт и заливов, сколько рек, текущих в самых разных направлениях, сколько разнообразных небольших горных цепей! Народы пришли, и они могли и жить вместе и разъединяться, и оказывать свое влияние друг на друга и жить мирно; многократно почлененная небольшая часть света стала ярмаркой народов, все народы мира толклись на этом малом пространстве. Одно Средиземное море – ведь оно определило все лицо Европы! Можно даже прямо сказать, что только оно и послужило мостом, по которому шла и переходила в Европу культура древности, культура Средневековья... Восточное море уступает ему по значению: оно севернее, суровые, жестокие народы живут по его берегам, земли тут неплодородные, скудные, это как бы второстепенная дорога на всемирную ярмарку народов; однако можно сказать, что Восточное море – это окно для всей Северной Европы. Не будь его, и все живущие поблизости народы остались бы варварами, земли прозябали бы в холоде и не были бы населены. То же можно сказать о горах между Францией и Испанией, о проливе, разделяющем Англию и Францию, об очертаниях берегов Англии, Италии, Древней Греции. Измените границы стран, отнимите у них тут проливы, там закройте естественный путь – и вот долгими веками судьба всех народов и частей света будет протекать совсем иначе, иначе будет складываться их культура, иначе будет строиться и разоряться мир.

Во-вторых, если спросить теперь, почему кроме известных нам четырех частей света[16] нет в обширном океане пятой части света, существование которой одно время считалось несомненным[17], то на такой вопрос уже ответили в наше время факты; вот почему нет пятой части света: потому что в этой бездне морской с самого начала не было великих гор, к которым могла бы примкнуть и складываться суша, материковая земля. Азиатские горы заканчиваются Адамовой горой на Цейлоне, горными кряжами Суматры и Борнео, которые протягиваются сюда через моря из Малакки и Сиама, – заканчиваются так, как заканчиваются африканские горы мысом Доброй Надежды и американские – Огненной Землей. Отсюда гранит, послуживший твердой опорой материков, спускается уже в глубь океана и на значительных пространствах не выходит наружу. В обширной Новой Голландии нет первосотворенных горных цепей, а Филиппинские, Молуккские и другие рассеянные в океане

острова – вулканического происхождения, на некоторых и сейчас есть вулканы. Сера и лава могли делать тут свое дело; могли создавать целый сад пряностей и греть его своим подземным теплом, словно оранжерею. И кораллы делают все, что в их силах*, так что с течением тысячелетий, может быть, и возникают маленькие островочки – вроде точек на поверхности океана; но на большее сил этих южных окраин недостает. Вообще природа предназначила эти обширные пространства для того, чтобы они служили бездною морскою, – и океанские глубины тоже необходимы ведь для населенных стран. Если люди откроют физический закон, по которому складывались изначальные горные хребты на нашей Земле, то тем самым установлено будет и правило, определяющее очертания материков, и будет ясна причина, почему не могло быть таких гор у южного полюса и почему, следовательно, не могла существовать пятая часть света. И больше того: ведь если бы эта пятая часть света все же существовала, то она, по теперешним условиям земной атмосферы, все равно оставалась бы не заселенной людьми, – не оставлять же ее, словно льдины и Сандвичевы острова, в наследственное пользование моржам и пингвинам?!

В-третьих. Мы рассматриваем сейчас Землю как сцену, на которой разворачивалась человеческая история, и из сказанного явствует, что творец правильно поступил, не установив связи между образованием гор и вращением Земли, а утвердив для гор особый закон, который мы пока еще не открыли. Если бы причиной возникновения гор послужили экватор и наибольшая скорость движения Земли на экваторе, то и вся суша протянулась бы вдоль экватора и простиралась бы тут во всю ширь жаркого пояса, который теперь охлаждают волны моря. Тут и было бы тогда средоточие рода человеческого, тогда как для телесных и душевных сил человека – это самая ленивая и инертная область, если вообще думать еще о том, что человек сложился бы там в своем теперешнем виде. Получилось бы тогда так, что человек рождался бы и первоначальное свое воспитание получал под жгучими лучами солнца, под чудовищными разрядами электрической материи, предоставленный всем ветрам и резкой смене погоды, – а уж потом человеку пришлось бы переселяться в холодные пояса Южного полушария, непосредственно граничащие с жаркими, и расселяться в северные зоны; родитель мира избрал куда лучшее место, чтобы на нем возник и воспитывался юный род людей. Главное средоточие горных громад Старого Света он сдвинул в умеренную зону Земли, и у подножия их живут самые стройные, наиболее хорошо сложенные люди. Здесь творец даровал человеку и более мягкий климат, и более кроткую природу, и гораздо более разностороннюю школу воспитания; вполне сложившись, полный сил и здоровья, человек стал расселять-

* См. «Замечания Форстера». С. 126 сл.[18]

ся отсюда, расселяться очень постепенно в более холодные и в более жаркие страны. Там, на горах, первые поколения людей могли жить спокойно, они постепенно, вместе с горными отрогами, вместе с реками спускались в низину и незаметно привыкали к более суровому климату. Каждый народ обживал свой узкий, замкнутый участок, каждый им пользовался, словно это была вся вселенная. И счастье, и несчастье не распространялись среди народов с неудержимой силой, а ведь все совсем иначе было бы, если бы расположенные вдоль экватора и притом, несомненно, гораздо более высокие горные цепи царили над всем миром, над югом и севером. Вот так: творец устроил все куда лучше, чем можем насоветовать ему мы, и несимметричное строение Земли позволило достигнуть целей, которых не допустила бы бóльшая симметричность.

VII. Направление гор на обоих полушариях предопределило самые странные различия и перемены

Вновь взгляну на карту мира. В Азии горы расположены там, где материк шире всего, и они, словно узлом, связываются примерно в центре континента; кто бы мог подумать, что на нижнем полушарии все будет иначе и горы протянутся в длину, насколько вообще это возможно? Однако это так. И уже это предопределяет полнейшее различие обеих частей света. Северные области Сибири находятся во власти северных и северо-восточных ветров, несущих холод, центральные горы Азии, вершины которых покрыты вечными снегами, отрезают Север от теплого дыхания южных ветров; вот почему даже и южные области Сибири – а этому способствовали и солончаковые почвы – отличаются господствующим в них леденящим холодом, как описывают это путешественники, и только гряды гор местами спасают их от самых резких ветров и создают долины, где царит более мягкий климат. Но на юг от центральных гор сразу же начинаются неописуемо прекрасные места! Стены гор прикрывали их от действия леденящих морозов, а ветры несли с собой только прохладу. Вот почему природа изменила к югу от этих гор направление горных цепей, так что и на двух полуостровах Индостана, и на Малакке, на Цейлоне горы идут уже в длину, вытянуты с севера на юг. Благодаря этому времена года в этих странах ярко выражены и правильно чередуются; и страны эти стали благословенным краем земли.

Мы не знаем горных цепей внутренней Африки, но мы знаем, что они прорезывают эту часть света и в длину, и в ширину, так что, по всей вероятности, в центре Африки тоже довольно прохладно. А в Америке совсем иначе! На севере холодные и северо-восточные ветры беспрепятственно проникают на юг, и никакие горы не сломят

их силы. Ветры дуют из обширной области льдов, по этому уголку мира никому еще не удалось проехать, и его вполне можно назвать неведомою стороной. Потом ветры продувают насквозь огромные пространства окоченевшей от мороза земли; только к югу от Голубых гор климат становится более мягким. Однако резкая смена холода и жары по-прежнему царит здесь, как ни в какой другой стране, – быть может, потому, что на всем северном полуострове нет прочной стены гор, которая нигде не прерывалась бы и могла лучше бы управлять и ветрами, и погодой.

А в Южной Америке ветры дуют с южного полюса и тоже не встречают на своем пути крыши и заграждения, и горные цепи, вместо того чтобы препятствовать ветрам, проводят их на самый север. Вот почему получается так, что жители Центральной Америки, в целом весьма счастливой земли, томятся между двух противодействующих сил, обреченные на леность и безделие в своем сыром климате, – если только спускающиеся с гор или дующие с моря ветерки не приносят с собой свежести и прохлады.

Прибавим к этому отвесные обрывы скал и однообразие американских гор – и различие, существующее между двумя частями света, еще скорее бросится нам в глаза. Нет на свете гор выше, чем Кордильеры, – потому что Швейцарские Альпы по высоте примерно в половину их. У подножия этих высоких гор тянутся сьерры, которые даже у самого побережья и у глубоких впадин – долин – все еще довольно высоки*; даже если просто ездить по ним, и то человеку делается дурно, и внезапно бессилеют и люди, и животные, чего никогда не бывает даже на самых высоких горах Европы. И только у подножия этих сьерр начинается настоящая земля, и тогда суша оказывается вдруг совершенно плоской, как будто и нет вокруг никаких гор! К востоку от Кордильер простирается обширная низменность Амазонки – единственная в своем роде, как неповторимы и горные хребты Перу. Река Амазонка, которая в конце своего пути разливается и становится широкой, как море, не опускается и на две пятых дюйма на тысячу футов, и можно проехать территорию, равную по площади Германии, и не подняться ни на один фут над поверхностью моря**. Горы Мальдонадо у реки Платы не имеют по сравнению с Кордильерами никакого значения, а потому всю восточную часть Южной Америки можно рассматривать как огромную равнину; и с нею на протяжении долгих тысяч лет случились все те неприятности, во власти которых находятся низменности, – их заливает вода, они заболачиваются; это продолжается и теперь. Итак, тут соседствуют карлик и великан, головокружительные

---

* «Известия об Америке» Уллоа. Лейпциг, 1781, с дополнениями Шнейдера, повышающими ценность книги раза в полтора[19].

** «Описание португальской Америки от Кудены» Лейсте. Брауншвейг, 1780[20].

высоты и самые глубокие впадины, какие только есть на поверхности Земли. То же самое – на юге Северной Америки. Луизиана[21] ровная и плоская, как дно моря у ее берегов, и эта плоская равнина заходит далеко в глубь страны. А большие озера, невиданные водопады и резкий холод Канады показывают, что и северные области этой страны, по всей видимости, гористы и что здесь тоже совмещаются крайности. Впоследствии мы узнаем, какое действие оказывают эти условия на животных и людей.

Совсем иначе поступала природа на Северном полушарии Старого Света, где пожелала она приготовить первый домашний кров для животных и человека. Горы простираются тут свободно, далеко расходятся в длину и ширину, много отрогов и кряжей тянутся в сторону от них, так что три части света могли соединиться в одно целое, и, несмотря на существующие между странами и областями различия, все связано более мягкими, незаметными переходами. Здесь нет таких равнин, которые в течение целых эонов оставались бы под водой, и не рождаются тут полчища насекомых, амфибий, пресмыкающихся и всякой морской твари, как в Америке. За исключением пустыни Гоби (Лунных гор мы совсем не знаем), здесь нет обширных пустынных нагорий, возносящихся к облакам, и не рождаются в трещинах и разломах их всякие чудовища и гады. Электрическое действие солнца позволило выйти из этой более сухой и тоньше перемешанной почвы и пряным растениям, и нежным плодам, и более зрелым органическим существам, животным и людям.

Было бы прекрасно иметь карту гор или, вернее, атлас, на котором отмечены были бы самые разные относящиеся к этим столпам и основаниям Земли сведения, важные для истории человеческого рода на Земле. Расположение и высота гор в разных местностях точно установлены; отмечена и высота земли над уровнем моря, и почвенные условия, и течение рек, и направления ветра, и отклонения магнитной стрелки, и температура; некоторые из таких данных наносятся на карты. Но если свести все подобного рода наблюдения, рассыпанные по статьям и описаниям путешественников, сколь прекрасная и поучительная *физическая география*, доступная всеобщему обозрению, окажется в руках историка и естествоиспытателя! Богатейшее приложение к превосходным трудам Варениуса, Лулофса, Бергмана! Пока положено начало: Фербер, Паллас, Соссюр, Сулави и другие собирают в разных областях земли богатейший урожай открытий; и, возможно, перуанские горы (самые интересные в мире для естественной истории, если заниматься ею в самых широких масштабах) внесут в общую картину полное единство и определенность.

Книга вторая

I. Земля – обширная кузница самых разнообразных органических существ

Как бы ни представлялись нам хаосом и развалинами недра земные, потому что мы до сих пор не способны увидеть в целом, как первоначально построена была Земля, однако мы все же замечаем, что даже и самое малое, и самое неразвитое существует по вечным законам: *бытие, склад, строение* всего весьма определенно, и не в силах человека изменить этот вечный строй. Мы видим, что есть законы и формы, но внутренних сил их мы не знаем, а общие слова, как-то «связь», «размеры», «притяжение», «сила тяжести», знакомят нас лишь с внешними отношениями и отнюдь не приближают к постижению внутреннего существа законов.

Но что дано всякой горной породе, всякой почве на Земле – так это общий закон, управляющий всеми творениями, и закон этот заключается в *строе*, определенном *виде*, особом *существовании* всего. Ни у одного существа всего этого нельзя отнять, ибо все свойства и проявления каждого зависят от этого закона. Безмерная цепь спускается с небес и связывает воедино и творца мира, и мельчайшую песчинку, потому что есть свой вид и у песчинки, и песчинки нередко складываются в прекрасные кристаллы. И самые смешанные существа, если говорить об их частях, следуют тому же закону, ибо творить в них могло лишь столько сил и собрано воедино в них могло быть лишь такое многообразие сил, чтобы самые различные составные части все же подчинены были общему единству, а потому возникли переходы, смеси, соединения и разные отклоняющиеся друг от друга формы. Коль скоро существовал гранит, составляющий сердцевину нашей земли, то существовал уже и свет, который в плотных туманах нашего земного хаоса еще творил, как огонь и пламя, и воздух был крепче и вещественней того, каким мы дышим теперь, и в воде было больше примесей, и она бременела своими рождениями и действовала на гранит. Постоянная кислота разлагала его и превращала в другие горные породы; пески, занимающие столько места на земном шаре, – это, быть может, прах некогда выветрившейся

породы. Горючее вещество воздуха, флогистон, превращало гальку в известь, и в известковой массе образовались первые живые существа, населявшие море, – моллюски; во всей природе материя предшествует органической живой форме. И еще более мощное и чистое воздействие огня и холода потребовалось для кристаллических тел, предпочитающих уже не форму раковины, в какую переходит кремень, а геометрическую форму с углами. Но и углы меняются в зависимости от составных частей каждого существа, и в металлах и полуметаллах они даже приближаются к форме растительных побегов. Химия, которой так усердно занимаются в последнее время, перед желающим открывает подземное царство природы – обильное, многообразное второе творение, и содержится в этом царстве не только материя, из которой построено все, что только ни существует на Земле, на поверхности Земли, но, может быть, здесь основные законы и самый ключ ко всему существующему на Земле. Мы всегда, везде замечаем: природа разрушает, чтобы построить заново, природа разделяет, чтобы соединить. От простых законов, от несложных форм она переходит к составным, искусным, тонким строениям, – и будь мы наделены таким органом чувств, с помощью которого мы могли бы видеть праформы и первоначальные зародыши земных существований, то, должно быть, в самой мельчайшей точечке мы восприняли бы прогрессию всего творения...

Но поскольку цель наша – не в подобных предположениях, то поразмыслим только об одном: о той покрывающей Землю смеси, благодаря которой наша Земля способна была создавать органические строения – растения, а потом животных и человека. Если бы другие металлы были распылены в этой смеси, а не железо, которое можно найти везде: и в воде, и в земле, и в растениях, животных, в теле человека, если бы на поверхности Земли было много серы и асфальта вместо песка, глины и хорошей плодородной почвы, совсем другим существам пришлось бы жить на Земле! Это были бы творения гораздо более резкого, острого состава, а творец нашего мира превратил в мягкие, тонко действующие соли и масла составные части растений, которыми мы питаемся. И ради этого постепенно образуются зыбкий песок, твердая глина, волокнистый торф, и даже железным рудам и неподатливым скалам приходится подчиняться этой цели. Скалы со временем выветриваются и на них вырастает сухой мох или даже жалкие деревца, а содержавшая железо почва была самой здоровой для произрастания травы и деревьев, служащих пищей для животных. Воздух и роса, дождь и снег, ветер и вода естественным путем удобряют землю, примешанные к ней калийные известняки искусственным путем улучшают плодородие почв, а более всего способствует такой цели смерть растений и животных. Благодатная мать-природа, как бережлива ты, как в твоем круговороте одно возмещает другое! Смерть дает новую жизнь, и даже гниль и разложение несут с собой здоровье и бодрость сил.

Старая печаль: вместо того чтобы возделывать почву, люди проникли в недра земные и, со вредом для здоровья и душевного покоя, копаются там, добывая металлы, служащие тщеславию и пышности, корысти и жажде власти. Много верного в таких словах, как показывают последствия этой добычи недр уже на самой поверхности Земли, и прежде всего бледные лица вечно заключенных в царстве Плутона мумий-людей. Почему воздух под землей совсем иной? Он питает металлы, но убивает людей и животных. Почему не покрыл творец поверхность Земли золотом и алмазами, а дал всем существам, одушевленным и неодушевленным, закон – покрывать Землю плодородной почвой? Потому, наверное, что мы не можем кормиться золотом и самое маленькое питательное растеньице для нас и полезнее, и по-своему органичнее и благороднее самого дорогого камешка, который именуют алмазом, смарагдом, аметистом и сапфиром... Но не будем и преувеличивать. В различные предвиденные творцом периоды земной истории, в периоды, наступлению которых творец иной раз даже способствовал, если судить по строению Земли, человек и учился копать *под* собой, и учился летать *над* собой. Некоторые металлы творец поместил совсем близко к глазам человека, а реки должны были обнажать основу почвы и являть скрываемые в земле сокровища. Даже самые грубые племена поняли, как полезна медь, научились пользоваться железом, магнитные силы которого управляют всем телом Земли, и железо, можно сказать, уже само по себе повело человеческий род с одной ступени культуры на другую. Чтобы пользоваться домом, в котором он живет, человек должен был по-настоящему познакомиться с ним, и природа, властительница наша, положила достаточно узкие рамки, в которых мы можем следовать за нею, ей подражать, творить и преображать природу.

Но истина, однако, и то, что нам по преимуществу назначено пресмыкаться на Земле подобно червям, строить на земле свой дом и проживать тут короткую свою жизнь. Сколь мал человек, какое малое место занимает он в природе, видно хотя бы по тому, насколько тонок слой плодородной почвы, ибо этот слой и есть царство человека. Стоит человеку углубиться на несколько пядей в землю, и вот он вырывает из земли такие вещи, на которых ничто не может расти, так что пройдут года, целые циклы, пока что-либо вырастет на них. А стоит углубиться больше, и бывает так, что человек опять натыкается на плодородную землю – на тот слой, который раньше лежал на поверхности, и его не пощадила вечно меняющаяся природа, пережившая много периодов своего роста. На горах мы находим ракушек и улиток, в сланце – окаменелых рыб и животных; иной раз на глубине полутора тысяч футов – окаменелые стволы деревьев и отпечатки цветов и растений. Не по полу дома своего ступаешь ты, бедный человек, но ходишь по крыше своего дома, и лишь множество потопов придало твоему дому его теперешний вид. Тут

растет для тебя немножечко травы, несколько деревьев: случай принес их к тебе вместе с водою; и живешь ты, питаясь ими, как поденка.

II. Растительный мир Земли в связи с историей человечества

Флора по органическому своему строению сложнее любых почв и пород земных недр, и занимает она на Земле такую обширную сферу, что теряется и в земле, но в виде некоторых побегов и подобий она приближается и к царству животных. У растения есть нечто подобное жизни, есть возрасты жизни, есть пол, растения оплодотворяются, рождаются и умирают. Поверхность Земли сначала была готова для растений, потом уж для животных и человека; растения опережают человека и животных, и разные виды травы, плесень, мох уже льнут к тому голому камню, на котором нет места для животного существа. Если рыхлая земля способна принять в себя семена растений, если луч солнца согревает их, они прорастают и, умирая, приносят свои плоды, потому что прах их лучше хранит и обогревает новые растения. Так покрываются цветами и травою скалы, и болота со временем превращаются в ковры из растений и цветов. И, разлагаясь, неуемная флора Земли обогревает темницу природы, и тут растут живые существа и развивается вся культура Земли.

Вот что бросается в глаза: человеческая жизнь в той мере, в какой она растительна, разделяет судьбу флоры. Как растение, человек и животное рождаются из семени, и семя, зародыш будущего дерева, тоже нуждается, чтобы вырасти, в теплой материнской оболочке. Человек формируется в чреве матери, растет там, как растение; и позже наши нервы и волокна, первые побеги и силы можно сравнивать с чувствительными органами растений. И жизнь нашу можно сравнить с жизнью растения: мы прорастаем, растем, цветем, отцветаем, умираем. И нас вызывают на свет, не спросившись нашего желания, и никто не узнаёт у нас, какого пола мы желаем быть, и от каких родителей явиться на свет, и на какой почве, тощей или тучной, хотим мы жить, и от какого внутреннего или внешнего повода умереть. Во всем этом человек следует высшим законам и, подобно растению, ничего не знает о них и даже служит им всеми своими самыми сильными стремлениями и влечениями. Пока человек растет, пока соки кипят в нем, мир кажется ему радостным, широким! Он протягивает ветви свои во все стороны, думает, что дорастет до неба. Природа увлекает его жизнью, силы его бодры, он энергичен, он неутомимо трудится и усваивает те умения, которые пожелала развить в нем природа, выращивая его в поле или на огородной грядке. Но вот природа достигла своих целей – и постепенно оставляет человека. В цветущую весеннюю пору, в годы нашей

юности – как изобильна повсюду природа! Кажется, своими цветами она хочет усадить целый новый мир! Но прошло несколько месяцев – и все совсем иначе: половина цветов опала, несколько жалких сухих плодов завязалось и зреет. Все дерево трудится и напрягается, чтобы они созревали, – но вот уже начинают засыхать листья. Дерево сыплет свои блеклые волосы, оплакивая покинувших его детей, – голые ветви торчат, но и сухие ветви ломает буря, и наконец дерево падает на землю, и лишь немногий флогистон переходит в душу природы. Разве не то же самое человек, если посмотреть на него как на растение? Какая безмерность надежд, какие ожидания, какая жажда деятельности наполняет неясными и живыми предчувствиями юношескую душу! Всего ждет он от себя, и именно потому все удается ему, ибо удача – верная спутница юных лет. Но прошло несколько лет – и все переменилось вокруг, потому что переменился сам человек. Самое малое исполнил он из того, что хотел исполнить, и он радуется, если не обязан исполнить задуманного уже теперь, не ко времени, если может жить спокойно и тихо. В глазах высшего существа все деяния человека на Земле столь же весомы, по крайней мере столь же определенны и четки, как деяния и предприятия любого дерева. Человек развивает в себе то, что способен развить, и овладевает тем, над чем способен взять верх. Он гонит стебель, растит побеги, выращивает плоды и сеет новые деревья, но он не может сойти с места, на которое поставила его природа, и неоткуда взять ему сил, которых природа не вложила в него.

Но главное, что ущемляет гордость человека, так это то, что самыми сладостными порывами своей души, которые именует он любовью и в которых он проявляет такую разборчивость и так следует своим желаниям, он – столь же слепо, как растение, – служит законам природы. И чертополох, как говорится, красив, когда цветет, а цветение, это мы знаем, у растений пора любви. Чашечка цветка – постель, венчик – занавес, другие части – детородные органы, которые природа выставила у этих невинных творений напоказ, украсив их пышно и прекрасно. Чашечка цветка – одр Соломонов, чаша прелести, восхищающая и другие существа. Почему природа все так создала, почему, связывая людей любовью, она вплела в узы любви самые прелестные свои сокровища, какие нашлись в поясе красоты ее? Великая цель природы – вот чего надлежит достигать, а не мелких целей чувственного существа, разукрашенного природой, – цель эта – *продолжение* жизни, сохранение рода. Природе нужны зародыши и семена, ей нужно бесконечно много семян, ибо шаги ее величественны – она тысячу разных целей преследует в один миг. И она должна считаться с потерями, ибо все живое теснится и ни для чего нет места, чтобы развиться полностью. И природа отнесла время любви к периоду юности и зажгла факел свой от самого тонкого и пылкого пламени, какое нашлось между небом и землею, – для того чтобы в мнимом своем расточительстве не утерять

самого существенного, первой свежести жизненных сил, и предотвратить все неожиданности в судьбах теснящихся на узком пространстве живых существ. Приходит пора юности, и расцветают неведомые ранее стремления, о которых не подозревали ребенок и подросток. Взор оживает, голос мужает, ланиты девушки розовеют – два юных существа ищут друг друга и не знают, чего им надо, они томятся, желая соединиться, но отказала им в этом строго разделяющая природа, и они носятся по морю обмана. О творения человеческие! Сладостен ваш обман, наслаждайтесь своею порой, но знайте, что не ваши маленькие сны, а природа мило и изящно принуждает вас исполнить величайшие преднамерения свои. В первых двух особях всякой живой породы, в самце и самке, природе угодно было посеять все грядущие поколения; вот почему в мгновения бодрости и наслаждения отбирала природа и соединяла животворящие семена жизни, – отнимая что-либо у живого существа с его существованием, природа хотела отнять как можно незаметнее, отнять кротко и мягко. А когда жизнь рода обеспечена, природа постепенно выпускает индивида из рук своих. Едва прошло время совокупления, и лось теряет свои великолепные рога, птицы перестают петь, оперение их бледнеет, рыбы утрачивают свой вкус, растения – лучшие краски. У бабочки выпадают крылья, и дыхание оставляет ее – а не потеряв сил своих, в одиночестве, она прожила бы с полгода. Если молодое растение не цветет, оно выдерживает зимнюю стужу, а если цветет слишком рано, то погибает. Банановое дерево (муза) иногда растет до ста лет, но если оно расцветает, то никакое уже искусство, никакой опыт не спасут его, и на следующий год пышный ствол его погибнет. Зонтичная пальма за 35 лет достигает высоты в 70 футов, потом, за следующие четыре месяца, вырастает еще на 30 футов, цветет, приносит плоды и умирает в том же году. Таковы пути природы: она одно живое существо выводит из другого; река течет, а волны теряются одна в другой.

* * *

Наблюдая за распространением и перерождением растений, мы замечаем известные закономерности, которые можно применить и к творениям, стоящим выше, – они, эти закономерности, подготавливают нас к постижению перспектив и законов всей природы. Всякое растение растет в своем климате, то есть требует не только известной почвы, но и растет на определенной высоте, при таких-то особенностях воздуха, воды, при таком-то тепле. В недрах земли все хаотически перемешано, и хотя свойства и горных пород, и металлов, и кристаллов объясняются свойствами земли, в которой они выросли, почему и получаются иногда самые странные различия между ними, то все же в царстве Плутона люди лишены возможности *общего географического обзора* всей Земли и не пришли еще к открытию основных принципов, как в прекрасном царстве Флоры.

Итак, *ботаническая философия**, упорядочивающая растения по высоте, на которой они растут, по характеру почвы, по особенностям воздуха, воды, тепла, очевидным образом подводит нас к той философии, что упорядочивает подобным же образом мир животных и человека.

Все растения встречаются на Земле в дикорастущем состоянии, и наши культурные сорта тоже вышли из чрева вольной природы и растут лишь в известных широтах, достигая полного совершенства. То же – животные и человек, ибо каждая порода людей естественным образом складывается и растет лишь в подобающей ей области Земли. На каждой почве, на всяких горах, в каждой атмосферной зоне, в своем холоде и тепле растут свои растения. На скалах Лапландии, в Альпийских горах, на Пиренеях растут, несмотря на расстояния, все те же или похожие травы; и похожие дети вырастают в Северной Америке и северных частях Татарии. На таких нагорьях, где ветер нещадно рвет растения, где лето коротко, растения мельче, но зато дают множество семян, а если пересадить их в сад, то они вырастут длиннее и листья их будут крупнее, но семян они дадут меньше. Всякому ясно, как напоминает это животных и человека. Все растения любят свободу; в оранжереях они склоняют свои головы в ту сторону, откуда падает свет, а иногда и просовываются через отверстия наружу. В закрытом помещении, в тепле растения вырастают выше, пышнее, но они и бледнее, и плодов у них меньше, а если вдруг пересадить их на волю, то они теряют листья. Не то ли самое будет с людьми, если культура нежит, холит и неволит их? Иная почва, другой воздух порождают новые разновидности растений, но то же можно сказать о животных и о людях; растения могут выиграть в красоте, в форме листьев, в числе стеблей, но теряют силу к продолжению рода. Не то ли самое у людей и животных (если отвлечься от разницы в силах и степени сложности)? Растения в теплых зонах разрастаются и становятся целыми деревьями, а в холодных странах они хиреют и дают карликовые побеги. Одно растение – для моря, другое – для болота, третье – для родников и озер; одно любит снег, другое – ливни, какие бывают в жарких странах, и все это налагает свой отпечаток на их форму, на их строение. Не можем ли мы ожидать подобных различий, когда перейдем к органическому зданию человека? Ведь и мы в какой-то мере тоже растения?

Особенно приятно наблюдать, что растения своеобразно считаются с временами года, даже и с временем суток, лишь постепенно привыкая к чужому климату. Ближе к полюсу рост их замедляется,

---

* «Ботаническая философия» Линнея[1] (Linnaei philosophia botanica) – классический образец для нескольких наук; если бы у нас была в этом же роде philosophia anthropologica, написанная кратко и с должной многогранностью и точностью, то в наших руках была бы нить, которой могло бы следовать всякое новое наблюдение. Аббат Сулави в своей книге «Hist. naturelle de la France meridionale» (T. II. Ч. 1)[2] дает нам «очерк всеобщей физической географии растений» и обещает такой же очерк о животных и о человеке.

но созревают они там быстрее, потому что лето наступает позже и летняя погода сильнее действует на них. Растения, которые привозят в Европу из южных стран, в первое лето созревают позже, потому что ждут обычного для их климата солнца; на второе лето они созревают уже быстрее, постепенно привыкая к новым для них широтам. В искусственном климате оранжереи каждое растение придерживается тех сроков, в которые росло оно на родине, хотя иной раз и растет в Европе лет пятьдесят. Растения с мыса Доброй Надежды цветут зимой, потому что лето в Южном полушарии бывает тогда, когда у нас – зима. Мирабилис цветет ночью, и, как предполагает Линней, потому, что на его родине, в Америке, в эту пору – день. Так всякое растение придерживается своих сроков, когда раскрывается и закрывается, строго выдерживает часы. «Цветы словно знают, что для роста им нужны не только тепло и вода», – так пишет философ-ботаник*[3] и, несомненно, рассуждая об органических различиях, существующих между людьми, об акклиматизации человека в чуждых ему зонах, следует думать тоже не об одном только холоде и тепле, особенно когда сопоставляют два полушария Земли.

* * *

И наконец, если заговорить о том, как человек и растение сосуществуют, как они живут вместе друг с другом, то тут откроется перед нами целое поле замечательных явлений, – если бы мы только могли идти по нему! Так, было замечено**, что растения точно так же, как и мы, люди, не могут жить в чистом воздухе, но что они впитывают как раз горючее вещество, флогистон, убивающее животных и во всех животных телах способствующее гниению! Замечено было, что это полезное свое дело, очищение воздуха, растения производят не с помощью тепла, а с помощью света, так что впитывают они даже холодный свет Луны. Благотворные дети Земли! Разрушающие наше тело вещества, отравленное наше дыхание вы впитываете в себя, и нежнейшая среда, воздух, должна помочь вам соединить эту отраву с вашей тканью, и вы выпускаете наружу чистый воздух. Вы поддерживаете здоровье в существах, которые губят вас, и, умирая, вы продолжаете творить благое дело – вы оздоровляете землю и умножаете ее плодородие.

Если бы растения и достигали только этих двух целей, как переплелось бы уже их тихое существование с жизнью животных и человека! Но как многообразно сплетается история царств природы, как обновляется между ними связь: ведь растения – это и самая изобильная пища для животных, а в истории человеческого рода с его столь различным образом жизни так много зависело от того, что выберет человек себе в

---

* «Работы Шведской Академии наук». Т. 1. С. 6 сл.

** «Опыты с растениями» Ингенхауса[4]. Лейпциг, 1780. С. 49.

пищу – растения, животных и т.д. Самые спокойные и, если можно так сказать, самые человечные животные питаются растениями, а в характере народов, которые питаются растениями или хотя бы предпочитают растительную пищу мясной, тоже замечен такой же здоровый покой, светлый нрав и беззаботность. А плотоядные животные по природе своей гораздо более дики; человек, существо всеядное, по крайней мере, *не обязан* быть плотоядным животным, о чем говорит строение его зубов. Часть народов, населяющих Землю, как и в давние времена, питаются молоком и растениями, а какое богатство пищи предоставила им природа: одно дерево может иной раз прокормить целую семью – это и сердцевина, и сок, и плоды, и даже кора и ветви растений! Всякой области Земли чудесным образом дано природой все необходимое для нее: и то, что растение даст, но и то, что оно притянет к себе и возьмет. Так, растения живут флогистоном, то есть испарениями, среди которых встречаются вреднейшие для нашего организма, а потому и противоядие, которое вырабатывают они, согласуется с особенными условиями, существующими в каждой стране, и для животных тел, склонных к гниению, растения готовят именно то целебное средство, которое излечивает обычные для этой местности болезни. Вот почему человеку не следует жаловаться на ядовитые растения, ведь они отводят яды, то есть наиболее благотворны для целого края, а в руках человека и нередко уже в руках природы такие яды превращаются в наиболее действенные противоядия. И если случалось так, что люди совершенно искореняли в той или иной области один из видов растений или животных, то редко не наносило это очевиднейшего ущерба живому миру в целом – и разве не снабдила природа и каждую породу животных, и человека такими органами и чувствами, чтобы они умели выбирать полезные для себя травы и обходить вредные?

Приятно бродить между деревьев и трав, изучая, как великие законы природы определяют полезность их, влияние на жизнь животных и людей в каждой стране, в каждой области Земли. Но мы удовольствуемся в дальнейшем тем, что будем срывать лишь некоторые цветы на этом неизмеримо обширном поле, а любителю и знатоку выскажем свое пожелание, чтобы была у нас приспособленная к истории человечества *общая ботаническая география.*

III. Мир животных в связи с историей человечества

Животные – старшие братья людей. Людей еще не было, а животные были, и позднее, куда ни приходили люди, местность была уже занята и по крайней мере некоторые стихии населены – иначе чем бы стали питаться пришельцы, если не одною травой? Итак, односторонней и неполной будет история человека, если рассматривать его вне связи с животным миром. Правда, человеку дана земля[5], но не ему одному и не

ему в первую очередь: в каждой из стихий единовластие человека оспаривают те или иные животные. Один род приходится укрощать, с другим вести непримиримую, долгую борьбу. Некоторые не подчинились человеку, с другими он беспрестанно воюет. Короче говоря, насколько удавалось проявить животным ловкости, ума, храбрости, силы, столько и завоевали они для себя на Земле.

Итак, пока не важно, что человек разумен, а животные неразумны. Если у них нет разума, то есть другие преимущества, – конечно же, ни одно из своих чад не оставила природа беспризорным. Если природа бросит живое существо, кто же позаботится о нем, – ведь весь мир сотворенных существ вечно воюет друг с другом и противоположные силы в любой миг готовы столкнуться друг с другом! Человека, богоравного, то преследует змея, то всякая нечисть, то гонится за ним тигр, то готова проглотить акула. Все – в вечном споре, и все утесняется, и всякий должен спасать свою шкуру, и каждый заботится о том, чтобы не погибнуть.

Почему так? Почему так поступила природа? Почему так прижала и притеснила она свои живые творения? Вот почему: природа хотела добиться, чтобы на наименьшем пространстве жило величайшее и многообразнейшее число живых существ, – вот почему одни одолевают других; и мир в творении создается лишь благодаря равновесию сил. Каждый вид заботится лишь о себе, как будто он один на целом свете, а на самом деле рядом с ним другой вид, который ограничивает его поле деятельности, и лишь в таком соотношении противопоставленных друг другу пород нашлось у творящей природы средство сохранить целое. Природа взвесила силы, подсчитала звенья целого, она направила друг против друга слепые устремления животных видов и предоставила Земле рожать все, что способна Земля родить[6].

Вот почему меня не огорчает, что погибли виды крупных животных. Погиб мамонт, но погибли и великаны; другим было прежде соотношение между родами живых существ. А теперь мы видим на Земле равновесие, причем не только в целом, на всей Земле, но и очевидное равновесие в каждой отдельной стране и части света. Культура может еще изгнать животных из той или иной страны, но едва ли может она совершенно искоренить целую их породу, – по крайней мере такого не случалось еще ни в одной большой части Земли; а, с другой стороны, разве не приходится природе вместо животных хищных и диких питать все больше животных прирученных и домашних? Итак, на Земле в ее теперешнем состоянии не вымерло ни одного живого рода, хотя я и не сомневаюсь, что раньше, когда Земля была совсем другой, могли жить на ней и совершенно другие живые существа и что позже, когда природа или искусство совершенно изменят Землю, сложится на ней и другое соотношение между живыми существами.

Короче говоря, повсюду человек вступил на Землю, уже обитаемую, – все стихии, все болота и реки, песок и воздух полнились живыми существами или наполнялись новыми родами живых существ, а человеку пришлось добывать для себя место, чтобы воцариться и царить, пользуясь божественным искусством хитрости и силы. История того, как удалось человеку достичь господства в мире, – это история человеческой культуры, и самые некультурные народы причастны к этой истории – вот, можно сказать, самая важная глава в истории человечества. Сейчас я замечу только, что люди постепенно установили свое господство над животными, а устанавливая свое господство, почти всему и научились у животных. Животные были живыми искрами божественного разумения, и свет от этих искр человек весь направлял на себя, собирал его в круг, более тесный или более широкий, – относится это к питанию, образу жизни, одежде, ловкости, умениям, искусствам, влечениям и стремлениям. Чем больше учится человек у животных, чем с большим умом учился он и чем умнее были животные, у которых он учился, чем больше приучал он их к себе, чем более близок к ним был, воюя с ними или мирно с ними сосуществуя, тем больше выигрывало воспитание его как человека, а потому *история человеческой культуры* – это в большой мере *зоология* и *география*.

* * *

Во-вторых. Если так велико разнообразие климатических условий и стран, горных пород и растений на Земле, насколько же большим будет разнообразие среди живых обитателей Земли! Но только не ограничивайте их поверхностью Земли, ведь и воздух, и вода, и даже внутренние части растений, и даже самые животные – все кишит жизнью. Бесчисленное воинство – и все это для мира, и все это для человека! Какой бурный верхний слой земного мира; все на нем наслаждается своим существованием, все творит, все живет – во всю ширь, насколько простираются лучи Солнца!

Не буду пространно рассуждать о вещах общих – о том, что каждое животное существует в своей стихии, в своем климате, что у каждого есть свое особое подобающее ему обиталище, что некоторые виды животных мало распространены на Земле, другие – больше и лишь немногие распространены почти по всей Земле, как и сам человек. Есть на эту тему книга весьма продуманная, где материал собран с настоящим усердием ученого, – это «Географическая история человека и общераспространенных четвероногих животных» Циммермана*[7]. Я подчеркну сейчас лишь отдельные моменты, подтверждением которых послужит для нас и история людей.

1. И те виды, которые живут на всем земном шаре, почти в каждой климатической зоне, принимают иной вид. Лапландская собака – не-

* Три тома с точной зоологической картой. Лейпциг, 1778–1783.

большого размера, безобразная на вид; в Сибири та же собака – животное стройное, но по-прежнему с торчащими ушами и не крупная, а в тех странах, где живут самые красивые люди, пишет Бюффон, живут и самые красивые, и самые большие собаки. В тропиках у собаки пропадает голос, а дикая собака похожа на шакала. На острове Мадагаскар у быка вырастает горб весом в 50 фунтов: этот горб в других местностях постепенно сходит на нет; и такая порода почти во всех областях Земли отличается по величине, силе, масти, смелости нрава. На мысе Доброй Надежды у европейской овцы вырастает бурдюк весом до 19 фунтов, в Исландии вырастает у нее до девяти рогов, в Оксфордском графстве в Англии овца догоняет ростом осла, а в Турции у нее шкура полосатая, как у тигра. Таковы различия любой породы животных, а что же человек, будет ли он изменяться в зависимости от климатических условий, коль скоро по строению мышц и нервов он продолжает оставаться животным? Если судить по аналогии природы, только чудом человек не станет изменяться.

2. Все прирученные животные прежде были дикими, и прообразы большинства наших домашних животных обитают на Земле в диком состоянии, по большей части в горах Азии, на родине людей по крайней мере Северного полушария, на родине их культуры. Чем дальше от этих центральных гор, особенно если продвижение затруднено, тем меньше встречается видов домашних животных, и наконец, на Новой Гвинее, в Новой Зеландии и на островах Южного моря[8] свинья, собака и кошка – вот и все богатство.

3. В Америке по большей части – свои животные, вполне сообразные с этой частью света, сложенной из низин, долгое время затоплявшихся водой, и чудовищных горных высот. В Америке было мало больших животных, и еще меньше животных можно было укротить, – тем больше тут разновидностей летучих мышей, броненосцев, крыс, мышей, унау[9], аи, тут целые полчища насекомых, амфибий, лягушек, жаб, ящериц и т.д. Каждый понимает, что это обстоятельство не могло не возыметь действия на историю живших тут людей.

4. В тех местностях, где силы природы наиболее деятельны и энергичны, где летняя жара сочетается с ветрами, в определенные сроки меняющими свое направление, с сильными наводнениями, с мощными разрядами электрической материи, короче, со всем, что есть в природе, что творит жизнь, что есть в природе живого, – в тех местностях живут самые развитые, самые сильные, самые крупные, самые смелые животные, а флора тут наиболее богата пряными, острыми растениями. В Африке разгуливают стада слонов, зебр, ланей, буйволов, обезьян; львы, тигры, крокодилы, бегемоты являются тут в своем полном вооружении; к небу поднимаются самые высокие в мире деревья, и на них сверкают самые сочные и самые полезные в мире плоды. Как богата флорой и фауной Азия, знает каждый, и наиболее богаты в Азии те

места, где могучими потоками изливается электрическая сила солнца, воздуха, земли. А где сила эта слабеет, где она проявляется реже, как в странах холодного климата, где вода, содержащая щелочь, соли, мокрые смолы подавляют или удерживают электрическую силу, там, как видно, и не могут развиться те существа, для развития которых нужна свободная, ничем не сдерживаемая игра электрических сил. Ленивая жара, смешанная с влажным воздухом, порождает тучи насекомых и амфибий, но никогда не породит ни одного из тех чудесных животных Старого Света, что, кажется, насквозь прожжены живым огнем. Ни одно живое существо Нового Света не знает мускульной силы льва, огненного взора тигра, его упругого прыжка, тонкой понятливости слона, кроткого характера газели, злой хитрости и коварства азиатской или африканской обезьяны. Животные Нового Света словно с великим трудом выкарабкались на свет из теплого ила: одному недостает зубов и клыков, другому – ступней и когтей, третьему – хвоста, но подавляющему большинству недостает смелости, прыткости, роста. Живущие в горах оживленнее, но и им далеко до животных Старого Света, а тела их обычно покрыты чешуей и показывают, что существу их недостает электрических потоков.

5. И наконец, некоторые замеченные нами у растений явления еще более странно выглядят у животных, которые очень медленно привыкают к чужому им климату, особенно климату антиподов, и нередко ведут себя вопреки природе. Так, описанный Линнеем* американский медведь и в Швеции соблюдал прежние часы. Он спал с полуночи и до полудня, а с полудня до полуночи разгуливал, как будто на улице – день, и все прочие его инстинкты отвечали американскому времени дня и ночи. Не заслуживает ли такое наблюдение того, чтобы и другие, подобные, были произведены в Восточном и Южном полушариях? А если такому различию следуют животные, то неужели же род человеческий при всем своеобразном своем характере совершенно не затронут им?

IV. Человек – центральное существо среди земных животных

1. Линней насчитал 230 видов млекопитающих, включая и морских животных, в то время как птиц – 946 видов, земноводных – 292 вида, рыб – 404, насекомых – 3060, червей – 1205 видов; итак, млекопитающих было меньше всего, а за ними шли земноводные, как раз наиболее близкий к ним отряд. Число видов и родов, обнаруженных в воздухе и воде, в болотах и песке, быстро умножалось, но я думаю, что уста-

* «Работы Шведской Академии наук». Т. 9. С. 300.

новленная Линнеем пропорция сохранится и в будущем. Если после смерти Линнея число видов млекопитающих дошло до 450, то Бюффон насчитывает уже примерно 2000 видов птиц, а Форстер на некоторых островах Южного моря открыл во время краткого своего пребывания там 109 новых видов птиц, тогда как на этих островах совсем не было млекопитающих, прежде неизвестных. Если такая прогрессия сохранится и в будущем и будет открыто гораздо больше новых видов насекомых, птиц и червей, чем совершенно новых видов млекопитающих, сколько бы ни находилось их в тех частях Африки, куда до сих пор не ступала нога человека, то мы со всей вероятностью можем принять следующую теорему: *отряды живых существ расширяются по мере удаления от человека; чем ближе животные к человеку, тем меньше видов так называемых совершенных животных.*

2. Нельзя, однако, отрицать, что при всех различиях, какие существуют между живыми населяющими Землю существами, строение их отмечено известным единообразием, так что как бы царит *одна основная форма,* которая и варьируется, порождая нескончаемые различия. Подобие скелета всех земных животных бросается в глаза, главные части скелета – голова, туловище, руки, ноги – и даже самые главные члены тела построены по одному первоначальному образцу и только бесконечно разнообразятся. Анатомическое строение животных еще более выявляет это сходство, и даже еще весьма неразвитые существа по внутреннему строению некоторых главных частей очень напоминают человека. Уже земноводные удаляются от такого основного типа, и еще более далеки от него птицы, рыбы, насекомые, живущие в воде существа – эти последние постепенно теряются среди растительных образований и окаменелостей. Глубже мы не можем заглянуть, но если судить по таким переходам, то вполне вероятно, что и в морских существах, и в растениях, а может быть, и в тех существах, которые мы называем неодушевленными, заложены одни и те же основы, задатки органического строения, только в гораздо более развитой и ясной форме. Вполне возможно, что для взгляда вечного существа, который усматривает единую взаимосвязь всего, форма льдинки, вокруг которой складывается снежинка, составляет аналогию к образованию эмбриона в чреве матери.

Итак, мы можем принять вторую теорему: *по мере приближения к человеку основная форма строения животных в большей или меньшей степени сходна со строением человека, и природа, склоняясь к бесконечному разнообразию живых существ, по-видимому, все живое на Земле создала по единой протоплазме*[10] *органического строения.*

3. Отсюда явствует само собою, что главная форма должна была варьироваться в зависимости от пола, породы, свойств, стихий, а потому *особь одного вида объясняет особь другого вида.* То, что лишь намечено у одного вида, у другого становится как бы главным: природа все свое

внимание обращает на один член тела, увеличивает его в размерах и подчиняет этой части другие члены тела, во всем соблюдая, однако, самую продуманную гармонию. А в строении другого вида, напротив, эти подчиненные части становятся главными, и потому все существа целого органического творения – это как бы disjecti membra poetae*. Кто хочет изучать живые существа, тот должен изучать одно в другом: у одного природа как бы пренебрегла какими-то членами и оставила их неразвитыми, но этим она указывает на другое существо, где они развиты до конца и очевидны для наблюдения. И это положение подтверждают все без исключения виды расходящихся в своем строении живых существ.

4. И наконец, человек среди всех земных существ занимает центральное положение, будучи существом наиболее сложно и тонко организованным, в котором, насколько допускала эта конкретность его предназначения, сошлось большинство наиболее тонких лучей, исходящих от сходных с ним существ. Не все мог он вместить в себя вполне равномерно: одному существу недоставало тонкости органа чувств, другому – мускульной силы, третьему – упругости нервов, но в целом все, что можно было соединить в человеке, и было соединено в нем. У человека общие с млекопитающими члены тела, влечения, чувства, способности, художества; что не перешло к человеку по наследству, то было перенято им, что не было вполне развито, то существует в задатках. Сравнивая близкие к человеку виды животных, хочется смело сказать: все они – лучи его образа, пре ломленные и разведенные в разные стороны катоптрической системой зеркал. А потому мы можем принять четвертую теорему: *человек – срединное между животными существо, самая разработанная форма, тончайшая квинтэссенция, соединяющая в себе черты всех окружающих его видов.*

Надеюсь, что сходство человека и животных, на которое указываю я, не будет смешано с той игрой воображения, при которой у растений и даже у камней находят внешние формы человеческих членов тела, торопливо подхватывая подобные примеры и выстраивая на их основе целые системы[12]. Всякому разумному человеку смешно смотреть на такую игру, потому что пластическая природа как раз скрывает за внешним видом внутреннее сходство анатомического строения, маскируя его внешними различиями. Животное внешне может казаться очень непохожим на человека, но в строении внутренних органов, в скелете, в основных членах тела и органах чувств, даже в жизненных процессах может обнаруживать самое поразительное сходство с человеком! Достаточно просмотреть анатомические картины Добантона, Перро, Палласа и других академиков, и все можно увидеть собственными глазами. Естественная история, преподаваемая детям и подросткам,

* Разъятого члены поэта (*лат.*)[11].

должна, конечно, ограничиваться отдельными различиями внешнего вида, чтобы была опора для зрения и памяти, но естественная история, философская и вполне возмужавшая, изучает строение животного и снаружи, и внутри, сравнивает строение и образ жизни, который ведет животное, и стремится определить характер и место животного в мире животных. Когда речь идет о растениях, такой метод называют *естественным,* и именно к такому естественному методу должна шаг за шагом подвести нас *сравнительная анатомия.* Вместе с таким методом человек *сам в себе* – естественным путем – обретает путеводную нить, которая поможет ему пройти через весь великий лабиринт живого творения Земли; если о каком-либо методе можно сказать, что наш дух, пользуясь им, осмеливается мыслить вслед за все промысливающим и все объемлющим разумением Бога, то таким методом будет наш естественный метод. При всяком отклонении от правила, от некоего канона Поликлета[13], явленного нам верховным художником в человеке, нам сразу же будут указаны причины: почему творец отклонился в этом случае, почему он иначе ваял в другом; и тогда земля, воздух, вода, даже самая глубочайшая глубь одушевленного творения станет для нас кладовой мыслей и приемов творца, где реально складывается в *единый образ задуманный им прообраз искусства и мудрости.*

Какую великую, какую разнообразную перспективу представил нам взгляд на историю подобных и совсем не подобных нам живых существ! Эта перспектива разделяет и связывает царства природы и отряды живых существ по их стихиям; и в самом далеком от нас существе мы замечаем радиус, исходящий из одного и того же центра. И я вижу, как из воздуха и воды, с высот и из глубин поднимаются и идут к человеку животные, как подходили они к праотцу рода человеческого[14], – шаг за шагом приближаются они к человеческому облику. Птица летает в воздухе, и каждое отклонение формы ее от строения млекопитающих объясняется стихией воздуха; как только промежуточный вид касается земли, так скелет безобразных существ – летучей мыши или вампира – начинает напоминать человеческий скелет. Рыба плавает в воде, и плавники ее – не развившиеся руки, ноги, хвост – еще слишком незначительно у рыб членение тела. Когда рыба выходит на сушу, у нее – как, например, у манати, – вычленяются передние конечности, а у самок вырастают груди. У морского котика и морского льва можно без труда видеть уже все четыре конечности, хотя задними он и не может пользоваться и пять пальцев их влачит за собой, словно отростки плавников, тем не менее он, как умеет, неспеша выползает на сушу, чтобы погреться на солнце, и он уже поднялся ступенькой выше безобразного, бесформенного тюленя. Так более высокие органические существа выходят из праха червей, из известняковых домиков моллюсков, из паутины насекомых, и членение тел их постепенно усложняется. Через земноводных мы приближаемся к наземным животным, а

среди наземных даже отвратительный унау с тремя пальцами и грудями уже есть аналог строения человеческого тела. Природа играет вокруг человека, упражняется, создает огромное множество задатков, различных органических существ. Она распределила между животными все возможные образы жизни, всяческие стремления и влечения, она перессорила роды животных, но все кажущиеся противоречия между ними ведут к одной общей цели. Итак, и в анатомическом, и в физиологическом смысле верно, что во всем живом творении царит аналог *единого органического строения;* но только чем дальше от человека живое существо, чем отличнее стихия, тем дальше природа, всегда равная сама себе, от прообраза своих органических творений. Чем ближе к человеку, тем уже отряды, тем больше сходятся радиусы, чтобы слиться в человеке – священном средоточии всего земного творения. Радуйся, о человек, выпавшей тебе доле, изучай себя во всем живущем вокруг тебя, о благородная средина всех живых существ Земли!

Книга третья

I. Сравнение органического строения растений и животных в связи со строением человека

Первое, чем животное отличается в глазах наших от растений, – это рот. Растение, если можно так сказать, все целиком – один рот; оно сосет корнями, листьями, стеблем, оно, словно еще не развитое дитя, лежит в материнском лоне, на груди у матери-природы. Но когда живое существо готово сложиться в животный облик, мы сразу же замечаем рот, даже если нельзя еще различить голову. Конечности спрута – это рты; у червя трудно различить внутренние члены тела, но пищевод уже виден; у некоторых моллюсков ротовое отверстие – в нижней части тела, как будто это все еще корень. Итак, природа прежде всего сформировала в живых организмах такой проток, и сохраняется он у самых высокоорганизованных живых существ. Куколки насекомых – это почти только рот, желудок и кишки; для переваривания пищи приспособлена форма рыб и земноводных, птиц и наземных животных, сохраняющих горизонтальное положение тела. Но если подниматься выше, то части тела во многих отношениях упорядочиваются. Ротовое отверстие сужается, желудок и кишки опускаются вниз, и, наконец, у прямоходящего человека и внешне рот уступает более высокому органическому сложению лица, тогда как у животных голова всегда выступает вперед; более благородные части тела заполняют у человека грудную клетку, а органы пищеварения размещены ниже. Человек – существо более благородное, а потому не должен служить одному чреву, тогда как у всех его низших братьев, если судить по форме членов тела и по жизненным отправлениям, господство чрева было полным.

Итак, первый закон, которому подчинены все инстинкты живого существа, – это свое пропитание. У животных закон этот – общий с растениями: те части тела, которые впитывают и переваривают пищу, и у животных готовят соки, и ткань их напоминает ткань растения. Только более тонкое органическое строение, более сложная смесь, очищение и выработка жизненных соков постепенно, по отрядам и видам животных, способствует развитию более тонких соков, которые смачивают более

благородные части тела, по мере того как более низменные природа сдерживает и ограничивает. Гордый человек, взгляни на первоначальные, жалкие задатки твоих собратий – эти задатки еще в тебе, и ты – пищевой проток, как и стоящие ниже тебя существа.

Только природа бесконечно облагородила нас по сравнению с ними. Зубы насекомых и других животных – это цепко держащие и рвущие добычу руки, челюсти рыб и хищных животных работают с поразительной силой, но у человека и зубы, и челюсти – на втором месте, и укрощена еще присущая им сила*. Множество желудков более низких существ сжаты в один у человека и некоторых наземных животных, по своему внутреннему строению приближающихся к человеку, и уста человека освящены самым чистым даром богов – даром речи. Черви, насекомые, рыбы, большинство земноводных молчат, и у птицы поет горло, у каждого из наземных животных есть несколько звуков, которые оно умеет издавать и которые нужны его роду в жизни; только у человека – самые настоящие органы речи, совмещенные с орудиями вкуса и жевания пищи; самое благородное сопряжено со знаками самой низменной нужды. Чем перерабатывает человек пищу своего низменного тела, тем перерабатывает он, произнося слова, и пищу своих мыслей.

Второе призвание живых существ – это *продолжение рода*; по самому строению растений видно, что они предназначены для этой цели. Чему служат корни, ствол, ветви, листья? И чему предоставила природа самое высокое или самое лучшее место? *Цветку, венчику*; а мы видели, что это – органы размножения цветка. Итак, они-то и превращены в главную и самую красивую часть всего растения; и в развитии их вся жизнь, и цель, и смысл растения, и ради нее совершает растение те единственные, на первый взгляд произвольные, движения, которые называют сном растения. Растения не спят, если их семенные запасы обеспечены; и если растение оплодотворено, то оно тоже уже не спит. Итак, цветок закрывался, чтобы *по-матерински* беречь от непогоды внутренние свои части, – так и все в цветке подчинено питанию и росту, размножению и оплодотворению, а делать что-либо помимо этого цветок не в состоянии.

Но у животных все иначе. Детородные органы – у них отнюдь не венец творения, они, напротив, подчинены более благородным частям, о чем можно судить и по предназначению живого существа, и только у некоторых живых существ, самых низших, эти члены тела находятся близко к голове; сердце, легкие помещаются в грудной клетке, голова отдана в распоряжение более тонким чувствам, и вообще, если судить по всему строению тела, все ткани, их соки, их цветущие силы находятся в подчинении у легко возбудимого механизма мышц и у восприимчивой нервной конституции. Весь образ жизни этих существ, очевидно, служит

* См. о силе этих членов тела у Галлера (Element. physiol. T. VI. P. 14–15).

духу, заключенному в их теле и в их органическом строении. Животные могут двигаться по своей воле, действовать, чувствовать, стремиться – это составляет их главное занятие – по мере того, как совершенствуется их органическое строение. Половое влечение у большинства видов ограничено коротким промежутком времени, а в остальное время они более свободны от этого влечения, чем низкие люди, которым хотелось бы вернуться к растительному состоянию. Таких людей, естественно, постигает судьба растений: их мускульная сила, сила воли ослабевают, восприимчивость притупляется, дух утомляется, они живут словно растения и умирают прежде срока, смертью растения.

Животные, которые ближе всего к растениям и по закономерностям своего строения, и по своему предназначению, следуют названному выше принципу образования; таковы зоофиты и насекомые. Полип по своему строению – не что иное, как живой органический отвод молодых полипов; коралловые заросли – это органическое строение, в котором живут эти морские существа; наконец, насекомое несравненно выше и полипов, и кораллов, оно живет в более тонкой среде и все же близко к границе растительного предназначения и по образу жизни, и по своему органическому строению. У насекомого – маленькая головка и нет мозга, и нет в голове места даже для самых нужных органов чувств, а потому насекомое несет их перед собою в виде щупальцев. Грудка – маленькая, и в ней нет легких и нет ничего, что составляло бы хоть самый отдаленный аналог сердцу. Но как велико, как обширно брюшко с его кольцами и насечками, словно у растений! Брюшко царит над животным*, и главное предназначение насекомого – питаться и производить многочисленное потомство.

У более благородных животных природа, как сказано, переместила детородные органы книзу; некоторым частям тела она даже придала несколько неоднородных функций, а потому в грудной клетке появилось место для более благородных членов тела. И даже нервы, ведущие к низшим частям тела, исходят не от головы, а от более низких стволов, и все эти нервы, мускулы, волокна, как правило, действуют помимо воли самой души. Необходимые для продолжения рода соки приготовляются как у растений, и словно растение питается плод в чреве матери. И, подобно растениям, сила низших органов и влечений начинает отмирать, когда сердце бьется, быть может, еще сильнее, а голова мыслит яснее прежнего. В человеческом теле, по тонкому замечанию Мартине**, растут не столько верхние части, сколько нижние, как будто человек – это дерево, у которого внизу – корни и ствол. Короче говоря, строение

---

* Многие существа и дышат с помощью его; по нему, вместо сердца, проходит артерия; некоторые с помощью его копают и точат и т.д.

** См. «Катехизис природы» Мартине[2]. Ч. 1. С. 316, где показан на таблице рост человека по годам.

нашего тела очень сложно, однако одно ясно: части, служащие чисто животному существованию и продолжению рода, никак не должны и не могли стать господствующими в целом уже по своему органическому строению – так у животных, не говоря уж о человеке.

А какие же части главенствуют в теле? Рассмотрим строение тела снаружи и внутри.

* * *

Вот порядок, который проходит через все ряды живых существ:

1) животные с одной полостью и одним желудочком сердца, как рыбы и земноводные, имеют более холодную кровь; у животных с одним желудочком без полости вместо крови белый сок; таковы насекомые и черви;

2) животные с четырьмя отделами сердца – теплокровные; таковы птицы и млекопитающие.

Равным образом замечено, что

1) у первых из названных выше живых существ нет легких, и они не могут дышать, а потому и кровь у них не может обращаться в теле;

2) у животных, у которых сердце с четырьмя отделами, есть легкие. Какие простые различия, но какие невероятные изменения проистекают из них, как облагораживаются живые существа!

Первое. Если сердце и несовершенно, то его наличие все равно требует уже, чтобы *органически сложились определенные внутренние части тела,* каких нет у растений. Даже у насекомых и червей можно найти сосуды, органы выделения, иногда даже мускулы и нервы, которые у растений восполнены трубками, а у зоофитов – подобными же образованиями, напоминающими сосуды животных. Чем более совершенно устроено живое существо, тем *более тонко вырабатываются его соки,* а вместе с ними и животное тепло, благодаря которому живое существо живет; так растет живое дерево жизни: от древесных соков – к белой лимфе животных – к крови, которая постепенно окрашивается, – и наконец, к более совершенному теплокровию органических существ. Древо жизни растет, и мы видим, как все больше и больше членится его внутреннее строение, как оно усложняется, как совершенствуется кровообращение, благодаря которому, вероятно, и возникает внутреннее тепло тела. И, как представляется, одно, только одно жизненное начало царит во всей природе – это *эфирный,* или, иначе, *электрический,* поток, он-то и перерабатывается в растительных каналах, в венах и мышцах животного, в нервном строении, перерабатывается все более тонко и тонко и разжигает те удивительные инстинкты и душевные энергии, которым поражаемся мы в животных и человеке. Лишь электричество вызывает рост растений, хотя жизненные соки растения гораздо органичнее и тоньше электрической силы, сказывающейся в неживой природе. И на животных, и на людей воздействует электрический поток, и

притом не только на более грубые части животного механизма, но и на более тонкие, граничащие и соседствующие с душой. Существо, законы которого простираются далеко за пределы материи, существо, творящее везде и во всем, вдохнуло жизнь в нервы животного, и они аффицируются электрической энергией тела. Короче говоря, все самое лучшее, что могла дать природа детям своим, она и дала им – это *органическое подобие ее собственной созидательной силы, животворящее тепло.* Из мертвой жизни растения живое существо создает своими органами живую возбудимость нервов, а совокупность возбудимости, очищенной в более тонких протоках, дает в результате ощущение. Возбуждения складываются во влечения, инстинкты; ощущения порождают в конечном итоге мысль – таково вложенное во всякое живое существо поступательное развитие органического творения; вместе с органическим теплом (оно не вполне доступно нашим грубым инструментам измерения) к роду живых существ приходит совершенство, и животное начинает тоньше чувствовать свое благополучие, а в чувстве таком, в его все проникающем потоке ощущает самое себя все согревающая, все животворящая, всем наслаждающаяся мать-природа.

Второе. Чем сложнее внутреннее строение животного, чем более способно оно выделять тонкое животное тепло, тем более способно оно *вынашивать в своем чреве и рождать на свет живой плод.* Новая ветвь великого древа жизни, проходящего через все роды живых существ*.

Известно, что большинство растений самооплодотворяется, и есть среди растений много двуполых и многобрачных, даже если органы размножения у них разделены. Равным образом замечено, что у самых низких видов животных – у зоофитов, улиток, насекомых – или совсем отсутствуют обычные детородные органы и живое существо просто дает побеги, как растение, или же среди них много гермафродитов, андрогинов и других отклонений от нормы, перечислять которые сейчас не место. Чем сложнее органическое строение, тем расхождение между полами ощутимее. И природа уже не могла довольствоваться органическими побегами, потому что предоставлять случаю возможность играть органическими формами значило бы подвергать опасности формирование сложного, многосоставного живого существа. Так размыслила мудрая природа и разделила полы. Но при этом она придумала форму органического соединения, при которой два существа сливаются в одно, а между ними появляется третье – отпечаток двух в момент, когда более всего разгорается их внутреннее органическое тепло.

---

* Возражение, что и полипы, некоторые улитки и даже тля рождают живое потомство, несостоятельно: в таком случае и растение приносит живое потомство, когда пускает побеги. У нас же речь идет о живородящих млекопитающих.

Зачатое в тепле, благодаря теплу, только благодаря теплу, развивается новое существо. Материнское тепло окружает его и его формирует. Еще не дышат легкие, а грудная железа уже впитывает соки; и у человека нет еще правого желудочка сердца, а вместо крови бродит по венам белая *лимфа*. Но по мере того как разгорается от материнского тепла внутреннее тепло тела, складывается сердце, кровь розовеет и начинает обращаться в теле, хотя и не может еще коснуться легких. Биение пульса все более оживляет существо, и вот оно выходит на свет, совершенное по своему строению, наделенное всеми инстинктами движения и ощущения, какие только могут быть в живом творении определенного вида. И тотчас же в воздухе, в материнском молоке, в средствах пропитания, даже во всякой боли, во всякой потребности – во всем появляется для него повод впитывать в себя тепло, впитывать его самыми разными бессчетными способами, перерабатывать его своими волокнами, мышцами, нервами, слагая в такое органическое строение, какое недоступно более низким существам. Оно растет и растет, и наконец наступает время, когда оно начинает стремиться к продолжению своего рода, к размножению, и заново начинается органический круг жизни...

Так поступила природа с живородящими существами, но не все способны к такому развитию. Неспособны холоднокровные животные. На помощь им пришло солнце и тоже стало их матерью. Солнце согревает живые существа, и они выходят на свет – доказательство того, что органическое тепло во всем творении едино, что оно только очищается и очищается, проходя через все более тонкие каналы. Даже и птицы не рождают живой плод, хотя кровь их теплее, нежели у пресмыкающихся; быть может, стихия, в которой живут они, слишком холодна, а может быть, это объясняется их образом жизни и предназначением. Природа пощадила эти легкие стремительные существа – им не приходится вынашивать плод в своем чреве и кормить его своей грудью. Но как только птица, пусть то будет даже самый безобразный переходный вид, касается поверхности земли, так она начинает кормить молоком свое потомство, и как только морское животное становится теплокровным и по строению своему способно рождать живой плод, то возлагается на него и обязанность кормить его грудью.

И как же способствовала этим природа совершенству видов! Легкокрылая птица может только высиживать яйца, но и вокруг этого малого домашнего очага что за прекрасные инстинкты просыпаются в отце и матери! Любовью родителей строится гнездо, любовь матери его согревает, любовь отца питает и помогает согревать гнездо. Как защищает свой приплод птица! Как целомудренна любовь существ, созданных для совместной жизни!.. А у наземных существ эти узы брака должны были стать еще теснее – вот почему живое дитя питается молоком своей матери, и мать питает его нежной частицей своего существа. И только

свинья с ее грубым органическим строением пожирает свой помет, и лишь хлоднокровные амфибии яйца свои откладывают в песок и топь. Все млекопитающие нежно заботятся о своих детенышах, любовь обезьяны вошла в пословицу, а обезьяне едва ли уступает хоть один животный вид. Даже морские существа любят свое потомство, и манати[3] являет собою пример супружеской и материнской любви, рассказы о которой кажутся сказкой. Природа, тонкая устроительница мира, вот какими простыми органическими узами связала ты и все самые необходимые отношения между чадами твоими и все самые прекрасные инстинкты их и устремления. Довольно сердечной полости, сердечной мышцы, легких, вдыхающих и выдыхающих воздух, – и вот уже сильнее и тоньше животное тепло, и вот уже существа рождаются на свет живыми, кормятся молоком матери, и вот животные привыкают уже не только к инстинкту деторождения, но усваивают и более тонкие влечения, у них появляется свой дом, они нежны со своим потомством, а между некоторыми возникает супружеская любовь. Тепло крови – вот поток, вот струя всеобъемлющей мировой души, от которой зажигаешь ты свой факел, о природа, и самые тончайшие движения человеческого сердца согреваешь ты его огнем.

Теперь мне следовало бы говорить о голове – высшей сфере животного строения, но прежде этого мне нужно рассуждать об ином – не о внешних формах и членах тела.

II. Сопоставление различных действующих в животном организме сил

Бессмертный Галлер с абсолютной точностью различил все силы, которые проявляются в физиологическом строении животного, – таковы упругость тканей тела, возбудимость мышц, способность нервов к ощущениям; написанная им картина не только неопровержима, но допускает самое разнообразное применение для целей физиологического учения о душе; и это касается не только человеческого тела.

Я оставляю в стороне вопрос о том, не являются ли все три указанные силы выражением одной-единственной, которая по-разному сказывается в фибрах, мышцах и нервах. Почти нельзя сомневаться в этом, потому что в природе все взаимосвязано и эти три вида проявлений глубоко и тесно сопряжены между собой в живом теле. Упругость и возбудимость близки друг к другу, как близки волокна и мышцы. Мышца – это сложное переплетение волокон, и возбудимость, по всей видимости, – не что иное, как бесконечно усиленная и углубленная реакция, которая благодаря переплетению множества частей перестала быть тупым и неживым чувством, присущим тканям тела, а поднялась на первую ступень возбудимости, когда животное уже само начинает

возбуждать свои мышцы. А чувствительность нервной системы – это третья, высшая разновидность все той же силы, результат взаимодействия всех без исключения органических сил человека, потому что нужна целая система кровообращения с ее сосудами и венами, чтобы кровь смачивала тонким соком корень нервов – мозг, столь превосходящий всю силу мышц и тканей, если рассматривать его как проводящую ощущения среду.

Но как бы то ни было, бесконечна мудрость, с которой творец соединил все эти силы в различных органических строениях животных, силы низшие подчинив высшим. Все в нашем теле соткано из волокон, на них расцветает человек. Лимфатические и молочные сосуды готовят сок для всего механизма. Сила мускулов не только приводит механизм в движение, но скрытая в теле мышца заставляет двигаться по телу кровь – вид лимфы, сока, и кровь не только согревает все тело, но поднимается и к голове, а благодаря этому пробуждает и все нервы. Словно неземной побег, нервы разбегаются по всему телу, вырастая из своего общего корня. А вот как они расходятся по телу, насколько они тонки, с какими частями тела состоят в родстве, какую степень возбудимости заключает в себе сложное переплетение мышц, какой сок готовят железы, напоминающие растительные ткани, какая соразмерность царит между всеми этими частями, каким чувствам идет это на пользу, какому образу жизни способствует, в какое органическое строение все в совокупности сведено, в какой внешний вид все собрано, – если тщательное изучение всех этих и подобных вопросов на примере отдельных живых существ, особенно на примере тех животных, которые близки к человеку, не объяснит нам инстинктов и характеров, какими наделены живые существа, не объяснит соотношения различных животных видов и не прольет света на причины превосходства человека над животными, то я и не знаю, откуда же еще можно черпать объяснения и физические выводы! К счастью, Кампер, Врисберг, Вольф, Зёммеринг и многие другие ученые-анатомы уже пошли по такому духовному пути в своих физиологических исследованиях и приступили к сопоставлению сил и орудий органической жизни разных живых родов и видов.

Как то сообразуется с моими целями, я предпошлю несколько принципиальных положений рассуждению о силах, присущих различным животным организмам и человеку, совершенно необходимых для того, чтобы основательно постигнуть все недостатки и все совершенства человеческой природы.

* * *

1. *Если есть где-либо в природе действие, то должна быть и вызывающая его сила; если возбуждение проявляется в устремлениях или даже судорогах, это возбуждение должно чувствоваться и внутри организма.* Если

эти положения неверны, то всякая взаимосвязь между наблюдениями прерывается и приходит конец аналогии природы.

2. *Не следует четко разграничивать случаи такого очевидного действия, доказывающие и не доказывающие существование внутренне присущей живому организму силы.* Видя привычки животных, живущих вместе с нами, мы вполне готовы признать за ними чувства и мысли; но нельзя отрицать чувства и мысли за животными на том основании, что они не живут рядом с нами и что творения их представляются *нам* слишком искусными, – наше собственное невежество или безыскусность не служат абсолютным масштабом творческих представлений и чувств, какие возможны во всем одушевленном мире.

3. А потому: *всякое искусство предполагает художественное чутье;* и если то или иное живое создание делом подтверждает, что знает заранее, произойдет ли такое-то событие в природе, то, несомненно, такому живому существу свойственно внутреннее чутье, орган предвидения, пусть то даже совершенно непостижимо для нас. Силы, действующие в природе, не переменятся от нашего непонимания.

4. *По всей видимости, в творении существует не одна такая среда, о которой у нас нет ни малейшего представления, поскольку мы лишены органов, позволяющих нам воспринять ее;* и таких сред должно быть немало, потому что почти в каждом живом существе мы замечаем явления, необъяснимые на основе нашего, человеческого, органического строения.

5. Творение, где миллионы живых существ, наделенных каждое своим чувством и своим инстинктом, наслаждаются особым для всякого из них миром и делают, каждое для себя, свое дело, – это творение бесконечно шире пустыни, в которой порою бродит впотьмах невнимательный и одинокий человек со своими жалкими пятью органами чувств.

6. Если у человека есть хотя бы ограниченное чувство величия и могущества мудрой и животворной художницы Природы, то он с благодарностью примет все, что заключает в себе его органическое строение, но не будет столь дерзок, чтобы отрицать духовность всех прочих творений природы. Все творение в целом по замыслу Природы насквозь пронизано чувством, наслаждением, деятельностью; в каждой точке существуют живые творения, воспринимающие, ощущающие все целое. Есть создания, наслаждающиеся творением, есть органы, которые его чувствуют и воспринимают, и есть силы, которые пробуждают в этой точке жизнь, как то подобает этой, а не другой точке. Что общего между кайманом и колибри, кондором и пипой[4]? И тем не менее каждый из них создан, чтобы жить в своей стихии, каждый и живет в ней. И нет в целом творении ни одной точки, которую не ощущали бы, не воспринимали, не населяли живые существа; *у каждого из творений природы – свой, ему только присущий, новый мир.*

Меня окружает тысяча подобных примеров, они восхищают меня, и бесконечность объемлет все мое существо, когда вступаю я в твой священный храм, о Природа. Нет творения, мимо которого прошла бы ты, – ты целиком предаешься ему, насколько оно способно постигнуть тебя. И всякое твое творение едино и совершенно, и всякое равно лишь себе самому. Ты изнутри построила его, а все, в чем отказала ему, ты возместила, как возместить могла лишь матерь всех вещей...

Рассмотрим теперь некоторые из уравновешенных систем – органических конструкций, в которые объединены различно действующие силы, – этим мы проложим себе путь к определению места человека, места, какое указывает ему его физиологическое строение.

* * *

1. Растение существует, чтобы расти и приносить плоды, – цель кажется второстепенной, а между тем в целом творении это основа для всех прочих целей. Вот почему растение исполняет эту цель во всем и тем неотступнее преследует ее, чем менее отвлечено оно иными целями. Насколько это возможно, растение уже целиком заключено в своем зерне, всюду оно дает ростки и завязывает бутоны; одна ветвь – образ целого дерева. Итак, мы немедленно вспоминаем одно из только что приведенных положений и с полным правом, опираясь на принцип аналогии, царящий в природе, говорим: *действие предполагает силу, а новая жизнь предполагает начало новой жизни,* – в каждом растении такое начало, такой принцип должен быть заложен с самого начала и должен проявлять всю свою деятельность. Теория зародышей[5], которой пытаются объяснить рост растений, ничего, собственно говоря, не объясняет, потому что зародыш – это уже строение, а если есть строение, то должна быть органическая сила, которая его строит, созидает. В первом семени творения никакой анатом не открыл еще всех будущих посевов, и мы видим их только тогда, когда растение полностью развилось, когда оно предстает перед нами полное сил, и опыт не позволяет относить этот рост растения к чему-либо, кроме присущей растению *органической силы,* которая действует на него постоянно, незаметно и интенсивно. Природа всякому творению дала, что положено было ему, а все, чего она его лишила, она возместила проникновенной интенсивностью той единой силы, которая действует в живом существе. Для чего растению силы движения, если оно не может сдвинуться с места? Для чего познавать ему иные растения, что растут рядом с ним, если познание это доставит ему одни мучения? Но воздух, свет, питательный сок растение притягивает и усваивает, как и положено растению, и столь верно, столь неотступно следует оно своему влечению расти, цвести и размножаться, что нельзя поставить рядом с ним никакое другое существо.

2. Это становится еще яснее, если проследить переход от растения к зоофитам, много видов которых уже открыто. Органы пищеварения у них уже выделены, есть в них и некий аналог чувств, способность произвольно двигаться, однако главная органическая сила, которая действует в них, – это добывание пищи и размножение. Полип – не склад зародышей, приготовленных, так сказать, для жестокого ножа философа-анатома, но как растение было *органически* упорядоченной жизнью, так и полип тоже – органически упорядоченная жизнь. Он, как и растения, дает ростки, и нож анатома может только пробудить в нем такие силы, может только раздражать. Мышца, если раздражать, если порезать ее, сжимается сильнее, и полип, которого мучит нож анатома, из всех сил старается восстановить полноту и возместить утерянное. Он гонит в рост свои члены, насколько хватит сил или пока орудие искусства не разрушило еще до конца его естество. В некоторых частях, в известных направлениях, или если части слишком малы, он уже не может пускать ростков, потому что силы его истощены, – но все было бы совершенно иначе, если бы в каждой точке был заключен преформированный зародыш целого. Словно в механизме растений, действуют в нем мощные органические силы, и мы даже видим, что силы эти простираются еще глубже, где исчезают их слабые, темные зачатки.

3. Моллюски – это органические творения, и заключают они в себе столько жизни, сколько могло собраться воедино и претвориться органически в этой стихии, в этом их домике. Нам приходится называть эту жизнь чувством, потому что другого слова у нас нет, – но это не простое чувство, а чувство улитки, чувство морской стихии, хаос самых-самых темных жизненных сил, хаос, из которого выделилось всего несколько членов. Взгляните на тонкие щупальца, на мышцу, заменяющую зрительный нерв, на открытый рот, на какие-то зачатки бьющегося сердца и, главное, на удивительную способность к размножению – что за чудо! Все возместило себе живое существо: и отсутствие головы, и рогов, и челюстей, и глаз; не только строит моллюск свою искусственную раковину и носит ее на себе, но он живые существа рождает уже с готовой, такой же точно раковиной, и некоторые виды соединяют в себе мужской и женский пол. Итак, целый мир *органических сил* заключен в моллюске, и благодаря им живое творение, находясь на своем месте в природе, способно на все то, на что не способны развитые до конца члены и органы, – тем глубже и неотступнее творит в них покрытое раковиной слизистое образование.

4. Насекомое искусно в своих созданиях и столь же искусно построено, и органические силы согласованы с его строением, даже с отдельными частями тела. Пока в этом теле нашлось лишь чуть-чуть места для мозга и очень тонких нервов, а мышцы так нежны, что их приходится покрывать твердой скорлупою, и для кровообращения, как у больших наземных животных, в этом теле еще нет простора. Но

посмотрите на его головку, глаза, щупальца, лапки, на его крылышки, на его маленький панцирь; посмотрите, какую чудовищную тяжесть тащат за собой жук, муравей, муха, какая сила в осе, если разозлить ее; взгляните на пять тысяч мышц, которые насчитал Лионне в гусенице; рассмотрите, наконец, и те художественные творения, которые созидают они своими органами тела, с помощью чувств, – и на основании всего этого сделаете свои выводы: какая полнота органических сил *имманентно присуща* каждому члену их тела. Кто взглянет на оторванную, дрожащую ножку паука или мухи и не заметит, какая живая сила, какое возбуждение чувствуется в ней, даже отделенной от тела? Головка насекомого слишком мала, чтобы собрать в себе все жизненные энергии тела, и обильная природа распределила их между всеми членами тела, даже между самыми тонкими и нежными. Щупальца – органы чувств, тонкие ножки – мышцы, руки, всякий нервный узел – маленький мозг, всякая возбудимая фибра – уже, можно сказать, бьющееся сердце; потому эти существа и могут возводить свои тонкие сооружения – цель, для которой созданы целые виды, так что все органическое строение их, все потребности заставляют их строить и создавать свои искусные творения. Какая тонкость, какая упругость в сотканной пауком или шелковичным червем нити! А ведь эти художники вытянули ее из своего тела – в доказательство того, что все их тело – упругость и возбуждение, так что во всех своих влечениях, во всех своих творениях они – настоящие художники, *микроскопическая мировая душа,* деятельная в теле насекомого.

5. И у холоднокровных животных заметно это *преобладание возбуждения и реакции.* Долго и резко вздрагивает черепаха без головы, и голова гадюки наносит смертельные укусы через три, восемь, двенадцать дней после того, как она была оторвана от тела. Челюсти мертвого крокодила откусывали пальцы неосмотрительным людям; то же и у насекомых: вырванное жало пчелы стремится укусить. Посмотрите, как совокупляется лягушка, – у нее можно оторвать лапы, члены тела, но она не отлипнет от своего предмета. Посмотрите на саламандру – у нее можно оторвать передние и задние конечности, и она заново отращивает их. Так велики *органические силы жизни* в этих холоднокровных существах; они, эти силы, можно сказать, довлеют самим себе; короче говоря, чем проще устроено живое существо, то есть чем менее очищена и подчинена развившемуся мозгу органическая сила его реакции и мышц, тем более проявляются жизненные силы во *всеобъемлющем органическом всемогуществе,* поддерживая жизнь существа и восполняя утраченное им.

6. Даже наблюдая животных с более теплой кровью, замечали, что тела их не столь подвижны, когда нервная система их работает, и что, напротив, внутренние члены проявляют куда большую резкость реакции, когда животное умирает. Когда способность ощущения слабеет, судороги

пропорционально возрастают, а если мышца утратила чувствительность, то ее можно вернуть мышце, начав резать ее на части. Итак, кажется, что чем богаче нервная система живого существа, тем более утрачивается им цепкость жизненных сил, которые всячески сопротивляются своему полному отмиранию. Способность к восстановлению отдельных частей тела, не говоря уж о таких сложных, как голова, руки или ноги, утрачивается более совершенными живыми существами, как принято их называть; хорошо еще, если вырастает у них новый зуб, срастается перелом и заживает рана. Но ощущения, чувства, представления у этих отрядов животных возрастают столь заметно, что в человеке наконец они складываются и образуют самое тонкое и высокое, что может быть у земного творения, – разум.

* * *

Если можно подытожить индуктивные линии, которых можно провести еще намного больше, то надлежит сказать следующее:

1. Нам представляется, что в каждом живом существе круг органических сил вполне и совершенным образом замкнут; только у каждого он распределен иначе и видоизменен. У одного он близок к *растительному миру,* и потому так мощно действуют силы размножения и восстановления; у другого эти силы идут на спад, потому что распределены между искусно построенными членами тела, более тонкими орудиями и органами чувств.

2. Над могучими растительными силами поднимаются и начинают действовать *живые реакции мышц.* Они родственны силам телесной ткани, растущим, расцветающим, восстанавливающимся, но только форма их уже усложнена, это искусное переплетение волокон, и жизненная цель ограниченнее и определеннее. Каждый мускул взаимодействует со множеством других, а потому проявляет не только присущие самому волокну, самой ткани силы, но и присущую именно ему силу живого возбуждения, находящую выход в движении. У электрического угря члены тела уже не отрастают вновь, как у ящерицы, лягушки, полипа, и даже у тех существ, члены которых восстанавливаются, части, собирающие в себе мышечную энергию, уже не растут так, как другие, – у рака заново отрастают конечности, но не хвост. Итак, сфера растительной органической жизни постепенно завершается в области двигательных сил с их искусным переплетением, или, вернее говоря, зона растительного удерживается в более искусной форме и как целое идет на пользу более сложно построенному организму с его целями.

3. Мышечные силы, переходя в область нервов, все более захватываются их органическим строем; нервы берут верх над мышцами и используют их для целей *ощущения.* Род живых существ тем разумнее, сложнее и тоньше, чем больше у животного тонких нервов, чем чаще

сплетаются они друг с другом, чем более искусно усиливают они друг друга и используются благородными частями организма и органами чувств и, наконец, чем больше по своим размерам и чем тоньше устроен мозг, собирающий воедино все ощущения тела. Если же возбуждение преобладает над ощущением, мышечные силы над нервной конституцией, если нервная энергия затрачивается на низменные отправления и инстинкты и во всем организме господствует первейшее и тягостнейшее из всех влечений – голод, то животный вид, судя по нашей мерке, или становится безобразным по всему своему строению, или же начинает вести грубый и неприхотливый образ жизни.

Кто не порадуется, если какой-нибудь философ-анатом* составит сравнительную физиологию животных, особенно животных, близких человеку, и рассмотрит в ней все различенные и установленные опытным путем жизненные силы в связи со всем органическим строением каждого живого существа? Природа являет нам свое творение, его внешняя сторона скрывает от нас сосуд внутренних сил. Мы видим, как живет животное; по его физиогномическому выражению, по его пропорциям мы, может быть, и способны судить о происходящем внутри его организма; но теперь мы проникли внутрь, перед нами лежат орудия органических сил, смеси и соединения энергий, и чем ближе подходим мы к человеку, тем более обретаем меру сравнения. Не будучи анатомом, я осмеливаюсь последовать за великими учеными и привести несколько примеров, которые послужат нам подготовкой и позволят перейти к органическому строению и физиологической природе человека.

III. Примеры физиологического строения животных

Слон** кажется бесформенной массой, а между тем достаточно оснований утверждать, что у него много схожих с человеком преимуществ перед другими животными. Правда, мозг слона в сравнении с размерами животного невелик, но и его мозговые пазухи и все строение подобно строению человеческого мозга. Кампер пишет: «Я был поражен сходством между glandula pinealis, nates и testes[8] этого животного и человека; если где-то и может быть sensorium commune[9], то искать его следует здесь». Черепная коробка слона мала относительно размеров головы, потому что носовая полость проходит над мозгом и заполняет воздухом

---

* Кроме известных работ, я нахожу в сочинениях Александра Монро Старшего (Эдинбург, 1781) «Essay on comparative anatomy»[6], который заслуживает перевода, точно так же, как заслуживают переиздания прекрасные гравюры с изображением скелетов животных в «Остеографии» Чизлдена (Лондон, 1783); впрочем, немецкое переиздание вряд ли воспроизведет всю красоту оригинала.

** По Бюффону, Добантону, Камперу и отчасти по «Описанию неродившегося слона» Циммермана[7].

и лобную и другие* пазухи, – ведь чтобы двигать тяжелыми челюстями, потребовались сильные мышцы и большие поверхности и, чтобы не нагружать животное непомерной тяжестью, пластическая мать-природа заполнила их воздухом. Большой головной мозг не лежит над мозжечком и не давит на него своей тяжестью, и разделяющая их перегородка занимает вертикальное положение. Большая часть многочисленных нервов направлена к более тонким органам чувств, и в одном хоботе столько нервов, сколько во всем остальном огромном теле. Мышцы, с помощью которых движется хобот, начинаются на лбу; хобот лишен хрящей, будучи тонким органом осязания и обоняния и орудием самого изящного движения. Получается, что хобот соединяет в себе несколько органов чувств, которые взаимно поправляют и дополняют друг друга. У слона одухотворенный взгляд (надо сказать, что на нижнем веке у слона есть ресницы, как только у него и у человека, и глаза совершают очень тонкие движения), с органом зрения соседствуют другие тонкие чувства, тогда как они отделены у него от органа вкуса, который увлекает за собой всех животных. Выступающая у большинства животных, особенно плотоядных, часть головы – рот – у слона, наоборот, скрывается за выдвинутым вперед лбом, глубоко запрятана под приподнятым хоботом и почти незаметна. Еще меньше язык слона, и оружие защиты отделено от органов пережевывания пищи. Итак, слон совсем не приспособлен для неудержимого обжорства. Желудок у него небольшой и устроен просто, как бы велики ни были все внутренние органы, – вряд ли слона мучает когда-либо, словно хищного зверя, неукротимый голод. Мирно щиплет слон траву, тщательно выбирая ее, а поскольку орган обоняния и рот отделены друг от друга, то ему приходится есть осторожно и затрачивать на еду больше времени. Так же сложила его природа и в остальном: не только его еда, но и питье, но и все его массивное тело во всем требуют осторожности, и осторожность не оставляет его и в момент совокупления. Половое влечение не превращает его в существо дикое, и слониха, как и человек, девять месяцев носит плод в своем чреве и кормит детеныша грудью, расположенной в передней части тела. Сходны с человеческими возрасты, которые переживает слон, – периоды роста, расцвета, умирания. Как благородно поступила природа, превратив резцы в бивни, и как тонко устроен его орган слуха, если он понимает речь человека до самых тонких оттенков приказания и аффекта. Уши слона – больше, чем у какого-либо животного, при этом они тонкие и расплющенные; ушное отверстие расположено высоко, а весь затылок, хотя и небольшой, – это мембрана, заполненная воздухом и отражающая все звуки. Так уменьшила природа огромную тяжесть животного, а огромную силу мышц соединила с тончайшей системой нервов. Вот царь зверей в мудром покое и рассудительной чистоте нрава.

---

* Челюстные полости (processus maxillares).

А лев* – как непохож на слона этот царь зверей! Ничего не пожалела природа для его мышц и поскупилась на кротость и тонкую рассудительность. Мозг получился маленьким, нервы – слабыми, даже у кошки они крепче, если соблюсти пропорцию; зато мышцы твердые и сильные, и они так согласованы со скелетом, чтобы движения были не самыми разнообразными и ловкими, но наиболее мощными. Одна большая мышца поднимает голову, один мускул – переднюю лапу, которой лев держит добычу, один – голеностопный сустав рядом с большими кривыми когтями, которые никогда не тупятся, потому что никогда не касаются земли, – вот чем наградила природа льва. У него длинный, выгнутый желудок; когда стенки его трутся друг о друга, животное должно чувствовать ужасный голод. Сердце – небольшое по размеру, но построенное тонко и полости его длиннее и шире человеческих. И стенки сердца вдвое тоньше, а артерии вдвое меньше, так что, выходя из сердца, кровь льва течет вчетверо, а в ответвлениях пятнадцатого порядка – в 100 раз быстрее, чем у человека. А сердце слона бьется спокойно, почти как у холоднокровных животных. Желчный пузырь льва – большой, и желчь – черноватая. Широкий язык впереди закругляется и в передней части усеян жалами длиной в полтора дюйма, загнутыми назад. Вот почему кровь выступает, когда лев лижет кожу, и его сразу же охватывает жажда крови, яростная, неукротимая жажда крови – лев способен убить и друга своего и благодетеля. Лев, отведавший человеческой крови, уже не отучится пожирать людей, потому что его изрезанное впадинами нёбо жаждет такой услады. При этом львица приносит нескольких детенышей, они растут медленно, она кормит их долго, а от своего материнского чувства и голода становится еще большей хищницей. Поскольку язык льва такой острый и его нестерпимый голод – это жажда, то естественно, что падаль не пробуждает в нем аппетита. Душить животных, пить их кровь – вот .наслаждение этого царя зверей, а все царское великодушие его в том, что он с неудовольствием взирает на мертвечину. Чутко спит лев, ибо кровь его горячая и быстрая; насытившись, он делается труслив, потому что остатки трупов он есть не будет, не думает о них, а храбрость у него – только от непосредственного ощущения голода. Природа, благотворная, притупила остроту его чувств – он боится огня и не переносит яркого света солнца, и чутье у него совсем слабое, потому что и сила его мышц такова, что он может сделать мощный скачок, но долго бежать не может, а запах падали его не прельщает. Заросший, изрезанный лоб невелик по сравнению с челюстями, этими хищными костями и ненасытными мускулами. Неуклюжий и грубый нос, железная шея, тяжелая передняя

---

* В основном по прекрасному описанию Вольфа (Nov. Commentar. Acad. Scient. Petrop. T. XV, XVI); хотелось бы, чтобы и другие животные были описаны точно так же.

лапа, пышная грива и сильные мышцы хвоста. Задняя часть тела слабее и более хрупкого сложения. Природа израсходовала страшные силы, и лев в своем половом влечении, да и в других случаях, где кровожадность не мучает его, – зверь кроткий и благородный. Душа и вся порода этого существа тоже обусловлены физиологически.

Третьим примером пусть послужит унау, по внешнему виду своему последнее и самое неразвитое животное среди четвероногих, какой-то сгусток ила, сложившийся в животного. Маленькая круглая головка, и все члены тела – толстые и круглые, неразвитые, припухлые. Шея неповоротлива, составляет одно целое с головой. Шерсть на голове и шерсть на спине идет в разных направлениях, как будто природа не знала, в какую сторону построить это животное. Наконец, природа выбрала чрево и заднюю часть, а жалкую голову подчинила им – так и по виду, и по положению, и по всему образу жизни животного. Плод лежит вблизи заднепроходного отверстия; желудок и кишки заполняют все нутро; сердце, легкие, печень развиты плохо, а желчный пузырь вроде и совсем отсутствует. Кровь – холодная, почти как у земноводных; поэтому если вырвать сердце из его груди, то оно еще долго бьется, а зверь без сердца дрыгает ногами, словно во сне. И здесь, мы видим, природа возместила недостаток одного – другим; она отказала в чутких нервах и в резвой силе мышц, но зато всему телу сообщила цепкость и упорство. Поэтому бездельник этот не столь уж несчастен. Он любит валяться в тепле, безвольно и лениво, неподвижной и вялой грудой. Если холодно, он засыпает и, словно лежать ему больно, цепляется когтями за ветку дерева, другой лапой хватает листья и, как будто вывешенный на солнце мешок, наслаждается жизнью гусеницы. Бесформенные лапы – для него настоящее благодеяние. Из-за своего престранного телосложения этот зверь не может даже встать на подушечки, а становится на вытянутые когти, словно на колеса, и еле-еле, не спеша, продвигается вперед. 46 его ребер – столько нет ни у одного четвероногого! – это своды длинного склада припасов и, если можно так выразиться, затвердевшие и превратившиеся в позвонки кольца жрущего листву трубковерта – разновидности гусеницы.

Хватит примеров. Ясно, в чем нужно видеть понятие животной души и животного инстинкта, если следовать опыту и выводам физиологии. Душа – это *совокупность* и *итог действующих в живом строении сил.* А инстинкт – это *направление, какое придала природа совокупным силам животного, соразмеряя их так, а не иначе, и соорганизуя их в такой, а не иной животный строй.*

IV. Об инстинктах животных

Об инстинктах животных прекрасная книга написана покойным Реймарусом*; эта книга, как и другая сочиненная им, – о естественной религии – непреходящий памятник неутомимого духа изысканий, основатель ности и любви к истине. После ученых, весьма четко изложенных рассуждений о видах инстинктов у животных, Реймарус пытается объяснить их преимуществами животного механизма, органов чувств и внутренних ощущений, но при этом полагает еще, что неизбежно принять существование *предустановленных сил природы* и *прирожденных умений,* не терпящих дальнейших объяснений, особенно если речь идет о художественном инстинкте животных. Я не верю в это: *ведь нет направления более ясного, нет предустановления более совершенного,* чем то, что запечатлела природа своим творениям, составив махину всякого из них и наделив эту махину определенными – такими-то, а не иными – силами, чувствами, представлениями и ощущениями, короче говоря, всем присущим такому-то существу *органическим строем.*

Когда творец построил растение и наделил его такими-то частями, такими-то силами, благодаря которым растение могло притягивать и перерабатывать лучи света, воздух и другие тонкие вещества, проникающие из воздуха и воды, когда далее творец посадил растение в положенную ему стихию, где всякая часть может естественным путем проявить существенные свои силы, то творцу, как я полагаю, уже и не пришлось придавать такому своему творению какой-то иной слепой силы роста, произрастания. Ведь всякая часть растения совершает положенное ей, коль скоро ей присущи живые силы, и так во всем явлении в целом виден результат взаимодействия сил, результат, который мог получиться и выявиться лишь при таком, а не ином составе частей. Все силы, которые творят в природе, все, каждая по-своему, – силы живые: внутри себя они должны заключать нечто такое, что соответствует наружному видимому действию, – так полагал Лейбниц, и этому же учит нас вся аналогия природы. Если нет у нас слов для обозначения такого внутреннего состояния, в каком находится растение или даже еще более низкие силы, то это просто недостаток нашего языка, однако когда мы говорим об ощущениях, то всегда имеем в виду лишь внутреннее состояние, какое становится возможным благодаря нервной системе. И в растении должно быть хотя бы темное соответствие ощущению, хотя бы его темный аналог; а если аналогии нет, то и никакое новое влечение, никакая приписываемая целому новая сила произрастания ничему нас не научит.

---

* «Общие наблюдения над инстинктами животных». Гамбург, 1773; равно как начатые им же «Наблюдения над особыми инстинктами животных» с приложением прекрасной и богатой материалом статьи И.А.Г.Реймаруса о природе зоофитов[10].

Итак, уже в растении мы замечаем два инстинкта: инстинкт добывания пищи и инстинкт продолжения рода; результат действия инстинктов – художественные творения, до которых далеко даже живому насекомому, возводящему свои постройки; эти художественные творения – росток и цветок. Когда природа переводит растение или камень в царство животных, она яснее показывает нам, что это такое – инстинкты органических сил. Полип цветет как растение, а между тем – это животное, он ищет себе пропитание, он, словно животное, поглощает эту пищу, он пускает ростки, и ростки эти – живые, это – животное, и он заново восстанавливает любую часть – вот величайшее создание искусства, какое когда-либо творило живое существо. Есть ли что-либо более искусное, чем домик улитки? Пчелиные соты ему уступают, и нить гусеницы и шелковичного червя тоже уступит такому искусному цветку. А как же создала природа этот домик? Она создала его с помощью органических сил – они заключены были в бесформенной массе вещества, где едва намечены отдельные члены, и витки раковины просто следовали за движением солнца, создавая правильное строение. Извлеченные изнутри тела частицы составляли основу – так паук вытягивает свою нить из брюшка – и воздуху оставалось лишь присоединить к основе более твердые и жесткие частицы. Как мне кажется, такие переходы учат нас тому, на чем зиждятся все художественные инстинкты самых искусных животных, – они зиждятся на *органических силах, действующих в такой-то массе вещества, с помощью таких-то членов тела,* и не иначе. Больше или меньше тут ощущений, зависит от нервной конституции живого существа, но и помимо нервов существуют подвижные мышечные силы и волокна, ткани тела, в которых течет растительная жизнь, происходит рост и восстановление, – такие два рода сил, независимых от нервной системы, с избытком восполняют все, чего недостает живому существу, – мозг и нервы.

Так сама природа подводит нас к художественным влечениям, которые люди обычно склонны приписывать лишь некоторым разновидностям насекомых, – не по какой иной причине, но просто потому, что их творения больше бросаются в глаза, а кроме того, мы можем сравнивать их с нашими собственными зданиями и сооружениями. Чем утонченнее орудия живого существа, чем живее и изящнее его восприятия, тем менее удивительным покажется встретить такие их проявления, на которые не способны уже животные более грубого строения, сколько бы иных преимуществ ни было у них. Именно то, что живое существо – столь микроскопических размеров, именно его тонкость и изящество и способствовали художественной деятельности, потому что деятельность такая – не что иное, как конечный результат всех ощущений, восприятий, всех действий живого существа.

И в этом случае примеры – лучше всего; неутомимое усердие Свammердама, Реомюра, Лионне, Рёзеля[11] яркими красками нарисовало нам такие примеры. Когда гусеница прядет кокон, она делает то же, что и другие живые существа во время линьки, но только более искусно. Змея сбрасывает свою кожу, птица – перья, линяют многие наземные животные; они вместе с линькой как бы молодеют и обновляют свои силы. И гусеница омолаживается, но только изящнее, искуснее и резче; она сбрасывает свою кожу с отростками, так что некоторые из ножек ее остаются на ней, и посредством медленных или более быстрых переходов вступает в совершенно новое состояние. Гусеница служила лишь собственному пропитанию и благодаря этому в первом своем возрасте накопила нужные для будущего силы; теперь же ей предстоит послужить сохранению своего рода, теперь кольца ее трудятся и новые члены рождаются, чтобы сложился нужный для размножения облик. Итак, придавая органическое строение этому живому существу, природа попросту разобщила разные возрасты и инстинкты и подготавливает наступление их особыми переходными периодами – все это у гусеницы получается столь же непроизвольно, как у змеи, сбрасывающей свою шкуру.

Паутина для паука – не что иное, как *продление самого себя,* своего тела. Это необходимо ему для добывания пищи. Полип протягивает свои конечности, чтобы схватить добычу, и для того чтобы удерживать ее, у него выросли когти; так и у паука появились выступы, между которыми он вытягивает нить и ловит добычу. И этого сока у паука хватает на всю его жизнь, на все его паутины, а если охота неудачна, приходится прибегнуть к насильственным средствам или умереть. Творец, придавший органическое строение телу паука и всем внутренне присущим ему силам, *органически* создал его затем, чтобы паук ткал паутину.

Не что иное и республика пчел. Разновидности пчел созданы каждая для своей цели, а живут они все вместе, потому что ни одна разновидность не может существовать по отдельности. Рабочие пчелы собирают мед и строят соты – к этому приспособлено их строение. Они собирают мед, как и всякое животное, которое ищет себе пропитание, копит его и укладывает в порядке. Они строят ячейки, как и всякое животное, которое строит себе дом, каждое по-своему. Будучи существами бесполыми, они кормят молодь, живущую в улье, как и всякое животное, которое кормит своих детенышей, и они убивают трутней, как и всякое животное, которое убивает других животных, пытающихся похитить у него запасы пищи и обременяющих его дом, где оно живет. Все такое не происходит, конечно, без смысла и толка, но толк тут – пчелиный, и смысл – пчелиный, и не простой механизм, как выдумал Бюффон, но и не развитый математический и политический разум, как выдумывали другие. Душа пчелы замкнута в таком органическом создании и тесно сплетена с ним. И пчела творит так, как то отвечает ее душе, – искусно,

изящно, но в тесном, узком кругу. Улей – мир ее, а занятие пчел творец разделил между тремя разновидностями их.

Поэтому слово «умение» не должно вводить нас в заблуждение; подобное органическое искусство появляется у некоторых существ сразу же после их рождения. Мы должны упражняться, чтобы что-то уметь, но не так у животных. Если их органическое строение достигло полного развития, то и силы их играют и цветут. Камень падает, цветок цветет – вот где настоящее умение: камень падает, а цветок цветет, каждый *согласно своей природе.* Кристалл складывается быстрее и правильнее, чем пчела строит соты и паук ткет паутину. В кристалле – слепой органический порыв, и кристалл не может ошибаться; а пчела и паук устроены сложней, пользуются не одним, а многими членами тела, и потому могут ошибаться. Если все орудия и члены тела настроены на один тон, создается здоровая и могучая их гармония, все обращено на достижение одной цели – это и есть *умение;* нужно только, чтобы было живое существо, достигшее своего полного развития.

Теперь мы видим, почему и неудержимый инстинкт, и безошибочное умение ослабевают по мере того, как живые существа поднимаются выше и выше. Животные *развивались, стремились, ощущали, строили согласно правилам искусства* – все это проявление одного и того же органического принципа природы и, по сути дела, все это выражение единой органической силы; но если теперь органическое начало природы распределяется между все большим количеством орудий и разнообразно построенных членов, то чем более в каждом из них заключен свой особый мир, тем больше препятствий, тем больше ложных путей возникает перед живым существом, тем слабее инстинкт и тем сильнее власть воли и произвола, а тем самым и заблуждения. Различные ощущения нужно еще уравновесить друг с другом, а уж потом объединить и направить на одну цель; итак, прощай, инстинкт, всецело увлекавший за собою живое существо, прощай, руководитель, не ведавший ошибок. Темная способность возбуждения была замкнута в узком, изолированном кругу, она, можно сказать, заключала в себе некое всеведение и всемогущество, а теперь все разъединено, распалось на ветви и веточки. Живое существо способно учиться и должно учиться, потому что от природы ему дано меньше знаний; ему приходится упражняться, потому что от рождения оно мало что умеет делать; но, продвигаясь вперед, изощряя и распределяя свои силы, оно получает в свое распоряжение новые средства деятельности, множество тонких орудий, с помощью которых можно взвесить ощущения и выбрать наилучшие среди них. Широта и более тонкое согласие всевозможных действий возмещает живому созданию интенсивность его былых влечений; оно способно теперь лучше прежнего наслаждаться своим существованием, свободнее и многообразнее применять свои силы, пользоваться всеми

членами своего тела. Рассмотрим же некоторые из поразительно прекрасных и мудрых законов постепенного поступательного развития живых существ – творец шаг за шагом приучает их *связывать понятия,* представления, чувства, учит *свободнее пользоваться разными органами чувств и членами тела.*

V. Поступательное развитие живых существ, приучающихся связывать разные понятия и свободнее пользоваться органами чувств и членами тела

1. В неживой природе все погружено еще в темное, но мощное влечение. Части пронизываются внутренними силами и прочно соединяются между собой, и все сотворенное стремится обрести известный облик и *сформироваться.* Все слепо следует этому влечению, но влечение проникает все существо сотворенного и неразрушимо действует в нем. И мельчайшие частицы кристаллов и солей не перестают быть кристаллами и солями, и пластическая сила их и в мельчайшей крупице вещества продолжает действовать, как в целом, – извне неделимо, изнутри неразрушимо.

2. В цветке целое разведено на стебли и другие части, и влечение начинает видоизменяться в соответствии с частями, хотя в целом действие – единообразное. Корень, ствол, ветви впитывают питательные вещества, но впитывают разными путями, по-разному и разные вещества. Итак, влечение целого видоизменяется в соответствии с частями, но остается еще в целом одним и тем же, ибо *продолжение рода есть лишь расцвет,* эффлоресценция роста, и оба влечения неразделимы по природе существа.

3. У зоофита, растения-животного, природа начинает неприметно разъединять отдельные орудия, а вместе с тем и внутренне присущие им силы, можно уже видеть орудия, с помощью которых растение добывает себе пропитание, и в материнском чреве уже выделяется плод, хотя он и получает пищу как растение. Множество полипов растет от одного ствола, природа прикрепила их к одному месту и избавила их от необходимости двигаться; еще и улитка своим широким основанием пристает к своему домику. А органы чувств подобных существ еще менее разделены и все слиты в одну темную массу; влечения их проявляются неспешно и в глубине их существа; улитка совокупляется в течение целых дней. Так природа уберегла начатки живого органического творения, уберегла их от многообразия, но зато многообразие тем глубже скрыто в них, окутано темнотою их простых жизненных проявлений, теснее слито со всем их существованием. Жизнь улитки упорна и неподатлива, и ее почти нельзя разрушить.

4. Поднимаясь вверх, природа по-прежнему была мудрой и осмотрительной и лишь постепенно приучала живое существо к многообразию раздельных чувств и влечений. Насекомое не могло одновременно упражняться во всем том, что положено ему; ему пришлось *менять весь внешний свой вид и все свое существо,* чтобы сначала, в виде гусеницы, служить инстинкту добывания пищи, а потом, в виде бабочки, удовлетворить потребности в продолжении рода; следовать обоим инстинктам в одном своем виде оно было не в состоянии. И одна разновидность пчел не могла совершить все, чего требовало пропитание рода и продолжение его жизни; поэтому природа разделила виды и одних пчел превратила в рабочих пчел, других – в продолжательниц рода, третьих – в маток, и всего этого природа достигла, внося незначительные изменения в органическое строение пчелы, отчего всем силам живого существа всякий раз придавалось иное направление. *Что не могла природа исполнить на одном образце, для того она создала три образца – это три связанных между собой образца, три преломления одного.* Так учила природа пчелу ее пчелиным занятиям, разделив пчел на три разновидности, – тогда как бабочку и других насекомых она учила исполнять их предназначение в двух разных видах.

5. Природа, поднимаясь все выше, пожелала научить живые существа пользоваться все большим количеством органов чувств, умножала вместе с тем волю и произвол, а потому она решительно *отсекала все ненужные члены тела и упрощала строение животных как внутри, так и снаружи.* Вместе с кожей гусеницы отстали ножки, ненужные бабочке, а высшие существа утратили все то множество ножек, самых разнообразных глаз, щупалец и мелких орудий и инструментов, какие были у насекомых. В голове насекомых почти не было мозга, и мозг находился ниже, был спинным мозгом, и каждый маленький нервный узел был новым средоточием ощущения. Итак, душа маленького искусного творения была разлита по всему его существу. Но если возрастать должны были воля и некое подобие разумности в животном, то голова его стала наполняться мозгом и увеличиваться в размерах; три главные части тела образуют теперь некую пропорцию между собой, тогда как раньше не было никаких пропорций, как, например, у насекомых, червей и т.д. Земноводные выползают на сушу, и за ними тянутся их огромные, мощные хвосты, их безобразные лапы разъезжаются во все стороны. А наземных существ природа поднимает от земли, ноги их все растут и встают рядом друг с другом. Хвост с его позвонками сужается и укорачивается; грубая мускульная сила крокодила утрачивается животными, хвост становится подвижнее, тоньше, у более благородных животных превращается в покрытый шерстью отросток, а когда природа начинает учить живое существо прямохождению, то она отбрасывает и последний остаток хвоста. Мозговое вещество его поднялось кверху и пошло на создание более благородных частей.

6. Природа, эта пластическая художница, придумала, таким образом, некий *канон наземного существа,* и это были наилучшие соотношения для того, чтобы эти существа могли *одновременно упражнять все свои чувства и силы и учились соединять их в одну форму мыслей и ощущений,* но в зависимости от предназначения живого существа, от подобающего ему образа жизни природа изменяла и его строение и из одних и тех же частей и членов тела создавала всякий раз особую гармонию целого, а вместе с тем и особую для каждого существа, органически отличающую его от всех остальных существ душу; однако известное сходство природа сохранила, и ясно, что она преследовала только одну главную цель. Главная цель, очевидно, заключалась в том, чтобы приблизиться к такой органической форме, в которой ясности и единства достигали бы различные понятия и представления, а все органы чувств и члены тела использовались бы наиболее свободно и многообразно; близость к такой форме и определяет, в какой степени то или иное животное подобно человеку. Форма – это не игра каприза и произвола, но итог самых разных форм, которые и нельзя было связать между собой иначе, если иметь в виду цель, ради которой стремилась связать их природа, – именно для того, чтобы упражнялись мысли, органы чувств, силы, желания. Все части тела каждого животного, на какой бы ступени развития оно ни стояло, приведены в самое точное соответствие между собой, и, как я полагаю, все формы, в каких могло бы существовать на нашей земле животное существо, уже исчерпаны. Животному досталось ходить на четырех лапах, ибо своими передними конечностями оно еще не могло пользоваться, как человек – руками, но благодаря этому животному легче всего было и стоять, и бегать, и прыгать, и вообще пользоваться всеми органами своих животных чувств. Голова животного еще опущена вниз, к земле, – ибо на земле животное ищет себе пропитание. Обоняние – вот чувство, которое господствует у многих животных, ибо именно ему приходится пробуждать инстинкт и направлять его. У одного животного – острый слух, у другого – острые глаза, и не только в строении четвероногих животных вообще, но и в строении каждого их вида природа всякий раз выбирала то соотношение сил, чувств, которое наилучшим образом можно было упражнять в этом, а не в ином органическом строении. Сообразуясь с такой пропорцией сил, природа укорачивала или удлиняла одни члены тела, ослабляла одни, укрепляла другие силы. Всякое существо – числитель, а знаменатель – сама природа; ведь и человек – это дробь, соотношение сил, которые могли сложиться в единое целое лишь в таком, а не ином органическом строении, где множество членов взаимно поддерживают друг друга и помогают друг другу.

7. В столь продуманном органическом строении земного существа *ни одна сила уже не могла мешать другой,* ни одно влечение не перебивало

другое; бесконечная красота – в той тщательности, с которой творила природа. Большинству животных предписан определенный климат, и это всякий раз тот климат, в котором им легче находить пропитание и воспитывать потомство. Если бы природа сложила их не столь определенно, что касается способности их жить в разных широтах, – какой нужде, какому одичанию предоставлены были бы животные разных видов, прежде чем найти свою неминуемую гибель! Мы наблюдаем такую их судьбу на примере тех податливых видов животных, которые последовали за человеком во все страны света: каждая страна заново сформировала их, и нет хищного зверя страшнее дикой собаки именно потому, что собака одичала. Но к еще большей путанице повел бы животных *инстинкт продолжения рода*, если бы пластическая природа не придала ему должной определенности и не заковала в кандалы. Инстинкт этот просыпается в известную пору, когда сильнее всего разгорается животное тепло, а поскольку тепло это вызывается переломами в физическом росте и развитии, сменой времен года, изобилием пищи, а вместе со всем тем заботливая природа согласовала и время вынашивания плода, так обеспечен был и стар и млад. Детеныш появляется на свет в такую пору года, когда и сам может позаботиться о себе, или же он может переждать непогоду, находясь внутри яйца, в котором пробудят жизнь теплые лучи солнца; а взрослая особь чувствует в себе инстинкт, когда он не мешает ей ни в чем ином. И насколько сильно будет выражен инстинкт, насколько долго будет продолжаться его действие, все это тоже согласовано природой.

Выше всяких слов эта благодатная материнская любовь; всякое существо природа воспитывает, всякое заботливо приучает к деятельности, к мыслям и добродетелям, как то отвечает возможностям его органического строения. Природа подумала, прежде чем создавать живое творение, и вот она силы его поместила в такой, а не иной органический строй, а теперь, создав живое существо, она уже принудила его смотреть, желать, действовать в рамках этого органического строения, в согласии с тем, как помыслила за него природа, какие потребности, какие силы и какую свободу предусмотрела для него.

Нет в человеческом сердце такой добродетели, нет ни одного инстинкта, аналогов которого не находилось бы в мире животных, – к таким добродетелям, к таким инстинктам пластическая природа органически приучает животное. Животное должно позаботиться о себе, должно научиться любви к своим близким; нужда, тяжелое время года заставляют животное искать общества себе подобных, иногда животные просто вместе пускаются в путь. У одних инстинкт – в любви, а у других даже потребность в браке создает некоторое подобие государства, известную общность. Все это продиктовано темным чувством, и такие союзы бывают порой весьма недолговечны, однако некий отпечаток остается в душе животного, а мы видим, что отпе-

чаток этот властен над животным, он возвращается к нему вновь и вновь, его уже не стереть, не изгнать. Чем темнее чувство, тем глубже действие его; чем меньше мыслей связывает со своим инстинктом животное, чем реже следует оно своему инстинкту, тем сильнее проявление, тем законченнее действие инстинкта. Итак, повсюду в природе – прообразы человеческого образа действий, и в таком образе действий упражняет природа животных, а мы, видя, как схожа с нашей нервная конституция животных, как сходны они с нами во всем своем строении, как подобны нашим их потребности и способы существования, – мы предпочитаем рассматривать их как машины[12] и этим грешим против природы, совершаем грех не меньший, чем все остальные наши грехи.

Не стоит поэтому удивляться, если механические искусства животных убывают по мере того, как род существ начинает приближаться к человеку; можно сделать вывод, что этот род уже находится в предварительном кругу человеческих мыслей. Бобр строит искусные сооружения; он просто водяная крыса. Мастерские лисы, хомяка и других похожих на них животных находятся под землей; но у собаки, лошади, верблюда, слона уже нет потребности в таких мелких искусствах, их мысли больше похожи на человеческие, и, принуждаемые пластической природой, они упражняются в инстинктах, подобных человеческим.

VI. Органическое различие между животными и людьми

Весьма несправедливо хвалили род человеческий, утверждая, будто все силы и способности других родов достигают в нем своего наивысшего развития. Это похвала бездоказательная и противоречивая, потому что одна сила, очевидно, уничтожает другую, и подобное создание совершенно не могло бы пользоваться своим собственным существованием. Разве мог бы человек цвести, как цветок, щупать, как паук, строить, как пчела, сосать, как бабочка, а вместе с тем обладать мускульной силой льва, хоботом слона, искусством бобра? Да разве обладает человек всеми этими силами? Разве способен он хотя бы понять одну из них с той же проникновенностью, с которой всякое существо наслаждается своей силой и упражняет ее?

Другие же, напротив, хотели, не скажу, унизить человека, низведя его до уровня животного, но отрицали за ним собственно человеческий характер и превращали его в какое-то выродившееся животное, которое в погоне за неведомыми высшими совершенствами совсем утратило своеобычность своей породы. Это, очевидно, противоречит и истине, и свидетельствам естественной истории. У человека, конечно же, есть

особенности, которые не присущи ни одному животному, и человек произвел на свет и благое и дурное, и все это принадлежит не кому-нибудь, но именно ему. Ни одно животное не ест себе подобного, чтобы полакомиться, и ни один зверь не убивает своих близких по приказу третьего, спокойно и хладнокровно. Животные не знают человеческого языка, а тем более чужды они письменности, традиции, религии, чужды устанавливаемых по благорассуждению законов и правил. Наконец, ни у одного животного нет того, чем отличается от него почти всякий человек, – нет культуры, одежды, жилья, искусств, нет выбора способа существования, нет несдержанности влечений, распущенности мнений. Мы пока не спрашиваем, идет ли это на пользу или во вред нашей породе. Достаточно сказать: таков характер человеческой породы. Всякое животное в целом всегда верно своей породе, и только мы, люди, почитаем не Необходимость, а Произвол; итак, следует принять это различие за факт и исследовать его, ибо факт этот никак невозможно отрицать. Другой вопрос: как человек дошел до такого состояния, что это – изначально присущее ему отличие от животных или отличие благоприобретенное и искусственно раздуваемое? Это уже вопрос иного свойства, вопрос исторический; тут надлежало бы уже сказать, что же принадлежало к отличительным чертам человеческой породы – способность к совершенствованию или к порче[13], в чем никакому животному еще не удалось догнать человека. Оставим же метафизику в покое и будем придерживаться физиологии и опыта.

1. *Человек ходит прямо,* и тут *некого поставить с ним рядом.* У медведя широкая лапа, и в драке он выпрямляется иногда во весь рост обезьяны, пигмеи тоже ходят и бегают иной раз на задних лапах, но только для человека всегда естественно ходить прямо. У человека ступни тверже и шире; большой палец у него длиннее, тогда как у обезьяны на ногах – такой же большой палец, что и на руках, и пятка у человека стала плоской. К такому вертикальному положению приспособились у человека и все мускулы. Икры стали толще, таз сдвинулся назад, бедра раздвинулись, спина выпрямилась, грудь расширилась; у человека есть плечи и ключицы, пальцы на руках наделены тонким чувством, а гнувшаяся к земле голова гордо вознеслась, удерживаемая мышцами шеи, – это венец человеческого творения; человек – anthropos, он видит все над собой и видит все вокруг себя[14].

Однако следует признать, что вертикальное положение тела не настолько существенно для него, чтобы всякое прочее положение было совершенно невозможным, как, скажем, невозможен полет. Обратное доказывается не только примером детей, но и, главное, людей, живших среди животных. Одиннадцать или двенадцать таких людей известны*, и хотя не всех наблюдали и описывали с достаточной тщательностью,

* О них см. «Систему природы» Линнея[15], дополнения Мартини к Бюффону[16] и др.

некоторые примеры все же показывают, что для податливой и гибкой природы человека и всякое другое, самое неподходящее для него положение тела все же не вполне немыслимо. Голова и живот человека все же несколько выступают вперед, так что возможно, чтобы все тело падало вперед, как падает голова, когда человек дремлет. И мертвое тело не может стоять; и всегда требуется бессчетное количество усилий, чтобы искусственно поддерживать наше тело в вертикальном положении.

Точно так же понятно и другое: если человек будет ходить, как ходят животные, то изменится вид и отношение многих членов его тела; и это вновь подтверждает пример одичавших людей. У мальчика-ирландца был, по описанию Тульпия, плоский лоб, выпуклый затылок, язык его прирос к нёбу, а горлом своим он издавал блеющие звуки; подложечная впадина была у него сильно втянута вовнутрь; всего этого и требовало хождение на четырех ногах. Нидерландская девочка еще ходила прямо и еще сохранила женскую природу, так что прикрывалась повязкой из сена; кожа у нее была грубая, коричневая, толстая, волосы – длинные и толстые. Девочка, которую поймали в Шампани, в Сонжи, казалась черной, у нее были сильные пальцы с длинными ногтями, а большие пальцы были столь сильными и так вытянулись, что она с помощью их могла прыгать с ветки на ветку, как белка. Она не ходила, а как-то быстро бегала, ноги ее словно летали и скользили, так что нельзя было рассмотреть их быстрое движение. Голос у нее был тонким и совсем слабым, но она кричала страшно и пронзительно. В ее теле была необычайная легкость и сила, и невозможно было отучить ее от прежней пищи – от сырого, кровавого мяса, от рыбы, от листьев и кореньев, так что она и пыталась убежать, и заболела потом смертельной болезнью, от которой излечили ее только тем, что дали ей пососать теплой крови, пронизавшей все ее тело, словно бальзам. Ей пришлось привыкать к обычной человеческой пище, и у нее выпали тогда зубы и ногти; невыносимая боль сжимала желудок и кишечник, а прежде всего горло, совершенно пересохшее, она испытывала мучительную жажду. Вот доказательство того, насколько гибка человеческая природа: человек вырос среди людей, воспитывался среди них, а за несколько лет так усвоил привычки низких животных, среди которых по несчастью оказался.

Я мог бы всеми красками расписать жуткий сон: что стало бы с людьми, если бы судьба обрекла их выходить на свет животным из чрева четвероногой матери, какие силы прибавились бы и убавились у человека, как ходили бы, как воспитывались, какой образ жизни вели такие человеко-звери, что за строение тела было бы у них и т.д. Прочь, жалкий, омерзительный образ, безобразное извращение человеческой природы! Нет этого в природе, и ни одной капли краски не затрачу, чтобы представить такую картину. Ибо:

2. *Вертикальное положение тела – единственно естественное для человека; такого органического строения требует все предназначение человека, требует и его характер.*

Никогда еще не встречали на земле людей, которые ходили бы на четвереньках, и самые дикие люди ходят прямо, хотя по виду своему и образу жизни скорее напоминают зверей. «Бесчувственные», о которых рассказывает Диодор[17], и прочие сказочные существа у писателей древности и Средних веков все же ходят на двух ногах, и я не представляю, чтобы человечество поднялось когда-либо до столь трудного и искусного положения тела, если бы природой было предназначено человеку ходить на четвереньках. Как трудно приучить одичавших людей к нашему образу жизни, к нашей пище! А ведь они одичали потому, что всего несколько лет прожили среди неразумных существ. Девочка-эскимоска даже помнила еще, как жила прежде, немножко умела разговаривать и тянулась к своей родине, но животное существование целиком полонило ее разум, и она ничего не помнила о своих странствиях, о том, как жила в диком состоянии. Другие же не только забыли язык, но уже и одичали навеки и не могли выучить язык людей. Так неужели же зверь-человек добровольно оставил бы свое прежнее состояние и встал на ноги, если бы в течение долгих эонов ходил на четвереньках и уже во чреве матери складывался совершенно иначе?! Неужели животные силы, которые всегда тянули его вниз, превратили бы его в человека, неужели человек придумал бы язык, еще не став человеком? Если бы человек был четвероногим животным, если бы десятки тысяч лет он был таким животным, он и теперь оставался бы им, и лишь чудо нового творения превратило бы его в человека, каким знаем мы его по опыту, каким знаем мы его из истории.

Для чего же нам принимать на веру недоказанные и даже противоречивые *парадоксы,* если все строение человека, история человеческого рода и аналогия, заключенная в органическом строении земных существ, подводит нас к совершенно иному выводу? Ни одно известное нам живое существо никогда не переходило от своего первоначального склада к какому-либо иному, потому что действовали в нем лишь заключенные в его органическом строении силы, а у природы было достаточно средств, чтобы удержать на указанном ему месте любое живое существо. В человеке все находится в полном соответствии с его теперешним обликом, им объясняется все в его истории, а помимо него непонятно ничего; а поскольку к этой возвышенной, божественной фигуре, к самой сложной и искусной красоте, какая есть в мире, сбегаются все формы животного строения, так что вся Земля лишена была бы украшения и венца творения, не будь на Земле царства человека, не будь на Земле его прекрасного облика, – для чего бросать во прах диадему нашего избранничества, центр круга, к которому сходятся все радиусы? Когда пластическая мать-природа совершила

все свои труды и исчерпала все возможные на Земле формы, она замерла и обдумала все созданные ею формы; она увидела, что нет на Земле ее лучшей красы, повелителя и второго творца; тут природа поразмыслила, сдвинула в одно место все живые формы и сложила из них главное создание – прекрасного человека. Она протянула своему последнему творению материнскую руку и сказала: «Восстань, человек! Предоставленный самому себе, ты остался бы животным, как другие; но вот моя особая милость и любовь: *ходи прямо* и будь богом животных!». Задержим взор свой на этом священном творении природы, на этом благодеянии, превратившем род наш в род человеческий, будем благодарны природе; мы будем поражены, увидев, что за новый строй сил берет начало с того момента, как выпрямился и встал во весь рост человек, – лишь тогда стал человек человеком.

Книга четвертая

I. Органическое строение предрасполагает человека к способности разума

Орангутан по своему внешнему виду и внутреннему строению похож на человека. Мозг его имеет ту же форму, что и человеческий; у него широкая грудь, плоские плечи, лицо напоминает человеческое, и черепная коробка тоже сложена почти как у человека; и сердце, легкие, печень, селезенка, желудок, кишечник – все у него, как у человека. Тайсон* перечисляет 48 моментов, в которых орангутан сходен с человеком и отличен от обезьян; и его умения и даже его пороки и благоглупости, а также и менструации – все определяет сходство его с человеком.

Конечно же, и в восприятии орангутана, и в проявлениях его души должно быть некое подобие человеку, и если философы ставят его ниже мелких животных, возводящих свои искусные постройки, то, как мне кажется, они ошибаются в выборе меры для сравнения. Бобр строит, следуя инстинкту; вся машина его тела предназначена для этой работы, а ничего другого он не умеет, он неспособен общаться с людьми, неспособен разделять наши мысли и чувства. А у обезьяны нет уже всецело определенного инстинкта, и способность мышления ее достигает уже рубежей разума – жалких рубежей подражательства. Обезьяна всему подражает – выходит, мозг ее способен тысячекратно комбинировать чувственные представления; ни одно животное этого не может: ни мудрый слон, ни ученая собака; в обезьяне заложено *желание совершенствоваться*. Однако на это-то она как раз и неспособна, двери закрыты перед нею, мозг неспособен овладеть связью чужих представлений, неспособен, так сказать, сделать своим достоянием то, чему животное подражает. Самке, которую описывает Бонций, свойственна была стыдливость, и она прикрывалась рукой, когда входил кто-нибудь посторонний; она вздыхала, плакала, совершала поступки совсем как человек. Обезьяны, которых описывает Беттель, совместно охотятся, вооружившись палками, и прогоняют прочь слонов, нападают на негров и усаживаются вокруг костра, но не умеют поддерживать огонь. Обезьяна,

* Tyson's Anatomy of a Pygmy compared with that of a Monkey, an Ape and a Man. London, 1751. P. 92–941.

о которой рассказывает Делябросс, усаживалась за стол, пользовалась вилкой и ножом, сердилась, печалилась и вообще выражала все человеческие аффекты. Как внешне, так и в душе обезьяны – человекоподобные существа; это доказывается тем, как любит своих детенышей обезьяна, как воспитывает она их, как приучает ко всем уловкам и проказам обезьяньего племени, какой порядок поддерживают обезьяны в своей обезьяньей республике и во время странствий, как наказывают эти граждане своих государственных преступников; это доказывается и хитростью, и злобой обезьян, что кажется нам забавным, и целым рядом других столь же несомненных черт их характера. Бюффон без пользы растрачивает свое красноречие, пытаясь оспорить подобие внешней и внутренней организации у этих животных; им же самим собранные факты его и опровергают, а подобие внутреннего и внешнего органического строения можно проследить во всех живых организмах, если только верно определить сам принцип подобия.

Итак, чего же недоставало человекоподобному существу, почему не стала обезьяна человеком? Может быть, не хватало ей только языка? Но ведь не раз делали попытки обучить обезьяну языку, и если бы эти существа, всему подражающие, способны были говорить, то, конечно же, они начали бы с того, что передразнивали бы говорящих людей и не стали бы дожидаться особых указаний. Значит, все дело в их органах речи? Но и это не так; хотя обезьяны и постигают содержание сказанного, но ни одна обезьяна, как бы ни размахивала она руками, еще не научилась разговаривать со своим господином с помощью мимики и рассуждать по-человечески с помощью жестов. Итак, ясно, что дело в чем-то совсем ином, – двери, ведущие к человеческому разуму, закрыты перед этим печальным образом, и, быть может, живет в нем темное чувство близости дверей – и невозможности проникнуть внутрь.

Но что же так мешает обезьяне? Странно, но, согласно анатомическим данным, все зависит от *положения тела*. Обезьяна ближе своих собратьев к человеку, потому что сложена так, что может ходить прямо, но все же сложена она не совсем так, и это малое различие отнимает у нее все. Посмотрим на обезьяну, и сама природа укажет нам пути, где искать самые первые проявления начал человеческого достоинства.

У орангутана* длинные руки, большие ладони, короткие бедра и большие ступни с длинными пальцами, но большие пальцы на руках и ногах короткие – и Бюффон, перед ним уже и Тайсон называют обезьян четверорукими; получается так, что эти маленькие члены тела слишком

* См. «Kort Berigt wegens de Ontleding van verschiedene Orang-Outangs» (Amsterdam, 1780) Кампера[2]. Мне это сообщение известно только по подробным выпискам в «Геттингенских ученых известиях» (1780), и нужно надеяться, что эта статья вместе с другой – об органах речи у обезьяны – будет включена в Собрание статей этого знаменитого анатома (Лейпциг, 1781).

коротки, а потому обезьяне недостает твердости, опоры, чтобы стоять и ходить как человек. Задняя часть тела у обезьяны худая, колени шире, чем у людей, и мышцы, управляющие коленом, сидят глубже, а от этого обезьяна не может стоять вытянувшись, она как бы стоит на согнутых ногах и без конца учится, но никак не может научиться ходить. Бедренная кость висит в своей ямке, не связанная никакими сухожилиями, а кости таза располагаются, как у четвероногих животных; у пяти последних шейных позвонков – острые отростки, мешающие голове двигаться назад; итак, обезьяна не создана для прямохождения, а последствия этого ужасны для нее. Шея у нее становится короткой, ключицы вытягиваются, и голова словно торчит между плеч*. Передняя часть головы выдвигается вперед, челюсти тяжелые, нос приплюснут; глаза посажены близко друг к другу, глазное яблоко маленькое, так что почти не видно белка. Зато у обезьяны большой рот, толстый живот, обвислые груди, словно переломленная спина. Уши торчат, как у зверя. Глазницы расположены рядом. Части черепа сходятся не в центре, как у людей, а сзади, как у животных. Верхняя челюсть выдвинута вперед, и межчелюстная кость (os intermaxillare)[3] – последнее отличие от человеческого лица**. Ибо по всему положению нижней части головы, по сообразующемуся с положением головы направлению позвоночника обезьяна – животное, как бы ни напоминала она человека.

Чтобы подготовить себя к такому выводу, подумаем, какие лица хотя бы отдаленно напоминают животное. Отчего они кажутся мордой животного? Что так огрубляет их, что лишает человеческого достоинства? Вот что: выдвинутые вперед челюсти, сдвинутый лоб – одним словом, все, что походит на органическое строение четвероногих. Как только смещается центр тяжести, на котором покоится возвышенный свод черепной коробки человека, как только начинает казаться, что голова прямо посажена на плечи, так и зубы выступают вперед и нос сплющивается и кажется носом зверя. Глазницы сходятся, лоб отступает назад и сдавливается с обеих сторон обезьяньим черепом. Голова сверху и сзади заостряется, и черепная крышка уже не столь углублена – все это оттого, что сама направленность формы словно изменена, нет уже прекрасного и ничем не скованного творения человеческой головы, связанного с прямым положением тела человека.

Стоит переместить центр тяжести, и целое обретает красоту и благородство. Выступает вперед глубокомысленный лоб, и возвышается в своем покое и достоинстве благородный череп. Широкий нос животного

---

* См. изображение этого прискорбного существа у Тайсона.

** Изображение этой кости у Блуменбаха – «De generis humani varietate nativa», Tab. I, fig 2. Однако кажется, что не у всех обезьян эта межчелюстная кость представлена одинаково, потому что Тайсон в своем анатомическом сообщении специально упоминает об ее отсутствии.

собирается в одну линию, становится тоньше и изящнее в своем строении; рот отступает назад, он красиво прикрыт и не так уже заметен, губ, как у человека, нет ни у одной, даже и самой умной, обезьяны. Подбородок опускается и образует красивый овал, расположенный в вертикальной плоскости; мягки очертания ланит, и лоб нависает над глазами, и они смотрят наружу, словно выглядывая из священного храма мысли. Отчего же все это? Только оттого, что форма головы во всем приспособлена теперь к *вертикальному положению тела**; все внутреннее и внешнее строение теперь таково, что образует *перпендикуляр центра тяжести.* Кто сомневается, пусть сравнит череп человека и череп обезьяны, тогда не остается и тени сомнения[3].

Внешняя форма в природе всегда – выявление внутреннего творения природы, и так мы, великая Природа, приближаемся к святыне земного творения, к кузнице человеческого разумения.

* * *

Измерения величины мозга человека и животных, их сопоставление, сравнение веса животного и веса его мозгового вещества стоило уже немалых трудов исследователям. Но есть три причины, мешающие прийти к чистым результатам взвешивания и числового измерения.

1. Первая причина заключается в том, что один из членов пропорции – масса тела – остается неопределенным и не позволяет установить чистую пропорцию с весом мозга, размеры которого очень точно определены. Как различны все члены тела, которые складываются в один вес! И сколь различной может быть пропорция, установленная между ними природой! Природе под силу было снизить огромный вес тела слона, даже вес его головы, и слон – самое мудрое животное, хотя мозг его отнюдь не чрезмерно большой. Что дает наибольший вес? Конечно же, кости, а между костями и мозгом нет прямой связи.

2. Многое зависит и от того, для чего используется мозг, куда, к каким частям тела отходят от него нервы, каким жизненным отправлениям он служит. Если взвесить мозг и нервную систему, то мы получим уже более тонкую, хотя далеко не чистую пропорцию, – ведь вес не показывает, насколько тонки нервы и куда они протянуты.

3. Итак, все дело в том, *насколько разработаны, насколько развиты части, насколько пропорциональны* они между собою, но главное зависит от того *просторного и ничем иным не занятого места,* где собираются и сочетаются впечатления и ощущения всех нервов, где соединяет их величайшая сила, неподкупная истина, нескованная игра многообразия,

* До сих пор я не читал упоминаемый Блуменбахом трактат Добантона «Sur les differences de la situation du grand trou occipital dans l'homme & dans les animaux» (Mem. de l acad. de Paris, 1764), поэтому я не знаю, в каком направлении развивает он свои мысли; мое мнение основано на наблюдении черепа человека и животных.

энергично сливая их в то неведомое божественное *единство,* которое называем мы *мыслью,* – сама по себе величина мозга тут ни о чем еще не говорит.

Однако и расчеты поучительны*, они не дают конечных результатов, но ценны и дают нам в руки нить; рискну привести некоторые результаты, которые показывают, что и здесь природа, восходя к высшему, хранит единообразие.

1. У небольших животных с несовершенным кровообращением и органическим теплом и мозг – меньше, и нервов – меньше. Уходящей в глубь тела, рассеянной по всем его членам силой возбуждения природа, как мы видели, возместила им отчетливость ощущений; их складывающийся организм не мог, вероятно, ни породить, ни заключать в себе мозг больших размеров.

2. У более теплокровных животных и масса мозгового вещества возрастает пропорционально усложнению их органического строения; но появляются и другие факторы, которые, в частности, соразмеряют отношение нервов и мышечных сил. У хищных животных мозг – меньше; мускульная сила господствует у них над всем, а нервы служат мускулам и животным инстинктам. У животных травоядных, ведущих спокойный образ жизни, мозг – больше, но и у них энергия мозга уходит на чувственные восприятия. Большой мозг у птиц: им, живущим в более холодной стихии, нужна более теплая кровь. И система кровообращения у них сжата, потому что тела – маленькие; у влюбленного воробья мозг занимает всю голову и составляет одну пятую его общего веса.

3. У молодых особей мозг больше, потому что он жиже и нежнее и требует больше места, но он не тяжелее. В нем еще заключен запас тонких соков, необходимых для внешних действий и внутренних процессов, с помощью которых новорожденное существо обретет необходимые умения, затратив на это много сил и энергии. С годами мозг сохнет и твердеет; умения уже сформированы, а животное уже не способно воспринимать беглые, изящные, легкие впечатления. Короче говоря, чтобы способности животного возрастали, чтобы оно упражняло свое разумение, необходим большой мозг, но это не единственное и не первое условие способностей и разумения. Уже и древним было известно, что у человека мозг – относительно самый большой; однако обезьяна не уступает здесь человеку, а осел превосходит лошадь.

---

* В большой «Физиологии» Галлера я нашел множество таких расчетов, и остается пожелать, чтобы опубликовал свои наблюдения проф. Врисберг, который ссылается на них в своих примечаниях к малой «Физиологии» Галлера[4]; ибо вскоре станет ясно, что удельный вес мозга – мера более тонкая, чем та, что использовалась в прежних исследованиях.

* * *

Итак, нужен иной физиологический фактор, который укрепит мыслительные силы живого существа; но если судить по тем ступеням, какие проходят различные органические существа, по тем ступеням, которые указала нам сама природа, то фактором таким и может быть только *строение самого мозга, более совершенное развитие* всех его частей и соков и, наконец, более удобное расположение и сложение его, благоприятствующее зарождению духовных восприятий и представлений в самом средоточии животного тепла. Раскроем книгу природы, взглянем на тончайшие листы, на каких когда-либо писала природа, – на слои мозга; ведь целью природы, целью ее органических созданий было ощущение, благополучие, счастье, а потому голова – самый надежный архив природы, и в нем мы найдем ее мысли.

1. У тех существ, у которых есть только зачатки головного мозга, он устроен совсем просто – это как бы бутон или несколько бутонов, расцветших на стволе спинного мозга, и нервы отходят от них только к самым жизненно необходимым органам чувств. У птиц и рыб, по замечанию Виллиса, во всем строении их мозга обнаруживается сходство: число бугорков возрастает, доходит до пяти и больше, и бугорки эти гораздо более четко выделяются. У животных с более теплой кровью различается большой головной мозг и мозжечок, в соответствии с органическим строением разделяются полушария головного мозга и различные части его связываются между собой. Как и во всем строении живых существ, так и в этом случае, создавая квинтэссенцию и конечную цель живого существа – мозг, природа воспользовалась *одним-единственным* типом строения и всюду, от ничтожного червя и насекомого, неукоснительно следовала этому типу, изменяя его в малом, в зависимости от различий во внешнем строении животных, но в главном развивая, увеличивая, совершенствуя и приводя его к самому искусному завершению, когда речь идет о создании человека. Развитие мозжечка заканчивается еще раньше, потому что он родственнее и ближе спинному мозгу и более одинаков у тех пород животных, у которых форма головного мозга очень несходна. Это и неудивительно: от мозжечка исходят важные для животного строения всего организма нервы; так что, развивая благороднейшие мыслительные силы, природа шла вперед – от спины к голове.

2. Что касается головного мозга, то развитие его полушарий, самых благородных их частей сказывается в разных отношениях. Их извилины глубже и более замысловаты, и у человека их больше, чем у какого-либо существа, и они сложнее; кора головного мозга – самая тонкая и нежная его часть; если испарять ее, то она сокращается до одной двадцать пятой своего объема; но мало и этого: кора прикрывает и пронизывает самое сокровище мозга, его ценнейшую часть, и

эта часть у более благородных животных, и прежде всего у человека, и являет наибольшее число различий, и более определена в разных своих отделах, и по объему больше, чем у других животных. У человека большой головной мозг, во много раз больше мозжечка, и вес его говорит о внутренней полноте и развитии.

3. Все наблюдения, собранные самым ученым физиологом всех народов, Галлером, говорят о том, что *образование представлений, идей* – единый и неделимый труд, так что нельзя искать материальных следов его в отдельных материальных частях мозга; мне даже кажется, что самое существо идей, представлений, как они складываются, таково, что мы сами по себе поняли бы неделимость такого процесса, помимо всех наблюдений и замечаний. Почему в зависимости от различных соотношений мы мыслительную силу называем то воображением и памятью, то остроумием и рассудком? Почему различаем мы влечения, и чистую волю, и даже силы чувства, и силы движения? Достаточно чуточку подумать, чтобы понять, что все такие способности не могут быть разделены между собою в пространстве, как будто в этой части мозга может находиться рассудок, в этой – память и воображение, в этой – страсти и чувственные силы; потому что мысль души нашей – нераздельна, любое проявление души – плод мыслей. Нелепо расчленять абстрактные отношения, как будто перед нами материальное тело, нелепо разбрасывать члены души, как Медея разбрасывала члены тела своего брата[5]. Ведь даже если речь идет о самом простом чувстве, материал ощущения – вещь, вполне отличная от нервного сока, если таковой имеется, – ускользает от нас; насколько же менее осязательно духовное слияние чувств и ощущений: мы их не видим, и не слышим, и не можем возбуждать в различных частях мозга, словно играя на клавикордах. Думать так и даже надеяться на что-либо подобное – мысль неприемлемая для меня.

4. А если подумать о строении мозга и нервов, то эта мысль и тем более станет неприемлемой. Природа распорядилась не так, как представляет себе абстрактная психология чувств и душевных сил. Разве на основе метафизики возможно догадаться, как будут возникать, расчленяться и сопрягаться нервы, определяющие чувства и ощущения? А ведь нервы – это единственная область мозга, известная нам по ее органическим проявлениям, потому что действие нервов происходит у нас на глазах. Итак, остается одно: на головной мозг, в котором соединяются все чувства, на эту кузницу идей и представлений, смотреть как на чрево мыслей, где плод складывается незримо и неделимо. Если чрево мысли – здоровое и плоду доставляет не только положенное духовное и жизненное тепло, но дает ему и должное пространство, подобающее место для того, чтобы незримая органическая сила, все проникающая, все прорастающая, сводила ощущения органов чувств, всего тела, выражаясь метафорически, в одну *светлую точку,* в то,

что называем мы *высшим самосознанием,* – вот тогда складывается тонкая организация – живое существо, способное разумно мыслить; нужно только, чтобы внешние обстоятельства были благоприятны, чтобы обучение будило мысль и т.д. Если же всего этого не случится, если в строении мозга будет недоставать существенных частей и будут отсутствовать самые тонкие соки, если все место займут чувства примитивные, грубые, если, наконец, мозг будет сжат со всех сторон, сдавлен, – что произойдет тогда? Очевидно, тонкого слияния лучей – представлений – уже не добиться, и живое существо навеки останется рабом своих органов чувств.

5. Строение мозга самых различных живых существ наглядно подтверждает сказанное; именно изучая строение мозга и сопоставляя его с органическим строением животного в целом, с его образом жизни, можно будет понять, почему природа ставила своей целью создание одного типа, но достигнуть его не могла в каждом отдельном случае и должна была видоизменять тип то в одном, то в другом направлении. Обоняние – чувство главное не для одного существа; это самое необходимое для инстинктов животного, для поддержания его жизни чувство. И вот мы видим, что нос животного выпячивается вперед, а от мозга животного во множестве тянутся обонятельные нервы, как будто только ради них и существует передняя часть головы. Нервы широкие, полые, сочные, они – словно продолжение отделов головного мозга; и лобные пазухи у некоторых животных поднимаются высоко, тоже усиливая, по-видимому, их обоняние, и в целом, если позволено так сказать, значительная часть животной души *обонятельна.* За обонятельными следуют зрительные нервы: после обоняния для животного зрение стоит на первом месте; зрительные нервы уже доходят до середины мозга, потому что служат они более тонкому органу чувств. За этими нервами следуют другие, которых я не буду перечислять здесь, – насколько они развиты, зависит от степени взаимосвязи, какая требуется внешним и внутренним органическим строением: так, нервы и мышцы затылка и шеи поддерживают рот, челюсти и несут к ним жизнь. Они, можно сказать, замыкают лицо и внешнее строение превращают в целое – в такое же целое, каким было и внутреннее строение с соответствующей ему пропорцией внутренних сил; но только прилагать такой принцип следует не к одному лицу, но и ко всему телу. Занятие весьма приятное – перебирать пропорции различных существ и, сравнивая их, смотреть, кому сколько отвесила природа. Отнятое природа заменяла другим, а если ей приходилось запутывать, то запутывала она мудро, то есть все гармонически соразмеряя с внешним органическим строением живого существа, со всем его образом жизни. Но перед глазами природы всегда стоял избранный ею тип, от которого она неохотно отступала, – известный *аналог чувства и восприятия* во всех земных существах – вот главная цель, ради которой природа строила

и создавала. Этот непрерывный аналогический ряд можно показать на примере рыб, птиц и самых различных наземных животных.

6. Так мы подходим к преимуществам в строении человеческого мозга. От чего они зависят? Очевидно, от того, что человек в целом – *более совершенный организм,* а в самом конечном счете от того, что человек стоит и ходит *прямо.* У всякого животного мозг изваян по форме головы, или, вернее, наоборот, голова по форме мозга, потому что природа действует из глубины. Природа смешивала и упорядочивала органические силы, сообразуясь с тем, *какое положение* занимает живое существо стоя и в движении, как соотносятся его части, к какому способу существования предназначила природа живое существо. В зависимости от сил и существующей между ними пропорции мозг становился большим или маленьким, узким или широким, тяжелым или легким, разнородным или однородным. И чувства становились слабыми или сильными, царили во всем или во всем служили. Пазухи, мышцы головы складывались в зависимости от того, куда тяготела лимфа, то есть в зависимости от *основного угла органического направления тела.* Можно привести значительное число примеров, относящихся к родам и видам живых существ, но я приведу только два или три. В чем органическое отличие головы человека от головы обезьяны? В том, что голова расположена под иным углом. У обезьяны – все те же части мозга, что и у человека, но в соответствии с формой черепной коробки мозг сдавлен и оттеснен назад, а форма черепа зависит от того, что голова расположена под другим углом и не приспособлена к прямому положению тела. А раз так, то и все органические силы действуют совершенно иначе. Голова обезьяны не такая высокая, не такая широкая и длинная, как у человека; низкие чувства выступают на передний план вместе с выдвинутыми вперед челюстями – получилась морда зверя, точно так же как задвинутый назад мозг был мозгом животного; все те же части, что в мозге человека, но расположение их в пространстве иное, и пропорция совсем иная. Парижские анатомы установили, что передние доли головного мозга обезьян похожи на человеческие, но что внутренние, начиная с мозжечка, вытянутее; так, шишковидная железа – конической формы, с острием, направленным к затылку, и т.д. Все эти пропорции предопределены углом, существующим между направлением головы и положением тела, всем внешним обликом, образом жизни. Еще более сходна с животным была обезьяна, которую анатомировал Блуменбах*, по-видимому, она относилась к ниже стоящему виду; вот почему мозжечок ее больше, вот откуда и другие отличия от человека. У орангутана многие из этих отличий отпадают, потому что голова его менее загнута назад и мозг не так сдавлен; впрочем, сдавлен он более чем достаточ-

* *Blumenbach.* De varietat. nativ. gen. hum. P. 32.

но, если сравнивать с высоким, круглым, образующим широкий свод мозгом человека – единственным в природе прекрасным залом, где складываются разумные идеи и представления. Почему у лошади нет сплетения артерий (rete mirabile), как у других животных? Потому что голова лошади стоит прямо, и главная артерия уже напоминает строение человеческого тела и поднимается к голове без разветвлений, не так, как у животных, головы которых понуро висят. Вот почему лошадь стала животным благородным, смелым, стремительным, в ней много животного тепла и потребность в сне невелика, тогда как у животных с опущенными долу головами природе, организующей мозг, пришлось много потрудиться и пришлось даже разделить основные отделы мозга перегородками из кости. Итак, все дело – в *направлении,* какое придаст природа голове, а вместе с ней и всему телу, всему строю целого, в направлении, какого добивалась природа, формируя голову, а вместе с ней и все тело животного. Я не буду приводить иных примеров, а выражу только пожелание, чтобы ученый анатом, исследуя внутренние пропорции животных, особенно близких к человеку, обращал внимание на *взаимное расположение частей* и на *направление головы относительно тела в целом* – вот момент, в котором заложены различия, подчиняющие все органическое строение живого существа тому или иному инстинкту, тому или иному проявлению животной и человеческой души; ибо любое существо в каждой своей части есть живое, взаимосвязанное и взаимодействующее целое.

7. Закон строения, приспосабливающий голову к прямому положению всего тела, определяет, как кажется, и угол стройности или безобразия человеческого тела; такая, как у человека, форма головы, такой объем мозга с его обширными и прекрасными полушариями, тем самым и все предназначение человека для разума и вольности – все это было возможно лишь благодаря вертикальному положению человеческого тела, о чем свидетельствуют и соотношение частей головы, и расположение центра тяжести, и пропорция животного тепла в голове, и способ кровообращения, – на основе такого внутреннего соотношения и могла сложиться лишь стройная фигура человека. Почему так приятно наклонена вперед верхняя часть у греческого типа головы? Такое положение дает простор вольному развитию мозга, и видны здесь изящные и здоровые лобные пазухи, это – храм *юношески прекрасных и чистых человеческих мыслей.* А затылок, напротив, небольшой по размерам, потому что животный мозжечок не должен преобладать. Таковы и другие части лица; будучи органами чувств, они прекрасно соразмерены с чувственными силами мозга, а любое отклонение от пропорции уже принадлежит животному. Я думаю, что у нас еще будет наука о взаимосогласии всех частей тела, наука прекрасная, которая добьется несравненно большего, чем физиогномика[6], которая просто гадает. Основа внешнего заключена внутри; органические силы все

ваяют, начиная изнутри, и всякое существо – это целиком отражающая природу форма, как будто ничего другого природа и не создавала. Взгляни же на небеса, человек, и возрадуйся, и ужаснись безмерному преимуществу, какое творец мира связал со столь простым началом – с прямым положением твоего тела! Если бы ты, словно животное, сгибался к земле, если бы голове твоей было придано направление в сторону рта и носа, выражение прожорливости, если бы все строение тела приведено было в единство с таким направлением головы, – где были бы высшие твои духовные силы, где погруженный в недра твоей души образ божества? Несчастные люди, оказавшись среди животных, утрачивали божественное подобие; голова их обезображивалась, и вместе с этим вырождались и дичали внутренние силы, грубые силы тянули живое существо вниз, к земле. Но коль скоро все строение твоих членов, человек, было рассчитано на вертикальное положение твоего тела, то и голова заняла свое прекрасное положение и получила свое новое направление, и мозг, этот нежный, неземной побег, обрел полный простор для развития, мог шириться во все стороны и пускать вниз свои ветви. Поднялся глубокомысленный свод лба, животные органы отступили на второй план, и строение тела стало строением человеческим. Черепная коробка все поднималась вверх, а орган слуха опускался; уши и глаза сошлись ближе, составили свой союз и получили доступ в святая святых внутреннего склада идей и представлений. И мозжечок, этот цвет спинного мозга и чувственных сил тела, подчинился большому головному мозгу и кротко уступил ему, тогда как у животных он господствовал над всем. Лучи поразительно прекрасного полосатого тела мозга стали у человека отчетливее и тоньше; я вижу в этом указание на тот бесконечно более тонкий свет, который собирается в этой средней зоне, расходясь отсюда яркими лучами. Так, говоря образно, сложился этот цветок, он рос на стебле спинного мозга, а потом сразу вырос в целый куст эфирных сил, какой и мог зародиться лишь на этом устремленном ввысь древе.

Ибо, если идти дальше, пропорция органических сил, существовавшая в животном строении, еще не благоприятствовала разуму. В животном царят мышечные силы, чувственные возбуждения, особо распределенные в каждом живом творении в зависимости от его органического строя и составляющие всякий раз господствующий *инстинкт* породы. Человек встал с земли, и поднялось гордое дерево, все силы которого так соразмерены, чтобы самые тонкие и обильные соки давать мозгу, своему цветку, своей кроне, своему венцу. С каждым ударом сердца более шестой части всей крови поднимается к голове; главный ее поток поднимается к голове прямо и изгибаясь незаметно, потом он постепенно разделяется, так, чтобы и самые отдаленные части головы получали питание и тепло. И природа сделала все возможное, чтобы укрепить сосуды головы, чтобы ослабить и рассредоточить силу крови,

чтобы как можно дольше удержать ее в голове и спокойно отвести назад, когда она сделала свое дело. Кровь эта идет из артерий, которые близки к сердцу и передают всю энергию толчка, – как только начинается жизнь, вся мощь сердца направляется на эти самые восприимчивые и благородные части тела. Конечностям приходится долго ждать, пока не сформируются во всех тонкостях голова и ее внутренние органы. Поражаешься, видя, насколько преобладают в неродившемся еще плоде эти части, как тонка структура отдельных чувств; можно подумать, что природа, эта великая художница, задумала весь зародыш превратить в мозг, в энергию внутреннего движения, и только потом, постепенно, добавила к мозгу и иные члены тела, орудия выявления, воплощения внутреннего существа. Уже в материнском чреве человек формируется для того, чтобы стоять и ходить прямо, для всего, что зависит от вертикального положения его тела. И формируется он не в теле животного, свисающем к земле, – более искусная мастерская задумана для него, и она твердо стоит на своих опорах. И тут спит плод, и кровь проникает в его голову, и наконец голова опускается под тяжестью своего веса. Короче говоря, человек – то, чем его сделала природа (ради этого трудятся все его части), – это дерево, устремленное ввысь, и крона дерева – венец *тончайшего здания мысли.*

II. Взгляд с высот органического строения человеческой головы на существа низшие, приближающиеся по складу своему к человеку

Природа во всем творит единообразно, а потому если путь наш был правилен, то и у низших существ должна утверждать свое господство все та же аналогия в соотношении головы и всего тела; эта аналогия и господствует в их органическом строении. Растение трудится ради того, чтобы вырастить свое художественное творение – цветок, венец всего создания, так и все здание живых существ трудится для того, чтобы питать голову – венец своего существа. Следовало бы сказать так: природа, проходя через ряд своих творений, пользуется их органическими силами для того, чтобы создавать все более тонкий и совершенный мозг, чтобы подготовить более собранное и вольное средоточие чувств и мыслей. Чем выше поднимается природа, тем усерднее ее труды, и усердствует она насколько это возможно, и только что не отягощая излишним бременем голову живого существа и не нарушая его чувственных жизненных отправлений. Рассмотрим некоторые из звеньев этой восходящей органической цепи ощущения, имея в виду *положение* и *внешнюю форму головы.*

1. У животных, голова которых, как и все тело, расположена по горизонтали, мозг наименее развит; природа рассеяла по всему их телу

их влечения и возбудимость, упрятала их в глубине самого их существа; таковы черви, зоофиты, насекомые, рыбы, земноводные. У самых низших звеньев органической цепи трудно рассмотреть даже голову, у других голова прорезывается наружу, как глаз. Маленькая головка у насекомых, у рыб голова и тело составляют еще одно целое, а у земноводных голова расположена на одной горизонтали с телом. Чем более отделяется голова от туловища, поднимаясь вверх от земли, тем более просыпается живое существо, выходит из состояния животной спячки, челюсти отступают назад и перестают казаться какой-то выдвинутой вперед, собранной воедино силой всего горизонтально направленного тела. Сравните акулу, состоящую как бы из одних челюстей и пасти, ползущего по земле крокодила, заглатывающего свою добычу, и более тонкие органические существа; все бесчисленные примеры приведут нас к следующей теореме: *если голова и тело животного образуют сплошную горизонтальную линию, то в голове такого животного мало места для развитого мозга, и выставленная вперед неуклюжая пасть оказывается целью всей мозговой деятельности.*

2. Совершенствуясь, животное как бы поднимается от земли; у него растут конечности, шейные позвонки расчленяются по мере органического совершенствования, и голова обретает соразмерное с целым направление и положение. И тут уместно сравнивать панцирных, сумчатых животных, ежа, крысу, всеядных животных и другие низкие существа с более высокими и благородными. У первых лапы короткие, голова сидит между плечами, морда вытянута и выпячена вперед; у благородных животных голова легче, шея отчетливее выделена, морда короче, движения стремительнее; ясно, что и для мозга тут больше места, и расположен он выше от земли. Тогда мы можем принять вторую теорему: *чем выше поднимается от земли тело, чем более голова отчленяется от всего скелета, обращаясь вверх, тем тоньше строение животного.* Но и эту теорему, и первую следует применять не к отдельно взятым членам тела, а ко всей пропорции и к строению животного в целом.

3. Чем меньше нижняя часть головы, устремленной кверху, или чем более эта часть оттеснена назад, тем благороднее направление головы, тем разумнее выражение ее. Сравните волка и собаку, кошку и льва, носорога и слона, коня и бегемота. Если нижняя часть головы грубая, широкая, если она гнется к земле, то тем меньше черепная коробка и тем уже лоб. Эта особенность отличает не только разные виды, но даже один и тот же в разных климатических условиях. Взгляните на северного белого медведя и на медведей более теплых стран, на разные породы собак, оленей, ланей; короче, скажем так: *чем меньше животное, так сказать, представляется челюстями и пастью и чем больше – головой, тем более разумным кажется его строение.* Чтобы положение это стало нам нагляднее, соедините линиями последний шейный позвонок с высшей точкой темени, передней точкой лобной

кости и крайней точкой верхней челюсти; в зависимости от вида и породы мы получим множество углов, но одновременно заметим, что все они более или менее определены *горизонтальным положением тела* и подчинены ему.

Эта система линий близка другой, тем тонким пропорциям, которые вывел Кампер, изучавший строение обезьян и разных племен людей*. Кампер на строгом профильном изображении лица проводил две прямые линии, одна из которых соединяла ушные отверстия и корень носа, а другая – выступающую вперед точку лобной кости и выдающуюся часть верхней челюсти. Кампер полагает, что образуемый двумя линиями угол характеризует не только различия между животными, но и различия между разными нациями; он считает, что природа пользовалась именно этим углом, устанавливая различия между животными, как бы постепенно поднимаясь до уровня прекраснейшего из прекраснейших – людей. Кампер пишет: «У птиц угол самый маленький; угол этот растет по мере того, как животное приближается к человеческому облику. У обезьяны угол увеличивается и от 42° доходит до 50° – последнее у человекоподобных обезьян. У негра и калмыка угол составляет 70°, у европейца – 80°, а греки, приукрашивая свой идеал, довели угол до 90° и до 100°. Это высшая точка, достигаемая красотою лиц древних, а превышение этого угла уже превращает человека в чудовище». Наблюдение поразительное, и оно радует меня, потому что мне кажется, что я могу указать его физическую основу: от *отношения живого существа к горизонтальному или перпендикулярному положению головы и строению тела* зависит в конечном итоге как удобное расположение мозга, так и красота и пропорциональность всех частей лица. Итак, чтобы довести до завершения камперовскую пропорцию, показав вместе с тем и ее подлинное основание, достаточно взять за исходную точку не ухо, а последний шейный позвонок и провести отсюда прямые линии к самой задней точке затылка, к верхней точке темени, к передней точке лба и к наиболее выдающейся вперед точке челюсти – и сразу же станут ясны не только все различия в строении головы, но выявится и причина этих различий: все зависит от *склада*, от *направления этих частей относительно вертикального или горизонтального положения тела*, то есть от всей позы животного; коль скоро выяснен простой принцип образования форм, в величайшее многообразие может быть внесено единство.

О, если бы в наши дни второй Гален переписал заново книгу Галена-древнего о частях человеческого тела[7], с тем чтобы во всех соотношениях и проявлениях членов тела открылось совершенство человеческой фигуры, превосходство вертикального положения тела! Пусть этот новый

---

* См. «Малые работы» Кампера. Ч. I. С. 15 сл. Мое пожелание: чтобы работа эта была опубликована полностью и с двумя гравюрами.

Гален, последовательно сопоставляя человека с близко стоящими к нему животными, проследит за тем, как появляются первые проблески человеческого в его животных и духовных совершениях и отправлениях, как тонко и соразмерно складываются пропорции всех частей тела и, наконец, как цветущее древо дорастает до своего венца – головного мозга; пусть он покажет путем сравнений, что только здесь и могла подняться эта прекрасная крона. Прямое положение – самое красивое и самое естественное для всех земных растений. Так растет дерево, так цветет растение, и нужно думать, что всякое благородное существо в этом мире должно ходить прямо, а не влачить по земле свои кости, опущенные на четыре подпорки и распластавшиеся во все стороны. Однако, прежде чем обрести наше вертикальное положение, наиболее совершенное и независимое, животное должно было, находясь на ранних стадиях развития, приниженное, пригнутое к земле, накопить в себе животные силы, должно было упражнять в себе чувства, влечения. Животное постепенно приближается к вертикальному положению тела: ползущий в пыли червь как можно выше старается приподнять свою голову, и морское животное, согнувшись, выползает на берег. Гордый олень, благородный конь стоят высоко подняв свою голову, а у домашнего животного уже подавлены все инстинкты: душа его уже вскормлена предварительными идеями, постигнуть которые он не в состоянии, но зато он принимает их на веру и привыкает слепо следовать им. И теперь природе, которая ваяет формы, не покладая рук и творит в своем незримом органическом царстве, – теперь природе достаточно подать знак, и тело животного, придавленное к земле, распрямляется, древо спины его растет стройнее, цветет тоньше, грудная клетка раздалась, бедра сошлись, шея распрямилась, чувства образовали более прекрасный строй и лучи их соединились в светлом сознании, а потом – в мысли о Боге. Органические силы развились, и вот природе осталось лишь властно повелеть своему творению: *«Восстань от земли!»*.

III. Органическое строение предрасполагает человека к тонким чувствам, искусству и языку

Пока человек ползал по земле, чувства его были узки, а чувства низкие опережали чувства высокие, о чем говорит пример одичавших среди животных людей. Обоняние, вкус – вот что увлекало человека, словно зверя, за собой. Теперь орган обоняния уже не царит в человеке – до земли, до травы далеко – и царит глаз: перед ним более широкие просторы; он с детства упражняется в тончайшей геометрии линий и красок. Ушам, посаженным глубоко, ниже раздвинувшейся черепной коробки, доступнее недра, в которых складываются идеи и представления, тогда как уши зверей торчат кверху, беспрестанно прислушиваясь к звукам, и

у многих животных это постоянное вслушивание получило и внешнее выражение – в положении тела.

Начав ходить прямо, человек стал искусным созданием, потому что выучил самое первое и самое трудное свое искусство и этим был благословен природой на изучение всех остальных художеств, ему суждено стать живым воплощением искусства. Посмотрите на животное! Иной раз мы видим, что у него словно человеческие пальцы, но то они заключены в копыто, то скрючены и стали когтями, то еще как-то свернуты, то изуродованы мозолями. Когда человек смог ходить прямо, руки его благодаря вертикальному положению тела высвободились и стали искусными инструментами, с помощью которых можно изготовлять самые тонкие вещи, беспрестанно нащупывать все новые и новые ясные идеи. Гельвеций[5] прав, когда утверждает, что рука для человека – величайшая подмога в развитии разума; ведь если даже взять хобот, – чем только не служит он слону? И более того: присущее рукам тонкое чувство осязания распространилось как бы по всему телу человека, и пальцы ног калеки совершают иногда такие искусные и сложные вещи, которых не сделаешь и руками. Большие пальцы рук и ног кажутся нам весьма несущественными членами, но у них особая структура мышц и они необходимые помощники во всех наших искусствах, с их помощью мы стоим, ходим, берем в руки вещи и вообще делаем все, что только ни придумает наша искусная душа.

Нередко говорят, что человек создан существом безоружным и что ничего не уметь – одна из отличительных черт его породы. Но это неверно; как и всем животным, человеку есть чем защищаться. Уже обезьяны берут в руки палки и обороняются камнями и песком, они лазают по деревьям, спасаются бегством от змей, самых страшных своих врагов; обезьяны могут даже разбирать крыши домов и убивать людей. Дикая девочка из Сонжи своих сестер била палкой и убегала или взбиралась на деревья, если сил ее не хватало. Отсюда следует, что даже у человека одичавшего есть средства защиты; а если человек ходит прямо, если он воспитан культурой, что же, разве у какого-нибудь зверя есть многорукое орудие искусства, умения, то есть то, чем служит человеку его рука, его пальцы, то, чем служит человеку его гибкое поворотливое тело, чем служат ему все силы и способности? Нет сильнее оружия, чем умение, а человек с головы до пят – воплощенная искусность, оружие, ставшее живым телом. И только нет у человека таких орудий нападения, как когти и клыки, потому что человеку положено быть существом мирным и кротким, и не создан он, чтобы пожирать других людей.

Какие бездны художественного чутья скрыты в каждом чувстве человека! Иной раз открывают их нам нужда, трудности, болезни, отсутствие одного из чувств, уродство или случай, и это позволяет нам предпола-

гать, сколько нераскрытых чувств заключено в нас! Ведь слепые иногда настолько изощряют свое осязание, слух, память, способность к счету, что нам, людям с обычными чувствами, все это представляется сказкой; но такие же скрытые миры неведомого многообразия и тонкости лежат без движения и в глубине других чувств, и мы просто не развиваем их, и они пропадают в механизме нашего органического, такого сложного и искусного строения. Возьмем глаза или уши! Сколько тонких вещей уже открыл человек благодаря им, а сколько еще таких вещей обретет, когда достигнет более высокого уровня развития; как говорит Беркли, свет – это язык, на котором разговаривает Бог[9], а самое тонкое наше чувство только лишь прочитывает по складам тысячи различных форм и красок. Искусство лишь развивает то благозвучие, которое внятно слышит человеческий слух, и вот – тончайшая арифметика души, которая считает с помощью своего неясного чувства, – точно так же, как тончайшие теоремы геометрии доказывает она с помощью глаза, в котором играет свет солнечных лучей. Когда мы сделаем шаг вперед в своем существовании, мы будем глубоко поражены, увидев ясным взором, что сумели мы совершить с помощью темных чувств и сил, заключенных в нашей сложной и искусной божественной машине, что творили уже и животные, предваряя дела человеческие, в той мере, в какой соответствовало это их органическому строению.

Однако и со всеми этими орудиями искусства, как мозг, органы чувств, рука, мы не добились бы ничего, как бы прямо ни ходили и ни стояли, если бы не приводила все в движение одна пружина, которую заключил в нас создатель; эта пружина – *божественный дар речи*. Речь пробудила дремлющий разум или, лучше сказать, стала живой силой, воплотилась в действие – способность, которая сама по себе навеки осталась бы безжизненной, мертвой. Благодаря речи зрение, слух, все чувства сливаются в одно, благодаря речи они превращаются в творческую мысль, и рукам, этому орудию человеческого искусства, всем прочим членам тела остается только покориться мысли. Пример людей глухонемых от рождения показывает, что, будучи лишен языка, человек, даже живя среди людей, не может дойти до представлений разума, а все влечения его не перестают быть дикими, словно у животного. Человек подражает всему, что видит, и доброму, и злому, и подражает он хуже обезьяны, потому что у него, лишенного языка, отсутствует внутренний критерий различения злого и доброго, и он даже не чувствует своей общности с человеческим родом. Известен случай*, когда глухонемой убил своего брата, увидев, как убивают свинью, и хладнокровно копался в его внутренностях, просто подражая увиденному, – страшное доказательство того, как мало способны добиться *сами по себе* хваленый

* Вспоминаю, что читал о подобном случае в «Защите христианской веры» Сака[11]; другие рассказаны в иных сочинениях.

человеческий разум и человеческое чувство. Можно и нужно смотреть на орудия речи как на руль, управляющий нашим рассудком, на речь – как на небесную искру, воспламенившую наши чувства и мысли.

Мы замечаем, что животные находятся как бы на пороге речи, и тут природа тоже последовательно строит здание этого искусства и завершает его вместе с созданием человека. Чтобы дышать, нужна грудная клетка со всеми ее костями, связками и мышцами, грудобрюшной преградой и даже некоторыми частями живота, нужны затылок, шея и плечи; ради этого построила природа весь позвоночник – этот столб с его связками, ребрами, мышцами, артериями; всем частям груди она дала то, что необходимо, – твердость, подвижность и от низших существ восходила к высшему, создавала более совершенные легкие, более совершенные дыхательные пути. Только что родившееся на свет животное жадно вдыхает в себя воздух, оно торопится, спешит, как будто никак не может дождаться этого первого глотка. Сколько частей тела создано, чтобы животное могло дышать; ибо почти всем частям тела и нужен воздух, чтобы жить и трудиться. Но если все томятся по этому живому дыханию божества, то издавать звуки и говорить способно далеко не всякое существо, хотя для того чтобы говорить, нужны лишь очень малые орудия – гортань, голосовые связки, несколько хрящей и мышц и самый обыкновенный язык. И вот перед нами в самом простом наряде – искусник, по мановению волшебной палочки извлекающий божественные мысли и слова; немножко воздуха, проходящего через узкую щель, – и вот в движение приходит весь мир человеческих идей, и совершается все то, что исполнили на Земле люди. Бесконечно прекрасно подниматься по ступеням, следуя за природой, начавшей с немой рыбы, с червя, с насекомого и постепенно научившей живые существа извлекать звуки и пользоваться голосом. Птица наслаждается своим пением – это для нее самое искусное ее занятие и самое прекрасное преимущество, дарованное ей создателем; животное, у которого есть голос, прибегает к помощи голоса, чувствуя в себе влечение и желая выразить радость или боль, переживаемую его внутренним существом. Животные не подают знаков, а знаками общаются только те из них, которым отказано в живых звуках. Язык некоторых вполне способен уже произносить вслед за человеком слова, смысла которых они не понимают; внешнее строение, особенно если животное воспитывается человеком, забегает вперед и обгоняет внутреннюю способность животного. Но тут дверь перед животным закрылась, и как раз человекообразной обезьяне отказано в даре речи, причем как бы преднамеренно и насильственно, потому что природа придала ее дыхательным путям несколько боковых мешков*.

---

* Трактат об органах речи у обезьян Кампера в «Philosoph. Transactions», 1779. Vol. I[12].

Почему так поступил творец человеческой речи? Почему не пожелал он, чтобы существо, которое подражает человеку во всем, подражало и этой отличительной черте человека, почему преградил он ему путь особыми, непреодолимыми препятствиями? Войдите в дома для умалишенных, послушайте их безумные речи, послушайте речи уродов и скудоумных и вы поймете, почему поступил так творец. Какую боль доставляет нам их язык, осквернённый дар речи! Но как осквернила бы язык обезьяна, грубая, дикая, похотливая, если бы стала твердить человеческие слова, наполовину обладая уже человеческим разумом. Омерзительная смесь человеческих звуков и обезьяньих мыслей, – нет, нельзя было так унижать божественную речь, и обезьяна замолчала, и молчит упорнее других животных, каждому из которых, вплоть до лягушки и ящерицы, даны свои звуки.

Но человека природа построила, чтобы он говорил, и встал он на ноги, чтобы говорить, и ради этого стремящаяся ввысь колонна дугою выгнула его грудную клетку. Оказавшись среди зверей, люди забывали не только язык, но утрачивали иногда и самую способность говорить – очевидный признак того, что горло их было изуродовано и что только вертикальное положение обеспечивает настоящую человеческую речь. Ведь хотя у многих животных есть органы речи, напоминающие человеческие, но ни одно из них, даже и подражая, не может говорить так, чтобы речь лилась *сплошным потоком* из возвышенной, вольной человеческой груди, из наших тесных и искусно смыкаемых уст. А человек не только может подражать звукам животных, он не только, по словам Монбоддо, настоящий пересмешник, mock-bird, среди всех живых существ, но Бог научил его искусству запечатлять свои идеи в звуках, называть вещи звуками речи и царить на всей Земле с помощью глаголов, исходящих из уст человека[13]. Итак, всякий разум, всякое искусство человека начинается с языка; ибо лишь благодаря языку человек царит и над самим собою и властен раздумывать и выбирать; для всего этого в органическом строении его существовали лишь задатки. У высших существ разум, может быть, и просыпается от увиденного, ибо замеченного признака им, должно быть, достаточно, чтобы составить понятие и закрепить его, отличая от прочих; но живущий на Земле человек – это питомец звука, и лишь благодаря своим ушам он постепенно учится языку света. Всегда нужно, чтобы кто-нибудь помогал ему запечатлеть в душе различия между вещами, и только потом учится он сообщать свои мысли, сначала, быть может, дыша и задыхаясь, а потом уж в звонких звуках и пении. Народы Ближнего Востока выразительно называют животных *немыми Земли;* ибо только тогда, когда создан был человек, чтобы говорить, когда получил он для этого свое органическое строение, только тогда воспринял он дыхание божества, семена разума и вечного совершенствования этого творческого голоса, что призвал некогда человека владеть Землею[14], – короче

говоря, человек воспринял тогда *божественное искусство идей,* первое из всех искусств.

IV. Органическое строение предрасполагает человека к тонким влечениям, а потому и к вольности

Мы не устаем повторять, что у человека нет инстинкта и что самый характер человеческого рода составляет это отсутствие инстинкта, – нет, все инстинкты животного присущи человеку, но только они смягчены, как того требует органическое строение человека, и слагаются в более тонкую пропорцию.

Дитя в материнском чреве проходит все состояния, которые когда-либо переживали земные существа. Оно плавает в воде, оно лежит с открытым ртом, и челюсти у него большие, пока не прикроют их губы, вырастающие далеко не сразу; и когда дитя выходит на свет, то оно жадно хватает воздух, и ему не приходится учиться сосать грудь. И питание, и пищеварение, и жажда, и голод – все определяется инстинктом или еще более темным влечением. Так развиваются и мускульные силы человека, и его способность к деторождению, и стоит только сойти человеку с ума от возбуждения или болезни, и сразу замечаются в нем все животные стремления. А нужда и опасности в людях и даже в целых племенах, ведущих жизнь животных, пробуждают животные умения, чувства, силы.

Итак, получается, что у человека не отняты инстинкты, но что они у него *подавлены, подчинены* господству нервов и более тонких чувств. А без инстинктов человек, который в большой степени все же остается животным, обойтись бы просто не мог.

А как же подавляются инстинкты? И как подчиняет их природа господству нервной системы? Посмотрим, как развивается инстинкт с детских лет человека; развитие это совсем с иной стороны являет нам те мнимые человеческие слабости, на которые нелепо жаловаться, как это нередко происходит.

Дитя человеческое является на свет существом слабым, таким слабым, как ни один детеныш, и вот почему: человек, очевидно, создан для таких пропорций, которые еще не могли быть до конца развиты в материнском чреве. Четвероногое животное выходит на счет четвероногим, и пропорции его вполне правильны, хотя поначалу, в чреве матери, голова его лишена всякой пропорциональности, как и у человека; у животных с развитой нервной системой, у которых детеныши рождаются на свет слабыми, правильное соотношение сил восстанавливается не позднее нескольких недель. И только человек надолго остается существом слабым, потому что все его телосложение создано, так сказать, *ради головы,* которая в чреве матери складывается несоразмерно большой

и такой появляется на свет. Другие члены тела, которым нужны для роста земная пища, движение, воздух, сильно отстали от головы, хотя все годы детства и юности именно они усиленно догоняют голову, а не голова соразмеряется с ними. Итак, слабое дитя, если угодно, инвалид по вине своих высших сил, и эти высшие силы природа неутомимо развивает и воспитывает прежде всего. Дитя еще не умеет ходить, но оно уже научилось смотреть, слушать, хватать предметы, оно может упражнять тонкую механику и арифметику этих чувств. Оно применяет эти силы инстинктивно, как всякое животное, но только пользуется ими тоньше. Но пользуется оно ими не потому, что умения и искусства у него прирожденные, ибо всякие искусства и умения животных – не более чем последствия весьма примитивных возбуждений; значит, если бы инстинкты с детства господствовали в человеке, то человек навсегда остался бы животным, поскольку не стал бы учиться никаким человеческим искусствам, – ведь он знал бы все, что ему нужно, и не учась. Итак, требуется одно из двух: или бы человек рождался с прирожденным инстинктивным разумом, но сразу же ясно, что это противоречие, или же ему пришлось бы появляться на свет слабым существом, а таким он и появляется, но тогда уже *обучаться разуму.*

Человек с детских лет учится разуму, и точно так же, как он учится искусству ходить, он, благодаря искусству, учится разуму, учится вольности, учится человеческому языку. Мать прикладывает младенца к груди у своего сердца, и плод чрева ее становится воспитанником ее рук. Сначала просыпаются в новорожденном самые тонкие чувства, глаза и уши, – образы, звуки руководят ими; благо, если они руководят ими успешно и хорошо. И зрение постепенно развивается, и он следит за глазами людей, окружающих его, и вслушивается в речь людей, и с их помощью учится различать первые понятия. И руки его постепенно учатся хватать предметы, и тогда члены тела начинают стремиться к действию, к упражнению. Дитя училось у двух самых тонких чувств, ибо самый тонкий и сложный инстинкт, какой предстоит воспитать в нем, – это *разум, гуманный дух* и *человеческий образ жизни;* животное нельзя научить ничему этому, и тонкие чувства ему чужды. И домашние животные перенимают некоторые черты человека – перенимают поживотному, но людьми они от этого не становятся.

Отсюда явствует, что такое человеческий разум, слово, которым в новейших сочинениях пользуются так, как будто разум прирожден и обучаем сам собою; ничего кроме лжетолкований отсюда не проистекает[15]. И теоретически, и практически разум не что иное, как *внятое* – усваиваемое, уразумеваемое, выученная пропорция, направленность идей и сил; человек и создан, чтобы усваивать, выучивать ее. Какой разум бывает у ангелов, мы не знаем, а с другой стороны, не можем заглянуть внутрь существа, стоящего ниже нас; у человека разум – *человеческий.* Человек с детства сопоставляет идеи и впечатления, кото-

рые доставляют ему более тонкие органы чувств, в соответствии с их числом, тонкостью и истинностью, учится с быстротою связывать их. Отсюда возникает единство, и единство это – мысль, а мысли и ощущения сочетаются и дают суждения о том, что истинно, а что ложно, что благо, а что зло, что счастье, а что несчастье; это и есть человеческий разум – непрекращающийся труд складывания, образования человеческой жизни. Разум – не прирожден; человек *достиг* разумности. А в зависимости от получаемых человеком впечатлений, от образцов, которым он следовал, от внутренней силы и энергии, слагавшей все впечатления в сокровенную пропорцию человеческого существа, в зависимости от всего этого и разум человека скуден или изобилен, здрав или болезнен, уродлив или строен, как самое тело. Если бы природа нас обманывала и ощущения лгали, то и мы обманывались бы, только люди с одинаковыми чувствами обманывались бы одинаково. Если же нас обманывают люди, а у нас нет сил или такого органа, чтобы усмотреть обман и сложить все впечатления в более стройную пропорцию, то наш разум становится калекой, нередко искалечена и вся наша жизнь. Именно потому, что человеку приходится всему учиться, именно потому, что инстинкт и призвание его в том, чтобы учиться всему, даже ходить прямо, именно потому человек и учится падая, и истину обретает заблуждаясь, тогда как животное очень уверенно держится на своих четырех лапах; пропорция его чувств и стремлений сильнее запечатлена в его существе, чувства и стремления и ведут его. У человека – королевские прерогативы: он стоит с высоко поднятой головой и обозревает весь окружающий мир, но зато многое видит он в ложном и темном свете, не раз забывает даже, что ему делать, так что только спотыкаясь вспоминает, на какой узкой основе покоится все здание его сердца и головы – понятий и суждений; и тем не менее *по высокому предназначению своего разумения* он, в отличие от всех земных существ, не перестает быть сыном богов, царем земли.

И чтобы почувствовать все величие нашего предназначения, давайте подумаем, что заключено в великом даре *разума* и *свободы,* сколь многим рисковала природа, доверив эти свои дары такому хрупкому и многосоставному существу, как человек. Животное – не более чем раб, придавленный к земле, хотя иной раз он и поднимает свою голову вверх и, вытягивая шею, томится по свободе. Душа животного еще не созрела для того, чтобы воспринять разум, она покорна инстинктам и нужде, а оставаясь покорной, лишь приготовляется к тому, чтобы в отдаленном будущем самостоятельно пользоваться своими чувствами и следовать собственным своим наклонностям. А человек – первый *вольноотпущенник* творения; он ходит выпрямившись. В нем – весы, на них взвешивает он добро и зло, истину и ложь; он может искать, он может выбирать. Природа наградила его двумя руками, этими орудиями он может свободно пользоваться, его глаза видят все вокруг и

направляют его шаги, в силах его не только устанавливать гири, но и *быть весом на собственных весах.* Человек самому фальшивому обману может придать видимость истины, может обманываться по своей доброй воле, он может полюбить сковывающие его цепи, противные его природе, и украшать их цветами. Что разум обманутый, то и свобода извращенная и скованная – у большинства пропорции сил и влечений таковы, каковыми сложили их жизненные привычки и удобства. Редко человек способен подняться над ними, а когда сковывают его низменные инстинкты и не отпускают от себя омерзительные привычки, он порой бывает хуже зверя.

Но все равно человек – царь; таков он в своей вольности, таков и тогда, когда злоупотребляет своей свободой. У него право выбирать, даже выбирать и все самое скверное; и он повелевает себе, даже обрекая себя на все самое низкое, по своему выбору. В глазах всевидящего, что заложил в человека эти силы, и свобода, и разум человека ограничены, и ограничения такие – благо; творец истока знал все – и куда потечет всякий ручеек, он все предвидел, все направил, так что и самый своенравный поток никогда не ускользал из его рук; но в существе дела, в природе человека от этого ничего не изменится. Человек не перестает от этого быть существом свободным, если даже благость, все объемлющая, объемлет и его вместе со всеми его глупостями и заблуждениями, все направляя к лучшему – к лучшему и для него, и для всего целого. Снаряд, выпущенный из пушки, не может покинуть атмосферу и, даже падая на землю, следует все тем же законам природы – то же и человек: на пути истины и заблуждений, падая и поднимаясь, он – всегда человек, дитя слабое, но рожденное свободным, и не разумное, но способное восприять разум, и еще не сложившееся, чтобы выразить дух гуманности, но податливое в руках ваятеля. Людоед Новой Зеландии и Фенелон[16], забытый судьбой пешерес[17] и Ньютон – существа одной породы.

Правда, кажется, что и пользоваться этими дарами, разумом и вольностью, человек будет на Земле по-всякому, самыми разными способами: от человека, стоящего совсем близко к животному, ведут ступени к чистейшему Гению в облике человеческом. Но и этому нам не приходится удивляться: ведь мы видим, что и в мире животных, стоящих ниже человека, тоже есть своя лестница со множеством ступеней; и природа прошла длинный путь, пока, совершенствуя органическое строение, не подошла к маленькому цветку, который расцветет в нас, – к цветку разума и вольности. Кажется, что на Земле существует все, что вообще возможно на ней, и только тогда мы удовлетворительно объясним для себя порядок и мудрость всей этой полноты существования, когда сделаем шаг вперед и поймем цель, для которой вырастают в великом саду природы столь разнообразные цветы. Мы видим, что почти всюду царит закон нужды: вся земля должна была быть населе-

на людьми, значит, и самые дальние, самые неустроенные ее концы; и лишь тот, кто так далеко протянул сушу, знал, для чего допускал существование туземцев в Новой Зеландии и на Огненной Земле. Однако и самый большой человеконенавистник, презирающий весь род людской, не сможет отрицать одного: какие бы дикие побеги ни давали разум и свобода среди детей Земли, под ярким светом солнца всегда росли и благородные растения, приносившие прекрасные плоды. И было бы почти невероятно, если бы история не сказала нам, на какие высоты смеет заходить человеческий рассудок, стремящийся и следить за шагами творящего и созидающего божества и пытающийся даже вносить свой порядок во все его творения. В хаосе вещей, какие представляли человеку его органы чувств, человек упорно искал и нашел единство и разумение, законы порядка и красоты. И человек подслушал движения самых тайных сил, существа которых он еще не понимает, он все проследил: и движение, и число, и меру, и жизнь, и даже самое бытие – все, что только видел он на небе и на земле. Все человеческие опыты – доказательства величия человека, подтверждения действующей в нем богоподобной силы, как бы ни заблуждался человек, как бы ни предавался своим фантазиям. Сотворившее весь мир существо погрузило луч света внутрь хрупкого человеческого строения, запечатлело на нем свои, искони присущие ему силы, а потому, как ни низок человек, он может сказать: «Есть у меня нечто общее с Богом; способности мои таковы, что свойственны они и возвышенному существу, которое узнаю я в творениях его, – он явил их всюду вокруг меня». Совершенно ясно, что результатом всего земного творения и было это *подобие Богу.* Бог уже не мог подняться выше, действуя на этой жизненной сцене, но он и не остановился прежде, чем поднялся до высшей точки, доведя до нее ряд своих органических творений. А потому и путь к ней, как бы внешне ни различались живые существа, всегда столь единообразен.

И *вольность* в облике человеческом принесла благородные плоды и везде явила себя во славе: и во всех своих начинаниях, и во всем, чем пренебрегла. Люди отказались от непостоянства слепых влечений и предпочли им *брачные узы,* союз дружбы, верности и взаимопомощи, заключаемый *навеки;* люди отреклись от своеволия и пожелали, чтобы *законы* управляли ими; *одни люди стали управлять другими,* и этот еще столь несовершенный опыт люди защищали своей кровью, оплачивали своей жизнью; благородные мужи отдавали жизнь свою за *отечество* и не в один только бурный момент жизни, но в течение всей своей жизни, не жалея времени и сил, упорно трудились для того, чтобы даровать слепой, неблагодарной толпе мир и благополучие, то есть то, что по крайней мере им казалось благом; исполненные духом божиим мудрецы, благородно вожделея *истины, свободы* и *счастья* человеческого рода, по своей доброй воле терпели позор и унижение, бедность и нужду,

памятуя, что принесли братьям своим самое ценное благо, какое только могли, – если все это не великая добродетель, если все это не самые энергичные усилия к достижению заложенного в нас *самоопределения,* то не знаю, в чем еще заключаются они. Правда, лишь немногие шли впереди толпы, они, словно врачеватели, принуждали толпу пользоваться целебными средствами, которые сама толпа еще не могла выбрать для себя; но вот эти немногие были цветом рода человеческого, были бессмертными вольными сынами богов на земле. И имя каждого из них – имя миллионов.

V. Органическое строение предрасполагает человека к хрупкому здоровью, но к выносливости и долголетию, а потому и к расселению по всей Земле

Человек стал ходить прямо, а вместе с тем стал существом хрупким и богатым внутренним теплом, силой, так что тут любому животному далеко до человека. Пока человек пребывал в дикости, он был весь покрыт волосами, особенно на спине, – вот его покровы, и Плиний Старший сокрушается, зачем природа лишила их человека[18]. Но благотворная мать-природа куда лучшие покровы дала человеку – это и его нежная, а притом и крепкая кожа, которая справляется со всякой непогодой и со всякими резкими переменами климата, если только помогает человеку искусство, его вторая природа.

А к искусству человека повела не только нагота его, но нечто более прекрасное и человеческое – робкое чувство *стыда.* Что бы ни говорили философы, а для человека стыдиться своей наготы естественно, и темный аналог этого чувства встречаем мы уже у некоторых пород животных: самка-обезьяна прикрывает свою наготу, и слон спаривается в дремучих темных лесах. И почти нет таких народов, живущих своей животной жизнью*, которые не прикрывали бы свое тело, где бы по крайней мере женщины с того возраста, когда просыпаются в них инстинкты, не прикрывали своей наготы, тем более что нежность и восприимчивость этих органов и другие причины требуют, чтобы они всегда были защищены. Итак, человек еще не прикрывался ни одеждами, ни мазями от ярости стихий и укусов насекомых, а уже *чувственная природа* заставила его распорядиться так, чтобы орган самого сильного и жизненно необходимого влечения был прикрыт и защищен. У всех

* Мне известны только два племени, которые ходят совершенно нагими и живут подобно животным: это пешересы на крайней оконечности Южной Америки – отбросы других наций – и дикое племя близ Аракана и Пегу – до сих пор загадка для меня в этих местах, хотя существование его подтверждает новый путешественник (см. Mackintosh's travels. V. 1. P. 341. London, 1782).

благородных животных не самка ищет самца, а самец – самку; самка исполняет, сама того не ведая, намерения природы, и нежная женщина тоже – хранительница прелестного чувства стыда, чувства, которое не могло не развиться у человека, когда тот стал ходить прямо.

Вот почему появилась у человека одежда, а как только он научился этому и еще некоторым другим искусствам, то он был уже в состоянии переносить любой климат и осваиваться во всех зонах. Лишь немногие животные, можно даже сказать – одна собака, последовали за человеком в его переселениях – и какие перемены вызвало это переселение во всем их внешнем облике, как видоизменило оно их природный нрав! Только человек переменился мало, а если говорить о существенном, то он и совсем не переменился. Удивительно сохранилось все его естество – стоит только посмотреть на перемены, которые претерпели его спутники. Нежная природа человека так определена, так совершенно устроена, что человек стоит на высшей ступени развития, и возможны в его строении лишь весьма немногочисленные различия, которых не назвать даже и отклонениями от нормы.

Но почему же? И на сей раз потому, что человек ходит прямо, – иной причины нет. Если бы мы ходили на четвереньках, как обезьяна или медведь, то можете не сомневаться – и у человеческих рас (если позволено употребить такое неблагородное слово) было бы свое ограниченное место жительства, и ни одна раса никогда не покидала бы своего отечества. Человек-медведь любил бы свою холодную страну, человек-обезьяна – жаркую; и теперь мы замечаем еще, что чем ближе к животному стоит человеческое племя, тем более прикреплено оно к своей земле и к своему климату, – всеми узами тела и души привязан народ к своей почве.

Природа подняла человека с земли – она возвысила его, и он стал властелином земли. Человек распрямился, его строение усложнилось, и кровообращение стало более тонким, и жизненные соки стали смешиваться *многообразнее,* и жизненное тепло стало *крепче,* стало более *стойким,* а тогда человек только и смог заселить Сибирь и Африку. Только потому, что тело человека выпрямилось и органическое строение его усложнилось, человек смог переносить и холод, и жару, где не может жить ни одно живое существо, – и притом человек переменился лишь очень незначительно.

Но, конечно, если человек стал более нежным существом, то это и другие, взаимосвязанные обстоятельства открыли путь целому ряду болезней, чуждых животным, – их красноречиво перечисляет Москати*. Кровь совершает свое круговое движение в механизме, поставленном вертикально, сердце вынуждено принять косое положение, внутренние

* «О существенном физическом различии животных и человека». Гёттинген, 1771[19].

органы работают в оболочке, стоящей прямо, – и естественно, что все эти части нашей машины подвержены бóльшим опасностям, чем в теле животного. И как мне кажется, женский пол платит еще более дорогой ценою за свою хрупкость и нежность...

Однако природа столь благодатна, что она тысячекратно возмещает утраченное и смягчает упущения, ибо утончились, стали духовнее и наше здоровье, и наше самочувствие, и наши ощущения, и наши возбуждения. Животное ни минуты не наслаждается человеческим здоровьем, человеческими радостями, и ни одной капли из нектарного потока, какой пьет человек, оно никогда не вкусит, и даже со стороны чисто физической у животного меньше болезней, потому что построено оно проще, зато болезни его упорнее, протекают тяжело. Ткани, нервы, артерии, кости животного, даже мозг – все тверже, чем у человека, вот почему все наземные животные, которые живут рядом с человеком, за исключением, быть может, одного слона, возраст жизни которого почти совпадает с человеческим, живут не так долго, как человек, и раньше человека умирают естественной смертью, то есть от старости, от омертвения затвердевших тканей. Получается, что природа предназначила человека для того, чтобы жил он дольше всех, чтобы жизнь его была полна здоровья и радостей, какие только может вместить в себя земное существо. И многообразная человеческая природа такова, что в организме человека одно приходит на помощь другому; потребовалась вся разнузданность безумствований и пороков – вот на это животное, конечно, не способно!– чтобы ослабить и испортить механизм человеческого тела так, как бывает ослаблен и испорчен он в известных условиях. Благодатная природа всякому климату дала травы, лечащие от болезней, и только путаница всех климатов превратила Европу в болото, в котором кишат все беды, неведомые народам, живущим сообразно с природой. Но если европейцы по собственной вине обрели это зло, то обрели и добро – единственное, какого заслужили, – появился у нас *врач,* который помогает природе избавиться от болезни, а в случае, когда не может следовать природе, по крайней мере хоронит больного по всем правилам науки.

О, что за материнская забота, что за мудрость божественной природы – она определила возрасты нашей жизни, она определила число лет человеческой жизни! Если живому существу суждено скоро развиться, оно и растет быстро, рано созревает и быстро достигает цели своего существования. А человек, словно дерево посаженный в почву земли, растет медленно. Подобно слону, он дольше других остается в чреве матери, и годы молодости длятся у него долго, несравненно дольше, чем у любого животного. Выходит, что природа как только могла растянула эту счастливую пору юности, когда человек может учиться, расти, радоваться жизни и невинно наслаждаться своим существованием.

Проходит несколько дней, несколько лет – и вот животное уже совсем сложилось, а некоторые и в момент рождения – существа уже во всем сложившиеся; но тем несовершеннее эти животные, тем раньше погибают они. А человеку нужно учиться дольше других, потому что ему предстоит выучить больше всех, все зависит у него от того, усвоит ли он сам, самостоятельно, умения, искусства, разум. Если впоследствии легион случайностей и опасностей и сократит дни его жизни, то все же он насладился долгой порой юности, жил беззаботно, и мир вокруг него рос вместе с его телом и душою, и круг надежд расширялся, по мере того как горизонт ширился и рос, и юное сердце все сильнее стучало, переполняясь любознательностью, нетерпеливыми мечтами обо всем великом, добром и прекрасном. Цветок полового влечения у человека здорового, неперевозбужденного расцветает позднее, чем у животных, потому что человеку предстоит долгая жизнь и не пристало ему растрачивать благороднейший сок своих телесных и духовных сил. Насекомое рано начинает служить любви и рано погибает; целомудренные животные, живущие парами, живут дольше, чем животные безбрачные. Похотливый петух рано умирает, а верный своей подруге лесной голубь живет до пятидесяти лет. Для любимца природы и предназначена брачная жизнь, а первые годы своей жизни, годы бодрости и резвости, человек живет сам для себя, словно нераспустившийся бутон. Наступают вслед за тем долгие годы, когда силы человека бродят и играют, когда приходит возмужалость, зреет разум человека, и, созревая, остается свежим, как и силы деторождения, – остается свежим до такого преклонного возраста, какой и не снился животным, но вот наконец наступает смерть и разрешает прах и дух, замкнутый в теле, от чуждых им оков. Природа искусно построила бренную хижину человеческого тела: искусства, какие только могло вобрать в себя тело, все пошли на него, и даже если говорить о том, что сокращает и ослабляет жизнь человека, то природа *краткость* наслаждения восполнила *остротою* чувства, а *расточение* энергий возместила более *глубоким* ощущением сил.

VI. Человек создан, чтобы усвоить дух гуманности и религии

Мне хотелось бы вместить в одно слово – «человечность» – все сказанное о благородном складе человеческого существа, предрасполагающем человека к разуму и вольности, к тонким чувствам и влечениям, к хрупкости и выносливости тела, к заселению всей суши и к власти над всей Землей; ведь чтобы говорить о своем человеческом предназначении, нет у человека слова более благородного, чем само слово «человек», в котором запечатлен образ творца земли, насколько он может стать

зрим на этой земле. И чтобы изложить самые благородные обязанности человека, достаточно нарисовать его внешний облик.

1. Все влечения живого существа можно свести к двум основным: к *сохранению жизни* и к *участию* в жизни других, к *общению* с другими; органическое здание человеческого тела и этим склонностям придает самый изысканный порядок, если только руководит им высшее начало. Прямая линия самая прочная, и у человеческого тела – наименьший объем, а скрыта в нем стремительность, по-разному проявляющаяся, – и то и другое служит защите человеческого тела. Человек опирается на очень узкую базу, а потому ему легче всего прикрыть члены своего тела; центр тяжести приходится между бедер, самых сильных и гибких, какие есть у какого-либо земного существа, – ни у одного животного нет такой подвижной силы в этих членах тела. Железная грудная клетка – более скованная, руки, эти орудия человека, дают человеку широкий простор для обороны: он может защитить и свое сердце, и самые благородные части тела от головы и до колен. Это не сказка, что люди сражались с львами и побеждали их; африканец вступает в бой и не с одним львом, если призовет на помощь осторожность, хитрость и силу. Но, конечно, верно сказать, что строение человеческого тела рассчитано на оборону; нападая, человек никак не может обойтись без помощи искусства, а оборонясь, он – от природы существо самое сильное и могучее на всей Земле. Получается, что сам внешний облик человека учит его *миролюбию,* а не убийствам или грабительским нашествиям, – вот первая черта человечности.

2. Среди влечений, направленных на других людей, *половое влечение* – самое могучее; и оно тоже подчинено у человека гуманному строению тела. У четвероногого животного, даже у стыдливого слона, – совокупление, у человека – поцелуй и нежные объятия; различие объясняется строением тела. У животного нет губ, как у человека, – тонкая каемка верхней губы позднее всего образуется у плода в чреве матери, словно любовь в последний раз касается губ своими перстами, чтобы смыкались они в красивую линию и чтобы линия эта выражала рассудительность. Древний миф рассказывает, что человек в давнюю пору был андрогином, как цветы, но что потом произошло разделение полов; такие глубокомысленные фантазии рассказывают в скрытой форме мифа о превосходстве человеческой любви над любовью животной. А если половое влечение не подчинено у человека смене времен года, как у животных (хотя не существует пока серьезных наблюдений над годовым кругооборотом в человеческом теле), то это явно свидетельствует о том, что человеческие влечения зависят не от необходимости, а от прелести, от красоты, должны покорствовать разуму и по доброй воле умеряться, как и положено всему, что есть в человеке. И любовь человека должна быть гуманной – ради этого создан природой весь внешний облик человека, ради этого он раз-

вивается позже животных, а взаимное влечение полов продолжается дольше; все влечение подчинено закону *совместного союза,* в который два существа вступают *добровольно,* закону дружеского общения между двумя людьми, которые в течение всей своей жизни чувствуют себя одним существом.

3. Любовь сообщает, а другие нежные аффекты довольствуются *участием,* так что среди всех живых существ природа выделила человека и сделала его самым *участливым,* потому что создала его как бы из всего прочего и сообразовала его в такой пропорции ко всем прочим царствам творения, чтобы человек мог чувствовать вместе с ними. Ткани человеческого тела столь упруги и тонки, нервная система так переплетена со всеми частями здания человеческого тела, что человек, этот аналог божества, пронизывающего весь мир своим чувством, может переноситься почти во всякое живое существо и чувствовать вместе с ним, – как раз в той мере, в какой нуждается в этом существо, и в той, в какой организм человека не испытывает еще потрясения, хотя иной раз и подвергается опасностям. И к дереву участлив бывает человек, коль скоро это – растущее, цветущее дерево, и некоторые люди со своим тонким механизмом не способны чисто физически переносить вид молодого цветущего дерева, которое рубят и уродуют. Если оно сохнет, это причиняет нам боль; и печалит душу увядающий цветок. И вид корчащегося червя, раздавленного ногою, не оставляет равнодушным мягкого человека, а чем совершеннее животное, чем ближе к нашему строение его тела, тем больше сочувствия вызывают в нас его страдания. Нужно иметь крепкие нервы, чтобы резать по-живому и наблюдать за биением и вздрагиванием внутренних органов, – лишь неутолимая жажда славы и знания могла постепенно притупить органически присущее человеку сочувствие к животному. Женщины, существа более нежного склада, не могут выносить даже анатомирования трупов; в каждом члене тела они чувствуют боль, и тем сильнее, чем нежнее и благороднее части тела, которые разрушает нож анатома. Вид беспорядочно спутанных внутренностей вызывает в нас ужас и омерзение; вид разрезанного сердца, растерзанных легких, разрушенного мозга словно ножом режет и колет наши тела. И сочувствие наше сопровождает тело любимого человека, мы чувствуем холод могилы, которого сам он уже не ощущает, ужас охватывает нас, когда касаемся мы его охладевшего тела. Такой симпатией ко всем живым пронизала общая матерь всех вещей человеческое тело, все она извлекла из своих недр и со всем связала узами глубочайшей симпатии. Разуму не приходится призывать волнующиеся ткани человека, его участливую нервную систему: они обгоняют разум, они нередко неразумно и мощно противопоставляют усилия свои рассудку. Общение с безумными, чье безумие вызывает в нас участие, и в нас самих пробуждает безумие, и тем более, чем более страшится человек умалишенных.

Поразительно, что слух более, нежели зрение, пробуждает и укрепляет в нас сочувствие. Вздохи животного, крик, вырывающийся из страдающего тела, собирают вокруг него все подобные ему существа, и нередко замечали, что они с печалью в глазах окружают визжащее, воющее существо, как бы желая чем-нибудь помочь ему. И у людей картина боли скорее вызывает страх и ужас, а не нежное сочувствие; но как только голос страждущего человека зовет нас, мы не можем слышать его спокойно и спешим к нему на выручку, ибо крик его ранит нашу душу. Быть может, звук превращает в живую сцену картину, которую рисует глаз, пробуждает воспоминания о своих собственных и чужих чувствах и все сводит в одну точку? Или есть причина еще более глубокая, органическая? Я думаю, такая причина есть. Но довольно, опыт верен, и он показывает нам причину, почему *голос,* почему *речь* вызывает в человеке большее сочувствие. Если живое существо не издает и крика, мы не столь участливы к нему, потому что существо это лишено легких, менее совершенно и по своему органическому строению мало похоже на нас. Некоторые глухонемые от рождения были в ужасающей степени лишены инстинкта сочувствия и участливости, а когда речь пойдет у нас о диких народах, мы встретим еще немало примеров подобного. Но и в жизни дикарей ясно распознаем действие закона природы. Если голод и нужда заставляют отцов приносить в жертву своих детей, то они обрекают их смерти уже во чреве матери, не дожидаясь, пока они выйдут на свет и подадут голос, и не одна мать-детоубийца признавалась, что ничто так не тяжело для нее, ничто не засело так в памяти, как первый плач, как жалобный голос ребенка.

4. Все участливые чувства своих детей мать-природа, чувствующая вместе со всеми, связала единой цепью, и она строит и развивает такие чувства от звена к звену. Если существо тупо и грубо, если едва оно способно позаботиться о самом себе, то не доверяет она ему и заботу о потомстве. Птицы высиживают и воспитывают своих детей, любя их материнской любовью, а бестолковый страус бросает свои яйца в песок. Древняя книга так говорит о нем: «И забывает, что нога может раздавить их и полевой зверь может растоптать их; потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла»[20]. Одна и та же органическая причина действует, и вот мозг живого существа развивается, животное тепло в нем множится, оно или рождает уже живое потомство, или высиживает его из яиц, оно кормит его своим молоком и любит материнской любовью. Новорожденное существо – словно клубок нервов своей матери; вскормленное грудью матери животное – побег материнского растения, который оно питает, как самого себя. В жизни животного все нежные влечения опираются на это глубочайшее сочувствие, насколько способна была природа облагородить его род.

У людей материнская любовь – нечто высшее, побег гуманного духа, следствие прямого положения человеческого тела. Сосунок лежит на коленях матери, у нее на виду, и сосет самую нежную и тонкую пищу, какая только бывает; племена, которые кормят своих младенцев, держа их на спине, следуют нечеловеческому обычаю, и обычай такой даже уродует их тело. Отеческая, семейная любовь укрощает всякого выродка; и львица нежна со своими детенышами. В отеческом, родном доме возникло первое человеческое общество; узы крови, доверия, любви связали людей. Вот почему еще долгие годы должно продолжаться детство человека; дикость человека нужно сломить, нужно приучить его к семейному общению; природа нежными узами соединила наш род, она принуждала его к единству, чтобы люди не забывали друг о друге и не расходились на все стороны, как разбредаются повзрослевшие животные. И отец стал воспитывать сына, мать кормить его своей грудью, и так появилось новое звено в цепи человечности. Вот причина, почему необходимо *человеческое общество;* помимо общества ни один человек не вырастет, ни одна группа людей не сможет просуществовать. Итак, человек *рожден* для того, чтобы жить в обществе, – вот о чем говорит ему участие его родителей, вот о чем говорят ему долгие годы детства.

5. Но поскольку человек – существо ограниченное и сложно устроенное, и простая участливость человека не может распространяться решительно на все, а во всем, что чуждо человеку, может служить ему лишь темным и несостоятельным руководителем, то мать-природа, которая всегда ведет человека верным путем, все многочисленные, тонко переплетенные ветви человеческой натуры привела в порядок и подчинила одной путеводной нити, так что ошибок будет уже куда меньше; путеводная нить эта – правило, *правило истины и справедливости.* Прямым создан человек, и как в теле его все служит голове, как оба глаза видят одно и то же, два уха слышат одно и то же, как во всем внешнем, в облекающей человека плоти природа повсюду связала симметрию с единством и единство поместила в центр, чтобы все двоякое указывало лишь на единое, так и внутри, в душе, великий закон справедливости и равновесия стал путеводной нитью для человека: и как не хотите того, чтобы люди сделали вам, не делайте и им; и как хотите, чтобы с вами поступили люди, так и вы поступайте с ними[21]. Это недвусмысленное правило записано и в груди людоеда: он пожирает других, но и от других ждет только одного: что они сожрут его. Правило истинного и ложного, правило душевной прямоты зиждется на строении всех человеческих чувств, я бы хотел даже сказать – на вертикальном положении тела человека. Если бы мы смотрели криво, если бы луч света падал косо, мы не имели бы представления о прямой линии. А если бы органическому строению нашему чуждо было единство, если бы мысли наши не были рассудительны, то и в своих поступках мы бессмысленно блуждали бы,

выписывая кривые линии, и не было бы ни разума, ни цели в человеческой жизни.

Закон справедливости и правды обращает людей в верных помощников и братьев друг другу, а когда он утвердится совершенно, то и врагов обратит в друзей. Кого обнимаю я, прижимая к груди, тот обнимет и меня, прижав к своей груди; кому приношу я в жертву свою жизнь, тот и свою принесет в жертву мне. Итак, вот основа для права людей, для права народов – единообразие мыслей, единство целей, ненарушимая верность союза; но это же основа для права и среди животных, потому что и животные, объединяясь в общество, следуют закону справедливости, а люди, которые уступают своей хитрости и силе и отходят от закона справедливости, – самые бесчеловечные существа на всем свете, будь они даже цари и монархи. Без соблюдения справедливости, без правды немыслимы ни разум, ни человечность.

6. Прямой и прекрасный облик человека, это он воспитал в человеке понимание *благопристойного,* ибо благоприличия – прекрасные слуги и друзья истины и справедливости. Благопристойным быть телу – значит стоять как подобает ему, быть таким, каким создал его Бог, и истинная красота – не что иное, как приятная форма внутреннего совершенства и здоровья. Представьте себе, что человек, это подобие божие, изуродован небрежением к телу и ложным искусством: пусть волосы его будут выдраны или пусть будут они обращены в бесформенную массу, уши и нос – проколоты и вытянуты книзу, шея и все прочие части тела искалечены или испорчены одеждой, – представьте себе такую картину и подумайте, кому привидится тут благопристойность стройного и прекрасного человеческого тела? Даже если предположить, что всем тут правит самая своенравная мода! Не иначе обстоит дело и с нравами, с жестами, со всеми художествами, с человеческой речью. Значит, все это пронизано духом *гуманности,* вечно неизменным, и лишь немногие народы на земле верно выразили этот дух, а сотни других осквернили его варварством и ложным искусством. Исследовать дух гуманности – вот подлинная задача *человеческой философии,* философии, которую мудрец свел с небес на землю[22], – она являет себя и в общении людей, и в государственных делах, и в науках, и в искусствах.

И, наконец, *религия* – вот высшая гуманность человека; не удивляйтесь тому, что я отношу религию к человечности. Ведь если преимущество человека – в рассудке, то рассудок занят выискиванием связи между причиной и следствием; там, где рассудок не усматривает причины, он ее предвосхищает. Так поступает человеческий рассудок во всем, во всех ремеслах, во всех искусствах, ибо даже если рассудок следует некоему *усвоенному* умению, то он должен был усмотреть взаимосвязь причины и следствия когда-то раньше и тогда уже прибегнуть к новому приему искусства. Но когда мы наблюдаем творения приро-

ды, то мы, по сути дела, не усматриваем причины, которая действовала бы в глубине вещей; мы не знаем самих себя и не знаем, что же такое творится внутри нас. Так и во всех действиях, совершающихся вокруг нас, все – только сон, только предположение, пустое имя, но, однако, сон истинный, коль скоро мы замечаем, что одни и те же действия сопряжены с одинаковыми причинами. Таким путем рассуждения идет философия, а религия всегда и была первой и последней философией. И у самых диких народов есть религия, ни один народ на Земле не обходится совершенно без нее, точно так же, как не обнаружено на Земле существ, наделенных человеческим обликом и разумной способностью, которые обходились бы без языка, без брака, без хотя бы немногих человеческих обычаев и нравов. Все народы, не видя перед собой создателя мира, веровали в незримых создателей и не переставали изыскивать причины вещей, как бы темно ни было их стремление исследовать эти причины. Правда, они, скорее, держались явлений природы, а не ее сущности, привязаны были к сторонам страшным и преходящим, а не к прочным и приятным; да и редко удавалось им все отдельные причины подчинить одной общей. Однако и у этих народов такие первые опыты были уже религией, и если утверждать, что *страх* придумал их богов, то этим еще решительно ничего не сказано. Страх сам по себе ничего не придумывает, он просто пробуждает рассудок, и рассудок начинает строить свои предположения и предощущает суть дела – верно или ошибочно. Итак, как только человек научился пользоваться своим рассудком, легко приводя его в движение, как только взглянул он на мир иначе, чем животное, так он непременно должен был предположить существование в мире незримых существ, более могущественных, чем он сам, существ, помогающих или мешающих человеку в его жизни. Этих-то существ и пытался человек дружески расположить к себе, сохранить их дружбу, и так пошла своими путями, истинными или ложными, верными или неверными, религия – наставница человечества, подающая людям совет, утешающая их в их темной жизни с ее опасными лабиринтами.

Нет! Не оставил ты создания свои без свидетельства творения твоего, о вечный источник жизни, всех форм и существ! Зверь, пригнутый к земле, неясно чувствует силу и благость твою, упражняя силы и склонности, какие подобают его органическому строю; для животного человек – видимое божество Земли. Но человека ты возвысил, и, даже не ведая того, даже не желая того, следит он первопричины вещей, догадывается о взаимосвязи их и, наконец, обретает тебя, о существо из существ, о великая взаимосвязь всех вещей! Внутреннюю сущность твоей природы человек не может познать, ибо не видит изнутри энергии вещей. И даже желая представить себе облик твой, человек заблуждается и не может не заблуждаться, ибо лишен ты облика, будучи единственной причиной, будучи первопричиной всякого облика. Но

и ложный отблеск – тоже свет, и всякий ложный алтарь, поставленный тебе человеком, – неложный памятник и твоего существования и памятник способности людской познавать тебя и поклоняться тебе. Если бы даже религия была просто упражнением сил рассудка, то и тогда в ней – высший дух человечности, самый возвышенный цветок человеческой души.

Но религия – нечто несравненно большее; религия – это упражнение сердца и самое чистое направление способностей и сил человека. Если человек создан для свободы, – а на Земле нет закона, кроме того, что возложит на себя сам человек, – то человек вскоре станет самым диким существом на всей Земле; нужно, чтобы познал он закон Бога в природе, чтобы, словно дитя, подражал он совершенству своего отца. Животные родились рабами в этом огромном здании земного хозяйства, и рабский страх перед законом, перед наказанием – вот самый очевидный признак, который отличает животного от человека. А истинный человек – свободен, он послушен отцу, потому что добр и потому что любит его; ведь и все законы природы – это благо, сто́ит только усмотреть их в природе, а если человек еще не способен усмотреть их, то он учится с детским простодушием следовать им. Так говорили мудрецы: не пойдешь по доброй воле, все равно придется идти[23], законы природы не переменятся ради тебя; но чем лучше будешь постигать ты совершенство, благость и красоту законов, тем больше будешь превращаться в *подобие божества* в руках живой формы, ваяющей твой образ. Итак, истинная религия – это ребяческое поклонение Богу, подражание самому высшему и самому прекрасному образцу, запечатление его в образе человеческом, а вместе с тем и наиглубочайшая удовлетворенность, наидеятельнейшая доброта и человеколюбие.

Теперь нам понятно, почему во всех религиях Бог должен был так или иначе походить на человека: люди или возвышали человека, превращая его в Бога, или низводили отца миров с небес, воплощая его в человеческий облик. Мы ведь не знаем ничего, что было бы возвышеннее человеческого облика, а все, что должно трогать душу человека, что должно повести человека к гуманности, должно быть продуманным, должно быть прочувствованным в человеческих понятиях и представлениях. Вот почему народ, мысливший чувственно и наглядно, облагородил человеческий облик и превратил его в красоту богов, а народы, мыслившие более духовно, совершенства незримого божества обратили в символы, предназначенные для глаз смертных. И далее, желая явить себя нам, Бог говорил и поступал, соразмеряя слова и дела с временем истории, с *людьми*. Ничто так не облагородило весь наш облик, все наше естество, как религия, – и все потому, что религия возвращает человека к его чистейшему предназначению.

А что с религией связывались надежды и вера в бессмертие, что именно религия положила начало вере в бессмертие среди людей, тоже

отвечает природе вещей, и такая вера неотделима от понятия Бога и человечества. Как? Мы – дети Вечного существа, мы, подражая ему, познаем его, мы учимся любить его, и все вокруг нас пробуждает в нас познание бога; и любовь, и страдания вынуждают нас подражать ему, но мы так темно познаем его! Мы так дурно, так по-детски подражаем ему и даже понимаем, почему не можем познавать его и подражать ему иначе, пока заключены в этом нашем органическом строе. Но неужели же нет для нас иных возможностей, неужели самым очевидным, самым лучшим нашим задаткам не суждено развиваться далее? Ведь именно эти наши силы, самые благородные, – не для этого мира, они стремятся выйти за его пределы, потому что все служит на этой земле жизненной нужде. И тем не менее благородная часть нашего существа непрестанно борется с нуждою, и как раз то, что и кажется целью человека с присущим ему органическим строением, это-то лишь рождается на Земле, но далеко не достигает на Земле своего завершения. Так что же? Оборвало ли божество нить и, долго готовившись создать человеческий облик, в конце концов произвело на свет незрелое существо, и все предназначение человека – обман? Ибо мы все знаем отчасти[24]; что же – и на века останется все знанием отчасти, а род человеческий – полчищем теней, догоняющим образы своих фантазий? Все пороки и все чаяния нашего рода человеческого религия слила в *веру* и венок *бессмертия* свила для человечности.

VII. Человек создан, чтобы чаять бессмертия

Не ждите здесь доказательств бессмертия души на том основании, что душа проста, духовна и т.д. Физике эта простая природа неведома; и физике скорее было бы дозволено сомневаться в ее существовании, ведь мы душу знаем только по проявлениям ее в сложном многосоставном органическом строении, по таким действиям, которые проистекают из многообразия возбуждений и ощущений. Самая общая мысль – лишь результат бессчетных частных восприятий, и душа, эта правительница нашего тела, воздействует на неисчислимое воинство подчиненных сил, и воздействует так, как будто присутствует в каждом отдельном месте.

И так называемая философия зародышей Бонне[25] не сможет повести нас за собою, потому что отчасти она относится к переходу человека в новое бытие, и в этой своей части не доказана, а отчасти она говорит совсем о другом. Никто еще не открывал в человеческом мозге мозг духовный – зародыш будущего человеческого существования; и хотя бы самый незначительный аналог ему нельзя увидеть в строении мозга. Мозг мертвеца остается здесь, на нашей земле, и если бы в бутоне нашего бессмертия не было заключено иных сил, то он засох бы и лежал во прахе у наших ног. Да и эта философия зародышей не относится к нашей теме, потому что речь идет не о том, как живое существо

разветвляется на юные побеги того же вида, а о том, что умирающее существо пускает ветви в новое существование; даже можно сказать, что эта философия зародышей, будь она несомненно истинной в земной смене поколений, в непреодолимые сомнения ввергала бы нас с нашими надеждами на бессмертие. Ведь если от века предопределено, что цветок будет цветком, животное – животным, а не чем иным, что с самого начала творения все уже существует в виде заранее созданных зародышей, что все уже чисто механически заготовлено, – так прощай надежда на высшее существование!

Я от века заключаюсь уже в зародыше моего теперешнего, а не какого-либо высшего существования; ведь что произрастает из меня, будет уже от века созданными зародышами моих детей: умрет дерево, и умрет вместе с ним вся философия зародышей.

Итак, не будем обманывать друг друга сладкими словами, глубже подойдем к этому важному вопросу и приглядимся к той *аналогии,* что существует во всей природе. Во внутреннюю сферу ее сил мы не можем заглянуть, а потому и напрасно, и не нужно ждать существенных внутренних *откровений* от природы, о каком бы существовании ни шла речь. Но формы, созданные силами природы, их действия лежат на поверхности и доступны нам; их и можем мы сравнивать, и на пути, каким вечно идет природа, из вечного подобия, царящего в ней, мы можем почерпнуть *надежды* на жизнь грядущего века.

Книга пятая

I. В нашем земном творении господствует ряд восходящих форм и сил

1. *Форма органического строения* восходила от камня к кристаллу, от кристалла к металлам, от металлов к растениям, от растений к животным, от животных к человеку; по мере восхождения разнообразились силы и влечения живого существа, и наконец все эти силы и влечения объединялись в облике человека, насколько он мог вместить их в себя. Ряд дошел до человека и здесь остановился; нет существа, которое стояло бы выше человека, органическое строение которого было бы многообразнее и искуснее, – человек представляется существом высшим, до какого может развиться органическое строение на нашей Земле.

2. Сквозь все эти ряды живых существ проходит замеченное нами *сходство основной формы,* сходство соблюдаемое, насколько допускает это конкретное предназначение существа, и варьируемое бессчетное количество раз; эта основная форма по мере восхождения все более приближается к человеческому облику. Внизу, где развитие не зашло далеко, в царстве растений и зоофитов, эту форму еще нельзя распознать, но она заметнее выступает в строении более совершенных живых существ, число видов все сокращается, и вот наконец число видов дошло до одного и основная форма обрела себя в *человеке.*

3. Подобно внешнему облику, форме, *приближаются* к человеческим и *силы* и *влечения* организма. Жизнь растений управлялась инстинктом самосохранения и продолжения рода, насекомые стали создавать свои искусные сооружения, птицы и наземные животные – заботиться о своих птенцах, детенышах, о доме, наконец появились и мысли, напоминающие человеческие, животные стали усваивать разные умения, и вот все объединилось в человеке с его *разумной способностью, свободой и духом гуманности.*

4. В зависимости от того, каким целям природы должно было способствовать то или иное существо, была отмерена и *длительность его жизни.* Растение быстро увядало, а дерево долго росло. Насекомое являлось на свет уже наделенное своим художественным умением,

размножалось рано, оставляло многочисленное потомство и скоро покидало этот мир; животные росли медленнее, не производили большого потомства, иногда вели даже как бы разумную и хозяйственную жизнь, они и жили гораздо дольше, а дольше всех живет человек. Но только природа считалась при этом и с отдельными существами, и с целыми родами, которые надо было сохранить, и с жизнью высших родов. Поэтому нижние царства были не только очень населены, но и жизнь существ длилась дольше, когда это допускала цель жизни существа. Дольше всего хранит обитателей своих, жизненная сила которых упряма и цепка, море, этот неисчерпаемый родник жизни; за ними следуют земноводные, половину жизни проводящие в воде. Населяющие воздух существа, не столь отягченные земною пищей, живут в целом дольше наземных существ, тела которых быстрее отвердевают под влиянием их пищи; получается, что воздух и вода – это бескрайние *резервуары живых существ;* оказавшись на земле, существа скорее растут и развиваются, земля скорее перетирает и поглощает их, и поколения сменяют поколения.

5. Чем сложнее органическое строение живого существа, *тем более сложен состав его, заключающий в себе низшие сферы.* Такая многосоставность начинается уже под землей, она развивается в растениях, животных и кончает самым многосоставным существом – человеком. Кровь и все множество ее составных частей – это весь путь мира; все тут органически объединено и переплетено: и известняк и земля, и соли и кислоты, и жир и вода, и силы произрастания, возбуждения, ощущения.

Мы или же должны считать все это игрой природы (а природа никогда не играет без смысла и толка), или же нам необходимо предположить существование *незримых сил,* оказывающихся *точно в том же отношении взаимосвязи и сплошного перехода,* что и все внешние образования. Чем больше узнаем мы природу, тем больше замечаем мы эти *внутренние силы* даже в самых низких созданиях, как-то: мхи, плесени и т.д. Эти незримые силы несомненно действуют в таком животном, которое неограниченно способно к регенерации, в мышце, которая многообразно и энергично движется под влиянием самовозбуждения, – повсюду всемогущество органического творения. Не знаем, где начало, где конец этому всемогуществу. Потому что во всем творении – где действие, там и сила, где проявление жизни, там и внутренняя жизнь. Но не только взаимосвязь пронизывает все, а царит во всем *ряд восходящих сил,* царит в незримом царстве творения, а мы видим проявления их в царстве зримом, в органических формах, которые у нас перед глазами.

И эта незримая взаимосвязь должна быть несравненно углубленнее, постояннее и последовательнее ряда внешних форм, которые воспринимаем мы своими неподатливыми чувствами. Ведь что та-

кое органическое строение, если не смесь бесконечного множества сжатых в одно целое сил, уже по тому самому, по причине своей взаимосвязанности, ограничиваемых, подавляемых, притесняемых друг другом или же скрытых от наших глаз настолько, что, например, отдельные капли воды мы видим только в темных очертаниях туч и облаков, то есть видим не отдельные, индивидуальные сущности, а только целое, лишь под давлением необходимости собравшееся в такой, а не иной строй. А подлинная лестница существ! Как выглядит она в глазах всеведающего творца? Совсем иначе, чем то царство существ, о котором говорим мы! Мы приводим в порядок формы, внутренней сущности которых не понимаем, мы, как дети, классифицируем их по отдельным частям тела, по отдельным признакам. А вседержитель видит всю цепь напирающих друг на друга сил, и цепь эта – в его руках.

Но что же говорит это нам о бессмертии души? Говорит все, и не только о бессмертии души, но и о вечности всех творческих, живых сил мироздания. Сила не может погибнуть; ведь что значит, что сила погибает? Мы в природе не находим ни одного примера, чтобы гибла сила, и в душе своей не понимаем даже, что это значит. Если противоречием называют, что нечто может быть ничем или только становиться, то куда большее противоречие в том, чтобы обращалось в ничто нечто живое и деятельное, в чем присутствует сам творец, в чем явил он свою *имманентную* божественную силу. Внешние обстоятельства могут разрушить орудие, но и тут не уничтожается и не теряется ни один атом, тем более сила, которая творит и в атоме. А поскольку во всякой органической форме силы, творящие в ней, выбраны мудро и упорядочены искусно, соразмерены, чтобы действовать совместно и одинаково долго, и подчинены развитию основной силы, так нелепо было бы думать, что природа вдруг позабудет и о мудрости, и о тщательности в тот миг, когда перестанет существовать определенная комбинация сил, обстоятельство внешнее, что природа, которая и божественна только потому, что мудра и тщательна в своих творениях, обратится *против самой себя,* чтобы, собрав все свое могущество (ибо чем-то меньшим тут не обойтись), уничтожить часть живой взаимосвязи, в которой пребывает она сама, *вечно деятельная.* Вечно живет то, что вызвал к жизни творец, всему дающий жизнь; и все, что творит, творит вечно в вечной его взаимосвязи.

Здесь не место подробно излагать эти принципы, и мы покажем их на примере. Цветок отцвел, теперь он распадается, потому что уже не годится на то, чтобы и дальше творила в нем сила произрастания; дерево, которое принесло столько плодов, что пресытилось своим делом, умирает, механизм его строения обветшал, и все, что было составлено в единое целое, теперь распадается. Но отсюда отнюдь не следует, что и сила, которая живила целое, которая давала такой

мощный рост и плодилась, которая притягивала к себе тысячи сил и царила в целом организме, что эта сила погибает теперь вместе с распавшимся целым. Ведь у всякого атома распавшейся машины остается его малая сила; насколько же больше энергии должна сохранить сила несравненно более мощная, управлявшая всеми прочими, пока существовала органическая форма, сила, которая всех их подчиняла единой цели и в узких пределах проявляла все свойства всемогущественной природы. Нить мыслей рвется, если представить себе, будто *естественно,* чтобы вот сейчас это существо мощно творило в каждом из своих членов, чтобы восстанавливало оно утраченные органы и во всем теле чувствовало возбуждение и чтобы через минуту все его силы, эти живые доказательства действующей внутри организма всемогущей природы, были вырваны из взаимосвязи существ, были выброшены прочь из царства действительности, как будто их никогда и не было здесь.

А когда мы заговорим о самой чистой и самой деятельной силе, какая известна нам на земле, о человеческой душе, неужели же это противоречие в мысли может быть отнесено к ней? Ведь душа так высоко поднялась над всеми способностями низших существ, что не только, словно царица, управляет бессчетными органическими силами тела, как бы присутствуя повсюду в нем и повсюду проявляя свое всемогущество, но и способна – о чудо из чудес! – управлять сама собою и проникать взором в глубь своей сущности. Нет на земле ничего более тонкого, стремительного и действенного, чем мысль человека, нет ничего, что превосходило бы энергию, чистоту и тепло человеческого воления. Всеми мыслями своими человек подражает божеству, упорядочивающему свои творения, а всеми желаниями и действиями – божеству, созидающему мир; при этом неважно, сколь неразумен человек. Подобие – в существе дела, оно зиждется на внутренней сущности души. Так неужели же оттого, что нынешнее состояние органического строения изменяется и отпадают от него некоторые из низших подданных, должна погибнуть сила, способная познавать, способная любить Бога, способная подражать ему в его творениях, познающая его и подражающая ему даже и как бы против воли, в зависимости от того, как устроен разум, так что даже и все ошибки и заблуждения совершает она лишь по слабости или обманутая, неужели же погибнет сила, мощно правящая всей землей? И художницы не будет от того, что резец выпал из ее рук? Но где же тогда связь мыслей?..

II. Ни одна сила в природе не обходится без своего органа; но орган – не сама сила, а ее орудие

Пристли[1] и другие возражали спиритуалистам, указывая на то, что мы не встречаем в природе чистого духа и весьма недостаточно представляем себе внутреннее состояние материи, чтобы отрицать за ней мышление и другие духовные силы; как мне кажется, Пристли во всем прав. Мы не знаем такого духа, который творил бы вне материи и совершенно обходился бы без нее; а в самой материи действует столько сил, подобных силам духовным, что утверждение полнейшей *противоположности* и *противоречия* между духом и материей, этими, несомненно, весьма различными стихиями, само по себе есть суждение если и не противоречивое, то вполне бездоказательное. Как могут совместно, с глубочайшей гармонией творить две стихии, если они вполне разнородны и противонаправлены? И как можем утверждать мы, что они противоречивы, – ведь мы не знаем ни духа, ни материи в их глубине?

Если сила действует, то, как мы видим, она всегда действует в каком-нибудь органе и действует в гармонии с ним; помимо органа, она, по меньшей мере, остается для нас незримой, но как только появляется орган, так становится зримой и сила, а если верить аналогии, которая проникает все в природе, то сила всякий раз *особо образует* для себя орган. Ни один человек не видел заранее созданных зародышей, которые будто бы заготовлены с самого начала, как сотворен был мир, а что мы замечаем в момент, когда рождается существо, так это *действие органических сил.* Если живой индивид заключает их в себе, то он сам и рождает, а если существуют полы, то каждый должен внести свое, чтобы создать нового отпрыска, причем каждый действует по-своему, в соответствии с различиями в органическом складе. Существам растительным, силы которых творят единообразно, но тем более интенсивно, достаточно легкого прикосновения, чтобы в их порождение вошла жизнь; и у таких животных, у которых по всем органам разлиты живое возбуждение и упорная жизнь, у которых в каждом члене тела заключена сила порождения и регенерации, плод нередко оживляется вне чрева матери. Чем многосоставнее органическое строение, тем труднее рассмотреть так называемый зародыш; *органическая материя* – вот куда должны войти живые силы, чтобы создавать облик будущего живого существа. Какие только процессы ни происходят в яйце, пока плод не обретет положенного ему облика и не придет к полному развитию! Органическая сила, действующая в яйце, должна упорядочивать и разрушать, она стягивает одни части, она разгоняет другие, кажется даже, что тут борется несколько сил, что они порождают какого-то урода, но наконец все силы приходят в равновесие, и живое существо становится тем, чем должно было стать. Если посмотреть на все эти превращения,

на все эти живые процессы в яйце птицы или в чреве животного, то, как мне кажется, и разговоры о зародышах, которые будто бы только развиваются, и об *эпигенезисе*[2], когда все члены только прирастают извне, – все это слова, которые никак нельзя понимать в буквальном смысле. *Образование,* генезис – вот в чем действие внутренних сил, для них приготовила природа смесь вещества, и эту смесь силы образуют для себя, чтобы зримо явиться в ней. Так говорит опыт; и это же подтверждается периодами, которые проходят в своем развитии животные, наделенные большей или меньшей органической сложностью и полнотою жизненных сил; этим же объясняются и встречающиеся уродливые образования, которые вызваны болезнью, случайностью, смесью разных видов; это – единственный путь, который как бы навязывает нам изобилующая силой и жизнью природа примером непрерывной аналогии во всех своих творениях.

Но приписывать мне такой взгляд, что наша *разумная душа,* как говорили некоторые, будто бы строит для себя тело в материнском чреве, строит его, пользуясь разумом, – значит неправильно понимать меня. Мы уже видели, что разум лишь весьма поздно возделывается в нас и что мы являемся на свет, будучи лишь способны воспринять разум, но не будучи в силах ни возыметь его, ни завоевать собственными силами. Да и для самого зрелого человеческого разума немыслимо построить такое создание, как человеческое тело, потому что мы не знаем его ни снаружи, ни внутри, и даже большинство жизненных отправлений совершается в нас помимо сознания и помимо воли нашей души. Не разум наш сложил тело, а перст божества, органические силы. Их вел вечный создатель по великой лестнице существ, и вот, связанные его рукой, органические силы нашли для себя место, где творить, – это малый мир органической материи, отведенный им Богом и даже окруженный покровами, чтобы создавалось в нем юное существо. Органические силы гармонически слились со своим творением и гармонически творят в нем, пока оно существует, – а когда оно отживет свой век, творец отзовет их и укажет им иное место, где творить.

Итак, если идти путем природы, то ясно, что:

1. *сила и орган теснейшим образом взаимосвязаны, но что все же они – не одно и то же.* Материя нашего тела существовала, но лишена была облика, лишена была жизни, и только органические силы придали ей облик и вдохнули в нее жизнь;

2. *всякая сила творит в гармонии со своим органом;* ведь она и создала его для себя, чтобы открыть в нем свое внутреннее существо. Она ассимилировала частицы, которые предоставил ей всемогущий творец, как бы указавший ей место в покровах материи;

3. когда оболочка отпадает, *сила остается; сила все же существовала и до оболочки,* пусть в более низком состоянии, и тем не менее как сила

органическая. Если возможно было перейти ей из своего прежнего в это настоящее состояние, то возможен для нее и новый переход, коль скоро она выходит из облекавшей ее плоти. А какая среда будет ей отведена, о том позаботится творец, поместивший ее вовнутрь тела, когда она была еще не столь совершенной.

А природа, всегда равная себе, – не подскажет ли она нам уже и теперь, что же это за среда, в которой творят все силы мира? В глубочайших безднах становления, где видим мы зарождение жизни, мы замечаем и эту столь деятельную и так мало исследованную еще стихию, которую весьма несовершенно именуем мы *светом, эфиром, жизненным теплом,* – может быть, все это и есть орган чувства творца и с его помощью он все оживляет, все согревает. Разлитый по тысячам миллионов органов, поток небесного пламени все очищается и очищается и становится все тоньше и тоньше, и через посредство его действуют все силы на земле, и неотделимо от него чудо земного творения – рождение жизни. Быть может, еще и для того выпрямлено здание нашего тела, чтобы даже и более простые и грубые части нашего тела притягивали к себе как можно больше частиц от этого электрического потока, чтобы как можно больше перерабатывали их в себе; и для более тонких сил орудием телесного и духовного восприятия служит, правда, не сама простая электрическая материя, а нечто бесконечно более тонкое, переработанное нашим организмом и тем не менее сходное с электричеством. Одно из двух: или нет на земле аналога действию моей души, и тогда непонятно, как может воздействовать она на тело и как другие предметы могут воздействовать на нее, или же именно этот незримый небесный дух света и огня пронизывает все живое и сливает воедино все силы природы. В человеческом организме он достиг той тонкости, какая вообще возможна для земного строения, и благодаря ему душа, словно всемогущая властительница, творила во всех органах тела и бросала лучи внутрь своего существа, наделенная сознанием, волнующим все ее недра. И дух благодаря ему наполнился благородным теплом, сумел свободно самоопределиться и так выйти из пределов своего тела, даже и из пределов самого мира, чтобы управлять ими. Дух овладел телом, и когда пробьет его час, когда распадется его видимая машина, что же более естественно, если он, согласно глубоким, вечно действующим законам природы, повлечет за собой все ассимилированное им, все тесно слитое с ним? Он перейдет в свою среду, и эта среда повлечет его за собой, – нет, лучше сказать, ты влечешь нас, ты направляешь пути наши, о пластическая божественная сила, разлитая по всему миру, о матерь и душа всех живых существ, ты поведешь нас вперед к нашему новому предназначению, ты заново сложишь нас и кротко увлечешь нас к новому существованию.

Теперь ясно, полагаю я, все ничтожество аргументов, с помощью которых материалисты думали опровергнуть бессмертие человеческой

души. Хорошо, пусть свою душу как чистый дух мы не знаем, но мы и не хотим знать ее такой. Хорошо, пусть творит она только как сила органическая, иначе и не должна она творить, и я еще прибавлю: только в органическом состоянии душа и научилась мыслить человеческим мозгом, чувствовать человеческими нервами, только в органическом состоянии постепенно обрела она разум и гуманность. Пусть даже душа изначально была тождественна со всеми энергиями материи, возбуждения, движения, жизни, пусть только на высокой ступени развития она творит в более совершенно, тонко построенном организме, и в этом случае разве видел кто-нибудь, чтобы погибала хотя бы одна сила движения и возбуждения, а разве эти низшие силы – то же самое, что их орган? У творца, поместившего бессчетное множество сил в моем теле, у творца, который каждой силе указал ее орган и над всеми поставил душу, указав ей мастерскую ее творений и вручив ей узды нервов, дабы управляла она всеми силами, – неужели в великой взаимосвязи природы не найдется у создателя иной среды, чтобы вывести душу из тела? И разве не обязан найти он такую среду, коль скоро ввел он душу в это органическое жилище, ввел чудесным путем и, несомненно, для того, чтобы придать ей еще более высокую форму?

III. Взаимосвязь сил и форм – не отступление и не застой, а поступательное движение вперед

Это ясно само по себе, потому что непонятно, как может стоять на месте или пятиться раком живая сила природы, если только вражеская мощь не берет над нею верх и не толкает ее назад. Природа творила как орган божественного всемогущества, как обращенная в действие вечная идея, замысел творения; природа была деятельной, и силы ее умножались. И когда она сбивалась с пути, то сами отклонения возвращали ее на верный путь, потому что у высшего блага довольно средств для того, чтобы повести к цели рикошетирующую пулю и, прежде чем она упадет на землю, дать ей новый толчок вперед и пробудить в ней новые силы. Однако пусть метафизика останется в стороне, а мы присмотримся к аналогии, царящей в природе.

В природе ничто не стоит на месте, все стремится вперед, все идет вперед. Если бы мы могли видеть, как в первый период творения одно царство природы надстраивается над другим, – какая прогрессия устремленных вперед сил явилась бы во всяком развитии! Почему кости животных и человека содержат известь? Потому что известь была одним из последних переходов, совершавшихся более примитивными земными образованиями, и по своему внутреннему строению уже годилась для того, чтобы служить скелетом живого организма. Так и все прочие составные части нашего тела.

Когда врата творения были закрыты, те органические формы, которые были выбраны, оказались как бы различными путями и проходами, по которым и через которые могли впредь идти низшие силы, развиваясь и совершая свое восхождение в пределах природного мира. Новых органических творений уже не создавалось, а низшие силы странствуют по существующим, преобразуются в них, и органический мир ведет их ко все более высокому развитию и строю.

Первым на свет выходит растение, под лучами солнца оно является, словно государь подземного царства. Из чего состоит растение? Из соли, жира, железа, серы и всех тех тонких сил, которые сумел очистить и перегнать для растения подземный мир. Но как же усвоило растение все эти частицы? Оно усвоило их благодаря внутренне присущей ему органической силе, при посредстве стихий. А что же делает растение с частицами веществ? Оно притягивает их к себе, перерабатывает их в свое существо и еще более очищает. И ядовитые, и целебные растения просто переводят частицы грубые в более тонкие; все искусство растения – в том, чтобы низшему придавать высшее строение.

Над растением – животное, питающееся его соками. Один-единственный слон – могила миллионов растений, но только могила – живая, деятельная, она растения превращает в части животного тела; низшие силы переходят в более тонкие формы жизни. Так дело обстоит и с плотоядными животными; природа ускорила тут переходы, словно страшась умереть медленной смертью. Она сократила пути метаморфозы, процесс превращения в высшие жизненные формы ускорился. Среди всех животных творение, наделенное самыми тонкими органами, – человек, убивающий больше других. Он почти все может перевоплощать в свою органическую природу, если только живое существо не слишком далеко отстоит от него.

Почему же творец так устроил царства жизни, что на первый взгляд тут господствует разрушение? Быть может, враждебные силы тоже участвовали в творении и оттого получилось так, что один род живых существ сделался добычей для другого? Или творец был бессилен и не умел сохранить своих детей иными средствами? Отбросьте внешнюю оболочку, и в творении не будет смерти – всякое разрушение есть переход к высшей жизни, и переход такой происходит, как установил мудрый отец, в те сроки и с тем разнообразием, какие только допускают цель сохранения живых родов и цели существ, что должны насладиться своей плотской оболочкой и всесторонне проявить ее. Насильственными смертями творец предотвратил медленное умирание и позволил зародышу цветущих сил развиваться в более сложных органах. *Рост* живого творения – ведь это не что иное, как беспрестанное усилие живого существа, трудящегося ради соединения со своим естеством различных органических сил! Для этого существуют возрасты, которые

переживает живое создание, а как только оно перестает присоединять к себе органические силы, жизнь его клонится к закату и существо погибает. И природа отставляет в сторону машину, сочтя, что та не пригодна уже для ее целей – для здоровой ассимиляции вещества, для неустанной его переработки.

В чем состоит искусство *врачевания,* если не в том, чтобы служить природе и в нужный момент приходить на помощь бессчетным трудящимся силам нашего органического строения? Искусство врачевания возмещает утраченные силы, придает бодрость утомленным, ослабляет воспреобладавшие и укрощает неумеренные – но как? Так, что оно доставляет организму те или иные силы из *низших царств* природы и помогает ему ассимилировать их.

О том же самом говорит нам зачатие и рождение живых существ; как бы глубоко ни была спрятана тайна зачатия, но одно ясно: органические силы творения расцвели в живом существе, достигли наивысшей действенности, а теперь стремятся породить новые образования. Поскольку у всякого организма есть способность к ассимиляции низших сил, то есть у него способность и размножаться, когда, насыщенный ассимилированными силами, он во цвете лет стремится дать миру отпечаток своей сущности, всех действующих в нем сил.

Так лестница постепенного развития, утончения, проходит через всю низшую природу, а что же делать, когда доходит она до самых благородных и могучих созданий природы? Может быть, остановиться или повернуть назад? Питание, в каком нуждалось животное, состояло в растительных силах, которые должны были влить жизнь в растительные ткани его тела; сок мышц и нервов уже не служит пищей ни для какого существа на Земле. Даже и кровь утоляет только жажду хищников, а племена, гонимые пристрастием или нуждой, проявляют звериные наклонности, когда в своей жестокости решают испробовать ту живую пищу, какой питается зверь. Получается, что царство мыслей и реакций, как это и требует его природа, лишено здесь видимого продолжения и перехода, а культура народов положила первым законом человеческого чувства не есть мяса вместе с кровью, в которой – душа животного[3]. Очевидно, что все эти силы – соки, кровь – духовного свойства, а поэтому вполне можно было бы обойтись без ненужных гипотез о нервном соке как о доступном *осязанию* передатчике ощущений. Нервный сок, если только он есть, служит здоровью нервов и мозга; не будь сока, и они превратились бы в бесполезные вервия и сосуды; итак, сок нервов идет на пользу плоти, а действие души, какими бы телесными органами душа ни пользовалась, во всех ощущениях и силах всегда духовно.

Но куда же отправляются те духовные силы, которые недоступны человеческим чувствам? Природа поступила мудро и скрыла это от

нас за покрывалом, она не позволяет нам бросить взгляд в духовное царство превращений и переходов, и у нас нет чувств, чтобы видеть их; быть может, такой взгляд и нельзя совместить с нашим земным существованием и с теми чувственными ощущениями, во власти которых мы все же пребываем. Вот почему природа показала нам лишь переходы от низших царств к высшим, в царстве высших существ – только восходящие формы; а тысячи незримых путей перехода она оставила для самой себя, и царством нерожденных стала великая Hyle[4], или Аид, куда не проникает человеческий взор[5]. Правда, такой гибели сил противоречит определенность формы, которой всегда верна всякая порода животных и в которой не переменяется ни одна косточка; но причина этой неизменности тоже понятна: всякому существу органический строй придают только *существа его породы,* только так и может быть. А строгая и все упорядочивающая мать-природа совершенно точно установила, какими путями должна достигнуть своего явного действия та или другая органическая сила, господствующая или подчиненная, и потому ничто не может ускользнуть от форм, раз и навсегда установленных природой. Так, в царстве людей царит величайшее многообразие склонностей и задатков; нередко мы поражаемся им, видим в них нечто чудесное или противоестественное, но мы не понимаем их. А поскольку и эти склонности и задатки не лишены своих органических оснований, то возможно, – если только допустимо строить предположения относительно этой скрытой мраком мастерской, в которой природа выковывает свои формы, – рассматривать человеческий род как *великое слияние низших органических сил,* которые должны достигнуть в облике человеческом гуманной культуры.

Но что же дальше? Человек был на Земле образом Бога, наделен был самым сложным и тонким органическим строением, какое только может быть на Земле, – так что же, теперь идти ему назад и превращаться в камень, в растение, в слона? Или колесо творения остановилось и уже не приводит в движение других колес? Последнее немыслимо, потому что в царстве верховного блага и мудрости все связано между собой и сила воздействует на силу во всеобщей взаимосвязанности целого. Бросим же взгляд назад и посмотрим, как позади нас все постепенно созревает, подготавливая человеческий облик, и как в нас самих обретаются лишь самые первые задатки и бутоны будущего человеческого предназначения, для которого целенаправленно воспитывает нас творец; если все это так, то или вся целенаправленность, вся взаимосвязь природы – просто сон, или же и человек тоже идет вперед (какими путями – вопрос другой). Давайте же посмотрим, как укажет нам этот путь вперед вся в целом природа человека?

IV. Царство человека – система духовных сил

Сомневаясь в бессмертии органических сил, прежде всего ссылаются на орудия, посредством которых эти силы действуют, а я могу смело утверждать, что осветить по-настоящему эти сомнения и значит зажечь великий свет не только надежды, но и полной уверенности в том, что силы будут творить беспрестанно, вечно. Не во внешней пыльце, простой составной части строения цветка, его цветение, и не через внешние члены тела воспроизводится животное, и совсем уж нельзя представить себе, чтобы интенсивная сила множества сопряженных сил, наша душа, действовала через посредство тех составных частей, на которые разлагается наш мозг. Сама физиология убеждает нас в этом. Внешний образ, отражающийся в глазу, не поступает в наш мозг, и звук, преломляющийся в наших ушах, не просто механически, как таковой, поступает в нашу душу. Нет нерва, который продолжал бы вибрировать до самой точки соединения, у некоторых животных даже и идущие от глаз нервы не соединяются, и ни у одного существа нервы всех органов чувств не сходятся вместе, в какой-либо одной видимой точке. Тем более если говорить о нервах всего тела, – но ведь душа чувствует свое присутствие в каждом самом незначительном члене тела и творит в нем! Значит, очень слабое, весьма чуждое физиологии представление – думать, что мозг мыслит сам по себе, нервный сок ощущает сам по себе; напротив, существуют *особые психологические законы,* согласно которым душа совершает свои действия и соединяет свои представления; этому же учит нас опыт. Что всякий раз душа поступает, сообразуясь с органом чувства, и действует всегда в гармонии с ним, так что если само орудие ни на что не годится, то и художница ничего не может поделать с ним, не подлежит ни малейшему сомнению, но ничего по существу не меняет. Сейчас важно, как творит душа, *сущность ее понятий.* А в таком случае

1. Никак нельзя отрицать, что *мысль* и даже самое восприятие, с помощью которого душа представляет себе внешний предмет, весьма *отличаются* от того, что доставляет ей *орган чувства.* Мы называем это восприятие образом, но это совсем не тот образ, то есть светлое пятно на поверхности глаза, которое вообще не достигает мозга; образ, складывающийся в душе, – это нечто особое, создавшееся в душе под влиянием органов чувств. Из хаоса окружающих вещей душа вызывает один облик, к которому и приникает со всем вниманием, и так, благодаря своей внутренней силе, из множества она создает одно, и это одно всецело принадлежит ей. И это одно может вновь и вновь составляться, даже когда самого предмета уже и не будет; сновидения, поэзия могут сочетать этот образ по совершенно иным законам, не в тех условиях, в которых представляло образ его чувство; так и бывает в сновидениях и в поэзии. На буйных больных нередко ссылаются[6] в доказательство

материальности души, но они свидетельствуют как раз об ее иммате-риальности. Послушайте речи безумца и обратите внимание, каким путем следует его душа. Он всегда исходит из представления, которое так глубоко затронуло его, что разрушило все орудия его чувств и на-рушило взаимосвязь ощущений. И теперь решительно все соединяет он с этим представлением, потому что оно царит в его душе и он не может отвлечься от него; вокруг этого представления он выстраивает теперь свой особый мир, устанавливает особенную взаимосвязь мыс-лей, и всякий раз, когда запутывается в мыслях и представлениях, его заблуждения – весьма *духовного* порядка. Не потому комбинирует он свои представления, что отделы его мозга расположены так, а не иначе, и даже не потому, что ощущения представляются ему такими, а не иными, но он комбинирует в зависимости от того, насколько родственны другие представления его идее и насколько удалось ему силой привязать их к своей идее. Тем же путем следуют все ассоциации мыслей у нас; они принадлежат такому существу, которое силой своей внутренней энер-гии и нередко со странной идиосинкразией вызывает воспоминания о прошлом и связывает идеи и представления не в согласии с внешней механикой, а следуя внутреннему пристрастию или отвращению. Мне хотелось бы пожелать, чтобы искренние люди опубликовали протокольные записи своей души, а проницательные наблюдатели, прежде всего врачи, познакомили бы нас со странностями, которые замечают они в своих больных, и, я уверен, это были бы свидетельства действия некой сущности – органической, но притом весьма своевольной и послушной законам духовного соединения идей.

2. Это же подтверждается и тем, как *образуются* с *самого детства наши представления,* воспитываемые с помощью искусства, подтверж-дается и той *медлительностью,* с которой душа не только осознает самое себя, но и учится, учится с великим трудом, пользоваться органами чувств. Не один психолог наблюдал те искусные приемы, с помощью которых ребенок учится представлять цвет, форму, величину, удаление предметов, с помощью которых он *учится видеть.* Телесное чувство ничему не учится, потому что с самого первого дня в глазах ребенка отражается тот же самый образ, который будет отражаться и в послед-ний день жизни человека, но душа учится, через посредство чувства, измерять, сравнивать, воспринимать духовно. Ухо – ее помощник, а язык – конечно же, духовное, а не плотское средство образования идей. Только бесчувственный примет звук и слово за одно и то же, а простое звучание и слово различаются, как различаются душа и тело, орган чувства и сила. Слово напоминает нам об идее и доставляет ее нам из души другого человека, но слово это – не сама идея, и точно так же материальный орган – не сама мысль. Тело, получая пищу, растет, и наш дух, принимая идеи, растет, и мы замечаем, что действуют в нем прежние законы *ассимиляции, роста и порождения,* но только действуют

они не телесным, а особым, духу присущим образом. И *дух* тоже может переполниться пищей, так что не сможет усваивать ее и преобразовывать в свое существо, и духу свойственна симметрия духовных сил, а каждое отклонение от симметрии – или болезнь, или слабость и лихорадка, то есть сумасбродство; наконец, и дух занят своей внутренней жизнью, проявляя при этом неукротимую творческую силу, в которой, как и в земной жизни, сказываются и любовь и ненависть, и отвращение к чуждому себе и склонность к тому, что близко его природе. Короче, без всякой мистики скажем: в нас складывается *внутренний духовный человек* со своей собственной природой, который телом пользуется только как своим инструментом и который следует своей природе даже и тогда, когда внешние органы испытывают ужаснейшие потрясения. Чем более отделяют душу от тела болезни, насилие страстей, чем более принуждена вследствие этого душа блуждать в особом мире своих идей, тем более странные явления замечаем мы, когда душа, с присущей ей энергией и мощью, творит или связывает идеи и представления. Полная отчаяния душа бродит по местам, где протекала ее жизнь в прошлом, и, не в силах отрешиться от своего естества и отказаться от своего дела, от образования представлений, душа создает для себя *безумный мир.*

3. Более светлое *сознание,* такое значительное преимущество человеческой души, лишь постепенно образовано для нее, прирощено *духовно,* а именно *благодаря духу гуманности.* У ребенка сознание слабое, хотя он только и делает, что стремится обрести сознание и всеми силами души удостовериться в своем собственном существовании. Его стремление к понятиям и представлениям преследует одну цель – осознать себя в мире божием и как бы со всей присущей человеку энергией порадоваться своему бытию. Животное бродит кругом, словно погруженное в неясное сновидение, и сознание его разошлось на множество возбуждений и раздражений его тела, оно словно прикрыто их оболочкой, так что никак нельзя проснуться, обрести ясность смысла и беспрестанно упражнять в мысли свой органический строй. И человек осознает свое чувственное состояние лишь благодаря органам чувств, и коль скоро органы чувств терпят ущерб, то совсем не удивительно, если идея, возобладавшая в человеке, восхитит его, увлечет его за собой, невзирая на все то, что прежде человек признавал правильным, – и так начнется трагедия или комедия, которую человек будет играть с самим собою. Но и такой восхищенный в страну воспаленных идей человек являет внутреннюю энергию, только что сила сознания, сила самоопределения оказывается иной раз на самых ложных путях. Ничто не доставляет человеку чувства его существования так, как познание – познание истины, которую завоевал человек сам для себя, которая принадлежит нашей сокровенной природе и нередко лишена какой бы то ни было зримости и наглядности. Человек забывает о себе, он теряет представление о времени, о мере своих чувственных сил, его увлекает за собой возвышенная идея, и он

неотступно следует за нею. Самая ужасная телесная боль может быть заглушена одной-единственной живой мыслью, если она царит в душе человека. Люди презирали смерть и ни во что не ставили жизнь, если овладевал ими аффект, если овладевала ими любовь к Богу, самый сильный и чистый аффект среди всех доступных человеку, и тогда в самой бездне идей человек мог чувствовать себя словно на седьмом небе. И простая работа тяжела нам, когда выполняется она нами без участия души, и самое тяжелое дело становится легким, когда мы полны любви; любовь окрыляет, и мы способны приняться за труд продолжительный и не сулящий скорого успеха. Времена, просторы пропадают – любовь всегда у себя, всегда в своей стране идей...

Такую свою природу дух проявляет и в самых диких народах; все равно, за что бы ни сражались они, они сражаются, влекомые идеей. Даже людоед, жаждущий мести, не насытивший еще свою храбрую душу, и тот стремится насладиться *духом,* хотя стремления его омерзительны.

4. Никакие состояния, болезни, странности органа чувства не способны сбить нас с толку, мы всегда, как нечто *изначальное,* чувствуем заключенную в них силу. Так, память может выражаться у людей по-разному, в зависимости от того, как устроен их организм; у одного память воспитывают и поддерживают образные представления, у другого – абстрактные знаки, слова или даже числа. В юности мозг мягок и память обычно очень живая, в старости мозг затвердевает, становится инертным; он привязан к прошлым представлениям. Так и со всеми остальными силами души; иного и не может быть, потому что сила творит органически, посредством органов. Но заметьте и здесь: во всем действуют *законы сохранения и обновления идей,* законы не телесного, а духовного порядка. Бывали случаи, что человек забывал о целых периодах своей жизни, забывал известные части речи, существительные, даже просто отдельные знаки и буквы, но память о других годах, о других частях речи у него оставалась, и он мог свободно пользоваться ими, и скована душа была только в одном члене, который болел. Если бы взаимосвязь духовных идей была материальной, то душе, судя по подобным явлениям, нужно было бы или скитаться по мозгу и вести особый протокол лет, имен существительных, или же если идеи затвердели вместе с мозгом, то окостенеть им пришлось бы всем сразу, а ведь и у стариков память об их молодости очень свежая. Когда душа уже не может быстро связывать идеи, когда она не может стремительно продумывать их, потому что орган ее уже утомлен, душа тем крепче держится всего того, что приобрела в лучшие свои годы, и всем этим распоряжается как своею собственностью. Непосредственно перед смертью и вообще всегда, когда душа не так скована телом, память о прошлом просыпается со всей живостью, воскресают радостные

годы юности, и такие воспоминания объясняют обычно и блаженство стариков, и приятные чувства умирающих. С самого начала дней своих у нашей души словно только одна забота – обрести свой *внутренний облик, форму человечности,* и в этой своей форме чувствовать себя здоровой и бодрой, как тело – в своей форме. Ради этого душа неутомимо трудится, и все силы души – в такой же симпатической связи, что и силы тела, стремящегося сохранить свое здоровье, – все тело чувствует боль, если страдает один член, и, как только может, старается своими соками зарастить перелом, исцелить рану. Так и душа печется о своем хрупком и нередко обманчивом здоровье, она успокаивает себя то благими, а то и ложными средствами и никогда не перестает действовать. Чудесно ее искусство, неизмерим запас средств и лекарств, которые добывает она откуда только может. Если в будущем *семиотику души*[7] будут изучать так, как изучают теперь семиотику тела, то во всех душевных болезнях будет распознана их духовная природа, так что выводы материалистов растают, как туман при свете солнца. И даже больше: для человека, убежденного *во внутренней жизни своего существа,* все внешние состояния тела – потому что тело, будучи материальным, беспрестанно изменяется – будут лишь переходами, ничуть не затрагивающими самое его существо, из этого мира такой человек перешагнет в мир иной столь же незаметно, как переходил в своей жизни от ночи к дню, от одного возраста к другому.

Каждый день творец наш дает нам на нашем собственном опыте убедиться, что в нашей машине все нераздельно и неотделимо от души, – творец посылает нам бальзам Сна, этого брата Смерти[8]. Сон, легко касаясь нашего тела своими кроткими перстами, заставляет забыть о самых важных делах, нервы и мускулы успокаиваются, чувственные ощущения прерываются, но душа не перестает думать, пребывая в своей родной стране. Она ничуть не отделяется от тела, а остается связанной с ним, как показывают ощущения, которые часто примешиваются к снам, но творит она по своим собственным законам, творит даже в самом глубоком сне, и мы просто забываем о сновидениях, которые видим тогда, а убеждаемся, что видим их, лишь когда нас внезапно будят. Некоторые люди замечают, что если спят спокойно, то душа их занята всегда одной и той же цепочкой представлений, но только совсем не тем, чем в бодрствующем состоянии, что она никогда не сбивается в сторону и не перестает странствовать по своему миру, – обычно это мир прекрасный, юный, яркий. Ощущения во сне живее, аффекты ярче, мысли связываются легче, и все проще, и взгляд наш на мир светлее, а свет, которым окружены мы, прекраснее земного. Если мы спим здоровым сном, то мы не ходим, а летаем, и рост наш выше, и поступаем мы решительнее и все делаем не так скованно. И хотя все это состояние зависит от тела, потому что

и все самое незначительное в нашей душе должно гармонировать с телом, коль скоро силы души воплощены в теле и глубоко проникли в него, то все же этот наш странный опыт снов и сновидений – как поражались бы мы всему, если бы не привыкли к снам! – показывает, что не все части нашего тела совершенно одинаково принадлежат нам, но что некоторые органы нашей машины могут как бы отключаться, и тогда высшая сила творит лишь на основе воспоминаний, и творит идеальнее, живее, свободнее. Но поскольку все причины, вызывающие сон, и все физические симптомы сна на самом деле суть аналоги смерти – реально, по данным физиологии, а не потому, что так принято говорить, – почему бы и духовным симптомам сна не быть *аналогичными смерти?* Итак, до тех пор, пока мы продолжаем валиться с ног от усталости и погружаемся тогда в непробудный сон, до тех пор остается у нас надежда, что, быть может, и смерть только охладит лихорадочный жар жизни, только повернет в новую сторону ход нашего существа, слишком долгий и однообразный в этой жизни, только исцелит неисцелимые раны и приготовит душу к радостному пробуждению в новом мире, к наслаждению новым утром юности. Во сне мысли мои возвращаются к юным годам, а я, лишь наполовину избавившись от разных органов чувств, но как-то особенно углубившись в себя, чувствую себя существом более свободным и энергичным; так и ты, освежительный сон смерти, так и ты вернешь мне юность дней моих, самые прекрасные мгновения моего существования, самые бодрые минуты бытия, и я проснусь в облике юноши, а может быть, в несравненно прекрасном облике неземной молодости.

V. Человечность – предварение, бутон будущего цветка

Мы видели, что цель нашего земного существования заключается в воспитании *гуманности,* а все низкие жизненные потребности только служат ей и должны вести к ней. Все нужно воспитывать: способность к разуму должна стать разумом, тонкие чувства – искусством, влечения – благородной свободой и красотой, побудительные силы – человеколюбием, и мы или ничего не знаем о своем предназначении, и Бог, создав все наши внешние и внутренние задатки, обманул нас (такое богохульство вообще бессмысленно), или же мы можем быть уверены в цели, как уверены в Боге и своем существовании.

А как редко достигается на земле эта вечная, эта бесконечная цель! Разум целых народов пленен их звериным духом, истину ищут на самых нелепых путях, а красота и прямодушие, ради которых создал нас Бог, подвержены порче от гнусности и небрежения. Лишь у немногих богоподобный дух гуманности в самом широком и чистом значении слова есть подлинное *стремление всей жизни,* а большинство задумывается

поздно, да и у самых лучших низкие инстинкты тянут возвышенного человека к животному. Кто из смертных может сказать: я обретаю, я обрел чистый образ человечности, заложенный во мне?

И вот поэтому получается, что или творец ошибся, когда поставил перед нами цель гуманности и когда столь сложно и искусно вывел органический строй человека, чтобы в нем человек достигал своей цели, или же, в противном случае, цель эта выходит за пределы нашего существования, а Земля – это только место, где мы *упражняемся* в гуманности, где готовимся к будущему. На Земле, конечно, к самому возвышенному пришлось присоединить и много низкого, так что в целом человек стоит только ступенькой выше животного. И между людьми должны были появиться величайшие различия, потому что все на земле многообразно, а в некоторых странах и в некоторых условиях человеческий род придавлен бременем климата и житейской нужды. Созидательное Провидение не могло не охватить своим взором и все эти ступени, и все эти климатические зоны, и все эти видоизменения человеческих пород, и Провидение, конечно, знало, как повести человека дальше, как постепенно, незаметно для самих людей, повести выше даже и низкие силы человека. Странно поражает нас, что из всех обитателей Земли человек – далее всего от достижения цели своего предназначения, но отрицать этого никто не может. Всякое животное достигает того, чего должно достичь, для чего придано ему его органическое строение, и только человек не достигает, и все потому, что цель его высока, широка, бесконечна, а начинает он на Земле с малого, начинает поздно и столько внешних и внутренних препятствий встречает на своем пути! Животного ведет его инстинкт, дар матери-природы; животное – слуга в доме всевышнего отца, оно должно слушаться. А человек в этом доме – дитя, и ему нужно *сначала научиться всему:* и самым жизненно необходимым инстинктам, и всему, что относится к разуму и гуманности. А учит он все, не достигая ни в чем совершенства, потому что вместе с семенами рассудительности и добродетели он наследует и дурные нравы, и так, следуя по пути истины и душевной свободы, он отягчен цепями, протягивающимися еще к самым началам человеческого рода. Следы, оставленные божественными людьми, жившими до него, живущими рядом с ним, перепутаны со следами других, истоптаны, потому что тут же бродили и звери, и грабители; и следы их, увы! нередко были привлекательнее следов немногих избранных, великих и благородных людей. Вот почему придется или же винить Провидение, что оно поместило человека так близко к животному, а в то же время отказало человеку, который не должен был стать животным, в ясности, твердости и уверенности, таких, что они служили бы его разуму вместо животного инстинкта, – многие и осуждали Провидение; или же иначе нам придется считать, что жалкое начало – это свидетельство бесконечного поступательного развития человека. Тогда человек сам должен

будет обрести необходимую ступень света и уверенности, положив на это свой труд, – человек, руководимый своим Отцом, должен благодаря собственным усилиям стать существом *свободным и благородным – и он им* станет. И человек – пока только человекоподобный – станет человеком, и расцветет бутон гуманности, застывающий от холода и засыхающий от зноя, он расцветет и явит подлинный облик человека, его настоящую, его полную красоту.

Итак, мы без труда можем предчувствовать, что же от нашего теперешнего существа перейдет в мир тот, иной, – ясно что: вот эта наша богоподобная *гуманность,* бутон, скрывающий внутри себя истинный облик человечества. Все жалкое, бедное и существует на Земле только для земли; известь костей наших мы вернем камню и вернем стихиям все, что взяли у них. Чувственные влечения совершили положенный им труд, и мы, словно животное, послужили земному хозяйству – влечения должны были стать у человека поводом для высших усилий и побуждений, а на том их дело кончено. Потребность в пище должна была пробудить человека ото сна, должна была заставить его работать, объединяться в общество, быть послушным законам и установлениям; человек должен был влачить целительное для него, неизбежное на Земле ярмо. Влечение полов и в жестокой звериной душе должно было посеять семена общительности, любви к родителям, супругу, детям, должно было украсить самый тяжелый, мучительный труд, коль скоро совершается он ради жизни рода, ради родных, ради людей близких по плоти и крови. Вот каковы намерения природы; все земные потребности были чревом, в котором рос зародыш гуманности. Благо, если он пророс, потому что под лучами еще более прекрасного солнца он расцветет ярким цветом. Истина, красота, любовь – вот цели, к которым всегда стремился человек, что бы он ни делал, нередко сам не сознавая того, нередко идя по совсем ложному пути, – лабиринт будет распутан, и пропадут соблазнительные призраки, и не только каждый человек *узрит,* вблизи или издалека, центр, к которому сходятся все пути, но ты, Провидение, поведешь его своей кроткой, всепрощающей рукой к цели в облике Гения и друга, в котором так нуждается человек*.

Итак, благой творец скрыл от нас, в каком облике явится человек в ином мире, – скрыл, чтобы не подавить наш слабый мозг или не возбудить в нас ложного пристрастия. Но если мы посмотрим, каким путем идет природа, создавая животных на более низких ступенях развития, если мы заметим, что пластическая художница шаг за ша-

---

* Есть ли такая философия на Земле, что скажет достоверно и ясно, как это произойдет? Позднее у нас зайдет речь о системах переселения душ и очищения, которые есть у разных народов, – мы выясним их происхождение и цель. Пока об этом еще рано говорить.

гом отбрасывает все неблагородное и смягчает жизненную нужду, как возделывает все ростки духовного, как все утончает и утончает тонкое, как все украшает и оживляет прекрасное, то мы можем довериться незримой руке художницы и будем уверены, что *распускающийся бутон человечности* предстанет в ином мире в таком облике, который и будет подлинным *божественным обликом человека,* таким, что величия и красоты его не сможет представить ни одно человеческое земное чувство. Так и напрасно сочинять; и хотя я глубоко уверен, что все ступени творения точнейшим образом взаимосвязаны и что поэтому органическая сила нашей души, предаваясь самым чистым и духовным своим упражнениям, сама закладывает основу своего будущего облика или, по крайней мере, сама не ведая о том, начинает постепенно ткать ту ткань, которая послужит ей облачением, пока лучи высшего солнца не пробудили самых сокровенных, от нее самой утаенных до поры, до времени сил, то все же дерзость – предписывать творцу законы строения существ в мире, устройство которого нам совершенно не известно. Довольно того, что все превращения в низших царствах природы – это *совершенствование* и что потому в наших руках есть по крайней мере указания на тот грядущий мир, созерцать который мы не способны, не способны по причине высшего порядка. Цветок перед нами – это сначала проросшее семя, потом побег; появляется бутон, и вот наконец выходит цветок, переживающий свои возрасты по такому земному распорядку. Подобные перерастания и превращения можно наблюдать у многих существ, и среди них известным символом стала бабочка. Смотри, вот ползет по земле безобразная, служащая примитивному кормовому инстинкту гусеница; но вот час ее пришел, и смертельная усталость одолевает ее; она упирается, она скрючивается; и ткань для савана и некоторые органы будущего ее существования – уже внутри ее. А теперь извиваются кольца и ищут выхода скрытые внутри органические силы. Сначала превращение идет медленно и кажется разрушением: десять ножек остается на коже, которую совлекла с себя бабочка, и еще уродливы члены нового существа. Но постепенно и они образуются и устанавливаются в ряд, но само существо спит, пока не сложится все целиком, – а тогда стремится к свету, и развитие быстро подходит к концу. Несколько минут, и нежные крылышки вырастают в пять раз по сравнению с тем, какими были они под покровом савана, и они наделены упругостью и всем блеском лучей, какой только может быть под нашим солнцем, и они, многочисленные, большие, понесут бабочку, словно на крыльях Зефира. Все строение переменилось, теперь бабочка ест не грубые листья, а пьет нектарную росу из чашечки цветка. И предназначение у нее другое: не грубому кормовому инстинкту служит она, а инстинкту тонкому – любви. Кто бы подумал, что в облике гусеницы скрывается бабочка? Кто бы узнал, что гусеница и бабочка – это одно и то же

существо, если бы не доказывал это опыт? А ведь эти две различные формы существования – это два возраста одного и того же существа, на одной и той же земле, где круг органического творения все время начинается заново, – сколь же прекрасные превращения скрывает лоно природы, если круг органического творения шире, а возрасты охватывают не один мир! Итак, надейся, человек, и не пророчествуй – вот твой венец, спорь о нем. Отбрось все нечеловеческое, стремись к истине, благу и богоподобной красоте, и ты достигнешь своей цели.

Этой аналогией со *становящимися,* то есть переходящими от состояния к состоянию, существами природа показывает нам, почему и непробудный сон вплела природа в жизнь своих существ. Сон – благодатное забвение, охватывающее живое существо, органические силы которого стремятся выйти наружу в новом облике. Само существо со своим малым сознанием недостаточно сильно, чтобы обозреть всю борьбу форм, чтобы управлять ею, – и вот оно засыпает, а просыпается уже в ином виде. И этот смертный сон – тоже отеческая забота, целебный опиум: пока действие его продолжается, природа собирается с силами и усопший больной выздоравливает.

VI. Нынешнее состояние человека, по всей вероятности, – звено, соединяющее два мира

Все в природе взаимосвязано; одно состояние стремится к другому и подготавливает его. Итак, если человек замкнул цепь земных созданий, будучи ее высшим и последним звеном, то именно потому он и дает начало цепи высшего рода существ, будучи самым низким звеном в этой цепи; поэтому человек, по всей вероятности, – звено, соединяющее две сцепленные системы творения. На Земле человек уже не может перейти ни в какой иной органический строй, или же ему пришлось бы отступать назад и кружиться на месте, потому что стоять на месте не может никакая живая сила в царстве, где творит благо; итак, ясно, что и человеку предстоит подняться на новую ступень, которая и прямо примыкает к нему и в то же время возвышена над ним подобно тому, как сам человек соседствует с животным, будучи украшен самыми благородными преимуществами в сравнении с ним. Такая перспектива основана на законах природы, и только она одна дает нам ключ к поразительному явлению человека, то есть служит единственно возможной философией человеческой истории. Ибо теперь

1. Проясняется странное противоречие в человеке. Как животное, человек служит Земле и привязан к ней, как к своему родному жилищу, но человек заключает в себе семена бессмертия, а потому должен расти в другом саду. Человек может удовлетворить свои животные потребности, и те, кто довольствуется этим, чувствуют себя на Земле очень хорошо.

Но как только человек развивает более благородные задатки, он повсюду начинает находить несовершенство и неполноту: ничто самое благородное так и не было осуществлено на Земле, и самое чистое редко укреплялось и утверждалось, и для сил нашего духа и нашего сердца эта арена действия – лишь место для упражнения сил, место, чтобы проверить их делами. История человеческого рода со всеми начинаниями, переменчивыми судьбами, предприятиями, кругооборотами и переломами предостаточно доказывает все это. Иногда являлся среди людей человек мудрый, добрый, и он сеял мысли, советы, дела, сеял в поток времен, расходились круги, но поток смывал их и уносил их след, и сокровище благородных намерений шло ко дну. Глупцы царили над мудрецами, расточители наследовали богатства духа от родителей, их накопивших. И жизнь людей на Земле не рассчитана на вечность, и круглая, вечно вращающаяся Земля не похожа на кузницу вечных творений, на сад вечных растений, на дворец вечной жизни. Мы приходим и уходим, и каждый миг приносит на Землю тысячи и уносит тысячи; Земля – пристанище для странников, блуждающая звезда, на которой останавливаются и с которой улетают караваны птиц. Животное выявляет всю полноту своей жизни, потому что если и не проживает все свои годы, а вынуждено уступить высшим целям, то все же внутренняя цель его жизни достигнута; его умения – при нем, и он – то самое, чем должен был быть. И только человек – в вечном противоречии с самим собою и с Землей, ибо самое развитое среди всех земных организмов существо в то же самое время – наименее развитое в своих собственных задатках, если даже и уходит оно, пресытившись жизнью. Причина, очевидно, в том, что его состояние – последнее на Земле и первое в ином существовании, и для этого нового существования человек – ребенок, делающий свои первые шаги. Итак, человек одновременно представляет два мира, и отсюда явная двойственность его существа.

2. Сразу же ясно, какая часть должна господствовать у большинства людей на Земле. Большинство людей – животные, они принесли с собой только способность к человечности, и ее только нужно воспитывать, воспитывать с усердием и трудами. А как мало людей, в ком подобающим образом воспитана человечность! И у самых лучших – как нежен, как хрупок этот взращенный в них божественный цветок! Животное в человеке всю жизнь жаждет управлять человеком, и большинство людей с готовностью уступают ему. Животное не перестает тянуть человека к земле, когда дух возносит его, когда сердце его хочет выйти на вольные просторы, а поскольку для чувственного существа близкое сильнее дальнего и зримое мощнее незримого, то нетрудно заключить, какая чаша весов перевесит. Человек не умеет радоваться чистой радостью и плохо приспособлен к чистому познанию и чистой добродетели! А если бы был приспособлен, – как мало привык он ко всей этой чистоте! Самые благородные союзы разрушаются низменными влечениями, как морское

странствие жизни нарушают противные ветры, и творец, милосердный и строгий, соединил ту и другую напасть, чтобы одно укрощало другое и чтобы побег бессмертия воспитывался в нас не столько нежными западными ветерками, сколько суровыми ветрами севера. Кто испытал многое, многому научился; ленивый и праздный не знает, что скрыто в нем, и тем более не знает, что может и на что способен, и никогда не чувствовал радости от своих дел. Жизнь – это борьба, а цветок чистого, бессмертного духа гуманности – венец, который нелегко завоевать. Бегуна ждет в конце цель, но борца за добродетель – венок в минуту его смерти.

3. Итак, высшие существа могут смотреть на нас как на *среднюю породу,* как на переход от одной стихии к другой. Страус вяло машет крыльями и не может лететь, а только бежит, потому что тяжелое тело тянет его к земле. Но о нем, как и обо всех переходных существах, позаботилась природа, создавая органический строй существ, – и они сами по себе совершенны и только нашему взору представляются уродливыми. Такова и человеческая натура: ее уродливость трудно заметить земному духу, но дух высший, который проникает в глубь вещей и видит сразу несколько звеньев цепи, существующих одно ради другого, может отнестись к нам с состраданием, но не станет презирать нас. Ему видно, почему столь по-разному покидают люди этот мир: и в молодости, и в старости, и глупцами, и стариками, впавшими в детство, и не родившись на свет. Всесильное благо все объемлет: и безумие, и уродство, и все ступени культуры, и все заблуждения человечества, у природы есть бальзам, чтобы исцелить и те раны, которые лечит только смерть. А поскольку грядущая жизнь, по всей вероятности, произрастает из жизни земной, как наша жизнь из жизни более низких органических существ, то, несомненно, и функция смерти более тесно связана с нашим теперешним существованием, чем мы себе представляем. В высшем вертограде расцветают цветы, которые первые побеги свои пустили на земле, под тяжелым покровом ее. Если, как видели мы, общение, дружба, деятельное участие – главная цель, какую преследует гуманный дух в течение всей истории человечества, то этот прекраснейший цветок без сомнения явится в мире ином в усладительном облике и дорастет до такой высоты, чтобы принять под сень свою все кругом, – напрасно жаждет этого наше сердце, пока оно занято земными связями и отношениями. Братья наши, стоящие на высшей ступени развития, еще больше и еще чище любят нас за это, и сами мы не можем любить их так, как они, потому что они яснее видят, в каком состоянии мы живем; мгновения времени для них уж позади, все дисгармонии разрешены, и они, кто знает, может быть, незримо воспитывают в нас своих братьев, помощников своих дел, приобщенных к их счастью. Шаг вперед – и свободнее вздохнет стесненный дух, и исцелится раненое сердце; и вот они видят, что пора шагнуть вперед, и своею мощною дланью поддерживают человека и переводят его в мир иной.

4. Вот почему я не могу представить себе, чтобы грядущая жизнь была столь далека и неприступна для земного существования, как угодно думать животному в человеке; ведь человек – существо среднее, соединяющее два класса существ, он причастен к тому и другому, а потому в истории нашего человеческого рода, как кажется мне, мы найдем много событий и достижений, которые необъяснимы без высшего вмешательства. Так, мне непонятно, как человек сам мог пойти по пути культуры и изобрести язык и первые науки, если им не руководила высшая сила, и это тем более непонятно, если, как поступают многие, предположить, что человек довольно долго жил в грубом животном состоянии. Несомненно, что божественная сила с самого начала распорядилась человеческим родом и сразу повела его по положенному пути. А чем более упражнялись силы человека, тем менее нуждались они в подмоге свыше и притом даже утрачивали способность принимать ее, хотя нужно сказать, что и в более поздние времена на Земле происходили величайшие события, которые совершались необъяснимым образом или сопровождались необъяснимыми обстоятельствами. Даже болезни нередко были орудиями таких событий, потому что если нарушены пропорции организма и один из органов выпадает из сложившихся отношений и уже не годится для обычного круга земной жизни, то вполне естественно, что внутренне присущая ему беспокойная сила бросается к иным сторонам мироздания и оттуда воспринимает такие впечатления, каких здоровый организм не мог усвоить, ибо не испытывал в них потребности. Но как бы то ни было, некая благодетельная занавесь разделяет оба мира, и не без причины тишиной и молчанием окружены могилы. Обычный человек, живущий своею обыденной жизнью, далек от впечатлений, каждое из которых потрясло бы весь круг его представлений и погубило бы его для здешней земной жизни. И человек, созданный для свободы, должен был стать не бездумным подражателем высших существ, не обезьяной, а и там, где высшая сила руководит им, должен был предаваться счастливой иллюзии, будто действует по собственной воле, самостоятельно. И чтобы успокоить его душу, чтобы оставить ему ту благородную гордость, на которой держится исполнение им своего предназначения, человек лишен был созерцания высших существ; если бы мы узнали их, то, наверное, стали бы презирать самих себя. Итак, человек должен проникать верой, а не взглядом грядущую свою жизнь.

5. Одно очевидно: в каждой из сил заключена бесконечность, которая на Земле не может быть вполне развита, потому что подавляется другими силами, чувствами и влечениями животного и как бы заключена в оковы, чтобы быть соразмерной всему земному. Примеры необычайной памяти, воображения, даже предсказаний и предчувствий открыли чудеса, таящиеся в душах людей, и чувства не представляют тут исключения. Что обычно не что иное, как болезни и недоразвитость в ином, противоположном, приоткрывали нам такие сокровища души, ничего

не меняет по существу, потому что именно и требовалась диспропорция, чтобы высвободить в организме *один вес* и показать всю мощь его. Быть может, некая гораздо более глубокая истина заключена в словах Лейбница о том, что душа – зеркало мироздания[9], и значат они не то, что обычно выводят из них, а то, что силы всего мироздания таятся в душе человека и требуется только соответствующее органическое строение или целый ряд организмов, чтобы силы эти проявили себя на деле. Всеблагой не откажет душе в таких строях, он водит душу на помочах, как ребенка, только чтобы постепенно приучить ее к жизненной полноте, оставляя ей иллюзию, будто сама она приобрела все свои силы и чувства. Уже и теперь, когда душа стеснена оковами, *пространство* и *время* – пустые для нее слова, они определяют и измеряют внешние отношения тела, а не внутренние возможности души, преодолевающей пространство и время, когда душа творит и полна внутренней радости. Итак, не заботься, когда пробьет час грядущей жизни; солнце светит дням твоей жизни, оно отмеряет тебе твое жилище и круг твоих земных дел, оно и погружает во тьму все небесные светила. А как только зайдет солнце, величественнее облик мира: священная Ночь – в лоне ее пребывал ты и в лоно ее вернешься – тенями застилает Землю, но раскрывает на небесах сияющие книги бессмертия. Вот жилища, миры и просторы[10]:

Они блистают новизной,/Хотя прошли тысячелетья;/Ни стужа и ни летний зной/Не скроют лик их светлый./А здесь, куда ни кинешь взор,/Все тлеет, иссякает, тает;/Довольство дола, гордость гор – /Все гибель ожидает.

Земли не будет, а ты будешь, и в иных жилищах и в иных органических строях насладишься *Богом* и творением его. Ты на Земле видел много доброго. Ты обрел на Земле такое органическое строение, что стал сыном неба, и научился смотреть вокруг себя, и научился заглядывать ввысь. Стремись оставить Землю довольным, благослови юдоль, где играл ты, дитя бессмертия, благослови школу, где радости и страдания воспитали в тебе мужа. У тебя нет прав на нее, у Земли нет прав на тебя; увенчанный шапкой свободы, препоясанный поясом неба, счастливо продолжай свой страннический путь.

Цветок замыкал царство подземного, еще не одушевленного творения; поднявшись от земли, он в лучах солнца наслаждался первозданной жизнью; так и человек: он стоит во весь свой рост, поднявшись над согбенными к земле существами, он возвысил взор и воздел руки, он – сын и ждет, когда призовет его Отец.

Часть вторая

Homo sum, humani nihil a me alienum esse puto.

Terent

Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо.

Теренций[1]

Книга шестая

В предыдущем изложении мы рассматривали землю как местожительство человеческого рода вообще, а затем попытались установить место, которое занимает человек в ряду живущих на ней существ. Рассмотрим же теперь, коль скоро идею человеческого естества мы уже установили, те различные природные условия, в которых выступает человек на этом театре действий.

Но кто же даст нам руководящую нить, чтобы мы могли идти по этому лабиринту? По чьим стопам последуем мы? По крайней мере, обманчивый пышный наряд ложного всезнания не будет скрывать недостатки, неизбежные для историографа человечества, а тем более для философа человеческой истории, ибо лишь Дух рода человеческого способен охватить всю его историю в целом. Начнем с различий в органическом строении народов, – если не по какой другой причине, то потому, что даже в учебниках естественной истории уже отмечают теперь такие различия.

I. Органическое строение народов, живущих вблизи Северного полюса

Еще ни одному мореплавателю не удалось стоять* на оси нашего земного шара, что, может быть, позволило бы ему сообщить нам дополнительные сведения о его строении; однако мы все же оставили далеко позади себя населенную землю и описывали края, которые можно было бы назвать ледяным троном Природы, голым и холодным. Здесь люди увидели чудеса, в которые никогда не поверил бы житель экватора, чудовищные нагромождения прекрасно расцвеченных льдов, величественное северное сияние, когда воздух чудесным образом обманывает наше зрение, теплые расщелины в земле, когда вокруг царит ужасный холод**. Как кажется, гранит отвесных растрескавшихся скал заходит здесь в более высокие широты,

---

* Известно, какие надежды питает на этот счет наш соотечественник Самуэль Энгель[2], а возможность побывать на Северном полюсе кажется уже не столь невероятной после путешествия на Север Пажеса[3].

** «Путешествия» Фиппса, «История Гренландии» Кранца[4] и др.

чем близ Южного полюса, – ведь и вообще пригодная для жизни земля в основном приходится на Северное полушарие. А поскольку в море жили первые живые существа и теперь еще Северный океан скрывает в себе страшное количество обитателей, его можно назвать материнской утробой жизни, а берега его можно рассматривать как край, с которого начинается развитие живых существ земли – мхов, насекомых, червей. Морские птицы взмахами крыльев приветствуют сушу, где мало своих пернатых, на землю выходят из океана морские животные, амфибии, чтобы согреть свое тело редкими в эти широтах лучами солнца. Вода кишит живыми существами, но мы стоим словно на грани живого творения земли.

А как же человеческий организм мог сохраниться вблизи этой границы? Единственно, чего мог добиться холод, – это как-то сдавить человеческое тело, сузить кровообращение. Гренландцы обычно ниже пяти футов, а братья их эскимосы тем меньше ростом, чем дальше живут на север*. Но поскольку жизненная сила действует изнутри, то она теплой и упорной выносливостью плотно сбитого тела возместила то, что не могла дать росту и стройности. Голова гренландца стала непропорционально большой, лицо – широким и плоским; природа, которая рождает красоту, лишь умеряя и уравновешивая крайности, еще не умела очертить нежный овал лица и не дала выступить вперед, если так можно сказать, коромыслу весов – носу, этой красе лица. Скулы заняли почти все лицо, а рот от этого стал маленьким и круглым; волосы – упрямые, потому что недостает тонких соков, которые поднимались бы кверху и растили мягкие, шелковистые волосы; в глазах не видно души. Точно так же сформировались широкие плечи, сильные члены тела, все тело мясистое, насыщенное кровью; но руки и ступни – мягкие, слабые, как бы отростки, оконечности всего телесного строения. Как с внешним обликом, все точно так же происходит и с энергией, возбудимостью жизненных соков. Кровь течет медленнее, сердце бьется более вяло, потому и половой инстинкт выражен слабее, тогда как вместе с теплом он, в других странах, чудовищно возрастает. Поздно просыпается половое влечение, холостые живут целомудренно, а женщин приходится почти заставлять вступать в тяжкий брак. Они рождают мало, и плодовитых, похотливых европейцев сравнивают с собаками. И в браке, и во всем их образе жизни царит какой-то кроткий нрав, аффекты они упорно сдерживают. Не чувствуя тех раздражений, что более подвижные и энергичные, рождаемые теплым климатом существа, они живут и умирают кротко и мирно; равнодушно-довольные всем, они и трудятся, чтобы только-только удовлетворить малые потребности. Отец воспитывает сына сдержанно-равнодушно, ибо такая сдержанность и равнодушие считается у них добродетелью и счастьем, мать кормит дитя грудью долго, с глубокой, упорной привязанностью самки. Если природа отказала им в

* Кранц, Эллис, Эгеде, «Сообщение о побережье Лабрадора» Роджера Кёртиса[5].

возбудимости и гибкости нервов, то она придала им силу и выносливость, окружила тела их греющим слоем жира, наделила полнокровием, так что в закрытом помещении само дыхание их жарко и душно.

Думаю, всякий заметит все ту же руку творящей природы, которая всему придает органический строй и во всех творениях своих творит равномерно и одинаково. Если в тех краях человек отстает в росте, то еще больше отстает растительность: деревца растут маленькие, кустарники и мох ползут по земле. Даже измерительный брусок, окованный железом, стал короче на холоде, – как же не сократиться тонким тканям человеческого тела? При том, что внутри их живет органическая энергия. Но жизненную энергию можно только оттеснить, можно только замкнуть ее в более тесном кругу тела, – и вновь аналогия действию климата на все органические существа. Ласты морских животных, конечности других живущих в холодных странах живых существ – маленькие и нежные: насколько это возможно, природа стремилась все удержать в области внутреннего тепла; птицы одеты в плотные перья, тела зверей окружены жиром, как и человек – греющей, насыщенной кровью оболочкой. Уже внешне природа должна была лишить их всего того, что вредило бы подобной комплекции, и тут природа следовала прежнему принципу строения органических тел. Есть острое значило бы для них казнить свое тело, склонное к внутреннему гниению, – ведь у столь многих из них отняла жизнь «бешеная вода» – водка. Итак, всего этого лишил их климат; в этих скудных местах, при их любви к покою, которой благоприятствует внутреннее строение тела, климат заставляет их трудиться, заставляет упражнять тело, а все их законы и обычаи требуют именно таких упражнений. Трава, которая растет здесь, очищает кровь, а именно в этом они испытывают потребность; воздух содержит мало флогистона*, а потому препятствует гниению мертвых тел и способствует долгой жизни. Сухой холод не терпит ядовитых веществ, а от надоедливых насекомых хранят бесчувственность, дым и долгая зима. Так природа возмещает одно другим и гармонически творит во всем созидаемом ею.

После описания этого народа нам не нужно подолгу останавливаться на каждом родственном ему. Американские эскимосы по нравам и языку – братья гренландцев. Однако поскольку безбородые американцы вытеснили на Крайний Север этих несчастных, этих бородатых чужаков, то жить им еще тяжелее, им приходится терпеть больше лишений, и – о жестокая судьба! – зимой, скрываясь в пещерах, им нередко случается питаться собственной кровью, высасывая ее из тела**. Здесь и в неко-

---

* «Наблюдения о влиянии климата на растения и животных» Вильсона[6]. Лейпциг, 1781; «История Гренландии» Кранца. Т. II. С. 275.

** См. «Сообщение о побережье Лабрадора» Роджера Кёртиса в «Трудах по этно- и географии» Форстера и Шпренгеля.

торых других местах Земли восседает на самом высоком своем троне жестокая необходимость, так что человек живет почти как медведь. И все ж он остается человеком, и даже в кажущихся совсем не человеческими чертах, если рассмотреть их повнимательнее, становится зримой человечность. Природа хотела испытать, вынесет ли род человеческий подобные тягости, и человек выдержал испытание.

Лапландцы живут уже в относительно более мягких областях, и они – народ более мягкий*. Человек здесь уже повыше ростом, лицо не такое плоское и круглое, скулы не так выступают вперед, глаза становятся темно-карими, торчавшие во все стороны черные волосы – теперь темно-рыжие; вместе с внешним строением тела и внутренний организм человека отходит от прежнего оцепенения, как бутон, раскрывающийся в лучах более теплого солнца**. Лапландец уже пасет своих горных оленей, чего не дано было ни гренландцу, ни эскимосу; олень дает ему пищу и кров, одежду, одеяла, удобства, удовольствия, тогда как гренландцу, живущему на краю земли, приходилось почти все добывать в море. Итак, у человека уже есть животное – друг и слуга, и благодаря этому животному человек учится искусствам, учится жить уютнее, удобнее. Ноги привыкают к бегу, руки – к управлению санями, душа начинает любить собственность, свое более прочное достояние, а это приучает любить свободу, приучает слух постоянно быть начеку, – подобную постоянную настороженность замечаем мы у многих народов, живущих в сходных условиях. Как и его олень, лапландец робко вслушивается в тишину и вздрагивает от любого шороха. Он любит свою жизнь, как и олень, он смотрит в сторону гор, когда из-за них должно взойти Солнце, возвращающееся на лето; он разговаривает с оленем и понимает его; он заботится о нем как о своем богатстве и о своей челяди. Вместе с первым одомашненным животным, которое природа могла дать этим местам, она в руки человека дала и средство – оно ведет его к более человечному образу жизни.

Что касается народов, живущих на побережье Ледовитого океана на широких просторах Российской империи, то помимо множества новых, всем хорошо известных описаний путешествий у нас есть собрание картин, а взгляд на них говорит больше, чем могу передать я своими словами***. Как бы ни смешались друг с другом многие из этих народов, как бы ни оттеснены они были с нажитых мест, мы видим, что, несмотря на всю разницу в происхождении, иго северного строения тела как бы подмяло их под себя и приковало все к той же полярной

---

* Как известно, Шайновиц установил, что лапландский язык схож с венгерским. См.: Sainovicii demonstratio, idioma Ungarorum et Lapponorum idem esse. Havniae, 1770.

** О лапландцах см. Хёхстрёма, Леема, Клингштедта, «Описание народов Российской империи» Георги[7] и др.

*** «Описание народов Российской империи» Георги. Петербург, 1776.

цепи. У самоеда лицо круглое, широкое, плоское, волосы черные, топорщащиеся, приземистая фигура, полнокровное тело, губы толще, нос шире, ноздри вывернуты, борода меньше, а к востоку на всей этой обширной территории она еще меньше. Итак, самоед – это как бы негр среди народов Севера, и еще более похож он на негра– несмотря на свой холодный край – тем, что легко возбудим, так что самоедки созревают уже на одиннадцатом, двенадцатом году*; кроме того, если только это правда, груди у них окружены черной полосой. Однако, несмотря на восприимчивость и вспыльчивость, эти черты национального характера, с которыми даже климат бессилен был что-либо поделать, самоед по своему телосложению – все же житель Севера. Тунгусы**, живущие южнее, уже больше напоминают монгольскую расу, но по языку и племени так же отличаются от них, как самоед и остяк от лапландца и гренландца; у них высокий рост, стройное тело, глаза по-монгольски маленькие, тонкие губы, более мягкие волосы, но лицо еще остается плоским, как у северян. То же можно сказать и о якутах и юкагирах, которые переходят в татарскую расу, как тунгусы – в монгольскую. Но то же и сами монголы – если они живут в умеренном климате, у Черного и Каспийского морей, на Кавказе и Урале, то и они становятся красивее. Фигура – более стройная, подтянутая, форма головы уже не круглая, неуклюжая, а овальная и красивая; кожа очищается, выступает вперед тонкий и правильной формы нос, глаза – живее, волосы – темно-каштановые, походка бодрая, выражение лица приятно скромное и робкое. Значит, чем ближе к областям, в которых природа все полнее является в живых существах, тем пропорциональнее, тем тоньше строение человека. Чем севернее, чем дальше в глубь калмыцких степей, тем более плоски и дики черты лица – на северный или на калмыцкий лад. Впрочем, многое зависит от образа жизни, который ведет племя, от почвы, на которой оно живет, от происхождения, от смешения с другими народами. У горных татар черты лица выражены резче, чем у степных и низинных. У народов, живущих в городах и селах, и нравы, и черты лица смягчаются и смешиваются. Если не вытеснить народ с нажитых мест, то он сохранит свое органическое строение, тем более будет привержен своему простому, невзыскательному образу жизни. Но, конечно, коль скоро на огромной, населенной татарами равнине, постепенно спускающейся к морю, происходило множество переворотов, переселений, набегов и напутали они больше, чем могли разделить горы, пустыни и реки, то отметим мы и исключения из правила; но тогда исключения

---

* См. Клингштедта («Mémoires sur les Samojedes et sur les Lappons»).

** Обо всех этих народностях см. «Описание народов Российской империи» Георги, Палласа, «Путешествия» Гмелина-Старшего[8]. Из «Путешествий» Палласа и замечаний Георги сделаны извлечения, изданные под заглавием «Характерные особенности разных народов» (Франкфурт и Лейпциг, 1773–1777)[9].

такие подтвердят правило, ибо вообще все поделено между северным, татарским и монгольским типом.

II. Органическое строение народов, живущих близ горных хребтов Азии

Многие весьма вероятные предположения подсказывают нам, что человеческий род впервые расселился вблизи горных хребтов Азии, но тогда можно думать, что мы найдем тут самую красивую породу людей, однако как обманут нас ожидания! Каково телосложение калмыков и монголов, всем известно: при среднем росте – плоское лицо или хотя бы приметы плоского лица, затем – редкая бороденка, коричневый цвет лица – обычный для северного климата, а при этом еще раскосые глаза, узкие, почти прямые, черные брови, маленький плоский нос, слишком широкий корень носа, большие оттопыренные уши, кривые бедра, ноги, белые сильные челюсти* – все эти черты, все строение лица словно рисуют нам хищного зверя среди людей. Откуда взялось такое строение? Вывернутые колени и кривые ноги легче всего объясняются образом жизни монголов: они с детства ползают по земле и сидят на лошадях; вся их жизнь делится между двумя занятиями – они сидят или ездят, а единственная поза, которая придает красоту ступне, им вообще неведома, потому что они почти не ходят. Может быть, и еще в чем-то сказывается в строении тела их образ жизни? Оттопыренные уши зверя, прислушивающегося ко всякому шороху, маленькие острые глазки, что заметят издали любой дымок и вздымающуюся пыль, оскаленные зубы, гложущие кость, толстая шея, откинутая назад голова – разве все это не запечатлевшиеся черты, жесты, сопровождающие всю их жизнь? Прибавим еще, что, по словам Палласа, лица детей лет до десяти безобразно надуты, одутловаты, вообще какохимического[11] вида и только с возрастом приобретают более правильные черты; заметим, что на значительном протяжении в их области не бывает дождя и почти совсем нет воды, тем более чистой, так что умываться – почти неведомое им занятие; вспомним о соленых озерах, солончаках, о соленых болотах, на которых они живут, так что привкус калийной соли нравится им даже в пище и в чае, который они выпивают в огромном количестве, вредя этим своему пищеварению; прибавим сюда более разреженный воздух горных равнин, суховеи, испарения солей, долгую зиму среди снегов и в дыму их лачуг и еще ряд менее значительных обстоятельств – что

* «Собрания о монгольских народностях» Палласа. Т. I. С. 98, 171 и т.д.; «Описание народов Российской империи» Георги. Т. IV. Петербург, 1780; «Сообщение об аюкских калмыках» в «Собрании по русской истории» Мюллера. Т. IV. Ч. 4; извлечения Шлёцера из «Memorabilia Rossico-Asiatica» Шобера, опубликованные в «Собрании» Мюллера. Т. VII. Ч. 1 и т.д.[10]

ж, разве не вероятно, чтобы из всех этих условий тысячи лет тому назад, когда некоторые причины, возможно, действовали еще сильнее, именно и возникло их органическое строение и стало передаваться по наследству? Ничто не освежает тело, ничто не укрепляет и ничто не заряжает его энергией так, как купание, особенно если оно сопряжено с ходьбой, бегом, борьбой и другими физическими упражнениями. И ничто не ослабляет тело так, как теплое пойло, которое тянут они, не зная меры, да еще приправляют его вяжущими калийными солями. Вот откуда берется, как заметил уже Паллас, слабый, женственный торс монголов и бурятов, – пятеро, шестеро их, напрягая все свои силы, не могут сделать того, что может один русский, вот почему тело у них такое легкое, что на своих маленьких лошадках они словно летят и парят, а не едут, вот откуда, наконец, и какохимический вид, передаваемый детям. Даже и некоторые граничащие с монголами татарские племена рождаются с монгольскими чертами лица, но только эти черты с возрастом стираются, поэтому некоторые причины, видимо, объясняются климатическими условиями, которые благодаря образу жизни и происхождению как бы привиты телосложению народа и передаются по наследству. Когда смешивается русская или татарская кровь с монгольской, то, как утверждают, рождаются красивые дети, и среди монголов тоже будто бы встречаются стройные и пропорциональные фигуры, хотя и в монгольском духе*. И здесь природа, создавая органическое строение человека, оставалась верной сама себе: под таким небом, в этих широтах, при таком образе жизни кочевые народы и могли становиться только подобными хищным ястребам.

И монгольские черты широко распространены по земле, – куда не залетали эти хищные птицы? Не раз парили над разными странами света их победные косяки. Во многих странах Азии селились монголы, и тогда их телосложение было облагорожено чертами других народов. Но еще прежде таких потопов и наводнений, в седой древности, монголы начали переселяться с давно обжитого высочайшего горного хребта на окрестные земли. Может быть, именно поэтому повсюду на Востоке, от камчадалов на Севере и до Тибета на Юге, вдоль полуострова по ту сторону Ганга можно встретить черты монгольского строения. Поглядим и на эту область земли, которая явит нам немало странного.

Китайцы мудрят над своим телом, а все, что они выдумывают, касается именно монгольских черт. У монголов мы видели безобразные, бесформенные ступни и уши. По-видимому, такого рода уродливость в условиях ложной культуры и послужила поводом для того, чтобы противоестественно запирать ступню в тиски, вывертывать уши, – все это обычно для многих людей, живущих в тех краях. Люди стыдились

* Паллас в «Собраниях по истории монгольских народностей». Т. 1. С. 99 и «Путешествиях». Т. 1. С. 308 сл.

своего безобразия и хотели исправить свои недостатки, но получилось так, что податливые члены тела стали наследовать то наибезобразнейшее изящество, которого от них успешно добивались. Китайцам, при всех различиях между их провинциями и в образе жизни, присущи черты восточного типа, те самые, что на монгольских нагорьях просто сильнее бросаются в глаза. Широкие лица, маленькие черные глазки, курносый нос, жиденькая бородка – все эти черты под влиянием сурового климата смягчились, и китайский вкус, как представляется, всего лишь следствие дурно устроенных органов тела; точно так, как форма правления китайцев, самая их мудрость влекут за собой варварство и деспотизм. Японцы, народ китайской культуры и, по всей видимости, монгольского происхождения*, почти всегда малорослы, с большими головами, маленькими глазками, курносыми носами, плоскими скулами, почти без бороды, обычно кривоногие. Форма правления японцев, их жизненная философия – все это пропитано насилием и принуждением, лишь приспособленными к условиям их страны. Иной, в отличие от Китая и Японии, деспотизм царит на Тибете, и тибетский культ широко распространяется по варварским степям к северу от Тибета.

Вместе с горными хребтами восточный тип** спускается к югу, на полуостров, на земли по ту сторону Ганга, где, видимо, и народы двигались на юг вдоль горных хребтов. Для народов Ассамского королевства характерны зоб и плоские носы, – если только можно доверять сообщениям путешественников***. Вот приметы варварства, присущие некультурному народу: уши оттянуты безобразными украшениями, грубая пища, отсутствие одежды****. Те же самые уродства восточных земель у арраканов[14] – широкие ноздри, плоские лбы, маленькие глазки, уши, вытянутые до плеч. Бирманцы в Аве и Пегу[15] не терпят бород и выдирают их до последнего волоска, как тибетцы и другие живущие на севере народы, и даже изобильная природа этих мест не может отучить их от татарской безбородости. Все эти же черты, с различиями в зависимости от климата и народности, прослеживаются и дальше на юг, на островах*****.

---

* «Всеобщее собрание путешествий»[12]. Т. II. С. 595; *Шарлевуа.* О китайцах. См. «Путешествие в Сурате и Китай» Олофа Торее. С. 68; «Всеобщие путешествия». Т. VI. С. 130.

** Судя по прежним описаниям, жители Тибета безобразны. См. «Всеобщие путешествия». Т. VII. С. 382. Новые описания (Паллас, «Северные труды»[13]. Т. IV. С. 280) такое суждение смягчают, причем и географическое положение Тибета подсказывает правомерность такого смягчения. Вероятно, тибетцы представляют собой отдаленный переход к индостанскому типу.

*** Тавернье в «Собрании путешествий». Т. X. С. 557.

**** Овингтон в «Собрании путешествий». Т. X. С. 67.

***** «Описание Суматры» Марсдена[16]. С. 62; «Собрание путешествий». Т. II. С. 487 и др.

И то же самое – на Север, вплоть до коряков и камчадалов на краю восточного мира. Язык камчадалов, как утверждают, имеет что-то общее с китайско-монгольским языком, хотя эти народы уже в древности были изолированы друг от друга, и камчадалы до недавнего прошлого не знали железа; их строение выдает их происхождение*. Волосы – черные, широкие и плоские лица, сплющенный нос, далеко запрятанные глаза, а характер их, на первый взгляд не соответствующий холодному неприютному климату их мест, все же, как видно, не представляет собой исключения из правила. Далее, коряки, чукчи, курилы и обитатели других лежащих к востоку островов** постепенно переходят в американский тип; когда мы познакомимся с северо-западными оконечностями Нового света, до сих пор неизвестными, когда мы узнаем внутренние земли Йедзо[17] и большие пространства земли к северу от Новой Мексики – все это пока белые пятна на карте, как и внутренняя Африка, – то, как мне кажется, особенно если полагаться на результаты последнего путешествия Кука, все очевидные оттенки будут незаметно переходить друг от друга и теряться***.

Вот какие огромные пространства земли заняты восточным типом, во многих местах, правда, сильно искаженным, но почти всегда сохраняющим присущую ему безбородость; однако многообразные языки и нравы народов говорят о том, что происходят они не от одного племени. Что же за причина порождает этот тип? Что заставляет столь разные народы воевать с бородами, вытягивать уши, протыкать носы и губы? Как мне кажется, в основе всего лежит прирожденное безобразие, которое призвало себе на помощь варварское искусство и, наконец, превратилось постепенно в обычай предков. У животных появление нового вида заявляет о себе сначала в изменении волос и ушей, в форме ног, меняется остов лица – профиль, только затем изменения захватывают и все тело в целом. Мы узнаем об этом больше, когда изучена будет генеалогия народов, условия отдаленных стран и земель и, главное, различия во внутреннем физиологическом устройстве разных племен. И не первым ли даст нам такой spicilegium anthropologicum****[20] опытный в науках и народоведении Паллас?

---

* «Описание народов Российской империи» Георги. Т. III.

** Штеллер в «Собрании путешествий». Т. XX. С. 289.

*** «Рассказ о третьем путешествии Кука» Эллиса. С. 114; «Дневник открытий» в переводе Форстера[18]. С. 231. Следует сравнить с этими описаниями прежние сведения об островах, расположенных между Азией и Америкой. См. «Новое сообщение о новооткрытых островах». Гамбург и Лейпциг, 1776, сообщения в «Северных трудах» Палласа, «Русских собраниях» Мюллера, «Трудах по этно- и географии»[19] и т.д.

**** Антропологический каталог (*лат.*).

III. Органическое строение в областях, где живут изящно сложенные народы

В самом чреве величайших на Земле гор лежит королевство Кашмир, скрытое от глаз людских, словно рай земной. Плодородные прекрасные холмы окружены горами, которые поднимаются все выше и выше к небу, и самые высокие из них, вечно покрытые снегом, теряются в облаках. Тут текут прекрасные ручьи, реки, на почве произрастают лечебные травы и питательные плоды, острова, сады утопают в услаждающей душу зелени, пастбищам нет конца, а ядовитые, хищные звери изгнаны из этого земного рая. Как говорит Бернье, горы эти можно было бы именовать горами невинности, молочные реки с кисельными берегами протекают тут, а племя людское ни в чем не уступает природе. Кашмирцев считают самыми остроумными, самыми мудрыми из индийских народностей – в поэзии и науке, в художествах и ремеслах они равно ловки и умелы; они самые стройные и красивые люди на земле, а женщины-кашмирки – нередко сам идеал красоты*.

* * *

Как счастлив был бы Индостан, если бы люди не соединили свои усилия для того, чтобы разорять и опустошать сад природы, для того, чтобы мучить невиннейших из людей, какие только есть на земном шаре, обрекая их на суеверие и тяжкий гнет. Нет племени более кроткого, чем индусы. Живое существо не обидят они, ибо чтут все живое, и питаются они невиннейшей пищей – молоком, рисом, плодами дерев, лечебными травами, растущими на почве их родной земли. «У них прямая, стройная, изящная фигура, – пишет недавний путешественник**, – члены тела пропорциональны, у них длинные и чуткие пальцы, открытое и приветливое лицо, и черты лиц у женщин нежные и красивые, у мужчин – мужественно-кроткие. Походка их, вся осанка – изящная, приятная». Ноги, бедра, которые в северо-восточных землях всегда уродливы, по-обезьяньи укорочены, теперь удлиняются и выражают цветущую человеческую красоту. Даже монгольский тип, сочетаясь с этим племенем людским, приобретал черты человеческого достоинства и дружелюбия. Но каков облик тела, таков у них и первоначальный облик души, таков, можно сказать и образ их жизни, если только отвлечься от гнета суеверия и рабства. Трудятся и наслаждаются они с умеренностью и спокойствием, проявляя кроткое чувство и невозмутимую глубину души, – таковы и их нравы и обычаи, таковы их мифология, искусства и таково даже их долготерпение, ибо несут они тягчайшее ярмо, от какого когда-либо

---

* Бернье во «Всеобщем описании путешествий». Т. II. С. 116–117.

** Макинтош, «Travels»[21]. Vol. I. P. 321.

страдало человечество. О счастливые агнцы, почему на лугу, отведенном вам природой, не пастись вам безмятежно и беззаботно?

* * *

Древние персы были безобразным горным народом, о чем свидетельствуют оставшиеся из них – гауры*. Но поскольку ни одна азиатская страна не переживала столько нашествий, сколько Персия, к тому же расположенная под боком у прекрасно сложенных народов, то и здесь постепенно образовался такой тип, который соединяет в себе достоинство и красоту – особенно у более благородных персов. Здесь – Черкесия, родина красоты, а по другую сторону Каспийского моря живут татарские племена; в условиях прекрасного климата они стали стройней; постепенно они распространились и к югу. Справа – Индия; индуски и черкешенки облагородили персидскую кровь. Нрав персов тоже сообразовался с духом этих мест, где облагораживался род людской; если есть черты, способные привести в равновесие влечения души и весь человеческий характер, то это, должно быть, и есть тот самый живой и проницательный ум персов, стремительная, неукротимая фантазия, свойственная им, а при всем том и угодливость их, учтивость, пустое тщеславие, склоннось к роскоши, ко всяким радостям жизни и даже к романтической любви. Вместо варварских украшений, которыми уродливые народы прикрывают уродливость своих тел, только умножая и усиливая ее, в Персии появились изящные обычаи, подчеркивающие стройность и красоту тела. Монгол, вынужденный обходиться без воды, нечистоплотен; мягкотелый индиец не выходит из воды, перс натирается мазями. Монгол сидит на корточках и не слезает с лошади, кроткий индиец покоится на мягком ложе, романтический перс делит свой досуг между играми и развлечениями. Перс красит брови, в своих одеждах он кажется выше ростом. Какая стройность! Кроткое равновесие склонностей, влечений, душевных энергий, – почему не могли они достаться в удел всем живущим на земном шаре?

* * *

Мы уже замечали выше, что некоторые из татарских племен первоначально относились к числу красиво сложенных народов, населяющих землю, и только со временем одичали, переселившись в суровые северные земли и в бескрайние степи; прежнее изящное телосложение мы видим у живущих на берегах Каспийского моря племен. Узбечек рисуют

---

* Шарден, «Voyages en Perse»[22]. Т. III. Гл. II и сл. В «Voyages en Perse» Лебрена[23]. Т. I. Гл. 42, № 86–88, изображены персы, которых можно сравнивать с чернокожими (№ 89–90), с грубыми самоедами (гл. 2, № 7–8), дикими южными неграми (№ 197) и кроткими бенджачами (№ 109).

крупными, стройными, с приятными чертами лица*, они идут в бой вместе с мужьями; у них большие черные живые глаза, – так говорит описание, – волосы тонкие, черные; у мужчин важный вид, какое-то особое достоинство. За то же хвалят бухар, а черкешенок все знают и все превозносят** за их красоту, за черный шелк тонких бровей, за черные глаза, в которых горит огонь, за гладкий лоб, маленький рот, округлость лица. Прямо кажется, что стрелка весов человеческого телосложения замерла тут на середине, и на одной чаше весов – Греция, а на другой – Индия, Запад и Восток. Счастье, что Европа была не очень удалена от этого средоточия красивых форм, что многие из населивших Европу народов в разное время или жили в областях между Черным и Каспийским морями, или же медленно прошли по этим землям. По крайней мере, европейцы – отнюдь не антиподы тамошних мест.

Итак, у всех народов, которые жили в этих местах, которые теснились на этой земле, прославившейся красотою лиц, черты лица смягчились. Турки сначала были безобразным народом, но они облагородились, стали более высокими и стройными; они, победившие столько стран, могли воспользоваться прелестью соседствующих с ними племен; кроме того, красоте способствовали заповеди Корана, потому что Коран предписывал умываться, содержать тело в чистоте, соблюдать умеренность, а в то же время дозволял любовные утехи и сладострастный покой. Предки евреев тоже спустились с этих азиатских гор и долгое время кочевали то по скудным землям Египта, то по Аравийской пустыне, куда забрасывала их судьба, – хотя в своей тесной стране, притесняемые немилосердным законом, они и не могли достичь идеала, который требует свободной деятельности и жизненных наслаждений, все же они до сих пор сохраняют печать азиатского типа, телосложения, будучи рассеяны по всей земле, долгое время всеми отвергаемые и унижаемые. И суровые арабы тоже не приходят с пустыми руками: их полуострову природой назначено быть страной вольности, а не страной красоты, пустыня и кочевая жизнь – не лучшие воспитатели стройности, красоты, и однако этот закаленный и храбрый народ красив и хорошо сложен; а как повлиял он впоследствии на три части света, мы узнаем позже***.

* * *

И, наконец, нашлось на берегах Средиземного моря**** такое место, где стройность, красота человеческого тела могла сочетаться с духом и, наделенная всеми прелестями земной и небесной красоты, могла стать

---

* «Собрание путешествий». Т. VII. С. 316, 318.

** См. изображения у Лебрена, «Voyages au Levant»[24]. Vol. 1. Chap. X, N 34–37.

*** Изображения у Нибура[25]. Т. II. Лебрена. «Voyages au Levant», № 90–91.

**** Изображения у Лебрена. Гл. 7, № 17–20, у Шуазель-Гуффье, «Voyage pittoresque»[26] и т.д. Памятники древнегреческого искусства выше всех этих картин.

зримой и телесному взору и душе. Это место – Греция; и Греция в Малой Азии, и Греция на островах и в самой Греции, и Греция на побережьях других западных стран. Теплые западные ветерки овевали растение, постепенно переселившееся сюда с азиатских нагорий, пронизывали его дыханием жизни. Пришли времена, которые еще больше разожгли его соки, и судьба увенчала его тем совершенством, которому до сих пор поражается всякий, кто созерцает идеал греческого искусства и философской мудрости. Здесь замышлены и сотворены были такие человеческие фигуры, о которых не мог бы и подумать ни один любитель черкесской красоты, ни один индийский или кашмирский художник. Человек взошел на Олимп и облачился красотою богов.

Дальше в Европу я не осмеливаюсь идти. Здесь такое богатство форм, они так перемешаны между собою, искусство и культура так многообразно переменили первоначальную природу, что я не решаюсь говорить в целом о перемешанных и тонко выраженных европейских народах. Напротив, задержавшись на краю того материка, по которому мы сейчас прошли, я еще раз брошу взгляд назад, а потом, после нескольких кратких замечаний, мы перейдем в Африку, к чернокожим людям.

Во-первых, наверное, каждому бросилось в глаза, что та полоса земли, на которой живут самые стройные, самые прекрасно сложенные люди на земле, – это центральная область земли, расположенная, как и сама красота, между двумя крайностями. Этот край не знает давящего холода, что в стране самоедов, и не знает соленых суховеев, что в стране монголов, – но чужды ему и жгучий зной песчаных пустынь Африки, ливни и бури американского климата. И край этот расположен и не на самых высоких горах и не на возвышенности, наклоненной в сторону полюса; напротив, с одной стороны его защищают стены татарских и монгольских гор, с другой стороны морской ветер приносит прохладу. Времена года сменяют друг друга ровно, без той резкости, что в экваториальных странах. А поскольку уже Гиппократ заметил, что постепенная смена времен года благотворно влияет на равновесие душевных сил, то тем более влияет она на зеркало и печать нашей души. Разбойники-туркоманы, скачущие на своих конях по горам и пустыням, не перестают быть безобразными в самом наилучшем климате. Если бы они перестали кочевать и вели оседлую жизнь, если бы они стали делить свою жизнь между более кроткими наслаждениями и такой деятельностью, которая связала бы их с более культурными народами, то вместе с нравами этих народов они со временем получили бы и черты их телосложения. Красота в мире создана только для тихого наслаждения; только в тишине сообщается она человеку и запечатляется, осуществляется в нем.

Во-вторых, полезным для рода человеческого было и то, что начало ему было положено именно в этих местах, для которых характерны стройность и изящество телосложения, и то, что культура этих мест са-

мым благотворным образом повлияла на другие народы. Если божество и не превратило всю землю в престол красоты, то все же человеческий род вступил в мир через врата красоты, и только когда изящные черты запечатлелись уже на лицах и телах людей, они могли переселяться отсюда па другие земли. Кроме того, – если именно самые стройные и красивые народы наиболее благотворно влияли на других, то в этом, в совпадении красоты и благотворного влияния, проявлялось одно начало, которым всегда руководствуется природа, – бодрость, гибкость, подвижность ума одинаково необходимы были и для телесного облика людей, и для благотворного воздействия на других. Тунгусы и эскимосы не вылезают из своих нор, они никогда и не думали о других народах, живущих далеко. И негр ничего не сделал для европейца, и ему не приходило на ум ни осчастливить Европу, ни пойти на нее войной. Из тех стран, где жили прекрасно сложенные народы, пришли к нам религия, искусство, науки – весь облик нашей культуры, весь наш гуманный дух, – независимо от того, многого или малого мы добились. В этих странах было открыто, продумано и для начала испробовано все то, чему предстояло украсить и развить человечество. История культуры недвусмысленно подтвердит сказанное, а наш собственный опыт на каждом шагу подтверждает такой вывод. И северные народы Европы до сих пор оставались бы варварами, если бы благосклонное дыхание судьбы не принесло нам лепестков с цветка этого духа, если бы прекрасные побеги этих народов не были привиты к нашим грубым ветвям и не облагородили со временем ствол нашего рода.

IV. Органическое строение народов Африки

По справедливости надлежит нам теперь, когда мы подходим к стране чернокожих людей, забыть о своих гордых предрассудках и организм этой области земли рассматривать так непредвзято, как если бы только она одна и существовала на целом свете. Если мы будем считать негра проклятым сыном Хамовым, образом и подобием диавольским, то у него будет тогда право считать жестоких грабителей своих альбиносами и белыми дьяволами, выродками, рожденными немощной природой, – ведь даже животные на севере вырождаются и становятся белыми. Он мог бы тогда сказать так: «Я, черный человек, был первым человеком на земле. Меня поило солнце – источник жизни, в меня, в окружающую меня землю глубже всего проникали его животворные лучи. Посмотрите на эту плодородную почву, богатую золотом, на эти деревья, достигающие вершинами своими небес, на этих сильных животных! Все стихии вокруг меня полнятся жизнью, а я – живой центр этой жизни». Так сказал бы негр, – поэтому будем скромны, вступая на его землю.

Уже на перешейке встречаем мы странный народ – египтян. Крупные, сильные люди, тела их плотны и сочны (этим, говорят они, награж-

дает их Нил), кость у них широкая, кожа золотисто-коричневая, – но они здоровы и плодовиты, живут они умеренно и долго. Теперь они ленивы, а раньше были трудолюбивы и прилежны в работе; наверное, и нужен был такой народ, с таким строением тела, с такой широкой костью*, чтобы возвести все знаменитые древнеегипетские здания и пирамиды, чтобы заниматься всеми их искусствами. Более хрупкий народ едва ли был способен проделать такую работу.

Мы еще мало знаем жителей Нубии и других внутренних областей Африки, лежащих к северу, но если верить предварительным сообщениям Брюса**, то на этом плоскогорье не живут негритянские племена, и Брюс считает, что они обитают только в самых жарких и низких местах Африки, т. е. на западных и восточных ее берегах. Он говорит, что и к югу от экватора на этой возвышенности с ее умеренным, влажным климатом живут только белые и светло-коричневые племена. Как ни замечателен этот факт, как ни помогает он понять, почему у негров черная кожа, но для нас еще более ценно то, что и органическое строение народов, живущих в этих областях, постепенно приближается к негритянскому. Нам известно, что абиссинцы – арабское по происхождению племя, что Аравия и Абиссиния долгое время были тесно связаны; и однако, если судить по портретам их у Лудольфа*** и других, насколько же у них более жесткие черты лица, чем у арабов и других азиатов! Черты лица начинают отдаленно напоминать негра; объясняются же эти жесткие, грубые черты лица, помимо всего прочего, тем, что Абиссиния – страна с разнообразным ландшафтом, в ней есть высокие горы и приятные долины, самая прекрасная погода сменяется бурями, жара – холодом и т.д. Коль скоро эта часть света так сильно отличается от Аравии, то и фигура человека должна была сильно измениться, – в характере абиссинцев заключена чувственная энергия, сила, твердость, но во всем строении тела чувствуется переход к подчеркиванию крайностей, что-то животное. Культура и форма правления у абиссинцев – это грубая мешанина христианства и язычества, беззаботности и варварского деспотизма, что соответствует и внешнему их облику, и всем условиям этой страны.

На другой стороне Африки мы столь мало знаем берберов, или бреберов, так что не можем судить о них. Они живут в горах Атласа, они бодры, закалены, и образ жизни, который они ведут, позволяет им, в отличие от арабов, сохранять стройность, легкость, подвижность****. Их

---

* См. древнеегипетские статуи, мумии и рисунки на саркофагах.

** *Бюффон.* Suppléments l'histoire naturelle. T. IV. C. 495. Лобу все же говорит, что и чернокожие не отличаются тут ни глупостью, ни безобразием, а умны, тонки и наделены добрым вкусом («Rélation historique d'Abissinie». P. 85)[27]. Поскольку все сведения об этих краях относятся к давним временам и очень недостоверны, желательно издать путешествия Брюса, если только он дошел до Абиссинии.

*** *Лудольф.* Histona Aethiopica[28], в разных местах.

**** *Хёст.* Сведения о Марокко[29]. С. 141. Ср. 132.

телосложение – еще далеко не негритянское, но они и не мавры, потому что мавры – это перемешанные с другими народами арабские племена. Берберы, говорит их недавний наблюдатель*, – это красивый народ с немного вытянутыми круглыми лицами, с красивыми черными, горящими огнем глазами, с длинными и совсем не плоскими, не широкими носами, с красивыми, немного вьющимися, черными волосами. Итак, в самой Африке – и азиатский тип!

Негритянские племена начинаются, собственно, с Гамбии и берегов Сенегала, но и здесь переход – постепенный**. У джалоферов и вулуфов[30] нет обычных для негра плоских носов и толстых губ; по сравнению с мандигоями и племенами, живущими дальше к югу, маленькие, подвижные фули – просто красавцы: у них открытые продолговатые лица, гладкие, только чуточку вьющиеся волосы, стройные тела, по описаниям, жизнь их проходит в песнях и танцах, согласно твердому распорядку. Итак, только к югу от Сенегала появляются негритянские толстые губы и приплюснутые носы; и эти черты распространены в Гвинее, Лоанго, Конго, Анголе – далеко на юг, где живет множество племен, которых никто еще не сосчитал. В Анголе, на берегах Конго черная кожа приобретает оливковый оттенок, вьющиеся волосы становятся рыжеватыми, глазное яблоко – зеленым, губы не такие толстые, а рост – ниже. На противоположном берегу, в Зангебаре, тот же оливковый цвет кожи, но рост выше и черты лица правильнее. Наконец, готтентоты и кафры – это переход от негров в другой тип. Нос уже не такой приплюснутый, губы – не такие толстые, налитые; волосы – средние между шерстью негров и обычными, цвет их – светло-каштановый, рост – как у европейца, но только ладони и ступни меньше***. Если бы мы знали и все те многочисленные народности, которые живут к северу от готтентотов, во внутренней Африке – вплоть до самой Абиссинии, – если судить по некоторым признакам, плодородие почвы в этих странах возрастает, красота, сила людей растут, а культура и искусства стоят выше, – если бы мы знали все эти народности, то, вероятно, все оттенки на этой большой картине народов переходили бы друг в друга, и нигде не было бы на ней пробелов.

Но как же бедны достоверные сведения об их странах! Мы едва узнали африканское побережье – да и то иной раз только на расстоянии пушечного выстрела. Ни один европеец не путешествовал по внутренней Африке, как путешествуют по ней арабские караваны****, и мы знаем о ней только легенды, услышанные от чернокожих, или довольно старые рассказы

---

* «Сведения о современном состоянии Сенегала» Шотта в «Трудах по этно- и географии». Т. I. С. 47.

** «Сообщения о Сенегале» Шотта. С. 50; «Собрание путешествий». Т. III–IV.

*** «Путешествия» Спаррмана[31]. С. 172.

**** «Сообщения о Сенегале» Шотта. С. 49, 50.

удачливых и неудачливых искателей приключений*. Кроме того, даже на давно уже известные народы европеец привык смотреть беззаботным взглядом тирана; тем более трудно ему рассмотреть различия в строении каких-то жалких черных рабов. На них смотрят как на скот, а покупая, заглядывают им в зубы. Один гернгутский миссионер** привез нам из совсем иной части света более тщательные описания различий между негритянскими народностями – более тщательные, чем описания многих путешественников, плававших по побережью Африки. Каким счастьем было бы для естествознания, для народоведения, если бы собрались люди с умом Форстера, с терпением и знаниями Спаррмана и отправились изучать эту до сих пор не открытую землю! Сведения о людоедах – яга и анциках[33], которые дошли до нас, несомненно, преувеличены, если переносить их на все народы внутренней Африки. Яга – это, насколько можно понять, племя разбойников, искусственно сложившийся народ, состоящий из всяких отбросов и отребья; они питаются добычей и потому живут в грубых и жестоких правилах***. Анцики – это горный народ – может быть, вроде монголов и калмыков в этих местностях, – но сколько счастливых, мирных народов встретится, должно быть, у подножья Лунных гор! Европа недостойна созерцать их счастливую жизнь, поскольку непростительно согрешила против этой части света и до сих пор продолжает совершать свой грех. Арабы, ведущие мирную торговлю, спокойно разъезжают по этой стране и везде основывают свои колонии.

Но я забыл, что говорю об органическом строении негров – об одном из человеческих типов; а как хорошо было бы, если бы всем особенностям человеческого рода естествознание уделило столько же внимания! Подведу итоги некоторым естественнонаучным наблюдениям:

1. Черный цвет кожи ничуть не более удивителен, чем белый, коричневый, желтый, красный. И у негра черная – не кровь, не семя, а только один слой кожи – сальник – под эпидермисом, такой слой, который есть у всех и который в известных случаях, на некоторых частях тела, бывает окрашен. Кампер это доказал****, и, следовательно, у всех нас есть задатки негра. У самоедов, живущих в холодных широтах, черная полоса окружает груди, – то есть в их климате просто не развились те же задатки, иначе вся кожа их могла стать черной.

2. Итак, требовалась причина, чтобы задатки были развиты, а аналогия вновь подсказывает нам, что воздух и Солнце несомненно играют

---

* «Сравнение известных и неизвестных частей» Циммермана, ученый трактат, отличающийся глубиною суждений, опубликован в его «Географической истории человека». Т. III. С. 104 и сл.

** См.: *Ольдендорп.* История миссии на острове Св. Фомы[32]. С. 270.

*** См.: *Пруайяр.* История Лоанго, Каконго... Лейпциг, 1777[34]. К этому немецкому переводу присовокуплено собрание известий о джаггах.

**** «Малые сочинения» Кампера. Т. I. С. 24.

тут большую роль. Отчего мы загораем? Что различает цвет кожи у мужчин и женщин? Отчего португальские племена, столетиями жившие в Африке, стали так похожи на негров цветом кожи? И что так сильно различает сами негритянские племена Африки? Климат – в самом широком смысле слова, так что и образ жизни, и способ пропитания входят сюда. Как раз в той области, куда восточный ветер приносит ужасающий зной, живут негритянские племена, у которых наиболее черный цвет кожи; в тех местах, где зной слабеет, куда морские ветры приносят прохладу, кожа уже не такая черная, она заметно желтеет. На горах с их прохладным климатом живут народы с белой или беловатой кожей, а в низкой, окруженной горами местности солнце сильнее выпаривает жир, который придает верхнему слою кожи черный оттенок. Если мы примем теперь во внимание, что чернокожие долгие тысячи лет жили в своей части света и благодаря своему образу жизни приспособились к ней и как бы вошли в ее органический строй, если мы сообразим, что некоторые обстоятельства в прежние времена, когда все стихии отличались еще своей первозданной грубой силой, по-видимому, производили еще более сильное действие, чем теперь, когда влияние их смягчено, что, далее, в течение тысячелетий успевает обернуться колесо случайного, так что все, что вообще могло развиться на земле, уже развилось, – если мы подумаем обо всем этом, то нас не удивит черный цвет кожи некоторых народов. Природа, действуя беспрестанно, незаметно, породила на свет еще и не такие, а куда более значительные отклонения.

3. А каким путем произвела природа это незначительное изменение? Это наглядно видно. Существует жир, которым природа окрашивала слой кожи – сетчатку; даже пот негров и европейцев в этих странах – желтоватого цвета; кожа негров не такая сухая и натянутая, как у белых, – это, скорее, толстый, мягкий бархат, – солнце вытапливало жир изнутри кожи, он выступал на поверхность, смягчая кожу и окрашивая сальник. Большинство болезней в этих широтах подобны разлитию желчи, – достаточно прочитать их описание*, и желтый или черный цвет кожи не покажется нам странным ни с физиологической, ни с патологической точки зрения.

4. Курчавые волосы негра объясняются той же причиной. Поскольку волосы питаются тонким соком кожи или даже противоестественно растут в жировом слое, то от изобилия питательных соков они начинают курчавиться, а при недостатке соков отмирают. У животных с грубым органическим строением в таких странах, где они болеют, а потому и не могут перерабатывать поступающий сок, шерсть превращается в клочковатую щетину; напротив того, у человека с более тонким органическим строением, как и должно быть всегда, излишний

* См.: *Blumt.* «Observations on the Synoclius atrabiliosa»; извлечения – в «Гёттингенском журнале»[15]. Т. III. Ч. 6. С. 729.

жир, смачивающий кожу, может изменять волосы и превращать их в курчавую шерсть.

5. Больше скажет нам строение членов тела в собственном смысле слова. Мне кажется, что незатруднительно объяснить его и у африканца. Как показали физиологические наблюдения, губы, груди и половые органы находятся в тесной взаимосвязи; природа, создавая африканские народы, следовала простому началу своего пластического искусства, – коль скоро она вынуждена была отнять у них более благородные таланты, она должна была наградить их большей долей чувственных наслаждений, а это не могло не сказаться на их физиологическом строении. Толстые губы белого человека тоже принимаются за физиогномический признак сильно выраженной чувственности, а пурпурный цвет тонких губ – за примету тонкого и холодного вкуса; не будем говорить о других наблюдениях, – но что же удивительного тогда, если у народностей, для которых чувственное влечение – почти все счастье в жизни, появляются внешние черты чувственности? Негр рождается белым, у него темнеют сначала кожа вокруг ногтей, сосцы и половые органы; но взаимосогласие этих членов отмечается и у других народов. Сто детей – для негра пустяк, а один старик плакал, что у него их всего семьдесят.

6. Если кожа пропитана жиром, а черты лица выражают чувственность, сладострастие, и профиль лица, и все строение тела должны измениться. Губы выступили вперед – именно поэтому нос сплющился и измельчал, лоб стал плоским, а в лице стал отдаленно проглядывать обезьяний череп. Это повлекло за собой изменения в посадке головы, в переходе шеи в затылок, изменилось все эластичное строение тела, – все тело, включая нос и кожу, предназначено только для одного – для животного, чувственного наслаждения*. В этой части света, на родине солнечного тепла, растут самые высокие на свете, самые насыщенные соками деревья, в этих лесах бродят стада самых огромных, подвижных, сильных зверей, в них играют обезьяны, которых тут необозримое множество, – и в воздухе, и в реках, в морях и песке все бурлит, все полнится жизнью, все плодоносит, – и человеческая природа, перестраивая свое органическое строение, в своей животной части могла только следовать этому простейшему принципу творческих, пластических сил, – иного пути не было. В утонченной духовности было отказано человеческому существу под палящими лучами солнца, в груди его бушевали страсти, и утрата была возмещена ему таким строением тканей, которое не позволяло думать о более возвышенных чувствах. Давайте же пожалеем негра, которому не мог достаться от природы более благородный дар, ибо этого не допускало органическое целое климата, но не будем презирать его, а почтим мать-природу – она, отнимая, награждает. Негр всю жизнь

* Кампер доказал в гарлемских «Актах», что центры тяжести при движении расположены у негра ближе друг к другу, а потому его тело эластичнее, чем у европейца.

живет на земле сверх меры щедрой, сытно кормящей его, и он не ведает заботы. Он плещется в воде, как будто его гибкое тело создано для воды, он лазает по деревьям, он бегает – как будто ради удовольствия; он здоров и бодр, он крепок и легок на подъем, его телесная конституция позволяет ему переносить несчастья и болезни, которые случаются в его климате, а сколько европейцев умирают от них! Зачем же мучить его предчувствиями высших услад, для которых он не создан? Задатки в нем были, но природа передумала и создала то, в чем он нуждался больше, живя в своей стране, – в чем счастье его жизни. Или не надо было создавать Африку, или в Африке должны были жить негры.

V. Органическое строение людей на островах теплых морей

Нет ничего более трудного, как свести к основным чертам характеристику рассеянных по океану стран. Они удалены друг от друга на большое расстояние, они в разное время заселены были пришельцами из ближних и дальних стран, каждая из них составляет целый особый мир для себя, а потому народоведению они являют такую же пеструю картину, что и глазу, ищущему их на географической карте. Но и здесь, в органической деятельности природы, всегда можно отыскать главное и основное.

1. На большинстве островов Азии живут своего рода негритянские племена – самые древние обитатели этих земель*. Всем им, несмотря на различия, существующие между островами, свойствен черный цвет кожи (разных оттенков), курчавые волосы; иногда можно встретить и толстые губы, и приплюснутый плоский нос, и белые зубы, и, что самое замечательное, такому строению тела соответствует уже знакомый нам негритянский темперамент. В этих островных негриллях мы обнаруживаем все то же, что замечали в чернокожих на африканском континенте, – ту же грубую, здоровую силу, ту же безмятежность, бездумность, болтливость и чувственность, только повсюду приспособленные к климату и образу жизни. Многие из этих народов стоят на самой нижней ступеньке культуры, потому что прибывшие позднее поселенцы заняли их побережья и долины и вытеснили их в горы, – вот почему достоверных, надежных рассказов о них очень мало**.

Но откуда же такое сходство органического строения на разбросанных в океане островах? Причина не в том, что африканцы с материка

---

* «История Филиппин» Шпренгеля, «Сведения о Борнео и других островах» Форстера в «Трудах по этно- и географии». Т. II. С. 57, 237, и «Собрание путешествий». Т. II. С. 393. Путешествия Лежантиля в Собрании Эбелинга[36]. Т. IV. С. 70.

** «Путешествия вокруг света». Т. II. С. 554. Лейпциг, 1775.

основывали на островах свои поселения, быть может, в отдаленные времена; но причина заключается в том, что природа повсюду творит равномерно и одинаково. И эти острова – тоже область самого жаркого на земле климата, только морской ветер приносит сюда прохладу, – почему же тогда и не быть негриллям островов, если есть негры материков? Тем более неизбежно, что в телах и душах первых поселенцев наиболее глубоко отпечатлелась пластическая, творческая природа этих мест. К числу таких аборигенов относятся иголоты на Филиппинских островах и им подобные чернокожие обитатели большинства других островов, сюда же относятся описанные Дампиером дикари западной части Новой Голландии – одно из самых жалких племен на земле, нижняя ступенька африканского типа, род людской, заброшенный в самую скудную сторону земли.

2. В позднейшие времена на этих островах селились другие народы, и особенности их строения не так сильно бросаются в глаза. К этим народам, согласно Форстеру*, относятся баджу на острове Борнео, альфури на некоторых из Молуккских островов, субадо на острове Магиндано, жители так называемых Разбойничьих островов[38], Каролинских и других островов Тихого океана, расположенных дальше к югу. Утверждают, что все эти племена очень сходны по языку, цвету кожи, строению тела и нравам; волосы у них прямые, длинные, а путешественники Новейшего времени рассказывают нам, какой степени совершенства может достигать прелесть и красота племен на Таити и других близлежащих островах. Но, конечно, красота их остается чувственной, – в слегка приплюснутом носе таитянок виден едва заметный след, печать все созидающего климата.

3. Еще позже на эти острова прибыли малайцы, арабы, китайцы, японцы и другие народы, и они носят еще явные следы своей породы. Короче говоря, в этом архипелаге островов можно видеть место, где собраны самые разные формы – типы, различающиеся и по характеру, издавна присущему им, и по происхождению из самых разных стран, по времени и образу жизни, какой они вели прежде: так что вблизи можно видеть только огромное разнообразие форм. Обитатели Новой Голландии[39], по описанию Дампиера, имеют самое грубое строение, то же можно сказать о племенах, населяющих остров Малликолло, а жители Новых Гебрид, Новой Каледонии, Новой Зеландии постепенно поднимаются над их уровнем. Улисс этих мест – Рейнгольд Форстер** – столь учено и рассудительно описал нам все виды и разновидности живущего там рода человеческого, что остается только пожелать, чтобы появились подобные же сочинения из области *философско-физической географии* о других районах земного шара; они послужат краеугольным

---

* «Труды по этно- и географии». Т. II. С. 238.

** *Форстер.* Замечания во время кругосветного путешествия. Берлин, 1783[40], раздел 6.

камнем для истории человечества. Обратимся к последней и самой трудной для нас части света.

VI. Органическое строение американских народов

Известно, что Америка пересекает все географические зоны и заключает в себе и самые жаркие, и самые холодные области, и области с самым переменчивым климатом, и самые высокие и обрывистые горы, и самые широкие и ровные низменности. Далее известно, что в этой части света справа имеется много заливов, а, кроме того, горная цепь пересекает ее с юга на север, а потому климат и живые существа в этой части света имеют мало общего со Старым светом. Все это заставляет нас обратить особое внимание на живущую здесь человеческую породу – порождение противоположного нам полушария.

Но, с другой стороны, то же самое географическое положение Америки подсказывает нам, что этот огромный материк, отрезанный от всего остального мира, не мог заселяться одновременно с разных концов. Широкие океаны и ветры отдаляют Америку от Африки, Европы и южной Азии, и близким был только один переход из Старого света – на северо-западе. Итак, если сначала мы ожидали от этой части света невиданного разнообразия форм, то теперь эти ожидания скромнее: ибо если первоначальные поселенцы, вообще большинство поселенцев, пришли из одной и той же страны и, постепенно распространяясь к югу, смешивались тут с немногочисленными пришельцами из других стран и так заселили всю страну, то ясно, что органическое строение и характер обитателей этой части земли явит нам однообразную картину и лишь незначительные исключения из правила. Об этом и говорят нам рассказы о Северной и Южной Америке: несмотря на огромное разнообразие географических зон и народов, которые иной раз стремились силой отмежеваться друг от друга, на строении человеческого рода в целом лежит печать однообразия – такого, какого не находим мы даже и в стране негров. Итак, органическое строение американцев – это более ясная задача, чем органическое строение какой-нибудь иной части земли, где народы перемешаны между собою, а решить проблему можно, начав с того самого места, откуда народы, по всей вероятности, перешли в Новый свет.

* * *

Народы, которых встретил в Америке Кук*, отличались средним ростом – до шести футов. Цвет кожи у них – бронзовый, лицо – почти квадратное, скулы выступают довольно сильно, и борода растет слабо. Волосы длинные, черные; члены тела сильные, и только ступни урод-

* «Рассказ о третьем путешествии Кука» Эллиса. С. 114 сл.

ливы. Кто помнит, как сложены были народы восточной Азии и расположенных вблизи от нее островов, тот может шаг за шагом проследить постепенный переход особенностей и черт строения. Я не хочу все ограничить одним народом, потому что в Америку, вероятно, переселились разные племена, даже, может быть, племена разных рас, но только все это были восточные народы, как показывает их телосложение, как показывают самое их уродство, их украшения и неразумные нравы и обычаи. Вероятно, многое прояснилось бы, если бы северо-западное побережье Америки мы знали не только по нескольким расположенным там пристаням и имели такие точные описания его жителей, как описание вождя Уналяски у Кука. Тогда мы узнали бы, переселялись ли когда-либо в Америку японцы и китайцы – на этом огромном американском побережье пока еще неизвестном нам; мы узнали бы, и что стоит за сказкой о культурной народности бородатых людей, которые будто бы живут на западном побережье Америки. Первыми могли бы сделать эти бесценные открытия испанцы, отправившись в путь из Мексики, если бы только они разделяли славный дух завоеваний в науках с двумя величайшими нациями мореплавателей, с англичанами и французами. Но, быть может, много новых и полезных сведений дадут нам путешествие Лаксманна[41] на северное побережье Америки и те усилия, что предпринимают англичане в Канаде.

Странно, что есть много сообщений о том, будто бы живущие на крайнем западе народы Северной Америки – самые цивилизованные. Ассинипуэлов хвалили за их сильный, решительный вид, кристиносов за их разговорчивость и живость*. Между тем эти народности и вообще все обитатели саванны что-то вроде сказки для нас, и только о надовессиях существуют более надежные рассказы. С этими последними, а также с чивипеями и винобагиями познакомил нас Карвер**, с чаракисами, чикасахами и мускогами – Эдейр***, с так называемыми «пятью народностями» – Колден, Роджерс, Тимберлейк[43], с племенами, живущими дальше на север, – французы-миссионеры, – и, при всех существующих между этими народностями различиях, кто не составил себе ясного впечатления о господствующем среди них органическом строении и об основном их характере? Этот единый характер состоит в здоровой и сдержанной силе, в варварски-гордой воинственности и жажде свободы, что и определяет их образ жизни, и ведение хозяйства, и воспитание, и форму правления, и ход дел, и обычаи войны и мира... И добродетели, и пороки – все это особый, неповторимый характер!

А как же выработался в них такой характер? Мне кажется, что и тут многое проясняют нам постепенное переселение их из Северной Азии

---

* «Собрание путешествий». Т. XVI. С. 646.

** «Собрание описаний путешествий» Эбелинга. Т. 1. Гамбург, 1780.

*** *Эдейр.* История североамериканских индейцев. Бреслау, 1782[42].

в Америку и климатические условия в этой новой для них области. Варварскими, жестокими племенами – вот чем были они, когда переселились в Америку; когда же они высадились на берегу и увидели перед собой обширную, вольную, еще более прекрасную землю, – разве сам их характер не должен был изменяться, приспособляясь к новым условиям? Среди огромных озер и полноводных рек, и в этих лесах, на этих лугах сложились другие народы, не похожие на те, что жили на суровой и студеной низменности, спускающейся в сторону океана. Озера, горы, реки разделяли землю, и ими же разделялись племена народов: они вели между собою кровопролитные войны, так что даже у прежде спокойных и уравновешенных народов определяющей чертой характера сделалась жгучая ненависть к другим народам. И так они стали воинственными племенами и внушили свою воинственность всему, что было в их стране, данной им «великим духом». У них североазиатская религия шаманов, но только преломленная на американский лад. Здоровый воздух, зелень лесов и полей, живительная влага озер и рек вдохновили их дыханием свободы, и они почувствовали, что эта земля принадлежит им. Какая жалкая горстка русских могла покорить все народности Сибири вплоть до Камчатки! А эти крепкие варвары отступали, но не желали служить.

Азиатским происхождением этих племен объясняется и их характер, и их манера уродовать свое тело. Все американские племена выщипывают бороду; отсюда явствует, что пришли они из стран, где бороды растут плохо, и не пожелали расставаться с обычаем своих предков. Следовательно, они пришли из восточной части Азии. Итак, в климате, который обеспечивает волосяному покрову более обильные соки, они продолжают нетерпимо относиться к бородам, причем настолько, что с отрочества выдирают себе волосы на лице. Далее, у народов севера Азии – круглые головы, а к востоку форма головы становится более квадратной; что же удивительного в том, что и американские народы не желали отходить от прежнего строения головы и насильно придавали своему лицу прежнюю форму? По всей видимости, они боялись округлых очертаний лица, потому что им чудилось в них что-то женоподобное; итак, они стали силой сдавливать свои головы, чтобы не расстаться с воинственностью лиц своих предков. Круглоголовые северные племена придавали головам круглую форму, потому что такова была форма головы в самых северных областях, другие племена придавали голове угловатую форму или вдавливали голову между плеч, – только чтобы новый климат не переменил их рост и фигуру. Нет другого места на земле, – помимо восточной Азии, – где бы люди столь насильственно украшали свое тело, и, как мы видели, они преследовали все те же цели – нужно было сохранить авторитет рода и в дальних странах, так что самый дух прежних украшений перешел вместе ними в Новый свет.

Наконец, медный цвет кожи американцев никак уж не введет нас в заблуждение: уже в восточной Азии цвет кожи стал изменяться на коричневато-красный, а на новом месте, в Америке, воздух, а также мази и другие причины еще усилили красный оттенок цвета. Меня настолько не удивляет черный цвет кожи негра и красный – американца, – ведь эти столь различные племена в течение тысячелетий жили в совершенно разных зонах, – что я, скорее, удивился бы, если бы оказалось, что на земном шаре все народы – белы как снег или все коричневы. Разве мы не видим, что у животных, с их более грубым строением тела, в различных областях земли изменяются даже и твердые члены тела? А что больше – изменение соотношения между членами тела, изменение всей фигуры или незначительная перемена окраски сетчатого слоя кожи?

После такого предварительного введения последуем за американскими народами к югу и посмотрим, как многообразится прежде одинаковое их строение, никогда не утрачивая, однако, своего первоначального характера.

* * *

Самые северные американские народы – люди маленькие и сильные; так описывают их нам; в центре живут самые крупные и красивые племена, а на юге, на равнинах Флориды, племена уступают первым в силе и мужестве. Георг Форстер пишет: «Бросается в глаза, что как бы характерно ни различались между собой североамериканцы, изображенные в книге Кука, в целом в выражении лица господствует один и тот же характер, который был мне известен и который я, как помню, действительно наблюдал у пешересов Огненной земли»*.

О Новой Мексике нам известно немногое. Испанцы видели, что жители этой страны хорошо одеваются, прилежны в работе, чистоплотны, что их земли хорошо обработаны, что города построены из камня. Несчастные народы, что сталось с вами теперь, если только, словно los bravos gentes**, вы не бежали в горы? Аппалачи показали себя народом смелым, стремительным, и испанцы ничего не могли поделать с ним. А как замечательно пишет Пажес*** о хактах, адайссах, тегах!

Мексика теперь – печальные руины того, чем была она при своих королях; не осталось и десятой части населения****. А как изменили характер несправедливейшие притеснения! На всей Земле, думаю я, не найдешь более глубокой, более сдержанной ненависти – вот чувство, которое питает страждущий американец к своему поработителю испанцу; ибо

---

* «Гёттингенский журнал», 1783. С. 929.

** Смельчаки, разбойники *(исп.)*.

*** *Пажес.* Voyage autour du monde. Paris, 1783. P. 17, 18, 26, 40, 42, 52, 54 etc.

**** «Storia antica del Messico»[44]; извлечения в «Гёттингенских ученых известиях», 1781, и более подробные – в «Кильском журнале». Т. II. Ч. 1.

как бы ни хвалил Пажес* мягкое обращение испанцев с угнетенными в наши дни, он, на других страницах своей книги, не может скрыть, что порабощенные народы ведут самое жалкое существование и что испанцы злобно и дико преследуют свободные еще племена. По описаниям, у мексиканцев оливковый цвет кожи, они красивы и приятны, у них большие, живые, искрящиеся глаза, они восприимчивы и подвижны, но только душа их устала теперь влачить ярмо угнетения.

В Центральной Америке, где все падают без сил от влажной духоты, где европейцы живут жалкой жизнью, гибкая натура американца не сдавалась. Ваффер**, которому удалось спастись от морских разбойников и который одно время жил среди дикарей на Терра фирма[45], описывает, как хорошо приняли они его, а потом рассказывает, как выглядят они и каков их образ жизни: «Мужчины ростом от пяти до шести футов, крепкокостные, пропорционально сложенные; увечных и уродов не было заметно среди них. Они ловки, подвижны и бегают очень быстро. У них живые карие глаза, круглые лица, тонкие губы, маленький рот, красивый подбородок. У них длинные черные волосы, и они любят расчесывать их. Зубы у них белые и красивые; украшают и разрисовывают они себя, как и все индейцы». Что же, этих ли людей пытались представить нам изнеженным, недозревшим растением? Нет, такие люди жили на американском перешейке, в местности, где расслабляет сам воздух.

Фермен – естествоиспытатель, достойный доверия, описывает индейцев Суринама как таких стройных и чистоплотных людей, каких, быть может, и нет больше на земле***. «Они начинают купаться, как только проснутся, а женщины натираются мазями – для сохранения кожи и от укусов москитов. Кожа у них – цвета корицы, чуть розовее, но рождаются они белыми, как и мы. Хромоногих и горбатых среди них не встретишь. Черные как уголь волосы седеют только в самом преклонном возрасте. У них черные, острые глаза, почти или совсем нет бороды, и малейший признак ее появления они предупреждают, выдирая каждый волосок. Их красивые белые зубы сохраняются до старости, а женщины у них кажутся очень хрупкими, но на самом деле отличаются крепким здоровьем». Достаточно прочитать описания храбрых карибов, ленивых ворровов, серьезных аккававов, обходительных арроваукоов и других у Банкрофта****, и, мне кажется, всякий забудет свои предрассудки о будто бы слабосильном теле и гнусном характере индейцев – включая тех, что живут в самых жарких областях.

Если мы перейдем теперь на юг, к бесчисленным народностям Бразилии, – какое множество племен, языков, характеров мы встретим! Впрочем,

---

* *Пажес*. С. 88.

** «Собрание путешествий». Т. XV. С. 263.

*** *Фермен*. Описание Суринама[46]. Т. I. С. 39–41.

**** *Банкрофт*. Естественная история Гвианы, письмо 3.

и старые, и новые путешественники описывают их в одних и тех же словах*: «Их волосы не седеют, – говорит Лери, – они всегда бодры и веселы, и поля их вечно зеленеют». Чтобы избежать гнета португальцев, храбрые тапинамбо бежали в неприступные, необозримо широкие леса, – так поступили и другие воинственные народности. А те, кого парагвайские миссионеры сумели привлечь к себе, отличались послушанием и со временем сделались почти детьми; но такая перемена естественно заложена в самом существе дела, а потому ни эти племена, ни их мужественных соседей нельзя считать за какое-то человеческое отребье**.

Но мы приближаемся к трону, на котором восседает природа – и самая жуткая тирания, мы подходим к Перу, стране, богатой серебром и известной самыми мрачными ужасами. Здесь несчастные индейцы угнетены сильнее, чем где-либо, а угнетает их не кто иной, как попы и европейцы, ставшие женоподобными среди женщин. Все душевные силы этих нежных и некогда столь счастливых детей природы – когда жили они между инками – теперь свелись к одной-единственной способности – скрыто ненавидеть и терпеть. «На первый взгляд, – пишет бразильский губернатор Пинту***, – южный американец кажется кротким и невинным, но если рассмотреть его повнимательнее, то в выражении лица его нетрудно заметить что-то дикое, темное, подозрительное, недовольное». Не объясняется ли все это судьбой народа? Кротки и невинны были эти люди, но вы пришли к ним, вы должны были облагородить некультурных дикарей и эти добродушные существа превратить в то, что было заложено в их природе. Но теперь – можете ли вы надеяться, что они, недоверчивые и мрачные, перестанут когда-либо питать в сердце своем чувства глубочайшего недовольства и неприязни? Извивающийся червь кажется нам безобразным, но ведь мы сами раздавили его ногой. В Перу негр-раб – великий человек по сравнению с тем угнетаемым несчастным, которому принадлежит эта земля.

Не везде земля отнята у него – ведь есть, к счастью, и Кордильеры, и чилийские пустыни, и в них находят свободу многие храбрые племена людей. Остаются еще никем не побежденные малохи, пуэльхи и арауки, тегуэльхеты Патагонии и большой южный народ, шести футов ростом, крепкий и сильный: «У них не неприятная фигура, лицо круглое, немножко плоское, глаза живые, зубы белые, волосы длинные, черные. Я встречал среди них, – пишет Коммерсон****, – людей, которые носили длинную, хотя и редкую бороду; кожа их – цвета меди, как у

---

* Акунья, Гумилла, Лери, Марггpаф, Кондамин и др.[47]

** *Добритцхофер.* История абипонцев. Вена, 1783. Описание многих народов у Гумилла – «Orinoco illustrado»[48].

*** «История Америки» Робертсона. Т. 1. С. 537[49].

**** «Journal encyclopedique», 1772. Сравнение разных свидетельств у Циммермана в «Истории человечества». Т. I. С. 59 и в «Истории Америки» Робертсона. Т. I. С. 540.

большинства американцев. Они блуждают по широким плоскогорьям Южной Америки, везут с собой женщин и детей, никогда не слезают с коня и преследуют дичь». Фолкнер и Видауре* наилучшим образом описали их нам, – дальше этих народов нет уже никого – это бедный, холодный край земли, Огненная Земля, и живут в ней пешересы, быть может, самая низкая разновидность людей**. Они мелки, безобразны, от них идет невыносимый запах, они питаются ракушками, одеваются шкурами тюленя, целый год страдают от нестерпимого холода, и, хотя вокруг них много лесов, у них нет прочных домов и огня. Счастье еще, что природа, жалея человека, положила здесь конец земле, – продолжайся она дальше на юг, к южному полюсу, какие прискорбные подобия людей прозябали бы здесь на невыносимом морозе, отнимающем у человека чувства и рассудок!

* * *

Таковы некоторые из главных, присущих народам Америки, черт; какие же выводы можно сделать в целом?

Первый вывод состоит в том, что нужно воздерживаться от общих слов, когда речь идет о народах такой части света, которая пересекает все географические зоны. Кто скажет: Америка – это теплая, низменная, плодородная страна с влажным и здоровым климатом, – будет прав; а кто скажет обратное, тоже будет прав, – но только он будет иметь в виду другие области, другие времена года. То же и с народами: люди целого полушария живут во всех географических зонах. Наверху и внизу живут карлики, а рядом с карликами – великаны; в середине живут люди среднего роста, стройные и хорошо сложенные, и не столь стройные, кроткие и воинственные, ленивые и подвижные, – все характеры, все возможные образы существования.

Во-вторых, ничто не мешает тому, чтобы считать, что весь этот ствол человеческого рода со всем множеством ветвей и ответвлений вырос все же из одного корня, а потому и являет некое сходство плодов. Вот что думали, когда говорили о господствующих среди американцев чертах лица и телосложении***. Уллоа в центральных районах Америки отмечает прежде всего узкий лоб, заросший волосами, маленькие глазки, тонкий нос, загнутый к верхней губе, широкое лицо, большие уши, изящные бедра, маленькие ножки, приземистую фигуру; эти черты можно встретить и за пределами Америки. Пинту прибавляет, что нос бывает чуточку приплюснутым, лицо – круглым, глаза – черными или каштановыми,

---

* *Фолкнер.* Описание Патагонии. Гота, 1775; *Видауре.* История королевства Чили в «Собрании» Эбелинга. Т. IV. С. 108[50].

** «Путешествия» Форстера[51]. Т. II. С. 392; Кевендиш, Бугенвиль и т.д.[52].

*** «История Америки» Робертсона. Т. I. С. 539.

маленькими, но очень острыми, что уши сильно оттопырены*, но и все это можно наблюдать на изображениях очень далеких от Америки народов. Основное физиогномическое строение, очень различающееся в зависимости от географической зоны, в зависимости от народности и племени, но различающееся в тонких деталях, все же распознается у самых разных народов и указывает на примерно одинаковый их исток. Если бы народы разных частей света прибыли в Америку в самое разное время, то все равно – смешались бы они или нет – различия человеческой породы были бы куда значительнее. Голубых глаз и белокурых волос во всей Америке не найти, – в Чили жили голубоглазые чезары и во Флориде – голубоглазые аканзы, но в последнее время они исчезли.

В-третьих, если необходимо назвать какую-то характерную для всех американцев черту характера, то такой чертой будет, по-видимому, добродушие и детская невинность, – эти черты подтверждаются и всеми древними установлениями американских народов, всеми их умениями и немногочисленными искусствами, но в первую очередь их поведением по отношению к только что прибывшим в Америку европейцам. Они выросли в варварской стране, не получали помощи от цивилизованных народов и стали тем, чем стали, благодаря самим себе, – они и со слабыми начатками культуры служат поучительной картиной человечества.

VII. Заключение

Как было бы прекрасно, если бы по мановению волшебной палочки все неопределенные мои описания** превратились в живые картины, – тогда перед человеком явилась бы целая галерея нарисованных форм и фигур, присущих его собратьям. Но как еще далеки мы от исполнения подобного антропологического пожелания! В течение долгих веков люди пересекали землю вдоль и поперек с мечом и крестом в руках, разъезжали с грузом кораллов и бочек с водкой, – о мирном пере, о рисовании никто не думал, и даже целому воинству путешествующих не пришло на ум, что словами не нарисуешь образ со всеми тонкими отличиями, со всеми оттенками, со всеми отклонениями, которые есть в каждом человеке. Долгое время люди думали только о чудесах и сочиняли сказки; позднее думали о том, как приукрасить человеческую фигуру, даже если рисовали ее, не сообразив того, что, например, настоящий зоолог не станет приукрашивать облик неизвестного животного. А разве человеческая природа не заслужила того же пристального внимания, что звери и растения? Но поскольку в новейшие времена

* Там же. С. 537.

** Более подробное описание частностей можно найти в «Естественной истории» Бюффона. Т. VI в издании Мартини, и в ученом сочинении Блуменбаха «De generis humani varietate nativa».

действительно проснулось внимание к роду человеческому и мы получили уже изображения некоторых, хотя пока и очень немногочисленных народов, – изображения, по сравнению с которыми никуда не годятся старинные рисунки Дебри, Брейна и тем более миссионеров*, то прекрасным подарком людям было бы, если бы кто-нибудь собрал разбросанные по разным изданиям достоверные изображения самых разных племен рода человеческого и заложил основу красноречивого *естествоведения и физиогномики человечества.* Едва ли можно было бы применить искусство с большим философским смыслом, а венцом всего этого филантропического труда была бы антропологическая карта Земли, по образцу зоологической карты Циммермана, – на ней были бы отмечены исключительно различия в органическом строении человека во всех аспектах и подробностях.

---

* Я не хочу сказать, что не ценю эти труды, но мне кажется, что изображения Брейна выдержаны во французском духе, а рисунки Дебри, перешедшие в дурных гравюрах во все позднейшие издания, не подлинны. По свидетельству Форстера, даже Ходжес идеализировал портреты таитян. Следовало бы пожелать, чтобы возникло и никогда бы уже не умирало настоящее, как бы уже естественнонаучное искусство изображения рода людского во всех областях населенного мира. Начало этому уже положено, сюда я отношу труды Нибура, Паркинсона, Кука, Хёста, Георги, Мариона[53], а с последнего путешествия Кука, если судить по тому, какой славой пользуются привезенные им рисунки, начинается новый и высший его этап, и остается только пожелать продолжения таких усилий в других частях света и более широкого ознакомления общественности с их результатами.

Книга седьмая

Набросанный нами эскиз народностей, населяющих Землю, послужит нам грунтом, на котором мы выпишем отдельные детали; и группы на картине будут не чем иным, как просто templa[1] авгура на небе, – пространствами, разграниченными только для взгляда, подсобными средствами для запоминания. Посмотрим же, что обретем мы в них для философии человеческого рода.

I. В каких бы различных строениях ни являлся род человеческий на Земле, повсюду только одна и та же человеческая природа

В природе не бывает двух совершенно одинаковых листьев дерева, и тем более не бывает двух одинаковых человеческих лиц и одинаковых органических строений. Какие же бесконечные различия могут быть в искусно построенном здании человеческого тела! Твердые члены разделяются на такие тонкие, переплетенные между собой волокна, что ничей глаз не может рассмотреть их, и они соединены между собою такой тонкой влагой, нежный состав которой недоступен никакому расчету, – и, однако, такие части – это еще самое малое в теле, потому что они только сосуды, оболочки, только носители многообразного, заряженного различными жизненными энергиями, данного в куда большей массе сока, благодаря которому мы можем жить и пользоваться жизнью. «Ни один человек, – пишет Галлер*, – не похож на другого по своему внутреннему строению, – различается, в миллионах миллионов случаев, направление нервов и жил, так что почти невозможно вывести из всего различия этих тонкостей, в чем же сходно строение разных людей». Если даже глаз анатома устанавливает подобные бессчетные различия, сколь же бóльшие должны заключать в себе незримые силы столь искусного органического строения; каждый человек – это в конце концов целый особый мир, хотя внешне все люди очень похожи, – внутренне каждый особое существо и несоизмерим с другим человеком.

---

* Во введении ко «Всеобщей естественной истории» Бюффона. Т. III.

А поскольку человек не независимая субстанция, а, напротив, связан со всеми природными стихиями, – он питается дыханием воздуха и различными созданиями земли, пищей и напитками, он перерабатывает огонь, и впитывает свет, и отравляет воздух, он, спит ли, бодрствует ли, вносит свою лепту в изменение Универсума, – что же, неужели же Универсум не будет изменять его в свою очередь? Мало сравнивать человека со впитывающей воду губкой, с горящим трутом: человек – это не ведающая числа гармония, живая самость, на которую воздействует гармония всех окружающих его сил.

Весь жизненный путь человека – это превращение, и все возрасты его – это рассказы о его превращениях, так что весь род человеческий погружен в одну непрекращающуюся метаморфозу. Цветы опадают, вянут, но другие растут и завязывают бутоны, – и дерево невиданных размеров сразу все времена года несет на своем челе. Если же подсчитать теперь только испарения тела, то окажется, что человек, достигнув восьмидесятилетнего возраста, по крайней мере двадцать четыре раза обновил свое тело*, а кто проследит в целом царстве человека все перемены материи и ее частей, кто – все причины перемен, если ни одна точка на нашем разнообразном земном шаре, если ни одна волна в потоке времен не равна другой? Германцы еще несколько веков тому назад были патагонцами, а теперь они уже не патагонцы; и обитатели будущих климатов земли не будут похожи на нас. А если мы поднимемся к тем временам, когда, как видно, все было совсем иным на Земле, когда, например, слоны жили в Сибири и Северной Америке, когда жили огромные животные, скелеты которых находят на реке Огайо, – если тогда жили люди во всех этих местностях, как же не похожи были они на тех, кто живет там теперь! И так история человечества становится в конце ареной превращений, и обозреть ее в целом может лишь тот, кто сам пронизывает дыханием своим все ее строения и создания, кто сам чувствует и радуется во всех них. Он возводит их и разрушает, он утончает и изменяет формы, превращая весь мир вокруг них. Путник на земле, эта быстро проходящая мимо человеческая эфемера, может на своей узкой полоске лишь дивиться на все чудеса этого великого духа, может радоваться облику, что достался ей в хоре других существ, может склоняться в мольбе и исчезать вместе со своим обликом. «И я был в Аркадии» – вот эпитафия всему живому в этом вечно превращающемся, вечно рождающем творении.

* * *

Но поскольку человеческий рассудок во всяком многообразии ищет единства, а божественный рассудок, прообраз его, повсюду сочетал единство с бесчисленнейшей множественностью, то и мы из бескрай-

* Согласно Бернулли[2]. Ср. «Физиологию» Галлера. Т. VIII, где можно найти целый лес замечаний, касающихся изменений в человеческой жизни.

него царства превращений можем вернуться к простейшей теореме: весь человеческий род на земле – это только *одна и та же порода людей.*

Сколько древних басен о чудовищах и уродах человеческих рассеялось уже в свете истории! А если какая-то легенда и повторяет еще пережитки таких басен, то я уверен, что при более ярком свете и они разъяснятся и уступят место более прекрасной истине. Теперь мы знаем, что у орангутана нет прав на язык и на человеческое общество, а когда будут получены более тщательные изыскания о орангкувубах и оранггуху*, живущих на Борнео, Суматре и Никобарских островах, то исчезнут и лесные хвостатые люди. Таких же исправлений потребуют и люди с вывернутыми ступнями с Малакки**, и, вероятно, больные рахитом пигмеи Мадагаскара, и одевающиеся в женские наряды мужчины во Флориде; подобных исправлений уже удостоились альбиносы, дондо, патагонцы, повязки готтентоток*** и т.д. Люди, которым удается изгонять недостатки из творения, ложь – из нашей памяти, бесчестие – из природы, делают в царстве истины то же самое, что в мифологии герои первоначального мира, – они истребляют чудовищ.

И мысль о соседстве человека и обезьяны нельзя заводить так далеко, чтобы, отыскивая лестницы всех явлений, забывать о реальных ступенях и разделяющем их промежутке, без которого немыслима ни одна лестница. Что объяснит нам рахитический сатир в облике камчадала, маленький сильван в рост гренландца, понго в патагонце – ведь всякий раз строение тела вытекает из природы человека, пусть не было бы на земле ни одной обезьяны. А если пойти еще дальше и известные уродства нашего рода человеческого генетически выводить из обезьяны, то я думаю, что подобные предположения невероятны и что они бесчестят человека. Ведь большинство этих мнимых сходств с обезьяной наблюдается в странах, где никогда не было обезьян, – таковы отсталый в развитии череп калмыка и малликолезца, оттопыренные уши пева и амикуана[4], узкие ладони некоторых дикарей Каролины и т.д. А кроме того, все эти явления, если только разобраться в обманчивой игре зрения, настолько мало напоминают обезьяну, что ведь и калмык, и негр – полноценные люди даже по строению своего черепа, что у жителя Малликолло есть способности, каких лишены многие другие народы. Поистине, обезьяна

---

* Вспоминает их даже Марсден в своем «Описании Суматры», но только по старинным легендам. Монбоддо в своем труде «О происхождении и развитии языка» (Т. I. С. 219) собрал все предания, какие только мог найти, о людях с хвостом. Проф. Блуменбах («De generis humani varietate») показал, из какого источника пошли изображения хвостатого человека.

** Их упоминает Соннерá («Voyages aux Indes». Т. II. С. 103), но тоже на основании легенд. О карликах на Мадагаскаре заговорил вслед за Флакуром Коммерсон, но новые путешественники опровергают его. О гермафродитах на Флориде см. «Критический трактат» Гейне в «Commentationes Societatis Regiae Göttingensis» per annum 1778. С. 993[3].

*** «Путешествия» Спаррмана. С. 177.

и человек никогда не были одной породой, и последние остатки басен о том, что будто бы когда-то где-то человек и обезьяна жили вместе, принося потомство*, заслуживают того, чтобы в них разобрались и их опровергли. Всякий род природа обеспечила, каждому дала свое наследие. И обезьяньей породе она придала столько видов и разновидностей, расселив их на Земле, насколько только было возможно их расселить. А ты, человек, чти себя. Не понго[5] и не лонгиман – брат твой, а брат твой – американец, негр. И, значит, его не должен ты угнетать, его не должен убивать, у него не должен красть, ибо он человек, как и ты, а с обезьяной тебе не пристало вступать в братство.

И, наконец, мне хотелось бы, чтобы не преувеличивались некоторые разграничения, которые проводят в роде человеческом, похвально стараясь о классификации. Так, некоторые осмеливаются называть *расами* те четыре или пять разделений, которые первоначально произведены были по областям местожительства или даже по цвету кожи людей, – но я не вижу причины называть эти классы людей расами. Раса указывает на различное происхождение людей, но такого различия или вообще не имеется, или же в каждой области, где живут люди, независимо от цвета кожи, представлены все самые разные расы. Ибо каждый народ – это народ, и у него есть и язык, и особое, присущее только ему строение. И широты накладывают на народы свою печать или накидывают легкое покрывало, однако изначальное племенное строение народа не исчезает и не разрушается. И это распространяется даже на отдельные семейства, и переходы подвижны и незаметны. Короче говоря, нет на земле ни четырех, ни пяти рас, нет и только различий, но цвет кожи постепенно переходит один в другой, и в целом каждый – лишь оттенок великой картины, одной и той же, простирающейся через все страны и времена земли. Эта тема относится, стало быть, даже не к систематическому естествознанию, а к физико-географической истории человечества.

II. Один на Земле род человеческий приспособился ко всем существующим климатам

Взгляните на саранчу земную, на калмыков и монголов, – где им жить, если не в своих степях, если не в своих горах?** На своей маленькой лошадке легкий человечек пролетает огромные пространства, целые пустыни, – он умеет придать силы коню, если тот валится с ног, а если

---

* И это тоже утверждается в извлечениях из «Дневника нового путешествия в Азию». Лейпциг, 1784[6]. С. 256, но тоже на основании легенд.

** По отдельным местностям рассматривают их Паллас и другие уже названные авторы. Книга «Жизнь и пленение» Г.Опица[7] очень живописно рассказала бы нам о жизни калмыцкой орды на Яике, если бы только эту книгу не украшали многочисленные, весьма романические, примечания издателя.

конь изнемогает, он открывает вену на шее коня, и это придает тому последние силы. В некоторых из этих областей никогда не бывает дождя, и только роса живит землю, только неисчерпаемое плодородие почвы одевает ее весенней зеленью. И вот дикие племена, но между собой они соблюдают строжайший порядок, едут по высокой траве и кормят свои стада, – лошади, разделяющие с ними их образ жизни, знают их голоса и живут в мире, как и люди. Бездумно и равнодушно калмык сидит и озирает свое вечно ясное небо над головой и слышит всю насквозь необозримую окружающую его пустыню. Во всякой другой области земли монголы вырождаются или облагораживаются, а на своей земле они остаются тем, чем были тысячелетиями, и останутся такими, пока земля не будет изменена природой или искусством.

Араб в пустыне* – тут ему место с его благородным конем, с терпеливым, выносливым верблюдом. Как монгол разъезжал по своей степи, по своей возвышенности, так и более стройный бедуин разъезжает по своей азиатско-африканской пустыне, – тоже кочевник, но кочевник своего края. С этой пустыней гармонируют его одежда, образ жизни, нрав и характер, и спустя тысячелетия шатер его – такой, какой был у предков. Любя вольность, арабы презирают богатства и наслаждения, они легко и стремительно летят вперед на своих конях, за которыми ухаживают как за самими собой, и так же легко летит пущенное ими копье. У них поджарые, мускулистые тела, цвет кожи – коричневый, кость крепкая; они неутомимо переносят все тяготы жизни и, связанные одной пустыней, где живут, выступают все за одного, они дерзки и предприимчивы, верны данному слову, гостеприимны и благородны. Полное опасностей существование приучило их к осторожности, подозрительности, одиночество пустыни воспитало в них чувство мести, дружбы, вдохновения и гордости. Где бы ни показался араб, будь то на берегах Евфрата или Нила, в Ливане и на Сенегале, даже в Зангебаре и на Индийском океане, везде он, если только жизнь в чужом климате, в отдаленных поселениях, не переменила его, являет свой изначальный характер.

Калифорниец, живущий на краю света, на бесплодной почве, ведущий скудный образ жизни при своем резком климате, – он не жалуется ни на жару, ни на холод, он умеет избежать голода, даже и самым мучительным способом, он счастливо живет на своей земле. «Один Бог знает, – так пишет миссионер**, – сколько тысяч миль не проплутает калифорниец по этой земле, пока не найдет он в ней свою могилу, – если умрет стариком, лет восьмидесяти. Многие из них раз сто в году меняют свой ночной кров, потому что редко трижды спят на одном месте и в одной стороне. Они ложатся на землю, где застает их

---

* Кроме многих других путешествий см. *Voyages de Pagès*. T. II. P. 62–87.

** «Сведения о Калифорнии». Маннгейм, 1773[8], в разных местах.

ночь, и не беспокоятся ни о вредных насекомых, ни о нечистоте почвы. Их коричневая с черным отливом кожа служит им плащом и шубой. Их утварь – лук со стрелами, камень вместо ножа, кость, заостренная палка, чтобы вырывать корни; панцирь черепахи служит колыбелью, кишка или пузырь для воды, а в случае удачи мешок из волокон алоэ, сплетенных, как рыбачья сеть, – в нем носят они свой провиант и свои лохмотья. Они едят корни и всякие семена, выбирая их даже из сухой соломы, а в голод даже из своих испражнений. Праздничная пища для них – все мясное и даже все только похожее на мясо, включая летучих мышей, гусениц, червей, и не исключают они из продуктов питания и листья некоторых растений, и молодую древесину, побеги, кожу, ремни и мягкие кости, – если нудит голод. И тем не менее эти бедные люди счастливы, они доживают до старости, они крепки и сильны, и чудо, если кто-нибудь из них поседеет, если только не в совсем преклонном возрасте. У них всегда хорошее настроение, среди них не умолкают смех и шутки; они хорошо сложены, бойки, гибки; двумя пальцами ног они умеют подбирать с земли камни и другие предметы, они до самой старости ходят прямые, как свеча, – их дети ходят и стоят, когда им нет еще и года. Устав болтать, они ложатся на землю и засыпают, пока не пробудит их голод и желание поесть; стоит им проснуться, и опять начинаются смех, болтовня, шутки; и когда они пускаются в путь, они не перестают тараторить, и, наконец, уставший от жизни калифорниец с равнодушием дожидается своей смерти. Кто живет в Европе, – продолжает миссионер, – тот может завидовать калифорнийцам, их счастью, но не может насладиться их счастьем, если только ему не станет все равно, многим ли, малым ли владеет он на этой земле, если только не покорится он во всех случайностях жизни воле господней».

Я мог бы продолжить и нарисовать климатические картины жизни множества народов – от камчадалов до обитателей Огненной земли – самых разных областей и широт. Но для чего эти короткие опыты? Ведь любой путешественник, если он верно наблюдал, если он по-человечески принимал участие в увиденном, напишет так, что и мельчайшая черточка в описании будет рисовать климатический мир. В Индии, на этой огромной ярмарке, где торгуют все народы, можно различить, распознать араба и китайца, турка и перса, христианина и иудея, малайца и негра, японца и генту* – и на берегах самой далекой страны сохраняется характер каждого – характер его страны, характер его жизни. Из праха всех четырех частей света, говорит древняя библейская традиция, сотворено было тело Адамово, и в него проникло дыхание сил и духов широкой земли. Куда тысячелетия тому назад направились сыновья Адама, где они прижились, там пустили они свои корни и там,

* «Путешествия» Макинтоша[9]. Т. II. С. 27.

сообразно с климатом, они растили побеги и завязали плоды. Сделаем же из сказанного выводы, которые, как кажется, объяснят нам иные странности истории человечества.

* * *

Сначала становится ясным, почему все чувственно воспринимающие мир, во всем строении своем приспособленные к своей земле народы столь верны почве земли, неотделимы от нее. Все устройство их тела, весь образ жизни, все радости и занятия, к которым приучены они с детства, весь кругозор их представлений – все определено климатически. Отнимите у них землю, и вы отнимите у них все.

Кранц рассказывает*: «Судьба шести гренландцев, которых привезли оттуда в первую поездку, была прискорбна; было замечено, что печальные взгляды и жалобные вздохи их обращены к северу, в сторону отечества. Обращались с ними хорошо, кормили треской и рыбьим жиром, но они все-таки пустились в бегство на своих каяках. Сильный ветер выбросил их на берег у Схонена, их привезли назад в Копенгаген, и двое их умерли от огорчения. Из остальных двое вновь бежали, и из этих двоих поймали только одного, который, увидев младенца на груди одной женщины, горько зарыдал (откуда заключили, что у него, наверное, есть жена и дети, потому что вообще-то разговаривать с ними не могли и не могли из-за этого даже окрестить). Двое оставшихся прожили в Дании лет десять-двенадцать; их заставляли ловить жемчуг у Кольдингена и зимой настолько не щадили, что один, надорвавшись, умер, а другой опять бежал и уплыл миль на тридцать-сорок от земли и, когда его нагнали, тоже умер от огорчения».

Все люди, кто способен по-человечески чувствовать, не могут выразить того отчаяния и скорби, с которыми покидает похищенный или проданный в рабство негр берега своего отечества, – их никогда уже не увидеть ему. «Нужно зорко следить, – пишет Рёмер** – чтобы ни в форте, ни на судне в руки рабов не попадали ножи; и во время плавания в Вест-Индию приходится много попотеть, чтобы поддерживать в них хорошее настроение. Поэтому берут с собой европейские лютни, а также барабаны и флейты и заставляют их плясать; их убеждают в том, что везут их в прекрасную страну, где много женщин, где вкусная пища и т.д. Но есть немало печальных примеров, когда они убивали матросов и пригоняли судно к земле».

А сколько есть куда более печальных примеров, когда несчастные украденные рабы в отчаянии кончали жизнь самоубийством. Спарман

---

* «История Гренландии». С. 535.

** *Рёмер.* Сведения о побережье Гвинеи[10]. С. 279.

рассказывает* со слов одного рабовладельца, что ночью негры приходят в состояние какого-то исступления и в этом состоянии готовы убить кого угодно или даже поднять руку на самих себя, – «грустные воспоминания о родине, утраченной навек, о свободе просыпаются ночью, когда ничто не может рассеять печальных дум».

Но какое же право у вас, о бесчеловечные люди, даже приближаться к этой земле? Почему отнимаете вы у нее сыновей ее – жестоко, хитро, воровато? Тысячелетиями эта земля принадлежала им, а они – ей; предки нынешних негров заплатили за обладание ею высокой ценой, приобретя уродливую фигуру и черный цвет кожи. И словно детей опекало их солнце Африки, налагая на них свою печать, придавая им новое строение, а вы, увозя их прочь, поступаете как воры и грабители.

Во-вторых. Дикари ведут жестокие войны за свою землю, за своих отнятых, поруганных, преданных на муки сыновей. Вот откуда скрытый гнев американских аборигенов против европейцев, если даже европейцы сносно и терпимо обращаются с ними; не искоренить в душе их чувство: «Вам нечего здесь делать! Это – наша земля». Вот почему все так называемые дикари поступают предательски по отношению к европейцам, даже если внешне кажется, что европейская учтивость укротила их нрав. В первый же момент, когда просыпается в их груди чувство родины, бурно разгорается пламя, теплившееся в глубине костра, – и тогда дикари не успокоятся, пока зубами своими не раздерут тела чужестранцев. Нам это кажется страшным, и на самом деле омерзительно, но не европейцы ли вынудили их совершать такие злодеяния, зачем пожаловали они в их страну? Зачем поступали как господа – требовательные, жестокие, всесильные?** Тысячелетиями жители этих мест составляли для себя весь населенный мир, – они унаследовали землю от отцов своих и унаследовали вместе с нею суровый обычай жесточайшим образом казнить всякого, кто захочет отнять у них землю, кто захочет их самих отнять у земли или вредить им на этой земле. Итак, чужеземец и враг – одно и то же для них, они поступают, как «мышеловка», такое растение, у которого корни – в земле, но которое хватает любое насекомое, стоит тому приблизиться к нему; право пожирать непрошеных гостей и невежд – акциз этой страны, прерогативы циклопа, подобные прерогативам любой европейской монархии.

Но вот на память мне приходят радостные сцены возвращения похищенного сына природы на родину, к берегам отечества, – вновь

---

* «Путешествия» Спаррмана. С. 73. Человеколюбивый путешественник включил в свой рассказ немало сведений о жестоком обращении с рабами и об охоте на них. См. С. 195, 612 и др.

** См. «*Voyage à la mer du Sud*» несчастного Мариона[11] с примечаниями издателя; предисловие Рейнгольда Форстера к «Дневнику последнего путешествия Кука» (Берлин, 1781) и рассказы о том, как ведут себя европейцы в этих странах.

лоно матери-земли принимает его. Когда благородный священник Иов-Бен-Саломон* вновь приехал в Африку, каждый фули встречал его по-братски – страстно: «он был вторым человеком в этой стране, который вернулся на родину из рабского плена». А как мечтал он вернуться домой! Все друзья, которых обрел он в Англии, все почести, которых удостоился, – все это не могло заполнить душу этого благородного, просвещенного, благонамеренного человека! И он не успокоился до тех пор, пока не убедился, что корабль повезет его на родину. И такая тоска по родине не связана ни с жизненными благами, ни со званием, – потому что готтентот Корее отложил в сторону металлические доспехи, отказался от всех преимуществ и вернулся к тяжкой жизни своих единоплеменников**. Такие примеры известны нам во всех частях света, – самые неприветливые земли словно магнит притягивают к себе уроженцев их: именно тягости, преодолевать которые с детства приучены душа и тело, внушают коренному жителю страны любовь к отечеству, любовь к самому климату; житель плодородной, благословенной долины, на которой теснится множество народов и племен, уже не так сильно чувствует эти узы, а житель европейской столицы уже почти совсем не чувствует их...

Но пришло время повнимательнее рассмотреть само слово «климат», мы только поставим проблему, потому что многие из тех, кто занимался философией человеческой истории, придавали большое значение этому понятию, а многие отрицали всякое влияние климата на людей.

III. Что такое климат и как влияет он на душевный строй и телесное сложение человека?

Самые неподвижные точки нашего земного шара – это два полюса; не будь полюсов, и не было бы возможным обращение Земли вокруг своей оси, не была бы, по-видимому, возможна и форма шара. Если бы мы знали, как произошли эти полюса, если бы мы знали законы магнетизма, знали, как магнитное поле нашей Земли влияет на различные тела, то мы, по всей вероятности, нашли бы ту основную нить, ту основу, которую природа, создавая живые существа, пронизала затем иными силами – силами более высокого порядка. Но поскольку, несмотря на ряд изящных опытов, в целом о магнетизме не известно почти ничего***, то темным остается для нас и базис всех наклонений (климатов[14]) к полярной области Земли. Быть может, некогда магнит в царстве физических сил был тем же, чем неожиданно стал он для нас теперь на море и на суше.

---

* «Собрание путешествий». Т. III. С. 127 и др.

** «Собрание путешествий». Т. V. С. 145. Другие примеры – у Руссо в примечаниях к «*Discours sur l'inégalité parmi les hommes*»[12].

*** См. «О магнетизме» Бругманса[13], тезис 24–31.

Вращение земного шара вокруг своей оси и вокруг Солнца подсказывает нам более конкретную характеристику различных климатических зон, однако и в этом случае практическое применение всеми признанных законов сложно и приводит к ошибочным результатам. Полученные в Новое время знания о чужих частях света не подтвердили существования тех географических поясов, какие предполагали древние, и вообще нарисованная ими картина основана была, с физической точки зрения, как раз на незнании других частей света. То же самое – расчет тепла и холода в зависимости от количества солнечных лучей, приходящихся на Землю, и от угла их падения. Соответствующая математическая задача решена с полной точностью, но если бы философ-историк стал делать безусловные выводы из полученного правила, то математик справедливо счел бы это извращением его результатов*. Близость моря, ветер, высота над поверхностью моря, горы, дожди, туманы – все это придает локальную определенность всеобщему закону, так что соседние области Земли могут отличаться диаметрально противоположным климатом. Кроме того, новые исследования показывают нам, что всякое живое существо по-своему воспринимает и расходует тепло, так что чем органичнее строение живого существа, чем более выражена наружно его собственная деятельная жизненная энергия, тем сильнее выражена и его способность порождать относительное тепло и холод**. Уже опровергнуты на опыте старые суждения о том, что человек может жить только в условиях такого климата, где температура воздуха не превышает температуру крови, однако новейшие системы, трактующие происхождение и действие животного тепла, еще и отдаленно не достигли такого совершенства, чтобы можно было думать о климатологии хотя бы только человеческого тела, не говоря уж о душевных силах человека и их применении, зависящем от стольких обстоятельств. Конечно, всякий знает, что тепло расширяет волокна тела, так что они становятся более вялыми, что соки от тепла разжижаются и усиливается испарение и что со временем даже твердые члены тела могут становиться ватными, слабыми; закон этот в целом вполне сохраняет силу***; с помощью этого и противоположного ему закона холода уже объяснено немало физиологических феноменов****, но что касается общих выводов, которые делались на основании такого, взятого изолированно, принципа или даже его частичного применения, что касается попыток перенести свойство вялости, испарения и т.д. на

---

* См.: *Кёстнер.* Объяснения к методу измерения температуры по Галлею в «Гамбургском журнале». Т. II. С. 429[15].

** См.: *Крелль.* Опыт о способности растений и животных порождать и уничтожать тепло. Хельмштедт, 1778; опыты о способности животных порождать холод Крофорда в «Philosophical transactions». Vol. 71. P. 2[16].

*** «Патология» Гаубиуса. Гл. V, X, – логика всякой патологии[17].

**** См.: Монтескье, Кастийона, Фолконера[18], не говоря о множестве худших сочинений типа «Esprit des nations», «Physique de l'histoire»[19].

целые народы, на целые большие области Земли и, более того, на тонкую сферу деятельности человеческого духа, то следует сказать: чем более остроумно, чем более систематично продумывали и формулировали подобные выводы, тем рискованнее были они. Их шаг за шагом опровергают примеры, взятые из истории, даже физиологические аргументы, – потому что одновременно действует много сил, зачастую противоречивых сил. Даже великого Монтескье упрекали в том, что климатический дух законов он основал на обманчивом опыте с «бараньим языком»[20]. Конечно, люди – это податливая глина в руках климата, но пальцы создают такие разнообразные формы, а противодействующие законы столь многообразны, что, быть может, лишь сам Гений человечества может составить уравнение всех этих сил.

* * *

Не только жаром и холодом веет на нас воздух, но воздух, согласно новым наблюдениям, – это огромное хранилище всяких благоприятных и вредных для нас сил. В воздухе действует электрический огненный поток, стихия могучая и еще не изученная в своем животном влиянии, ибо мы мало что знаем и о внутренних законах ее природы, и о том, как человеческое тело воспринимает и перерабатывает ее. Мы живем, вдыхая воздух, но что это за бальзам, что за питательная сила жизни заключена в воздухе, – мы не знаем. А если мы еще прибавим сюда почти неисчислимое множество местных особенностей – в зависимости от испарения тел, если мы вспомним примеры, когда ужасные явления порождались невидимым злокачественным семенем, которому врач и может только дать название «миазмов»[21], причем целые столетия не способны справиться с их последствиями, – если вспомним о неведомом яде, приносящем оспу, чуму, сифилис, – болезни, пропадающие с приходом новых времен; если мы задумаемся над тем, что мы не знаем не только, что такое герматтан и саммиэль, сирокко и северо-восточный ветер Татарии, но и вообще, что вызывает ветры на земном шаре и что вызывается самими ветрами, то мы поймем, что нам недостает еще целого множества исследований для того, чтобы мы могли приступить хотя бы к физиолого-патологической климатологии, не говоря уж об общей климатологии всех умственных и эмоциональных сил человека! Но всякий проницательный и остроумный опыт ждет тут славный венец, и несомненно – потомство наградит наш век такими благородными венцами*.

* * *

Если говорить теперь о высоте, на которой расположена та или иная область земли, о ландшафте, о плодах и растениях, о пище и питье людей, об образе жизни человека, о его занятиях, об одежде, даже об

---

* См.: *Гмелин.* О новых открытиях в учении о воздухе. Берлин, 1784[22].

излюбленных позах человека, о его развлечениях и искусствах и тьме прочих обстоятельств, которые производят свое действие в живой взаимосвязанности целого, то все это составляет картину климата, всякий раз приносящего с собой столько перемен. Чья рука способна хотя бы упорядочить весь этот хаос причин и следствий и создать целое, где всякому явлению, всякой области будет воздано по заслугам и ничто не будет ни переоценено, ни недооценено? Самое лучшее – следовать Гиппократу*, проницательно и просто характеризовать отдельные области, а затем – без торопливости и спешки – переходить к общим выводам. Естествоиспытатели и врачи – вот кто тут physicians, ученики природы и учителя философии: благодаря им уже не одна область земли внесла свой вклад в общее учение о климате, о влиянии климата на человека; и потомство будет благодарно им. Но сейчас речь у нас не может идти об отдельных наблюдениях, – мы пойдем своим путем и ограничимся общими замечаниями.

1. *Коль скоро Земля наша – это шар, а суша – это поднимающаяся над поверхностью моря возвышенность, то благодаря множеству обстоятельств на Земле поддерживается климатическая общность, необходимая для жизни всех живых существ.* Не только день и ночь и не только хоровод сменяющих друг друга времен года периодически изменяют климат каждой области земли, но здоровью всего живущего благоприятствует определенное сочетание стихий, без которого решительно все погрузилось бы в дремоту и разложение, – это спор стихий, противодействие суши и моря, гор и низменностей, периодически дующих ветров, возникающих вследствие движения земного шара, смены времен года и времен суток и бесчисленных конкретных причин. Итак, одна атмосфера окружает нас со всех сторон, в одном электрическом море живем мы все, но и воздух, и электрическое море, а вероятно, и магнитный поток пребывают в вечном движении. Море испаряет влагу, а горы ее притягивают и изливают ее на землю потоками дождя и рек. Ветры сменяют друг друга, и так года и цепочки лет исполняют сумму своих климатических дней. Разные области, разные времена поддерживают друг друга и несут друг друга на своих плечах. Все взаимосвязано на нашем шаре земном. Если бы Земля была плоской или прямоугольной, как фантазировали китайцы, то, конечно, на углах ее могли бы рождаться климатические уроды, о которых не дает ни малейшего представления правильное строение и плавное движение существующих на земле живых организмов. Оры ведут свой хоровод вкруг трона Юпитера, а что слагается в их плавных шагах, – это лишь несовершенное совершенство, основанное на соединении разнородных явлений; но из проникновенной любви и бракосочетания стихий рождается дитя природы: чувственная правильность и красота.

---

* См. «De aere, iocis et aquis» Гиппократа[23], особенно вторую часть. Для меня Гиппократ – главный из всех, кто когда-либо писал о климате.

2. *Вся населенная живыми существами земля на земном шаре собрана в известных областях, где все живое может существовать в наиболее удовлетворяющем их природу виде, – географическое положение частей света влияет на их климат.* Почему в Южном полушарии холод начинается уже в такой близи к линии экватора? Естествоиспытатель ответит так: «В Южном полушарии слишком мало твердой земли, а потому холодные ветры и айсберги Южного полюса поднимаются высоко на север». Мы сразу же догадываемся, какая судьба ждала бы нас, если бы вся суша на нашей Земле была бы разделена на острова и разбросана по всей поверхности шара! Теперь три части света, соединенные между собой, греют друг друга; четвертая[24] лежит на удалении от них, а потому и климат там холоднее, а на Южном океане, чуть южнее линии экватора, суши мало, а потому очень скоро начинается вырождение и вырастают уродливые формы. Итак, нужно предполагать, что более совершенных животных тут будет меньше; Южное полушарие было предназначено для того, чтобы служить водным резервуаром для всего земного шара, – для того, чтобы Северное полушарие могло пользоваться лучшим климатом. И географически, и климатически роду человеческому суждено было жить вместе, по соседству, чтобы один народ передавал другому и климатическое тепло, и прочие благодеяния, – но, увы, передавал и чуму, и болезни, и всяческие климатические пороки.

3. *То, что вся суша примыкает к горным хребтам, послужило причиной бесчисленных изменений климата, в котором живут бессчётные живые существа, и препятствием к вырождению человеческого рода, насколько вообще было возможно воспрепятствовать ему.* Горы нужны были земле, но населен только один горный хребет – монгольско-тибетский, а высокие Кордильеры и другие их собратья не населены. И пустынь на земле стало меньше оттого, что вся суша примыкает к горным хребтам, – потому что горы как бы отводят влагу небесную на землю и изливают рог изобилия плодородными потоками. Пустынные берега, холодные или мокрые морские обрывы возникли лишь позднее, и люди тоже могли заселить их лишь позднее, уже напитавшись жизненными силами. Несомненно, что долина Кито была заселена раньше, чем Огненная Земля, Кашмир – раньше, чем Новая Голландия[25] или Новая Земля. Лежащие в середине обширные пространства, область с самым наилучшим климатом расположена между морем и горными хребтами, – на ней воспитывался род человеческий, и теперь еще это наиболее заселенная часть земли. Но коль скоро климат – это совокупность сил и влияний, совокупность, служащая всему живому в своей многогранной взаимосвязи, совокупность, в которую и каждое растение, и каждое животное вносят свою лепту, нет ни малейшего сомнения в том, что и здесь человек поставлен господином земли, чтобы изменять ее своим искусством. С тех пор как человек похитил огонь с небес и взял в руки железо, с тех пор как он заставил жить вместе с ним животных и даже

своих собственных собратьев, принудил служить себе и растения и животных, он многообразно содействовал изменению земли. Европа прежде была болотистым лесом, то же и другие области земли; теперь непроходимая чаща прорежена, а вместе с климатом изменились и сами обитатели земли. Не будь порядка, не будь искусства, и Египет погряз бы в илистых наносах Нила, но египтяне отвоевали сушу у Нила; здесь, как и во всей Азии, все живое приспособилось к климату, созданному искусством людей. Мы могли бы представить себе человеческий род в виде горстки смелых великанов – но только совсем не исполинского роста!– они постепенно спускаются с гор, покоряют землю и изменяют климат своими слабыми руками. А чего достигнут они в конце концов, покажет будущее.

4. Если допустимо говорить что-либо общее о том, что целиком зависит от конкретного – от места и времени, то я приведу сейчас те пункты, которые указывает Бэкон* в своей теории катаклизмов, и только соответственно изменю их. Климат действует на тела любого рода, но прежде всего на менее плотные, как-то: жидкости, воздух, эфир. Действие климата распространяется не столько на индивидов, сколько на массы тел, и действие на индивидов происходит через посредство масс. Действие осуществляется не в отдельные мгновения, а в течение целых периодов времени, и нередко открывается, становится явным благодаря незначительным обстоятельствам и с запозданием. Наконец: климат не принуждает, а склоняет, – во всех нравах, во всем образе жизни укоренившихся в своей почве народов можно заметить трудно уловимую предрасположенность к определенному климату; заметить эту предрасположенность можно, но наглядно представить ее как таковую весьма трудно. Быть может, найдется когда-нибудь такой человек, чуждый преувеличений и предубеждений, который отправится в путь только затем, чтобы исследовать *дух климата*. А наше дело, скорее, видеть те живые силы, ради которых создан климат и которые уже самим своим существованием многообразно изменяют его.

IV. Генетическая сила породила все органические образования на Земле, а климат лишь содействует или противодействует этой силе

Кто в первый раз увидит чудо творения – возникновение живого существа, – как будет он поражен!** Из мельчайших шариков, обтекаемых соками, складывается живая точка, и из этой точки вырастает живое

---

* Baco de augm. scient. I, 3[26].

** *Гарвей.* De generatione animalium; ср. *Вольф.* Theoria generationis [27].

творение. Вот уже видно сердце, и оно, пока слабое и не совсем еще сложившееся, начинает биться; кровь, которая появилась еще раньше сердца, начинает окрашиваться в красный цвет; вот появляется голова, вот появляются глаза, рот, уши, все члены тела. Еще нет грудной клетки, а уже скрываемые ею части тела живут своей жизнью; еще нет желудка и кишок, а уже открывается клюв. Маленький мозг еще не заперт в черепную коробку, сердце – в грудную клетку; ребра, кости – словно паутина; вскоре показываются крылья, ноги, пальцы, бедра, а живое все еще растет. Обнаженное прикрывается – мозг, грудь; еще висят желудок, внутренности. Но они складываются в целое, все больше материи идет на их строение, кожные покровы срастаются, брюшная полость закрывается – животное созрело для жизни. Теперь оно уже не плавает, а лежит – спит или бодрствует, оно зовет, ищет выхода и выходит на свет, и все части его тела полностью сложились и развились. Как назвал бы все это человек, впервые увидевший это творение живого? Тут действует, сказал бы он, *живая органическая сила,* – не знаю, откуда взялась она, не знаю, что такое она в существе своем, но что она есть, что она жива, что она собирает вокруг себя органические части, изымая их из хаоса однородной материи, – это, как вижу я, невозможно отрицать.

Если бы он наблюдал с еще большим вниманием, если бы он увидел, что всякая органическая часть строится, слагается как бы в присущем ей действии, actu: сердце возникает не как-то иначе, а именно так, что стекаются воедино протоки, которые были уже и прежде; когда можно разглядеть желудок, то материя пищеварения, оказывается, уже заключена внутри его... Таковы все вены, все сосуды: то, что содержится в них, появилось прежде того, что заключает в себе содержание; жидкое появилось прежде твердого, дух прежде тела, которым он просто облекается... Если бы наш человек заметил все это*, что сказал бы он? Только одно: незримая сила творит не по случайности и произволу, но она, скорее, лишь *открывает* себя в своем внутреннем существе. Она становится зримой в присущей ей массе вещества и, – какой бы она ни была, откуда бы ни взялась, – должна заключать *в себе самый тип своего явления.* Новое живое существо – не что иное, как осуществившаяся в реальности идея творящей природы, – природы, которая мыслит в действии..

Если бы наш наблюдатель продолжал и заметил: материнское или солнечное тепло способствует развитию живого существа, но для того чтобы начал расти живой плод, недостаточно наличной материи и тепла, нужно, чтобы в него влил жизнь отец, – что предположил бы он? Только одно: начало тепла, по всей видимости, родственно началу жизни, которому оно благоприятствует, но, по сути говоря, причина, которая приводит в действие органическую силу, заключается в соединении двух живых существ, только тогда органическая сила начинает придавать

* *Вольф.* Theoria generationis. P. 169.

живую форму мертвому хаосу материи. Так построены все мы – так построены все живые существа, каждый согласно определенному виду органического строения, но все согласно одному-единственному неоспоримому закону аналогии, господствующему во всем живом, что только есть на нашей Земле.

Наконец, наш наблюдатель узнал бы, что живая сила не оставляет и живое творение, сложившееся уже во всех своих частях, но *продолжает деятельно открываться в нем,* уже не творя, потому что существо сотворено, но поддерживая в нем жизнь, питая, одухотворяя его. Как только живое существо оказывается на свете, оно делает все то, для чего было сложено оно, то есть отчасти и то, что уже делало оно, когда складывалось и создавалось, – оно открывает рот, а открываться было ведь первым движением рта, оно заглатывает воздух своими легкими, оно издает звуки, оно переваривает пищу желудком, оно сосет молоко губами, – оно растет, живет, все внутренние и внешние части приходят друг другу на помощь; совместно действуя и страдая, они выкидывают излишки, превращают материю в самих себя, помогают друг другу переносить боль и болезни – тысячекратное, неизведанное чудо природы. Что сказал бы, что мог бы сказать наблюдатель, впервые увидевший все это? Только одно: врожденная, генетическая жизненная сила по-прежнему присуща, *имманентна* живому существу, созданному благодаря ей, она пребывает во всех его частях и в каждой из них по отдельности, согласно его природе, то есть пребывает органически. Повсюду в живом существе жизненная сила присутствует многообразно, ибо только благодаря ей живое существо есть живое целое, которое сохраняется, растет, действует.

И эта жизненная сила – во всех нас; в здоровье и болезнях она всегда с нами, она усваивает себе подобные частицы, она выделяет чуждые, отталкивает враждебные; она утомляется к старости и в некоторых частях тела живет еще и после смерти. Жизненная сила – не то же самое, что разумная способность нашей души, потому что, конечно же, не разумная способность сама для себя создала это тело, неведомое ей, используемое ею только как несовершенное и чуждое ей орудие мыслей. Но впрочем, и разумная способность связана с жизненной силой, потому что вообще все силы природы связаны друг с другом; и мышление зависит от органического строения, от здоровья тела, и все желания и влечения души неотделимы от животного тепла. Все это – факты природы, и их не опрокинет никакая гипотеза, не опровергнет никакое слово схоласта; в признании этих фактов заключается древнейшая философия Земли и, по всей вероятности, будет заключаться и самая последняя на Земле философия*. Сколь достоверно знаю я,

* Гиппократ, Аристотель, Гален, Гарвей, Бойль, Шталь, Глиссон, Гаубиус, Альбин и многие другие великие наблюдатели или философы допускали, на основании опыта, существование такого деятельного жизненного начала, но только называли его поразному или недостаточно отличали от иных, близких сил.

что мыслю, хотя и не знаю природы мыслительной силы, столь же достоверно чувствую я, что живу, хотя и природы жизненной силы тоже не знаю. Жизненная способность – прирожденная, органическая, генетическая, основание природных сил во мне, внутренний Гений моего существования. Не по какой другой причине человек – самое совершенное среди живых существ на Земле, а потому что самые тонкие органические силы, какие только известны нам, действуют у него в самых тонких орудиях органического строения. Человек – самое совершенное животное творение, прирожденный Гений, заключенный в органическом облике человека.

* * *

Если применявшиеся нами и неоспоримо основанные на опыте принципы были верны, то мы можем сказать, что видоизменяться и перерождаться наш род может только через посредство органических сил. Как бы ни воздействовал климат, у каждого животного, человека, растения – свой климат, ибо внешние воздействия всякий воспринимает по-своему, органически их перерабатывая. Даже и самый незначительный нерв человека страдает не как камень, не как пузырек воды. Отметим некоторые ступени, или оттенки, перерождения.

Первая ступень видоизменения и перерождения человеческого рода выражается во внешних частях тела, не потому что эти части страдают или действуют отдельно от других, а потому что внутренне присущая нам сила действует, выявляясь вовне. Чудеснейший механизм тела устроен так, что жизненная сила стремится изгнать из организма все чуждое, все мешающее ей, потому и самые первые изменения в органическом строении не могут не выявиться наружно, на границах ее царства, – самые первоначальные, бросающиеся в глаза различия между людьми касаются кожи и волос. Природа стремилась сохранить органическое строение в его внутреннем существе и потому обременительную для себя материю насколько могла вывела наружу.

Если внешняя сила продолжала вызывать иные изменения, то они могут сказываться только на тех путях, которыми творит сама живая сила, – через посредство *питания и размножения*. Негр рождается с белой кожей*, а части тела, которые прежде других темнеют, служат признаком того, что миазмы изменений передаются генетически, а окружающий воздух только способствует их развитию. Годы возмужания, а кроме того, множество наблюдений над больными показывают нам, что сил пищеварения и размножения занимают значительное место в человеческом теле. Благодаря этим силам оказываются связанными между собой далеко расположенные друг от друга части тела, и именно такие члены тела страдают вместе, если народ начинает вырождаться.

---

* См. книгу VI.

Поэтому, помимо кожи и половых органов наибольшие изменения происходят именно с ушами, шеей и голосом, носом, губами, лицом и т.д.

Наконец, коль скоро жизненная сила приводит в общую связь решительно все части организма и органическое строение – это многократно замкнутый круг, в котором нет ни начала, ни конца, то понятным становится, почему самое значительное, более всего проникающее в глубь организма изменение должно в конце концов затронуть и *самые твердые части* тела, ибо все они, с головы до пят, вступают в совершенно новые отношения между собой из-за того, что терпит жизненная сила. Но на такое превращение всего организма природа решается с большим трудом; даже когда рождается урод, в котором насильственно разрушен художественный механизм природы, у природы отыскиваются средства возместить органический порок, подобно тому как мудрость полководца сказывается в умении отступать. Однако органическое строение разных народов учит нас тому, что возможно и самое далеко заходящее превращение человеческого организма, возможно потому, что машина нашего тела составляется тысячью различных способов, она тонко устроена, подвижна, а воздействует на нее бесконечное множество разных сил. Но и самое глубокое превращение все же осуществляется изнутри, внутренними силами. В течение долгих веков народы уродовали головы, протыкали носы, сдавливали ступни, вытягивали уши, – природа все равно шла своим путем: если некоторое время ей приходилось уступать, доставлять соки искалеченным членам тела, то при первой же возможности природа выходила на свободу и завершала строение более совершенного, задуманного ею типа. Иначе было, если уродство оказывалось генетическим и совершалось на путях самой природы; тут всякое уродство, даже извращение отдельных членов, уже переходило по наследству. Не говорите, что искусство или солнце сплюснули нос негра. Ведь строение носа находится в прямой зависимости от всей формы черепной коробки, подбородка, шеи, позвоночника; спинной мозг – это как бы ствол дерева, вокруг которого растут грудная клетка и все члены тела, поэтому сравнительная анатомия убедительно показывает*, что вырождение затрагивает всю фигуру и ни одна из твердых частей не может измениться так, чтобы не изменилось целое. Именно поэтому весь облик негра наследуется, а обратные изменения могут произойти только генетическим путем. Переселите чернокожего в Европу – он останется тем, чем был; но жените его на белой женщине, и одно-единственное поколение изменит то, чего не способен будет изменить за целые века климат, отбеливающий кожу. Таково органическое строение всех народов; тот край, та область земли, где они живут, лишь очень медленно изменяет его, а при смешении с другими нациями все-

* *Зёммеринг.* О физических различиях негра и европейца. Майнц, 1784[28].

возможные признаки монгола, китайца, американца исчезают спустя всего несколько поколений.

* * *

Если моим читателям угодно идти и дальше тем же путем, сделаем еще несколько шагов вперед.

1. Всякий наблюдатель, наверное, обратил уже внимание на то, что *при бесчисленном разнообразии типов органического строения людей известные формы и пропорции не только повторяются, но и группируются между собой и встречаются только вместе.* Для художников это – дело давно решенное; статуи древних покажут нам, что пропорцию, или симметрию, как называли они это явление, они видели не просто в размерах членов тела, но и в их гармоническом сложении, соответствующем душе целого. Характеры их богов, богинь, юношей, героев были совершенно определенны по своей позе и выражению, так что отчасти они известны нам уже и по отдельным частям статуи, и невозможно придать фигуре руку, грудь, плечо, принадлежащие другому типу. В каждой фигуре живет гений конкретного индивида, и он проникает все тело своим дыханием, словно тело – только оболочка для духа; дух целого выявляется в каждой даже самой незначительной детали позы и движения. Среди новых художников Поликлет нашего отечества Альбрехт Дюрер тщательно исследовал меру, определяющую самые различные пропорции человеческого тела*, – каждому сразу же становится понятным, что строение всех частей целого меняется вместе с изменениями пропорций. А что было бы, если бы мы соединили дюреровскую точность с присущей древним глубиной проникновения в душу и стали бы изучать, как выражаются в согласном строении целого различные типы и характеры людей? Как мне кажется, физиогномика вступила бы тогда на свой старый, естественный, давно проторенный путь, на который указывает ее наименование, и была бы уже не этогномикой и не техногномикой[30], а истолковательницей *живой природы* конкретного человека, как бы изъяснительницей зримо являющегося гения. В этих рамках она всегда оставалась бы верна аналогии целого, того, что наиболее красноречиво выражено в человеческом лице, а сестрой ее была бы тогда патогномика, помощницей и подругой – физиология, а также семиотика[31]; ведь вся человеческая фигура – это только оболочка, скрывающая внутренний механизм, это во всем согласованное целое, где каждая буква принадлежит слову, но где смысл только у целого слова. Вот как практикуем мы физиогномику в самой обыденной жизни: опытный глаз врача видит, каким болезням подвержен человек по своему строению, по всей своей фигуре, – и даже физиогномический взгляд детей способен во внешнем

* *Альбрехт Дюрер.* Четыре книги о пропорциях человеческого тела. Нюрнберг, 1528[29].

облике человека, то есть в той фигуре, в которой открывается гений его души, разглядеть породу (physis) этого человека.

Далее. *Нельзя ли учесть все эти формы, все эти гармонии соответствующих частей, приведя их, как особого рода буквы, в порядок алфавита?* Конечно, полноты здесь никогда не будет, потому что это и не алфавит какого-либо языка, однако тщательное изучение таких живых ордеров откроет широкий простор для характеристики человеческой природы в основных ее типах. Если при этом не ограничивать себя Европой и тем более не принимать за образец здоровья и красоты привычный нам идеал, а изучать живую природу во всех гармониях созвучных частей, какие только встречаются на поверхности Земли, во всем их многообразии, то наградой за такой труд несомненно будут многочисленные открытия гармонии и мелодии живых сил в строении человека. И, быть может, изучение естественного созвучия форм в человеческом теле поведет нас дальше, чем учение о темпераментах и комплекциях человека, над которым трудятся долго и почти без успеха. И самые внимательные наблюдатели достигали тут лишь малых результатов, потому что для обозначения всего известного многообразия черт им недоставало определенного алфавита*.

2. Живой физиологии следовало бы идти впереди и нести светоч знания, а такой *наглядной истории формосложения и видоизменения человеческого рода* – идти за нею; тогда шаг за шагом прояснилась бы для нас мудрость природы, которая слагает и изменяет формы, согласно единому закону блага, закону, что тысячью различных способов возмещает всякий недостаток и порок. Почему, например, мать-природа выделила различные виды живых существ? Только потому, что так лучше может сохраняться и совершенствоваться самый тип их строения. Мы не знаем, как было раньше, какие из ныне существующих видов животных совокуплялись между собой прежде, в более раннюю эпоху Земли, но теперь мы видим границы между видами, *генетические границы, строго проведены.* Дикий зверь не смешивается с чуждым ему видом, а если безошибочный инстинкт животного извращается насильственно, под влиянием человеческого искусства или под влиянием того роскошного безделия, к которому привыкают даже раскормленные домашние животные, то все же непреложные законы природы не превозмочь и роскошеству. Или смешение пород остается бесплодным, или же способность к деторождению сохраняется у помеси только в нескольких поколениях. Но даже если рассматривать такие помеси, то у них отклонения происходят только в самых внешних чертах строения, как наблюдали мы и при вырождении человеческого рода; а если бы изуродовался сам внутренний, существенный тип органического строения, то

---

* Очень упрощенно это учение изложено в «Собрании разных сочинений» Метцгера. Заслуги принадлежат также Платнеру[12] и др.

ни одно существо не было бы жизнеспособным. Откуда явствует, что ни кентавр, ни сатир, ни Сцилла, ни Медуза не могут быть порождены по внутренним законам творящей природы и существенного генетического типа каждого вида.

3. *Наконец, самым тонким средством соединить многообразие и постоянство форм во всех разновидностях типа было для природы создание двух различных полов и их совокупление.* Как удивительно тонко, с каким духовным смыслом смешиваются черты родителей в лицах и телах детей! Как будто души родителей были влиты в детей в различных отношениях и пропорциях и как будто распределились между ними бесчисленные природные силы органического строения. Что по наследству переходят болезни и черты лица, даже склонности и предрасположенности разного рода, – это всем прекрасно известно, – иногда в потоке поколений вдруг чудесным образом всплывают лица давно умерших предков. Столь же очевидно, хотя и почти необъяснимо влияние душевного и физического состояния матери на плод, который вынашивает она в своем чреве, – печальные следы такого влияния сопровождают иной раз человека всю жизнь.

Итак, два жизненных потока свела воедино природа, чтобы наделить рождающееся живое существо нераздельной природной силой, чтобы эта сила пребывала теперь, соединив в себе черты обоих родителей. Не один опустившийся род поднялся благодаря здоровой и бодрой природе-матери, не один лишенный сил юноша проснулся живым сыном природы в объятьях жены. И в одухотворенности человеческого строения Эрот – сильнейший из богов. Любовь облагораживает роды и павшие поднимает, светоч божества зажигает своими искрами свет человеческой жизни, и он горит повсюду – здесь слабее, там ярче. Но ничто так не противно пластическому Гению человеческих натур, как холодная ненависть и гадкая условность, которая хуже всякой ненависти. Она заставляет жить вместе людей, между которыми нет ничего общего, она увековечивает существа жалкие, несогласные с самими собою. Ни одно животное не падало так низко, как человек, способный на подобное извращение своей природы.

V. Заключительные замечания о споре генезиса и климата

Если только я не ошибаюсь, сказанное позволяет хотя бы в наметках провести линию границы и обозреть спор генезиса и климата. Так, никто не потребует, чтобы роза росла в чуждом ей климате, чтобы собака превращалась в волка, ибо природа окружила четкими границами все существа и скорее согласна допустить, чтобы вымер целый вид, чем извращать и губить его строение в самом его существе. Но что роза может вырождаться, что собаке может быть присуще что-то волчье – это только сообразно с естественной историей, и здесь вырождение и ви-

доизменение происходят так, что на органические силы оказывает свое быстрое или постепенное действие сила противоположно направленная. Действие каждой спорящей силы значительно, но каждая творит сообразным ей способом. Климат – это хаос причин, весьма разнородных и действующих постепенно и по-разному, пока они, наконец, не достигают глубин существа и не изменяют самое существо через посредство привычки и генезиса; жизненная сила противодействует решительно, долго, единообразно и однородно, но поскольку и она не независима от всего, что существо терпит извне, то и вынуждена уступить со временем внешнему насилию.

Итак, вместо того чтобы продолжать спорить, что́ главное – генезис или климат, я предпочел бы провести конкретные и весьма поучительные исследования и снять обильную жатву на просторах истории и географии. Если взять, например, португальские поселения в Африке, испанские, голландские, английские и немецкие в Ост-Индии и Америке, то мы знаем, как повлиял на одни образ жизни туземцев, как на другие повлиял сохраненный, совсем не изменившийся, прежний европейский образ жизни. Исследовав такие вопросы, можно было бы перейти и к более древним временам – к переселению малайцев на острова, арабов – в Африку и Ост-Индию, турок – в захваченные ими страны, затем можно было бы перейти и к монголам, и к татарам, и ко всей той массе племен, которые заполонили всю Европу во время великого переселения народов. Никогда не следовало бы забывать при этом, из какой климатической зоны происходит тот или другой народ, какой образ жизни принес он с собой, какую землю он нашел на новом месте жительства, с какими народами смешивался, какие перемены и перевороты пережил на новом месте пребывания. Если такой расчет распространить и на более доступные нам времена, то, быть может, допустимо было бы делать некоторые выводы и о более древних переселениях народа, известных нам только из легенд, рассказанных у старинных авторов, или из свидетельств мифологии и языка; ибо нужно признать, что все или, по крайней мере, большинство народов рано или поздно переселялись с одних мест на другие. В результате мы имели бы *физико-географическую историю происхождения и видоизменения человеческого рода* согласно климатам и эпохам, с приложением карт для целей наглядности; такая история шаг за шагом повела бы нас к самым важным результатам.

Не забегая вперед и всю такую работу предоставляя будущему исследователю, я приведу лишь немногие примеры из более новой истории, они послужат пояснением ко всем предыдущим моим разысканиям.

1. Редко шли на пользу народу слишком поспешные и торопливые переселения в противоположное полушарие или в совершенно иные климатические условия. Природа не случайно разделила отдаленные

друг от друга страны. Вся история завоеваний, торговых обществ и прежде всего история миссионеров представит нам печальное, а отчасти и смешное зрелище, если извлечь ее из собственных рассказов переселенцев и беспристрастно рассмотреть все последствия таких переездов. С ужасом и отвращением читаешь известия о том, как разные европейские нации погрязают в наглой роскоши, предаются бесчувственной гордыне и уже не имеют сил даже для того, чтобы наслаждаться и сострадать. Не человеческие лица, а раздувшиеся, напыщенные личины: они не способны уже на благородное, деятельное наслаждение, по жилам их незаметно для них течет смерть – отмщение их злодеяниям. Прибавьте сюда всех несчастных, все бесчисленные толпы, которым обе Индии стали братской могилой, прочитайте у английских, французских, голландских врачей описания болезней, настигавших европейца в чужих частях света, посмотрите на судьбу благочестивых миссионеров, которые так часто не желали расстаться со своим монашеским одеянием, с европейским образом жизни, – какие поучительные результаты! И они тоже, увы! принадлежат истории человечества, они встают перед нашим взором.

2. *И даже все трудолюбие европейских поселенцев в заморских колониях не способно иной раз противостоять чужому климату.* «В Северной Америке, – пишет Кальм*, – европейцы быстрее мужают, но и быстрее стареют и умирают, чем в Европе. Нередко можно видеть детей, которые на все вопросы отвечают на удивление быстро и с готовностью, но они не достигают возраста европейца. Родившийся в Америке европеец вряд ли доживет до восьмидесяти, девяноста лет, тогда как первые поселенцы, родившиеся в Европе, нередко достигали весьма преклонного возраста; люди, родившиеся в Европе, обычно умирают позже уроженцев Америки, если их родителями были европейцы. Женщины раньше утрачивают способность к деторождению, некоторые уже на тридцатом году; кроме того, во всех европейских поселениях замечали, что уроженцы их теряют зубы раньше времени, тогда как у туземцев зубы до самой смерти остаются здоровыми, белыми, красивыми». Несправедливо заключали из подобных высказываний, что древняя Америка – земля нездоровая для своих же собственных детей; нет – мачехой была она только для чужестранцев, у которых иная физическая конституция и иной образ жизни; так это объясняет Кальм.

3. *Не надо думать, будто люди в силах единым махом обратить чужую часть света в Европу,* стоит только порубить леса и возделать землю; все живое творение – это одна живая взаимосвязь, и изменять ее можно только с большой осторожностью. Тот же самый Кальм со слов живущих в Америке шведов рассказывает, что, как только были вырублены

* «Гёттингенское собрание путешествий». Т. X, XI[13], в разных местах.

леса и вспахана земля, уменьшилось количество съедобных птиц, которые дотоле в несметных количествах жили в лесах и на берегах озер, сократилось количество рыбы, которой раньше буквально кишели реки и ручейки, обмелели озера, реки, ручьи, меньше стало дождей, хуже стала расти трава в лесах и т.д. Одним словом, кажется, что эта вырубка лесов повлияла и на здоровье людей, и на их долголетие, и на характер времен года и т.п. «Американские туземцы, – продолжает Кальм, – прежде, когда здесь не было европейцев, доживали до ста с лишним лет, а теперь они живут едва ли половину этого срока, и повинна в этом не только убийственная водка и изменившийся образ жизни, но, вероятно, и исчезновение многих прекрасно пахнувших трав и мощных растений, запах которых по утрам и вечерам был таким сильным, как будто ты находишься в саду. Зима наступала раньше и была холоднее, постояннее, здоровее, – теперь весна запаздывает и, как все времена года, бывает менее постоянной и сопровождается резкой сменой погоды». Так рассказывает Кальм, и хотя сообщения его относятся только к одной местности, можно представить себе, что природа не терпит слишком быстрых, слишком резких переходов, даже если люди делают самое лучшее дело – возделывают землю. Не от того ли так немощны туземные американские племена в Мексике, Перу, Парагвае, Бразилии, которые, как говорится, «получили культуру», что всю землю, весь образ жизни им переменили, а натуру европейского человека дать взамен не могли? Племена, которые продолжают жить в лесах, как жили их предки, по-прежнему сильны и мужественны, они доживают до глубокой старости, они цветут, как сами деревья в этих местах, а на возделанных землях, лишенные освежающей тени, они печально гибнут, душа их, их крепкий дух – все осталось в лесах. Достаточно прочитать трогательную историю одинокого, цветущего семейства, которое Добритцхофер* вывел из непроходимой чащобы, в которой они жили, – мать и дочь вскоре умерли, а оставшемуся в живых сыну и брату они являлись во сне до тех пор, пока он тихо и мирно не отправился вслед за ними. Все это и объясняет нам, как может случаться так, что вот племена только что были храбрыми, жизнелюбивыми, мужественными – и вдруг стали вялыми и изнеженными, какими описывают их парагвайские иезуиты и путешественники в Перу, – их немощность заставляет страдать даже читателя. Быть может, подобное насилие над природой и принесет где-то свои добрые плоды** – с течением времени, но, хотя теоретически это возможно, я сомневаюсь, чтобы это было так; но уж, во всяком случае, никакого блага нет здесь для первых поколений – и для тех, кто несет сюда свою цивилизацию,

---

* *Добритцхофер.* История абипонцев. Т. I. С. 114.

** *Вильямсон.* Опыт объяснения причин изменившегося климата.– В «Берлинских собраниях». Т. VII[34].

и для тех, кто принимает новые нравы; ведь природа – это всегда живое целое, ей нужно кротко следовать, улучшать ее нужно не спеша, она не любит, чтобы ею овладевали силой. Ни из одного дикаря, которого привозили в Европу и бросали в суету европейских столиц, не вышло ровным счетом ничего, – его ставили на блестящую маковку башни, а его тянуло вниз, в ту долину, где он жил; на родину дикарь возвращался ни к чему не способным и испорченным, и прежний образ жизни был уже не пригоден для него. То же самое – предпринятая европейцами попытка насильственно перестраивать климат.

О сыновья Дедала, волчки, которыми играет Судьба на Земле, какие дары были в ваших руках! Вы могли принести счастье народам, поступая с ними человечно и бережно, – нет, по другому пути повела вас жажда выгоды, гордыня, упрямство! Все, кто приходил в чужие страны, чтобы жить одной жизнью с туземцами, были встречены ими с гостеприимством и любовью; в конце концов оказывалось, что образ жизни, который ведут туземцы, не столь уж странен, – но как мало было таких гостей в заморских землях. Редко европеец заслуживал похвалы: «Он умен, как мы!» Разве природа не мстит за любое злодеяние, совершенное по отношению к ней? Где все эти завоевательные походы, набеги былых времен, куда делись торговые поселения людей, если люди эти приходили в чужую землю, чтобы грабить и разорять? Они исчезли как дым, их поглотило кроткое дыхание климата, и туземцу нетрудно было опрокинуть дерево, лишенное корней в почве. А тихие побеги, во всем следующие законам природы, не только растут, но и сеют на новой земле благотворные семена культуры. Грядущее тысячелетие решит, какую пользу и какой вред принес в иные климаты Гений Европы, какую пользу и какой вред принесли Гению Европы другие климаты.

Книга восьмая

От органического строения и природных сил человека переходя к духу всего человечества, смея изучать изменчивые особенности живущих на широких просторах земного шара народов по чужим, неполным и даже ненадежным источникам, я чувствую себя человеком, который плыл по волнам морским, а теперь должен взмыть к облакам и летать по поднебесью. Метафизику легче. Он берет понятие души, точно определяет его и выводит из него все, что вообще можно вывести, где бы, в каких бы обстоятельствах ни обреталась эта самая душа. А для философии истории основой может быть не абстракция, но только сама история; и философ, если не свяжет бесчисленные факты и не приведет их к общему итогу, рискует получить ложные результаты. И, однако, я попробую идти таким путем и, не поднимаясь в воздух, лучше буду плавать вдоль берегов, держась достоверных фактов или таких, достоверность которых всеми признается, и от этих фактов буду отделять свои предположения, а людям более счастливым, чем я, предоставлю возможность лучше упорядочить все факты и более удачно воспользоваться ими.

I. Присущий человеческому роду характер чувственности изменяется в зависимости от климата и органического строения, но к гуманности ведет лишь человечность чувств

У всех народов, за исключением, может быть, только больных альбиносов, – пять или шесть обычных человеческих чувств; бесчувственные, о которых рассказывает Диодор[1], глухонемые народы – это сказка. Но кто будет обращать внимание на все различие внешних чувств, кто подумает о неисчислимом множестве людей, населяющих земной шар, тому покажется, что перед ним – целый мировой океан, где нет конца набегающим друг на друга волнам. У каждого человека – своя мера чувств, как бы своя настроенность всех чувственных ощущений, так что в особых случаях на поверхность выходят самые поразительные проявления чувств.

Поэтому врачами и философами составлены целые перечни таких идиосинкразий, то есть специфических, странных чувств, – они быва-

ют и удивительны, и необъяснимы. Как правило, мы замечаем такие странные состояния только у больных и в необычных обстоятельствах, в повседневной жизни мы проходим мимо них. И в языке нет слов для их обозначения, потому что ведь каждый говорит так, как чувствует и понимает, и у различных организмов нет общей меры их различных чувств. Зрение – это наиболее ясное из чувств, но и когда мы смотрим, то различия зависят не только от того, с близкого или далекого расстояния мы смотрим, но выражаются и в форме, и в цвете вещей, как мы видим их; вот почему любой художник, рисуя, придает предметам различные очертания и почти каждый – особый оттенок цвета. Дело философии человеческой истории – не в исчерпании до дна всего этого океана, а в том, чтобы выявить бросающиеся в глаза различия и затем обратить внимание на более тонкие различения в работе органов чувств.

Самое всеобщее, самое необходимое человеку чувство – осязание; оно служит основой других чувств, а у человека служит основой величайшего органического преимущества перед животными*. Благодаря ему мы получили искусства, открытия, жизненные удобства, возможно, что и в наших представлениях оно играет бóльшую роль, чем то обычно предполагают. Но как различен бывает этот орган чувства даже у людей; его видоизменяют образ жизни, климат, практическое применение, навык, наконец, и вообще генетическая чувствительность тела. Так, некоторым американским племенам приписывают невосприимчивость кожи, которая, как утверждают, проявляется даже у женщин и во время самых болезненных операций**, – если факт этот вообще верен, то, как мне кажется, его можно объяснить и телесными, и душевными предпосылками. А именно: племена эти столетиями подставляют свои нагие тела резким порывам ветра, их кусают злобные насекомые, в них втирают сильно действующие мази, но эти племена отняли у себя и волосяной покров, который только способствует мягкости и нежности кожи. Пищей их была грубая мука, корни и травы, содержавшие в себе много щелочных веществ, а ведь хорошо известно, что органы пищеварения и чувствительность кожи находятся в прямом отношении между собой, вот почему при некоторых болезнях чувство осязания сходит на нет. Даже и неумеренное потребление пищи, после чего этим же племенам нередко приходится терпеть ужаснейший голод, тоже свидетельствует об определенной невосприимчивости – симптоме многих распространенных среди них болезней***; итак, нечувствительность кожи – это и зло, и благодеяние их климата, наряду со многими другими подобными же явлениями. Природа постепенно вооружала их такой невосприимчи-

---

* *Метцгер.* О физических преимуществах человека перед животными. – В его «Собрании разных сочинений». Т. III.

** «История Америки» Робертсона. Т. I. С. 562.

*** *Уллоа.* Т. 1. С. 188.

востью, оберегая от бед, которых они иначе не могли бы вынести, – искусство их последовало природе. Североамериканец выдерживает муки и боль героически-стойко – так заставляет поступать его чувство чести, к этому привыкал он с детства, и женщины ни в чем не уступают мужчинам. Стоическая апатия стала потребностью их натуры, как бы велика ни была телесная боль, и тот же источник, как представляется мне, и у менее резко выраженного у них полового влечения, хотя жизненные силы их ничуть не притуплены, и у своеобразного бесчувственного их состояния; порабощенные племена погружаются как бы в сон наяву. Итак, это – дикари, нелюди; недостаток чувства природа дала в утешение этим детям своим, а они отчасти стойко перенесли его, отчасти употребили себе во зло, потому что недостаток человеческих чувств в их душах был еще более велик.

Опыт показывает, что чрезмерный зной и чрезмерный холод одинаково сжигают, притупляют внешние чувства. У народов, которые по раскаленному песку ходят босыми ногами, подошва такая, что ее можно подковать железом, и бывали случаи, когда такие люди минут по двадцать могли стоять на горящих углях. А разъедающие яды могут настолько видоизменить кожу, что человек способен держать руку в растопленном свинце; трескучий мороз, гнев, всяческие душевные движения тоже могут способствовать притуплению чувства*. А самая тонкая восприимчивость встречается в тех странах, где люди ведут способствующий нежному натяжению кожи и, так сказать, мелодическому распространению нервов образ жизни. Житель Ост-Индии – это, наверное, самое утонченное существо, если говорить о наслаждении, которое дают органы чувств. Вкус его никогда не заглушается жженными напитками и острыми блюдами, он способен почувствовать самый тонкий привкус чистой воды, а пальцы его способны воспроизвести самые искусные работы, так что никто и не отличит подлинника и копии. Его душа бодра и спокойна – в ней кроткое эхо чувств, на которых он покачивается, словно на волнах. Так играют волны, по которым плывет лебедь, так воздушные потоки колышут нежную весеннюю листву.

Помимо теплых и кротких широт ничто так не благоприятствует остроте ощущений, как чистоплотность, умеренность, движение – три добродетели, в которых превосходят нас многие некультурные, на наш взгляд, нации и которые, как видно, особенно свойственны народам, живущим в прекрасных уголках земли. Чистота дыхания, любовь к умыванию и купанию, движения на свежем воздухе, здоровое и сладостное почесывание, потягивание тела – все это хорошо было известно древним римлянам и все это еще очень распространено среди нынешних индийцев, персов и некоторых татарских племен, – подобные упражнения

* «Физиология» Галлера. Т. V. С. 16.

способствуют быстрому обращению соков, поддерживают эластичность кожи. Народы, живущие в самых обильных областях земли, ведут умеренный образ жизни, они не имеют ни малейшего представления о том, чтобы противоестественно раздражать нервы, бездумно тратить соки организма – это удовольствие, для которого создан человек; племена браминов, начиная с предков их, с самого начала мира не пробовали ни мяса, ни вина. Но уже на примере животных видно, какую власть над всеми органами чувств обретает мясо; насколько же сильнее должно влиять оно на тончайший цветок творения – на человека. Умеренность в чувственных наслаждениях – это, без всякого сомнения, более действенный метод достижения философии гуманности, чем разные ученые, надуманные абстракции. Народы с грубыми чувствами, живущие в дикости и в жестоком климате, обычно прожорливы; им нередко приходится голодать, и едят они все, что попадется под руку. Народы с более утонченными органами чувств любят более тонкие наслаждения. Пища их проста, одна и та же изо дня в день; зато они привязаны к сладостным мазям, тонким запахам, к роскоши, удобству, а цветок наслаждений для них – чувственная любовь. Если говорить только о тонкости органов чувств, то нет колебаний в том, на чью сторону склонится чаша весов, ибо ни один европеец не станет долго выбирать между трапезой гренландца с его рыбьим жиром и специями индийца. Но вот вопрос – к кому мы ближе, несмотря на всю нашу культуру на словах, к кому ближе мы в главном, на деле, к гренландцу или к индийцу? Индиец свое счастье видит в бесстрастном покое, в не нарушаемом ничем наслаждении, радостном и светлом, он дышит сладострастием, он погружен в море сладостных сновидений и освежающих запахов, – а что же такое наша роскошь, ради которой беспокоим, ради которой грабим мы целые части света? Что нужно нам, что мы ищем? Новых, острых приправ – притуплённому языку, чужих плодов, чужой пищи, вкуса которой мы иной раз не можем и распробовать в изобилии и мешанине всякой еды, пьянящих напитков, отнимающих у нас покой и рассуждение; что бы еще придумать, чтобы возбудить и разрушить наше естество, – вот какую великую цель ставим мы перед собою каждодневно. Наши сословия различаются по тому, насколько могут достигать этой цели; в ней видят свое счастье целые нации. Счастье? Почему же голодает бедняк, вынужденный в поте лица своего трудиться, чтобы вести самую жалкую жизнь, тупо чувствуя свое существование? Чтобы богачи, чтобы великие мира сего каждодневно притупляли свои чувства более утонченным способом, чтобы вечно питали они в душе своей жестокосердие и грубость. Индиец говорит так: «Европеец всеяден». А утонченное обоняние индийца заставляет его с отвращением смотреть на дурно пахнущего европейца. По его понятиям, европеец не может не принадлежать к презренной касте отверженных, которой разрешено есть все. И во многих странах, где живут магометане, европейцев на-

зывают нечистыми животными, и причиной тому – далеко не просто религиозная ненависть.

Вряд ли природа дала нам язык для того, чтобы несколько сосочков на нем были целью нашей тяжелой жизни и причиной несчастья других людей. Природа наделила язык способностью ощущать вкус – отчасти для того, чтобы усладить нам обязанность утолять волчий голод, а потому и более приятным образом увлекать нас к нелегкой работе, отчасти же для того, чтобы язык стоял на страже нашего здоровья, но такого стража роскошествующие нации давно уже потеряли. Скот знает, что для него здорово, и ест траву с осмотрительностью, ничего вредного и ядовитого для себя он не тронет, скотина ошибается редко. Люди, жившие вместе с животными и скотом, хорошо могли разбирать, что полезно, а что вредно, но они утратили прежнюю разборчивость, когда стали жить среди людей: так индиец потерял свой более чистый нюх, когда перестал питаться простой пищей. Народы, живущие на воле, народы здоровые, еще не отвыкли от своего руководителя среди чувств. Они едят плоды, растущие в их стране, и никогда не ошибаются или ошибаются крайне редко; североамериканец даже распознает врагов своих по запаху, а житель Антильских островов различает своим нюхом следы, оставленные разными народами. Так даже самые чувственные, животные способности человека могут развиваться, если упражнять их; но самое лучшее для них развитие – чтобы они оставались в должной пропорции к настоящему человеческому образу жизни, чтобы ни одна сила и способность не отставала и не господствовала среди прочих. Пропорции такие меняются с каждой страной и каждой климатической зоной. В жарких странах люди едят самую омерзительную для нас пищу, вкус этих людей – дик, но природа требует такой пищи – в ней лекарство, спасение, благодеяние*.

И, наконец, слух и зрение – самые благородные органы чувств, – чтобы пользоваться ими, и создан весь органический строй человека; именно у него эти органы чувств превосходно развиты, в отличие от чувств животных, они искусны и умелы! Сколь остры слух и зрение некоторых народов! Калмык видит вдалеке дымок, но ни один европеец его не приметит, – пугливый араб прислушивается к звукам и шорохам в своей тихой пустыне. А если к этим острым и тонким чувствам присоединяется еще и направленное внимание, то мы видим на примере многих народов, сколь много может добиться и в этом малом деле человек, упражнявший свои чувства. Народы-охотники знают в своей стране каждое дерево, каждый кустик; североамериканец никогда не заблудится в своих лесах. Они преследуют своего врага, проходят сотни миль, а потом вновь отыскивают свою хижину. Благонравные гварани, рассказывает Добритцхофер, с поразительной точностью воспроизводят

* «Наблюдения над влиянием климата» Вильсона. С. 93.

всякую тонкую, искусную работу, которую покажешь им, но если начать описывать им словами, то на слух они мало что могут представить и потом ничего не могут сделать – естественное следствие их воспитания, потому что душа их воспитана не словами, а наглядными вещами, которые они видят, тогда как многоученые люди понаслушались иной раз так много всего, что уже не могут разглядеть того, что находится у них под носом. Душа вольного сына природы, можно сказать, делится между глазом и ухом, он с абсолютной точностью знает вещи, которые видел в своей жизни, он с полной точностью пересказывает легенды, которые слышал. И язык его не заплетается, как стрела его не летит мимо цели, ибо как может блуждать и плутать душа его, если сам он точно видел и слышал все?

Прекрасный строй природы! – для существа, у которого первый росток наслаждения и понятия вырастает исключительно из чувственных наслаждений. Если тело наше – здорово, если чувства наши – развиты и незатуманены, то вот уже и заложена основа для веселого нрава и внутренней радости, потерю которой едва ли возместит и философствующий разум, как ни будет стараться. Фундамент чувственного счастья людей – везде, где они живут: достаточно наслаждаться тем, что есть, и как можно меньше предаваться печали о прошлом и заботам о будущем. Если человек сумеет утвердиться в этом средоточии счастья, он останется цел и сохранит свою силу; но если мысли его блуждают, тогда как нужно ему думать о минуте и наслаждаться тем, что есть, – о как же разрывает он свою душу, как слабеет он, как живет хуже и печальнее зверей, ограниченных узким кругом, и притом ограниченных ради своего же счастья. Непредвзятый взор естественного человека обращен на природу, еще сам не зная того, он наслаждается красотою ее покровов, он занят своим делом и, наслаждаясь сменой времен года, не стареет даже и в старости. Его не отвлекают от дела недодуманные мысли и не сбивают с толку буквы и знаки, и слух его ясно расслышит все, что слышит, – ухо впитывает речь, речь, всегда указывающую на определенные предметы и более удовлетворяющую потребности души, чем цепочка глухих абстракций. Так живет дикарь, так он умирает, он сыт, а не утомлен простыми наслаждениями, которые дарили ему его чувства.

И еще один благодатный дар не утаила природа от человеческого рода, она и у самых бедных мыслями членов человеческого общежития не отняла первой ступеньки к более утонченной чувственности – музыки, утешающей душу. Дитя еще не умеет говорить, но оно уже может петь, и оно способно воспринять прелесть пения, обращенного к слуху его, – итак, даже у некультурных народов музыка – первое изящное искусство, что приводит в движение силы души. Картина природы, встающая перед нашим взором, столь многообразно изменчива, столь величественна, что подражающий природе вкус людей долго блуждает в темноте, долго

пробует силы во всяком варварстве, во всем бросающемся в глаза, и уже гораздо позднее познаёт правильные пропорции красоты. А музыка, какой бы простой, необработанной она ни была, обращена к сердцам всех людей, музыка и танец – это всеобщий праздник радости на Земле, праздник природы. Жаль, что у путешествующих слух слишком нежен и они отказывают нам в ребяческих звуках, которыми выражают свою радость иные народы. Эти звуки не нужны музыканту, но они поучительны для исследователя человеческой истории; даже несовершенные ходы, излюбленные звуки музыки покажут нам сокровенный характер народа – подлинное настроение органа чувства, покажут глубже и вернее, чем любое самое длинное описание всего внешнего, случайного...

Чем больше пытаюсь я постигнуть во всей совокупности чувственный строй человека, каким бывает он в разных областях земли, при самом разном образе жизни, тем более обнаруживаю я, какой доброй матерью была природа для людей. Если орган слуха нечем было удовлетворить, природа и не раздражала его, он тихо дремлет, и мимо него проходят века и тысячелетия. Но утончая, разверзая орудия чувств, природа разбросала кругом все средства, необходимые для полного их удовлетворения, – так вся Земля словно гармоническая игра струн звучит навстречу природе, и звучит все сдержанное и звучит все раскрывающееся и развивающееся, и пробуется тут каждый звук и испробован будет каждый...

II. Воображение человека повсюду климатически и органически определено, и повсеместно традиция руководит воображением

О том, что лежит за пределами наших чувств, мы не имеем никакого понятия; история сиамского короля, который лед и снег считал вещью невозможной, – это и наша собственная история, повторяющаяся тысячекратно. Всякий туземный, чувственно воспринимающий действительность человек ограничен своим кругом, ограничены его понятия; если он делает вид, будто понимает слова, которые говорят ему о вещах совершенно недоступных ему, то у нас довольно причин сомневаться во внутреннем уразумении им этих вещей.

Правдивый Кранц* говорит: «Гренландцы любят, когда им рассказывают о Европе; но они ничего не поймут, пока не прибегнешь к сравнению. Например: в городе, или в стране, столько народу, что не хватит множества китов, чтобы прокормить их всех хотя бы и один день, но едят они не китов, а хлеб, который растет из земли, как трава, и едят мясо зверей, у которых есть рога; сильные большие звери носят людей на своих спинах или возят на деревянной повозке. Тогда гренландцы

* «История Гренландии». С. 225.

начинают называть хлеб травой, быков – оленями, лошадей – большими собаками, они всему поражаются и выражают желание жить в такой прекрасной стране, но потом они узнают, что там часто гремит гром и совсем нет тюленей. Они любят слушать рассказы о Боге и божественных материях, только если не отнимать у них их суеверных сказок». Мы по Кранцу же* составим краткий катехизис теологического учения о природе, какой может быть у гренландцев, – вопросы будут поставлены по-европейски, а ответы будут давать гренландцы, как они мыслят и чувствуют, согласно своему кругозору.

Вопрос: Кто создал небо, и землю, и все, что вы видите?

Ответ: Не знаем. Мы не знаем этого человека. Он, наверное, был очень могучим. А может быть, все всегда так было и всегда таким останется.

Вопрос: Есть ли у вас душа?

Ответ: Есть. Она может прибавляться и убавляться. Ангекоки умеют штопать и латать ее; если потеряешь ее, они найдут и принесут, а больную они заменят свежей и здоровой – от зайца, оленя, птицы или малого ребенка. Когда мы отправляемся в дальний путь, наша душа часто бывает дома. Ночью во сне душа выходит из тела и отправляется на охоту, в гости, танцует, а тело лежит на месте.

Вопрос: А где же остается душа, когда вы умираете?

Ответ: Тогда она отправляется на самое счастливое место – в глубь моря. Там живут Торнгарсук и его мать, там всегда лето, всегда сияет солнце, не бывает ночи. Там есть и хорошая вода, и множество птиц, оленей, рыб, тюленей, там всех их можно ловить голыми руками, а иногда они уже сварены в большом котле.

Вопрос: Все ли люди попадают туда?

Ответ: Туда попадают только добрые люди, которые неплохо работали, совершали подвиги, поймали много китов и тюленей, многое выстрадали или утонули в море, умерли во время родов и т.д.

Вопрос: Как же попадают они туда?

Ответ: Это – трудно. Нужно пять дней кряду или дольше того спускаться по отвесной скале, которая покрыта кровью.

Вопрос: Но разве вы не видите эти прекрасные небесные тела? Может быть, в будущем там ваше место?

Ответ: И там тоже, на самом верхнем небе, высоко над радугой, и путь туда такой легкий и быстрый, что душа еще в тот же вечер окажется на месяце, а месяц раньше был гренландцем, душа отдохнет в его доме, будет играть в мяч и плясать с другими душами. Когда души играют в мяч, мы видим северное сияние.

Вопрос: А что они еще там делают?

Ответ: А еще они живут в хижинах на берегу большого озера, где много рыб и птиц. Когда озеро выходит из берегов, на земле идет дождь,

---

* Разделы V–VI.

а если бы плотины прорвались, получился бы всемирный потоп. Но вообще-то на небо попадают люди негодные и ленивые, а работящие идут на дно моря. Первые много голодают, они худые и бессильные, а оттого, что небо быстро крутится, у них нет ни мгновения покоя. Туда попадают злые люди, ведьмы; вороны мучают их, а они не могут отогнать их, и т.д.

Вопрос: А как возник человеческий род?

Ответ: Первый человек, Каллак, вышел из земли, а вскоре из его большого пальца вышла его жена. Однажды одна гренландка родила, а родила она каблунетов, то есть чужеземцев и собак, поэтому чужеземцы такие же плодовитые и похотливые, как собаки.

Вопрос: А вечен ли мир?

Ответ: Однажды он уже перевернулся, и все люди утонули. Один спасся, он постучал палкой оземь, тут вышла женщина, и они вдвоем опять заселили людьми всю Землю. Пока еще Земля крепко стоит на своих подпорках, но они уже прогнили от старости, и если бы ангегоки все время их не подправляли, то Земля давно бы уже упала вниз.

Вопрос: А что вы думаете об этих прекрасных звездах?

Ответ: Раньше они все были гренландцами или животными, которые по особому случаю оказались на небе и там испускают белый или красный цвет, – от того, кто что ест. Вон те, которые встречаются, это две женщины идут в гости, а эта падающая звезда – душа, которая отправилась в гости. Большое созвездие (Медведица) – это олень, вон те семь звезд – собаки, которые охотятся на медведя, вон те (пояс Ориона) – заблудившиеся: они охотились на тюленей, не нашли дорогу домой и попали на небо. Месяц и Солнце – родные брат и сестра. За сестрой Малиной брат гнался в темноте, она хотела убежать от него, прыгнула и стала Солнцем. Аннинга полетел за ней и стал месяцем; месяц все еще гонится за девственным Солнцем, надеясь поймать сестру, – но напрасно. Усталый и исхудалый (последняя четверть), он отправляется охотиться на тюленей, охотится несколько дней, потом опять приходит, сытый и толстый (полнолуние). Когда женщины умирают, он радуется, а солнце радуется, когда умирают мужчины.

Если я буду еще продолжать и перескажу фантазии разных народов, никто не будет мне благодарен. Если кому-нибудь захочется путешествовать по стране воображения, по этому подлинному лимбу тщеславия, которым окружена наша Земля, я пожелаю ему спокойного внимания, – ему придется расстаться со всеми гипотезами о происхождении народов, о совпадении их мифологий; ему надо будет постараться всякий раз как бы быть на своем положенном месте и пытаться извлечь урок из всякой благоглупости своих собратий. А мне нужно лишь выделить некоторые общие впечатления, касающиеся живого царства теней, придуманного фантазией народов.

1. *В фантазиях запечатлевают климаты и народы.* Сравните гренландскую и индийскую мифологии, лапландскую и японскую, перуанскую и негритянскую – это полная география поэтически творящей души. Брамин едва ли представит себе что-либо конкретное, если читать ему «Волуспу»[2] исландцев, и исландец, если читать ему «Веды», тоже будет озадачен. В душу каждого народа его способ представлений проник тем глубже, чем он ближе ему, – он пришел к народу от отцов и от отцов отцов, он вырос из его образа жизни, он родствен небу его и Земле. Чужеземец удивляется, а для них – это яснее и понятнее всего; чужак смеется – они хранят серьезность и суровость. Индийцы говорят: судьба людей записана в его мозгу, и тонкие линии мозга – это буквы из книги рока, которые прочитать нельзя; самые произвольные и беспочвенные понятия и мнения народов – это такие записанные на мозге картины, хитросплетенные черты фантазии, прочнейшим образом связанные с душою и телом.

2. Но откуда все это? Разве каждое людское стадо сочиняло свою мифологию, чтобы беречь ее как зеницу ока? Нет, это не так. Ни одно племя мифологии не выдумывало, оно *получало ее в наследство.* Если бы мифология была плодом размышления народов, то собственные же их размышления могли бы и исправить ее, улучшить, но так не бывает. Добритцхофер* доказывал целому отряду мужественных абипонцев, сколь смешно было бояться угроз колдуна, который хотел превратиться в титра и схватить их своими когтями. «Вы каждый день убиваете в поле тигров, – говорил он им, – и никогда не боитесь их; что же вы трусите и бледнеете перед воображаемым тигром, которого вообще нет?» Тогда один храбрый абипонец отвечал ему: «У вас, отцы, еще нет правильного представления о наших делах. Тигров в поле мы не боимся, потому что видим их, – мы убиваем их без труда. А искусственные тигры нас страшат, потому что мы их не видим и не можем убить». Вот здесь и зарыта собака. Если бы все понятия были столь же ясны, как образы, которые представляет нам зрение, если бы мы воображали себе только то, что видели, и все воображаемое могли сравнивать с действительно увиденным, – тогда источник обмана и заблуждения, если бы и не заглох совсем, то, во всяком случае, был бы всегда распознан нами. Но большая часть фантазий – дщери слуха и рассказа. Дитя неразумное долго вслушивалось в легенды, впитывая их вместе с молоком матери, они проникали в душу и питали ее как праздничное вино отеческого рода. Легенды, казалось ему, объясняют то, что видит он вокруг себя; юноша узнавал о жизни, об обычаях своего рода, о славе, какую снискали его предки; легенды торжественно благословляли юношу на те дела, каких требовал дух нации и климата, а потому вся его жизнь в целом была не отделима

* «История абипонцев». Т. I.

от легенд. Гренландец или тунгуз в течение всей жизни и видит все то, о чем, собственно, только слышал в детстве, – услышанному он верит как истине, увиденной собственными глазами. Вот где берут начало ужасные ритуалы, которыми многие народы сопровождают солнечные и лунные затмения: вот откуда их страшная вера в духов стихийных – воздушных, морских и всяких прочих. Если в природе совершается постоянное движение, если кажется, что все вокруг живет и изменяется, а глаз не может воспринять законов этих изменений, то ухо начинает слышать голоса, речи, и эти речи объясняют загадку очевидного невидимым, незримым: воображение напрягается и, как положено, находит удовлетворение в образах. Нужно сказать, что ухо – это самый опасливый, самый робкий орган чувства, ухо ощущает живо, но темно; оно не может хранить полученные ощущения и, сопоставляя их, достигать полной ясности, ибо предметы его тонут в оглушающем потоке звуков. Его дело – будить душу, но без помощи других органов чувств оно почти никогда не может удовлетворить ее и дать ей ясное знание.

3. Отсюда можно видеть, *у каких народов воображение будет напряжено сильнее всего,* – у тех, что любят одиночество и живут в дикой местности, в пустынях, в горах и скалах, на побережье бурного океана, у подножья огнедышащих гор и в других чудесных и неспокойных краях земли. С незапамятных времен Аравийская пустыня рождала возвышенные фантазии, и фантазиям этим привержены были люди простые, которых все изумляло. В одиночестве восприял Магомет свой Коран, воспаленная фантазия занесла его на небеса и явила ему ангелов, блаженных, целые миры, и душа его сильнее всего воспламеняется тогда, когда он живописует молнию, прорезывающую мрак ночи, день Возмездия и другие безмерные вещи. И где только ни распространилось суеверие шаманов? И в Гренландии, и в трех частях Лапландии, и по всему северному побережью Ледовитого океана, и на юг в Татарию, и в Америке, и почти по всей Земле. Всюду являются колдуны, и всюду живут они среди страшных картин природы – это их мир. Итак, более трех четвертей всего населения Земли воспитаны в такой вере, ибо ведь и в Европе бóльшая часть народностей финского и славянского происхождения не отступается от колдовства, от заклинания природы, от естественной религии, а суеверие негров – тоже не что иное, как особый шаманизм, соответствующий духу этого народа, климату, в котором он живет. В странах азиатской культуры шаманство было, правда, вытеснено более сложными позитивными религиями и государственным строем, но и тут оно выглядывает во все щели, заявляет о себе в уединении, заявляет о себе у черни и даже мощно царит на островах Южного океана. Итак, естественная религия опоясала весь земной шар, и рожденные ею фантазии цепляются за все страшное и могущественное, с чем сталкивается человеческая нужда во всех областях, в каждом

климате. В более древние времена культ природы был распространен почти на всей Земле.

4. *Образ жизни, гений всякого народа сильно влиял на фантазию каждого народа* – это не требует даже и особого упоминания. Пастух видит природу одними глазами, охотник, рыбак – другими, а такие занятия различаются в каждой стране, как различаются и характеры народов. Я был удивлен тем, что в мифологии камчадалов, народа, живущего на Крайнем Севере, царит такая безудержная похотливость, какой следовало бы ждать от южного народа, но между тем климат и генетический характер камчадалов объясняют и это отклонение от нормы*. В холодной стране камчадалов есть и огнедышащие горы, и теплые ключи, мертвящий холод и кипящий жар спорят между собой; и похотливость, и грубые мифологические фарсы – все порождение этого спора. То же самое – сказки вспыльчивых, болтливых негров, сказки, в которых нет ни начала ни конца**; такова и сжатая, четкая мифология североамериканцев***, такова и цветистая фантазия индийцев****, дышащая сладострастием и безмятежностью рая, как и сами индийцы. Боги у них купаются в молочных озерах с сахарными берегами, богини живут в чашечке благоухающего цветка, растущего посреди прохладного пруда. Короче говоря, в мифологии каждого народа запечатлелся присущий ему способ видеть природу, особенно зависящий от того, находил ли народ в природе больше добра или зла, как подсказывали ему климат и гений, и зависящий от того, как объяснял народ одни явления – другими. В самых неприветливых краях Земли мифология, как бы безобразно-уродливы ни были ее черты, – это философский опыт человеческой души: прежде чем проснуться, душа видит сны и мечтает о временах своего детства.

5. Обычно думают, что ангекоки, колдуны, маги, шаманы, жрецы ослепили народ своими выдумками, – назовем их обманщиками, и все станет на свои места. Все эти шаманы и жрецы, несомненно, обманщики, но нельзя забывать и о том, что они – тоже народ и что сами они обмануты более древними сказаниями. Они росли, воспитывались среди образов и фантазий, присущих их роду и племени; они уходили в пустыню, постились, умерщвляли свою плоть и душу, напрягали все силы своей фантазии; и пока дух его не являлся человеку, он и не мог стать колдуном, а когда дух явился, то, значит, в душе его уже завершен труд, который, начиная с этих пор, совершает он для других, по-прежнему напрягая свой ум и умерщвляя плоть. Путешественники с самым холодным умом были глубоко поражены, когда видели эти миражи, это

---

* См. Штеллера, Крашенинникова[1] и др.

** См. Рёмера, Боссмана, Мюллера[4], Ольдендорпа и др.

*** См. Лафито, Лебо, Карвера[5] и др.

**** Бальдеус, Доу, Соннера, Холуэлл и др.[6]

действие воображения, казавшееся им невероятным и почти необъяснимым. Вообще фантазия из всех сил души наименее изучена и менее всего поддается исследованию, она связана со всем телом, а особенно с мозгом и нервами, о чем свидетельствуют многие удивительные болезни, а потому, как представляется, она служит не только связью и основой для всех более тонких душевных сил, но и узлом, связывающим воедино тело и душу, как бы цветущим побегом всего чувственного строения, необходимым для того, чтобы пользоваться всеми силами ума. Итак, по необходимости, фантазия – то первое, что переходит от родителей к детям, и это вновь подтверждается и множеством примеров противоестественного и неоспоримым сходством телесного и душевного организма даже во всем самом случайном и второстепенном. Люди долго спорили, бывают ли прирожденные идеи; в том смысле, как понимали это слово, их, конечно, нет, но если понимать под прирожденными идеями естественную предрасположенность к усвоению, сочетанию, развитию определенных представлений и образов, то ничто не противоречит их существованию, а, напротив, все говорит в их пользу. Если передается по наследству шестипалость, если потомство английского человека-дикобраза (porcupine-man) унаследовало его нечеловеческую щетину, если явно повторяется у детей строение головы и черты лица родителей, – можно ли усомниться, что и строение мозга тоже передается по наследству, быть может, со всеми тончайшими извилинами; разве иное, обратное не было бы чудом? Среди многих народов распространены болезни фантазии, о которых мы не имеем и представления; собратья больного всячески щадят его, потому что и в себе самих чувствуют предрасположенность к той же болезни. Храбрые и сильные абипонцы время от времени предаются безумию, о котором буйный, придя в себя, даже не помнит, – он здоров, как и прежде, и только душа его, как говорят, оставляла на время тело. Чтобы дать выход такому злу, некоторые народности устраивают настоящие празднества сновидений, когда спящему человеку дозволено делать все, что ни подскажет ему дух. Вообще всеми народами с богатой фантазией властно управляют сновидения; быть может, сновидения были первыми Музами, породившими творческую фантазию и поэзию в собственном смысле слова. Они показали людям явления и вещи, которых не видел ни один человек, но их жаждала человеческая душа. Если умерший родственник являлся в сновидениях своим домашним, что может быть более естественным? Они долго жили вместе с ним и теперь желали жить вместе с ним хотя бы в царстве теней, в сновидениях. История народов покажет, как пользовалось органом воображения Провидение, оказывая на людей влияние чистоты, силы, оказывая влияние естественным путем; но омерзительно видеть, как обман и деспотизм те же сновидения употребляют во зло, пользуются неусмиренной стихией человеческих снов и фантазий для достижений своих целей.

О великий дух Земли, ты видишь все эти тени и сны, которые преследуют друг друга на всем необъятном земном шаре, ибо тени – мы, а фантазия наша рисует лишь сны. Ни мы не можем дышать совершенно чистым воздухом, ни оболочка нашего тела, сложенная из праха, не может принять в себя чистый разум. Меж тем и все лабиринты воображения, по которым странствует род человеческий, нужны лишь ради того разума, который усвоит воспитанное для того человечество, – люди привязаны к образам, потому что они дают им представление о вещах, в самом густом тумане человек ищет лучей истины. Счастливым избранником судьбы может считать себя тот, кто в своей тесной и ограниченной жизни от фантазий восходит к сущности, кто перестает быть ребенком и становится мужем, а для этого незамутненным духом своим прослеживает всю историю своих братьев на Земле. Когда душа осмеливается выступить из тесного круга, очерченного климатом и воспитанием, она обретает крылья, – даже если учится у других только тому, как избегать всего излишнего и ненужного. И оказывается, что среди всего, что считалось существенным, так много пустого, лишнего! Мы такие-то представления принимали за всеобщие начала человеческого разума, – и вот видим, что они исчезают в таких-то климатических условиях, как пропадает в тумане земля, когда мореплаватель выходит в открытое море. Необходимое для всего круга представлений одного народа другой народ считает вредным для себя, а может быть, никогда и не думал об этом необходимом. Так блуждаем мы в лабиринте человеческих фантазий, но вот вопрос – где центр лабиринта, куда сходятся все закоулки лабиринта, словно преломленные лучи солнца.

III. Практический рассудок рода человеческого повсюду взращен потребностями жизни, но повсюду он – цвет Гения народов, сын традиции и привычки

Обычно народы, населяющие Землю, делят на охотников, рыбаков, пастухов, земледельцев, согласно такой классификации определяют и достоинство их культуры и в самой культуре видят необходимое следствие того или иного образа жизни народа. Прекрасно, если бы только все различные образы жизни получили строгое определение, но ведь они меняются с каждой новой страной, с каждым новым краем и смешиваются так, что весьма затруднительно применять чистую классификацию на практике. Гренландец убивает китов и тюленей, охотится на оленя – он охотник и рыбак; но совсем другой рыбак – негр и совсем другой охотник араук, ищущий добычу в пустынных Андах. Пастухи – бедуин и монгол, лапландец и перуанец, но как не похожи они друг на друга: один пасет верблюдов, другой – лошадей, третий – оленей, четвертый – альпаков и лам. Земледелец в Квидахе[7]

и земледелец-японец не похожи друг на друга, как не похожи купец-англичанин и торговец-китаец.

А кроме того, одна потребность еще и не рождает культуры, если даже в народе спят силы, которые ждут своего развития; как только человеческая леность примирится с недостатком и произведет на свет дитя, имя которому – спокойная жизнь, человек готов жить по-старому и его лишь с трудом можно заставить что-то изменить и улучшить. Итак, необходимо, чтобы воздействовали и другие причины, определяющие образ жизни, какой ведет народ; но мы предположим сейчас, что образ жизни уже определен, и посмотрим, какие деятельные душевные силы сказываются в нем.

Если люди питаются корнями, травами, плодами, то они остаются праздными, способности их ограниченны, если только не прибавляются дополнительные обстоятельства, вынуждающие их действовать. Народ живет в прекрасном климате, кроткое племя – и образ жизни его кроток: не из-за чего спорить, если изобильная природа и так дает все необходимое для жизни. И все искусства, и все находки нужны лишь для удовлетворения каждодневных потребностей. Тихой, счастливой жизнью жили островитяне, которых природа кормила плодами, прежде всего питательным плодом хлебного дерева; в своих прекрасных широтах они и одеваться могли корой и ветвями. Птицы, рассказывают нам, спокойно садились на плечи марианцев[8] и продолжали петь, эти народы не знали лука и стрел, ибо не было даже хищных зверей и не от кого было защищать свою жизнь. Не знали они и огня, и без огня спокойно жилось в мягком климате. Примерно так жили туземцы Каролинских островов и других блаженных островов[9] Южного океана, хотя на некоторых из них культура достигла уже больших высот и по ряду причин развиты были разные искусства и ремесла. Если климат более суров, то и человеку приходится прибегать к более строгому и разнообразному способу существования. Житель Новой Гренландии охотится на кенгуру и опоссума, стреляет птицу, ловит рыбу, ест корневища диоскореи; у него не один, а несколько образов жизни, как того требует круг его менее уютной жизни; однако и этот круг замыкается, и человек живет в нем радостно и счастливо. Так живут туземцы Новой Каледонии, Новой Голландии и даже Огненной Земли. У них есть сделанные из коры лодки, есть лук и стрелы, есть мешки и короба, огонь и хижины, заступы и одежды – начала всех тех искусств, с помощью которых добились высот культуры и самые цивилизованные народы мира; но только пока все еще в самых начатках: холод гнетет, и скалистая земля остается пустынной, бесплодной. Калифорнийцы проявляют ум, какого требуют их край и их образ жизни. Так живут и на Лабрадоре, и на всех скудных оконечностях Земли. Люди повсюду примирились со своей нуждой; они трудятся, пока заставляет их необходимость, а за долгие поколения свыклись со своим образом жизни.

Все то, без чего они могут обойтись, они презирают: эскимос ловко гребет веслами, но плавать он так и не научился.

На материках люди и звери живут теснее, и соседство животных многообразно упражняет рассудок людей. Правда, живущие в американских топях народы вынуждены питаться змеями и ящерицами, не приходится пренебрегать и игуаной[10], армадиллом, аллигатором, но большинство народностей занимаются более благородным охотничьим промыслом. Разве живущим в Северной и Южной Америке племенам недостает каких-либо необходимых для их призвания способностей? Они прекрасно знают животных, на которых охотятся, знают, где те живут, знают их привычки и хитрости, они вооружаются против них силой, умением, хитростью. Мальчиков воспитывают так, чтобы они стали славными охотниками, когда вырастут, подобно тому как в Гренландии воспитывают ловцов тюленя; только об охоте и слышит разговоры мальчик, только об охоте и поют ему песни, ему рассказывают о подвигах охотников и представляют их в жестах и в восторженных танцах. С детства мальчик учится изготовлять орудия охоты, учится пользоваться ими; он играет оружием, презирает женский пол; чем теснее замкнут жизненный круг, чем определеннее занятие, в котором необходимо добиться полного совершенства, тем легче достичь совершенства на деле. Итак, ничто не стоит на пути любознательного юноши, напротив, все поощряет его стремления, все вдохновляет его, ведь он живет среди своего народа, на виду у всех, он делает дело своих отцов. Если бы кто-нибудь собрал воедино все, что умеют делать народы, живущие на нашей земле, то оказалось бы, что все ловкости и умения людей рассыпаны по шару земному, что все растет и цветет на своем месте. Тут негр смело бросается в волны прибоя, на которые страшно даже смотреть европейцу, тут он ловко взбирается на деревья, такие высокие, что нам трудно рассмотреть его на их вершине. Рыбак ловит рыбу столь искусно, что словно завораживает рыбные косяки, а самоед встречает на своем пути белого медведя и не страшится померяться с ним силой, а негру и два льва – невелика беда, если к силе прибавить еще и хитрость. Готтентот сражается с носорогом и бегемотом; житель Канарских островов скользит по отвесным скалам, словно серна, а сильная и смелая тибетанка не хуже мужчины перенесет чужеземца через самые громадные горы, какие есть на земле. Род Прометеев составлен из частей и влечений зверей и животных[11], и их же научился он побеждать ловкостью и умением, переняв эти способности у самих животных.

Совершенно несомненно – человек большинству своих искусств научился у животных и у природы. Почему марианец одевается в кору деревьев, а американец и папуас украшаются перьями птиц? Первый живет вместе с деревьями и на деревьях находит пропитание для себя, а для американца и папуаса птицы с ярким оперением – самое красивое,

что видят они в своей стране. Охотник одевается так, как одевается его зверь; другие народы, словно птицы, живут на деревьях или строят на земле какие-то подобия гнезд. Птичий клюв был прообразом копья и стрел, а тело птицы – прообразом искусных лодок. От змеи человек научился вредоносному искусству – отравлять оружие, и птицам и животным обязан человек также и странной и широко распространенной на Земле привычкой разрисовывать свое тело. Человек думал: «Как? Эти птицы так красиво разукрашены, одеты такими яркими перьями, а я буду ходить с такой скучной и однообразной кожей – оттого, что небо и собственная моя леность не терпят одежд и покровов?» И тогда человек начал покрывать свое тело симметричными узорами, начал расписывать, разрисовывать себя; и даже такие народы, которые носят одежду, не пожелали, чтобы только у быка были рога, у птицы – гребень, у медведя – хвост, все это взяли они себе и стали подражать животным. Североамериканские племена славят птиц за то, что те принесли им маис; бóльшая часть лекарств, какие известны в самых разных широтах, очевидно, заимствована у животных. Но, конечно, для того чтобы человек мог подражать животному, нужно было, чтобы он жил вместе с этими существами, а не думал, будто он бесконечно выше их. Европейцу в чужой ему части света трудно бывает даже найти то, чем изо дня в день пользуются туземцы; попытки нередко бывают бесплодны, и приходится силой или мольбами выманивать у туземцев их тайны.

Но гораздо большего достиг человек, приручив к себе животных, – человек в конце концов покорил их себе: бросается в глаза, насколько отличаются живущие по соседству народы в зависимости от того, есть ли у них домашние животные, берегущие им силы и труд. Чем объясняется, что удаленная от Европы Америка отставала в своем развитии, и европейцы, прибыв сюда, могли расправляться с жителями, как со стадом беззащитных овец? Конечно же, дело было не в силе, как показывает пример лесных племен; ростом, быстротою, ловкостью эти племена превосходили большинство пришельцев, что, бросая жребий, делили их земли. И не в уме было дело, потому что американец умел прокормить себя и счастливо жил с женою и детьми. Итак, все дело было в искусстве, в оружии, в объединении сил, а главное – в домашних животных. Если бы у американца была хотя бы лошадь, могущество которой он признал со страхом в глазах, если бы у американца, а не у европейцев были собаки, которыми эти наемные слуги католического величества – испанцы – травили местные племена, – завоевать Америку стоило бы куда больших усилий и, по крайней мере, перед племенем, которое ездило бы на конях, всегда открыт был бы путь к отступлению в горы, пустыни и долины своей страны. И теперь еще, рассказывают путешественники, американские племена сильно различаются между

собой по тому, знают ли они лошадей. Между наездниками Северной и Южной Америки и несчастными рабами Мексики и Перу – огромное различие, трудно даже поверить, что живут они на одном континенте, что они – соседи и братья. Те, что ездят на конях, сохранили свободу, и более того – они возмужали душою и телом с тех пор, как европейцы открыли их землю. Конь, которого привезли им поработители их братьев, эти слепые орудия судьбы, быть может, станет некогда освободителем всего Нового Света, – уже и теперь другие домашние животные способствуют здесь более удобной жизни и, вероятно, помогут когда-нибудь развитию самобытной культуры Запада. Но все это – в руках судьбы, все это дается судьбой, и, по-видимому, природе этой части света вполне соответствовало, что живущие тут племена так долго не знали ни лошади, ни осла, ни собаки, ни коровы, ни овцы, ни козы, ни свиньи, ни кошки, ни верблюда. Вообще разновидностей животных было меньше, потому что континент был меньше, был отделен океаном от Старого Света и в значительной части своей гораздо позже поднялся из моря, чем другие части света; было меньше времени для того, чтобы приручать и одомашнивать животных. Приручать можно было только ламу и альпаку – в Мексике, Перу, Чили, – они и были приручены; и европейцы не могли прибавить к сделанному ничего нового и не могли превратить в полезное домашнее животное ни кики, ни паги, ни тапира, ни аи[12].

А сколько домашних животных, напротив того, в Старом Свете! И какую пользу принесли они деятельному рассудку людей! Не будь верблюда и лошади, люди не смогли бы проникнуть в глубь Аравийской и Африканской пустынь; корова, осел способствовали развитию земледелия, торговли, помогли человеку устроить свою домашнюю жизнь. Пока образ жизни человека оставался простым, человек дружно жил с животными, хорошо обращался с ними, он щадил их и понимал, чем обязан им. Так жили араб и монгол со своими конями, пастух – со своими овцами, охотник – со своей собакой, перуанец – с ламой*. Если обращаться с животными по-человечески, то они и растут лучше, начинают понимать человека, любят людей, у них развиваются такие способности, такие склонности, о которых и не догадывается дикий или порабощенный человеком зверь, – неученое, прожорливое или изможденное непосильным трудом животное утрачивает даже силы и влечения, от природы присущие его виду. Итак, в известном жизненном кругу люди и животные росли и складывались вместе; практический рассудок людей выиграл благодаря животным, а способности

* Читайте, что пишет, например, Уллоа («Известия об Америке». Т. 1. С. 131): перуанец, испытывая детскую радость, посвящает ламу служить себе. А как живут со своими домашними животными другие народы, о том написано много в рассказах о путешествиях.

животных возросли и окрепли благодаря людям. Когда читаешь о собаках камчадалов, то бывает трудно сказать, кто разумнее – камчадал или его собака.

В такой жизненной сфере и застревает только что проснувшийся деятельный рассудок человека, и человеку вообще всегда трудно давался выход из нее; превыше всего народы боялись порабощающей власти земледелия. В Северной Америке – множество прекрасных лугов, каждое племя привязано к своим владениям, всякое охраняет и защищает их, некоторые из племен были научены европейцами ценить деньги, пить водку, узнали и некоторые жизненные удобства; однако они по-прежнему предоставляют женщинам обрабатывать поля, выращивать маис и другие огородные культуры, как и заботиться о доме, – воинственный охотник так и не решился стать садовником, пастухом, земледельцем. Деятельная, вольная жизнь на лоне природы – ничто так не ценится этим так называемым дикарем; жизнь его окружена опасностями, эти опасности пробуждают в нем силы, мужество, решительность, зато он здоров, он покоен и независим в своей хижине, соплеменники чтят и уважают его. Ничего другого ему и не надо, да и что мог бы дать ему другой образ жизни: радостей его он не знает, его тяготы для него непереносимы, – какое счастье для него в ином? Почитайте неприкрашенные речи этих людей, кого зовем мы дикарями; в них ясно видим мы здравый человеческий рассудок, естественное чувство справедливости. Уже в этом состоянии человек развился настолько, насколько это было возможно; природа еще не очень обработала его, и цели ее были ограниченны; человек доволен своей жизнью, он спокоен и равнодушен, после долгих лет здоровья и благополучия готов без сожаления проститься с этой жизнью. Бедуину и абипонцу хорошо жить так, как они живут, – первый страшится при одной мысли о том, что может жить в городе, а второго пугает мысль о том, что его похоронят в церкви, – ему кажется, что быть похороненным в церкви – все равно что быть заживо погребенным.

Но и там, где земледелие укоренилось, трудно было привязать человека к земле и ввести различение собственности – «мое» и «твое». Народы многих развитых негритянских царств и до сих пор не имеют ни малейших представлений о собственности, а говорят, что земля – это общее достояние. Каждый год эти негры заново делят свою землю и без особого труда обрабатывают ее: хлеб сжат, и земля снова принадлежит самой себе. Вообще говоря, ни от одного образа жизни не осталось таких следов в сознании человека, как от образа жизни земледельческого, когда возделывается ограниченный участок земли. Жизнь земледельца необходимо способствовала развитию ремесел и художеств, развитию сел и городов, а потому законов и порядка, но именно вследствие этого открыла путь страшному деспотизму: зная, что каждый человек живет на своей земле, на своем поле, стали в

конце концов предписывать всякому, что делать ему с этой землей. Теперь земля уже не принадлежала людям, а человек принадлежал земле. Силы человека не использовались, а потому утрачено было и чувство силы: погрязший в рабстве и лени, угнетенный человек от радости труда и от жизни в нужде перешел к ленивой роскоши. Вот почему происходит так, что на всей земле обитатель шатра смотрит на обитателя хижины как на связанное по рукам и ногам вьючное животное, как на захиревшего представителя человеческого рода. Для кочевника и самая лютая нужда – все еще приятна, потому что воля и самоопределение вознаграждают за нее и служат ей приправой. Но все лакомства становятся отравой, когда душа изнеживается, – тогда у смертного существа отняты бывают достоинство и свобода, наслаждение своей бренной жизнью.

Пусть никто не подумает, что я собираюсь отнять достоинство у того образа жизни, который Провидение избрало, чтобы свести людей в единое гражданское общество, – и я ем хлеб земли. Но будем же справедливы и ко всякому другому образу жизни, – наша Земля устроена так, что каждый образ жизни воспитывает человеческий род. Вообще говоря, лишь незначительная часть обитателей нашей Земли возделывает поле так, как мы, – самой природой указан другим положенный им образ жизни. Ведь те многочисленные племена людей, что питаются корнями, травой, плодами, которые охотятся в воде, воздухе и на земле, бесчисленые кочевники, которые в наши дни и покупают хлеб, и даже выращивают хлеб, и все те племена, которые не знают собственности и у которых женщины или рабы возделывают землю, – все это еще не земледельцы в собственном смысле слова, – и какая же незначительная часть земли остается для нашего развитого образа жизни! А мы должны рассудить, что природа или нигде не достигла своей цели, или достигла ее повсюду и во всем. Нужно было, чтобы во всем возможном разнообразии своем расцвел и принес свои плоды практический ум человека, а потому для столь разнообразного рода людей и создана была столь разнообразная земля.

IV. Чувства и влечения людей повсюду сообразуются с их жизненными условиями и органическим строением, но повсеместно управляют ими мнения и привычки

Самосохранение – та первая цель, ради которой существует живое существо: от пылинки и до Солнца – все стремится остаться тем, что оно есть; ради этого животным внушен инстинкт, ради этого и человеку дан аналог инстинкта – разум. Послушествуя этому закону, нудимый страшным голодом, человек повсюду ищет свое пропитание; он с детских лет, сам не зная зачем и почему, стремится упражнять свои силы, неутоми-

мо движется. Усталый человек не призывает сон, но сон приходит и обновляет все бытие человека; внутренняя жизненная сила помогает и больному, а если не поможет, то все жаждет и вздыхает внутри его. И свою жизнь человек защищает от всего, что враждебно ему, и природа, даже если сам он и не знает о том, создала в нем самом, вокруг него все необходимое для того, чтобы поддержать в человеке эти его усилия.

Бывали философы, которые видели в роде человеческом этот инстинкт самосохранения, а потому причислили людей к кровожадным зверям и естественное состояние человека полагали в состоянии войны каждого против всех[13]. Очевидно, в этом утверждении есть много такого, что нельзя понять буквально. Конечно, когда человек срывает плод с дерева – он грабитель, когда убивает животное – он убийца, а когда, попирая землю ногой и даже просто вдыхая и выдыхая, человек отнимает жизнь у бесчисленного множества живых существ, недоступных его зрению, – он самый жестокий угнетатель, какого только знает Земля. Нежная индийская философия и не ведающая меры философия египтян заходили очень далеко в попытках обратить человека в совершенно безобидное существо, но все усилия были напрасны, стоит только поразмыслить. Мы ведь не можем заглянуть в хаос стихий, и если даже мы не будем есть больших животных, то все равно будем поглощать массу маленьких живых тел – вместе с водой, воздухом, молоком, растениями.

Итак, прочь эти копания в глубинах естества, и сразу же поставим человека среди его братьев и спросим: неужели человек – это дикий зверь по отношению к себе подобным, неужели он не склонен к человеческому общежитию? Если судить по внешним его чертам, то он не дикий зверь, а если заключать по тому, как рождается человек, то он тем более не чуждое общества существо. Человек зачинается в объятьях любви, его питает своей грудью любовь, его воспитывают люди, и он получает от них множество благ, которых не заслужил. Итак, до сих пор он воспитывался в обществе и воспитывался для общества; не будь общества, он не родился бы и не стал человеком. А нелюдимость начинается тогда, когда натура человека притесняется, когда он сталкивается с другими существами; но и тогда человек не составляет исключения, а действует согласно великому закону самосохранения, которому покорно все живое. Посмотрим же, какие средства измыслила природа, чтобы и здесь насколько возможно одновременно и удовлетворить и ограничить человека, чтобы тем самым предотвратить войну всех против всех[14].

1. Человек – существо, наиболее сложно и искусно построенное, а потому и нет другой такой разновидности живых существ, где бы наблюдалось подобное разнообразие генетических характеров. Слепой инстинкт, который увлекает за собой все живое существо, чужд человеку с его тонким сложением, а лучи мыслей и желаний, напротив

того, разбегаются среди рода человеческого во всех направлениях, как нигде более. Итак, если судить по самой природе человека, то он не должен сталкиваться с другими так, как прочие существа, потому что человеческая природа разделена и, так сказать, разъединена на бесконечное множество задатков, чувств, влечений. Безразличное для одного притягивает другого: у каждого свой особый мир наслаждений, как бы творение, созданное для него одного.

2. Этому расходящемуся по своим интересам и желаниям роду людей природа предоставила огромное пространство – всю изобильную и широкую землю, с ее различными климатами, областями, формами существования; на ней люди могли разойтись во все стороны. Здесь протянулись цепочки гор, там – реки, там пролегли пустыни, – все это должно было разделить людей; охотникам отдан был бескрайний лес, рыбакам – бескрайнее море, пастухам – бескрайняя равнина. Значит, не вина природы, если птицу обманула искусство птицелова, если она залетела в сеть, где множество птиц отнимает друг у друга пищу, выклевывает друг другу глаза и отравляет самое дыхание, – ведь природа населила птицами поднебесье, а не сеть птицелова. Взгляните, как мирно живут между собой немирные племена дикарей! Тут никто не завидует друг другу, каждый добывает себе пропитание и наслаждается добытым в тишине и покое. Если злобный, противоестественный характер согнанных на узком пространстве людей, конкурирующих между собою ремесленников, художников, вечно спорящих политиков, завистливых ученых объявить всеобщей принадлежностью человеческого рода, правда истории будет нарушена: бóльшая часть живущих на Земле людей и не подозревает об этих бередящих остриях и кровоточащих ранах, – люди живут на воле, а не в отравленном воздухе городов. Кто считает, что закон необходим, потому что в противном случае люди будут нарушать его, тот предпосылает то, что должен был доказать. Не запирайте людей в тесных каморках, и вам не придется тратить силы, навевая на них свежий ветерок. Не доводите людей до бешенства своим изощренным искусством, и вам не придется изощряться, связывая их по рукам и ногам.

3. И то время, которое люди должны были проводить вместе, природа как только могла сокращала. Человека нужно долго воспитывать, но и потом он еще очень слаб; он – вроде ребенка, который сердится и забывает, из-за чего сердился, который бывает недоволен, но не раздувает своего недовольства. Человек взрослеет, и в нем просыпается влечение, и он уходит из дома отца своего. В этом влечении – сама природа: она его изгоняет, чтобы он строил свое гнездо.

Но вместе с кем строит он гнездо? Тоже с человеком, который и похож и непохож на него; и самые страсти их проявляются настолько по-разному, насколько это полезно для конечной цели – их соединения. Натура женщины совсем иная, чем у мужчины, – она иначе

чувствует, иначе поступает. О жалкий, чья жена соперничает с ним или превосходит его в мужестве и доблести! Лишь творя добро, лишь уступая, может она править мужем, и тогда яблоко раздора вновь станет яблоком любви.

Больше я ничего не скажу об истории разобщения человеческого рода, – основа заложена, возникают новые семьи, новые дома, возникают затем и новые общества, законы, нравы и даже языки. О чем говорят эти многоразличные, нередко неизбежные наречия, число которых на нашей земле невозможно подсчитать, те, что существуют рядом друг с другом и нередко на самом малом друг от друга расстоянии? Они указывают на то, что матерь рода человеческого, расселявшая людей по всей Земле, беспокоилась не о том, чтобы поместить их на тесном пространстве, а о том, чтобы рассадить на воле. Насколько возможно, одно дерево не должно отнимать воздух у другого, так чтобы это второе превращалось в карлика или сгибалось, как увечный, ради глотка свежего воздуха. Каждое дерево пусть найдет место для себя, – там, послушное собственному влечению, пусть вознесется оно к небесам и широко раскинет свою крону.

Итак, не война, а мир – вот естественное состояние человеческого рода, когда ничто не стесняет, не сдавливает его; ибо война – это состояние нужды, а не изначального наслаждения жизнью. У природы война никогда не бывает целью (если даже говорить о людоедстве); иногда война бывает печальным средством, которого и сама матерь всех вещей не могла избежать, – зато она применяла это средство для более высоких, далеко идущих, многообразных целей.

Поэтому, прежде чем говорить о ненависти и скорби, поговорим о любви и радости. Царство любви – повсюду на Земле, и везде любовь предстает в особом, непохожем виде.

Когда цветок вырос, как положено ему, он расцветает, – итак, время, когда приходит ему пора цвести, определяется ростом, а рост – солнечным теплом, которое гонит цветок в рост. А раньше или позже зацветает человек, тоже зависит от климата – от всего, что относится к климату. На удивление различаются на нашей маленькой Земле сроки возмужания – в зависимости от страны и образа жизни. В Персии выходят замуж на восьмом и рожают на девятом году; а в древней Германии выходили замуж на тридцатом году, а до этого и не думали о любви.

Всякому ясно, что эти различия должны во всем изменять взаимоотношения полов. Восточная женщина, выходя замуж, остается ребенком, она рано расцветает и быстро вянет; мужчина, более взрослый и опытный, обращается с ней как с ребенком или цветком. Но коль скоро прелести, вызывающие физическое влечение полов друг к другу, в этих теплых странах развиваются раньше и пышнее, – что же более естественного было для мужчины, как не злоупотребить преимуществами своего пола и не собрать вокруг себя целый цветник этих быстро увядающих

созданий. Для рода человеческого этот сделанный мужчиной шаг повлек за собой значительные последствия. Ревность заперла женщин в гареме, и развитие их уже не могло поспеть за развитием мужчин, но мало этого – женщину с детских лет воспитывали для того, чтобы она жила в гареме, в обществе других женщин, уже на втором году девочек нередко продавали их будущему мужу, – что же могло воспоследовать отсюда, если не извращение: общение мужчины, устройство дома, воспитание детей и даже само деторождение зависели от ложного основания, на котором стояло все. Уже давно доказано, что слишком ранние браки женщин и чрезмерная половая возбудимость мужчин не полезны ни для здоровья потомства, ни для плодовитости рода; если верить сообщениям путешественников, то кажется весьма вероятным, что во многих таких областях девочек рождается больше, чем мальчиков, а это может быть и последствием полигамии и в то же время постоянной ее причиной. И, разумеется, это не единственный случай, когда искусство и чрезмерно возбужденное чувство предающегося роскоши человека сбили с пути самою природу, – ведь природа обычно, в среднем, производит на свет одинаковое число девочек и мальчиков. Но если женщина – самый нежный побег среди всех растений нашей Земли, если любовь – самое могучее движущее средство во всем сотворенном мире, то изменившееся отношение к женщине не могло не стать той первой критической точкой в истории человеческого рода, точкой, от которой разошлись затем в разные концы пути племен и народов. Женщина повсюду была яблоком раздора для человеческих страстей и желаний, а по природе своей она была первым непрочным камнем здания человеческого рода.

Отправимся вместе с Куком в его последнее путешествие. Куку показалось, что все женщины на островах Содружества и на некоторых других посвящены культу Цитеры, потому что они были готовы отдаться за иголку, за пустяковое украшение, за красивое перышко, и даже мужчина был готов продать женщину за любой пустяк, который ему захотелось приобрести, – но вместе с климатом, с характером островитян сцена меняется. У тех народов, где мужчины держат в руках свою секиру, женщина живет под защитой дома, более скрытно, нравы здесь более суровы, и женщина более закабалена, ни красота ее, ни уродливость не явлены целому свету. Ничто не позволяет различить характер мужчины или целого племени так, как обращение с женщиной. Если народы ведут тяжкий образ жизни, то женщины у них обычно превращены в домашних животных и на них взвалено ведение всего хозяйства; мужчине казалось, что если он совершил в своей жизни хотя бы один смелый поступок, перенес хотя бы одну опасность и вел себя дерзко и смело, то это уже освобождает его от бремени мелких дел, – все дела предоставлены женщинам. Вот почему женщины почти у всех дикарских племен – в зависимом положении, даже сыновья, взрослея, пренебрегают своими матерями. Сначала их воспитывали, учили преодолевать

опасности, часто напоминали о преимуществах мужчин, и вот суровое, грубое настроение воина, труженика заняло место более нежных чувств. Пренебрежительное отношение к женщине распространено у всех некультурных народов – от Гренландии и до страны готтентотов, но у каждого народа оно проявляется по-своему. Даже в рабстве женщина-негритянка – ниже негра, и самый жалкий кариб представляется себе царьком в собственном доме.

Но кажется, что не только слабость женщины подчинила ее воле мужчины, – этому же способствовали бóльшая возбудимость, хитрость, как и вообще непостоянство души. Восточному человеку кажется, что в Европе, этом царстве женщин, ничем не ограничиваемая свобода женщины непременно должна вести к опасностям для мужчины, – вся их страна потеряет покой, думают они, если не ограничивать женщин – этих переменчивых, хитрых, способных на все существ. Многие жестокие обряды объясняют очень просто – будто бы женщины своим поведением заслужили некогда такой тиранический закон и вынудили мужчин поступать с ними так – ради собственной безопасности и покоя. Так толкуют в Индии бесчеловечный обычай сжигать женщин вместе с их мужьями, – не будь этого страшного средства, и жизнь мужчины подвергалась бы бесконечным опасностям, теперь же жену приносят в жертву, когда умирает муж; но когда читаешь о похотливости и изобретательности южных женщин, о колдовских чарах индийских танцовщиц, о коварных происках гарема в Турции или Персии, то начинаешь даже верить во все такие страхи. Дело в том, что мужчины не были в состоянии уберечь от случайной искры легкий трут, который насобирали они, ведя роскошный образ жизни, но они были слишком ленивы, чтобы распутать клубок тонких женских способностей и задатков и дать им лучшее применение, – будучи изнеженными варварами, они варварскими средствами добивались покоя для себя и силою подавляли тех, чью хитрость не могли превозмочь рассудком. Прочитайте, что пишут о женщине люди Востока и греки, и станет ясно, как понять странную и огорчительную судьбу женщин в большинстве жарких стран. Впрочем, по сути дела во всем повинны были мужчины, тупая жестокость которых неумело ограничивала, но совсем не гасила очаг зла; это показывает и история культуры, уравнявшая постепенно в правах с мужчиной разумно воспитанную женщину, показывает даже и пример разумных народов, еще лишенных утонченной культуры. В древности немец, живший в чащах и лесах, все же умел ценить благородство женщины и наслаждался прекраснейшими свойствами характера, присущими женщине, – ее умом, верностью, мужеством, целомудрием; конечно, ему помогали в этом и климат, и генетический характер, и весь образ жизни. Немец со своей женой росли, как дубы, медленно, прочно, несокрушимо – не было соблазнов на немецкой земле, а весь привычный жизненный уклад, вся жизненная нужда воспитывали и в мужчинах, и в женщи-

нах стремление к добродетели. Дочь Германии, вспомни славу твоих прародительниц, узри в них пример для подражания; мало народов на Земле, в которых истории приходится хвалить то, что превозносит она в германцах, – и мало народов, где бы мужчина так ценил добродетель женщины, как в древнейшей Германии. У большинства народов женщины – рабыни; у немцев был такой же строй, но для них матери были подругами и советчицами, таковы и теперь еще благородные немецкие женщины.

Обратимся же к добродетелям женщин, о которых рассказывает нам история. Даже и среди самых диких народов женщина отличается от мужчины тем, что она мягче и нежнее, любит украшать себя, любит красоту; эти качества заметны даже и тогда, когда народу приходится бороться с климатом и самой горькой нуждою. Повсюду женщина стремится украшать себя, если у нее и нет почти украшений; даже и в самой суровой стране животворящая земля родит хоть несколько мелких цветочков – у них нет запаха, но они – вестники того, что способна порождать природа в другом климате.

Чистоплотность – тоже добродетель женщины; природа и желание понравиться заставляют женщину блюсти чистоту. Способы, с помощью которых все здоровые народы боролись с болезнями женщин, нередко чрезмерно жестокие законы и ритуалы, с помощью которых эти болезни особо выделялись и искоренялись, могут устыдить и самые культурные нации. Получается, что древние народы не знали и что некультурные народы до сих пор не знают большей части тех слабостей, которые у нас, в наше время, оказываются одновременно и следствием и причиной глубокого падения, передаваемого больными организмами живущих в роскоши женщин из поколения в поколение.

Еще большей похвалы заслуживает та кроткая терпеливость, та неутомимая деятельность, которой отличается слабый пол на всей Земле, если только культура не приводит его к извращениям. Терпеливо несет женщина иго, возложенное на нее грубой мужской силой, бездеятельной и ленивой жизнью мужчин, наконец, и распущенностью предков, это иго – унаследованный обычай; величайшие образцы долготерпения мы находим даже у самых жалких народов. Взрослую дочь некоторым народам приходится силой заставлять вступать в брак, она убегает прочь, она скрывается в пустыне, она со слезами на глазах берет в руки венок невесты; этот венок – последний цвет ее вольной и бездумно проведенной молодости. Свадебные песни у таких народов ободряют, утешают и даже оплакивают невесту*; нам это смешно, потому что мы не чувствуем всей невинности, всей правды этих песен. Невеста нежно прощается со всем, что дорого было

* См. «Народные песни»[15]. Т. I. С. 33; т. II. С. 96–98 и 104.

ей в юности, словно покойница, оставляет она дом своих родителей, называется новым именем и становится собственностью чужого человека, который, быть может, будет жестоко тиранить ее. Самое бесценное, что есть у человека, должна она принести ему в жертву, она уже не владеет ни самой собою, ни свободой, ни волей, быть может, и здоровье, и жизнь отнимет он у нее; и все это вынуждена отдать она за те наслаждения, которых не знает еще девственница, которые утонут, быть может, в море бед и несчастий. Прекрасно, что природа наделила и украсила сердце женщины несказанно нежным и сильным чувством, позволяющим ей понять все личные достоинства мужчины. И всю резкость мужа скрашивает это чувство; она испытывает сладкий восторг перед всем благородным, мужественным, высоким, необычным, что замечает она в муже; рассказ о мужественных подвигах и деяниях вызывает ее участие и возвышает ее душу, такие рассказы скрашивают, когда наступает вечер, все обременительные тяготы дня, женщина гордится тем, что принадлежит такому мужу, если уж ей на роду написано было принадлежать мужчине. Романтическая любовь, присущая женщине с ее характером, – это благодать природы, она проливает бальзам на душу женщины, служит наградой для мужчины, вдохновляет его, – прекраснейшей наградой для юноши всегда было принять венок из рук юной девы.

Но вот сладкая материнская любовь, которой наделила природа женщину; она, можно сказать, не зависит от холодного ума и далека от корыстного желания награды. Не потому любит мать свое дитя, что оно заслуживает любви, а потому что дитя – это живая часть ее существа, дитя ее сердца, отпечаток ее природы. Потому горе ребенка переворачивает все нутро ей, и сердце бьется сильнее, когда она видит счастье ребенка, и кровь ее течет покойнее, когда дитя пьет молоко ее сосцов, а потому не отрывается еще от нее, всем существом своим привязано к ней. И такое материнское чувство присуще всем неиспорченным народам земли; климат все меняет, но этого изменить он не в силах; и только царящие в обществе порядки – порча и извращение – способны все переменить: порок покажется слаще нежных мук материнской любви. Гренландка кормит сына грудью два и три года – в природе нет пригодной для ребенка пищи; терпеливо и кротко сносит она все проявления пробуждающегося мужского нрава. Негритянка – сильнее мужчины, когда лесное чудовище нападает на ее дитя; поражаясь и изумляясь, читаешь рассказы о материнском мужестве, о презрении самой смерти. А если смерть отнимает у нежной матери, которую называем мы дикаркой, утешение и заботу всей ее жизни, то, что делает всю жизнь ее осмысленной, – прочитайте в книге Карвера* жалобу надовесской женщины[16], потерявшей мужа и четырехлетнего сына, – тогда чувство,

* См. «Путешествия» Карвера. С. 388 сл.

что захватывает всю ее душу, не поддается описанию. Каких же чувств подлинной женской гуманности недостает этим народам, если даже горькая нужда, ложное понимание чести и унаследованный грубый нрав иной раз и способны сбить их с правильного пути? Не только в зародыше видим мы у них чувство благородного и высокого, нет, оно развито, развито настолько, насколько допускают тот образ жизни, климат, традиция и своеобычный нрав народа.

* * *

Но если все это так, мужчина не отстанет от женщины, и есть ли на свете такая доблесть, которая не расцвела хотя бы в одном уголке Земли? Первая доблесть мужчины – это мужество, с которым стремится он воцарить на Земле и наслаждаться жизнью–не лениво, но вольно и щедро; доблесть эта развилась многообразно и почти всюду, потому что нужда учила ее, а страна и обычаи вели своими путями. Мужчина стремился к славе, и ради славы готов был переносить опасности, победить опасность значило обрести самое драгоценное сокровище жизни. Это настроение от отца переходило к сыну, раннее воспитание усиливало его, и, спустя несколько поколений, оно становилось наследственной чертой народа. Для прирожденного охотника зов рога, лай собаки – нечто такое, что другой не может себе и представить; впечатления детства играют тут свою роль, а нередко даже облик охотника и ум охотника переходит из поколения в поколение. Так и всякий образ жизни вольного народа. Песни народа – лучшие свидетельства чувств, влечений, желаний народа, из песен мы узнаем, как видит народ действительность, в песнях мы из уст самого народа слышим подлинный комментарий к образу его мыслей и чувств*. Даже обряды, поговорки, мудрые речения говорят меньше, чем песни, но еще больше скажут нам характерные для народа сновидения, если бы у нас были примеры их снов и путешественники записывали их. В игре и во сне человек вполне бывает самим собою, прежде всего – во сне.

Вторая добродетель мужчины – любовь к детям, и выражается она лучше всего в мужественном воспитании, которое дает он им. Отец рано приучает сына вести тот же образ жизни, что и он сам, он учит его всему, что умеет делать сам, любит в нем самого себя, потому что сам он, отец, состарится и умрет раньше сына. Чувство это – основа чести рода и доблести рода на всей Земле; воспитание превращается в дело всего общества, более того – в дело вечности; чувство это наследует все преимущества и все предрассудки родов и племен людей. Вот почему все племена, все народы радуются, когда сын становится мужчиной и берет в руки орудия труда, оружие своего отца; вот почему так скорбит

* См. «Народные песни» в целом и, в частности, северные песни. Т. I. С. 166, 175, 177, 242, 247. Т. II. С. 210, 245.

отец, когда смерть кладет конец его высоким надеждам. Прочитайте, как скорбит гренландец, когда умирает его сын*, как оплакивает Оссиан своего сына Оскара, – и вы почувствуете раны отцовского сердца, прекраснейшие раны, какими ранена бывает грудь мужчины.

Благодарная любовь сына лишь незначительно возмещает любовь, которая влечет к сыну отца, но и это отвечает намерениям природы. Сын становится отцом, и сердце его изливается на сыновей, – полноводный поток течет вниз, не вверх, и только так сохраняется в целости цепь растущих и обновляющихся родов. Итак, нельзя видеть противоестественность в том, что преследуемые голодом народы предпочитают ребенка отцу, отжившему свой век, и даже ускоряют смерть престарелых, как рассказывают нам. В этом последнем – не ненависть, а печальная нужда, можно даже сказать – хладнокровная благожелательность, потому что ведь они не могут ни прокормить, ни взять с собой стариков, а потому предпочитают дружеской рукой немучительно положить конец их жизни, а не оставлять их на съедение диким зверям. Не может ли быть так в тяжкую минуту, что друг, глубоко страдая, нанесет смертельную рану своему другу и совершит тем благодеяние, которое не совершить было иначе, потому что не спасти было жизнь друга? Но песни народов, войны народов, легенды и сказания народов, а прежде всего образ жизни народов, передающийся из поколения в поколение, говорит нам о том, что слава отцов не умирает в душе рода, что она непрестанно и деятельно творит в них и что отцы племени пользуются вечным уважением и почитанием племени.

Наконец, совместно пережитые опасности пробуждают в людях мужество, таковы благороднейшие узы, которые связывают мужчин, это узы *дружбы* – третья доблесть мужчины. Когда образ жизни, условия страны заставляют мужчин заняться общим делом, появляются героические души, и они заключают между собой вечный союз любви – в жизни и после смерти. Такова была дружба греческих героев, которая будет славна в веках; такими были превозносимые всеми скифы, такие герои и теперь живут среди народов, – среди тех, что любят охоту, войны, странствия по лесам и пустыням, вообще всякого рода приключения. У земледельца – соседи, у ремесленника – мастера его цеха, к которым он благоволит и которым, может быть, завидует; и, наконец, ростовщик, ученый, княжеский слуга – как далеки от той дружбы, когда друг сам выбирает себе друга, от дружбы деятельной, верной, проверенной, от дружбы, о которой знает странник, пленник, раб, связанный одной цепью с другим рабом. В тяжелые времена в странах, терпящих бедствия, нужду, друзья находят друг друга; друг, умирая, умоляет друга отомстить за его смерть, он радуется тому, что встретится с другом за гробовой доской. Душа друга пламенеет, пока он не примирит тень

* «Народные песни». Т. II. С. 128.

покойного, не освободит из плена живого, пока не поможет другу в битве, не разделит с ним славу. Небольшое племя, род людей – это не что иное, как союз, как хор связанных узами крови друзей, от других родов отделяет их ненависть и сама любовь. Таковы арабские племена, многие татарские роды и большинство туземных американских племен. Самые кровопролитные междоусобные войны, которые вели такие племена, начались с самых благородных человеческих чувств, хотя и стали позором человечества, – это были чувства оскорбленной чести рода, чувства обиженной, задетой дружбы.

В дальнейшие рассуждения, в рассмотрение различных форм правления, какие существуют на Земле, в обсуждение характеров государей и государынь я пока не буду входить. Ведь до сих пор, на основании указанных у нас причин, невозможно объяснить, почему один-единственный человек царит над тысячами своих братьев по праву рождения, почему, не связанный договором и ничем не ограничиваемый, он может повелевать ими, как ему заблагорассудится, почему, не беря на себя ни малейшей ответственности, он тысячами может отправлять их на верную смерть, почему, никому не давая отчета, может он растрачивать сокровища государственной казны, почему, растратив казну, он самыми тяжкими налогами может облагать беднейший люд, – как сказано, все это мы не можем еще объяснить, и тем более из первоначальных замыслов природы отнюдь не вытекает, почему народ мужественный и смелый, почему тысячи благородных женщин и мужчин должны иной раз целовать туфлю слабосильного тирана, почему должны боготворить они скипетр, которым безумствующий побивает их, какой бог, какой бес внушил им мысль предоставлять на усмотрение одного-единственного человека и разум, и силы, и нередко самую жизнь и все права человечества и считать высшей радостью и благодеянием для себя, если один деспот породит другого деспота; поскольку все такие вещи при первом взгляде на них кажутся самой запутанной загадкой человечества, а бóльшая часть людей на Земле, к счастью или к несчастью для себя, незнакомы с такими формами правления, то мы и не можем причислить их к первым, необходимым, всеобщим и естественным законам человечества. Муж и жена, отец и сын, друг и враг – все эти слова подразумевают определенные отношения, существующие между людьми; но вождь, царь, король, наследный законодатель и судья, господин и управитель, поступающий по своему усмотрению и произволу, все решающий за себя и за своих даже не родившихся еще наследников, – все эти понятия должны быть разработаны совсем иначе, и мы сейчас не можем разработать их надлежащим образом. Довольно того, что мы рассмотрели землю – эту оранжерею естественных чувств и способностей, искусств и умений, душевных сил и добродетелей, в довольно большом разнообразии их; теперь же нам предстоит рассудить, может ли человек

основывать на них свое счастье, способен ли он к счастью и далее – есть ли мера человеческого счастья и в чем она заключена.

V. Счастье человека – это всегда благо индивида, определенное тем самым климатически и органически, детище упражнения, традиции, привычки

Уже слово «счастье» указывает на то, что человек не способен обрести чистое блаженство или сотворить его для себя; человек – это сын счастья; счастье поселило человека здесь или там и способности человека, меру и характер радостей его и печалей определило в зависимости от страны, времени, органического строения, обстоятельств, в которых он живет. Требовать, чтобы для своего счастья обитатели всех частей света становились европейцами, – это неразумная гордыня, – разве мы сами стали бы помимо Европы тем, чем мы стали? Тот же, кто поселил нас здесь, других поселил там, и у них те же, что у нас, права наслаждаться земною жизнью. А поскольку блаженство – это внутреннее состояние, то мера и определение его заключено в груди каждого существа, а не где-то еще; у другого нет права заставить меня чувствовать так, как чувствует он, ведь он не в силах внушить мне свой способ восприятия или превратить мое существование в свое собственное. Потому не будем, увлекаемые гордой леностью или привычной дерзостью, сужать или расширять фигуру и меру счастья, данного нашему роду, а оставим их теми, какими положил их творец, – он один знал, к чему предназначен смертный человек, живущий на Земле.

1. Наше тело, это органическое целое, со всеми присущими ему органами чувств и положенными членами тела, дано нам затем, чтобы пользоваться им, чтобы упражнять его. Не будь упражнения, и жизненные соки остановятся в нас, органы тела ослабеют, тело, живой труп, умрет прежде смерти, оно умрет медленной, недостойной, неестественной смертью. Итак, если природа хотела предоставить нам основу для счастья и здоровья, она должна была наделить нас упражнениями, трудами, работами, как бы навязывая человеку благополучие и не допуская, чтобы он был лишен здоровья. Потому, говорят греки, боги все продают человеку за его труды[17], – не из зависти, а из благожелательности, потому что именно в борьбе, в стремлении к освежающему покою заключено величайшее наслаждение, ощущение неутомимых действующих сил. И только тогда ослабевает, хиреет человечество, когда роскошь и леность, когда безделие, отнимающее у человека силы, заживо хоронят тела, превращают их в бледную немочь, в мертвый груз, падающий тяжким бременем на самого себя; так случается с человеком, живущим в том или ином климате, так случается и с целыми сословиями людей; но в самом суровом климате, в тех странах, где жизнь человека полна лишений, человек

растет сильным, крепким, здоровым, его тело изящно и симметрично. Посмотрите историю народов, прочитайте, что пишет Пажес* о строении тела у чактов, тегов[18], о характере биссайев[19], индийцев, арабов; даже самый тяжелый климат мало влияет на длительность человеческой жизни, и именно лишения укрепляют бедняка, всегда веселого, заставляя его выполнять работу, которая приносит ему здоровье. И даже всякие телесные уродства, какие встречаем мы среди народов, будь они генетического происхождения или наследуемым обычаем, не так вредны для здоровья, как наши искусственные украшения, как множество способов вести неестественное, мучительное существование; ведь что особенного в том, что у араканца вытянута мочка ушей, что у туземца в Ост-Индии или в Вест-Индии выщипана борода и проколот нос, что особенного во всем этом по сравнению с впалой, стягиваемой грудью, опущенными коленями, изуродованными ногами, скрюченным, рахитическим телом, со сдавленным нутром, – но именно таковы многие утонченные дамы и господа в нашей Европе. Восславим же Провидение, ведь здоровье – это основа физического благополучия, а Провидение заложило для него твердый и прочный фундамент по всей Земле. Нам, бывает, покажется, что природа как мачеха обошлась с некоторыми своими детьми, но, быть может, они были любимыми ее чадами, посмотрите: не сладостную отраву для ленивого пира приготовила она им, но их натруженные руки приняли от нее чашу здоровья и жизненного тепла, согревающего тела их изнутри. Дети утренней зари, они цветут и вянут; веселый нрав, блаженное самочувствие, не отягчаемое никакими думами, – вот что для них счастье, вот в чем предназначение жизни, вот в чем наслаждение, и может ли быть счастье более мирное и прочное?

2. Мы гордимся тем, что силы нашей души утонченны, но пусть печальный опыт научит нас тому, что не всякая развитость и не всякая утонченность приносят счастье, что иной раз слишком хрупким инструментом невозможно уже и пользоваться. Так, философская спекуляция может быть уделом лишь очень немногих праздных людей, да и для них это что-то вроде опиума восточных стран – сладкая дремота, погружающая человека в сон, расслабляющая, искажающая образы действительности. А о настоящем присутствии духа, о внутренней силе души мы говорим лишь тогда, когда чувства человека бодры и здоровы, когда ум его постоянно занят реальными жизненными проблемами, когда внимание его целенаправленно, когда память его ясна и решения скоры, когда ему все удается, – но тут наградой служит само ощущение деятельной во всем организме силы, ощущение радости и счастья жизни. Не думайте, люди, что счастье – в преждевременном развитии, в чрезмерной утонченности или что жизненный опыт – в знании неподвижных и мертвых терминов науки, в умении

* «Voyages de Pages». С. 17, 18, 26, 52, 140, 141, 156, 167, 188 и др.

пользоваться головокружительными приемами искусства, – все это не удовлетворит живое существо, ибо рецепт вызубривания названий и заучивания приемов не годится для обретения счастья. Если голова переполнена знаниями, будь в них само чистое золото, то она давит на тело, сжимает грудь, затуманивает взор, такая голова – тяжкое бремя для жизни. Чем более утончаем мы силы души, тем скорее отмирают праздные силы тела; в стремлении охватить весь каркас искусства члены тела, способности наши увядают, распятые на пышно блещущем кресте. Благословение здоровья – лишь на душе деятельной, все силы которой неутомимо трудятся, и снова возблагодарим Провидение, которое весь род человеческий в целом не слишком утончило, а Землю отнюдь не превратило в ученую аудиторию. Душевные силы большинства народов, большинства званий на Земле – плотный клубок, и развит он лишь постольку, поскольку требовала этого житейская нужда. Большинство живущих на Земле народов, словно дети, трудятся и мечтают, любят и ненавидят, смеются и плачут, они наслаждаются счастьем ребяческих снов. Горе несчастному, который наслаждается жизнью, копаясь в глубинах своего существа.

3. И, наконец, поскольку наше здоровье и благополучие – это, скорее, тихое чувство, а не блестящая мысль, то и любовью к жизни и радостным ощущением жизни наделяют нас не выводы глубокомысленного разума, а движения сердца. Как же прекрасно, что великая матерь поместила в груди человека этот источник благожелательности, этой подлинной гуманности, присущей нашему роду, гуманности, ради которой создан человек; благоволя к себе и себе подобным, человек почти независим от доводов разума и искусственных пружин деятельности; все живое радуется жизни, ни одно существо не спрашивает и не размышляет, для чего оно существует; существование для него цель, а цель – существование. Дикарь не убивает себя, и животное не кончает свою жизнь, а продолжает род, не ведая зачем, и человек терпит все тяготы и труды, живет в самом жестоком климате, только для того чтобы жить. Это простое, глубокое, ничем не возместимое чувство своего существования и есть счастье – капелька в бесконечном море Всеблаженного, что присутствует во всем и во всем радуется и ощущает свое бытие. Вот откуда тот невозмутимо светлый и радостный дух, который изумляет европейца в жизни, в самом выражении лиц чужеземных народов, – всегда беспокойный, никогда не находящий себе места европеец не чувствует в себе той радости бытия; но отсюда же и открытость, благожелательность, предупредительность, непринужденность всех счастливых народов Земли, если только они не принуждены защищаться и мстить. И эта благожелательная приятность, если следовать рассказам путешественников, столь распространена по всей Земле, что очень хотелось бы считать ее всеобщим характером человечества; но увы, природа человека двусмысленна, и столь же

свойственно ему влечение ограничить в себе и в других эту открытость, эту благожелательность, это ощущение радости жизни, вооружиться против грядущих бед, следуя советам рассудка или ложного ума. О существо, носящее блаженство в груди своей, почему не можешь терпеть ты счастливых вокруг себя, почему по мере сил своих не помогаешь счастью их? Сами мы, окруженные нуждою, терпим нужду во многом, но еще больше терпим от своего искусства и хитроумности; горизонт нашего бытия затягивают тучи, и облако печали, трудов, забот покрывает наше чело, а ведь созданы мы, чтобы радоваться открыто и участливо. Но и тут сердце человека было в руках природы, и она такое многообразие форм придала его чувствительной материи, что там, где она не могла удовлетворить его своими подарками, она попыталась удовлетворить его, отказывая в своих дарах. Европеец не имеет ни малейшего представления о тех бурных страстях, о тех миражах, что кипят в груди негра, а индийцу чуждо то беспокойство, что заставляет европейца метаться по всему свету, бороздя его из конца в конец. Дикарь не может нежиться среди роскоши, но может быть нежен – сдержан и спокоен; а где пламя благожелательности бросает вокруг себя яркие искры, оно быстро угасает, рассыпавшись потоком искр. Короче говоря, в человеческом роде существуют все те формы, которые могли существовать на земном шаре со всем различием климатических условий, жизненных обстоятельств, органических строений человека, но счастье жизни заключается не в хаотическом бурлении чувств и мыслей, а в связи их с подлинным внутренним наслаждением нашим бытием, всем тем, что причисляем мы к своему бытию. Роза счастья – роза с шипами, но что вырастает среди шипов – так это прекрасная роза человеческой радости, радости бытия, – цветок прелестный и, к сожалению, быстро увядающий. Таковы простые предпосылки человеческого счастья, истину их почувствует всякий в душе своей; и, если я не ошибаюсь, мы можем прочертить теперь линии, которые отсекут возможные сомнения и заблуждения, касающиеся предназначения рода человеческого. Думать, что человек, каким мы узнали его теперь, создан для того, чтобы бесконечно развивать силы своей души, чтобы беспрестанно умножать свои чувства, чтобы безгранично расширять свое влияние, более того – думать, что человек создан для государства, что государство – это конечная цель человеческого рода, что все поколения людей существуют, вообще говоря, только ради последнего поколения, которое воссядет на престоле посреди разбитого счастья всех предшествующих родов, – будет ли это разумно? Достаточно взглянуть на то, как живут наши собратья на целом свете, достаточно обратиться к опыту каждого, и мы увидим, что опровергнута эта картина, опровергнуты ложно приписанные Провидению замыслы. Ни голова, ни сердце наше не созданы для того, чтобы чувства и мысли наши росли до бесконечности, и рука наша не создана для такой без-

мерности, и жизнь наша не рассчитана на такую безграничность. Разве самые прекрасные силы нашей души не отцветают так, как зацветали? И разве вместе с годами и возрастом одна сила не сменяет другую, разве не уступают они друг другу в дружеском споре, кружась, словно в хороводе? И если чувства будут шириться и бескрайне разливаться, то разве каждый из нас не знает на своем собственном опыте, что такая широта только ослабляет и уничтожает самое чувство, – что было крепким вервием, теперь легкая пушинка, которую уносит ветер, холодная зола, туманящая взор другим. Мы не можем любить других больше, не можем любить иначе, чем самих себя, потому что любим других как часть своего существа, вернее сказать, любим в других самого себя, – тогда, конечно, счастлива душа деятельная, которая, словно некий высший дух, охватывает широкое пространство и всю эту широту, неустанно творя благо, причисляет к своему существу; но жалка та душа, чувство которой расплывается в словах и не приносит добра ни себе самой, ни другим. Дикарь, спокойно и радостно любящий жену, детей, ограниченный в делах, болеющий за судьбу своего рода, словно за себя самого, – это существо в своем бытии подлиннее той культурной тени от человека, что воспламеняется любовью к тени целого рода человеческого, то есть к названию, к слову. В бедной хижине дикаря найдется место для чужестранца, которого он гостеприимно встретит как своего брата, встретит спокойно и добродушно, не поинтересовавшись даже, кто он такой и откуда пришел. А бескрайне разлившееся сердце праздного космополита – это хижина, куда не войти никому.

Так неужели же не видите вы, о братья, что природа сделала все возможное – не для того, чтобы мы расходились вширь, но для того, чтобы мы ограничивали себя и привыкали к четким очертаниям нашей жизни? Есть мера у сил наших и чувств – это Оры дней и возрастов наших подают друг другу руки, и одна сменяет другую. Если мужчина и старик вообразят себя юношей – это будет обман чувств. А похотливость души, бегущая впереди самих желаний и во мгновение ока обращающаяся в чувство отвращения, – что это, райская услада или, напротив, Танталовы муки и бессмысленные мучения вечно черпающих воду Данаид? Единственное искусство твое на Земле, человек, – это знание меры! Дитя небес – радость, которой жаждешь ты, – она вокруг тебя, она в тебе, дочь трезвого ума и тихого наслаждения, сестра умеренности и удовлетворенности существованием своим, жизнью и смертью.

Еще менее доступно уразумению, что человек будто бы создан для государства и что с устройством государства будто бы впервые произрастают зерна человеческого счастья; ведь множество живущих на земле народов и знать не знают о государстве и тем не менее живут более счастливо, чем какой-нибудь распятый на кресте своих забот благо-

детель государства. Не хочу разбирать сейчас, какую пользу или вред приносит такое создаваемое искусством общество, но если искусство только средство, а самое искусное средство требует самого осторожного и тонкого обращения с собою, то отсюда явствует, что, по мере того как государство растет, по мере того как устройство его все усложняется, бесконечно возрастает и опасность того, что появится множество несчастных. В больших государствах сотни голодают, а один пожирает плоды их труда и утопает в роскоши; десятки тысяч людей угнетают и посылают на смерть, а один коронованный глупец или мудрец исполняет свой каприз. И если, наконец, нас учат, что всякое благоустроенное государство – это машина, управляемая мыслью одного человека, что за счастье служить простым винтиком в такой машине и ни о чем не думать? Или даже всю жизнь быть привязанным к колесу Иксиона, мучиться, и страдать, и, будучи навеки проклятым, душить в себе любимое свое чадо – последние проблески вольной, самостоятельной души, а находить счастье в бесчувственности машины?

Если мы люди, давайте возблагодарим Провидение за то, что оно отнюдь не в государстве положило конечную цель человечества! Миллионы людей на Земле не знают никакого государства, и разве каждый из нас, желая найти счастье в самом что ни на есть искусно построенном государстве, не должен начинать с того же, с чего начинает любой дикарь, – со здоровья и благополучия всех душевных и телесных сил, с дома и семьи, одним словом, со всего того, что нужно завоевать и сохранить самому человеку, а не получить в дар от государства? Мы счастливы благодаря естественным отношениям: мы – отец и мать, муж и жена, дитя, брат, друг, человек; а государство может дать нам лишь искусственные средства, но вот отнять у нас оно может нечто несравненно более существенное – нас самих.

Итак, Провидение было благорасположено к человеку: вместо конечных целей огромных человеческих общежитий, вместо таких целей, достижение которых требует большого искусства, оно поставило перед нами более легко достижимую цель – счастье отдельного человека; насколько то было возможно, Провидение избавляло времена и эпохи от бремени дорогостоящих машин государства. Чудесным образом Провидение разделило людей – лесами и горами, морями и пустынями, реками и климатическими зонами, но прежде всего оно разделило людей языками, склонностями, характерами; всяческими способами затруднено было дело деспотизма, стремящегося поработить себе все человечество; отнюдь не все части света заключены были внутрь деревянного коня, а потому ни одному Нимроду, ни целому роду тиранов не удалось до сих пор загнать в свою загородку всех обитателей Земли. Если считать, что на протяжении веков цель объединенной Европы состоит в том, чтобы тиранить народы Земли, навязывая им счастье, придется признать, что богиня счастья еще далека от цели. Ребячливой и слабосильной была бы

мать-природа, если бы исполнение единственно истинного предназначения детей своих – быть счастливыми – она поставила в зависимость от немногих поздних потомков людей, от винтиков и колес их машин, ожидая, что руками их будет достигнута конечная цель всей Земли, всего творения. О вы, люди Земли, что в течение целых эонов населяли Землю и уходили в небытие, – вы лишь удобрили землю прахом своим, для того чтобы потомки ваши в конце земных времен осчастливлены были европейской культурой, – но чем эта гордая мысль не оскорбление величества Природы?

Если есть счастье на Земле, то оно в каждом чувствующем существе, более того, счастье в нем – от природы, и даже искусство, способствующее счастью, сначала должно стать в нем природой. Мера блаженства – в каждом человеке: в душе его – форма, ради которой он создан, в ее чистых очертаниях он только и может обрести свое счастье. Вот именно для этого и исчерпала природа на Земле все возможности человеческих форм; всякий человек, на своем месте и в свое время, должен был насладиться обманчивым счастьем, без которого трудно было бы смертному пройти путем своей жизни.

Книга девятая

I. Человеку кажется, что он все производит изнутри своего существа, а на самом деле развитие его способностей зависит от других

Не только философы возвели в ранг изначальной, чистой потенции человеческий разум, независимый от органов чувств и тела, но и человек, погруженный в сновидение своей жизни, чувственно воспринимающий мир, мнит, что сам собою сделался тем, чем он стал. Вселенное творцом в душу его чувство самостоятельной деятельности побуждает человека трудиться и творить, и самая сладкая награда за труд – ощущение, что ты сам начал и кончил все, что сделано было тобою. Годы детства теперь позабыты, зерна, которые были брошены тогда в душу человека, и те зерна, которые и теперь каждодневно принимает его душа, дремлют в глубине; человек видит перед собой цветущее дерево, он радуется его росту, плодам, которые зреют на его ветвях. Но философ по опыту знает, как складывается человек, как ограниченна человеческая жизнь, а в истории он может постепенно, шаг за шагом, проследить, как создавался, как воспитывался наш человеческий род, – все напоминает ему о том, сколь зависим человек, а потому ему следовало бы незамедлительно вернуться в наш реальный мир из своего идеального мира, в котором человек представляет себя существом единственным и самодовлеющим.

Человек не рождает себя сам, не рождает он и свои духовные силы. Сам зародыш – наши задатки – генетического происхождения, как и строение нашего тела, но и развитие задатков зависит от судьбы; судьба поселила нас в той или иной земле и приготовила для нас средства воспитания и роста. Нам пришлось учиться даже смотреть и слушать, а что за искусство требуется, чтобы научиться языку, главному средству выражения наших мыслей, – не тайна ни для кого. Весь механизм человека, характер возрастов, длительность жизни – все таково, что требует помощи извне. У детей мозг мягкий, он липнет еще к черепной коробке, лишь постепенно складываются извилины, с годами он затвердевает и, наконец, твердеет настолько, что не воспринимает новых впечатлений.

В таком положении и члены тела ребенка, и его влечения; члены тела – нежные и хорошо приспособленные к тому, чтобы подражать другим людям, а чувства детей вбирают в себя все, что они видят и слышат, – с поразительным вниманием и внутренней жизненной силой. Итак, человек – это искусно построенная машина, наделенная генетической диспозицией и полнотою жизни; но машина не играет на самой себе, и даже самому способному человеку приходится учиться играть на ней. Разум – это соединение впечатлений и практических навыков нашей души, сумма воспитания всего человеческого рода; и воспитание его человек довершает, словно посторонний себе самому художник, воспитывая себя на чужих образцах.

Таков принцип истории человечества; не будь этого принципа, не было бы и самой истории. Если бы человек все получал от себя, изнутри себя, если бы все полученное он развивал отдельно от предметов внешнего мира, то существовала бы история человека, но не история людей, не история целого человеческого рода. Но поскольку специфическая черта человека состоит как раз в том, что мы рождаемся, почти лишенные даже инстинктов, и только благодаря продолжающемуся целую жизнь упражнению становимся людьми, поскольку сама способность человека к совершенствованию или порче[1] основана на этой особенности, то вместе с тем и история человечества необходимо становится целым, цепью, не прерывающейся нигде, от первого до последнего члена, – цепью человеческой общности и традицией воспитания человеческого рода.

Потому мы и говорим о воспитании человеческого рода, что каждый человек лишь благодаря воспитанию становится человеком, а весь человеческий род существует лишь в этой цепи индивидов. Правда, если кто-нибудь скажет, что воспитывается не отдельный человек, а род, то это будет непонятно мне, потому что род, вид – это только всеобщие понятия, и нужно, чтобы они воплощены были в конкретных индивидах. Какую бы совершенную степень гуманности, культуры и просвещенности ни отнес я к общему понятию, потому что идеальное понятие это допускает, я ничего не сказал бы о подлинной истории человеческого рода, как ничего не скажу, говоря вообще о животности, каменности, железности и наделяя целое самыми великолепными, но противоречащими друг другу в конкретных индивидах свойствами. Наша философия истории не пойдет по пути Аверроэса, согласно которому всему человеческому роду присуща единая, и притом очень низкая, душа, лишь частично передающаяся отдельным людям[2]. Но если бы, наоборот, говоря о человеке, я ограничился бы только индивидами и отрицал бы, что существует цепь взаимосвязи между всеми людьми и между людьми и целым, то я, в свою очередь, прошел бы мимо человека с его естеством и мимо истории человечества, ибо ни один из нас не сделался человеком сам по себе, собственными усили-

ями. Все человеческое в человеке связано со всеми обстоятельствами его жизни; через духовный генезис, воспитание связано с родителями, учителями, друзьями, связано с народами и с предками народа, связано, наконец, с целой цепью рода, с цепью, которая одним из своих звеньев уже касалась той или иной душевной силы человека. Если идти по линии восхождения, народы становятся семьями, семьи восходят к своим родоначальникам; поток истории сужается и сужается и, наконец, подходит к своему первоистоку, и вся населенная Земля обращается в дом, в котором воспитывалась наша семья, в дом со множеством крыльев, классов, комнат, где, однако, все преподавание ведется по одному образцу, образцу, что, со множеством добавлений и изменений, передавался по наследству из поколения в поколение начиная с самого прародителя племени. Доверимся ограниченному пониманию школьного учителя и решим, что не без основания разделил он своих учеников на классы; если теперь окажется, что человеческий род на всей Земле, согласно потребностям своего времени и своего местожительства, повсюду воспитывается, как того требует искусство, найдется ли такой рассудительный человек, который, зная, как устроена наша Земля и как соотносится с ней человек, не предположит, что отец человеческого рода, определивший, где и когда жить каждому народу, поступил и как учитель человеческого рода? Увидев корабль, подумает ли кто-нибудь, что он построен непреднамеренно, без плана? А кто сравнит искусное строение человеческой природы с любым климатом на Земле, где живет человек, неужели откажется подумать, что, наверное, климатические различия между столь многообразными племенами людей тоже были заложены в самом творении Земли и что они преследовали цели духовного воспитания человечества? Но поскольку местожительство само по себе ничего еще не решает, а нужно, чтобы существовали живые, подобные нам существа, которые будут учить, воспитывать, наставлять нас, то мне кажется совершенно несомненным, что человеческий род воспитывается и что существует философия его истории, – это так же верно, как и то, что существует человечество, то есть солидарное единство индивидов, и что только человечество и превращает каждого из нас в человека.

Но сразу становятся ясны нам и простые и недвусмысленные принципы философии истории, очевидные, как сама естественная история человека; эти принципы – *традиция и органические силы.* Человек воспитывается только путем подражания и упражнения: прообраз переходит в отображение, лучше всего назвать этот переход преданием, или традицией. Но нужно, чтобы у человека, подражающего своему прообразу, были силы, чтобы он воспринимал все, что сообщают, что передают ему, что возможно сообщить и передать, чтобы он усваивал и преобразовывал в свое существо все это сообщенное. Итак, что, сколько он воспримет, как и что усвоит, применит и упот-

ребит, – все это зависит только от присущих человеку сил, а в таком случае воспитание человеческого рода – это процесс и генетический, и органический; процесс генетический – благодаря передаче, традиции, процесс органический – благодаря усвоению и применению переданного. Мы можем как угодно назвать этот генезис человека во втором смысле, мы можем назвать его *культурой,* то есть культивированием, возделыванием почвы[3], а можем вспомнить образ света и назвать *просвещением,* тогда цепь культуры и просвещения протянется до самых краев земли. Калифорниец и обитатель Огненной Земли научились делать лук и стрелы, – у них есть язык, есть понятия, они знают искусства и упражняются в них, но тогда это уже культурный и просвещенный народ, хотя и стоящий на самой низкой ступеньке культуры и просвещения. Различие между народами просвещенными и непросвещенными, культурными и некультурными – не качественное, а только количественное. На общей картине народов мы видим бессчетные оттенки, цвета меняются с местом и временем, – итак, здесь все дело в том, с какой точки зрения смотреть на изображенные на картине фигуры. Если мы примем за основу понятие европейской культуры, то, конечно, найдем ее только в Европе; а если мы проведем искусственные различения между культурой и просвещением, хотя ни культура, ни просвещение не существуют по отдельности, то мы еще более удалимся в страну фантазий. Но мы останемся на земле и посмотрим, посмотрим сначала в целом и общем, что за воспитание человека являет нам сама природа, которой ведь лучше всего должны быть известны характер и предназначение созданного ею существа, – и вот оказывается, что такое воспитание есть *традиция воспитания человека для одной из форм человеческого счастья и образа жизни.* Где существует человек, там существует и традиция, бывает и так, что среди дикарей традиция действеннее всего заявляет о себе, хотя она и относится к узкому, ограниченному кругу. Если человек живет среди людей, то он уже не может отрешиться от культуры, – культура придает ему форму или, напротив, уродует его, традиция захватывает его и формирует его голову и формирует члены его тела. Какова культура, насколько податлив материал, от этого зависит, каким станет человек, какой облик примет он. Дети, оказавшись среди животных, приносили к ним человеческую культуру, если прежде жили с людьми, – об этом свидетельствует большинство примеров; но если ребенка с момента его рождения отдать на воспитание волчице, то он останется единственным на Земле человеком, совершенно лишенным культуры.

Что вытекает из этой твердо установленной и доказанной всей историей человеческого рода точки зрения? Во-первых, отсюда следует принцип, который поощряет и утешает нас в самой жизни, но, далее, вдохновляет нас и на это рассуждение, – принцип этот таков: если человеческий род возник не сам по себе, если человек замечает в себе

такие задатки, глядя на которые невозможно не изумляться, то, очевидно, и для развития этих задатков творцом определены средства, в которых скажутся его отеческая мудрость и благоволение. Если глаза человека были созданы столь красивыми, – неужели напрасно? Нет, глаза открываются и видят золотой луч света, и луч света создан для глаз, а глаза для Солнца[4]; – Солнце приводит к завершению мудрость такого творения. Таковы все чувства, все органы, они находят средства, с помощью которых доводят до окончания свое развитие и находят среду, для которой они созданы. Но если говорить о чувствах и органах духа, от применения которых зависит характер человеческого рода, мера его счастья, – неужели здесь все совсем иначе? Быть может, здесь, в духовной области, творцу не удалось исполнить свои намерения, а вместе с тем и намерения всей природы в той мере, в какой они зависят от сил и энергии человека? Нет, этого не может быть! Здесь вина может быть только в нас: мы или приписываем творцу ложные цели, или препятствуем их достижению, насколько это вообще в наших возможностях. Но коль скоро возможности наши тут ограниченны, а всемудрый творец не будет отступаться от своих замыслов в угоду творению своих мыслей, то мы можем быть совершенно спокойны и уверены, что даже в самой запутанной истории человеческого рода мы сумеем распознать цели и намерения Бога. Всем творениям Бога присуща цельность, – если даже каждое отдельное творение входит в совершенно необозримое целое, то, с другой стороны, каждое само по себе – тоже целое, оно заключает в себе божественность своего предназначения. Так – растение, так – животное; неужели с человеком и его предназначением иначе? Неужели тысячи людей рождаются ради одного, все прошлые поколения – ради последнего, всякий индивид – ради рода, то есть ради абстрактного наименования? Нет, Премудрый не играет – он не творит отвлеченных сновидений; каждое свое чадо любит он, как отец, в каждом ощущает он самого себя, как если бы сотворенное им существо было единственным на целом свете. Все его средства – цели, все цели – средства целей еще более великих, в которых, все совершая и все завершая, Бесконечный открывает свою сущность. Итак, в том, что такое каждый человек, чем он может быть, по необходимости заключена цель человеческого рода, – но что за цель? Счастье и человечность, какие возможны на этом месте, в этой степени, в этом звене цепи, охватывающей весь человеческий род. Итак, где бы ты ни был рожден, кем бы ты ни был рожден, человек, ты всегда тот, кем должен был стать, – не бросай цепь, не старайся перешагнуть через нее, но прилепись к ней! Лишь во взаимосвязи ее звеньев, в том, что усвоишь ты и отдашь, в этой двуединой деятельности мир твой и жизнь.

Во-вторых. Как бы ни льстило человеку, что Бог выбрал его себе в помощники, предоставив человеку и ему подобным воспитываться

и развиваться на земле, все же самое это избранное Богом средство показывает все несовершенство нашего земного существования, – мы, говоря по существу, еще не люди, а только становимся людьми. Что же это за несчастное существо: у него самого нет ничего, он всему должен учиться, во всем упражняться, везде ему должен быть показан пример, – он словно воск, мягкий и податливый! Если человек гордится своим разумом, покажите ему широкие просторы земли, на которых живут его собратья, – пусть выслушает он всю многозвучную, полную диссонансов историю их. Есть ли такая бесчеловечность, к которой не привыкало бы то или иное племя, даже группа племен; ведь многие, даже, может быть, большинство, были людоедами! Есть ли такая нелепая фантазия, которую не освящала бы традиция? Итак, ни одно живое существо не может пасть так низко, как человек; всю свою жизнь он остается ребенком по уму, иногда бывает послушным воспитанником чужих умов. В какие руки попадет, таким и станет, и я не думаю, чтобы существовала такая возможная для человеческих нравов и обычаев форма, которая не была бы реализована и которой не следовал когда-либо отдельный человек или целый народ. История исчерпывает все пороки, все ужасы, и, наконец, здесь и там начинают проглядывать мысли и доблести, более достойные человека. Иначе и не могло быть, если следовать принципу, избранному нашим творцом, – наш род мог быть воспитан только самим собою: заблуждения передавались из поколения в поколение, и иначе не могло быть; путь людей стал подобен лабиринту, со всех сторон открывались ложные ходы и тупики, и только едва заметные следы вели к скрытой в глубине цели. Счастлив тот смертный, который дошел до цели, который повел к ней других, счастлив тот, чьи мысли, желания, склонности воздействовали на человечные чувства его собратьев. Бог творит на земле через избранных, через людей, превосходящих большинство, – и для религии и языка, для искусств и наук нет более прекрасного венца, чем пальмовая ветвь нравственного прогресса в душах человеческих. Тело тлеет в могиле, а имя наше вскоре станет тенью на земле, – и лишь воплотившись в глас божий, в традицию воспитания, развития человечества, мы можем безымянно творить в душах потомства.

В-третьих. Философия истории идет вслед за звеньями цепи, за традицией, а потому это подлинная история людей, иначе все внешние события – лишь облака и пугающие нас уроды. Страшно смотреть, как катастрофы, совершающиеся на Земле, оставляют после себя одни развалины, вечное начало без конца, как судьба все переворачивает и как ни в чем не заметно ясного намерения и цели! И только цепь развития, воспитания превращает развалины в целое, в этом целом пропадают, правда, фигуры людей, но дух человеческий живет, не ведая смерти, и трудится, не ведая усталости. Вечно славятся имена, которые, словно гении человечества, сияют в истории культуры, которые,

словно яркие звезды, встают в ночи времен! Пусть эоны[5] разрушат многое в здании культуры, пусть золото втопчут в грязь забвения; труды человеческой жизни не были напрасны, ибо все, что Провидение желало спасти в творении своем, оно спасло, сохранило в иных формах. Все равно ни одно создание рук человеческих не вечно на Земле, ибо построенное воздвигнуто было руками времени для времени, в потоке поколений, и, препятствуя новому, сдерживая новые силы, оно несет вред потомству. Итак, даже непостоянство, даже несовершенство всего созданного человеком было предусмотрено замыслом творца. И должна была явиться глупость, чтобы мудрость попрала ее, и самые прекрасные творения человека были бренными, и тленными, и неотделимыми от своей материи, на развалинах их должны были вновь строить и совершенствовать свое люди; все мы трудимся, все упражняемся на этой Земле, словно в мастерской. Каждому приходит пора уйти из жизни, а поскольку умирающему все равно, что сделает потомство с трудами рук его, то благому духу претило бы даже, если бы последующие поколения мертво и тупо поклонялись старому и не желали строить ничего своего. Дух дозволяет им новые труды, ибо дух взял свое: силы возросли, и человеческие упражнения принесли свои богатые плоды для души.

О златая цепь развития, ты опутываешь Землю, пронизываешь всех индивидов и достигаешь трона Провидения, – я увидел тебя, я высмотрел самые прекрасные твои звенья, я следовал за чувствами отца, матери, друга, наставника, и теперь история для меня – уже не ужас и опустошение на священной земле, как думал я раньше. Тысячи позорных поступков прикрыты гадкими похвалами, тысячи являют нам себя во всей своей омерзительности – и лишь подчеркивают немногие подлинные заслуги деятельной человечности, – заслуги эти обретались людьми в сокровенной тишине, и редко знал человек, какие следствия выведет, словно дух из материи, Провидение из его жизни. Лишь среди бурь мог расти благородный побег, лишь сопротивляясь ложным притязаниям, могли одержать победу сладкие труды людей; нередко они, казалось, гибли от чистоты людских намерений. Но труды людей не погибли. Из праха всего благого возрастало семя грядущего, политое кровью, оно росло и обретало неувядающий венец. Механизм переворотов уже не вводит меня в заблуждение, нашему человеческому роду потрясения нужны, как волны – водной глади, для того чтобы озеро не превратилось в болото. Гений человечности вечно обновляет свой облик, вечно расцветает и вновь возрождается в народах, поколениях, племенах.

II. Особое средство для воспитания людей – язык

В человеке, даже и в обезьяне, живет странный инстинкт подражательства, не подсказанного разумным рассуждением, а непосредственно производимого органической симпатией. Одна струна вторит другой, тела, чем чище, плотнее и однороднее они, обладают способностью вибрировать, – таково и органическое строение человека; это самое тонкое строение, а потому оно более всего настроено звучать в унисон с другими существами, вторить им и чувствовать их звуки в самом себе. История болезней человеческого рода показывает, что не только аффекты и телесные раны распространяются симпатическим путем, но даже и безумие.

На примере детей мы прекрасно видим, как проявляется гармония созвучных существ, именно ради нее телу ребенка на многие годы следовало бы оставаться арфой, откликающейся на всякий звук. Действия, жесты, даже чувства и мысли незаметно переходят к детям; они уже бывают настроены даже на то, чего они еще не могут исполнить на деле, они незаметно для самих себя следуют своему влечению – своего рода духовная ассимиляция. Таковы и сыновья природы – дикие народы. Они прирожденные мимы, все, что рассказывают им, все, что им хочется выразить, они живо воспроизводят; вот почему подлинный образ мысли их выражен в танцах, играх, шутках, беседах. Фантазия их, подражая, накапливала свои образы; эти образы – типы, которыми владеют как особым своим достоянием, память их и язык, поэтому мысли их без труда переходят в действие и усваиваются живой традицией.

Но сколь бы выразительной ни была их мимика, человек еще не пришел бы благодаря ей к отличительной особенности своего рода, к самому искусному и сложному, что есть у него, – к разуму. Человек становится разумным благодаря языку. Вглядимся пристально в это чудо, в это божественное насаждение, генезис живых существ и язык – величайшие чудеса всего земного творения.

Если бы кто-нибудь спросил у нас, как свести в звуки образы, которые представляют нам глаза, ощущения, которые доставляют нам органы чувств, как сообщить этим звукам внутреннюю энергию, способность выражать мысли и возбуждать мысли, – несомненно, люди сочли бы такую загадку выдумкой сумасшедшего, – заменяя одну другой совершенно непохожие друг на друга вещи, он вознамерился превратить цвет в звук, звук в мысль, мысль в живописующий образы звон. Но Божество на деле разрешило эту проблему. Дыхание, исходящее из наших уст, становится картиной мира, наши мысли и чувства отпечатлеваются в душе другого человека. Все человеческое, что когда-либо делали на земле люди, все их мысли, желания, все будущие их мысли и дела – все зависит от слабого дыхания уст, от

сотрясаемого потока воздуха, – если бы божественное дыхание не коснулось нас, если бы, словно волшебный звук, не застряло оно на наших губах, мы до сих пор, как дикие звери, бродили бы в лесах. Вся история человечества, все накопленные сокровища традиции и культуры – не что иное, как следствие разгаданной божественной загадки. И что еще более поразительно, так это то, что и после того, как загадка была разгадана и мы каждый день разговаривали друг с другом, взаимодействие орудий речи еще не понятно нам. Слух и речь тесно взаимосвязаны; когда претерпевает изменения органическое строение, одновременно изменяются органы слуха и речи. Мы видим, что и все тело построено так, чтобы эти органы согласовались между собой, однако как взаимодействуют они – нам по-прежнему не ясно. Аффекты, особенно радость и боль, звучат в нашей речи; что слышат уши, о том говорят уста, образы и ощущения превращаются в духовные знаки, эти знаки могут быть осмысленным языком, они даже могут возбуждать души, – все это взаимосогласие множества органов и задатков, добровольный союз самых различных чувств и влечений, энергий и членов тела, установленный творцом, – такое же удивительное единство, как и союз души и тела.

Как странно, что сотрясаемое дуновение – это единственный и, во всяком случае, лучший способ выражать мысли и чувства! Не будь он столь непостижимым образом связан со столь не похожими на него действиями нашей души, и сами эти действия не совершались бы, все тонкое развитие нашего мозга было бы напрасным, все задатки нашего существа не получили бы окончательного развития, – об этом говорит и пример людей, выросших среди животных. И глухонемые от рождения, годами жившие среди людей, видевшие человеческие жесты и другие знаки, продолжали вести себя как дети или животные в образе человеческом. Они повторяли то, что видели, но не понимали; и как бы ни выразительна была их мимика, они так и не могли связать знак и смысл. Ни у одного народа нет представлений, которых он не мог бы назвать; самый живой образ тонет в темном чувстве, пока душа не находит нужный признак и не запечатляет его благодаря слову в воспоминании, памяти, рассудке – в рассудке всего народа, в традиции, – чистый, обходящийся без языка разум, – это утопия. То же можно сказать и о чувствах и о склонностях целого общества. Лишь язык превратил человека в человека, чудовищный поток аффектов язык сдержал дамбами и поставил им разумные памятники в словах. Не лира Амфиона воздвигла города, не волшебная палочка превратила пустыни в сады, – все это сделал язык, сблизивший людей. Благодаря языку люди объединились в союзы, приветствуя друг друга, они заключили союз любви. Язык утверждал законы, связывал роды; лишь благодаря языку стала возможной история человечества с передаваемыми по наследству представлениями сердца и души. И теперь встают

перед моим взором герои Гомера, я слышу жалобы Оссиана, хотя тень певца и тени героев давно уже исчезли с лица земли. Но сотрясаемый устами воздух обессмертил их и являет образы их моему взору; голос давно умерших людей звучит в моих ушах, я слышу давно отзвучавшие слова их. Все, что думали мудрецы давних времен, что когда-либо измыслил дух человеческий, доносит до меня язык. Благодаря языку мыслящая душа моя связана с душою первого, а может быть, и последнего человека на земле; короче говоря, язык – это печать[6] нашего разума, благодаря которой разум обретает видимый облик и передается из поколения в поколение.

Но если вглядеться повнимательнее, мы увидим, что средство нашего воспитания и образования – язык – весьма несовершенен, рассматривать ли его как узы, соединяющие людей, или как орудие разума, так что трудно представить себе более легкую, летучую, невесомую паутину, чем ту, которой пожелал связать род человеческий творец наш. Благой отец наш, разве невозможно было иное исчисление мыслей наших, иное, более проникновенное соединение умов и сердец?

1. *Ни один язык не выражает вещи, но выражает только имена вещей; и человеческий разум не познает вещи, но только признаки вещей, обозначаемые словами,* – замечание охлаждающее, полагающее тесные границы всей истории нашего рассудка и придающее ей полную несущественность. Вся наша метафизика – это метафизика; другими словами, это отвлеченный, упорядоченный перечень наименований, отстающий от опытных наблюдений. Перечисляя и упорядочивая вещи, такая наука приносит свою пользу и может служить введением ко всем искусственным приемам нашего рассудка; но если рассмотреть ее как таковую, по сути дела, то она не содержит ни одного полного и существенного понятия, ни одной существенной истины. Вся наша наука ведет счет, пользуясь отдельными внешними, отвлеченными признаками, не затрагивающими внутреннего существования вещей; у нас нет даже и органа, с помощью которого могли бы мы почувствовать и выразить эту сокровенность существования. Ни одной силы мы не знаем в ее существе – и даже не можем узнать: ведь даже ту силу, что одушевляет нас, ту, что мыслит в нас, мы чувствуем, но не знаем, мы пользуемся ею, но не понимаем ее. А потому мы не можем уразуметь и взаимосвязи причины и следствия, ибо не усматриваем ни внутренней сущности действующей причины, ни внутренней сущности производимого ею действия; о бытии вещи нет у нас ни малейшего представления. Бедный наш разум – всего лишь знаковый счетовод, некоторые языки соответственно и именуют его[7].

2. А с помощью чего же считает разум? Быть может, с помощью отвлеченных признаков, как бы несовершенны и несущественны ни были они? Не тут-то было! *Сами эти признаки еще раз облекаются в произвольные и совершенно чуждые их сущности звуки, которыми мыслит*

душа. Получается, что разум считает на палочках и фишках, пользуется значками и пустыми звуками, ведь никто же не поверит, что есть существенная взаимозависимость между языком и мыслями, не говоря уж о самих вещах, – не поверит в это никто, кто знает хотя бы два языка. А ведь на свете языков куда больше, чем два! И все же разум считает, пользуясь каждым, и довольствуется игрой теней, приводя вещи в произвольную связь и порядок. Почему так? Вот почему: в распоряжении языка – одни несущественные признаки, а потому для языка в конце концов совершенно безразлично, пользоваться теми или этими значками. Ах, какую печаль вызывает такой взгляд на историю человеческого рода! Выходит, что мы по своей природе никак не можем избежать заблуждений, ложных мнений, и не потому что наблюдатель ошибается, а потому что таков сам генезис наших понятий. Если бы мы мыслили не отвлеченные признаки и выговаривали бы не произвольные знаки, а самою природу вещей, – прощайте, ошибки, прощайте, ложные мнения, мы – в стране истины! А теперь – как далеки мы от истины, даже если нам и покажется, что мы вплотную приблизились к ней, ведь все, что я знаю о вещи, это внешний, отрывочный символ ее, облеченный в иной, произвольный символ. Правильно ли понимает меня другой человек? То ли представление связал он со словом, что и я, или он не связал с ним никакого представления?.. А он тем временем пользуется этим словом, считает с помощью его и, пожалуй, передаст другим в виде пустой скорлупки. Так всегда было с философскими школами и религиями. У основателя школы или религии были, по крайней мере, ясные представления, хотя от этого они еще и не становились истинными; но ученики и последователи понимали его по-своему, то есть в слова его вкладывали свое содержание, и вот, наконец, вокруг людей зазвенели одни пустые звуки. Сплошные несовершенства! Сплошные несовершенства заключены в единственно доступном нам средстве передавать мысли, и все же все наше развитие, вся наша культура привязаны к этой цепи, и мы не можем избегнуть ее.

В сказанном для истории человечества заключены важные последствия. Во-первых: если судить по избранному Богом средству человеческого образования, то едва ли человек создан для философской спекуляции или чистого созерцания, слишком уж несовершенны они в том, в чем доступны нам. Итак, не для чистого созерцания создан человек: чистое созерцание или обман, потому что ни один человек не видит сокровенной сущности вещей, или остается чисто непосредственным, коль скоро не допускает признаков и слов. Сам созерцатель не может повести другого своим путем – тем путем, на котором обрел он свои несказанные сокровища; он вынужден предоставить своему ученику, его гению, сумеет ли тот приобщиться к созерцаемым им образам. Таким образом, по необходимости открываются врата перед тысячью напрасных мучений духа, перед хитрым обманом, которому

нет конца, как показывает нам история всех народов. Но, очевидно, не создан человек и для философской спекуляции, потому что по своему генезису и способу сообщения она ничуть не совершеннее, а головы начетчиков она наполняет пустыми словесами. А уж если соединить обе крайности – спекуляцию и созерцание – и метафизических мечтателей повернуть к бессловесному разуму, преисполненному созерцаний, – о несчастный род человеческий, ты паришь в просторах вздора, среди холодного зноя и теплого холода! Благодаря языку Божество повело нас по пути более надежному, по среднему пути. Благодаря языку мы обретаем лишь рассудочные понятия, их довольно для нас, чтобы мы могли наслаждаться природой, применять на деле свои силы, здраво пользоваться своей жизнью и, короче говоря, воспитывать в себе дух человечности. Не эфиром дышим мы – для этого наша машина не приспособлена, – а здоровым воздухом земли.

Но если говорить о понятиях истинных и полезных, неужели мы должны верить отвлеченному философу, его гордой философии и думать, что люди и здесь далеки друг от друга? Нет, история народов и природа разума и языка не позволяют мне думать так. Несчастный дикарь, который в своей жизни видел мало, а понятий составил еще меньше, связывая понятия, поступал точно так, как и первый из философов. Язык у него был, как у философа, а благодаря языку он мог многообразно упражнять рассудок и память, фантазию и воспоминание. Был ли круг, в котором вращался он, же или шире, не имеет значения, а важно то, что упражнял он свои способности по-человечески. Европейский мудрец не назовет ни одной душевной способности, которая была бы специфически присуща именно ему, мудрецу; что же касается соотношения разных сил, возможности упражнять их, то и тут природа стократно возмещает недостаток одного другим. У многих дикарей память, фантазия, практический ум, решительность, правильность суждения, живость выражений так процветают, как мало у кого из европейских ученых с их изощренным искусством и усложненным разумом. Но, конечно, эти последние с помощью чисто словесных понятий и знаков могут исчислить такие бесконечно тонкие и искусные комбинации, о которых и не думает естественный человек; однако если представить себе сидящую за столом счетную машину, разве будет она прообразом всего человеческого совершенства, счастья и здоровья? Пусть один мыслит в образах то, что не способен мыслить абстрактно, но если и нет у него развитой мысли о Боге, то есть слов о Боге, а он деятельно, всею своею жизнью, постигает великий дух творения – бога, то он доволен жизнью и, пока жив, благодарит Бога, и если он не может, пользуясь значками слов, доказать существование Бога, а просто верует, то куда счастливее и бесстрашнее отправится он в страну праотцев, чем во всем сомневающиеся и верующие только на словах мудрецы-философы.

Итак, воздадим хвалу благому Провидению, благодаря ему люди в душе своей гораздо более схожи друг с другом, чем на поверхности, внешне, и причиной тому – несовершенное, но всеобщее средство – язык. У нас разум – только благодаря языку, и язык – только благодаря традиции, вере в слово отцов. Самым неспособным учеником будет тот, кто потребует отчета в том, как и почему человек впервые воспользовался словами; вера в трудные вещи, такие, как наблюдение природы и опыт, помогут нам пройти через жизнь, здраво полагаясь на существующее. Глупец не верит своим чувствам, из него выйдет пустой философ; а тому, кто, доверяя и упражняя свои чувства, именно этим самым исследует и исправляет их, тому одному достанется сокровище опыта, которого хватит на всю жизнь человека. Ему будет довольно того языка, какой есть, при всех его ограничениях, ведь язык должен лишь направлять внимание наблюдающего природу человека, должен повести его к самостоятельному, деятельному пользованию душевными силами. Более утонченное наречие, пронизывающее все сущее, словно луч Солнца, не могло бы быть всеобщим, а для сферы той более грубой деятельности, какой заняты мы в наши дни, оно было бы настоящим бедствием. То же можно сказать и о языке сердца, и этот язык говорит немногое, но и этого немногого довольно, и наш человеческий язык создан скорее для сердца, чем для разума. Рассудку помогут жест, движение, сам предмет, но чувства сердца так и остались бы скрыты, если бы мелодический поток речи не перенес их на своих кротких волнах в сердце другого человека. И это еще одна причина, почему творец избрал орудием нашего воспитания музыку звуков – язык чувства, язык матери и отца, ребенка и друга. Если души существ не могут коснуться друг друга и разделены, словно решеткой, они шепчут друг другу слова любви, а если бы эти существа говорили языком света, то и весь их облик и все звенья их воспитания несомненно изменились бы.

Во-вторых. *Философское сравнение языков* было бы самым превосходным опытом истории и многогранной характеристики человеческого рассудка и души, – в каждом языке отпечатлелся рассудок и характер народа. Не только инструменты языка видоизменяются вместе со страной, почти у каждого народа есть свои буквы и свои особенные звуки; наименования вещей, даже обозначения издающих звуки предметов, даже непосредственные изъявления аффекта, междометия – все отличается повсюду на Земле. Когда речь заходит о предметах созерцания и холодного рассуждения, то различия еще возрастают, и они становятся неизмеримыми, когда речь доходит до несобственного значения слов, до метафор, когда затрагивается строение языка, соотношение, распорядок, взаимосогласие его членов. Гений народа более всего открывается в физиогномическом образе его речи. Всегда весьма характерно, чего больше в языке – существительных

или глаголов, как выражаются лица и времена, как упорядочиваются понятия, все это важно в самых мелких деталях. У некоторых народов мужчины и женщины пользуются разными языками, у других целые сословия различаются по тому, как говорят они о себе – «я». У деятельных народов – изобилие наклонений, у более утонченных наций – множество возведенных в ранг абстракций свойств предметов. Но самая особенная часть всякого языка – это обозначение чувств, выражения любви и почитания, лести и угрозы; слабости, присущие народу, иной раз обнажаются здесь, производя комический эффект*. Почему я не могу назвать труд, который исполнил бы – хотя бы в незначительной степени – мечту Бэкона, Лейбница, Зульцера и других о создании *всеобщей физиогномической характеристики народов по их языкам?* Материалы для такой книги найдутся в лингвистических трудах, в записках путешественников, бесконечно трудной, обширной такая книга не будет, потому что все ненужное можно опустить и вместо этого по-настоящему воспользоваться тем, что можно ясно рассмотреть со всех сторон. В изяществе и поучительности тоже не будет недостатка, потому что все своеобычное, что есть в народе, в его рассуждении, в его фантазиях, нравах, образе жизни, представится наблюдателю целым садом, итогом будет развитая *архитектоника человеческих понятий, наилучшая логика и метафизика здравого рассудка.* Венок повешен на вершину столба, и в свое время новый Лейбниц[8] найдет его.

Сходным трудом была бы и история языков некоторых народов в связи с пережитыми ими переломами, в первую очередь я имею в виду язык нашего отечества. Хотя он, в отличие от других, и не смешивался с чужеземными языками, но все же он весьма изменился со времен Отфрида[9], и особенно изменилась грамматика. Сопоставление различных культурных языков, пережитых ими катастроф, каждым новым оттенком света и тени создавало бы переменчивую картину многообразных путей развития, поступательного движения человеческого духа; если судить по различным наречиям – все возрасты человеческого духа представлены на земле и все цветут. Вот – народы, переживающие период детства, вот – народы, которые вступили в пору юности, вот возмужалые народы и, наконец, престарелые; а сколько народов, сколько языков воскресали из праха, скольким привит был побег другого языка!

И вот традиция традиций – письменность. Если язык – это средство воспитать *человечность* в нашем роде, то письменность – это средство *учености,* образованности. Все народы, не затронутые путями этой искусной, сложной традиции, остались некультурными, если полагаться на наши понятия, а те, что даже несовершенно приобщены были к этому

* Здесь – не место приводить конкретные примеры; оставим их для другого случая.

средству культуры, сумели подняться и увековечили разум и законы в знаках письма. Смертный, кто открыл это средство – связывать быстротечный дух не только узами слова, но и узами буквы, – был словно богом среди людей*.

Но что было заметно уже тогда, когда мы говорили о языке, теперь еще заметнее: и это средство увековечения наших мыслей придало определенность духу и речи, но одновременно и ограничило и связало их своими путами. Вместе со знаками письма угасали постепенно живые акценты, живые жесты речи, все то, что прежде так помогало словам смело проникать в самую душу человека; в результате сократилось количество диалектов, наречий, характерных для народов и племен, ослабла память людей, живая сила их духа; всему этому виною искусственное средство – предначертанные формы выражения мысли. И человеческая душа давно бы уже была раздавлена ученостью, книгами, если бы само Провидение не давало передышки нашему духу, прибегая к разрушительным катастрофам и революциям. Рассудок связан буквой, и вот он уже не идет, а робко пробирается, плетется через силу; лучшие наши мысли умолкают, погребенные в мертвых черточках письма. Но все это не мешает нам видеть в письменной традиции самое долговечное, самое упорное и действенное установление Бога на земле, – благодаря нему народ воздействует на народ, столетия – на столетия, а со временем весь человеческий род будет связан единой цепью братской традиции.

III. Все известные человеческому роду науки и искусства созданы подражанием, разумом и языком

Как только Бог или гений научил человека отмечать признаки предметов и таким способом присваивать себе самые предметы, а с каждым найденным признаком соотносить условный знак, как только, говоря иначе, появились первые начатки языка разума, так сразу же оказалось, что человек встал на путь наук и искусств. Ибо, создавая науки и искусства, человек и не делает ничего иного, как отмечает и обозначает. Как только дано было человеку самое трудное его искусство – язык, так, можно сказать, ему дан был прообраз всего.

Так, например, человек, постигавший в животном тот признак, по которому он мог называть его, тем самым уже закладывал основу для того, чтобы приручать поддающихся приручению животных, получать пользу от приносящих пользу и вообще завоевать для себя все, что только ни есть в природе; присваивать и значило попросту замечать для себя признаки приносящего пользу, поддающегося приручению, подлежащего присваиванию существа и обозначать их каким-либо зна-

* История письменности и других изобретений, в той мере, в какой относятся они к истории человечества, будет показана в дальнейшем изложении.

ком или словом своего языка. Так, человек заметил, что ягненок сосет молоко кроткой овцы, что теплая овечья шерсть согревает руки; и то и другое человек постарался присвоить себе. На дереве, плодов которого заставлял искать человека голод, человек заметил листья, которыми он мог препоясываться, древесину, которая могла согревать его. Так человек сел и на коня, чтобы конь нес и вез его, и оставил его при себе, чтобы конь и в другой раз вез его; человек замечал, как защищаются и кормятся животные, как природа воспитывает и хранит от опасности своих детей. И так вступил он на путь искусств, и не каким другим путем, а просто развивая отвлеченный от предмета признак и запечатляя его каким-либо способом или любым знаком, то есть, короче говоря, запечатляя его в языке. Благодаря языку, и только благодаря языку, сделалось возможным последовательное развитие мысли – цепь мыслей, стало возможным осознавать, распознавать что-либо, вспоминать о чем-либо, обладать чем-либо; так со временем родились науки и искусства: рождены они были отмечающим признаки разумом и преднамеренным подражанием.

Уже Бэкон мечтал об искусстве инвенции, но поскольку теория инвенции, изобретения, будет тяжеловесной, а притом, по-видимому, и бесполезной, то весьма поучительным трудом была бы «История изобретений» – вечный пример, явленный потомству богами и гениями человечества. Мы увидели бы тогда, как один изыскатель замечает новые признаки вещей, подсказанные ему случаем и судьбой, как другому приходит на ум новое обозначение, служащее с тех пор орудием знания, как иной раз связать две давно известные мысли значит положить начало новому искусству, влияние которого не ослабевает в течение тысячелетий. Иногда бывало и так, что люди находили новое и забывали о нем, – теория существовала, но ею не пользовались, и вот, наконец, счастливец подбирал золото, лежащее на дороге, или находил для себя новую точку опоры и с помощью рычага сдвигал с места целые миры. История изобретения и совершенствования искусств, – история, которой более всего гордится человеческий ум, – свидетельствует, напротив, о том, что высшая судьба правит во всех делах людей. Признаки, материя для их обозначения давно уже существовали; и только теперь люди заметили их, только теперь дали они им обозначения. Генезис искусства, как и генезис человека, – мгновенное наслаждение, какое испытывают, соединяясь, тело и душа, – бракосочетание Идеи и Знака.

С глубоким преклонением перед творениями человеческого духа я свожу их к простейшему принципу – вещи находятся и обозначаются, ибо именно в этом простом, в умении найти и обозначить вещи, и состоит подлинная божественность человека, только ему свойственное преимущество. Кто пользуется выученным языком, блуждает, словно во сне, разум его спит, он мудр чужим умом, он умен как подражатель;

кто пользуется чужим искусством, разве художник сам? Но в чьем уме рождаются особенные мысли, в ком мысли эти слагают для себя особое тело, кто видит не глазами только, но и духом, кто именует вещи не единым языком, но и душою, кому удается подслушать природу, творящую в мастерской своих творений, высмотреть ранее неизвестные проявления ее деятельности и применить их для человеческих целей с помощью новых искусных орудий и приемов, – тот человек в собственном смысле слова, человек редкостный – настоящий бог среди людей. Человек этот говорит, и тысячи вторят ему заплетающимися языками; он творит, другие играют его созданиями, он был муж в расцвете сил, а те, что пришли после него, быть может, на века останутся детьми. Как редки первооткрыватели среди людей; мы лениво, бездумно цепляемся за то, что имеем, и не беспокоимся о том, чего нам недостает: мир, история народов являет тому тысячу примеров, доказывает это и сама история культуры. Итак, с науками, с искусствами началась новая традиция рода человеческого, присоединить новое звено к ее цепи посчастливилось лишь совсем немногим; другие цепляются за нее, как верные и послушные рабы, и механически влекут ее вперед. Вот этот кофе, который я пью сейчас, он прошел через руки многих людей, а моя заслуга – только в том, что я его пью; так и с нашим разумом, с нашим образом жизни, ученостью и воспитанием, военным искусством и государственной мудростью, – это собрание чужих изобретений и мыслей, они собрались к нам со всех концов света, мы купаемся и тонем в них с детства, и нашей заслуги тут нет. Итак, если европейская чернь гордится Просвещением, Искусством, Наукой, если толпа надменно презирает три прочие части света, так это пустое тщеславие; европеец, как безумец в рассказе, считает своими все корабли в гавани, все изобретения людей, и все только потому, что, когда он родился, все эти изобретения, все эти традиции уже существовали рядом с ним. Жалкий! Придумал ли ты что-нибудь сам? И, впитывая все эти традиции, думаешь ли ты что-либо? Ведь пользоваться готовым – это труд машины; впитать в себя сок науки – это дело губки: ее заслуга, что она родилась на мокром месте. Если твой военный корабль плывет на Таити, а пушки твои гремят на Гебридах, то, право же, ты не умнее туземца и аборигена и ничуть не ловчее его, – он ведь умеет править своей лодкой, а построил он ее голыми руками. Вот это неясно чувствовали и дикари, познакомившись с европейцами, вооруженными всеми инструментами своих знаний. Европейцы показались им неведомыми, высшими существами, они склонились перед ними, они почтительно приветствовали их, но когда они увидели, что европейцы болеют и умирают, что их можно ранить, что физически они слабее туземцев, они стали губить людей, потому что боялись их искусств, а между тем человек тут отнюдь не был тождествен своему искусству. И это же можно сказать обо всей европейской культуре в

целом. Язык народа, тем более язык книжный, может быть умным и рассудительным, но отнюдь не непременно умен и рассудителен тот, кто читает эти книги и говорит на этом языке. Вопрос – как читать, как говорить; но и в любом случае говорящий, читающий только повторяет уже сказанное, он следует за мыслями другого, все обозначившего и назвавшего. Дикарь в своей ограниченной жизни думает своеобычно и выражает свои мысли определеннее, яснее, истиннее, он умеет пользоваться своими органами чувств, членами тела, практическим рассудком, немногими орудиями труда, умеет пользоваться ими с большим искусством, всецело отдаваясь своему делу, – конечно же, если поставить его лицом к лицу с той политической или ученой машиной, что, словно беспомощное дитя, стоит на очень высоких подмостках, построенных, увы! чужими руками, даже трудами всего прошлого мира, то дикарь будет образованнее и культурнее такой машины. Естественный человек – это ограниченный, но здоровый и умелый обитатель Земли. Никто не отрицает, что Европа – это архив искусств и деятельного человеческого рассудка; судьба времен сложила здесь все свои сокровища, они здесь умножаются и не лежат без движения. Но отсюда не следует, что у всякого, кто пользуется ими, рассудок первооткрывателя; скорее напротив, рассудок, пользуясь чужими находками, обленился: ведь если в руках моих чужой инструмент, я не буду утруждать себя изобретением нового.

Гораздо более трудный вопрос: как науки и искусства способствовали счастью людей; приумножили они счастье людей? Я думаю, что на этот вопрос нельзя ответить просто – «да» или «нет», потому что и здесь все дело в том, как люди пользуются изобретенным и найденным. Что на свете есть теперь более тонкие и искусно сделанные орудия труда, что, затратив меньшие усилия, можно теперь добиться большего, что можно беречь человеческий труд, – все это не вызывает сомнения. Неоспоримо и то, что всякое новое искусство, всякая новая наука создают новый союз солидарности между людьми, создают общие потребности, не удовлетворив которые, не могут даже и жить наделенные искусством люди. Но вот что остается вопросом: расширяют ли возросшие потребности тесный круг человеческого счастья; способно ли искусство прибавить к природе нечто существенное или же оно, напротив, только обделяет и изнеживает природу; не пробуждают ли научные и художественные таланты таких склонностей в человеческой душе, при которых людям все тяжелее и тяжелее обрести прекраснейший дар – удовлетворенность, ибо склонности эти, как балансир часов, беспрестанно противятся покою и удовлетворенности; и, наконец, не случилось ли так, что многие страны и города из-за скопления, из-за взаимосвязи теснящихся на узком пространстве людей превратились в приют для бедных, в госпиталь и лазарет, где в спертом воздухе, по всем правилам искусства, хиреет бледный род людей; они кормятся милостыней, незаслуженными ими

благами наук, искусств, государств, а потому приняли облик нищих, занимаются нищенским ремеслом, а потому и терпят, как нищие. Как решить эти и многие другие вопросы, научит нас дщерь Времени – светлая История.

О вы, посланцы Судьбы, вы, гении и первооткрыватели, на каких опасных вершинах пользы исполняете вы свое божественное предназначение! То, что вы находили, вы находили не для себя, и не во власти вашей было назначить миру и потомству, как пользоваться вашими открытиями, что прибавить к ним, что, новое или противоположное, изыскать по аналогии с ним. Бывало и так, что жемчужина столетиями лежала в земле, рядом с нею копались в поисках червей петухи, пока, наконец, какой-нибудь недостойный не находил ее и не вправлял в корону монарха, где блеск ее не всегда благотворен для людей. Но вы делали свое дело и наградили потомство сокровищами, найденными вашим беспокойным духом или ненароком доставшимися вам в дар от судьбы. Судьбе и предоставили вы распоряжаться вашей находкой, и судьба поступала так, как считала нужным. Периодически совершавшиеся катастрофы или губили мысль, или позволяли ей развиться; судьба, царящая во всем мире, смешивала яд и противоядие, пользу и вред, одно смягчала другим. Изобретатель пороха не думал о том, что искра черной пыли повлечет за собой чудовищные разрушения и будет уничтожать вещи и государства, но ни он, ни мы не можем и предполагать, какие благотворные семена заключены в бочке с порохом, на которой восседает теперь немало тиранов и деспотов, какие семена лучшего устройства мира будущего заключены в ней. Ведь гроза же очищает атмосферу! Человек, впервые заметивший, в какую сторону обращена магнитная стрелка, не предвидел ни счастья, ни бедствий, которые принесет этот волшебный дар всем частям света, когда поддержат его иные знания и художества, но и здесь новая катастрофа, возможно, положит конец прежним несчастьям и произведет на свет новые, неслыханные. То же можно сказать и о железе, стекле, одежде, деньгах, письменности и книгопечатании, астрономии и всех науках, какими пользуется искусство управления людьми и государствами. Та поразительная взаимосвязь всех открытий, которая сказывается в их развитии, периодическом продвижении вперед, то ни на что не похожее явление, когда одно удивительным образом ограничивает и смягчает действие другого, – все это признаки того, как распоряжается, как руководит Бог нашим родом, все это – истинная философия истории человеческого рода.

IV. Формы правления суть установленные среди людей порядки, обычно наследуемые традицией[10]

Естественное для человека состояние – это человеческое общество; человек рождается в обществе, воспитывается в обществе, просыпающиеся влечения юности тоже влекут человека к обществу, а самые сладкие для людей имена – отец, дитя, брат, сестра, любимый, друг, кормилец – это узы естественного права, и этими узами связано всякое первоначальное, первобытное человеческое общежитие. Вместе с ними заложены и основы первых форм правления среди людей – это порядок семьи; вне семья человеческий род не может существовать – это законы, данные природой и ею же ограниченные. Назовем их первым разрядом естественных форм правления, они же останутся разрядом высшим и последним.

Вот завершенный природой фундамент общества; человеческому рассудку или потребностям людей предоставлено возводить на нем свои здания. В тех областях земли, где живущие по отдельности племена и роды не испытывают нужды друг в друге, они и не принимают никакого участия в жизни соседей, они и не думают поэтому возводить обширное здание политического устройства. Таковы прибрежные страны, где живут рыбаки, таковы луга, на которых пасут свои стада пастухи, таковы леса, где живут охотники, – если у них и не все подвластно отеческому и домашнему правлению, то все дальнейшие отношения между людьми основаны на договоре и поручении. Представим себе, что племя занято охотой; если у него возникает потребность, чтобы кто-либо руководил им, то вождем их станет главный охотник, самый ловкий, которого они будут слушаться, потому что добровольно избрали его и потому что этого требуют общие цели, само занятие рода, охота. Подобные предводители бывают у животных, которые живут стадами; вообще, если есть множество живых существ, то, что бы они ни делали сообща – странствовали, оборонялись, нападали, нужен такой вождь, который будет руководить всем. Назовем такое устройство общества вторым разрядом естественных форм правления; оно встречается у всех тех народов, которые только удовлетворяют свои потребности и живут, как мы говорим, в естественном состоянии. Даже если народ избирает судей, то они все равно относятся к этому разряду, ибо выбирают самых лучших и самых умных, чтобы они занимались определенным делом, а когда кончится дело, то кончится и их власть.

Но насколько же иначе обстоит дело с третьим разрядом – с формами наследной власти! Где кончаются тут законы природы, где они начинаются? Было только естественно, если самого справедливого и умного человека соратники его избирали в судьи, и если он оправдывал доверие

народа, то и прекрасно, – он мог оставаться судьей до старости. Но если старик умер, отчего сын его должен становиться судьей? Ведь не потому же, что его породил самый умный и справедливый отец, какой только был на свете; ведь он не мог же придать ему ума и справедливости, когда порождал его. Но и природа самого дела такова, что народ не обязан признавать его судьей только потому, что отец его был некогда избран на такую должность, ведь избран он был по своим личным качествам, а сын не воплощает в себе отца; и более того, даже если бы принят был такой закон, согласно которому даже нерожденных еще сыновей следовало бы считать судьями, даже если бы договорились о том, что даже нерожденный еще сын уже есть судья, вождь и пастырь народа, то есть самый мужественный, справедливый и умный человек, каковым следует и признавать его всякому, то все же такой договор о наследовании власти нельзя было бы примирить не то что с принципами права, но даже и с разумом. Ведь природа самыми благородными талантами награждает отнюдь не семьи, и право крови, согласно которому один не родившийся еще человек получает власть над всеми не родившимися еще другими людьми, – это для меня одна из самых темных формул человеческого языка.

Наверное, существовали другие причины для введения наследной власти среди людей, и история не умалчивает о таких причинах. Кто дал форму правления Германии, кто – культурной Европе? Война. Варварские орды затопили всю Европу, вожди и знать варваров разделили между собою землю и людей. Отсюда – княжества, отсюда – ленные наделы, феоды; отсюда – крепостная зависимость покоренных народов; завоеватели завладели собственностью, а что переменилось с тех времен, в свою очередь, предрешалось переворотами, войнами, договоренностью между сильными мира сего, – другими словами, все решала сила. Таким королевским путем идет вперед история, а исторические факты невозможно отрицать. Какая сила весь мир покорила Риму, Грецию и Восток – Александру? Какая сила утверждала великие монархии вплоть до Сезостриса и сказочной Семирамиды? Война. Не право, а насилие, завоевание; и завоевание тоже стало правом – ввиду давности событий, или, как говорят наши теоретики государства, ввиду молчаливого согласия, а молчаливое согласие означает в этом случае одно: сильный берет все, что захочет, а слабый отдает и терпит, потому что не может ничего переменить. Итак, право наследного правления, как и всякого иного владения, связано с цепью традиции: первый пограничный столб вбили в землю сила или случай, и влачили эту цепь тоже сила или случай и лишь изредка мудрость и доброта. Наследники, преемники получали в свои руки то, что прибрал к рукам родоначальник, а что всякому имеющему дастся и приумножится[11] – не требует объяснений, это естественное следствие первоначального овладения землей и людьми.

Не думайте, что сказанное относится только к монархиям, к их чудовищным завоеваниям, а первоначальные государства возникали иным путем, ибо где это видано, чтобы они возникали иным путем? Ведь пока отец правил в своей семье, он оставался отцом, и сыновья его становились отцами, и их он направлял лишь советом. И пока племена добровольно решали избрать себе судей и вождей, чтобы те занимались определенными делами народа, то эти лица только служили общей цели, были предводителями общенародного собрания, и никто и не слышал тогда о таких титулах, как «господин», «царь», «король», самодержавный, наследный деспот, знающий только свою собственную волю, и т.д. Но если народ погружался в дремоту и всю власть предоставлял своим отцам, вождям, судьям и, наконец, вручал им наследный скипетр власти – за их заслуги, силу, богатства и все равно по каким еще причинам, чтобы эти отцы, вожди, судьи пасли народы как пастухи – овец, то при этом можно представить себе только одного рода отношения между правителями и народом: с одной стороны, слабость, с другой – могущество, право сильного. Когда Нимрод[12] убивает зверей, а потом покоряет людей – он охотник и в первом и во втором случае. Предводитель поселения, орды, за которым следовали люди, словно животные, вскоре мог уже в обхождении с ними пользоваться правами человека над животными. Так бывало с теми правителями, которые воспитывали народы; пока они воспитывали народы, они были их отцами, кормильцами, законы в их руках служили всеобщему благу; но стоило им стать своевольными, тем более наследными правителями, и в их руках была сила, и слабые служили им. Нередко место льва занимал лис, но тогда и у него была сила; сила – не только в оружии, но и в коварности, хитрости, ловком обмане, в хитрости порой заключена еще большая сила. Короче говоря, между людьми существовала огромная разница, смотря по тому, каким духом, умом, счастьем, телосложением были они наделены, в какой стране жили, какому образу жизни были привержены, какого возраста достигли, но в соответствии с этими различиями на земле установилось множество форм порабощения, деспотии, и в некоторых странах, увы! эти различные формы только сменяли друг друга. Так, воинственные горные народы затопляли долины и равнины; климат, бедствия, лишения закалили их, и они устанавливали свое господство по всей земле, пока в более теплых странах не уступали роскоши и не были покорены другими народами. Так-то завоевывали наш древний Теллус – нашу Землю, и история ее стала печальным зрелищем грабительских походов, охоты на людей. Почти всякая граница между странами, всякий рубеж эпох полит кровью жертв, слезами угнетенных, такими занесены они в книгу времен. Самые знаменитые имена есть среди этих губителей рода человеческого, коронованных, жаждущих короны палачей, и что еще печальнее, самые благородные люди волею судеб вынуждены были стоять на этих черных подмостках, угнетая своих братьев. Отчего по-

лучается так, что историю царств земных писали, лишь редко достигая разумных конечных результатов? Оттого, что таковы события на земле – они редко приводили к разумным результатам, не дух человечности, а страсти овладели землей, и они народы сгоняли, словно диких зверей, они, словно зверей, гнали их друг против друга. Если бы Провидению было угодно, чтобы высшие существа правили нами, насколько иначе выглядела бы история! Но нить событий напрягали изо всех сил и, когда угодно было судьбе, пряли – герои, то есть честолюбивые, сильные или хитрые и предприимчивые люди. Если бы в целой всемирной истории мы ни в чем не заметили низости человеческого рода, то всю низость людей представила бы нам история форм правления; если судить по ним, то Землю нашу следовало бы называть не Землей, а Марсом или Сатурном, пожирающим своих детей.

Что же делать? Винить ли Провидение в том, что разные области на нашем земном шаре оказались столь различными, а дары природы столь неравномерно распределены между людьми? Напрасно печалиться, несправедливо жаловаться, ибо жалобы такие вступают в явное противоречие с намерениями Провидения. Ведь чтобы населить землю, нужно было воздвигнуть горы, но в горах поселились суровые горные народы. А когда эти горные народы пролились в долины и поработили предающуюся роскоши низменность, то и низменность была такова, что по большей части заслуживала своей участи; ну почему эти люди, эти обитатели долин позволили поработить себя, почему изнежили они свои тела, обласканные природой, почему предались ребяческой неге и суете? Можно считать принципом истории: никто не покорит народ, который сам не позволит покорить себя, народ, который сам не заслуживает рабства. Лишь трус – раб по рождению, лишь глупца природа поставила служить умному, но глупцу и хорошо, когда он служит, и он был бы несчастлив, если бы ему выпало на долю отдавать приказания.

Кроме того, от природы люди не столь уж неравны, они становятся неравными благодаря воспитанию, это можно видеть даже на примере одного и того же народа при разных формах правления. Страдая под ярмом деспотизма, и самый благородный народ утратит свое благородство, мозг костей его будет попран, а коль скоро самые тонкие и самые прекрасные таланты его идут во зло, служат лжи и обману, льстивому рабству и пышной жизни, – удивительно ли, что народ привыкает к своему ярму, целует и увивает цветами свои цепи? Как бы ни жалка была такая судьба людей в жизни и в истории, ибо выйти из пропасти привычного, ставшего привычным рабства значит пережить чудо, значит полностью переродиться, но все же такие бедствия – дело рук человеческих, а не творение природы. Лишь семьи связаны узами природы, дальше же природа предоставила роду человеческому полную свободу устраивать общество, само тонкое произведение человеческого искусства. Сумели люди устроиться хорошо – и прекрасно; выбрали

они тиранию и терпят дурную форму правления, – что ж, пусть несут они свое бремя. И благая мать Природа могла только учить людей – посредством разума, исторической традиции и, на конец, посредством чувства боли, через ощущение человеком своего жалкого существования. И, следовательно, только внутреннее вырождение человеческого общества и допустило порочные и извращенные формы правления в человеческую жизнь, ибо каким бы жестоким, каким бы тяжким ни был деспотизм, но разве не делит слуга добычу со своим господином, разве деспот не самый гнусный раб?

Но неутомимая, благая мать Природа не покидает своих детей и тогда, когда они гнусно вырождаются, горький напиток рабства она услащает забвением и привычкой. Пока народы бодры, пока силы их цветут, пока природа питает их хлебом, взращенным ими в поте лица своего, нет места изнеженным султанам; суровая земля, полная лишений жизнь – вот крепость свободы народов. Но если народы уснули на мягком ложе природы, если не воспротивились они наброшенной на них сети, то природа спешит прийти к ним на помощь, утешить их, она несет им кроткие дары; ведь деспотизм заранее предполагает некую слабость, мягкотелость, жизненные удобства, а такие удобства проистекают из даров природы или из искусства. В большинстве стран, где у власти стоят деспоты, природа кормит и одевает людей, и самим людям не приходится затрачивать усилия, чтобы быть сытым и одетым, так что человеку остается только приспособиться, вытерпеть ураган, проносящийся над его головой, а потом он может уже вдохнуть в себя свежесть и утешение и существовать, не обходясь без наслаждений. Вообще говоря, жребий, выпадающий на долю человека, будет ли он счастлив или несчастлив в жизни, совсем не зависит от того, царствует человек или служит в рабстве. Потому что бедняк может быть счастлив, а раб в цепях – свободен, и самые несчастные и недостойные рабы – это деспот и орудия его воли, нередко целые роды и династии деспотов.

Поскольку все затронутые мною положения по существу своему должны быть объяснены самой историей, то и развивать их предоставляется в историческом обзоре. Пока же дозволены некоторые общие замечания:

1. Вот легкий, но дурной принцип для философии человеческой истории: «Человек – животное, нуждающееся в господине и счастье своего конечного предназначения ожидающее от своего господина или господ». Приведем обратное суждение: «Человек, нуждающийся в господине, – животное; как только он становится человеком, он уже, собственно говоря, не нуждается в господине». Вот как обстоит дело: природа не предназначила человеческому роду никакого господина, и лишь животные пороки и страсти человека таковы, что возникает потребность в господине. Женщине нужен мужчина, мужчине – жен-

щина, ребенку еще не воспитанному – родители, его воспитывающие, больному нужен врач, спорщику – судья в споре, толпе – предводитель. Все это – естественные отношения, и заложены они в самой природе вещей. Но в природе человека совсем не заложено понятие о некоем необходимом для него деспоте – деспоте-человеке. Нужно сначала представить, что человек слаб, и тогда ему нужен защитник, что человек – вечное дитя, и тогда ему нужен опекун, что человек – дик, и тогда ему нужен укротитель, что человек – мерзостен, и тогда ему нужен карающий его злодеяния ангел. Итак, все формы правления, какие есть среди людей, порождены нуждою и существуют только потому, что существует нужда. Но ведь только никуда не годный отец будет воспитывать сына своего так, чтобы тот всю жизнь оставался ребенком и нуждался в опекуне, и только дурной врач будет давать пищу болезни, чтобы больной до самой своей могилы не смог обходиться без врача, – остается применить сказанное к воспитателям рода человеческого, к отцам отечества и их воспитанникам. Или уж эти воспитанники совершенно не способны сделаться чуточку лучше, или же в течение тех тысячелетий, что существуют разные формы правления, люди должны были бы заметно стать лучше и должно было бы стать ясно, для чего, для какой цели воспитывали их отцы. Позднее нам такие цели станут весьма ясны.

2. Природа воспитывает людей семьями, и самое естественное государство – такое, в котором живет один народ, с одним присущим ему национальным характером. Этот характер сохраняется тысячелетиями, и если природного государя народа заботит это, то характер такой может быть развит наиболее естественным образом; ведь народ – такое же естественное растение, как и семья, только у семьи меньше ветвей. Итак, кажется, что ничто так не противно самим целям правления, как неестественный рост государства, хаотическое смешение разных человеческих пород и племен под одним скипетром. Скипетр слишком мал и бессилен, чтобы можно было прививать к нему столь противоречивые части, и вот их дурно склеивают между собой, и получается весьма непрочная машина, ее называют государственной машиной, в ней нет внутренней жизни, нет симпатической связи отдельных частей. Такие царства и самому лучшему монарху крайне затруднят возможность заслужить прозвание «отца отечества», они в истории – словно символы монархий в видении пророка: голова льва, хвост дракона, крылья орла, лапы медведя – все соединено в одно целое[13], целое весьма непатриотического свойства. Словно троянские кони, сходятся эти махины, обещают друг другу бессмертие, но ведь они лишены национального характера, в них нет жизни, и лишь проклятие рока обречет на бессмертие силой пригнанные друг к другу части, ведь искусство государственного управления, породившее их, играет народами и людьми, словно бездушными существами. Но история показывает нам, что такие орудия

человеческой гордыни сделаны из глины и, как всякая глина, распадутся на земле в пыль и прах.

3. Главная цель любого человеческого союза – взаимопомощь, обеспечение безопасного существования, поэтому и для государства самое лучшее – естественный порядок, при котором каждый исполняет в нем то, для чего предназначила его природа. Как только правитель пытается заступить место творца и, понуждаемый страстью, старается по собственному произволению перетворить человека, заставить его быть тем, чем не создавал его Бог-творец, так этот деспотизм, повелевающий небу, становится отцом хаоса и отцом злой участи, которая не преминет постигнуть все государство. Поскольку же установившиеся по традиции сословия людей известным образом противодействуют природе, которая приносит свои дары всем, не считаясь с сословием, то и неудивительно, что большинство народов перепробовали всевозможные формы правления, ощутили на себе бремя каждой и, в конце концов отчаявшись, вернулись к той, которая превращала их в машины, к правлению деспотическому и наследственному. Народы рассуждали как еврейский царь[14], который сказал, когда были предложены ему три наказания: «Лучше впаду в руки Господа, только бы не впасть мне в руки человеческие»[15]; они сдались на милость Провидения, ожидая, кого же пошлет им Провидение в правители, ибо аристократия – это жестокая тирания, а правление черни – это подлинный Левиафан. Все христианские правители именуют себя «государями милостью божией» и этим признают, что получили корону не благодаря заслугам, о которых не могло быть и речи до их рождения, а потому что так угодно было Провидению, чтобы родились они тем, кем родились. А чтобы были у них свои заслуги, им необходимо приложить свои труды, как бы оправдывая Провидение в том, что оно сочло их достойными их высокого призвания, ибо велико призвание государя, он словно бог среди людей, высший гений в образе человеческом. И те немногие государи, которые поняли обращенный к ним зов судьбы, так отметившей их среди людей, словно звезды блестят на мрачном, покрытом тучами небосводе, они утешают путника, заблудившегося во время своего печального путешествия по страницам политической истории человечества.

Ах, если бы явился второй Монтескье, и дал нам ощутить дух законов и правлений, существовавших на нашей круглой Земле хотя бы в самые известные века и времена! Мы ждали бы от него не пустых названий трех или четырех форм правления, которые ведь никогда не бывают вполне одними и теми же, и мы ждали бы от него не остроумных принципов организации государств, потому что государства построены не на одних словесных принципах, не говоря уж о том, что такие принципы не выдерживаются и не бывают постоянными во всех своих состояниях и во все времена, и мы ждали бы от него не

отрывочных сведений, относящихся к разным народам, временам и странам, потому что даже Гений земли не построит целого из такого хаотического беспорядка, – но мы ждали бы философского и живого изложения гражданской истории – истории, в которой, сколь однообразной ни представляется она нам, ничто не повторяется дважды, – в ней устрашающее и поучительное зрелище пороков и добродетелей нашего рода человеческого, наших правителей, зрелище, постоянно изменяющееся во все времена и у всех народов, зрелище, постоянно неизменчивое, постоянно одно и то же.

V. Религия – самая древняя и священная традиция Земли

Вот мы устали от всех изменений, которые наблюдали на поверхности земного шара, от изменений, происходивших у разных народов, в разные времена, в разных областях Земли, но неужели нет у рода наших братьев общего достояния и общего преимущества? Нет ничего – помимо предрасположенности к *разуму, человечности, религии,* помимо этих трех Граций, украшающих человеческую жизнь. Государства возникли поздно, и еще позже возникли науки и искусства, но семья – вот извечное творение природы, вот домашний кров ее, где сама природа вселяет в души людей и сама воспитывает в них семена человечности. Языки – разные у каждого народа, в каждом климате, но во всяком языке можно распознать один и тот же человеческий разум, ищущий приметы и признаки вещей. И, наконец, религия, как бы ни различалась она внешне, следы ее можно встретить у каждого, самого жалкого, самого грубого народа, живущего на краю земли. У гренландца и камчадала, у папуаса и жителя Огненной Земли мы встретим проявления религии – в легендах и обрядах, – и даже если бы среди анциков или согнанных со своих мест лесных людей на островах Индийского моря нашелся народ, совершенно лишенный религии, то и это только свидетельствовало бы о его полном одичании.

Однако откуда же религия у этих народов? Неужели всякий жалкий человек сочинял для себя и обряды служения Богу и естественную теологию? Нет, эти трудящиеся в поте лица своего народы ничего не сочиняют, они следуют традиции своих отцов. Да и ничто внешнее не подавало им повода к такого рода сочинению, ведь если луку, стрелам, удочкам, одежде научили их животные и природа, то в каком предмете, в какой вещи могли увидеть они религию? У какой научились обрядам? Итак, *традиция* – вот *мать языка и начатков культуры, мать религии и священных ритуалов.*

Отсюда сразу же вытекает, что *религиозная традиция может пользоваться теми же средствами, что разум и язык, то есть символами.* Чтобы распространяться, множиться, мысль должна стать словом; так и обряд должен обрести видимый знак, чтобы сохраниться для других и

для потомства; как же сделать незримое зримым, как сохранить пережитую историю, если не с помощью слов и знаков? Вот отчего даже у самых первобытных народов язык религии – самый древний и темный язык, иной раз непонятный и посвященным, тем более чужеземцам. Дело в том, что, сколь бы ни определены были священные символы народа климатическими и национальными условиями жизни, они на протяжении нескольких поколений утрачивали свое значение. И неудивительно: ведь такая судьба поджидает всякую построенную на произвольных знаках систему, всякий язык, если бы только в живом употреблении он не сравнивался постоянно с предметами, если бы он благодаря этому не оставался в памяти как знак и значение. Но если говорить о религии, то там такое живое сопоставление было затруднительно или вообще невозможно, ибо знак относился или к незримой идее, или к истории, к прошлому.

А потому не могло не получаться и так, что *жрецы – первоначально мудрецы – не всегда оставались мудрецами.* Как только смысл символа утрачивался ими, они превращались в немых служителей идола или же становились красноречивыми лжецами. Это с ними и произошло почти повсеместно, и не потому что их обуяла жажда обмана, а потому что этого требовала сама природа вещей. Та же судьба управляет языком, всяким знанием, искусством, устроением: если невежде хочется говорить или заниматься своим ремеслом, он вынужден скрывать, сочинять, лицемерить; место утраченной истины занимает ложь, видимость. Такова *история всех тайн* на земле: сначала они скрывали в себе много важного, много существенных знаний, но затем выродились в пустой перезвон, потому что человеческая жизненная мудрость пошла своим путем; так и жрецы – их святыня опустела, и они превратились в несчастных обманщиков.

И в таком виде изображали их в первую очередь правители и мудрецы. Первые занимали высокое положение, сосредоточивали в своих руках всю власть, привыкли не считаться ни с чем, а потому считали своим долгом ограничить даже действие высших, незримых сил и готовы были считать их символы лишь чем-то вроде кукольного спектакля для черни, если не упразднили их совершенно. Отсюда пошел злополучный спор между троном и алтарем, спор этот продолжался у всех полуцивилизованных народов, но, наконец, попытались соединить вместе обе стороны, и тогда получилось уродливое сооружение – алтарь, воздвигнутый на троне, или трон, воздвигнутый на алтаре. Конечно, от этого несчастного спора теряли только выродившиеся жрецы, потому что с незримой верой спорила вполне зримая сила, тени древней традиции приходилось сражаться с блеском золотого скипетра, некогда освященного и врученного монарху самими жрецами. Итак, времена господства жрецов клонились к закату – по мере того, как росла культура: сначала деспоту было удобно носить корону на голове по милости

божией, а потом он счел, что лучше носить ее по своей собственной милости; тем временем правители и мудрецы уже приучили народ к такому скипетру.

Однако – это первое – нельзя отрицать, что *только религия принесла народам науку и культуру* и *что культура и наука в первое время были просто особой религиозной традицией.* У всех диких народов незначительные их знания и культура до сих пор связаны с религией. Язык религии у этих диких народов – торжественный, более высокий, на этом языке говорят, когда совершают священные ритуалы, с песнями и плясками, язык этот идет от сказаний глубокой древности, в нем – то единственное, что осталось от древней истории, память о первобытных временах, мерцающий свет знаний. Число и счет дней – основа исчисления времени– это знание всегда было священным, священным осталось и поныне; знания о природе, о небе, каковы бы они ни были, эти знания с давних пор присвоили себе маги всех частей света. В руках жрецов – и все темное царство вопросов и решений, которые бередят душу человека, знание тайн и толкование снов, медицина и искусство предсказания, знание букв, примирение человека с Богом, умиротворение усопших и некромантия; у некоторых племен только общий культ и религиозные празднества связывают независимо существующие семьи и превращают их в некую тень целого. История культуры покажет, что и у самых культурных народов все было точно так. И египтяне, и все восточные народы вплоть до самых северных окраин восточного мира, и все культурные народы античности, этруски, греки, римляне – все получили науки из глубин религиозных традиций, под сенью религиозных обрядов; так обрели они поэзию и искусство, музыку и письменность, историю и медицину, естествознание и метафизику, астрономию и летосчисление, даже этику и учение о государстве. Самые древние мудрецы и занимались только одним: они разделяли доставшиеся им семена и взращивали растения; этот процесс продолжался и после них и длился сотни лет. И мы, северные народы, обрели свою науку под видом религии, а потому можем смело сказать вместе с историей всех народов: «Религиозной традиции письменности и языка обязана земля семенами всей более высокой культуры».

Во-вторых. Сама природа вещей подтверждает эти слова, ибо что поднимало человека над животными, что мешало опуститься до уровня животного даже человеку глубоко выродившемуся? Обычно говорят: «Разум и язык». Но человек не мог стать разумным, не будь у него языка, а разум и язык он мог обрести лишь одним путем – замечая единство многого, представляя незримое в зримом, связывая причину и следствие. Чтобы сложились и пришли в связь отвлеченные идеи разума, нужно было, чтобы во всем окружающем мире, во всем хаосе существ человек почувствовал действие незримых сил, нужно было, чтобы это религиозное предчувствие предшествовало отвлеченным идеям и легло

в их основу. Так чувствует дикарь действие сил природы, если у него и нет явного понятия о Боге; чувство его живо и действенно, о чем свидетельствуют сами суеверия дикарей, само их идолопоклонство. Пока речь идет о рассудочных понятиях зримых вещей, человек поступает, как и животное, а на первую ступеньку высшего разума его должно поднять представление о незримом внутри зримого, о силе, производящей любое действие. Но это и есть то, можно сказать, единственное представление, которое бывает у некультурных народов и которое свойственно трансцендентному разуму, – другие народы просто выразили это представление более многословно. То же – и представление о жизни души после смерти человека. Какими бы путями ни пришел человек к этому представлению, оно только и отличает умирающего человека от животного, и это всеобщее верование народов. Дикари не могут философски доказать бессмертие души, но и философ, по всей видимости, не способен дать такого доказательства, и его разумные доводы могут только укрепить веру, но сама вера всеобща. И даже камчадал причастен к ней, когда тела умерших оставляет на съедение зверям, и туземец Новой Голландии, бросающий трупы в море, причастен к ней. Ни один народ не зарывает своих родственников в земле так, как зарывает животных, – потому что, умирая, всякий дикарь отправляется к праотцам, в страну блаженных. Итак, религиозная традиция, утверждающая бессмертие души, и внутреннее чувство своего существования, не ведающее ни о каком конце, предшествуют разуму, систематически развивающему свои понятия, иначе разум едва ли дошел бы до понятия бессмертия и едва ли выразил бы его с такой мощью. Итак, всеобщая вера людей в жизнь души после смерти – это пирамида религии, воздвигнутая на могилах отцов.

Наконец, божественные законы и обычаи человечности, сказывающиеся хотя бы в отдельных чертах у самых диких народов, – неужели они измышлены разумом за целые тысячелетия, неужели устои их – в переменчивой системе абстракций ума? Не могу поверить в это, даже если судить по истории. Если бы люди были рассеяны по земле как звери и им самим приходилось бы отыскивать внутреннюю форму гуманности, то, несомненно, мы должны были бы встретить и народы, не знающие языка, неразумные, обходящиеся без религии и нравов, ибо все, чем был когда-либо человек, все это есть на Земле еще и теперь. Но ни история, ни опыт не учат нас, что есть где-либо на Земле орангутаны человеческой породы, а сказки позднего Диодора и еще более позднего Плиния о бесчувственных людях и прочих нечеловеческого вида человеческих существах[16] или сами по себе оказываются сказками, или же не заслуживают доверия, будучи свидетельствами одних этих авторов. Преувеличены и легенды о первобытных народах древнего мира, которые рассказывают поэты, желая превознести Орфея или Кадма, – цель описания, время, когда жили поэты, уже исключает их из числа свидетелей истории. А если судить по аналогии климатических условий, то,

конечно же, европейский народ, а тем более греческое племя не могли быть более дикими, чем жители Новой Зеландии и обитатели Огненной Земли, а ведь у этих негуманных наций есть и человечность, и язык, и разум. Ни один людоед не ест своих детей и братьев; нечеловеческий обычай съедать людей – это у них жестокое право войны, призванное поддержать мужественный дух и нагнать страх на неприятеля. Итак, эти народы подавляют в себе гуманность перед лицом немногих несчастных, которых приносят они в жертву своему отечеству, как подавляем и мы, европейцы, гуманность, когда речь идет о совсем других вещах, – итак, это творение грубого политического разума. Кроме того, дикари стыдятся своего жестокого обряда перед чужеземцами, тогда как мы, европейцы, не стыдимся своих кровопролитных сражений, а со всяким пленником, если ему выпал печальный жребий, дикари поступали благородно, по-братски. Все эти черты негуманности, когда готтентот заживо зарывает в землю свое дитя, а эскимос сокращает дни жизни своего старика-отца, – это следствия тяжелой нужды, но этим не опровергается изначальное чувство человечности. Разум, пошедший ложным путем, распущенность, роскошь породили среди нас куда более изощренные, мерзкие вещи – разврат, оставляющий далеко позади себя всякую полигамию негров. Но поскольку никто не отрицает, что даже душа содомита, угнетателя, наемного убийцы несет в себе печать гуманности, но искаженную страстями и наглой привычкой так, что ее почти невозможно разобрать, то мне будет позволено считать, что внутренние задатки гуманности столь же всеобщи, как и человеческая природа, и что эти внутренние задатки и составляют, по существу, природу человека; это я смею утверждать после всего прочитанного и проверенного мною о населяющих Землю народах. Человечность древнее спекулятивного разума, сложившегося только тогда, когда человек приучился подмечать признаки вещей и обрел язык, более того, разум лишен был бы всякой мерки в практических вопросах, если бы не брал меру у той самой темной печати, скрытой в глубинах нашей души. Если все обязанности человека – чистые условности, придуманные человеком для того, чтобы достичь счастья, и определенные человеком на основании опыта, то они перестанут быть моими обязанностями, стоит только отказаться мне от достижения цели, от счастья. Силлогизм разума завершен. Но как же представления об обязанностях проникли в душу человека, никогда в жизни не рассуждавшего ни о счастье, ни о средствах достижения счастья? Как вошли в душу человека обязанности мужа, любовь отца и детей, обязанности перед семьей и обществом; ведь человек не накопил еще опыта добра и зла и, следовательно, должен был сначала показать себя лютым зверем, нечеловеком, а уж только потом стать человеком? Нет, благое божество, ты не оставило на произвол убийственной случайности созданное тобою творение. Ты даровало инстинкт животным, а в душе человека запечатлело свой образ, религию и человечность:

статуя заключена в глубине темного мрамора, но изваять сама себя она не может. Это и было делом традиции, наставления, разума и опыта, и в средствах не было недостатка. Черты твоего образа в душе человека где-то стерты, где-то развиты в полную меру, но повсюду они являют изначальную предрасположенность человека, от которой он и не может уже отрешиться, коль скоро осознает ее, – это правило справедливости, это правовые принципы общества, это и моногамия как наиболее естественная для человека форма брака и любви, это и бережное обращение с детьми, и уважительное с друзьями и благодетелями, это само предчувствие могущественнейшего и благотворнейшего существа на свете. Сфера изначальных задатков человека, образования и развития их – это и есть подлинный град божий на земле, и все люди, только разделенные на классы и стоящие на разных ступенях, – жители этого города. Счастлив тот, кто может способствовать расширению этого царства истинного внутреннего человеческого творения; он не завидует ни первооткрывателям, ни королям. Но кто же скажет нам, где и когда возникла эта будящая человеческую душу традиция гуманности и религии, традиция, претерпевшая немало преобразований и распространившаяся до самых окраин мира, где теряются ее темные, неясные следы? Кто научил людей языку – так, как дети учат язык от других, и никто не придумывает себе свой особый разум? Какие символы впервые постиг человек, так что под покровом космогонии и религиозных сказаний к народам и пришли первые семена культуры? С чем связано первое звено в цепи истории нашего рода, в истории его духовного и морального воспитания? Посмотрим, что скажет об этом естественная история Земли и самая древняя традиция народов.

Ideen
zur
Philoſophie der Geſchichte der Menſchheit

von
Johann Gottfried Herder.

— Quem te Deus eſſe
Juſſit et humana qua parte locatus es in re
Diſce — *Perſ.*

Erſter Theil.

Riga und Leipzig,
bei Johann Friedrich Hartknoch.
1784.

Титульный лист издания
«Идей к философии истории человечества»
И. Г. Гердера.
Рига и Лейпциг, 1784 г.

Книга десятая

I. Наша Земля особо создана для живого творения, Землю населяющего

Исток человеческой истории покрыт для философа мраком, и уже в самые древние времена замечаются такие странности, которые не совместимы с той или иной философской системой; поэтому многие предпочли в отчаянии разрубить узел и теперь видят на земле лишь руины былых поселений, а в роде человеческом – остатки прежнего человечества, бежавшие в горы или скрывавшиеся в пещерах в то время, как вся планета переживала, в своем прежнем положении, свой, как говорится, день Страшного Суда. Присущий теперешнему человечеству разум, известные ему искусства и традиции – это будто бы не что иное, как спасенная добыча, – все это некогда принадлежало погибшему первоначальному миру*, и вот почему в разуме, искусствах и традиции людей сказывается, с одной стороны, некий блеск, объясняющийся тем, что зиждятся они на опыте долгих тысячелетий, а с другой стороны, их никак нельзя прояснить до конца, потому что благодаря сохранившимся от прошлого мира людям культура двух миров связывается словно Истмийским перешейком, а в то же время и спутывается. Если мнение такое верно, то тогда не может быть никакой чистой философии человеческой истории, ибо и наш род и все его искусства – попросту шлак, оставшийся после разорения мира, каким он был прежде. Посмотрим же сейчас, основательна ли эта гипотеза, которая и землю и человеческую историю превращает в хаос, в клубок, не доступный никакому распутыванию.

Во всяком случае, эта гипотеза не основана на наблюдении изначального строения нашей Земли, потому что первые совершавшиеся на Земле опустошения и катаклизмы не предполагают существования человечества, которое отжило свой век, а относятся к самому кругу творения, благодаря которому только и появилась возможность жить

* См., в первую очередь, глубокомысленный «Опыт о происхождении познания истины и наук». Берлин, 1781[1]. Гипотезу о том, что наш земной шар сложился из развалин иного мира, по самым разным причинам разделяют многие естествоиспытатели.

на Земле*. В древнем граните, составлявшем внутреннее ядро нашей планеты, не находят, насколько изучена эта порода, следов погибших органических существ, гранит не содержит их в себе, и составные части его не предполагают их наличия. Вероятно, вершины гранитных скал поднимались высоко над уровнем моря, потому что они не испытали воздействия водной стихии, но на таких голых скалах человек не мог дышать, не мог находить и пропитания для себя. Воздух, окружавший эти бесформенные утесы, не был еще отделен от воды и огня, он бременел самыми разнообразными материями, которые в различных сочетаниях и в различные периоды времени постепенно опускались на остов Земли и придавали ей форму, но воздух такой не мог пока ни дать дыхание самому сложному существу Земли, ни сохранить его живой дух. Поэтому первые живые создания возникли в воде, и возникли они со всею мощью первотворящей силы, которая ни в чем ином не могла проявить себя, а потому придала себе органический строй лишь в мириадах моллюсков, – никто, кроме них, и не мог жить в этом бременеющем рождениями море. Земля продолжала принимать свой облик, и моллюски при этом нередко гибли, разрушенные их тела послужили основой для образования более сложных органических существ. Чем более освобождалась от воды первородная скалистая порода, чем более оплодотворялась она осадками моря, то есть элементами и органическими созданиями, соединенными с водой, тем более спешило растительное творение догнать в развитии своем водные существа, и на голой земле, на суше, пошло теперь в рост все, что только могло расти. Но и в парниках этой зоны земли, суши, не могло еще жить ни одно земное животное. На вершинах, где растут теперь лапландские травы, находят окаменелые растения жарких поясов Земли – явное доказательство того, что в окружавшем Землю тумане царил жаркий климат. Но и такой богатый испарениями воздух уже должен был в значительной степени очиститься, потому что огромные массы вещества опустились уже на землю и потому что нежное растение требует для себя воздуха; но поскольку среди всех отпечатков растений не встречается животных и тем более костей человека, то весьма вероятно, что ни животных, ни человека не было еще тогда на Земле, потому что не был готов ни материал для их создания, ни пропитание, нужное для поддержания их жизни. Так и дальше – Земля переживает еще несколько переворотов, и, наконец, в верхних слоях глины и песка мы находим скелеты слонов и носорогов, ибо то, что раньше принимали за расположенные в более глубоких слоях окаменелостей человеческие скелеты, вызывает большие сомнения и более точными естествоиспытателями признается за останки морских животных. И на Земле природа начала с образований наиболее жарких стран

* Факты, подтверждающие мои суждения, рассыпаны в различных книгах по естественной истории Земли, отчасти известны из Бюффона, так что я не буду обрамлять каждое свое положение цитатами.

и, как кажется, с самого чудовищного размера живых существ, подобно тому как в море природа начала с моллюсков, покрытых раковинами, и с гигантских аммонитов; по крайней мере, вместе с многочисленными скелетами слонов, которые были снесены в одно место течением воды и нередко сохранились вместе с кожей, найдены были и змеи, и морские животные, но только не тела людей. И даже если бы их нашли, то, совершенно несомненно, они принадлежали бы к гораздо более новой эпохе по сравнению с древними горами, где нет вообще ничего живого в этом роде. Это рассказывает нам древнейшая книга земли с ее слоями глины, сланца, мрамора, известняка и песка; но что же говорит тут в пользу такого «пересотворения» земли, которое будто бы пережил один род людей, будто бы давший начало людям, живущим теперь на Земле? Скорее все, что говорит книга Земли, свидетельствует о следующем: испытав ряд предварительных катаклизмов, Земля из хаотической смеси материй и сил под действием животворного тепла творящего духа превратилась в особое, изначальное целое, и в конце концов на Земле мог появиться уже и венец всего творения – человек, сложное и тонкое существо. Итак, системы, которые, наводя на нас страх и ужас, повествуют о том, как раз десять менялись местами все части Земли и полюса, как раз сто переворачивался с головы до пят весь обитаемый и возделанный мир, как люди бежали из страны в страну и находили себе могилу под обломками скал и на дне морском – все эти системы противоречат строению Земли или, по крайней мере, не подтверждаются ее строением, хотя и нельзя отрицать, что Земля претерпела множество переворотов и катастроф. Разломы древних пород, рудные жилы, обрушившиеся груды скал не говорят о том, что земля населена была еще и раньше, – до того, как возникла теперешняя земля, если бы даже древняя масса и претерпела такую судьбу и была целиком переплавлена, то уж, конечно, ничего живого не осталось бы от этого прежнего мира. Итак, Земля, история живого мира, населяющего Землю, каким сложился он теперь, все это для исследователя – сплошная проблема, которая ждет своего разрешения. Подойдем ближе к этой проблеме и спросим:

II. Где создан был человек и где жили самые первые люди на Земле?

То, что не было это на каком-нибудь краю Земли, возникшем в позднюю эпоху, не требует доказательств, а потому сразу же отправимся к извечным горным хребтам, в страны, прилегающие к ним и их окружающие. Что же – люди возникали повсюду, как моллюски? И Лунные горы родили негра, Анды – американца, Урал – азиата, европейские Альпы – европейца? И что же – на всякой из главных горных цепей, какие только есть на Земле, жила своя разновидность людей? Если

в каждой части света есть свои породы животных, которых больше нет нигде, которые не могут жить в других местах, а потому рождены были в этой части света и приспособлены для нее, почему бы каждой части света не иметь и своих особых людей? И разве разнообразие народов, их строений, нравов и характеров, а прежде всего различие языков не служит тому доказательством? Каждый читатель знает, с каким блеском подобные аргументы были изложены самими учеными и проницательными исследователями, так что в конце концов стало уже казаться, будто думать, что природа повсюду создавала медведей и обезьян, а людей повсюду создавать не могла, – значит придерживаться самой вымученной гипотезы: будто бы совершенно противоречит всем прочим проявлениям природы, если, создавая самое нежное и хрупкое свое существо, природа произведет лишь две человеческие особи, а тем самым подвергнет их тысячекратной опасности и проявит чуждую ей скупость. Говорят так: «Посмотрите, какое изобилие семени у природы, как расточает она его, как бесчисленные зародыши и растений, и деревьев, и животных и людей обрекает она гибели! И вот именно тогда, когда подходит пора положить начало человеческому роду, природа, эта родительница, эта в своей девственной юности столь богатая всяким семенем матерь, готовая в одной-единственной катастрофе пожертвовать миллионами живых существ, чтобы произвести на свет новые роды, о чем свидетельствует строение Земли, – и вот именно тогда окажется, что, сотворив низшие существа, природа исчерпала свои силы, и вот неукротимый, насыщенный жизнью лабиринт подойдет к концу, и завершат его два слабых человеческих создания?» Посмотрим, насколько отвечает развитию культуры и истории нашего рода эта столь блестящая, на первый взгляд, гипотеза, насколько совместима она со строением, с характером человека и с отношением его к другим живым существам Земли.

Первое, что очевидно противоречит природе, так это предположение, будто бы все живое она создавала в одинаковом количестве и все это количество сразу же наделяла жизнью, – само строение Земли, само внутреннее устройство живых существ исключают такую мысль. Ведь слонов и червей, львов и инфузорий на Земле отнюдь не одинаковое количество; и с самого начала, по самому своему существу они не могли создаваться в равном количестве и сразу. Миллионам ракушек пришлось погибнуть, пока не появилась садовая почва, на которой могла произрастать более сложная жизнь, – целый мир растений гибнет каждый год, чтобы питать высшие существа. Итак, если совершенно абстрагироваться от конечных целей творения, то уже в самом материале природы заключено было то, что из многого создавалось одно, а вечно кружащееся колесо творения разрушало мириады существ, чтобы вдохнуть жизнь в немногие, но благородные создания природы. Так природа восходила от низшего к высшему, и, повсюду оставляя довольно семени

для того, чтобы поддерживать роды существ, она пролагала себе путь к племени более избранных, более сложных и тонких, высших созданий. Если человек – венец творения, то, конечно же, он не мог родиться в одинаковом количестве, в один день и на одном месте с рыбой или морской губкой. И вода не могла стать кровью человека, а потому надо было очистить, надо было сгустить жизненное тепло природы, чтобы оно окрасило кровь человека. И все вены и волокна, и все кости человека надо было создать из самой тонкой глины, а поскольку всемогущая природа ничего не делает ради одной причины, то необходимый материал она должна была уже приготовить для себя. И природа уже прошла через все более грубые животные создания, и везде, где только могли, возникали живые существа, и через все поры сочились жизненные соки и везде они развивались и развивались, пока не возникала жизнь. Аммониты появились раньше рыб, и растение предшествовало животному, которое и не могло бы жить, не будь уже растения, и крокодил или кайман ползали прежде, чем стал щипать траву слон, размахивающий своим хоботом. Существование плотоядных животных уже предполагало, что размножились животные, которыми они будут питаться, а потому их нельзя было создать сразу и в одинаковом числе. Итак, если человек должен был жить на Земле, если нужно было, чтобы он стал владыкой Земли, уже должны были быть готовы для него царство его и кров его, потому он необходимо должен был явиться позднее всех и не в таком числе, как другие, те, владычествовать над кем был он призван. Если бы из того материала, который имелся в ее мастерской, природа могла произвести нечто более высокое, чистое и прекрасное, нежели человек, неужели она остановилась бы и не породила такое существо? А если она не породила его, то это значит, что, создав человека, природа закрыла двери своей мастерской и теперь с величайшей бережливостью завершила свои создания, начатые на дне морском с таким расточительным изобилием. И вот древнейшая письменная традиция народов гласит: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их; после бессчетного, что сотворил он, меньшее число; тут почил Бог и более не творил»[2]. Вершина пирамиды была создана, и пирамида живых существ завершена.

Но где было место вершине? Где родилась жемчужина завершенного творения Земли? Не могло это быть нигде иначе, как в средоточии деятельных органических энергий, там, где творение больше всего развилось и расцвело, если можно так сказать, – конечно же, только в Азии, как подсказывает и само строение Земли. Именно в Азии расположено то обширное нагорье, которого никогда не покрывала вода и которое своими скалистыми хребтами простерлось, расходясь на множество рукавов, и в ширину и в длину. Сюда притягивались деятельные силы, здесь рождался от трения и кружил электрический поток, здесь в изобилии осаждались и материи плодородного хаоса. Вокруг гор возникла самая

большая часть света, как видно по ее контурам; на этих горах, у подножий их жило больше разновидностей живых существ, чем где-либо на Земле, и, по всей вероятности, они уже ползали и бродили здесь, уже радовались жизни, когда другие области земли еще лежали под водой или едва только глядели на свет поросшими лесом или голыми горными вершинами. Гора, которую Линней* представлял горою творения, существует в природе, но только это не одна гора, а целый амфитеатр, целое созвездие горных хребтов, расходящихся во все стороны, во все климаты. «Должен заметить, – пишет Паллас**, – что все животные, одомашненные в северных и южных странах, в умеренном климате центральной Азии встречаются в диком состоянии (за исключением дромедара, обе разновидности которого не покидают Африки и не приживаются в азиатском климате). Из горных цепей, опоясывающих среднюю Азию и часть Европы, происходят дикий бык, буйвол, муфлон, от которого пошли наши овцы, оттуда происходят безоар и каменный козел, помесью которых является столь плодовитая порода, как наши козы. Олень часто встречается на высоких горах, служащих границей Сибири и занимающих ее восточный край, оленя впрягают в сани и используют как вьючное животное. Олень встречается и на Урале, он заселил и все северные страны. Дикий двугорбый верблюд живет в больших пустынях, расположенных между Китаем и Тибетом. Дикая свинья населяет леса и болота умеренных зон Азии. Дикую кошку, от которой происходит наша домашняя кошка, все хорошо знают. И, наконец, основная порода наших собак несомненно происходит от шакала, хотя я не считаю собаку чистой породой, а думаю, что в незапамятные времена она смешивалась с обычным волком, лисой и даже гиеной, что и послужило причиной необычайных различий в величине и внешнем облике собак...» Так пишет Паллас. Но кто же не знает природных богатств Азии, особенно южной? Кажется прямо, что наиболее высоко расположенную возвышенность мира окружает не только самая обширная, но и самая изобильная страна, которая с самого начала впитала в себя большую долю органического тепла. Самых мудрых слонов, самых умных обезьян, самых подвижных животных питает Азия, и, быть может, несмотря на свой упадок, тут живут самые разумные и возвышенные люди.

А что же другие части света? Уже история показывает нам, что Европа заселена животными, в большинстве своем происходящими из Азии, и что Европа все еще была покрыта лесом и болотами, когда возвышенности Азии были уже культурной землей. Внутреннюю Африку мы плохо знаем, и прежде всего мы совершенно не знаем ни высоты, ни очерта-

---

* *Linnaei*. «Amoenitates academicae». Vol. II. P. 439, «Oratio de terra habitabili». Речь эту не раз переводили.

** «Замечания о горах»[1], переводившиеся в «Трудах по физической географии» (т. III, с. 250) и в других местах.

ний расположенного в центре Африки горного хребта, но, впрочем, по некоторым причинам очевидно, что эта бедная водой и в основном низменная страна едва ли достигает широты и высоты азиатских гор. И эта часть света, видимо, дольше находилась под водой, и хотя теплый пояс Земли не отказал в силе и крепости животным и растениям этих мест, но кажется, что Африка и Европа – это просто дети, прильнувшие к матери своей Азии. Большинство животных живет во всех трех названных частях света и в целом составляет одну часть света.

Наконец, Америка – это и полоса отвесных, неприступных гор, и бушующие вулканы, и тянущаяся от подножья их низменная земля, расположенная на уровне моря, – эта земля наделена растительностью, амфибиями, насекомыми, птицами, а пород совершенных и подвижных животных здесь меньше, чем в Старом Свете, – все эти причины и, в частности, молодость населяющих эту часть света народов с их первозданным строем едва ли позволяют считать эту часть света наиболее рано заселенной. Напротив того, сравнение этой части света с другой половиной Земли подсказывает естествоиспытателю сложную проблему различия между двумя противоположными полушариями. Итак, маловероятно, чтобы прекрасная долина Кито была родиной первой четы людей, хотя я желаю этой чести и долине Кито, и африканским Лунным горам и не буду возражать, если кто-нибудь найдет тому доказательства.

Но довольно простых предположений, и я не хотел бы, чтобы кто-либо, ссылаясь на них, стал отнимать у создателя право творить людей, где только ему заблагорассудится. Материал был, и дыхание, по всем землям и морям рассадившее прирожденных их обитателей, могло и каждой части света даровать их туземных владетелей, если бы только это было сочтено нужным. Но, разъяснив характер человечества, разве не нашли мы причины, почему это не было угодно творцу? Мы видели, что разум и гуманность людей зависят от воспитания, языка и традиции и что наш человеческий род совершенно отличается от животного, которое рождается на свет, наделенное безошибочным инстинктом. Но если так, то уже по специфически присущему человеку характеру его нельзя было, как животных, разбросать по диким пустыням. И такому дереву, которое могло расти, только если применить к нему все возможное искусство, лучше всего было расти из одного корня, в одном месте, где условия для него были самые благоприятные и где посадивший дерево мог сам ухаживать за ним. И человеческий род, целью которого была гуманность, должен был с самого своего начала стать братским племенем, племенем одной крови, и одна традиция должна была руководить им; так и возникло целое, как возникает семья, – все ветви шли от одного ствола, все побеги происходили из одного сада. Мне кажется, что всякому, кто поразмыслит над всем характерным для природы человека, над свойствами и устройством разума, над способом, с помощью которого человек обретает понятия и

воспитывает в себе гуманность, – мне кажется, что всякому этот замысел Бога, так отличившего человеческий род, отделившего его от животных уже одним происхождением, представится наиболее целесообразным, прекрасным и достойным. Как и задумал Бог, мы стали любимцами природы, и нас, зрелые плоды своего усердия, своих чад, рожденных в преклонном возрасте, она произвела на свет в том месте, какое наиболее подобало таким поздним, нежным созданиям. Она воспитывала нас по-матерински и окружила нас всем, что только могло с самого начала облегчить воспитание сложного и требующего искусства человеческого характера. Коль скоро только *один* человеческий разум был возможен на Земле и природа произвела на свет только *одну* породу существ, способных становиться разумными, то эти разумные существа она и воспитывала в одной школе языка и традиции, и воспитывала она многие поколения, все вышедшие из одного источника.

III. Развитие культуры и истории дает фактические доказательства, подтверждающие, что человеческий род возник в Азии

Откуда взялись народы Европы? Из Азии. О большинстве европейских народов это можно утверждать с полной достоверностью. Происхождение лапландцев, финнов, германцев и готов, галлов, славян, кельтов, кимвров и других народов нам известно. Отчасти на основании их языков или отрывочных свидетельств языка, отчасти на основании исторических сообщений об их прежнем местонахождении мы можем проследить пути их издалека, от берегов Черного моря и даже из глубин Татарии, в которой сохранились еще мелкие группы, говорящие на этих языках. О том, откуда пришли другие народы, мы знаем не так хорошо, ведь автохтоны и получаются оттого, что мы не знаем прошлой истории народа. Наиболее сведущий в языках историк древних и новых народов, Бюттнер[4] оказал бы неоценимую услугу человечеству, если бы раскрыл перед нами сокровища своей всеобъемлющей начитанности и некоторым народам даровал их никому доселе неведомое генеалогическое древо; это и может сделать только он*.

Конечно, гораздо туманнее для нас происхождение африканских и американских народов; но, насколько знаем мы северную окраину Африки, насколько можем сопоставить сведения древнейших традиций, говорящих об африканских народах, они происходят из Азии. А спускаясь на юг, мы вынуждены удовлетвориться тем, что ни в фигуре негра, ни в цвете его кожи мы не находим ничего противоречащего происхождению его с азиатского материка, потому что мы видим сплошную картину

* Этот ученый работает сейчас над всеобъемлющим планом подобного труда.

определяемых климатом племенных образований, что мы и пытались показать в шестой книге нашего сочинения. То же самое нужно сказать и об Америке, заселенной гораздо позднее; уже более однородный внешний облик живущих тут народов делает вполне вероятным предположение, что происходят они из восточной Азии.

Но языки народов говорят нам гораздо больше, чем органическое строение; а где на целом свете наиболее древние, с давних пор культурные языки? В Азии. Если хотите посмотреть на чудо, на то, как на протяжении тысяч миль вдоль и поперек все говорят исключительно односложными словами, – взгляните на Азию. На всем пространстве по ту сторону Ганга, в Тибете и Китае, в Пегу, Аве, Арракане и Бреме[5], в Тонкине, Лаосе, Кохинхине, Камбодже и Сиаме люди говорят только односложными словами, которые не склоняются и не спрягаются. Быть может, давнее правило культуры языка и письменности удержало их в таком состоянии, потому что в этом углу Азии все самые древние установления не претерпели, можно сказать, никаких изменений. А если вы хотите посмотреть на языки, все огромное, почти уже чрезмерное богатство которых сводится к весьма немногим корням, на языки, которые со странной правильностью, с почти ребяческим механизмом, когда путем незначительного изменения корневого слога можно получить новое понятие, сочетают многообразие и изящество, приятность, тогда обратите свой взгляд к южной Азии, к странам от Индии до Сирии, Аравии и Эфиопии. В бенгальском языке – семьсот корней, это как бы первоначальные элементы разума, из которых образуются в этом языке и глаголы, и существительные, и все остальные части речи. Еврейский и родственные с ним языки, совершенно иные по своему составу, вызывают наше изумление, особенно когда мы изучаем их строение по древнейшим сочинениям. Все слова восходят к состоящим из трех букв корням, первоначально это были, видимо, односложные слова, но впоследствии, не без влияния характерного для этих народов алфавита, они были приведены в такую форму, и так, с помощью самых простых добавлений и склонений, и был построен весь язык. В развитом арабском языке все безмерное богатство понятий сводится к немногим корням, так что жалкий характер большинства европейских языков с их ненужными связками и скучными окончаниями, где заплата сидит на заплате, никогда не сказывается так, как при сравнении их с языками, на которых говорит Азия. Поэтому же, чем древнее азиатский язык, тем труднее научиться говорить на нем европейцу, ему приходится отбросить все бесполезное богатство своего наречия, и он оказывается как бы перед тонко продуманной и управляемой неприметным правилом иероглифической системой языка незримых мыслей.

Самый верный знак культуры языка – это письменность; чем древнее, искуснее, продуманнее письменность, тем более культурным был язык. Но ни одна европейская нация, за исключением одних только скифов, тоже азиатского народа, не может похвастаться собственным

алфавитом; в этом отношении европейцы – настоящие варвары, и место их – подле негров и американских племен. Только Азии была известна письменность, причем уже в древнейшие времена. Первая культурная нация Европы – греки – приняла свой алфавит из рук восточного человека, а что все известные в Европе написания букв представляют собой измененные или искаженные начертания греческих букв, показывают таблицы Бюттнера*. Древнейшая буквенная письменность египтян, которую находят на мумиях, – финикийского происхождения, а коптский алфавит – искаженный греческий. У негров и американцев не приходится думать об особенном алфавите, потому что мексиканцы не поднялись над уровнем простейших иероглифов, а перуанцы – над веревками с завязанными на них узелками. Азия же, напротив того, исчерпала до дна возможности буквенного и иероглифического письма, так что среди начертаний букв, известных в Азии, найдутся, по-видимому, все возможные, какими только можно запечатлять человеческие речи и слова. В бенгальском языке – 50 букв и 12 гласных, в китайском языке, этом лесе из черт и черточек, не менее 112 гласных и 36 согласных. Подобные же явления находим мы в тибетском, сингалезском, маратском, манджурском алфавитах, где нередко знаки пишутся даже в разных направлениях. Некоторые из письменностей Азии – столь древнего происхождения, что можно прямо видеть, как сам язык складывался вместе со знаками письма, приспособляясь к ним; прекрасные и простые письмена на развалинах Персеполиса мы не понимаем до сих пор.

Перейдем теперь от орудия культуры к самой культуре; могла ли возникнуть она раньше, чем возникла в Азии? Отсюда она известными нам путями распространилась во все стороны. Одним из первых шагов человека к культуре было приручение животных, а власть человека над животными в этой части света столь древняя, что пережила все катастрофы истории. Мы видели уже, что на этих первозданных горах живет большинство зверей, которых можно одомашнить, но более того, человеческое общество приручило их в такие давние времена, что самые полезные виды домашних животных, какие есть у нас, – овца, собака, коза – как бы возникли путем приручения и представляют собой новые породы, выведенные искусством азиатских народов. Чтобы встать в центр, откуда во все прилегающие страны распространялись прирученные животные, нужно взойти на азиатское нагорье, – чем дальше от него, тем в целом меньше домашних животных. В Азии вплоть до южных островов ими полнится вся земля; в Новой Гвинее и Новой Зеландии нашлись только собака и свинья, в Новой Каледонии – только собака, а во всей огромной Америке приручены были лишь гуанако и лама. Самые лучшие азиатские и африканские породы – красивые и благородные животные. Кулан и

* См. «Сравнительные таблицы письменности разных народов». Гёттинген, 1771.

арабский конь, дикий и ручной осел, архар и овца, дикий баран и ангорская кошка – гордость своей породы; умнейшего слона в Азии с самых ранних времен использовали для самой сложной работы, а без верблюда в этой части света вообще не обойтись. По красоте своих животных Африка примыкает к Азии, но она отстает от Азии в умении пользоваться ими. Азии Европа обязана всеми домашними животными; если же говорить о характерных для нашей части света животных, то по большей части это мыши и летучие мыши, всего 15–16 видов*.

С обработкой земли, с выращиванием растений все обстояло точно так же, как и с животными; еще в довольно поздние времена значительная часть Европы продолжала оставаться лесом, а жители ее должны были бы питаться корнями и дикими травами, желудями и лесными яблоками, если бы им пришло на ум кормиться растительной пищей. Во многих областях Азии, о которых идет у нас речь, зерно растет само собой, а возделывание почвы существует с незапамятных времен. Самые прекрасные фруктовые деревья на Земле переселились из Азии в Грецию и Африку, а оттуда распространились и дальше – это виноград и маслина, апельсины и финиковые пальмы, мандарины и все европейские фруктовые деревья, каштаны, миндаль, орехи и т.д.; некоторые другие растения подарила нам Америка, и мы даже точно знаем об очень многих из этих растений, из каких они мест, когда были привезены в Европу и разведены здесь. Выходит, что даже и такие дары природы достались человечеству лишь на путях культуры. В Америке не рос виноград, и в Африке он посажен руками европейцев.

Люди впервые стали заниматься науками и художествами в Азии и в Египте, граничащем с Азией, не приходится долго доказывать это, потому что красноречиво говорят о том памятники культуры и история народов, а труд Гоге**, в котором собраны свидетельства прошлого, тоже в руках у всех. Полезные и изящные искусства очень рано появились в этой части света, повсюду, конечно, в согласии с азиатским вкусом, что подтверждают руины Персеполиса и индийских храмов, египетские пирамиды и другие сооружения, от которых сохранились развалины или устные предания; почти все эти памятники созданы задолго до возникновения европейской культуры, и ничего подобного им нет ни в Африке, ни в Америке. Возвышенная поэзия некоторых народов южной Азии известна всему свету***, и чем древнее она, тем более отмечена достоинством и простотой, заслуживающей того, чтобы называть ее божественной. Есть ли такая остроумная, проницательная мысль, есть ли даже такая поэтическая гипотеза, которая пришла бы в голову позднего западного человека, чтобы не обреталась она в зародыше в изречениях и словах раннего восточного

---

* См.: *Циммерман.* Географическая история человека. Т. III. С. 183.

** «О происхождении законов, искусств и наук». Лемго, 1770[7].

*** См.: *Джонс.* Poeseos Asiaticae commentarii, edit. Eichhorn, Lips., 1777.

человека, если хотя бы малейший повод был в окружающем мире, который способен был породить подобную гипотезу? И торговля в Азии началась раньше, чем где-либо, и важнейшие открытия и изобретения тоже принадлежат Азии. Из Азии идет астрономия и летосчисление, и найдется ли такой человек, который не подивился бы тому, как рано и как широко распространились среди древнейших народов Азии известные астрономические наблюдения, приемы, системы отсчета, – все это совершенно несомненно, даже если и не сочувствовать гипотезам Байи*. Получается, что древнейшие мудрецы были прежде всего звездочетами, что они вели наблюдение за тихим и незаметным ходом времени, так что даже теперь, когда эти азиатские народы глубоко пали, ярче всего сказывается в них дух числа, дух счета**. Брамин в уме подсчитывает чудовищные суммы, и он всегда помнит и чувствует все единицы времени – от самых мелких и до целых небесных кругооборотов; обходясь без вспомогательных средств, какие есть в распоряжении европейца, он все же никогда не ошибается или ошибается редко. Древний мир оставил ему формулы, а его дело – применять их на практике; и наше летосчисление – тоже азиатское по происхождению, и знаки и названия созвездий у нас – тоже из Египта или из Индии.

И если, наконец, самое трудное искусство, которому выучивается культура, – это искусство управления государством, где, скажем мы, впервые появились самые обширные монархии? Где прочнее всего царства земные? Китай тысячелетиями придерживается одного и того же строя, и хотя этот мирный народ не раз наводняли татарские орды, побежденные всякий раз укрощали победителей и приковывали их к цепям своего древнего государственного строя. Какая европейская форма правления может похвастаться этим? В горах Тибета царит древнейшая иерократия земли, а если у индийских каст такие мощные корни, если они сделались второй природой для индийцев, то это значит, что касты – уходящий в седую древность обычай этого самого кроткого в мире народа. На берегах Тигра и Евфрата, на Ниле, в горах Мидии уже в самые древние времена культурные народы, воинственные и мирные монархии вмешиваются в жизнь западных наций, а на татарских нагорьях не знающая узды вольная жизнь и деспотизм ханов сплелись в единое целое, послужившее основой многих европейских форм правления. С какой бы стороны ни подходил ты к Азии, везде встречаешь на пути своем прочно утвержденные империи, и неограниченная власть столь твердо запечатлелась в умах людей за долгие тысячелетия, что у сиамского короля рассказ о народе, управляющемся без короля, вы-

---

* «История древней астрономии» Байи. Лейпциг, 1777[8].

** См. «Путешествия» Лежантиля в Собрании Эбелинга. Т. II. С. 406 и др.; «Doctrina temporum Indica» в приложении к книге Байера «Historia regni Graecorum Bactriani». Petropoli, 1738.

звал лишь смех, – этот народ представился ему уродом, родившимся без головы. Наиболее прочные царства в Африке расположены ближе к Азии, а если спускаться на юг, то там тирания находится еще в самом диком состоянии, а у кафров она переходит в патриархальную жизнь пастухов. Если плыть по Южному океану, то чем ближе к Азии, тем больше древних искусств, ремесел, тем больше пышности и тем больше царского деспотизма – этого супруга пышности и роскоши, а если плыть в сторону от Азии, то на дальних островах, в Америке, на скудных окраинах Южного полушария, встретишь и более примитивный образ жизни, и более простой строй государств, и вольные обычаи родов и племен, так что некоторые историки даже существование двух монархий, какие известны в Америке, – Мексики и Перу – объясняют соседством деспотических государств Азии. А весь вид Азии подсказывает нам, что именно здесь, особенно в горных местностях, живет самое древнее население Земли, и традиции азиатских народов, их религии, их летосчисление уходят в глубь тысячелетий. Все легенды европейцев и африканцев (египтян я всякий раз исключаю), а тем более легенды народов Америки и западных островов Южного моря, – всего лишь отрывки недавно выдуманных и уже позабытых сказок в сравнении с гигантским зданием древних космогонических систем – Индии, Тибета, древней Халдеи и даже стоящего ниже Египта; бессвязные звуки, донесенные заблудившейся Эхо, – и голос изначального мира Азии, корни которого уходят в сказание и миф.

Но что же, не последовать ли нам за этим голосом, не проследить ли его истоки, тем более что нет у человечества иного средства воспитания и культуры, помимо традиции? Конечно, путь такой обманчив, мы словно бежим вслед за радугой или отголосками эхо, – ведь и ребенок, конечно же, был тут, когда рождался на свет, но что он может рассказать о своем рождении; так и род человеческий едва ли в силах сообщить нам исторически верные сведения о своем творении, о первых полученных им наставлениях, об изобретении языка и первом своем местожительстве. Но, однако, и ребенок вспоминает же какие-то черточки, относящиеся ко времени, когда стал он чуть старше; но если детей воспитывали сначала вместе, а потом по отдельности и рассказывают они одно и то же или очень похожие вещи, то почему же не прислушаться к их рассказам, почему не задуматься над тем, что говорят они, о каких снах и мечтаниях вспоминают, тем более что нет иных свидетельств и документов. А поскольку совершенно очевидно, что Провидение задумало учить людей только на их же собственном опыте, то есть учить на опыте традиции, которая никогда не прерывается, так не будем сомневаться и в том, что Провидение не скроет от нас самого необходимого для нас знания.

IV. Что говорят предания Азии о сотворении Земли и начале рода человеческого

Но с чего начнем в этом дремучем лесу, где путают и сбивают вас с толку ложные голоса и блуждающие огни? Я не намерен прибавлять ни строчки к той Библиотеке мечтаний, что тяжелым бременем лежит на человеческой памяти, и, насколько могу, отличаю предположения народов, гипотезы мудрецов и факты традиции, а сами факты различаю по степени достоверности и по времени, к которому они относятся. Китайцам, азиатскому народу, гордящемуся своей древностью, неведомо ничего исторически достоверного, что происходило бы раньше 722 года до нашей эры. Царства Фу Си и Сянь-ди – чистый миф, а все, что было до этих Фу Си, – эра духов и олицетворенных стихий, – и сами китайцы рассматривают как поэтическую аллегорию. Древнейшая книга китайцев*, найденная в 176 году до нашей эры, или, правильнее было бы сказать, восстановленная из двух уцелевших во время пожара списков, не содержит ни космогонии, ни рассказа о началах народа. Яо уже царит вместе с горами империи – вельможами, и стоит ему отдать приказ, и вот люди начинают наблюдать за движением светил, проводить каналы, устанавливать порядок времен, а все дела, обряды, жертвоприношения уже и до него – в наилучшем порядке. Итак, остается китайская метафизика великого первого И**, повествующая о том, как из единицы и двоицы возникли четверица и восьмерица, как разверзлись небеса и на Земле царили, в чудном обличье, пуанку и три хоанга и как вместе с первым законодателем Гин-Хоангом, родившимся на горе Хинма и разделившим воду и землю на девять частей, началась уже история, более напоминающая человеческую. И, однако, мифология на этом не кончается, а перечисляется еще множество поколений, так что, очевидно, ничего первоначального нельзя основать на мифологии, если только не считать того, что местопребывание первых царей и чудесных созданий эта мифология относит к азиатским горам, которые считаются священными и которые эти древние легенды почитают. Огромная гора, находящаяся в центре земли, у китайцев славится под именем этих древних сказочных существ, или царей.

Поднимемся на Тибет и тут обнаружим, что вся земля расположена вокруг самой высокой горы, и это тем более замечательно, что на положении этой горы основывается вся мифология духовной империи Тибета. Высота горы, ее размеры – ужасны по этим описаниям; чудовища, исполины стерегут ее, стоя по краям, ее окружают семь морей и семь золотых гор. На вершине живут лахи, а на низших ступенях – другие волшебные

---

* «Le Chou-King, un des livres sacres des Chinois». Paris, 1770[9].

** См. предваряющее «Шу-цзин» в издании Дегиня сочинение Премаре «Recherches sur les temps antérieurs à ceux dont parle le Chou-king».

существа. По прошествии целых мировых эпох, эонов, созерцатели неба опустились ниже, все более грубой становилась материя их тел, и, наконец, они обрели человеческий облик, будучи рождены супружеской парой безобразных обезьян, – и животные тоже возникли от того, что лахи были низвергнуты на землю*. Жестокая мифология! Весь мир строится сверху вниз, начиная с вершины горы, он опускается в моря, моря окружаются чудовищами, а вся система живых существ тоже оказывается в пасти чудовища – вечной Необходимости. Эта традиция бесчестит человека, ведет род человека от обезьяны, но и она так переплелась с более поздними сочинениями, что многое нужно сделать для того, чтобы мы могли рассматривать ее как настоящее предание о первобытном мире.

Большим сокровищем была бы для нас древнейшая традиция старинного народа индусов. Но первоначальная каста браминов давным-давно искоренена приверженцами Вишну и Шивы, а все, что удалось узнать европейцам из тайн брахманов, это, по всей видимости, лишь сказания недавнего прошлого, предназначенные для народа мифы или толкования мудрецов. Эти легенды все толкуют по-своему, так что нам еще, пожалуй, долго ждать подлинного санскрита и подлинных «Вед», тогда как и от «Вед», если говорить о древнейшей традиции, не приходится ждать многого, – ведь первую часть «Вед» сами индийцы считают утраченной. Между тем и в позднейших россказнях проглядывает иной раз золотое зерно изначального исторического сказания. Так, вся Индия почитает священной реку Ганг, текущую со священных гор, от стоп сотворившего мир Брахмы. В своем восьмом рождении Вишну явился Прассарамой, вода покрывала еще всю землю вплоть до горы Гате, и Вишну попросил морского бога, чтобы тот отвел море на расстояние полета стрелы. Бог пообещал, тогда Прассарама выстрелил из лука, и пока стрела летела, из моря выступала суша – Малабарское побережье. Как замечает Соннерá, этот рассказ говорит нам, что море простиралось некогда вплоть до горы Гате, а Малабарское побережье – это земля недавнего происхождения. Другие сказания индийских племен совсем иначе повествуют о происхождении суши. Вишну плыл по морю на листке дерева, а первый человек был цветком, который вырос из него. По волнам морским плавало яйцо, Брахма согрел его, и из оболочки яйца вышли воздух и небо, а из содержимого – живые существа: животные и люди. Но только читать эти сказания нужно, не нарушая присущего им тона детской сказки**.

Система Зороастра*** – это, как видно, уже философское учение, и если бы оно даже не перемешалось с легендами других систем, то его все равно нельзя было бы принять за изначальную традицию; однако следы изначального можно распознать и в ней. Опять перед нами гора

---

* Georgii «Alphabetum Tibetanum». Roma, 1762. P. 181.

** См. Соннерá, Бальдеуса, Доу, Холуэлла и др.

*** «Зенд-Авеста». Рига, 1776–1778[10].

Альборджа – огромная гора в центре земли; от нее во все стороны расходятся горные хребты. Вокруг этой горы вращается Солнце, с этой горы текут все реки, все моря и земли тоже разделены ею. Все вещи, какие есть на свете, сначала существовали в виде прообразов, зародышей, и если все мифологии горной Азии населяют древний мир чудовищами, то и здесь есть огромный бык Кайямортс, из тела которого вышли все живые существа земли. Наверху расположен рай, как на той горе, где жили лахи; здесь – обиталище блаженных душ и просветленных людей, здесь исток всех рек, вода жизни. Заметим, что свет, разделяющий и побеждающий тьму, оплодотворяющий землю и всем существам дающий блаженство, послужил физической основой всей световой системы парсов, – идее света они дали тысячу применений – в религиозном культе, в морали и политике.

Мы спускаемся с великих гор Азии на запад, и все поздн е время возникновения сказаний о начале мира. Видно уже, насколько позже они появились, видно и то, что чужие традиции, возникшие в горной местности, применены были к расположенным в долинах странам. Они все менее и менее подходят к местным условиям, но сама система приобретает все более законченный и совершенный вид, и только изредка в рассказе проскальзывают отрывки древних легенд, всякий раз в новом национальном облачении. Меня удивляет поэтому, каким образом ухитрялись объявлять Санхониатона[11] одновременно и обманщиком, и первым пророком древности, – ведь уже географическое положение страны, в которой он жил, раз и навсегда отрезало ему пути к древности, к первоначальным временам мира. Что в начале всего был темный воздух, черный мрачный хаос, что он лишен был очертаний и формы, что он целую вечность носился в пустых пространствах, но что, наконец, ткущий дух воспылал любовью к своим собственным началам, и из соединения их произошло все творение, весь мир, – это древняя мифология, представление, присущее самым разным народам, так что финикийцу нечего было и прибавить ко всем этим рассказам. Почти все народы Азии, включая египтян и греков, по-своему рассказывали предание о хаосе и о согретом теплом яйце, – почему же письменных преданий, повествующих обо всем этом, не могло быть в финикийском храме? По всему свету разошлось и сказание о том, что семена первых существ лежали в иле и что первые разумные существа обладали чудесным обликом, были зеркалами неба («зофасемим»); разбуженные громом, они проснулись и породили множество живых существ; это сказание, которое финикийцами было лишь сокращено, во всех вариантах распространено было и в горах Мидии и Тибета, и в Индии и Китае, во Фригии и во Фракии, потому что пережитки таких сказаний мы находим в мифах Гесиода и у орфиков. Но если мы читаем длиннейший генеалогический ряд, где нам рассказывают о ветре Колпии, то есть звуке дыхания бога, о жене его Ночи, о сыновьях их Первородном и Эоне, о внуках их Роде

и Племени, о правнуках их Свете, Огне и Пламени, о праправнуках их, горах Кассии, Ливане и Антиливане, где этим аллегорическим персонажам приписывают все изобретения человеческого рода, то нужно разделять самые застарелые предрассудки, чтобы в этом нелепом смешении древних сказаний, от которых составителю были, по-видимому, известны лишь имена, превращенные им в имена живых существ, видеть философскую систему мира и древнейшую историю людей.

В поисках древнейших традиций мы не будем спускаться на юг, в глубь черного Египта. Имена наиболее древних богов сохранили остатки связей египетской и финикийской традиции, и здесь тоже появляются древняя Ночь, Дух, творец мира, ил, в котором лежат семена вещей, и т.д. Но поскольку все известное нам из древнейшей мифологии Египта относится к позднему времени, все очень темно и неопределенно, поскольку, далее, все мифологические представления этой страны целиком и полностью приспособлены к ее климату, то нам и не приходится за этими идолами или тем более за россказнями негров искать сказания первоначального мира, которые могли бы послужить основой для философии самой древней истории человечества.

Итак, исторически на всей нашей обширной земле у нас не остается ничего, кроме *письменной традиции,* которую мы называем иудейской. Не разделяя никаких предрассудков, но и не высказывая никаких предположений об ее происхождении, мы только точно знаем, что эта традиция насчитывает более трех тысяч лет и что книга иудеев – самая древняя, какая только есть у людей. Мы посмотрим на нее и увидим, что такое эти краткие, простые страницы, на что они притязают, чем они могут для нас быть, – для нас сейчас они не будут страницами истории, но страницами предания, или, иначе, древней *философии человеческой истории,* а потому мы с самого начала освободим их от всяких восточных поэтических украшений.

V. Что говорит древнейшая письменная традиция о начале человеческой истории

Сказание иудеев повествует: когда началось творение земли и неба, то земля была безвидна и пуста, и темные морские потоки покрывали ее, и животворящая сила носилась по водам.

Если нам предстоит описать, основываясь на самых новых научных наблюдениях[12], в каком состоянии находилась земля вначале, то, не предаваясь полету бездоказательных гипотез, мы и повторим во всей точности древнее описание: чудовищная гранитная глыба почти вся покрыта водой, и в воде плавают природные энергии, внутри которых зреет жизнь, – вот и все, что мы знаем, больше мы не знаем ничего. Что глыба эта, раскаленная, пылающая, была выброшена Солнцем, – это

гигантская мысль, но нет для нее оснований ни в аналогии природы, ни в истории постепенного развития нашей Земли, – откуда же на этой раскаленной массе вещества взялась вода? И почему форма Земли – круглая? Отчего она вращается, отчего на ней два полюса? Ведь в огне магнит утрачивает свою силу. Гораздо вероятнее, что эта чудесная глыба сложилась сама собой, в результате действия внутренних сил, то есть что она постепенно оседала и сдавливалась, опускаясь из бременеющего нашей Землей хаоса. Но иудейская традиция быстро кончает с хаосом и описывает нам глыбу, а тогда и все хаотические чудовища и чудесные существа, о которых говорят древние традиции, падают в бездну. Одно общее есть у этого философского повествования с древними легендами – это «элохим»[13], которых, по всей видимости, можно сопоставлять с лахами, «зофасемим» и другими существами, но они здесь очищены и стали понятием творческого единства, – они не творения, а творцы.

Творение начинается со света: ночь отделилась, и разделились стихии. Но если судить по древним и новым наблюдениям, – есть ли в природе другой принцип, начало разделяющее и животворящее, кроме света, или, если угодно, огня, то есть особой стихии? Повсюду свет рассеян в природе, но только неравномерно распределен среди тел, по родству их со светом. Свет, в постоянном движении, в постоянной деятельности, текучий и беспрестанный сам по себе, есть причина всего текучего, всякого тепла, всего движения. Даже начало электричества кажется лишь модификацией света, а поскольку вся жизнь на Земле развивается лишь благодаря теплу, проявляется лишь в движении текучего, поскольку, далее, и действие животного семени, расширяя, побуждая, животворя, напоминает действие света, и даже при осеменении растений замечены были свет и электричество, то и в древней философской космогонии не что иное, как свет – первый деятель. Не тот свет, что исходит от Солнца, а тот, что вырывается наружу из глубин органической массы, что вновь соответствует нашему опыту. Ведь не лучи Солнца дают жизнь и питают живые существа, но все оплодотворено изнутри, оплодотворено внутренним теплом, и есть тепло внутри скал и хладного железа, и живо, чувствительно и деятельно живое существо лишь по мере присущего ему генетически огня и тонкого выявления его в мощном круговращении, во внутреннем движении. Итак, первый огонь, стихия огня была раздута, – не извергающий лаву Везувий, не горящее ярким пламенем тело Земли, но сила разделяющая, теплотворный питательный бальзам природы, все постепенно приведший в движение. Куда грубее выражает такое представление ложная финикийская традиция; там гром и молния будят природные силы – дремлющих животных, а здесь свет придает облик всему творению, и опыт наш только подтвердит в будущем эту систему.

Чтобы, переходя к дальнейшему изложению, сразу же предотвратить возможное недоразумение, касающееся «дней творения», напомню, что говорит и простой взгляд*, а именно: вся система представлений о постепенно созидающем само себя творении основана на противопоставлении, так что всякое разделение членит мир не физически, а только символически. Дело в том, что наш взор не в состоянии постигнуть все творение сразу, всю взаимосвязь творческих актов, все их взаимопроникновение, – пришлось установить классы вещей, а самым естественным было противопоставить небо Земле, а на самой Земле – море и самою землю, сушу, хотя на самом деле, в природе, они представляют собою взаимосвязанное царство деятельных и терпящих существ. Итак, древний документ иудейской традиции – простая, первоначальная таблица *существующего в природе порядка,* а наименование «дней творения», в соответствии с иной целью автора книги, служит опорой для классификации *наименований.* Коль скоро свет был исполнителем творческого акта, то, несомненно, небо и земля должны были быть сотворены в одно и то же время. Свет очистил воздух, потому что воздух, – а воздух – это более разреженная вода и, согласно новейшим исследованиям, проводник, связывающий между собою все существующее в сотворенном мире, – не мог быть очищен никаким иным известным нам началом природы, но только светом, или стихийным огнем, – только свет мог довести до эластической текучести воздух, служащий и свету, и силам воды и земли в тысяче их соединений. Но очищение могло произойти только так, что посредством множества скачков и переворотов всякое более грубое вещество постепенно оседало, благодаря чему и вода и земля, и вода и воздух стали вполне различными сферами. Итак, второй и третий творческие акты проникают друг друга, они противопоставлены и в символической картине космогонии, будучи порождены первопринципом, то есть разделяющим светом творения. Эти творческие акты, вне всякого сомнения, продолжались тысячелетиями, что вполне ясно показывает и возникновение гор и слоев почвы, вымывание долин до ложа рек. В течение этих огромных отрезков времени творили три могучие стихии – вода, воздух, огонь; вода и воздух выделяли, осаждали, точили вещество, огонь творил где только мог – в воде, воздухе и в самой слагающейся земле.

И вновь – сколь проницателен взгляд древнейшего естествоиспытателя, который видит то, чего не могут понять многие и в наше время! Ведь внутренняя история Земли показывает нам, что в строении Земли сразу же, с самого начала, повсюду деятельны были органические силы Земли, – как только органическая сила могла заявить о себе, она немедленно проявлялась. Как только Земля в силах была произращивать растения, так и появилась растительность, хотя целые царства флоры погибали, когда выпадали новые осадки воздуха и воды. Как только

* См. «Древнейший документ человеческого рода». Т. I [14].

море очистилось, так оно стало кишеть живыми существами, хотя в наводнения миллионы таких морских существ находили для себя могилу, послужив материалом для строения других органических образований. Кроме того, не в каждый период, пока продолжалось это творческое очищение, могли жить все существа каждой стихии, – одни роды существ сменяли другие, в соответствии с их природой и природой среды, в которой они обитали. И, о чудо! наш натурфилософ все эти процессы постигает в словах творца мира: слово творца вызвало к жизни свет, повелев воздуху очищаться, морю постепенно опускаться, земле подниматься из моря, оно привело в движение творческие силы всей природы, голос творца приказал и земле, и водам, и праху земному, *чтобы всякая стихия производила органические существа по роду* ее *и чтобы, следовательно, все творение оживлялось собственными, прирожденными стихиям силами*. Так говорит мудрец, и не боится смотреть на природу, и видит то, что повсюду замечаем и мы, где органические силы развиваются в соответствии со своею стихией и создают жизнь. Но поскольку без классификации обойтись было невозможно, то он разделяет и противопоставляет царства природы, как разделяет их и естествоиспытатель, прекрасно понимая, что они не отделяются друг от друга никакой оградой. Всему предшествовала растительность, но ведь и новая физика доказала, что растения живут главным образом благодаря свету; итак, стоило скалистой породе немножко выветриться, стоило воде нанести немножко ила, и вот, в жарком тепле мощно греющего творения, уже возникает флора. Плодовитое лоно моря раскрывается и приносит свои рождения. Земля, оплодотворяемая гибнущими существами, светом, воздухом, водой, спешит вослед и не перестает рождать – но только не все породы разом, потому что и плотоядный зверь не мог жить без животной пищи, и появление его предполагало гибель целых родов, что вновь подтверждается естественной историей Земли. В более глубоких слоях земли, в отложениях первых эонов, находят морских существ и травоядных животных, но почти не находят плотоядных зверей. Так, ступень за ступенью, строилось земное творение, рождая все более тонкие органические строения, и, наконец, перед нами – человек, венец творения, искусное создание элохимов.

Однако, прежде чем обратиться к этому венцу, рассмотрим несколько мастерских штрихов нашего древнего натурфилософа и мудреца. Во-первых, Солнце и звезды он не относит к творцам и не включает в свое созидательное колесо творения. Они стоят в центре его символической картины, они, как говорит он, цари времен, и они удерживают Землю и все органические рождения Земли в их движении, но органических сил они не придают, и такие силы не переходят от них на землю вместе с лучом света. Солнце и теперь светит, как светило в первый день творения, но оно не пробуждает к жизни и не слагает в органическое целое небывалых дотоле существ; и ни мельчайшего живого существа

не породило бы тепло в гниющей массе вещества, если бы заложенные в ней силы творения не были готовы совершить переход к органическому строю. Вот почему Солнце и звезды появляются на этой картине тогда, когда они могут уже выступить, то есть когда воздух очищен и земля построена, – но Солнце и созвездия – лишь свидетели творения, царствующие над кругом органического – органического благодаря своим внутренним силам – существования.

Во-вторых, Луна существует с тех пор, как существует Земля; на мой взгляд, в ней прекрасное свидетельство древней картины природы[15]. Меня не убеждают мнения тех, кто считает Луну недавним соседом Земли и приписывает появлению ее все беспорядки, происходящие на поверхности Земли и в ее недрах. Мнение это для физики бездоказательно, потому что всякий видимый непорядок на Земле получает объяснение и помимо такой гипотезы, а если объяснить лучше, то и перестает быть беспорядком. Совершенно очевидно для меня, что наша Земля, со всеми скрытыми в оболочке ее становления элементами, могла сложиться, лишь испытав известные перевороты, революции, и притом не иначе, как в соседстве с Луною. Луна приведена в равновесие с Землей, как Земля – с самой собой и с Солнцем: насколько мы знаем часовой механизм сил неба и Земли, и движения морской стихии, и рост растений связаны с лунными фазами.

В-третьих, очень тонко и очень верно помещает наш мудрец в один класс и обитателей воздуха, и обитателей воды; сравнительная анатомия заметила поразительное сходство в их внутреннем строении, особенно в строении мозга, этом безошибочном показателе совершенства органического строя живого существа. Различия всегда зависят от той среды, для которой создано живое существо, – итак, у этих двух классов существ, живущих в воздухе и в воде, должна во внутреннем их строении сказаться та аналогия, что существует между воздухом и водой. Вообще говоря, все живое колесо истории творения подтверждает, что коль скоро каждая стихия производила все возможное для нее и целое состоит из всех без исключения стихий, то, собственно, на нашей планете и *могло появиться только такое единое органическое строение,* которое начинается с низших живых существ и завершается самым благородным и искусным творением элохимов.

Пораженный, восхищенный, перехожу я к описанию человека, ибо в этом и заключается содержание всей книги, в этом, к счастью, и печать ее. Элохимы советуются друг с другом и образ своего рассуждения запечатляют в становящемся человеке, – итак, он отмечен рассудком и размышлением. Они создают человека по подобию своему; восточные люди это подобие видят прежде всего в вертикальном положении тела человека. Печать, которую налагают они на человека, – печать владычествования над всей Землею; итак, человеческому роду было дано органическое преимущество, и состоит оно в том, что человек способен

во всем придать завершенность Земле, что он, самое плодовитое среди благороднейших живых существ, живет во всех климатических условиях, и живет как наместник элохимов, как воплощенное Провидение, как творящий Бог. Вот в чем древнейшая философия человеческой истории.

А теперь, когда все колесо творения было завершено и была создана последняя царящая в нем пружина, теперь элохим почил от всех дел своих; можно сказать и большее: он на сцене, на которой совершается творение, настолько скрыт, что может показаться, будто все само по себе произошло на свет, и от века одни поколения, следуя необходимости, сменяли друг друга, – будто все всегда было одинаково. Однако последнее невозможно: и строение Земли, и органическое строение зависящих друг от друга живых существ вполне доказывают нам, что все живущее на Земле, составляя единое сооруженное искусством здание, имеет свое начало и что все поднялось от низшего к высшему, – но что же первое? Почему двери мастерской природы закрылись и почему ни море, ни земля не полнятся теперь новыми породами живых существ, так что творческая сила словно покоится и творит лишь через органы установившихся родов и порядков? Наш натурфилософ, для которого пружиной всего является творящее во всем существо, и это объясняет нам физически. Если свет, или стихия огня, разделил массу вещества, утвердил небесный свод, придал эластичность воздуху, приготовил землю к тому, чтобы она производила растительность, то он придал вид семенам всех вещей и органически развился от самой низкой до самой сложной и тонкой жизни, – итак, творение было завершено, ибо, по словам Вечного, то есть, согласно его все упорядочивающей мудрости, жизненные силы были распределены и приняли всякий вид, какой только мог и должен был сохраняться и существовать на нашей планете. Животворящий дух носился над водами творения, и присущее ему жаркое дыхание тепла открылось уже в первосуществах, какие находим мы теперь под землей, открылось в них с такой мощью, с такой полнотой, с какой не могут ничего уже породить теперь ни земля, ни море, – это перводыхание творческого тепла было таково, что ничто не могло придать себе органический склад помимо него, как теперь ничто не складывается в органический строй без генетического тепла, и это тепло сообщилось всем сотворенным порождениям и до сих пор продолжает творить внутри их существа. Какое бесконечное количество материального огня поглотила, например, каменная порода Земли, и этот огонь до сих пор продолжает творить или дремать в земле, – это подтверждают и вулканы, и все горючие минералы, и даже кремень, высекающий искру! Но множество новых опытов и наблюдений доказывают, что во всем растительном мире заключено горючее начало, что животная жизнь только и делает, что перерабатывает огненное вещество, так что, кажется, весь круговорот творения заключается в

том, что текучее затвердевает, твердое разжижается, огонь выпускается на свободу и вновь связывается, живые силы заключаются в органические тела и вновь выходят на волю. А поскольку у определенной для строения нашей Земли массы было свое число, своя мера, свой вес, то и внутренняя пружина, творившая во всей массе вещества, должна была совершить свой круг. Во всем творении одно живет теперь за счет другого, – колесо творений вращается, но не прибавляет ничего нового, оно строит и разрушает в заданных генезисом рамках, в какие замкнула его первая эпоха, эпоха творения. Природа властью творца словно сделалась совершенным искусством, сила стихий связана и проявляется лишь в кругу уже определенных органических творений, и из круга этого она не может выступить, потому что пластический дух воплотился уже во все то, во что он мог воплотиться. Но в природе вещей заключено и то, что такое творение искусства не может существовать вечно, что у кругооборота, у которого было начало, непременно будет и конец. И прекрасное творение, что произвело себя из хаоса, произведет из себя новый хаос, – формы изнашиваются, всякий организм истончается и старится. И великий организм Земли тоже найдет свою могилу, и из могилы этой выйдет и примет новый облик, когда наступит его время.

VI. Что говорит древнейшая письменная традиция о начале человеческой истории. Продолжение

Если моему читателю по нраву чистые идеи этой древней традиции, которую я представил, не прибавив к ней ни гипотез, ни красот, то последуем за ней и дальше, после того как мы обозрели эту картину творения в целом. Чем особым отличается она от сказок и преданий народов Центральной Азии? Последовательностью, простотой, истиной. И в сказках и преданиях есть зерна физики и истории, но они переходили из рук в руки, предания жрецов и народа не были записаны, они сочинялись и пересочинялись, все страшно перепуталось и возник легендарный хаос, – какой был в начале мироздания. А наш мудрец и натурфилософ преодолел хаос и построил здание, своей простотой и продуманностью воспроизводящее самое природу, в которой изобилует порядок. Как же достиг он такого порядка и простоты? Достаточно сравнить его повествование с баснями других народов, и мы поймем, почему настолько более чистой была его философия истории Земли и человечества.

Во-первых. Все непонятное для людей, все чуждое им и далекое от них он отбросил, а придерживался только того, что мы можем увидеть глазами и объять памятью. Так, ни один вопрос не вызывал таких споров, как возраст мира, древность Земли и человеческого рода. Азиатские народы, которые без конца занимались летосчислением, принято считать бесконечно мудрыми, а ту традицию, о которой говорим мы теперь, – бес-

конечно ребяческой и детской, потому что она, как говорится, не взирает ни на доводы разума, ни на очевидные свидетельства строения Земли, а спешит с рассказом о творении мира, как будто сотворить мир – это какой-то пустяк, и получается, что человеческий род еще совсем молод. Но ведь если Моисей [16] хотя бы просто собирал и приводил в порядок древние предания, то он, ученый египтянин, конечно же, был осведомлен о том, с чего ведут начало истории египтяне (как и все азиатские народы), – с эонов, когда жили боги, а потом полубоги. Почему же он не включил их в свой рассказ? Почему, словно нарочно, из упрямства или из презрения, он все творение мира свел в символ кратчайшего отрезка времени? Ответ очевиден: потому что он хотел откинуть все эти эоны и выбросить их из памяти людей как совершенно бесполезные россказни. И мне кажется, он поступил мудро, ибо, пока наша Земля еще не создана, пока человеческий род еще не возник и не началась его история, для нас не может еще существовать летосчисление, которое заслуживало бы такого наименования. Пусть какие угодно числа прилагает Бюффон к своим шести первым эпохам, пусть длятся они 26000, 35 000, 15–20 000, 10 000 лет и сколько ему угодно, – человеческий рассудок знает свои пределы, эти фантастические числа вызывают смех, даже если бы сама последовательность эпох и была изложена правильно; а историческая память тем более не желает обременять себя подобными числами. Древние летосчисления народов с их огромными числами, по всей видимости, именно такого, бюффоновского свойства; они заходят в такие эпохи, когда миром правили божественные и мировые силы, в такие исторические эпохи строения Земли, какие были выведены этими народами, с их явным пристрастием к чудовищным числам, или на основании кругооборотов неба, или на основании недопонятых символов древнейшей иероглифической традиции. Так, если верить египтянам, то Вулкан, творец мира, царил бесконечно долго, сын Вулкана – Солнце – царствовал 30 000 лет, Сатурн и остальные двенадцать богов – 3984 года, а уж за ними пошли полубоги и затем – люди. Таковы же и предания Центральной Азии – в том, что касается творения мира и исчисления лет. У парсов небесное воинство света правило миром 3000 лет, не зная врагов; прошло еще 3000 лет, пока не появился бык в чудесном облике, из семени которого вышли все живые существа, а последними – мешия и мешияна – мужчина и женщина. У жителей Тибета первый период, когда царили лахи, продолжался бесконечное время, второй длился 80, третий – 40, четвертый – 20 тысяч лет, и таков же всякий раз был век жизни, потом век все сокращался и сокращался, пока не доходил до десяти лет, а затем постепенно возрастал, пока не достигал 80 000 лет. У индийцев с их периодами беспрестанно превращаются боги, а у китайцев – древнейшие цари, и все эти периоды длятся еще дольше; с подобными бесконечностями решительно ничего нельзя было поделать, и Моисей обрубил их все, потому что ведь и сами традиции гласили, что это счет годам творения Земли, а не человеческой истории.

Во-вторых. Когда спорят, старый мир или молодой, то обе стороны правы. Горные породы на Земле – весьма древние, а чтобы покрыть их почвой и растениями, потребовалось немало переворотов, и об этом никто не спорит. И тут Моисей всякому предоставляет право сочинять любые эпохи; можно вместе с халдеями верить, что правили царь Алор – свет, Уран – небо, Гея – земля, Гелиос – солнце и что правили они, сколько вам заблагорассудится. Моисей таким эпохам не ведет счет, а чтобы предотвратить подобные подсчеты, он привел свою взаимосвязанную и систематическую картину к наиболее легкопонятному циклу, связанному с одной постигшей нашу планету катастрофой. Чем древнее подобные перевороты, чем дольше они продолжались, тем, следовательно, моложе человеческий род, так как, согласно с традициями и с природой вещей, человек мог появиться лишь как последнее порождение Земли, тем самым доводимой до своего завершения. Вот почему я благодарен древнему мудрецу за то, что он смело оборвал все древние непостижимые мифы; мне с моим пониманием довольно природы, какова она теперь, и довольно человечества, каково оно теперь.

А когда наше сказание рассказывает о сотворении человека, то вновь повторяется*, что сотворен человек был тогда, когда это стало возможно по природе вещей. Сказание говорит так: когда на земле не росло ни деревьев, ни трав, не мог еще жить и человек, которому природой предназначено возделывать землю, и еще не опускался на землю дождь, а поднимался с земли пар, и из праха, увлажненного паром, был создан человек, и дыханием жизненной силы был одухотворен и стал живым существом. Мне кажется, что в этом простом рассказе содержится все, что способны знать люди о своем органическом строении, после всех произведенных физиологами исследований. Когда мы умираем, то сложносоставное строение нашего тела распадается на землю, воду и воздух, на те элементы, которые, пока человек жив, приведены в органическую связь; но внутренняя экономия животной жизни зависит от скрытого возбуждения, или бальзама, заключенного в стихии воздуха, – этот бальзам приводит в движение нашу кровь и весь внутренний раздор жизненных сил нашей машины; и так, на деле, человек благодаря дыханию жизни и становится живою душой. Благодаря дыханию жизни у человека есть сила перерабатывать жизненное тепло, а потому поступать как живое существо – двигаясь, чувствуя, думая. Древнейшая философия ни в чем не противоречит новейшим научным наблюдениям.

Человечество сначала жило в саду; известное нам из традиции обстоятельство несомненно порождено философией. Ведь жить в саду – легче всего для новорожденного человечества, ибо всякий другой образ жизни требует уже и опыта, и умения, как, например, земледелие. А кроме того, это обстоятельство показывает нам то, что подтверждается и всеми задатками нашего существа, а именно: что человек рожден не для того чтобы вести

* I кн. Моисея, 2, 5–7 [17].

дикое, а для того чтобы вести кроткое существование; а потому творец, лучше кого-либо зная о целях сотворенного им существа, и человека создал в той области, для которой создавал его, и для того образа жизни, для которого создавал его, так и все другие существа он создавал в подобающей им стихии. Одичание человеческих племен – вырождение, нечто вынужденное, что вызвано бедствиями, климатом или жизненными привычками; как только нужда не давит уже на человека, он начинает жить более кротко и мирно, подтверждением чему история народов. Кровь животных превратила человека в дикаря – охота, война и, увы! всяческие несчастья, какие случаются в человеческом обществе. Самые древние предания самых древних на Земле народов ничего не говорят о лесных чудовищах – о таких нечеловеческих существах, которые тысячелетиями рыскали бы по земле, убивая всех, кто попадется на их пути, и тем самым исполняя свое предназначение. И только в отдаленных, более суровых странах берут начало такие дикарские сказания; позднее поэты с удовольствием разукрашивали их, за поэтами пошли историки, а за историками – философы с их абстракциями. Но ни абстракции, ни поэтические картины не передают первоначальной истории человечества в ее подлинном виде.

Но где же был расположен этот сад, куда поселил творец кроткое и беззащитное творение – человека? Поскольку наше сказание принадлежит западной Азии, то оно этот сад помещает на Востоке, на горе; оттуда выходила река, которая разделялась на четыре реки*. Не может быть более беспристрастной традиции, – ведь любая нация любит заявлять о своем первородстве и принимать землю, где она живет, за родину всего человечества; но не так поступает этот народ, он родину людей перемещает на Восток и на Север, на самые высокие горы, какие есть на обитаемой Земле. А где же эти горы? Где четыре реки вытекают из одного источника или потока, как очень ясно говорит подлинник? Нет такого места в нашей географии, и напрасно склонять названия рек, потому что достаточно непредвзятым взором взглянуть на карту мира, чтобы убедиться, что нигде на земле Евфрат не вытекает из одного источника или потока вместе с тремя другими реками. Но если вспомнить о преданиях всех горных народов Азии, то тут мы и наткнемся на рай, расположенный на высокой горе, на рай с его живым источником, с его потоками, которые несут свое плодородие всему миру. И китайцы и тибетцы, и индийцы и персы – все говорят о такой горе первоначального творения, о горе, окруженной землями, морями, островами, и эта гора дарит земле свои небесные потоки. Такие легенды не лишены своего особого физического учения, ведь не будь гор, и на земле не было бы воды жизни, а что все реки Азии текут с гор, можно видеть на географической карте. А кроме того, то сказание, которое мы сейчас изъясняем, минует всякую мифологию, оно просто называет четыре самые известные реки, которые текут с горных хребтов

* I Кн. Моисея, 2, 10–14.

Азии. Конечно, они не вытекают из одного источника, но позднему собирателю преданий довольно было сказать, что родина людей находится на далеком для него Востоке.

А тогда нельзя усомниться в том, что он представлял себе эту райскую местность расположенной между горами Индии. Он говорит о стране, богатой золотом и драгоценными камнями, но это, конечно же, Индия, с давних времен славившаяся своими сокровищами. Река, которая обтекает всю землю, – это священный Ганг с его изгибами*, его вся Индия почитает за райскую реку. Не вызывает сомнений и то, что Гихон[19] – это Окс, арабы до сих пор называют его старинным именем, а память о земле, которую он обтекает, как утверждает сказание, сохранилась в нескольких географических названиях, относящихся к прилегающим местностям**. И, наконец, две последние реки, Тигр и Евфрат, текут, правда, гораздо западнее, но для собирателя преданий, жившего на самом западе Азии, все называемые им области терялись в туманной дали, и вполне возможно, что река, которую он называет Тигром, на самом деле – Инд***. В обычаях древних народов, когда они переселялись с одних мест на другие, было присваивать легенды о главной горе своим собственным, новым горам и рекам и с помощью такой местной мифологии придавать племенной дух древним легендам, – это можно показать на примере гор – от гор Мидии до Олимпа и Иды. И собиратель преданий мог только обозначить самое широкое пространство, какое называли ему легенды. Итак, наше сказание предполагало существование всех – индийца на Паропамисе, и перса на Имаусе, и иберийца на Кавказе, каждый был вправе расположить свой рай на том месте горных хребтов, какое указывала ему традиция. Но наше сказание, по сути дела, намекает на самую древнюю традицию, потому что она выносит рай за пределы Индии – на Восток, а все другие места называет как бы в дополнение. Как же быть? Не была ли родиной человечества благословенная долина Кашмира, расположенная почти в самом центре всех названных рек и потоков, окруженная со всех сторон стенами гор, – страна, славящаяся и своей здоровой, освежающей водой, и своим плодородием, и полным отсутствием диких животных, и, главное, своим

---

* Слово «Фисон»[18] означает реку, заливающую плодородную долину, – по-видимому, перевод слова «Ганг», а потому уже и древний перевод на греческий язык поясняет это слово, толкуя его – «Ганг»; арабы переводят – «Нил», а земля, которую обтекает эта река, – у них «Индия», что в ином случае никак невозможно совместить.

** Кашгар, Кашмир, Касийские горы, Кавказ, Китай[20] и т.д.

*** Название третьей реки – Хиддекель[21], а согласно Оттеру[22], Инд и теперь называется еще у арабов Этек; у древних индийцев он назывался Энидер. И окончание кажется индийским: множественное число от «девин» (то есть полубог) – «деверкель». Однако вероятно, что редактор древней традиции принял эту реку за Тигр, протекающий восточнее Ассирии. Другие реки слишком далеки были для него, и Евфрат – это, вероятно, другая река, просто переведенная здесь этим словом или названная как самая знаменитая на всем Востоке.

прекрасным племенем людей, – до наших дней воспевают ее как рай на земле! Однако дальнейшие рассуждения покажут нам, что все подобные разыскания на Земле, какой знаем мы ее теперь, тщетны, – итак, отметим в своей памяти эту столь неопределенно описанную местность и последуем далее за нитью нашего повествования.

От всех чудес и странных, фантастических образов, которыми легенды целой Азии населяли первобытный рай, наша традиция сохранила лишь два чудесных дерева, змия, говорящего человеческим языком, и херувима; бессчетное множество существ философ отверг, а оставшихся он заключил в свой весьма глубокомысленный рассказ. Есть в раю запретное дерево, и на дереве этом растут плоды божественной мудрости, – так говорит змий, убеждая людей попробовать плода с этого дерева, и человек вожделеет плода. Но может ли существовать более возвышенный предмет вожделения? И разве возможно было еще больше облагородить человека? Пусть это будет простая аллегория, но сравним ее с легендами других народов: она окажется самой тонкой и красивой, символом всего, что приносит роду людей радости и беды. Двусмысленное стремление людей к неподобающим им знаниям, жадное желание свободы, злоупотребление вольностью, беспокойство, заставляющее расширять поставленные человеку пределы, преступить черту, предел, который, несомненно, должны были положить моральные заповеди столь слабому существу, еще не умеющему направлять свои шаги, – вот огненное колесо, от которого все мы тяжко вздыхаем, тогда как оно, бесспорно, заключает теперь в себе почти весь круг нашей жизни. Древний философ, занятый историей человечества, знал о том, как знаем и мы; и, рассказывая нам эту ребяческую историю, он показывает нам, в чем узел проблемы, где связаны воедино все концы человечества. И индиец рассказывает о великанах, которые копают землю, желая добыть пищу бессмертия, и обитатель Тибета рассказывает, как пали совершившие злодеяния лахи, – но, по моему мнению, все это далеко от чистоты, от глубины, от детской простоты нашего сказания, которое и элемент чудесного сохраняет лишь в той мере, в какой это необходимо, чтобы охарактеризовать время и место действия. В древнейшей традиции письменного языка нет места ни драконам, ни чудесным существам страны фей, расположенной в горах Азии, нет места Симургу и Сохаму, лахам, деветам, джинам, дивам, пери, нет места широко распространенной мифологии этой части света с ее Джиннистаном, Ригиэлем, Меру, горой Альборджи и т.д., – и лишь херувим стережет врата рая.

А наша поучительная история рассказывает, напротив того, как только что сотворенные люди общались с наставлявшими их элохимами, под руководством их узнавая животных, а благодаря этому усваивая язык и обретая царящий в духе человеческом разум, рассказывает и о том, как человек пожелал сравняться с элохимами в познании зла и, воспользовавшись запрещенным средством, нанес себе ущерб, а с той поры жил в другом месте, начал новую жизнь, вынужден был трудиться, – все это черты

традиции, которая под покровами мифа и сказки скрывает в себе больше человеческой правды, чем громадные системы, разглагольствующие об естественном состоянии человека. Если, как мы видели, преимущества человека – лишь врожденные способности, а потому их следует сначала обрести через воспитание, в языке, традиции и искусстве, с тем чтобы они переходили затем от поколения в поколения, из рода в род так и все нити воспитанной в человеке гуманности, из какого племени, с какого бы конца света ни был человек, не только сходятся к одному истоку, но и с самого начала должны быть связаны между собой с помощью искусства, потому что иначе человеческий род никогда и не стал бы тем, чем он стал. Ведь младенца не оставляют без присмотра и не предоставляют самому себе на долгие годы, иначе он погибнет или утратит человеческий облик, – так и человеческий род, когда побеги его только что пошли в рост, не мог быть предоставлен самому себе. Если люди приучились жить, словно орангутаны, то они и не будут сопротивляться самим себе и от своего животного состояния, от жестокости и безъязыкости никогда не перейдут к человеческой жизни. Итак, если божеству было угодно, чтобы человек проявлял разум и предусмотрительность, то и заботиться о нем следовало разумно и предусмотрительно. Воспитание, искусство, культура были необходимы ему с первого момента его существования, а потому сам присущий человечеству характер служит залогом истинности древнейшей философии истории*.

VII. Что говорит древнейшая письменная традиция о начале человеческого рода. Завершение

Все остальное, что сообщает нам древнее сказание – имена, даты, искусства и их изобретение, катастрофы и прочее, – все это отголосок племенного предания. Мы не знаем, как звали первого человека и на каком языке он говорил, потому что «Адам» означает просто сделанного из земли человека, «Ева» значит «живая», так на языке этого народа; их имена – это символы истории, и всякий народ называет первых людей своими именами, тоже полными смысла. Изобретения, о которых идет речь, – лишь те, что могли быть у земледельцев и пастухов западной Азии, и памятником им служат тоже только имена. Выносливое племя сносило свою судьбу; владеющий владел; о ком плакали, тот был убит, – вот в таких иероглифических словах и рассказана нам генеалогия двух родов, двух способов существования, пастухов, кочевников, и земледельцев, или обитателей пещер. История сифитов и каинитов – не что иное, как

* Но как же заботились элохимы о человеке, то есть наставляли, учили его, как оберегали от опасностей? Если такие вопросы не столь дерзки, как ответы на них, то традиция сама откроет нам все это; об этом – в другом месте.

свидетельство существования двух древнейших занятий; по-арабски их же зовут бедуинами и кабилами*, и до сих пор они на Востоке с отвращением обходят друг друга при встрече. И племенное сказание кочевников этих мест просто отметило существование таких двух каст.

То же можно сказать о так называемом всемирном потопе. Согласно естественной истории, вся населенная Земля, несомненно, была затоплена, и явные следы такого наводнения можно наблюдать прежде всего в Азии, но то, что рассказывает нам легенда, – это просто племенное предание. Собиратель рассказов с большой осторожностью сводит воедино несколько традиций** и даже повествует день за днем обо всех событиях, сохранившихся в хронике рода, в воспоминании об ужасной катастрофе, пережитой Землей; и весь тон рассказа отвечает образу мыслей племени, так что невозможно извлечь его из этих ограниченных рамок, в которых он только и кажется достоверным, – в противном случае мы исказим его. Как одно семейство этого народа спаслось вместе со всей домашней утварью, так могли спастись и семейства у других народов, и это доказывается их преданиями. В Халдее спасся Ксисутрус вместе со всем родом и животными (без них человек и не мог жить тогда), спасся почти так же, как Ной, а в Индии сам Вишну служил рулем корабля, вынесшего опечаленных людей на сушу. Такие сказания есть у всех древних народностей этой части света, у каждого они отвечают традиции и местности, в которой жил народ; они убеждают нас в том, что потоп залил всю Азию, а вместе с тем они помогают нам преодолеть узкий взгляд на вещи: напрасный труд – заставлять себя принимать за всемирную историю всякое обстоятельство из семейной истории Ноя, тем самым лишая сам рассказ его вполне обоснованной достоверности.

То же относится и к генеалогии этих родов после потопа: рамки заданы их знанием народов, их областью Земли, – они и не собираются отправляться в далекую Индию, Китай, восточную Татарию. Три главных рода спасшихся после потопа людей – это, очевидно, народы, живущие по обе стороны западных гор Азии, включая и северное побережье Африки и восточные берега Европы, насколько они были известны собирателю традиции***. Насколько может, он составляет ге-

---

* Каин у арабов – Кабил: колена кабилов назывались «кабеил». «Бедуины» значит заблудившиеся пастухи, жители пустыни. То же имена Каин, Енох, Нод, Иавал, Иувал, Тувалкаин – все они означают касту и образ занятий.

** I Кн. Моисея, 6–8; «Введение в Ветхий Завет» Эйххорна[23]. Т. II. С. 370.

*** Иафет значит «распространившийся»; это соответствует и полученному им благословению[24]; но именно такими и были народы, жившие к северу от гор; таков был и образ их жизни и отчасти даже их имена. Сим объемлет племена, у которых осталась древняя традиция религии, письменности, культуры, почему они и претендовали на преимущества перед другими племенами, особенно перед хамитами, – именно как племена культурные. Хам: его имя – от «жара», и место ему в жарких странах. Итак, в именах трех сыновей Ноя мы читаем просто названия трех частей света – Европы, Азии, Африки, насколько они известны были этой древней традиции.

неалогическое древо этих родов, но он не рисует географическую карту мира и не дает нам генеалогии всех без исключения народов. А огромные труды, положенные на то, чтобы совершенно все народы земли превратить, в соответствии с этим генеалогическим древом, в потомков евреев и в единокровных братьев иудеев, находятся в противоречии и с летосчислением, и со всей историей народов, но, главное, находятся в противоречии с самим рассказом, с избранной в нем точкой зрения, – подобные преувеличения отнимают у него всякую достоверность. Повсюду у подножия древнейших гор земли восстают после потопа народы, языки, царства, – и они не ждут, когда пришлют к ним посольство из Халдеи; так и в восточной Азии – на родине людей, в самой населенной области мира, до сих пор сохраняются древнейшие государства, древнейшие обычаи и языки, о самом существовании которых не знало и не могло узнать племя жившего на западе и появившегося гораздо позднее народа. Спрашивать, произошел ли китаец от Каина или от Авеля, то есть от касты троглодитов, пастухов или земледельцев, – так же странно, как спрашивать, где в Ноевом ковчеге висел американский ленивец. Но подобными разъяснениями я сейчас заниматься не буду, и даже исследование такого важного для нашей истории вопроса, как постепенное сокращение длительности жизни или уже упомянутое огромное наводнение, должно быть оставлено для другого случая. Довольно! прочный центр самой большой из частей света – древние горы Азии – послужил первым местожительством человеческого рода, и во всех катастрофах, постигавших нашу Землю, он доказал свою прочность. Эти горы отнюдь не поднялись из бездны морской после всемирного потопа, но, как говорит естественная история, да и само древнейшее предание, они были родиной человечества и были первой значительной сценой, на которой выступили народы, к поучительному рассмотрению которых мы теперь обратимся.

Часть третья

Ardua res est, vetustis novitatem dare, novis auctoriatem, obsoletis nitorem, obscuris lucem, fastiditis gratiam, dubiis fidem, omnibus vero naturam et naturae suae omnia. Itaque etiam non assecutis, voluisse abunde pulcrum et magnificum est.

Plin

Вещь трудная – придавать новизну ветхому, новому – весомость древнего, блеск – изношенному, свет – темному, прелесть – противному, достоверность – сомнительному, всему – естество и все – естеству всякого. Вот почему, даже если цель не достигнута, то и желать – уже сверх меры хорошо и замечательно.

Плиний[1]

Книга одиннадцатая

У подножья великих гор Азии, к югу, сложились, как знаем мы из истории, самые древние державы и государства мира; и естественная история этой части света подсказывает нам причины, почему они могли сложиться лишь к югу, а не к северу от этих гор. Ведь человек терпит нужду, а потому так склонен переносить свое земное существование поближе к солнечному свету и теплу, более нежному, ибо тепло Солнца согреет ему землю и даст созреть благополезным плодам растений и деревьев. На севере Азии, по ту сторону гор, земли по большей части и холоднее, и расположены выше, и горные цепи пересекают их во всех направлениях и разделяют области снежными пиками, пустынями, степями; рек, что поят тут землю, меньше, и, главное, все они втекают в Ледовитый океан, – его пустынное прибрежье, жилище оленей и белых медведей, могло привлечь сюда лишь поздних поселенцев. На этой возвышенности, в этой пересеченной местности, в этих горах с их отвесными стенами ущелий, в этих степных и горных районах нашего Старого Света долгое время, а в некоторых областях, может быть, и вообще все время, жили только сарматы и скифы, монголы и татары, полудикие охотники и кочевники. Скудость жизни и сама эта сторона превратили людей в варваров; привычный бездумный образ жизни утвердился у племен, живущих обособленно или постоянно кочующих с места на место, и так, при нравах очень грубых, сложился тот, можно сказать, вечный национальный характер, что во всем отличает племена северной Азии по сравнению с южными народами. Если сами расположенные в центре Азии нагорья – не что иное, как вечный Ноев ковчег, живой зоологический сад, где живут почти все роды диких животных, населяющих наше полушарие, то и люди долгое время вынуждены были оставаться тут товарищами животных, их кроткими пастырями или их дикими укротителями

И только там, где горы Азии переходят в южном направлении в более пологий скат, где более мягкие долины окружены со всех сторон горными цепями, хранящими их от ледяного дыхания северо-восточных ветров, там поселения людей постепенно спускались по течению

рек к океанскому побережью, там закладывались города, основывались целые государства, а сам климат, несравненно менее суровый, пробудил в людях и более тонкие мысли, и более тонкие установления. А поскольку природа предоставила человеку больше досуга и стала приятно бередить его инстинкты, то в сердце разрослись всякие страсти и дурные наклонности, которые под гнетом северных льдов и жизненного недостатка никак не могли явиться в столь веселой пестроте сорной травы; возникла необходимость в разного рода законах и уложениях, которые ограничивали бы подобные влечения человеческой души. Дух измышлял, а сердце алкало; страсти людские бурно сталкивались и, наконец, приучились со временем держать самих себя в узде. Однако тирании приходится совершать то, что не в силах еще совершить сам разум, и вот на юге Азии возникли мощные здания государственных порядков и религий, – вечные традиции, которые словно пирамиды и языческие храмы древности стоят перед нашим взором, – ценные монументы человеческой истории, и каждым своим обликом говорят они нам, чего стоило человечеству строительство человеческого разума.

I. Китай

На восточной оконечности Азии, к югу от гор, расположена страна, которая по древности своей и культуре сама именует себя первой из стран, цветком, растущим в средоточии света; страна эта и на самом деле одна из самых древних и интересных на всей земле – Китай. Китай по размерам своим меньше Европы, но он гордится тем, что в нем живет, относительно к площади, гораздо больше людей, чем в Европе, этой столь густо населенной части света, – ибо числится в Китае 25 200 000 облагаемых налогом крестьян, 1572 больших и малых города, 1193 крепости, 3158 каменных мостов, 2796 храмов, 2606 монастырей, 10 809 старинных строений*, на каковые ежегодно, вкупе с горами и реками, воинами и учеными, сырьем и товарами, составляются длиннейшие реестры – по восемнадцати губернаторствам, на которые разделено государство. Путешественники сходятся между собой в том, что, не считая Европы и, может быть, Древнего Египта, ни одна страна не затрачивала столько средств и усилий на поддержание в порядке дорог и рек, мостов и каналов, даже на строительство искусственных гор и скал, сколько затрачивает Китай, – все это, не говоря уж о Великой китайской стене, свидетельства терпеливого усердия и прилежания людей. От Кантона

* См «Извлечения из географии китайской империи» Леонтьева в «Историческом и географическом журнале» Бюшинга. Ч. 14. С. 411 сл. В «Работах по физике» Германна (Берлин, 1786)[2] размеры империи определяются в 110 тысяч немецких квадратных миль, а численность населения – в 104 069 254 человека, причем на одну семью в среднем приходится 9 человек.

можно доплыть почти до самого Пекина, такова вся империя – она пересечена горами и пустынями, но связана шоссейными дорогами, каналами и реками, причем на все это пошел великий труд; деревни и города стоят прямо у воды, и внутренняя торговля между провинциями очень оживленна. Земледелие – вот столп, на котором держится все государственное устройство: путешественники рассказывают нам об ухоженных рисовых полях, о хлебах, об искусственно орошаемых пустынях, о диких нагорьях, превращенных в плодородные земли; а если говорить о растениях и травах, то выращивают и пользуются тут всеми, которые можно пустить в дело; то же можно сказать о металлах и о минералах, – только золота китайцы не добывают. Богата живностью земля, кишат рыбой озера и реки; один шелковичный червь прокармливает тысячи усердно трудящихся людей. Есть работы и есть ремесла для всех классов населения, для всех возрастов, включая и стариков, отживших свой век, включая и слепых и глухих. Кротость и учтивость, гибкость в обхождении, пристойные жесты – вот та азбука, которой учится китаец с детства и в которой он неутомимо совершенствуется в течение всей своей жизни. Властью и законом служит у них правильность, регулярность, строго заведенный порядок. Все здание государственного устройства со всеми взаимоотношениями и обязанностями сословий построено на почтительности: в почтительности – долг сына по отношению к отцу, долг подданных по отношению к их главе – к их общему отцу, который через посредство своих чиновников правит ими и который бережет их, словно малых детей; может ли быть более приятный принцип управления? В Китае нет потомственного дворянства; почетные должности достаются мужам, проверенным в делах, и только эти почетные места и даруют человеку титул и достоинство. Подданного никто не заставляет выбирать веру, и никто не преследует религию, если она не угрожает существованию государства; мирно живут рядом друг с другом и последователи Конфуция, и последователи Лао-цзы и Фо, и даже иудаисты и иезуиты, если только они допущены в государство. Законодательство китайцев построено на нравственных принципах, а мораль непоколебимо зиждется на священных книгах предков; император китайцев – верховный жрец, сын неба, хранитель древних ритуалов, душа, проникающая все тело государства, пронизывающая всякий его член; будь каждое из этих условий соблюдено, будь всякий принцип воплощен в живом деле, мыслимо ли было бы еще более совершенное государственное устройство? Вся империя превратилась бы в одну семью, и в одном доме жили бы дети, братья – добродетельные, благовоспитанные, прилежные, благонравные, счастливые...

Всякому известны благоприятные для китайцев картины их государственного строя, такие изображения Китая, которые прежде всего посылали в Европу миссионеры, – на эти картины, словно на какой-то идеал политического строя, дивились тут не только умозрительные

философы, но даже и государственные мужи; однако, в конце концов, поток людских мнений пробил себе путь и в противоположных уголках, и выросло недоверие к рассказам миссионеров, и тогда не желали уже признавать за китайцами ни высокого уровня развития культуры, ни даже всей странной их самобытности. К счастью, на некоторые из возражений, выдвигавшихся европейцами, поступил ответ из самого Китая, впрочем ответ, выдержанный довольно-таки в китайском духе*, а поскольку основные книги законов и нравов вкупе с пространной историей китайской империи и некоторыми заведомо беспристрастными рассказами предоставлены в наше распоряжение**, то было бы уж совсем дурно, если бы никак нельзя было найти средний путь между преувеличенными похвалами и чрезмерной критикой, а это, видимо, и есть путь истины. При этом мы можем совершенно оставить в стороне вопрос о древности империи, о хронологии ее истории, потому что возникновение всех государств на земле окутано мраком и исследователю истории всего человечества вполне безразлично, потребовалось ли этому народу на два тысячелетия больше или меньше, чтобы сложиться в государство; достаточно того, что сам народ придал своему государству такой, а не иной строй, и мы сами на всем протяжении его медлительной истории замечаем препятствия, которые мешали китайскому государству развиваться и в дальнейшем.

А подобные препоны, заключенные в характере, местожительстве и в истории народа, нам вполне ясны. Нация китайская – монгольского происхождения; об этом говорят и телосложение, и грубый или извращенный вкус, и даже замысловатая искусность и первоначальные очаги культуры этого народа. Первые императоры правили на севере Китая, здесь были заложены основы полутатарской по своему существу деспотии, и эта деспотия впоследствии благодаря многообразным поворотам событий распространила свою власть до Южного океана, внешне приукрашенная блистательными изречениями нравственного содержания. Татарский феодальный строй на протяжении целых столетий служил узами, привязывавшими вассалов к их господину; руками этих вассалов совершались нередкие государственные перевороты, и все это, даже весь двор императора, сами мандарины в роли регентов,

---

* Memoires concernant l'histoire, les sciences, les arts, les moeurs, les usages etc. des Chinois. T. II. P. 365 seq.[3]

** Помимо прежних изданий некоторых классических книг китайцев у о. Ноэля, Купле[4] и других см. также изданный Дегинем «Шу-цзин», далее «Histoire générale de la Chine» о. Майяка [5], только что указанные «Mémoires concernant les Chinois» в десяти томах ин-кварто, в которых содержится и перевод некоторых оригинальных сочинений и много других материалов, позволяющих составить верное представление об этом народе. Из сообщений миссионеров наиболее ценен, ввиду своего здравого суждения о. Леконт, «Nouveaux Memoires sur l'état présent de la Chine», 3 vol., Paris, 1697.

было древнейшим государственным укладом, так что не нужны были наследники Чингисхана и маньчжурская династия, чтобы принести в Китай такой строй; это говорит нам о том, какова природа и каков генетический характер китайской нации, – печать, которую трудно упустить из виду, наблюдая целое и части, и которая лежит на всем – вплоть до одежды, пищи, обычаев, домоводства, бытующих в Китае родов искусства и развлечений. Как нельзя человеку переменить своего гения, то есть прирожденную породу и фигуру, так и этому монгольскому народу с северо-востока Азии никак нельзя было изменить своему природному складу, несмотря на все искусства и ухищрения, хотя бы и занимались ими целые века. Нет, народ высажен на почву в этом месте земного шара, и, как магнитная стрелка показывает в Китае не то отклонение, что в Европе, так и из этого племени людей в этой области земли никогда не могли бы выйти римляне или греки. Китайцами были они, китайцами и остались, породой людской, отличающейся от других маленькими глазками, приплюснутым носом, плоским лбом, слабой растительностью на лице, большими ушами и толстым животом, – всем этим наделила их природа; и что могло произвести на свет такое органическое строение, то оно и произвело, а другого нельзя и требовать*.

Все рассказы сходятся в том, что монгольские племена, живущие на северо-восточной азиатской возвышенности, отличаются особой тонкостью слуха, что легко объяснимо и чего тщетно было бы искать у других народов; показателен в этом отношении китайский язык. Только слух монгола мог догадаться образовать язык из трехсот тридцати слогов, которые в каждом отдельном слове должны различаться пятью и еще большим числом ударений, чтобы не случилось сказать вместо «господина» – «собака» и чтобы не производить на каждом шагу самой смехотворной путаницы; вот почему ухо и органы речи европейца с таким трудом привыкают к этой насильственной китайской музыке слогов, если вообще способны к ней привыкнуть. Какое отсутствие изобретательности в великом и какая прискорбная тонкость в мелочах нужны для того, чтобы выдумать, на основании нескольких примитивных иероглифов, бесконечное множество сложных знаков, число которых доходит до восьмидесяти тысяч, – вот письменность, которой отмечена китайская народность между всеми народами земного шара! Требовалось органическое строение монгола, чтобы привыкнуть: в области фантазии – к драконам и чудовищам, в рисунках – к тщательно выписанным едва различимым неправильным образам, в зрительных наслаждениях – к бесформенному хаосу садов, в архитектуре – к безобразной огромности или педантической мелочности, в одеждах, шествиях, празднествах – к тщеславной роскоши, к фонарикам и фейерверкам, к длинным когтям и изуродованным ступням, к варварской свите, к бесконечным поклонам,

* См. Ч. II, кн. 6.

церемонности, мелочной учтивости и бессчетным знакам различия. Так мало во всем этом вкуса к подлинным, естественным пропорциям и отношениям, так слабо ощущение внутреннего покоя, красоты и достоинства, что только неразвитое, невоспитанное чувство могло пойти по такому пути в культуре общения, решительно во всем уступить ей и сообразоваться с нею. Если китайцы превыше всего любят золотую бумагу и лак, старательно выписанные черточки нелепых иероглифов и перезвон красивых изречений, то и склад их ума во всем подобен этой золотой бумаге и лаку, иероглифам и бубенцам слогов. Природа как будто отказала им в даре свободных и великих открытий в науках, как и многим другим народам, населяющим этот угол земного шара; зато щедрою рукой придала она их маленьким глазкам изворотливость, ловкачество и хитрость, искусство подражательства во всем, что корыстный их нрав сочтет полезным и выгодным для себя. Ради выгоды и услужения мечутся они туда-сюда, вечно занятые, вечно беспокойные, так что, при всей изысканности вежливых форм, можно еще принять их за кочующих по степи монголов, ибо за бессчетностью всех своих предписаний и мелочных установлений не выучили они только одного – как сочетать деловитость с покоем, так чтобы работа заставала каждого на своем месте. Как торговля, так и искусство врачевания у них – это изысканное и обманчивое щупание пульса, тут их характер рисуется со всей присущей им тонкостью чувственного восприятия, со всем присущим им невежеством и ненаходчивостью. Печать народа – это для истории замечательная в своем роде особенность, черта, которая показывает нам, что могла и чего не могла сделать с монгольской народностью, не смешавшейся с другими нациями, доведенная до предела культура общественных нравов; ибо что сидящие в своем углу земли китайцы, как и евреи, избежали смешения с другими народами, об этом говорит уже их пустая гордыня, даже если бы и не было иных признаков. Откуда бы ни почерпнули они отдельные знания, все в целом знание языка и строя, быта и образа мыслей принадлежит только им самим. Они не любят прививать деревья, и сами они, при всем своем знакомстве с другими народами, до сих пор растут дичком и остаются монгольским племенем, выродившимся в своем земном углу до того, что сложилась особая культура китайского рабства.

Люди складываются, формируются благодаря искусству воспитания, и характер китайского воспитания, наряду со всей их национальной самобытностью, способствовал тому, что китайцы стали тем, что они есть, а не чем-то большим и лучшим. Коль скоро, в согласии с привычками монгольских кочевых племен, детское послушание должно лечь в основу всякой добродетели, не только в семье, но и в самом государстве, то, естественно, со временем не могло не возникнуть то показное благонравие, то раболепие, та услужливая предупредительность, которой, как характерной для китайцев чертою,

восторгается даже и враждебно настроенное перо, – однако что же воспоследовало из этого кочевого обычая, из этого доброго принципа послушания в масштабах целого государства? Когда ребяческое послушание стало уже решительно безграничным, когда на человека взрослого, у которого есть и дети и свои серьезные дела, стали возлагать те же обязанности, которые пристали разве лишь малому дитяти, когда установили те же самые обязанности и по отношению к любому начальству, об «отеческой» заботе которого обычно говорят лишь в образном смысле, по принуждению и необходимости, а не по сладостному влечению природы, – что же могло произойти из всего этого, что, лучше сказать, не могло не произойти, если не привычка к постоянному обману, – ведь вопреки природе тут хотели сотворить новое сердце человеку, правдивое учили лицемерить? Если взрослый человек вынужден выказывать ребяческое послушание, то он должен отказаться от самостоятельности, от деятельной силы, от всех возложенных на него в его возмужалые лета обязанностей; пустые церемонии занимают место сердечной правды, и тот самый человек, который, пока жив был отец его, изливал чувства детской преданности своей матери, пренебрегает ею после его смерти, потому что теперь закон именует ее сожительницей. То же и с ребяческими обязанностями по отношению к мандаринам: не природа, а приказ породил эти обычаи, а когда обычаи противодействуют естеству, то они становятся лживыми, лишают человека сил. Отсюда весь раскол между китайским учением о нравственности и государстве и подлинной историей. Как часто «дети» империи низвергали с трона своих «отцов», как часто отцы зверски расправлялись со своими детьми! По вине скупых мандаринов мрут от голода тысячи, а когда преступления мандаринов достигают слуха отца, то их, словно школяров, наказывают какими-то жалкими палками, не производящими на них ни малейшего впечатления. Вот почему недостает китайцам мужественности и чувства чести, что можно заметить даже в изображении их великих людей, их героев; честь превратилась в ребяческую обязанность, сила выродилась в жеманную почтительность, подобострастие к государству; не благородный конь, а послушный мул, с утра до вечера блюдя свой ритуал, весьма нередко играет роль хитрого лиса.

Это ребяческое пленение человеческого разума, силы и чувства не могло не влиять на все здание государства – оно ослабляло его. Если воспитание – только манера, и ничего более, если манеры и обычаи не просто утверждают все жизненные отношения, а и всецело подчиняют их себе, какую же массу деятельной энергии теряет государство! – и прежде всего благороднейшую активность душ и сердец! Кто не поразится, видя, как творятся дела в истории Китая, каков их ход, – усилия так велики, а результат так ничтожен! Целая коллегия занимается тем, что один человек может сделать так, что все будет в порядке; тут делают

запрос, хотя ответ налицо; тут приходят и уходят, увиливают от дела, переносят сроки, только чтобы не нарушать церемониал ребяческого почитания государства. И дух воинственный, и дух мыслящий одинаково чужд нации, где все спят на печи и с утра до вечера пьют теплую водицу. Вот перед какой добродетелью открыт в Китае царский путь – перед точностью исполнения раз и навсегда установленных ритуалов, перед проницательным соблюдением своекорыстных интересов, перед тысячью хитростей, перед ребяческим многоделанием, но без широты взгляда зрелого мужа, который всегда задается вопросом, нужно ли вот это и не лучше ли сделать иначе. Сам император ходит в том же ярме: он обязан подавать добрый пример и, словно правофланговый, преувеличенно выполнять все артикулы. Он жертвует своим предкам не только по праздникам, но и по любому поводу, в каждый момент своей жизни он должен приносить жертвы предкам; наверное, можно сказать, что и любая похвала и любая хула равно несправедливо карают несчастного китайского императора*.

Удивительно ли, что подобное племя людей мало что открыло в науках, если мерять европейской меркой, и что оно, по сути дела, тысячелетиями топчется на одном месте? Сами книги нравов и законов ходят по кругу и ста различными способами, старательно, дотошно, говорят все одно и то же, размеренно лицемеря о ребяческом долге. Астрономия и музыка, поэзия и военное искусство, живопись и архитектура у китайцев – те же, что многие сотни лет назад, – это чада вечных законов, неизменного ребячливого строя. Империя – забальзамированная мумия, расписанная иероглифами, завернутая в шелка; внутреннее кровообращение – жизнь животного, погрузившегося в зимнюю спячку. Вот почему все чужое отвергается с порога, вот почему чужеземцев подслушивают и все шаги их пресекают; вот откуда гордость племени, которое сравнивает себя лишь с самим собою и ничего чужеземного не знает и не любит. Вот – народ, сидящий в своем углу, судьба отлучила его от теснящейся толпы народов и ради той же цели огородила со всех сторон заслоном пустынь, гор и океаном почти без бухт и заливов. Если бы географическое положение было иным, то народ едва ли оставался бы прежним; ведь если Китай с его государственным укладом мог сопротивляться маньчжурам, то это доказывает лишь одно – сам по себе строй был достаточно прочным, и варварами-завоевателями был сочтен весьма удобным для того, чтобы господствовать над народами, – как престол ребячливого рабства. Не надо было ничего менять, они уселись и воцарились. И, наоборот, каждый винтик государственной машины, построенной самим же

* Даже достославного императора Киен-Лонга в провинциях считали страшным тираном, и при подобном строе всей этой огромной империи это явление неизбежно, каким бы образом мыслей ни отличался император.

народом, служит столь раболепно, как будто придуман специально для такого рабства.

Все рассказы о китайском языке сходятся в том, что он несказанно способствовал формированию всего облика народа с присущим ему искусным и сложным образом мыслей; ведь всякий язык – это сосуд, в котором отливаются, сохраняются и передаются идеи и представления народа. Особенно же если народ так привязан к своему языку и всю свою культуру выводит из языка. Китайский язык – это словарь морали, вежливости и учтивых манер. В этом языке все различено – не только провинции и города, но даже сословия и книги, так что ученое усердие по большей части затрачивается на сам инструмент, а не на то, чтобы пользоваться инструментом. Все в этом языке зависит от мелочной правильности: с помощью немногих звуков говорят многое, а множеством черточек изображают один звук; множество книг – а в каждой одно и то же. Какое печальное трудолюбие требуется, чтобы рисовать и печатать их книги! Но в этом-то усердии и состоит для них все наслаждение и искусство, и красивым письменам они радуются больше, чем самой волшебной живописи, а в однообразном перезвоне нравственных изречений и комплиментов они любят итог изящества и мудрости. Нужна такая огромная империя, как Китай, нужно китайское трудолюбие, чтобы об одном-единственном городе Кайфы нарисовать сорок книг, занимающих восемь больших томов*, и чтобы подобную же трудоемкую тщательность распространить на каждый приказ и на каждую похвалу императора. В память об исходе торгутов из Китая целая книга высечена на огромных камнях**, и точно так же вся китайская ученость выписана искусными иероглифами, иероглифами китайского государства. Такая письменность невероятно воздействует на душу, мыслящую при помощи подобных знаков. Мысли лишаются энергии и превращаются в черты рисунка: весь образ мысли нации становится нарисованными или написанными в воздухе условными буквами.

Такое изложение специфических для Китая черт отнюдь не означает враждебного и презрительного отношения к ним; ибо слово за словом наше изложение почерпнуто из сообщений самых пламенных защитников всего китайского, и все сказанное можно подтвердить множеством примеров, относящихся к любому разряду китайских установлений. Изложение наше просто отвечает природе вещей; это картина народа, который при таком-то строе и в такой-то географической области, согласно с такими-то принципами, в таких-то исторических условиях сложился во времена седой древности и, вопреки обычной судьбе народов, сумел сохранить на необычайно долгое время свой первоначальный образ мысли. Если бы сохранился до наших дней Древний Египет, то мы,

---

* «Memoires concernant les Chinois». T. II. O. 375.

** Ibidem. T. I. P. 329.

даже и не помышляя о том, чтобы одно выводить из другого, нашли бы большое сходство между Китаем и Египтом, так что оказалось бы, что одни и те же традиции просто видоизменены каждый раз в соответствии с иной областью света. Точно так же обстояло бы дело и с многими другими народами, стоявшими на сходной ступени культурного развития, но только все эти народы или ушли со своих прежних мест, или погибли, или смешались с другими; Древний Китай, сохранившийся на краю света, – это словно осколок доисторической эпохи, застывший на месте со своим наполовину монгольским строем. Весьма затруднительно было бы доказывать, что основы китайской культуры занесены в Китай греками из Бактр или татарами с Балхаша, – вся ткань китайского строя, несомненно, местного производства, а незначительные примеси чужеземного влияния легко распознать и отделить. Я, словно китаец, чту китайские книги за превосходные принципы, выраженные в них, и имя Конфуция – для меня тоже великое имя, хотя я вижу, какие оковы даже и его связывали по рукам и по ногам, какие оковы и он сам, при самых лучших намерениях, на веки вечные навязывал толпе с ее предрассудками и всему китайскому государственному строю своей политичной моралью. Вот почему китайский народ, как многие другие племена на земном шаре, остановился на середине своего воспитания, как бы в отроческом возрасте, – механизм морали навеки застопорил свободное развитие духа, а второго Конфуция в этом деспотическом государстве уже не нашлось. Некогда колоссальная империя или распадется на несколько государств, или же более просвещенные Киен-Лонги придут к отеческому решению лучше уж выселить за море тех, кого не способны они прокормить, лучше уж облегчить бремя ритуалов и вместо этого ввести более вольную деятельность самостоятельных ума и сердца, хотя и тут дело не обойдется без многообразного риска, – однако и тогда китайцы останутся китайцами, как немцы – немцами, – ведь на восточной оконечности Азии не рождаются древние греки. Очевидное желание природы – чтобы все росло, что только может расти на земле, и чтобы само разнообразие производимого природой славило творца. Здание законодательства и морали, выстроенное человеческим рассудком в Китае, в порядке какого-то ребяческого упражнения, не имеет ничего равного себе по прочности; пусть и пребудет оно на своем месте, но только с условием, что в Европе никогда не возникнет такой изолированный со всех сторон Китай, преисполненный детской почтительности к своим угнетателям. Так или иначе, за этой нацией остается слава прилежания, чувственной остроты восприятия, тонкой искусности в тысяче полезных вещей. Прежде европейцев китайцы узнали фарфор и шелк, порох и свинец, а может быть, познакомились и с компасом, и с книгопечатанием, научились строить мосты и плавать по морю и выучили еще множество других ремесел и искусств; но только во всех своих делах чужды они были духовного развития и тяги

к совершенствованию. А что Китай замыкается от европейских наций и крайне ограничивает въезд в страну для голландцев, равно как для православных русских и для иезуитов, так это, во-первых, гармонирует со всем образом мыслей китайцев, а во-вторых, и в политическом смысле заслуживает одобрения, поскольку китайцы собственными глазами видят, как поступают европейцы в Ост-Индии и на островах, в северной Азии и даже в самом Китае. Пыжась от собственной гордыни, китайцы презирают купца, который покидает родную землю и отправляется в дальние края; обманчивый товар они меняют на серебро, которое представляется им самой надежной в мире вещью; итак, они берут у купца серебро, а взамен отдают ему – на погибель Европе – миллионы фунтов чая, лишающего человека сил.

II. Кохинхина, Тонкин, Лаос, Корея, Восточная Татария, Япония

Из всей истории человечества с полной несомненностью вытекает, что любая страна, достигшая определенной ступени развития культуры, всегда оказывала влияние на своих соседей. Стало быть, и китайская нация, не будучи воинственной и даже при своем замкнутом, обращенном вовнутрь строе, тоже оказывала воздействие на значительный круг стран. Вопрос не в том, были ли страны эти подчинены китайской империи и остались ли они в подчинении у Китая, – потому что если они приобщились к его внутреннему устройству, к языку, религии, наукам, нравам и искусствам, то это уже значит, что они были китайскими провинциями в сфере духа.

Страна, которая вобрала в себя больше всего китайского, – это Кохинхина, в некотором смысле город, политически взращенный Китаем; отсюда сходство обеих наций по темпераменту и нравам, сходство в науках и искусствах, в религии, торговле, в политических учреждениях. Здешний император – китайский вассал, и оба народа тесно связывает торговля. Стоит сравнить этот деловой, разумный, кроткий народ с близлежащим ленивым Сиамом, с диким Араканом и т.д., и различие сразу же бросается в глаза. Но поскольку ни один ручей не поднимается выше своего источника, то и нельзя ожидать, чтобы Кохинхина превзошла свой образец; правительство тут более тиранично, а религия и наука – бледные отголоски своего отечества.

То же и Тонкин; он – ближе к Китаю, хотя и отделен от него непроходимыми горами. Народ более дикий; все культурное, что тут есть и что поддерживает жизнь страны – мануфактуры, торговля, законы, религия, знания и обычаи, – все китайское, но только благодаря более южной широте и характеру народа все гораздо ниже, чем в самом отечестве. Еще слабее влияние Китая на Лаос; эта страна слишком скоро была оторвана

от Китая и сдружилась с сиамскими нравами; однако какие-то остатки былых влияний еще заметны.

Из южных островов у китайцев много общего с Явой; вполне вероятно, что и здесь китайцы в свое время основывали свои поселения. Но политическое устройство Китая никак не могло привиться в этой более жаркой и значительно удаленной стране; трудоемкие искусства китайцев нуждаются в более предприимчивом народе и в более умеренном климате. Поэтому китайцы только используют этот остров, но никак не меняют его характер. Больше места для китайского строя было на Севере, и Китай может гордиться тем, что, по всей вероятности, более способствовал укрощению диких народов этих зон, чем европейцы во всех частях света. Корею маньчжуры подчинили власти Китая, – стоит только сравнить этот некогда дикий народ с северными его соседями! Обитатели этой полосы Земли, отчасти очень холодной, – кротки и мягки; во всем они, по крайней мере, подражают китайцам – в своих развлечениях и похоронных обрядах, в одежде и строительстве, в религии и в известной любви к наукам; китайцами же установлена и форма правления у них и положено начало мануфактурному производству. Еще гораздо шире было влияние китайцев на монголов. Не только более культурными стали в общении с китайцами покорившие Китай маньчжуры, так что даже столица их Шэньян была сделана, наподобие Пекина, центром судопроизводства, но даже и многочисленные кочевые орды монголов, тоже по большей части покорные Китаю, не остались без его влияния, несмотря на более грубый свой нрав. И если уже мирное покровительство китайской империи есть само по себе благодеяние для человечества – в самое новое время под защиту Китая перешли торгуты, численностью в триста тысяч человек, – то, видимо, Китай оказал на эти обширные зоны влияние куда более благодетельное, чем какой-нибудь завоеватель. Не раз усмирял Китай волнения в Тибете, а в древнейшие времена простирал свой скипетр до самого Каспийского моря. В богатых захоронениях, обнаруживаемых в различных частях Монголии и Татарии, находят предметы, недвусмысленно свидетельствующие о торговле с Китаем, и если в прежние времена в этих областях жили более культурные народы, то, по всей видимости, они не лишены были тесных сношений с китайским народом.

Однако китайцы воспитали и величайшего соперника своего в усердии и прилежании – это остров, Япония. Некогда японцы были варварами, и, если судить по их дерзкому и свирепому характеру, варварами суровыми и жестокими; но благодаря соседству и общению с народом, от которого переняли они письменность и науки, мануфактуру и искусства, они образовали государство, во многом соперничающее с Китаем и в чем-то его превосходящее. Правда, что в соответствии с характером нации и правление, и религия здесь более тверды и жестоки, чем в Китае, и о каком-либо поступательном развитии, о достижении более тонких

знаний, подобных европейским, тут не приходится думать, точно так же, как и в Китае; но если умение возделывать землю, если усердные занятия земледелием и полезными искусствами, если торговля и мореплавание и даже примитивная роскошь и деспотический порядок, устанавливаемый в государстве, – тоже несомненные ступени культуры, то поднялась Япония на эти ступени лишь благодаря китайцам. Хроники точно называют время, когда японцы, еще варварский народ, пришли в Китай; и как бы своеобразно ни развивался суровый остров, как бы ни отклонялся он в своем развитии от Китая, все же во всех орудиях культуры, даже в самом характере искусств заметны китайские истоки.

Проник ли Китай еще и дальше, повлиял ли он на культуру двух цивилизованных государств Америки, расположенных именно на обращенном в сторону Китая западном побережье, об этом трудно сказать что-либо определенное. Если из Старого Света какой-либо культурный народ и попал в Америку, то это были или китайцы, или японцы. В целом жаль, что китайская история, в согласии со всем строем этой страны, волей-неволей разработана вполне в китайском стиле. Все нововведения приписываются тут императорам; история страны забывает об истории всего света, а история самой империи не очень поучительна, если рассматривать ее как историю людей.

III. Тибет

Между великими горными хребтами и пустынями Азии воздвигнуто духовное царство, единственное в своем роде на целом свете, – это великая страна лам. Правда, бывало, что в периоды незначительных потрясений, переживавшихся этим государством, духовная и светская власть разъединялись, однако в конце концов они вновь сливались, так что, как нигде более, весь строй государства зиждется на том, что император является и верховным жрецом. Согласно учению о переселении душ, бог Шакья или бог Фо вселяется в великого ламу, а по смерти этого ламы переходит в нового ламу, который становится священным подобием божества. От этого ламы протягивается вниз целая цепь – твердо установленная иерархия, и нельзя представить себе более прочно утвержденного правления жрецов, пойдет ли речь об учении, о ритуалах или учреждениях, чем эта реально восседающая на своем престоле, на этих высотах жреческая власть. Главный исполнитель мирских дел – только наместник верховного жреца, а верховный жрец, преисполненный божественного покоя, в согласии с принципами религии, обитает в своем дворце-храме. Ужасны ламаистские сказания о сотворении мира, чудовищны кары, искупающие грех, страшно неестественно состояние, которого стремится достичь святость лам, – это бесплотный покой, проникнутое суеверием отсутствие любой мысли, монастырское целомудрие. И тем не менее нет языческого культа, который был бы

так широко распространен по всей земле, не только Тибет и Тангут, но и большая часть монголов, маньчжуры, калки, элюты почитали ламу, а если в более новое время некоторые из них и откололись и перестали боготворить его, то единственное, что осталось у них от веры и от культа, – это осколки религии Шакьи. Но заходит эта религия и далеко на юг: имена Соммона-Кодом, Шакча-Туба, Сангол-Муни, Шиге-Муни, Будда, Фо, Шекья означают все того же Шакью, и так это священное учение монахов, правда иной раз и без пространной тибетской мифологии, захватывает весь Индостан, Цейлон, Сиам, Пегу, Тонкин – вплоть до Китая, Кореи и Японии. Даже и в самом Китае собственно народная вера – это принципы Фо, а учения Конфуция и Лао-цзы – это только разновидности политической религии и философии высших, то есть ученых, сословий. Китайскому правительству совершенно безразличны все эти религии, оно позаботилось только о том, чтобы ламы и бонзы не были опасны для государства, и для этого отделило их от далай-ламы. Япония же вообще в течение долгого времени была наполовину Тибетом; даири был духовным владыкой страны, а кубо – только его светским слугой, но вот слуга захватил всю власть, а хозяина превратил в свою тень, – судьба такая заключена в самой сути вещей, и вполне возможно, что такая же участь ждет и тибетского ламу. Лишь благодаря своему географическому положению, вследствие варварства монгольских племен, а прежде всего по милости китайского императора, Тибет так долго сохраняет свою неприкосновенность.

Конечно же, ламаистская религия возникла не на холодных горах Тибета; ее произвел на свет теплый климат, ее сотворили те половинчатые людские души, которые превыше всего на свете ставят наслаждение бездумною дремотой при полном телесном покое. До суровых гор Тибета эта религия дошла и в сам Китай проникла лишь в I веке христианского летосчисления, и в каждой стране она видоизменилась в соответствии с характером страны. В Тибете и Японии эта религия сделалась строгой, жестокой, а у монголов – чем-то вроде практического, обыденного суеверия; напротив того, в Сиаме, Индостане и сходных с ними странах ее нежно лелеют как естественный продукт жаркого климата. Различен был облик религии, самым разным было и ее воздействие на государство. В Сиаме, Индостане, Тонкине и т.д. она убаюкивает души, усыпляет воинственный нрав и пробуждает в людях сострадательность, долготерпение, кротость и леность. Талапойны не жаждут верховной власти, и людские прегрешения искупают они подаяниями. В более суровых странах, где праздному богомольцу не так просто найти себе пропитание, и религия внешне усложняется, и дворец превращается, в конце концов, в храм. Поразительно отсутствие логической связи между разными вещами, которые, тем не менее, не только обусловливают друг друга, но и очень долго сохраняются. Ведь если бы каждый житель Тибета послушно исполнял законы лам,

если бы он стремился обрести высшие их добродетели, то уж давным-давно не было бы никакого Тибета. Прекратился бы род людей, не желающих касаться друг друга, возделывать землю, не занятых ни делами, ни торговлей; они умерли бы от голода и от холода, мечтая о своих небесах. Но, к счастью, человеческое естество сильнее любого усвоенного предрассудка. Обитатель Тибета женится, хотя этим он совершает грех, а деловитая обитательница Тибета, которая работает еще прилежнее мужчины и у которой мужей побольше одного, с радостью отказывается от высших сфер рая, чтобы продолжить жизнь человеческую на этой земле. Если есть на земле религия чудовищная и отвратительная, так это религия Тибета*, и нельзя отрицать: если бы в самые жестокие учения и обряды Тибета был внесен дух христианской веры, то и христианская вера предстала бы на этих горных высотах в самом неприглядном виде. Однако, к счастью, жестокая монашеская религия не пожелала переменить, да и ни в чем не могла переменить дух народов, равно как их потребности и климат их стран. Житель высоких гор платит пеню за свои грехи, и вот он весел и здоров, откармливает и режет скот, хотя при всем том еще и верует в переселение душ; и он пятнадцать дней справляет свою свадьбу, хотя жрецы совершенства и живут в безбрачии. И так предрассудку людскому пришлось примириться с нуждою: торговля была долгой, но так или иначе был достигнут компромисс. Если бы всякую нелепость, царящую в усвоенной народом религии, пришлось еще и выполнять на деле, на каждом шагу, – вот было бы несчастье! А теперь в бóльшую часть таких нелепиц достаточно только верить, следовать им не нужно, и верой на земле как раз и называется такое мертвое убеждение – ни то ни се, ни рыба ни мясо. Не стоит думать, будто калмык живет по образцам тибетского совершенства, если он почитает маленького идола или священный кал ламы.

Однако не один вред, а и польза была от этого отвратительного господства лам. Грубый народ язычников, который вел свое происхождение от обезьяны, стал благодаря ламам народом культурным, во многом даже тонким, и это неоспоримо; соседство Китая тоже внесло свою лепту. Религия, возникшая в Индии, ценит чистоплотность, так что и житель Тибета уже не может жить, как татарские степные племена. И даже неземная целомудренность, которую проповедуют ламы, тоже явила нации цель добродетели – идеал скромной жизни, трезвости, умеренности, что так восхищает нас в мужчинах и женщинах Тибета, можно рассматривать как начало странствия к этой цели, причем и половина тут уже больше целого[7]. Верой в переселение душ

* См.: *Georgi.* Alphabet. Tibetan. Rom., 1762. Книга, преисполненная пустой учености, но при всем этом – наряду с сообщениями Палласа в «Северных известиях» (T. IV. С. 271 сл.) и статьей в «Письмах» Шлёцера[6] (T. V) – наша основная книга о Тибете.

объясняется сострадательное отношение к живым существам, так что нет более кроткой узды, которой можно было бы сдержать грубых обитателей гор и утесов, помимо этого предрассудка и веры в долгое искупление грехов и в адские муки. Короче говоря, тибетская религия – это своего рода папство, каким оно было в Европе в темные века, причем в Европе не было и так восхищающих нас в жителях Тибета и Монголии нравственности и порядка. Кроме того, тибетская религия распространила среди этих горных народов и вообще среди монголов особого рода ученость и письменность, и в этом – ее заслуга перед человечеством и, возможно, средство, подготавливающее эти земли к будущей культуре, которая зреет и для этих мест.

Чудесно неспешен шаг Провидения среди народов Земли, и все же в нем – лишь порядок природы. С незапамятных времен на Востоке жили гимнософисты и талапойны, то есть отшельники-созерцатели: сам климат, сама природа звали к такому образу жизни. В поисках тишины эти люди бежали от шума людского и жили, довольствуясь малым, что давала им изобильная природа. Восточный человек серьезен и умерен и в питье, и еде, и в словах; он любит предаваться полету воображения, а куда могла повести его фантазия, если не к созерцанию всеобщей природы, то есть к возникновению миров, к гибели и обновлению вещей? Восточная космогония и метемпсихоз – это поэтические представления о сущем и становящемся, сообразно с ограниченным человеческим рассуждением и участливой душой. «Я живу недолго и недолго наслаждаюсь жизнью; почему бы и всему остальному, что живет рядом со мною, не наслаждаться своим существованием, не терпя от меня обид?» Отсюда трогательная и самоотверженная мораль талапойнов, для которых главное – ничтожество всего сущего, вечное преобразование форм мира, внутренние муки неутоленных желаний человеческого сердца и удовольствия чистой души. Отсюда и кроткие гуманные заповеди, призыв щадить себя самого и все существа, всех людей: эти заповеди воспевают они в своих гимнах и изречениях. И эти гимны и эту космогонию они отнюдь не почерпнули в Греции, потому что и в Греции и здесь – это прямые отпрыски присущих климату фантазии и мироощущения. Все в них до предела напряжено в стремлении к высшей цели, так что если следовать морали талапойнов, то и жить останется только индийским отшельникам; при этом все окружено бесконечными сказками, так что если бы и жил некогда Шакья, он едва ли узнал бы себя хотя бы в одной черточке среди тех, какими награждают его, когда осыпают похвалами и славословят! Но разве первую мудрость и мораль не узнает дитя из сказок? Простим же Провидению все то, что и не могло быть иным, если следовать избранному для воспитания человеческого рода порядку. Провидение все связало с традицией, так что люди не могли дать друг другу больше того, что было у них самих и что знали

они сами. Всякая вещь в природе – это благо или зло, в зависимости от того, как пользоваться ею; это же можно сказать и о философии Будды. Эта философия содержит высокие и прекрасные мысли, а с другой стороны, она способна возбуждать и питать обман и леность, и всего этого, и обмана и лености, было в ней предостаточно. Ни в одной стране эта философия не оставалась неизменной, но везде она стоит ступенькой выше грубого язычества, – это первые предрассветные сумерки более чистой морали, первые детские мечтания о всеобъемлющей истине.

IV. Индостан

Учение брахманов – не что иное, как ветвь широко распространенной религии, которая от Тибета и до Японии создавала свои общины и создавала свои формы государственного строя; однако сейчас учение брахманов заслуживает особого рассмотрения, потому что мы стоим у его истоков, там, где родилось оно на свет и где создало оно самый престранный и, быть может, самый прочный и долговечный строй, какой когда-либо существовал на Земле, – это деление индийской нации на четыре касты или еще большее число каст, между которыми господствует каста брахманов. Маловероятно, чтобы брахманы достигли своего господства, физически подавляя и порабощая все остальные касты; они и не составляют колена воинов, но каста воинов, включая и самого царя, только следует за кастой брахманов, и авторитет свой брахманы не основывают на подобных внешних средствах, даже и в своих легендах. Они господствуют над людьми благодаря своему происхождению, ибо вышли, как полагают они, из головы Брахмы, тогда как воины – из его груди, другие колена – из других членов тела. На этом основываются и все законы и все внутреннее устройство нации: брахманы по самому своему рождению относятся к телу народа как его голова. Подобные разделения на касты, или колена, и в других странах служили простейшим средством упорядочить человеческое общество; общество следовало при этом самой природе, которая разделяет дерево на ветви, а народ – на колена и семьи. Так было установлено в Египте, где ремесла и искусства тоже переходили по наследству от поколения к поколению, а что поколение мудрецов и жрецов вознеслось над всеми остальными, можем наблюдать мы и у других народов. Мне кажется, что на этой ступени культуры такое разделение отвечает природе вещей, потому что мудрость превосходит тут силу, и, можно сказать, всю политическую мудрость присваивала себе в древние времена каста жрецов. И только постепенно, по мере того как свет распространяется среди всех сословий, авторитет жреца падает, вот почему жрецы повсеместно противодействуют просвещению, которое распространялось бы в массе народа.

Индийская история, о которой нам, к сожалению, так мало известно, дает нам ясные указания на происхождение брахманов*. Согласно истории, Брахма, человек мудрый, ученый, основоположник множества искусств и, в первую очередь, изобретатель письма, был везирем одного из древних царей Индии, Кришны, сын которого и учредил по закону разделение народа на четыре известных нам колена. Сына Брахмы он поставил во главе первой касты, к которой относились звездочеты, врачи и жрецы; другие лица благородного звания назначены были наследственными наместниками провинций, откуда пошла вторая ступень индийской иерархии. Третий разряд людей должен был заниматься земледелием, четвертый – ремеслами, и все это устроение должно было существовать вечно. Сын Кришны построил для философов город Бахар, а поскольку столица его империи и древнейшие школы брахманов расположены были по большей части на берегах Ганга, то отсюда становится понятным, почему ни греки, ни римляне не упоминают их. Они просто не знали этих внутренних областей Индии, потому что Геродот описывает лишь живущие на берегах Инда народы и земли, лежащие к северу от золотоносных стран, а Александр дошел только до Гифасиса. Нет, стало быть, ничего удивительного в том, что греки и римляне сначала получили какие-то сведения о брахманах вообще, то есть об отшельниках-мудрецах, которые жили на манер талапойнов, и что лишь позже до них докатились туманные слухи о саманеях и германах на Ганге, о разделении народа на касты, о переселении душ, этом брахманском учении, и т.д. Но уже эти отрывочные рассказы подтверждают древность индийского строя, родиной которого были берега Ганга, что доказывают и древние памятники в Джагренате**, Бомбее и в других местах на западной части Индийского полуострова. И идолы, и весь вид воздвигнутых в их честь храмов вполне соответствуют образу мыслей и мифологии брахманов, которые с берегов священного Ганга разошлись по всей стране и спустились вниз по течению реки, удостаиваясь тем больших почестей, чем невежественнее были жившие тут люди. Священный Ганг, на берегах которого зародились брахманы, и остался важнейшим средоточием их святилищ, хотя брахманы, собственно говоря, не просто религиозная секта, а, можно сказать, политический клан, незыблемая составная часть древнейшего государственного устройства Индии, как в других странах – ордена лам, левитов, египетских жрецов и т.п.

Поразительно глубоким было тысячелетнее воздействие этого ордена на души людей, ибо не только авторитет и учение их несокрушимы после столь длительного периода монгольского ига, но более того, учение брахманов столь деятельно руководит индусами, как никакая другая

* Dow's hist. of Hindost. V. 1. P. 10, 11[8].

** Zend-Avesta p. d'Anquetil. V. 1. P. 81 seq. «Путешествие» Нибура. Ч. 2. С. 31 сл.

религия на целом свете*. Характер народа, его нравы и образ жизни, вплоть до самых незначительных обычаев, вплоть до мыслей и слов, – все создано брахманами; и хотя в некоторых отношениях религия брахманов чрезвычайно тягостна и обременительна, она, словно закон природы, не перестает быть священной даже для самых низких каст. Лишь преступники и отверженные или, может быть, еще бедные, беспризорные дети принимают иную веру; аристократический образ мысли присущ индийцу, даже живущему в мертвящей нищете, даже вынужденному рабски служить европейцу, – и это достаточный залог того, что пока народ Индии будет жив, он не смешается ни с каким другим народом Земли. Несомненно, основанием для такого воздействия религии служит и климат, и характер нации, ибо ни один народ не превзойдет индийцев в спокойном долготерпении, в кротком послушании. А если индиец в своем учении и в своих ритуалах не следует за первым встречным, то происходит это, очевидно, потому, что введенный брахманами строй целиком и полностью овладел его душой и всей его жизнью, так что тут не осталось места для чего-либо иного. Вот для чего у индийцев столько обрядов и празднеств, богов и сказок, святынь и добрых дел; воображение индийца с раннего детства должно быть поглощено всем этим, решительно все должно напоминать ему о том, кто он такой. Учрежденные в Европе порядки – попросту поверхностны в сравнении с таким полнейшим овладением душой, с искусством, какое, смею верить, будет существовать, пока жив будет хоть один индиец.

Вопрос о том, хороши или дурны установленные людьми порядки, многогранен. Не колеблясь, можно сказать, что порядок, введенный брахманами, был хорош в те времена, когда был впервые установлен, иначе он и не обрел бы той широты, глубины и долговечности, с какими предстает перед нашим взором. Душа человеческая по мере возможности освобождается от всего вредного, и сколь ни терпелив был по сравнению с другими индиец, он не стал бы любить отраву. Итак, нельзя отрицать, что брахманы привили народу учтивость, кротость, умеренность и целомудрие, или же, по крайней мере, они так укрепили народ в этих добродетелях, что европейцы, по контрасту, нередко представляются индийцам нечистоплотными, пьяными маньяками. Непринужденно изящны движения индийцев, их язык, их обхождение мирно, их тело чисто, их образ жизни прост и невинен. Детей они воспитывают мягко, но нет у них недостатка и в знаниях, а также в тихом прилежании и в тонкости изобразительных искусств; даже низшие касты учатся писать, читать и считать. А поскольку воспитывают детей брахманы, то на протяжении тысячелетий они в глазах человека обрели неоспоримые заслуги.

---

* См. об этом Доу, Холуэлла, Соннера, Александра Росса[9], Макинтоша, издаваемые в Галле «Известия миссионеров»[10], «Lettres édifiantes»[11] и любые описания индийской религии и вероучения.

Читая напечатанную в Галле историю христианской миссии, обращаешь внимание на здравый рассудок и благодушный характер брахманов и малабаров, и тогда, когда они спрашивают, отвечают или возражают, и вообще во всем их поведении редко встаешь на сторону миссионеров, стремящихся обратить их в свою веру. Представления брахманов о Боге в основном возвышенны и прекрасны, мораль их – чиста и высока, и даже сказки их, если только здравое рассуждение проглядывает в них, так тонки и приятны, что я просто не могу поверить, чтобы и все нелепые россказни о чудовищах и приключениях были вполне лишены смысла, – по всей видимости, нелепости наслоились лишь со временем, в пересказах черни. Не лишено известной ценности и то обстоятельство, что при всем угнетении со стороны мусульман и христиан орден брахманов сохранил свой искусный, прекрасный язык*, а вместе с ним фрагменты древней астрономии, летосчисления, медицины и права, ибо хотя брахманы и занимаются всеми этими науками на ремесленный манер, но этого как раз и довольно для их жизненного круга**, а что теряют они в смысле умножения знаний, то возмещается четкостью сведений, долговечностью и интенсивностью воздействия. Индусы никого не преследуют за веру и каждому оставляют его религию, образ жизни, философию; почему бы и нам не оставить им их религию и, при всех заблуждениях, присущих унаследованной ими традиции, считать их, по крайней мере, искренне заблуждающимися? По сравнению со школами религии Фо в восточной части Азии религия индийцев – настоящий цветок; в ней больше учености, человечности, полезности, благородства, чем во всех вместе взятых бонзах, ламах и талапойнах.

Не будем скрывать при этом, что в индийском религиозном укладе есть много тягостного, как вообще во всех человеческих установлениях. Не говоря уж о бесконечном принуждении, которое влечет за собой и разделение способов существования между различными наследственными коленами, поскольку такое разделение вполне исключает всякое свободное улучшение и усовершенствование искусств и ремесел, бросается в глаза прежде всего презрительное обращение с самым низшим коленом – с париями. Эта каста осуждена не только исполнять самую низменную и грязную работу, не только навеки отторжена от общения с другими кастами, но у нее отняты даже человеческие права и религия; никто не смеет прикасаться к парии, и даже взгляд его оскверняет брахмана. Хотя называли и немало причин для подобного унижения касты отверженных – вроде того, что парии – покоренная некогда нация, – ни одна из них не подтверждалась данными истории; и парии, во всяком случае, не отличаются от других индусов своим телосложением. Итак, здесь, как и во многих других древних обычаях,

---

* См.: Halhed's Grammar of the Bengal Language, printed at Hoogly in Bengal, 1778.

** См.: *Le Gentil*, Voyage dans les mers de l'Inde. T. I [12]. Halhed's Code of Gentoo-Laws etc[13].

все зависит от жестокости первоначального установления; быть может, вначале унижению были подвергнуты очень бедные люди, злодеи и отверженные, но теперь такому унижению на удивление доброхотно подвергаются и их многочисленные, ни в чем не повинные потомки. И ошибка заключена лишь в самом разделении общества на семейства, когда некоторым невольно доставался наихудший жребий, а тягости еще усугублялись вследствие того, что другие колена претендовали на чистоту. Что же более естественного, – родиться парией стало означать быть покаранным небесами, значило заслужить такую судьбу преступлениями, совершенными в прошлой жизни, согласно учению о переселении душ? Вообще учение о метемпсихозе, какой бы значительной ни была эта гипотеза в сознании ее автора, сколь бы много доброго ни принесла она для идеи человечности, принесло с собой и много зла, как вообще всякий предрассудок, связанный с выходом за пределы человеческого мира[14]. Пробуждая в человеке ложное чувство сострадания решительно ко всему живому, эта гипотеза вместе с тем ослабляет истинное сочувствие к нищете человеческого рода; несчастных людей стали считать преступниками, страдающими под тяжестью ранее совершенных преступлений, или же людьми, которых подвергает испытанию судьба, чтобы наградить добродетель их в грядущей жизни. Поэтому и в мягкосердечных индусах замечен недостаток человеческого сочувствия, вероятно следствие их жизнеустройства и прежде всего глубокой покорности вечной судьбе, – такая вера словно бросает человека в пропасть, притупляя в нем деятельные чувства. Вот одно из варварских последствий этого учения – жен сжигают на костре, пожирающем останки их мужей; каков бы ни был первоначальный повод для введения такого ритуала – будь то подражание героическим женам или просто кара, – все же учение брахманов об ином свете неоспоримо облагородило неестественный обычай и вдохновляло несчастные жертвы в их решимости умереть, вдохновляло доводами, касающимися грядущего их существования. Конечно, жестокий обычай заставлял женщину ценить жизнь мужа, ведь и сама смерть не разлучала ее с ним, и она не могла пережить его, не подвергаясь позору, – но стоил ли этот выигрыш подобных жертв, особенно если жертвы стали принудительным законом, хотя бы как результат молчаливой привычки? Наконец, говоря о введенном брахманами порядке, я не стану распространяться о тех многообразных формах, в которых проявляются обман и суеверие, неизбежные уже потому, что астрономия и летосчисление, медицина и религия, передаваемые устной традицией, сделались тайноведением и принадлежностью одного из колен; куда более губительные последствия господства брахманов для всей страны заключаются в том, что рано или поздно народ созревает для рабства, для покорности. Колено воинов должно было очень скоро утратить весь свой воинственный пыл, потому что призвание воина вступало

в противоречие с религией, а существование касты воинов подчинено было более благородному колену, ненавидевшему всякое кровопролитие. Как счастлив был бы такой миролюбивый народ, если бы был отгорожен от своих завоевателей и жил на уединенном острове, а жить у подножья гор, где обитают эти хищные звери в облике человеческом, эти воинственные монголы, жить вблизи от океанского побережья, изрезанного бухтами, где высаживаются на сушу корыстолюбивые и хитроумные европейцы, – бедные индийцы! Долго или коротко, но вы пропадете вместе со всеми мирными вашими порядками! Так и случилось с индийским строем, – он потерпел поражение в борьбе с внутренним и внешним врагом, и, наконец, европейское мореплавание привезло ему ярмо рабства, от которого он страдает, напрягая свои последние силы.

Жестокая поступь судьбы народов! И тем не менее – не что иное, как порядок, установленный природой. В самой прекрасной, самой плодородной части земли человек рано приобрел утонченные понятия, широкие, фантастические представления о природе, усвоил кроткий нрав и установил правильный порядок, но в той же самой части света он должен был отказаться от любой трудоемкой, тяжелой деятельности, а потому должен был сделаться добычей разбойника, уязвившего и эту прекрасную землю. С древних времен европейцы вели богатую торговлю с Ост-Индией; прилежный, довольствующийся малым народ в преизбытке отправлял другим нациям, по морю и по суше, многоразличные ценности из хранимых этой частью света сокровищ, а благодаря далекому расстоянию пребывал в тишине и покое; но, наконец, явились европейцы, расстояния не существовали для них, они пришли и раздарили самим себе все индийские царства. И если они привозят нам из этой страны всяческие сведения и изысканные товары, то все это никак не возмещает зла, причиняемого ни в чем не провинившемуся перед нами народу. Меж тем новое звено в цепи судьбы замкнулось, и судьба либо разъединит ее, либо прибавит к ней еще новые звенья.

V. Общие рассуждения об истории этих стран

Мы рассмотрели строй азиатских государств, славящихся и древностью и прочностью своих порядков, – чего же достигли они в истории человечества? Чему учат они философа, размышляющего об истории людей?

1. История предполагает начало, должно быть начало и у государств и у культуры; но как темно такое начало у каждого из народов, что рассматривали мы выше! Если бы мой голос мог убеждать, я возвысил бы его, чтобы всякого проницательно скромного изыскателя истории призвать к изучению истоков культуры в Азии, самых знаменитых ази-

атских царств и народов, – но только во что бы то ни стало необходимо избегать при этом гипотез, избегать деспотии частного мнения! Точное сопоставление известий и памятников азиатских народов, древнейших произведений их искусства, мифологии и тех принципов и приемов, которыми до сих пор пользуются они в своих немногочисленных науках, – в сравнении с местом, которое заселяет каждый из них, с соседями и сношениями, какие могли быть у них, – несомненно, развернет свиток, содержащий в себе изъяснение исторических истоков этих народов, и, по всей видимости, окажется тогда, что первое звено в цепи культуры замкнулось не в Селингинске и не в греческих Бактрах. Прилежные опыты Дегиня, Байера, Гаттерера и других, более дерзкие гипотезы Байи, Пау, Делиля[15], полезная деятельность по собиранию и описанию азиатских языков и письменностей – это предварительные работы по построению здания, и мне хотелось бы дожить до того времени, когда в основание его будет заложен первый прочный и основательный камень. Быть может, им послужат руины храма Протогеи[16], являющейся нам в столь многих памятниках природы.

2. Слова «цивилизация народа» трудно произнести, но еще труднее их мыслить, а самое трудное – практически их осуществлять. Чтобы какой-нибудь чужестранец просветил целую страну или же царь ввел культуру своим указом, – это возможно лишь тогда, когда существует множество сопутствующих благоприятных обстоятельств, ибо народу придает его склад и облик лишь воспитание, учение, непреходящий, постоянный образец. Вот почему народы весьма рано прибегли к следующему средству: они включили в состав своего государства особое сословие, занятое образованием, воспитанием, просвещением, и такое сословие либо поставили во главе всех прочих, либо расположили между остальными. Пусть это будет ступенью еще очень неразвитой культуры, но такая ступень совершенно неизбежна для детской поры рода человеческого, ибо если бы не находилось в нужный момент подобных воспитателей человечества, то и народ навеки погряз бы в своем невежестве и косности. Итак, своего рода брахманы, мандарины, талапойны, ламы и т.п. нужны всякой нации в пору ее политической юности, и мы видим даже, что не кто иной, а именно этот род людей и распространил семена искусной и сложной культуры по всей Азии. А если у народа есть такие воспитатели, то тогда император Яо может сказать слугам своим Хи и Хо*: «Идите и наблюдайте звезды, следите за движением Солнца и разделите год». Если нет этих Хи и Хо – астрономов, напрасно будет отдавать приказ император.

3. Между культурой ученых и культурой народа есть различие. Ученый должен знать науки, занятия которыми вменены ему в обязанность; он хранит такие знания и доверяет их тем, кто принадлежит

* См. начало «Шу-цзина» в издании Дегиня.

к его сословию, а не доверяет всему народу. Таковы у нас высшая математика и много других знаний, которые не служат ко всеобщему употреблению, а стало быть, не служат народу. Таковы были так называемые тайные науки древних, которые были принадлежностью особых сословий, жрецов, брахманов; только жрец и брахман и обязаны были заниматься этими науками, а у всех других разрядов людей, у каждого другого звена в государстве были свои дела. Так, алгебра и до сих пор остается тайной наукой, потому что ее понимают немногие в целой Европе, хотя никаким приказом не запрещено изучать ее каждому. Мы же теперь во многом смешали круг культуры ученой и культуры народной и эту последнюю довели почти что до объема первой, а это, нужно сказать, и бесполезно, и вредно; устроители древних государств мыслили человечнее, а потому и умнее. Культура народа состояла для них в добронравии и полезных ремеслах, и они считали, что народ и не создан для обширных теорий в философии и религии и что они не пойдут ему на пользу. Отсюда старый метод преподавания с помощью аллегорий и сказок вроде тех, какие до сих пор излагают брахманы неученым кастам; отсюда в Китае различия между общими понятиями почти всякого класса, различия, которые установило правительство и которых оно весьма мудро придерживается. Значит, если мы станем сравнивать культуру восточноазиатских народов с культурой европейской, то нам необходимо знать, в чем видит азиатский народ свою культуру и о каком разряде людей идет речь. Если такой-то народ или такой-то класс отличается добронравием и знанием ремесел и искусств, если он обладает достаточными для работы и жизненного благополучия понятиями и добродетелями, то он и достаточно просвещен, даже если и не умеет объяснить причины лунного затмения и в виде толкования приводит известную историю с драконом. Может быть, наставник для того и рассказал ему эту историю, чтобы он не корпел над орбитами Солнца и звезд. И совершенно не могу вообразить себе, чтобы все нации и все отдельные их представители существовали на Земле для того, чтобы обладать метафизическим понятием о Боге, как будто без этой метафизики – а она, может быть, вся зиждется на одном каком-нибудь слове – народ немедленно превратится в суеверную толпу варваров и недочеловеков. Если японец – человек умный, решительный, умелый, полезный, то он культурный человек, что бы ни думал он при этом о своих Будде и Амиде. Если он угостит вас сказкой, угостите его другой, и вы будете квиты.

4. Даже непрестанное поступательное движение ученой культуры – тоже отнюдь не непременный признак благополучия в государстве, особенно если исходить из понятия древних восточных царств. В Европе все ученые составляют между собой одно особое государство, построенное на трудах многих столетий; жизнь этого государства поддерживается общими средствами и взаимной ревностью европейских

держав, поддерживается искусственно, потому что те вершины науки, к которым все мы стремимся, никакой пользы не приносят всеобщей человеческой природе. Вся Европа – одна ученая империя, которая отчасти благодаря внутреннему духу соревнования, отчасти же, в последние века, благодаря вспомогательным средствам, изысканным в самых разных частях света, обрела некий идеальный облик, в котором может разобраться лишь ученый муж и из которого извлекает для себя пользу лишь государственный деятель. Итак, однажды устремившись к высотам знания, мы уже не можем остановиться в своем движении: мы бросаемся вслед за миражами высшей науки, универсального познания, – мы никогда не достигнем его, однако эта цель поддерживает наше движение вперед, пока существует теперешнее государственное устройство Европы. Но далеко не так обстоит дело с теми государствами, которые никогда не знали подобного столкновения сил. Замкнутый, круглый Китай, спрятавшийся за своими горами, – это единообразная, изолированная со всех сторон империя, а провинции его, сколь бы различные народы ни населяли их, устроены в согласии с принципами древнего государственного уклада, они отнюдь не конкурируют друг с другом, а пребывают в глубокой покорности центру. Япония – это остров, государство, словно древняя Британия, враждебно встречающее любого чужестранца; на своем бурном океане, заключенное между скал, это государство существует как некий мир для себя. Таков и Тибет, окруженный горными хребтами и дикими народами; таково и введенное брахманами государственное устройство, что целые века стенает под тяжким гнетом насилия. Как бы мог произрасти в этих царствах зародыш развивающейся науки, который в Европе пробивает себе дорогу даже среди отвесных скал? Как бы могли восточные народы принять плоды этого дерева из опасных рук европейцев, которые отнимают у них то, чем окружены они, – безопасность политического существования, которые отнимают у них даже самую их страну? Вот почему улитка, сделав несколько попыток, убралась в свой домик и с презрением смотрит на розу, которую принесла ей змея. Наука восточных ученых рассчитана на страну, в которой они живут, и даже у самых сговорчивых иезуитов китайцы позаимствовали не все, а только самое необходимое в жизни, как они полагали. Будь положение безвыходным, взяли бы, пожалуй, больше, но поскольку большинство людей, а тем более крупные государства – существа выносливые и твердые, как кремень, так что нужно, чтобы опасность была совсем перед носом, только тогда они переменят свой аллюр, – то все и остается по-прежнему, и не происходит никаких чудес и знамений, но отнюдь это не значит, что народ не способен к науке. Просто отсутствуют движущие причины, ибо на любую новую пружину действия обрушивается всем своим весом сила древней привычки. Как долго училась Европа самым славным своим искусствам!

5. Существование государства можно оценивать и как таковое, и в сравнении с другими; Европа обязана применять обе меры, а у азиатских держав мера только одна. Ведь ни одна из этих стран не устремлялась в иные стороны света, чтобы воспользоваться ими как постаментом своего величия, ни одна не пыталась уготовить себе отраву избытком славы; каждое государство пользуется тем, что у него есть, и этим довольствуется. Китай даже отказал себе в золоте, потому что чувствовал свою слабость и не смел воспользоваться своими приисками; и внешняя торговля Китая обходится без порабощения чужих народов. Такая скупая мудрость всем этим странам дала одно неоспоримое преимущество: им приходится тем более разрабатывать свои внутренние ресурсы, что они лишь незначительно возмещают их внешней торговлей. А мы, европейцы, напротив, странствуем по целому свету, как купцы и разбойники, и притом забываем о достоянии, какое храним у себя дома; даже Британские острова далеко не приведены еще в тот порядок, что Япония или Китай. Итак, европейские государственные организмы – это звери, которые ненасытно поглощают все чужое, все доброе и злое: специи и яды, чай и кофе, золото и серебро, – в своем лихорадочном состоянии проявляя чрезмерную возбужденность; не то восточные страны – они полагаются лишь на свое внутреннее кровообращение. Жизнь замедленная, как у ленивцев, но зато она уже длилась долго и еще долго будет длиться, если только внешние обстоятельства не погубят спящее животное. Но ведь известно, что древние во всем рассчитывали на прочность и долговечность – и в памятниках своей культуры, и в зданиях государственного строя; мы же живем жизнью энергичной и, быть может, тем скорее проходим краткосрочные, отмеренные нам судьбою возрасты жизни.

6. Наконец, во всех земных делах людей очень многое зависит от времени и места и от различий в характере наций, ибо самое главное – характер народа. Если бы восточная Азия располагалась сбоку от нас, она давным-давно перестала бы быть тем, чем была. Не будь Япония островом, и она не стала бы тем, чем стала. А если бы эти государства стали складываться только теперь, то они едва ли стали бы тем, чем стали три, четыре тысячелетия тому назад; ведь животное, на спине которого мы живем и имя которому – Земля, постарело теперь ровно на столько тысячелетий. Генетический дух, характер народа – это вообще вещь поразительная и странная. Его не объяснить, нельзя и стереть его с лица Земли: он стар, как нация, стар, как почва, на которой жил народ. Брахмана не оторвать от его земли, и никто другой, думает он, не заслужил этой священной природы. Таков и китаец, таков и японец; за пределами своей страны они – лоза, пересаженная не вовремя. Качеств, которые приписывает своему богу индийский отшельник, своему императору – китаец, не замечаем в них мы; а они совершенно иначе, чем мы, представляют себе активность и свободу духа, честь

мужчины, красоту женщины. Индийским женщинам нетрудно сидеть взаперти; пустой блеск китайского мандарина всем, кроме него, покажется холодным спектаклем. Так обстоит дело со всеми привычками многообразного человеческого существа, да и вообще со всеми явлениями на этом нашем земном шаре. Если нашему человеческому роду суждено вечно, следуя по пути асимптоты, приближаться к точке совершенства, точке неведомой и недостижимой при всех танталовых трудах и муках человечества, то вы, китайцы и японцы, вы, ламы и брахманы, вы в этом странствии сидите в довольно-таки тихом углу судна. Вас не заботит эта недостижимая точка, вы остаетесь тем, чем были тысячелетия тому назад.

7. Утешительно для исследователя человеческой истории думать, что какими бы бедами ни награждала род человеческий природа, она никогда не забывала пролить смягчающий бальзам на эти наносимые ею раны. Азиатский деспотизм, бремя тяжкое для человечества, существует только у таких наций, которым угодно нести его, то есть у таких, которые не очень остро чувствуют всю гнетущую их тяжесть. Индиец покорно ждет своей судьбы, и, когда в пору невыносимого голода собака ни на шаг не отходит от него, потому что его изможденное тело станет ее пищей, стоит только упасть ему на землю, он ищет опоры, чтобы умереть стоя, и терпеливо заглядывает собака ему в лицо, в бледное лицо смерти, – это такое самоотречение, о котором нет у нас ни малейшего понятия, и оно сменяется притом бурными порывами страсти. Но наряду с теми поблажками, которые несет с собой образ жизни и климат, самоотречение – это противоядие, смягчающее действие столь многих кажущихся нам совершенно непереносимыми пороков, присущих государственному строю восточных стран. А если бы мы жили в тех странах, нам и не пришлось бы терпеть такие беды, потому что мы нашли бы в себе достаточно решимости и мужественности, чтобы изменить дурной строй, а иначе мы и сами размягчились бы и с тем же долготерпением, что индийцы, стали бы переносить все бедствия. Великая мать-природа! С какими мелочами связала ты судьбу нашего рода! Чуть изменилась форма головы и мозга, что-то незаметно переменилось в строении тела и нервов под влиянием климата, породы, привычки, – и вот уже меняются судьбы мира, и вот иным становится общий итог того, что творит и терпит род человеческий на Земле.

Книга двенадцатая

Мы подходим к берегам Тигра и Евфрата: но как же переменился в этих краях весь облик истории! Уж нет Вавилона и Ниневии, Экбатаны, Персеполя и Тира; одни народы следуют за другими, одни царства за другими, и от большинства из них остались на земле лишь имена и некогда столь знаменитые памятники. Нет больше народов, которые именовали бы себя вавилонянами, ассирийцами, мидийцами, финикийцами, которые сохранили бы характерные черты их древнего политического строя. Державы и города разрушены, а народы бродят среди нас и не знают своих прежних имен.

Откуда же такое различие по сравнению с глубоко запечатлевшимся характером восточных государств? И Китай и Индию не раз затопляли орды монголов, иногда целые века жили они под чужеземным гнетом, и все же ни Пекин, ни Бенарес, ни брахман, ни лама не исчезли с лица земли. Мне кажется, различие это разъясняется само собою, стоит только обратить внимание на несходство по положению и складу этих двух областей Земли. В восточной Азии, по ту сторону мощного горного хребта Земли, народам юга всегда грозил только один враг – монголы. Столетиями мирно кочевали монголы по степям и долинам, а если они и заполняли соседние провинции, то не столько с намерением разрушать, сколько с желанием покорять и грабить живущие здесь народы; вот почему получалось так, что некоторые нации веками сохраняли свой строй при правителях-монголах. Но как же кишели народы между Черным, Каспийским и Средиземным морями, а Тигр и Евфрат были как раз великими отводными путями для переселяющихся народов. Вся Передняя Азия была с давних пор населена кочевниками, и чем больше цветущих городов и новых царств возникало в этих прекрасных местах, тем больше влекли они к себе менее культурные племена, обещая им легкую наживу, или же сами эти царства свою растущую мощь обращали лишь на уничтожение соседних государств. Возьмем хотя бы Вавилон, расположенный в прекрасной местности, в самом средоточии торговли между Востоком и Западом, – как часто завоевывали его, как часто разграбляли! И судьба Сидона и Тира, Иерусалима, Экбатаны и Ниневии ничем не

лучше, так что всю область можно рассматривать как сад запустения, где одни царства разрушали, а другие были разрушаемы.

Так неудивительно, что некоторые погибли, не оставив после себя даже имени, и что не сохранилось почти и следов их, ведь что за след мог остаться? Язык был один у большинства народов в этих местах, и он только разделялся на различные наречия; народы погибали, и тогда наречия их перемешивались, так что, в конце концов, все они слились в одну халдейско-сирийско-арабскую мешанину, которая дожила до наших дней и в которой почти невозможно выделить отличительные признаки растворившихся друг в друге народов. Государства возникали из орды и, когда гибли, вновь обращались в орду, будучи лишены прочного политического характера. И тем более не могли придать народам несокрушимость пирамид памятники, построенные Белом или Семирамидой[1], потому что возводились они из высушенных на солнце и связанных асфальтом кирпичей, их легко было разрушить, если сами они не разрушались под незаметными шагами времени. Итак, деспотическое величие строителей Ниневии и Вавилона постепенно выветривалось, так что единственное, о чем остается рассуждать, приходя в эту столь знаменитую область Земли, так это об именах древних и давно исчезнувших с лица земли наций, об именах, под которыми известны они в цепочке народов. Мы идем по могилам погибших царств и видим на земле бледные тени былых трудов.

И доподлинно – труды были великие: если еще и Египет причислить к той же стороне, то нет на Земле, за исключением Греции и Рима, такой области, где было бы сделано столько открытий и изобретений, где была бы произведена такая огромная предварительная работа для Европы, а через посредство Европы и для всех живущих на Земле народов. Поразительно много искусств и ремесел было тут с самых ранних времен известно разным небольшим кочевым племенам*, о чем рассказывают нам книги евреев. Чего только не умели эти кочевники: и возделывать землю, используя самые разные орудия труда, и разводить сады, и охотиться, и ловить рыбу, особенно же занимались они скотоводством, умели молоть зерно, выпекать хлеб, варить пищу, изготовляли вино и масло, одежду из шерсти и шкур; они пряли, ткали, красили, вышивали, они чеканили монету, резали печати, изготовляли стекло, добывали жемчуг, руду, выплавляли железо, рисовали и ваяли, знали архитектуру, музыку и танец; торговали, используя меры и весы, плавали вблизи берегов, а из наук знали начатки астрономии, летосчисления, географии, медицины и военного искусства, арифметики, геометрии и механики; политический их строй знал законы, судопроизводство, культ, договоры, пеню,

* См. «Исследования о происхождении законов, художеств и наук» Гоге. Лемго, 1760 и, главное, «Краткое понятие о всемирной истории» Гаттерера. Ч. I, Гёттинген, 1785[2].

множество нравственных обычаев, – все это в ходу у народов Передней Азии, причем в столь раннюю пору, что всю культуру этой области земного шара мы должны были бы счесть оставшейся от доисторической цивилизации, если бы само прямое предание не наталкивало нас на эту мысль. И только народы, кочевавшие вдалеке от Центральной Азии, в пустынях, стали варварскими, дикими народами, почему и получилось так, что впоследствии, рано или поздно, им должна была достаться в удел уже новая культура.

I. Вавилон, Ассирия, халдейское царство

Плодородные, красивые берега Тигра и Евфрата манили к себе полчища орд, кочевавших по широким просторам Передней Азии, а поскольку места эти, словно райский сад, заключены между гор и пустынь, то орды неохотно расставались с ними. В наши дни эта область Земли утратила немало прелестей, поскольку совершенно лишена всякой культуры и с давних времен сделалась добычей рыщущих тут орд, но некоторые места вполне подтверждают единодушное свидетельство древних авторов, которые не находят слов для того, чтобы по достоинству расхвалить эту местность*. Итак, вот родина первых монархических держав всемирной истории, вот древняя кузница полезных искусств.

Племена вели кочевую жизнь, так что самое естественное, что могло прийти на ум какому-нибудь честолюбивому шейху, было присвоить себе прекрасные берега Евфрата, утвердить на них свою власть и подчинить себе другие кочевые народы. Еврейский рассказ называет этого шейха Нимродом; он основал свое царство с городами Вавилоном. Эдессой, Несибином и Ктесифоном, а вблизи от его царства рассказ помещает другое – ассирийское, с городами Ресен, Ниневия, Адиабена и Калах. Географическое положение этих царств, природа их и история возникновения завязывают нить судьбы, которая и вилась вплоть до самой гибели обеих держав; ведь если оба государства, основанные разными племенами, расположены были слишком близко друг от друга, – что могло воспоследовать из такого соседства, если не обоюдная вражда, когда оба царства то оказывались под началом одного государя, то дробились под натиском горных племен, спускавшихся с севера? Вот вкратце и вся история царств, основанных на берегах Тигра и Евфрата, история, которая не могла, конечно, не исказиться в чем-то при такой древности событий и противоречивости рассказов разных народов. Но в чем все летописи и сказки согласны, так это в том, что касается возникновения этих царств, их духа и внутреннего строя. Кочевники положили им начало, и захватнический дух орды всегда был присущ им. И даже сам развившийся в них деспотизм и прославившая Вавилон искусность

* См. «Описание Земли» Бюшинга. Т. V. Ч. 1[1].

в ремеслах – все это вполне отвечало духу этого края и национальному характеру населявших его людей.

Ведь что такое были, к примеру, первые города, основанные первыми мифическими монархами мира? Это были огромные огороженные стоянки, укрепленные лагеря племени, что паслось на плодородной земле и совершало отсюда набеги на соседей. Вот почему Вавилон, стоило только основать его, сделался столь чудовищно огромен и раскинулся по обе стороны реки; вот почему столь колоссальны были стены его и башни. Эти стены были высокими, широкими валами из обожженной земли, и они должны были защищать громадный лагерь кочевников; башни были смотровыми башнями; город, утопавший в садах, по выражению Аристотеля, был целым Пелопоннессом[4]. Земля в изобилии давала материал для стройки – глину, чтобы делать кирпичи, и асфальт, чтобы связывать эти кирпичи. Итак, природа облегчала труд человека, а коль скоро город был заложен на манер кочевников, то совсем не трудно было на тот же самый манер, то есть путем грабительских набегов, украшать город и умножать его богатства.

Ведь достославные завоевания Нина, Семирамиды и т.д. – это просто те же самые набеги, которые до сих пор совершают арабы, курды и туркоманы. Ассирийцы по своей породе как раз и были таким горным племенем, так что они только поэтому и сохранились в памяти людей: ничего они не делали, а только воевали и грабили. С самых древнейших времен, как знаем мы из рассказов, в войсках этих завоевателей мира служили арабы, а ведь давний жизненный уклад этого народа ни для кого не секрет, он и не изменится, пока цела Аравийская пустыня. Позже на сцену выходят халдеи – курды – разбойники по природе и первоначальному местожительству*. Во всемирной истории они не примечательны ничем, кроме опустошительных походов, ибо если они славятся своей наукой, то, по всей видимости, они попросту грабительски захватили чужую славу, когда завоевали Вавилон. Итак, можно думать, что прекрасная область Земли, Тигр и Евфрат с их берегами, – это место сбора кочующих племен и разбойничьих народов, которые складывали здесь, в укрепленных ими городах, свою добычу, пока, наконец, не изнежились под теплым небом этих широт, не утомились от роскоши и сами не сделались добычей других народов.

Да и знаменитые художественные творения Семирамиды или даже Навуходоносора свидетельствуют все о том же. Первые походы ассирийцев направлялись на юг, в Египет; таким образом, художественные создания этой мирной цивилизованной нации и послужили первыми образцами для украшения Вавилона. Знаменитые колоссы Бела, портретные изображения на кирпичных стенах великого города – все это,

* См. сочинение Шлёцера о халдеях в «Репертории литературы Ближнего Востока»[5]. Ч. 8. С. 113 сл.

как кажется, вполне выдержано в египетском вкусе, а если легендарная царица отправилась на гору Багистан, чтобы запечатлеть свое изображение на склонах ее, то это, несомненно, было подражанием Египту. Дело в том, что царица вынуждена была пуститься в путь, потому что в ее южной стране не было гранитных утесов, пригодных для строительства вечных памятников, как в Египте. И Навуходоносор не строил ничего, кроме колоссов, кирпичныхдворцов и висячих садов. Не имея нужного материала и не обладая должным искусством, пытались превзойти образцы объемом и размерами, и лишь приятные сады придавали вавилонский дух этим недолговечным памятникам. Поэтому я не очень жалею, что распались эти чудовищные массы глины; великими творениями искусства они не были, а вот чего мне хотелось бы, так это того, чтобы среди оставшихся груд развалин поискали таблички с халдейскими письменами, которые, если верить свидетельствам путешественников, непременно должны находиться здесь*.

Достоянием этой области, и это подсказывалось самим ее географическим положением, были торговля и ремесла – ремесла не в собственно египетском духе, а ремесла кочевых племен. Евфрат широко разливался, затоплял землю, и воды его приходилось отводить с помощью каналов, с тем чтобы обширные участки земли становились плодородными благодаря его наносам; так были изобретены колеса и насосы, если только устройства эти не были взяты у египтян. А в наши дни прежде населенные и плодородные земли, совсем немного удаленные от реки, страдают от засухи, потому что нет больше людей, которые прилежно трудились бы на этих землях. От животноводства к земледелию был всего один шаг, потому что сама природа звала обрабатывать почву постоянного обитателя этих краев. Растения и деревья с какой-то ужасающей силой, сами собою, идут в рост из этой почвы, богато вознаграждая малый труд по уходу за ними, так что, сам не заметив того, пастух превратился в земледельца и садовника. Лес прекрасных финиковых пальм дал стволы для жилища, заменившего неверные шатры, и дал плоды в пищу человеку; помогала строительству и легко обожженная глина, так что обитатели шатров незаметно для самих себя очутились в куда лучшем, хотя и глинобитном доме. Эта же почва подарила человеку глиняные сосуды, а вместе с ними тысячу жизненных удобств. Люди научились выпекать хлеб, приготовлять пищу и, наконец, благодаря торговле дожили до пышных пиров и празднеств, которыми славились в древности вавилоняне. Сначала из обожженной глины изготовляли маленьких идолов, терафимов, вскоре научились ваять и обжигать колоссальные статуи, а от них нетрудно было перейти и к отливу форм из металла. Нанося на мягкую глину рисунки или буквы, закрепляя их путем обжига, незаметно научились сохранять на обожженных кирпичах доступные этим временам знания, а потому могли уже опираться на на-

* См. делла Валле «О руинах близ Аргии», Нибур о руинах близ Хелле и др.[6]

блюдения и опыт прежних времен. Даже и астрономия была счастливым изобретением кочевников этих мест. На своих бескрайних прекрасных равнинах, предаваясь праздности и покою, пастух мог наблюдать, как восходят и заходят на бесконечном светлом небосводе яркие, сияющие звезды. Он называл их именами своих овец и в книгу своей памяти стал записывать перемены, происходящие с ними. Такие наблюдения удобно было продолжать, расположившись после знойного дня на плоских крышах вавилонских домов, и вот, наконец, целый особый, специально для этой цели основанный орден взял в свои руки занятия этой волнующей и притом столь необходимой дисциплиной и с тех пор уже не переставал писать анналы небес. Так сама природа подвела людей к знаниям и наукам, и дары эти – такие же местные произведения, как и любой взращенный природой плод. У подножья Кавказских гор природа дала в руки людей источник нефти, так что несомненно миф о Прометее берет свое начало в этих местах; а в финиковых рощах на берегах Евфрата природа нежно и кротко лелеяла пастуха-кочевника, перевоспитывая его и превращая в прилежного, трудолюбивого жителя сел и городов.

С другой стороны, ряд известных в Вавилоне ремесел возник благодаря тому, что местность эта с давних времен была и остается центром торговли между Востоком и Западом. В центральной Персии не сложилось столь знаменитого государства, потому что здесь нет реки, которая втекала бы в океан, и насколько более оживленные места по берегам Инда, Ганга и здесь – на берегах Тигра, Евфрата! Близко отсюда и Персидский залив*, склады и перевалочные пункты индийских товаров, они обогащали и Вавилон, ставший покровителем купеческого усердия. Известно, как любили в Вавилоне пышность льняных тканей, ковров, вышивок, всяких прочих одежд; богатство творило роскошь жизни, роскошь и усердие особенно сближали мужчин и женщин (в отличие от других провинций Азии), чему немало способствовало правление нескольких цариц. Короче говоря, культура народа всецело шла от его географического положения и образа жизни, и нам пришлось бы удивляться, если бы, при наличии столь благоприятных условий, в этой местности не возникло ничего достойного внимания. У природы на Земле есть свои любимые места – это прежде всего берега рек и изысканные участки морского побережья; в таких местах пробуждалась и по достоинству награждалась деятельность людей. На берегах Нила возник Египет, на берегах Ганга – Индия, а здесь построены были Ниневия и Вавилон, а позднее – Селевкия и Пальмира. И если бы желание Александра исполнилось и он воцарился и стал править миром в Вавилоне, как переменился бы – на целые века – весь облик этого прекрасного, прелестного края!

---

* «История торговли с Ост-Индией» Эйххорна[7]. С. 12; «Введение в синхронистическую универсальную историю» Гаттерера. С. 77.

Населяющие Ассирию и Вавилон народы знали и письменные знаки – сокровище, с незапамятных времен бывшее достоянием кочевых племен Передней Азии. Оставлю в стороне вопрос, какому народу принадлежит честь этого великолепного изобретения*; довольно того, что все арамейские племена гордились этим даром далекого прошлого и какой-то священной ненавистью ненавидели иероглифы. Поэтому я никак не могу согласиться с тем, что вавилоняне пользовались иероглифами: ведь их толкователи толковали все на свете – движение планет, события, случайности, сны, тайнопись, но только не иероглифы. И знаки судьбы, что явились пирующему Валтасару**, заключались не в рисунках, а в слогах, написанных вязью, как пишут на Ближнем Востоке. Вавилоняне с древнейших времен пользовались на письме буквами без всяких иероглифов, и это подтверждают картины, нанесенные Семирамидой на стены, и сирийские буквы, которые она велела выбить на скале с ее изображением. И только благодаря тому, что вавилоняне пользовались буквами, стало возможным уже и в те ранние времена заключать договоры, составлять хроники и вести запись астрономических наблюдений; только благодаря буквам вавилоняне запечатлелись в памяти людей как культурный народ. Правда, до нас не дошли ни их астрономические каталоги, ни хотя бы одно из их сочинений, хотя первые посылались еще Аристотелю; но прекрасно уже и то, что такие сочинения были у вавилонского народа.

Впрочем, не надо думать, что мудрость халдеев – нечто напоминающее мудрость наших дней. Науки, какими владел Вавилон, доверены были замкнутой касте ученых, а каста эта, когда нация стала переживать упадок, превратилась в клан отвратительных обманщиков. Халдеями мудрецов стали называть, по-видимому, с того времени, когда халдеи воцарились в Вавилоне; поскольку со времен Бела цех ученых стал государственным орденом, учрежденным самим государем, то, вероятно, ученые просто льстили своим завоевателям, назвавшись именем их народа. Эти мудрецы были придворными философами, а будучи таковыми, опустились до всевозможных надувательств и жалких фокусов – до придворной философии. По всей видимости, в это время они уже ничем не приумножили свою древнюю науку, как не приумножил знания китайский чиновничий строй.

Итак, эта прекрасная зона Земли была и счастлива и несчастлива, она расположена была неподалеку от горных местностей, откуда одно за другим сползало в долины множество диких племен. Ассирийское и вавилонское царство было завоевано халдеями и мидийцами, а халдеев и мидийцев разбили персы, а потом все превратилось в голую пустыню, и столица империи перенесена была дальше к северу. Итак, ни в

---

* Об этом – в другом месте.

** Книга пророка Даниила, 5, 25.

военном деле, ни в государственном устройстве этих царств нам нечему поучиться. Вавилоняне вели грубое наступление, совершали набеги и так завоевывали страны, а политический строй был жалким правлением сатрапов, как почти повсюду на Ближнем Востоке. Отсюда такая непрочность границ всех этих государств, отсюда частые бунты и возмущения, и вот почему все государство разрушалось, стоило только захватить один его город или одержать над ним одну или две победы. Правда, уже после первого падения вавилонского царства Арбак хотел утвердить правление своего рода объединенной в единый союз аристократии, но этот замысел ему не удалось осуществить, потому что вообще ни одно мидийское или арамейское племя не представляло себе иного строя, кроме деспотического. Все эти племена в прошлом были кочевыми, и на все их представления наложил отпечаток образ царя – отца семейства, шейха; такой образ не оставлял уже места для политической свободы, для власти нескольких человек – даже и тогда, когда все эти народы перестали жить отдельными племенами. Одно Солнце на небе, так и правитель на Земле должен быть один, и, действительно, царь окружен был всем величием Солнца и погружен был в сияние земного божества. Все зависело от него, милость его была источником всякого блага, он олицетворял собою государство, которое обычно и гибло вместе с ним. Гарем был его дворцом, и окружало его лишь золото и серебро, рабы и рабыни, страны были лугом его, и стада людские гнал он, куда только хотел, если не давил и не душил их. Варварский строй кочевников, но когда были у них добрые государи, то были они настоящими пастырями и отцами своего народа.

II. Мидийцы и персы

Мидийцы стали известны всемирной истории войнами, которые они вели, и роскошью жизни; открытиями или благоустроенностью государства они никогда не отличались. Это был смелый народ наездников, жил он в своей довольно суровой стране, дальше на север, и вот этот народ опрокинул ассирийское царство, пока султаны спали ленивым сном в своих гаремах, а когда образовалось новое ассирийское государство, они ушли из-под его власти. Но тут же умный Дейок установил у них строгое правление монарха, а мидийский монарх превзошел в пышности и роскоши своей жизни даже и самих персов. И, наконец, в правление великого Кира они влились в обширный поток народов, который вознес персидских монархов и превратил их в правителей мира.

Если есть на свете государь, история которого становится поэзией, то государь этот – Кир, основатель персидской империи: будем ли мы читать рассказы евреев и персов об этом любимце богов, завоевателе и законодателе, или рассказы греков – Геродота и Ксенофонта. Ксенофонт, этот прекрасный историк, – мысль написать «Киропедию»

была завещана ему его учителем, – несомненно, собирал подлинные сведения о нем во время своих походов в Азию, но тут о Кире, который давно уже умер, говорили не иначе, как в возвышенном тоне похвалы, потому что так это принято у восточных народов, когда описывают они своих царей и героев. Ксенофонт для Кира стал тем же, чем Гомер был для Ахилла или Улисса – в основу поэм Гомера тоже легли подлинные исторические рассказы. Для нас сейчас все равно, кто более правдив, Гомер или Ксенофонт; довольно того, что Кир на самом деле завоевал Азию и основал империю, простиравшуюся от Средиземного моря до Инда. Если Ксенофонт говорит правду о нравах древних персов, воспитателей Кира, то немцы могут радоваться тому, что, по всей видимости, родственны этому народу; пусть каждый немецкий государь прочитает «Киропедию»[8].

Но ты, о великий и добрый Кир, если бы голос мой мог достичь твоей могилы в Пасагардах, я вопросил бы прах твой, отчего ты стал завоевателем народов? Подумал ли ты в своем юношеском желании побед, какую пользу принесут тебе и твоим внукам все эти неисчислимые народы, все эти необозримые земли, которых заставил ты покорствовать твоему имени? Разве дух твой мог присутствовать повсюду? Разве мог он после смерти твоей воздействовать на грядущие поколения? А если нет, зачем же возложил ты это тяжкое бремя на потомков своих, зачем заставил носить сшитую из лоскутков пурпурную царскую мантию? Части распадаются и давят держащего их. Такова история Персии при наследниках Кира. Дух завоевания явил им столь высокую цель, что они хотели во что бы то ни стало расширить границы государства, даже когда совершенно невозможно было расширить их, и так без передышки опустошали, разоряли, нападали, грабили, пока честолюбие оскорбленного врага не уготовило им печальный конец. И двух столетий не продержалась империя персов, и удивительно еще, что держалась она так долго, потому что корни ее были малы, а ветви столь велики, что неизбежно должна была она рухнуть на землю.

Если человечность укрепится некогда в царстве людей, то первое, чем придется заняться, так это изгонять безумный дух завоевания из истории человечества, дух, который сам приводит себя к гибели на протяжении всего нескольких поколений. Вы гоните людей, словно стадо, вы сцепляете их вместе, словно мертвую глину, и вы не думаете о том, что живой дух живет в них и что последний, самый верхний, камень всего строения наверняка оторвется и прибьет вас насмерть. Царство народа – это одна семья, это жилье, в котором наведен добрый порядок; оно довлеет себе, оно основано природой, оно стоит и гибнет, когда приходит его черед. А насильственно согнанные в одну империю сто народов и сто двадцать провинций – это чудовище, а не государственный организм.

Таким чудовищем персидская империя была с самого начала, но после смерти Кира это стало еще очевидней. Столь непохожий на отца сын жаждал все новых и новых завоеваний, словно безумный, ринулся он на Египет и Эфиопию, так что с трудом голод пустынь изгнал его из этих мест. Что было пользы от таких походов ему и его царству? Что принес он завоеванным землям? Он разорил Египет, он разрушил самые великолепные фиванские памятники и храмы, – бессмысленное разорение! На смену поколениям убитых пришли новые роды, но разрушенные творения не возместить ничем. И теперь еще лежат они в развалинах, неразысканные и непонятые; странник проклинает опьяненного безумца, похитившего у нас сокровища Древнего мира, отнявшего их у нас без причины и без цели.

Но едва наказан был Камбиз собственной яростью, как Дарий, куда более мудрый, начал с того, чем кончил он. Он пошел войной на скифов и индийцев, он ограбил фракийцев и македонцев и не добыл ничего, а просто посеял в Македонии ту искру, которой суждено было разгореться пламенем над головой последнего персидского царя из этого рода. Неудачным был поход на Грецию, и еще большим неудачником был наследник Дария Ксеркс; а если читать списки народов и кораблей, которые обязан был поставлять весь персидский мир, чтобы обезумевший завоеватель мог совершать свои деспотические походы, если поразмыслить над тем, какая резня учинялась всякий раз, когда возмущались против монарха народы на Евфрате, Ниле, Инде, Араксе, Галисе, как заливались кровавыми потоками страны только ради того, чтобы все присвоенное персами и впредь принадлежало им, – то не женскими слезами, что проливал Ксеркс при виде невинных жертв сражений, а кровавыми слезами негодования заплачем мы оттого, что такое отвратительное, противное народам царство носит имя Кира на своем челе. Опустошавший мир перс – заложил ли он такие царства, построил ли такие города и здания, как те, которые разрушал или желал разрушить, – Вавилон, Фивы, Сидон, Грецию, Афины? Мог ли он основать их?

Закон судьбы жесток, но благодатен: всякое зло, а потому и всякая чрезмерная власть должны пожрать сами себя. Падение Персии началось со смерти Кира, и, хотя внешне империя еще сохраняла прежний блеск, особенно благодаря принятым Дарием мерам, – изнутри ее подтачивал червь, который подтачивает вообще все деспотические государства. Власть свою Кир разделил между наместниками, и его авторитета было еще достаточно, чтобы держать их в узде, поскольку Кир установил быструю связь между провинциями и неусыпно следил за порядком. Дарий еще точнее разделил империю и распределил свой придворный штат, и сам предстоял всему как правитель, справедливый и деятельный. Но вскоре могущественные цари, рожденные занять деспотический трон Персии, сделались сластолюбивыми тиранами. Ксеркс во время своего позорного бегства из Греции, в пору, когда ему пристало думать совсем о другом, уже в Сардах предавался постыдной любви. Большинство его

преемников шло тем же путем, и бунты, подкупы, предательства, убийства, безуспешные начинания – вот и все замечательное, что несет с собой позднейшая история Персии. Дух благородных подвергся порче, а вместе с ними поддались порче неблагородные, и, наконец, ни один государь не был уже спокоен за свою жизнь, трон колебался и при добрых правителях, и вот пришел в Азию Александр, одержал несколько побед и принес ужасный конец шаткой империи персов. К несчастью, такая судьба выпала на долю царя[9], который заслуживал лучшей участи, безвинно искупил он прегрешения своих предков и был убит, будучи низменно предан. И вот урок персидской истории, написанный крупными буквами: необузданность губит сама себя, безграничная власть, не признающая над собою закона, – самая ужасная слабость, мягкое правление сатрапов – неизлечимый яд для народа и для царей; об этом никакая история не говорит так ясно, как история персидская.

А потому персидская империя и не оказала благотворного влияния ни на одну нацию, ибо она разрушала, но не строила, она заставляла платить позорную дань – на пояс царицы, на волосы ее и на ожерелья, но не соединяла провинции более совершенным законодательством и установлением. Теперь весь блеск, вся божественная роскошь и весь страх божий этих монархов – дела далекого прошлого, сатрапы и фавориты стали тленом, как и сами цари, а награбленные ими таланты тоже зарыты где-нибудь в землю. И сама история стала мифом, причем миф восточных народов и миф, рассказанный нам греками, почти ни в чем не согласны между собой. И древние языки Персии вымерли, и необъяснимыми поныне загадками стоят развалины Персеполиса с их красивыми начертаниями и ужасными изображениями. Судьба отомстила султанам: словно тлетворный самум снес их с лица земли, а если кто-то помнит еще о них, как помнят греки, то память эта – позор, это – почва, на которой поднимется иное, славное, прекрасное величие.

* * *

Единственное, что остается у нас от памятников персидского духа, – это книги Зороастра*, но подлинность их еще предстоит доказать. Однако книги эти находятся в таком противоречии с другими известиями о религии персов, так много в них признаков, позволяющих говорить о смешении персидской веры с более поздними взглядами брахманов и христиан, что подлинным можно счесть лишь самый фундамент этого учения и только основу его можно, но тогда уже без всякого труда, связать с определенным временем и местом его возникновения. Дело в том, что древние персы, как и все варварские и особенно горные народы, почитали живые стихии мира, а поскольку персы не остановились

* Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre. P. Anquetil du Perron. Paris, 1771.

на своем первоначальном варварстве, но благодаря победам достигли, можно сказать, самой вершины богатства и роскоши, то, по азиатскому обыкновению, они должны были усвоить более продуманную систему, или ритуал, своей веры, и такую систему дал им Зороастр, или Зердушт, при поддержке царя Дария Гистаспа. Очевидно, в основу этой системы был положен персидский церемониал: как семь князей окружают трон царя, так и семь духов стоят перед богом и исполняют его повеления во всех концах света. Ормузд, благой дух огня, непрерывно борется с духом мрака Ахриманом, и в этой борьбе помогает ему все доброе, при этом ярко выступает само понятие государства, отчасти и благодаря тому, что враги персов постоянно персонифицируются в «Зенд-Авесте» в облике злых духов, слуг Ахримана. И нравственные заповеди религии носят всецело государственный характер, они касаются чистоты души и тела, согласия в семейной жизни, они рекомендуют возделывать землю и выращивать плодовые растения, уничтожать насекомых, это воинство злых демонов в телесном облике, люди должны стремиться к благополучию, рано жениться, рождать и воспитывать детей, почитать царя и слуг его, любить государство – все по-персидски. Короче, самая основа системы вырисовывается как политическая религия, которую и могли придумать и ввести лишь в империи персов и лишь во времена Дария. В основе не могли не лежать древние народные представления и верования, включая суеверия и предрассудки. К числу таких относится культ огня, древний культ, распространенный тогда близ нефтяных источников Каспийского моря, хотя сооружение храмов огня по указаниям Зороастра происходило во многих местах и в более позднее время. К числу таких же предрассудков относится и непереносимый страх перед демонами, лежащий в основе всех молитв, просьб и священных формул парсов, произносимых почти по всякому конкретному поводу. Это показывает нам, что в те далекие времена народ стоял еще на очень низкой ступени духовного развития, и именно в угоду народу и была придумана эта религия, и это вновь отнюдь не противоречит нашим представлениям о древних персах. И, наконец, небольшая часть системы, касающаяся всеобщих понятий о природе, целиком и полностью почерпнута из учения магов, только очищенного и облагороженного. Эта часть системы подчиняет бесконечно высокому существу, называемому тут беспредельным временем, оба начала творения, свет и мрак; зло и здесь побеждается добром, и, наконец, зло исчезает, и все завершается утверждением блаженного царства света. С этой стороны государственная религия Зороастра – своего рода философская теодицея, какая возможна была в те времена в связи с господствовавшими тогда понятиями и представлениями.

Такое происхождение религии объясняет нам причину, почему она не достигла прочности и твердости брахманских и ламаистских установлений. Деспотия была учреждена задолго до появления этой

религии парсов, а потому она могла стать только чем-то вроде монашеской религии, приспособившей свое учение к форме существующих государственных учреждений. И хотя Дарий подавлял магов, целое сословие персов, и, напротив, охотно вводил новую религию, которая, казалось бы, только налагала на царя узы духовного принуждения, эта религия, тем не менее, не могла стать чем-то большим, нежели секта, если даже и господствовала она в течение целого столетия. Итак, культ огня широко распространился: влево – за Мидию вплоть до Каппадокии, где еще во времена Страбона стояли капища огня, а вправо – до Инда. Но поскольку персидская империя, расшатанная изнутри, совсем пала, в то время как Александр одерживал одну победу за другой, то пришел конец и государственной религии. И уже не служили царю семь амшаспандов, и на персидском троне уже не восседало некое подобие Ормузда. Так вера эта отжила свой век и превратилась в тень – вроде иудейской религии за пределами самой Иудеи. Греки ее терпели, магометане преследовали с несказанной жестокостью, и жалкие остатки верующих скрылись в укромном уголке Индии, где, словно осколки доисторического мира, беспричинно и бесцельно, хранят они свою – предназначавшуюся только для персидской империи – веру и суеверие, не замечая, по-видимому, и того, что вера их обогатилась воззрениями тех народов, к которым забросила их судьба. Такого рода расширение религии отвечает существу дела и природе времен, ибо оторванная от своей первоначальной почвы, от своего круга религия не может не воспринимать живых влияний мира, в котором она живет. Вообще же горстка парсов в Индии – народ спокойный, согласный, прилежный; эта религиозная община оставит далеко позади не одну религию. Парсы усердно помогают бедным, а людей злонравных и неисправимых изгоняют из своего общества*.

III. Евреи

Если сразу после персов рассматривать евреев, то они покажутся народцем малозначительным, страна тесная, роль народа на мировой арене –жалкая; завоевателями евреи почти никогда не были. Меж тем, волею судеб, по целому ряду вполне понятных причин, народ этот оказал на другие нации воздействие куда более сильное, чем любой азиатский народ; в известном смысле евреи послужили основой для просвещения целого мира – и через посредство христианства, и через посредство магометанства.

Исключительная черта евреев – у них есть летописи событий, относящиеся к такому времени, когда большинство просвещенных наций наших дней еще не умело писать, и они осмеливаются даже доводить

* «Путешествие» Нибура. С. 48 сл.

свою хронику до самого начала мира. Еще одно большое преимущество есть у этих древних записей – они основаны не на иероглифическом письме и не затуманены такими знаками, а почерпнуты из генеалогических списков и слиты с историческими сказаниями и песнями, так что простота их формы увеличивает их историческую ценность. Наконец, некая замечательная весомость присуща этим рассказам еще и оттого, что они в течение целых тысячелетий, словно некое дарованное Богом слово, с суеверной добросовестностью сохранялись еврейской нацией и благодаря христианству оказались в руках у народов, которые не по-иудейски, а свободно стали изучать, исследовать, объяснять и с пользой читать эти древние сочинения. Конечно, очень странно, что сообщения других наций о еврейском народе, а прежде всего свидетельства египтянина Манефона[10], столь категорически расходятся с собственными историческими рассказами евреев; однако если непредвзято смотреть на их историю и уметь объяснить себе весь дух этого повествования, то оно, несомненно, заслуживает большего доверия, чем клеветнические измышления враждебно настроенных чужестранцев. Вот почему я не стыжусь брать за основу историю евреев именно в том виде, в каком она рассказана ими самими, но при этом я все же хотел бы, чтобы и к словам их недругов относились не просто с презрением, но и пользовались ими должным образом.

Итак, согласно наиболее древним сказаниям еврейского народа, родоначальник племени, шейх кочевников[11], перешел Евфрат и в конце концов переселился в Палестину. Здесь ему понравилось, ничто не мешало вести привычный образ жизни предков-пастухов и служить богу отцов согласно обычаям племени. Потомки этого шейха благодаря неслыханному счастью, которого один человек из их рода[12] удостоился в Египте, переселились, в третьем поколении, в эту страну, и здесь, не смешиваясь с местным населением, продолжали вести образ жизни пастухов, пока, наконец, будущий их законодатель[13] (неведомо уже, в каком поколении) не спас их от того презрения и угнетения, которому подвергались они в Египте уже просто как скотоводы, и пока все они не спаслись бегством в Аравию. Здесь и исполнил свой труд муж великий, самый великий, какой был у этого народа, и даровал народу закон, основанный, правда, на религии и жизненном укладе племени, но весь пронизанный государственной мудростью Египта, так что, с одной стороны, племя кочевников должно было подняться до уровня культурной нации, а с другой стороны, еврейский народ должен был быть всецело отвлечен от Египта, чтобы никогда впредь не почувствовал он искушения вступить на «черную землю» этой страны. Удивительно продуманы все законы Моисея, все охватывают они – и самое великое, и самое малое, ибо цель их – овладеть духом нации совершенно во всем, во всех жизненных обстоятельствах, цель их – стать законом вечным; об этом не раз говорит сам Моисей. И это столь продуманное законо-

дательство не было творением одного мгновения; сам законодатель, смотря по обстоятельствам, делал добавления и еще незадолго перед своей кончиной велел всему народу присягнуть на верность будущему закону страны. В течение сорока лет он строго настаивал на соблюдении всех заповедей, и, может быть, именно потому так долго вынужден был оставаться народ в Аравийской пустыне, чтобы после того, как вымрет первое, самое упрямое и закоснелое поколение, новый, воспитанный в иных обычаях народ мог поселиться на земле своих отцов, во всем послушный закону Моисея. Увы! Желание этого патриотически настроенного мужа не было исполнено! Престарелый Моисей умер близ границ земли, какую искал[14], а когда преемник его вступил на эту землю[15], то недоставало ему ни авторитета, ни решимости, чтобы во всем следовать замыслу законодателя. Завоевано было меньше земель, чем следовало завоевать: завоеванное разделили и слишком рано почили от дел. Самые сильные колена забрали себе самый большой удел, так что для более слабых собратий едва нашлось место, и одно колено[16] даже пришлось переделить между другими*. Кроме того, много мелких народностей оставалось в самой стране, и, таким образом, Израиль сохранил на своей земле заклятых своих врагов, а изнутри и извне страна лишена была твердости и закругленности, которую могли придать ему лишь те границы, что намечались первоначально. Что же могло воспоследовать из такого несовершенного воплощения замысла, если не беспокойные времена, не дававшие передышки поселившемуся на этих землях народу? Полководцев творила у евреев нужда, и если они одерживали победы, то только совершая набеги, и когда у народа появились, наконец, цари, то у них было так много забот с их разделенной на колена страной, что третий из них[19] волею судеб оказался и последним царем всей страны, части которой никак не были связаны друг с другом. Пять шестых страны отпали от его преемника, – а что могло статься с двумя настолько слабыми царствами, которые, находясь в окружении могучих противников, беспрестанно враждовали между собой? У Израиля не было, по сути дела, никакой законной конституции, и он потому бегал за чужеземными богами, что не желал воссоединиться с соперничающим государством[20], почитавшим прежнего, законного бога. И вполне естественно после этого, что цари израильские, как говорил народ, не знали страха божия, потому что в противном случае весь их народ отправился бы в Иерусалим и отложившемуся правлению пришел бы конец. Так, подражая чуждым нравам и обычаям, теряли голову, а меж тем пришел царь ассирийский и ограбил маленькое царство, словно птичье гнездо. Другое царство, а в нем, по крайней мере, сохранился прежний строй утвержденного

* Сыны Дана получили землю в левом верхнем углу страны[17]. См. «Дух еврейской поэзии». Т. II[18].

двумя полновластными царями государства с укрепленной столицей, держалось чуть дольше, но тоже только до тех пор, пока его не пожелал присоединить к своим владениям более могущественный завоеватель. Явился разоритель еврейской страны Навуходоносор[21] и сначала наложил дань на царей, а когда те отпали, то обратил в рабство последнего из царей, опустошил всю страну, стер ее столицу с лица земли; вся Иудея была уведена в позорный вавилонский плен, как Израиль в Мидию. Итак, если смотреть на еврейское государство, то не может быть ничего более жалкого, чем историческая роль этого народа, за исключением только периода правления в Иудее двух царей.

Но в чем же причина такой слабости государства? Мне кажется, ее проясняет сама последовательность нашего изложения: ни одна страна не могла бы процветать в этих местах при такой дурной внутренней и внешней организации. Пусть Давид совершал свои набеги по всей пустыне вплоть до Евфрата, возбуждая этим гнев более сильной державы против своих преемников, – разве эти набеги могли придать недостающую твердость его стране, тем более что столица всего государства располагалась на южной оконечности его? Сын Давида понавез в страну чужеземных жен, ввел тут торговлю и роскошь, и это в страну, которая, подобно Швейцарской конфедерации, способна была прокормить лишь пастухов и земледельцев, да и вынуждена была кормить предельное их число. Кроме того, он торговал не сам, а торговали покоренные им эдомиты, а потому роскошь наносила лишь ущерб его царству. Вообще после Моисея у этого народа не было второго законодателя, который вернул бы это расстроенное с самого начала государство к сообразному с обстоятельствами основному строю и закону. Ученое сословие вскоре стало терпеть упадок, у сторонников закона был голос, но не было сил, цари по большей части были сластолюбцами или ставленниками жрецов. Итак, беспрестанно выступали друг против друга – утонченная номократия, в которой видел весь смысл Моисей, и своего рода теократическая монархия, столь противоположная идеалу Моисея, в том ее виде, в каком существовала она у большинства народов, населявших эту богатую деспотическими державами область земли; вот почему получилось так, что закон Моисея стал для его народа законом рабства, тогда как по замыслу он должен был стать законом политической свободы.

С течением времени ситуация изменилась, но не к лучшему. Когда Кир освободил небольшое число иудеев и они вернулись на родину из вавилонского пленения[22] , то они познакомились уже с различными государственными устройствами, но только не узнали ни одного подлинно гражданского; да и как можно было узнать что-то подобное в Ассирии и Халдее? Они колебались в вопросе о том, кому должна принадлежать верховная власть, – то ли царям, то ли жрецам, они строили храм, как будто с постройкой его возвращались времена Моисея

и Соломона; религиозность стала теперь фарисейством, ученость – глубокомысленным начетничеством, бесконечным пережевыванием одной-единственной книги, любовь к отечеству стала рабской приверженностью к древнему, дурно понятому закону, – и в глазах соседних наций евреи стали презренным и смешным народом. Единственное утешение их, единственная надежда их – это были древние пророчества, тоже неверно истолкованные, пророчества будто бы обещали им в будущем безраздельное мировое господство! Так жили и страдали они веками – под властью греко-сирийских правителей, под властью идумеев и римлян, пока, наконец, вследствие несказанного ожесточения, едва ли сравнимого с чем-либо во всей истории, не погибли и вся страна и вся столица[23], погибли так, что это причинило боль даже человеколюбивому победителю иудеев[24]. А тогда евреи рассеялись по всем странам Римской империи, и вот тогда-то и началось воздействие иудеев на весь человеческий род, воздействие, которое едва ли могло бы исходить из их собственной страны, ибо на всем протяжении истории они не отличались ни мудростью в делах государства, ни ученостью в военном искусстве, менее же всего отличались открытиями в науках и искусствах. Вот в чем тут было дело: незадолго до гибели иудейского государства в его лоне возникло христианство, поначалу отнюдь не отделявшееся от иудейской религии, а потому перенявшее священные книги иудеев; христианство по преимуществу и обосновывало этими книгами, что мессия ниспослан Богом. Благодаря христианству иудейские книги оказались в руках у всех, у всех народов, исповедующих христианскую веру, а тем самым книги эти, в зависимости от того, как понимали их и как ими пользовались, производили свое доброе или дурное действие во все христианские века. Действие было добрым, ибо основой всей философии и религии, согласно закону Моисея, было учение о едином Боге, творце мира, а о Боге эти сочинения с их песнопениями и наставлениями говорили достойно и возвышенно, покорно и благодарно, так что мало что из сочиненного людьми может приблизиться к ним. Достаточно сравнить эти книги не только с китайским «Шу-цзином», не только с персидским Саддером и «Зенд-Авестой», но и даже с гораздо более поздним Кораном магометан, уже использующим учения иудеев и христиан, чтобы убедиться в безусловном превосходстве еврейских сочинений перед всеми древними религиозными книгами народов. Кроме того, люди с присущей им любознательностью с удовольствием узнавали из этих книг доступные всякому ответы на вопрос о древности мира, о его сотворении, о происхождении зла и т.д., не говоря уж о поучительности излагаемой тут истории народа и о чистой морали, содержащейся во многих книгах всего этого собрания. Каково бы ни было летосчисление иудеев, оно давало общепризнанную, всеобщую меру, нить, на которую можно было нанизать все события всемирной истории. При этом мы не говорим

еще о множестве других преимуществ, которые давали эти книги, – усердно изучался язык, совершенствовались искусство толкования и диалектика: все это можно, конечно, упражнять и на других книгах. Но все это – неоспоримое благотворное влияние еврейских книг в истории человечества.

Но при всех этих преимуществах, которые давали они, столь же ясно и другое: ложное их толкование, злоупотребление такими сочинениями причинили человеческому рассудку большой ущерб, тем более что у этих книг был авторитет божественного писания. Как много нелепых космогонических доктрин извлекалось из возвышенного и простого рассказа Моисея о сотворении мира, как много жестоких учений и неудовлетворительных гипотез – из рассказа о яблоке и змие! В течение долгих столетий сорок дней потопа служили тем непременным крючком, к которому естествоиспытатели прицепляли все феномены строения земли, и в течение столь же долгого времени все историки рода человеческого все населяющие Землю народы обязательно привязывали к одному богоизбранному народу, к ложно понятому видению пророка о четырех монархиях[25]. Сколько исторических событий было искажено, извращено, только чтобы согласовать их с каким-нибудь еврейским словом, и все было обужено – и строение человека, и строение Земли, и даже строение самого мироздания, только чтобы «спасти» остановившееся на небе солнце Иисуса Навина[26] и указанный возраст мира[27], точное определение которого, конечно же, не могло быть целью этих сочинений. Сколько времени отняли иудейская хронология и иудейские откровения даже у такого человека, как Ньютон, тогда как время это можно было бы затратить на куда более важные изыскания! И даже если говорить о нравственном учении, о политическом укладе, то по вине ложного понимания и дурного употребления писание евреев положило самые настоящие узы на дух народов, признававших его. Не различая времен и ступеней культуры, люди начинали думать, что нетерпимость иудейской религии – это образец и для христиан; при этом опирались на разные ветхозаветные изречения, чтобы оправдать свою неразумную затею, превращавшую чисто моральную христианскую религию, которую ведь всякий выбирает по доброй воле, в подобие государственной религии иудеев. Нельзя отрицать и того, что обряды богослужения и даже церковный язык евреев повлияли на духовное красноречие, на песнопения и литании христианских народов, так что культ их стал чем-то вроде восточного диалекта. Считалось, что законы Моисея будто бы должны сохранять свою значимость в любых широтах, и даже при совершенно ином жизненном укладе народа; вот почему получилось так, что ни одна христианская нация не выработала от начала до конца собственного законодательства и государственного строя. Самое лучшее, что только может быть, ведет ко всевозможному злу, будучи ложно понятым; разве не бывает действие священных сти-

хий природы разрушительным и разве не становятся самые целебные лекарства медленно убивающим ядом?

Рассеявшись по свету, иудейская нация делалась для народов земли полезной или вредной в зависимости от того, как умели обращаться с нею. Первое время в каждом христианине видели иудея и презирали и угнетали вместе – и того и другого, потому что и на деле христиане навлекли на себя немало упреков в чисто иудейской ненависти к другим народам, в гордыне и суеверии. Позже, когда сами христиане стали угнетать иудеев, они дали последним повод овладеть благодаря своей предприимчивости и широким связям почти всей внутренней торговлей, а особенно денежным обменом, в результате чего менее культурные европейские нации стали добровольными рабами ростовщиков. Правда, векселя придуманы не евреями, но они быстро усовершенствовали вексельное дело, потому что именно рискованность положения евреев в магометанских и христианских странах требовала тут от них большой изобретательности. Итак, широко раскинувшаяся во все концы республика умных ростовщиков в течение долгого времени удерживала многие европейские народы от собственной торговли, мешая им проявлять инициативу и воспользоваться ее плодами, потому что все народы свысока смотрели на иудейское занятие и не собирались учиться такому разумному и тонкому делу у низких прислужников священного римского мира, точно так же, как спартанцы не желали учиться возделывать землю у своих илотов. Если бы кто-нибудь собрал историю иудеев в разных странах, куда разметала их судьба, то получился бы превосходный и показательный образ человечества, одинаково замечательный и как феномен природы, и как политическое событие. Ибо ни один народ не распространился по всей Земле так, как этот; ни один народ не сохранил свои отличительные черты и бодрость духа во всевозможных климатах Земли, как этот.

Только не следует делать отсюда суеверный вывод о том, что этому народу предстоит некогда совершить всеобщий переворот вещей ради всех народов мира! Если какому-то перевороту и надлежало совершиться, так уж он, наверное, совершился, а что касается какого-то другого, то ни в самом этом народе, ни в исторических аналогиях нет к этому ни малейших данных и задатков. Что иудеи во всех странах остались иудеями, вполне естественно, ведь сохранились же до наших дней брахманы, парсы и цыгане.

Но, конечно, никто не станет отрицать больших способностей народа, который стал столь действенной пружиной в руках судьбы; способности такие явственно выступают во всей его истории. Народ находчивый, лукавый и энергичный, он и в условиях самого тяжкого угнетения всегда умел сохраниться, – ведь и в Аравийской пустыне он провел больше сорока лет. Не было у иудеев недостатка и в храбрости, как показывают времена Давида, Маккавеев и прежде всего

сама ужасающая гибель иудейского государства. Некогда иудеи были в своей стране народом трудолюбивым, прилежным; словно японцы, они устраивали искусственные террасы от подножия до самых вершин своих гор, а, теснясь в своей стране, по плодородию далеко не первой в мире, они умели прокормить невероятное количество людей. Правда, в ремеслах и искусствах иудейское племя до самой последней поры не приобрело никакого умения, хотя и жили иудеи между египтянами и финикийцами, – даже храм Соломонов они строили чужими руками. Они также владели одно время гаванями Красного моря и жили вблизи от берегов Средиземноморья, в самом благоприятном для торговли месте, занимая самое выгодное географическое положение, и тем не менее они не стали мореплавателями, хотя перенаселенность и была тяжким бременем для их страны. Подобно египтянам, они боялись моря и с незапамятных времен предпочитали жить среди других народов – черта национального характера, с которой вел решительную борьбу уже Моисей. Короче говоря, народ этот был испорчен воспитанием и не дорос до полной зрелости политической культуры на собственной почве, а потому и не обрел истинного чувства чести и свободы. И в науках, которыми занимались лучшие умы, всегда проявлялась не столько плодотворная свобода духа, сколько приверженность к закону и порядку, а доблести патриотов были еще в давние времена отняты у них самим положением народа. Итак, народ, избранный Богом, народ, которому само небо даровало некогда его отечество, этот народ тысячелетиями и, можно даже сказать, почти с самого своего возникновения ведет жизнь растения, паразитирующего на стволах других наций, – порода лукавых перекупщиков, разбросанная по всему свету, порода людей, несмотря на все угнетение никогда не алкавших чести, не мечтавших о собственной крыше над головой, не тосковавших по родине.

IV. Финикия и Карфаген

Совсем иные заслуги – у финикийцев. Ими изобретено стекло – один из самых замечательных инструментов в руках людей, и история рассказывает нам, как это изобретение, совершенно случайно, было сделано на реке Бел. Финикийцы жили на берегу моря и с незапамятных времен плавали по морям, и уже флот царицы Семирамиды строили финикийцы. От лодок они постепенно перешли к строительству больших, длинных судов; ориентируясь по звездам, главным образом по созвездию Большой Медведицы, они научились плавать под парусами и, отражая нападения пиратов, научились воевать на море. Они плавали по всему Средиземному морю, заплывали за Гибралтар, доплывали до Британии, а из Красного моря не раз плавали и вокруг Африки. И это не были походы завоевателей – это были путешествия купцов и

колонистов. Их корабли, их язык, их тонкий товар – все связывало страны, разделенные морями, и они были находчивы и придумывали все, что шло на пользу таким сношениям между странами. Они умели считать, научились ковать, вырабатывали тонкую сидонскую ткань, из Британии везли олово и свинец, из Испании – серебро, из Пруссии – янтарь, из Африки – золото; все это они обменивали на азиатские товары. Итак, все Средиземноморье принадлежало им, побережья были усеяны их поселениями, а Тартесс в Испании[28] был знаменитым перевалочным пунктом в торговле между тремя странами света. Много или мало знаний передали финикийцы европейцам, одни дарованные ими буквы, которым научились у них греки, уже стоили всех остальных подарков.

Как же обрел этот народ свое столь полезное и прилежное ремесло? Быть может, это счастливое племя людей самой природой было наделено всеми душевными и телесными силами? Ничего подобного. Судя по всем рассказам о финикийцах, это был поначалу всеми презираемый, отовсюду гонимый народ, живший, наверное, в пещерах, – что-то вроде троглодитов или цыган здешней местности. Первоначально мы встречаем их на берегах Красного моря, в этих пустынных местах они, видимо, питаются самой дурной пищей; ведь и переселившись к Средиземному морю, они еще долго сохраняли и свои бесчеловечные нравы, и ужасную религию, и даже жилища свои устраивали в скалах Ханаана. Описание древних обитателей Ханаана всем известно, а что оно не преувеличено, о том говорит не только описание аравийских троглодитов у Иова*, но и остатки варварского культа, идолопоклонства, которое долгое время сохранялось еще и в Карфагене. Да и нравы финикиян-мореплавателей никто не похвалит; они были разбойники, вороватые, сластолюбивые, неверные, так что «пуническая верность» вошла даже в поговорку, стала позорным клеймом.

Нужда и обстоятельства – такие пружины, которые способны сделать с человеком совершенно все. В пустынях на побережье Красного моря, где финикийцы питались рыбой, голод познакомил их с водной стихией; придя к берегам Средиземного моря, они осмеливались заплывать уже и подальше в открытое море. Кто научил плавать голландцев, кто воспитал мореплавателей? Нужда, географическое положение, случай**. Все семитские народности, полагая, что эта область Азии отдана им одним, люто ненавидели и презирали финикийцев. Народностям хамитским, чужакам и пришельцам, не оставалось ничего, кроме скудных берегов и самого моря. А если выяснилось, что Средиземное море так богато островами и гаванями, что незаметно,

---

* Кн. Иова, 30, 3–8[29].

** Эйххорн то же самое доказал и о герреях («История торговли с Ост-Индией». С. 15, 16). Вообще бедность и напасти – вот причина, почему начали торговать большинство купеческих народов, в том числе венецианцы и малайцы.

от страны к стране, от берега к берегу, финикийцы могли постепенно доплыть и до Геркулесовых столпов и заплыть за них, если среди некультурных народов Европы они могли, торгуя, собрать столь богатую жатву, – так это было просто реальным положением дел, счастливой ситуацией, словно созданной для них самой природой. Когда, в изначальной древности, между Пиренеями и Альпами, Апеннинами и Атласом мощно изогнулась чаша Средиземного моря и поднялись вверх мысы и острова, чтобы служить пристанищем кораблей и народов, тогда уже предначертаны были вечной судьбой пути европейской культуры. Ибо если бы три части света были непосредственно соединены, то Европа никогда не достигла бы своего уровня культурного развития, осталась бы на положении Татарии или внутренней Африки, или же Европа развивалась бы медленнее и совсем иными путями. И только Средиземноморье подарило нашей Земле Финикию и Грецию, Этрурию и Рим, Испанию и Карфаген, а благодаря четырем первым возникла и вся европейская культура.

Столь же удачным было положение Финикии и на суше. Вся прекрасная Азия лежала у нее за спиной, с ее товарами и ремеслами, со своей давно уже развитой торговлей. Итак, финикияне не просто воспользовались чужим прилежанием, но воспользовались и долгими усилиями природы, щедро одарившей эту сторону света, и великими трудами истории. Буквы, привезенные ими в Европу, были названы тут финикийскими, хотя, возможно, придумали их не сами финикийцы. И прежде жителей Сидона ткачеством уже занимались, по-видимому, египтяне, вавилоняне, индусы, поскольку и в Старом и в Новом Свете есть такой обычай – называть товар не по тому месту, где его изготовляют, а по тому, где его продают. Какой была архитектура Финикии, о том можно судить по храму Соломонову, который, верно, нельзя сравнить ни с одним египетским, потому что какие-то жалкие две статуи[30] считались в нем невесть каким чудом. Единственный памятник строительного искусства финикиян, который дошел до нас, – это как раз те самые огромные пещеры, вырытые ими в скалах Финикии и Ханаана, вполне характерные для вкуса этих троглодитов и свидетельствующие об их происхождении. Этот народ египетской породы, должно быть, радовался тому, что и в этой новой стороне нашлись горы, в которых можно устроить и жилища и могилы, и склады и храмы. Пещеры стоят до сих пор, но убранство их исчезло. Нет больше ни архивов, ни книгохранилищ, устроенных финикиянами в культурную эпоху их развития; погибли и греческие сочинения с описанием их истории.

Если же сравнить эти трудолюбивые, цветущие торговые города с захватническими государствами Тигра, Евфрата и Кавказа, то никто не затруднится с выбором, кому отдать преимущество в истории человечества. Завоеватель захватывает земли сам для себя; народ купцов служит себе и другим. Благодаря ему товары, знания, труд становятся

общим достоянием целой части земного шара, и от этого невольно выигрывает дух гуманности. И ни один завоеватель не нарушает так поступательного движения истории, как тот, что разрушает цветущие торговые города, ибо гибель их влечет за собой упадок ремесла и прилежания в целых странах и областях земли, если только место разрушенного города не занимает другой, расположенный по соседству. Финикийское побережье расположено столь благоприятно, что сама природа сделала его совершенно необходимым для торговли, какую вела Азия. Когда Навуходоносор осаждал Сидон, поднял голову Тир, а когда Александр разрушил Тир, расцвела Александрия, но никогда не бывало так, чтобы торговля совсем ушла из этих мест. И Карфаген тоже воспользовался тем, что древний богатый Тир был разрушен, хотя теперь уже расцвет Карфагена не имел столь выгодных последствий для Европы, как былые торговые сношения финикийцев, – потому что время уже прошло. Вообще говоря, внутренний строй Финикии можно рассматривать как один из первых шагов от азиатской монархии в сторону своего рода республики, то есть именно к тому самому, в чем испытывает такую потребность торговля. Деспотическая власть царей была ослаблена в финикийском государстве, а стремления к завоеванию чужих земель не чувствовалось здесь никогда. В Тире некоторое время уже правили суффеты, и эта форма правления приобрела более прочные очертания в Карфагене; итак, получается, что оба эти государства были первыми во всей всемирной истории примерами торговых республик, а их заморские поселения – первым примером такого покорения народов, от которого была польза, в отличие от завоеваний Навуходоносора или Камбиза. Огромный шаг в развитии человеческой культуры! Испокон веков торговля способствовала процветанию ремесел; море полагало пределы завоеваниям и укрощало дух завоевателей, из разбойников и поработителей мало-помалу выходили кроткие миротворцы. И сношения между людьми, впервые основанные на более справедливой основе, устанавливались тогда, когда народы взаимно удовлетворяли свои жизненные потребности, да и власть чужестранцев на далеких побережьях была, конечно, весьма слабой. Какой стыд эти финикийцы для безумных европейцев! Ведь европейцы – сколько веков спустя! – открыли обе Индии, будучи снаряжены всеми орудиями своего искусства. И что же делают европейцы? Они обращают народы в рабство, проповедуют крест, режут и убивают, а финикийцы и не завоевывали вовсе! Они строили, они основывали поселения, пробуждали в народах трудолюбие, а после того, как финикийцы не раз надували их, местные народы узнавали истинную ценность своих сокровищ и учились пользоваться ими. И будет ли так, что целая часть света поблагодарит когда-нибудь Европу, изобилующую всеми искусствами, за то, за что благодарна Европа гораздо менее развитой Финикии?

* * *

Карфаген и отдаленно не оказал того же благотворного влияния на европейские народы, что Финикия, и причиной были, очевидно, наступившие новые времена, иное географическое положение и изменившиеся обстоятельства. Будучи колонией Тира, Карфаген сам не без труда пустил корни в более далекой Африке, а поскольку первоначально пришлось завоевать для себя более обширное жизненное пространство на побережье моря, то постепенно тут привился вкус к завоеваниям. Благодаря этому облик Карфагена был, правда, более блестящим, чем у того государства, от которого он отделился: в Карфагене было больше роскоши и утонченности, но только от этого не легче было ни роду человеческому, ни самой республике. Вот в чем суть дела: Карфаген был городом, а не народом; поэтому и не было, собственно, той страны, которой он мог бы привить народную культуру и любовь к отечеству. Вся область, завоеванная Карфагеном в Африке, насчитывала к началу Третьей Пунической войны триста городов (так пишет Страбон), и жили здесь подданные, которыми завоеватель их управлял, как господин слугами, – это не были настоящие союзники государства-гегемона. К тому же малокультурные африканцы и не собирались вступать в союз с Карфагеном, и даже во время войн Рима с Карфагеном они показали себя строптивыми рабами или корыстными наемниками. Поэтому в глубины Африки из Карфагена не проникла никакая по-настоящему человеческая культура, поскольку государству и не было никакого дела до этой культуры африканцев, и всего несколько семейств, запершись в стенах Карфагена, властвовали над всею территорией, заботясь не о распространении духа гуманности, а о накоплении богатств. Грубое суеверие, что царило в Карфагене вплоть до самых последних его времен, жестокие казни, которым подвергались тут неудачливые полководцы, даже если они были неповинны в поражениях, все поведение этого народа в чужих странах показывают, насколько суровым и алчным было это аристократическое государство, которому нужна была только нажива и рабы-африканцы.

Географическое положение и внутренний строй Карфагена превосходно объясняют нам всю эту жестокость. Вместо торговых поселений финикиян, казавшихся карфагенянам владением непрочным, они возводили крепости, и, находясь в более сложном и опасном географическом положении, они тщились закрепить за собой господство над всем побережьем, так, как будто Африка нигде и не кончалась. А поскольку завоевания они совершали руками покоренных ими варваров и наемных солдат, а при этом обычно сталкивались с такими народами, которые не желали, чтобы с ними обходились как с варварами, то от подобного конфликта проистекало одно кровопролитие и ожесточенная вражда. Карфагеняне часто и в первое время весьма несправедливо

угрожали прекрасной Сицилии и прежде всего Сиракузам, причем и напали они на Сиракузы только потому, что заключили союз с Ксерксом[31]. Против греческого народа они выступили как приспешники варваров и показали себя вполне достойными такой роли. Карфагеняне разорили Селин, Гимеру, Агригент, разрушили Сагунт в Испании, немало богатых провинций Италии, а в прекрасной Сицилии было пролито море крови, столько не стоила и вся властолюбивая торговля карфагенян. Как ни восхваляет Аристотель политическое устройство Карфагена[32], для истории человечества эта республика не дала ничего ценного, поскольку все время, пока существовала она, несколько богатых купцов-варваров, всего несколько семейств, вели с помощью наемников борьбу за монопольное обладание всеми выгодами, которые приносила торговля, за власть над всеми странами, которые могли принести им новую выгоду. Подобная система не располагает к себе; поэтому, какими бы несправедливыми ни были войны Рима с Карфагеном, с какой бы почтительностью ни обязаны мы были отнестись к именам Газдрубала, Гамилькара, Ганнибала, вряд ли кому-нибудь захочется стать карфагенянином, – достаточно задуматься над тем, каково было внутреннее состояние этой купеческой республики, которой служили названные герои. Да и наградой им нередко были неприятности и самая черная неблагодарность; ведь даже Ганнибала отечество его было готово предать в руки римлян за несколько фунтов золота, и он просто спасся бегством от такой карфагенской расплаты. Я весьма далек от того, чтобы отнимать все заслуги у благородных граждан Карфагена, ибо и это государство, построенное на самой низменной основе, на основе алчности и жажды наживы, тоже взрастило людей великих и питало множество искусств и ремесел. Если говорить о воинах, то бессмертен среди них род Барка[33], – пламя честолюбия этого рода разгоралось тем ярче, чем больше ярились ревнивые Ганноны, тщетно пытавшиеся загасить этот огонь. Но и в героизме карфагенян ощутима некая скованность, жесткость, так что Гелон, Тимолеон, Сципион – это свободные люди по сравнению с рабами. Какое варварство – уже самый героизм братьев, приказавших закопать себя в землю живыми в доказательство того, что граница государства проведена несправедливо! И в более тяжелых случаях, когда опасность подступала к самим стенам Карфагена, доблесть проявляется лишь в форме чудовищного ожесточения. Однако очевидно и то, что Ганнибал с его утонченным военным искусством стал учителем своих заклятых врагов – римлян, – от него научились они тому, как надо завоевывать мир. Равным образом процветали в Карфагене и все искусства и ремесла, так или иначе служившие торговле, кораблестроению, морским сражениям, выгоде и наживе, хотя в морских битвах римляне быстро превзошли Карфаген. Земледелие в плодородной Африке более всего служило целям торговли, и потому карфагеняне немало рассуждали о столь богатом

источнике своих доходов. Но, к несчастью, по вине римлян-варваров погибли и все книги карфагенян, и само их государство; нам эта нация известна лишь из рассказов ее недругов и по тем немногочисленным руинам, которые едва способны показать нам точное географическое положение некогда знаменитой царицы морей. Главный эпизод всемирной истории, в котором играл роль Карфаген, – это, к сожалению, отношения его с Римом; волчица, которой суждено было покорить себе весь мир, сначала должна была поупражняться в борьбе с африканским шакалом, растерзав его в клочья.

V. Египет

Мы приближаемся теперь к стране, которая стоит перед нами неразрешенной загадкой первобытного мира – и по своей древности, и по своим ремеслам, и по своему политическому строю; над загадкой этой ломало себе голову немало исследователей, упражняясь в умении разгадывать тайны. Страна эта – Египет. Самые достоверные сведения о Египте – это сохранившиеся с древних времен памятники: колоссальные пирамиды, обелиски, катакомбы, остатки каналов, развалины городов, колонн, храмов, этих чудес древнего мира, до сих пор поражающих воображение путешественников своими иероглифическими надписями. Какая тьма народу, какая искусность, какой строй и прежде всего какой странный образ мысли нужен был для того, чтобы вырубить в скалах камни, чтобы водрузить их друг на друга, нагромоздив из них целые горы, чтобы не только изображать и высекать на камнях животных, но чтобы хоронить их как некую святыню, чтобы превратить каменистую пустыню в жилище мертвых и так, тысячью различных способов, увековечить в камне жреческий дух Египта! Все эти реликвии стоят – или лежат – перед нами, словно сфинкс, – великая проблема, требующая своего разрешения.

Сама собою объясняется та часть этих творений, которая служит для определенной полезной цели или которая вообще неизбежна в этой местности: таковы удивительные каналы, плотины, катакомбы. Каналы служили для того, чтобы отводить нильскую воду в более отдаленные районы Египта, теперь каналы эти пришли в негодность, и районы эти стали мертвой пустыней. Плотины нужны были, чтобы можно было основать города на плодородной долине, затопляемой Нилом и, словно сердце всей страны, питающей всю территорию Египта. А что касается могильных склепов, то нельзя отрицать, что, помимо всяких связывавшихся с ними религиозных представлений, они весьма способствовали оздоровлению воздуха и препятствовали распространению болезней, этого бича сырых и жарких областей земли. Но для чего же эти чудовищные пещеры? Откуда взялись эти лабиринты, обелиски, пирамиды? Какой цели они служат? Что за

чудной вкус увековечил этих сфинксов и колоссов, затратив на них столько труда? Что же – вышли египтяне из ила своей родной реки и потому стали не похожей ни на кого нацией или, если они пришли откуда-то еще, какие причины, какие влечения так отличили их от всех живущих вокруг народов?

Что египтяне не были туземным народом, показывает, как мне кажется, уже естественная история этой страны; ибо не только древняя традиция, но и всякая разумная геогония ясно скажет нам, что сначала был заселен Верхний Египет, а низменность стала обитаемой, собственно, лишь в результате усердного труда людей, отвоевавших ее у нильского ила. Поэтому древнейший Египет располагается на Фиванской возвышенности, тут была и старая столица царей; если бы освоение земли началось с Суэца, невозможно было бы объяснить, для чего древние цари выбрали своим местопребыванием Фиванскую пустыню. А если мы последуем за тем, что ясно и лежит перед нами, тогда мы представим себе, в каком действительном порядке заселялся Египет, и сразу же узнаем причину, почему обитатели этой страны должны были стать таким странным, ни на кого не похожим народом. Все дело в том, что они не были изящными черкесами, а были народом южной Азии, народом, который пришел на Запад с Востока, от Красного моря или еще откуда-то дальше; из Эфиопии этот народ постепенно и распространился по всему Египту. Поскольку ежегодные наводнения и нильские трясины служили естественными рубежами страны, удивительно ли, что народ этот осел сначала на скалах, заселив их вполне по-троглодитски, но со временем, постепенно, занял благодаря своему трудолюбию и весь Египет, – возделывая землю, возделал и самого себя, превратившись в культурный народ? Сообщение Диодора[34] о южном происхождении египтян (хотя он связывает его со своими эфиопскими мифами) не просто очень вероятно, – это единственный ключ к объяснению характера египетского народа, к объяснению поразительных совпадений некоторых его черт с отдаленными народами восточной Азии. Поскольку сейчас мне пришлось бы излагать эту гипотезу лишь очень неполно, прибережем ее для другого случая, а пока воспользуемся некоторыми очевидными последствиями, определившими образ народа в истории человечества. Египтяне были тихим, прилежным, добродушным народом, и это доказывается всем их жизненным укладом, искусством и религией. Ни у одной статуи, ни у одного египетского храма нет легкости греческого искусства, нет радостного, светлого облика; о подобных целях искусства у них не было представления, и не было у них стремления к подобным целям. Судя по мумиям, телосложение египтян не было изящным, а каким видели они человека, таким и изображали. Замкнувшись в своей стране, замкнувшись на манер своей религии, своего государственного строя и уклада, египтяне не любили ничего чужого, а поскольку,

воспроизводя природу, они следили, как того требовала их натура, лишь за верностью и точностью подобия, поскольку все искусство их было ремеслом, именно религиозным ремеслом, сосредоточенным в руках наследственного цеха, опирающимся в основном на религиозные понятия, то не могло возникнуть у них даже и мысли о возможности отклониться от природы, бросив взгляд в страну прекрасных идеалов, которая, собственно говоря, и остается призрачной, пока нет живых прообразов*. Зато египтян куда больше заботила прочность, долговечность и колоссальность их творений или совершенство упорного и точного ремесленного искусства. Храмы их, построенные в скалистой местности, выросли из их представлений о чудовищных пещерах, в своих постройках они не могли не любить колоссальность и величие. Статуи возникли из мумий, и у них руки и ноги тоже, как у мумий, плотно прижаты, – такое положение, которое само по себе уже обещает долговечность скульптуры. Колонны нужны были для поддержания сводов пещер, для разделения склепов; но поскольку египетская архитектура исходила из пещерного свода, а строить своды подобно нашим египтяне не умели, то без колонн, нередко без колоссальных статуй вообще никак нельзя было обойтись. Окружавшая египтян пустыня, витавшее вокруг них царство мертвых – следствие их религиозных представлений, все это превращало их изображения в мумии, и определяющей чертой их было не действие, а вечный покой, чего и добивалось искусство.

Тем менее, как мне кажется, следует удивляться египетским пирамидам и обелискам. Во всех частях света, даже и на Таити, над могилами строят пирамиды, не столько в знак бессмертия души, сколько в знак долгой посмертной памяти. Очевидно, пирамиды произошли от тех бесформенных куч камней, которые в первоначальные времена набрасывали, чтобы запечатлеть в памяти какое-либо событие; куча камней сама складывается в пирамиду, если нужно сложить ее попрочнее. Но не было более естественного повода для возведения памятника, чем погребение всеми почитаемого человека, а когда искусство стало играть свою роль в этом ритуале, то груда камней, поначалу просто оберегавшая тело покойника от диких зверей, преобразилась в пирамиду или колонну, построенную с большим или меньшим искусством. Причина, почему египтяне превосходили другие народы в такого рода строениях, была той же самой, что обусловила долговечность и прочность их храмов и катакомб. Дело в том, что у египтян было много камней; весь Египет по сути дела – это сплошная скала; было в Египте и много свободных рук, чтобы строить пирамиды, ибо в этой плодородной и густо заселенной стране сама река удобряет землю и возделывание почвы требует лишь небольших затрат труда. Кроме того, древние египтяне жили умеренно:

* Об этом – в другом месте.

легко было содержать тысячи людей, рабов, возводивших пирамиды, в течение целых столетий, – лишь от воли фараона зависело, будут ли сооружены эти бессмысленные строения, эти нагромождения камня. Жизнь людей ценили в те века не так, как теперь, и исчисляли их целыми сословиями и областями. И бесполезный труд бессчетных индивидов в те времена, не колеблясь, приносили в жертву затее властелина, который думал обрести бессмертие, возводя громаду камней, и, следуя лживой религии, собирался удержать отходящую душу в забальзамированном теле, а со временем и это бесполезное искусство, подобно множеству других, сделалось предметом соревнования. Один фараон подражал другому, пытаясь превзойти его, а добродушный народ влачил дни своей жизни, строя и строя подобные монументы. Так, по всей вероятности, и возникли пирамиды и обелиски Египта; строили их только в самые древние времена; позднее ни одна нация, научившаяся полезным искусствам, уже не строила пирамид. Итак, пирамиды – отнюдь не признаки счастья и подлинного просвещения Древнего Египта, в них недвусмысленный памятник суеверию и безумию – как бедняков, строивших пирамиды, так и их тщеславных повелителей. Тщетно искать тайн в глубинах пирамид, тщетно искать сокровенной в обелисках мудрости; если даже и расшифровать начертанные на них иероглифы, что сможем прочитать мы в них, наверное, летопись давно уже забытых и неинтересных событий или похвалу их основателям? И при всем том что груды эти в сравнении с одной-единственной горой, возведенной Природой?

И вообще по иероглифам нельзя судить о мудрости египтян, тем более что доказывают они как раз противоположное[35]. Иероглифы – это первая неуклюжая попытка ребенка, ребяческого рассудка найти знаки для выражения мысли; у самых неразвитых дикарей Америки было сколько угодно иероглифов; разве не сумели мексиканцы передать с помощью своих иероглифов и самую неслыханную для них новость – прибытие в их страну испанцев? А египтяне долго придерживались такого несовершенного способа письма и в течение целых столетий рисовали их на стенах и камнях, затрачивая невероятные усилия, – какая же бедность представлений, какая неподвижность рассудка! Сколь же тесен был круг знаний нации, ее обширной ученой касты, что в течение тысячелетий довольствовалась своими птичками и черточками! Ибо второй Гермес[36], изобретатель букв, явился к ним очень поздно, и он не был египтянином. В надписях на египетских мумиях встречаются буквы – это не что иное, как чужое финикийское письмо, вперемежку с иероглифическим, так что египтяне, по-видимому, научились буквам от торговцев-финикиян. Даже китайцы пошли дальше египтян и на основе очень похожих иероглифов создали такие знаки, которые стали выражать понятия, до чего египтяне, кажется, так и не додумались. Так стоит ли удивляться тому, что такой обойденный письменностью, но при

этом совсем не неумелый народ выдвинулся в механических искусствах? Путь к научной литературе был для него закрыт, потому что этому препятствовали иероглифы, все внимание и было перенесено на конкретные, чувственные предметы. Плодородная долина Нила облегчила возделывание почвы, а периодические разливы, от которых зависело все благосостояние, научили счету и измерениям. Ведь не могли же год и времена года оставаться неизвестными народу, вся жизнь и все благополучие которого всецело зависели от одной-единственной перемены, которая повторялась ежегодно и служила им вечным календарем. Если восторгаются естественной историей и астрономией этого древнего народа, то и такие науки были непосредственным порождением этой области Земли, этих широт. Со всех сторон окруженный горами, морями, пустынями, египтянин, живший в узкой плодородной долине, где все зависело от одного явления природы, от разлива Нила, где все брало от него свое начало, где и времена года, и урожай, и болезни, и ветра, и насекомые, и птицы, где все, все подчинялось только одному разливу, – живя в такой местности, египтянин и вся многочисленная каста праздных жрецов не могли ведь не накопить в конце концов некоего свода естественнонаучных и астрономических знаний? Во всех частях света есть примеры, показывающие, что народы, живущие замкнуто, если у них есть интерес к чувственной реальности, обладают наиболее богатым и наиболее живым знанием своей страны, хотя и не изучают ее по книгам. Но то, что могли прибавить к подобному знанию египетские иероглифы, скорее вредило, чем способствовало развитию наук. Самое живое наблюдение иероглифы обращали в темный и, хуже того, в безжизненный образ, который не только не двигал вперед человеческий рассудок, но даже и тормозил его. Очень много рассуждают теперь о том, содержат ли иероглифы некие тайны жрецов, но мне кажется, что всякий иероглиф по самой своей природе содержит тайну, а целый ряд хранимых замкнутой кастой жрецов иероглифических изображений невольно становится тайной для толпы, если даже рисовать такие иероглифы на каждом шагу. Ведь толпу все равно нельзя посвятить в тайну, потому что не в этом призвание толпы, а сам по себе простой человек не может определить значения иероглифов. Вот почему в этой стране никак не могло распространиться просвещение, как и в любой стране и касте, где занимаются так называемой мудростью иероглифов, кто бы ни учил их, жрецы или непосвященные. Не всякому откроют они свои символы, а чего нельзя выучить просто так, как таковое, то и остается тайной по самой своей природе. Итак, в новое время иероглифическая мудрость есть не что иное, как своевольно расставленные на пути просвещения препоны, тем более что даже и в древние времена иероглифическое письмо было лишь весьма несовершенным видом письменности. Несправедливо требовать, чтобы люди учились понимать как таковую вещь, которую можно толковать на тысячу ладов, убийствен

труд, затрачиваемый на изучение произвольных знаков, как если бы они были чем-то вечным и необходимым. Вот почему Египет оставался в своих знаниях вечным ребенком, ребяческими были попытки его както обозначить их, а для нас такие ребяческие представления навсегда канули в прошлое.

Значит, и религию и государственную мудрость египтян нам едва ли следует представлять иначе, нежели как ту самую ступень, которую отмечали мы у многих народов древнего мира, на которой и до сих пор стоят народы восточной Азии. А если бы удалось с достаточной вероятностью показать, что многие знания египтян не могли быть приобретены в их стране и что египтяне просто механически воспользовались ими, словно заранее данными формулами и предпосылками, приспособляя их к своей стране, то детский возраст всех их наук еще больше бросался бы в глаза. Вот, вероятно, в чем причина для длинных перечней царствований и мировых эпох, вот откуда происходят рассказы об Озирисе, Изиде, Горе, Тифоне и т.д.; вот откуда все многообразие их священных сказаний. Основные религиозные представления египтян совпадают с представлениями народов азиатской возвышенности, но только в Египте, в соответствии с естественными условиями страны и характером народа, на них надели личину иероглифов. Главные черты политического строя Египта не чужды и другим народам, стоящим на той же ступени культуры, но только в данном случае их сильно разработал и повернул по-своему народ, замкнуто живущий в прекрасной долине Нила*. Едва ли удостоился бы Египет своей славы необычайной мудрости, если бы не близость его к нам, не развалины древних памятников, если бы прежде всего не рассказы о них греков.

Но именно географическое положение Египта и показывает нам, какое место в цепи народов занимает Египет. Немногим народам дал он начало и немногим – культуру, так что из первых я могу назвать лишь финикиян, а из последних – иудеев и греков; насколько простиралось влияние Египта в глубь Африки – неизвестно. Бедный Египет, как ты теперь переменился! Обнищал и обленился в период тысячелетнего отчаяния, а ведь когда-то был прилежным и терпеливым работником! Стоило фараону подать знак, и все пряли, и ткали, и носили камни, и рыли горы, и занимались ремеслами, и возделывали землю. Народ терпеливо позволил замкнуть себя в тесные пределы, разделив все работы; народ был плодовит, живя скудно, он воспитывал детей, чурался чужеземцев и оставался в своей запертой со всех сторон стране. А когда открыл перед всеми свою землю или, может быть, Камбиз сам проложил себе путь сюда, – то на тысячелетия стал добычей самых разных народов. Персы, греки, римляне, византийцы, арабы, фатимиты, курды, мамелюки и турки, один народ за другим, казнили Египет,

* Все предположения об этом должны быть изложены в иной связи.

и теперь эта прекрасная местность стала ареной арабских набегов и турецких жестокостей.

VI. Дальнейшие мысли о философии рода человеческого

И вновь мы прошли широкой областью исторических событий и жизненных укладов – от Евфрата до Нила и от Персеполиса до Карфагена; теперь остановимся и бросим взгляд на пройденный нами путь.

Какой главный закон заметили мы во всех великих явлениях истории? Как мне кажется, вот этот закон: *повсюду на нашей Земле возникает то, что может возникнуть на ней, отчасти в связи с географическим положением и потребностями места, отчасти в связи с условиями и случайными обстоятельствами времени, отчасти в связи с природным и складывающимся характером народов.* Достаточно помещать живые человеческие энергии в определенные отношения места и времени, какие существуют на Земле, и отсюда произойдут все реальные изменения человеческой истории. Здесь кристаллизуются государства и империи, там они распадаются и принимают иной облик; здесь из кочевой орды поднимается Вавилон, а там из притесняемого всеми народа – Тир; здесь, в Африке, складывается Египет, а там, в Аравийской пустыне, иудейское государство, и все это в одной области земной, все по соседству друг с другом. И только время, только место и национальный характер, короче говоря, все совокупное взаимодействие живых энергий в их до конца определенном конкретно-индивидуальном виде предрешает – как все производимое природой – все совершающееся в царстве людей. Этот закон господствует в целом творении, и его следует представить в надлежащем свете.

1. *Живые человеческие энергии суть движущие силы человеческой истории,* а поскольку человек берет свое начало от рода и возникает каждый в своем племени и роде, то уже поэтому все его образование, воспитание и образ мысли являются генетическими. Вот где источник особенных национальных характеров, глубоко отпечатлевавшихся в наидревнейших народах, они явственно рисуются во всех действиях и проявлениях всякого народа на этой Земле. Как бьющий из земли ключ принимает в себя силы, частицы и вкус почвы, в которой он накапливался, так и древний характер народа проистек из родовых черт, из условий его части света, из обстоятельств образа жизни и воспитания, из дел и подвигов, совершенных в эту раннюю пору, – из всего, что досталось в удел народу. Нравы отцов проникли глубоко в душу и стали внутренним прообразом для всего рода. Подтверждением пусть послужит нам образ мыслей иудеев, наиболее известный благодаря их книгам и конкретному примеру; и в стране своих отцов, и среди других народов они оставались тем, чем были, самими собою, и, даже смешавшись с другими народами, не переставали отличаться

от них на протяжении нескольких поколений. Таковы и другие народы древности – египтяне, арабы, китайцы, индийцы и т.д. Чем более замкнуто жили они и даже, наоборот, чем больше теснили их со всех сторон, тем тверже становился их характер, так что, если бы каждая нация продолжала жить на своем месте, нашу Землю можно было бы рассматривать как сад, где всякое растение человеческой породы цветет, как положено ему, с присущей каждому формой и естеством, одно – здесь, другое – там, где живет и всякий род живых существ, здесь – один, там другой, всякий со свойственным ему характером и инстинктом.

Но поскольку люди – не неподвижно коренящиеся в почве растения, то они и могли и должны были со временем менять свое местопребывание, отчасти принуждаемые к тому тяжким голодом, землетрясениями, войнами и т.д.; на новом месте каждый народ обосновывался уже несколько иначе и в той или иной степени менялся. Ибо если даже люди и придерживались нравов отцов своих с упорством, напоминающим инстинкт животного, если даже называли они прежними, родными именами и новые горы, и новые реки, города и поселки, то существенное изменение воздуха и почвы все же мешало полному единообразию во всем. Пересаженному на новую почву народу предстояло построить по-своему, в зависимости от навыков своей породы, свое осиное гнездо или муравьиную кучу. Постройка составлялась из представлений первоначальной родины и новой земли, и обычно такое сооружение именуется весенним цветением народов. Так устроились на побережье Средиземноморья бросившие Красное море финикийцы; так хотел устроить израильтян Моисей; так бывало со многими народами Азии, ибо почти каждая нация на Земле – рано или поздно, далеко или близко – переселялась по крайней мере однажды за все свое существование. Отсюда нетрудно понять, как многое зависело при этом от времени переселения, от вызывавших его обстоятельств, от дальности пути, от характера культуры, которую нес с собой народ, от согласия или распри, которые встретил он на новом месте жительства, и т.д. Даже и по отношению к несмешавшимся народам такой исторический расчет крайне затруднителен уже в силу географических и политических причин, так что нужен ум, не забитый никакими гипотезами, чтобы не потерять тут руководящую нить. Проще всего выпустить ее из рук, если с пристрастием относиться только к одному народу и презирать все остальное, что не есть вот это племя. Историк человечества должен на все смотреть непредвзято и обо всем судить бесстрастно, как сам творец нашего рода или как гений земли. Естествоиспытателю, стремящемуся приобрести знания обо всех разрядах животного и растительного мира и всех их упорядочить, равно приятны и роза, и чертополох, и вонючка, и ленивец, и слон; он изучает прежде всего то, от чего большему учится. А природа

всю Землю отдала людям, своим детям, и произрастила на земле всех, кто только мог произрасти – по времени, месту и энергии. Все, что может существовать, существует, если не сегодня, так завтра. Год природы долог; цветы растений ее – разнообразны, как сами побеги, как питающие их стихии. В Индии, Египте, Китае совершалось то, чему уже никогда и нигде на Земле больше не совершаться, – ни в Ханаане, ни в Греции, ни в Риме или Карфагене. Закон необходимости и соответствия, составляющий целое из энергий, времен, мест, повсюду приносит свои, всякий раз разные, плоды.

2. И если, следовательно, все по преимуществу зависит от того, *к какому времени и к какой области Земли относится возникновение государства, из каких частей оно состоит и какие внешние условия окружали его,* то, как мы видим, в этих чертах заложена уже по большей части и судьба государства. Если кочевники основывают монархию, а сами, обретя политическую форму, продолжают жить по-старому, ведут прежний образ жизни, то такая монархия не будет долговечной; она разрушает, она подавляет, но, наконец, другие разрушают и ее; довольно бывает захватить столицу такой монархии, достаточно иной раз просто, чтобы умер царь, и вот всему разбойничьему эпизоду приходит конец. Так было с Вавилоном и Ниневией, так было с Персеполем и Экбатаной; то же самое до сих пор продолжается в Персии. Империя моголов в Индии быстро погибла, а турецкая империя не заставит долго ждать своего конца, если только по-прежнему останется халдейской, то есть если не заложит более нравственного фундамента своей власти. Пусть дерево растет до небес, пусть покроет оно своей тенью целые части света, – если оно не укоренилось в земле, один порыв ветра уничтожит его. Или хитрость одного-единственного неверного раба снесет его, или оно рухнет под топором дерзкого сатрапа. Древняя и новая история азиатских государств переполнена такими переворотами, а поэтому философии истории мало чему есть поучиться у нее. Деспотов свергают, и деспотов же возносят; все в империи зависит от личности монарха, от его шатра и от его венца; кто ими овладеет, тот и новый отец народа – то есть новый вожак шайки разбойников, временно одержавший верх. Навуходоносор наводил страх на всю Переднюю Азию, а в царствование второго из его наследников неупроченная империя была уж прах и тлен. Три битвы Александра – и чудовищной империи персов пришел конец.

Но совершенно иначе обстоит дело с государствами, которые довлеют сами себе, вырастая из своих корней; их можно одолеть, а нация продолжает существовать. Таков Китай; известно, какого великого труда стоило покорителям его ввести в обиход всего лишь один монгольский обычай – стричь волосы. Таковы брахманы и израильтяне; уже самый дух их ритуалов навеки отделяет их от других народов. Так, Египет долгое время противился смешению с другими народами, а как трудно

было искоренить финикиян – просто потому, что, вырастая на своей почве, они глубоко уходили корнями своими в землю! Если бы Киру удалось основать царство подобно Яо, Кришне, Моисею, так царство это стояло бы и поныне, пусть даже искалеченное, и живы были бы все его члены.

Из сказанного явствует, почему древние государства так зорко следили за формированием нравов посредством воспитания, – от этой пружины их механизма зависела вся их внутренняя крепость. Новые державы построены на деньгах или на механических искусствах государственной политики, а древние с самых первых своих начал, с раннего своего детства, построены были на всем образе мысли народа; поскольку же для детей нет более действенной пружины, чем религия, то большинство древних, прежде всего азиатских, государств были в большей или меньшей степени государствами теократическими. Я знаю, как ненавидят теперь это слово, знаю, что все зло, которое когда-либо угнетало человечество, относят за счет теократии, и я, конечно, ни слова не скажу в защиту связанных с этим принципом злоупотреблений. Но одновременно истина есть в другом: такая теократическая форма правления не только вполне отвечала детской поре в истории человечества, но была и необходима, а иначе она, безусловно, не распространилась бы столь широко и не сохранялась бы в течение столь длительного времени. Теократия господствовала почти во всех государствах мира – от Египта до Китая, так что Греция была первой страной, где законодательство постепенно отделилось от религии. А поскольку воздействие всякой религии тем сильнее в политическом отношении, что боги и герои ее со всеми совершенными ими подвигами принадлежат родной земле, что это – местные, отечественные боги и герои, то мы можем наблюдать, что древняя нация, корни которой уходят глубоко в землю, даже и космогонию и мифологию целиком связывает с той землей, на которой она живет. И только одни израильтяне и отличаются здесь от всех своих соседей тем, что ни сотворение мира, ни творение человека не относят к своей земле. Законодатель иудеев был просвещенным чужестранцем, который так и не увидел своей родной страны, будущих владений народа; предки евреев жили в другой земле, и закон им был дан за пределами их страны. Может быть, именно это обстоятельство и способствовало тому, что, как никакая другая нация, иудеи неплохо чувствовали себя и на чужбине. Брахман, китаец могут жить только у себя дома, и поскольку живущий по законам Моисея иудей – это, собственно говоря, творение Палестины, то за пределами этой страны и не должно бы быть никаких иудеев.

3. Наконец, вся эта полоса земли, по которой мы проехали, показывает нам, *сколь бренно всякое деяние людей, сколь тягостным становится и самый наилучший порядок, стоит пройти только первым поколениям.*

Растение цветет и увядает; отцы наши умерли и тлеют; распадается храм, нет шатра, где пророчествовал оракул, нет скрижалей закона; вечно связывающий людей язык сам стареет. Как? Неужели строй человеческий, неужели политический или религиозный уклад будут существовать вечно, будучи возведенными на всем том, что только что мы перечислили? Нет, это значило бы сковать цепями крылья времени, а катящийся шар земной заморозить и превратить в льдину, лениво свисающую в бездну. Каково было бы у нас на душе, если бы еще и теперь мы видели, как царь Соломон на одном только празднестве закалывает и приносит в жертву двадцать две тысячи быков и сто двадцать тысяч баранов?[37] Если бы еще и сегодня царица Савская приходила к нему на пир, чтобы испытать его загадками?[38] Что сказали бы мы обо всей мудрости египетской, если бы еще и теперь показывали нам в пышном храме и быка Аписа, и священную кошку, и священного козла? Но это же можно думать и о гнетущих душу обрядах брахманов, и о суеверии парсов, и о пустых притязаниях иудеев, о неразумной гордыне китайцев и вообще обо всем на свете, что в своем существовании пытается опереться на порядки человеческие, которым уже за три тысячи лет. Учение Зороастра, может быть, и было достохвальной попыткой объяснить существование зла в мире и побудить единомышленников совершать всевозможные светлые дела, – но что же такое эта теодицея теперь, хотя бы в глазах магометанина? Переселение душ, предмет веры брахмана, можно считать юным сном человеческой фантазии, которой хочется и бессмертные души оставить в кругу зримого мира, которая с этим благонамеренным заблуждением связывает моральные понятия, – ну а что такое это переселение душ, как не безрассудный священный закон с тысячью привесков к нему, состоящих из ритуалов и всяческих предписаний? Сама по себе традиция – это превосходное установление, без которого не может жить человеческий род; традиция заведена самой природой; однако если традиция парализует всяческую деятельность ума и в практических мероприятиях государства, и в обучении, если она решительно препятствует поступательному движению человеческого разума, совершенствованию и улучшению в связи с наступлением новых условий, новых времен, то тогда традиция становится настоящим опиумом для духа – и для государств, и для вероисповеданий, и для отдельных людей. Великая Азия, мать просвещения на всей Земле, отведала немало этой сладкой отравы и давала пробовать ее другим. Могучие державы, целые религии в Азии спят, как спит, по легенде, святой Иоанн в своем гробу: он мирно дышит, но прошло уже почти две тысячи лет с тех пор, как он почил, – погруженный в дремоту, он ждет шагов Пробуждающего его...

Книга тринадцатая

Бывает, путешественник сожалеет, что не познакомился со страной так, как ему того хотелось, а уже должен уехать, так и я покидаю Азию. Как мало знаем мы об Азии, к каким поздним временам относятся, по большей части, эти известия, из каких ненадежных рук пришли они к нам! Восточная Азия и стала известна нам лишь недавно – благодаря своим религиозным и политическим учениям, а ученые партии Европы отчасти привели ее в такой хаос, что на больших пространствах мы все еще смотрим на нее как на какую-то сказочную страну. В Передней Азии, в соседнем Египте все древнее кажется нам или руинами, или каким-то отлетевшим сном, а все доступные нам известия узнали мы лишь из уст поверхностных греков, которые для седой старины этих государств были слишком юны или отличались слишком чуждым образом мысли, чтобы понять что-либо, кроме близкого себе. Архивы Вавилона, Финикии и Карфагена не сохранились; Египет отцвел прежде, чем греки проникли в глубь страны; итак, все сводится к нескольким увядшим лепесткам – легендам о легендах, осколкам истории, сновидениям первобытного мира.

Ближе к Греции – светает, и мы радостно плывем навстречу этой стране. По сравнению с другими народами греки рано узнали письмо, а в своем жизненном укладе в большинстве случаев находили те пружины, которые помогали им низвести язык поэзии к прозе, а язык прозы – к философии и истории. Итак, философия человеческой истории видит в Греции место своего рождения, она прожила в Греции свою прекрасную юность. И сказитель Гомер описывает нравы многих народов, насколько простираются его знания, и певцы аргонавтов, отголоски которых сохранились[1], заплывают в иную, тоже замечательную, область земли. Когда впоследствии история в собственном смысле слова сумела освободиться от поэзии, Геродот изъездил немало стран и с похвальной любознательностью ребенка собирал все услышанное и увиденное. Позднее греческие историки ограничивались, по сути дела, своей страной, но все же не могли не сообщить некоторых сведений и о других странах, с которыми связаны были греки; так, постепенно, особенно благодаря походам Александра, мир расширился.

А вместе с Римом, которому греки послужили и учителями истории, и даже историографами, мир еще и еще расширяется, так что Диодор Силицийский, грек по национальности, и римлянин Трог осмелились составить уже своего рода всемирные истории. Вот почему мы так радуемся, что подходим к народу, происхождение которого тоже погребено во мраке, первые эпохи которого тоже весьма неясны, прекраснейшие творения которого в искусстве и письменности тоже по большей части уничтожены яростью народов или временем и тленом, – однако великолепные памятники его столь многое говорят нам! Их философский дух обращается к нам, присущую ему гуманность тщетно стараюсь я вдохнуть в свой опыт рассуждения о них. Словно поэту, мне хотелось бы призвать дальновидящего Аполлона и дочерей Памяти[2] – всеведущих Муз; но Аполлон мой – дух исследования, наставляющая меня Муза – беспристрастная истина.

I. Географическое положение и население Греции

Греция, о которой мы говорим сейчас, состоит из трех частей[3], окружена морем, это прибрежная страна, вся она в бухтах и заливах, это, можно сказать, целый архипелаг островов. Греция расположена в такой области, которая могла принять не только жителей различных широт, но и отовсюду – ростки культуры; географическое положение Греции и характер ее народа, который приспособился к этой местности, рано пустившись в опасные предприятия и переживший не одно серьезное потрясение, таковы, что очень скоро привели к интенсивному обмену идеями и представлениями и к такой активной деятельности, которая самой природой была заказана живущим на твердом материке народам. Наконец, и время, на какое пришлась греческая культура, та ступень развития, на которой стояли тогда не только окружающие народы, но стоял и вообще весь человеческий дух, – все способствовало тому, что греки стали тем самым народом, каким они некогда были, каким они перестали быть и каким они уже никогда не будут вновь. Рассмотрим же повнимательнее эту прекрасную проблему истории; сведений о греческой истории, собранных в первую очередь тщанием немецких ученых, находится в нашем распоряжении такое множество, что проблема, можно сказать, уже созрела для своего разрешения.

Народ, живущий замкнуто, между гор, вдали от берегов, чуждый общения с другими нациями, народ, все свое просвещение воспринявший из одного источника, народ, который железными законами закрепляет свою культуру и делает это с тем большим упорством, чем раньше усвоил ее, такой народ может стать и весьма своеобразным по своему характеру и может долгое время хранить это свое своеобразие, но тут еще очень многого не хватает для того, чтобы ограниченная своеобычность придала ему полезную многосторонность, которую обрести можно лишь в

деятельности, лишь в соперничестве с другими народами. Примером, не считая Египта, послужат все страны Азии. Если бы построившая нашу Землю энергия могла придать иной облик горам и морям этих народов, а великая судьба, положившая пределы народам, даровать им иное происхождение, не исток их в азиатских нагорьях, если бы восточная Азия раньше занялась морской торговлей и было у нее свое Средиземное море, то и все поступательное движение культуры в мире совершенно переменилось бы. Но культура двинулась на Запад, потому что на Восток ей некуда было идти и распространяться.

Если рассмотреть теперь историю островов и архипелагов, где бы они ни были расположены, то мы увидим: чем удачнее заселены они, чем многообразнее и легче заведенный круговорот деятельности и, наконец, чем благоприятнее время или географическое положение, когда играли они свою историческую роль, тем больше отличаются жители островов и побережий от созданий материковой земли. На материке пастух оставался пастухом, охотник – охотником, несмотря на все природные дарования и благоприобретенные умения; и даже земледелец и ремесленник – словно растения, утвердившиеся на своем тесном клочке земли. Сравним Англию и Германию; англичане – те же самые немцы, и, более того, вплоть до самого последнего времени немцы предшествовали англичанам во всех наиболее значительных начинаниях. Однако Англия, будучи островом, с ранней поры была втянута, в разных отношениях, в деятельность общего духа, в деятельность весьма существенную, а потому дух этот мог лучше развиться в Англии и, без помех, добиться целостности, в которой отказано было притесняемой со всех сторон материковой стране. Та же ситуация – на датских островах и на побережье Италии, Испании, Франции, в не меньшей мере и в Нидерландах и северной Германии, если сравнить эти страны с глубинными областями славянских и скифских земель Европы, с Россией, Польшей, Венгрией. Путешественники обнаружили, что на всех морях, на всех островах, полуостровах и побережьях, если местоположение их благоприятно, развилась такая целеустремленная деятельность и значительно более свободная культура, которые не могли бы возникнуть под гнетом однообразных, древних законов твердого материка*. Достаточно прочитать описания островов Федерации и Общества; несмотря на их удаленность от всего обитаемого мира, тут возникла своего рода Греция, если только отвлечься от их украшений и роскошного образа жизни. И даже на некоторых отдельных расположенных в океане островах путешественники встречали такую мягкость и приятность нравов, каких напрасно будем искать у народов глубинных земель. Итак, повсюду соблюдается великий закон человеческой природы: везде, где

* Ср. малайцев и жителей островов Азии с обитателями материка, ср. даже Японию и Китай, жителей Курильских и Алеутских островов с монголами, в частности, острова Хуан-Фернандеса, Сокотору, острова Пасхи и Байрона, Мальдивские и т.д.

изящно сочетаются деятельность и покой, общительность и уединение, добровольный труд и пользование его плодами, везде это дает толчок тому круговороту, что так благоприятен и человеческому роду, и всем родам приближающихся к нему живых существ. Если застаиваются соки, то это самое вредное для здоровья человечества; но в деспотических державах древнего строя застой неизбежен, и именно поэтому такие государства умирают медленной смертью, если только их не уничтожают скорыми средствами. А где благодаря природе самой страны государства остаются маленькими и жители их занимаются здоровой деятельностью, причем тут самое лучшее и состоит как раз в том, чтобы делить свое время между сушей и морем, – там, стоит только случиться благоприятным обстоятельствам, народ обретает культуру и славится на весь мир. Если не говорить о других областях света, то между самими греками остров Крит был первой землей, выработавшей законодательство[4], что послужило затем образцом для материковых земель; и большинство греческих республик, самые знаменитые среди них, тоже расположены были на морском берегу. Не без основания древние представляли, что блаженные души обитают на островах[5], – по-видимому, именно на островах встречали они больше всего свободных и счастливых людей.

Применим все сказанное к Греции: сколь естественно было этому народу отличаться от жителей гор! Фракию от Малой Азии отделял узкий пролив, а западные берега Малой Азии, этой плодородной, заселенной множеством племен земли, соединялись с Грецией целым архипелагом островов. Для того, можно сказать, и пробит был Геллеспонт, для того и раскинулось тут Эгейское море с его островами, чтобы переход не стоил слишком больших трудов и чтобы в Греции, изобилующей бухтами, совершалось беспрестанное переселение и кругообращение народов. И вот мы видим, что, начиная с древнейших времен, странствуют по морям обитатели этих берегов – народы Крита, Лидии, Пеласга, Фракии, Родоса, Фригии, Кипра, Милета, Карии, Лесбоса, Фокеи, Самоса, Спарты, Наксоса, Эритреи и Эгины, – задолго до Ксеркса сменяли они друг друга, господствуя на море*; но и до этих морских держав можно было встретить на море разбойников, колонистов, искателей приключений, так что, вообще говоря, трудно найти греческое племя, которое не переселялось бы в свое время с места на место, притом обычно не один раз. Начиная с древности все тут в движении, от берегов Малой Азии до Италии, Сицилии, Франции, и ни один европейский народ не населял более обширного, более красивого уголка Земли, чем эти греческие народности. Но когда говорят о прекрасном климате Греции – и имеют в виду именно все сказанное. Ведь будь все дело в плодородии почвы, в таких местах, где можно жить, предаваясь лени, будь все дело в орошаемых долинах или заливающих луга реках, какой прекрасный климат можно отыскать

* Heyne Comment, de Castoris epoch, in N. Comment. Soc. Götting. T. I, II[6].

в каждой из других трех частей света, но ведь они не производили на свет греков![*] Но нигде на целом свете не найти берегов, которые расположены были бы в атмосфере, столь благоприятной для энергичной деятельности малых государств на всем протяжении развития культуры, как эти побережья Ионии, Греции и Великой Греции.

Поэтому нам не стоит долго думать над тем, откуда пришли в страну греков ее первые обитатели. Пеласги – имя им, то есть пришельцы[8], они и на таком отдалении чувствовали себя братьями народов, живущих за морем, в Малой Азии. Напрасный труд перечислять все те пути, по которым, через Фракию, Геллеспонт или острова, шли на юг и запад народы, впоследствии расселившиеся, под прикрытием гор с севера, по всей территории Греции. Одно племя шло за другим, одно оттесняло другое; эллины принесли древним пеласгам новую культуру, а со временем уже греческие поселения переправились на берега Малой Азии. Весьма благоприятное для греков обстоятельство – столь прекрасный полуостров, продолжение большого материка, был у них под боком; большинство живших тут народов не только принадлежали к одному племени, но и отличались рано развившейся культурой[**]. Вследствие этого не только язык греков приобрел оригинальность и единство, какого никогда не было бы у смеси множества разноязыких наречий, но и сама греческая нация приобщилась к цивилизации соседних народностей и вступала с ними в разнообразные отношения войны и мира. Итак, Малая Азия – мать Греции, она определила и население, и основные черты первоначальной греческой культуры, а Греция, в свою очередь, населяла материнскую землю своими колониями и дождалась расцвета в них новой, еще более прекрасной культуры.

Но, к несчастью, мы так мало знаем об этом азиатском полуострове, о ранних периодах его истории! Троянское царство известно нам лишь из Гомера, а если он своих соплеменников и ставит несравненно выше троянцев, то все же нельзя не заметить в его описании того, что троянское царство процветало, что процветали в нем и искусства, и пышность, и богатство. Вот и фригийцы – тоже древний, рано сложившийся народ, религия и сказания которого бесспорно повлияли на древнейшую мифологию греков. Вот и карийцы: они называли себя братьями мизийцев и лидийцев, они были одного племени с пеласгами и лелегами; они рано занялись мореплаванием, то есть по тогдашним временам – морским разбоем, тогда как более цивилизованные лидийцы делят с финикийцами честь изобретения чеканной монеты. Итак, ни один из этих народов, как и мизийцы и фракийцы, не был чужд ранней культуры, и каждый из них, будучи удачно пересаженным, мог стать народом греческим.

---

[*] См. «Замечания на пути в Левант» Ридезеля. С. 113[7].

[**] Heyne de origine Graecorum, Comment. Soc. Gotting., 1764.

Местопребывание Муз Греции сначала было на северо-востоке, в стороне Фракии. Из Фракии вышел Орфей, который первым научил жить по-людски одичавших пеласгов, он ввел религиозные обряды, которые распространились широко и установились надолго. Первыми горами Муз были горы Фессалии – Олимп, Геликон, Парнас, Пинд; здесь, говорит самый тонкий знаток греческой истории*, был древнейший центр религии, философии, музыки и поэзии греков. Здесь жили первые греческие барды; здесь впервые сложилось цивилизованное общество; здесь изобретена была лира и кифара и здесь впервые намечено было все то, что впоследствии до конца развил греческий дух. В Фессалии и Беотии, этих двух землях, которые в позднейшее время не проявили себя в области духа, нет ни одного источника, нет ни реки, ни холма, ни рощи, которые не стали бы известны, не были бы увековечены в поэзии. Здесь протекал Пеней, здесь была и прекрасная долина Темпея, здесь бродил Аполлон в облике пастуха, а гиганты громоздили одну на другую горы. У подножья Геликона Гесиод услышал свои мифы из уст Музы[9], короче говоря, тут первородина греческой культуры, и отсюда разошелся по коленам эллинов более чистый греческий язык с основными его диалектами.

Но с течением времени, на островах и побережьях, при таком преизбытке странствий и переселений, не мог не сложиться новый ряд сказаний, благодаря поэтам тоже утвердившийся во владениях греческой Музы. И почти всякая маленькая область и каждое знаменитое греческое племя вводили своих предков и своих родовых богов в царство Музы, и именно это разнообразие, которое сделалось бы непроходимым лесом, если бы мы обязаны были трактовать греческую мифологию как догматическое вероучение, именно это разнообразие и переносило живую жизнь греческих племен в сферу общенародного образа мыслей. И только от таких корней и побегов и мог произрасти тот прекрасный цветущий сад, который со временем принес многообразные плоды даже в области законодательства. В такой расчлененной стране, как Греция, одно племя защищено было долиной, другое – берегом или островным положением, и так, постепенно, на юношеской энергичности и подвижности рассыпанных на все стороны греческих племен и царств взросла великая вольная мысль греческой Музы. Не было общего правителя над ними, который навязывал бы им культуру; по доброй воле, сегодня – один, а завтра – другой клочок земли, принимали они нравы и законы – чрез звуки лиры, раздающиеся во время священных обрядов, игр и хороводов, чрез науки и искусства, ими же изобретенные, но, главное, в общении между собой и в сношениях с чужими народами; и на пути своем к культуре этот народ оставался народом вольных греков. Несомненно, что внесли свой вклад в развитие греческой культуры и

* Heyne de Musis: см. «Гёттингенские известия», 1766. С. 275.

финикийские колонии – в Фивах, и колонии египетские – в Аттике, хотя, к счастью, ни главное греческое племя, ни образ мысли его, ни язык не были сформированы этими народами. И по происхождению своему, жизненному укладу, по свойственной им родной Музе грекам не было суждено сделаться народом в египетско-ханаанском духе.

II. Язык, мифология и поэзия греков

Мы подходим к предметам, которые вот уже в течение тысячелетий доставляли наслаждение более утонченной части человечества; надеюсь, что никогда не перестанут они доставлять людям такое наслаждение. Греческий язык – самый развитый в мире, греческая мифология – самая богатая и изящная на свете, и, наконец, греческая поэзия – самая совершенная в своем роде, если рассматривать ее в связи с временем и местом, когда она существовала. Но кто же даровал племенам, некогда столь грубым, такой язык, такую поэзию и пластическую истину? Гений Природы, страна, жизненный уклад, время, племенной характер.

Вначале греческий язык был неразвит, но уже содержал в себе то, чему суждено было развиться. Язык греков не был жалкой иероглифической поделкой, не был и цепочкой исторгаемых по отдельности слогов, как в языках по ту сторону монгольских гор. Более подвижные, более гибкие органы речи породили у народов Кавказа бóльшую плавность речи, мягкость переходов, и любовь к музыке общительных греков без труда придавала их речи ясный облик. Мягче связывались между собой слова, звуки упорядочивались в ритмическое движение; речь сливалась в полноводный поток, ее образы – в приятную для слуха гармонию, они поднимались до благозвучности танца. И так сложился единственный в своем роде строй греческого языка, не насильственно порожденный немыми законами, а как живая форма природы возникающий из музыки и танца, из пения и истории и, наконец, из вольного общения множества племен и колоний, из разговорного тона речи. Когда складывались народы Северной Европы, то они не знали такой удачи и такого счастья. Когда чуждыми им законами и не знающей песнопений религией даны им были чужеземные нравы, их язык умолк. Немецкий язык бесспорно утратил многое от былой внутренней гибкости, от большей отчетливости в окончаниях слов и тем более от того живого звучания, которым некогда обладал он в более приятных климатических зонах. Некогда немецкий язык был братом греческому, а теперь – как далек он от него! И ни один язык по ту сторону Ганга не имеет присущей греческому наречию гибкости и мягкого течения, и ни у одного древнего арамейского наречия по эту сторону Евфрата не было этой гибкости. И только язык греческий словно возник из пения, ибо в пении и поэзии и в давней вольной жизни сложился он, среди всех языков мира, и стал языком Муз. И как не сойдутся вновь все условия греческой культуры,

как род человеческий не вернется уже к временам своего детства и не выведет из царства мертвых Орфея, Мусея, Лина или Гомера, Гесиода со всем, что окружало их, – так невозможно в наше время и рождение нового греческого языка, даже и в тех же самых областях нашей Земли. Мифология греков составилась из сказаний разных областей: в нее влились верования народа, рассказы племен о своих предках и первые попытки мыслящих умов объяснить чудеса света и придать форму человеческому общежитию*. Если известные нам гимны древнего Орфея и не подлинны и переделаны, то все же в них – отражения живых молитв и приветствий, обращаемых к природе, как то обычно для народов ранних ступеней культуры. Почти как орфики обращаются: первобытный охотник – к страшному для него медведю**, негр – к священному фетишу, мобед парсов – к духам природы и стихиям; но только как же очищен, как облагорожен орфический гимн природе, и уже одним тем, что слова его и образы – это слова и образы греческого языка! И насколько же приятнее, насколько воздушнее греческая мифология, со временем сбросившая с себя даже узы непрестанного призывания божества, а вместо этого, как в гомеровских поэмах, начавшая рассказывать мифы о богах! И даже в космогонических сказаниях древние жестокие мифы были потеснены, вместо этого стали воспевать в них людей – героев и прародителей племен, тесно связывая их с древними мифами и образами богов. К счастью, древние творцы теогонии, нередко с помощью одного-единственного слова своего изящного языка, вплетали в генеалогию богов и героев столь превосходные, столь прекрасные аллегории, что когда впоследствии мудрецы пожелали развить их значение, присоединив к ним свои, более изысканные, представления, то всякий раз получалась новая, прекрасная ткань. Поэтому даже эпические певцы оставили со временем свои мифы о рождении богов, о штурмующих небеса гигантах, о подвигах Геркулеса и т.п. и вместо этого стали воспевать более человечные предметы, на пользу рода человеческого.

Наиболее знаменит среди этих эпических певцов Гомер, отец всех греческих поэтов и мудрецов, живших после него. Благоволением судьбы рассеянные по всем сторонам песнопения Гомера были вовремя собраны; их объединили в две целые поэмы[10], и по прошествии стольких тысячелетий ярко сияющие, словно несокрушимая обитель богов! Как бы пытаясь объяснить чудо природы, люди трудились над разрешением этой загадки, над разъяснением истоков Гомера***, а ведь он был просто сыном природы, благословенным певцом ионийского

---

* Heyne de fontibus et caussis errorum in historia Mythica: de caussis fabularum physicis: de origine et caussis fabularum Homericarum: de Theogonia ab Hesiodo condita etc.

** «Изображения народов Российской империи» Георги. Ч. 1.

*** Blackwell's Enquiry into Life and Writings of Homer, 1736. Wood's Essay on the original Genius of Homer, 1769[11].

побережья. Сколько певцов, подобных ему, навеки погибли, а они могли оспаривать у него славу, славу, которой удостаивается он, единственный. Ему строили храмы и почитали его как богоравного, однако наилучший культ Гомера – в том, что произведения его никогда не переставали воздействовать на греческий народ, не перестают и поныне – на всех, кто способен ценить его. Правда, предметы, которые он воспевает, – это, с нашей точки зрения, мелочи; боги и герои у него, со всеми их нравами и страстями, – это боги и герои сказаний прошлых веков и гомеровского времени; ограниченны у него знания природы и земли, мораль и воззрения на государство. Но вот что в истории человечества превращает Гомера в поэта единственного в своем роде, вот что делает его достойным бессмертия, если есть на Земле что-либо бессмертное, – это истина и мудрость, что все предметы его мира сплетают в одно целое, это твердость и четкость в изображении любого лица на его бессмертной картине, это мягкость и ненапряженность, с которой, словно бог, видит он всякий характер, повествуя о пороках, о доблестях, счастье и несчастье людей, и, наконец, это – музыка, что непрерывно стекает с его губ в двух его столь разнообразных больших поэмах, музыка, что вечно живет в его песнопениях, проникая всякий образ, звучание всех его слов.

Конечно, на греков Гомер воздействовал совсем иначе, чем на нас, ибо от нас бывает ему наградой и вымученное холодное удивление или даже холодное презрение; не то было у греков. Им он пел на языке живом, совершенно не считаясь с тем, что позднее назвали диалектами [12]; он воспевал подвиги предков, патриотически выступал против врагов и при этом называл поименно роды, племена, города, местности, все то, что или лежало у всех перед глазами как общее достояние и обладание, или же жило в памяти, гордящейся праотцами. Для греков Гомер был божественным вестником национальной славы, источником многогранной мудрости народной. Более поздние поэты шли за ним; поэты трагические заимствовали у него фабулы, поучительные аллегории, примеры и сентенции; и каждый, кто был первым в новом поэтическом жанре, брал за образец своего труда искусное здание его поэм, так что вскоре Гомер сделался знаменем греческого вкуса, а для более слабых умов – нормой всей человеческой мудрости. И на римских поэтов он воздействовал, и без него не было бы «Энеиды». И более того: и он, он тоже, помог вытащить новые народы Европы из варварства, – сколько юношей наслаждалось, читая его радостью пластического творчества, сколько тружеников и созерцателей черпали в нем правила вкуса и знание людей. Но коль скоро нельзя отрицать, что всякий великий человек порождал злоупотребления, когда талантами его начинали восхищаться сверх всякой меры, то и добрый Гомер не был свободен от этого, и сам удивился бы более всех, если бы, вновь явившись на эту Землю, увидел, во что превращала его та или иная эпоха. Если говорить

о греках, то тут Гомер с большой силой закрепил мифы, которые, не будь его, люди вскоре, по всей вероятности, перестали бы рассказывать; а так рапсоды перепевали Гомера, мелкие и холодные поэты подражали ему, а энтузиазм греков, восхищавшихся своим Гомером, стал в конце концов столь пустым, слащавым и деланным, как ни у какого другого народа по отношению к его поэтам. Бесчисленные сочинения грамматиков о Гомере по большей части утрачены, иначе мы увидели бы, какой неблагодарный труд возлагает Бог на позднейшие поколения, посылая народу выдающихся людей; впрочем, разве в новые времена мало примеров ложного толкования и применения Гомера? Но при этом одно несомненно: человек, подобный Гомеру, был для народа великим культурным даром – в те времена, когда он жил, и для того народа, для которого были собраны его песнопения; таким даром не может похвастаться ни один народ. У восточных людей нет своего Гомера; не являлся Гомер и европейским народам – вовремя, в пору их весеннего цветения. Даже и Оссиан[13] не был Гомером для своих шоттов, а выпадет ли вторично такое счастливое число и подарит ли судьба нового Гомера обитателям островов Федерации, этой Новой Греции, и не поведет ли он свой народ так же далеко, как древний его близнец – свой, – обо всем этом следует вопросить судьбу.

Итак, коль скоро греческая культура вышла из мифологии, поэзии и музыки, не приходится удивляться и тому, что вкус к ним навсегда остался основной чертой их характера, такой чертой, которой отмечены и самые серьезные их сочинения и самые серьезные их начинания. Если греки говорят о музыке как о главной составной части воспитания, если они трактуют музыку как великий инструмент государства и приписывают падению ее самые существенные последствия, то все это чуждо нашим нравам. Еще более странными кажутся нам похвалы, восторженные и почти уж экзальтированные, расточаемые танцам, мимическому и актерскому искусству – словно родным братьям поэзии и мудрости. Многие читавшие подобные похвалы полагали, что музыка греков была бог весть каким чудом, причем даже некоей совершенной системой, потому что восхваляемые ее эффекты совершенно недоступны нам. Но само применение музыки у греков показывает, что они в первую очередь отнюдь не стремились к научному совершенству музыки. Дело в том, что они и не пользовались музыкой как особенным искусством, и она лишь служила у них поэзии и танцу, мимическому и актерскому искусству. Вот в этом соединении искусств и во всем развитии греческой культуры и заключен главный момент, почему звуки музыки способны были производить такое впечатление. Поэзия греков вышла из музыки и охотно возвращалась к ней; даже возвышенная трагедия вышла всего-навсего из хоровой песни, и, подобно тому, древняя комедия, общественные увеселения, идущее на битву войско и радости домашних пиров редко обходились у греков без музыки и пения, а игры – без танцев. Но и в

этом отношении между провинциями существовали большие различия, потому что Греция состояла из многих государств и племен; времена, различия в ступенях культуры и роскоши внесли сюда еще больше перемен, а в целом сохраняло свою верность то положение, что греки всегда рассчитывали на совместное действие названных искусств и более всего ценили именно их совместное действие. Вполне можно сказать, что и танец, и поэзия, и музыка – у нас совсем иные, чем у греков. У них все эти искусства были лишь одним художественным творением, одним цветком человеческого духа, а бесформенные ростки его замечаем мы и у всех диких народов, если они отличаются приятным и легким характером и живут в благотворном климате. Смешно переноситься в пору юношеского легкомыслия, если уж юность прожита, смешно скакать вместе с юношами хромому старику, но стоит ли сердиться старику на юношей, если те бодро пляшут и танцуют? Культура греков как раз и пришлась на такую пору юношеских радостей, из искусств, подобающих такому возрасту, греки сделали все, что можно было сделать, а потому они и достигли этого эффекта, самую возможность которого трудно даже вообразить нам с нашими недугами и с нашими натянутостями. И я сомневаюсь даже, бывает ли более значительный момент тонкого чувственного воздействия на человеческую душу, чем доведенная до совершенства высшая точка соединения искусств, особенно если души воспитаны и образованы для таких восприятий и если они живут в живом мире таких впечатлений. Итак, если уж сами мы не можем быть греками, давайте лучше радоваться тому, что были некогда греки и что, как и для всякого цветка человеческих дум, и для этого цветка тоже нашлось свое время и место и он мог достичь самого прекрасного своего развития.

Сказанное выше позволяет предположить, что на многие роды художественного творчества греков мы смотрим как на тень былого, а потому наверняка заблуждаемся даже и при самом тщательном их истолковании, – таковы греческие искусства, связанные с живым представлением – с музыкой, танцем и языком жестов. Театр Эсхила, Софокла, Аристофана и Еврипида – не то самое, что наш театр; в собственном смысле слова греческая драма не являлась второй раз ни у какого народа, сколь бы превосходные драмы ни создавали другие нации. И оды Пиндара, без пения, без торжественных ритуалов и возвышенных представлений греков о своих играх, кажутся нам какими-то извержениями опьяненного духа; и даже диалоги Платона с их музыкой слов и великолепно составленными образами и словами не случайно вызвали наибольшее число возражений именно в тех своих местах, где они облечены в наиболее искусную форму. Поэтому нужно, чтобы греков учились читать юноши, – старики редко склонны смотреть на них и усваивать их соцветия. Пусть воображение греков иной раз брало верх над рассудком, пусть тонкая чувственность, в

которой видели они суть доброго воспитания, перевешивала иногда доблесть и разум, – будем ценить их, и не делаясь оттого греками. И нам еще есть чему поучиться у них – самой форме выражения мысли, их прекрасной мере и четкости выражения, естественной живости чувств и, наконец, полнозвучному ритму их речи, с которой ничто не сравнилось никогда и нигде.

III. Греческие искусства

Отличавшийся подобным умонастроением народ и во всех искусствах повседневной жизни не мог не восходить от необходимого к прекрасному и приятному; во всем присущем им греки, можно сказать, достигли высшей точки развития. Религия греков требовала статуй и храмов, а строй греческих государств вынуждал возводить памятники и общественные здания; климат и образ жизни, занятия, роскошь, тщеславие – все это пробуждало потребность в разнообразных произведениях искусства. И Гений красоты научил их создавать такие художественные творения и, единственный раз во всей истории человечества, помог достичь в них совершенства, а если самые чудесные создания такого рода и были разрушены уже в давние времена, то мы не перестаем восхищаться даже самими руинами и осколками их.

1. Из перечня художественных произведений греков у Павсания, Плиния и в любом каталоге их фрагментов видно, что религия весьма способствовала развитию греческого искусства; этот момент соответствует у греков всей истории народов и человечества. Повсюду, на целом свете, люди желали видеть глазами предмет своего поклонения, и везде, где этого не запрещал закон или сама религия, люди стремились представить себе бога или воплотить его в образе. Даже у негритянских народов бог присутствует в фетише, а если говорить о греках, то известно, что представления их о богах брали в седую старину начало с какого-нибудь камня или особым образом отмеченной колоды. Но, конечно, деятельный народ не мог застрять на такой нищете представлений; колода превратилась в герму или статую, а поскольку нация была разделена на множество племен и народностей, то естественно, что каждому племени хотелось получше разукрасить изображение своего домашнего и родового божка. Успешные опыты древних Дедалов и, вероятно, увиденные собственными глазами художественные произведения соседних народов пробудили жар подражательства, и вот вскоре целые племена, целые города узрели бога своего, величайшую святыню всей округи, в куда более пристойном виде. Древнейшее искусство поднялось на ноги и, так сказать, научилось ходить, учась изображать своих богов*, – вот почему народы, которым

* См. «Историю искусства» Винкельмана[14]. Ч. I. Гл. 1, и исправления и дополнения к этой истории Гейне в «Немецких сочинениях гёттингенского общества». Ч. I. С. 211 сл.

запрещено изображать бога, никогда не поднимались на значительную высоту в изобразительном искусстве.

Но если боги вступили в Грецию под звуки песен и поэм, если они обитали здесь в своем великолепном облике, что может быть более естественного, чем то, что изобразительное искусство с самых ранних времен стало сыном Поэзии и что мать, Поэзия, воспевала такие великие образы и они как бы проникали в самую душу сына? Только от поэта мог узнать художник историю богов, а следовательно, и способ их изображения: вот почему самое древнее искусство не останавливалось даже перед самыми жуткими образами[15], потому что такие же страшные картины пел и сам поэт*. Со временем же художники перешли к более приятным представлениям, потому что и сама поэзия стала более приятной; вот тогда-то и пришел Гомер, родитель более прекрасного искусства, родитель и более прекрасной поэзии. Гомером подсказана Фидию возвышенная идея Юпитера[16], а вслед за Юпитером появились и все другие образы этого божественного художника. В согласии с родственными отношениями между богами, как рассказывали о них поэты, и образы приобрели более определенный, конкретный характер, иной раз даже черты семейного сходства, и вот, наконец, вся воспринятая художником поэтическая традиция сложилась в своего рода кодекс божественных фигур, в кодекс, обязательный для всего царства искусств. Поэтому такого искусства, как у греков, и не могло быть ни у одного народа древности, если не было у него и греческой мифологии и поэзии, если он не обрел свою культуру тем же путем, что и греки. Но другого такого народа история не знает, и потому греки со своим гомеровским искусством ни на кого более не похожи.

Этим, следовательно, и объясняется идеальность творений греческого искусства – они возникли не из глубокой философии его творцов и не из идеального телосложения греков, а возникли по причинам, только что изложенным у нас. Без сомнения, весьма благотворным обстоятельством явилось то, что в целом греки были хорошо сложены, хотя и нельзя думать, что красив был каждый отдельный грек – как своего рода идеальная художественная фигура. У греков, как и повсюду на свете, изобилующая формами природа не переставала творить тысячекратные вариации человеческих тел, а согласно Гиппократу, и у прекрасных греков были всякие болезни и изъяны, обезображивавшие тела. Но если и согласиться со всем этим, если даже вспомнить о предоставляющихся художнику бесчисленных сладостных возможностях превратить прекрасного юношу в Аполлона, а Фрину или Лайду – в богиню красоты, то и все это еще не объяснит нам воспринятого художниками и объявленного правилом божественного идеала искусства. Голова Юпитера, по всей вероятности, вообще не могла существовать в природе, как в нашем

* См. «О ларце Кипсела» Гейне и др.

реальном мире никогда не существовал гомеровский Юпитер. Великий анатом-рисовальщик Кампер ясно показал*, что художественный идеал формы у греческих художников основан на измышленных правилах; но к этим правилам могли повести лишь представления поэтов и сама цель – благоговейное поклонение богу. Итак, если хотите пробудить к жизни новую Грецию, целый мир их божественных образов, так дайте народу верования греков – их поэтическую мифологию, со всем, что относится сюда, со всей ее простотой и естественностью. Но достаточно будет поездить по Греции, посмотреть на ее храмы, гроты и священные рощи, чтобы отказаться от такой мысли – пожелать народу высот греческого искусства; ведь ни один народ не имеет представления о подобной религии, о подобных верованиях и суевериях, что всякий город, всякое поселение, всякий уголок наполняли священным присутствием бога, стародавнего бога племен.

2. Сюда же относятся и героические сказания греков, особенно сказания, повествующие о родоначальниках племен, ведь и в героев вдыхали душу поэты, и герои нередко жили в вечных песнопениях; изображавший их художник воспроизводил их подвиги, проникнутый, так сказать, религией предков, он творил для племени, чтобы племя, видя доблести предков, гордилось ими и радовалось им. История самых древних художников, все художественные произведения греков это подтверждают. Память предков увековечена в надгробиях, щитах, алтарях, капищах, в храмах, и работа над созданием всех этих предметов и зданий с давних пор занимала художника; так было у многих греческих племен. Все воинственные народы украшали и расписывали свои щиты, но греки пошли дальше: они или вырезали на щитах, или исполняли на них литые фигуры и рельефы – в память о предках. Таковы были создания Вулкана по описанию очень старых поэтов, таков же был и изображавший подвиги Персея щит Геркулеса у Гесиода[17]. И такие картины были не только на щитах, но находили для себя место и на алтарях, воздвигаемых героям, и на племенных реликвиях, каков, например, ларец Кипсела: выполненные на нем фигуры – вполне во вкусе Гесиодова щита. Рельефы с подобными сюжетами существовали уже во времена Дедала, а поскольку многие храмы богов первоначально были надгробиями**, то воспоминания о предках, о героях и о богах так сблизились, что это, можно сказать, был один культ и, по крайней мере для искусства, одно побуждение к творчеству. Вот почему подвиги героев нередко изображались на одеждах богов, по сторонам тронов и алтарей; вот почему памятники умершим нередко ставились на пло-

* Собрание «Малых сочинений» Кампера. С. 18 сл.

** Как, например, храм Паллады в Лариссе был могилой Акризия, храм Минервы Полиады в Афинах – могилой Эрихтония, трон Аполлона Амиклея – надгробием Гиацинта и т.д.

щадях городов, а гермы и статуи – на могилах. А если прибавить сюда и несказанное число художественных произведений, которые выставлялись в храмах богов как приношения семейств, родов, частных лиц, в знак памяти или во исполнение обета, и которые, согласно с принятым обычаем, нередко тоже разукрашивались картинами из истории племени или подвигов героев, – какой другой народ мог похвалиться такой причиной, побуждающей к творчеству и создающей самое разнообразное, самое многогранное искусство? Что по сравнению с этим наши теперешние залы с фамильными портретами, с развешанными по стенам изображениями забытых предков, – ведь вся Греция полнилась сказаниями, песнями о своих богах и героях, повсюду в Греции были посвященные героическим предкам места. Решительно все связывалось в Греции с дерзкой идеей: боги – это высшие люди, родственные народу, а герои – это низшие боги, и представление это сложилось у греческих поэтов. Прославлению греческих родов и отечества служили и греческие игры, которые тоже способствовали расцвету искусства: они учреждались героями, но учреждались одновременно в память о них, а при этом были и культовым обрядом, в высшей степени благоприятным для развития и изобразительного искусства и поэзии. Не только потому, что юноши, нередко обнаженные, упражнялись в различных состязаниях, в ловкости и умениях, служа живыми моделями для художника, но, главное, именно благодаря таким упражнениям тела их и приуготовлялись к воспроизведению средствами изящного искусства, а юношеские победы закрепляли в памяти славу семейств, отцов, героев. По Пиндару, из самой истории мы знаем, как высоко ценились во всей Греции победы, одержанные на играх, сколь ревностно стремились греки одержать такую победу в состязании. Победа была честью для всего города, где жил победитель; боги и герои седой древности нисходили к роду его. Такими представлениями проникнут весь внутренний строй пиндаровых од, этих художественных творений, которые сам он ставил превыше статуй и скульптур. Вот почему такой честью были и надгробия и статуи, обычно идеальные изображения, воздвигаемые в честь победителя. Подражая со всем рвением души своим героическим предкам, грек становился как бы богом, возвышался над всеми людьми. Где теперь подобные игры, с тем же достоинством, с тем же влиянием?

3. И строй греческих государств тоже способствовал расцвету искусства – не столько тем, что государства эти были свободными, сколько тем, что они нуждались в художниках для исполнения значительных работ. Греция была разделена на множество государств, и искусство всегда находило здесь пищу для себя, независимо от того, управлялись ли государства царями или архонтами. Ведь и цари были греками, а потому и художественные потребности, определявшиеся религией и племенными сказаниями, были их потребностями; цари нередко были

и верховными жрецами. Так и в убранстве царских дворцов издревле, о чем рассказывает еще Гомер, выделялись драгоценные дары сородичей и друзей-героев. Впрочем, республиканский строй, со временем установившийся на всей территории Греции, давал искусству больший простор. Нужны были здания для народных собраний, для хранения государственной казны, для совместных упражнений, для развлечений, и так в Афинах возникли великолепные гимнасии, театры и колоннады, Одеон, Пританей, Пникс и т.д. Поскольку в греческих республиках все совершалось от имени народа или города, то никогда и не могло быть чрезмерных затрат, потому что все средства шли на хранящих город божеств или на прославление государства; напротив того, отдельные граждане, даже и знатные, могли довольствоваться более простыми домами. Этот дух общности, когда все, по крайней мере наружно, делалось на пользу целого, составлял самую душу греческих государств, и именно эту черту, вне всякого сомнения, имел в виду Винкельман, когда прославлял эпоху свободных греческих республик как золотое время искусства. Величие и роскошь не были поделены в них между гражданами, как в новое время, а сливались воедино в общих целях государства. Картинами общей славы улещал афинский народ Перикл, который для искусства сделал больше, чем десять афинских царей. Все построенное им отличалось возвышенным вкусом, ибо принадлежало богам и вечному городу; и, конечно, лишь немногие из греческих городов и островов стали бы возводить такие постройки, стали бы поощрять подобного рода искусства, не будь они сами государствами совершенно отдельными, независимыми, соревнующимися между собой в славе. А поскольку в демократической республике вождь народа должен был нравиться толпе, что следовало избрать ему, если не большие траты средств, – они были и угодны покровительствующим божествам, и бросались в глаза народу, и кормили множество людей.

Никто не сомневается в том, что такие щедрые траты приводили и к последствиям, от которых человечество предпочтет отвернуть свой взор. Жестокость, проявленная Афинами в обращении с побежденными народами, угнетение своих же собственных колоний, те разбойничьи походы и войны, в которые беспрестанно ввязывались греческие государства, тяжелый труд, который должны были выполнять для государства его граждане, – это и многое другое, по всей видимости, отнюдь не превращало греческие республики в такой идеал, о котором можно только мечтать; но даже и все тяготы шли на пользу общественному искусству. Храмы богов обычно чтили даже враги, но и в переменах судьбы храмы, разрушенные неприятелем, еще прекраснее восставали из пепла. За счет захваченных у персов сокровищ были прекраснее прежнего отстроены Афины, и после всех успешных войн часть принадлежащей государству добычи обычно приносилась на алтарь того или иного искусства. Даже в гораздо более поздние времена опустошенные

римлянами Афины продолжали поддерживать величие своей славы, тут строились здания, воздвигались памятники, ибо и императоры, и цари, и герои, и просто богачи стремились поддержать и украсить город, во всем признававшийся ими материнским лоном доброго вкуса. И под пятою македонской империи греческое искусство, видим мы, не вымирает, а только странствует. И в далеких землях греческие цари не переставали быть греками и любили художества греков. Александр и наследники его выстроили в Африке и Азии множество великолепных городов; римляне и другие народы тоже учились у греков, когда время греческого искусства на родине уже прошло: ибо повсюду на Земле было лишь одно греческое искусство, одна греческая архитектура, единые, неповторимые.

4. Наконец, климат Греции тоже питал изящные искусства, не потому, что телосложение людей было прекрасно, ибо оно зависит не столько от широт, сколько от породы, а потому, что положение Греции было благоприятно, – тут были и материалы искусства, и произведения искусства можно было выставлять на открытом воздухе. Прекрасный мрамор с Пароса и другие сорта мрамора всегда были в распоряжении греков; слоновую кость, медь и вообще все необходимое для искусства давала торговля, причем Греция оказалась как бы в центре торговых путей. В известном смысле торговля даже обогнала развитие искусства, потому что греки могли обладать такими драгоценностями, привезенными из Малой Азии, Финикии и других стран, которых сами они еще не умели выделывать. Итак, росток их художественных дарований рано прорезался на свет, особенно в связи с тем обстоятельством, что близость к Малой Азии, к колониям Великой Греции пробуждали в греках вкус к роскошной и изнеженной жизни, а такой вкус мог только способствовать развитию искусства. Греки с их легким характером были весьма не склонны тратить свой труд на строительство никому не нужных пирамид, и отдельные города и государства тоже никак не могли бы пристраститься к такой пустопорожней колоссальности. И поэтому греки даже и в самых крупных своих созданиях, за исключением, может быть, только колосса с острова Родос[18], всегда угадывали прекрасную меру, где возвышенное соединяется с изящным и прелестным. А светлое небо предоставляло им так много удобных поводов для этого! Небо позволяло разместить на открытом воздухе статуи, алтари, храмы, и под небом Греции вместо безжизненной стены Севера могла стройно и изящно возвышаться прекрасная колонна, непревзойденный образец меры, правильности и простоты.

А если свести воедино все эти обстоятельства, то станет ясно, что в Ионии, Греции, на Сицилии, в их искусстве, и мог проявиться легкий и верный дух, которым отмечены все создания греческого вкуса. По одним правилам этот вкус не изучить, но он сказывается в следовании правилам и, будучи легким дуновением, исходившим из уст благосло-

венного Гения, со временем, в результате непрерывных усилий, мог становиться еще и умением. И самый дурной греческий художник по своей манере все еще грек; мы можем превзойти его, но генетического склада греческого искусства нам никогда не обрести: гений тех времен принадлежит прошлому.

IV. Нравственная и государственная мудрость греков

Нравы греков были столь же различны, сколь различны были по степеням культуры и по целому ряду счастий и несчастий, в которые вверг их случай, сами греческие племена и области с характерным для каждой образом жизни. Так непохожи друг на друга жители Аркадии и Афин, Ионии и Эпира, Спарты и Сибариса, что нет у меня такого искусства, чтобы мог я нарисовать обманчивую картину целого, где все отдельные черты больше противоречили бы друг другу, чем нарисованный Парразием* образ афинского демоса. Итак, не остается ничего иного, как отметить вехи того пути, по которому пошли в своем развитии нравы греков, и посмотреть, как уживались эти нравы с укладом греческих государств.

Как и у всех народов мира, наиболее древняя культура греков по преимуществу вышла из религии и еще долгое время держалась прежней колеи. Издревле были заведены обычаи и правила, призванные укротить полудикий народ и постепенно воспитать в духе гуманности не знавших культуры людей**, – таковы обряды и ритуалы, которые в различных мистериях досуществовали до весьма цивилизованной эпохи: это священные обязанности гостеприимства и защиты несчастных, молящих о помощи, это святость очага, храма, могил, это вера в фурий, мстящих в нескольких поколениях даже за невольное убийство, вера в проклятие, настигающее целую страну, если только кровь убитого не отмщена, это обряды очищения от греха и примирения с богами, это голос оракула, ненарушимость клятвы и т.д. Сколь успешно сыграли свою роль такие обычаи, можно видеть, сравнивая греков с другими нациями, ибо невозможно отрицать, что не что иное, как именно такие обряды подвели греческий народ не только к вратам философии и цивилизации, но и ввели его в самые недра святилища. Один дельфийский оракул, – сколько пользы принес он грекам! Сколько тиранов и злодеев обличил его божественный голос, возвестив им судьбу их и отвергнув их; сколько несчастных спас

---

* «Pinxit Demon Atheniensium argumento quoque ingenioso: volebat namque varium, iracundum, iniustum, inconstantem, eundem exorabilem, clementem, misericordem, excelsum, gloriosum, humilem, ferocem fugacemque et omnia pariter ostendere». Pirn. hist. nat. I 30, c. 5[19].

** Heyne de primorum Graeciae legumlatorum institutis ad morum mansuetudinem in opusc. academic. Part I. P. 207.

он, сколько советов подал отчаявшимся, сколько благих намерений укрепил своим священным авторитетом, сколько творений искусства и Муз прославил, сколько нравственных изречений и политических правил освятил! Неуклюжие вирши оракула принесли больше пользы, чем самые гладкие стихи позднейших поэтов, а величайшее влияние в Греции оракул приобрел благодаря тому, что взял под защиту высшее греческое собрание, судей Греции – амфиктионов[20] и приговоры их объявил как бы религиозными законами. Суд амфиктионов* был предложен спустя столько веков в качестве единственного средства положить начало вечному миру в Европе, а у греков он уже существовал, и он был у греков близок к престолу бога мудрости и истины, который освящал его своим неземным авторитетом.

Помимо религиозных сюда же относятся и все те обычаи, которые выросли из обрядов праотцев и сохраняли память о предках в потомстве; они постоянно влияли на нравственное развитие греков. Так, например, разнообразные общественные игры придавали весьма специфическую направленность греческому воспитанию, поскольку физические упражнения составляли основное их содержание, а приобретаемые благодаря им достоинства привлекали к себе внимание целой нации. Ни одна ветвь не приносила лучших плодов, чем веточка маслины, плюща или сосны, что венчала победителей на играх. Благодаря этой веточке юноши становились здоровыми, бодрыми, красивыми; члены тела обретали гибкость, стройность, изящество; она раздувала в их душах искорки любви к славе, даже к славе посмертной, она оттискивала в их душах печать нерушимо твердого стремления жить для общества, на пользу города и всей страны; и, наконец, что наиболее ценно, она закладывала в них вкус к мужскому обществу, к мужской дружбе, вкус, столь выделяющий греков среди всех народов. Женщина в Греции не была той единственной наградой, борьбе за которую посвящал бы всю свою жизнь юноша; и самая прекрасная на свете Елена могла бы воспитать лишь Париса, если бы обладание и наслаждение ею было исключительной целью всей мужской доблести. Женщины и в Греции явили прекрасные образцы добродетели, и все же они оставались лишь второстепенной целью для мужчины; мысли юноши устремлялись к более возвышенным идеалам: узы дружбы, связывавшие юношу с его друзьями или с опытными мужами, увлекали его в такую школу, какой не могла дать им Аспазия. Отсюда во многих государствах Греции любовь между мужчинами, с такой жаждой соревнования, с взаимным обучением, любовь долговечная и жертвенная, любовь, о чувствах, о проявлениях которой мы узнаем из Платона, словно читая роман о людях с другой планеты. Мужские сердца соединялись в любви и дружбе, нередко до гробовой доски: влюбленный преследовал своего любимца своего рода

* См. Oeuvres p. St.-Pierre. T. I[21], почти во всех его сочинениях.

ревностью, отыскивая и всякий самый незначительный изъян в нем, а любимец его остерегался взглядов влюбленного словно пламени, очищающего самые сокровенные влечения его души. Для нас слаще всего дружба юных лет, и нет более стойкого чувства, чем любовь к тем, с кем в лучшие годы нашей жизни, когда просыпались спящие в нас силы, мы упражнялись на одном поприще совершенства, – так и грекам было предустановлено поприще гимнасий, сражений и государственного управления, а естественным следствием этого была священная толпа друзей, влюбленных. Я далек от того, чтобы умалчивать о нравственной порче, причиной которой были злоупотребления обычаем, особенно в тех местах, где упражнялись нагие юноши; но, к несчастью, и сами злоупотребления тоже заложены были в характере нации, и непорядки такого рода становились неизбежными вследствие пылкого воображения, почти безумной любви ко всему прекрасному, той любви, в которой видели греки высшее наслаждение богов. Совершаемые втайне, те же пороки возымели бы куда более гибельные последствия, – это показывает нам история всех народов изнеженной культуры, живших в жарких странах. Поэтому пламя, тлевшее в душе, более свободно вырывалось наружу благодаря заведенным обществом обычаям и ритуалам, но оно тут же оказывалось под надзором закона, не дававшего ему разгореться в полную силу и использовавшего это пламя на благо государства, как действенную пружину всех его начинаний. И последнее. Коль скоро трехсоставная Греция, страна, расположенная в двух частях света, делилась на множество племен и государств, то нравственная культура каждого племени не могла не быть его генетической принадлежностью, а благодаря этому и политические формы и формы цивилизации, возникавшие тут и там, должны были бесконечно разнообразиться, – уже это одно объясняет нам все успехи нравственного воспитания в Греции. Самые легкие узы связывали между собой греческие государства, это был общий язык, религия, оракулы, игры, суд амфиктионов и т.д., греков связывало общее происхождение, поселения колонистов, наконец, и память о древних, совместно совершенных подвигах, их связывали поэзия и национальная слава, – и никакой деспот не налагал на них тяжких уз, ибо долгое время даже общие опасности счастливо миновали их. Так что все дело сводилось теперь к тому, из какого источника культуры будет черпать каждое племя, какие воды оно отведет к себе. Каждое племя и поступало по обстоятельствам, по потребности, а главное, в соответствии с образом мысли великих людей, которых посылала им пластическая мать-природа. Уже и при греческих царях благородные сыновья древних героев учитывали изменившиеся времена и были теперь столь же полезны своим народам законами, которые давали им, как отцы их – своей достославной храбростью. Не считая первых основателей колоний, среди царей-законодателей особенно выделяется Минос[22], в воинственном духе воспитавший обитателей Крита, этого

гористого острова, людей весьма воинственных, – Минос послужил образцом и для Ликурга. Минос первый усмирил морских разбойников, Эгейское море стало при нем безопасным для мореплавателей, он был первым основоположником греческих нравов на суше и на море – в самых широких пределах. Что в подобных начинаниях у него было немало единомышленников среди греческих царей, показывает история Афин, Сиракуз и других царств. Но, конечно, активность людей в деле политической цивилизации нравов приняла совсем иной размах, когда большинство греческих царств стало республиками, – это был перелом, одна из самых замечательных революций [23] в истории человечества. Только в Греции и был возможен подобный переворот: тут множество народов и под властью царей сохранили память о своем происхождении, о своей племенной принадлежности. Причем каждый народ видел в себе особое, отдельное государственное образование, которому, как и его предкам-кочевникам, дано полное право политически устраиваться, как ему будет угодно, – ибо ни одно греческое племя не запродано во власть царствующей династии! Но, конечно, перемены еще не означали, что новое правление будет непременно лучше прежнего; вместо царя власть почти повсеместно прибрали к рукам знать и богачи, так что во многих городах усилился беспорядок, а лежавший на народе гнет стал невыносимым; но между тем жребий был брошен, и люди, словно пробудившись от детских снов, учились размышлять о своем политическом строе. Итак, эпоха греческих республик стала первым шагом человеческого духа к зрелости – в деле важном: как людям управлять людьми. Поэтому на все безобразия и промахи, совершенные при существовавших в Греции формах правления, следует смотреть как на опыты юности, которая может учиться и умнеть только на ошибках.

Вскоре среди многих племен, обретших свою свободу, также и в колониях, выдвинулись мудрые люди, они стали опекунами народов. Они видели, от каких пороков страдает племя, и задумывались над способами лучшего устройства целого, как построить целое на всеобщих законах и нравах. Конечно, большинство этих древнегреческих мудрецов занимали общественные должности, были предводителями народа, советниками царей, военачальниками, ибо только от таких знатных людей, от аристократов, и могла исходить политическая культура, действенно влиявшая на низкий люд. Даже Ликург, Дракон, Солон принадлежали к первым семействам города, отчасти к его властям; в их времена пороки аристократического правления и недовольство народа возросли до крайности; вот почему то лучшее устройство государства, которое было предложено ими, было принято с такой готовностью. Бессмертна слава этих людей: опираясь на доверие народа, они отвергли высшую власть для себя лично, для своих семейств, а все свое знание людей и народов, весь свой труд обратили на общее дело, то есть посвятили его государству как таковому. А если первые опыты государственного устройства и не стали

высшими и вечными образцами – не в том дело! Место установленному ими строю – только там, где и осуществлялись эти попытки, да и здесь невольно приходилось примеряться к нравам племени и к глубоко укоренившимся в нем порокам. Ликург не был так связан в своих действиях, как Солон; однако он обратился к слишком древним временам и строил свое государство так, как будто мир весь век будет пребывать в героическом возрасте первоначальной юности. Он устанавливал законы, не дожидаясь результатов, и, быть может, самым чувствительным наказанием для его души было бы увидеть, какие последствия возымели его установления на всем протяжении греческой истории, – последствия, вызванные и злоупотреблениями, и чрезмерной долговечностью его законов; последствия эти касались и его страны, и всей Греции в целом. Вред от законов Солона произошел иным путем. Сам Солон уже пережил дух своих законов и заранее предвидел дурные последствия народного правления, и вплоть до последнего вздоха Афин они были очевидны для всех мудрых и лучших граждан его города*. Но такова судьба всех человеческих установлений, а в особенности самых трудных, касающихся целых стран и народов. Время и природа переменяют все, но разве жизнь людей не должна переменяться? Приходит новое поколение, а вместе с ним появляется на свет и новый образ мыслей, какими бы патриархальными ни оставались жизненный уклад и воспитание. Новые потребности и новые опасности, рост населения, преимущества побед, множащегося богатства, укрепляющегося понятия чести – все это стучится в дверь, а как вчерашний день может оставаться сегодняшним, ветхий закон – законом вечным? Закона придерживаются, но, видимо, только внешне и, к сожалению, прежде всего в злоупотреблениях, пожертвовать которыми было бы слишком тяжко для людей с их ленью и себялюбием. Такова судьба Ликургов, Солонов, Ромулов, Моисеев; таковы законы, пережившие свой век.

Вот почему так трогательно звучит голос этих законодателей в старости, ибо слышны в нем прежде всего жалобы. Ведь если они жили долго, то уже переживали свое время. Так звучит голос Моисея, так звучит и голос Солона в нескольких сохранившихся от него поэтических фрагментах, и если исключить изречения морального характера, то почти все размышления греческих мудрецов настроены на печальный тон. Они видели, что законы природы дают мало простора для счастья людей, для их изменчивой судьбы и что собственное поведение людей всюду внесло резкий хаос; вот что было причиной глубокой скорби мудрецов. Они сожалели о быстротечности человеческой жизни, о том, что юность так быстро отцветает, и, в противовес юности, рисовали картину нередко бедной и несчастной, всегда бессильной и презираемой старости. Они печалились о том, что наглые живут счастливо и добродушные терпят несчастья, но они не забывали внушать граж-

* «Об афинской республике» Ксенофонта; также см. Платона, Аристотеля и др.

данам своего мира, внушать кротко и трогательно, лучшие средства против зла – житейский ум и здравый рассудок, умеренность страстей и непрестанное усердие, согласие и дружескую верность, постоянство и твердость, почитание богов и любовь к отечеству. И этот скорбный голос кроткой гуманности слышен даже во фрагментах греческой новой комедии*.

Итак, несмотря на дурные, а иной раз и ужасные последствия, которые вытекали из устройства разных греческих государств для илотов, пеласгов, для колоний, чужестранцев и врагов, мы не можем не оценить по достоинству благородный дух общности, который был жив в Лакедемоне, Афинах, Фивах, – можно думать, в каждом греческом государстве в свое время. Верно сказать, и это вполне очевидно, что дух общности не вырос из отдельных законов, установленных отдельными людьми, и что в каждом сочлене государства он не был жив во все времена и всегда одинаковым образом; но верно и то, что дух этот все же был жив среди греков, и являют его нам и даже самые несправедливые, продиктованные завистью, войны греков, и даже само жестокое угнетение, и даже люди, бессовестно предававшие гражданские добродетели греков. Высшим принципом гражданской доблести все равно остается эпитафия павшим при Фермопилах спартанцам:

> Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне,
> Что, их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли[25].

Вспоминая этот принцип, мы, спустя два тысячелетия, можем только пожалеть, что разделяла его на этой земле всего лишь горстка спартанцев, верных жестоким аристократическим законам своей маленькой страны, и что ему никогда еще не удавалось стать началом, определяющим отношение всего человечества к чистым законам человечности. Сам по себе этот принцип – самый возвышенный из всех, какие могут придумать и осуществить люди ради своей свободы и счастья. Нечто подобное представляет собой афинский строй, хотя он и вел к совершенно иной цели. Ведь если просвещение народа во всех вещах, которые наиболее близко затрагивают его, может быть предметом гражданского установления, то Афины бесспорно были самым просвещенным городом в известном нам мире. Ни Париж, ни Лондон, ни Рим, ни Вавилон, ни тем более Мемфис или Иерусалим, Пекин или Бенарес не смогут оспаривать у Афин этого звания. Ведь патриотизм и просвещение – это два полюса, вокруг которых вращается вся нравственная культура человечества, а потому Афины и Спарта навсегда останутся двумя великими памятниками государственного искусства, впервые, по-юношески бодро, упражнявшегося здесь в достижении

* Об этом – в другом месте[24].

этих больших целей. Другие греческие государства обычно просто следовали за этими двумя, так что не желавшим следовать афинский или спартанский строй был попросту навязан победителями. А кроме того, философия истории человеческого рода обращает внимание не столько на то, что было действительно сделано слабыми руками людей за короткое время на этих двух полюсах Земли, сколько на то, что вытекает из самих принципов для всего человечества. Несмотря на все ошибки, вечно будут славны имена Ликурга и Солона, Мильтиада и Фемистокла, Аристида, Кимона, Фокиона, Эпаминонда, Пелопида, Агесилая, Агиса, Клеомена, Диона, Тимолеона, тогда как имена столь же великих людей – Алкивиада, Конона, Павсания, Лисандра – всегда будут произносить с упреком и порицанием, как имена людей, подрывавших дух общности или предававших свое отечество. И даже скромная доблесть Сократа вряд ли расцвела бы так в трудах некоторых из его учеников, не будь Афин, – потому что Сократ был просто гражданином Афин, и вся его мудрость была мудростью афинянина, и ее сеял он в своих домашних беседах. Итак, что касается гражданского просвещения, то одному-единственному городу – Афинам – мы обязаны самым лучшим и прекрасным во все времена.

Итак, коль скоро о практических добродетелях мы можем сказать сейчас лишь немногое, нам остается уделить некоторое время тем институтам общества, которые и стали возможны лишь благодаря народному правлению, установившемуся в Афинах; эти институты – ораторы и театр. Выступающие на суде ораторы – опасные пружины, особенно если затрагиваются государственные дела, требующие незамедлительного решения; дурные последствия такого заведения ясно сказались и в самой истории Афин. Но коль скоро существование ораторов предполагает и народ, который будет разбираться во всяком излагаемом в его присутствии деле общественной важности или, по меньшей мере, будет способен усвоить относящиеся к этому делу сведения, то в этом отношении афинский народ, несмотря на все группировки, существовавшие в этом городе, до сих пор остается единственным во всей нашей истории народом, – и далеко до него даже римлянам. Конечно же, не делом самой толпы было выбирать или осуждать полководцев, решать вопросы мира и войны, жизни и смерти, высказываться по поводу государственных дел: однако коль скоро дела эти излагались перед народом, и ради этого ораторы употребляли все свое искусство, то даже и у дикой толпы открывались уши – и она усваивала просвещенный и политический дух разглагольствования, о котором и не слыхивали народы Азии. А вместе с тем и красноречие достигало таких высот, на какие никогда не поднималось, кроме как в Греции и Риме, – оно и не поднимется на такие высоты, если только произнесение речей перед народом не станет средством подлинного просвещения. Итак, цель ораторского искусства была, бесспорно, высока, но только и в

Афинах средство значительно уступало цели. То же можно сказать и об афинском театре. Тут играли драмы для народа, сообразные с его интересами, возвышенные, глубокомысленные; вместе с Афинами ушла в прошлое и история этого театра, потому что никогда уже не будет вновь ни этого тесного круга мифов, ни тех же страстей, ни прежних намерений воздействовать на народ, – ничего подобного не повторится при ином политическом строе, среди смешанной толпы людей иной человеческой породы. Итак, не следует прилагать меру абстрактной морали к греческой цивилизации – ни к ее политической истории, ни к ее ораторам и драматическим поэтам, потому что такая мера не лежит в основе всех этих явлений*. История показывает, что греки, в каждый отдельный момент своего существования, были всем, чем могли быть в данных обстоятельствах, – добрыми и дурными. Оратор показывает, какими видел он спорящие стороны, какими представлял их в соответствии с поставленной перед собой целью. И, наконец, театральный поэт переносил в свою пьесу образы седой древности или рисовал их такими, какими хотел их представить, сообразно со своим призванием, – представить вот этим и никаким другим зрителям. Делать выводы о нравственности или безнравственности всего народа – безосновательная затея; однако никто не усомнится в том, что в известные периоды своей истории, в известных городах, греки, если судить по доступному им тогда кругу предметов, были самым умелым, легким и просвещенным народом древнего мира. Из афинских граждан выходили полководцы, ораторы, софисты, судьи, художники, государственные деятели, как того требовали воспитание, склонность, выбор и судьба вместе со случаем; нередко в одном греке сочеталось много прекраснейших достоинств доброго и благородного человека.

V. Научные занятия греков

Если навязывать народу чуждый ему идеал науки, невозможно оценить сделанное им по заслугам; как со многими народами Азии, так бывало и с греками; их осыпали упреками и похвалами, часто одинаково несправедливыми. Так, греки и не подозревали о существовании догматических учений о Боге и душе; их изыскания в этой области оставались частными мнениями, и такие мнения были дозволены, если только философ соблюдал религиозные обряды своей страны и никакие политические партии не стояли у него на пути. Что касается этих последних, то человеческий дух в Греции, как и повсюду, должен был завоевать для себя простор, завоевать в борьбе, но он в конце концов и завоевал такой простор для своей деятельности.

---

* См. Введение Джиллиса к переводу речей Лисия и Исократа[26], а также сочинения других ораторов и поэтов, которые ценились в Греции.

Греческая мудрость вышла из древних сказаний о богах, из теогонии; тонким духом нации сочинено на эту тему удивительно много. Рождение богов, спор стихий, любовь и ненависть живых существ – все эти поэтические создания были развиты разными школами в самых различных направлениях, так что можно было бы сказать, что греки не отстают и от нас, – когда мы сочиняем космогонию, не прибегая к помощи естественной истории. Нет, в известном отношении они были впереди нас, поскольку ум их был более свободен, и никакая заранее заданная гипотеза не определяла им цели. Ведь даже числа Пифагора и других философов – это смелые попытки сочетать знание о вещах с предельно чистым понятием, доступным человеческой душе, с отчетливо мыслимой величиной; но поскольку и естествознание, и математика были тогда еще в детском возрасте, то попытки эти были преждевременны. Подобно системам многих греческих философов, они вызывают наше уважение; каждая из систем была по-своему глубоко продумана и разработана; в основе многих из них лежат истины и наблюдения, которые мы потеряли с тех пор из виду, что отнюдь не пошло на пользу науке. Так, например, детскому возрасту тогдашней философии вполне было сообразно – и, верно, всегда будет сообразно, – что ни один древний философ не мыслил себе Бога как некое расположенное вне пределов мира существо, как некую в высшей степени метафизическую монаду, но что все останавливались на понятии мировой души. Жаль только, что мнения самых дерзновенных философов известны нам по пересказам, искажающим их мысль, а не по их собственным сочинениям в связном изложении; но еще больше приходится пожалеть, что мы не любим переноситься в их время, а предпочитаем приспособлять их к нашему образу мысли. У каждой нации есть свой способ видения всеобщих понятий, способ, заложенный в форме выражения, короче говоря, вообще в традиции, а поскольку философия греков выросла из поэм и аллегорий, то эти поэмы и аллегории и придали их абстрактным представлениям своеобразный, очевидный и для самих греков отпечаток. Еще у Платона аллегории – не просто орнамент; образы его – словно классические изречения седой древности, они развивают, более тонко, мотивы древней поэтической традиции.

Но исследовательский дух греков склонялся по преимуществу к человеческой, к моральной философии, потому что таким путем вели их время и весь уклон жизни. Естественная история, физика, математика еще не были в достаточной степени разработаны, даже и в своих фундаментах, а инструменты наших новейших открытий еще не были изобретены. Поэтому все внимание было приковано к природе человека, к его нравам. Таков был тон, который царил в греческой поэзии, в истории и в государственном строе, – каждый должен был знать своих сограждан, каждый – заниматься время от времени общественными делами, чего

никоим образом нельзя было избежать; тогда для чувств, для творческих сил человека оставалось больше простора, и даже мимо праздного философа они не проходили совершенно незамеченными, а чертой, которая господствовала в то время в греческой душе, стремящейся ввысь, было желание управлять людьми или же деятельно творить, будучи живым звеном целого. Нет тогда ничего удивительного в том, что даже философия абстрактного мыслителя вся сводилась к воспитанию нравов и устроению государства, что доказывает пример Пифагора, Платона и даже Аристотеля. Гражданское призвание их состояло не в том, чтобы наводить порядок в государстве; Пифагор никогда не управлял, как Ликург, Солон и другие, он не был архонтом, и философия его в значительной своей части остается спекулятивной, иногда граничит даже с суеверием. Между тем в школе его выросли люди, оказавшие самое значительное влияние на государства Великой Греции, а если бы судьба даровала долговечность союзу его учеников, то союз этот стал бы самой деятельной и по меньшей мере весьма чистой побудительной причиной к совершенствованию мира*. Но и этот шаг человека, высоко поднявшегося над своей эпохой, был преждевременен: сибаритствующим городам Великой Греции, их тиранам не угодны были стражи их нравственности, и пифагорейцев убили[28].

Часто повторяют преувеличенные, на мой взгляд, похвалы человеколюбивому Сократу, будто бы он первым из всех свел философию с небес на землю и сдружил ее с нравственной жизнью людей; менее всего эта похвала относится к личности Сократа и тесному жизненному кругу его существования[29]. Уже задолго до Сократа жили мудрецы, философствовавшие деятельно и нравственно, ибо начиная с Орфея это было как раз отличительной чертой греческой культуры. И Пифагор благодаря своей школе положил гораздо более основательные начала воспитания человеческих нравов, чем было возможно для Сократа со всеми его друзьями. Что Сократ не любил отвлеченных материй, объяснялось его сословным положением, кругом знаний, а прежде всего временем и образом жизни. К этому времени исчерпаны были основанные на воображении и не обращавшиеся к естественнонаучному опыту системы, а греческая мудрость стала болтовней и фокусничеством софистов, так что не требовалось большой решимости, чтобы презирать и отбрасывать то, чего уже нельзя было превзойти. Демон[30] Сократа, его природная честность и обыденная жизнь горожанина хранили его от ложного блеска софистики. В то же время жизнь поставила перед Сократом подлинную цель человечности, что почти на всех, с кем он общался, возымело самое лучшее действие; но, конечно, для того чтобы могло проявиться подобное влияние, нужны были обстоятельства тогдашнего времени, места и тот круг

* См. «Историю наук в Греции и Риме» Мейнерса[27]; в части I – историю пифагорейского союза.

людей, в котором жил Сократ. В другом месте этот мудрец-горожанин оставался бы просто просвещенным и добродетельным человеком, и мы не услышали бы и его имени; ибо он не вписал в книгу времен ни нового учения, ни какого-либо нового открытия, а образцом для целого света стал лишь благодаря своему методу рассуждения и образу жизни, благодаря тому моральному облику, который придал он себе и пытался придать другим, но, главное, благодаря тому, как он умер. Нужно было обладать многим, чтобы стать Сократом, и прежде всего нужно было обладать превосходным умением жить, терпя лишения, нужен был тонкий вкус морально-прекрасного, вкус, который у Сократа возвысился до степени своеобразного инстинкта, –однако не нужно поднимать этого скромного, благородного человека над той сферой, которую определило для него само Провидение. У него было мало вполне достойных его учеников, именно потому что мудрость была как бы частью его домашней утвари, а его великолепный метод в устах учеников вырождался в пустые насмешки и софизмы, когда ироническому вопрошателю недоставало ума и сердца Сократа. И если взять двух самых благородных его учеников, Ксенофонта и Платона, и беспристрастно сопоставить их между собой, то можно увидеть, что Сократ по отношению к ним сыграл лишь роль повивальной бабки – любимое его выражение[31], – он помог выйти на свет их своеобразному духовному облику; вот почему и сам он так непохож в двух своих изображениях у этих философов. Самое замечательное у Ксенофонта и Платона идет, очевидно, от их собственного образа мысли, и лучшей благодарностью их любимому учителю было то, что они создали его моральный портрет. Конечно, было бы весьма желательно, чтобы дух Сократа через учеников его проник глубже – в законодательство и государственные устройства Греции; однако история свидетельствует о том, что этого не случилось. Жизнь Сократа пришлась на момент величайшего расцвета афинской культуры, но вместе с тем на время величайшей напряженности в отношениях между греческими государствами; и то и другое могло повлечь за собою лишь несчастья и дурные нравы, и весьма скоро они послужили причиной гибели греческой свободы. И от этой гибели не могла спасти Грецию никакая сократовская мудрость, ибо она была слишком чистой и тонкой, чтобы предрешать судьбу народов. Государственный деятель и военачальник Ксенофонт рисует дурное устройство государств, но он не способен изменить его. Платон сочинил идеальную республику, какой не было нигде[32] и которой тем более не могло быть при дворе Дионисия[33]. Короче говоря, философия Сократа принесла больше пользы человечеству, чем Греции, но это к вящей ее славе.

Совсем иным был ум Аристотеля, самый острый, твердый и сухой, какой когда-либо водил пером. Правда, философия его – не столько философия обычной жизни, сколько философия школьная, – такова

она прежде всего в тех сочинениях, которыми располагаем мы, если пользоваться ими так, как всегда пользовались; но тем больше выиграли благодаря ему чистый разум и наука, потому что в сфере науки и чистого разума Аристотель – словно монарх времен. Не вина Аристотеля, что схоласты обычно набрасывались на его «Метафизику» и этим ограничивались; и все же «Метафизика» невероятным образом отточила человеческий разум. Она предоставила в распоряжение варварских наций инструменты, с помощью которых темные сны фантазии и предания превратились поначалу в изощренные софизмы, а затем постепенно разрушили и самих себя. Но у Аристотеля есть сочинения получше[34] «Метафизики», это исследования естественной истории и физики, этики и морали, политики, поэтики и риторики, и они во многом еще ждут своего удачного применения[35]. Следует сожалеть, что исторические сочинения Аристотеля погибли, а от работ по естественной истории сохранились только фрагменты. Но тому, кто отрицает способность греков к чистой науке, стоит почитать Аристотеля и Евклида – писателей, которые в своей области никогда не будут превзойдены, ибо заслуга Платона и Аристотеля состоит еще и в том, что они пробудили дух естествознания и математики, такой дух, который, отбрасывая всякое морализаторство, обращается к самому значительному и основному и творит для всех времен. Ученики Платона и Аристотеля развивали и астрономию, и ботанику, и анатомию, и другие дисциплины, а сам Аристотель уже одной своей естественной историей заложил фундамент такого здания, которое будут строить не один еще век. В Греции была заложена и основа научного сознания, и основа всего прекрасного, но, к сожалению, судьба даровала нам столь немногие из сочинений самых глубоких и основательных мудрецов Греции! Оставшееся – хорошо, но самое лучшее, видимо, погибло.

Никто не ждет от меня, что я буду рассматривать по отдельности науки – математику, медицину, естествознание и все изящные искусства, называя длинный ряд имен тех, кто послужил опорой для всех грядущих времен, открывая и умножая знания во всевозможных областях. Общеизвестно, что ни Азия, ни Египет не дали нам подлинной формы знания ни в одной из дисциплин и что такой формой мы всецело обязаны греческому духу, всюду вносящему свой тонкий порядок. А поскольку лишь вполне определенная форма познания позволяет умножать и совершенствовать знания во все грядущие времена, то мы обязаны грекам фундаментом почти всех наших наук. Сколько бы чужих идей ни присвоили они себе, тем лучше для нас; довольно того, что они приводили их в порядок и стремились к ясному познанию. Множество греческих школ было в Греции тем же, что множество республик в их государственном организме, это были энергии, стремящиеся к общей цели и соревнующиеся друг с другом; не будь политической раздробленности Греции, и в науках они не сделали бы столь многого. Ионийскую,

италийскую и афинскую школы, несмотря на общий язык, разделяли страны и моря; каждая пускала свои корни, а пересаженная и привитая, приносила тем более прекрасные плоды. Ни одному из ранних мудрецов ни государство, ни ученики не платили денег, мудрец думал сам для себя, он открывал новое из любви к науке или из любви к славе. И учил он не детей, а юношей и мужей, нередко мужей, занятых важнейшими государственными делами. Тогда еще не писали книг в расчете на ярмарки ученой книготорговли, но думали тем дольше и тем углубленнее, тем более, что философ, живший в прекрасном климате Греции, живший умеренно, мог мыслить, не заботясь о пропитании, ибо нуждался лишь в самом малом.

Но мы не можем не воздать должное и монархии. Ни одно из так называемых свободных государств Греции не в силах было оказать Аристотелю нужной для разработки его естественной истории помощи, а такую помощь дал ему царственный воспитанник[36]; тем более не могли бы достигнуть таких больших успехов, как в Александрии, науки, требующие значительного времени и больших расходов, – астрономия, математика и другие, – в Александрии о них позаботились Птолемеи. Им, основанным ими учреждениям обязаны мы появлением Евклида, Эратосфена, Аполлония Пергея, Птолемея и других ученых, заложивших основы знаний, основы, на которых и в наши дни зиждется не только все здание учености, но и в известном смысле все наше мироздание. Значит, есть, видимо, польза и оттого, что вместе с республиками закончился период греческого ораторского искусства и моральной философии: они принесли свои плоды, но духу человечества важно было получить от греческих душ и ростки иных знаний. Поэтому нам нетрудно простить египетской Александрии ее поэтов*; плохие поэты возмещены умными людьми, умеющими наблюдать и считать. Поэтом становится каждый сам по себе, а научиться в совершенстве наблюдать можно лишь путем усердных трудов и упражнений.

Греческая философия далее всего продвинулась в изучении трех дисциплин – языка, искусства и истории, для которых едва ли найдется еще такая кузница, какой была Греция. Греческий язык благодаря поэтам, ораторам и философам стал по своему складу столь многогранным, богатым и красивым, что это орудие мысли продолжало привлекать к себе внимание и тогда, когда его нельзя уже было применить к прежним блестящим предметам общественной жизни. Отсюда искусство грамматиков, которые нередко были настоящими философами. Правда, бóльшую часть таких писателей похитило у нас время, и мы как-нибудь примиримся с их утратой, обладая более важными вещами, однако труды греческих грамматиков отнюдь не пропали даром, потому что благодаря изучению греческого языка началось изучение языка римского,

* Heyne de Genio saeculi Ptolemaeorum in opusc. acad. P. I. P. 76 seq.

а от этой искры пошла и вся философия языков мира. И в Переднюю Азию эта языковедческая наука пришла только из Греции, потому что сформулировать правила еврейского, арабского и других языков сумели только благодаря греческому. И о философии искусств подумали тоже только в Греции, потому что, следуя прекрасному природному влечению и усвоенной привычке вкуса, сами поэты и художники осуществляли на практике некую философию красоты, и аналитики искусства позднее просто позаимствовали у них их художественные правила. В результате невиданной конкуренции в сочинении эпопей, театральных пьес и речей не могла не сложиться со временем и критика, причем такая, что нашей критике далеко до нее. От критических сочинений, помимо Аристотеля, сохранились, правда, только некоторые отрывки, относящиеся к позднему времени, однако и они свидетельствуют об утонченной проницательности греческих критиков. И наконец, Греция – родной дом философии человеческой истории, потому что только у греков и есть история в собственном смысле слова. У людей восточных есть генеалогия и сказки, у людей северных – сказания, у других – песни; а грек из сказаний, песен, сказок и генеалогий сложил со временем проникнутое здоровым духом тело повествования, каждый член которого живет полнокровной жизнью. И здесь истории предшествовала древняя поэзия, ведь и сказку трудно рассказать приятнее и легче, чем эта поэзия рассказывала эпос; распределение материала между рапсодиями послужило образцом для подобных же разделений исторического повествования, а длинный стих гекзаметра сформировал благозвучие греческой прозы. Так, Геродот стал преемником Гомера, а позднейшие историографы республик взяли их краски, прибавили к ним республиканский ораторский дух и все это перенесли в свой рассказ. Поскольку в лице Фукидида и Ксенофонта история греков вышла из пределов Афин, а писатели эти были государственными деятелями и полководцами, то их историческое повествование не могло не стать прагматической историографией, хотя они отнюдь не старались придать ему подобный вид. Такую форму придали ему дух речей, произносимых перед народом, переплетение интересов греческих государств, живой облик вещей, живые пружины действия; можно смело утверждать, что без греческих республик на свете не было бы прагматической историографии. Чем больше развивалось искусство государственного управления, военное искусство, тем искуснее становился и прагматический дух истории, и, наконец, Полибий превратил историографию, если можно так сказать, в науку ведения войны и управления государством. Образцы подобного рода давали обильный материал для позднейших комментаторов, и, конечно, Дионисии[37] могли упражняться в основах исторического искусства получше какого-нибудь китайца, иудея и даже римлянина.

А коль скоро так богаты и счастливы были греки всякого рода упражнениями духа, созданиями поэтическими, ораторскими, философс-

кими, научными, историческими, что же ты, о Судьба времен, отказала нам в столь многом из этих богатств? Где «Амазония» Гомера[38], где его «Фиваида» и «Иресиона», где его ямбы, где «Маргит»? Где множество потерянных стихотворений Архилоха, Симонида, Алкея, Пиндара, где восемьдесят три трагедии Эсхила, сто восемнадцать Софокла и бессчетное число других сочинений трагиков, комиков, лириков, величайших мудрецов, самых нужных историков, самых замечательных математиков, физиков и т.д.? За одно сочинение Демокрита, Аристотеля, Феофраста, Полибия, Евклида, за одну трагедию Эсхила, Софокла и столь многих других авторов, за одну комедию Аристофана, Филемона, Менандра, за одну оду Алкея или Сапфо, за утраченные естественнонаучные и исторические книги Аристотеля, за Полибия в 35 книгах – кто не отдаст, и не отдаст с величайшей готовностью, целую гору новейших сочинений, и свои собственные прежде всего, чтобы целый год можно было топить ими александрийские бани[39]? Но у судьбы с ее железной пятой – иной путь, и она не считается с бессмертием отдельных научных трудов или художественных творений. Могучие афинские Пропилеи, храмы богов, роскошные дворцы, стены, колоссы, статуи, троны, акведуки, улицы, алтари – все, создававшееся древним миром для вечности, все пало жертвою яростных разрушителей, – так разве могли быть пощажены какие-то слабые листочки, свидетельства человеческих раздумий и трудов? Скорее еще приходится удивляться тому, что еще есть у нас, и, быть может, всего еще слишком много, так что мы далеко не всем воспользовались должным образом. Теперь же, чтобы разъяснить в целом рассмотренное по отдельности, поразмыслим над всей греческой историей; философия истории шаг за шагом, неотступно следует за ней, наставляя и поучая нас.

VI. История перемен, происходивших в Греции

Как бы ни изобиловала и ни усложнялась греческая история многочисленными переменами, совершавшимися в ней, все же нити ее сводятся к нескольким основным моментам, а естественный закон этих моментов вполне очевиден.

1. Для истории таких морских и прибрежных областей земли, как эти три составные части Греции с ее островами и полуостровами, характерно то, что еще в древности множество племен и колоний переселялись по суше и по морю с одного места на другое, основывали поселения, оттесняли друг друга. Но только в Греции все такие переселения совершались оживленнее, потому что поблизости находились северные горы, где жило много народностей, и рядом была и огромная Азия, а благодаря ряду случайных причин, о которых рассказывают легенды, в греческом народе всегда поддерживался смелый и предприимчивый дух. Такой была история Греции на протяжении почти семисот лет.

2. Между греческими племенами должна была постепенно распространиться культура, приходившая в Грецию от разных народов; это отвечает природе вещей и географическому положению страны. Культура спускалась к грекам с севера, она шла из соседних областей, где жили культурные народы, и закреплялась по-разному в разных местах. Наконец, эллины, одержавшие верх над другими племенами, внесли во все свое единство и стали задавать тон греческому языку и образу мыслей. Но зародыши этой дарованной грекам культуры пошли в рост неровно и совсем по-разному в Малой Азии, в Малой и Великой Греции; однако сами различия пробуждали дух соревнования, способствовали переселению и пересаживанию культурных ростков на новую почву и этим помогли греческому духу встать на ноги; ибо из естественной истории растений и животных известно, что одно семя не будет целую вечность произрастать на одной почве, а, будучи вовремя пересажено на другое место, принесет более сочные и свежие плоды.

3. Мелкие, разделенные государства были первоначально маленькими монархиями, а со временем эти монархии стали аристократиями, некоторые – и демократиями; тем и другим весьма часто угрожала опасность оказаться во власти одного правителя, но демократии эта опасность грозила чаще. И это вновь естественный ход человеческого общежития в период его ранней юности. Племенная знать полагала, что может обойтись без царской власти, а поскольку народ не был способен управлять собою сам, то знатные люди и становились его вождями. А в зависимости от рода занятий, духа, жизненного уклада народ или покорялся этим вождям, или боролся до тех пор, пока не получал своей доли в управлении государством. Пример первого – Лакедемон, пример второго – Афины. Причина всякий раз – в конкретных условиях и строе обоих городов. В Спарте правители зорко следили друг за другом, чтобы не появился между ними тиран, а в Афинах народ не раз заманивали льстивыми речами под власть тирании, если даже форма правления и не называлась таким словом. Оба города и все, что произвели они на свет, – это такие же естественные создания их географического положения, времени, жизненного уклада и исторических обстоятельств, как и все производимое природой.

4. Если множеству республик, более или менее связанных общими делами, границами и прочими интересами, а прежде всего пристрастием к войнам и любовью к славе, приходится бежать вместе по одной дорожке, то они быстро найдут повод для раздоров, – сначала найдут такой повод республики более сильные, а они всех, кого только могут, будут перетягивать на свою сторону, и, наконец, одна из группировок восторжествует. Таковы были долгие войны юношеской поры – войны между государствами Греции, особенно между Лакедемоном, Афинами, а потом и Фивами. Войны эти велись ожесточенно, упорно, иногда

бесчеловечно, как вообще ведутся войны, когда все граждане и воины зажигаются общей целью. Возникали войны обычно из-за пустяков, из-за нанесенных обид, как то бывает, когда дерутся подростки, и вот что кажется странным, а на самом деле и совсем не странно: государство, одержавшее победу, особенно Лакедемон, старалось навязать свои законы и порядки побежденному, чтобы, так сказать, печать поражения навеки легла на него. Ибо аристократия – заклятый недруг и тирании и народного правления.

5. Между тем войны греков, если рассматривать их как род занятий, не были, по существу, простыми варварскими набегами; совсем напротив, в них со временем получает развитие весь дух государственных и военных дел, какой когда-либо вращал колесо мировых событий*. И греки знали уже, в чем состоят потребности государства, источники его могущества и богатства, и вот этими источниками они и пытались овладевать, порою пользуясь самыми грубыми средствами. И они знали уже, что означает равновесие в отношении между республиками и сословиями, что такое тайные и явные союзы государств, что значит пойти на военную хитрость, опередить противника, оставить в беде союзника и т.д. Итак, и в государственных делах, и в делах войны самые искушенные деятели Римской империи и нового мира поучились у греков, ибо способ ведения войны, конечно, меняется с изменением оружия, времени, географического положения, но вечно остается одним и тем же дух людей, и этот дух хитрит, уговаривает, скрывает свои намерения, переходит в нападение, защищается, отступает, выискивает слабости противника, дозволенными и недозволенными средствами пытается доказать свое преимущество.

6. Войны с персами проводят первую резкую грань в истории Греции. Повод к войне подали греческие колонии в Малой Азии, которые не могли уже противостоять чудовищному захватническому духу азиатов и, привыкнув к независимости, при первом же удобном случае попытались сбросить чужеземное иго. Афины послали двадцать кораблей им в подмогу, и это было высокомерным вызовом со стороны демократии, потому что спартанец Клеомен отказал колониям в помощи, и вот эти несчастные двадцать кораблей навлекли такую безумную войну на всю Грецию. Но уж коль скоро страшная война началась, великолепные победы немногих мелких государств над двумя царями огромной Азии были чудесами мужества и доблести, – но только не сверхъестественными чудесами. Персы, воюя с греками, были совершенно выбиты из своей колеи, а греки, напротив, сражались за свободу, за жизнь и отечество. Они сражались против варваров, у которых – рабская душа, против варваров, которые своей

* Сопоставление разных народов само собой возникает в ходе исторического изложения.

расправой над эретрийцами[40] уже показали, чего ждать от них грекам, а потому греки и напрягли все свои силы и собрали все свое мужество и весь свой ум. Персы под предводительством Ксеркса напали на них, как нападают варвары; они пришли с цепями в руках, чтобы вязать, и с факелами в руках, чтобы жечь и опустошать; однако во всем этом было мало ума. Фемистокл просто воспользовался против них ветром, а противный ветер на море – опасный враг неповоротливого флота. Короче, персы вели войну с великими силами, яростно, но безрассудно, а потому она и кончилась для них такой неудачей. Положим даже, что греки были бы разбиты, а вся страна их – Афины были бы разграблены, – персы все равно не смогли бы удерживать Грецию в повиновении, управляя ею из самого центра Азии, при внутреннем разладе империи; ведь и Египет им было уже трудно удерживать в то время. Море было союзником Греции, как и сказал, только в другом смысле, дельфийский оракул[41].

7. Но разбитые наголову персы вместе с добычей и позором оставили в Греции искру, пламя которой уничтожило все здание греческого строя. Вслед за Персидскими войнами пришли слава и богатство, роскошь и ревность, короче говоря, гордыня и надменность. Вскоре в Афинах наступил век Перикла, самый блестящий, какой когда-либо переживало такое маленькое государство, а затем, по причинам тоже вполне естественным, разгорелась неудачная Пелопоннесская война – собственно, две войны со спартанцами, и вот, победив в одном-единственном сражении, Филипп Македонский накинул сеть на голову всей Греции. Не говорите, что неблагосклонный бог вершит судьбами людей и, питая к ним зависть, стремится сбросить народы с вершин счастья; сами люди – вот неблагосклонные друг к другу демоны. Из Греции, какой была она в эти времена, могло ли стать что-либо иное, как легкая добыча для победителя? А откуда было прийти завоевателю, если не с гор Македонии? Греция была в безопасности со стороны Персии, Египта, Финикии, Рима, Карфагена; но враг ее притаился поблизости, и он внезапно поразил Грецию хитрыми и мощными ударами. Оракул и на сей раз был умнее греков; он угождал Филиппу, а все событие в целом попросту подтвердило общее положение: воинственный горный народ, живущий в согласии и мире, неизменно одержит верх над обессилевшей, разъединенной, изнеженной нацией, если хорошенько вцепится в нее и будет вести дело умно и мужественно. Так и вел дело Филипп, и Греция сделалась его добычей, – она задолго до него уже пала в борьбе с самой собою. Тут и кончилась бы история Греции, если бы Филипп был варваром вроде Суллы или Алариха, но Филипп сам был греком, греком был и его старший сын, так что вместе с утратой греческой свободы начинается, под именем греков, новый невиданный эпизод всемирной истории, эпизод, каких мало во всей всемирной истории.

8. Вот как развивались события: юный Александр, который взошел на трон, едва исполнилось ему двадцать лет, охваченный пламенем честолюбия, свершил замысел, для претворения которого все уже было готово у его отца: он перешел в Азию и вступил на землю персидского монарха. И опять – самое естественное, что только могло случиться. Все пути, по которым шли персы в Грецию, если они воевали на суше, пролегали через Фракию и Македонию; стало быть, давняя ненависть к персам жила в душе этих народов. А слабость персов была прекрасно известна грекам, не только из воспоминаний о древних битвах при Марафоне, Платеях и т.д., но и по более близким временам – по истории возвращения на родину десяти тысяч греков под предводительством Ксенофонта[42]. Так куда же было направить оружие македонцу, ставшему властелином и верховным главнокомандующим всей Греции, куда было направить ему свои фаланги, если не против богатейшей империи, которая вот уже целое столетие переживала глубокий упадок? Юный герой выиграл три сражения, и вот Малая Азия, Сирия, Финикия, Египет, Ливия, Персия, Индия оказались подвластны ему; он мог дойти и до мирового океана, если бы македонцы, будучи рассудительнее его, не принудили его повернуть назад. Не было во всем этом везении чуда, как не было завистливой судьбы, уготовавшей ему конец в Вавилоне. Какая великая мысль – править миром из Вавилона, править миром, простирающимся от Инда до Ливии, миром, охватывающим и всю Грецию вплоть до Икарийского моря! Что за мысль – всю эту часть света превратить в единую Грецию, где все – язык, нравы, искусства, торговля и колонии – будет единым, что за мысль – основать новые Афины в Бактрах, Сусах, Александрии! И вот – победитель умирает в расцвете лет, а с ним гибнут все надежды, гибнет весь только что основанный греческий мир! Итак, если бы мы обратились к Судьбе, она ответила бы нам: «Пусть был бы Вавилон, пусть была бы Пелла столицей Александра, пусть бы в Бактрах говорили по-гречески и по-парфянски, – но если хочет сын человеческий исполнить намеченное им, он должен вести умеренную жизнь и не напиваться до смерти». Но Александр так поступал, и царство уплыло из его рук. Нет ничего удивительного в том, что он злодейски загубил сам себя; более удивительно другое, – что так долго прожил человек, давно уж разучившийся выносить свое счастье.

9. Тогда империя распалась на части – то есть лопнул чудовищный мыльный пузырь; но бывало ли иначе при подобных обстоятельствах? Вся завоеванная Александром область земли не была объединена ни с какой стороны, даже в душе самого завоевателя она едва ли успела сложиться в единое целое. А те поселения, которые он заложил, не могли в своем младенчестве существовать без такого покровителя, как он, и тем более не могли они держать в узде народы, которым были навязаны силой. И если Александр умер, не оставив наследника, могли ли не

начать грабить, каждая для себя, те хищные птицы, которые своими победами помогали ему в его полете? Они клевали друг друга, пока не отыскали себе гнезд – своей военной поживы. Ни с одним государством, возникшим в результате невообразимо быстрых захватов, и не бывало иначе: природа народов и областей земных очень скоро потребует назад принадлежащие ей права, так что только за счет превосходства греческой культуры над варварскими народами и следует отнести то обстоятельство, что разные уголки земли, насильственно объединенные друг с другом, еще раньше не вернулись к своему прежнему строю. Первыми отпали Парфия, Бактрия и земли по ту сторону Евфрата, ибо они были расположены слишком далеко от центра империи, и эта империя ничего не могла бы поделать с горными парфянскими племенами. Если бы Селевкиды выбрали Вавилон или свою собственную Селевкию местом пребывания, – Александр как раз и хотел сделать столицей Вавилон, – то они, вероятно, сохранили бы всю свою мощь и справлялись бы с восточными племенами, но зато они еще стремительнее утонули бы в размягчающей тело роскоши. Подобно парфянам поступили и азиатские провинции фракийской империи: они воспользовались правом, которое всегда есть у разбойников, и как только соратники Александра уступили трон более мягкотелым преемникам, сделались, каждая сама по себе, особым, независимым царством. Нельзя не видеть в таких событиях неизменно повторяющихся естественных законов всемирной истории государств.

10. Долговечнее были царства, прилегавшие к самой Греции; они могли существовать и дольше, если бы происшедшие между ними, а главное, между римлянами и карфагенянами, раздоры не ввергли их в ту катастрофу, которая исходила от италийской самодержицы, от Рима, и постигла одно за другим все побережья Средиземного моря. Тут отжившие свой век, слабые государства вступили в весьма неравную азартную игру, от участия в которой мог бы удержать их и самый скромный разум. Между тем все греческое – греческая культура, греческое искусство, вообще все, что могло сохраняться в этих царствах, сохранялось в них. В Египте процветали знания, науки – в форме отвлеченной учености, потому что они и были ввезены сюда в такой форме; словно мумии, науки погребены были в музее или в библиотеке. Искусство при дворах азиатских правителей сделалось пышным, роскошным; цари Пергама и Египта соревновались между собой, собирая библиотеки, – соревнование это принесло большую пользу и нанесло огромный вред литературе. Книги собирали и подделывали, а когда все собранное сгорело, вместе с пожаром погиб целый мир древней учености. Видно, что судьба отнеслась к этим вещам ничуть не иначе, чем ко всем другим, предоставляя на усмотрение людей, будут ли они поступать с ними умно или глупо, – люди всегда поступают согласно со своей природой. Когда ученый наших дней жалеет, что потеряна такая-то древняя книга, – сколько

пришлось бы оплакивать куда более нужных вещей, которые тоже навеки унес обычный поток судьбы. История преемников Александра в высшей степени замечательна, не только потому, что в ней отыскивается столько причин, почему та или иная вещь погибла или, наоборот, уцелела, но и потому, что в этой истории – печальный образец для всех империй, основанных на захвате чужих земель и на захвате чужих наук, искусств, культуры.

11. Не требует доказательств и то, что Греция, дойдя до такого состояния, уже не могла вернуть себе прежнего блеска, период расцвета был давно уже пережит. Правда, тщеславные правители пытались восстановить греческую свободу, но это были ложные стремления – к свободе без вольного духа, к телу без души. Афины по старой привычке не забывали обожествлять своих благодетелей, и по-прежнему сохранялись в этой столице всей европейской культуры науки и искусства, и по-прежнему слышны были тут декламации по поводу философии и всех наук, – доколе это было возможно, потому что счастливые времена без конца перемежались разграблением и разорением города. Маленькие города не умели жить в согласии друг с другом, не знали они и принципов, как сохранить мир, хотя и был заключен между ними Этолийский и обновлен Ахейский союз государств. Ни рассудительность Филопоймена, ни справедливость Арата не вернули Греции ее былых времен. Как солнце на закате, которое в окружении поднимающихся на горизонте туманов кажется больше, принимает романтические очертания, так и политика Греции в этот период, – но лучи заходящего солнца не греют, как в полдень, и политика умирающих греков тоже была лишена энергии и силы. Пришли римляне, прокрались, как льстивые тираны, все споры и раздоры на целом земном шаре решавшие в свою пользу, и едва ли варвары поступали более жестоко, чем Муммий в Коринфе, Сулла в Афинах, Эмилий в Македонии. Долго, долго грабили римляне, пока не забрали все, что только можно было найти в Греции, а затем воздали ей почести – торжественно похоронили мертвое тело. Они платили жалованье здешним льстецам и посылали туда своих сыновей, чтобы те, идя по стопам древних мудрецов, учились тут, среди болтунов и профессиональных софистов. Последними пришли готы, христиане и турки, которые разрушили до основания царство греческих богов, надолго пережившее самого себя. И они пали, великие боги, Юпитер Олимпийский и Паллада Афина, дельфийский Аполлон и аргосская Юнона, – храмы их обратились в щебень, статуи – в груды камней, осколки которых напрасно ищут по сию пору*. Они исчезли с лица земли, и теперь, напрягая все силы, трудно представить себе, как процветало это царство богов, как процветала их вера, какие чудеса вершили они между самыми умными и проницательными народами. И если пали эти

* Путешествия Спона, Стюарта, Чандлера[41], Ридезеля и др.

кумиры, эти самые прекрасные идолы, каких рождало человеческое воображение, – не падут ли и менее прекрасные? И кому уступят они место, каким идолам?

12. Великая Греция претерпела ту же судьбу в иных невзгодах. Эти процветающие города, самые населенные, расположенные в самом прекрасном климате, следующие законам Залевка, Харонда, Диокла, опередившие большинство греческих провинций в культуре и науке, в искусстве и торговле, – они не мешали ни персам, ни Филиппу и потому отчасти просуществовали дольше своих европейских и азиатских собратий, но пробил час, и свершилась их судьба. Вмешавшись в войны Рима с Карфагеном, они потерпели, наконец, поражение и, погибнув от римского оружия, погубили Рим своими нравами. Их развалины, прекрасные и могучие, заслуживают того, чтобы мы их оплакивали, – уничтожили их землетрясения и огнедышащие горы, но еще более – безумная ярость людей*. Нимфа Партенопа скорбит, сицилийская Церера ищет свои храмы и не находит своих златых посевов.

VII. Общие рассуждения о греческой истории

Мы с разных сторон рассмотрели историю этой замечательной области земли, для философии истории человечества она, среди всех народов мира, выделяется как предмет единственный в своем роде. Греки не только свободны от примесей чуждых наций, не только сохранили присущий им внешний облик – во всей фигуре и во всем телосложении, но они и прожили все свои возрасты и периоды и весь жизненный путь, от самых неприметных начал культуры, прожили в редкостной полноте, как никакой другой народ истории. Ибо живущие на материке нации или застревали на первоначальных этапах культуры, противоестественно затверживая их в законах и ритуалах, или же, еще не выразив своей сущности, становились жертвами завоевателя: цветок не успел распуститься, а его уже срезала коса. Греция же, напротив, испытала все эпохи и всеми насладилась до конца; она развила в себе все, что могла развить, а такому совершенству вновь способствовали счастливые обстоятельства. На материке Греция, несомненно, вскоре сделалась бы добычей завоевателя, как ее азиатские собратья; если бы Дарий и Ксеркс добились своих целей в Греции, не наступил бы и век Перикла. А если бы над греками царствовал деспот, то, по обыкновению деспотов, он сам стал бы завоевывать чужие страны и, как Александр, окрасил бы воды рек кровью своих соплеменников. Чужеземцы примешались бы к ним в их стране, а сами они, одерживая победы в чужих землях, рассеялись бы по целому свету... От всего

* Путешествия Ридезеля, Уэля [44] и др.

этого хранили греков лишь их умеренная сила и даже ограниченность торговли, потому что никогда не решались они заплыть за геркулесовы столпы, за столпы счастья. Как естествоиспытатель может рассмотреть растение в целом лишь тогда, когда знает его от семени и ростка до цветения и до увядшего цветка, так и греческая история – она для нас такой цветок, и жаль только, что греческая история никогда не разрабатывалась так, как по обыкновению римская. Моя же задача теперь – выделить, после всего сказанного, определенные аспекты, которые прежде всего привлекают внимание наблюдателя во всем том важном, что внесли греки во всеобщую историю человечества; сначала повторю сам великий принцип истории.

Во-первых. *Что может совершиться в царстве людей в соответствии с обстоятельствами, присущими данной народности, времени, месту, то реально и совершается;* Греция – одно из самых полных и прекрасных доказательств тому.

В физической природе мы никогда не рассчитываем на чудеса: мы наблюдаем в природе действие законов, и действуют они повсюду одинаково, неизменно, точно, четко; что же сказать о человеческом царстве с его энергиями, переменами, страстями, – неужели вырывается оно из этой великой цепи природы? Пересадите в Грецию китайцев, и вот нашей Греции не было бы; пересадите греков туда, куда увел Дарий пленных эретрийцев[45], и они не построят ни Спарты, ни Афинского государства. Посмотрите на Грецию в наши дни, вы не найдете тут древних греков, иной раз не найдете и самой земли их. Если бы не говорили они на каких-то остатках своего языка, если бы не замечали вы развалин, в которых лежат ум их, искусства, города, если бы не видели вы прежних рек и гор Греции, то вы решили бы, наверное, что древняя Греция – такая же выдумка, как остров Калипсо или остров Алкиноя. Греки нового времени складывались постепенно, благодаря целому ряду причин и следствий, – также и древние греки, также и любая живущая на земле нация. Вся история людей – это чистая естественная история человеческих энергий, действий, влечений, история, во всем сообразная с временем и местом.

Сколь бы ни прост был этот принцип, он проясняет многое и бывает полезен при рассмотрении истории разных народов. Любой историк согласится со мною в том, что удивленно пялить глаза и без толку запоминать имена народов не значит заниматься историей, а если так, то, наблюдая любое историческое явление, размышляющий разум должен проявить всю свою остроту, как и при наблюдении явлений природы. Поэтому, рассказывая о ходе истории, разум будет искать в ней величайшую истину, постигая и оценивая события, будет стремиться найти в них полнейшую взаимосвязь, но не будет существующее и происходящее объяснять чем-то другим, чего вообще нет. Стоит ввести этот строгий принцип, и тотчас же исчезают всякие домыслы, всякие признаки

волшебной страны; мы повсюду пытаемся тогда увидеть то, что есть, во всей его чистоте, а когда увидим, то тогда, по большей части, заметим и причину, почему существующее не могло быть иным. Когда ум наш усвоит такую привычку в своем подходе к истории, то он найдет путь к более здоровой философии, которую вряд ли можно найти где-либо помимо естественной истории и математики.

И именно следуя этой философии, мы в первую очередь и прежде всего остережемся присочинять к реальным явлениям истории скрытое от нас особое намерение – некий неведомый замысел, – и тем более причислять магическое воздействие незримых демонов, духов, которых мы не решились бы и припомнить, если бы речь шла о явлениях природы. Судьба открывает свои намерения в том, что и как происходит; поэтому созерцатель истории выводит ее намерения лишь из того, что реально существует и до конца проявляет себя. Почему существовали на земле просвещенные греки? Потому что греки существовали, а существуя, и могли при таких-то обстоятельствах быть лишь просвещенными греками. Почему Александр отправился в Индию? Потому что он был Александром, сыном Филиппа, а в соответствии с замыслами своего отца, деяниями своего народа, по своему возрасту и характеру, да и начитавшись Гомера, не видел лучшего, чем заняться. Но если решимость Александра мы будем объяснять тайными намерениями высшей силы, его дерзкие подвиги – везением и Фортуной, то мы рискуем тем, что в одном случае самые мрачные безрассудства Александра превратим в конечные цели божества, в другом – умалим его личное мужество и умение полководца, и в любом – лишим естественности все событие в целом. Кто в естественной истории верит в сказки, кто полагает, что незримые духи расцвечивают розу и наполняют серебряной росой ее чашечку, кто думает, что крошечные духи света облекаются в тело светлячка и играют на хвосте павлина, тот может быть глубокомысленным поэтом, но как естествоиспытатель или историк он отнюдь не будет блистать. История – это наука о том, что реально существует, а не о том, что могло бы быть согласно тайным намерениям судьбы.

Во-вторых. *Что верно в отношении одного народа, то верно и в отношении нескольких народов, связанных между собою; они существуют, как связало их время и место, и они воздействуют друг на друга так, как это обусловила взаимосвязь живых энергий.*

На греков воздействовали азиатские народы, а греки, в свою очередь, влияли на азиатов. Римляне, готы, турки, христиане одолевали греков, римляне, готы, христиане благодаря грекам просвещались, – как все это взаимосвязано? Все предопределяет место, время, естественное действие живых энергий. Финикийцы завезли в Грецию буквы, но не придумали их для греков, а просто завезли сюда, потому что основали в Греции свои поселения. Так и у эллинов с египтяна-

ми, так и у греков, когда они отправились к Бактре, – так со всеми дарами Муз, которые получили люди из рук греков. Гомер пел – не для нас; но поскольку он пришел к нам, он принадлежит нам, и мы смеем учиться у него. Если бы один-единственный случай с течением времени похитил у нас Гомера, как отнял он у нас столько прекрасных созданий, – кто стал бы спорить с тайным замыслом судьбы, видя естественные причины гибели? Пересмотрите списки сочинений утраченных и сохранившихся, разузнайте, почему одни сохранились, а другие были утеряны, а после этого рискните назвать правило, по которому судьба разрушала в одном случае и сохраняла в другом. Аристотель сохранился в одном-единственном закопанном в землю экземпляре, другие сочинения сохранились в подвалах и сундуках[46], насмешник Аристофан сохранился под подушкой святого Иоанна Златоуста[47], который учился по нему составлять проповеди; все наше Просвещение и зависело от таких самых узких заброшенных тропинок. А ведь Просвещение[48] – это бесспорно великое событие во всемирной истории: оно привело в волнение почти все народы, и теперь, вместе с Гершелем, они разделяют на слои Млечные пути небес. Но от каких же мелочей, от каких пустяков зависело наше Просвещение: случайно оказалось в нашем распоряжении и стекло, случайно оказались и несколько книг, – а иначе мы, словно наши древние братья, бессмертные скифы, все еще колесили бы по земле на своих домах-повозках, вместе с женами и детьми. Если бы цепочке событий угодно было сложиться так, чтобы вместо букв греческих у нас были буквы монгольские, мы писали бы теперь на монгольский лад, а Земля продолжала бы идти своим великим путем, и шли бы годы, и сменяли бы друг друга циклы, и все жило и творило бы, чему дает жизнь, согласно божественным законам природы, наша мать-земля.

В-третьих. *Культура народа – это цвет его бытия, изящное, но бренное и хрупкое откровение его сущности.*

Как человек, рождаясь на свет, не знает ничего и всему, что хочется ему узнать, должен учиться, так и некультурный народ – он учится, упражняясь сам по себе или в общении с другими народами. Но для каждого вида человеческих знаний – свой круг, то есть своя природа, время, место, жизненный период; греческая культура росла, сообразуясь с временем, местностями, предметами, и вместе с ними приходила в упадок. Поэзия и некоторые другие искусства предшествовали философии, и если где расцветали поэзия и ораторское искусство, то это не значит, что тут же цвело военное дело и патриотические доблести; энтузиазм афинских ораторов разгорался тогда, когда государство клонилось к упадку, а честные нравы стали уделом прошлого.

Но в каком бы роде ни проявлялось Просвещение среди людей, – оно всегда стремится к совершенству и если в отдельных случаях достигает его благодаря стечению благоприятных обстоятельств, то уже не может

задержаться на такой высшей точке и не может второй раз вернуться к ней, а должно начать отсюда спуск. Самое совершенное творение, если только от людей можно требовать совершенства, – это нечто наивысшее в своем роде; коль скоро совершенное создано, после него возможны лишь подражания или напрасные потуги превзойти достигнутое. Гомер пел, и после него уже невозможен был второй Гомер; первый сорвал цветы с эпического венка, а следовавшие за ним довольствовались отдельными листочками. Вот почему греческие трагики избрали иное поприще; они, как говорит Эсхил, питались крохами со стола Гомера[49], но иной пир готовили своему веку. И их период прошел: трагические сюжеты были исчерпаны, и последователям великих поэтов оставалось только варьировать их, потому что форма наилучшая – наивысшая красота греческой драмы – уже была достигнута более ранними образцами. Несмотря на всю свою мораль, Еврипид уже не мог приблизиться к Софоклу, и тем более невозможно было для него превзойти Софокла в самом существе его искусства, и вот умный Аристофан избрал для себя иное поприще. Так обстояло дело со всеми жанрами греческого искусства, так всегда будет у всех народов, а что греки в свои лучшие времена постигли этот естественный закон и не пытались превзойти наивысшее чем-то еще более высоким, это-то и объясняет такую безошибочность их вкуса и все многообразие его развития. Когда Фидий создал своего всемогущего Юпитера, то Юпитер еще более возвышенный был уже немыслим; однако достигнутый идеал мог быть перенесен на других богов, и так каждому богу достался его особенный характер, – вся область этого искусства была заселена.

Если мы любим какой-либо предмет человеческой культуры, то предписывать эту же любовь и всевластному Провидению, – ради того, чтобы придать противоестественную вечность тому единственному мгновению, в которое этот предмет мог осуществиться, – значило бы поступать мелочно и жалко. Молить Провидение, чтобы оно увековечило один момент, значило бы, что мы хотим уничтожить самое существо времени и всю природу конечного мира[50]. Юность уже не вернется к нам, а потому не вернется и юношеское движение наших душевных энергий. Цветок распустился, и это как раз означает, что он скоро завянет; он вобрал в себя всю силу растения, начиная с корней, и когда умирает цветок, то вслед за ним умирает и растение. Если бы породившее Перикла и Сократа время продлилось одно лишнее мгновение по сравнению с длительностью, что определена цепочкой обстоятельств, то это было бы несчастьем, и нужно сказать, что наступил бы опасный, невыносимый для Афин период истории. И если бы гомеровская мифология вечно жила в душах людей, и вечно правили греческие боги, и вечно раздавался громовой голос афинских Демосфенов, то и это было бы узостью и ограниченностью. Каждому растению суждено отцвести, но, отцветая, растение разбросает семена, и живое творение обновится; Шекспир

не был Софоклом, Мильтон – Гомером, Болингброк[51] – Периклом, но каждый из них на своем месте и в своем роде был тем, что те, древние, – на своем месте и в своем роде. Итак, пусть каждый стремится на своем месте быть тем, чем он может быть в цепочке вещей; этим только и должен быть каждый, а иное невозможно.

В-четвертых. *Здоровье и долговечность государства опирается не на точку высшего развития его культуры, а на мудрое или счастливое равновесие его живых творческих сил. Чем ниже расположен центр тяжести в этом живом стремлении, тем тверже и долговечнее государство.*

На что рассчитывали древние основатели государств? Не на ленивый покой и не на крайнюю степень движения, но на порядок и правильное распределение вечно бодрствующих, никогда не дремлющих энергий. Принцип, которым руководствовались древние мудрецы, был подлинной мудростью человеческой, перенятой у природы. А всякий раз, когда государство оказывалось поставленным на острие, под каким бы ослепительным предлогом это ни происходило и каким бы блистательным деятелем ни производилось, государство подвергалось опасности, ему грозила гибель, и оно могло вернуться к своему обычному состоянию лишь благодаря удачному применению насильственных средств. Так стояла на острие Греция, когда вела войну с Персией, и эта ситуация была ужасной; так Афины, Лакедемон, Фивы с чудовищным напряжением сил противоборствовали друг другу, и это в конце концов стоило Греции ее свободы. Равным образом и Александр после блестящих побед поставил на острие всю пирамиду своего государства; он умер, пирамида упала и рассыпалась на куски. Сколь опасными были для Афин Алкивиад и Перикл, доказывает история их жизни; однако верно и то, что если такие критические моменты проходят быстро и со счастливым исходом, то они позволяют выйти наружу редкостным энергиям и приводят в действие скрытую в глубине невероятную мощь. Весь блеск Греции порожден неустанной деятельностью множества государств, деятельностью живых сил, а все долговечное и здоровое, что присуще было греческому вкусу и греческому строю, было, напротив, порождено мудрым и счастливым равновесием всех сил и энергий. Все удачные установления Греции были тем долговечнее и благороднее, чем больше опирались они на гуманность, то есть на разум и справедливость. Здесь перед нами – широкое поле для размышлений о греческом государственном строе, о том, что сделала Греция, со всеми ее нововведениями и устроениями, для блага своих граждан и для блага всего человечества. Однако такие размышления были бы сейчас еще преждевременны. Нам нужно пересмотреть сначала немало других эпох и народов, прежде чем мы подойдем к достоверным результатам.

Книга четырнадцатая

Мы приближаемся к берегам, откуда пришла ужасная погибель в те страны, что мы рассматривали прежде, ибо словно растущая волна излилась из Рима и поглотила государства Великой Греции, самою Грецию и все построенные на развалинах Александрова трона царства. Рим разрушил Карфаген, Коринф, Иерусалим и много других цветущих городов греческого и азиатского мира, а в Европе принес гибель всей южной культуре, насколько простиралось римское оружие, в первую очередь положил конец культуре соседней с ним Этрурии и бесстрашной Нуманции. И Рим не успокоился, пока не воцарил над целым миром народов от Западного моря до Евфрата, от Рейна до Атласа, но затем он перешел предустановленную судьбою черту, и тогда мужественное сопротивление северных и горных народов, внутренние разногласия и пышная жизнь, жестокость и гордыня властителей Рима, страшное правление солдат и, наконец, ярость диких народов, словно потоки морские устремившихся на Рим, привели Рим к плачевному концу. Никогда судьба народов не была так тесно связана с судьбой одного города, никогда такая связь не была столь длительной, как во времена римского господства над миром, и если в это время со всей своей силой проявились мужество и решительность людей, то, с другой стороны, проявились в этой великой игре и все те пороки и вся та жестокость, перед которыми в ужасе содрогнется человеческое естество, если только еще не совсем забыты людьми их права. И вот этот город Рим чудесным образом стал крутым и страшным переходом ко всей культуре Европы, потому что среди развалин его сохранились награбленные сокровища мудрости и искусности древних государств – сохранились в жалких своих остатках, – но, главное, благодаря странному превращению язык Рима стал инструментом, с помощью которого можно было учиться пользоваться этими еще более древними сокровищами. Еще и поныне латинский язык с детства становится для нас средством ученого образования, и хотя в нравах и душах наших так мало римского, мы раньше знакомимся с римскими завоевателями, чем с более кроткими нравами мягких народов и с принципами, на которых зиждется благосостояние

наших государств. Мы сначала знакомимся с Марием и Суллой, с Цезарем и Октавием, а уж потом с мудрым Сократом и с обычаями наших предков. Кроме того, поскольку с языком Рима была связана вся культура Европы, то его история и с политической и с ученой стороны разъяснена как никакая иная в целом мире, ибо все величайшие умы, рассуждавшие об истории, рассуждали и об истории Рима и в связи с принципами и деяниями римского народа излагали и свои собственные мысли. Итак, по окровавленной почве римского величия мы ступаем, словно мы – в храме классической учености, словно мы – в святыне древних творений искусства; на каждом шагу любой предмет напоминает нам о погибших сокровищах древней мировой державы, время которой прошло и никогда уже не вернется. И даже в фасциях, что карали целые народы, нам видятся побеги величественной, безгранично властной культуры, той культуры, которая вследствие печальных обстоятельств насаждалась и у нас. Но прежде чем познакомиться с городом, покорившим мир, мы принесем жертву духу гуманности и бросим взгляд, исполненный сожаления, на судьбу соседнего народа, который более других способствовал раннему развитию Рима, но, к несчастью, жил слишком близко от него, а потому и нашел для себя печальный конец.

I. Этруски и латиняне

Уже по своему географическому положению Италия, этот длинный, вытянутый полуостров, могла принять множество пришельцев и поселенцев. Поскольку в верхней части полуостров связан с большим материком, простирающимся от Испании и Галлии, через Иллирию, вплоть до Черного моря – этой великой преграды, разделявшей пути народов, и поскольку Италия со стороны моря как раз лежит против берегов Иллирии и Греции, то в эти времена древнейшего переселения народов различные племена, различные народы неизбежно попадали на полуостров, двигаясь по материку и спускаясь книзу. Выше жили племена отчасти иберийского, отчасти галльского происхождения, под ними жили авзонии, происхождение которых неизвестно, а поскольку с народами этими, в разных областях и в разные периоды, смешивались пеласги, позже греки и, по всей вероятности, даже троянцы и многие другие племена, то уже по одному этому, из-за одних этих весьма достойных внимания пришельцев, на Италию можно смотреть как на оранжерею, где рано или поздно должно было произрасти нечто замечательное в своем роде. Дело в том, что некоторые народы, приходившие сюда, не были вполне лишены культуры: у пеласгов была письменность, религия и мифы, у некоторых из иберийских племен, по-видимому, тоже, потому что они жили вблизи от тех областей, где вели торговлю финикийцы; значит, все сводилось к тому, на каком месте и каким образом выйдет на свет цветок родной культуры.

И он расцвел у этрусков, у народа очень раннего и своебытного по вкусам и по всей культуре, откуда бы он ни пришел в Италию. Этруски не стремились к завоеваниям, а все время были заняты постройками, нововведениями, торговлей, ремеслами, мореплаванием, – побережья Италии весьма благоприятствовали этому последнему искусству. Почти по всей стране, вплоть до Кампаньи, этруски закладывали колонии, распространяли ремесла, занимались торговлей, так что ряд наиболее славных городов Италии именно им обязан своим существованием*. Гражданский строй этрусков послужил образцом и для самих римлян – он значительно превосходил строй варваров и нес на себе яркую печать европейского духа, так что ничего подобного нельзя было позаимствовать ни у азиатских, ни у африканских народов. И еще перед самой своей гибелью государство этрусков было республикой соединенных двенадцати племен, сплотившихся на тех самых началах, что даже в Греции были выработаны гораздо позднее, под давлением крайне тяжелых обстоятельств. Каждое отдельное государство не могло ни начинать войны, ни заключать мира без согласия всех остальных; война у этрусков стала уже искусством; знак атаки, наступления, выступления в поход, сражения замкнутым строем подавался звуком военной трубы, метанием легких копий и дротиков, все это, возможно, и изобретено этрусками. Этруски соблюдали своеобразное военное и государственное право, утвердив торжественные права герольдов; и гадания, и многие другие ритуалы их религии – нам они кажутся простым суеверием – были, очевидно, орудиями их государственного управления, и благодаря этому этруски оказались в Италии первым народом, стремившимся связать религию и государство на определенных, сложных и искусных основаниях. Почти всему этому Рим научился у этрусков, а если такого рода установления способствовали прочности и величию римской власти, – что несомненно, – то римляне почти всем и обязаны этрускам. И мореплавание давно уже стало у этого народа искусством, благодаря которому этруски управляли колониями и господствовали над побережьями Италии, где они вели свою торговлю. Они умели строить дома и крепости; тосканский ордер назван так этрусками, он древнее дорического ордера греков и не заимствован ни у какого народа. Этруски любили соревноваться в езде на колесницах, любили музыку, театральные представления и, как показывают памятники их искусства, своеобразно усвоили мифы пеласгов. Обломки, осколки их искусства, сохраненные для нас лишь спасительным загробным царством, говорят, что начали они с самых примитивных форм и впоследствии оставались верны своебытным представлениям – даже когда познакомились со многими народами, прежде всего с греками. У них на самом деле есть свой особый стиль в

* Dempster. Etrur. Regal. cum observat. Buonaroti et paralipom. Passerii. Florent. 1723, 1767[1].

искусстве*, которого, точно так же как и своих религиозных преданий, они придерживались вплоть до того времени, как пала их свобода**. И в своих законах, добрых гражданских законах, предписанных и мужчинам, и женщинам, и во всех своих начинаниях, касавшихся и земледелия и виноградарства, и охраны торговли и гостеприимства, этруски, кажется, ближе были к подлинным правам человечества, чем, даже и в гораздо более позднее время, многие из греческих республик; а поскольку алфавит этрусков стал прототипом для всех алфавитов европейских народов, то мы можем видеть в Этрурии второй рассадник культуры в нашей части света. Тем более огорчительно, что от этого искусного и культурного народа осталось так мало памятников, сохранилось так мало сведений о занятиях его и устремлениях, – даже историю гибели этого народа отняла у нас злополучная судьба.

Откуда же это цветение этрусской культуры? И почему не поднялась она до греческой красоты, почему увяла, не достигнув вершин совершенства? Как бы мало ни знали мы об этрусках, и здесь мы видим великую мастерскую природы, слагающей, строящей нации и в зависимости от внутренних энергий и внешних связей как бы переиначивающей самое себя вместе с местом и временем. Этруски были европейским народом, уже далеко ушли они от издревле заселенной народами Азии, матери изначальной культуры. И племена пеласгов тоже, словно одичавшие путники, прибились к берегам Италии, тогда как Греция располагалась как бы в самом средоточии народов, куда отовсюду стекались культурные нации. Много народов теснилось в Италии, так что язык этрусков представляется какой-то смесью разных языков***, – густо населенной Италии не был дарован цветок, вышедший из одного чистого зародыша. Уже Аппенины, где гнездятся грубые горные племена, Аппенины, пересекающие всю Италию, не допускают, чтобы на всей территории Италии существовало только одно государство, чтобы везде царил единый вкус государства или нации, – а ведь только на таком единстве и основана прочность и долговечность культуры в стране. И позднее завоевание ни одной страны не стоило римлянам таких трудов, как завоевание Италии, а как только власть римлян пала, так Италия немедленно перешла в естественное для нее состояние – раздробилась на множество частей. Такая раздробленность отвечает ее природе: отдельные земли различаются по своему положению, расположены на берегу моря или в горах, и племенной характер населения тоже различен, так

---

* «История искусства» Винкельмана. Ч. I. Гл. 3.

** Heyne de fabularum religionumque Graecorum ab Etrusca arte frequentatarum natura et caussis: de reliquiis patriae religionis in artis Etruscae monumentis: Etrusca Antiquitas a commentitiis interpretamentis liberata: Artis Etruscae monumenta ad genera et tempora sua revocata in N. Commentariis Soc. Gotting. T. III seq.

*** Passerii Paralip. ad Dempster. etc.

что даже теперь, когда политическая власть стремится все подчинить единому началу и все нанизать на одну цепь, Италия из всех государств Европы остается самой раздробленной страной. И этрусков тоже вскоре стали со всех сторон теснить разные народы, а поскольку они были не воинственным, а скорее торговым народом, то даже и их военное искусство, куда более развитое, чем у соседних народов, должно было уступать почти всякий раз при новом нападении диких племен. Галлы отняли у этрусков земли в Северной Италии, и этрускам пришлось довольствоваться *Этрурией в собственном* смысле слова; позже расположенные в Кампаньи колонии этрусков перешли в руки самнитов. Народ торговый, любящий искусство, не мог долго противостоять более диким племенам; ведь по пятам искусства и торговли следует пышная, роскошная жизнь, а колонии этрусков, расположенные на прекраснейшем побережье Италии, не были свободны от пышных нравов. Наконец и римляне напали на этрусков, ибо, по несчастью, этруски жили слишком близко к ним, а римлянам, несмотря на достойное сопротивление, оказанное этрусками, ни их культура, ни их союз государств не могли противостоять вечно. Культура уже несколько утомила этрусков, тогда как римляне продолжали оставаться закаленным в боях народом, а союз государств тоже не мог принести большой пользы, потому что римляне умело расчленяли его и сражались с государствами по отдельности. Итак, римляне покорили поодиночке государства этрусков, не без долголетних усилий, потому что, с другой стороны, и галлы нередко совершали тут свои набеги. И вот стесненный со всех сторон, окруженный двумя могущественными противниками народ покорился тому неприятелю, который целенаправленно добивался победы, а таким врагом был Рим. После того как этруски предоставили убежище Тарквинию Гордому[2], после успехов, одержанных Порсенною, римляне стали видеть в своем соседе опаснейшего врага; унижений, вроде тех, что нанес Риму Порсенна[3], Рим не прощал. Поэтому и неудивительно, что народ вялый должен был, в конце концов, потерпеть поражение от народа сильного, народ торговый – от народа воинственного, непрочный союз государств – от твердого в своем единстве города. Если бы Рим не сокрушал сам, то его быстро сокрушили бы, а поскольку добрый Порсенна не сокрушил Рим, то его страна и сделалась, в конце концов, добычей пощаженного врага.

Итак, географическое положение и время, в какое цвела Этрурия, объясняют нам, почему этруски со своим художественным стилем не стали греками до конца. Мифами их поэтов были древние, тяжкие греческие мифы, в которые они тем не менее вливали поразительную живость и движение; искусство их выражало немногочисленные связанные с торжественными религиозными и гражданскими обрядами мотивы, и ключ к ним мы, можно сказать, утратили. Кроме того, народ

этот мы знаем почти исключительно по изображению его похоронных процессий, по урнам и саркофагам. Прекрасной поры, какую испытало греческое искусство после побед над персами, вольные этруски никогда не переживали, а само по себе географическое положение их страны уже лишило их повода к столь возвышенному парению духа и славы. Перед нами – рано созревший плод, выросший в углу сада, – ему далеко до сладости иных плодов, на которые падал отблеск солнечного тепла. Берегам Арно судьба уготовала иные времена, и тогда они принесли плоды более зрелые и более прекрасные.

* * *

А пока болотистым берегам Тибра предстояло распространить свое влияние на три части света, и предпосылки такого умножения восходят к еще более древним временам, когда Рим не был основан и когда исторические условия были совершенно иными. Вот – места, куда приставали, согласно легенде, и Эвандр, и Геркулес с греками, и Эней с троянцами; здесь, в центре Италии, был выстроен Палланций, здесь возникло царство латинян с городом Альба Лонга; одним словом, здесь оседала древняя культура, так что некоторые говорят даже о другом Риме, существовавшем до известного нам города[4] – полагали, что новый город построен на развалинах старого. Это последнее предположение лишено основания, так как Рим, по всей вероятности, был колонией Альбы Лонги и управляли им два удачливых искателя приключений; в противном случае едва ли выбрали бы для поселения столь невеселую местность. Впрочем, давайте поначалу посмотрим, что должен был найти в этих местах Рим, почему, отстав от сосцов волчицы, он стал упражняться в сражениях и грабежах.

Вокруг жили небольшие племена, поэтому Риму удалось и добывать средства к существованию, и быстро завоевать пространство вокруг себя. Тогдашние междоусобные войны с ценинцами, крустуминами, антемнатами, сабинянами, камеринами, фиденатами, вейентами прекрасно известны всем; в итоге Рим, едва основанный, построенный на границе, разделявшей самые разные народы, с самого начала стал как бы военным лагерем, и военачальники, равно как сенат, всадники и народ, привыкли к триумфальным шествиям, празднуя победы над ограбленными ими народами. Такие триумфы, перенятые у соседних этрусков, стали большой приманкой для города, скудно живущего и бедного землями, перенаселенного и воинственно настроенного, – они побуждали совершать все новые и новые набеги, вести междоусобные войны. Напрасно возводил миролюбивый Нума храм Януса, богини Верности, напрасно воздвигал пограничных богов и справлял праздненства границ. Пока он жил, эти обычаи блюлись, но Рим, привыкший к грабежу за тридцать лет, пока одерживал победы его первый царь, не умел чтить своего Юпитера иначе, как принося ему военную добычу.

После смерти справедливого законодателя вновь разгорелся дух войны, и Тулл Гостилий пошел войной на Альбу Лонгу – мать своего города. Он стер ее с лица земли, а жителей его переселил в Рим; так покоряли он и его преемники фиденатов, сабинян, так покорили они, наконец, все латинские города; после этого римляне стали наступать на этрусков. Ничего этого вообще не произошло бы, если бы Рим был расположен в другом месте и был рано порабощен мощным соседом. А теперь Рим, город латинян, очень скоро стал во главе союза латинских городов и, в конце концов, поглотил самих латинян; он смешался с сабинами и, наконец, покорил и их; он учился у этрусков, а потом и их подчинил своей власти, и так овладел он своими троякими рубежами.

Впрочем, чтобы осуществить все эти рано созревшие замыслы, нужны были цари, именно такие, какие и были у Рима, особенно такие, как их самый первый царь. Его и помимо всякого мифа, на деле, вскормила своим молоком волчица; он несомненно был мужественным, умным, смелым, предприимчивым человеком; об этом свидетельствуют уже первые его законы и установления. Нума смягчил некоторые из них – явный признак того, что зависели они не от эпохи, а от личности законодателя. Ибо насколько грубо-первобытным был героический дух ранних римлян, о том свидетельствует не один рассказ – о Горации Кокле, Юнии Бруте, Муции Сцеволе, о поступках Туллии, Тарквина и т.д. Итак, счастьем для этого разбойничьего города было то, что первобытное мужество его царей сочеталось с политической мудростью, а то и другое – с патриотическим великодушием; счастьем было то, что за Ромулом следовал Нума, за Нумой – Тулл, Анк, за ними – Тарквин, а за Тарквином – Сервий, раб, которого только личные его заслуги и возвели на трон. Счастьем, наконец, было и то, что цари эти, отличавшиеся самыми различными чертами характера, правили подолгу, что у каждого из них было время закрепить все привнесенное их умом, но вот явился, наконец, наглый Тарквиний, и тогда город, уже твердо стоявший на своих ногах, избрал иную форму правления. Теперь выступил друг за другом избранный, вечно обновляющийся ряд воинов и первобытных патриотов; они стремились ежегодно обновлять свои триумфы и на тысячу ладов выразить и закалить свои патриотические чувства. Даже сочиняя политический роман о возможном происхождении Рима, нельзя было бы придумать более счастливых условий для его возникновения, – их на самом деле дают нам история и миф*, Рея Сильвия и судьба ее сыновей, похищение сабинянок, обожествление Квирина, первозданные подвиги, победы, приключения, наконец,

* Монтескье в своем прекрасном сочинении «Sur la grandeur et sur la décadence des Romains» уже почти превратил в роман историю Рима. До него об истории Рима в политическом отношении рассуждали Макиавелли, Парута и другие проницательные итальянцы[5].

Тарквиний и Лукреция, Юний Брут, Публикола, Муций Сцевола и другие – все это потребовалось для того, чтобы заложен был фундамент будущих успехов Рима. Поэтому легче всего рассуждать философически об истории Рима, – гражданский дух его историков таков, что вместе с последовательным рассказом об исторических событиях мы получаем в руки цепочку причин и следствий.

II. Строительство военного и политического здания господства

Ромул исчислил свой народ и разделил его на трибы, курии и центурии; он обмерил поля и распределил земли между культом, государством и народом. Из народа он выделил благородных и горожан; из первых он составил сенат, а с первыми должностями в государстве соединил исполнение священных жреческих обрядов. Было избрано войско всадников, составивших в позднейшие времена своего рода среднее сословие между сенатом и народом, а оба эти основные сословия еще теснее были связаны между собой отношениями патрона и клиентов. У этрусков Рим позаимствовал ликторов с фасциями и секирой – страшными знаками верховной власти, позднее приданными, не без некоторых различений, всем высшим чиновникам, согласно кругу их обязанностей. Ромул изгнал чужих богов, чтобы только собственный бог Рима хранил город, он учредил авгурии и всяческие прочие гадания, тесно связав религию народа с делами войны, с делами государства. Он определи отношения между мужем и женой, отцом и детьми, навел порядок в городе, устраивал триумфы; когда он был убит, его стали почитать, словно бога. Все это точки, вокруг которых беспрерывно вращается колесо всей последующей римской истории. Ведь если со временем классы населения и умножились, и изменились, и стали враждовать между собой, если возникли жестокие споры о том, каковы обязанности каждого из классов, или разрядов, римского населения, если среди горожан стали возникать беспокойства, вызванные растущими податями и гнетом богачей, если трибуны выдвигали столь много предложений, служащих к облегчению жизни народа, а среднее сословие, всадники, предлагали переделить земли и улучшить судопроизводство, если споры о границах сословий сенатского, патрицианского и плебейского принимали то ту, то иную форму, пока всякие различия между сословиями не стерлись вообще, – во всем этом мы видим только одно: случайные ситуации, в которых невольно оказывается грубо слаженная, живая машина, – только такой машиной и могло быть римское государство в стенах одного города. Та же машина – умножение числа должностных лиц по мере роста населения, числа одержанных побед, завоеванных стран и увеличения потребностей государства; та же машина – ограничения и

умножения триумфов, игр, усиление роскоши, укрепление власти мужа и отца – в разные эпохи римских нравов и умонастроений, – все это оттенки прежних установлений, не придуманных Ромулом, но твердою рукою введенных им, так что они и позднее, под властью императоров и почти вплоть до наших дней, могли оставаться основою римского строя. Вот эта основа: S.P.Q.R.* – четыре волшебных слова; они покоряют, они сокрушают мир и в конце концов несут беды самому Риму. Отметим важнейшие моменты римского строя, из которых, словно дерево из своих корней, вырастает вся судьба Рима.

1. *И римский сенат, и римский народ – все с самых ранних времен были воинами; Рим был воинственным государством, начиная с высших его членов и кончая, в случае необходимости, низшими.* Сенат подавал советы, но из числа патрициев назначал также военачальников и послов; состоятельные граждане в возрасте от семнадцати до сорока шести и даже пятидесяти лет были военнообязанными. Кто не участвовал в десяти походах, не достоин был государственных должностей. Вот откуда патриотизм римлян в сражении, вот откуда воинственный дух – в делах государства. Римляне советовались о делах, в которых понимали толк, а решения их были делами. Посол Рима внушал уважение царям, ибо он мог и вести в бой войска, и решать судьбу царств в сенате и в сражении. Граждане высших центурий – не грубая чернь, ибо состояло высшее сословие из людей зажиточных и опытных в делах, испытанных в сражениях, повидавших свет; голоса центурий победнее и не были столь весомы, и в лучшие времена их даже не призывали на войну.

2. *Воинскому призванию римлянина подчинено было все воспитание, особенно в благородных семействах.* Тут учили обсуждать дела и произносить речи, голосовать и управлять толпой; в юности римлянин шел на войну, чтобы проложить себе путь к триумфам, наградам, должностям. Отсюда совершенно особенный характер и римской истории и римского красноречия, даже правоведения и религии, философии и языка – в них дух государственности, деяния и подвига, мужества и дерзания, дух отточенный, хитроумный, коварный. Если сравнить историю иудейскую, китайскую и римскую, красноречие иудейское и римское, то невозможно представить себе большего различия. Но дух римлян совершенно отличен и от греческого духа, включая даже Спарту, потому что римский дух зиждется как бы на более суровой натуре, на более древней привычке, на более твердых принципах. Римский сенат никогда не умирал, его решения, его суждения, унаследованный от Ромула характер римлян были вечны.

3. *Полководцами у римлян нередко были консулы, власть которых продолжалась, как правило, всего один год:* поэтому им приходилось спешить, чтобы вернуться с триумфом, а преемники торопились

* Римский сенат и римский народ.

удостоиться тех же божеских почестей. Поэтому римляне вели войны необычайно быстро, а число войн росло: одна давала начало другой и одна торопила другую. Римляне даже приберегали на будущее разные поводы, чтобы начать войну, как только окончится предыдущая, и, словно капитал наживы, счастья и чести, они обращали войны на пользу себе. Поэтому так интересовались римляне жизнью других народов, навязываясь в союзники или в защитники им или в третейские судьи, разумеется, не из человеколюбия. Дружба и союз с римлянами означали опеку, совет был приказанием, решение – войной или порабощением. Никогда гордость не была столь бесчувственной, смелость – бесстыдной, как у римлян, навязывавших народам свою волю; римляне думали, что весь мир принадлежит им, и мир стал принадлежать им.

4. *И на долю римского солдата выпадала часть почестей и наград, каких удостаивался полководец.* В первые времена, когда процветали гражданские доблести, римляне служили не за жалованье, и впоследствии жалованье платили скупо; однако с ростом завоеваний, по мере того как положение народа благодаря трибунам все улучшалось, жалованье, награды и добыча росли. Поля покоренных народов нередко распределяли между солдатами, и известно, что недовольства в римской республике издавна и по большей части возникали именно из-за неправильного распределения земель. Позднее, когда Рим стал завоевывать чужие страны, солдат участвовал в триумфе полководца, получая долю добычи и удостаиваясь почестей, равно как богатых подарков. За спасение римского гражданина, победу в морском сражении, взятие стен города давали венки[6]. Луций Дентат мог гордиться тем, что, «участвуя в ста двадцати сражениях, восемь раз победил в рукопашной схватке, сорок пять раз был ранен в грудь и ни разу в спину, тридцать пять раз отнимал оружие у неприятеля и награжден был восемнадцатью необитыми копьями, двадцатью пятью конскими сбруями, восемьюдесятью тремя цепочками, ста шестьюдесятью браслетами и двадцатью шестью венками, а именно четырнадцатью – за спасение римского гражданина, восемью – золотыми, тремя – за овладение городской стеною, одной – за спасение, кроме того – деньгами, десятью рабами и двадцатью быками»[7]. А поскольку римская армия во все столь долгое время существования римского государства и ведать не ведала того самого, что в наших постоянных армиях есть вопрос чести – именно что у нас никто не понижается в звании, а по мере выслуги лет всегда продвигается выше, ибо у римлян полководец до начала войны сам выбирал себе трибунов, а трибуны – младших начальников, – то отсюда происходило более свободное соревнование за обладание почетными и начальническими должностями; этим объяснялась более тесная взаимосвязь между полководцем, начальниками и войском. Вся армия в целом была единым организмом, цель которого заключалась в том,

чтобы совершить именно этот поход, и в самом незначительном члене этого единого тела жил, через посредство своих заместителей, сам военачальник. А по мере того как стена, разделявшая римских патрициев и народ, падала, для всех сословий воинская удача и доблесть становились средством достижения почетных должностей, богатства и власти в государстве; в более поздние времена первые всемогущие правители Рима, Марий и Сулла, были выходцами из народа, но наконец даже самые дурные люди начали удостаиваться наивысших должностей. Бесспорно, это было гибельно для Рима, тогда как в начальный период римской республики гордость патрициев служила опорой государства, и лишь постепенно гнетущее высокомерие знати стало причиной всех внутренних потрясений в Риме. Спорным моментом во всем строе римского государства оставалось равновесие между сенатом и народом, патрициями и плебеями, так что перевес был то на одной, то на другой стороне, и эти распри принесли в конце концов гибель свободному государству.

5. *Хваленая римская доблесть остается непонятной, если не принять во внимание тесного и сурового устройства римского государства:* как только строй государства перестал существовать, перестала существовать и доблесть. Консулы, заняв место царей, должны были следовать древнейшим образцам и явить душу царственную, и более того – душу римскую; такой дух был свойствен всем должностям, особенно цензорским. Поражает строгое беспристрастие, бескорыстное великодушие, деловитая жизнь древних римлян, – день трудов начинался с раннего утра, еще и раньше, и продолжался до поздних сумерек. Ни один город на свете не достиг, по-видимому, этой деловитости, этой суровости гражданской жизни Рима, тесно сближавшей всех граждан города. Все способствовало тому, чтобы римский народ стал самым гордым народом на земле – и первым среди народов, – и запечатленное в славном имени рода благородство лучших семейств города, и опасности, постоянно угрожавшие городу извне, и бесконечная борьба между народом и знатью, противостоящими друг другу внутри самого государства, и, наоборот, связывающий их тесными узами институт патронов и клиентов, и общая для всех суета рынков, домов, государственных храмов, близость, а притом тонкое разграничение положенного патрициям и народу, тесная семейная жизнь, – в окружении всего этого с раннего детства вырастали римляне. Римская аристократия не похожа была на ленивую знать, обладающую звонким именем и безвыездно проживающую в своих поместьях; римским родам был присущ дух семейной, гражданской, патриотической гордости, и отечество могло положиться на них как на незыблемую свою опору, – дух этот, всегда деятельный, всегда проявлявшийся в одной и той же взаимосвязи, в пределах одного и того же вечного государства, наследовался сыновьями и внуками от отцов и дедов. Я уверен, и в самые опасные для Рима времена ни один

римлянин и не подумал о том, что государство его может погибнуть: римляне служили своему городу, как будто боги даровали ему вечность, как будто сами они – орудия богов, призванные хранить свой город. И лишь когда небывалое счастье обратило в заносчивость мужество римлян, Сципион произнес перед разрушением Карфагена те стихи Гомера, которые и его отечеству прорицали судьбу Трои[8].

6. *Соединение религии с государством в Риме способствовало его гражданскому и военному величию.* Религия с самого начала и в самые героические времена республики находилась в руках наиболее уважаемых семейств, самих же политиков и полководцев, так что даже и императоры не стыдились жреческого достоинства, и религия с ее обрядами избежала подлинной язвы, поражающей местные культы, – презрения, от которого всеми путями старался уберечь ее сенат. Полибий, этот мудрый политик, объяснял религией многие добродетели римлян, прежде всего их неподкупную верность и правдивость[9], религию он называл суеверием, и на деле римляне были столь преданы своему суеверию, даже в поздние времена упадка, что самые неукротимые, безрассудные полководцы делали вид, будто общаются с богами, и, вдохновляемые религией, думали, что с помощью ее обретают власть не только над душами людей, над войском, но даже и над самим счастьем и несчастьем. Все государственные акты, все военные действия непременно соединялись с религиозными обрядами, так что религия освящала все происходящее; вот почему знатные роды как за самую священную привилегию боролись с плебсом за обладание жреческими должностями. Эту борьбу объясняют политической мудростью аристократии, которая могла направлять в нужную ей сторону ход событий, пользуясь гаданием по птицам и внутренностям животных[10], то есть действуя путем религиозного обмана; я не отрицаю этого, был и обман, но это еще не все. Все римляне верили, что религия отцов, религия старинных богов Рима – опора счастья, залог превосходства Рима над другими народами, святыня римского государства, единственного в целом свете. Римляне отвергали чужих богов, хотя и щадили богов в чужих землях, – несмотря ни на что, в самом Риме должен был сохраняться культ древних богов, тех богов, благодаря которым Рим стал Римом. И производить какие-либо изменения в культе этих богов значило бы колебать самые устои государства, именно поэтому сенат и народ обладали всей полнотой власти в установлении порядка отправления культа, и это исключало мятежи и ухищрения особого, изолированного жреческого сословия. Религия государственная и военная, эта религия римлян не хранила граждан от несправедливых войн, но зато она придавала несправедливым войнам видимость справедливости; совершая обряды фециалий и гадания на птицах, она препоручала войны взору богов и не лишала их помощи богов. Настоящее политическое искусство римлян сказалось впоследствии и в том, что, вопреки давнему правилу, они стали допус-

кать у себя чужих богов и привлекать их к себе. Но тогда государство уже шаталось, да иного и не могло быть после таких невиданных завоеваний, однако и теперь государственная веротерпимость хранила римлян от преследования чужестранных культов, и преследования такие начались лишь при императорах, и начались не из ненависти к чужим богам и не из любви к умозрительной истине, но по причинам государственного порядка. Вообще же Рим не заботился о религиях, если они не задевали самого государства: в этом отношении римляне рассуждали не гуманно и не философски, но поступали как граждане, воины, завоеватели.

7. Что же сказать о *военном искусстве римлян?* Оно было наиболее совершенным в своем роде, оно соединяло в единое целое и солдата и гражданина, и полководца и политика; всегда настороженное, всегда гибкое, всегда новое, оно училось у всякого врага. Первоначальная основа военного искусства была заложена одновременно с основанием города, и население, которому вел счет Ромул, было первым легионом римской армии; но римляне не стеснялись со временем менять свой боевой порядок, древняя фаланга стала более подвижной, и благодаря этому сокрушены были боевые порядки македонцев, образцовые для тогдашнего военного искусства. Римляне забросили прежнее вооружение латинян и позаимствовали у этрусков и самнитов все, что подходило им; у Ганнибала, длительное пребывание которого в Италии было тягчайшим испытанием для военного искусства римлян, они научились маршевому строю. Каждый великий полководец, а среди полководцев были Сципионы, Марий, Сулла, Помпей, Цезарь, о военном деле, которому каждый из них посвятил всю свою жизнь, думал как об искусстве; поскольку они вынуждены были применять свое искусство против самых разных народов, которым отчаяние, смелость и сила придавали мужество, то во всех разделах военного искусства они достигли чрезвычайно многого. Сила римлян была не только в оружии, боевых порядках и в устройстве лагерей, но и в неустрашимости полководцев, в силе и умении римских воинов; они могли переносить и голод, и жажду, и опасности, они владели оружием, словно собственным телом, и, выдерживая натиск копий, коротким римским мечом в самое сердце поражали врага, который не мог укрыться от них и в центре фаланги. Этот короткий римский меч в руках мужественного римлянина завоевал целый мир. Военное правило, которому следовали римляне, состояло в том, чтобы нападать, а не обороняться, не осаждать, а побеждать, и к победе и славе идти самым кратким и прямым путем. Этому правилу служили непоколебимые принципы римлян, принципы, перед которыми отступил весь мир: не останавливаться, пока противник не разбит наголову, сражаться всегда лишь с одним врагом, не заключать мир в неблагоприятном положении, даже если бы он принес больше, чем победа, но твердо

стоять на своем и упорствовать против счастливого победителя; начинать войну великодушно, скрываясь под личиною бескорыстия, как бы защищая страждущих, ища союзников, пока не подойдет пора повелевать этим союзникам, порабощать подзащитных и одерживать победы над друзьями и врагами. Эти и подобные принципы римского высокомерия или, если угодно, твердой и мудрой доблести целый мир превратили в римскую провинцию, и так будет всегда, когда будут приходить похожие времена и похожие народы. Вступим же теперь на залитое кровью поле сражения, по которому прошли завоеватели мира, и посмотрим, что оставили они после себя.

III. Римские завоевания

Когда Рим вступил на стезю героических подвигов, Италия была заселена множеством маленьких народностей, каждая из которых, в той или иной степени просвещенная, жила по своим особым законам, отвечавшим характеру племени, каждая из которых плодилась, множилась и была занята прилежным трудом. Поразительно, как много воинов могло выставить против римлян любое, даже самое маленькое, государство, даже и расположенное в суровой гористой местности, – и все эти люди находили себе пропитание и кормили других. Культура Италии отнюдь не была ограничена одной областью Этрурии; и малые народы, даже галлы, тоже были причастны к культуре; возделывали землю, примитивными ремеслами, торговлей, военным искусством занимались так, как то подсказывало время; и ни один народ не обходился без своих благодатных, пусть и очень немногочисленных законов, и естественное правило равновесия, какое должно существовать между государствами, тоже было им известно. Гордость или нужда заставляли римлян в течение пяти столетий вести с этими народами тяжелые кровопролитные войны, условия благоприятствовали римлянам, однако эти узкие полоски земли, которые они присоединяли к Риму то тут, то там, стоили им больше пота, чем целый мир, завоеванный в позднейшие века. И каков же успех этих тяжелых трудов? Разруха, опустошение. Я не считаю сейчас, сколько людей было убито той и другой стороной, – были обречены на гибель целые нации, побежденные римлянами, – этруски и самниты: эти народные общности перестали существовать, города их были разрушены до основания, и такое несчастье было еще более тяжким, и последствия его ощущались самыми отдаленными потомками. Первозданная сила уже не возвращалась к этим народам, даже если они и были переселены в Рим или даже – жалкие остатки их – причислены к союзникам, если даже с ними обращались как с подданными и стесняли со всех сторон римскими поселениями. Под тяжким ярмом угнетения, союзники или подданные, они должны были веками проливать свою кровь для Рима – не для своей выгоды и славы, но для выгоды и

славы Рима. И впряженные в тяжкое ярмо Рима, они, несмотря на все свободы, какие иной раз были дарованы им, в конце концов только в Риме должны были искать своего счастья, чести, права, богатства, так что этот великий город спустя всего несколько столетий стал могилой всей Италии. Рано или поздно законы Рима были приняты повсеместно; обычаи Рима стали обычаями всей Италии; безумная цель Рима – завоевание мира – манила все народы, прилеплявшиеся к Риму и вместе с ним погибавшие в роскоши и изобилии. И никакие ограничения и запреты не могли уже изменить естественного хода вещей; природа, раз сбитая со своего пути, уже не слушается произвольных человеческих постановлений. Рим постепенно выпил соки Италии, обескровил ее, Италия обезлюдела, и в конце концов возникла даже потребность в грубых варварах, чтобы заселить ее свежими людьми, дать ей новые законы, новые нравы и новую крепость духа. Но что прошло, тому не вернуться вновь; уже не существовало большинства городов Этрурии, Лациума, Самниума, Апулии, не было Альбы, Камерарии, богатого этрусского города Вейи; и те слабосильные колонии, что поднялись на их пепле, не вернули им ни былого веса, ни многолюдности, ни прежних нравов и законов, ни прежнего трудолюбия и прилежания. Такова была судьба цветущих республик Великой Греции – Тарента и Кротона, Сибариса и Кум, Турии и Локр, Регия и Мессаны, Сиракуз, Катаны, Наксоса, Мегары; многие из них пали, испытав всю тяжесть жестокого несчастья. Среди начертанных тобою кругов убили тебя, о мудрый, великий Архимед, и удивительно ли, что соотечественники твои не знали, где находится твоя могила; ведь родина твоя была зарыта в могилу вместе с тобой; если город и был пощажен, то отечеству это не помогло подняться из праха. Страшен вред, нанесенный Римом наукам и искусствам в этом уголке земли, всей культуре земли и людей. Войны, наместники Рима разорили прекрасную Сицилию, прекрасная Южная Италия стала жертвой Рима, с которым она соседствовала, и в конце концов эти земли сделались предметами римского грабежа и вымогательства, они были поделены между римлянами, и здесь выросли их роскошные виллы. Такой же плодородной пустыней, соки которой были выпиты римлянами, пустыней, где жили одни рабы, стала уже во времена старшего Гракха и некогда процветавшая земля этрусков. Но есть ли хоть одна прекрасная область земли, судьба которой была бы иной, стоило римлянам протянуть к ней свои руки?

Покорив Италию, Рим начал распри с Карфагеном и, как мне кажется, начал эти распри так, что стыдно и самому решительному сторонник Рима. Как помогали римляне мамертинцам, чтобы обосноваться на Сицилии, как отняли они у Карфагена Сардинию и Корсику в момент, когда Карфаген теснили наемные племена, как мудро рассуждал сенат о том, стоит ли терпеть Карфаген на земле, как будто речь шла о собственноручно посаженном кочане капусты, – все это, как и тысячи

совершенных римлянами жестокостей, превращают римскую историю в историю бесовскую, сколько бы мужества и практического ума ни было тут проявлено. Пусть то будет Сципион или даже сам бог, – когда Карфаген получает холодный и гордый приказ, по всем правилам составленное сенатское решение о его разрушении, в такое время, когда он никак уж не может досаждать римлянам, когда он сам молит римлян о помощи и платит им за это огромную дань, когда он предает в руки римлян, полагаясь на их обещания, оружие, корабли, арсеналы и триста знатных заложников, – пусть то будет Сципион или сам бог, но такого приказа не может не стыдиться и сам человек, который доставил его в Карфаген. «Карфаген занят», – писал Сципион в Рим, словно пытаясь прикрыть этими словами свое постыдное деяние, ибо римляне не основали города, подобного Карфагену, не даровали миру ничего, подобного ему. И враг карфагенян, прекрасно осведомленный обо всех слабостях и пороках их государства, не скроет своего возмущения, видя, как гибнет этот город, – он воздаст почести безоружным и обманутым республиканцам, что бьются с неприятелем, стоя на своих могилах, и бьются с ним за право умереть. О, почему не было дано тебе, о великий, о несравненный Ганнибал, почему не было дано тебе предотвратить разрушение родного города и поспешить, после битвы при Каннах, в волчье логово твоего заклятого врага? Потомство, куда более слабое, не совершавшее перехода через Пиренеи и Альпы, упрекает тебя, но не замечает того, какие народы выступали на твоей стороне, в каком состоянии пребывали они после страшных зимних сражений в Северной и Центральной Италии. Они упрекают тебя, повторяя суждения твоих врагов, они твердят о дурной дисциплине в твоем войске, – но ведь поистине непостижимо, как мог ты столь долгое время держать в узде всю эту наемную сволочь, уступив ей лишь в долинах Кампаньи, после стольких походов и подвигов! Всегда будет славиться имя этого мужественного врага римлян, выдачи которого, словно выдачи какой-то пушки, не раз требовали они, настоятельно и властно, от карфагенян. Не судьба, а непокорное своекорыстие соплеменников помешало Ганнибалу довершить все те победы, которые одержал он, – не Карфаген; и так сложилось, что он послужил для римлян лишь средством, с помощью которого эти неотесанные противники Карфагена учились военному искусству, подобно тому как учились они у соотечественников Ганнибала искусству мореплавания. И в том и в другом случае судьба являет нам ужасный знак: она предупреждает нас о том, чтобы никогда не останавливались мы на полпути, ибо, останавливаясь, мы споспешествуем тому самому, что стремимся предотвратить. Довольно, – пал Карфаген, и пало государство, исчезновения которого никак не мог. возместить Рим. Торговля покинула эти моря, морской разбойник занял место купца, так это и осталось поныне. Богатая хлебом Африка под властью римских колоний перестала быть тем, чем была она во времена

Карфагена, она стала теперь кладовой для римской черни, садом для ловли животных, где чернь развлекалась, и поставщицей рабов. И теперь еще берега и долины этой прекрасной страны пребывают в печальном запустении, – римлянин первым похитил их первозданную культуру. И ни одной строки пунических сочинений не дошло до нас; Эмилиан подарил их внукам Масиниссы, один враг Карфагена – другому.

Куда ни обращается мой взор, покидая Карфаген, везде он видит одни разрушения, ибо завоеватели мира повсюду оставляли одинаковые следы. Если бы римляне на деле захотели освободить Грецию, – а ведь именно освободителями Греции, воспользовавшись столь великодушным прозванием, представились они на Истмийских играх нации, давно впавшей в детство, – сколь иначе поступали бы они в этой стране! Но Павел Эмилий отдает на разграбление семьдесят городов Эпира и продает в рабство сто пятьдесят тысяч человек, чтобы выплатить жалованье своему войску, Метелл и Силан грабят и опустошают Македонию, Муммий разоряет Коринф, Сулла – Афины и Дельфы, – и редко когда города грабили так, как они!– разрушение настигает и греческие острова, и судьба Родоса, Кипра, Крита ничем не отличается от судьбы греческих городов, и они становятся банком для выплаты контрибуций и местом грабежей, обогащающих и украшающих римские триумфы; последний царь Македонии плетется вслед за триумфатором вместе со своими сыновьями, и он умирает медленной смертью в самой жалкой римской тюрьме, а сын его, избежав смерти, остается в Риме и влачит свое существование, трудясь как искусный токарь и писарь; последние искры греческой свободы – Этолийский и Ахейский союзы – подавлены, и, наконец, вся Греция превращается в римскую провинцию, в поле сражения, на котором поражают друг друга все опустошающие, все разоряющие войска триумвиров, – о Греция, какую же гибель уготовал тебе твой защитник и твой ученик – Рим, этот воспитатель целого мира! Нам остались от Греции развалины, что везли с собой в Рим эти варвары, награбленная ими добыча; все искусное, все художественное, что когда-либо создавали люди, все погибло в огне самого Рима.

Из Греции мы отплываем к берегам Азии и Африки. Как наследники, как опекуны, третейские судьи и мирители, римляне проникли в Малую Азию, Сирию, Понт, Армению – в те царства, откуда вынесли они, в награду за все свои старания, яд, поразивший их собственный государственный строй. Всем известны великие подвиги Сципиона Африканского, Мария, Суллы, Лукулла, Помпея – один-единственный триумф Помпея означал пятнадцать завоеванных царств, восемьсот захваченных городов, тысячу взятых крепостей. Стоимость золота и серебра, что везли за ним в триумфе, составляла двадцать тысяч талантов*;

* 22 440 000 талеров.

доходы государства он увеличил на треть, то есть на двенадцать тысяч талантов, а войско обогатил он так, что даже самый жалкий воин получил от него подарок в двести золотых, помимо всего того, что каждый вез с собою[11], вот каким грабителем был Помпей! Красс шел по тому же пути и только в Иерусалиме похитил десять тысяч талантов, а в дальнейшем всякий, кто отправлялся на Восток, возвращался тяжело нагруженный золотом, предметами роскоши. А что же дали римляне Востоку? Они не дали Востоку ни законов, ни мира, ни порядка, ни новых народов, ни искусств. Они опустошали страны, жгли библиотеки, разоряли алтари, храмы, города. Часть александрийской библиотеки погибла в пламени уже при Юлии Цезаре, а бóльшую часть библиотеки Пергама Антоний подарил Клеопатре – так, чтобы впоследствии обе библиотеки могли погибнуть вместе. Итак, римляне, желая явить миру свет, приносят им поначалу ночь-опустошительницу: они вымогают у народа сокровища – золото и предметы искусства, и вот целые части света, целые зоны древнего глубокомыслия падают в бездну; народы, характеры стерты с лица земли, провинции проливают свою кровь, теряют жизненные соки, разграбляются и подвергаются надругательству, пока правят в Риме один за другим омерзительнейшие из императоров.

Но с еще большим чувством сожаления обращаю я взгляд свой на Запад, к разоренным нациям Испании, Галлии, ко всем тем, кого доставала рука римлян. Страны, что порабощал Рим на Востоке, уже отцветали; на Западе же римляне повредили еще не созревшие, но уже налившиеся соками бутоны, повредили их в самый момент роста, так что племенной вид их и породу иной раз невозможно разобрать. Испания перед приходом римлян была благоустроенной и почти всюду плодородной, богатой, счастливой землей. Она вела значительную торговлю, и культура некоторых из населявших ее народностей вполне заслуживала внимания, что подтверждает и пример турдетанцев, живших на берегах Бетиса и давным-давно познакомившихся уже с финикийцами и карфагенянами, и пример кельтиберийцев в самом центре страны. Мужественная Нуманция оборонялась так, как никакой другой город на земле; двадцать лет продолжалась война, терпели поражение одно за другим войска римлян, и в довершение всего город этот не желал покоряться военному искусству самого Сципиона и сражался столь мужественно, что горестный конец наполняет ужасом сердца читателей. Но что же нужно было завоевателям от этих жителей внутренних областей Испании, от народов, которые не трогали римлян, да и едва ли знали об их существовании? Римлянам нужны были золотые прииски и серебряные рудники. Испания была для римлян тем, чем служит Америка теперешним испанцам, – таким местом, где без конца можно грабить. Лукулл, Гальба грабили вероломно, а сам сенат объявил недействительными два заключенных в тяжелую минуту мирных договора с Нуманцией. Сенат жестокосердно выдает

Нуманции самих полководцев, заключивших договоры, но и здесь терпит поражение, потому что город необычайно благородно поступает с несчастными пленниками. А тогда Сципион всей силой обрушивается на Нуманцию, окружает ее, велит отрубить правую руку у четырехсот юношей, пришедших на помощь невинно страдающему городу, он глух к трогательным мольбам народа, взывающего к милосердию и справедливости; как истый римлянин, он довершает гибель несчастных. Как настоящий римлянин поступал и Тиберий Гракх, в одной только стране кельтиберийцев разрушивший триста городов, пусть то даже были только села и замки. Вот откуда идет неистребимая ненависть испанцев к римлянам, вот откуда подвиги Вириата и Сертория, претерпевших столь унизительную для них участь, этих двух полководцев, умом и мужеством превосходивших многих римских военачальников; вот почему так и не были по-настоящему покорены племена, жившие в Пиренейских горах и в пику римлянам хранившие, пока могли, свою первозданную дикость. Несчастная страна золота, Иберия, ты сошла в царство теней и не познакомила нас ни с твоей культурой, ни с твоими племенами; подземным царством рисует тебя, в лучах заходящего солнца, уже и Гомер[12].

О Галлии мало что можно сказать, потому что историю покорения ее римлянами мы знаем только по запискам ее завоевателя. Десятилетняя война стоила Цезарю невероятных трудов, напряжения всех сил великой души. Благороднее самых благородных римлян, Цезарь не мог переменить призвания, выпавшего на его долю, – он был римлянин и удостоился прискорбной похвалы – что «помимо гражданских войн участвовал в пятидесяти открытых сражениях и убил в схватках тысячу сто девяносто два человека» [13], и среди них больше всего галлов. Где многочисленные, жизнелюбивые, мужественные народы этой обширной страны? Где дух их и мужество их, сила и число, – спустя несколько веков варварские народы напали на них и поделили между собою этих рабов Рима. Даже само имя этого народа, одного из главных на земле, исчезло – вместе с религией, культурой и языком – на всем пространстве бывшей римской провинции. О вы, благородные души, Сципионы, Цезарь, о чем думали, что чувствовали вы, когда, духи почившие, с высот небесных сводов взирали на Рим, на это разбойничье логово, на совершенные вами убийства? Не показалось вам, что честь ваша, что лавры ваши – в крови, что душегубство ваше – низменно и бесчеловечно? Рима нет, а пока он существовал, чувство всякого человека должно было сказать ему, что эти чудовищные, эти тщеславные победы навлекают гибель и проклятие на его отечество.

IV. Падение Рима

Закон возмездия – вечный, установленный природой порядок. Чаша весов не может опуститься, чтобы другая не поднялась, – так и политическое равновесие: оно не может быть нарушено, права народов, права всего человечества не могут быть попраны, чтобы не воспоследовала месть и чтобы нагроможденная безмерность не рухнула вниз с тем более страшным шумом и грохотом. И если есть история, которая учит нас этой истине природы, то история эта – римская; однако следует посмотреть на вещи шире и не ограничиваться одной отдельной причиной гибели Рима. Если бы римляне никогда и не дошли до Азии и Греции, а так, как свойственно было им поступать, поступали только с другими, более бедными странами, то и тогда падение все же было бы неизбежным, только наступило бы оно в иное время и при иных обстоятельствах. Очаг гниения заключен в самом растении: червь подточил его корни, его сердцевину, и вот подошел момент, когда гигантское дерево должно пасть.

1. В самом римском строе заключен был раскол, который со временем, рано или поздно, должен был повести к гибели государства, – так было устроено *само государство с его нечеткими или неправильно проведенными линиями разграничения между сенатом, всадниками и гражданами.* Ромул, производя такое разделение, не мог предвидеть всех ситуаций; он делил народ, как того требовали конкретные условия времени, а когда условия изменились, он погиб от руки тех, для кого авторитет его был обузой. Ни один из его преемников не был настолько смел, чтобы исправить упущения Ромула, ни одному не было в том нужды; личность брала верх над противной им партией, и так управляли они обоими сословиями в этом первозданно-варварском, со всех сторон окруженном опасностями городе. Сервий оценил имущество граждан и вес в управлении предоставил самым богатым. При первых консулах Рим преследовали беды и напасти, а среди патрициев выдвинулось много значительных, могучих, заслуженных мужей, так что черни оставалось только следовать за ними. Но вскоре обстоятельства изменились, и гнет аристократии стал невыносимым. Граждане буквально тонули под бременем налогов, они почти не участвовали в законодательной деятельности, почти не пользовались плодами побед, которые одержаны были благодаря им, и тогда народ стал собираться на священной горе Капитолия, возникли распри, которым никак не могло положить конец избрание трибунов, и эти распри продолжались и множились на всем протяжении римской истории. Отсюда пошли и долгие, постоянно возобновляющиеся споры о разделе земель, об участии народа в замещении административных, консульских, жреческих должностей, каждая сторона стояла на своем, и не было человека, который бы беспристрастно привел в порядок все целое. Вплоть до

эпохи триумвиратов тянулся этот спор, и триумвираты были только его следствием. А поскольку триумвираты положили конец всему древнему римскому строю и спор был стар, как сама республика, то ясно: корни государства с самого начала подрывала не внешняя, а внутренняя причина. Странно поэтому видеть, когда римский государственный строй описывают как наиболее совершенный[14]: совсем напротив, будучи одним из наименее совершенных на целом свете, этот строй был порожден примитивными обстоятельствами и никогда впоследствии не был усовершенствован в согласии с интересами целого, а только изменялся в ту или иную сторону под влиянием пристрастий и предубеждений. Только Цезарь мог бы улучшить римский строй, но было поздно, и поразивший его клинок пресек все возможные замыслы более совершенного государственного устройства.

2. В утверждении: «Рим – владыка мира», «Рим – царь народов» – заключено противоречие; ведь Рим был *только городом, и строй его был городским строем.* Но поскольку объявление войны зависело в Риме не от воли смертного человека-самодержца, а от воли бессмертного сената, и поскольку такая коллегия, как сенат, лучше хранила в себе самый дух гибельных для судеб мира принципов, чем переменчивая цепочка государей, то и это способствовало бесконечным победам Рима, упорному завоеванию им народов. И более того: коль скоро между сенатом и народом всегда существовала напряженность и сенат постоянно должен был выдумывать поводы к войне, чтобы найти занятие или для какой-нибудь беспокойной головы, или для беспокойной черни и тем самым сохранить мир в стенах города, то и эта непрестанная напряженность только способствовала тому, чтобы равновесие в целом мире без конца нарушалось. И наконец, самому сенату, чтобы утвердить свою власть, нередко требовались не только победы и не только слухи о победах, но и жестокие опасности, которые грозили бы Риму, и всякий дерзкий патриций, желавший влиять на народ, должен был обладать громким именем, удостаиваться триумфов, раздавать подарки, устраивать игры, средства для чего могла ему дать только война, а потому, понятно, такое беспокойное устройство государства, такое его внутреннее разделение и расчленение и могло лишать покоя целый свет и на протяжении долгих столетий могло удерживать его в состоянии беспокойства; ибо ни одно благоустроенное государство, в котором царит внутренний мир, не явило бы всему свету такой страшный спектакль только ради своего собственного счастья и процветания. Однако совсем разные вещи – захватывать чужое и удерживать завоеванное в своих руках, добиваться побед и обращать их на пользу государства. Последнего Рим не умел делать никогда, причиной чему – его внутренний строй, а первого он мог достигать лишь средствами, вступавшими в полнейшее противоречие с конституцией любого города. Уже первые цари Рима, приступив к завоеванию

чужих земель, вынуждены были принять в стены Рима некоторые из покоренных городов с их народами, – слабое дерево, чтобы выращивать чудовищной величины ветви, должно было укрепить корни и ствол, – число жителей Рима все росло и стало ужасающим. Затем город заключил союзы, и союзники отправились на завоевания вместе с Римом; поэтому они стали получать свою долю добычи и сделались римлянами, не будучи еще римскими гражданами и жителями города. Вскоре, естественно, разгорелись споры о том, что союзникам тоже положены гражданские права римлян, – требование неизбежное и заложенное в самом существе дела. Этот спор послужил поводом для первой гражданской войны, которая стоила Италии жизни трехсот тысяч юношей и привела Рим на край гибели, – Риму пришлось вооружить даже вольноотпущенников; это была война между головой и членами тела, и могла она закончиться только тем, что впредь и сами члены тоже стали относиться к самой этой уродливой и бесформенной голове. Что же, теперь вся Италия сделалась Римом и, приводя в замешательство целый свет, стала распространяться вширь все дальше и дальше. Не буду думать сейчас о том, какой беспорядок внесла эта романизация в судопроизводство всех итальянских городов, и замечу только одно: со всех сторон и со всех концов стало собираться в Рим всякое зло. Уже и раньше все устремлялись в этот город, и настолько невозможно было блюсти здесь чистоту цензорских списков, что однажды появился даже консул, который не был римским гражданином; а что же теперь, когда этот город, «голова мира», стал скопищем собравшихся со всей Италии людей – самой чудовищной головой на свете! Сразу же после смерти Суллы эти владыки земли насчитывали четыреста пятьдесят тысяч человек; когда к ним прибавились союзники, число это весьма возросло, и во времена Цезаря не менее трехсот двадцати тысяч человек претендовали на хлеб во время его бесплатных раздач. Представьте себе эту неуемную и по большей части праздную толпу во время голосования – она сопровождает патронов, она околачивается вокруг кандидатов на почетные должности, – и вам сразу же станет понятно, что, раздавая подарки, устраивая в Риме игры и торжественные процессии, льстя толпе, можно было и поднять тут бунт, и учинить кровавую резню, и основать триумвираты, от которых «владыка мира» делался своим собственным рабом. Что авторитет сената, этих четырех, пяти или шести сотен людей, в сравнении с бессчетной толпой, требующей для себя господских прав и целыми полчищами отдающейся в распоряжение того или иного политического деятеля? Какую жалкую роль играл этот «бог сенат», как называли его льстивые греки, а какую великолепную – Марий и Сулла, Помпей и Цезарь, Антоний и Октавий, – не говоря уж о злодеях-императорах! Сам «отец отечества» – Цицерон – превращается в жалкую фигуру, когда обрушивается на него какой-нибудь Клодий, и самые лучшие

советы, какие может подать Цицерон, – ничто в сравнении не то что с реальными действиями Помпея, Цезаря или Антония, но даже с тем, чего едва не добился какой-нибудь Катилина. Вся эта диспропорция – не от азиатских пряностей и не от изнеженности Лукулла, она идет от самого строя Рима: будучи городом, он пожелал встать во главе всего мира*.

3. *Но не только сенат и народ были в Риме, а и рабы, и рабов было больше, чем более становились римляне господами мира.* Рабы обрабатывали их обширные, богатые поля – в Италии, на Сицилии, в Греции и т.д.; рабы определяли богатство дома, а торговля рабами, дрессировка рабов – это было целое ремесло, и не стыдился его даже Катон. Давно прошли времена, когда господин словно с братом обращался с рабом, а Ромул мог издать закон, по которому отец имел право трижды продать в услужение собственного сына; завоеватели мира согнали рабов со всех сторон света, и добрые господа обращались с ними мягко, а немилосердные – словно с животными. Было бы чудом, если бы от этой чудовищной толпы угнетенных людей не произошло беды для Рима; как всякое дурное установление, и рабство должно было повлечь за собой возмездие и кару. Месть состояла не только в кровопролитной войне рабов, которую три года вел с римлянами, проявляя мужество и умение полководца, Спартак: число его приверженцев возросло с семидесяти четырех человек до семидесяти тысяч; он разбил несколько военачальников, разбил даже двух консулов, и совершено было при этом немало жестокостей и насилий. Но самая страшная беда произошла для Рима по вине вольноотпущенников, этих любимчиков своих господ, так что Рим буквально сделался рабом своих рабов. Зло это дало знать о себе уже во времена Суллы, а во времена империи оно столь чудовищно расплодилось, что я не в силах описать весь тот беспорядок и всю ту мерзость, причиной которых стали вольноотпущенники и любимчики-рабы. Римская история, римские сатиры полны рассказов об этом; ни один варварский народ на земле не знает ничего подобного. Рим покарал Рим, угнетатели целого света стали смиренными слугами гнуснейших своих рабов.

4. И наконец, свою роль сыграла и роскошь, потому что на свое несчастье Рим был одинаково удобно расположен и для завоевания мира, и для усвоения привычек роскошной жизни. Словно из центра управлял Рим Средиземным морем, то есть богатейшим побережьем трех частей света; через Александрию, с помощью довольно многочисленного флота, Рим приобретал драгоценности Эфиопии и самых

---

* Все то хорошее, что можно сказать о простоте древнеримских нравов и культуре римского народа, см. в сочинении Мейеротто «О нравах и образе жизни римлян» (ч. I. Берлин, 1776)[15], где собрано множество свидетельств и во второй части излагается история роскоши в народе и у знати.

глубинных земель Индии. У меня не хватит слов, чтобы описать варварское расточительство и роскошь, что воцарились не только в самом Риме, но и во всех римских владениях со времен завоевания Азии, – во всем, в пирах и на играх, в деликатесах и в одеждах, в архитектуре и в домашней утвари*. Не веришь глазам своим, читая описания всей этой роскоши, узнавая, сколько стоили заморские драгоценности и как велики были, вследствие всего этого, долги расточительных римлян, недавних вольноотпущенников и рабов. Такие затраты невольно приводили к самой жестокой нужде, да и само по себе это римское расточительство было такой нуждой и нищетой. Вековые источники золота, которое выкачивал Рим из своих провинций, иссякли, а поскольку вся торговля Рима шла в ущерб самим римлянам, потому что покупали они лишнее, а отдавали необходимое – деньги, то неудивительно, что уже одна Индия ежегодно пожирала у Рима чудовищную сумму. При этом земля приходила в упадок: земледелием уже не занимались так, как в древнейшем Риме и как в других местностях Италии; все римские искусства нацелены были на то, без чего можно было обходиться, не на полезное, а на чудовищную роскошь и расточительство, – строились триумфальные арки, бани, памятники, театры, амфитеатры, всякие чудесные здания, которые, конечно, и могли возвести только эти обобравшие целый свет люди. Ни в одном полезном искусстве, ни в одной отрасли хозяйства, питающей человеческий род, ни один римлянин не придумал и не изобрел ровно ничего, так что римляне тем более не могли оказать услуг другим нациям и не могли извлечь для себя справедливой выгоды и реальной пользы. Вскоре империя обнищала: деньги обесценились, и уже в III веке нашего летосчисления военачальник получал этими легковесными монетами жалованье такое, какого было бы слишком мало для самого простого солдата во времена Августа. Все это следствия естественного хода вещей, и, если даже рассматривать только торговлю и ремесла, отсюда не могло воспоследовать ничего иного. Но в силу этих же самых губительных причин стал таять и род человеческий – это относится не только к численности населения, но и к жизненной энергии, к росту и пропорциям самого тела. Тот самый Рим и та самая Италия, что наполовину обратили в пустыню населенные и цветущие земли – Сицилию, Грецию, Испанию, Азию, Африку и Египет, – навлекли на себя самую естественную и самую неестественную погибель, навлекли ее на себя всеми своими законами, войнами, но еще более испорченным и праздным образом жизни, пороками и развратом, презрением к женщине, жестоким обращением с рабами, а позднее и тираническим преследованием самых благородных людей.

---

* Кроме Петрония, Плиния, Ювенала и других нередких мест в сочинениях древних см. также Мейеротто «О нравах и образе жизни римлян» (ч. II), «Историю упадка римлян» Мейнерса[16] и др.

Веками смертельно больной Рим лежит на своем одре в агонии, одр его простерся над целым светом, из которого Рим выжал сладостные яды; и теперь мир может помочь Риму лишь одним – ускорить его смерть. Являются варвары, исполины Севера, – изнеженные римляне кажутся им карликами; варвары опустошают Рим и новые силы вливают в вялое тело Италии. Страшное и благое доказательство того, что всякий разврат несет в самом себе отмщение и гибель! Восточной роскоши обязаны мы тем, что освободились от смердящего трупа, который наверняка разложился бы, одержав новые победы в иных частях света, но только разложился бы не столь стремительно и ужасно.

5. Теперь мне надлежало бы подвести итоги и во всей последовательности представить тот установленный природой порядок, согласно которому и помимо всякой роскоши и помимо всякого плебса, сената и рабов *воинственный дух Рима должен был в конце концов погубить сам себя, и меч свой, столько раз занесенный над головами невинных наций и городов, обратить против самого себя;* но здесь вместо меня слово свое скажет сама история. Разграбившие все и не напитавшиеся грабежом, как должны были поступить легионы, что увидели на границах Парфии и Германии рубеж своей славы, – повернувшись назад, не должны ли были они задушить матерь свою? Уже во времена Мария и Суллы начался этот страшный спектакль: преданные военачальнику или подкупленные им войска, вернувшись на родину, начинали мстить противной партии в самом Риме, и город заливала кровь сограждан. Спектакль продолжался. Помпей и Цезарь друг против друга повели войска, нанятые ими за дорогую цену, и было это в стране, где некогда пели Музы и, переодетый пастухом, бродил Аполлон, – так, в этой дали, римлянами, сражавшимися против римлян, решалась судьба их родного города. Так было в Модене, где триумвиры заключили жестокое соглашение, – они предавали смерти и опале триста сенаторов и две тысячи всадников, имена которых содержал один-единственный проскрипционный список; они от Рима, даже от римских женщин, вымогательски потребовали двухсот тысяч талантов. Так было после битвы при Филиппах, когда пал Брут; так – перед войной со вторым Помпеем, благородным сыном великого отца; так – после битвы при Акциуме; и т.д. Напрасно слабовольный, жестокий Август разыгрывал роль миролюбивого и доброго человека: империя была завоевана мечом, ее и защищать приходилось с мечом в руках или же оставалось погибнуть. А если римляне склонны были теперь погружаться в дремоту, то не спали обиженные и разбуженные ими нации; они взывали к мести и мстили, когда наступало их время. Император в римской империи всегда оставался только верховным военачальником; когда он забывал о своем долге, войско жестоко напоминало ему об его обязанностях. Войско ставило императоров, оно же душило их, и, наконец, начальник личной стражи провозгласил себя великим визирем и превратил сенат

в жалкую игрушку. А вскоре и сенат составляли уже одни солдаты – обессилевшие настолько, что не годились уже ни для войны, ни для совета. Империя распадалась: императоры и антиимператоры гнали и мучили друг друга; народы подступали к Риму, и врагов приходилось принимать в свое войско, а это манило других врагов. Провинции были расчленены и опустошались; вечный Рим рухнул, наконец и погиб, брошенный своими полководцами. Страшный памятник истории! – вот чем кончается безумная жажда завоеваний, когда овладевает она большими и малыми государствами, вот естественный конец деспотического воинственного духа. Никогда не бывало военного государства более обширного и прочного, чем Рим, но не было и более ужасного трупа, снесенного, в конце концов, в свою могилу, чем на протяжении долгих столетий это римское государство, – после Помпея и Цезаря уже не должно было бы быть завоевателей, а среди цивилизованных народов – военной диктатуры!

Великая судьба! Для того досталась нам римская история, для того навязывалась она огнем и мечом целой части света, чтобы мы выучили этот урок? А мы – мы выучиваем пустые слова или же, дурно усваивая урок, воспитываем новых римлян, из которых, впрочем, не один не сравнился со своим образцом. Лишь однажды выступили древние римляне на подмостках своей сцены, лишь однажды разыграли они, обычно выступая как частные лица, этот страшный и величественный спектакль, повторения которого мы не пожелаем человечеству. Но посмотрим, какой блеск, какие великие стороны явила эта трагедия.

V. Римский характер, римские науки и художества

После всего сказанного долг наш назвать и восславить благородные души – людей, что на возложенном на них судьбою тяжелом посту мужественно жертвовали собою отечеству, той стране, которую называли они своей родиной, совершив в течение своей недолгой жизни подвиги, что почти превышают величайший предел человеческих возможностей. Соблюдая историческую последовательность, я должен был бы назвать первыми Юния Брута и Попликолу, Муция Сцеволу и Кориолана, Валерию и Ветурию, триста Фабиев и Цинцинната, Камилла и Деция, Фабриция и Регула, Марцелла и Фабия, Сципионов и Катонов, Корнелию с ее несчастными сыновьями, а если вести речь лишь о военных подвигах, то и Мария и Суллу, Помпея и Цезаря, и если же добрые намерения и усилия тоже заслуживают похвалы, то Марка Брута, Цицерона, Агриппу, Друза, Германика – всех в соответствии с заслугами каждого. И среди императоров мне надлежало бы назвать радость человечества – Тита, справедливого и доброго Нерву, счастливого Траяна, неутомимого Адриана, благих Антонинов, неунывающего Севера, мужественного Аврелиана и других– все это мощные столпы рушащегося здания. Но

поскольку все эти мужи известны лучше, чем даже греки, то мне будет дозволено говорить о римском характере, каким он был в лучшие времена, в общем и целом, и рассматривать римский характер просто как следствие конкретных условий времени.

Если можно одним словом охарактеризовать беспристрастие и твердую решимость, неутомимость во всех делах, обдуманность и стремительность в достижении целей – победы и славы, хладнокровие и дерзание, не останавливающееся ни перед какой опасностью, мужество, несгибаемое в беде, не возносящееся сверх меры в счастье, то все это – римская доблесть. Многие граждане этого государства, даже и происходившие из низкого звания, явили римскую доблесть в таком блеске, что мы почитаем этих героев Древнего мира какими-то ушедшими в прошлое великими тенями, особенно почитаем их в юности, когда римляне предстают перед нами во всем своем благородстве. Словно гиганты, полководцы римлян перешагивают через целые части света и несут судьбу народов в своей твердой и легкой руке. Их шаги сокрушают троны, одно их слово означает жизнь и смерть миллионов. Опасна высота, на которой стоят они! Слишком дорогая игра с царскими венцами, с жизнью миллионов, с золотыми миллионами!

И на таких высотах они выступают – просто как римляне; они презирают пышную жизнь варварских царей; шлем – их корона, доспехи – их украшение.

И когда я слышу мужественные речи этих достигших вершин богатства и славы мужей, когда вижу неутомимость их в делах семейной и государственной добродетели, когда в шуме битв и в суете форума светло чело Цезаря, и даже к врагам своим обращается он с великодушием и снисхождением, – о великая душа! если ты не достоин, с твоими легкомысленными пороками, быть монархом в Риме, то и никто не достоин быть им. Но Цезарь был больше, чем монарх, – он был Цезарь. Самый высокий на земле престол украсил он своим именем[17], – о если б мог он наградить его красотой своей души, чтобы тысячелетиями оживлял его доброжелательный, неусыпный, объемлющий все дух Цезаря!

Но и против него восстает друг его Брут, что занес над ним свой кинжал. Добрый Брут! Не при Сардах и не при Филиппах впервые явился тебе злой гений твой; уже давно являлся он тебе в образе Отечества, ему принес ты в жертву священные права дружбы и человечности, ибо душа твоя была не столь тверда, как душа твоего предка-варвара. Не было в тебе великодушия Цезаря и дикой ярости Суллы, не мог воспользоваться ты плодами своего вынужденного деяния и должен был покинуть Рим, – Рим, что перестал уже быть Римом, – и ты уступил безумным советам Антония и Октавия, из которых первый все великолепие Рима положил к ногам своей египетской любовницы, а второй правил из спальни Ливии, храня вид умиротворенного свято-

ши, замученным до смерти миром. Тебе осталось лишь твое оружие, печальное и неизбежное прибежище всех страдающих под пятою римской судьбы.

Где исток величественного характера римлян? В воспитании, нередко просто в личном имени и имени рода, в делах, в сенате, народе, в наплыве толпы, в бессчетных народах, теснящихся в Риме, этом средоточии мирового господства, и, наконец, в самой необходимости, одинаково счастливой и несчастной, в которой обретал свою судьбу всякий римлянин. Поэтому римский характер передавался всем, кто был причастен к римскому величию, – не только знатным родам, но и народу, не только мужам, но и женам. Дочери Катона и Сципиона, жена Брута, мать и сестра Гракхов не могли поступать недостойно своего пола; благородные римлянки нередко превосходили мужчин даже умом и благородством. Теренция была мужественнее Цицерона, Ветурия – благороднее Кориолана, Паулина – сильнее духом, чем Сенека... Ни в восточном гареме, ни в греческом гинекее, при всех природных задатках женщин, добродетели не могли расцветать так, как расцветали они в общественной и домашней жизни римлян, – но, конечно, и женские пороки расцветали во времена порчи нравов, так что в страхе отступает пред ними человечество. Уже в те времена, когда римляне одолели латинян, сто семьдесят римских жен сговорились отравить своих мужей, а когда замысел их был раскрыт, героически выпили приготовленный ими яд. Трудно описать, на что были способны, что творили женщины во времена императоров. С самым ярким светом граничит самая мрачная тень – мачеха Друза Ливия и жена его Антония, Планцина и жена Германика Агриппина, Мессалина и Октавия.

* * *

Чтобы оценить значение римлян в науке, нам следует исходить из их характера и не ждать от них тех же искусств, что от греков. Язык римлян был эолийским диалектом[18], смешавшимся почти со всеми языками Италии: он медленно развился из своей первозданной грубой формы, но, несмотря на всю шлифовку, так и не достиг легкости, ясности и красоты языка греческого. Язык законодателей и властителей мира, латынь кратка, серьезна, полна достоинства, – во всем отпечаток римского духа. А поскольку римляне поздно познакомились с греками, когда, благодаря латинской, этрусской и собственно римской культуре, характер и государство римлян давно уже сложились, то и своему природному красноречию они придали изящество лишь в позднюю эпоху, опираясь на искусство греков. Поэтому мы пройдем мимо первых драматических и поэтических опытов римлян, бесспорно способствовавших становлению их языка, а станем говорить лишь о том, что пустило у римлян глубокие корни. А пустили корни *законодательство, красноречие, ис-*

ториография – цветы рассудка, порожденные практическими делами римлян: в них всего сильнее и сказывается римская душа.

Но можно только пожалеть, что и здесь судьба была столь не расположена к нам, – римляне, чей захватнический дух отнял у нас так много сочинений самых разных народов, свои творения должны были оставить на произвол разрушительных времен. Ведь не говоря уже о древних летописях жрецов и героических повествованиях Энния, Невия, ранних опытах Фабия Пиктора, – где исторические труды Цинция, Катона, Либона, Постумия, Пизона, Кассия Гемины, Сервилиана, Фанния, Семпрония, Целия Антипатра, Азеллиона, Геллия, Лициния и других? Где жизнеописания Эмилия Скавра, Рутилия Руфа, Лутация Катула, Суллы, Августа, Агриппы, Тиберия, жены Германика Агриппины, самого Клавдия, Траяна, что написаны были ими самими? И все это – не считая бесчисленных исторических сочинений виднейших государственных деятелей Рима, живших в самые выдающиеся эпохи римской истории, – Гортензия, Аттика, Сисенны, Лутация, Туберона, Лукцея, Бальба, Брута, Тирона, Валерия Мессалы, Кремуция Корда, Домиция Корбулона, Клувия Руфа, – не говоря уже об утраченных сочинениях Корнелия Непота, Саллюстия, Ливия, Трога, Плиния и других. Я называю весь этот ряд имен, чтобы опровергнуть некоторых новых писателей, ставящих себя выше римских, – есть ли нация, у которой в такое короткое время и при столь важных переломах, при стольких совершенных подвигах, было так много великих историков, как у римлян, которых называют теперь варварами? В римских исторических сочинениях, если судить по немногим отрывкам и по сохранившимся произведениям Корнелия, Цезаря, Ливия и других, не было изящества и приятной красоты греческой историографии, но зато свойственно им было римское достоинство, а книгам Саллюстия и Тацита – философская и политическая мудрость. В стране, где совершаются великие дела, и мысли и слова – велики; в рабстве человек умолкает, и это подтверждает сама же римская история позднейшего времени. На нашу беду бóльшая часть римских историков тех времен, когда Рим был свободен или свободен наполовину, утрачена, – потеря невосполнимая, ибо лишь однажды жили эти мужи и только раз писали они свою историю.

Римскую Историю неотступно сопровождало Красноречие, и бок о бок с ними шло породившее их государственное и военное Искусство, – вот почему многие великие римляне не просто знали каждую из дисциплин, но и могли писать о них. Несправедливо упрекать греческих и римских историков за то, что так часто вплетают они в рассказ о событиях речи, что произносились перед народом или войском; речи такие дают при республиканском строе направление решительно всем событиям, а потому и у историка нет более естественной нити, с помощью которой он мог бы связать, многогранно представить и прагматически

объяснить события истории; в сравнении с позднейшим Тацитом и его братьями по ремеслу, которые вынуждены были однообразно вплетать в повествование свои собственные мысли, речи были гораздо более изящным средством прагматического изложения событий. Однако и Тацита с его духом размышления нередко судили весьма несправедливо, ибо в своих описаниях и в своем неприязненном тоне изложения он остается римлянином до глубины души. Он не мог рассказывать о событиях, не объясняя подробно их причин и не рисуя черными красками все, что заслуживало презрения. В его истории слышится стон об утраченной вольности, и сама темная и сдержанная интонация повествования плачет о свободе – так горько, как никогда не сказать о том словами. Красноречие и история пользуются лишь временами свободы, когда все гражданские и военные дела совершаются открыто; времена свободы уходят в прошлое, и тогда нет места ни для красноречия, ни для исторических сочинений; в праздности гражданских дел они тогда черпают для себя праздные слова и размышления.

Но если говорить о красноречии, то нам не придется так жалеть об утрате не менее великих ораторов, – один Цицерон заменяет нам многих. В своих книгах об ораторском искусстве он по крайней мере знакомит нас с характерами своих великих предшественников и современников, а его собственные речи служат нам заменой речам Катона, Антония, Гортензия, Цезаря и других. Блистательна судьба Цицерона при жизни, еще блистательнее его посмертная судьба. Он спас для нас не только римское красноречие, его теорию и образцы, но не кто иной, как он, сохранил и значительную часть греческой философии: не будь Цицерона, не будь его поразительного, вызывающего нашу зависть искусства излагать философские взгляды устами философов, – и учение многих философских школ было бы известно нам лишь по названию. Красноречие Цицерона превосходит Демосфеновы громы не только светом и философской ясностью, но и своим утонченным слогом, и патриотическим духом, в котором больше правды и неподдельности. И можно сказать, что Цицерон один вернул Европе чистый латинский язык – инструмент, принесший человеческому духу гораздо больше пользы, чем вреда, как бы ни злоупотребляли люди этим орудием мысли. Спи спокойно, муж, много трудившийся, много страдавший, отец отечества для всех латинских школ Европы! Слабости свои ты искупил при жизни; после смерти твоей люди наслаждаются твоей ученостью, изяществом, справедливостью, благородством; твои книги и письма заставляют если не поклоняться тебе, то высоко ценить и любить тебя*.

---

* Об этом человеке, которого так часто неверно понимают и недооценивают, см. «Жизнь Цицерона» Мидлтона[19] (перевод, изданный в Альтоне в 1757 г., три части) – превосходный труд не только о сочинениях Цицерона, но и обо всей его эпохе.

* * *

Поэзия римлян была чужеземным растением – оно прекрасно цвело и в Лациуме, приобрело более нежную окраску, но не могло завязать новых плодов. Уже carmin saliaria этрусков[20], их похоронные песнопения, фесценнины[21], ателланы[22], театральные представления подготавливали души грубых воинов к восприятию поэтического искусства: вместе с покорением Тарента и других городов Великой Греции были завоеваны и греческие поэты, которые попытались придать бóльшую гибкость и изящество грубому наречию своих победителей при помощи более тонких Муз-покровительниц родного греческого языка. Заслуги этих древнейших римских поэтов известны нам лишь по немногим сохранившимся стихам, по фрагментам, но нас поражает множество трагедий и комедий, относящихся не только к самым древним временам, но и к периоду расцвета, – названия их дошли до нас. Время истребило их, и я полагаю даже, что в сравнении с утратой греческих драм утрата этих римских трагедий и комедий не столь уж великая потеря, потому что римляне подражали греческим сюжетам, и по всей видимости, и греческим нравам. Римскому народу слишком нравились фарсы и пантомимы, цирк, игры гладиаторов, чтобы слушать и воспринимать по-гречески, всей душой, театр. Муза театра пришла к римлянам рабыней и рабыней осталась, хотя меня, конечно, весьма огорчает потеря ста тридцати пьес Плавта и гибель в волнах морских ста восьми комедий Теренция[23], печалит и утрата поэзии Энния, человека с сильной душой, особенно утрата его «Сципиона» и дидактических стихотворений; а Теренций, по выражению Цезаря, уже был бы для нас «половиной Менандра». Итак, спасибо Цицерону и за то, что он сохранил для нас Лукреция, поэта с душой настоящего римлянина, и спасибо Августу за то, что он сохранил для нас половинного Гомера – «Энеиду» своего Марона. Спасибо Корнуту, что он не утаил от нас ученических созданий благородного Персия, и вам, монахи, тоже спасибо, что вы сберегли для нас Теренция, Горация, Боэция, – сочинения, по которым учились вы латыни, – а также прежде всего «вашего» Вергилия, поэта правоверного[24]. Вот единственная, ничем не запятнанная лавровая ветвь в венце Августа – Август любил Муз и дал прибежище наукам.

* * *

От римских поэтов я рад перейти к философам: нередко поэты были философами, философами всей душою и сердцем. В Риме не выдумывали систем, а осуществляли их на деле, проводили их в законах, государственных установлениях, в деятельной жизни. Никто не будет писать дидактических поэм с такой силой, с таким огнем, как Лукреций, – он верил в то, чему учил; и никогда основанная Плато-

ном Академия не возрождалась с тем изяществом и прелестью, что в прекрасных диалогах Цицерона. И стоическая философия не просто заняла большое место в римском правоведении, строго руководя всеми действиями людей, но она достигла практической твердости и красоты в сочинениях Сенеки, в превосходных рассуждениях Марка Аврелия, в жизненных правилах Эпиктета, причем свою лепту внесли сюда принципы разных философских школ. При нелегких условиях, в которых существовало римское государство, практическая нужда и упражнение укрепили человеческие души, закалили их; люди искали поддержки, опоры, и всем, что придумали греки, они пользовались не как праздной красотой, а как оружием, как щитом. Стоическая философия в душах и сердцах римлян породила великие результаты, и служили они не целям мирового завоевания, а целям справедливости, права, утешения невинно угнетаемых людей. И римляне были людьми, и когда невинное поколение стало страдать от пороков своих родителей, они искали исцеления, в чем только могли; что не было придумано самими римлянами, они усваивали тем тверже.

* * *

Наконец, история римской учености – это для нас руины руин, потому что, как правило, у нас нет не только собраний ученых трудов, но нет и источников, из которых были почерпнуты эти собрания. Какие труды были бы сбережены, каким светом была бы освещена вся древность, если бы до нас дошли сочинения Варрона или те две тысячи книг, из которых делал выписки Плиний! Конечно, Аристотель выбирал бы совершенно иначе, чем Плиний, и все же книга Плиния остается сокровищем, в котором видны и усердие автора, как бы ни мало сведущ был он в некоторых дисциплинах, и поистине римская душа этого компилятора. Такова и история юриспруденции – история великого трудолюбия и безмерной проницательности и глубокомыслия, что и могло быть, в течение столь долго времени, только в римском государстве; в том, что сделали с римскими законами последующие века, в том, что прибавили они к ним, неповинны правоведы древнего Рима. Короче говоря, как бы ни отставала римская литература от греческой почти в каждом роде и жанре, она стала гордой законодательницей народов, и причиной тому не только сами обстоятельства времени, но и римская натура. Плоды римских трудов увидим мы впоследствии, когда из пепла восстанет новый Рим, совсем иной, но исполненный все того же духа завоеваний.

* * *

В конце мне предстоит говорить об искусстве римлян, в котором они явили себя господами мира и современникам и потомству, – в распо-

ряжении их были материалы и труды всех покоренных ими народов. С самого начала дух римлян стремился запечатлеть величие побед знаками славы, величие Города – великолепными долговечными памятниками, так что издревле римляне думали лишь о вечности своего горделивого существования. Храмы, выстроенные Ромулом и Нумой, площади, отведенные ими для народных собраний, уже предвещали грядущие победы и всю мощь народного правления, а вскоре после этого Анк и Тарквиний заложили основы того архитектурного стиля, который впоследствии достиг почти неизмеримых высот. Тот римский царь, что родом был из Этрурии, возвел стены Рима из обтесанных камней; чтобы напоить народ и навести в городе чистоту, он выстроил гигантский акведук, развалины которого и теперь остаются чудом света, ибо в новое время у Рима не хватило сил даже для того, чтобы разобрать развалины или восстановить целое. Тем же духом проникнуты были и выстроенные Римом галереи, храмы, суды и сам колоссальный цирк, воздвигнутый только ради того, чтобы развлекать народ, цирк, развалины которого и до сих пор вызывают почтительный страх. Тем же путем шли цари, в первую очередь Тарквиний Гордый, консулы и эдилы, завоеватели и диктаторы, среди которых первым был Юлий Цезарь, и, наконец, императоры. Так, постепенно, друг за другом выросли ворота и башни, театры и амфитеатры, цирки и стадионы, триумфальные арки и колонны, пышные надгробия и склепы, шоссейные дороги и акведуки, дворцы и бани – не только в Риме, но нередко и в провинциях, где они остались вечными следами римлян, этих властителей мира. Многие из этих памятников римского владычества, даже памятники, лежащие в развалинах, не способен охватить взгляд, душа не в состоянии постигнуть колоссальный образ, который задуман художником, смело распоряжавшимся колоссальными, прочными и роскошными формами. Но еще меньше кажемся мы самим себе, когда вспоминаем о тех целях, для которых были выстроены все эти здания, о жизни, которая протекала в их стенах и около стен, о народе, которому были они посвящены, о тех частных лицах, что нередко посвящали их своему народу. Тогда душа наша чувствует – только один Рим был на земле: начиная с деревянного амфитеатра Куриона и до Колизея, выстроенного Веспасианом, от храма Юпитера Статора до Пантеона Агриппы или храма Мира, от первых триумфальных ворот, через которые въезжал в город победитель, до победных арок и колонн Августа, Тита, Траяна, Севера, во всех памятниках общественной и частной жизни господствовал один Гений. Этот Гений не был духом народной свободы и человеколюбия; если подумать о чудовищных муках людей, рабов, что, нередко из дальних стран, должны были везти эти мраморные, эти каменные громады, эти утесы, чтобы водрузить их в Риме; если посчитать, сколько пота и крови стоили эти колоссы разграбленным и изможденным провинциям, и, наконец, если поразмыслить о жестоком, гордом и варварском вкусе,

который воспитывали в людях большинство этих сооружений, где устраивались кровавые гладиаторские игры, бесчеловечные бои со зверями, варварские триумфальные шествия и т.д., не говоря уж о сладострастной роскоши бань и дворцов, – если подумать обо всем этом, то придется поверить, что какой-то враждебный роду человеческому демон основал этот город, чтобы всей земле явить следы своего сверхчеловеческого демонического величия. Почитайте сетования Плиния Старшего, да и всякого благородного римлянина, посмотрите, сколько войн и какие поборы потребовались, чтобы искусства Этрурии, Греции, Египта пришли в Рим, и вы, быть может, поразитесь каменному нагромождению римской роскоши – этому величайшему накоплению людского величия и могущества; но вы с презрением отнесетесь к этому воровскому притону, разбойничьему логову и яме человеческого рода. Между тем законы искусства не перестают быть законами искусства, и хотя сами римляне, по существу, не открыли в искусстве ничего нового и даже открытия других приводили в довольно варварскую связь, громоздили одно на другое, хватали что попало во всех концах света, но все же и такой вкус показывает, что они были великими властителями мира.

Excudent alii spirantia mollius aera:
Credo equidem; vivos ducent de marmore vultus:
Orabunt caussas melius, coelique meatus
Describent radio et surgentis sidera dicent:
Tu regere imperio populos, Romane, memento;
Hae tibi erunt artes, pacisque imponere morem,
Parcere subiectis et debellare superbos*.

Мы с удовольствием простили бы римлянам их презрение к греческим ремеслам и художествам, хотя они и сами прибегали к ним, когда того требовали роскошь и практическая надобность, мы не стали бы требовать от римлян и развития наиболее благородных наук, как-то астрономии, летосчисления и т.д., а попросту отплыли бы к тем берегам, где эти цветы человеческого разумения распускаются на своей родной почве, если бы только римляне оставили их в покое и более человеколюбиво занимались тем искусством управления народами, в котором они видели свое отличительное достоинство. Но вот этого-то римляне и не умели, потому что вся мудрость их служила только одной

* Смогут другие создать изваянья живые из бронзы,
Или обличье мужей повторить во мраморе лучше,
Тяжбы лучше вести и движенья неба искусней
Вычислят иль назовут восходящие звезды, – не спорю:
Римлянин! Ты научись народами править державно –
В этом искусство твое! – налагать условия мира,
Милость покорным являть и смирять войною надменных![25]

задаче – достижению превосходства над другими народами, и если эти другие народы отличала мнимая гордыня, то сломить их могло только еще более великое чувство гордости.

VI. Общие размышления о судьбах Рима и его истории

Политическая философия издавна упражнялась в исследовании причин, наиболее способствовавших величию Рима, – мужества или удачи. Плутарх и многие греческие и римские писатели высказали свои мнения, а в новое время этой проблемой занимался почти каждый, кто рассуждал об истории. Плутарх весьма многое объясняет доблестью римлян, однако все решает у него удача, – в этом своем исследовании[26], как и во всех своих сочинениях, он показал себя цветистым и приятным греком, но только не тем человеком, который все начатое додумывает до конца. Большинство римлян, напротив того, все приписывали мужеству и доблести, а философы более поздних эпох измыслили такой хитрый план, согласно которому будто бы и строилось все здание римского могущества от первого камня в его основании и до самых широких его пределов. История, очевидно, показывает нам, что одна система не исключает другой, что все они верны, если правильно связать их. Чтобы совершено было то, что и было совершено, должны были сойтись Доблесть, Удача, Хитрость, – и вот, начиная со времен Ромула, мы видим – эти три богини выступают сообща. Итак, если, следуя древним, мы назовем Природой или Счастьем весь узел живых причин и следствий в целом, то тогда и доблесть, и даже самая ужасная жестокость, и хитрость и вероломство римлян – все будет относиться к направляющему все события Счастью. Если же быть односторонним и держаться только одного из свойств и, помня о превосходных сторонах римского характера, забывать об их недостатках и пороках, помня о внутренних особенностях совершенных ими подвигов, забывать о внешних условиях и обстоятельствах истории, помня о твердости и величии их военных замыслов, забывать о случае, которым как раз столь счастливо пользовался ум, – то рассуждение будет неполным и незавершенным. Гуси, спасшие Капитолий, были такими же богами-хранителями Рима, как мужество Камилла, медлительность Фабия или Юпитер Статор. В природе все взаимосвязано, все, что влияет, что проникает одно внутрь другого, все сеющее, хранящее, разрушающее; так и в природе исторического мира.

Приятное упражнение ума – спрашивать при случае, что стало бы с Римом, будь обстоятельства иными, например в случае, если бы Рим был расположен в ином месте, если бы римляне переселились в Вейи, если бы Бренн захватил Капитолий, Александр пошел войной на Италию, Ганнибал занял Рим, а Антиох последовал его совету. Так же можно спрашивать: что было бы, если бы вместо Августа правил Цезарь, вместо

Тиберия – Германик, как устроен был бы мир, если бы христианство не стало шириться по всему свету, и т.д. Всякое такое исследование подводит нас к совершенно точному сцеплению обстоятельств, так что в конце концов учишься рассматривать Рим, по примеру восточных людей, как живое существо, – вот оно, при таких-то, а не иных обстоятельствах, вышло, как бы из воды, на берега Тибра, вот оно начало свои ссоры со всеми народами, жившими в этой стороне, на суше и на море, вот оно покорило и раздавило их и, наконец, в самом же себе обрело и рубежи славы и источники гибели, – как то и было на самом деле. При таком способе рассмотрения всякий бессмысленный произвол исчезает из истории. В ней, как и во всем производимом природой, случай – все и ничто, произвол – все и ничто. Всякий исторический феномен становится произведением природы, произведением, для людей наиболее достойным рассмотрения, потому что здесь столь многое зависит от человека, и человек находит для себя зерно пользы даже в горькой скорлупе, в том, что заключено во всесильных обстоятельствах времени и превосходит силы человека, – в покорении Греции, Карфагена и Нуманции, в убийстве Сертория, Спартака и Вириата, в гибели Помпея Младшего, Друза, Германика, Британника и т.д. Таков единственный способ рассматривать историю философски; так рассматривали ее все мыслящие умы, даже и не ведая о том.

Если и под кровавую римскую историю подводить ограниченный и тайный план Провидения, то ничто не расходится так с беспристрастным созерцанием истории, – как будто Рим достиг своих высот главным образом для того, чтобы породить ораторов и поэтов, распространить во все концы света римское право и латинский язык и расчистить все дороги для введения христианской религии! Всякий знает, какие ужасные напасти постигли Рим и весь окрестный мир, прежде чем появились такие поэты и такие ораторы, как дорого обошлась Сицилии речь Цицерона против Верреса, Риму и самому Цицерону – речи его против Катилины, нападки на Антония и т.д. Итак, ради спасения жемчужины, получается, целый корабль должен был пойти ко дну, и тысячи душ погибли, только чтобы на могиле их взошли цветы, которые потом, в свою очередь, во все стороны развеет ветер. Чтобы окупить «Энеиду» Вергилия, тихую Музу Горация и его изящные послания, нужно было пролить сначала целые потоки римской крови, поработить бессчетные народы и государства, – стоили ли подобных затрат прекрасные плоды силою вызванного к жизни золотого века Рима? Точно то же и римское право: кто не знает, какие бедствия испытали из-за него народы и как был разрушен более человечный строй разных стран? Чужие народы осуждались по неведомым им обычаям, они познакомились с неслыханными дотоле пороками и положенными за них карами, и, наконец, все развитие этого законодательства, соответствующего единственно римскому строю, – разве, после тысячекратных насилий, не стерло

оно, не сломало оно характера покоренных народов, так что вместо своеобразной печати народа в конце концов появляется только один римский орел, который покрывает своими слабыми крыльями жалкие трупы провинций, после того, как выклевал им глаза и пожрал их внутренности? И латинский язык ничего не выиграл от побед над чужими народами, и чужие народы ничего не выиграли от этих побед. Язык был испорчен и впоследствии не только в провинциях, но и в самом Риме стал мешаниной романских наречий. И более красивый греческий язык по вине латинского тоже утратил былую чистую красоту, и наречия множества народов, более полезные и для них и для нас, нежели испорченный язык Рима, погибли, и осталось от них лишь самое немногое. Наконец, и христианская религия, – как бы ни почитал я ее за исключительные благодеяния, что принесла она народам, я весьма далек от того, чтобы думать, будто в первое время хотя бы один камень был убран с дороги в Риме в угоду этой религии. Не для нее построил Ромул свой город, не для нее отправлялись в Иудею Помпеи и Красс, и не для того установлены римские порядки в Европе и Азии, чтобы уготовать ей пути. Рим допустил христианство точно так же, как допускал в свои стены культ Изиды и самое презренное из суеверий восточного мира; воображать, будто для самого прекрасного своего творения, для распространения в мире истины и добродетели, у Провидения не было иных орудий, а были только окровавленные руки тиранов-римлян, – это недостойно божества. Христианская религия возвысилась благодаря своим собственным, внутренним силам, как и римское государство выросло благодаря своим силам, а если судьбы религии и государства в конце концов были соединены, то не выиграли ни религия, ни государство. Плодом союза явилась римско-христианская помесь, и очень многим хотелось бы, чтобы никогда не появлялась она на свет. Философия конечных целей не принесла пользы естественной истории, она, можно сказать, удовлетворяла приверженцев обманчивой иллюзией вместо исследования существа дела; насколько же более верно будет сказать это о человеческой истории с ее тысячью переплетающихся ветвей! Итак, нам следует отказаться от мнения, будто римский век нужен был в последовательности эпох для того, чтобы, словно на картине, нарисованной человеком, составить более совершенное звено в цепи культуры, звено, поднимающееся над греками. Римляне никогда не могли превзойти греков в том, что было превосходно у самих греков, и напротив, своему собственному они не научились у греков. Из всех известных им народов, включая индийцев и троглодитов, римляне извлекали пользу, но извлекали пользу как римляне, – и еще вопрос, не пошло ли это им во вред. Но если другие народы существовали не ради римлян и свои порядки (веками раньше) заводили тоже не ради римлян, то и греки не существовали ради римлян. Афины, как и греческие колонии в Италии, давали закон себе, не

римлянам; если бы на земле не было Афин, Рим с тем же успехом мог бы отправиться к скифам за скрижалями законов. Кроме того, греческие законы во многих отношениях были совершеннее римских, римские же с их недостатками получили распространение на гораздо большей территории. И если они в чем-то становились более человечными, то и человечность была римской, а к тому же было бы весьма неестественно, если бы поработители многочисленных культурных народов не усвоили по крайней мере видимость человечности – ту самую видимость, которая столь часто вводила в заблуждение иные народы.

Тогда нам оставалось бы всего одно предположение: будто Провидение воздвигло римское государство и латинский язык в виде моста, по которому кое-что из сокровищ первозданного мира должно было перейти и к нам. Но это был бы тогда самый скверный мост, какой только можно избрать, потому что именно строительство его и лишило нас большей части сокровищ древнего мира. Римляне разрушали, а другие народы разрушали Рим, – но ведь те, кто разрушают, не могут беречь. Римляне все народы привели в волнение и, наконец, сами стали их добычею, и Провидение не совершило чуда, чтобы отвести от них гибель. Итак, давайте и это явление природы и все остальные, причины и следствия которых мы намерены исследовать свободно и беспрепятственно, рассматривать, не подводя под них никакого замысла и плана. Римляне были и стали тем, чем могли стать; погибло или же сохранилось то, что могло погибнуть или же сохраниться. Времена катятся вперед, а вместе с ними – дитя времен, многоликое человечество. На земле цвело все, что способно было цвести, все – в свое время, все – в своем кругу: отцветшее зацветет вновь, когда придет его время. Созданное Провидением неуклонно движется вперед по своим всеобщим, великим законам, и теперь мы скромно приближаемся к рассмотрению его путей.

Книга пятнадцатая

И вот, все в истории преходяще; и надпись на храме Истории гласит: Ничтожество и Тлен. Мы попираем прах наших праотцев и бродим по ушедшим в землю развалинам человеческих общежитий и царств. Словно тени, прошли мимо нас Египет, Персия, Греция, Рим, словно тени, выходят они из своих могил и являются в истории.

А если здание государства отживает свой век, кто не пожелает ему тихой кончины? Кто не почувствует ужас, натолкнувшись в кругу живых существ на склеп старых порядков, отнимающих у живых людей свет и жилище? Но если потомок снесет древние катакомбы, как скоро его собственные порядки преемнику его представятся подобным же склепом и будут похоронены в земле!

Причина, почему все земное преходяще, заключена в существе земного, в том месте, какое населяют земные существа, во всем законе, связывающем наше естество. Тело человека – хрупкая, все обновляющаяся оболочка, но вот она уже не может обновляться, а дух на земле творит ведь лишь в теле и вместе с телом. Нам кажется, что мы существуем сами по себе, а мы зависим от всего, что только есть в природе; вплетенные в цепочку изменчивых вещей, мы вынуждены следовать законам их кругообращения, а законы эти не что иное, как возникновение, пребывание и исчезновение. Тонкая нить связывает род человеческий, ежеминутно она рвется, чтобы вновь завязаться. Дряхлый старик обретает мудрость и нисходит в землю, а преемник его начинает заново как дитя, разрушает творения своего предшественника и потомку своему оставляет те же ничтожные труды, в которых проводит и сам дни свои. Так соединяются в цепочку дни, так соединяются в цепочку роды и царства. Солнце заходит, чтобы настала ночь, чтобы люди радовались новой заре.

Ах, если бы во всем этом было заметно хотя бы незначительное продвижение вперед! Но где ж оно в истории? Повсюду одно разрушение, и нельзя сказать, чтобы новое было лучше разрушаемого. Народы расцветают и отцветают, и к отцветшей нации уж не вернется юный цвет, не говоря уж о цветении более прекрасном. Культура движется вперед, но совершеннее от этого не становится; на новом месте развиваются новые способности; прежние, развившиеся на старом месте, безвозв-

ратно уходят. Были ли римляне мудрее и счастливее греков? Мудрее ли мы и счастливее ли мы римлян и греков?

Природа человека остается неизменной; и на десятитысячном году от сотворения мира человек родится все с теми же страстями, что и на втором году, и он проходит весь круг своих благоглупостей и достигает поздней, несовершенной и бесполезной мудрости. Мы бродим по лабиринту, в котором жизнь наша занимает одну пядь, и потому нам все равно, есть ли у лабиринта план и есть ли из него выход.

Жалкая судьба человеческого рода, – как бы ни старался человек, он привязан к колесу Иксиона, он катит камень Сизифа, он обречен на муки Тантала. Нам положено желать, нам положено стремиться, но плодов своего труда мы не видим и в целой истории не узнаем результатов человеческих устремлений. Если народ живет один, то рука времени стирает печать его характера, а если народ теснится среди других народов, то попадает в переплавку и облик его теряется. Мы строим на льду, мы пишем на волнах морских; волна разбивается, лед тает, и вот вся наша планета исчезает, как исчезают наши мысли.

Для чего же злосчастный труд заповедан Богом роду человеческому в его краткой жизни? Для чего бремя, под которым сгибается человек и, трудясь всю жизнь, нисходит в свою могилу? И никого не спрашивают, хочет ли он возложить это бремя на себя, хочет ли он родиться в это время и на этом месте, в этом кругу. А если наибольшие беды людские проистекают от самих же людей, от дурного управления и строя, от упрямства угнетателей и почти неизбежной слабости поработителей и порабощенных, – что же за судьба запродала человека в рабство его же роду, оставила его на произвол братьев, безумных и слабовольных? Перечтем, в какие времена народы были счастливы и в какие несчастливы, когда правили у них правители добрые и когда дурные, и даже у лучших времен и у лучших правителей подведем итог глупости и мудрости, итог разума и страстей, – какая получается страшная отрицательная величина! Взгляни на деспотов Азии, Африки, да почти всего земного шара, взгляни, какие чудовища восседают на римском троне, – под их ярмом долгие века стонал мир, – перечти смутные времена, войны, гонения, яростные бунты и посмотри – каков конец. Брут падает, и торжествует Антоний; гибнет Германик и царят Тиберий, Калигула, Нерон; Аристид отправляется в изгнание, скитается по свету Конфуций, гибнут Сократ, Фокион, Сенека. Конечно, мы всегда можем сказать: «Что есть, то есть; что может стать, то становится, что может погибнуть, погибает», – но это печальное признание, и оно лишь наставляет нас тому, что повсюду на земле берет верх буйная сила и сестра ее, злобная хитрость.

Так сомневается, так отчаивается человек, по видимости испытав историю, – и, можно сказать, на поверхности событий все свидетель-

ствует в пользу этого жалостного плача, и потому я видел немало людей, которым казалось, будто на бурном океане человеческой истории они теряют из виду Бога, которого на твердой почве испытания природы видели своими духовными очами и почитали всем своим сердцем в каждой былинке и в каждой мельчайшей крупице вещества. В храме творения, в храме мироздания все полнилось для них всемогуществом, все – благой мудростью, а на ярмарке человеческих начинаний, для какой и отведено ведь время человеческой жизни, они видели лишь борьбу бессмысленных страстей, неукротимых сил, разрушительных искусств, но не видели, чтобы следовало отсюда некое постоянное благое намерение. История сделалась для них как бы паутиной в углу мироздания, паутиной, полной засохшей, запутавшейся в хитросплетенных тенетах добычи, где не найти, однако, самого печального средоточия, самого ткущего паутину паука.

Но если есть Бог в природе, то есть он и в истории, ибо и человек – часть творения, и, предаваясь своим диким и развратным страстям, он должен все же следовать законам не менее прекрасным и превосходным, чем те, по которым движутся все небесные и земные тела. И поскольку я убежден, что человек может знать и вправе знать все, что положено знать ему, то я с уверенностью и надеждой выхожу из хаоса сцен, по которым блуждали мы до сих пор, и иду навстречу высоким, прекрасным законам природы, которым следуют даже и путаные эпизоды истории.

I. Гуманность – цель человеческой природы, и ради достижения ее предал Бог судьбу человечества в руки самих людей

Всякая вещь, если только это не безжизненное орудие, заключает свою цель в самой себе. Если бы мы были созданы для того, чтобы, словно магнит, всегда повернутый на север, вечно, затрачивая тщетные усилия, стремиться к точке совершенства, расположенной вне нас, прекрасно зная, что никогда не достигнем ее, мы, слепые машины, должны были бы оплакать не только свою судьбу, но и обрекшее нас на танталовы муки существо, сотворившее род наш, чтобы злорадно и совсем не божественно наслаждаться видом его мучений. Если же в оправдание такого существа сказать, что пустые и не достигающие цели усилия все же способствуют чему-то доброму и поддерживают в нас непрестанную деятельность, то все равно существо это было бы уже несовершенным, жестоким, ибо в бесцельной деятельности нет ничего хорошего, и само это существо, бессильно или коварно, недостойным его самого образом, обманывало бы нас, представляя нам призрачную, иллюзорную цель. Но, к счастью, природа вещей не учит нас такому обману; если рассмотреть человечество таким, каким мы знаем его по заложенным

в нем законам, то у человека нет ничего более высокого, чем гуманный дух; ведь даже представляя себе ангелов или богов, мы мыслим их себе идеальными, высшими людьми.

Мы уже видели*, что натура наша получила свой органический строй, чтобы достигать именно этой очевидной цели – гуманности; для этого даны нам и все более тонкие ощущения и влечения, разум и свобода, хрупкость и выносливость тела, язык, искусство и религия. В каких бы условиях ни существовал человек, в каком бы обществе ни жил, в уме его всегда могла быть одна только гуманность, и возделывать мог он лишь дух гуманности, как бы ни представлял ее себе. Ради этой цели распорядилась природа, создав мужчин и женщин, ради этого установила природа возрасты, так, чтобы детство длилось дольше и чтобы только путем воспитания человек обучался гуманности. Ради этой цели на широких просторах земли учреждены все возможные образы жизни, все виды человеческого общества. Охотник или рыбак, пастух или земледелец или горожанин, человек в каждом состоянии учился различать средства пропитания, строить жилища для себя и для своей семьи; он научился изготовлять одежду для мужчин и для женщин и превращать ее в украшение тела, научился вести домашнее хозяйство. Он придумал много разнообразных законов и форм правления, цель у которых одна: каждый человек свободно, ни с чьей стороны не встречая вражды, должен упражнять свои силы, чтобы обрести более прекрасную и свободную жизнь. Для этого была обеспечена сохранность собственности, и труд, искусство, торговля, сношения между людьми были облегчены; были назначены кары за преступления и введены награды для лучших граждан, установлено множество различных обычаев для каждого сословия, для общественной и домашней жизни, включая даже и религию. Для этих же целей велись войны, заключались договоры, постепенно установлен был некий вид права войны и права народов, а кроме того, сложились различные союзы, обеспечивавшие гостеприимство и облегчавшие торговлю, чтобы и за пределами своего отечества человек встречал бережное обращение и принимался по заслугам. Итак, все хорошее делалось в истории ради гуманности, а все нелепое, порочное и омерзительное, что тоже появлялось в истории, было преступлением против духа гуманности, так что человек вообще не может представить себе никакой иной цели всех своих земных устроений и установлений, кроме той, что заложена в нем самом, то есть в его сотворенной Богом натуре – слабой и сильной, низменной и благородной. Если во всем творении мы любую вещь познаем по внутреннему существу ее и по ее следствиям, то яснейшее доказательство цели человеческого рода на земле дают нам естество и история человека.

---

* Т. I. Кн. 4.

Взглянем на ту область земли, по которой странствовали мы до сих пор. Во всех установлениях народов от Китая до Рима, в многообразных государственных устройствах, во всем созданном людьми для мирной и военной жизни, при всех присущих народам отвратительных чертах и недостатках, всегда можно было распознать главный закон природы: «Человек пусть будет человеком! Пусть установит он свой жизненный уклад по тому, что сочтет для себя наилучшим». Для этого занимали свои земли народы, устраиваясь на них, как могли. Женщину и государство, рабов, одежду и дома, развлечения и пищу, науки и художества на земле всякий раз превращали в то, чем желали видеть их на благо целого или для пользы себе. Итак, повсюду, как видим мы, человечество обладает и пользуется своим правом – воспитывает себя в духе гуманности, в зависимости от того, как понимает гуманность. Если народы заблуждались, если они останавливались на половине пути, будучи верны унаследованной традиции, то они страдали от последствий своего заблуждения и искупали свой грех. Божество не связывало их по рукам и ногам, и связывало их только их собственное существо – чем были они, где и когда жили, какие силы присущи были им. И когда они ошибались, Божество не приходило на выручку к ним и не совершало ради них чудес, но ошибки должны были проявиться на деле, чтобы люди учились исправлять их.

Этот закон природы прост и достоин Бога, внутренне он един и гармоничен, он обилен последствиями для рода людей. Если человечеству суждено было быть тем, чем является оно по своему существу, стать тем, чем могло оно стать, оно должно было получить в дар самодеятельную природу, круг беспрепятственного, свободного творчества, где бы не мешало ему ни одно неестественное чудо. Мертвая материя, все роды живых существ, направляемых инстинктом, остались тем, чем были во времена сотворения мира, а человека Бог сделал богом на земле, он вложил в него начало самодеятельности и привел это начало в движение, что вызывается внутренними и внешними потребностями человеческого естества. Человек не мог жить, не мог сохранять свою жизнь, не умея пользоваться разумом, а коль скоро он пользовался своим разумом, перед ним открылись ворота и он мог совершать теперь ошибку за ошибкой, делать одну неверную попытку за другой, но точно так же открылся перед ним, притом даже благодаря самим ошибкам и заблуждениям, путь к более совершенному пользованию разумом. Чем быстрее распознаёт человек свои ошибки, чем решительнее устраняет их, тем дальше он идет, тем более складывается его гуманность, и он должен довести развитие ее до конца или же в течение долгих веков стенать под бременем собственной вины.

Мы видим – для того чтобы установить свой закон, природа избрала пространство широкое, насколько позволяло ей расселение

человеческого рода на земле, и придала человеку такое разнообразие строения, какое только могло быть в роде человеческом. Рядом с обезьяной расположила природа негра, и все умы человеческие, от негритянского до тончайшего человеческого мозга, все народы всех времен заставила природа решать великую проблему человечности. Все самое жизненно необходимое не упустил бы ни один народ на земле, потому что к этому ведут потребности и инстинкты, но для того чтобы формировались более тонкие условия существования, созданы были народы более утонченные, жившие в зонах более мягкого климата. А поскольку все прекрасное, все благоупорядоченное лежит между двумя крайностями, то и более совершенная форма разума и гуманности должна была найти место в более умеренных климатических зонах. Так это и случилось, в полном согласии со всеобщим законом соответствия. Ведь если и нельзя отрицать, что почти все азиатские народы – ленивы и неповоротливы, что слишком рано остановились они на благих предначертаниях древности и сочли унаследованные формы священными и незаменимыми, то следует извинить их, подумав, как широки просторы материка, на котором жили они, и каким опасностям со стороны горных народов были они подвержены. В целом же их ранние начинания, способствовавшие развитию гуманности, если только принять во внимание место и время, вполне заслуживают похвалы, и тем более нельзя недооценивать прогресса, достигнутого во времена наибольшей их активности средиземноморскими народами. Они сбросили с себя деспотическое иго древних традиций и форм правления и подтвердили великий, благой закон человеческой судьбы: «Цели, которые ставит перед собой народ или все человечество, которые избрали они не случайно и к которым энергично стремятся ради собственного блага, – в их достижении не отказывает людям природа, потому что не традиции и не деспоты – последнее слово для нее, а наиболее совершенная форма гуманности».

Несказанно прекрасное это начало, этот закон природы примиряет нас с внешним обликом людей, разбросанных по широким просторам земли, и со всеми переменами, какие претерпел род человеческий на протяжении долгих времен. Человечество повсюду было тем, во что способно оно было обратить себя, что хотело и могло сотворить из себя. Если человечество довольствовалось существующим или если средства совершенствования еще не созрели на великой ниве времен, то человечество на долгие века оставалось тем, чем было, и ни во что не превращалось. Но если человечество пользовалось всеми инструментами, данными ему Богом, то есть рассудком, силой и всем, что приносили с собой попутные ветры, то искусство возносило людей, решительно и смело придавали себе народы новый облик. Коль скоро народ пренебрегал такими инструментами Бога, то эта леность уже

означала, что народ не особенно сильно чувствует свое несчастье; ведь живое чувство несправедливости всегда бывает спасительной силой, если только не обойдено оно рассудком и энергией. Никоим образом нельзя утверждать, что всесилие тиранов – причина, почему народы так долго покорствуют им; единственная, самая надежная опора деспотизма – слабость и легковерность рабов, доверчиво и добровольно ими усвоенные, а позднее их леность и долготерпение. Ибо терпеть, конечно же, проще, чем настойчиво совершенствовать, – вот почему столь многие народы не пользуются правом, данным им Богом, – божественным даром разума.

Однако не подлежит сомнению: все, что не успело совершиться на земле, еще совершится в будущем; ибо права человечества не застаревают и силы, вложенные Богом, не искореняются. Нас поражает, сколь многого добились в своем кругу греки и римляне, хотя отведено им было не много веков, – если цель их деятельности и не всегда была самой чистой, то они доказали все же, что в состоянии достигнуть ее. Пример, показанный греками и римлянами, сияет в истории и вдохновляет на подобные же и на еще более совершенные устремления всякого, кого хранит судьба, как греков и римлян, всякого, кому покровительствует судьба больше, чем римлянам и грекам. В этом смысле вся история народов – соперничество, соревнование народов, спорящих о прекраснейшем венце гуманности и человеческого достоинства. Столько было древних народов, покрывших себя славой, но цели, ими достигнутые, были отнюдь не лучшими; почему бы и не достигнуть нам более чистых и благородных целей? Они были людьми, и мы люди, они жили, а мы еще живем, они призваны были наилучшим образом воплотить дух человечности, и мы, сообразно с обстоятельствами, совестью, долгом, призваны к тому же. И что они совершили, не сотворив чудес, то можем и мы, на то и у нас есть право, а Божество помогает нам лишь через посредство наших сил, рассудительности, усердия. Создав землю и все неразумные существа земли, Божество сотворило человека и сказало так: «Будь образом моим, будь богом на земле! Цари и правь! И все благородное и все превосходное, что можешь создать по природе своей, то производи; и чудеса не помогут тебе, потому что судьбу человека я кладу в руки людей, но помогут тебе священные, вечные законы природы».

Поразмыслим же о некоторых из законов природы, придавших, как о том свидетельствует история, движение вперед гуманному духу человеческого рода; законы эти и впредь будут помогать человечеству, если только верно, что законы природы – законы Бога.

II. Разрушительные силы природы не только уступают со временем силам созидательным, но в конечном счете сами служат построению целого

Первый пример. Когда в безмерности пространств плавал материал будущих миров, Творцу их заблагорассудилось сделать так, чтобы материя складывалась и образовывалась в согласии с внутренними силами, приданными Богом каждому из миров. К центру всего творения, к Солнцу, стекало все то, что не могло найти своих особенных путей или что Солнце притягивало к своему могучему трону. А что находило для себя иной центр притяжения, то стягивалось к нему, образовывало единообразное тело, и это тело начинало или описывать эллипс вокруг своего великого фокуса и центра, или же по параболам и гиперболам улетало прочь и уже не возвращалось. Эфир очистился, из плавающего и сливающегося хаоса возникла гармоничная система мироздания, и планеты и кометы в течение эонов идут по своей орбите вокруг Солнца, – вечное доказательство закона природы, гласящего, что *божественные силы, живущие во Вселенной, превращают хаос в миропорядок.* Пока остается в силе этот простой и великий закон сочтенных и приведенных в равновесие сил, здание нашей Вселенной стоит твердо, ибо зиждется оно на свойстве и на правиле Божества.

Второй пример. Подобно этому образовывалась из бесформенной массы и наша Земля, ставшая планетой, и пока она образовывалась, на ней спорили и боролись стихии, но, наконец, каждая нашла для себя подобающее место, и теперь, после немалых бурь и потрясений, все служит гармонически упорядоченному шару планеты. Земля и вода, огонь и воздух, времена года, климат, ветры и речные потоки, погода и непогода – все подчинено единому великому закону формы и массы Земли, ее вращения и ее удаления от Солнца, все гармонически управляется этим законом. Бессчетные вулканы, покрывающие лицо Земли, уже не дышат пламенем, и океан уж не вскипает от сернистых потоков и других материй, заливавших нашу сушу. Погибли миллионы живых существ, которым суждено было погибнуть, и осталось все, что могло сохраниться, и все, что сохранилось, тысячелетиями пребывает в великой гармонии и порядке. Все упорядочено между собою – дикие и домашние животные, травоядные и плотоядные, насекомые, рыбы, птицы и человек, и упорядочены между людьми мужчины и женщины, рождения и смерти, возрасты и длительность жизни, радости и беды, потребности и удовольствия. И все это – не по произволу и не по необъяснимому стечению обстоятельств, которое каждый день свое, а по очевидным законам природы, заключенным в строении живых существ, *в пропорции всех органических сил, что сохраняются и получают жизнь на нашей планете.* Пока остается в действии этот закон природы, эти

пропорции, остается и его следствие, а именно гармонический порядок, существующий между неодушевленной и одушевленной частью творения, что, как показывают земные недра, могло быть достигнуто лишь ценою гибели миллионов.

Как? Неужели же в человеческой жизни не царит тот самый сообразный с внутренними силами творения закон, который превращает хаос в порядок и вносит правильность в человеческую путаницу? Несомненно, мы в душе своей носим это начало, и проявит оно себя так, как то отвечает его сущности. Все заблуждения человеческие – туман, окружающий истину, и все страсти людские – буйные побеги силы, которая сама не знает себя, а по природе своей стремится лишь к лучшему. И морские бури, разорительные и уничтожительные, – дети гармонического миропорядка; бури служат миропорядку, как служит нежно струящийся зефир. Ах, если бы удалось мне пролить свет на некоторые наблюдения, окончательно удостоверяющие эту радостную для нас истину.

1. На морях дуют одни и те же ветры, а бури случаются реже, так и у людей, благой порядок природы – в том, что *созидателей рождается куда больше, чем разрушителей.*

В царстве животных божественный закон – в том, что львов и тигров не может быть столько же, сколько овец и голубей; и в истории столь же благое установление: число Навуходоносоров и Камбизов, Александров и Сулл, Аттил и Чингисханов куда меньше числа более кротких полководцев и монархов мирных и тихих. Для первых необходимы беспорядочные страсти и ложные задатки, вот почему являются они на земле не звездами, проливающими на землю свой мягкий свет, а ярко светящимися метеорами, и, как правило, требуются странные обстоятельства воспитания, ранняя привычка, что бывает весьма редко, жестокая политическая нужда – вот тогда взметается над родом человеческим, как говорится, бич божий и карает людей. Итак, если природа ради нас и не отступится от своего пути и среди бесчисленных производимых ею форм и составов иной раз и породит на свет обуреваемых неукротимыми страстями людей, призванных разрушать, а не сохранять, то, с другой стороны, вполне в силах человеческих не доверять паству волкам и тиграм, а самих волков и тигров укрощать законами человечности. В Европе уже не водятся туры, для которых прежде повсюду росли тут дремучие леса, и ловить столько африканских чудовищ, сколько требовалось Риму для его амфитеатров, не под силу стало в конце концов и самому Риму, – чем культурнее страны, тем уже и меньше пустыни, тем реже встречаются дикие обитатели пустынь. И в человеческом роде то же – по мере роста культуры все более выступает то естественное последствие, что животная сила тела слабеет, что и задатки диких страстей тоже увядают и начинает складываться более нежный человеческий побег. Но коль скоро и среди людей возможны всякого рода неправильнос-

ти, тем более губительные, что почвой для них служит ребяческое слабосилие, – свидетельством тому – деспотические государства Ближнего Востока, римская тирания, – то избалованного ребенка укротить все же проще, чем кровожадного зверя, а потому природа, порядок, которой все смягчает, показала нам и путь исправления всего неправильного и усмирения всего дикого и ненасытного. Населенных драконами местностей уж нет на земле, первобытным исполинам уже не приходится идти на них войной, и, чтобы справиться с людьми, уже не нужно разрушительных сил Геркулеса. Подобные ему герои пусть устраивают свои кровопролитные игрища на Кавказе или в Африке, пусть охотятся на Минотавра, где им вздумается, и если они живут в обществе людей, то у людей есть неоспоримое право собственными силами бороться с огнедышащими быками Гериона. Общество страдает, если добровольно предлагает себя в жертву таким героям, и само несет вину: народы сами повинны были в том, что не объединились против Рима, не воспротивились, собрав все свои силы, его грабительским походам и не защитили свободу мира.

2. *Течение истории показывает, что по мере роста подлинной гуманности демонов разрушения на самом деле стало меньше среди людей и что совершилось это по внутренним законам разума и государственного искусства, приобщающихся к просвещению.*

Разум людей растет, и все яснее, с самого детства, становится, что есть величие, превосходящее величие человеконенавистника-тирана, что лучше – и даже труднее – возделывать, а не разорять землю, строить, а не разрушать города. У трудолюбивых египтян, у глубокомысленных греков, у финикийцев-торговцев – несравненно более прекрасный образ в истории, чем у персов-разрушителей, римлян-завоевателей, накопителей-карфагенян, и жизнь их была приятнее и полезнее. Память о египтянах, финикийцах, греках жива, и слава их на земле растет, и плоды их дел бессмертны, а разорители всем своим демоническим могуществом достигли только одного – на развалинах завоеванных царств стали жить в роскоши и нищете, и, наконец, сами приготовили себе ядовитое зелье возмездия. Таковы ассирийцы, вавилоняне, персы, римляне; и грекам вред был не столько от врагов, сколько от внутреннего разлада, от роскоши, в которой жили некоторые области и города Греции. Поскольку названные принципы истории – это установленный природой порядок, поскольку доказываются они не отдельными случаями и не случайными примерами, а основаны на самих себе, то есть на заведомо присущем порабощению, чрезмерной власти естестве, на последствиях побед, роскошной жизни, надменности и высокомерия, иными словами, на законах нарушенного равновесия, поскольку, далее, эти принципы находятся в известном единстве с течением дел на земле, – как же можно сомневаться в том, что и эти законы природы тоже будут познаны людьми и, будучи познаны,

подобно всем прочим законам природы, проявят всю неотвратимую силу, свойственную истине природы, и тем более проявят свою силу, чем глубже усмотрена будет их сущность? Все, что можно свести к математической достоверности, к политическому расчету, все то будет рано или поздно познано, во всем том будет усмотрена истина, ибо в теоремах Евклида, в правильности таблицы умножения еще никто и никогда не усомнился.

И даже короткая история людей уже ясно доказывает, что с ростом просвещения, к счастью, гораздо реже сделались бессмысленные разрушительные войны, продиктованные человеконенавистническим духом. Рим погиб, и с тех пор в Европе уже не появлялось больше культурных государств, все устройство которых опиралось бы на завоевательные войны; и совершавшие свои опустошительные набеги народы Средневековья были народами дикими и некультурными. Но, постепенно усваивая культуру, проникаясь любовью к своей собственности, они, нередко против собственной воли, незаметно, воспринимали прекрасный, кроткий дух трудолюбия, земледелия, науки и торговли. Люди учились добиваться пользы для себя, ничего не уничтожая, потому что то, что уничтожено, уже не приносит пользы, и так со временем, как бы по природе вещей, установились между народами мир и равновесие, и, после столетий дикой вражды, люди поняли, что целей, желаний каждого можно достичь только совместным трудом. И по этому пути пошла даже торговля, где больше всего личной корысти, – таков был порядок природы, и ни страстям, ни предрассудкам ничего нельзя с этим поделать. Всякая торговая нация уже и теперь оплакивает прежние бессмысленные разрушения, произведенные в угоду суеверию или зависти, и еще больше придется пожалеть о них в будущем. Разум растет, и корабли пиратов превращаются в судна купцов, и торговля основывается на взаимной справедливости, на взаимном уважении, на беспрестанном соревновании в искусстве и ремеслах, одним словом, на гуманности и ее непреходящих законах.

Чувствуя мягкий бальзам естественных законов человечности, видя, что он даже против воли людей, своей внутренней силой, распространяется среди народов и завоевывает все новые страны, наша душа не может не испытывать удовольствия. Даже Божество не могло отнять у людей способность совершать ошибки, но природа человеческих ошибок такова, что они со временем, рано или поздно, открываются и становятся очевидными для рассудительного существа. Ни один разумный государь Европы уже не управляет своими провинциями, как персидский царь или даже как римляне, и не потому что уж очень он любит людей, а потому что он лучше понимает самую суть государственного управления, и потому что средства политического расчета с веками сделались более ясными, простыми, достоверными.

Лишь безумный будет возводить в наше время пирамиды, и всякого, кто строит подобные бесполезные вещи, разумный мир сочтет человеком безрассудным, сочтет его безрассудным не от своей чрезмерной любви к народам, а просто из экономических соображений. Мы теперь нетерпимо относимся к гладиаторским боям, к сражениям с участием животных; человеческий род предавался таким отроческим забавам, но, наконец, понял, что такие дикие затеи не заслуживают внимания и труда. Равным образом нам не приходится угнетать несчастных рабов, как Риму, или илотов, как Спарте, потому что государственный строй свободных граждан легче и с меньшими затратами достигает тех целей, которые государствам древности с их униженными до положения животных рабами стоили больших опасностей и обходились в конечном счете дороже; придет время, когда на нашу бесчеловечную работорговлю мы посмотрим с тем же сожалением, с которым смотрим теперь на римских рабов и спартанских илотов, и даже не потому, что мы полны любви к людям, а из соображений расчета. Короче говоря, мы должны славить божество за то, что оно наделило разумом слабую, склонную к заблуждениям человеческую природу, – разум – это вечный луч света от Солнца Божества, он прогоняет ночь и все вещи являет в подлинном их обличии.

3. *Поступательное развитие искусств и изобретений дает в руки людей все возрастающие средства ограничения и обезвреживания всего того опасного, что сама природа не в силах была искоренить.*

На море должны случаться время от времени бури, и сама мать вещей, природа, не могла упразднить их в угоду человечеству; но что же за средство дала она в руки людей, чтобы бороться с бурями? Искусство мореплавания. Из-за этих самых бурь человек и вынужден был изобрести свое искусное строение – корабль, и на корабле своем человек не только убегает от бури, но и извлекает из нее пользу для себя и мчится по океану на всех парусах.

Заблудившись в морских просторах, несчастный человек не мог призвать Тиндаридов[1], чтобы те явились и показали ему верный путь; поэтому человек сам придумал себе проводника – компас, поэтому человек поднял голову к небу и нашел на нем своих Тиндаридов – Солнце, Луну, созвездия. С таким искусством человек мог уже смело выйти в открытое море, в бескрайний океан, плыть на Крайний Север и на Крайний Юг. И опустошительную стихию огня не могла отнять природа у человека, не отнявши у него человеческого облика; и что же дала природа человеку вместе с огнем? Тысячи умений, тысячи художеств, и эти художества не только обезвреживают и не только усмиряют пожирающий яд стихии, но и извлекают из огня самую разнообразную пользу.

То же – и ярость страстей человеческих, этих морских бурь, этих опустошительных огненных стихий. Благодаря им, в столкновении

с ними, род человеческий отточил свой разум и придумал бесчисленные средства, правила, искусства, с помощью которых можно не просто ограничивать страсти, но и направить их в лучшую сторону, как показывает история. Лишенный страстей, род человеческий никогда не воспитал бы в себе разума и до сих пор жил бы в пещере троглодитов.

Так, война, пожиравшая жизни людей, в течение долгих веков была грубым занятием разбойников. Долго воевали люди, проявляя всю неуемность, всю дикость своих страстей, ибо все зависело от силы отдельного человека, от хитрости его, от коварства; и сколь бы превосходны ни были личные качества человека, война питала лишь опасные доблести грабителя и убийцы, – это подтверждают войны древности, Средних веков и даже некоторые войны Нового времени. Но из такого гибельного ремесла, как бы против воли народов, выросло военное искусство: создатели его не заметили, что возникновение такого искусства подрывает самую почву для ведения войн. Чем более становились побоища продуманным искусством, чем больше механических изобретений участвовало в войне, тем меньше пользы было от страстей, какие присущи были отдельным людям, и от их безумной мощи. Словно безжизненное орудие, покорны все они теперь мысли одного полководца, приказам немногочисленных военачальников, и, наконец, только главе государства было дано право играть в эту опасную и дорогостоящую игру, тогда как в древности воинственные народы воевали почти без передышки. Пример – и многие азиатские народы, и даже римляне и греки. Римляне долгие столетия не уходили с поля боя; война их с вольсками длилась сто шесть лет, война с самнитами – семьдесят один год; город Вейи выдерживал осаду десять лет, словно вторая Троя, а двадцативосьмилетняя гибельная Пелопоннесская война, которую вели между собою греки, всем прекрасно известна. Ведь умереть в сражении – это еще самая малая беда, какую приносит война человеку, а зло куда большее – это опустошения, болезни, которые приносят походы, которые терпят осажденные города, это грабежи, беспорядки, которые царят во всех сословиях, во всех промыслах и ремеслах, – вот настоящие беды, что влечет за собою война страстей, вот ее тысячеликий ужасный образ, и мы должны быть благодарны грекам и римлянам, а прежде всего изобретателю пороха и творцам огнестрельного оружия, за то, что они самое дикое ремесло людей превратили в искусство, а в наши дни и в такое искусство, где сам венценосец может снискать величайшую славу. Теперь сами короли, лично, играют в эту игру честолюбия, в их распоряжении – несметные войска, не ведающие страстей, и сама честь полководца уже хранит нас от десятилетних осад, от войн, которые длились бы семьдесят один год, тем более что такие войны задушат сами себя, потому что приходится содержать огромное войско. Так, по вечному, не ведающему перемен закону природы зло породило нечто

доброе, и можно сказать, что военное искусство в значительной степени устранило самые войны. Благодаря военному искусству сократились и грабежи и разорения, и не из особого человеколюбия, а потому что они противоречат чести полководца. Несравненно более мягким стало и право войны и обращение с пленными, – даже у греков оно было гораздо более суровым; тем более не приходится говорить об общественной безопасности, которая впервые и появилась в воюющих странах. Так, в целой римской империи все дороги были безопасны, пока орел с оружием в когтях прикрывал их своими крыльями; напротив того, в Азии и Африке, даже и в самой Греции чужеземцу было опасно путешествовать, потому что этим странам недоставало духа общности, который стоял бы на страже жизни любого человека. Так превращается в целебное лекарство отрава, как только становится искусством; отдельные роды людей погибли, но целое, не ведающее смерти, переживет боль утраты и на примере зла научится добру.

Верное относительно военного искусства еще более верно относительно искусства государственного управления, но это еще более трудное искусство, потому что цель его – общее благо целого народа. И у американского туземца есть свое государственное искусство, но оно очень ограниченно, оно приносит пользу отдельным родам, но не предотвращает гибель целого народа. Мелкие племена, враждуя между собою, совершенно искоренились, а другие так истощились, что в дурном столкновении с оспой, водкой и жадностью европейцев обречены на ту же участь. Чем более становился предметом искусства строй государства в Азии или Европе, тем тверже стоит само государство, тем точнее взаимосвязь его с соседними государствами, так что ни одно не может разрушиться, если другие сохранят свою прочность. Так твердо стоят Китай, Япония, эти древние здания, основание которых уходит глубоко в землю. Больше искусства – в политическом укладе греческих государств, в Греции основные республики долгие века сражались за достижение политического равновесия. Их объединяли общие опасности, и если бы объединения удалось достигнуть в полную меру, то храбрый греческий народ отбил бы атаки Филиппа и римлян, как победил он некогда Дария и Ксеркса. А преимущество Рима было в дурном государственном искусстве соседних народов; римляне разделяли их, а потом нападали на них, римляне разделяли и покоряли их. И сам Рим претерпел их судьбу, когда государственное искусство римлян пало; та же участь подстерегла Иудею и Египет. Если государство хорошо устроено, то народ никогда не пропадет, даже если его покорит неприятель; свидетельствует о том даже Китай, при всех свойственных ему пороках.

Еще очевиднее польза от хорошо продуманного искусства управления, если говорить о внутреннем порядке, о торговле, которую ведет страна, о науках, ремеслах, правопорядке; за что мы ни возьмемся,

ясно одно: чем совершеннее искусство, тем больше и польза. Настоящий купец не обманывает, потому что на обмане не разбогатеешь; настоящий ученый не хвалится ложной наукой, а юрист, если только он заслуживает звания правоведа, никогда не совершит сознательную несправедливость, – иначе все они будут не мастерами в своем искусстве, а подмастерьями. И несомненно, придет время, когда человек неразумный в государственном искусстве устыдится своего неразумия, и роль тирана будет не только что мерзка, как и всегда в прошлом, но будет также смешна и нелепа, как только ясным станет как божий день, что любое государственное неразумие пользуется неправильной таблицей умножения и, начисляя себе огромные суммы, тем не менее лишается всяческих преимуществ Ради этого написана история, и доказательства приведенного положения со всей ясностью проявятся в ней. Правительства сначала совершили все возможные ошибки и как бы исчерпали их число, и только после всех беспорядков человек научился, наконец, тому, что благосостояние человеческого рода зиждется не на произволе, а на существенном для него законе природы – на разуме и справедливости. Мы переходим теперь к последовательному изложению этого закона, и внутренняя сила истины пусть придаст ясность и убедительность нашим словам.

III. Роду человеческому суждено пройти через несколько ступеней культуры и претерпеть различные перемены, но прочное благосостояние людей основано исключительно на разуме и справедливости

Первый закон природы. Математическое естествознание доказало, что для того *чтобы вещь сохраняла свое состояние покоя или движения, необходимо своего рода совершенство, то есть максимум или минимум, проистекающий из присущего силам этой вещи способа действия.* Так, Земля наша не могла бы существовать, если бы центр тяжести Земли не был расположен в самой глубокой ее точке и если бы все силы, сходящиеся к этой точке и исходящие из нее, не пребывали в гармоническом равновесии. Итак, все, что пребывает, заключает в себе, согласно этому прекрасному закону природы, свою физическую истину, благо и необходимость, – в них прочное ядро его существования.

Второй закон природы. Равным образом доказано, что *все совершенство и красота вещей сложносоставленных и ограниченных и их систем зиждется на подобного рода максимуме.* А именно, некая соразмерность, гармоническая пропорция определяются подобием и различием, простотою средств и разнообразием проявлений, затратой малых сил для достижения самых определенных и плодотворных целей; природа во

всем соблюдает такую пропорцию – в форме, какую придает своим созданиям, в законах, определяющих их движение, во всем самом великом и во всем самом малом, – а искусство людей подражает природе, насколько хватает у людей сил. При этом разные правила взаимно ограничивают друг друга, так что нечто согласно одному правилу растет, согласно другому убывает, а в результате сложившаяся целая вещь обладает наилучшей, бережливо прекрасной формой и вместе с тем обретает внутреннюю устойчивость, благость и истинность. Великолепный закон! Он изгоняет беспорядок и произвол из природы и в каждой изменчивой, ограниченной частице мироздания являет нам закон высшей красоты.

Третий закон природы. Равным образом доказано, что *если вывести вещь или систему из присущего им состояния истины, блага и красоты, то вещь или система, побуждаемые своими внутренними силами, вновь станут приближаться к прежнему состоянию, совершая колебания или описывая асимптоту, потому что вне этого состояния они лишены устойчивости и постоянства.* Чем живее, чем многообразнее силы, тем менее возможна для вещи прямая, по сути дела, линия асимптоты и тем сильнее колебания и вибрации, происходящие до тех пор, пока нарушенное состояние не вернется к равновесию сил или гармонических движений и не достигнет тем самым существенного для вещи постоянства.

Коль скоро человечество в целом, а также всякий индивид, всякое общество и всякая нация есть прочная, постоянная естественная система многообразнейших живых сил, то посмотрим же, в чем заключено постоянство такой системы, в какой точке сходятся величайшая красота, истина и благо и каким путем приближается система к своему первоначальному состоянию, если она смещена, – а опыт и история подсказывают нам множество примеров подобных смещений.

* * *

1. Человечество – эскиз плана, столь изобилующий силами и задатками, столь многообразный набросок, а в природе все настолько зиждется на самой определенной, конкретной индивидуальности, что великие и многообразные задатки человечества могут быть лишь *распределены среди миллионов* живущих на нашей планете людей и как-то иначе вообще не могут проявиться. Рождается на земле все, что может рождаться, и пребывает на земле все, что может обрести постоянство согласно законам природы. Итак, всякий отдельный человек и в своем внешнем облике, и в задатках своей души заключает соразмерность, ради которой он создан и ради которой он должен воспитывать сам себя. Такая соразмерность охватывает все разновидности, все формы человеческого существования, начиная с крайней болезненности и уродства, когда человек едва-едва жив, и кончая прекраснейшим обликом греческого человека-бога, начиная со страстной пылкости мозга африканского

негра и кончая задатками прекраснейшей мудрости. И всякий смертный, спотыкаясь и заблуждаясь, переживая нужду, воспитывая себя, упражняя все свои способности, стремится достигнуть положенной соразмерности своих сил, потому что только в такой соразмерности и заключена для него полнота бытия; но лишь немногим счастливцам дано достигнуть полноты бытия совершенно, прекрасно и чисто.

2. Поскольку каждый человек сам по себе существует лишь весьма несовершенно, то в каждом обществе складывается некий *высший максимум взаимодействующих сил.* И эти силы, неукротимые, беспорядочные, бьются друг с другом до тех пор, пока противоречащие правила, согласно действующим законам природы, никогда не ошибающимся, не ограничивают друг друга, – тогда возникает некий вид равновесия и гармонии движения. Народы видоизменяются в зависимости от места, времени и внутреннего характера; всякий народ несет на себе печать соразмерности своего, присущего только ему и несопоставимого с другими совершенства. Чем чище и прекраснее достигнутый народом максимум, чем более полезны предметы, на которых упражняются совершенные силы его души, чем тверже и яснее узы, связывающие все звенья государства в их сокровенной глубине, направляющие их к добрым целям, тем прочнее существование народа, тем ярче сияет образ народа в человеческой истории. Мы проследили исторический путь некоторых народов, и нам стало ясно, насколько различны, в зависимости от времени, места и прочих обстоятельств, цели всех их устремлений. Целью китайцев была тонкая мораль и учтивость, целью индийцев – некая отвлеченная чистота, тихое усердие и терпеливость, целью финикийцев – дух мореплавания и торговли. Вся культура греков, особенно афинская культура, была устремлена к максимуму чувственной красоты – и в искусстве, и в нравах, в знаниях и в политическом строе. Спартанцы и римляне стремились к доблестям героического патриотизма, любви к отечеству, но стремились по-разному. Поскольку во всех подобных вещах главное зависит от времени и места, то отличительные черты национальной славы древних народов почти невозможно сопоставлять между собой.

3. И тем не менее мы видим, что во всем творит лишь *одно начало – человеческий разум,* который всегда занят тем, что из многого создает единое, из беспорядка – порядок, из многообразия сил и намерений – соразмерное целое, отличающееся постоянством своей красоты. От бесформенных искусственных скал, которыми украшает свои сады китаец, и до египетской пирамиды и до греческого идеала красоты – везде виден замысел, везде видны намерения человеческого рассудка, который не перестает думать, хотя и достигает разной степени продуманности своих планов. Если рассудок мыслил тонко и приблизился к высшей точке в своем роде, откуда уже нельзя отклониться ни вправо, ни влево, то творения его становятся образцовыми; в них – вечные

правила для человеческого рассудка всех времен. Так, например, невозможно представить себе нечто высшее, нежели египетская пирамида или некоторые создания греческого и римского искусства. Они, все в своем роде, суть окончательно решенные проблемы человеческого рассудка, и не может быть никаких гаданий о том, как лучше решить ту же проблему, и о том, что она будто бы еще не разрешена, ибо исчерпано в них чистое понятие своего предназначения, исчерпано наиболее легким, многообразным, прекрасным способом. Уклониться в сторону значило бы впасть в ошибку, и, даже повторив ошибку тысячу раз и бесконечно умножив ее, все равно пришлось бы вернуться к уже достигнутой цели, к цели величайшей в своем роде, к цели, состоящей в одной наивысшей точке.

4. А потому *одна цепь культуры* соединяет своей кривой и все время отклоняющейся в сторону линией все рассмотренные у нас нации, а также все, которые только предстоит нам рассмотреть. Эта линия для каждой из наций указывает, какие величины возрастают, а какие убывают, и отмечает высшие точки, максимумы достижимого. Некоторые из величин исключают друг друга, некоторые ограничивают друг друга, но, наконец, в целом достигается известная соразмерность, и крайне ложным выводом было бы на основании совершенства, достигнутого нацией в одном, заключать, что совершенна она во всем. Если, например, в Афинах были прекрасные ораторы, то это еще не значит, что форма правления тоже была наилучшей, а если весь Китай был пропитан своею моралью, то это еще не значит, что китайское государство – образец для всех государств. Форма правления сообразуется с иным максимумом – не с тем, что прекрасное изречение или патетическая речь оратора, хотя в конце концов все, чем обладает нация, взаимосвязано, причем одно исключает или ограничивает другое. Максимум совершенства связей между людьми – вот что определяет счастье государства, а не какой иной максимум; даже если предположить, что народу пришлось бы обходиться без некоторых весьма блестящих качеств.

5. Даже у одной и той же нации *максимум, достигнутый ее трудами,* не всегда может и не всегда должен длиться вечно, потому что максимум – это только точка в линии времен. Линия не останавливается, а идет вперед, и чем многочисленнее обстоятельства, определившие прекрасный результат, тем более подвержен он гибели, тем более зависим от преходящего времени. Хорошо, если образцы стали правилом для народов в другую эпоху, потому что прямые наследники обычно слишком близки к максимуму и даже иной раз скорее опускаются оттого, что пытаются превзойти высшую точку достигнутого. И как раз у самого живого народа спуск тем более стремителен – от точки кипения до точки замерзания.

* * *

История отдельных научных дисциплин, история отдельных народов должна исчислить подобные максимумы, и мне хотелось бы, чтобы по крайней мере о самых знаменитых народах и о самых известных временах была написана такая история, потому что сейчас мы можем говорить только об истории человечества в целом и об основном ее состоянии, присущем ей в самых разных формах, в самых различных климатических зонах. Вот это основное состояние человеческой истории – *гуманный дух,* то есть *разум и справедливость во всех классах, во всех занятиях людей,* и ничто иное. И притом состояние это – основное не потому, что так захотелось какому-нибудь тирану, и не потому, что сила традиции переубедила всех людей, но таковы законы природы, и на них зиждется сущность человеческого рода. И даже самые порочные установления человечества как бы обращаются к нам: «Если бы не сохранялся в нас некий отблеск разума и справедливости, то нас давно бы не было на свете и мы вообще никогда бы не возникли». Вот – точка, с которой берет начало вся ткань человеческой истории, а потому нам следует со всей тщательностью обратить на нее свое внимание.

Во-первых. Что более всего ценим мы в творениях человеческих, чего ждем от них? Разумности, планомерности, преднамеренности. Если ничего этого нет, то нет и ничего человеческого, – действовала слепая сила. Куда бы ни заходил на широких просторах истории человеческий разум, он ищет только себя самого и обретает только себя самого. Чем больше чистой истины[2] и человеколюбия встретил он в своих странствиях, тем прочнее, полезнее, прекраснее будут его творения и тем скорее согласятся с их правилами умы и сердца всех людей во все времена истории. Что такое чистый рассудок, что такое мораль справедливости, одинаково понимают Сократ и Конфуций, Зороастр, Платон и Цицерон, – несмотря на бесчисленные расхождения между собой, стремились они к одной точке, к той, на которой зиждется весь наш человеческий род. Для странника нет наслаждения большего, как находить следы деятельности подобного ему в своих творениях, мыслящего, чувствующего Гения, находить их и там, где он не предполагал встретить их, – так чарует нас и в истории человеческого рода Эхо всех времен и народов, пробуждающее человеколюбие и человеческую правду во всех благородных душах. Мой рассудок ищет взаимосвязи всего существующего, мое сердце радуется, когда видит такую взаимосвязь, – но искал ведь ее и всякий настоящий человек, и только точка зрения у него была иной, и потому он иначе видел эту взаимосвязь вещей, иными словами называл ее. И заблуждаясь, он заблуждался и за себя и за меня, предупреждая меня о совершенной им ошибке. Он направляет мои шаги, он наставляет, воодушевляет, он утешает меня, он мой брат, мы

приобщились к одной мировой душе, к единому человеческому разуму, к единой правде людей.

Во-вторых. Во всей мировой истории нет ничего более радостного, чем вид доброго и разумного человека, который в каждом своем творении, всю жизнь, остается рассудительным и добрым, несмотря на все перемены судьбы, – и какое же сожаление возбуждает в душе нашей человек, великий и добрый, разум которого заблуждается и который, по законам природы, может ждать лишь расплаты за свои заблуждения! Слишком много таких падших ангелов в истории людей, и мы оплакиваем слабость телесной оболочки, которая служит орудием для человеческого разума. Как мало способно вынести смертное существо, – все пригибает его к земле и, как все необычное, чрезвычайное, сбивает его с пути! Видимость оказанной ему чести, некое отдаленное подобие счастья, неожиданное происшествие – и вот уже блуждающий огонь увлекает в трясину и пропасть одного; другой не в силах постигнуть сам себя, перенапрягается и обессиленный падает на землю. И глубокое чувство сострадания охватывает нас, когда мы видим, что такой несчастливо счастливый человек стоит на перепутье двух дорог, и видим, что сам он чувствует, как недостает ему сил, чтобы и впредь остаться человеком разумным, справедливым и счастливым. Фурия стремится за ним по пятам, готовая всякий миг схватить его; против воли его заставляет она его переступить линию умеренной середины, и вот он бьется в руках фурии и всю свою жизнь искупает последствия одного своего неразумного, одного своего глупого решения. Или же счастье чрезмерно вознесло человека, и он чувствует, что достиг вершины счастья, – что же ждет его? Что ждет его прозорливый дух? Непостоянство неверной богини, несчастье, произрастающее из самых удачных начинаний. Напрасно отвращаешь ты взор свой, о сострадательный Цезарь, при виде отрубленной головы врага твоего Помпея, напрасно строишь храм Немезиды. Ты перешел границу счастья, как некогда перешел Рубикон, фурия гонится за тобой, и тело твое рухнет на землю близ статуи того же Помпея. То же самое – со строем целых стран, ибо они всегда зависят от разума или неразумия немногих – своих правителей, которые на деле или на словах правят ими. Прекраснейшие плантации обещали приносить человечеству самый полезный урожай плодов, и вот является один безрассудный, приводит их в полный беспорядок и, вместо того чтобы пригибать ветви к земле, крушит целые деревья. Как отдельные люди, так и целые государства хуже всего переносят свое счастье, кто бы ни управлял ими, – монархи и тираны, или сенат и народ. Никто хуже народа и тирана не понимает упреждающих знаков богини Судьбы, пустой звук, блеск суетной славы – все ослепляет их, и они бросаются вперед не глядя, забывают о границах человечности и благоразумия и слишком поздно замечают последствия своей безрассудности. Вот судьба Рима, судьба Афин, судьба самых разных других народов, – вот

судьба Александра и почти всех завоевателей, лишавших мир тишины и покоя; ибо несправедливость губит страны, и неразумие – все дела людей. Вот фурии судьбы, и несчастье – их младшая сестра, третья в их страшном союзе.

Великий Отец людей! Какой же урок, легкий и трудный, задал ты роду человеческому! Лишь разуму и справедливости должны они учиться; научатся – и шаг за шагом свет озарит их душу, и доброта проникнет в сердце, и совершенство – в строй их государства, и счастье – в их жизнь. Если обратить на пользу такие дары, оставаясь верным их духу, так и негр построит свое общество, словно грек, и троглодит – словно китаец. Опыт каждого поведет вперед, а разум и справедливость делам всякого придадут постоянство, красоту и соразмерность. Но если бросит человек этих водительниц своей жизни, столь существенных для него, что тогда придаст прочность его счастью, что избавит его от богинь, отмщающих всякую бесчеловечность?

В-третьих. Одновременно из сказанного вытекает, что как только нарушена в человечестве соразмерность разума и гуманности, то возвращение назад, новое обретение соразмерности редко совершается иначе, нежели путем судорожных колебаний от крайности к крайности. Одна страсть упразднила равновесие разума, другая со всей силой бросается на первую, и так проходят года и века истории, пока не наступают спокойные дни. Александр уничтожил равновесие на огромной территории, и еще долго после смерти его дули тут буйные ветры. Рим отнял покой у целого мира более чем на полтысячи лет, и потребовались дикие народы половины света, чтобы постепенно восстановить утраченное равновесие. При таких переживаемых странами и народами потрясениях трудно думать о спокойном движении асимптоты. Вообще говоря, дорога культуры на нашей земле, дорога с поворотами, резкими углами, обрывами и уступами, – это не поток, что течет плавно и спокойно, как широкая река, а это низвергающаяся с покрытых лесом гор вода; в водопад обращают течение культуры на нашей земле страсти человеческие. Ясно, что весь порядок нашего человеческого рода рассчитан и настроен на такие колебания, на такую резкую смену. Мы ходим, попеременно падая в левую и в правую стороны, и все же идем вперед, – таково и поступательное движение культуры народов и всего человечества. Каждый из нас испытает обе крайности, пока не дойдет до спокойной середины, – так качается маятник. Поколения обновляются, и постоянно наступают перемены; несмотря на прописи традиции, сын начинает писать по-своему. Аристотель старательно отмежевывался от Платона, Эпикур – от Зенона, и вот спокойное потомство смогло уже посмотреть на них непредвзято и извлечь пользу из каждого. Точно так, как машина нашего тела, движется вперед, проходя сквозь неизбежный антагонизм, дело времен, принося благо человечеству и сохраняя его здоровье. Но как бы ни извивался, как бы ни отклонялся от прямой

линии, под каким бы углом ни поворачивал поток человеческого разума, он берет свое начало в вечном потоке истины, а природа его такова, что он не уйдет в песок на своем пути. Кто черпает из этого потока, черпает себе здоровье и жизненные силы.

Впрочем, заметим, что и разум, и справедливость опираются на *один и тот же закон природы,* из которого проистекает и постоянство нашего существа. Разум измеряет и сопоставляет взаимосвязь вещей, чтобы упорядочить ее и превратить в постоянную соразмерность. Справедливость – не что иное, как моральная соразмерность разума, формула равновесия противонаправленных сил, на гармонии которых покоится все наше мироздание. Итак, один и тот же закон охватывает и наше Солнце, все солнца – и самый незначительный человеческий поступок; и лишь одно хранит все существа и все системы – *отношение, в котором их силы находятся к периодически восстанавливаемому порядку и покою.*

IV. Разум и справедливость по законам своей внутренней природы должны со временем обрести более широкий простор среди людей и способствовать постоянству гуманного духа людей

Все сомнения, все жалобы на хаос, на почти незаметные успехи благого начала в человеческой истории проистекают оттого, что странник, погруженный в скорбь, наблюдает лишь очень короткий отрезок пути. Если бы он более широко взглянул окрест себя, если бы он беспристрастным взором сравнил хотя бы более или менее известные по истории эпохи, а кроме того, проник в естество человека и поразмыслил над тем, что такое разум и истина, то он не стал бы сомневаться в поступательном движении добра, как не сомневается в самой достоверной естественнонаучной истине. Тысячелетиями считалось, что наше Солнце и неподвижные звезды стоят на месте; теперь у нас есть такой прекрасный инструмент, как телескоп, и мы не сомневаемся уже в том, что и Солнце, и звезды движутся. Так и более точное сопоставление исторических периодов – оно не просто явит нам многообещающую истину движения, но и, несмотря на кажущийся беспорядок, позволит исчислить законы, по которым протекает такое поступательное движение добра, определяемое человеческой природой. Я сейчас стою на краю древности, словно в центре всемирной истории, а потому намечу лишь некоторые общие принципы, которые в дальнейшем послужат нам путеводной звездою.

Во-первых. *Времена соединяются в одну цепь, как того требует их природа, но соединяется в одну цепь и ряд человеческих существований, это порождение времен, вместе со всеми его проявлениями и произведениями.*

Никакой ложный вывод не позволит нам утверждать, что Земля не состарилась за долгие тысячелетия и что эта странница не изменилась с тех пор, как возникла. Недра земные показывают нам, какой была Земля раньше, а стоит посмотреть вокруг, и мы видим, какова Земля в наши дни. Океан уж не шумит на всей поверхности Земли, он утихомирился в своих берегах; и потоки воды, лившиеся во всех направлениях, потекли каждый по своему руслу, и растительность, и все органические существа пережили много поколений и оставили позади себя длинную цепочку лет, оказавших на них свое воздействие. И ни один луч света не пропал на Земле, не оставив на ней следа, – так было со времен сотворения Земли, – и ни один лист не упал с дерева напрасно, и ни одно семя растения не унеслось по ветру, ни одно животное не истлело, не принеся своей пользы, и тем более ни одно действие живого существа не осталось без своих последствий. Так, растения пошли в рост и, насколько могли, распространились по всей Земле, и каждое из живых существ росло и росло в пределах, какие установила каждому природа, стеснив его со всех сторон другими живыми существами, и человеческое трудолюбие и даже вся бессмысленность производимых человеком разрушений – все это стало мощным орудием Времени. На руинах городов зацвели поля, и стихии прахом забвения покрыли их развалины, и новые поколения явились и строили на обломках прошлого. И само всемогущество ничего не может тут изменить: что было потом, то было потом, и не восстановить Землю такой, какой была она за тысячелетия до нас, и никуда не деться от этих тысячелетий, от всех вызванных ими следствий.

Итак, получается, что поступательное движение времен уже заключает в себе и поступательное движение человеческого рода, насколько вообще принадлежит род человеческий к порождениям Земли и времен. Если бы явился сюда прародитель человеческий и взглянул на свой род, как изумился бы он! Тело его создано было для юной Земли, и все строение его, весь образ жизни, весь ход его мысли – все было таким, каким должно было быть на тогдашней Земле с ее стихиями; за прошедшие шесть и более тысячелетий немало изменилось на Земле. Уже сейчас Америка в некоторых своих областях – не такая, какая была она, когда ее открывали, а через несколько тысячелетий ее историю будут читать, как роман. Так читаем мы теперь историю завоевания Трои, и тщетно стараемся отыскать место, где стоял этот город, и тем более напрасно ищем могилу Ахилла и останки самого богоравного героя. Для истории человечества весьма ценно было бы собрать все сведения о росте и фигуре древних, об их пище и соблюдаемой в еде мере, об их повседневных занятиях, о развлечениях, собрать все, что думали они о любви и браке, о добродетелях и страстях, о правильной жизни на земле и о жизни после смерти, собрать все это, приняв во внимание время, и место, и степень достоверности сообщений. Нет сомнения, что уже

в этот короткий промежуток времени мы заметили бы поступательное развитие человеческого рода – и постоянство вечно юной природы, и беспрестанные изменения, претерпеваемые матерью-землей. Мать-земля печется не об одном роде человеческом, но все свои порождения вынашивает в своем чреве, все одинаково лелеет, и если одно изменяется, то измениться должны и все прочие.

Неоспоримо влияние поступательного движения времен на образ мысли людей. Разве возможно сочинить и петь в наши дни «Илиаду»! Разве возможно писать, как писали Эсхил, Софокл, Платон! Простое детское восприятие, непредвзятый взгляд на мир, короче говоря, юное время греков минуло. То же и евреи, и римляне, – мы же зато знаем многое такое, чего не знали ни евреи, ни римляне. День учился у дня, век у века, традиция обогащалась, Муза времен – История говорит на сотню ладов, поет тысячью флейт. Пусть этот огромный снежный ком, что прикатили нам времена, содержит сколько угодно мусора, сколько угодно хаоса, – и хаос этот порожден веками и возник только оттого, что один и тот же ком, неутомимо, неустанно, все катили и катили вперед. Итак, всякий возврат к прошлому, даже и знаменитый год Платона[3], – все это сочинение, и ни понятие мира, ни понятие времени ничего подобного не допускают. Мы плывем вперед, но не вернется поток к своим истокам, словно никогда не изливался он из них.

Во-вторых. *Жилище человека еще нагляднее представит нам поступательное движение человечества.*

Где времена, когда люди, словно троглодиты, сидели в своих пещерах или запершись в своих стенах и всякий чужак почитался врагом? Ни пещера, ни стены – ничто не могло противостоять смене времен, и людям пришлось познакомиться друг с другом, ибо все люди – это один род человеческий, и живет род человеческий на *одной* небольшой планете. Жаль, что люди сначала познакомились друг с другом как с врагами, жаль, что они сначала уставились друг на друга словно волки, – но и это тоже было в порядке вещей. Слабый боялся сильного, обманутый страшился обманщика, а изгнанник – человека, который опять мог изгнать его, неопытное дитя боялось всех и каждого. Но такой ребяческий страх, хотя его употребляли во зло, не мог переменить течения природы: узы единения связали не одно племя, хотя поначалу связали жестоко, как то соответствовало первобытной грубости людей. Развивавшийся разум мог разрубить узел – но не развязать узы единства, и открытий, какие сделаны были с тех пор, тоже не отменить. География Моисея и Орфея, Гомера и Геродота, Страбона и Плиния – что она по сравнению с нашей? Что такое финикийская, греческая и римская торговля в сравнении с торговлей, какую ведет Европа? Так и со всем остальным, что произошло с давних времен, – прошедшее дало в руки нам нить, с помощью которой мы проникнем в лабиринт грядущего. Человек, пока он не перестал быть человеком,

будет путешествовать по своей планете до тех пор, пока не узнает ее всю, до конца, и не удержат его ни морские бури, ни кораблекрушения, ни чудовищные айсберги, ни опасности, подстерегающие людей на Крайнем Севере и на Крайнем Юге, – ведь даже во времена, когда мореплавание было еще весьма несовершенным искусством, ничто не могло удержать людей от их первых, самых трудных попыток. Искра всех начинаний – в груди человека, в его натуре! Любопытство и неутолимая жажда выгоды, славы, новых открытий, могущества, даже и новые потребности и новые источники неудовлетворенности, заключенные в теперешнем ходе вещей, – все это побудит человека совершать все новые и новые попытки, и еще более окрылит его счастливый пример первооткрывателей прошлого, героев древности, побеждавших все опасности, стоявшие на их пути. Итак, и пружины добрых дел, и пружины злых дел одинаково исполнят волю Провидения, и, наконец, человек узнает весь человеческий род и никогда не перестанет содействовать этой цели. Земля дана в собственность человеку, и он не успокоится, пока она действительно не станет его Землей, принося пользу и будучи освоена хотя бы рассудком. Разве теперь нам уже немножко не стыдно, что так долго не знали мы вторую половину своей планеты, как будто она – обратная сторона Луны?

В-третьих. *Вся прошлая деятельность человеческого духа по внутренней своей природе была изысканием средств, как глубже обосновать и шире распространить гуманный дух и культуру человеческого рода.*

Какая неизмеримая дистанция отделяет первый плот, поплывший по воде, и европейский корабль! Ни изобретатель плота, ни многочисленные изобретатели самых различных знаний и умений, необходимых для мореплавания, не думали о том, что воспоследует, если сложить вместе все открытое и изобретенное ими, – каждый следовал голосу нужды или любопытству, и лишь в самой природе человеческого рассуждения, во взаимосвязанности всех вещей в природе заключено было то, что ни один опыт, ни одно открытие не пропало для человечества. Островитяне, никогда прежде не видавшие европейское судно, дивились на него, словно на чудо, прибывшее из иного света, и еще больше были поражены они, когда увидели, что руки направляли его над бездною морской, куда им только заблагорассудится. А если бы изумление их могло превратиться в разумное рассуждение обо всех великих целях и обо всех малых средствах, слившихся в один плавучий мир человеческого искусства, сколь возросло бы их восхищение возможностями человеческого рассудка! С помощью одного этого орудия – как далеко протягивают свои руки европейцы! И куда протянут они их в будущем?

Род человеческий придумал это искусство – искусство мореплавания, и точно так же придумал он, в течение немногих лет, несказанное множество искусств, и власть свою распространил на воздух и воду, на

небо и землю. А если мы подумаем, что лишь немногие народы поглощены были этим спором духовных сил, тогда как подавляющая часть народов пребывала в дремоте, приверженная к древним обычаям, если мы поразмыслим над тем, что почти все открытия и изобретения относятся к новым временам истории и почти нет следов, почти нет руин и развалин древних зданий и установлений, которые не были бы так или иначе связаны с юной историей человеческого рода, – какие перспективы бесконечности грядущих времен рисует нам эта исторически подтверждаемая неугомонность человеческого духа! За те немногие века, что цвела Греция, за недолгие века нашей новой культуры как много придумано, открыто, изобретено, сделано, упорядочено и сохранено на будущие времена в самой малой части света – Европе, и даже можно сказать – в самой малой части этой малой части света! Словно благодатный посев, повсюду пошли из земли науки и искусства, повсюду они питали друг друга, вдохновляли и пробуждали одно другое! Когда звучит струна, то отвечает ей все, что может звучать, и звучат вслед за одним звуком все гармонирующие с ним ее звуки, уходящие в недоступную слуху высь, – так и человеческий дух: он изобретал, создавал, творил, стоило только зазвучать одному гармоническому источнику в его душе. И как только находил человек одно новое стройное созвучие, так вытекали из него многочисленные новые комбинации, ибо все взаимосвязано в творении.

Однако меня спросят, как же применены были все эти искусства, открытия и изобретения? Разве благодаря им возросли практическая разумность и справедливость людей, подлинная культура и настоящее счастье человеческого рода? Сошлюсь на сказанное чуть выше о судьбе всякого беспорядка в целом нашем творении: согласно внутреннему закону природы, ничто, будучи лишено порядка, не может пребывать долго, и все вещи по внутреннему своему существу стремятся к порядку. Ребенок может пораниться острым ножом, но искусство, что придумало и заточило нож, тем не менее остается одним из самых жизненно необходимых умений. Не все, кто пользуется ножом, – дети, и даже ребенок, причинив себе боль, лучше научится пользоваться этим острым предметом. Если деспот искусственно сосредоточивает власть в своих руках, если народ привержен чужестранной роскоши и не ведает закона и порядка, то и власть и роскошь – не что иное, как смертоносные орудия; нанесенный самому себе вред учит, однако, уму-разуму, и рано или поздно, но искусство, призвавшее к жизни и тиранию, и роскошь, принудит и то и другое оставаться в своих пределах, а потом и обратит их в подлинное благо. Всякий грубый лемех сам оттачивается от долгого употребления, и новые, неприлаженные друг к другу колеса, и целые передаточные механизмы только благодаря работе обретают более удобные, приспособленные друг к другу эпициклоиды[5]. То же самое с человеческими силами, – они могут идти во

зло и сопровождаться всякими преувеличениями, но со временем, по мере применения, могут обратиться к добру: крайности, колебания в оба конца неизбежно приведут к прекрасной средине, к правильности движения, к длительному и устойчивому состоянию. Но только все в царстве людей и должно быть произведено руками людей: мы долго терпим по своей собственной вине, но, наконец, сами учимся лучше распоряжаться своими силами, и не требуется для этого чудесное вмешательство Божества.

Поэтому не следует нам сомневаться и в том, что всякая благая деятельность человеческого рассудка неизбежно споспешествует гуманному духу и всегда будет содействовать его развитию. Занявшись земледелием, люди перестали пожирать друг друга и кормиться желудями; человек обнаружил, что сладкие дары Цереры накормят его сытнее, пристойнее и человечнее, чем плоть братьев и желуди, тогда более мудрые люди установили свои законы, и человек был вынужден исполнять их. Начав строить дома и города, человек перестал жить в пещерах, и законы человеческого общежития уже запрещали убивать несчастного чужестранца. Торговля сблизила людей, и по мере того как люди усваивали преимущества торговли, неизбежно сокращалось число убийств, подлогов и обманов, – все это признаки неразумия в торговых делах. Число полезных искусств возросло, неприкосновенность собственности была обеспечена, труд людей облегчен, плоды труда распространялись по земле, а тем самым была заложена основа для культуры, для духа гуманности. Какие затраты труда стали ненужными, когда изобретено было книгопечатание! Как способствовало оно обращению среди людей мыслей, наук, искусств! Пусть теперь китайский император Сян-Ти попробует изничтожить все книги Европы – это будет попросту невозможно сделать. И если бы финикийцы и карфагеняне, греки и римляне знали искусство книгопечатания, то разорителям их земель не так легко было бы погубить все памятники их словесности; это, наверное, было бы невозможно. Пусть обрушатся на Европу дикие народы – с нашим военным искусством им не совладать, и новый Аттила не сможет пройти от Черного и Каспийского моря до Каталаунских полей. Пусть восстанет сколь угодно много попов, сластолюбцев, мечтателей, тиранов, им не вернуть ночь Средневековья. А поскольку от человеческого и от божественного искусства не бывает пользы большей, чем когда дарует оно нам свет и порядок, но еще и сверх того – по своей внутренней природе распространяет и хранит в мире свет и порядок, то возблагодарим Творца, он *рассудок* сделал существом человека, а *искусство*[6] – существом рассудка. Рассудок и искусство – вот тайна и средство укрепляющегося миропорядка.

Не должно беспокоить нас и то обстоятельство, что иной раз превосходно разработанная теория, даже и теория морали, надолго остается лишь теорией. Ребенок учит много такого, чем сумеет воспользоваться

лишь мужчина, но нельзя сказать, что он учит напрасно. И безрассудно поступает юноша, если забывает выученное, потому что ему придется напрягать память, чтобы вспомнить, или придется учить во второй раз. Род человеческий беспрестанно обновляется, а потому ни сохранять, ни заново открывать истину не может быть делом напрасным; мы что-то упускаем из виду, а позднее именно в этом и нуждаемся, а при бесконечности вещей в мире случится рано или поздно все, что так или иначе потребует всяких мыслимых практических усилий людей. Говоря о сотворении мира, мы сначала вспоминаем силу, создавшую хаос, затем мудрость, упорядочившую этот хаос, а затем то хорошее, то гармоническое благо, которое воспроизошло из творения, – так и род человеческий: сначала естественный порядок развивает в нем самые примитивные силы, и сам беспорядок должен повести их на путь рассудительности, а по мере того как рассудок разрабатывает свое творение, тем более замечает он, что все – хорошо, что только благо придает творению прочность, совершенство и красоту.

V. Благое, мудрое начало правит в судьбах человеческих, и нет поэтому достоинства более прекрасного и счастья прочного и чистого, как способствовать благим свершениям мудрости

Когда думающий созерцатель истории потерял в ней своего Бога и начал сомневаться в том, что есть на самом деле Провидение, то лишь потому приключилось с ним такое несчастье, что смотрел он на историю слишком плоско, а о Провидении не имел подобающего понятия. Он думает, что Провидение – это привидение, что оно должно попадаться ему на каждом шагу, без конца вмешиваться в дела людей и всякий раз стараться достичь каких-то частных и незначительных целей, предписанных фантазией и капризом; если так, то вся история – не что иное, как могила подобного Провидения, но тогда уж смерть его идет на пользу истине. Что же это за Провидение, если оно, словно неугомонный призрак, бродит повсюду, если можно заключать с ним союз и достигать своих ограниченных целей с его помощью, если всякие мелочные затеи можно прикрывать его именем, – а целое остается без хозяина? Тот Бог, которого ищу я в истории, – он, конечно, тот же, что и Бог природы; ибо человек составляет малую часть целого, и история его, как история живущего в своей паутине паука, теснейшим образом связана с тем домом, в котором человек живет. И в истории тоже не могут не действовать те же самые законы природы – они относятся к самой сущности вещей, и Божество не может пренебречь ими, тем более что в этих основанных им самим законах Божество открывает человеку все

свое величие, всю свою мудрость, благость, неизменчивость – красоту. Все, что может совершиться на земле, и не может не совершиться на земле, – совершаясь по правилам, совершенство которых заключено в них самих. Повторим эти правила; мы уже излагали их, но теперь они будут относиться к истории человечества. В них – печать мудрой благости, величественной красоты, внутренней необходимости.

1. Все ожило на Земле, что могло ожить; всякое органическое строение заключает внутри себя комбинацию самых разнообразных сил, взаимно ограничивающих друг друга и в самом этом ограничении обретающих максимум прочности и постоянства. В противном случае союз сил распадается и они вступают в иные комбинации.

2. Среди всех этих органических строений Земли поднялся и человек, венец творения. Бессчетные силы соединились в человеке и обрели некий максимум – разумение, а материя тела, в котором воплощены эти силы, обрела центр тяжести по законам порядка и самой прекрасной симметрии. В характере человека заложена и основа прочности его существования, и основа его счастья, и печать его призвания, и все судьбы человечества на Земле.

3. Разум – вот характер человека, а разум означает, что человек внемлет глаголу божьему в творении, другими словами, он ищет правило целого, по которому все вещи покоятся, во взаимосвязи целого, на своем внутреннем существе. Итак, глубоко заложенный в человеке закон – познание истины и существования, взаимозависимость всего творения в его связях и свойствах. Человек – образ божий, потому что он изыскивает законы природы, мысль творца, заключенную в этих законах и связавшую их в единое целое. Бог мыслил и не ведал произвола, так и человек – он мыслит разумно и не может поступать по своему произволу.

4. Все началось с самых непосредственных жизненных потребностей: человек начал познавать и поверять законы природы. И единственная цель, какую преследовал он при этом, было его благополучие, то есть спокойное и размеренное пользование всеми своими силами. Человек вступил в отношения с другими существами, и мерою этих отношений стало само существование человека. И справедливость человек усвоил, потому что это правило – не что иное, как практический разум, мера действия и противодействия, определяющая совместное существование всех подобных друг другу существ.

5. Вот начало, на котором основана человеческая природа, так что ни один индивид не должен думать, что существует на земле ради кого-то другого или ради своего потомства. Даже если человек относится к самому низшему звену в цепочке рода человеческого, а притом следует заложенному в нем закону разума и справедливости, то и его существование – внутренне прочно, и его существование благополучно и долговечно, он – разумен, справедлив, счастлив. И не потому, что так

заблагорассудилось другому или даже самому Творцу, а потому что таковы законы естественного порядка, всеобщего, самодовлеющего. А если человек отойдет от законов справедливости, то само заблуждение его будет ему карой, само оно заставит вернуться его к разуму и праву – к законам человеческого существования и человеческого счастья.

6. Коль скоро природа человека весьма многосоставна, то редко человек приходит к истине кратчайшим путем, он сначала колеблется между двумя крайностями, а потом как бы примиряется со своим существованием и находит для себя терпимую средину, полагая, что достиг вершины своего благополучия. Если он ошибается при этом, то втайне, про себя знает о том и сам расплачивается за свою вину. Но расплачивается лишь отчасти, потому что или судьба обращает все к лучшему, так что сам человек вынужден стараться исправить положение вещей, или же, иначе, исчезает внутренняя опора существования человека. Величайшая мудрость не могла извлечь большей пользы из физической боли и моральных страданий, – нельзя и представить пользы большей.

7. Если бы на землю ступил всего один-единственный человек, то цель человеческого существования и была бы уже исполнена в нем, – так и приходится считать в тех случаях, когда, как иной раз случается, один человек или целое племя живет отдельно ото всех, звено, оторванное от общей цепи человеческого рода. Но коль скоро все на Земле длится и плодится, пока сама Земля не выходит из приданного ей состояния, то и род человеческий, подобно всем родам живых существ, заключает в себе силы продолжения рода, силы соразмеренные и приведенные во взаимосвязь с целым. Так наследовалось, от поколения к поколению, самое существо человеческого – разум и живое орудие разума – традиция. Постепенно Земля была заселена, и человек стал всем, чем мог быть на Земле в тот или иной исторический период.

8. Продолжение человеческого рода и длящаяся традиция – вот что создало и единство человеческого разума, не потому что в каждом отдельном человеке заключена лишь частица целого, которое не может существовать в отдельном индивиде и, следовательно, не могло быть и целью Творца, – нет, таковы были задатки человеческого рода в целом, такова нигде не прерывающаяся цепь человечества. Люди плодятся, как плодятся животные, но поколения животных не порождают некой всеобщности животного разумения. Однако только разум и определяет неизменное состояние человеческого рода и потому не может не наследоваться как основной характер человека; не будь разума, не было бы и человеческого рода.

9. У разума в целом та же судьба, какую переживает разум у отдельных людей, потому что целое состоит лишь из отдельных звеньев. Дикие страсти, которые делались тем более буйными и неукротимыми, что люди действовали сообща, служили препоной разуму, веками разум

бродил в стороне от своих путей, веками разум дремал, словно огонь в глубине потухшего костра. И одним-единственным средством боролось Провидение со всеми подобными нарушениями и беспорядками, – за всякой ошибкой следовала кара, и леность, глупость, злость, неразумие и несправедливость сами наказывали себя. И только потому, что в те времена все такие ошибки люди совершали не каждый за себя, а большой массой, то детям приходилось расплачиваться за грехи родителей, народам – за неразумие своих вождей, потомству – за леность своих предков; не умея, иной раз не желая исправить зло, люди столетиями страдали от него.

10. Вот почему для каждого отдельного звена самое наилучшее – это благополучие целого, ибо кто страдает от пороков целого, тот вправе, тот даже обязан удерживаться от этих пороков и исправлять их на благо своих сородичей. Природа рассчитывала не на правителей и не на государства, а на благополучие людей. Государства и их правители не так скоро расплачиваются за все неразумие и за все содеянные злодеяния, потому что тут – расчет на целое, а всякий отдельный человек с его нищетой надолго подавлен; но, наконец, и государству и государю приходится искупить свою вину, и тем опаснее падение их с вершин своего величия. Во всем этом законы возмездия сказываются с той же определенностью, что законы движения, если дать толчок хотя бы самому малому физическому телу, – и самый величайший из государей Европы покорствует естественным законам человеческой истории, как самый малый из его подданных. Положение обязывает государя лишь к тому, чтобы он мудро хранил эти законы природы; могущество у него – лишь благодаря людям, и для людей этих он должен быть мудрым и благим человеко-богом.

11. И вот всемирная история, как то бывает в жизни отдельных людей, безнадзорных и заброшенных, до дна исчерпает, наконец, и все глупости, и все пороки человеческого рода; нужда заставляет, и человек усваивает постепенно принципы разума и справедливости. Все возможное происходит на деле и порождает на свет все, что могло породить. Этот закон природы ничему не препятствует и не останавливает даже самую разнузданную силу, но он просто кладет всем вещам предел – так, что все, всякое действие снимается обратным, уничтожается противодействием, а остается лишь полезное и благодатное. Одно зло губит другое, оно должно или примериться к общему порядку, или погубить само себя. Человек разумный и добродетельный везде будет счастлив в царстве божием[7], потому что разум не требует внешней награды, не требует ее и добродетель души. Если труд разума и добродетели напрасен, то страдает от этого только время; но и неразумие, и людские раздоры не всегда в силах воспрепятствовать благому начинанию, и оно все равно осуществится, когда придет его пора.

12. Между тем человеческий разум в целом не останавливается на достигнутом, а идет вперед своим путем; разум многое находит, но не

все может сразу применить; разум многое открывает, а недобрые люди долгое время используют во зло его открытия. Но извращение доброго само покарает себя, а беспорядок сам станет со временем порядком, потому что разумность возрастает, и усердие разума не ведает усталости. Разум борется со страстями, а притом сам укрепляется и очищается; в одном месте разум притесняют, а он находит выход в другом и так распространяет власть свою на земле. Надеяться на то, что повсюду, где живут теперь люди, впоследствии будут жить люди разумные, счастливые и справедливые, – не пустое мечтательство: люди будут счастливы, и не только благодаря своему разуму, но и благодаря общечеловеческой разумности – разуму всего братского племени людей.

* * *

С тем большей готовностью склоняю свои колени перед высоким замыслом Мудрости природы, определившей судьбу всего моего рода, что вижу – замысел этот относится ко всей природе в целом. Не какая иная сила создала человеческий род и хранит его на земле, а тот самый закон, что удерживает в движении и целые мировые системы и строит каждый кристалл, каждую снежинку, каждого червя земного; природа этого закона – почва прочного и длительного существования рода человеческого, пока живы на Земле люди. Все творения божии укреплены в себе, все прекрасной связью соединены между собой, ибо всему указан предел и все покоится на равновесии противоборствующих сил, упорядоченном внутренней силой. Эта сила – путеводная нить для меня; я иду по лабиринту истории и повсюду вижу божественную гармонию и порядок; все, что хоть как-то может совершиться, все и совершается на деле, и все, что может действовать, действует. Но только разум и справедливость длятся, а глупость и безумие разоряют Землю и уничтожают сами себя.

Вот почему, когда, как рассказывает легенда, я слышу, Брут с кинжалом в руке восклицает под звездным небом Греции при Филиппах: «О добродетель, я думал, что ты есть, а теперь вижу, что ты – сон!»[8] – я не узнаю в этих словах голоса спокойного мудреца. Если Брут был поистине добродетелен, то добродетель, как и разум его, всегда была ему наградой, не могла не вознаградить его и в этот последний миг жизни. А если добродетель его была лишь доблестью патриота-римлянина, так удивительно ли, что слабый уступил сильному, ленивый – решительному? И Антоний должен был победить, и все последствия – воспроизойти из его победы: во всем этом порядок мира, во всем этом – естественная судьба Рима.

То же и в других случаях: если человек добродетельный не перестает жаловаться на свои неудачи, на то, что грубая сила, все подавляющая и угнетающая, царит на земле, а род человеческий – добыча в руках неразумия и диких страстей, пусть подойдет к нему гений его разума и пусть

Часть четвертая

Tantae molis erat, Germanas condere gentes

Так тяжко было положить начало германским племенам[1]

Книга шестнадцатая

Теперь мы подошли к северным народам нашего Старого Света; они – наши предки, от них мы переняли нравы и жизненный уклад, а потому я считаю излишним испрашивать у читателя благосклонности к истине. Ведь что проку было бы, если бы мы могли писать об азиатах и африканцах, но вынуждены были бы скрывать свое мнение о народах и эпохах, которые куда ближе нам, нежели все, что давным-давно лежит во прахе по ту сторону Альп и Тавра? История требует истины, а философия истории человечества – по меньшей мере беспристрастия и любви к истине.

Сама природа отделила эту северную часть Земли каменной стеной: имена ей – Мустаг, Алтай, Кицигтаг, Урал, Кавказ, Тавр, Хемус, а кроме того – Исполиновы горы, Альпы, Пиренеи. К северу от этой стены и небо и почва столь отличны, что и жители этих мест поневоле обрели и иное телосложение и иной образ жизни, чуждые южным народам; ибо на всей Земле природа полагала наиболее основательные и длительные различия, разделяя народы горами. Горы – вечный трон Природы; отсюда Природа ниспосылает реки, дожди, солнце, и, как и климаты, распределяет склонности и жребии народов. Поэтому если мы услышим, что народы, которые в течение целых столетий и даже тысячелетий жили по ту сторону гор, в бескрайних соленых и песчаных морях Татарии, жили в лесах и тундрах северной Европы, даже и в прекраснейшие долины римской и греческой империи принесли с собой образ жизни вандалов, готов, скифов, татар, образ жизни, отдельные черты которого до сих пор присущи Европе, так нам не следует удивляться этому и не следует ложным образом приписывать себе некое подобие культуры, а нам нужно, словно Ринальдо[2], заглянуть в зеркало истины, узнать в нем свой собственный облик и, если окажется, что мы все еще носим на себе звонкие украшения наших отцов-варваров, благородно заменить их подлинной культурой и гуманностью – тем, чему единственно пристало служить украшением нашего человеческого рода.

Итак, подойдем к величественному зданию, прославившемуся под именем *республики европейских народов,* оставившему след свой и принесшему плоды свои на всей Земле, но сначала познакомимся с

народами, которые, творя или страдая, строили этот исполинский храм. Правда, книга северной истории начата недавно – даже и у самих знаменитых народов она начинается с римлян; как человек не знает хронику своего рождения и детских лет, так не знают ее и эти народы, тем более, что они были народами варварскими и были вытеснены со своих мест. Остатки древнейших народов мы встретим еще в горах и в недоступных и суровых уголках земли, лишь древний их язык, пережитки прежних обычаев указывают нам, где были их истоки, а победители их давно уже захватили лучшие земли, если не были изгнаны другими народами, все еще владеют ими по праву завоевателя, по-татарски, или же, если справедливость и разумность были постепенно усвоены ими, то и управляют более гуманно. Итак, прощайте страны мягкие, земли по ту сторону гор, прощайте, Индия и Азия, Греция и италийские берега; если мы еще и увидим вас, то в ином облике увидим как *северные завоеватели*.

I. Баски, гэлы и кимвры

Из всех многочисленных, некогда населявших испанский полуостров народов от древнейших времен остались одни баски, которые живут в Пиренеях, во Франции и Испании и сохранили свой язык, один из самых древних на земле. Некогда этот язык, по-видимому, распространен был на большей части Испании, о чем, несмотря на все перемены, свидетельствуют названия городов и рек в этой стране*. Даже название серебра – металла, который, наряду с железом, произвел в Европе и во всем мире самые значительные изменения, – «Silber» – тоже, как утверждают, происходит из языка басков, потому что, согласно легенде, Испания из всех европейских стран первой построила рудники, ибо расположена была по соседству с ранними торговыми нациями этого континента, с финикийцами и карфагенянами, – для них Испания была европейским Перу. Сами племена, *всем известные под* именем басков и кантабрийцев, проявили себя в древности как народ быстрый, легкий на подъем, мужественный, свободолюбивый. Они принимали участие в походах Ганнибала, и для римских поэтов имя их звучало страшно: вместе с испанскими кельтами они более всего препятствовали римскому завоеванию Испании, так что только Август, да и то, наверное, больше на словах, восторжествовал над ними; кто не хотел быть рабом, уходил в горы. Когда вандалы, аланы, свевы, готы и другие тевтонские народы неудержимым потоком излились на Пиренеи и поблизости от Испании утверждали свои царства, баски продолжали оставаться народом беспокойным, мужественным, под властью Рима они не утратили доблести; а когда Карл Великий воз-

* См.: «Investigaciones historicas de las Antiquedades de Navarra» por Moret. Pamplona, 1665. L. I; Oihenarti «Notitia utriusque Vasconiae». Paris, 1638. L. I; и особенно *Larramendi*. Diccionario trilingue; De las perfectiones del Bascuence. P. II[3].

вращался на родину после победы над испанскими сарацинами, то именно баски, хитро напав на него, послужили причиной поражения его при Ронсевале, в битве, где пал великий Роланд, – битва эта прославлена древними романсами. В позднейшие времена они доставляли столько же беспокойства франкам в Испании и Аквитании, сколько свевам и готам; и когда страна была вновь отторгнута у сарацин, то они не сидели сложа руки, а даже и в века самого глубокого, варварского монашеского порабощения сохраняли свой характер. Когда после долгой ночи занялась в Европе заря науки, то она впервые загорелась по соседству с басками, в странах, которые населяли и они тоже, – в радостной провансальской поэзии, – эта земля и в позднейшее время дала Франции немало светлых и просвещенных умов. Хотелось бы лучше знать язык, нравы и историю этого бойкого и веселого народа, хотелось бы, чтобы второй Ларраменди, как Макферсон среди гэлов, собрал остатки древнего национального духа басков*. Быть может, и у басков сохранилась легенда о знаменитой битве Роланда, которая благодаря сказочному архиепископу Турпину, благодаря эпосу, составленному монахами, послужила основой для столь многочисленных романсов и героических песен Средневековья; но если даже эта легенда и не сохранилась у них, все же страна их долгое время служила вратами Трои, которые питали фантазию европейских народов приключениями, будто бы совершившимися в этой стране.

* * *

У гэлов, которые под именем галлов и кельтов куда более известны и знамениты, чем баски, – по существу, одна с ними судьба. В Испании они владели прекрасными земельными угодьями и оказывали славное сопротивление римлянам; в Галлии, которой они дали имя, они стоили Цезарю десятилетних трудов, а еще больших – и, в конце концов, вообще бесплодных – в Британии преемникам его, так что римляне, наконец, вынуждены были сами покинуть этот остров. Кроме того, Гельвеция, верхняя часть Италии, нижняя Германия вплоть до Паннонии и Иллирии были усеяны их племенами и колониями, хотя и не везде одинаково густо, и в древние времена они были самыми страшными врагами для римлян. Бренн сжег дотла Рим и едва-едва не положил конец будущей владычице мира. Галлы дошли до Фракии, Греции и Малой Азии и здесь не раз являли свою мощь, известные под именем галатов. Но в Галлии и на британских островах их род основался наиболее прочно и, конечно, не был совершенно чужд культуре. У гэлов была здесь своеобразная религия друидов, а в Британии был у них верховный

---

* В своем уже названном пространном трактате о совершенстве баскского языка Ларраменди (§ 18–20) и не думал ни о чем подобном. Не говорит он о том и в своей «Arte del Bascuence»[4] это видно из «Истории испанской поэзии» Дице (с. III)[5]; быть может, и самая память о древней поэзии уже исчезла.

друид; здесь сложился тот замечательный жизненный уклад, о котором свидетельствуют столь многие, отчасти огромной величины каменные постройки и нагромождения камней, которые встречаются в Британии, Ирландии и на островах, – эти памятники прошлого, словно пирамиды, переживут тысячелетия и, быть может, навеки останутся загадкой. Известное государственное и военное устройство было присуще им, но в конце концов они потерпели поражение от римлян, потому что раздоры между их правителями толкнули их к гибели; не лишены были галлы и естественных знаний и искусств, насколько они отвечали степени их развития, и, конечно, как и все варвары, они тем более не лишены были души народа – песнопений. Песни в устах бардов посвящены были доблести, они славили подвиги предков*. По сравнению с Цезарем и его войском, вооруженным всеми римскими военными искусствами, галлы были, конечно, полудиким племенем; но если сравнивать их с другими северными народами, включая и некоторые немецкие племена, то они уже не кажутся полудикими, а по ловкости, по легкости характера, а наверное, и по усердию в ремеслах, по культуре и политическому строю они превосходят их; ведь как немецкий характер в некоторых своих чертах до сих пор похож на описание немца у Тацита, так и в древнем галле, несмотря на все изменения, можно узнать галла поновее. Но, разумеется, народности этого племени, распространившиеся по всей земле, очень различались между собой в зависимости от стран, эпох, исторических обстоятельств и ступеней культуры, так что гэл, живший на берегах Шотландии или Ирландии, по-видимому, имел мало общего с галльским или кельт-иберийским народом, долгое время жившим по соседству с образованными нациями или городами.

Судьба гэлов на всем пространстве, занятом ими, была печальной. Согласно самым ранним сведениям о них, какие есть у нас, и по ту и по эту сторону Пролива соседями их были бельги или кимвры, которые повсюду теснили их. По обе стороны Пролива римляне, а затем разные тевтонские народности одержали над ними верх, подавляя, обескровливая, даже искореняя и изгоняя их, так что теперь мы встречаем гэльский язык лишь на самых дальних оконечностях былых владений, в Ирландии, на Гебридах, на голом шотландском нагорье. Готы, франки, бургунды, алеманны, саксы, норманны и другие немецкие народы в

---

* Кроме всего того, что было собрано и насочинено о кельтах в старых книгах, например, у Пеллетье, Пезрона, Мартена, Пикара[6] и других, кроме того, что говорится о происхождении и древнем строе ранних обитателей Британии у англичан, шотландцев и ирландцев – Баррингтона, Кординера, Генри, Джонса, Макферсона, Мейтленда, Ллойда, Оуэна, Шоу, Валленси, Уитейкера и других[7], можно привести еще и немецкую книгу Шпренгеля «История Великобритании» (продолжение «Всеобщей всемирной истории. Т. 47)[8], где в начале молчаливо исправляется множество застарелых ошибок, касающихся гэлов и кимвров. Этот автор, как то свойственно ему, дает краткие и точные сведения о сохранившихся памятниках культуры бриттов.

самых разных сочетаниях заняли их земли, вытеснили их язык и поглотили самое их имя.

Но и поработителям не удалось истребить внутренний характер народа; остались живые памятники, и словно звук арфы доносится из могил кроткий и печальный голос Оссиана, сына Фингала, и его спутников. Этот голос, словно в волшебном зеркале, рисует нам картины древних подвигов и нравов, но и больше того – самые мысли, самые чувства народа на этой ступени культуры, в таких местностях, при таких обычаях доносятся до нас и находят отклик в душе и сердце. Оссиан и соратники его больше скажут нам о душе древних гэлов, чем любой историк[10], – они для нас словно трогательные проповедники гуманности, какая живет в человеческом обществе, как бы просто ни было оно устроено. Нежные узы и тогда связывают сердца, и печаль звучит в каждом звуке. Чем стал Гомер для греков, мог бы и гэльский Оссиан стать для своих соплеменников, если бы только гэлы были греками, а Оссиан – Гомером. Но если Оссиан, этот глас изгнанного народа, звучит в пустыне, среди покрытых туманом гор, если, словно пламя, полыхает он над могилами предков, а другой, Гомер, родившийся под небом Ионии, среди цветущих племен и островов, в блеске занимающейся зари народа, на совсем непохожем языке описывает все то ясное, определенное, открытое, что развили потом многие иные умы, – то, конечно, не место искать греческого Гомера в горах Каледонии. Но звучи же, звучи, туманная арфа Оссиана; и счастлив всяк, кто когда-либо прислушается к кротким струнам твоим*.

* * *

Кимвры по имени – жители гор, и если кимвры и бельги – один народ, то мы встретим их, начиная с Альп по западному берегу Рейна вплоть до устья и, может быть, даже до Киммерийского полуострова, который в глубокой древности был, вероятно, гораздо больше по своим размерам. Немецкие племена, близко соседствовавшие с ними, потеснили их; переплыв через море, кимвры оттеснили гэлов и вскоре заняли восточный и южный берег Британии, а затем, будучи во многих искусствах

---

* Две нации, шотты и иры, не перестают спорить о том, кому из них принадлежат Фингал и Оссиан, но вот что странно: они не торопятся защитить свою точку зрения, издав лучшие песнопения Оссиана вместе с их оригинальными мелодиями. Ведь мелодию едва ли можно придумать, и самое строение песнопений, изданных на языках оригинала и с необходимыми примечаниями, не только подтвердило бы правоту той или другой стороны, но и лучше объяснило бы нам язык, музыку и поэзию гэлов, чем даже их Аристотель – Блэр[11]. Не только для природных любителей этих поэм гэльская антология подобного рода была бы классическим трудом и сохранила бы на долгие времена красоты древнего языка, но и для иностранца тут было бы много поучительного, и во всяком случае, такая книга была бы важна для истории человечества.

опытнее гэлов, и еще потому, что племена по обе стороны пролива были им родственными, не нашли для себя ничего более удобного, как заняться морским разбоем. Они, как кажется, были более диким народом, чем гэлы, и очень немногому научились от римлян, так что когда римляне покинули их страну, они оказались в таком беспомощном состоянии, пребывали в таком варварстве и разврате, что вынуждены были приглашать в страну то римлян, то – себе во вред – саксов, ища у них помощи. От этих помощников-немцев они порядком натерпелись. Целые орды приходили и опустошали землю огнем и мечом; ни людей они не щадили, ни посевов не жалели, страна пришла в запустение, и, наконец, мы видим, что бедных кимвров истребили или же они бежали в западный уголок Англии, в горы Уэльса, в Корнуолл, другие бежали в Бретань. Нет ничего сильнее ненависти кимвров к вероломным их друзьям саксам, ненависть эту они подогревали в себе веками, уже и после того, как были заперты в своих безжизненных горах. Они долго сохраняли независимость, сохраняли во всем характер языка, правления обычаи, интересное описание которых мы находим в уставах их королей и чиновников*, между тем их время прошло. Уэльс был покорен и объединен с Англией; и только язык кимвров сохранился до сих пор – в Уэльсе и в Бретани. Но сохранились лишь его неопределенные остатки; и хорошо, что язык этот остался в книгах**, потому что, как и все языки изгнанных со своих мест народов, он неизбежно должен погибнуть и погибнет прежде всего в Бретани. Согласно обычному ходу вещей, характер народа стирается постепенно: отпечаток снашивается, и его бросают в переплавку, – время обратит его в мертвую массу или очистит, придав новую четкость.

Самое замечательное, что осталось от кимвров, самое чудесное, что так воздействовало на воображение людей, – это король Артур и рыцари Круглого стола. Конечно, легенда о короле Артуре была записана очень поздно; лишь после крестовых походов она была приукрашена и превратилась в поэзию, в роман; первоначально же эта легенда – достояние кимвров, ибо король Артур царствовал в Корнуолле; в Корнуолле и в Уэльсе сотни мест названы его именем. Эти сказки получили свое развитие в Бретани, колонии кимвров, под воздействием романтического духа норманнов; затем, без конца разрастаясь, они распространились по Англии, Франции, Италии, Испании, Германии – во всей поэзии цивилизованных народов. Сюда присоединились и восточные сказки, а легенды должны были освятить и благословить все вместе взятое; так сложилась эта прекрасная процессия рыцарей, великанов,

---

* «История Великобритании» Шпренгеля. С. 379–392.

** В книгах Борлейза, Бюлле, Ллойда, Ростренена, Лебригана, в переводе Библии[12] и т.д. Еще не установлено, насколько изначальны сказания о короле Артуре и его свите.

с волшебником Мерлином (из Уэльса), с феями, драконами и искателями приключений, в течение долгих веков забавлявшая рыцарей и дам. Напрасно спрашивать, когда жил король Артур; исследовать же основу, историю, воздействие этих сказаний и поэтических творений у всех тех народов и во все те века, когда цвела эта поэзия, рассмотреть этот феномен истории человечества, опираясь на уже существующие превосходные работы, было бы славным приключением, и приятным и поучительным*.

II. Финны, летты, пруссы

Финская народность (сами они, называясь «суоми», не знают имени финнов, как одна из их ветвей не знает имени лаппов) еще и теперь распространена на крайнем севере Европы и по берегам Восточного моря вплоть до Азии; прежде она была еще более распространена, в том числе и дальше на юг. Кроме лаппов и финнов, в Европе к этой народности принадлежат ингры, эсты и ливы; родственны ей зыряне, пермяки, вогулы, вотяки, черемисы, мордвины, кондские остяки; к той же расе относятся и венгры, или мадьяры, если сравнивать языки**. Неизвестно, как далеко на юг жили в Норвегии и Швеции лаппы и финны, но ясно, что скандинавские немцы загоняли их все дальше на север, к тому северному побережью, где они живут еще и теперь. На берегах Восточного и Белого морей финские племена были, как видно, наиболее активны, здесь, помимо обмена товаров, они занимались и морским разбоем; в Пермии (иначе – Бьярмеланд) их идолу Юмале был посвящен целый храм, варварски украшенный; сюда по преимуществу и устремлялись северные немцы – искатели приключений, чтобы менять товар, грабить, собирать дань. Никогда финская народность не была достаточно зрелой, чтобы положить начало самостоятельной культуре, виною чему не неспособность, но неблагоприятное положение. Финны не были воинами, как немцы; еще и теперь, после целых

---

* «Трактат о происхождении романов в Европе» Томаса Уортона, предваряющий его «Историю английской поэзии» и переведенный в «Британском Музее» Эшенбурга (т. 3–5)[13], содержит небесполезное собрание материалов, но следует ложной системе; целое должно предстать совсем в ином свете. Материалов и данных достаточно и в «Bibliothèque des Romans» Перселя[14] и в новой большой серии того же названия, и в примечаниях англичан к Чосеру, Спенсеру, Шекспиру, в их археологических трудах, у Дюфреня, в примечаниях к старым историографам и т.д.; Шпренгель, если бы он написал краткую историю поэзии, привел бы весь этот хаос в порядок и все показал бы нам в весьма поучительном свете.

** См. «Сравнительные таблицы» Бюттнера, «Введение в универсальную историю» Гаттерера, «Всеобщую историю Севера» Шлёцера[15] и т.д. Книга, названная последней (ч. 31 «Всеобщей всемирной истории»), – ценное собрание собственных и чужих исследований о северных племенах, их древней истории; оно вызывает у нас желание, чтобы собраны были подобные работы Ире, Зума, Лагербринга и др.

веков угнетения, народные сказания и песни лаппов, финнов и эстов говорят о том, что это – кроткие народы. А поскольку, помимо всего прочего, отдельные племена никак не были связаны между собой и в большинстве своем лишены были всякого политического устройства, то под давлением других народов и могло произойти только то, что произошло, – лаппы были оттеснены в сторону Северного полюса, финны, ингры, эсты порабощены, а ливы почти поголовно истреблены. Судьба народов, живущих на берегах Восточного моря, – печальная страница в истории человечества.

Единственный народ во всей этой расе, оказавшийся в числе завоевателей, – это венгры, или мадьяры. По всей видимости, первоначально они жили в стране башкир, между Волгой и Яиком, а потом основали венгерское царство – между Черным морем и Волгой. Это царство распалось. Тогда венгры оказались под властью хазар и были разбиты на несколько частей печенегами. Одни основали царство мадьяров у персидской границы, другие семью ордами отправились в Европу и вели тут ожесточенные войны с болгарами. Когда болгары оттеснили их, император Арнульф призвал их на помощь в войне с моравами; теперь из Паннонии они ринулись в Моравию, Баварию, Северную Италию и везде оставляли после себя ужасающие разрушения; огнем и мечом опустошали они Тюрингию, Саксонию, Франконию, Гессен, Швабию, Эльзас вплоть до Франции, вновь внедрялись в Италию, получали позорную дань с немецкого императора, но, наконец, когда отчасти их уничтожила чума, а отчасти они потерпели тяжелые поражения в Саксонии, Швабии и Вестфалии, немецкая империя оказалась в безопасности перед ними, а сама Венгрия даже стала апостолическим королевством. Тут, между славян, немцев, валахов и других народностей, венгры составляют меньшую часть населения, так что через несколько веков, наверное, нельзя будет найти даже и самый их язык.

* * *

Происхождение литвы, куры и леттов, живущих на Восточном море, неизвестно, но, по всей вероятности, другие народы теснили их до тех пор, пока уже некуда было их теснить. Хотя язык их смешанный, у него есть особый характер, язык этот – отпрыск древнейшей матери, родом из дальних мест. Мирное племя леттов жило между немецкими, славянскими и финскими народами, оно не могло ни распространиться вширь, ни обрести более тонкие нравы, и, наконец, подобно своим соседям, пруссам, оно стало известно по тем насилиям, которые совершали над всеми прибрежными народами в этих местах и новообращенные поляки, и немецкий орден, и вообще все, кто оказывал

ему свою помощь*. Душа человеческая содрогается при виде крови, пролитой тут во время долгих варварских войн, в результате которых древние пруссы были почти полностью истреблены, куры и летты обращены в рабство, под гнетом которого они страдают до сих пор. Быть может, пройдут века, пока иго это будет снято с них, и тогда – в знак возмещения всех тех мерзостей, когда похищены были у этих народов и земля и свобода, – их научат, из человечности, пользоваться и наслаждаться более высокой свободой.

Наш взгляд останавливался на судьбах народов, изгнанных со своих мест, порабощенных, истребленных; теперь посмотрим на тех, что изгнали и поработили их.

III. Немецкие народы

Мы подходим к племени, отличающемуся ростом и телесной силой, предприимчивостью, смелостью и выносливостью на войне, героическим духом, способностью подчиняться приказу, следовать за вождями, куда бы они ни повели, и разделять покоренные земли между собой как добычу; тем самым это племя, благодаря своим обширным завоеваниям, благодаря тому строю, который всюду учреждался им по немецкому образцу, более всех других народов способствовало страданию и счастью этой части света. Начиная с Черного моря и по всей Европе немцы наводили ужас; от Волги до Восточного моря простиралась некогда империя готов; в разные времена разные немецкие племена жили и основывали свои царства во Фракии, Мезии, Паннонии, Италии, Галлии, Испании, даже в Африке; они, а не кто другой, сгоняли с насиженных мест римлян, сарацин, гэлов, кимвров, лаппов, финнов, эстов, славян, пруссов, куров и друг друга, они основали все царства, которые существуют в Европе поныне, они учредили существующие сословия, утвердили их законы. Не раз брали они Рим, завоевывали и грабили его, не раз осаждали Константинополь и воцарялись даже там, они основали христианскую империю в Иерусалиме; еще и теперь управляют они всеми четырьмя частями света – или царят в них государи, которых посадили они на престолы Европы, или сами троны учреждены были ими, или же они владеют землями, или занимаются в них ремеслами и

* Следовало бы пожелать, чтобы на основании работ и собраний Гарткноха, Преториуса, Лилиенталя[16] и других была составлена краткая история пруссов, а может быть, она уже существует и просто не известна мне. В этом уголке Земли сделано много для истории и этого и соседних народов, хотя без поддержки с чьей-либо стороны имя Байера скажет нам все. Исследования заслуживает прежде всего древний прусский строй, какой существовал на берегах Вислы, строй, которому начало положил Видевут; тут правил верховный друид, называвшийся криве. Как историки Лифляндии выдвинулись Арндт, Гупель[17] и др.

торгуют. Но нет следствия без причины, а потому и у этой небывалой цепочки следствий должна быть своя причина.

1. *Она едва ли заключена только в самом характере народа: и физическое и политическое положение нации, а помимо этого множество обстоятельств, каких не было в совокупности ни у одного северного народа, способствовали тому, чтобы совершенные им деяния были такими, а не иными.* Высокий рост, сильное тело, красота и стройность, наводящие ужас голубые глаза – все это одухотворено верностью и воздержностью: немцы послушны старшим, дерзки в нападении, терпеливы в опасностях, а потому для всех народов, особенно для выродившихся римлян, они были или приятели, или страшные враги. Издавна немцы служили в римском войске, для личной охраны императоров не найти было лучших воинов; и когда империя, окруженная со всех сторон, была беспомощна перед лицом врагов, не иные, но именно немецкие войска сражались за жалованье со всяким врагом, даже со своими братьями. Эта наемная служба продолжалась в течение веков, а потому многие народы не просто усвоили военную науку и дисциплину, вполне чуждую другим варварам, но, по примеру римлян и прекрасно зная их слабости, они почувствовали вкус к завоеваниям и походам. Если этот Рим, столь выродившийся теперь, мог покорять народы, мог стать властелином мира, то почему же не покорять и нам, – ведь и сам Рим ни на что не пригоден, не будь наших сильных рук? Итак, если отвлечься от набегов тевтонцев и кимвров, если начать считать с находчивых и предприимчивых Ариовиста, Марбуда и Германа, то первый удар по римским владениям нанесен был пограничными народами, теми вождями, которые прекрасно знали военные приемы римлян и нередко служили в римском войске, то есть превосходно знали слабые стороны Рима, а впоследствии и Константинополя. Некоторые народы были в то время даже союзниками Рима, но сочли лучшим оставить себе то, что спасли они для Рима. Соседство слабого богача и сильного бедняка, без которого первый, богач, никак не может обойтись, необходимо определяет превосходство и господство второго над первым: так сами римляне отдали власть в руки немцев, которые находились в самом центре Европы и которых они весьма скоро вынуждены были принять в свое государство и в свое войско.

2. *Длительное сопротивление многих немецких народов Риму необходимо усилило их, привило им ненависть к заклятому врагу, который победами над ними гордился более, чем какими-либо другими.* И на Рейне, и на Дунае римляне были опасностью для немцев; как бы ни помогали немцы Риму в войнах против галлов и других народов, они не желали служить Риму как его рабы. Вот откуда пошли долгие войны Рима с немцами, начиная со времен Августа, – чем слабее становилась империя, тем больше вырождались эти войны в грабительские набеги, и закончиться все могло лишь поражением Рима. Маркоманский и швабский союз многих пле-

мен против Рима, воинская повинность, которая распространялась и на самые отдаленные племена и которая всякого мужчину превращала в воина, – эти и многие другие обычаи всему народу придали имя и строй *германцев,* или *алеманнов*[18], то есть союзных вооруженных народов, – варварский пролог той системы, которая, спустя несколько столетий, будет распространена на всю Европу*.

3. *При таком постоянном военном строе у немцев непременно должно было недоставать иных добродетелей, которыми они весьма охотно жертвовали в пользу главной склонности или главной потребности – войны.* Земледелием занимались они не особенно усердно и, ежегодно перераспределяя наделы, даже мешали тому, чтобы кто-либо чувствовал удовольствие от владения собственностью и от лучшей обработки земли[20]. Некоторые из племен, особенно восточные, были и надолго остались татарскими народами – народами охотников и пастухов. Грубая идея общинных выпасов и общей собственности была излюбленной идеей этих кочевников, и они даже вносили ее в строй завоеванных ими земель и государств. Итак, Германия на долгое время оставалась лесом с лугами и болотами, где рядом с немцами – этими людьми-героями, жили лось и тур, давным-давно истребленные немецкие звери-герои; наук немецкие племена не ведали, а с немногими ремеслами, без которых нельзя было обходиться, справлялись женщины и рабы – по большей части похищенные. Народам с таким складом характера было приятно покидать свои пустынные леса, отправляться в более мягкие страны или служить за жалованье, – их гнали месть, нищета, скука, компания или еще какой-нибудь повод. Поэтому многие из племен пребывали в вечном непокое, враждуя друг с другом или вступая друг с другом в союз. Никакой народ (за исключением кротких племен земледельцев) не переселялся так часто, как эти немецкие племена; и если одно племя пускалось в путь, то обычно много других присоединялось к нему, так что кучка и горстка обращалась в войско. У многих немецких племен – у вандалов, свевов – имя – от путешествий, скитаний; так на суше, так и на море. Жизнь довольно-таки татарская.

* * *

Разбирая древнейшую историю немцев, особо следует остерегаться одного – пристрастия к какому-либо из излюбленных мест нашего современного государства: древние немцы вообще не имеют отношения к этому государству; они плыли с иным потоком народов. На Западе

---

* Подробно описывать немецкий строй, различный в разные времена, в разных областях и у разных народностей, было бы сейчас бесполезным занятием, потому что все посеянное ими в истории народов взойдет очень скоро. После всех многочисленных комментариев к Тациту, Мёзеру, в применении к его «Истории Оснабрюка»[19], удалось такое описание немецкого строя, которое кажется идеализирующим в своей гармонии и притом верным во всех деталях. См. первую часть «Истории Оснабрюка» и «Патриотические фантазии» Мёзера.

они наседали на бельгов и гэлов, пока не оказались в центре чуждых племен; на Востоке они дошли до Восточного моря, и если они не могли заниматься там разбоем и не могли переплыть его, а на песчаных берегах не находили средств пропитания, то, конечно, при первом удобном случае они двинулись на юг, на не занятые никем земли. Многие нации, переселявшиеся в Римскую империю, поначалу жили у Восточного моря, – но это были более варварские народы, и их расселение на территории империи не ускоряло гибели ее. Причина падения находилась куда дальше, на Востоке – в азиатской Монголии; там западных гуннов теснили игуры и другие народы: гунны перешли через Волгу, встретили у Дона аланов, набрели на огромное царство готов у Черного моря, и теперь южные немецкие народы, западные и восточные готы, вандалы, аланы, свевы пришли в движение, – за ними шли по пятам гунны. Опять же иначе обстояло дело с саксами, франками, бургундами и герулами, – последние из названных давно уже жили на римское жалованье, – как герои, продающие свою кровь.

Но нужно остерегаться думать, будто у всех этих народов были одинаковые нравы и одинаковая культура; противоположное доказывается тем, насколько иначе поступали они с покоренными народами. Дикие саксы в Британии, аланы и свевы, совершавшие свои набеги в Испании, поступали одним образом, а остготы в Италии и бургунды в Галлии – совсем иначе. Те племена, которые долго жили на границах Римской империи, рядом с римскими колониями и торговыми поселениями, на западе или на юге, были более мягкими, более податливыми, чем народы, вышедшие из северных лесов и пришедшие с пустынных берегов морей; если бы всякая немецкая орда стала претендовать на мифологию скандинавских готов, это было бы неслыханно! Где только ни побывали эти готы, на каких только путях ни утончили они свою мифологию! А первобытному немцу со всем его мужеством не остается, быть может, ничего, кроме Теута (или Туисто), Манна, Херты и Водана[21], – кроме отца, героя, земли и вождя.

Но, конечно, по крайней мере как братья, мы можем радоваться тому, что есть такое сокровище немецкой мифологии, пусть даже и столь удаленное от нас, – сокровище, которое сохранилось или сложилось на конце обитаемого мира, в Исландии, и было, очевидно, приумножено легендами норманнов и христианских ученых, – я имею в виду северную Эдду. Как собрание свидетельств языка и мышления одного из немецких племен, она, конечно же, и для нас в высшей степени интересна. В зависимости от того, как начать исследование, сравнивать мифологию этих северных народов с греческой – дело поучительное или праздное; но ждать, что среди скальдов появится Гомер или Оссиан, – напрасно. Разве земля повсюду растит одни и те же плоды? И разве наиболее благородные плоды – не следствия такого положения народов и времен, какое складывается очень долго и случается очень редко? Итак, будем ценить в этих поэмах и сказаниях то, что мы находим в них, – своеобразие

необработанного, дерзкого поэтического творчества, сильные, чистые чувства, верность, – и очень искусное пользование языком, который в своем ядре есть собственный наш язык; спасибо каждому, кто сохранил и сообщил нам эти национальные сокровища, кто способствовал их всеобщему и лучшему использованию. Среди тех, кто славно потрудился на пользу им в старое и новое время*, я назову с благодарностью и славой имя Зума[23], исландца, много сделавшего и для истории человечества. Благодаря ему это северное сияние разгорелось перед нами в новом блеске; Зум и другие пытаются ввести его в наш кругозор и научить правильнее пользоваться этим сокровищем. К сожалению, мы, немцы, почти не можем похвалиться древними сокровищами нашего языка**: песни бардов потеряны, и древний дуб героического языка, помимо самого немногого, украшен совсем юной порослью.

Приняв христианство, немецкие народы сражались за него, как за своих королей и свое дворянство, и эту верность присяге испытали на своей шкуре – помимо немецких народов алеманнов, тюрингов, баварцев, саксов – несчастные славяне, пруссы, куры, ливы и эсты. Но слава немцев в том, что и против варваров-захватчиков встали они живой стеною, и об эту стену разбилась безумная ярость гуннов, венгров, монголов и турок. Они, а не кто иной, не только завоевали, возделали и переустроили по своему образцу бóльшую часть Европы, но и охраняли и защищали ее; иначе в Европе не могло бы взрасти и то, что пошло в ней в рост. Положение немцев среди остальных народов Европы, их военный союз, их племенной характер – это столпы, на которых утверждены культура, свобода и независимость Европы; не были ли они по своему политическому положению и одной из причин, почему эта культура развивалась медленно, – но, верно, об этом даст нам отчет незапятнанный свидетель – История.

IV. Славянские народы

Славянские народы занимают на Земле больше места, чем в истории, и одна из причин этого – что жили они дальше от римлян. Мы прежде всего встречаем их на Дону, потом на Дунае, на Дону – среди готов, на Дунае – среди гуннов и болгар: вместе с ними они немало потрепали Римскую империю, обычно увлекаемые в путь другими народами, которым они помогали или служили. Несмотря на совершенные ими подвиги, славяне никогда не были народом воинственным, искателями приключений, как немцы; скорее можно сказать, что они следовали за

---

* Сэмунд, Снорро, Резениус, Ворм, Торфеус, Стефаниус, Бартолин, Кейслер, Ире, Гёранссон, Торкелин, Эрихсен, Магнеусы, Анхерсен, Эггерс и другие[22].

** В «Тезаурусе» Шильтера[24] собраны почти все наши богатства – и это очень немного.

немцами и занимали территории, оставленные теми, пока огромные пространства не оказались в их руках– от Дона до Эльбы, от Восточного до Адриатическоге моря. По эту сторону Карпат их поселения простирались от Люнебурга через Мекленбург, Померанию, Бранденбург, Саксонию, Лаусниц[25], Богемию, Моравию, Силезию, Польшу, Россию, а по ту сторону Карпат они уже издавна жили в Молдавии и Валахии и со временем все больше распространяли свои владения, чему способствовало немало обстоятельств, и наконец, император Ираклий поселил их в Далмации, и они основали царства Славонию, Боснию, Сербию, Далмацию. И в Паннонии их было тоже очень много; из Фриуля они заняли юго-восточную оконечность Германии, так что их область замыкалась Штейермарком, Каринтией, Крайной, – чудовищное пространство, какое населяет в Европе одна-единственная нация, по большей части еще и в наши дни. Повсюду славяне оседали на землях, оставленных другими народами, – торговцы, земледельцы и пастухи, они обрабатывали землю и пользовались ею; тем самым, после всех опустошений, что предшествовали их поселению, после всех походов и нашествий, их спокойное, бесшумное существование было благодатным для земель, на которых они селились. Они любили земледелие, любили разводить скот и выращивать хлеб, знали многие домашние ремесла и повсюду открывали полезную торговлю изделиями своей страны, произведениями своего искусства. По всему берегу Восточного моря, начиная от Любека, они построили морские города; Винета[26] на острове Рюген была среди этих городов славянским Амстердамом; они вступали в союз и с пруссами, курами и леттами, о чем свидетельствуют языки этих народов. На Днепре они построили Киев, на Волхове – Новгород, и оба эти города вскоре стали цветущими торговыми городами, соединявшими Черное море с Восточным и переправлявшими товары Востока в Северную и Западную Европу. В Германии они занимались добычей руды, умели плавить металл, изливать его в формы, они варили соль, изготовляли полотно, варили мед, сажали плодовые деревья и, как того требовал их характер, вели веселую, музыкальную жизнь. Они были милосердны, гостеприимны до расточительства, любили сельскую свободу, но были послушны и покорны, враги разбоя и грабежей. Все это не помогло им защититься от порабощения, а, напротив, способствовало их порабощению. Ибо коль скоро они не стремились к господству над целым светом, не имели воинственных наследственных государей и готовы были лучше платить налог, только чтобы землю их оставили в покое, то многие народы, а больше всего немцы, совершили в отношении их великий грех.

Уже при Карле Великом начались завоевательные войны, очевидной причиной которых были торговые выгоды, хотя христианская религия и использовалась как предлог; конечно же, воинственным франкам было очень кстати обращаться как с рабами с нацией трудо-

любивой, занятой земледелием и торговлей, – вместо того чтобы самим учиться всем этим ремеслам. Начатое франками довершили саксы; в целой провинции славяне были истреблены или закрепощены, их земли были поделены между епископами и дворянами. Морскую торговлю разрушили северные германцы; Винета претерпела печальный конец – удар был нанесен датчанами, а остатки славян в Германии напоминают теперь то, что сделали испанцы с обитателями Перу. Неудивительно ли, если бы после стольких столетий порабощения эта нация, до крайности ожесточенная против своих христианских господ и грабителей, не переменила свой мягкий характер на коварную и жестокую леность раба? И однако, повсюду, и особенно в тех странах, где славяне пользуются известной свободой, можно распознать былые черты их характера. Несчастье этого народа заключалось в том, что при своей любви к покою и домашнему усердию он не мог установить долговечного военного строя, хотя у него и не было недостатка в мужестве в минуту бурного сопротивления. Несчастье славян – в том, что по положению среди народов земли они оказались, с одной стороны, в такой близости к немцам, а с другой стороны, тылы их были открыты для набегов восточных татар, от которых, даже от монголов, они много настрадались, много натерпелись. Но колесо все переменяющего времени вращается неудержимо, и поскольку славянские нации по большей части населяют самые прекрасные земли Европы, то, когда все эти земли будут возделаны, а иного и представить себе нельзя, потому что законодательство и политика Европы со временем будут все больше поддерживать спокойное трудолюбие и мирные отношения между народами и даже не смогут поступать иначе, то и славянские народы, столь глубоко павшие, некогда столь трудолюбивые и счастливые, пробудятся, наконец, от своего долгого тяжелого сна, сбросят с себя цепи рабства, станут возделывать принадлежащие им прекрасные области земли – от Адриатического моря до Карпат и от Дона до Мульды – и отпразднуют на них свои древние торжества спокойного трудолюбия и торговли.

Поскольку в разных странах созданы полезные, превосходные труды по истории славянского народа*, то остается пожелать, чтобы их пробелы были восполнены из других источников, чтобы исчезающие остатки славянских обычаев, песен и сказаний были собраны и чтобы, наконец, была создана целостная история этого племени, чего настоятельно требует общая картина человечества.

* Фриш, Попович, Мюллер, Иордан, Штриттер, Геркен, Мёзен, Антон, Добнер, Таубе, Фортис, Зульцер, Россиньоль, Добровский, Фойгт, Пельцель и др.[27]

V. Чужие народы в Европе

Все рассмотренные выше нации мы можем считать коренными народностями Европы, за исключением одних венгров, – все они с незапамятных времен населяют эту часть света. Если даже они и жили некогда в Азии, как то позволяет предположить родство разных языков, то исследование этого вопроса все же лежит за пределами нашей истории, равно как изучение путей, которыми прошли все эти народы со времен Ноева ковчега.

Но помимо названных есть еще немало чужих для Европы народов, которые или играли известную роль, способствуя счастью и несчастью Европы в прошлом, или даже играют такую роль до сих пор.

К этим народам относятся гунны, которые при царе Аттиле пересекли, поработили и опустошили огромные пространства Земли; по всей вероятности, а также и по описанию Аммиана, это был народ монгольского племени. Если бы великий Аттила не уступил мольбам Рима и превратил столицу мира в столицу своего царства, сколь иной, сколь ужасной была бы вся история Европы! А теперь его разбитые народы вернулись в свои степи и, слава богу, не оставили после себя в Европе Священную Римскую империю калмыцкого народа!

После гуннов ужасную роль в Восточной Европе сыграли болгары, но, наконец, как и венгров, их удалось обуздать, они приняли христианство, а в конце концов даже затерялись среди других народов, усвоив язык славян. Распалось и то новое царство, которое они основали вместе с валахами, провозгласив его на горе Хемус; они влились в огромную смешанную массу народов в этой дако-иллирийско-фракийской области: хотя характер народа ничем и не отличается, одна из провинций турецкой империи еще носит имя болгар.

Мы минуем хазар, авар, печенегов и многие другие народы, которые доставляли столько забот и Восточной и даже Западной Римской империи, готам, славянам и другим народам, но которые или вернулись в Азию, не оставив после себя ничего долговечного, или же растворились в массе других народов.

Тем менее позволено нам заниматься остатками прежних иллирийцев, фракийцев и македонцев – албанцами, влахами, арнаутами. Они – не чужеземцы, а древние племена Европы; некогда они были основными нациями, а теперь – перемешанные развалины, оставшиеся от разных народов и языков.

Совершенно чужды нам те вторые гунны, которые опустошали Европу при Чингисхане и его преемниках. Первый завоеватель, Чингис, дошел до Днепра, вдруг передумал и повернул назад; преемник его огнем и мечом пробил себе путь до самой Германии, но был отброшен. Внук Чингисхана покорил Россию, которая полтора века платила монголам дань; наконец, Россия сбросила монгольское иго и впоследствии сама

стала властно управлять этими народами. Не раз хищные волки азиатских нагорий, монголы, опустошали землю; но ни разу не удалось им превратить Европу в свою степь. Они даже и не хотели этого, жаждали лишь добычи.

* * *

Итак, остается говорить о народах, которые долгое или короткое время имели владения в этой части земли или жили вместе с другими народами. Эти народы таковы.

1. Сначала *арабы.* Не только этот народ нанес первый тяжелый удар Восточной империи в трех частях света, но поскольку арабы 770 лет владели Испанией, долгое время целиком или отчасти царили на Сицилии, в Сардинии, на Корсике и в Неаполе, и владения свои теряли, как правило, лишь постепенно, по кусочкам, то, конечно, во всем, в языке и образе мысли, в заведенных ими обычаях и учреждениях, от них остались следы, которые или до сих пор окончательно не стерты, или же сильно воздействовали на их тогдашних соседей. Во многих местах Европы, которая пребывала тогда в варварстве, ими был зажжен светоч знания, и во времена крестовых походов встреча с их восточными братьями была благодатной для Европы. А поскольку многие из них приняли христианство, то они органично вошли в состав Европы – в Испании, на Сицилии и везде, где они жили.

2. *Турки,* народ из Туркестана, все еще остаются чужими в Европе, хотя уже более трехсот лет они присутствуют в этой части света. Они положили конец Восточной Римской империи, которая свыше тысячи лет была бременем для самой себя и для земли, тем самым они без всякого ведома и желания оттеснили искусства и ремесла на запад Европы. Нападая на европейские державы, они в течение столетий вынуждали государства хранить бдительность и мужество; они препятствовали любому единовластию в этих землях, – малое добро против несравненно большего зла, – ведь прекраснейшие земли Европы были превращены ими в пустыню, а некогда мудрейшие народы – греческие племена – в ненадежных рабов, в развращенных варваров. Как много творений искусства было разрушено невежественными турками! Сколь многое погибло, чего никогда уж не восстановишь. Их империя – огромная тюрьма для европейцев, которые живут здесь; придет время, и она рухнет. Кому нужны эти чужеземцы в Европе, кому нужны эти азиаты, которые и спустя столько веков все еще желают оставаться варварами?

3. *Иудеев* мы рассмотрим сейчас только как паразитирующее растение, которое присосалось почти ко всем европейским народам и более или менее питается соками каждого из них. После гибели Древнего Рима их оставалось в Европе сравнительно немного, однако во вре-

мена арабских гонений они стали прибывать сюда целыми толпами и расселились между нациями. Что они будто бы принесли с собой в Европу проказу, вовсе не вероятно; куда хуже то, что в мрачные века варварства они стали в Европе низменными орудиями ростовщичества, стали менялами, посредниками в торговле, прислужниками империи, что ради собственной выгоды они поддерживали в европейцах варварское невежество и гордыню во всех торговых делах. С ними обходились жестоко, насильно вымогали у них все, что они накопили скупостью и обманом или же усердием, умом, порядком; но поскольку они привыкли к подобным вымогательствам и вынуждены были считаться с ними, то сами хитрили и вымогали тем больше. Однако без них не могли обходиться в то время, как не могут многие страны и теперь; равно как нельзя отрицать, что благодаря им была сохранена еврейская литература, что во времена мрака добытые арабами науки, медицина и философия распространялись также и евреями и что вообще было создано немало хорошего, что могло быть создано только руками иудеев. Придет время, когда никто уже не будет спрашивать в Европе, иудей ты или христианин, ибо и иудей тоже будет жить по европейским законам и способствовать процветанию государства. Лишь варварское устройство государства могло помешать ему жить так до сих пор и могло обращать его способности себе во вред.

4. Я опускаю *армян:* для меня они в Европе – просто путешественники, зато я вижу почти во всех странах Европы многочисленный, чужеродный, языческий, подпольный народец – цыган. Откуда они? Откуда взялись эти семь или восемь сот тысяч людей, сколько насчитывает новейший их историк?* Презренная индийская каста, по своему рождению далекая от всего божественного, пристойного и цивилизованного и по прошествии стольких веков верная своему унижению, – для чего пригодна она в Европе, если не для воинской дисциплины, которая самым скорым образом приводит в порядок все на свете?

VI. Общие рассуждения и следствия

Вот такова, примерно, картина народностей Европы; какая пестрота, которая становится еще путанее, если прослеживать ближе ко временам, доступным нам. Такого не бывало в Японии, Китае, Индии, вообще ни в одной стране, географическое положение или государственный строй которой изолировал ее от остальных. А ведь в Европе за Альпами нет большого моря, так что можно было бы подумать, что народы будут примыкать здесь друг к другу плотно, словно стены. Взгляд, брошенный на географическое положение и основные черты этой части света, на

* «Исторический опыт о цыганах» Грелльмана, 1787; «Новый урожай знания языков» Рюдигера, 1782[28].

характер наций и связанные с ними исторические события, дает нам, однако, совсем иной ответ.

1. Посмотрите-ка к Востоку, вправо, – вы увидите возвышенность чудовищных размеров, – это так называемая азиатская Татария; если будете следить за всей путаницей европейского Средневековья, то можете вздохнуть вместе с Тристрамом: «Вот откуда пошли все наши несчастья!»[29]. Я не могу исследовать, все ли северные европейские народы и насколько долго жили там; ведь некогда вся Северная Европа была ничем не лучше Сибири и Монголии, этой прародительницы монгольских орд; и здесь и там кочевым народам было присуще, было наследственно свойственно медленно, лениво передвигаться с места на место, управляться ханами. А если, сверх всего этого, Европа к северу от Альп, очевидно, представляет собою опустившуюся плоскую равнину, которая простирается от той самой населенной народами татарской возвышенности на Запад вплоть до океана, следовательно, представляет собою равнину, на которую должны были низвергаться, изгоняя отсюда других, находящиеся ближе к Западу орды, как только одни варварские орды начинали теснить другие, то тем самым длительное татарское состояние Европы было, так сказать, задано географически. Вот такая неприятная, на наш взгляд, картина заполняет на целую тысячу лет и долее того всю европейскую историю, и ни одно царство и ни один народ не могут остановиться, то ли потому, что сами они привыкли странствовать, то ли потому, что другие давят на них. И поскольку совершенно невозможно отрицать, что в Старом Свете великие азиатские горы с их европейскими отрогами чудесным образом разделяют климат и характер севера и юга, то к северу от Альп мы, что касается нашего европейского отечества, можем утешиться лишь тем, что по нравам и жизненному укладу своему мы принадлежим к продолженной в сторону Европы, а не просто к изначальной азиатской Татарии.

2. Европа, особенно по сравнению с северной Азией, – это *страна с более мягким климатом, страна с реками, побережьями, мысами, бухтами.* Уже благодаря этому судьба европейских народов была решена благоприятным для них образом. У Азовского и у Черного морей народы находились вблизи от греческих колоний, от богатейших центров торговли тогдашнего мира; все народы, которые останавливались в своем пути здесь или даже основывали здесь царства, знакомились с разными народами, приобретали даже известные знания наук и искусств. Но в первую очередь для северных обитателей Европы Восточное море послужило тем, чем для Южной Европы было Средиземное море. Прусское побережье уже благодаря торговле янтарем стало известно грекам и римлянам; какая бы народность ни жила на этих берегах, к какому бы племени она ни принадлежала, здесь всегда, больше или меньше, занимались торговлей, а эта торговля вскоре связывалась с черноморскими торговыми путями и простиралась даже до

Белого моря; тем самым между Южной Азией и Восточной Европой, между азиатским и европейским Севером создавалась некая *общность народов,* к которой причастны были и совсем нецивилизованные народности*. Скандинавские берега, побережье Северного моря вскоре стали. полниться купцами, пиратами, путешественниками, искателями приключений, которые готовы были плыть к любым берегам, которые достигали всех европейских стран и морей, которые совершали в своей жизни удивительные вещи. Бельги соединяли Галлию и Британию, и даже Средиземное море не миновали варварские походы: варвары совершали паломничество в Рим, они служили и торговали в Константинополе. Благодаря всему этому, особенно когда пришло время великого переселения народов, в этой малой части света были заложены основы великого союза народов, ради которого, помимо их ведома, потрудились уже и римляне-завоеватели, – союз такой едва ли и мог осуществиться где-либо помимо Европы. Ни в одной части света народы не перемешались так между собою, как в Европе, ни в одной они не переменились так сильно, переменив место жительства, а вместе с тем и образ жизни, нравы и обычаи. Жителям многих стран было бы теперь трудно сказать, особенно отдельным семьям и лицам, к какому роду, к какому племени они принадлежат, происходят ли они от готов, мавров, евреев, карфагенян, римлян, происходят ли они от гэлов, кимвров, бургундов, франков, норманнов, саксов, славян, финнов, иллирийцев и в каком порядке смешивалась кровь у их предков. Тысяча причин размыла и изменила на протяжении веков прежний племенной состав многих европейских наций, а без этого слияния едва ли мог бы пробудиться к жизни общий дух Европы.

3. *Что теперь наиболее древних обитателей этой части света мы находим лишь в горах или на самых крайних оконечностях материка, что они оттеснены туда* – это естественнонаучный факт, параллели к которому можно отыскать во всех уголках земли, включая острова Азиатского океана. На многих таких островах особое и, как правило, более грубое племя народов населяет горы – по всей видимости, это древнейшее население страны, которое вынуждено было уступить юным и дерзким пришельцам; разве могло быть иначе в Европе, где народы более чем где-либо теснили и гнали друг друга? Но длинные ряды названий племен сводятся к немногим основным и главным, и, что наиболее странно, в разных областях мы находим одни и те же народы, живущие по соседству, как будто они следовали друг за другом. Так, кимвры шли за гэлами, немцы – за кимврами и гэлами, славяне – за немцами, так занимали они свои страны. Как слои почвы, слои народов следуют в нашей части света одни за другими, часто смешиваясь, но всегда так, что их первоначальное положение можно еще распознать. Исследователям обычаев народов, их

* Весьма полезные материалы – в «Истории немецкой торговли» Фишера. Т. I.

языков следует поторопиться, чтобы не потерять время, пока слои еще различаются; ибо все в Европе склоняется к тому, чтобы национальные характеры постепенно стирались. Но только историк человечества должен остерегаться одного: ни одно племя людей не должно пользоваться его преимущественной любовью, чтобы не были урезаны за счет того одного другие племена, обойденные славой и счастьем по своему положению и историческим обстоятельствам. И от славян учился немец; кимвры и латыши могли бы, наверное, стать греками, если бы положение их среди других народов было иным. Мы можем быть весьма довольными тем, что именно народы, отличавшиеся сильным, красивым, благородным телосложением, целомудренными нравами, здравым рассуждением и честною душой, – немцы, – захватили римский мир, а не гунны и не болгары; но считать по этому самому немцев народом, избранным Богом для Европы, народом, которому, по причине природного благородства, принадлежит целый мир и которому, ради такого его преимущества, должны по-рабски служить другие народы, – это было бы неблагородной гордыней варвара. Варвар царит, образованный завоеватель несет культуру.

4. *Ни один народ в Европе не достиг культуры сам по себе;* напротив, каждый стремился держаться своих прежних грубых нравов, насколько это было возможно, чему способствовал и плохой, жестокий климат, и необходимость дикого военного уклада всей жизни. Ни один европейский народ не знал, не изобрел собственных букв; и испанские, и северные рунические письмена берут начало в письменности других народов; вся культура Северной, Западной и Восточной Европы – это растение, выросшее из римско-греческо-арабского семени. Много времени потребовалось этому растению, прежде чем народ мог прорасти на этой куда как суровой почве, пока он принес первые, еще очень кислые плоды; но даже и для этого потребовалось странное средство – *чужеземная религия,* – и только тогда, путем *духовного завоевания,* было достигнуто то, чего не смогли достичь римляне-завоеватели. Итак, прежде всего нам следует рассмотреть это новое средство культуры, цель которого была огромна, а именно нужно было все народы образовать и сложить в один-единственный народ, счастливый в современном и в будущем мире; и это средство нигде не действовало столь сильно, как в Европе.

Он видит: пышно знак взнесен, который
Льет упований и надежды свет,
Что тысяч душ притягивает хоры
И тысячам сердец дает ответ,
Что смерти сокрушает приговоры,
На стольких вьется знаменах побед!
Отрадный ток по членам протекает.
Он видит *крест* и взором поникает[30].

Книга семнадцатая

За семьдесят лет до падения иудейского государства в государстве этом родился человек, произведший неожиданный переворот[1] и в царстве мыслей людских, и в их обычаях, и в жизненном укладе. Этот человек был Иисус. Родившись в бедности, – хотя род свой он вел от древнего царского дома, – в самой некультурной части страны, вдали от книжной мудрости этой дошедшей до крайней степени упадка нации, он бóльшую часть своей короткой жизни прожил тихо и незаметно, а затем, подвигнутый небесным видением на реке Иордан, собрал вокруг себя двенадцать учеников – людей того же сословия, что и он сам, прошел вместе с ними значительную часть Иудеи, а потом разослал их во все стороны возвещать близящееся новое царство. Это царство, возвещенное им, сам он называл царством божиим, царством небесным, войти в которое могут только избранные, вступить в которое звал он людей, призывая их к чистым добродетелям духа и души, не к исполнению внешних обязанностей и обрядов. Самую подлинную гуманность содержат в себе те немногие речи, которые остались от него; гуманность доказывал он всей своей жизнью и запечатлел своей смертью; так, и самого себя он любил называть «сыном человеческим»[2]. Естественным следствием того положения, в котором он находился, было как то, что в своем народе он нашел немало приверженцев, особенно среди нищих и угнетенных, так и то, что он очень скоро был убран с пути теми, кто угнетал народ с видом ханжеского благочестия, так что мы не можем даже точно назвать время, когда он выступил открыто.

Что же такое было это грядущее царство небесное, которое провозвещал Иисус, чаяние которого влагал он в сердца людей и которое сам стремился приблизить? Всякая речь, всякое деяние, совершенное им, показывают, что это царство не было властью земной, – таково было и последнее ясное исповедание им своей веры перед судьею [3]. Духовно спасая свой род, он хотел воспитать людей божиих. которые всегда, при каком бы законе они ни жили, из чистого принципа споспешествовали бы благу других и, даже претерпевая муки, царили бы в царстве истины и доброты. Что некоторое намерение подобного рода только и может

быть целью Провидения, заботящегося о нашем роде человеческом, целью, достижению которой только и могут способствовать все мудрые и добрые люди на земле, чем чище мысли их и стремления, – это само по себе ясно; ибо какой же иной идеал человеческого совершенства и счастья может быть у человека на этой земле, если не эта деятельная во всем чистая гуманность?

Почтительно склоняюсь я перед тобою, перед благородным ликом твоим, о глава, о родоначальник царства столь всеобъемлющего и долговечного, царства столь великих целей, столь простых и живых начал, столь действенных побудительных причин, что даже сфера земной жизни казалась слишком узкой. Нигде во всей истории я не встречаю больше подобного переворота, который бы был подготовлен в краткое время, столь незаметно, который столь слабыми орудиями и столь неожиданным образом был бы распространен и возделан по всей земле – во всем добром и злом, как этот переворот, доведенный до всех народов не под именем твоей религии, *твоей веры,* то есть живого, направленного на благо всех людей твоего замысла, но, по большей части, под именем веры *в тебя,* то есть в виде бездумного почитания твоего лика и твоего креста. Твой ясный ум все это предвидел, и называть твое имя всякий раз, когда перед нами – мутное ответвление от чистого источника, значило бы профанировать твое имя. И насколько это возможно, мы не будем называть твоего имени; пусть твой кроткий облик останется в одиночестве у истоков всей истории, которая берет с тебя свое начало.

I. Происхождение христианства и принципов, заложенных в нем

Так странно видеть, что переворот, затронувший не одну часть света, вышел из всеми презираемой Иудеи, и однако, при ближайшем рассмотрении, для этого тоже можно отыскать исторические причины. А именно: переворот, которому начало положила Иудея, совершился в духе, а как бы презрительно ни отзывались греки и римляне об иудеях, единственно они из всех народов Азии и Европы обладали древними сочинениями, на которых основывался их строй и, опираясь на которые, следуя этому строю, они развивали особую науку и литературу. Ни у греков, ни у римлян не было подобного свода религиозных и политических устроений, который вместе с древнейшими письменными генеалогическими свидетельствами был бы доверен особому колену[5] и хранился бы им с суеверным почитанием. Из этих давно уже устаревших букв не мог не выступить со временем некий более утонченный смысл, к которому иудеи приучились, рассеиваясь, как то нередко случалось с ними, среди чужих народов. В каноне их священных писаний находились и песнопения, и моральные изречения, и возвышенные речи,

которые, будучи написаны в самое разное время и по самым различным поводам, срослись в одно единое собрание – его вскоре начали рассматривать как последовательную систему, выводя из нее один общий смысл. Пророки народа, эти утвержденные хранители закона страны, рисовали народу картину того, каким должен был быть народ и каким он не был на самом деле; каждый оставался в пределах своего умонастроения, и, поучая и воодушевляя, предостерегая и утешая, внушая патриотические надежды, каждый завещал потомству плоды своего ума и сердца, рассеивал семена новых идей, которые всякий мог взращивать по своему усмотрению. Из всех этих идей постепенно и незаметно сложилась целая система чаяний, это были надежды на царя, который спасет свой пребывающий в упадке и рабстве народ, все перестроит заново и начнет на земле, превзойдя всех самых величайших царей, новый золотой век. Это были теократические ожидания, если судить по языку пророков; все приметы Мессии собраны были воедино, и так вырос живой идеальный образ, который стал подлинным знаком и печатью иудейского народа. Народ, все более нищавший, цепко держался за этот образ; в других странах, например в Египте, где со времен упадка империи Александра поселилось много евреев, те же идеи развились скорее на греческий лад; в народе ходили апокрифические книги, на новый лад перелагавшие прежние пророчества, и вот наступило, наконец, время, когда мечтания эти достигли своей вершины и когда сужден им был конец. Явился человек из народа, ум которого возвышен был над грезами о земном величии; все надежды, чаяния, пророчества он положил в основание идеального царства, и царство это, по его замыслу, ничуть не должно было стать царством небесным для иудеев. Ведь даже близкое падение своего народа он предвидел и предсказал скорую и печальную участь роскошному храму иудеев, всему их ставшему простым суеверием служению Богу. Царство божие должно было наступить для всех народов, а народ, считавший его своим особым достоянием, был для него мертвым телом. Каких душевных сил стоило провозглашение подобных идей в тогдашней Иудее, видно по тому, как недружелюбно были восприняты они старейшинами и мудрецами народа; в них видели бунт против Бога и Моисея, преступление против оскорбленной нации, предательское разрушение всех ее надежд. И для апостолов самым трудным уроком было это происхождение христианства из иудейской религии; чтобы объяснить его евреям-христианам, даже и за пределами Иудеи, ученнейшему из апостолов, Павлу, потребовались все тонкости иудейской диалектики. Хорошо, что все решило Провидение, и вместе с гибелью Иудеи[6] рухнули древние стены, жестоко, немилосердно отделявшие народ этот, народ, как говорилось, единственно избранный Богом, от всех остальных народов, населявших землю. Прошло время национальных культов, преисполненных суеверия и гордыни; если прежде такие

обособленные культы и были целесообразны, – тогда всякая нация воспитывалась в своем семейном кругу и росла на своей лозе, словно гроздь винограда, – то теперь, и уже на протяжении нескольких веков, все человеческие усилия в этой области земли были направлены на то, чтобы соединить народы войнами, торговлей, ремеслами, науками, общением, – чтобы сок, который будут пить они, был выжат из всех плодов их. Главным препятствием к объединению были национальные религии с их предрассудками и предубеждениями; теперь же, когда римский дух терпимости, эклектическая философия (своеобразное смешение всех школ и учений) распространились по всем пределам империи и когда, притом из самого упрямого и неподатливого народа, прежде считавшего себя первой и единственной нацией на свете, вышла народная вера, все народы соединявшая в один единый, был сделан великий, но вместе с тем и опасный шаг в истории человечества; опасность состояла в том, как осуществлять его. Новая вера все народы превращала в братьев, ибо учила их верить в одного Бога и спасителя; но та же самая вера могла превращать народы в рабов, навязывая им цепи и рабское иго. Ключи царства небесного, отпиравшие людям земной и небесный мир, в руках других наций могли становиться куда более опасным фарисейством, чем когда-либо в руках иудеев.

Христианство быстро и крепко укоренилось в народе, и этому способствовала убежденность самого основателя религии в том, что он *вскоре вернется, чтобы основать на земле свое царство.* Веря в это, стоял Иисус перед своим судьей и в последние дни своей жизни не раз повторял это убеждение; веровавшие в него следовали за ним и надеялись на то, что грядет царствие его. Христиане по духу воображали себе царство духовное, христиане по плоти – царство плотское, а поскольку до крайности напряженная фантазия совсем не склонна была в эти времена и в этих местах к сверхчувственной идеализации, то стали появляться иудейско-христианские «Откровения», преисполненные всяческих прорицаний, примет и снов. Сначала, получалось, нужно было низвергнуть Антихриста с его престола, а когда оказалось, что Христос никак не возвращается на землю, то тогда потребовалось, чтобы сначала Антихрист явился на земле, усилился и дошел до крайности в своих мерзостях, – тогда наступило бы спасение, и Христос, во втором своем пришествии, утешил бы народ свой. Нельзя усомниться в том, что именно подобного рода ожидания служили поводом для гонений на первых христиан, ибо Рим, правивший целым миром, не мог спокойно терпеть, чтобы люди верили в его грядущую гибель, чтобы они видели в нем отвратительного или презренного Антихриста. Вот почему пророчествовавших стали вскоре рассматривать как предателей отечества, уличали в презрении к миру вообще, даже в ненависти ко всем людям, – а многие из тех, кто никак не мог дождаться второго пришествия, прямо бросались в объятья мученичества. Но, с другой

стороны, столь же очевидно, что ожидание царства Христова на небе или на земле крепкими узами связывало души людей и уводило их прочь от мира. Они презирали мир, лежащий во зле, и чаемое царство видели уже пред собою и рядом с собою. Это укрепляло их мужество, и так они могли торжествовать над непобедимым – над духом времени, над властью гонителей, над насмешками неверующих; они были чужестранцами на этой земле и жили в том мире, куда показал им путь предводитель их, в том мире, откуда вскоре явится он на эту землю.

* * *

Кроме названных основных моментов истории следует привести еще некоторые конкретные черты, немало способствовавшие строительству здания христианской веры.

1. *Человеколюбие Христа* связало общими узами его приверженцев, по-братски согласных между собою, готовых прощать, деятельно помогать нищим и страждущим, короче говоря, исполнять всякий долг человечности. Вот почему христианство должно было стать *подлинным союзом дружбы и братской любви.* Несомненно, что эта побудительная причина, гуманность, немало способствовала, особенно в первые времена, распространению и усвоению христианства. Все делались христианами – бедные, страждущие, униженные, слуги, рабы, мытари, грешники; поэтому язычники называли первые христианские общины сборищами нищих. Но поскольку новая религия не могла и не хотела стирать различия между сословиями, какие существовали в тогдашнем мире, то для нее не оставалось ничего иного, кроме христианского милосердия людей богатых и обеспеченных, а на этом добром поле росло немало плевел. Богатых вдов окружали толпы нищих, которые при случае лишали покоя целую общину. С одной стороны, милосердие воспевали как подлинный дар небес, но, с другой, – требовали милостыни, а потому низменной лести уступали не только благородство и гордость, плоды достоинства и независимости, трудолюбия и пользы, но нередко жертвой ее падали беспристрастие и истина. Средства общины были в полном распоряжении мучеников; приносимые общине пожертвования и дары превратились в самое существо христианства, и нравственное его учение было опорочено преувеличенной похвалой подобным благодеяниям. Хотя нужда, недуги времени многое и извиняют, но все же очевидно, что если человеческое общество рассматривать как лазарет, а христианство – как кассу для подаяний, то отсюда не замедлит воспоследовать весьма дурное состояние нравов – в жизни и политике.

2. *Христианство должно было стать общиной, управляемой начальниками и наставниками, без всякой светской власти.* Наставники должны были стать пастырями общины, должны были примирять спорщиков, исправлять людские недостатки деятельно и с любовью, готовить людей

к небесной жизни своим советом, наставлением, примером, авторитетом. Служение благородное, если исполнять его достойно, если есть простор для того, чтобы исполнять его, ибо оно ломает жало закона, вырывает шипы спора и объединяет в одном лице духовника, судью, отца. Но как поступить, если со временем пастыри стали обходиться со своей паствой как с настоящими овцами и, словно вьючных животных, стали кормить их чертополохом? Что делать, если вместо пастырей в стадо были позваны волки? Итак, слепая покорность сделалась христианской добродетелью, христианской добродетелью стало отказываться от собственного разума и, вместо того чтобы оставаться верным своим убеждениям, следовать за авторитетом чужого мнения, поскольку ведь епископ, занявший место апостола, и возвещал веру, и свидетельствовал, и учил, и толковал, и судил, и все самолично решал. Ничего так высоко не ценили теперь, как терпеливое послушание; иметь свое мнение значило упорствовать в ереси и, следовательно, отлучать себя от царствия небесного и от церкви. Епископы и слуги их, вопреки учению Христову, стали вмешиваться в семейные распри, в гражданские раздоры; вскоре и между ними самими начались споры, кому из них принадлежит высшее место. Вот откуда взялась тяга к более выгодным епископским должностям, вот отчего права епископов стали постепенно и незаметно расширяться, вот откуда пошел нескончаемый спор между прямым и кривым посохом, между левым и правым, между короной и митрой. Если очевидно, что во времена тирании, когда люди имели несчастье жить без всякого гражданского закона, честные и благонравные судьи и посредники были необходимы, чтобы помогать людям, то едва ли может существовать в истории большее безобразие, нежели долгий спор светской и духовной власти, который не могло окончательно решить целое тысячелетие европейской истории. Тут соль потеряла силу[7], а там она была слишком соленой.

3. *Существовала такая формула исповедания, которая произносилась во время обряда крещения и означала принятие христианства;* как бы прост ни был этот символ, из трех невинных слов – «отец», «сын», «дух», со временем воспроизошло столько беспорядков, гонений и безобразий, как ни из каких других трех слов человеческого языка. По мере того как забывали, что христианство учреждено для деятельной помощи людям, им на благо, все больше рассуждали и фантазировали по ту сторону человеческого рассудка; в христианстве отыскали тайны и, наконец, вообще все христианское учение превратили в тайну. Когда книги Нового Завета стали в церкви каноническими[8], на основании их или даже на основании книг иудейского закона, которые редко умели читать на языке оригинала и первоначальный смысл которых давным-давно забылся, начали доказывать недоказуемое. Ереси, разные системы веры стали множиться, и, чтобы избежать их, прибегли к самому худшему средству – к созыву *церковных собраний,* или *синодов.* Сколь

многие из них опозорили христианство и здравый рассудок! Гордыня, нетерпимость – вот что лежало в их основе, разлад, пристрастия, грубость, недостойные выходки – вот что царило на этих сходках, и за всю церковь, на все времена, на целую вечность все решали на них во имя святого духа произвол, упорство, сила, обман, подкуп и даже просто случай. И вскоре оказалось, что нет более умелых людей для определения христианских догматов, чем императоры, которым Константином было по наследству предоставлено право устанавливать символы и каноны об отце, сыне и духе, о homooysios и homoioysios[9], об одном или двух естествах Христа, о Марии-богоматери, о том сиянии, что возникло при крещении Христа или было от века, и т.д. Эти притязания и проистекшие из них последствия навеки опозорили константинопольский престол и троны тех, кто подражал ему; ибо силою невежества они поддерживали и увековечивали гонения, раскол, беспорядки, которые не укрепляли дух и мораль людей, а, напротив, подрывали почву церкви, государства и колебали самый трон их. История первого христианского государства, константинопольской империи, – столь печальная арена низменных предательств и омерзительных, ужасных деяний, что вплоть до страшной своей гибели[10] она служит устрашающим примером для всех воинствующих христианских государств.

4. *Священные книги христианства, сложившиеся отчасти из сохранившихся, написанных по частным поводам посланий, отчасти из устных рассказов,* со временем стали мерою[11] веры, а потом и знаменем всех воюющих сторон, и были использованы во зло всеми, какими только возможно было, способами. Или любая сторона доказывала на основании их все, что было ей угодно, или же не останавливались даже и перед искажением текстов, нагло и бесстыдно приписывая апостолам всякие лжеевангелия, послания и откровения. *Благочестивый обман* в делах такого рода хуже всякого клятвопреступления, потому что обмануты бывают целые необозримые поколения, бескрайние времена, но вскоре обман перестали и за грех считать, а видели в нем скорее заслугу – к вящей славе господней и во спасение душ. Вот откуда пошло множество подложных сочинений апостолов и отцов церкви, вот откуда бессчетные чудеса, мученики, дарственные грамоты, установления и указы, недостоверные, непроверенные, которые словно тать в нощи крадутся через все века древней и средней истории, вплоть до времен Реформации. Как только был усвоен негодный принцип, – ради пользы церкви, оказывается, можно совершать подлог, выдумывать ложь, сочинять и фантазировать, – так вере, вере исторически правдивой, был нанесен ущерб; потерялось правило, которым прежде руководствовались человеческие языки и перья и которым направлялась память и воображение людей, – теперь, вместо греческой и пунической верности, можно было, с еще большим правом, говорить о *христианской легковерности.* Тем неприятнее бросается все это в глаза, что эпоха христианства прямо

примыкает к эпохе наилучших историков Греции и Рима, – теперь, в христианскую эру, на долгие века и совершенно неожиданно, почти полностью утрачивается подлинная история. История опускается, превращается в хронику епископов, церквей, монахов, – ведь и писали уже не для самых достойных людей, не для мира и государства, а для церкви или даже для ордена, для монастыря, для своих единомышленников; привыкнув к проповеди, к тому, что народ во всем верит епископу, что бы тот ни говорил, и писать стали так, что весь мир принимали за один народ верующих, за христианскую паству.

5. *Христианство знало всего два очень простых и целесообразных священных обряда,* потому что, как то задумал основоположник христианства, суть учения отнюдь не заключалась в пустых церемониях. Но вскоре в разных странах, провинциях, в разные времена к ложному христианству примешалось столько иудейских и языческих обычаев, что, например, обряд крещения невинных душ превратился в заклинание дьявола, а тризна по расстающемуся с жизнью другу превратилась в обряд сотворения тела господня, в приношение бескровной жертвы, в таинство прощения грехов – в оплату путешествия в мир иной. К несчастью, христианские века совпали с веками невежества, варварства, настоящего дурного вкуса, так что не было ничего подлинно великого и благородного, что бы могло войти в обряды христианства, запечатлеться в строении церквей, в ритуалах, процессиях и празднествах, в песнопениях, молитвах и символах вероисповедания. Пустые церемонии переходили от страны к стране, от одной части света – к другой; что в одной земле еще объяснялось старой привычкой и потому имело какой-то смысл, в чужих странах, под чужим небом утрачивало всякую видимость смысла; дух христианской литургии стал странной смесью иудейских – египетских – греческих – римских –. варварских ритуалов, и даже самое серьезное в них поневоле должно было стать скучным или смехотворным. История христианского вкуса, как сказался он в праздниках, храмах, символах веры, обрядах посвящения и форме сочинений, если рассмотреть его философски, будет бесконечно пестрой картиной, самой пестрой, какую когда-либо видел свет, – картиной того, что по природе своей чуждо любым церемониям. А поскольку христианский вкус со временем вошел и в судебный и государственный ритуал, отразился и в устройстве дома, примешался к спектаклям, триумфам, празднествам, танцам, песням, состязаниям, турнирам, гербам, романам, то приходится признать, что человеческий дух в результате всего этого претерпел невероятное искажение и что крест, вознесенный над народами, запечатлелся, вместе с тем, и на их лбах и в их умах. Pisciculi Christiani* столетиями плавали в мутной водице.

---

* Христианские рыбки *(лат.)*.

6. *Христос вел безбрачную жизнь, а мать его была девственница; он был бодр и светел духом, но иногда предпочитал одиночество и молился в тиши.* Дух восточных людей, прежде всего египтян, и без того склонных к созерцанию, к одинокой жизни, к священной лености, ужасно преувеличил представления о святости безбрачия, особенно служителей Бога, о богоугодности целомудренной жизни, одиночества и созерцательного рассуждения, – уже и прежде (особенно в Египте) ессеи, терапевты[12] склонны были вести странную жизнь мечтателей, так что теперь, вместе с христианством, дух отшельнической жизни, обетов, постов, молитв, искупления грехов превратился в яркое пламя. В других странах он выступил в иных формах и в зависимости от этих форм принес пользу или вред, но в целом невозможно не заметить, что вред от такого образа жизни преобладал, как только он провозглашался нерушимым законом, становился рабским ярмом или же служил политической уловкой, – вред наносился обществу в целом и каждому члену общества по отдельности. От Китая и Тибета и до Ирландии, Мексики и Перу монастыри лам, бонз, талапойнов, а также и монастыри христианских монахов и монахинь всех орденов – это темницы религии и государства, кузницы жестокости, очаги порока и угнетения или даже омерзительных извращений и гнусностей. Мы не отнимаем у духовных орденов их заслуг, если они возделывали землю и культуру, помогали людям и способствовали развитию науки, но не глухи мы и к тайным вздохам и жалобам, доносящимся до нас из-под этих мрачных сводов, скрытых от глаз людских, не отвернем мы взгляд свой и от зрелища пустых мечтаний, неземной созерцательности, яростных интриг монашеского рвения, перед зрелищем, которое разворачивается перед нами на протяжении долгих столетий и которому, несомненно, нет места в просвещенный век. Христианству такое зрелище чуждо: Христос не был монахом, Мария не была монахиней, самый первый апостол[13] был женат[14], а погружаться в неземные созерцания не умели ни Христос, ни апостолы.

7. Наконец, *христианская вера, поставившая своей целью основание царства небесного на земле* и убеждавшая людей в тленности всего земного, конечно, во все времена питала чистые и кроткие души людей, не искавших глаз людских и творивших добро в тиши, перед Богом, но, к несчастью, христианство, которым столь жестоко злоупотребляли, поддерживало и ложный энтузиазм, и этот дух энтузиазма производил на свет огромное количество нелепых мучеников и пророков. Царство небесное собирались они перенести на эту землю, но только не знали, что оно такое и откуда его взять. Они оказывали непослушание властям, нарушали узы порядка, хотя не могли предложить порядка лучшего, – под покровом религиозного рвения скрывались низменная гордыня, льстивые притязания, гнусная похоть, глупость и тупоумие. Подобно тому как иудеи цеплялись за своих ложных мессий, так тут

христиане толпою окружали дерзких обманщиков, льстили испорченным, роскошествующим тиранам-правителям, как будто не кто иной, а они должны были положить начало царству божию на земле, строя церкви и принося дары. Льстили ведь уже и слабому Константину, и мистический язык фантастических пророчествований в разные времена, при разных обстоятельствах захватывал и мужчин, и женщин. Нередко являлся в видениях Параклит[15]; проникнутым любовью мечтателям дух нередко говорил устами женщин. История учит нас всему – и тому, каких бед и беспорядков натворили в христианском мире хилиасты и анабаптисты, донатисты, монтанисты, присциллианисты, циркумцеллионы[16] и т.д., тому, как пламенная фантазия других презирала и искореняла науки, разрушала до основания памятники прошлого, художества, здания, губила людей, тому, как очевидный обман или даже смехотворная случайность будоражили целые страны, как ожидание близкого конца света заставляло людей бежать из Европы в Азию... Но мы не преминем отдать должное чистому духу христианского энтузиазма: попадая на добрую почву, он в короткое время приносил векам больше пользы, чем когда-либо могло быть от философской холодности и равнодушия. Пелена обмана спадает, а плод остается и зреет. В пламени времен сгорели солома и стерня, а золото лишь очистилось в нем.

* * *

С печалью писал я о том, как извращалось самое лучшее на свете, а теперь нам пора перейти к тому, как распространялось христианство в разных странах и частях света, ибо и лекарство можно сделать отравой, и яд превратить в лекарство, а чистое и благое по природе своей не может не восторжествовать над дурным.

II. Распространение христианства на Востоке

В Иудее христианство развивалось, все время испытывая давление, и пока иудейское государство существовало, у него оставалась такая искаженная, придавленная форма. Назореи и эбиониты[17] были, по всей видимости, последними из первых приверженцев Христа, это была небольшая кучка людей, которая давным-давно перевелась, и теперь ее упоминают только, когда перечисляют ереси, потому что, по их мнению, Христос был простым человеком, сыном Иосифа и Марии. Как хорошо, если бы евангелие их не погибло, ведь оно, по всей вероятности, было – пусть даже не вполне безукоризненным – собранием самых первых, самых ближайших сведений о Христе, какие существовали в иудейской традиции. Не были, по-видимому, лишены интереса и древние книги сабеев, или христиан-иоаннитов[18]; хотя, конечно, нам не приходится ждать от этой смешанной, состоявшей из иудеев и христиан, мечтатель-

ной секты четкого рассказа о древних событиях, но ведь и фантазии проясняют что-то в вещах подобного рода*.

Иерусалимская церковь пользовалась большим влиянием на другие общины, потому что велик был авторитет апостолов; брат Иисуса Иаков, человек разумный и достойный, возглавлял ее на протяжении долгих лет, и организация ее, несомненно, послужила образцом для других общин. Итак, прообраз был иудейским, а поскольку почти всякий город и почти всякая страна древнейшего христианского мира, как утверждалось, обращены были в христианство тем или иным апостолом, то повсеместно возникли отображения иерусалимской церкви – апостольские общины. Место апостола, а вместе с тем и его авторитет, наследовал епископ, помазанный апостолом, – духовные силы, воспринятые им, он сообщал другим, а потому вскоре стал чем-то вроде первосвященника – посредником между богом и людьми. Первый иерусалимский собор[20] говорил от имени святого духа, а последующие соборы вторили ему, – пугает та духовная власть, которую уже очень рано возымели епископы многих азиатских провинций. Итак, авторитет апостолов непосредственно переходил к епископам, а этим объяснялось аристократическое устройство древнейшей церкви, в котором был зародыш позднейшей церковной иерархии и папства. Когда говорят о непорочности и девственности церкви первых трех столетий, это выдумки и преувеличения.

От первых времен христианства нам известна так называемая *восточная философия,* широко распространившаяся; при ближайшем рассмотрении она оказывается не чем иным, как побегом эклектической мудрости неоплатонизма в том виде, в каком могла взойти она в этих местах и в эти времена. Эта мудрость тесно прильнула к иудейскому и христианскому духу, но и не вышла из христианства и не принесла ему плодов. С самого начала гностиков стали называть еретиками, потому что не желали терпеть суемудрия, и многие из них так и остались бы в безвестности, если бы не оказались в списках еретиков. Хорошо бы, если бы сочинения их сохранились, – их книги о каноне Нового Завета были бы нам весьма кстати, пока же дошли до нас отрывочные мнения этой многочисленной секты, и они кажутся довольно неуклюжими попытками прицепить к иудаизму и христианству выдержанные в восточно-платоническом духе фантазии о божественной природе и о сотворении мира, построив из всего этого метафизическую теологию, изложенную аллегорически и вкупе с теодицеей и философской моралью. Но для истории человечества еретиков нет, а потому и каждый неудачный опыт ей ценен и замечателен, хотя для истории христианства и благо, что подобные мечтания не возобладали в церкви. И поскольку

---

* Самые новые и надежные сведения об этом вероучении – в «Commentatio de religion et lingua Sabaeorum» Норберга, 1780. Следовало бы напечатать эту работу вместе с трактатами Вальха[19] и других на эту тему, как то делали прежде.

церковь такие усилия затратила на борьбу с этой сектой, то для истории человеческого разума небесполезно было бы и чисто философское исследование – откуда взяты были эти идеи и представления, в чем заключался их смысл и к чему, в конце концов, они повели*. Большего добилось учение Мани[22], и цель оно преследовало прямо-таки великую – именно основание некоего совершенного христианства. Попытка такая потерпела крах, а расселившихся во все концы приверженцев Мани повсеместно и во все времена преследовали столь жестоко, что имя «манихей» стало с тех пор ужасным словом, означающим еретика, – особенно после того, как Августин выступил против манихеев. В нас этот дух церковных гонений вселяет ужас, мы видим, что многие из фантастов-ересиархов были людьми предприимчивыми и мыслящими, что они смело пытались привести в единство и религию, и метафизику, и мораль, и учение о природе, но и больше того – они пытались использовать их для построения реального общества – философско-политического ордена. Некоторые из них любили науку, и огорчительно, что в тогдашних условиях у них не могло быть более точных знаний, но нужно сказать, что правоверный католицизм сам по себе превратился бы в стоячее болото, если бы такие неукротимые ветры не приводили его в возбуждение и по крайней мере не вынуждали энергично защищать букву традиции. Времена чистого разума и основанного на разуме гражданского совершенствования нравов еще не подошли, и для церковной общности Мани не находилось места – ни в Персии, ни в Армении, ни – в позднейшие времена – среди болгар и альбигойцев[23].

Христианские общины проникли и в Индию, и на Тибет, и в Китай. Хотя пути, какими они шли сюда, нам до сих пор не ясны**, однако заметна в истории самых удаленных областей Азии встряска, которую пережили они в первые века христианского летосчисления. Учение Будды, или Фо, которое будто бы сошло в Индию из Бактр, обрело в это время новую жизнь. Это учение, распространяясь, проникло на Цейлон в южном направлении, на Тибет и в Китай – в северном; индийские книги, содержащие это учение, были переведены на китайский язык, и так сложилась огромная секта бонз. Нельзя приписывать христианству все творимые бонзами ужасы, равно как и всю монастырскую систему лам и талапойнов, но христианство, как кажется, было той каплей, которая от Египта и до Китая вновь пробудила былые сны и мечтания народов

---

* После Бособра, Мосхейма, Брукера, Вальха, Яблонского, Землера[21] мы проще и спокойнее смотрим на эти вещи.

** Было бы желательно собрать и перевести из трудов Академии надписей статьи Дегиня, как это сделано с работами Кейлюса, Сен-Пале и др. Это, как кажется мне, – лучший способ извлечь замечательные работы из множества преходящих извлечь пользу из открытий выдающихся ученых и соединить их труды.

и придала им более или менее четкие очертания. В рассказы о Будде, Кришне и т.д. проникли, как кажется, христианские понятия, но только в индийском обличии, и тот великий лама, который восседает на горах Тибета и появился тут, наверное, только в XV в., эта священная особа, наставления которой жестоки и которая окружена колокольчиками и жрецами-монахами, – это как будто отдаленный родственник другого ламы, восседающего на реке Тибр, только что у первого манихейство и несторианство[24] привилось к азиатским идеям и церемониям, а у этого второго правоверное христианство – к римским представлениям и обрядам. Но едва ли братья признают друг друга – точно так же, как не отправятся они друг к другу в гости.

Яснее видим мы ученых несториан, которые, в основном начиная с V века, распространились в глубь Азии и здесь сделали много доброго*. Почти с самого начала христианского летосчисления процветала школа Эдессы – средоточие сирийской учености. Царь Абгар, имя которого даже связывали с именем Христа, потому что думали, что он переписывался с ним, книжные собрания разных храмов перенес в Эдессу, когда этот город стал столицей его царства; из всех близлежащих стран в Эдессу съезжались в то время все, кто хотел учиться наукам, – здесь, помимо христианской теологии, преподавали и свободные искусства на греческом и сирийском языке, так что Эдессу, наверное, можно считать первым христианским университетом мира. Четыреста лет существовал он, но, наконец, разгорелись споры об учении Нестория, школа Эдессы держалась этого учения, и тогда учителя ее были изгнаны, а их аудитории даже разрушены до основания. Но вследствие этого сирийская литература распространилась не только в Месопотамии, Палестине, Сирии и Финикии, но даже и в Персии, здесь ее встретили с почестями, и здесь, в конце концов, появилось даже некое подобие несторианского папы, воцарившегося над всеми христианами этого царства, а впоследствии и над христианами Аравии, Индии, Монголии и Китая. Был ли он тем самым знаменитым пресвитером Иоанном (Прес-Тадшани, жрецом мира)[26], о котором много сказок рассказывали в Средние века, не произошел ли от него, путем замысловатого смешения учений, сам великий лама, – этого мы решить не можем**. Довольно того, что в Персии, где несторианам благоволили, они были лейбмедиками, посланниками и министрами царей; христианские сочинения были переведены на персидский язык, а язык сирийский стал в этой стране

---

* Извлечения Пфейффера из «Восточной библиотеки» Ассемани (Эрланген, 1776)[25] полезны для знакомства с этой мало изученной областью истории; особая история христианского Востока, в частности и несторианства, пока остается только пожеланием.

** Фишер во введении к «Сибирской истории»[27] (§ 38) показал, что мнение это весьма вероятно. Другие говорят об Унг-хане, хане кераитов. См.: *Koch Chr. G.* Tableau des révolutions[28]. T. I. P. 265.

языком науки. Когда установилась империя Магомета, а особенно при его преемниках, оммиадах, несториане занимали самые высшие и почетные должности, были наместниками завоеванных провинций, а когда в Багдаде стали править калифы, и позже, когда столица их была перенесена в Самарайю, патриарх несториан был их приближенным. В правление Аль-Мамуна, поощрявшего ученость и приглашавшего в Багдадскую академию врачей и астрономов, философов, физиков, математиков, географов и летописцев, сирийцы были среди учителей арабов, были их учителями. И сирийцы, и арабы, словно соревнуясь между собой, переводили на арабский язык сочинения греков, многие из которых уже существовали в сирийском переводе; а когда свет наук, идя из арабского мира, возжегся и для темной Европы, то получилось так, что сирийцы-христиане в свое время уже внесли вклад в просвещение Европы. Язык сирийцев, первый из всех восточных наречий, в котором появились гласные, который может гордиться самым древним и самым красивым переводом Нового Завета, – это своего рода мост, по которому науки греков перешли в Азию, а через арабов и в Европу. При таких благоприятных обстоятельствах несторианские миссии расходились во все концы света, и им удавалось уничтожить или удалить другие христианские секты. Но даже и при преемниках Чингисхана несториане имели вес: патриарх несториан нередко сопровождал хана в походах, и таким путем учение их распространилось среди монголов, игурийцев и других татарских народов. В Самарканде была митрополия, в Кашгаре и других городах – епископства; а если бы знаменитый христианский монумент в Китае был подлинным, то мы нашли бы на нем целую записанную хронику приездов священников из Татсины[29]. Если присовокупить к сказанному, что и вся магометанская религия, не будь к тому времени христианства, не будь его постоянного влияния и воздействия, вообще никогда не возникла бы, то, очевидным образом, в христианстве заключен фермент, который в разной степени, в большей или меньшей, в разное время, раньше или позже, привел в движение всю Южную, а отчасти и Северную Азию, изменив так или иначе присущий ее народам образ мысли.

Но, конечно, не следует ждать, что движение это приведет к новому расцвету человеческого ума и духа, как то было, скажем, при греках или римлянах. Как бы много ни совершили несториане, они все же не были народом, не были племенем, органически выросшим на материнской земле. Они были христиане, были монахи. Языку своему они могли научить; но что же учили они писать на этом языке? Литургии, толкования Священного писания, монастырские наставления, проповеди, полемические книги, хроники, скучные стихи. Вот отчего во всей сирийской христианской литературе нет и проблеска поэтического дара, зажигающегося в душе и согревающего сердца: жалкая игра, перечни имен, проповеди, хроники в стихах – вот и все их поэтическое искусство.

И ничего нового не внесли они ни в одну науку, которой занимались, ни одну не разрабатывали они своеобразно и своебытно. Печальное доказательство того, что при всем дипломатическом хитроумии аскетический и настроенный на полемику дух монаха может достичь лишь очень малого. Во всех частях света явил он себя во всей своей бесплодности, он и до сих пор царит еще в горах Тибета, и там, при всей установленной законом поповской иерархии, не найти и следа свободы, фантазии, изобретательности. Что вышло из монастыря, тому – вот правило – и место в монастыре.

Итак, историк может не останавливаться подолгу на каждой провинции христианской Азии. В Армению христианство пришло рано, даровало особую письменность древнему замечательному языку, а вместе с письменностью и два–три перевода Священного писания, а кроме того, историю Армении. Но ни Месроп, изобретший буквы, ни ученик его Моисей из Хорены*, написавший историю страны, не могли дать народу литературу или национальный строй жизни. Издавна Армения лежала на перепутье исторических дорог; прежде ею владели персы, греки, римляне, теперь – арабы, турки, татары, курды. И теперь еще жители Армении занимаются своим древним промыслом – торговлей; здание науки, государства нельзя было возвести здесь – ни с помощью христианства, ни без его помощи.

Еще более жалка судьба христианской Грузии. Тут есть церкви и монастыри, патриархи, епископы, монахи; женщины-грузинки красивы, грузины – смелы; и все же родители продают тут своих детей, мужи – жен, князья – подданных, верующие – священника. Странное христианство царит в этом бодром духом и неверном в сердце своем воровском народце.

Евангелие было рано переведено и на арабский язык, и немало христианских сект потрудилось на благо этой прекрасной страны. Иудеи и христиане нередко враждовали тут между собой, но ни из тех, ни из других, хотя иной раз они даже давали стране царей, не вышло ровно ничего замечательного. При Магомете все погибло; и теперь еще в Аравии существуют целые иудейские племена, но нет христианских общин. Три религии, возникшие одна из другой, взаимно ненавидят друг друга и охраняют святую свою колыбель – аравийскую пустыню**.

* * *

Итак, обозрим теперь результаты христианского влияния на азиатские провинции; но сначала нам нужно договориться о точке зрения, в со-

---

* Предисловие Уистона к «Mosis Chorenesis historia Armenica» 1736, «Thesaurus lingua Armenicae» Шрёдера[30]. С. 62.

** «Путешествия в Абиссинию» Брюса[31] содержат замечательную историю христианства в здешних местах; время покажет, произойдут ли отсюда новые результаты.

гласии с которой мы будем сравнивать преимущества, принесенные той или иной религией стране или части света.

1. Незаметно, в глубине вещей, христианство, быть может, и способствовало *царству небесному на земле,* то есть более совершенному устройству жизни на пользу народам; но до цветения, до того, чтобы где-либо появилось совершенное государство, дело никогда не доходило – ни в Азии, ни в Европе. Сирийцы и арабы, армяне и персы, иудеи и грузины остались прежними, чем были и раньше, и ни один государственный строй, какой существует в тех местах, не может похвалиться происхождением своим от христианства, – если только жизнь отшельника и монаха, равно как и иерархию любого рода, с беспокойными ее последствиями, не принимать за идеал христианского государства. Патриархи и епископы заняты миссионерской деятельностью, – это нужно им, чтобы усилить свою секту, расширить общину, умножить власть; они заинтересованы в благосклонном отношении к ним государя, чтобы влиять на государственные дела или сохранить свои монастыри и общины; одна партия противодействует другой, стремясь захватить господство; иудеи и христиане, несториане и монофизиты[32] жестоко преследуют друг друга, и ни одной стороне не может прийти в голову мысль о необходимости чисто и бескорыстно способствовать благу государства или области земли. Духовенство в восточных странах, которому всегда были присущи какие-то монашеские черты, желало служить Богу, а не людям.

2. Было три способа воздействовать на людей – с помощью *учения, авторитета и богослужебных обрядов.* Учить – это, конечно, средство наиболее чистое и действенное, если только учить верно. Если обучение детей и взрослых касалось самых существенных обязанностей и отношений людей, то оно не могло не распространять в народе всевозможные полезные знания или хотя бы питать их; во многих областях христианам, и только христианам, принадлежит та заслуга и слава, что они лучше других сумели объяснить народу и даже самому простому люду все необходимое ему в жизни. Благодаря проповедям, религиозным наставлениям, песнопениям, символам веры, молитвам среди народа ширились знания о Боге и морали; когда переводились и объяснялись священные книги, к народу приходили письменность и словесность, а если народы, находившиеся на ступени развития детей, могли понять только басню, рассказ, то по крайней мере священный рассказ облекался в новую форму. Но, очевидно, все зависело от того, умел ли учить человек, желавший наставлять народ, и чему учил он его. Ответ на оба вопроса, в зависимости от того, о каких людях, народах, временах и сторонах света пойдет речь, будет столь различен, что для простоты приходится останавливаться лишь на содержании учения, – этого же держалась и господствующая церковь. Ей приходилось бояться неумения и дерзости многих из учителей, поэтому

она стремилась к краткости и не выходила за пределы крайне узкого круга вещей. Но тогда опасность состояла уже в том, что учение скоро подойдет к концу и придется повторяться, что на протяжении немногих поколений унаследованная религия успеет утратить блеск новизны, а бездумный наставник кротко почиет на мягком ложе своей древней религии. Такое бывало не раз: христианские миссии давали толчок, чтобы пробудилась жизнь, но затем складывалось так, что за одной слабой волной следовала другая, еще более слабая, и, наконец, все они терялись на гладкой поверхности древнего христианского обряда. Именно обрядами и пытались заменить то, чего недоставало душе культа – содержание веры; в религиозную жизнь постепенно проникали пустые, бесчувственные церемонии, театр кукол, роскошно разодетых, неподвижных. Куклы были придуманы для удобства учителей и наставников, ибо и те и другие, глядя на них, могли думать все, что могло взбрести им в голову, а если и не думали ничего, то все-таки, как говорилось, само средство – религия – от этого не терялось. А поскольку с самого начала церковь очень ценила единство, то для такого бездумного единства самым лучшим средством были формулы, символы, которые никак уж не могли распылить и рассеять стадо. Всему сказанному церкви Азии служат полнейшим подтверждением; они и до сих пор суть то самое, чем были почти две тысячи лет тому назад, – усопшие тела, душа которых отлетела; даже всякая ересь в них повымерла, ибо сил не хватает даже и на ереси.

Но, может быть, *авторитет священников* возместит то, чего недостает почившему учению или замершему движению? В какой-то мере да, но не вполне. Конечно, вид старого, всеми почитаемого человека распространяет вокруг некое кроткое сияние – это отеческий опыт, зрелый ум, ненарушимое спокойствие души; вот почему так любят вспоминать путешественники, какое глубокое чувство почтения внушили им престарелые патриархи, священники, епископы восточных стран. Благородная простота жестов, одежды, движений, образа жизни способствовала такому впечатлению, и может случиться так, что благочестивый отшельник, не отказывая миру в наставлении, в поучении, в утешении, принес больше пользы людям, чем сотни бездельников и болтунов, погруженных в уличный шум и суету. Но, впрочем, авторитет человека – это только урок, пример, основанный на жизненном опыте и уразумении, а если место истины займут близорукость и предрассудки, то авторитет и самого достопочтенного человека – вреден и опасен.

3. Коль скоро жизнь людей основана на том, что *все общество в целом занято делом,* то ясно, что и в христианстве рано или поздно отомрет всякое стремление отойти от дел людских. Мертвая рука – мертва, ее отрезают, если живое тело чувствует в себе жизнь и ощущает бесполезное бремя мертвого члена. Пока христианские миссии на

Востоке были деятельны, они даровали жизнь и питались жизненными соками, но когда светская власть – арабы, татары, турки воспрепятствовали их живой деятельности, христианство уже не могло распространяться вширь. Монастыри и епископаты в наши дни – развалины былых времен; и терпят их нередко лишь ради подарков, податей и рабского труда.

4. Поскольку христианство в первую очередь воздействует наставлением, то очень многое зависит от *языка,* на котором учат народ, от той культуры, которая уже содержится в языке и к которой примыкает христианство. Пользуясь языком общепринятым, культурным, христианство не просто сеет свои семена, но и поддерживает на должном уровне свою культуру и пользуется всеобщим уважением; если же, напротив того, христианство отстает от других, гораздо более живых языков, как некое священное наречие божественного происхождения, тем более, если оно оказывается в тесных границах замкнутого, неповоротливого наречия предков, словно зачарованное в каком-то пустынном замке, то ему и остается только одно – словно несчастный тиран или невежественный узник влачить жалкое существование в этом заброшенном замке. Когда победный арабский язык вытеснил в Азии языки греческий, а потом и сирийский, то утрачены были в живом обиходе и знания, запечатленные в названных языках; они могли продолжать существовать лишь в литургии, в исповедании веры, в формах монашеского богословия. Итак, весьма обманчиво приписывать содержанию религии то, что принадлежит, собственно говоря, лишь ее вспомогательным средствам, благодаря которым религия оказывает свое влияние. Взгляните на христиан в Индии, которых крестил апостол Фома, на грузин, армян, абиссинцев, коптов – что они такое? в чем переменило их христианство? Копты и абиссинцы хранят целые библиотеки древних, непонятных им книг, которые, быть может, принесли бы пользу в руках европейцев; сами же народы не пользуются и не могут пользоваться ими. Христианство их опустилось, превратившись в самое жалкое суеверие.

5. Итак, вновь приходится воздать должное *греческому языку* за заслуги его в истории человечества; весь свет или все то мерцание, которым озарило христианство нашу часть света, был зажжен им. Если бы язык этот не был так распространен после завоевательных походов Александра, в империях его преемников, не был сохранен благодаря тому, что римляне владели и пользовались им, то едва ли христианство могло принести свой свет в Азию; ибо и правоверные, и еретики, прямо или косвенно, возжигали свои свечи от его факела. Искра света перешла от греческого языка в языки армянский, сирийский и арабский; и вообще – если бы первые христианские сочинения не были написаны по-гречески, а были бы составлены на тогдашнем иудейском наречии, то евангелие нельзя было бы проповедовать на греческом языке, нельзя

было бы сеять его в мире, и тот поток, который излился на все народы, вероятно, угас бы у самого своего источника. И христиане, должно быть, стали бы чем-то похожи на эбионитов, или христиан-иоаннитов, или учеников святого Фомы, то есть были бы жалкой, всеми презираемой горсточкой людей, не оказывающей ни малейшего воздействия на дух народов. Итак, оставим эти восточные страны, эту колыбель народов, и отправимся на ту сцену, на которой христианство сыграло свою первую большую роль.

III. Распространение христианства в греческих землях

Мы только что заметили, что эллинизм, то есть более свободное, сочетавшееся уже с понятиями иных народов умонастроение иудеев, проложил путь христианству, – возникнув, христианство и пошло дальше по этому пути, и через короткое время целые большие области, населенные греческими евреями, полнились уже слухами о новом благовествовании. Само имя христиан появилось в одном греческом городе[33], и первые сочинения христиан разнеслись вокруг на греческом языке, ибо на языке этом говорили, можно сказать, от Индии до Атлантического океана, от Ливии и до самой Фулы. К несчастью – и к счастью – и с Иудеей соседствовала та провинция, которая более всего способствовала первоначальному формированию христианства, – это был Египет. Иерусалим был колыбелью христианства, Александрия стала его школой.

Со времен Птолемеев в Египте жило множество евреев, которые занимались тут торговлей и которым, конечно, очень хотелось бы основать тут новую Иудею, – они построили тут свой храм, постепенно переводили священные книги на греческий язык и умножали их число новыми сочинениями. И точно так же, со времен Птолемея Филадельфа, в Александрии существовали и процветали учебные заведения, каких больше не было нигде, включая даже и Афины. В течение долгого времени здесь, на общественный счет, обучались четырнадцать тысяч учеников, получавшие пищу и кров; здесь был расположен знаменитый Музей, здесь была и колоссальная библиотека, здесь жила слава поэтов и знаменитых во всех науках людей, – итак, тут было средоточие мировой торговли и тут же великая школа народов. Именно в результате того, что все народы сошлись сюда, именно потому, что образ мысли разных народов, населявших греческую и римскую империю, постепенно смешивался здесь, возникла так называемая философия неоплатонизма и вообще тот странный синкретизм, который стремился свести воедино принципы всех учений и который за недолгое время сблизил между собой Индию, Персию, Иудею, Эфиопию, Египет, Грецию, Рим и варваров – их способы представления, их взгляд на мир. Чудесна была власть этого философского духа почти на всей территории Римской империи, – повсюду появлялись философы, вносившие

представления своей родной страны в общую массу понятий; но в Александрии этот дух расцвел. А теперь и капля христианства упала в этот океан и притянула к себе все то, что, казалось, может органически срастись с нею. Уже апостолы Иоанн и Павел приспособляют в своих сочинениях платонические идеи к духу христианства; самые первые отцы церкви, если они вообще занимались философией, не могли обходиться без общепринятых представлений, и так некоторые из них находили «логос» в душах всех мудрецов, живших задолго до появления христианства. Быть может, ничего страшного и не случилось бы, останься система христианской религии тем, чем надлежало ей быть по представлениям Юстина, Климента Александрийского и некоторых других, – тогда она по-прежнему была бы свободной философией, не презирала бы добродетель и любовь к истине, в какое бы время, у какого бы народа она ни выступала; такая свободная философия совсем и не подозревала бы о тех стеснительных и чисто словесных формулах, которые в позднейшее время стали считаться законом. Конечно, ранние отцы церкви, получившие образование свое в Александрии, – не из худших; один-единственный Ориген сделал больше, чем десяток тысяч епископов и патриархов; не прояви он ученого, критического усердия, трудолюбия в исследовании христианских текстов, и христианство – стоит принять во внимание, в каких условиях оно появилось на свет, – оказалось бы в числе далеко не классических сказок! И дух Оригена перешел к некоторым из его учеников – многие отцы церкви, принадлежавшие к александрийской школе, по крайней мере мыслили и спорили более умело и тонко, чем огромное множество невежественных и фанатичных умов.

Но, с другой стороны, и Египет, и модная философия тогдашнего времени были для христианства школой порчи, ибо ведь именно с теми самыми идеями платонизма, которые все бесконечно тонко разделяли и различали согласно со всем хитроумием и находчивостью греков, и было связано все то, что впоследствии, на протяжении почти двух тысячелетий, вызывало споры, ссоры, ругань, бунты, преследования, потрясало да основания целые страны, – все то, что придало христианству столь чуждую ему софистическую форму. Слово «логос» породило ереси и послужило причиной таких бесчеловечных насилий, перед которыми в ужасе отшатывается здравый рассудок. И споры из-за пустяков, какие велись тогда, нередко можно было вести только по-гречески[34], – как хорошо было бы, если бы споры эти и остались достоянием только греческого и не были бы превращены в догматы всех языков. Ведь нет тут ни одной истины, ни одного вывода, которые прибавили бы хоть каплю к знаниям людей, которые придали бы новую способность рассудку, которые даровали бы побудительную силу человеческой воле, – совсем наоборот: всю полемику христиан против ариан, фотиниан[35], македониан[36], несториан, евтихиан[37], мо-

нофизитов, трифеитов[38], монофелитов[39] и т.д. можно безболезненно вычеркнуть из истории, и ни христианство, ни рассудок наш не понесет от этого ни малейшего убытка. Более того, как раз от всех этих споров, от их последствий, от всех грубых постановлений придворных и «разбойничьих» соборов[40] пришлось отвлечься, пришлось позабыть обо всех них, только чтобы вернуться к первоначальным христианским сочинениям в их незамутненном, чистом виде, к их открытому, простому истолкованию; но и до сих пор эти былые споры препятствуют вере боязливых душ, мучают их, из-за этих забытых разногласий еще преследуют кое-где несчастных людей. Старый спекулятивный хлам прежних разногласий подобен Лернейской гидре, кольцам червя, каждый член которого может расти, а не ко времени оторванный, несет с собой смерть. Эта паутина, бесполезная, проникнутая человеконенавистничеством, заполняет собой целые столетия: реки крови пролиты из-за нее, немыслимо сколько иной раз самых достойных людей лишились из-за нее имущества и чести, друзей, крыши над головой, спокойствия, здоровья и жизни, что отняты у них самыми невежественными подлецами и злодеями. Самые честные, легковерные варвары – бургунды, готы, лонгобарды[41], франки, саксы, – проникнувшись благочестивой правоверностью или ревностью еретиков, приняли участие в этих кровавых игрищах, выступая или против ариан, богомилов[42], катаров[43], альбигойцев, вальденсов[44], или же на их стороне, – будучи воинственными народами, не напрасно скрестили они клинки за истинную формулу крещения – доподлинно воинствующая церковь! Быть может, во всей истории нет более бесплодного и пустого поля, чем эти христианские турниры на словах и на мечах, – они в результате настолько отбили у человеческого разума способность к самостоятельному мышлению, настолько отняли у первых свидетельств христианства их ясность и понятность, настолько отобрали у гражданского уклада жизни его самостоятельные принципы и меры, что в конце концов нам приходится благодарить других варваров и сарацин, что, совершая свои буйные набеги, они уничтожили весь этот позор человеческого разума. Спасибо всем тем*, кто показал нам истинные побудительные причины всех разногласий, в истинном свете показал всех этих Афанасиев, Кириллов, Теофилов, Константинов и Иренеев, – ведь доколе христиане рабски-почтительно произносят имена отцов церкви, названия соборов, они не способны ни понять Писания, ни воспользоваться собственным разумением.

---

* После реформаторов, после Каликста, Даллеуса, Дюпена, Леклерка, Мосхейма[45] и других вечно будет почитаться имя Землера, которому обязаны мы более свободным взглядом на церковную историю. За ним последовал Шпиттлер с более ясным и прозрачным изложением, а те, кто последует за ним, правильно осветят со временем все периоды истории христианской церкви.

И для христианской морали почва Египта и других частей греческой империи была ничуть не более благоприятной; чудовищное ее извращение породило здесь неотесанное воинство зенобитов[46] и монахов, которое вовсе не довольствовалось экстазами в Фиванской пустыне, а иной раз, как толпа наемников, пересекало целые страны, препятствовало выборам епископов, мешало проводить соборы и заставляло святой дух высказывать те суждения, которые угодны были их отнюдь не святому духу. Я чту одиночество, уединение – оно родственно обществу, а иногда и диктует ему свой закон, оно преображает опыты и страсти деятельной жизни в принципы, в питательные соки. И одиночество утешающее достойно нашего сочувствия – человек, утомленный гнетом, преследованиями, находит в нем для себя отдохновение и рай. Конечно, многие из первых христиан вели одинокую жизнь в этом последнем смысле, их гнала в пустыни тирания солдатской империи, у них были скромные потребности, и мягкие небеса юга дружелюбно принимали их. Но с тем большим презрением отнесемся мы к гордыне и своенравию человека, который уходит в пустыню из презрения к деятельной жизни, который видит свою заслугу в созерцательной жизни и аскетических упражнениях, ум которого питается фантомами, – вместо того чтобы умерщвлять плоть, подавлять страсти, он разжигает в себе самую неукротимую страсть – своенравную, неумеренную гордыню. Увы, христианство было ослепительным предлогом для такой жизни, советы, данные немногим, были превращены в закон для всех, даже в непременное условие обретения царствия небесного, – Христа искали в пустыне. Люди, презревшие землю, не пожелавшие быть ее гражданами, отринувшие ценнейшие сокровища человеческого рода – разум, нравы, таланты, любовь к родителям, друзьям, супругу, детям, – им ли пристало искать неба! Да будут прокляты похвалы, которые в таком изобилии, столь непредусмотрительно расточались безбрачной, праздной, созерцательной жизни, на основании ложно понятого Писания, да будут прокляты ложные картины, что с фанатическим красноречием внушали юношеству, на долгие времена извращая, лишая сил здравый человеческий рассудок. Отчего в сочинениях отцов церкви так редко встретишь чистую мораль, отчего лучшее смешано у них с худшим, золото с грязью*? Отчего получается так, что если взять в руки книгу, написанную в те времена даже самыми превосходными мужами, в распоряжении которых было бесконечное множество греческих писателей, не будет среди всех них ни одной такой, которую, даже отвлекаясь от композиции и изложения, можно было бы поставить в один ряд с сочинениями школы Сократа – уже по морали и по всепроникающему духу целого? Отчего даже самые изысканные изречения отцов вобрали

* Это показали Барбейрак, Леклерк, Томазиус, Землер и др.; и каждому может ясно показать это «Библиотека отцов церкви» Рёсслера[47].

в себя столько преувеличений, столько монашеского духа, если сравнивать их с моралью греков? Новая, христианская, философия сбила с толку ум человеческий – вместо того чтобы жить на земле, люди учились ходить по воздуху, и если это ужасная болезнь и нет ничего хуже ее, то поистине жаль до слез, что наставления, авторитет, учебные заведения распространяли ее, так что чистые источники морали были замутнены на целые века.

Когда, наконец, христианство возвысилось и императорское знамя дало ему то самое имя, которое до сих пор – в виде господствующей римско-католической религии – развевается над всеми земными именами, тогда внезапно стало явным все то нечистое, мутное, что столь странно смешивало дела церкви и государства: не оставалось уже верной точки зрения ни на одну обычную человеческую вещь. Проповедуя терпимость, люди, сами долго страдавшие, делались нетерпимыми; долг людей по отношению к государству путали с чистыми отношениями людей к Богу и, сами не ведая того, положили в основу византийской христианской империи наполовину иудейскую религию монахов, – как же могли не утратиться верные соотношения между преступлением и наказанием, между обязанностями и правами, наконец, даже и между сословиями государства? Сословие духовных лиц влилось в государство, но не так, как то было у римлян, где оно непосредственно трудилось для пользы государства; это было монашеское, нищенствующее сословие, в угоду которому были сделаны сотни распоряжений, ложившихся тяжким бременем на плечи других сословий, и распоряжения эти противоречили друг другу и должны были беспрестанно перекраиваться, только чтобы вообще сохранилась еще форма государства. Константину, великому, слабовольному, обязаны мы появлением – хотя и без ведома его – того двуглавого чудовища, которое именовалось духовной и светской властью, дразнило и подавляло другие народы и теперь, по прошествии двух тысячелетий, едва может отдать себе спокойный отчет в том, для чего нужна людям религия и для чего правительство. Ему обязаны мы благочестивой, достойной императора капризностью в законодательстве, той подобающей христианскому государю, но не императору гибкостью, которая в скором времени обернулась – и не могла не обернуться – жесточайшим деспотизмом*. Отсюда пошли все пороки, все жестокости омерзительной византийской истории, отсюда продажный фимиам, который курили самым дурным христианским императорам; отсюда пошла та злосчастная путаница, которая бросила в один кипящий котел и духовное и светское, и еретиков и правоверных,

* О периоде, начиная с обращения в христианство Константина и кончая падением Западной Римской империи, неизвестным французским автором написана глубокомысленная и ученая «История изменений в правлении, законах и человеческом духе» (немецкий перевод – Лейпциг, 1784)[48].

и варваров и римлян, и полководцев и евнухов, и женщин и священников, и патриархов и императоров. Империя потеряла свое начало, носимое по волнам судно – мачту и руль; кто поспевал, брался за руль, пока не отпихивал его следующий. О вы, древние римляне, о Секст, Катон, Цицерон, Брут, Тит, о вы, Антонины, что бы сказали вы, увидев сей новый Рим, этот императорский двор в Константинополе – от основания и до гибели его?

И красноречие, которое могло пойти в рост в этом новом императорском, христианском Риме, тоже ничуть не было похоже на красноречие древних греков и римлян. Здесь, конечно, произносили речи боговдохновенные мужи – патриархи, епископы, священники, но к кому обращали они свои речи, о чем говорили? И что пользы было от их речей, и какая польза вообще могла тут быть? Перед безумной, испорченной, несдержанной толпой должны были изъяснять они царство божие, толковать тонкие изречения глубоко морального человека, который и в свое время был одинок и уж, конечно, не имел ничего общего с этой разнузданной толпой. Толпе было занимательней слушать рассказ о злодеяниях двора, об интригах еретиков, епископов, священников, монахов, о грубой роскоши театров, игрищ, развлечений, женских одежд. О как жалею я тебя, о Златоуст, о Хризостом[49], что бьющий ключом дар речи твоей не пробился на свет в иные времена! Ты выступил из одиночества, в каком провел прекраснейшие дни свои, – и в блестящей столице настали для тебя дни печальные, дни грустные. Ревность пастыря заблудилась и оставила луг свой; бури дворцовых, жреческих интриг погубили тебя, – изгнанный и опять возвращенный, ты умер, наконец, в жалкой бедности. Такова судьба не одного честного человека при этом роскошествующем дворе, и самое прискорбное, что и рвение совестливых не было свободно от заблуждений. Ибо как человек, что живет среди заразы и болезней, если и убережется от чумных бубонов, если и выйдет отсюда цел, то с бледным лицом и нездоровым телом, так и здесь слишком многими опасностями и искушениями окружена была жизнь двух сословий, чтобы обычная предосторожность помогла избежать их. Тем больше слава тех полководцев, императоров, а также епископов, патриархов и государственных мужей, что сияют на этом мрачном, серном горизонте, словно растерянные звезды, – но и их лица скрывает от нас туман.

Рассмотрим в завершение тот вкус – в науках, обычаях и искусствах, который пошел от этого первого и самого обширного христианского государства, – мы можем назвать его лишь варварски-роскошным и жалким. С тех пор как во времена императора Феодосия, в римском сенате, перед лицом богини Победы, спорили за обладание римской империей Юпитер и Христос, и Юпитер проиграл свое дело, памятники древнего высокого вкуса, храмы, статуи богов во всем свете стали постепенно разваливаться и разрушаться; чем более христианской

была страна, тем ревностнее разрушались в ней все остатки прежнего культа демонов. Историческое происхождение христианских церквей, их цели были таковы, что использовать и переустраивать древние храмы было невозможно; итак, образцом для них послужили древние форумы, рыночные площади, базилики, и хотя в самых древних христианских церквах, относящихся ко временам Константина, можно видеть благородную простоту, поскольку они отчасти сложены из остатков языческих зданий, отчасти воздвигнуты среди величайших памятников искусства, то все же и эта простота носит уже на себе отпечаток христианства. Без всякого вкуса поставлены рядом друг с другом разные колонны, свезенные отовсюду, а чудо христианского искусства, прекрасная церковь святой Софии в Константинополе, перегружена варварским орнаментом. Сколько бы сокровищ древности ни было нагромождено в этом Вавилоне, греческое искусство, греческая поэзия не могли цвести здесь. Нас пугает та свита, которая еще в X веке должна была повсюду следовать за императором, во время мира и войны, во дворце и во время богослужения, как описывает ее сам «багрянородный» раб ритуала*, – начинаешь удивляться, что империя, так устроенная, не пала еще гораздо раньше. Не одно извращенное христианство повинно в этом устройстве целого, ибо с самого начала Византия была блестящим и роскошным государством нищих. Этот город не был Римом, который сам по себе вырос и стал столицей мира – среди тягостей, раздоров и опасностей; новый город существовал за счет Рима и провинций и сразу же был полонен нищими, толпой, которая тянула соки империи, погрязши в праздности и ханжестве, выпрашивая титулы, льстя императору и ожидая от него милостей и благосклонности. Новый город возлежал на груди у роскоши, в самой прекрасной местности, расположенной на границе всех частей света. Из Азии, Персии, Индии, Египта сюда везли те роскошные товары, которыми снабжала Византия весь Северо-Восток. Гавань города всегда заполнена была кораблями всех наций, и даже позже, когда арабы отняли у греческой империи Египет и Азию, торговля целого мира шла через Черное и Каспийское моря, – старые сластолюбцы не могли обходиться без прежней роскоши. Александрия, Смирна, Антиохия, Греция, изобилующая заливами, Средиземное море с его островами, но прежде всего легкий характер греческой нации – все это по-своему способствовало тому, чтобы столица греческого императора стала средоточием всех пороков и нелепостей; и все, что так шло на пользу Древней Греции, сослужило теперь дурную службу Византии.

Но мы и самой малой заслуги не хотим отнять у этой империи, если, при своем географическом положении и при своем государственном устройстве, она принесла какую-то пользу миру. Долгое время она служила хотя и очень некрепкой, но стеною, сдерживавшей варваров,

* Constantini Porphyrogeniti «Libri II de cerimoniis Byzantinae». Lips., 1751[50].

которые во множестве жили по соседству с Византией, торговали с Византией, состояли на службе императоров, постепенно отвыкали от своей грубости и почувствовали вкус к добронравию и художествам. Так, например, лучший из готских королей, Теодорих, воспитан был в Константинополе; и всем тем добрым, что сделал он для Италии, мы в значительной степени обязаны Восточной империи. Не одному варварскому народу даровал Константинополь семена культуры, письменности и христианскую веру; так, епископ Вульфила переделал для своих готов, живших по берегам Черного моря, греческий алфавит и перевел Новый Завет на готский язык; русские, болгары и другие славянские народы приняли от Константинополя письменность, веру и нравы, и насколько же более мирно, чем западные их собратья от франков и саксов. Кодекс римских законов, собранных по указанию Юстиниана, каким бы несовершенным и отрывочным он ни был, какие бы злоупотребления ни чинились с ним, остается бессмертным памятником подлинного древнего духа римлян, будучи логикой деятельного человеческого рассудка и эталоном всякого законодательства. И благодеянием для всего образованного мира было то, что греческий язык и литература так долго сохранялись в Восточной империи, пока Западная Европа не созрела для того, чтобы принять их из рук константинопольских беженцев. И если богомольцы и крестоносцы в Средние века встречали на пути своем ко гробу господню город Константинополь, где, после всех нанесенных им обид, они могли набраться новых впечатлений от роскоши, культуры и образа жизни империи, чтобы вернуться с ними в свои пещеры, замки и монастыри, то все это было для Западной Европы словно отдаленным предчувствием иных времен. Венецианцы и генуэзцы научились в Константинополе вести более крупную торговлю, и нужно сказать, что по большей части они разбогатели на развалинах Восточной империи и оттуда перенесли в Европу множество полезных вещей. Шелкопрядство пришло к нам из Персии через Константинополь, и сколь многим обязан Восточной империи папский престол, – а каким противовесом папскому престолу была она, за что благодарит ее Европа! И наконец, пал этот гордый, роскошный, утопавший в богатстве Вавилон; и все великолепие, и все сокровища его в мгновение ока перешли к его диким завоевателям. Уже давно Константинополь не мог защищать свои провинции, – так, еще в V веке вся Греция стала добычей Алариха. Время от времени варвары – с Востока, Запада, Севера, Юга – подходят, и все ближе, к Константинополю, а в самом городе бесчинствуют шайки куда худших варваров. Они грабят храмы, сжигают картины и библиотеки; повсеместно империю предают, распродают по кусочкам, а для самых верных слуг не находится у нее лучшей награды, как выкалывать им глаза, отрезать уши и нос или вообще заживо зарывать их в землю, – ибо, украшенные христианским православием, царят на этом троне жестокость и сластолюбие, и лесть и гордая наглость,

неверность и мятеж. История Константинополя, история, которую заполняет медленная смерть, – это устрашающий пример для любого правления кастратов, попов и женщин, каковы бы ни были тут гордость и богатство, каков бы ни был пышный блеск наук и художеств. И вот перед нами – развалины этого города: самый умный, проницательный народ, какой только жил на земле, стал самым презренным племенем людей – вероломным, невежественным, суеверным, – жалкие рабы попов и монахов не способны уж и понять древний дух Греции. Так кончило первое, самое роскошное *государственное христианство,* и да никогда впредь не явится оно на земле*.

IV. Распространение христианства в латинских провинциях

1. Рим был столицей мира, Рим издавал приказы, повелевавшие терпеть или подавлять христиан; неудивительно, что с очень ранних времен все основные силы христианства стремились к этому средоточию власти и величия.

Терпимость римлян к любой религии побежденных народов выше всяких возражений; не будь духа веротерпимости, не будь всех тех условий, которые существовали в тогдашнем римском государственном строе, христианство не могло бы распространяться повсеместно и столь стремительно. Христианство возникло вдалеке от Рима, в народе, который всеми презирался, суеверия которого вошли уже в поговорку[52]; в Риме правили злые, слабые и безумные императоры, так что единой воли, обзора состояния целого уже весьма недоставало государству. Долгое время христиан называли иудеями, а иудеев в Риме, как и во всех провинциях, было очень много. Вероятно, ненависть самих иудеев к христианам и была причиной, почему изгнанные из общины христиане бросались в глаза римлянам, а кроме того, римляне привыкли рассуждать так, что отщепенцы, люди, отпавшие от религии отцов, – это или атеисты, или, коль скоро они сходятся на тайные сборища, египтяне, что, подобно другим посвященным в мистерии, запятнали себя суеверием и гнусностями. Поэтому на христиан смотрели как на отребья общества, и именно на них удобно было спихнуть свою вину

* С радостью и участием произносим мы имя третьего классического историка Англии – Гиббона с его «History of the decline and fall of the Roman empire» – он соревнуется с Юмом и Робертсоном[51] и, пожалуй, превосходит второго из них. Его сочинение – это шедевр, лишенный, однако, той увлекательности, какая присуща историческим сочинениям Юма, но, вероятно, это недостаток, присущий самому материалу. Шум, который поднят в Англии из-за того, что этот подлинно философский труд будто бы враждебен христианству, – *большая несправедливость*; Гиббон очень мягко судит о христианстве, как и обо всем, о чем пишет.

поджигателю Нерону[53], а сострадание, которого удостоились невинно и жестоко потерпевшие христиане, было, насколько можно представить, лишь состраданием к несправедливо мучимому рабу. Вообще же учение христиан римлян не касалось, и они предоставляли ему расти и развиваться, как и всему, что произрастало на просторах империи.

Когда же принципы культа и веры христиан выступили явственнее, римлян, привыкших только к государственной религии, неприятно поразило, что эти несчастные осмеливаются поносить римских богов, называя их адскими духами и демонами, а императорскую службу объявляют школой дьявола. Их неприятно поразило, что христиане отказывали в почитании статуям императора, что ведь, в первую очередь, было честью для них самих, для христиан, и что они стремились избегать исполнения своего долга и старались не служить отечеству. Естественно, христиан стали считать врагами отечества, людьми, достойными презрения и ненависти. В зависимости от того, как были настроены к ним императоры, возмущали их или успокаивали новые слухи, отдавались приказы, или направленные против христиан, или в их защиту, приказы, которым наместники провинций более или менее следовали, согласно со своим мнением и в зависимости от поведения христиан. Но их никогда не преследовали так, как в позднейшие времена истории преследовали саксов, альбигойцев, вальденсов, гугенотов, пруссов и ливов, ибо вести религиозные войны было не в правилах римлян. Итак, первые три столетия христианства, вместе со всеми теми гонениями, сколько насчитывают их в эти века, были временем, когда торжествовали мученики христианской веры.

Нет ничего более благородного, как оставаться верным своим убеждениям и подтверждать их вплоть до последнего своего дыхания целомудрием нравов и честностью характера; проявляя целомудрие и твердость, будучи людьми добрыми и рассудительными, христиане тоже обрели больше сторонников, чем всеми россказнями о чудесах и исцелениях. Многие гонители христиан поражались их мужеству, даже и не понимая, для чего подвергают они себя опасности преследования. Помимо того, лишь той цели достигает человек, которой жаждет всем сердцем, и потому едва ли можно уничтожить то, на чем стоят люди, готовые отдать жизнь за свои убеждения. Их рвение служит примером, а пример если и не внушает разумения, то согревает душу. И конечно, этой твердостью фундамента церковь всецело обязана стойкости людей, исповедовавших веру, – выстроенное на этом фундаменте здание могло быть необычайно расширено и пережило притом тысячелетия; будь принципы податливы, нравы мягки, и все с самого начала разлилось бы, как вода по столу.

Однако в отдельных случаях многое зависит от того, во имя чего борется и умирает человек. Если во имя внутренних убеждений, во имя союза истины и верности, когда награда не ограничивается лишь

этой жизнью, если ради того, чтобы свидетельствовать о крайне важных событиях, пережитых им самим, если истина их доверена ему и без него умрет, – прекрасно! тогда мученик умирает как герой, и в боли и страданиях убеждения его служат ему утешением, и небо открыто ему. Так могли умирать живые свидетели первых событий христианства, если они вынуждены были скрепить своей кровью истинность происходившего. Отречься значило для них отказаться от истории, которую видели они своими глазами, а ведь когда нужно, то честный человек жертвует собою и ради истории. Но такие мученики и исповедники могли быть лишь в истории самого первоначального христианства, и отнюдь не в огромном числе, но о том, как оставили они этот мир и как они жили, о том мы не знаем ничего или же знаем очень мало.

Иное дело свидетели, которые спустя столетия и на удалении сотен миль свидетельствовали о том, что было известно им по слухам, из преданий или из письменных сообщений, – об истории христианства; их нельзя считать свидетелями изначальных событий, потому что они скрепляли своей кровью лишь чужие свидетельства или, лучше сказать, веру свою в них. Но поскольку в таком положении находились вообще все христиане, обращенные в веру за пределами Иудеи, то нужно удивляться тому, какой вес придавался мученичеству даже в наиболее отдаленных латинских провинциях, а тем самым традиции, о которой они были лишь наслышаны, не в состоянии что-либо проверить по существу. Ведь даже и тогда, когда в конце первого столетия записанные на Востоке сочинения пришли в эти более далекие области империи, не всякий мог понимать их на языке оригинала и вынужден был довольствоваться свидетельством своего учителя, переводившего оригинал. Но насколько реже западные учителя вообще ссылаются на Писание, – ведь и восточные учителя, даже на соборах, решали не столько на основании Писания, сколько на основании мнений прежних отцов церкви! Итак, традиция и вера, за которую умирали люди, вскоре сделались самым сильным, самым распространенным аргументом христианства; чем беднее была община, чем удаленнее и невежественнее, тем более буквально должна была приниматься ею эта традиция, свидетельство церкви, слова епископа и наставника, мученическое исповедание веры.

Однако коль скоро христианство возникло, едва ли можно думать о каком-либо ином способе его распространения; ведь христианство строилось на истории, а история не может обойтись без рассказа, предания, веры. Рассказ переходит из уст в уста, наконец его записывают, история становится твердой, занесенной на бумагу традицией, лишь теперь многие могут поверять ее, сопоставлять разные традиции и т.д. Но к этому времени живые свидетели, как правило, уже умерли, и бывает очень кстати, если легенда рассказывает, что они кровью своей

подтвердили свое свидетельство, пошедшую от них традицию, – этим вера людей успокаивается.

Итак, теряя твердую надежду на будущее, первые христианские алтари воздвигали *над могилами*. У могил собирались верующие, могилы, расположенные в катакомбах, и служили алтарями, над ними причащались, исповедовали веру и обещали быть верными, подобно погребенным в могилах. Над могилами возводили первые церкви, под алтарями хоронили мучеников, и, наконец, уже одна косточка мученика могла освятить алтарь. Что прежде было изначальностью, возникновением, закреплением союза *исповедующих христианство* людей, стало теперь ритуалом, формулой. И крестили, – а при крещении произносилась формула исповедания, – тоже на могилах исповедников, и только позднее над могилами построили баптистерии или же под баптистериями хоронили верующих, в знак того, что они умерли, исповедуя свою веру. Одно вытекало из другого, и почти все в церковных обрядах Запада вышло из этого исповедания веры и богослужения на могилах*.

Но конечно же, в этом союзе верности и послушания, заключенном над могилами, было много трогательного. Если, как пишет Плиний[55], христиане собирались до наступления утра, чтобы воспеть хвалу Христу, словно Богу, чтобы связать себя таинством, словно клятвой во имя нерушимой чистоты нравов и исполнения морального долга, то тихая могила их брата служила им красноречивым символом постоянства в самой смерти, столпом веры в воскресение, в чем предшествовал им господь и учитель их, тоже претерпевший мученическую смерть. Земная жизнь не могла не казаться им преходящей, смерть, в которой следовали они по стопам учителя, – славной и приятной, жизнь грядущая – надежнее нынешней; подобные убеждения и на самом деле составляют самую суть древнейших христианских сочинений. Между тем нередко случалось, что такие мысли и обряды не ко времени пробуждали в сердцах любовь к мученичеству, – пресытившись преходящей бренной жизнью, христианин с бесполезным рвением вожделел крещения кровью и огнем, увенчания героическим венцом Христовым. Получилось так, что останкам захороненных христиан со временем стали оказывать почти божеские почести, ими пользовались для исцеления, снятия греха, для совершения разных чудес. И уж тогда, конечно, сложилось так, что это воинство христианских героев в скором времени покрыло собою все небо христианской церкви, и если тела помещали в неф и здесь поклонялись им, то души согнали с их мест всех прочих благодетелей человечества, – тогда и началась новая христианская мифология. Что за

* См. относящиеся к теме сочинения Чампини, Аринго, Бингэма[54] и др. Сказанное явит в ярком свете история, почерпнутая из первоисточников и изложенная в тесной связи с историей церкви.

мифология? Та самая, которую мы видим на алтарях, о которой читаем в легендах.

2. Поскольку все в христианской вере покоилось на исповедании, исповедание – на символе веры, а символ – на традиции, то для того чтобы сохранить во всем порядок и строй, необходимо было или владеть чудесным даром, или же установить строгую церковную дисциплину. Когда она была установлена, то авторитет епископов значительно возрос, а для поддержания единства веры, то есть связи между всем множеством общин, возникла нужда в соборах и синодах. Если на этих соборах и синодах не могли прийти к единому мнению или же если решения их встречали возражения в других областях, прибегали к помощи наиболее уважаемых епископов, которые выступали в роли третейских судей, и тогда уж неизбежно было постепенно выдвинуться *одному главному* среди всех апостолических аристократов. И кто же был им? Кто мог им стать? Епископ Иерусалимский был слишком беден и жил далеко, Иерусалим претерпел бедствия, округ его был стеснен другими апостолическими епископатами; на своей Голгофе восседал он как бы вне круга мирового господства. Выдвинулись вперед епископы Антиохийский, Александрийский, Римский, наконец и Константинопольский, и ситуация сложилась так, что римский епископ взял верх над самыми рьяными своими конкурентами, в том числе и над константинопольским епископом. А именно, этот последний слишком близок был к трону императоров, и они по своему усмотрению могли возвышать и унижать его, а потому он и не мог стать не чем иным, как блестящим придворным епископом восточных императоров. Напротив того, с тех пор как императоры покинули Рим и переселились на восточную границу Европы, тысячи обстоятельств соединились для того, чтобы отдать этому городу, древней столице мира, пальму первенства и в церковных делах. Народы столетиями привыкли почитать самое слово «Рим», а жители Рима усвоили, что на этих семи холмах поселился сам дух мирового господства. В Риме, если судить по церковным спискам, столько мучеников свидетельствовало о вере, здесь мученический венец приняли величайшие апостолы, Петр и Павел. Уже в ранние времена в этой древней апостольской церкви возникла легенда об епископском призвании Петра, а неопровержимое свидетельство его преемников вскоре сумели подтвердить. Коль скоро Петру вручены были ключи царства небесного, а на его вере, словно на камне, воздвигнуто было нерушимое здание церкви[56], – сколь естественно было Риму занять место Антиохии или Иерусалима. Рим и стали рассматривать как материнскую церковь христианства, теперь уже господствующей религии. Уже в ранние времена римский епископ удостаивался почестей больших, нежели самые ученые и влиятельные епископы, и сидел он выше их, даже на соборах; в спорных вопросах обращались к нему как к третейскому судье, и если долгое время обращались просто за советом,

свободно решая, к кому обратиться, то со временем такие обращения стали официальным запросом, а наставления римского епископа рассматривались как окончательные решения. Рим был расположен в самом средоточии Римской империи, так что и на запад, и на юг, и на север лежали широкие пространства, было где развернуться со своими советами и установлениями, – тем более, что императорский трон находился достаточно далеко, чтобы не очень-то прижимать римского епископа. Прекрасные провинции римской империи – Италия с ее островами, Африка, Испания, Галлия и часть Германии, где рано укрепилось христианство, – все это было под рукой у римского епископа, словно сад, нуждавшийся в его совете и помощи; дальше к северу шли земли варваров, и их суровые области тоже следовало превратить в плодородные земли христианства. Соперничества тут почти не было, а дел было больше, и выиграть можно было тоже больше, чем в восточных провинциях, буквально усеянных епископатами, – кроме того, провинции эти были жаждущими полями, приведенными в упадок как ссорами, военными действиями, спекуляциями, так и роскошеством и тиранией императоров, и набегами арабов-магометан и других, еще более диких народов. Варварское добросердечие европейцев больше пригодилось римскому епископу, чем неверность куда более утонченных греков или мечтательность азиатов. Если на Востоке христианство кипело и по временам казалось какой-то лихорадкой, охватившей людской разум, то на Западе, в более умеренных зонах, оно поостыло, благодаря распоряжениям и рецептам римского епископа, – не будь их, христианство и здесь, по-видимому, опустилось бы до немощного и бессильного состояния, какие заметили мы, после всех неистовых усилий, на Востоке.

Несомненно, римский епископ сделал много полезного для христианского мира; он остался верен славе своего города и не только завоевал целый мир, обращая язычников в христианскую веру, но и управлял им при помощи своих законов, нравов, обрядов дольше, энергичнее, решительнее, чем Древний Рим своим миром. На ученость римский престол никогда не претендовал; это он предоставлял другим – епископу Александрийскому, Миланскому или даже Гиппонскому, вообще всем, кто хотел быть ученым, но вот что он сделал – он сумел и все самые ученые престолы подчинить своей власти и правил не по-философски, а опираясь на государственную мудрость, традицию, церковное право и обряды; так поступал он, и иначе не мог, потому что и сам он держался лишь обрядами и традицией. Из Рима вышли многочисленные церемонии западной церкви – и празднества, и звания священнослужителей, и обряды таинств, молитвы и заупокойные службы, алтари, лампады, свечи, посты, культ Богоматери, безбрачие священников и монахов, призывание святых, поклонение образам, процессии, колокола, канонизация святых, пресуществление, поклонение гостии и т.д.; все

эти обычаи или возникли по разным поводам уже в давнее время, или объясняются фанатическими представлениями Востока, но отчасти они были прямо подсказаны западными, даже просто местными римскими условиями и лишь постепенно были включены в основной ритуал церкви*. И таким оружием был завоеван теперь мир; ключи эти открывали все – и царство небесное, и царство земное. Перед ними склонились народы, не боявшиеся мечей; римские обычаи подходили им больше, чем восточные тонкости. Конечно, церковные законы составляли и ужасную противоположность древнеримскому государственному искусству; но, в конце концов, они сводились к тому, что тяжкий скипетр императоров превращался в кроткий посох пастырей, а варварские обычаи языческих наций – в более кроткое право христиан. Римский верховный пастырь, в таких великих трудах добившийся владычества во всей церкви, поневоле должен был заботиться о Западе – и притом заботиться несравненно больше, чем было бы возможно для любого из собратий его на Западе и Востоке; если распространять христианство само по себе уже есть заслуга, то у римского епископа – заслуги величайшие. Благодаря его посольствам и миссиям христианскими государствами стали Англия, большая часть Германии, северные королевства, Польша, Венгрия, и если Европа не была – быть может, навсегда – поглощена гуннами, сарацинами, татарами, турками, монголами, то и в этом есть доля его заслуг. Если бы все династии императоров и королей, княжеские, графские и рыцарские роды выступили и предъявили бы нам свои заслуги, благодаря которым стали они во главе народов, то великий лама римский с его тиарой, носимый на плечах столь мирными священниками, мог бы благословить их святым крестом и сказать: «Без меня вы не стали бы тем, чем стали». И спасение памятников старины – тоже его труд, и Рим заслуживает участи навеки остаться тихим храмом спасенных сокровищ.

3. *На Западе, как и на Востоке, церковь тоже складывалась по местному принципу.* И на Западе был латинский Египет – христианская Африка, и здесь, как и в Египте восточном, возникло много африканских учений. Резкость, с которой Тертуллиан рассуждал об оправдании, Киприан о покаянии падших, Августин о благодати и свободной воле, перелилась в систему церкви, и хотя римский епископ, отдавая свои распоряжения, обычно придерживался умеренности, то все же ему недоставало то авторитета, то учености, чтобы направлять корабль церкви по целому океану вероучения. Так, Августин и Иероним слишком резко спорили с Пелагием, человеком ученым и благочестивым; Августин полемизировал с

* Я не думаю, чтобы можно было написать вполне точную историю этих ритуалов без знания всех местных особенностей Рима, характера римского народа и т.д.; нередко копаются в земле, пытаясь найти то, что лежит на поверхности.

манихеями, но сам был манихеем, только более утонченным, – и вот то, что у этого необычайно умного человека было пламенем спора, огнем фантазии, то, как бурное пламя, перешло в церковную систему. Но спите спокойно, о великие защитники того, что называли вы единством церкви. Тяжелый труд ваш завершен, и, быть может, уже слишком сильно и слишком долго влияли вы на целый ряд эпох христианства.

В завершение упомяну один только монашеский орден, первый, какой появился на Западе, – орден бенедиктинцев; несмотря на все попытки пересадить восточную монашескую жизнь на почву Запада, европейский климат, к счастью, всегда оказывал им слишком сильное сопротивление, пока, наконец, под благосклонными взглядами Рима, не появился в Монте Кассино[57] этот орден, правила которого были сильно смягчены. Монахи ели лучше и одевались теплее, чем собратья их на жарком, предающемся постам Востоке; при этом правила ордена, составленные не клириком и не для клириков, вменяли в обязанность монахов трудиться, а благодаря этому орден принес большую пользу не одному пустынному и невозделанному уголку Европы. Как много земель во всех странах принадлежит бенедиктинским монахам, и часть этих земель впервые обработали бенедиктинцы. И в письменности, во всех ее жанрах, бенедиктинцы совершили все доступное монашескому усердию; ученые мужи написали целые библиотеки, а целые конгрегации положили своим долгом издавать и комментировать многочисленные сочинения, относящиеся прежде всего к Средним векам, – и заброшенные места литературы они тоже хотят расчистить и превратить в плодородные земли. Не будь ордена святого Бенедикта, и, быть может, бóльшая часть сочинений древности была бы безвозвратно утеряна; и если перечислять святых аббатов, епископов, кардиналов и пап, которые вышли из этого ордена, то их число, вместе с перечнем совершенных ими трудов, уже составит целую библиотеку. Один Григорий Великий, бенедиктинский монах, сделал больше, чем могли бы сделать десять светских государей и духовных владык; и сохранением древней церковной музыки, которая такое впечатление оказывала на души людей, мы тоже обязаны этому ордену.

Дальше мы не пойдем. Чтобы говорить о влиянии христианства на варварские народы, нам прежде всего нужно обратить свой взор на самих варваров, посмотреть, как орды их вступают на территорию Римской империи, как основывают они тут свои царства, которые потом обычно утверждает Рим, – посмотреть, что вообще вытекает отсюда для истории человечества.

Книга восемнадцатая

Как мощная река, вобравшая в себя стремительные горные потоки, но задержанная в глубоком ущелье или направляемая слабыми плотинами, в конце концов с неукротимою силой вырывается на свободу и заливает поля и долины, – волна следует за волною, поток обрушивается за потоком, пока все не превращается в широкое море, без конца и без края, – а затем, с трудом обузданная, повсюду оставляет за собой следы опустошения и, спустя время, цветущие луга, оживленные ею, ставшие плодородными, – так совершалось и такое впечатление оказывало знаменитое переселение северных народов в провинции Римской империи. Долго велись войны с этими племенами, долго сдерживали их натиск, долго направляли энергию их в разные стороны, заключая с ними союз, нанимая их на военную службу, нередко обманывали их и обходили, но, наконец, они позаботились сами о себе, потребовали себе земли или просто заняли их, отчасти даже тесня и прогоняя друг друга. Нас интересует сейчас не столько то, какие права были у каждого народа на отведенные ему или завоеванные им земли*, а мы будем обращать внимание лишь на то, как пользовались они землей и какие новые установления дали они Европе. Повсюду народы Европы получили новую прививку, – какие же побеги и какие плоды принесла она человечеству?

I. Царства вестготов, свевов, аланов и вандалов

Два вероломных министра Восточной и Западной империй, Руффин и Стиликон, призвали вестготов, которые на Востоке опустошили Фракию и Грецию, а на Западе – Италию. Аларих осаждал Рим, а поскольку Гонорий не сдержал данного им слова, Аларих дважды занимал и, наконец, разграбил Рим. Нагруженный богатой добычей,

* Точное описание переселения народов, изменения границ между ними и т.д. см. в кратком изложении у Гаттерера – «Очерк всемирной истории». Гёттинген, 1773. С. 449 и др.; в более пространном у Маскова – «История немцев». Лейпциг, 1727; у Краузе – «История основных событий современной Европы» и т.д.[1]

вестготский король спустился к Сицилийскому проливу и намеревался завоевать Африку, эту хлебную житницу Рима, но смерть прервала его победное шествие; мужественный разбойник был похоронен прямо посреди реки, вместе со множеством драгоценностей. Преемника его Адольфа (Атаульфа) император, чтобы избавить от него Италию, направил в Галлию и Испанию против вторгшихся туда вандалов, аланов и свевов; здесь он и основал, еще раз обманутый, но, наконец, обрученный с Плацидией, дочерью императора Феодосия, первое королевство вестготов. Ему принадлежали прекрасные города – Нарбонна, Тулуза, Бордо, а некоторые из его наследников еще расширили свои владения. Но поскольку франки были тут слишком близкими для них соседями и поскольку католические епископы враждебно и вероломно поступали с готами-арианами, то они обратили силу своего оружия в сторону Пиреней и, после длительных войн с аланами, свевами и вандалами, завоевали, изгнав отсюда всех римлян, прекрасный полуостров – Испанию и Лузитанию вместе с частью южной Галлии и африканским берегом.

О существовавшем в Испании в течение целых 178 лет царстве свевов мы не можем сказать ничего, поскольку после всевозможных бедствий и грабежей оно исчезло, не оставив после себя памяти, – остатки его вошли в испанское королевство готов. Очень занятно повели себя вестготы, как только достигли этих мест. Уже в Галлии, когда столицей была еще Тулуза, Эрих повелел составить свод законов*, а преемник его Аларих, на основании законов и сочинений римских юристов, – кодекс, который был как бы первым Corpus Juris** варваров и возник еще до Юстиниана***. Этот кодекс многие немецкие народы, бургунды, англы, франки, лонгобарды, считали сокращением римских законов, и даже для нас в нем сохранилась часть законодательства Феодосия, – но сами готы предпочитали придерживаться своих законов и прав. Теперь, перейдя через Пиренейские горы, вестготы оказались в цветущей стране, со множеством городов, с развитыми промыслами и торговлей. Когда Рим уже стал рабом роскоши, Испания еще дала столице мира ряд знаменитых мужей****, и в их сочинениях уже в те времена сказывается в чем-то испанский характер. Но, с другой стороны, и христианство рано проникло в Испанию, а поскольку дух народа, этого странного смешения множества наций, был в этой обособленной стране весьма склонен ко всему необычайному, замысловатому, то здесь почувствовали такой

---

* *Питу.* Codex legum Wisigothorum. Paris, 1579.

** Свод законов *(лат.)*.

*** *Схультинг.* Jurisprudentia Ante-Justinianea. P. 683. *Gothofredi.* «Prolegomena Codicis Theodosiani», C. 6, 7^2.

**** Испанцы – Лукан, Мела, Колумелла, оба Сенеки, Квинтилиан, Марциал, Флор и др. См. «Историю испанской поэзии» Веласкеса. Гёттинген, 1769. С. 3.

вкус к чудесным легендам и аскетическим упражнениям, к воздержанию и отшельнической жизни, к ортодоксии и мученичеству, к роскоши возводимых над святыми могилами церквей, что Испания благодаря своему особому географическому положению очень скоро смогла стать чем-то вроде настоящего дворца христианства. Отсюда удобно было запрашивать или даже поучать и римского епископа, и епископов Гиппонского, Александрийского, Иерусалимского; а еретиков можно было разыскивать даже и за пределами страны и преследовать их вплоть до самой Палестины. Так получилось, что издавна испанцы были заклятыми врагами всякой ереси, и, насколько истинна их вера, они жестоко доказывали и присциллианам, и манихеям, и арианам, и иудеям, Пелагию, Несторию и т.д. На этом апостолическом полуострове рано сложилась церковная иерархия, а церковные соборы, которые проводились тут особенно часто и строго, послужили образцом для самого римского престола, и если королевство франков позднее помогало верховному пастырю светской рукой, то Испания еще гораздо раньше – духовною дланью. Вот в это царство с его древней культурой, с его твердо установленной церковной иерархией и двинулись теперь готы, искренние и чистосердечные ариане, – они не могли долго сопротивляться ярму католических епископов. Правда, они долго не склоняли свою выю и пытались вооружаться и добротою и духом гонения, – им хотелось добиться объединения двух церквей. Напрасно! Господствующая римско-католическая церковь не уступала, и, наконец, на нескольких соборах, происходивших в Толедо, учение ариан было так жестоко осуждено, как будто ни один испанский король не был приверженцем этой секты. После того как умер король Леовигильд, последний, в котором жива была еще энергия готов, а сын его Реккард пошел на примирение с католической церковью, законы королевства, принятые на собрании епископов, сразу же приобрели епископский, монашеский оттенок. В этих законах воспреобладали телесные наказания, к которым немцы всегда относились с презрением, но еще более явствен был в них дух суда над еретиками, хотя это было и задолго до того, как мир узнал слово «инквизиция»*.

Итак, в этой прекрасной стране, окруженной горами и морями, где можно было основать долговечное и могущественное королевство, стоило только иметь мужество и разум и не уступать ни климату, ни церкви, готы устроились весьма неуютно. А тот поток, который при Аларихе прошумел над Италией и Грецией, давно уж отзвучал; дух Адольфа, клявшегося уничтожить Рим и на развалинах его выстроить новый город – готскую столицу мира, – давным-давно был усмирен, как только он позволил уговорить себя и отправился на границу империи и взошел на брачное

* Решения церковных соборов, помимо такого большого собрания, как «Espana Sagrada»[3], содержатся уже в «Истории Испании» Феррераса[4]. Законы вестготов, помимо Питу, – у Линденброга в «Codex legum antiquarum»[5] и в других изданиях.

ложе с Плацидией. Медленно шло завоевание, потому что немцы должны были покупать провинции ценою немецкой же крови. А когда окончилась и столь же бесконечная вражда с епископами, когда договорились, наконец, между собой епископы и сильные мира сего – две противоположные крайности, то возможность установить твердое господство готов в Испании была окончательно упущена. Ведь если раньше короли готов избирались самим народом, то теперь, по решению епископов, власть короля стала наследственной, а личность его была обожествлена. Церковные соборы превратились в сенат, епископы стали первым сословием государства. Высокие чины, утопая в роскоши, изнеживая свои нравы, утратили былую верность; некогда бесстрашные воины, между которыми разделены были земли, утратили в своих богатых усадьбах мужество; короли, обретя достоинства веры, утратили нравы и добродетель. Итак, королевство не было укреплено перед лицом врага, с какой бы стороны он ни подошел, и когда он явился со стороны Африки, страх и ужас опережали его, так что, одержав победу в одной-единственной битве, мечтательные арабы в течение двух лет завоевали самую большую и прекрасную часть Испании. Многие епископы показали себя предателями, вельможи покорились новой власти или бежали и пали в сражениях. Государство, которое должно было держаться уже на личной храбрости и рвении готов, даже и без всякого политического уклада, оказалось беззащитным, как только исчезли былые мужество и верность. Сколь бы многому, какой бы дисциплине, каким бы ритуалам ни научилась у испанских соборов церковь, для страны, для ее внутреннего устройства, город Толедо с самого начала был могилой и остался ею надолго*.

Ибо когда мужественная горстка разбитых наголову и обманутых готов осмелилась выйти из горных ущелий и за семьсот, за восемьсот лет, в трех тысячах семистах сражениях, едва смогла завоевать потерянное за два года и в одной большой битве, – разве не тень была это, вышедшая из гроба, разве не тень от былой странной смеси христианского и готского духа? Некогда владевшие всей страной христиане вынуждены были отвоевывать у сарацин, у язычников, свою землю, осквернявшуюся теми в течение стольких веков; и дорого доставалась им теперь каждая церковь, которую можно было освятить заново. Восстанавливались и заново учреждались бесчисленные епископаты и монастыри, обет строить церкви был венцом рыцарской и христианской чести, а поскольку завоевание совершалось столь медленно, было достаточно времени и для освящения церквей и для обетов. Кроме того, новое завоевание Испании совершалось в пору расцвета рыцарства и папства. Царства, отнятые у мавров, король получал в лен от папы, чтобы править в них, как подобает подлинному сыну древней

* Специального исследования одного шведа о причинах скорого падения готской империи мне не удалось увидеть. Сочинение Изерхельма «De regno Westro-Gothorum in Hispania» (Упсала, 1705) содержит академическую риторику.

церкви. Епископы повсеместно стали его соправителями, а христианские рыцари, вместе с ним завоевывавшие королевство, – grandes y ricos hombres*, высшим дворянством, делившим с королем власть в новой империи христиан. Если прежде, при прежней истинной вере, надлежало изгонять иудеев и ариан, то теперь изгоняли иудеев и мавров, так что прекрасная, процветавшая при самых разных народах земля постепенно становилась очень приятной пустыней. И теперь повсюду в Испании можно видеть памятники и старого и нового христианского государства готов, а все, что порождено было временем в промежуток между ними, не могло изменить план и основу здания. Правда, католический король уже не сидит на троне рядом с троном епископа в Толедо, а священная инквизиция с самого своего возникновения была не столько орудием слепой веры, сколько орудием деспотизма, но в этой замкнутой со всех сторон романтической стране фанатизма воздвигнуто так много прочных и долговечных рыцарских замков, что можно сказать – мощи святого Иакова в Компостелло покоятся еще более мирно, чем мощи святого Петра в Риме. Больше полусотни архиепископов и епископов, больше трех тысяч обычно очень богатых монастырей пользуются приношениями королевства, которое и на две другие части света распространило свою истинную веру – с помощью огня, меча, обмана и огромных собак; в одной испанской Америке восседает на своих престолах, во всем величии церкви, почти столько же епископов и архиепископов, что и в самой Испании. Если говорить о духовных творениях испанцев, то сразу же вслед за римлянами приходит пора христианских поэтов, полемистов, юристов, а за ними следуют толкователи Писания и сочинители легенд – в таком изобилии, что даже испанские комедии и фарсы, даже танцы и корриды никак не могут обходиться без христианства. Епископски-готское и римское каноническое право тесно переплелись, а проницательный ум народа притупился, занятый всей тонкостью их взаимоотношений, так что теперь в области права перед нами – пустыня, и вместо плодов растут шипы**. И хотя, наконец, и от тех высоких должностей при дворе и короле, которые у готов, как и у всех остальных немецких народов, поначалу были просто чиновничьими должностями, а впоследствии стали почетными званиями, на протяжении полутысячи лет позволявшими тянуть лучшие соки земли, хотя и от этих должностей осталась только тень, поскольку власть короля сумела в одних случаях объединиться с папской, в других – унизить гордыню великих мира сего и ограничить их могущество, то, независимо от этого, коль скоро ложные принципы уже положены в основу государства и глубоко проникли в самый характер

---

* Великие и богатые мужи *(исп.)*.

** Испанским комментариям к римскому праву, к «Siete Partidas», «Leyes de Toro», «Autos y acuerdos del Conseio Real» нет числа; в них исчерпалось все глубокомыслие нации.

нации, эта прекрасная страна, по всей видимости, на долгое время останется несколько смягченной, европейской Африкой, готско-мавританским христианским королевством.

* * *

Изгнанные из Испании вестготами, вандалы вместе с остатками аланов отправились в Африку и здесь основали первое христианское разбойничье гнездо, более мощное и сильное, чем все, что впоследствии устраивали их преемники – магометане. Гейзерих, король вандалов, один из самых храбрых варваров, каких только видела земля, с очень небольшой кучкой воинов за несколько лет захватил все прекрасное африканское побережье, от Гибралтара до Ливийской пустыни, и построил флот, с помощью которого он в течение полувека, словно нумидийский лев, очищал берега Средиземного моря, начиная с Греции и Иллирии, выплывал за Геркулесовы столпы на Западе, проникал в Галицию на Востоке, присвоил себе Балеарские острова, Сардинию, часть Сицилии и целых десять дней, неторопливо, методично, грабил столицу мира Рим, оставляя после себя одну пустоту, после чего счастливо и благополучно прибыл в свой Карфаген вместе с похищенной императрицей и ее двумя дочерьми, с золотой крышей храма Юпитера, с древней казной иерусалимского храма, с неизмеримой ценности сокровищами и творениями искусства (лишь часть отняло у него море), со множеством пленников, которых он не знал куда и девать. Старшую дочь императора, Евдоксию, он выдал за своего сына, другую вместе с матерью отправил назад, и вообще он был таким умным и предприимчивым страшилищем, что, несомненно, достоин был дружбы и союза с Аттилой, который вышел с азиатской реки Лены, дошел до Рейна и перешел его и который на всем пути своем завоевывал мир, наводил на него страх и налагал на него дань. Справедливый к подданным, строгий в соблюдении нравов, воздержанный, умеренный, а жестокий лишь в гневе и в приступах подозрительности, всегда начеку, всегда счастливый, Гейзерих прожил долгую жизнь, мирно умер и оставил двум своим сыновьям цветущее царство, в котором собраны были все сокровища Запада. Завещание его заключало всю последующую судьбу царства. Согласно его последней воле, править в нем должен был лишь самый старший в роду, как самый опытный, – но это распоряжение и послужило яблоком раздора и причиной смертоубийства между его потомками. Кто бы ни был старший в роду, он не мог уже поручиться за свою жизнь, ибо всякий младший хотел быть старшим; братья, родственники убивали друг друга, каждый страшился другого, каждый завидовал, а поскольку дух основателя царства не был унаследован никем из них, то вандалы погрязли в обычной для африканской зоны роскоши и лени. Военный лагерь, которым они всегда жили, чтобы поддерживать в себе мужество, стал ареной игрищ и разврата, и не

прошло даже столько времени, сколько правил сам Гейзерих, как все царство погибло, причем в одном-единственном походе. Восьмой царь, Геллимер, вместе со всеми награбленными сокровищами, был проведен по Константинополю в варварски-роскошном триумфе и умер как местный житель; пленных вандалов разослали по крепостям на персидской границе, остальные рассеялись по всему миру; странная империя, монеты которой еще находят в африканской земле, рассыпалась, как волшебный замок из золота и серебра. Утварь из иерусалимского храма, похищенную Гейзерихом во время римского грабежа, в Константинополе в третий раз пронесли в триумфе, после чего ее вернули назад в Иерусалим, подарив одной христианской церкви, – с тех пор эти сокровища наверняка разлетелись по всему свету в виде монет с арабскими начертаниями. Так путешествуют святыни: царства исчезают с земли, одни времена, одни народы приходят на смену другим. Если бы царство вандалов в Африке сохранилось, это было бы важным моментом, потому что вся история Европы, Азии и Африки была бы иной, а европейская культура пошла бы другим путем. А теперь память об этом народе скрывает в себе название одной из испанских провинций*.

II. Царства остготов и лонгобардов

Прежде чем перейти к ним, мы не можем не уделить внимания бичу божию, наводившему страх на мир, метеору, стремительно промелькнувшему на небе Европы, – царю гуннов Аттиле. Мы уже отметили, что, собственно говоря, гунны, снявшись с насиженных мест в Татарии, привели в движение все немецкие народы; это было последнее значительное переселение народов, и оно положило конец Римской империи; при Аттиле могущество гуннов в Европе достигло всего своего устрашающего величия. Восточные императоры платили Аттиле дань; он презирал их как слуг их собственных рабов, заставлял отсчитывать себе 2100 фунтов золота ежегодно и при этом ходил в льняной одежде. Ему служили готы, гепиды, аланы, герулы, аказиры, тюринги и славяне; сам же он жил в северной Паннонии в маленьком пустынном местечке, в деревянном доме**. Его сподвижники и гости пили из золотой посуды, сам он – из деревянной чаши, он не носил золота и драгоценных камней, ими не

---

* «История вандалов» Маннерта. Лейпциг, 1785, – это вполне достойный юношеский опыт ученого, который создает себе непреходящий памятник «Географией Греции и Рима»[7].

** Черты характера Аттилы раскрываются в посольских записках Приска, по которым нельзя, конечно, достоверно судить обо всей его жизни. Комментарии к этим запискам и нравам народов того времени собраны у Ф.К.Й. Фишера в издании найденной им поэмы «De prima expeditione Attilae». Lips., 1780, и в книге «Нравы и обычаи европейцев в V–VI веках». Франкфурт, 1784[8].

были украшены ни его меч, ни сбруя его лошади. Он был справедлив, очень добр к своим подданным, недоверчив к врагам, горд перед гордыми римлянами; совершенно неожиданно, вероятно по примеру царя вандалов Гейзериха, он снялся с места с войском в пятьсот или семьсот тысяч человек, состоявшим из всех народностей, повернул на Запад, стремительно пролетел через всю Германию, перешел Рейн, разрушил половину Галлии – все трепетало перед ним, пока, наконец, западные народы не собрали войско и не выступили против него. Аттила поступил тактически мудро, стянул свои войска в Каталаунскую долину, где путь к отступлению был всегда открыт; против него выступали римляне, готы, леты, арморики, бреоны, бургунды, саксы, аланы, франки; он сам руководил сражением. Битва была кровопролитной, царь вестготов пал на поле брани; погибли бесчисленные воины, и исход битвы решили незначительные моменты. Аттила перешел Рейн в обратном направлении, никто не преследовал его; на следующий год, с новыми силами, он перешел через Альпы, отправился в Италию, которую пересек во всех направлениях, разрушил Аквилею, разграбил Милан, сжег Павию и, чтобы положить конец всей Римской империи, все свои силы бросил на Рим. Здесь Лев, римский епископ, отправился навстречу ему, умоляя пощадить город. Царь гуннов повернул назад, перешел через Альпы и только намеревался отомстить за проигранную в Галлии битву, как вдруг его настигла смерть. С громкими воплями похоронили его гунны; вместе с ним пало их ужасное могущество. Сын его Эллак умер вскоре после него; царство распалось, остатки гуннов вернулись в Азию или рассеялись. Аттила – это тот самый король Этцель, о котором рассказывают поэмы разных немецких народов, герой, на пирах которого поэты разных наций воспевали деяния их предков; и он же – то самое чудовище, которому на медалях и картинах приделывали рога, весь народ которого превращали в лесных бесов и мандрагор. К счастью, Льву удалось достичь того, в чем не могли преуспеть целые войска, – он освободил Европу от калмыцкого ига, ибо народ Аттилы был монгольским племенем, что можно распознать по его культуре, образу жизни, обычаям и нравам.

* * *

Нужно упомянуть и царство герулов, потому что оно положило конец всей Западной Империи. Герулы, как и другие немцы, давно уже были наемными воинами римлян, а поскольку империя нищала и жалованье перестали выплачивать, они взяли его себе сами; третья часть земли в Италии была отдана им, а удачливый авантюрист, Одоакр, предводитель скирров, ругов и герулов, стал первым королем Италии. Последний император, Ромул, оказался у него в руках, но, испытывая сострадание к его юности и стройной фигуре, Одоакр пожалел его и отправил, положив ему пенсию, на виллу Лукулла в Кампанью. Семнадцать лет Одоакр управлял всей Италией, включая и Сицилию, и управлял небезуспешно, хотя вся-

кие несчастья и бедствия и преследовали страну. В конце концов жажда добычи подстегнула царя остготов Теодориха, юный герой выпросил себе Италию у константинопольского двора, победил Одоакра, а поскольку Одоакр не пожелал идти на унизительную для него сделку, то его убили [493]. Так началось в Италии господство остготов.

* * *

Теодорих основал остготское королевство, и народные легенды рассказывают о нем под именем Дитриха Бернского; это был человек стройного телосложения, доброго ума; как заложник, он жил в Константинополе, был там воспитан и сделал много доброго для Восточной империи. Уже в Константинополе он был удостоен званий патриция и консула; в честь его перед королевским дворцом была воздвигнута статуя; но в Италии он снискал еще большую славу, правил мирно и справедливо. Со времен Марка Антонина никто не правил этой частью римского мира столь мудро и благо, как Теодорих Италией и Иллирией, частью Германии и Галлией, а как опекун также и Испанией, долгое время удерживая в равновесии вестготов и франков. Несмотря на свой римский триумф, Теодорих не претендовал на императорский титул и довольствовался именем Флавия; но он правил как император, пользовался всей властью, кормил римский народ, даровал городу прежние игры, а, будучи арианином, отправил римского епископа в Константинополь как своего посланца, для защиты дела арианства. Пока он правил, между варварами царил мир, ибо вестготское, франконское, вандальское, тюрингское королевства были связаны с ним союзами или родством. Италия при нем отдыхала, он способствовал развитию земледелия, расцвету искусств, и каждому народу оставлял его права и законы. Он чтил памятники старины, поддерживал их, строил пышные здания, хотя уже и не во вкусе римлян, и от этих зданий, по всей видимости, пошло название «готическая архитектура», а распорядок его жизни внушал уважение всем варварам. Даже слабая заря науки замерцала при нем: до сих пор всеми чтутся имена первых его министров, Кассиодора, Боэция, Симмаха, хотя жизнь двух последних и оборвалась столь несчастливо, поскольку оба оказались под подозрением, как лица, желающие восстановить былую свободу Рима. Быть может, старого короля и можно простить, — лишь один внук его мог унаследовать трон, а насколько недоставало королевству прочности и устойчивости, хорошо видел сам Теодорих. Как было бы желательно, чтобы это готское королевство продолжало существовать и не Карл Великий, а Теодорих определил на будущее строй Европы во всем касающемся светских и духовных дел.

Но великий король умер, мудро и деятельно процарствовав 34 года, и тотчас же начались беды, заложенные в самом государственном строе немецких народов. Знать помешала Амаласвинде воспитывать юного

Адельриха, которого она благородно опекала, а когда, после смерти его, она взяла в помощники себе омерзительного Теодата, тот отплатил ей тем, что предал ее казни, и так среди готов было поднято знамя мятежа. Многие вельможи желали править; тогда своекорыстный Юстиниан вмешивается в их дрязги, и Велизарий, полководец его, переплывает море под предлогом освобождения Италии. Готов, которые никак не могут договориться между собой, теснят со всех сторон, столицу их королей, Равенну, берут обманом, и Велизарий вместе с казной Теодориха и пленным королем отправляется к себе домой. Война вновь разгорается; храбрый король готов Тотила дважды завоевывает Рим, но щадит его и разрушает только стены города. Этот Тотила был вторым Теодорихом, и он доставил немало забот вероломным грекам за одиннадцать лет своего правления. Когда он пал в сражении и шапка его вместе с окровавленной одеждой была положена к ногам тщеславного Юстиниана, история королевства готов завершилась, хотя готы и держались мужественно, храбро, пока не осталось последних 7000 человек. Возмутительная история этой войны – с одной стороны, мужество и справедливость, с другой – греческое вероломство, скупость и всяческая низость итальянцев, так что в конце концов кастрату Нарсесу удалось погубить, вырвать с корнем царство, насажденное Теодорихом на благо Италии, и, напротив того, установить коварный и слабосильный экзархат, корень бесчисленных бед и беспорядков, который принес такие страдания всей Италии. Как и в Испании, религия и внутренний строй готского государства послужили, к сожалению, причиной его гибели. Готы оставались арианами, и папский престол не мог терпеть таких соседей или даже господ; римский престол всеми средствами, всеми путями, с опасностью для себя, с помощью Константинополя, пытался ускорить гибель готского государства. К тому же характер готов еще не успел смешаться с характером итальянцев, на них смотрели как на чужаков, завоевателей, им предпочитали вероломных греков, от которых, и в этой освободительной войне тоже, Италия несказанно страдала и страдала бы еще больше, если бы ей на выручку, против ее собственной воли, не поспешили лонгобарды. Готы рассеялись, и остатки их перешли через Альпы.

* * *

Лонгобарды заслуживают того, чтобы верхняя Италия носила их имя[9], если уж ей не было дано носить куда лучшее имя готов. Юстиниан вызвал их из Паннонии, чтобы выступить против готов, и, в конце концов, они сами завладели добычей. Альбоин, князь, имя которого славили многие немецкие племена, перешел через Альпы и привез с собой целые полчища женщин, детей, скота, домашнего скарба – чтобы не опустошать, а заселять отнятую у готов землю. Он занял Ломбардию, а в Милане

лонгобарды, подняв его на щите, провозгласили королем Италии; но вскоре жизнь его оборвалась. Супругой его Роземундой нанят был убийца; она вышла замуж за этого убийцу и должна была бежать. Новый король, какого выбрали лонгобарды, горд и жесток; тогда знать решает не выбирать больше короля, а разделить королевство между собой; так появились тридцать шесть герцогов, и тем самым был основан первый ломбардско-немецкий строй в Италии. Ибо впоследствии, когда народ, гонимый нуждою, вновь стал избирать королей, то каждый вассал, сам по себе могущественный, делал в основном только то, что хотел; нередко короля лишали даже права передавать лен другому, а потому от очень ненадежной вещи, от личного авторитета, зависело, сможет ли король подчинить герцогов своей воле и использовать их в своих целях. Так появились герцоги в Фриуле, Сполето, Беневенте, а за ними и другие; в стране было много городов, и в одних правили герцоги, в других графы. Но в результате всего королевство лонгобардов было совершенно обессилено, и его было бы куда легче смести с лица земли, если бы только был в Константинополе Юстиниан, Велизарий или Нарсес, – тогда как лонгобарды, даже и теперь, лишенные сил, могли нанести последний удар по экзархату. Они совершили этот шаг, но вместе с тем приблизили и свой конец. Епископу Рима, которому желательно было в Италии только слабое, разобщенное правление, показалось, что лонгобарды слишком близки и слишком сильны, а поскольку от Константинополя не дождаться было помощи, Стефан отправился за Альпы, польстил Пипину, узурпировавшему власть в королевстве франков, пообещал провозгласить его защитником церкви, помазал его законным королем франков, а взамен этого выпросил себе в подарок пять городов и экзархат, который предстояло отвоевать у лонгобардов. Сын Пипина, Карл Великий, завершил дело своего отца – превосходящими силами разгромил королевство лонгобардов, и в награду за это святой отец провозгласил его римским патрицием, защитником церкви и, наконец, как бы по внушению святого духа, короновал его римским императором. Какие последствия имело провозглашение Карла императором для всей Европы, покажет будущее; что же касается Италии, то этот блестящий шаг ловца рыб принес с собой гибель королевству лонгобардов, и этого уже никто не мог ей возместить. На протяжении двух веков, пока оно существовало, это королевство заботилось о заселении опустошенной и изнеможденной страны; немецкая честность и любовь к порядку способствовали спокойствию и благосостоянию, причем каждый мог выбирать, по каким законам, по собственным или лонгобардским, жить. Юридические дела велись у лонгобардов быстро, четко, и решения были для всех обязательны; законы их оставались в силе долгое время после того, как королевство пало. Даже Карл, разрушивший их государство, признавал его законы и свои собственные только добавил к ним. Во многих областях Италии они, наряду с римским правом, оставались

практически в действии, находили своих почитателей и толкователей даже и тогда, когда по приказу императоров был повсеместно введен кодекс Юстиниана.

Но и невзирая на все это, нельзя отрицать, что в первую очередь ленный строй лонгобардов, который переняли у них многие нации Европы, возымел самые неблагоприятные последствия для нашей части света. Епископу Рима было приятно, что власть в государстве разобщена и что своевольные вассалы слабыми узами связаны со своим государем; следуя древнему правилу: «Разделяй и властвуй» – старались извлечь пользу для себя из любого беспорядка. Герцогов, графов, баронов можно было возмущать против их сюзерена, а отпуская грехи простым воинам и крепостным, можно было извлечь немалые преимущества для церкви. Ленное право – это древняя опора дворянства, та лестница, поднимаясь по которой занимавший государственную должность дворянин добивался и владения наследственными землями и, если всеобщее бессилие и анархия допускали, то и территориального суверенитета. Быть может, все это наносило не такой уж большой вред Италии, потому что в этой издавна культурной стране с ее соседями – греками, азиатами и африканцами – невозможно было до конца разрушить города, ремесла, промыслы, торговлю и нельзя было совершенно подавить еще не стершийся характер римлянина, но и в Италии распределение ленных владений разожгло неописуемые беспорядки и смуты и послужило главной причиной, почему со времен римлян эта прекрасная страна никак не может обрести единства, слитности, постоянства. Но в других странах применение формального ленного права лонгобардов, как окажется, возымело гораздо худшие последствия. С тех пор как Карл Великий присоединил Ломбардию к своим владениям и, как часть своего наследства, передал своим сыновьям, с тех пор как титул римского императора, к несчастью, перешел к Германии и эту бедную страну, которая никак не могла прийти к осознанию своего единства, связал опасной цепью многочисленных и многоразличных ленных отношений с Италией, с тех пор, еще прежде чем один из императоров рекомендовал пользоваться писаными законами лонгобардов и присоединил их к кодексу Юстиниана, тот уклад, который лежал в основе политического устройства страны лонгобардов, был отнюдь не лучшим образом установлен и осуществлен в местностях, где городов был мало, а ремесла были развиты слабо. Наконец, по невежеству и из предрассудка лонгобардские законы стали считать всеобщим ленным правом императоров, и так получается, что народ лонгобардов до сих пор живет в тех обычаях, которые, собственно говоря, вышли из его пепла и были объявлены законами*.

---

* Кроме истории законов в общем изложении и по частным вопросам весьма полезен Джанноне, «История Неаполя»[10], – во всем, что касается законов населявших Италию народов. Сочинение замечательное в своем роде.

Многие особенности такого уклада перешли в жизнь церкви. Правда, сначала лонгобарды были арианами, как и готы, но когда Григорию Великому удалось перетянуть в лоно ортодоксальной церкви королеву Теодолинду, эту Музу своего народа, то вера новообращенных сказалась в ревностном совершении добрых дел. Короли, герцоги, графы, бароны, словно соревнуясь друг с другом, основывали монастыри и одаривали церковь значительными владениями (патримониями): таких владений было у церкви множество от Сицилии и до Коттских Альп. Ведь если светские господа получали ленные владения, почему же не должны были точно так же получать их и владыки духовные, заботившиеся к тому же о наследовании царства вечного. Вместе с патримониями церковь обретала и нового святого покровителя, а с этими заступниками нашими не оберешься дел. Образы и реликвии святых, праздники и молитвы творили чудеса, за чудесами следовали новые дарения, так что коль скоро, с одной стороны, святые, а с другой, феодалы с женами и детьми продолжали оставаться взаимно признательными, счета никогда нельзя было подбить. И сам ленный строй до какой-то степени перешел в церковь. Ибо если у герцога были преимущества по сравнению с бароном, то и епископ, который стоял рядом с герцогом, желал иметь преимущества по сравнению с епископом барона; светское герцогство делалось епархией, епископы подчиненных городов – суффраганами духовного герцога. Разбогатевшие аббаты, эти своего рода духовные бароны, старались выйти из подчинения епископу и непосредственно подчиняться папе. Римский епископ благодаря этому становился духовным императором или королем, он охотно даровал независимость аббатам и тем самым способствовал выработке принципов, которые Псевдо-Исидор[11] открыто сформулировал позже для всей католической церкви. Изобилие праздников, молебнов, месс, должностей вызывало нужду во множестве духовных лиц; сокровища и одеяния, накопленные церковью (и изготовленные в варварском вкусе), нужно было хранить, патримониями управлять, и все это в конечном счете нуждалось в одном духовном и светском господине и покровителе, то есть все сводилось к императору и папе, так что государство и церковь стали конкурирующими между собою феодальными институциями. Вместе с падением королевства лонгобардов пробил час рождения папы – а также и нового императора, который придал новый строй Европе и придал ей совершенно иной облик. Не только завоевания изменяют лицо мира, но, еще больше, – новый взгляд на вещи, новый порядок, новые законы и права.

III. Царства алеманнов, бургундов и франков

Алеманны были из числа более грубых немецких народов, поначалу они чинили разбой на границах империи, опустошали замки и города. Когда Римская империя пала, они захватили восточную часть Галлии и, таким образом, вместе со своими прежними владениями, занимали прекрасную страну, которой могли бы при желании придать и прекрасный строй. Но это не в силах были сделать алеманны, ибо франки взяли над ними верх, король алеманнов пал в битве, а народ покорился или разошелся на все четыре стороны, и лишь под главенством франков они получили своего герцога, христианскую веру, писаный закон. Эти законы сохранились и говорят о простом, неразвитом характере народа. При последних Меровингах у них отняли и герцога, и алеманны затерялись в общей массе франков. Если алеманны были родоначальниками немецкой Швейцарии, то нужно быть благодарными им за то, что они вторично проредили леса швейцарских гор и постепенно вновь украсили их хижинами, деревнями, замками, башнями, церквами, монастырями и городами. Не забудем и святого Колумбана и его сподвижников, обративших алеманнов в христианскую веру, – один из них, святой Галл, основав монастырь, стал благодетелем целой Европы[12]. Если многие классические авторы сохранены для нас, то мы этим обязаны ирландским монахам, – их обитель, расположенная среди варваров, была если и не столицей учености, то источником совершенствования нравов, – словно звезда, сияет она в здешних темных лесах*.

* * *

Бургунды стали народом более мягким с тех пор, как вступили в союз с римлянами. Они переселились в крепости, не были противны им и занятия земледелием, искусствами и ремеслами. Когда римляне выделили им провинцию в Галлии, они жили мирно, возделывали поля, занимались виноделием, выкорчевывали леса и, наверное, положили бы начало цветущему царству, которое простиралось бы до Прованса и до Женевского озера, если бы только на севере дали им развернуться франки, гордые и задиристые. Однако Клотильда, которая принесла во Францию христианскую веру, была, к несчастью, бургундской принцессой, и, чтобы отомстить за позорные поступки, совершенные царствующей династией, она предпочла свергнуть династию и разрушить все

* Обо всем, что хоть как-то касается Швейцарии, можно найти глубокое суждение или комментарий в «Истории Швейцарии» Иоганна Мюллера[13], так что книгу эту мне хочется назвать целой библиотекой исторического разумения. Если бы этот писатель составил историю возникновения Европы, то это было бы первым и единственным творением в своем роде.

царство. Едва сто лет просуществовало оно, и от этого времени остались бургундские законы и некоторые из решений церковных соборов, но увековечили бургунды свое имя, возделывая земли у Женевского озера и в галльских провинциях. Эти области превращены ими были в настоящий рай – еще тогда, когда другие области пребывали в запустении. Гундебальд, законодатель их, заново отстроил разрушенную Женеву, и стены ее свыше тысячи лет защищали город, влияние которого на Европу было больше, чем целых обширных районов. И в этих областях, возделанных бургундами, не раз зажигался пламенем человеческий дух, изощряя свою фантазию. И под властью франков бургунды сохранили прежний уклад; поэтому, когда династия Каролингов пала, они первыми избрали собственного короля. Новое государство просуществовало свыше двухсот лет и не было примером неблаготворным для других народов как образец самостоятельного, отдельного государства.

* * *

Пора говорить теперь о том королевстве, которое принесло гибель столь многим другим государствам, – о королевстве франков. После нескольких неудачных попыток франкам удалось начать с малого и основать в Галлии государство, которое сначала одержало верх над алеманнами, потом постепенно оттеснило в Испанию вестготов, покорило бритов в Арморике, присоединило к себе королевство бургундов и жестоко расправилось с государством тюрингов. Когда в гибнущем королевском доме Меровея и Хлодвига появились храбрые майордомы, Карл Мартелл отогнал арабов и подчинил себе фризов, а когда майордомы стали королями, то вскоре выдвинулся великий Карл, он разрушил королевство лонгобардов, покорил Испанию до реки Эбро вместе с Майоркой и Миноркой, покорил южную Германию и даже Паннонию, северную – до Эльбы и Эйдера, привез в свою страну из Рима титул императора и в страхе и послушании держал пограничные народы – гуннов и славян. Могучая империя! Могущественнее всех со времен Римской империи, и ее рост, и ее падение поучительны для всей Европы. *Как же удалось империи франков, среди всех соперничавших с нею, добиться такого преимущества?*

1. *Страна франков находилась в более безопасном положении по сравнению с владениями их кочующих сородичей.* Ведь когда они переселились в Галлию, Римская империя уже рухнула, и, более того, самые храбрые из родственных племен, которые пришли в Галлию раньше франков, или уже были развеяны на все стороны, или устроились на своих местах. А немощных галлов победить было нетрудно; утомленные от своих неудач, они добровольно приняли тяжелое ярмо, а изгнать последних римлян было все равно что прогнать тень. Поскольку Хлодвиг рукою тирана стал расчищать пространство вокруг своих владений, – когда сосед был опасен ему, жизнь человеческая не

была для него священной, – вскоре и впереди и позади образовалась пустота, и Франция была чем-то вроде острова, окруженного горами, реками, морями и пустыми пространствами, где жили покоренные народы. Как только алеманны и тюринги были побеждены, в тылу франков уже не осталось народов, которым могло бы прийти на ум желание переселяться, а отучить от переселений саксов и фризов удалось жутким и мрачным способом. От Рима и Константинополя империя франков, к счастью, тоже была достаточно удалена. Ведь если бы франкам пришлось играть свою роль в Италии, то, право же, дурные нравы королей, вероломство знати, непродуманный строй королевства – пока не пришла еще пора майордомов – все это уготовало бы им участь, ничуть не лучшую участи более достойных народов, готов и лонгобардов.

2. *Хлодвиг был первым правоверным королем среди варваров;* это помогло ему куда больше любой добродетели. В какой сонм святых вступал первородный сын церкви! В собрание, которое всю западную христианскую Европу подчинило своему влиянию. Галлия и римская Германия полнилась епископами, вниз по Рейну и по Дунаю они располагались в изящном порядке – в Майнце, Трире, Кёльне, Безансоне, Вормсе, Шпейере, Страсбурге, Костнице, Метце, Туле, Вердене, Тонгерне, Лорхе, Триденте, Бриксене, Базеле, Куре и т.д.; все эти давние столицы христианской веры служили правоверному королю оборонительным валом против еретиков и язычников. В Галлии на первом соборе, который проводил Хлодвиг, присутствовало 32 епископа и среди них пять митрополитов – замкнутая духовная корпорация, государственный орган, с помощью которого император мог вершить важные дела. Благодаря ему арианское королевство бургундов досталось франкам, этой же корпорации держались и майордомы; епископ Майнцский Бонифаций короновал узурпатора, и уже во времена Карла Мартелла шли переговоры о римском патрициате, а тем самым и о покровительстве церкви. И никак нельзя упрекнуть этих опекунов христианской церкви, что они не были верны своей воспитаннице и не обходились с ней любезно. Опустошенные епископские резиденции они заново отстроили, они поддерживали епархии, везли с собой епископов на имперские советы, а в Германии церковь многим обязана королям франков – обязана всем добытым в ущерб народу. Епископы и архиепископы в Зальцбурге, Вюрцбурге, Эйхштедте, Аугсбурге, Фрейзингене, Регенсбурге, Пассау, Оснабрюке, Бремене, Гамбурге, Хальберштадте, Миндене, Вердене, Падерборне, Хильдесхейме, Мюнстере, аббатства в Фульде, Хиршфельде, Кемптене, Корвее, Эльвангене, Санкт-Эммеране – весь этот перечень создан королями франков, и благодаря им же эти духовные владыки получили свои места в рейхстаге, равно как земельные владения и людей. Король французский – первородный сын церкви; император

немецкий, его младший сводный брат, лишь унаследовал от него это право – покровительствовать церкви.

3. *При таких обстоятельствах имперской конституции немецкого народа было лучше складываться во Франции, чем в Италии, Испании или даже в самой Германии.* Хлодвиг сделал первый шаг к образованию монархии, устанавливающей свою власть над всем окружающим миром, и поданный им пример стал правилом для империи. Несмотря на нередкие переделы, несмотря на внутренние потрясения – злодеяния, совершаемые королевским домом, распущенность аристократии, – империя все же не распадалась; церкви было крайне важно сохранить государство именно в виде монархии. Храбрые и умные чиновники короны заступили место бессильных королей, и легче было допустить, чтобы вымер род Хлодвига, чем позволить, чтобы погибло столь необходимое для всего римского христианства государство. Ибо коль скоро государственный уклад немецких народов повсеместно опирался, по сути дела, лишь на личность королей и на чиновников короны, а в этой империи, расположенной между арабами и язычниками, и особенно должен был опираться на них, то все силы были объединены ради того, чтобы возвести на пути арабов и язычников, в этой пограничной с ними империи, стену, и стену эту счастливо возвел дом Пипина из Херисталля. Его и храбрых его потомков мы должны благодарить за то, что они положили конец завоеваниям арабов и остановили продвижение северных и восточных народов, так что по эту сторону Альп сохранилась, по крайней мере, какая-то видимость науки и в Европе наконец создана была политическая система, немецкая по своему духу, к которой добровольно или по принуждению могли присоединяться теперь и другие народы. Поскольку Карл Великий – вершина всего рода, заслуги которого в Европе столь значительны, пусть образ его заменит нам всех*.

* * *

Карл Великий был родом из чиновников короны, только его отец и сделался королем. Итак, он никак не мог не разделять тех идей, которые подсказывал ему дом отцов и уклад империи. И этот уклад он всячески развивал, потому что вырос в нем и считал его наилучшим; ведь всякое дерево растет в своей почве. Как франк Карл одевался и по душе был настоящим франком; итак, глядя на то, как относится он к своей стране, к ее укладу, за что его принимает, мы самым достойным образом можем представить себе этот государственный строй. Карл созывал имперские съезды и добивался на них того, чего угодно было именно ему, и он давал государству самые целительные законы и

* В новейшей «Истории правления Карла Великого» Хегевиша (Гамбург, 1791)[14] изложен тот же взгляд, что и у меня. Все это глубокомысленное сочинение – комментарий к тому, что обрисовано у меня в общих чертах как результат.

указы, но с согласия сословий. Каждое сословие он чтил, как оно того заслуживало, и побежденным нациям оставлял их законы, насколько это было возможно. Все народы он хотел объединить в одно единое, органическое целое, и в нем хватало внутренних сил, чтобы вдохнуть жизнь в это целое. Опасных герцогов он заменял специально поставленными графами, которых, помимо епископов, контролировали посланники (missi), и всеми возможными способами противодействовал он деспотизму грабителей-сатрапов, зарвавшихся аристократов и ленивых монахов. На землях, принадлежавших короне, он был не императором, а рачительным хозяином, да и во всей империи ему в первую очередь хотелось быть именно хозяином, воодушевлять каждого, внушать трудолюбие, подчинять целому всякий инертный член; но, конечно, варварский век и особенно церковный и воинский дух франков нередко служили серьезным препятствием в достижении его целей. Он высоко, как мало кто из смертных, ценил право, но лишь за исключением тех случаев, когда интересы церкви и государства увлекали его на путь насилия и несправедливости. Он любил деятельных, верных слуг и сердито посмотрел бы, если, вновь явившись на землю, увидел бы, что его мертвую фигуру [15] несут перед самым что ни на есть ленивым собранием носителей пустых титулов. Но судьба всевластна. Из чиновников короны поднялся род его; и чиновники куда худшего свойства подло растоптали после его смерти и его диадему, и его империю, и все труды жизни и духа. Потомки унаследовали от него то, что сам он, насколько то было возможно, старался уничтожить или усовершенствовать, – вассалов, сословия, варварский блеск государства франков. Он звания превращал в реальные должности, а после него должности обратили в пустые титулы.

И страсть к завоеваниям унаследовал Карл от своих предков; ведь если те успешно сражались с фризами, алеманнами, арабами и лонгобардами, и почти что с Хлодвига государственным принципом сделалось обеспечение своей безопасности путем подавления соседей, то Карл гигантскими шагами следовал по этому пути. Личные соображения порождали войны, одна война следовала за другой, и так войны занимают большую часть его правления, которое продолжалось почти полвека. Воинственный дух франков испытали на себе лонгобарды, арабы, баварцы, венгры, славяне, а прежде всех – саксы, воюя с которыми Карл в течение тридцати трех лет, пока длилась война, допустил в конце концов и самые насильственные методы. Он при этом добился своей цели в том смысле, что основал первую прочную империю в Европе; ибо, какие бы заботы ни причиняли преемникам его норманны, славяне и венгры, как бы ни ослаблена бывала великая империя в результате переделов и разрухи, на какие бы части ни распадалась, какие бы беспокойства ни претерпевала, все же всем дальнейшим переселениям татарских народов был решительно поставлен предел – на Эльбе и в Паннонии.

Империя франков, основанная Карлом, империя, о которую и прежде, как о стену, разбивались усилия гуннов и арабов, легла непреодолимым препятствием на пути варваров.

И религия, и любовь к наукам были у Карла религией и любознательностью франка. Католическая религиозность по политическим причинам была унаследована королями от Хлодвига, а с тех пор, как у кормила власти встали предки Карла, они продолжали политику королей, тем более что только церковь и помогла им достичь трона и сам римский епископ по всей форме короновал их. Двенадцатилетним ребенком Карл видел святого отца в доме своего родителя и был помазан им на царство – на царство будущее; давно уже дело обращения Германии в христианскую веру было взято под покровительство государями франков и было щедро поддержано ими, ведь христианство было для них сильнейшим оплотом в борьбе с варварами-язычниками; так было на востоке, – удивительно ли, что и на севере Карл шел тем же путем и в конце концов стал обращать саксов мечом? Правоверный франк, а Карл был именно таким, не имел ни малейшего представления о том, какой жизненный уклад он при этом разрушал; он продолжал благочестивый труд церкви, обеспечивал безопасность своих границ и творил доблестное и угодное папе и епископам дело своих предков. Преемники его, особенно когда первая империя мира стала немецкой, шли по его стопам: славяне, венды, поляки, пруссы, ливы и эсты были обращены в христианство, обращены так, что ни один из этих крещеных народов уже не осмеливался больше вторгаться на территорию Священной немецкой империи. Если бы святой и блаженный Каролюс (так именует его на века Золотая булла) видел, что стало из всего основанного им на пользу религии и знания, из богатых епископатов, соборов, каноникатов и монастырских школ, – святой и блаженный Каролюс, со скипетром франков и мечом в руках твоих, сколь сурово отнесся бы ты ко многим из них.

* * *

4. И, наконец, нельзя отрицать, что *епископ Римский скрепил печатью все деяния императоров и этим увенчал все здание империи франков.* Начиная с Хлодвига римский епископ был дружен с императорами; у Пипина он искал убежища и получил в дар от него всю военную добычу – завоеванные тогда земли лонгобардов. Еще однажды ему пришлось искать спасения у Карла, а поскольку император вновь с триумфом ввел его в римские владения, то он вновь одарил его на рождество короной римского императора, чем и был славен тот год. Карл был как бы испуган и смущен, но народ ликовал, и новые почести были ему приятны; ведь, по понятиям европейских народов, не было чести большей, а кто был достойнее ее, чем Карл? Его, величайшего монарха Запада, короля Франции, Италии, Германии и Испании,

защищавшего, распространявшего христианскую веру, истинного покровителя римского престола, почитал даже и калиф Багдадский. Вскоре Карл стал сравнивать себя с императором Константинопольским, именовался римским императором, хотя и жил в Аахене или странствовал по своей обширной империи; корона была лично заслужена им – как прекрасно было бы, хотя бы для Германии, чтобы она и погребена была вместе с ним!

Ибо, как только Карл умер, чем стала корона на голове доброго и слабого Людовика? А когда Людовик вынужденно и не ко времени разделил империю, как тяжела была она для каждого из его преемников? Империя распадается; норманны, славяне, гунны – все соседи, которым столько доставалось от франков, – приходят в волнение и опустошают страну; утверждается кулачное право; имперские собрания становятся редкими. Самые недостойные войны ведут между собою братья, отцы, сыновья, а римский епископ и духовенство выступают недостойными их судьями. Епископы вырастают в князей; варвары, совершая беспрестанные набеги, заставляют всякого искать спасения под властью замков. Наместники и чиновники захватывают власть и провозглашают себя государями в Германии, Франции, Италии; повсюду царят анархия, обман, жестокость, раздор. Род Карла гаснет в величайшем унижении через восемьдесят восемь лет после коронации императора, и последняя, побочная линия этого рода вымирает, хотя не прошло еще и ста лет после смерти императора. Только он мог править таким государством, невероятно огромным, со столь сложным внутренним устройством, составленным из противоречащих друг другу частей; как только душа оставила это исполинское тело, оно распалось на куски и на столетия превратилось в смердящий труп.

Спи же спокойно, великий император, слишком великий для преемников твоих, для долгих столетий. Тысяча лет утекла, но не соединены еще Рейн и Дунай, и не выполнено то, за что брался ты уже и ради маловажной цели. В свою варварскую эпоху ты пекся о воспитании и науках, но основанное тобою употребили и все еще употребляют во зло. Установления твои суть божественный закон, если сравнивать их со столь многочисленными имперскими указами позднейших времен. Ты собирал песнопения древних бардов, а сын твой Людовик презрел и продал их, и память о них искоренена была навеки. Ты любил немецкий язык и, насколько мог, сам способствовал его развитию; ты окружил себя учеными, призвав их из дальних стран, и Алкуин, твой философ, Ангильберт, Гомер твоей придворной Академии, и превосходный Эгинхард, историк твой, были дороги тебе; и не было ничего столь противного тебе, как невежество, варварское самодовольство и горделивая леность. Быть может, ты вновь явишься на землю в 1800 году и переменишь ту машину, которую пустил в ход в году 800-м, – а до тех пор мы будем чтить твои реликвии, но притом

извращать твои установления, оправдываясь законом, и презирать старомодное трудолюбие древнего франка. О великий Карл, империя твоя, распавшаяся сразу же, как ты умер, эта империя – могила твоя; Франция, Германия, Ломбардия – руины твои.

IV. Царства саксов, норманнов и датчан

Истории живших на континенте немецких народов присуще что-то однообразное и беспомощное. А теперь мы перейдем к морским немецким народностям: их набеги стремительнее, опустошения ужаснее, владения ненадежнее – зато, словно средь бурь морских, мы увидим храбрейших мужей, неслыханные приключения и царства, духом которых до сих пор дышит еще свежий морской ветер.

Уже в середине V века англосаксы, жившие на северном побережье Германии и долгое время занимавшиеся грабежом на суше и на море, отправились на помощь бриттам. Предводителями их были Хенгист и Хорса, то есть Жеребец и Кобыла, а поскольку война с врагами бриттов, пиктами и каледонцами была для них легкой игрой, а страна понравилась им, то вслед за ними сюда переправилось много их собратьев, и они не успокоились, пока в руках их не оказалась вся Англия, за исключением углов – Уэльса и Корнуолла, – сто пятьдесят лет страшных войн и отвратительных разрушений. И кимврам, которые остались жить в уголках страны, никогда не удавалось добиться того же, что вестготам в Испании, то есть выйти из своих ущелий и заново завоевать свою древнюю родину, потому что саксы, этот дикий народ, стали христианами и католиками, вскоре были утверждены во владении своими награбленными землями и чувствовали себя на них вполне спокойно.

А именно, вскоре после образования первого саксонского королевства Кент дочь одного католического короля в Париже подготовила своего супруга-язычника Этельберта (Адельберта) к переходу в христианство, и монах Августин торжественно, с серебряным крестом в руках, ввел эту веру в Англии. Этого монаха отрядил сюда сидевший тогда на римском престоле Григорий Великий; он горел страстным желанием сочетать христианство со всеми европейскими тронами, опираясь в первую очередь на помощь королевских жен, он разрешил сомнения монаха и поставил его первым архиепископом счастливого острова, что, начиная с короля Ины, сторицею возместил святому Петру затраченный тем евангельский грош. Едва ли есть в Европе другая страна, которая была покрыта таким множеством монастырей и религиозных учреждений, как Англия, и, однако, для словесности тут сделано меньше, чем можно было ожидать. Дело в том, что христианство в этих местах не выросло на корнях древней апостольской церкви, как в Испании, Франции, Италии и даже в Ирландии; новые пришельцы из Рима

принесли грубым саксам евангелие, но совсем в ином виде. Тем больше заслуг снискала этим монахам их миссионерская деятельность в других землях, и если бы Англия избежала опустошений со стороны датчан, то нашлись бы и монахи – историографы своей страны, по крайней мере авторы монастырских хроник.

Не очень утешительное зрелище – семь основанных варварами-саксами королевств, которые по-язычески и по-христиански сражаются и друг против друга, и бок о бок друг с другом на не слишком обширном пространстве полуострова. И, однако, хаос продолжался не менее трехсот лет, и во всем этом беспорядке лишь иногда мелькают проблески церковных учреждений и установлений и начатки писаного законодательства, как, например, при Адельберте и Ине. Наконец, при короле Эгберте семь королевств объединились, и нашлось бы немало государей, достаточно мужественных и энергичных, чтобы повести страну свою к расцвету, если бы не мешали этому набеги норманнов и датчан, которые, воспламенившись жаждой добычи, вновь и вновь отправлялись на моря и в течение двух веков препятствовали любому надежному и долговечному установлению на берегах и Франции, и Англии. Несказанный ущерб причинен был ими, неописуемы совершенные ими ужасы, и если Карл жестоко расправился с саксами, а англы с бриттами и кимврами, то несправедливость их отмщена была в потомках их – пока ярость воинственного севера окончательно не угасла. Но когда свирепствуют страсти и нужда ужасна, являются самые великодушные люди, и так на небосводе Англии взошел Альфред – образец того, каким должен быть король в столь тяжелое время, путеводная звезда в истории человечества[16].

Он уже ребенком был помазан на царство папой Львом IV; никакого образования он не получил, но желание читать саксонские героические песни пробудило в нем такое усердие, что от них он перешел к чтению античных авторов и спокойно жил в их обществе, но когда ему шел двадцать второй год, умер брат его, и это вынудило его занять трон и разделить все опасности, которые когда-либо окружали короля. Датчане владели страной; заметив, что юный король мужествен и удачлив, они собрали все свои силы и умножили свой натиск, так что Альфред вынужден был дать им восемь сражений в течение одного года, не раз заставлял их клясться над ракой святых, что они не будут нарушать мира, и, одержав над ними верх, был столь же добр и справедлив, сколь осторожен и храбр в битве, но в конце концов обстоятельства все же заставили его искать спасения, он переоделся в простую крестьянскую одежду и, неузнанным, служил жене деревенского пастуха. Но и тут мужество не оставило его; вместе с несколькими спутниками он выстроил хижину посреди острова, назвал его островом благородных, и этот остров стал теперь его царством. Здесь провел он больше года, но отнюдь не в бессильной праздности. Словно из невидимого замка,

нападал он на врагов, он и все его окружение питалось добычей, – пока один из верных его друзей не добыл в одной из таких стычек «волшебного ворона» – знамя, в котором Альфред увидел знак своего счастья. Переодевшись арфистом, он отправился в лагерь датчан и очаровал их веселыми песнями, его провели в шатер принца, и он увидел, сколь безмятежна и расточительна, на манер грабителей, жизнь датчан. Тогда он вернулся назад, послал тайно объявить своим друзьям, что он жив, и велел собраться на краю леса. Составилось малое войско, приветствовавшее его радостными криками, стремительно напал он с ним на беззаботных датчан, испуг которых был велик, окружил их и этих военнопленных обратил в своих союзников, заселивших опустевший Нортумберленд и Восточную Англию. Король датчан крестился, Альфред усыновил его и первыми признаками мира и тишины воспользовался для того, чтобы упрочить позиции и выступить против врагов, которые огромными толпами бродили по стране и лишали ее последних сил. С невероятной быстротою Альфред навел порядок в полностью расстроенном государстве, отстроил разрушенные города, создал сухопутную армию, а вскоре и флот, – через короткое время 120 кораблей охраняли все побережье страны. При первом известии о высадке противника Альфред спешил на помощь, и вся страна в минуту бедствия подобна была военному лагерю, где всякий знал свое место. До конца жизни ему удавалось предотвращать любые грабительские намерения противника, благодаря ему в стране появились армия и флот, он даровал родине науки и искусства, города, законы, порядок. Он писал книги и был учителем нации, которую защищал. Равно великий и в общественной и домашней жизни, он строго, как дела и доходы, делил часы суток, и у него хватало времени и для досуга, и для королевских щедрот. Через сто лет после Карла Великого он был, возможно, еще более велик, чем Карл, а круг деятельности его, к счастью, был ограниченней; хотя при преемниках Альфреда набеги датчан, да и распри духовенства причинили немало бед Англии, потому что не нашлось среди потомков короля второго Альфреда, то все же не было в Англии недостатка и в добрых королях, – ведь уже была заложена хорошая основа целого; нападения с моря поддерживали в них бодрый боевой дух. Среди добрых английских королей – Адельстан, Эдгар, Эдмунд Железный Бок, и если при последнем из названных государей Англия попала в феодальную зависимость от Дании, то объясняется это исключительно вероломством знати. Кнут Великий был, правда, признан королем, но у этого героя Севера было только два преемника. Англия быстро откололась от Дании, и если датчане позволили спокойно жить миролюбивому королю Эдуарду, то, быть может, это и было несчастьем Англии. Эдуард составлял свод законов, а другие правили за него; норманнские нравы распространялись с французских берегов, и время показалось Вильгельму Завоевателю удобным. Одна-

единственная битва, и он взошел на трон. Он придал стране новый уклад. Итак, нам придется ближе познакомиться с норманнами; их нравам не только Англия, но и значительная часть Европы обязана блеском рыцарского духа.

* * *

Уже в самые ранние времена северные немецкие народы, саксы, фризы, франки, плавали по морям, и еще более дерзки были датчане, норвежцы, скандинавы, известные под многими именами. Англосаксы и юты переправились в Британию; когда короли франков, прежде всего Карл Великий, стали распространять свои завоевания к северу, целые полчища немецких народов все более дерзко и смело пускались в море, и, наконец, имя норманнов сделалось именем страшным для мореплавателя, еще более страшным, чем когда-либо на суше имена союзников – маркоманнов, франков, алеманнов и т.д. Мне пришлось бы назвать сотни имен отважных мореходов, если бы я захотел перечислить героев, прославленных северными поэмами и песнями. Но нельзя не упомянуть имена открывателей новых земель, основателей царств, – поразительно широки просторы, на которых появлялись норманны. Вот на Востоке Рорик[17] (Родерих) со своими братьями – они основали государство в Новгороде и тем заложили основы России; Аскольд и Дир положили начало Киевскому государству, объединившемуся с Новгородским; Рагнвальд, обосновавшийся в Полоцке на реке Двине, стал родоначальником великих герцогов Литовских. На Севере Наддодд бурей пронесся к Исландии, открыл этот остров, а вскоре Исландия стала прибежищем благороднейших норвежских родов (несомненно, самой чистой аристократии Европы), в Исландии сохранялись и умножались северные песни и поэмы, и на протяжении более трех столетий Исландия была столицей прекрасной, свободной, отнюдь не лишенной культуры жизни. К Западу норманны часто бывали на островах, они отчасти и заселяли Фарерские, Оркнейские, Шетландские острова; многими из них долгое время правили норманнские ярлы (графы), так что и на самых удаленных оконечностях своего мира гэлы не чувствовали себя в безопасности от немецких народов. В Ирландии норманны осели уже во времена Карла Великого, когда Дублин достался в удел Олофу, Вотерфорд – Ситрику, Лиммерик – Ивару. В Англии норманны наводили страх на людей под именем датчан; не только в течение двухсот лет они владели, то собственной властью, то как феодом, Нортумберлендом, но и вся Англия была покорна им при Кнуте, Харольде и Хардикнуте. Берега Франции они тревожили начиная с VI века; дурное предчувствие подсказывало Карлу Великому, что его страна много бед претерпит от них, и после смерти его предчувствия эти более чем оправдались. Норманны не только ужасно опустошали

морское побережье, но и проникали в глубь Франции и Германии, поднимаясь вверх по течению рек, они положили печальный конец множеству городов и поселений, основанных и Карлом и даже еще римлянами; наконец Рольф, при крещении принявший имя Роберта, стал первым герцогом норманнов, родоначальником не одного королевского дома. Его потомком был Вильгельм Завоеватель, который придал новый уклад Англии; последствия его нововведений втянули Англию и Францию в войну, продолжавшуюся четыреста лет; эта война странным образом связала и перемешала оба народа. Норманны, мужество и удачливость которых почти невероятны, отняли у арабов Апулию, Калабрию, а также на время Иерусалим и Антиохию, – эти норманны были выходцами из основанного Рольфом герцогства, и от него же пошли наследники Танкреда, под конец владевшие короной Сицилии и Апулии. Если рассказывать обо всех совершенных норманнами подвигах – на службе в Константинополе, о путешествиях и паломничествах, во всех странах, на всех морях, вплоть до Гренландии и Америки, то рассказ превратится в роман. Итак, заметим для себя самое главное, что вытекает из их характера и служит нашей цели.

Обитатели северных побережий с их климатом и почвой по всему образу жизни, по всему своему укладу долгое время оставались суровыми, закаленными людьми, но в них, особенно когда они начали странствовать по морям, заложены были семена, которые в более мягких зонах могли дать цветущие побеги. Свойства характера, которые должны были быстро приучить северного пирата к жизни на юге, были таковы: бесстрашие, физическая сила, большая ловкость в рыцарских искусствах, как стали их именовать позже, обостренное чувство чести и благородного происхождения, равно как и всем известное уважение, которое северные народы оказывают женскому полу, вознаграждающему самого храброго, красивого и благородного воина. На материке законы быстро укореняются, и всякое грубое самоуправство должно или само сделаться законом, или отмереть как неживая сила; на море, среди неукротимой водной стихии, дух обновляется, – если король правит на суше, то на море он бессилен. Воин ищет на море сражений и добычи, которую юноша стремится принести своей невесте, мужчина – жене и детям в знак своей доблести; третий под небом чужой страны ищет не столь преходящей добычи. Главным пороком, который на Севере карали презрением или муками ада, была низость, а доблести – мужество и честь, дружба до гробовой доски и рыцарское отношение к женщинам – при стечении благоприятных обстоятельств весьма способствовали становлению так называемого «галантного духа» Средних веков. Коль скоро норманны обосновались в одной из провинций Франции, а вождь их Рольф женился на дочери короля, многие братья его по оружию

последовали его примеру и соединились с благороднейшей кровью страны, и королевский двор Нормандии стал вскоре самым блестящим в Западной Европе. Будучи христианами, норманны не могли уже заниматься морским грабежом, но, живя среди христианских наций, они могли принимать у себя следующих по их стопам братьев, приучать их к культуре, так что удобно расположенные берега Нормандии стали средоточием норманнов-мореплавателей, местом, где облагораживалась эта культура. Поскольку теперь изгнанная датчанами королевская фамилия англосаксов бежала в Нормандию и воспитанный норманнами Эдуард Исповедник подал норманнам надежду на занятие английского трона, а Вильгельм Завоеватель в одной-единственной битве выиграл все королевство и впредь на самые лучшие должности, духовные и светские, начал ставить норманнов, то в скором времени норманнские обычаи и язык стали обычаями высших слоев Англии, ее придворным языком. Все, чему научились во Франции эти некогда грубые племена захватчиков, все это перешло в Британию, включая и жестокий феодальный уклад жизни, и право пользования лесами. Хотя в дальнейшем многие законы Вильгельма были отменены и введены в действие прежние, более мягкие законы англосаксов, все же дух языка и нравов, привитый англосаксам вместе с норманнскими родами, невозможно уже было изгнать; поэтому и в английском языке зеленеет привитый к нему побег латинского. Вряд ли британская нация стала бы тем, чем стала, со всеми отличительными ее особенностями, если бы она спокойно всходила на своих старых дрожжах, – а ее беспокоили датчане, потом влились в нее норманны и увлекли за собой через море, втянув в долгие войны с Францией. Все это упражняло гибкость духа, побежденные стали победителями, и после множества потрясений явилось на свет белое здание государства, такого, какое, вероятно, никогда бы не вышло из монастырского, узкого, ограниченного жизненного строя англосаксов. Эдмунд или Эдгар не стали бы упорствовать перед папой Хильдебрандом так, как Вильгельм, и, уж конечно же, английские рыцари не соперничали бы с французскими во время крестовых походов, если бы норманны не возбудили дух нации, не взволновали его изнутри, если бы множество обстоятельств не воспитали его, даже и насильственными средствами. Как плодовое дерево не обходится без пересадки, как дикорастущее не обходится без прививки, так и народы, кажется, нуждаются, чтобы прививали им новые побеги, и для поступательного движения человечества необходимо, чтобы произошло это вовремя. Даже и самый лучший сорт погибнет, если всегда будет расти на одном и том же месте.

Не столь долго, не столь счастливо владели норманны Неаполем и Сицилией, завоевание которой – это настоящий роман, где проявлены были личная отвага и доблести храбрых искателей приключений.

С этой прекрасной землей норманны познакомились во время своих паломничеств в Иерусалим; горстка людей, от сорока до ста, предложив свою рыцарскую помощь притесняемым, заложили основу для будущих владений. Райнольф был первым графом в Аверсе, а три доблестных сына Танкреда, которые переправились сюда в поисках счастья, снискали такую славу своими подвигами в борьбе с арабами, что стали графами, а потом и герцогами в Апулии и Калабрии. За ними последовали другие сыновья Танкреда – Вильгельм с железной рукой, Дрого, Хумфрид; Роберт Гвискард и Рогер отвоевали у арабов Сицилию, и Роберт пожаловал брата этим леном – только что захваченным прекрасным королевством. Сын Роберта Боэмунд нашел свое счастье на Востоке, отец последовал за сыном, и Рогер стал первым королем обеих Сицилий, власть его была и светской и духовной. При нем и его преемниках в этом уголке Европы завязались первые бутоны молодой науки; тогда подняла свою голову школа Салерно – прямо на полдороге между арабами и монахами из Кассино; после долгой зимней спячки пошли в рост, пустили первые листья и побеги правоведение, врачебное искусство и философская мудрость. Стойко держались норманнские князья в этой стране, в столь опасной близости к папскому престолу; с двумя святыми отцами им удалось заключить мир, когда те были в их руках, своим умом и бдительностью они превзошли большинство немецких императоров. Жаль, что они с давних времен породнились с немцами и этим дали им право наследовать престол, но еще более жалко, что намерения Фридриха, последнего короля из швабской династии, намерения, которые замыслил он осуществить в этих местах, были сорваны столь жестоко и бесчеловечно. Оба королевства стали с тех пор игрушкой в руках борющихся наций, добычей чужестранных наместников и завоевателей, а прежде всего аристократии, которая поныне препятствует любому переустройству этих некогда цветущих земель.

V. Северные королевства и Германия

У северных государств, хотя до VIII века история их покрыта мраком, есть то преимущество перед историей большинства европейских стран, что в основе ее лежит мифология – песни, сказания, которые и могут послужить философией этой истории. В них мы узнаем дух народа, знакомимся с понятиями его о богах и человеке, о направленности его интересов и склонностей, о любви и ненависти, о земных чаяниях и потусторонних ожиданиях, – такая философия истории, которую, помимо «Эдды», дает нам лишь древнегреческая мифология. А поскольку на северные государства с тех пор, как финские племена были покорены или оттеснены на север, не нападал ни один чужой народ – какому народу захотелось бы отправиться в эти края после

утомительного переселения в южные области? – то история северных народов от всех остальных отличается простотой и естественностью. Где нужда правит всем, люди долго продолжают жить согласно ее велениям, а потому немецкие народы Севера на долгое время сохранили прежнее состояние свободы и самостоятельности. Отдельные племена разделялись горными и пустынными местностями; реки, озера, леса, поля, луга и богатые рыбой моря питали их, – кто не мог прокормиться на суше, отправлялся в море за пропитанием и добычей. И простота древнейших немецких обычаев и нравов надолго сохранилась в этих суровых землях, словно в северной Швейцарии, сохранится здесь и тогда, когда в самой Германии останутся от нее лишь воспоминания в легендах древности.

Когда со временем здесь, как и повсюду, люди свободные оказались в руках знати, когда аристократы стали королями этих пустынных краев, когда из множества маленьких королей вышел, наконец, один большой, то и тут удача не оставила берега Дании, Норвегии, Скандии, – кто не хотел служить, мог отправляться в иные страны; вот почему все моря, как мы видели, надолго превратились в степи для кочующих искателей приключений: для них грабеж был таким же дозволенным местным промыслом, как ловля сельди или охота на китов. Наконец, и короли занялись этим наследственным семейным промыслом; они отвоевывали земли друг у друга и у соседей; завоевания их в чужих землях были недолговечны. Сильнее всего страдали от этого берега Восточного моря: несказанно опустошая их, датчане не успокоились, пока не положили конец всей славянской торговле и их богатым морским городам – Винете и Юлину, – и над пруссами, курами, ливами и поляками, задолго до саксонских орд, осуществляли они свое право – завоевывать и жечь.

Подобному неустойчивому существованию северных народов ничто так не препятствовало, как христианство, – вместе с ним героическая религия Одина должна была совершенно прекратиться. Уже Карл Великий положил немало трудов для того, чтобы крестить датчан, как крестил он саксов, сыну его Людовику удалось перейти к делу и окрестить малозначительного королька с Ютландии. Но люди короля были недовольны этим и еще долго жгли и грабили христианские побережья, – слишком близок был пример саксов, которые, приняв христианство, стали рабами франков. Глубоко укоренена была ненависть этих народов к христианству, – Кеттиль, заклятый враг христианства, предпочел спуститься в свою гробницу и три года, до смерти, обитать в ней, только чтобы не подвергнуться насильственному крещению. Да и стоит подумать, чем могли быть для этих живших на северных островах и горах народов символ веры и канонические догматы иерархии, опрокидывавшей легенды их отцов, хоронившей обычаи рода и, при всей скудости земли, обращавшей их в рабов и

должников духовного владыки далекой Италии? Религия Одина была живой частью их языка и мыслей, – пока след воспоминания о ней оставался, христианство не могло пустить тут корни; вот почему так непримиримо враждебна была религия монахов к сказаниям, песням, обычаям, храмам, памятникам язычества, – ко всему этому привязан был народ, презиравший монашеские легенды и ритуалы. Жители Севера никак не могли усвоить запрета работать по воскресеньям, смысла постов и покаяний монашеских обетов, запрещения брака при определенных степенях родства, всего презираемого сословия священников, – святым церкви, обращавшим их в христианство, их же собственным крещеным королям пришлось немало пострадать, прежде чем благочестивый труд их был доведен до конца, а пока их нередко изгоняли и даже убивали. Но Рим умел уловить в свои сети всех, кого хотел, – непрестанные усилия миссионеров – франков и англосаксов, а прежде всего пышность нового богослужения, хоровое пение, запах ладана, свечи, храмы, алтари, колокола, процессии приводили северных варваров в состояние какого-то головокружения, а поскольку они глубоко верили в духов и волшебство, то крест расколдовал и их тоже и все их дома, капища, кладбища и утварь, и вновь околдовал их всех христианским духом, так что бес двойного суеверия вселился в них. Однако некоторые из миссионеров, прежде всего святой Ансгарий, на самом деле послужили на благо человечества, были в своем роде героями.

* * *

Наконец мы возвращаемся к так называемому отечеству немецких народов, – теперь это был жалкий их остаток, сама Германия. Чужие племена, славяне, не только захватили половину Германии, после того как бесчисленные другие народности ушли отсюда, но и из другой половины, много раз опустошавшейся, получилась провинция франков, словно рабыня служившая их великой империи. Фризы, алеманны, тюринги и – последними – саксы вынуждены были покориться и принять христианство, так что, например, саксы, становясь христианами и предавая проклятию изображения великого Водана, одновременно должны были предать в руки священного и могучего короля Карла и все свои права и все свои владения, должны были умолять его о сохранении жизни и свободы и обещать вечную верность триединому богу и священному и могучему королю Карлу. Жизненный уклад этих самостоятельных, свободных народов, привязанных теперь к престолу франков, был уже пресечен в своем дальнейшем развитии; со многими племенами обращались жестоко, с недоверием, жителей целых областей переселили в дальние края; у тех же, кто оставался на прежних местах, не было уже ни времени, ни простора для своеобычного развития. Сразу же после смерти исполина, который держал

в своих руках всю эту империю, все эти насильственно согнанные народы, Германия досталась в удел сначала одному, потом другому из слабосильных Каролингов, границы ее постоянно менялись и ей приходилось участвовать в непрекращавшихся войнах, в междоусобицах этого несчастного рода, – что же могло стать тут с Германией, с ее внутренним укладом? К несчастью, Германия служила северной и восточной границей империи франков, а следовательно, и всего римско-католического христианского мира, на этой границе жили дикие, озлобленные народы, питавшие непримиримую ненависть к христианству, и Германию они выбрали первой жертвой своей мести. Если, с одной стороны, норманны проникли в глубь страны, вплоть до Трира, и потребовали от нации заключения позорного мира, то, с другой стороны, Арнульф призвал на помощь диких венгров, чтобы вместе с ними разрушить моравское королевство славян, – этим он открыл перед венграми путь в империю и положил начало длительным и ужасным разрушениям. И, наконец, славян стали рассматривать как заклятых врагов немцев, на протяжении столетий на них оттачивалась воинская доблесть немцев.

Еще большим бременем были для Германии, отделившейся от империи франков, те средства, с помощью которых франки укрепляли величие *своей* державы. Германия унаследовала всех епископов и архиепископов империи, все аббатства, все капитулы, расположенные по границам державы и служившие для обращения в веру язычников, унаследовала прежние придворные должности, канцлеров в тех областях, которые не относились уже к империи, всех герцогов и маркграфов, которые призваны были защищать границы от нападения, всех этих чинов империи, число которых еще умножилось в войнах против датчан, вендов, поляков, славян и венгров. Самым ненужным сокровищем была, наконец, для Германии корона римского императора – она одна принесла этой стране больший вред, чем все набеги татар, угров и турок. Первый Каролинг, владевший Германией, Людовик, не был римским императором, и, пока империя франков была разъединена, папы бессовестно распоряжались этим титулом, дарили его то одному, то другому итальянскому государю, дарили его даже графу Прованскому, который потом умер с выколотыми глазами. Арнульф, ложный потомок Карла Великого, жаждал этого титула, но не получил его ни он, ни сын его, как не получили его и два первых короля, которые были немцами по крови, Конрад и Генрих. Оттон, увенчанный в Аахене короной Карла, следовал опасному примеру – он видел в великом франке образец своих дел; поскольку удачное приключение, спасение прекрасной вдовы Адельхейд из темницы, куда она была заточена, принесло Оттону целое итальянское королевство[18] и открыло ему путь на Рим, то теперь притязаниям и войнам не было конца; вся Италия, от Ломбардии до Калабрии и Сицилии, стала полем сражения,

повсюду немецкая кровь проливалась за честь императора, итальянец обманывал немца, немецких императоров и императриц подвергали жестокому обращению в Риме, Италия была осквернена немецкой тиранией, Германия же была выбита из колеи Италией, и вся энергия и дух ее устремились к югу, через Альпы; строй Германии оказался в зависимости от Рима, в самой Германии начались раздоры, и этим причинен был вред как самой Германии, так и другим странам, а сама нация не извлекла ни малейшей пользы из блестящей чести, которой удостоилась. «Sic vos non vobis»[19] – эти слова всегда были скромным девизом немцев.

Тем больше чести немецкому народу, что и в этих опасных обстоятельствах, сложившихся исторически, он стоял твердо и непоколебимо, как крепкая стена, как заслон, обеспечивая свободу и независимость Европы, всего христианского мира. Генрих Птицелов создал этот оплот Европы, а Оттон Великий умел воспользоваться им на славу; но народ, храня свою верность, добровольно следовал за своим государем и тогда, когда в условиях всеобщего хаоса сам император не знал, каким путем вести нацию. Когда сам император не мог защитить народ от грабительского произвола сословий, часть народа укрылась в городах с их стенами и от самих своих насильников получила охранную грамоту, обеспечивавшую безопасность торговли; не будь этого, страна еще долго оставалась бы дикой Татарией. Так, в этом государстве, не знавшем мира с самим собой, самими же силами нации было построено мирное и полезное государство, объединенное торговлей, союзами, гильдиями; ремесла освободились из-под тягостного ярма крепостной зависимости и благодаря немецкому усердию и трудолюбию стали искусствами, которыми можно было одарять и другие нации. Что этими последними доводились до полного развития, в том, как правило, уже испробовали свои силы немцы, хотя гнет нищеты, нужда лишь очень редко доставляли им радость видеть, что искусство их распространяется и расцветает в самом отечестве. Целыми толпами уходили немцы в чужие страны, на Севере, Западе, Востоке они становились учителями других народов в разного рода механических искусствах; они были бы учителями и в науках, если бы строй их страны не превращал всякое ученое заведение, находившееся притом в руках духовенства, в колесо запутанной машины политики, тем самым отнимая его у науки. Монастыри Корвей, Фульда для развития науки сделали больше, чем целые обширные области в других странах, и, каким бы заблуждениям ни предавались в эти века, верный, правдивый, честный дух немецкого племени можно распознать всегда, и ничто не могло разрушить его.

Немцу не уступала и немка: у всех немецких племен и народностей женщины отличаются верностью, честью, целомудрием – и неутомимым трудолюбием. Прежние ремесла немецких народов издревле

находились в руках женщин – они пряли и ткали, присматривали за челядью, и даже женщины высших сословий принимали на себя бразды правления в доме. Даже при дворе императора супруга его вела обширное домашнее хозяйство, на которое нередко уходила значительная часть его доходов, и этот обычай надолго сохранился во многих правящих домах – отнюдь не в ущерб для страны. Даже римская религия, всячески принижавшая женщину, добилась тут куда меньшего, чем в более теплых странах. Женские монастыри в Германии никогда не были в той степени, что по ту сторону Рейна или за Альпами и Пиренеями, могилами целомудрия, – совсем напротив, они были средоточиями немецкого трудолюбия, которое находило тут многообразное применение. И галантные нравы рыцарской эпохи никогда не вырождались в Германии в ту утонченную похоть, что в жарких сладострастных землях; ведь уже и сам климат диктовал уединение, жизнь протекала больше в стенах, внутри дома, тогда как другие народы занимались делами и предавались развлечениям под открытым небом.

И, наконец, когда Германия стала самостоятельным государством, она могла гордиться великими и, во всяком случае, благожелательными, трудившимися не покладая рук императорами; таковы Генрих, Оттон и два Фридриха, эти столпы Германии. Чего бы не достигли такие мужи в кругу деятельности более определенном и внутренне более упроченном?

Теперь, когда мы привели много отдельных, частных сведений, бросим взгляд на жизненный уклад немецких народов в целом, во всех завоеванных ими землях и государствах. На каких основаниях строились эти их государства? И какие следствия повлекли за собой основные принципы их устройства?

VI. Общее рассуждение об укладе немецких государств в Европе

Если устройство общества – это величайшее творение человеческого духа, человеческого трудолюбия, если устройство общества, основанного на всей совокупности условий, времени, места, конкретных обстоятельств, может быть лишь результатом длительного и многообразного жизненного опыта, постоянной бдительности, можно предполагать, что всякое жизненное устроение, какое сложилось у немцев на Черном море или в северных лесах, имело совершенно иные последствия, когда переходило к народам с уже установившимся укладом или с извращенной роскошеством и суеверием культурой. Одержать верх над этими народами было проще, чем управлять ими – или же самими собою в их окружении. Вот почему немецкие государства, которые основывались в разных местах, вскоре или погибали, или же внутренне распадались

настолько, что вся позднейшая их история только накладывала заплаты на ложное с самого начала устройство целого.

1. *Все завоевания немецких народов составляли общинную собственность.* Вся нация была как один человек; все захваченное, согласно варварскому праву войны, принадлежало народу и должно было быть распределено так, чтобы все равно оставаться общей собственностью. Как достичь этого? Кочевые народы в степях, охотники в лесах, войско во время набега могут делить добытое между собою и притом оставаться единым целым; но если народ захватывает чужие земли и расселяется на широких пространствах, то этого добиться бывает уже труднее. Каждый воин становился ведь владельцем завоеванной земли, своего удела; за ним оставались обязанность ходить на войну и прочие обязанности по отношению к государству; но проходит немного времени, и дух общности слабеет в нем; он уже не является на собрания народа и даже пытается избежать призыва на войну, теперь обременительного для него, и вместо этого принимает на себя иные обязательства. Так было, например, у франков; свободная община не прибывала уже на мартовские поля, и получалось так, что все решения были предоставлены на усмотрение короля и его слуг, и даже созывать войско стало теперь делом мучительно трудным. Итак, свободные со временем глубоко пали, потому что служить в армии они поручали, за доброе вознаграждение, всегда готовым идти на войну рыцарям, тогда как самая основа, самый ствол нации терялся, предаваясь бессильной лени, как река, которая разливается и делится на множество протоков. Если теперь, в эпоху всеобщего расслабления, государству, построенному на таком фундаменте, нанести мощный удар, – удивительно ли, что оно рухнет? Удивительно ли, что, если следовать по такому пути, не потребуется и внешний враг, чтобы лучшие права и владения свободных оказались в чужих руках – в руках людей, которые их представляют и замещают? Все в целом было устроено для ведения войн, для такой жизни, когда все должно было оставаться в движении, – но не для жизни рассеянной и не для трудолюбивого покоя.

2. *Когда король завоевывал страну, то вместе с ним сюда приходила знать, и этим его сподвижникам и вассалам, его слугам и подданным раздавались земельные наделы из числа причитающихся королю.* Сначала они раздавались пожизненно, а со временем такие имения, розданные для того, чтобы кормиться на них, стали передаваться по наследству; государь раздавал земли, пока у самого него не оставалось ничего и пока сам он не впадал в бедность. Если государство было устроено так, то обычно вассалы высасывали все соки из своего сюзерена, рабы – из своего господина, так что, коль скоро государство не переставало существовать вообще, то у самого короля не оставалось никаких привилегий и доходов и в конце концов он оказывался самым худым и бедным человеком во всем королевстве. Но если следовать обычному ходу вещей, то, как

мы видели, знать в периоды длительных войн не могла не подрывать самую основу нации, свободную общину, если только сами свободные не становились знатью; отсюда видно, насколько могло возвыситься в такие времена достославное *ремесло рыцаря,* в ту пору совершенно необходимое. Воинственные орды завоевывали целые царства; кто дольше других упражнялся в военном искусстве, тот получал, получал и получал, пока совершенно ничего уже нельзя было получить с помощью меча. Наконец, и у сюзерена не оставалось ничего, потому что он уже все роздал, а у свободной общины не было ничего, потому что свободные или совершенно оскудели, или же сами сделались благородными; итак, все были рабами друг у друга.

3. *Если короли разъезжают по общим владениям своего народа или, лучше сказать, всюду должны, но не могут одновременно присутствовать, то нельзя обойтись без наместников, герцогов и графов.* А поскольку, согласно немецкому укладу, законодательная, исполнительная и судебная власть еще не были разделены, то почти неизбежно вытекало отсюда, что со временем, при слабых королях, наместники больших городов, удаленных провинций сами становились государями или сатрапами. Как фрагмент готической постройки, их малое владение заключало в себе все то же самое, что и большое, и коль скоро, в зависимости от ситуации, они могли договориться с сословиями, возникало маленькое царство – хотя пока еще и зависимое от целого государства. Так разделились Ломбардия и империя франков, и единство их висело на одной ниточке, держалось именем короля; та же судьба ожидала и готское и вандальское королевства, если бы они просуществовали дольше. А на то, чтобы вновь воссоединить все эти отколовшиеся куски, где любая часть претендовала на то, чтобы быть целым, все устроенные по немецкому образцу государства Европы должны были затратить пятьсот лет, и некоторым так и не удалось заново обрести свои собственные члены. Семя обособления заключено в самом государственном укладе: государство – полип, каждая отдельная, обособленная часть которого содержит в себе все целое.

4. *Коль скоро все в этом целом организме опиралось на личность, то чело, то есть король, который притом отнюдь не был неограниченным государем, представлял в нем, вместе со всем своим домом и хозяйством, целую нацию. А тем самым его целокупное достоинство, лишь некоторого рода фикция государства, переходило и на его телохранителей, слуг, рабов.* Личные услуги, оказываемые королю, рассматривались как первейшие государственные обязанности, потому что окружавшие короля капеллан, конюший, стольник помогали и служили королю на заседаниях, советах и т.д. Пока нравы были грубы и просты, это было естественно, но сколь же неестественно было видеть в этих капелланах и стольниках подлинно представительные фигуры в империи, первых людей государства или, того пуще, почетные должности, передаваемые из поколения

в поколение, и так на веки веков; и тем не менее пышная варварская свита, место которой – в пиршественных шатрах какого-нибудь татарского хана, а не во дворце отца, главы, судьи нации, тем не менее эта пышная варварская свита – первое и основное в жизненном укладе любого германского государства Европы. Древняя условность государства стала голой истиной – все государство обратилось в пиршественный стол, в конюшню, в кухню короля. Что за странное превращение! Какого-нибудь раба и вассала, быть может, и мог еще представлять собою блестящий королевский слуга, но никак уж не самое тело нации, ибо нация ни в одном из свободных своих членов не была рабом короля, а была соратницей, спутницей его – челядинец короля никак не мог представлять собою нацию. Нигде это татарское устроение не процветало так, как у франков, нигде не распускалось оно таким пышным цветом, как на почве этой империи, откуда оно было пересажено норманнами в Англию и на Сицилию, вместе с короной императора перенесено было в Германию, оттуда в северные королевства, а из Бургундии было торжественно и пышно пересажено в Испанию и повсюду принесло новые цветы – в зависимости от времени и места. О такой государственной фантазии, о превращении домашнего хозяйства правителя в образ, в понятие, в сумму всего государства, не подозревали ни греки, ни римляне, ни Александр, ни Август, а родные места этой поэзии – на Яике или на Енисее, и не без тайного смысла соболь и горностай сделались эмблемой и украшением гербов.

5. В Европе подобное государственное устройство едва ли закрепилось бы и утвердилось, если бы такое варварство не встретилось здесь с другим варварским учреждением, которое появилось еще раньше, – с ним оно дружески сочеталось; этим учреждением было *варварское римское папство*. Ибо духовенство владело в те времена остатками наук, без которых даже и варвары не могли просуществовать в Европе, а потому у варваров было одно-единственное средство завоевать вместе с землями еще и науки, и средство это заключалось в том, чтобы принять епископов в свое число. Что и произошло. Вместе со знатью духовенство стало сословием в империи, вместе со слугами, придворными оно стало придворным духовенством, и духовенству, как и придворным, раздавались всяческие бенефиции, привилегии, земли, а поскольку у духовенства по сравнению со светскими лицами были и некоторые дополнительные преимущества, то ни одно государственное устройство не было так ценно и дорого для папства, как именно это. Хотя нельзя отрицать, что духовные сословия империи способствовали смягчению нравов и установлению порядка, но, с другой стороны, введение двойной юрисдикции и, можно даже сказать, появление государства в государстве пошатнули самые основы империи. Нет двух вещей более чуждых, чем римское папство и дух немецких нравов и обычаев: папство беспрестанно подрывало самые

их основы, хотя и усваивало некоторые их черты и в конце концов все обращало в сплошной римско-немецкий хаос. Что прежде так ужасало немецкие народы, то стало им теперь мило и любо, – их же собственные принципы использовали против них. Владения церкви, отнятые у государства, по всей Европе сделались единым владением, и епископ Римский управлял этим своим владением рукою более твердой и хранил его куда бдительнее, чем какой-нибудь светский государь. Государственное устройство, исполненное противоречий и гибельных междоусобиц.

6. *Воины и монахи не кормят страну;* а поскольку при описанном государственном устройстве мало заботились о трудящемся сословии, а, напротив, все только и было нацелено на то, чтобы весь мир обратить в крепостную зависимость от епископов и знати, то всякому ясно: у государства была надолго отнята самая живая пружина – *трудолюбие людей, их деятельный, изобретательный, свободный дух.* Воин казался себе слишком важным, чтобы обрабатывать почву, в результате он опускался; знати и монастырям хотелось иметь побольше крепостных душ, а крепостничество никогда еще не приводило к добру. Пока землю, пока блага рассматривали не как полезное, органическое в каждой своей части, во всем производимом им тело, а как неделимое мертвое достояние, принадлежащее короне, или церкви, или главе знатного рода, принадлежащее в виде земельного надела, с приписанными к нему рабами, до тех пор несказанно было затруднены и правильное использование земли и подлинная оценка человеческих сил. Большую часть земель составляла скудная общинная земля, люди, словно животные, липли к этой земле, а жестокий закон навеки запрещал им когда-либо отделяться от нее. Тем же путем шли ремесла и художества. Ими занимались женщины и дети, и надолго оставались они занятием для рабов; не изменилось по существу ничего и тогда, когда монахи приблизили ремесла к стенам монастырей, зная об их полезности по опыту римского мира, и тогда, когда императоры стали давать ремесленникам привилегии городских цехов. Как могли подняться искусства, если земледелие было в таком упадке? Если первейший источник богатства, независимый, прибыльный труд людей, иссяк, а вместе с ним иссякли и все ручейки торговли и свободного предпринимательства, если только поп и воин хозяйничают в стране, только они владеют имуществом, богатствами, только они всем повелевают? В соответствии с духом времени и искусства могли быть введены не иначе, как в форме общего владения (universitates), то есть в форме цехов, – грубая оболочка, которая нужна была в те времена для безопасности, но и сковывала деятельность человеческого духа, ибо дух не мог уже проявляться вне рамок цеха. Таким установлениям обязаны мы тем, что в странах, где земли возделываются веками, остались еще бесплодные общинные земли, что раз и навсегда установленные цеха,

ордена, братства во всей нетронутости сохранили былые предрассудки и заблуждения. Весь дух человеческий меряли на один аршин, и весь он укладывался в один цеховой сундук.

7. Из всего сказанного явствует, что идея немецкого жизненного уклада, идея естественная и благородная, какой она только могла быть, оставалась лишь *смелым экспериментом,* как только прилагалась к обширным странам с давней культурой, к странам с римско-католической верой, тем более к странам завоеванным, и немало искажений и извращений предстояло пережить; прежде чем сложиться более или менее прочному строю, нужно было, чтобы народы северного и южного мира долгое время и со здравым рассуждением привыкали к этим идеям, многообразно поверяли и развивали эти представления. В небольших общинах, в суде и вообще всюду, где самая суть дела – живая жизнь, немецкий жизненный уклад показал себя наилучшим, и это неоспоримо. Старонемецкие принципы – человека судят равные ему по званию, председатель суда лишь черпает право у заседателей, всякое преступление требует удовлетворения как нарушение общинной жизни и должно оцениваться не по букве, а согласно с живым взглядом на суть дела, – эти принципы, а также ряд других судебных, цеховых и иных обычаев свидетельствуют о светлой голове и справедливом уме немцев. И если говорить о государстве, то их воззрения на общую собственность, на всеобщую воинскую повинность, на общую для всех свободу нации были великими, благородными принципами; однако требовались люди, которые умеют придать единство всем членам тела, установить правильные отношения между ними, оживить все целое единым взглядом, а такие люди не рождаются по праву первородства, а потому и случилось то, что случилось: части тела, члены нации распались, увлекаемые неукротимыми энергиями, все беззащитное было подавлено, и недостаток ума и трудолюбия был возмещен долгим татарским беспорядком. Меж тем общинный жизненный уклад германских народов был во всемирной истории той прочной оболочкой, внутри которой остатки былой культуры могли спастись от бурь и непогоды, внутри которой развился общественный дух Европы, медленно и скрыто созревая, для того чтобы произвести действие свое на все части нашей земли. Сначала явились величественные призраки, призрак духовной и призрак некой другой монархии, но они способствовали осуществлению совершенно иных целей, не тех, ради которых они были основаны.

Книга девятнадцатая

Едва ли простой намек на имя имел когда-либо большие последствия, чем обращенный к святому Петру, – что на камне сем будет создана неодолимая церковь и ключи царства небесного будут даны ему[1]. Епископ, который, как все думали, сидел на престоле Петра, близ его могилы, истолковал слова эти так, что они относились к нему самому, а когда, при известном стечении обстоятельств, он встал во главе самой крупной из христианских церквей, когда он обрел право отдавать духовные приказы и предписания, возымел власть созывать соборы и выносить на них решения, утверждать и ограждать догматы, отпускать грехи, которые нельзя отпускать, разрешать то, чего, кроме него, никто не мог разрешать, короче говоря, когда он приобрел власть бога на земле, то он от этой духовной монархии незамедлительно перешел к той, что естественно следует за ней, – к светско-духовной. Если прежде он отнимал власть у епископов, то теперь бессильна была уже власть государей. Он распоряжался короной западной империи, сам же не нуждался в ее признании. Отлучение от церкви, запрет богослужения – вот в его руках наводившие страх средства; он воздвигал и раздаривал царства, бичевал королей и отпускал им грехи, отнимал у целых стран богослужение, освобождал подданных и вассалов от их обязанностей, отнял жен и детей у всего духовенства – короче говоря, он основал систему, которую долгие века могли только потрясти, но не уничтожить. Такое явление заслуживает нашего внимания, а поскольку ни одному правителю мира возвышение не далось с таким трудом, как римскому епископу, это явление заслуживает, по крайней мере, одного – чтобы мы говорили о нем без горечи и без возмущения, как говорим о любом другом государственном строе*.

* Со времен Сарпи и Пуфендорфа разработаны отдельные моменты истории папства, но вполне беспристрастной, прагматической истории не создано и поныне. Написав такую историю папства, автор «Истории Реформации»[2] мог бы придать редкое совершенство своему труду.

I. Римская иерархия

Мы привыкли к тому, что коль скоро здание построено, то в основе его лежал определенный план; но редко так бывает в политическом строительстве, ибо здесь здание возводит лишь само время. Если иметь в виду духовное величие Рима, то можно даже усомниться, было бы оно вообще достигнуто, если бы с самого начала неуклонно стремились именно к такой цели. На римском престоле побывало множество самых разных епископов, как и на всяком другом троне, а ведь если даже инструмент был превосходный, то времена порой бывали тяжелыми. Но государственное искусство этого престола, искусство, благодаря которому он так упрочился и возвысился, заключалось в том, чтобы извлекать пользу даже из тяжелых времен, а также из ошибок и предшественников, и врагов. Рассмотрим лишь некоторые исторические обстоятельства и те принципы, на которые опирается величие Рима.

Самое главное скажет нам само слово «Рим»: Рим – это древняя столица мира, венец народов, он и епископа заражал своим духом, внушал ему мысль стать во главе народов, – так, как то было мыслимо для него. Все легенды о Петре – епископе и мученике – не произвели бы такого политического действия в Антиохии или Иерусалиме, как в цветущей церкви древнего вечного Рима, – сколько всего нашел епископ в этом достойном городе такого, что возвышало его как бы помимо его воли! Гордость римского народа, которую ничто не могло искоренить и перед которой отступило столько императоров, поднимала, несла и его, пастыря первого народа на земле, подсказывала мысль научиться в этой высшей школе науки и дипломатического искусства тому самому, ради чего даже в христианские времена сходились сюда люди, – римским законам, чтобы, подобно древним римлянам, управлять всем миром, издавая свои законы и диктуя свое право. Перед глазами римского епископа стояло пышное языческое богослужение, а поскольку римский государственный строй связывал жреческую и начальническую власть, то и от своего христианского епископа народ ждал, что и он будет, как то было прежде, сразу и понтифекс максимус, и аруспекс, и авгур. Народ, привыкший к триумфам, празднествам, государственным актам, с удовольствием видел, что христианство выходит из могил и катакомб и переселяется в достойные великого прошлого храмы, – ритуалы, празднества, обряды вторично превратили Рим во владыку народов.

Уже в ранние времена мудрость Рима, дающего свой закон народам, сказалась в том, что он настаивал на *единстве церкви, чистоте учения,* на *православном и кафолическом духе,* на котором только и могло быть воздвигнуто здание церкви. Уже во II веке Виктор осмелился утверждать, что не будет признавать азиатских христиан за своих братьев, если они не будут праздновать пасху в одно время с ним; более того –

первый в церкви раскол христиан-иудеев и христиан-язычников[3] был преодолен именно Римом: Павел и Петр мирно покоятся в этом городе*. Дух всеобщего, кафолического вероучения был жив на римском престоле, и хотя некоторые папы едва умели отвести от себя упрек в ереси, преемники их всякий раз находили путь к истине и вновь становились у штурвала правоверной церкви. Рим никогда не склонялся перед ересью, как бы велик ни был натиск еретического учения: восточные императоры, остготы, вестготы, бургунды, лонгобарды были арианами, некоторые из них правили в Риме, но Рим оставался католическим. Без колебаний Рим размежевался впоследствии с греческой церковью, хотя греческая составляла как раз половину мира. Разумеется, такая основа – несокрушимая чистота, всеобщность, кафоличность веры, основанной, как утверждалось, на Писании и предании, – такая основа, при благоприятных обстоятельствах, разумеется, не могла не воздвигнуть над собою кресло духовного судьи, не могла не поддерживать его.

И такие благоприятные обстоятельства наступили. Император оставил Рим, империя раскололась на части, варвары наводнили ее, не раз захватывали они и грабили Рим, и тут епископу не раз случалось спасать город. Он стал отцом покинутой императорской столицы, и варвары, почитавшие величие Рима, имели страх перед его верховным жрецом. Аттила отступил, Гейзерих уступил; разъяренные короли лонгобардов покорились римскому епископу еще прежде, чем он стал господином Рима. Долго удавалось ему поддерживать равновесие между варварами и греками, – он умел разделять, чтобы впоследствии властвовать. А когда государственное искусство – разделять – не помогало, то уже была подготовлена им католическая Франция, которая могла прийти теперь к нему на помощь; епископ римский перешел через Альпы и получил от своего освободителя больше, чем искал, – и свою епископскую столицу, и все города экзархата. Наконец, Карл Великий стал римским императором, и тогда стали говорить: один Рим, один император, один папа! Это были три имени, которые нельзя было разъединить, – в них отныне заключено было благо народов, в них же – их горе. Неслыханные вещи позволил себе римский епископ уже по отношению к сыну своего благодетеля, – но худшая доля ожидала преемников в позднейшие времена. Епископ примирял императоров, повелевал им, лишал их власти и срывал корону с их главы, потому что думал, что сам надел ее на их чело. Добродушные немцы, которые в течение трехсот пятидесяти лет ездили в Рим за этим сокровищем, которые послушно приносили в жертву венцу кровь своих народов, сами довели высокомерие пап до таких устрашающих пределов. Не будь немецкого императора, не будь империя его устроена столь жал-

* Об этом – в другом месте [4].

ким образом, никакой Хильдебранд не произошел бы на свет, – до сих пор Германия – из-за своего плачевного строя – служит подушечкой, на которой возлежит римская корона.

Языческий Рим был удобно расположен для своих завоеваний, христианский Рим – удачно для своих. С Северного и Восточного моря, с берегов Черного моря и с Волги приходили бесчисленные народы, и епископ римский должен был осенить их знамением креста, чтобы они могли жить спокойно в этой области католического правоверия, а кто не приходил сам, того искал он. Молитвы и ладан посылал он народам, а они взамен этого слали ему золото и серебро и наделяли многочисленных слуг его полями, лесами, лугами. Но прекраснейший дар, который приносили они ему, было их открытое простое сердце, – они грешили больше, чем знали грехов, и приняли из рук папы перечень грехов, чтобы принять от него отпущение их. Тут ключи Петра пришли в движение, и звон их не оставался без вознаграждения. Каким прекрасным уделом духовенства были земли готов, алеманнов, франков, англов, саксов, датчан, шведов, славян, поляков, венгров и пруссов! Чем позже входили народы в царство небесное, тем дороже платили они за вход, нередко расплачиваясь своими землями и свободой. Чем дальше на Север, чем дальше на Восток, тем медленнее совершалось обращение, тем внушительнее была благодарность; чем труднее принимал народ веру, тем крепче учился он веровать. И, наконец, духовное стадо римского епископа простиралось уже до Гренландии на Севере, до Дуная и Днепра на Востоке и до самых отдаленных предгорий Запада.

Винфрид, или Бонифаций, обративший в христианство немцев, больше любого императора способствовал укреплению власти папы над епископами. Будучи епископом в стране язычников, он поклялся в верности папе, – впоследствии же требованиями и уговорами удалось убедить и других епископов дать такую клятву, и, наконец, она стала в католических странах законом. При Каролингах земли все снова и снова делились, епископские епархии разрывались на куски, и у папы было немало удобных моментов, чтобы управлять в их епархиях. И, наконец, собрание декреталий Псевдо-Исидора, одна-единственная книга, впервые появившаяся где-то в промежутке между империей франков и немецкой империей, во времена Каролингов, послужила папе больше, чем десяток дарственных грамот императоров, – по невежеству, невниманию, из хитрости все написанное в этой книге сочли правдой, и этим были сразу же утверждены и древнейшие права, и новейшие злоупотребления; ведь и вообще невежество, суеверие было тем обширным, глубоким морем, в котором ловили души сетью апостола Петра, а море это покрывало весь западный мир. Государственная мудрость римских епископов прежде всего сказывается в том, что и самые неприятные, самые противные обстоятельства они заставляли служить себе. Долгое

время их прижимали императоры Восточной империи, а потом и западные императоры, и, однако, именно за римским епископом Константинополю пришлось признать звание кафолического епископа, и именно он получил от Германии право инвеституры духовных сословий империи. Греческая церковь отпала от Рима, и это тоже на пользу папе, который никогда не мог бы пользоваться в ней тем же авторитетом, что в западной, – тем энергичнее прибрал он теперь к рукам западную церковь. Явился Магомет, арабы завладели значительной частью южной Европы, они показывались невдалеке от Рима и пытались высадиться здесь на сушу, но и эти беды были выгодны папе, потому что он сумел воспользоваться и слабостью греческих императоров, и опасностью, которая нависла над Европой, – он сам отправился на поле сражения, выступил в роли спасителя Европы, отныне христианство стало знаменем священной войны с неверными. Это – страшные войны: грозя отлучением, интердиктом, папа мог вынудить начать такую войну, – сам он был не только герольдом войны, но нередко и полководцем, и казначеем. Он воспользовался и удачами норманнов в борьбе с арабами; он наделил их землями, которые ему не принадлежали, и благодаря этому обеспечил себе тылы, чтобы сосредоточиться на главных целях. Верно сказать: дальше всех будет тот, кто поначалу и не знает, куда дойдет, но, согласно твердым правилам, пользуется всяким преимуществом, которое дарует ему время.

* * *

Отметим же еще некоторые из этих правил, которыми пользовалась римская курия на пользу себе, отметим их беспристрастно, не испытывая ни любви, ни ненависти.

1. *Господство Рима опиралось на веру,* на такую веру, которая и на земле и на небе должна была способствовать спасению душ. Все средства, с помощью которых можно направлять людские души, должны были войти в эту систему, и все эти средства добыл Рим. Человек всегда был во власти церкви, от материнского чрева и до могилы, и даже в чистилище, и он не мог освободиться от власти церкви, не навлекая на себя несчастья без малейшей надежды на спасение; церковь формировала ум человека, она беспокоила и умиротворяла его сердце, исповедь была ключом к тайнам человеческого сердца, ключом к его совести, ко всему, что носил он в себе, и этот ключ тоже был в руках церкви. Под ферулою церкви верующий всю жизнь оставался ребенком, и, грозя смертью, церковь связывала его семикратными узами[5], чтобы с большей щедростью развязать раскаивающегося и щедрого на дары человека. Такова была судьба нищих и царей, рыцарей и монахов, мужчин и женщин, – не смея пользоваться ни своим разумением, ни своей совестью, люди обращались к церкви, и не было недостатка в направлявших шаги их. А поскольку человек в душе своей ленив и,

привыкнув к христианской заботе о душе, не может уже обходиться без нее и, напротив, своим потомкам оставляет в наследство кроткое ярмо церкви – словно перину для больного, – то власть церкви была утверждена в самой душе человека. Как только церковь полонила разум и совесть верующего, все было в ее руках, а что сеяла она духовное, а пожинала телесное, то был пустяк, – при такой преданности верующих церкви она уже при жизни человека успела давным-давно унаследовать всю сокровенную его душу.

2. *Чтобы направлять веру человека, церковь отнюдь не пользовалась самыми великими и важными средствами, а, напротив, пользовалась самыми малыми и самыми доступными,* – церковь знала, как легко удовлетворить немногим религиозные чувства людей. Крест, образ Богоматери с ребенком, месса, четки достигали своей цели лучше, чем самые утонченные рассуждения, но и такой домашней утварью церковь пользовалась крайне экономно и бережно. Где довольно было мессы, не было нужды в причастии, а где довольно было простой мессы, не было нужды в музыке; где вкушали пресуществленный хлеб, можно было обходиться без пресуществленного вина. Благодаря такой экономии у церкви появлялась возможность разрешать бесчисленные вольности и дарить отнюдь не дорогие подарки; самого бережливого, рачительного хозяина следовало бы спросить, может ли он из воды, хлеба, вина, из нескольких побрякушек и безделушек, из шерсти, мирра и креста сделать больше, чем сделала церковь! То же относится и к формулам, молитвам, церемониям. Церковь никогда ничего напрасно не выдумывала и не предписывала; прежние формулы остались, хотя новые времена испытывали потребность в новых; благочестивое потомство должно было обретать блаженство, как обретали его предки. Тем более церковь никогда не признавала совершенных ею ошибок; если совершены они были слишком уж на виду у всех, то совершенное уничтожалось, и уничтожалось самым хитроумным манером, – в противном случае все оставалось по-прежнему и не улучшалось, а умножалось. Прежде чем небеса заполнились святыми, церковь уже переполнилась богатствами и чудесами, следуя по столь рассудительному пути, а что касается совершенных святыми чудес, то тут фантазия рассказчиков не утомляла себя. Одно и то же повторяется, все строится на великом принципе общедоступности, понятности, обыденности, потому что при полной невероятности события частое повторение его без малейшей тени смущения заставляет, наконец, поверить в его реальность, – так нередко и верили в подобные рассказы.

3. Прибегая к своему принципу самого малого, римское государственное искусство умело связать воедино *самое тонкое* и *самое грубое,* так что трудно превзойти церковь и в той и в другой крайности. Не бывало человека более смиренного, кроткого, проникновенного в мольбах, чем римский папа в тяжелые времена бедствий или в разговорах с людьми

добросердечными и послушными, – то слышится голос святого Петра, то заботливейшего отца, – но никто не пишет, никто не поступает так откровенно, так грубо, так решительно и жестоко, как он, если только есть в этом необходимость. Папы никогда ничего не обсуждают – они указывают и повелевают, и всякий раз прокладывает себе путь хитроумная дерзость, – когда они умоляют и упрашивают, когда требуют, грозят, упорствуют, карают; таков язык римско-католических булл, почти не имеющий в этом равных себе. Отсюда совершенно своеобычный тон церковных законов, посланий, декреталий в Средние века, тон, весьма характерно отличающийся от достоинства, с которым говорит древнеримское законодательство; раб Христов привык разговаривать с подданными, со светскими людьми, будучи уверен в своей правоте, ему не приходится брать назад свои слова. Этот священный деспотизм, украшенный достоинством отца, совершил на свете больше дел, чем пустая учтивость ничтожных дворцовых интриг, которым никто не доверяет. Папа знал, чего он хочет, знал, каким языком требовать послушания.

4. *Ничем отдельным в гражданском обществе римское государственное искусство не занималось особо, ничему не отдавало предпочтения,* – папская курия существовала ради самой себя, пользовалась всем, что ей подчинялось, могла уничтожить все, что бы ни противостояло ей, ибо вся суть была заключена для нее лишь в ней самой. Духовное государство, жившее за счет христианских держав, не могло не приносить пользу – то наукам, то нравственности и порядку, то земледелию, художествам, торговле, если этого требовали его цели, но папизм никогда не заботился ни о чистом просвещении, ни о прогрессе на пути к лучшему государственному строю, ни обо всем том, что необходимо для этих целей; все это он не принимал близко к сердцу, как показывает вся история Средних веков. Он мог раздавить самые прекрасные ростки нового, если новое было сопряжено с опасностями, и более ученый папа римский должен был скрывать свои мнения или приспособлять их к существующим, если они слишком удалялись от вечных целей папского престола. А все, что способствовало этим целям, – искусства, проценты, муниципальные города с их бунтами и мятежами, поля и земли, подаренные церкви, – обо всем таком церковь пеклась, всем этим управляла она к вящей славе господней. В какое бы движение ни приходил мир вокруг, церковь была недвижным центром вселенной.

5. *А для такой цели римской державе служило все, что было полезно ей,* – и войны, и мечи, и пламя, и темницы, и подложные сочинения, и ложная клятва на гостии, и суды инквизиции, и интердикты, и горе и несчастье, погибель на земле и на небе. Чтобы возмутить страну против ее государя, можно было отнять у нее все средства к достижению блаженства, кроме соборования; с ключами святого Петра в руках тут распоряжались и заповедями Бога, и заветами людей, правами народов и граждан.

6. *А коль скоро церковь должна была превозмочь врата адовы,* поскольку только вечность, одну только вечность проповедует вся эта система канонических установлений, сила ключей вязать и разрешать, власть священных символов, дар духа, который от Петра переходит к преемникам его и к рукоположенным им, – кто может представить себе державу, что глубже проникала бы в жизнь людскую? Священники преданы ей душою и телом, вечные слуги ее навеки, – голова их обрита, данные ими обеты нерушимы. Узы, связывающие церковь и священника, не развязать никому, церковь отнимает у священника жену, детей, отца, потомство; срезанный с плодоносящего древа рода человеческого, он прививается к вечно сухому древу церкви, – его честь – это отныне и навеки честь церкви, ее польза – и его польза; невозможно переменить мысли, невозможно раскаяться в совершенном, лишь смерть оканчивает его рабское служение. Взамен всего отнятого церковь указывала этим пленникам широкое поприще, на котором они могли искать вознаграждения, – высокую лестницу со множеством ступеней, на которой можно было стать богатым, властным рабом, господином всех свободных людей, всех великих мира сего. Честолюбца церковь будоражила почестями, набожных – благочестием, для всякого находилась приманка и награждение. Кроме того, всему этому законодательству присуща та особенность, что, пока сохраняется хотя бы остаток его, оно существует и все в целом, – коль скоро человек следует одному принципу, он должен следовать всем; таков камень Петра, на котором ловят души его непреходящей сетью, такова неразделимая одежда, которая даже среди воинов, бросающих жребий, могла достаться только одному [6].

7. А кто же был этим одним в Риме, кто стоял во главе священной коллегии? Не плачущего ребенка, которому присягают на верность, стоя у его колыбели, заранее одобряя все его будущие капризы, и не играющего в игрушки мальчика, в доверие которого надо входить, спуская ему все его юношеские проделки, чтобы впоследствии стать изнеженным фаворитом его настроений, – избирали всегда мужчину, старца, который, как правило, давно уже поднаторел в делах церкви и хорошо знал то поле, на которое нужно было звать работников. Или старец этот был в родстве с государями своего времени и в критическое время был призван лишь для того, чтобы разрешить трудности. Немного лет оставалось ему для жизни, и он никак не мог накопить богатств для своих наследников, а если бы даже он и собрал их, то редко это заслуживало даже и упоминания в обширном мире христианского понтификата. Цели римского престола были неизменны, и умудренный опытом старец должен был только дать свое имя событиям, которые происходили. Немало пап пало под бременем возложенного на них долга, зато другие, люди смелые и стойкие, опытные правоведы, умудренные государственные мужи, за несколько лет могли совершить больше, чем бессильные правительства за полстолетия. Длинный ряд

имен пришлось бы привести, если бы мы захотели назвать лишь самых выдающихся, достойных, великих пап, – вспоминая их, приходится всякий раз жалеть, что они не могли трудиться ради иных целей. Расслабленных сластолюбцев на римском престоле было меньше, чем на светских тронах, и у многих из них пороки бросаются в глаза только потому, что это были пороки римских пап.

II. Как воздействовала церковная иерархия на Европу

Прежде всего следует упомянуть то доброе, что должно было принести с собой христианство по своей природе, какая бы оболочка ни скрывала его. Сострадая к бедным и утесняемым, христианская религия принимала их под свою защиту даже во времена диких варварских грабежей, – множество святых епископов в Галлии, Испании, Италии, Германии явили это сострадание. Жилища их и храмы становились убежищем притесняемых; они выкупали рабов, освобождали похищенных и препятствовали отвратительной варварской работорговле, как только, чем только могли. Эту честь нельзя отнять у христианства; верное своим принципам, оно было милосердным и великодушным к угнетаемой части человечества; с самых первоначальных времен христианство способствовало спасению людей, что подтверждают многие, даже не политические, законы восточных римских императоров. Поскольку в западной церкви тем более не могли жить без подобных благодеяний, о них свидетельствует немало декретов испанских, галльских, немецких епископов, не говоря уже о папах.

Равным образом нельзя отрицать и того, что в эпоху всеобщей неуверенности в завтрашнем дне храмы и монастыри были священными прибежищами тихого трудолюбия, торговли, земледелия, искусств и ремесел. Духовенство учреждало ярмарки, которые в честь их доныне именуют по-немецки «мессами», и окружали их божьим миром даже тогда, когда повеления императора и короля не могли гарантировать их безопасности. Художники, ремесла стягивались к монастырским стенам, ища защиты от дворянства, всех стремившегося обратить в крепостную зависимость. Монахи своими руками и руками других обрабатывали запущенные земли; они сами изготовляли все, в чем нуждался монастырь, или, по крайней мере, поощряли монастырское усердие и трудолюбие. В монастырях нашли спасительный кров и уцелевшие античные авторы, – переписывая их от случая к случаю, их сберегли так для потомства. А с помощью богослужения, пользовавшегося латынью, сохранялась, наконец, и та слабая связь, которая впоследствии повела к прошлому, к литературе древних, чтобы вывести из нее на будущее новую, лучшую истину. Такие времена и нуждаются в монастырских стенах, паломник может найти в них защиту и пропитание, крышу над головой, удобства, надежное пристанище. Паломничества и путешествия подобного

рода впервые связали страны мирными путями; посох берег тех, кого не сохранил бы и меч. Благодаря путешествиям составились и первые, ребяческие, знания о чужих странах, а помимо них – сказания, рассказы, романсы и поэмы.

Все это верно, никто не может этого отрицать; но коль скоро многое из сказанного могло совершиться и без римского епископа, посмотрим, какую же пользу принес Европе этот духовный владыка.

1. *Многие языческие народы были обращены в христианскую веру.* Но как? Нередко огнем и мечом, при помощи тайных судов, истребительных войн. Пусть не говорят, что не римский епископ подал к ним повод, – он одобрил их, пользовался их плодами, а когда это было возможно, то и подражал им. Вот откуда пошли суды над еретиками, во время которых пелись псалмы, вот откуда крестовые походы, ставившие целью обращение язычников, походы, приносившие добычу, которую делили между собой папа и государи, ордена, прелаты, настоятели соборов, священники. Кто не погибал, становился крепостным и до сих пор остается в крепостной зависимости, – так была основана христианская Европа, так закладывались империи, освящаемые папой, а позднее распятие понесли во все части света, превратив его в знак убийства. В Америке еще дымится кровь убитых там людей, а закрепощенные народы Европы все еще клянут насильников, обративших их в христианство. А вы, бесчисленные жертвы инквизиции в Южной Франции, Испании, в других частях света, ваш пепел разнесся по всему свету, ваши останки обратились во прах, но история ужасов, совершенных над вами, – вечное обвинение от имени оскорбленного в лице вашем человечества.

2. Иерархии приписывают ту заслугу, что *она объединила все народы Европы в одной христианской республике;* но что же это за республика? Что все народы вставали на колени перед распятием и слушали одну и ту же мессу, – это, конечно, тоже что-то, но не много. В духовных делах всеми народами одинаково управлял Рим, и народам это приносило не много пользы, ибо дань, уплачиваемая Риму, и бессчетное воинство монахов, клириков, нунциев, легатов тяжелым бременем ложилось на страны Европы. Европейские державы в ту эпоху как никогда не знали мира, – среди прочих причин еще и потому, что именно папа навязывал Европе ложную государственную систему. Христианство решительно воспрепятствовало морским грабежам язычников, но могучие христианские народы жестоко трепали друг друга, а каждый из них внутри полнился раздорами и проникнут был, в делах светских и духовных, каким-то грабительским настроением. Именно сама двойная держава – папское государство в сердце каждого из государств – и приводила к тому, что ни одна империя не могла прийти к своим собственным началам, о которых впервые задумались, лишь освободившись от верховной власти папства. Итак, христианской республикой Европа оказывалась только перед

лицом язычников, да и это редко приносило ей славу, ибо едва ли и для эпического поэта есть что-либо достославное в крестовых походах.

3. Славу римской иерархии полагают в том, что *она противопоставила себя деспотизму светских государей и дворянства и помогла встать на ноги низкому сословию.* Это само по себе верно, но только нуждается в значительных ограничениях. Изначальному укладу немецких народов деспотизм был столь противен, что, скорее, можно было бы утверждать, что немецкие короли научились деспотически править у епископов, если только можно научиться такому душевному недугу. А именно епископы и внесли в законы народов, в воспитание их эти восточные и монашеские представления о слепой покорности воле верховного владыки, позаимствовав такие понятия у своего собственного сословия, у Рима, и найдя их в ложно толкуемом Писании; епископы превратили служение государя в бездеятельное достоинство, а государя они помазали елеем божественных прав, благословив распоряжаться всем, как подсказывает ему тщеславный нрав. Именно к помощи духовенства прибегали короли, чтобы положить начало своей деспотической власти, духовенство ублажали подарками и привилегиями, а тогда можно было пожертвовать интересами других людей. И вообще, не епископы ли показывали пример светскому государю, расширяя власть свою и привилегии, и не с него ли брали они пример? Не они ли освящали противозаконную добычу? Наконец, папа, этот судья королей и деспот из деспотов, все решал по божескому праву. Во времена Каролингов, франков, во времена швабских императоров он заявлял небывалые претензии, – если бы нечто подобное допустил светский государь, он вызвал бы всеобщее недовольство; далее, одна жизнь Фридриха II из династии швабских королей, жизнь его с малолетства, когда опекуном его был римский папа, ученейший правовед, и до смерти его и до смерти внука его Конрадина – это, должно быть, итог всего, что вообще может быть сказано о том, как папы осуществляли власть судьи над государями Европы. Кровь этого дома пала на апостольский престол. Какое ужасающее величие – судить всех королей, все страны от имени христианского мира! Красноречивые доказательства тому – Григорий VII, человек незаурядный, далее – Иннокентий III, Бонифаций VIII...

4. *Влияние больших религиозных институций римской иерархии во всех странах очевидно;* быть может, и науки давно уж обнищали бы, если бы не питались скудными крохами с древнего священного стола. Однако и в этом есть опасность ложно понять дух старинных времен. Не было такого бенедиктинца, который главным делом заботился бы о земледелии, а не о монашеском благочестии. Он переставал работать, как только мог не работать, а какие крупные деньги, из вырученных им, попадали в Рим и в другие места, куда им совсем не следовало попадать! И если монахи-бенедиктинцы приносили большую пользу, то ведь за ними последовали

другие ордена, которые были очень выгодны для римской иерархии, но были крайне обременительны для наук и искусств, для государства и человечества, – это прежде всего монахи нищенствующих орденов. И место всем этим монахам и монахиням, за исключением только братьев и сестер милосердия, – лишь в те жестокие, темные, варварские времена. Кто в наши дни станет основывать монастырь по чину святого Бенедикта, для того чтобы возделывать землю, кто станет строить собор, чтобы проводить в нем ярмарки, кто станет учиться у римского епископа тому, как лучше всего вести государственное хозяйство, и кто у обычного монастырского схоласта – тому, как устраивать школу? В те же стародавние времена бесценно было все, что хотя бы отчасти способствовало развитию наук, нравственности, порядка, милосердия.

Но только пусть никто не причтет к таким благодеяниям насильственные обеты воздержания, безделия, монастырской нищеты! И чтобы *ни одна религиозная партия не поступала так!* Ибо обеты эти были жизненно необходимы для папского престола, для папы с его верховной властью, – слуг церкви нужно было отнять у живого мира, чтобы они всецело служили только государству папы, – но для человечества эти обеты неестественны и бесполезны. Кто хочет, кто может, пусть живет в безбрачии, пусть попрошайничает, пусть распевает псалмы, бичует свое тело и перебирает четки, но поощрять целые особые цеха, чтобы они пользовались всеобщим покровительством и под видом святости и чрезвычайных заслуг могли жить за счет людского трудолюбия и общеполезного усердия, в ущерб честной семейной жизни и даже склонностям и влечениям нашего естества, чтобы они наделялись всяческими преимуществами, доходными местечками и заслуживали бы самую вечность! – кто одобрит, кто похвалит это? Что больные монахини таяли от любви, что у монахов были свои секреты, что духовенство грешило тайно и явно, что узы брака оскорблялись им, что церковь копила богатства умерших в одиночестве, что болезненное тщеславие обособленного духовного сословия питалось всем этим, – это, как и все прочие заблуждения умов, мало заботило Григория VII, но раскрытая книга истории ясно показывает нам, к чему привели подобные злоупотребления.

5. Итак, не похвалим и те *паломничества,* которые совершались святыми бездельниками: если не было от этих странствий пользы для торговли, если они не помогали узнавать новые земли, то они лишь отчасти и очень несовершенно способствовали знакомству со странами и народами. Конечно, удобно было пускаться в путь в одеянии пилигрима, повсюду пользоваться защитой и покровительством, находить пропитание и ночлег в щедрых монастырях, повсюду встречать попутчиков и, наконец, под сенью священной рощи или храма обрести утешение и отпущение грехов. Но если сладостные мечтательства свести к серьезной реальности, то можно увидеть, что, облачившись в священные одежды,

нередко странствуют по земле злодеи, желающие легкой прогулкой искупить тягчайшие преступления, что переодетые паломники бродят по всему свету, безумцы, оставившие, раздарившие все имение свое, отрекшиеся от первейших обязанностей своего сословия, от долга перед человечеством, – теперь они испорчены навек, тщеславные, расточительные, развратные глупцы. Паломники редко вели жизнь святых, а суммы, которых еще и теперь стоят они некоторым государствам, тем, в которых расположены главные места их поклонения, попросту разоряют эти страны. Уже одно то, что эта болезнь благочестия, увлекавшая людей в Иерусалим, положила начало крестовым походам, вызвала к жизни несколько религиозных орденов и самым жалким образом опустошила Европу, которая совсем обезлюдела, уже это одно – лучшее свидетельство против нее; а если под видом этой болезни на Восток и проникали христианские миссионеры, то едва ли чистое благо составляло их конечную цель.

6. Наконец, и узы, несомненно связывавшие в одно целое все римско-католические страны, тоже были не без своего сучка, потому что *латинский язык монахов* не только мешал развиваться народным наречиям Европы, а следовательно, и самим европейским народам, но он, наряду со всем прочим, совершенно лишил народ всякого участия в решении общих дел, потому что народ не понимал латыни. А коль скоро народный язык был вытеснен из общих дел нации, то вместе с тем был вытеснен и сам национальный дух, тогда как вместе с монашеской латынью в жизнь проникала монашеская набожность, – монахи умели достигать чего хотели и лестью, и хитростью, и даже подлогом. Духовенству, то есть сословию ученому, было на руку, а самим народам только во вред, что все государственные акты, все законы, решения, все завещания, грамоты, торговые сделки на протяжении долгих веков совершались на латинском языке и что на латыни написаны были и исторические хроники. Ибо лишь с культурой родного языка народ может подняться из варварства, а Европа потому так долго оставалась варварской, что чужой язык почти на тысячу лет пленил их органы речи, отнял у народов самые остатки их письменных памятников и на долгое время совершенно лишил их отечественного свода законов, своеобычного строя и истории. И только история одного народа зиждется на памятниках родного языка – это история России, но произошло это именно потому, что государство это осталось чуждо римской иерархии: Владимир не принял папского нунция. В других же странах Европы монашеская латынь вытеснила все, что только могла, а если она за что-то и достойна похвалы, то лишь за то, что в минуту нужды послужила узким мосточком, по которому античная литература перешла в лучшие времена.

Ограничивая похвалы, которых обычно удостаиваются Средние века, я поступил так без большой охоты, потому что глубоко чувствую всю

ценность, которую до сих пор сохраняют для нас многие учреждения римской иерархии, я вижу, в какие тяжелые времена нужды были они основаны, и неохотно расстаюсь с этим наводящим на душу ужас полумраком, которым окружены почтенные древние здания и устроения. Римская иерархия сослужила неоценимую службу традиции, которая могла сохраниться в ней, как в грубой оболочке, способной противостоять варварскому нашествию; она свидетельствует о силе и уме людей, которые вложили в нее много хорошего, но только непреходящего позитивного значения в ней, по-видимому, не заключено. Когда плод созрел, скорлупа его лопается.

III. Светские бастионы церкви

Первоначально немецкие племена и народы избирали своих королей, и короли эти были полководцами, вождями народа, верховными судьями. Когда же королей стали короновать епископы, короли стали помазанниками божьими, покровителями церкви в своих странах; итак, когда папа короновал римского императора, то он как бы брал его себе в помощники: папа – солнце, император – месяц, а все остальные короли – звезды на небесах римско-католической церкви. Система такая была задумана во мраке, и поначалу она осмеливалась показываться на свет божий только в потемках, но очень скоро стала достоянием гласности. Уже сын Карла Великого отрекся от короны по приказу епископов и не желал возложить ее на себя иначе, как по повелению тех же епископов; при преемниках Людовика договор епископов и императора много раз возобновлялся, так что короли должны были смотреть на духовные и светские сословия своей империи как на помощников в делах церкви и государства. Наконец, Псевдо-Исидор довел до сведения всех принципы, согласно которым папа благодаря ключам святого Петра может отлучать князей и государей от церкви и лишать их власти. И в первую очередь папа притязал на право распоряжаться короной римских императоров, и это право все за ним признали. Генрих Саксонский называл себя лишь королем немецким, пока папа не позвал его и не короновал как императора; Оттон и его преемники вплоть до Фридриха II получали свою власть из рук папы, и им казалось, что благодаря этому они обретают какие-то преимущества по сравнению с другими христианскими королями, обретают даже какую-то верховную власть над ними. Нередко им трудно бывало управлять своей немецкой империей, а они еще сердились, когда у греческой империи отнимали какие-либо владения, не получив их из рук их, римских императоров; они воевали с язычниками и ставили епископов в их землях. Папа учредил христианское королевство в Венгрии, а первый польский государь-христианин был вассалом немецкой империи и из-за этой ленной зависимости велось впоследствии множество войн. Император Генрих II

принял из рук папы золотую державу в знак того, что ему принадлежит мир, а Фридрих II был отлучен за то, что оттягивал навязанный ему крестовый поход. Собор епископов низложил его, и сам папа заявил, что трон пустует; наконец, управляемый папой трон этот опустился так, что никакой чужой государь не желал занять его. Итак, христианское Солнце сыграло злую шутку с христианским Месяцем; императоры покровительствовали, покровительствовали христианству и в конце концов не могли уже защитить даже самих себя. Императоры должны были разъезжать по империи, устраивать сеймы и суды, раздавать феоды, скипетры, короны, между тем как он, папа, оставался на реке Тибр и отсюда правил миром с помощью своих послов, булл и интердиктов. Не было в целой Европе такого государства, где не разделяли бы этих представлений о короле как защитнике церкви под эгидой папы, – в течение достаточно длительного периода таково было всеобщее государственное право Европы*.

Поэтому долгое время все учреждения империи могли только подчиняться этому представлению – не церковь была в государстве, а государство – в церкви.

1. Поскольку духовные и светские лица были имперскими сословиями, то все важнейшие обычаи, государственные акты, посвящение в рыцари, наделение леном, должны были как бы скрепляться печатью церкви. На церковные праздники короли собирали свой обширный двор, они короновались в храмах, давали клятву на евангелии и мощах, одеяние их было освящено, священны были корона их и меч. По своему императорскому достоинству они рассматривались как слуги церкви и пользовались преимуществами духовного звания. Все торжественные государственные акты, как правило, были связаны с религией, богослужением. Шпага, которую получал рыцарь, была освящена на алтаре, а когда рыцарское звание было сопряжено с торжественными ритуалами ордена, то ритуалы на треть состояли из религиозных обрядов. Чувство чести и любовь соединялись с религиозностью; ибо защищать мечом своим христианство, – как и оскорбленную невинность и добродетель, – вот в чем была цель всех рыцарских орденов, как заявляли они. Давно уже Христос и апостолы, Богоматерь и другие святые были покровителями христианства, каждого сословия и должности, отдельных цехов, церквей, аббатств, замков, родов, а вскоре изображения их стали стягами, знаменами, печатями, имена их – боевым кличем и паролем. Читая евангелие, хватались за оружие; идя на битву, пели молитву. Подсказанные подобным умонастроением

* Лейбниц не раз касался при случае этой идеи и включал ее в свою историческую систему. «История развития немецкого государственного строя» Пюттера[7] дает такую нить, которой следовали в прежние времена все систематизаторы государственного права, рассуждавшие о преимуществах и притязаниях Римской империи немецкого народа.

обряды послужили подготовкой к войнам с еретиками, язычниками и неверными, – оставалось раздаться во всеуслышание призыву к большой войне, со знамениями и обетованиями, и вся Европа двинулась в поход против сарацин, альбигойцев, славян, пруссов, поляков. Даже рыцарь и монах могли соединиться в одном лице – в духовных рыцарских орденах, этом странном образовании: в некоторых случаях епископы, аббаты, даже сам папа откладывали в сторону пастырский посох и брались за меч.

Кратким примером подобных нравов послужит нам только что упомянутое венгерское королевство, которое основано было папой римским. Император и империя долго совещались о том, как утихомирить диких венгров, разбитых уже не в одном сражении, – единственным средством было крестить их; это стоило немалых трудов, но когда это удалось и сам король, воспитанный в христианской вере святой Стефан способствовал обращению венгров в христианство, ему была послана апостольская корона (по всей видимости, захваченная у аваров); ему вручили священное копье (венгерскую булаву) и меч святого Стефана, чтобы хранить церковь и распространять веру во всех концах земли, ему вручили державу, епископские перчатки, крест. Он был провозглашен папским легатом и не преминул основать каноникат в Риме, монастырь в Константинополе, лазареты в Равенне и Иерусалиме, всевозможные приюты и ночлеги; паломники шли теперь через его страну, он приглашал священников, епископов, монахов из Греции, Богемии, Баварии, Саксонии, Австрии, Венеции, он построил монастырь в Гране и еще ряд епископских резиденций и монастырей; епископов, которые должны были отправляться с ним на битву, он сделал сословием своей империи. Он издал закон, который в касавшейся духовных дел части повторял западные, прежде всего франконские капитулярии и майнцские церковные постановления, – этот закон лег в основу нового христианского государства. Таков был дух времен; весь строй Венгрии, отношения сословий, судьбы граждан были основаны на нем, и все точно так, с незначительными изменениями в зависимости от времени и места, было в Польше, в Неаполе и на Сицилии, в Дании и Швеции. Все плыло в одном море церкви, с одного борта была феодальная власть, с другого – епископская, король или император служил парусом, папа сидел у руля и вел корабль по волнам.

2. Во всех государствах *судопроизводство* было архикатолическим. Установления народов, их обычаи должны были безоговорочно отступить перед указами пап и решениями церковных соборов; даже когда получило распространение римское право, право каноническое стояло выше его. Нельзя отрицать, что благодаря этому силой стирались такие черты нравов, как грубость, резкость, неотесанность, ибо если религия снисходила до того, чтобы освящать поединки или заменять их божьим судом, то она ограничивала их и вводила суеверие в рамки

менее гибельных правил*. Аббаты и епископы были божьими, мировыми судьями на земле, духовные лица писали в судах, составляли законы, уставы, капитулярии, в самых важных делах они нередко выступали посланцами государей. У северных язычников они пользовались огромным авторитетом в суде, и авторитет этот перешел к христианству, пока, в более позднее время, епископов не вытеснили в суде доктора прав. Монахи, исповедники нередко бывали оракулами князей, а святой Бернард был оракулом всей Европы в дурном деле крестовых походов.

3. То немногое, что знали в Средние века об *искусстве врачевания,* если только не занимались им иудеи и арабы, было присвоено духовенством, а потому, как и у северных язычников, это искусство было насквозь пропитано суеверием. Черт и крест, святыни и заклинания играли большую роль, ибо подлинное познание природы, за исключением узкой традиции, которая еще продолжала существовать, совершенно ушло из Европы. Вот почему так распространились болезни, известные под названиями проказы, чумы, черной смерти, пляски святого Вита и других, которые захватывали целые страны Европы, заражая всех и каждого; никто не мог сдержать их, потому что никто не знал их природы и не мог применять против них верных средств. А нечистоплотность, отсутствие белья, теснота жилищ и даже затуманенное суевериями воображение – все это могло лишь способствовать распространению заразы. Вот что было бы настоящей защитой и покровительством, если бы вся Европа по приказу императора, папы и церкви поднялась и объединилась против таких эпидемий, этих настоящих дьявольских дел, если бы они не допустили в свои страны ни оспу, ни чуму, ни проказу, – однако их допускали, и болезни бушевали, не укрощенные никем, пока яд их не пожирал самого себя. Но, впрочем, и теми недостаточными мерами, которые применялись против болезней, люди были обязаны церкви: не зная искусства врачевания, люди творили дела милосердия**.

4. *Науки* относились не столько к государству, сколько к церкви. Чего хотела церковь, тому она учила, то и записывалось; всякое знание шло от монастырских школ; монашеский образ мыслей царит, стало быть,

---

* Все благое влияние духовной власти на умиротворение столь воинственной в те времена Европы, на развитие земледелия никто, насколько мне известно, не показал в таком насыщенном и прагматическом изложении, как Иоганнес Мюллер в своей «Швейцарской истории». И хотя это только одна сторона, о ней тоже нельзя забывать.

** История оспы, чумы, проказы в Европе известна по сочинениям многих врачей, которыми были сделаны и предложения, служащие к искоренению этих болезней, что отчасти и было достигнуто. «История наук в Бранденбурге» Мёзена[8] содержит много интересных замечаний о медицине и лечебных заведениях, какие существовали в Средние века.

и в тех немногочисленных творениях духа, которые явились в Средние века. Даже историю писали не для государства, а для церкви, потому что помимо духовенства читать умело ничтожное меньшинство, а поэтому и у лучших писателей Средневековья заметны следы поповских представлений. Легенды и романы – то единственное, что способен был придумывать тогда человеческий ум, – все вращалось в узком кругу, ибо сочинения древних читали мало, материала для сравнения не было, а способы представления, которые подсказывало тогдашнее христианство, были скоро исчерпаны. Поэтической мифологии христианство вообще не допускало; несколько черточек из древней истории, рассказы о Риме и Трое, смешавшиеся с более новыми событиями, – вот и весь довольно грубый ковер средневековой поэзии. А когда началась поэзия на народных языках, то и тогда писали о духовных материях, странно спутывая их с героическими и рыцарскими сюжетами. Вообще же говоря, ни папа, ни император не заботились о литературе*, если рассматривать ее как средство просвещения, – одно только право было совершенно необходимо и тому и другому, при тех небывалых притязаниях, которые были им свойственны. Папа Герберт[9], который любил и знал науки, – редкостная птица Феникс; корабль церкви вез на себе тяжелый балласт монастырских дисциплин.

5. И от *искусств* осталось то немногое, без чего не могли обходиться церкви, замки, башни. Так называемая готическая архитектура[10] так тесно срослась с духом времени, с религией, с образом жизни, с потребностями и духовным климатом того времени, что развивалась по периодам в полном соответствии с историей рыцарства и поповства, иерархии и феодального строя. Из малых искусств сохранялись и совершенствовались те, что украшали оружие рыцаря, создавали красоту и убранство церквей, замков, монастырей; создавались мозаика и резьба, цветные стекла и инициалы книг, изображения святых, ковры, ларцы с реликвиями, дароносицы, ковчеги, кубки и чаши. Со всего этого, не исключая церковную музыку и охотничий рог, началось в Европе возрождение искусств, – насколько же иначе, чем некогда в Греции!**

6. Характер *промыслов* и *торговли* был во всем определен церковным и феодальным строем Европы, все включавшим в свою орбиту. Вот в чем, без всякого сомнения, короли и императоры были благородными покровителями и защитниками, – они защищали города от разбоя и грабежей и спасали художников и ремесла от ига крепостной зависимости, давая привилегии, разрешая беспошлинный ввоз товаров, гарантируя

---

* Отдельные исключения из этого печального правила будут показаны в следующей книге; пока речь идет о самом духе времени.

** Весьма интересным трудом была бы «История искусств в Средние века», особенно история так называемой готической архитектуры: временной его заменой мог бы послужить подбор наиболее замечательных работ Британского общества древностей.

безопасность ярмарок и торговых путей, они способствовали развитию свободного труда и торговли, они стремились искоренить варварский обычай захвата потерянного при кораблекрушении имущества, они пытались освободить от тягот полезных тружеников города и села, – внесла в это вклад свой и церковь, снискав славу*. А дерзкая мысль Фридриха II, задумавшего отменить в своих городах все цехи и братства, как и многие другие замыслы этого решительного, властного человека, выходили за пределы возможностей того времени. Союзы, объединения были тогда еще насущно необходимы, – как в рыцарских орденах, как в монастырских общинах тут все были за одного; даже в самых незначительных ремеслах ученик проходил различные ступени своего служения, точно так, как воин и монах в своем ордене. И каждый шаг, который он делал по ступеням лестницы, сопровождался, как у рыцарей и монахов, торжественным ритуалом; дух обществ, гильдий распространился и на торговлю. Самые крупные союзы, даже Ганза, образовались из отдельных братств, объединявших в себе купцов, которые поначалу путешествовали по странам, как странствуют паломники; опасности, беды, которые подстерегали торговца на суше и на море, заставляли все расширять их союзы, заставляли строить их все ввысь и вширь, пока под защитой христианского мира Европы не сложилась обширная *купеческая республика,* подобной которой никогда не было на свете. Такими же цехами стали позднее и университеты – готические установления, каких не знали ни восточные страны, ни греки и римляне, но которые, как и рыцарские и монастырские заведения, были необходимы для своего времени и, передавая из поколения в поколение знания, науку, приносили свою пользу во все времена. К Средним векам относится и основание *городов,* которые весьма отличались по своему существу от римских муниципиев, были построены на немецких началах свободы и безопасности граждан и, где только было возможно, порождали трудолюбие, искусство, благосостояние. Можно видеть в городах следы их происхождения в такие времена, когда со всех сторон теснили их знать, духовенство, князья, – однако города мощно содействовали расцвету культуры в Европе. Короче говоря, что только могло возникнуть под низкими сводами иерархии, феодального строя и покровительствующей церкви империи, все то и возникло, и, кажется, одного только недоставало прочному зданию готического стиля – света. Посмотрим же, какими странными путями пришел свет в Европу.

---

* Мы уже упоминали «Историю немецкой торговли» Фишера как собрание интересных исследований; эта работа и другие сочинения накапливают материал для такого труда, который, конечно, будет сильно отличаться от «Всеобщей истории торговли и мореплавания», изданной в 1754 г. в Бреслау, и от ценной «Истории торговли» Андерсона[11]. Следовало бы пожелать также, чтобы была создана «История искусств, ремесел, цехов, городов и городского права в Средние века».

IV. Арабские государства

Аравийский полуостров – один из замечательнейших уголков земли; казалось, сама природа предназначила его для того, чтобы придать особый характер живущему здесь народу. Огромная пустыня, разделяющая Сирию и Египет, простирающаяся от Алеппо до Евфрата, давала простор кочевой и разбойничьей жизни, словно южная Татария; с незапамятных времен земля эта и была занята племенами арабов-кочевников. Самый образ жизни этого народа, для которого города были тюрьмами, который гордился своим древним происхождением, своим богом, своим разнообразным и поэтичным языком, благородным конем, мечом и луком и всеми своими святынями, – все это уже подготовляло арабов к тому, чтобы, когда время их пришло, они сыграли свою роль в трех частях света, сыграли ее совсем иначе, чем северное племя татар.

Уже во времена невежества – так называют они древний период своей истории – арабы распространились на север и основали небольшие государства в Ираке и Сирии; отдельные племена жили в Египте, от них произошли абиссинцы, и, казалось, вся африканская пустыня досталась им в удел. От всей Азии полуостров их был отделен пустыней, а потому путь завоевателям был сюда закрыт; арабы сохранили свою свободу, продолжали гордиться своим родом, благородством знати, непобедимой доблестью и чистым, несмешанным языком. Притом сами они жили вблизи от центра южной и восточной торговли, познакомились со всеми народами, да и сами могли и должны были торговать с ними, чему только способствовало выгодное географическое положение их страны. Итак, духовная культура рано сложилась здесь, та культура, которая не могла возникнуть на Урале или на Алтае; язык арабов развился и стал выражать тонкую проницательность образных и мудрых речений прежде, чем они научились писать. На Синае евреи приняли их закон, да и жили почти всегда среди них; как только появились христиане, начавшие преследовать друг друга, то и христианские секты пришли к ним. Как же не возникнуть было новому расцвету из такого смешения иудейских, христианских и собственных арабских представлений, если время было подходящим, а язык столь развит, а если наступил этот новый расцвет, разве не должно было распространиться цветение с этого заостренного, расположенного между тремя частями земли полуострова, разве не должны были разнести его как можно дальше и войны, и караваны, и торговля, и книги? Что на этой скудной почве вырос благоухающий побег арабской славы – это чудо самое естественное, и нужно было только, чтобы явился муж, который заставит растение цвести.

И этот муж явился в начале VII столетия, и он был странной смесью всего, что могли дать племя, нация, время, климат, он был купцом, про-

роком, оратором, поэтом, героем, законодателем – и все по-арабски. Мохаммед* был отпрыском благороднейшего арабского племени, хранившего чистейшее наречие языка и древнюю святыню народа – Каабу, он был небогат, но воспитывался в доме всеми уважаемого человека, в детстве был красив и строен. Уже в юности он был удостоен особой чести – от имени всего народа он должен был положить на прежнее место священный черный камень; благодаря стечению обстоятельств он во время своих торговых путешествий рано познакомился с нравами других народов, с их религией; позднее он составил себе значительное состояние. В его душу глубоко проникли похвалы, которые расточали одаренному юноше, он глубоко воспринял достоинство племени и рода, из которого происходил, данное ему священное поручение; к этому прибавились еще впечатления его от христианского мира; перед его мысленным взором вставал Синай, увенчанный множеством древних сказаний; всем этим религиям присуща была вера в боговдохновение, в божественное призвание, эта вера была присуща и его народу, она льстила и собственному характеру Мохаммеда; быть может, за те пятнадцать лет, пока он вел созерцательную жизнь, все эти представления сильно воздействовали на его душу и он уверовал, что он *сам,* корейшит, сам необыкновенный человек, призван восстановить религию своих отцов, учение и обязанности веры, что он призван во всеуслышание заявить о себе как о рабе божием. Воображение его было возбуждено, воспламенено, – не только сновидение его, в котором он рассказывает о своем путешествии на небеса, не только вся жизнь его и Коран свидетельствуют об этом; чтобы возомнить себя пророком, ему не надо было обманывать или уславливаться об обмане. Мохаммед не был пылким юношей, ему шел тогда сороковой год жизни; сначала он пророчествовал в своем доме, открылся лишь немногим, за шесть лет обрел всего шесть сторонников, но потом, объявив о призвании своем на знаменитом пиру у Али, перед сорока мужами, он взял на себя все тяготы, которыми встречает недоверчивый народ своих пророков. Приверженцы его по праву исчисляют лета бегством Мохаммеда в Иатреб (Медину); несомненно, что в Мекке всем планам его или самой его жизни пришел бы конец.

Итак, если в основе его пророческого призвания лежала ненависть к мерзостям идолопоклонства, которые наблюдал он в своем племени и, как казалось ему, в самом христианстве, а также глубокое воодушевление учением о едином Боге, о чистом, благочестивом служении ему, о совершении добрых дел, то, напротив, крыльями, которые сами по себе

* Помимо «Введения в Коран» Сейла, «Жизни Мохаммеда» Ганье и других писателей, пользовавшихся арабскими источниками, хорошо раскрывает жизненную ситуацию и призвание Мохаммеда Брекиньи в своей работе о нем, переведенной и изданной отдельно[12].

несли его и унесли далеко в сторону от цели, были искаженные традиции иудейства и христианства, поэтическое мышление арабского народа, племенное наречие и личные таланты Мохаммеда. Коран, это странное смешение поэзии, красноречия, невежества, ума и лжи, – зеркало души Мохаммеда; все достоинства его и недостатки, все склонности и заблуждения, самообман и те уловки, которыми затуманивал он взор свой и других, – все выступает здесь в более ясном свете, чем в каком-либо коране любого из пророков. При удобных обстоятельствах или же возвращаясь на землю после созерцательного экстаза, Мохаммед декламировал части Корана, совсем не думая записывать его; речи его были излияниями фантазии, были речами пророка, в которых он обращался к народу с призывами или грозил ему карами, и речи эти были таковы, что в другие дни он сам восторгался ими как чем-то заведомо превосходящим его способности, как неким божественным даром, которым был он наделен. Вот почему, как все сильные люди, обманутые самими собою, он требовал веры в свои слова и умел заставлять верить даже самых ожесточенных своих неприятелей. Едва стал он господином Аравии, и он разослал посланцев веры во все соседние империи, в Персию, Эфиопию, Йемен, даже ко двору греческого императора, – в своем вероучении, каким бы национальным оно ни было, он видел религию всех народов. Жестокие слова, которые вынудили у него ответы царей, привезенные вернувшимися на родину посланцами, и знаменитое место в Коране, в главе об искуплении*, в глазах преемников Мохаммеда послужили достаточным основанием исполнить то, чему помешала преждевременная смерть пророка, – обратить в веру все народы земли. К несчастью для них, и здесь их обошло христианство, первая религия, которая навязывала свою веру другим народам как необходимое условие спасения; но араб творил дело обращения не с помощью контрабандной торговли, женщин и монахов, а, как положено сыну пустыни, с мечом в руках, с восклицанием: «Дань или вера!»

Словно жгучий самум пустыни, войны, как только Мохаммед умер, объяли Вавилонию, Сирию, Персию, Египет. Арабы на битву шли словно на богослужение, вооруженные стихами Корана и надеждами на райскую жизнь; не было у них недостатка и в личном мужестве. Ведь и первые халифы из династии Мохаммеда, если отвлечься от их религиозного фанатизма, были справедливые, прекрасные люди, они вели умеренную жизнь, и войска их шли за храбрыми, мудрыми полководцами, среди которых Халед, Амру, Абу-Одейда и многие другие. Оказалось, что персидское и греческое государства так плохо управляются, что разные христианские секты так воюют между собой, что предательство,

* «Сражайтесь с теми, кто не верует в Бога и не верует в день Страшного Суда, кто не считает непозволительным совершать запрещенное Богом и апостолами его. И против иудеев и христиан сражайтесь, пока не согласятся покориться и платить дань».

корыстные интересы, вероломство, сладострастие, роскошь, гордость, жестокость и угнетение воцарились повсюду, – вспоминаешь, читая страшную историю этих войн, басню о стаде львов, врывающихся в загон для овец и баранов, на двор, где гуляют сытые коровы, пышные павлины, беззащитные овцы. Жалким родом человеческим были в большинстве своем эти выродившиеся народы, заслуживавшие того, чтобы впредь ездить на ослах, потому что укротить боевых коней они не могли, – они не заслуживали креста на куполах своих церквей, коль скоро не способны были защитить его. Что за великолепие патриархов, священников, монахов в этих благословенных местах, – и все вдруг и сразу ушло в могилу!

А вместе с ними уничтожены были, словно землетрясением, пережитки древней греческой культуры, римского величия, которые не могло стереть с лица земли и христианство. Древнейшие города мира, неописуемые богатства, собранные в них, – все попало в руки храбрых разбойников, которые поначалу не знали даже денег. Прежде всего следует пожалеть о том, какая жестокая судьба постигла памятники человеческих знаний. Иоанн Грамматик выпросил себе Александрийскую библиотеку, о которой победитель, Амру, даже и не думал (и на что нужен был глупцу такой подарок?); запросили халифа Омара и в ответ получили то знаменитое умозаключение, которое заслуживает того, чтобы называть его умозаключением халифа*, – в результате книги были сожжены. Ими на протяжении шести месяцев топили печи, – так нелепая просьба грамматика и наивная набожность халифа погубили самые драгоценные мысли, самые необходимые сведения, все возведенное с таким трудом здание науки Древнего мира – вместе со всем, что могло пойти от него на протяжении тысячелетий. Как хотелось бы арабам вернуть назад это сокровище, когда, через сто лет после этого, они сумели оценить его!

Почти сразу же со смертью Мохаммеда начались междоусобицы, которые после смерти третьего халифа, Османа, должны были бы приостановить дальнейшие завоевания арабов, если бы только честный и мужественный Али, которого долгое время оттесняли на второй план, и сын его Хасан не уступили место династии Омейядов. Дом Омейядов взошел на престол верховных жрецов и, передавая власть по наследству, царил девяносто лет. Столицей халифов стал Дамаск; арабы стали морской державой, а при наследственном правлении простоту нравов заменила пышность придворной жизни. Правда, завоевания еще продолжались – в Сирии, Месопотамии, Малой Азии и в Африке, арабы не раз осаждали и Константинополь, хотя всякий раз

* «В книгах, о которых ты говоришь, содержится или то же самое, что написано в книге Бога, в Коране, или нечто противное Корану. Если то же самое, то достаточно и Корана, а если противное, то справедливо уничтожить все эти книги».

безуспешно; при аль-Валиде занят был Туркестан, более того, арабы проникли даже в Индию; Тарик и Муса были необычайно удачливы, они завоевали Испанию, и у второго из них появился даже чудовищный замысел – завоевать Францию, Германию, Венгрию, Константинополь и основать империю, которая была бы значительно больше того, что сумели завоевать римляне за столько веков своей истории. Но как же развеян был по ветру этот грандиозный план! Арабам никак не удавалось пробиться во Францию, и даже в Испании, где пламя мятежа никогда не гасло, они теряли одну провинцию за другой. А время завоевывать Константинополь тоже еще не подошло, и, совсем напротив, при Омейядах пришли в волнение и турки, которым суждено было впоследствии покорить самих арабов. И вообще, неудержимый поток военного счастья иссяк за тридцать лет энтузиазма, пока на троне сидели потомки Мохаммеда; при Омейядах с их наследственной властью завоевания шли медленнее, прерывались, тут начались и внутренние размежевания.

Воцарился дом Аббасидов, которые сразу же перенесли столицу из Дамаска, – второй халиф, аль-Мансур, выстроил новую столицу, Багдад, и воссел в этом центре всех своих владений. Теперь величайший блеск окружал двор халифа; науки и искусства приблизились ко двору, – навсегда прославились аль-Рашид и аль-Мамун; но меж тем не только прошло время завоеваний, но и единство монархии при этих халифах распалось. Уже при втором Аббасиде, аль-Мансуре, свергнутый с трона Абдаррахман из дома Омейядов основал особый, независимый халифат в Испании, который просуществовал почти триста лет, затем распался на десять царств, которые иногда еще сливались между собой, но никогда уже не объединялись с багдадским халифатом. На западном побережье диких африканских земель (Могреб) побочная линия потомков Али, Эдрисии, отторгли у халифата царство и заложили город Фес. При Гарун-аль-Рашиде о своей независимости заявил африканский наместник в Кайрване (Кирена), сын его завоевал Сицилию; потомки его Аглабиты перенесли свою столицу в Тунис, где они построили громадный акведук; их государство существовало больше ста лет. В Египте стремления наместников к независимости поначалу лишены были почвы под ногами, но, наконец, один из родов, Фатимиты, поглотил и Эдрисиев и Аглабитов и основал третий халифат, простиравшийся от Феса до Азии через Тунис, Сицилию и Египет. Итак, сложились три халифата – Багдадский, Кахирский и Кордовский. Но и царство Фатимитов погибло – курды и зеириты поделили его между собой, а храбрый Саладин (Салах-эд-дин), великий везирь халифа, сместил своего государя и основал царство курдов в Египте, которое впоследствии досталось придворной гвардии (мамелюкам, то есть рабам), а у нее это царство было отнято османами. Так происходило повсюду. В Африке на сцене появлялись зеириты,

морабеты, муахедии, в Аравии, Персии, Сирии сменяли друг друга династии самых разных племен и народов, но, наконец, турки (сельджуки, курды, арабеки, туркоманы, мамелюки) овладели всем, а сам Багдад был сдан моголам. Сын последнего багдадского халифа бежал в Египет, мамелюки оставили за ним пустой титул, пока, наконец, этот, восемнадцатый в числе свергнутых с трона, халиф не был во время завоевания страны османами отправлен в Константинополь, а оттуда назад в Египет и здесь самым трагическим образом завершил собою цепочку арабских императоров-пап. Блистательная империя арабов поделена была теперь между турками, персами, моголами; отдельные части оказались под властью христиан или обрели независимость; и так бóльшая часть народов бывшего халифата продолжает жить в бесконечных круговращениях.

* * *

И причины быстрого падения этой громадной монархии, и причины переворотов, которые беспрестанно разрушали и губили ее, заключены в самом существе дела – *в происхождении, в строе этой империи.*

1. *Фанатический энтузиазм – вот какая доблесть привела к созданию могучего арабского государства;* но только те же самые доблести и могли сохранить его: верность закону, храбрость – эти добродетели пустынь. Если бы халифы, правившие в Мекке, Куфе, Медине, оставались верны суровому образу жизни, какой вели первые четыре их великих предшественника, если бы в руках их было волшебное средство, которое заставляло бы наместников и полководцев до конца исполнять свой долг, – какая бы власть на свете могла победить этот народ? А теперь столько прекрасных стран оказалось во владении арабов, распространившаяся по всему свету торговля принесла в страну и богатства, и пышность, и роскошь, а наследственный трон халифов в Дамаске и тем более в Багдаде блистал так, как будто действие происходит в сказке из «Тысячи и одной ночи», – и вот повторилась сцена, которая уже тысячекратно разыгрывалась на арене истории, – роскошная жизнь повлекла за собой вялость, утонченная слабость уступила грубой силе. Первый Аббасид избрал себе великого везиря, и этот везирь при преемниках его приобрел такой вес, что всесилие эмира аль-Омраха (эмира эмиров) наводило на всех страх – везирь повелевал самим халифом. Поскольку большинство везирей было турками, а стража халифа тоже состояла из турок, в сердце монархии заложен был порок, который вскоре мог поразить все тело монархии. Страны арабов расположены были вдоль возвышенности, на которой, словно хищные звери, неусыпно бдили воинственные народы, курды, турки, моголы, берберы, против воли покорные власти арабов и только ждавшие удобного случая, чтобы отомстить им. Произошло то же, что с римской империей, – везири и наемники превратились в государей и деспотов.

2. Строем государства объясняется то, что кругообращение совершалось у арабов быстрее, чем у римлян. Государство было халифатом, другими словами – деспотией: самым строжайшим образом в лице халифа соединялись папа и император. Верили в неотвратимую судьбу, в слово пророка, предписывавшее полнейшее послушание, а это требовало покорности слову его преемника и слову наместников преемника, – этот деспотизм, вязавший души, проникал в управление всем государством. Но как же легко было, особенно в более удаленных провинциях, переходить от деспотической власти, осуществляемой от имени другого, к деспотической власти, осуществляемой от своего собственного имени! Вот почему почти везде наместники становились властными господами, а самое тонкое дипломатическое искусство халифа состояло только в том, чтобы умело тасовать наместников, отзывать их, менять местами. Когда Мамун предоставил слишком много свободы в Хорасане своему смелому полководцу Тахеру, он тем самым передал ему бразды правления; земли по ту сторону Гихона[13] отпали от трона халифа, а туркам был открыт путь в самое сердце империи. То же самое повторялось со всеми наместниками, и, наконец, обширное государство стало подобно архипелагу, состоящему из отдельных островков, которые едва-едва связывались еще общими языком и религией, но которые сами по себе пребывали в страшном волнении и угрожали друг другу. Семь или восемь столетий кряду сменяли друг друга эти островные государства, их границы были неустойчивы, но, наконец, большинство из них, но не все, оказались под властью османов. Государство арабов не знало никакого строя – вот величайшее несчастье для деспота и для рабов. Весь строй магометанских государств – в одном: в полной покорности воле Бога и наместников его, в *исламе*.

3. *Власть в арабском государстве была связана* с *правлением одного племени, вернее даже только одного рода этого племени, семьи Мохаммеда,* а поскольку с самого начала законного наследника, Али, обошли, долгое время лишали власти и очень скоро прогнали совсем вместе с его родом, то возникли не только чудовищные распри между Омейядами и потомками Али, распри, которые спустя тысячу лет по-прежнему ожесточенно, питая религиозную вражду друг к другу, ведут турки и персы, но и кровавые бунты, которые не прекращались в различных провинциях арабского мира, – их пламя раздували то Омейяды, то наследники Али. В далеких землях появлялись обманщики, которые, выдавая себя за родственников Мохаммеда, навязывали свою волю народам, с мечом в руках или же своим ханжеским видом; даже более того, если Мохаммед основал государство, пророчествуя, то теперь то здесь, то там появлялись фанатики, которые, как и он, осмеливались говорить от лица Бога. Уже сам пророк наблюдал подобные примеры, но подлинной ареной для таких обманщиков и безумцев стали Африка

и Египет*. Можно было бы полагать, что все мерзости фанатизма и легковерия исчерпаны религией Мохаммеда, – если бы мы не замечали, к сожалению, что то же самое повторяется и в других религиях; однако деспотизм «старика гор»[15] еще не был превзойден никем. Правитель собственного государства, ловкий, можно даже сказать, природный убийца, он мог каждому своему подданному повелеть: «Иди и убивай!» – и тот шел, хотя бы и рискуя жизнью; столетиями существовало это государство вероломных убийц.

V. Влияние арабских государств

Халифаты быстро росли и распадались, и цветение их было столь же кратким, – на более холодной почве едва ли хватило бы для всех этих изменений и тысячи лет. Восточный цветок быстро расцветает под влиянием более теплой природы, – это видим мы и в истории арабского народа.

1. *Торгуя на необычайно широких пространствах земли,* арабы оказали такое воздействие на мир, какое вытекало не только из географического положения арабских стран, но и из национального характера арабов, – поэтому их воздействие пережило государства арабов и отчасти продолжается поныне. Колено Корейш, к которому принадлежал Мохаммед, сопровождало в пути караваны, занимался этим и сам Мохаммед, – священная Мекка издавна была местом, где встречались между собою народы земли. Залив между Аравией и Персией, Евфрат, гавани Красного моря – это известные пути, по которым издревле шли индийские товары, здесь располагались и их склады: вот почему многие товары, которые везли из Индии, назывались арабскими, аравийскими, – арабским было все, что приходило из Индии, и самою Индию называли Аравией. Этот деятельный народ рано поселился на восточном берегу Африки и уже при римлянах служил посредником в торговле с Индией. А поскольку арабам принадлежали обширные края земли между Евфратом и Нилом, даже больше – от Инда, Ганга и Окса до Атлантического океана, до Пиренейских гор, до Нигера и вплоть до страны кафров, где были отдельные поселения арабов, то арабы могли в скором времени стать самым большим купеческим народом на земле. От этого много терял Константинополь, а Александрия превратилась в деревню; Омар же построил в том месте, где сливаются Тигр и Евфрат, город Бальзору, и одно время все товары с Востока шли только через этот город. При Омейядах столицей был Дамаск – старое купеческое поселение, естественный центр, куда могли стекаться караваны, город, расположенный в райской местности, – средоточие богатства и трудо-

* «История Северной Африки» Шлёцера, «История арабов в Африке и Испании» Кардона[14].

любия. Уже при Моавие был построен в Африке город [969] Кайрван, позднее называвшийся Кахирой, и тогда вся торговля мира стала проходить через Суэц*. Во внутренней Африке арабы захватили всю торговлю золотом и каучуком, они открыли золотые рудники Софилы, основали государства Томбут, Тельмасен, Дарах, построили на восточном побережье значительные поселения и торговые города, – арабские поселения проникли даже на Мадагаскар. А когда при Валиде была завоевана Индия – вплоть до Ганга и Туркестана, то к Западу Азии прибавился еще и крайний Восток, – с Китаем арабы торговали издавна, торговля отчасти была караванной, отчасти морской – через Канфу (Кантон). Из Китая арабы вывезли водку, и количество ее впоследствии значительно возросло благодаря химии, которой арабы занялись первыми; к счастью для Европы, водка, а также вредный чай и кофе – арабский напиток, распространились здесь лишь спустя несколько столетий. Фарфор, а также, возможно, и порох европейцы узнали тоже от арабов, которые привезли их из Китая. Арабы господствовали на Малабарском побережье, они заплывали к Мальдивским островам, селились на Малакке и учили малайцев письму. И на Молуккских островах арабы основали позднее свои поселения и распространяли здесь свою веру, так что до прибытия португальцев торговля с Ост-Индией в этих водах целиком была в руках арабов и, если бы не пришли европейцы, была бы распространена ими и к югу и к востоку от этих мест. Именно войны с арабами и продиктованное христианским рвением желание отыскать след арабов даже в самой Африке послужили поводом, и португальцы сделали в те времена важнейшие морские открытия, изменившие лицо Европы.

2. *Религия и язык арабов* – вот в чем заключалось иное, тоже весьма значительное, воздействие, которое оказали арабы на живущие в трех частях земли народы. Захватывая земли, арабы повсюду проповедовали ислам или же требовали рабской покорности и дани, – в результате религия Мохаммеда распространилась до Инда и Гихона на востоке, до Феса и Марокко на западе, пересекла Кавказ и Имаус[17] на севере, спустилась до Сенегала и страны кафров на юге, а также распространилась на два полуострова и весь архипелаг Ост-Индии, – у магометанства оказалось больше сторонников, чем у христианства. Что же касается взглядов, которым учит эта религия, то нельзя отрицать, что она подняла исповедующие ее языческие народы над уровнем примитивного идолопоклонства, отучила их поклоняться стихиям, звездам, людям и превратила их в ревностных почитателей единого Бога, творца, правителя и судьи мира, которому надлежит угождать ежедневной молитвой, добрыми делами, чистоплотностью и полной покорностью его воле.

* См. «Историю открытий» Шпренгеля[16], где немногим сказано многое, и указанные выше истории торговли.

Запрет вина препятствовал пьянству и ссорам, запрет есть нечистое способствовал здоровью и умеренности в пище; равным образом религия магометанства запрещала ростовщичество, азартную игру, множество суеверных обычаев и вывела не один народ из состояния варварства или испорченности, подняв его до уровня средней культурности; вот почему так презирает мусульманин христианскую чернь, нечистоплотную, преданную грубым телесным наслаждениям. Религия Мохаммеда, налагая свой отпечаток на человека, приучает его к душевному покою, к единству характера – черты, которые могут быть и опасны и полезны, но, во всяком случае, ценны и достойны уважения; напротив того, допускаемое ею многоженство, запрет любого исследования Корана, деспотизм в светских и духовных делах может повлечь за собой лишь дурные последствия*.

Но какой бы ни была религия, ее распространяло по всему миру чистейшее наречие Аравии, составлявшее гордость и радость всего народа, – нет ничего чудесного в том, что другие диалекты оказались в забвении, а язык Корана стал знаменем побед и всемирного господства арабов. Для цветущей, расселившейся по множеству стран нации крайне полезно, чтобы у разговорной и письменной речи был такой общий образец. Если бы у германцев, завоевавших Европу, была классическая, написанная на их языке книга, как Коран у арабов, то латынь не восторжествовала бы над германскими языками и не случилось бы того, что многие племена так и затерялись в безвестности. Но ни Вулфила, ни Кедмон, ни Отфрид не могли стать тем, чем остается Коран Мохаммеда для его приверженцев, – залогом древнего, чистого наречия, благодаря которому они могли вознестись к наиподлиннейшим памятникам своего племени и не перестали быть на всей земле одним народом. Язык считался у арабов благороднейшим наследием, еще и теперь разные диалекты его связывают друг с другом народы Востока и Юга, в их торговле, в их общении между собой, – и ни один язык никогда не связывал так народы. А после греческого арабский язык, быть может, всего достойнее такого всеобщего распространения, поскольку, по крайней мере, lingua franca[19], имеющая хождение в тех местах, кажется по сравнению с ним жалким нарядом нищего.

3. Разные *науки* сложились на этом богатом и прекрасном языке: когда аль-Мансур, Гарун-аль-Рашид и Мамун пробудили дух знания, науки из Багдада, столицы Аббасидов, распространились на север, на запад, но в первую очередь на восток; в течение длительного времени науки цвели на всем обширном протяжении арабского государства. Знаменитые школы находились в целом ряде городов – в Бальзоре, Куфе, Самарканде, Росетте, Кахире, Тунисе, Фесе, Марокко, Кордове и других; науки, которыми занимались в этих школах, перешли даже

* Полезные замечания – в «Восточной библиотеке» Михаэлиса[18]. Т. VIII. С. 33.

к персам, индийцам, к некоторым татарским народам, попали даже в Китай и повсюду, вплоть до Малайских островов, становились рычагом новой культуры в Азии и Африке. Арабы занимались поэзией и философией, географией и историей, грамматикой, математикой, химией, медициной, и в большинстве наук они открывали новое, расширяли круг знаний и воздействовали на дух народов как благодетели.

Поэзия была древним наследием арабов, дочерью свободы, а не милости халифов. Она цвела задолго до Мохаммеда, ибо поэтическим был сам дух народа, и тысяча предметов пробуждала его. Что только не поощряло поэтические стремления – и страна, и образ жизни, и паломничество в Мекку, и поэтические состязания в Оккаде, и честь, которой удостаивался новый поэт от своего племени, и гордость, которую вызывал у народа сам язык, легенды народа, склонность к приключениям, любви, славе, даже и одиночество, и мстительность, и жизнь странника; Муза арабов отмечена пышными образами, гордыми, великодушными чувствами, глубокомысленными речениями и какой-то безмерностью в похвалах и порицаниях. Выраженные в поэзии чувства и мысли – это словно скалы, угловатые, одинокие, устремляющиеся к небу; в устах молчаливого араба пламя слов – словно молния меча, стрелы острого ума – словно стрелы лука. Пегас его – благородный конь, иногда неприметный, но понятливый, верный, неутомимый. А поэзия персов, которая, как и сам персидский язык, произошла от арабской поэзии, стала более спокойной и веселой, как подобает самой стране и характеру народа; персидская поэзия – дочь земного рая. И хотя ни арабская, ни персидская поэзия не желала, не могла подражать художественным формам греков – эпосу, оде, идиллии, тем более – драме, не подражала им и тогда, когда ближе познакомилась с ними, поэтический дар персов и арабов, и именно поэтому, сказался очень явственно и украсился своими особыми красотами. Ни один народ не может похвалиться столькими покровителями поэзии, сколько было у арабов в лучшие времена их истории, – в Азии они своей страстью к поэзии заражали даже татарских, в Испании – христианских князей и вельмож. Gaya ciencia[20] поэзии Лимузена и Прованса словно навязана, словно напета в уши врагами христиан, соседями-арабами, так постепенно, медленно, непослушно Европа училась внимать более тонкой, живой поэзии.

Прежде всего под небом Востока складывался самый фантастический род поэзии – *сказка*. Древние легенды рода, которых никто не записывал, со временем сами становились сказкой, а если воображение народа, рассказывавшего сказки, настроено на всяческие преувеличения, непонятности, на все возвышенное и чудесное, то даже обыденное превращается в редкостное, даже знакомое во что-то особенное, и вот к такому-то рассказу о редкостном и особенном с удовольствием

прислушивается, учась и развлекаясь, праздный араб в своем шатре, в кругу общества или на пути в Мекку. Уже во времена Мохаммеда среди арабов появился персидский купец, рассказы которого были столь приятны, что Мохаммед опасался, как бы они не превзошли сказки Корана, – и на самом деле кажется, что самые лучшие произведения восточной фантазии – персидского происхождения. Веселая болтливость персов, любовь к пышности и роскоши придали их древним легендам своеобразную романтическую и героическую форму, которую возвышают фантастические создания – преображенные фантазией животные близлежащих гор. Так возникла страна фей – пери и нери – у арабов нет даже слов, чтобы называть их, – и эти пери проникли и в романы средневековой Европы. Позднее арабы свели свои сказки в целый цикл, причем блестящее правление халифа Гарун-аль-Рашида послужило сценой, на которой развертываются все события, а такая форма рассказа послужила Европе новым образцом – как скрывать тонкую истину в фантастическом одеянии невероятных событий, как преподавать изощреннейшие уроки жизненной мудрости в тоне пустого времяпрепровождения.

Обратимся теперь к сестре сказки – к арабской *философии,* которая, как везде на Востоке, выросла на основе Корана, а благодаря переведенному на арабский язык Аристотелю только обрела научную форму. В основе всей религии Мохаммеда лежало чистое понятие единого Бога, а потому трудно представить себе философскую мысль арабов, которая не была бы связана с этим понятием, не выводилась бы из него и не складывалась бы в метафизическую форму созерцания, – а также и в форму возвышенных похвал, изречений, сентенций. Арабы почти до конца исчерпали синтез метафизики и поэзии и сочетали свою метафизическую поэзию с возвышенной мистической моралью. Возникли разные течения, которые спорили друг с другом и в спорах уже заняты были той тонкой критикой чистого разума, к которой схоластике Средних веков не осталось прибавить ничего, кроме как тонко разделять уже данные понятия в согласии с европейскими, христианскими догматами. Первыми теологической метафизике научились иудеи, позднее она пришла в новооткрывшиеся христианские университеты, где поначалу Аристотеля видели исключительно в свете арабской, а не греческой традиции и где отточены и утончены были философская спекуляция, полемика и философский язык. Итак, неученый Мохаммед, как и самый ученый греческий мыслитель, указали направление для всей метафизики более новых времен, им одинаково принадлежит эта честь; а поскольку многие арабские философы одновременно были поэтами, то в Средние века у христиан мистика тоже всегда шла бок о бок со схоластикой, – ибо они переходят одна в другую.

В *грамматике* арабы видели славу своего племени, так что, гордясь чистотой и красотой языка, перечисляли все слова и все формы, и уже

в ранние времена ученый, как рассказывают нам, мог нагрузить словарями шестьдесят верблюдов. И этой науке от арабов первыми научились иудеи. Своему старому, гораздо более простому языку они старались привить грамматику по образцу арабов, – такая же грамматика была в употреблении и христиан вплоть до самого последнего времени; как раз в противоположность этому в наши времена арабский язык послужил живым примером для того, чтобы начать естественно и в соответствии со здравым рассуждением понимать и еврейскую поэзию, – то, что было образом, и рассматривать как образ и смести с лица земли бесчисленных кумиров распространенного у иудеев лживого искусства толкования[21].

Рассказывая *историю,* арабы не добивались того успеха, что греки и римляне, и это потому, что арабам не были известны свободные государства, а стало быть, и практика прагматического рассуждения обо всех общественных делах, поступках и событиях. Они умели писать сухие, короткие анналы, а в жизнеописаниях постоянно рисковали впасть в поэтический тон, осыпая похвалами своего героя, или в тон несправедливого порицания, при характеристике его недругов. Ровный стиль историографии так и не сложился у них; их история – это поэзия или рассказ, проникнутый поэзией, но, напротив того, полезны для нас и посейчас арабские хроники и исторические описания стран, например стран внутренней Африки, которые они знали и которых мы не узнали и по сей день*.

Наконец, наибольшие заслуги принадлежат арабам в математике, химии и медицине, – в этих умноженных ими науках арабы стали учителями Европы. При аль-Мамуне в долине Санджар, близ Багдада, была измерена географическая долгота; арабы-астрономы – хотя науку эту использовало суеверие – составляли карты неба, астрономические таблицы и разнообразные инструменты, затрачивая огромный труд, причем ясное небо и прекрасный климат обширного государства способствовали им в этих начинаниях. Астрономия применена была и к описанию Земли; географические карты и статистические сведения о разных странах были составлены задолго до того, как мысль об этом возникла в Европе. Благодаря астрономии арабы установили свою систему исчисления времени, а знания о движении небесных светил шли у них на пользу мореплаванию; многие термины в астрономии – арабского происхождения, и вообще имя этого народа вечными буквами начертано на небесах, – как не написать его на земле. Книгам, в

---

* Большинство таких материалов до сих пор не использованы или не известны. У немецких ученых есть знания и трудолюбие, но нет средств, чтобы издать старинные тексты должным образом, в других странах есть фонды и богатые учреждения, – но ученые дремлют. Наш Рейске[22] стал мучеником святого трудолюбия в греко-арабских занятиях – мир праху его! Ученостью его пренебрегли, – а ведь долго придется ждать второго такого ученого!

которых запечатлено усердие математиков и астрономов-арабов, нет числа, но большинство из них до сих пор неизвестны или лежат без употребления, – бессчетное множество их уничтожили война, огонь, а то и небрежность и варварство. Благороднейшие знания, какие только ведомы человеческому уму, благодаря арабам проникли даже в Татарию и монгольские земли, больше того – даже в замкнутый Китай; в Самарканде составляли астрономические таблицы и определяли астрономические эпохи – все это до сих пор верно служит людям. Знаки счетного искусства – цифры – мы получили от арабов; слова «алгебра» и «химия» – тоже арабские. Арабы произвели на свет и ту и другую науку и дали роду людей новый ключ к тайнам природы, не только для медицины, но и для всех разделов физики, и ключ этот был в применении на протяжении веков. Поскольку, занятые физикой, они меньше внимания уделяли ботанике, а анатомией не могли заниматься совсем, ибо закон их запрещал это, то они тем более мощное влияние оказали на фармацевтику своей химией, а на распознавание болезней и темпераментов почти уже суеверным наблюдением всех внешних признаков их и наружных примет. Чем был Аристотель для философии, чем были Евклид и Птолемей для математики, тем же Гален и Диоскорид стали для медицины, хотя, с другой стороны, нельзя отрицать и того, что, следуя за греками, арабы не только сохраняли, умножали и распространяли самые необходимые для нашего людского рода знания, но в некоторых случаях и искажали их. Восточный вкус, которым отмечены были эти науки у арабов, долгое время оставался у этих наук и в Европе, и лишь с великим трудом удалось отмежеваться от него. И в некоторых искусствах, как, например, в архитектуре, многое из того, что мы привыкли называть готическим вкусом, – на самом деле вкус арабский, он своеобразно сложился у них на основании тех архитектурных образцов, которые эти грубые завоеватели видели в странах греческого мира; вместе с ними арабский вкус пришел в Испанию, а уже оттуда распространился и в другие страны.

4. Наконец, нам следовало бы рассуждать сейчас и о блестящем романтическом *рыцарском духе,* который несомненно примешался благодаря арабам к европейскому духу приключений, – однако этот последний вскоре сам предстанет перед нами.

VI. Общее рассуждение

Если мы вновь обратимся к тому, какой облик обрела наша часть земли после всех переселений народов, после обращения их в христианскую веру, после всех войн и установления иерархии, – мы увидим полное сил, но беспомощное тело исполина, циклопа, которому недостает только его единственного глаза. Народа было немало на этой западной оконечности Старого Света, – обессиленные роскошеством земли

римлян заняли мощные тела, в которых жил здоровый дух, и вскоре земли эти были густо заселены*. Ибо в первые времена, когда некультурные народы только что овладели своим новым краем, а различия между сословиями не выросли в постоянный наследственный гнет, завоеванный римский мир был настоящим раем для довольствующихся малым дикарей, что жили среди наций, давно уже потрудившихся и постаравшихся о жизненных удобствах. Варвары не замечали причиняемых их набегами опустошений, того, что их походы и переселения отбрасывают человечество более чем на тысячу лет назад, – потери неведомого тебе блага не ощущаешь, а для чувственно воспринимающего человека даже самые жалкие остатки прежней культуры в этой западной части северного мира, во всяком случае, означали нечто большее, нежели его родная Сарматская, Скифская сторона или лежащая далеко на восток земля гуннов. Конечно, род людской страдал в этих краях – от разорений, частых здесь в христианскую эпоху, от войн, разгоравшихся между жившими тут народами, от болезней, от эпидемий, которые поражали Европу, – но ничто так не сокрушало людей, как деспотический феодальный строй. Европа была населена людьми, но люди были крепостными рабами; угнетавшее их рабство было тем более жестоким, что заведенный порядок определялся политическими законами и слепой привычкой, закреплен грамотами, что раб был навеки привязан к земле, на которой жил. Сам воздух обращал людей в рабство, – кто не был освобожден документом, кто по своему рождению не был деспот, тот вступал в крепостную, рабскую зависимость, объявлявшуюся естественным состоянием.

От Рима нельзя было ждать помощи; сами слуги Рима вместе с другими господами поделили власть в Европе, Рим сам стоял на плечах бесчисленных духовных рабов. Если император и короли отпускали кого-либо на свободу, то свободу эту надо было сначала вырвать, получив отпускную, вырвать силой, словно у великанов и драконов рыцарских книг, – и этот путь к свободе был, следовательно, тоже долгим и тяжким. Знания, которые принесло с собой западное христианство, были розданы и обращены в прямую пользу. Для народа христианство было жалким, чисто словесным служением Богу, дурная риторика отцов церкви превратилась в монастырях, церквах, общинах в колдовской деспотизм, во власть над душами, и низкая чернь должна была почитать своего духовного деспота, бичуя и истязая свое тело, а то и должны были искупать свои грехи, стоя на коленях с набитым сеном ртом. Науки, искусства исчезли бесследно, ибо между мощами,

* Как сильны физически были наши предки, известно и из истории, и видно по могильным курганам и доспехам; без этих сильных тел не представить древней и средневековой истории Европы. Мыслей было мало в этих храбрых и благородных телах, это немногое бродило по телу медленно, но энергично, мощно.

среди перезвона колоколов и звуков органа, в дыму от ладана, под чтения заупокойных молитв Музы не живут. Иерархия своими молниями задушила свободу мысли, своим ярмом парализовала всякое благородное начинание. Терпящим обещали вознаграждение в ином мире, угнетавшие, оставляя богатства свои церкви, жили в уверенности, что в смертный час получат отпущение грехов, – царство божие арендовалось на земле.

Помимо римской церкви, на земле Европы не было спасения. Ибо, и не вспоминая уж о согнанных со своих мест народах, которые вели жалкое существование в дальних уголках Европы, никто не мог ждать ничего ни от греческой империи, ни тем более от того единственного государства, которое вскоре стало складываться в Восточной Европе за пределами Римской империи и римского папства*. Итак, в западной части Европы не осталось ничего, кроме нее самой и той единственной южной нации, у которой зацвели новые побеги просвещения, – арабов. С этими арабами Европа вскоре столкнулась и вступила в схватку; затронуты были самые чувствительные ее части; в Испании конфликт затянулся до того времени, когда Европа дожила уже до ясных дней Просвещения. Но что же ждало победителя? И кому досталась победа? Лучшей наградой, несомненно, было то, что человеческая энергия, человеческая деятельность вновь пришла в движение.

* Это государство – Россия. С самого своего основания она шла иными, особыми путями по сравнению с западными государствами Европы; вместе с последними она выступила на исторической сцене довольно поздно.

Книга двадцатая

Если и видеть в крестовых походах эпоху великих перемен в нашей части света, то нужно быть осторожным и не рассматривать крестовые походы как первый и единственный источник перемен. Крестовые походы были безумием, и безумие это стоило Европе нескольких миллионов жизней, тогда как уцелевшие и вернувшиеся на родину были по большей части не просвещенными, а распустившимися, наглыми, погрязшими в роскоши людьми. Все доброе происходило в те времена от побочных причин, которым именно тогда можно было свободно развернуться, но и это доброе во многих отношениях было весьма опасным благом. Кроме того, ни одно историческое событие в мире не протекает отдельно; заключенное в уже наличествующих причинах, в духе времен и народов, оно – лишь циферблат часов, стрелка которых движима скрытыми в самом механизме гирями. Итак, рассматривая европейский механизм в целом, станем по-прежнему наблюдать, как содействовало каждое колесико достижению всеобщей цели.

I. Купеческий дух в Европе

Не напрасно природа ограничила этот небольшой материк берегами со множеством бухт, не напрасно изрезала его таким множеством судоходных рек, озер и морей, – с древнейших времен их неустанно бороздили прибрежные народы. Чем было Средиземное море для южан, тем Восточное – для северян, – поприщем начинающего морехода, ареной сообщений между народами. Мы видели, что не только гэлы и кимвры, но и фризы, саксы, особенно норманны плавают по западным и восточным морям, заплывают и в Средиземное море, творят на них добро и зло. От выдолбленных стволов перешли к большим кораблям, научились плавать в бурном море и использовать силу всех ветров, так что еще и теперь деления компаса носят немецкие названия, как и многие морские выражения взяты из немецкого языка. Янтарь был дорогой забавой, привлекавшей к себе греков, римлян, арабов и познакомившей южан с северным миром. Корабли из Массилии (Марсель) везли его по океану, по суше его везли через Карнунт к Адриатическому морю, по Днепру – к Черному морю,

везли в невероятных количествах: главным путем, связывавшим Север, Юг и Восток, дорогой народов, был путь к Черному морю*. Там, где впадают в Черное море Дон и Днепр, были расположены два торговых города – Азов (Танаис, Асгард) и Ольбия (Борисфен, Альфхайм), перевалочные пункты для грузов, следовавших из Татарии, Индии, Китая, Византии, Египта в Северную Европу, – как правило, в обмен на другие товары; и тогда, когда оживился более удобный путь через Средиземное море, этот северовосточный торговый путь не был забыт – ни в эпоху крестовых походов, ни еще позднее. Когда славяне овладели большой частью Балтийского побережья, они построили вдоль берега моря цветущие торговые города; жившие на островах и на противоположном берегу моря немецкие племена конкурировали с ними и не успокоились, пока не разрушили всю торговлю славян – ради прибыли и в угоду христианству. Тогда они попытались занять место славян, и так, постепенно, задолго до ганзейского союза, сложилось нечто вроде морской республики, такой *союз купеческих городов,* из которого выросла впоследствии Ганза. Как во времена морского разбоя на Севере были короли, правившие на море, так теперь образовалось пространное, состоящее из множества частей торговое государство, основанное на подлинных началах безопасности, мира, взаимопомощи, – быть может, в нем прообраз будущего, того будущего, что ждет все торговые народы Европы. На северных побережьях здесь и там – а раньше всего во Фландрии – расцветали трудолюбие и полезные промыслы.

Конечно, внутреннее состояние этой части земли не было самым благотворным, – не только нападения морских разбойников нередко полагали печальный конец самым лучшим начинаниям, как случалось повсеместно, но и не утихавший воинственный дух народов, выросший из него феодальный уклад приносили с собой бесчисленные помехи и препятствия для трудолюбивого усердия народов. В первые времена, когда варвары только что разделили между собой европейские земли, когда между людьми одного племени было больше равенства и когда с прежними обитателями этих мест обращались еще довольно мягко, тогда усердию и трудолюбию недоставало лишь поощрения, и, можно быть уверенным, они не остались бы без содействия, будь среди королей побольше Теодорихов, Карлов, Альфредов. Но когда свободные люди очутились в ярме крепостной зависимости, когда наследственная знать стала пожинать плоды пота и труда крепостных, чтобы роскошествовать и пьянствовать, а сама стыдилась полезного ремесла, когда трудолюбивый человек нуждался в жалованных грамотах, чтобы только заниматься своим ремеслом, должен был выплачивать оброк, чтобы избавиться от бесовской

* Много материалов об этом собрано и сопоставлено в т. I «Истории немецкой торговли» Фишера.

власти, – тогда все было еще связано жестокими цепями. Правители, понимавшие это, делали все возможное – основывали города и давали им привилегии, брали под свою защиту ремесленников и художников, привлекали в свой округ купцов и даже ростовщиков-евреев, первых освобождали от уплаты пошлины, а вторым, испытывая постоянную нужду в еврейских деньгах, даже даровали сеявшие зло торговые свободы; но при всем этом на европейском материке плоды человеческого труда еще не могли войти в свободное пользование и обращение. Все было замкнуто, все разъединено, все притеснялось, так что вполне естественно, если южане, искусные, ловкие, жившие в благоприятных зонах, на время обогнали старательных и прилежных северян. Но только на время, – потому что все, чего достигли Венеция, Генуя, Пиза, Амальфи, все так и осталось в пределах Средиземного моря, – а мореплавателям Севера принадлежал океан и вместе с океаном – целый свет.

* * *

Венеция в своих лагунах выросла, как вырос Рим. Поначалу спасавшиеся от варварских набегов находили прибежище на недоступных, скудных островках, находя здесь жалкое пропитание; соединившись в одно целое со старой гаванью Падуи, Венеция связала свои разбросанные селения и островки, приняла особую форму правления и, начавши с жалкой торговли солью и рыбой, поднялась за несколько столетий до положения первого торгового города Европы, превратилась в торговый склад всех окрестных земель, овладела несколькими королевствами и еще теперь пользуется славой древнейшего вольного государства, которое за все время, пока оно существует, не мог еще завоевать ни один враг. История Венеции, как и история многих торговых государств, доказывает, что можно начать с ничего, а обрести все, что и близящуюся катастрофу можно предотвратить, если соединить неутомимый труд и практический ум. Венеция лишь поздно решилась выйти из своих болот и, словно робкий обитатель ила, нащупала на берегу моря узкую полоску земли, потом сделала еще несколько осторожных шагов и, желая снискать благосклонность богатейшей империи, встала на сторону слабосильного экзарха Равенны. За это Венеция получила то, на что рассчитывала, – самые весомые свободы в государстве, сосредоточивавшем в те времена почти всю торговлю мира. Как только арабы стали расширять свои владения и, захватив Сирию, Египет и почти все побережье Средиземноморья, попытались присвоить себе и торговлю разных стран, Венеция смело и удачно отражала их попытки проникнуть в Адриатическое море, но одновременно не замедлила заключить с ними договоры и благодаря этому с неизмеримой выгодой для себя стала посредницей в торговле всеми богатствами Востока. Через Ве-

нецию в Западную Европу поступали в таких огромных количествах всевозможные товары, специи, шелка, предметы восточной роскоши, что почти вся Ломбардия превратилась в их склад, а венецианцы, да и все жители Ломбардии, наряду с евреями, перепродавали их во все страны Западной Европы. Северная торговля, от которой в целом было больше проку, какое-то время страдала от этого, кроме того, богатая Венеция, теснимая венграми и аварами, закрепилась и на материке, – не портя отношений ни с арабами, ни с греческими императорами, она умела использовать в своих интересах и Константинополь, и Алеппо, и Александрию и яростно противодействовала любым торговым предприятиям норманнов, пока их торговля тоже не оказалась в ее руках. Именно роскошные восточные товары, привозимые с Востока Венецией и ее соперницами, богатства, которые накапливали эти города, а к тому же еще и рассказы пилигримов о великолепной жизни Востока разожгли зависть в сердцах европейцев – не так гроб господень, как обширные владения магометан. Когда начались крестовые походы, наибольшую пользу извлекли из них именно итальянские купеческие города. Они перевозили войска, доставляли им продовольствие и зарабатывали на этом невероятные суммы, а в завоеванных землях получали новые привилегии, центры торговли, земельные владения. Прежде всего удача сопутствовала Венеции – ей с помощью полчищ крестоносцев удалось захватить Константинополь и создать Латинскую империю, причем Венеция так выгодно поделила награбленное со своими союзниками, что тем досталось малое и на малый срок, а Венеции – все необходимое для торговли – острова и побережья Греции. Венецианцы долго владели этими землями и еще расширили свои владения; им удавалось осторожно и удачливо избегать опасностей, сетей, которые ставили им недруги и соперники, – но, наконец, установился новый порядок вещей, португальцы стали плавать вокруг Африки, турецкая империя прорвалась на Европейский континент, и Венеция была заперта в своем Адриатическом море. Итак, огромная доля добычи, полученной в войнах с греческой империей, в крестовых походах, от торговли с Востоком, была свезена в венецианские лагуны; все доброе и дурное, что пошло отсюда, распространилось по всей Италии, Франции и Германии, особенно по южной Германии. Венецианцы были голландцами своего времени, за свое купеческое трудолюбие, за развитие ремесел и художеств и прежде всего за устойчивую, принятую Венецией, форму правления они навеки занесены в книгу человечества*.

* В «Истории Венеции» Лебре[1] – перед нами извлечение всего интересного из всей литературы об этом государстве; такого собрания нет на других языках. Мы увидим позднее, чем был этот морской город для церкви, для литературы Европы и вообще для всей Европы.

* * *

Раньше Венеции крупную торговлю развернула Генуя и на какое-то время добилась господства на Средиземноморье. Генуя участвовала в торговле с греками, а позднее и с арабами; поскольку генуэзцы были заинтересованы в безопасности плавания по Средиземному морю, то они не только завладели Корсикой, но с помощью некоторых христианских князей Испании заполучили опорные точки в Африке и принудили пиратов к миру. Генуя оставалась весьма деятельной во время крестовых походов – генуэзцы поддерживали сухопутные войска своим флотом, помогали завоевывать Антиохию, Триполи, Цезарею, Иерусалим в первом походе, так что были вознаграждены совершенно особыми привилегиями на торговлю в Сирии и Палестине, а, кроме того, у гроба господня, над алтарем, помещена в их честь благодарственная надпись, весьма лестная для Генуи. Торгуя с Египтом, генуэзцы соперничали с Венецией, но центром их господства было Черное море; здесь они владели большим торговым городом Каффой[2], куда прибывали по суше товары из разных стран Востока, они торговали с Арменией и, мало того, – вели свою торговлю даже во внутренних областях самой Татарии. Долгое время генуэзцы защищали Каффу и острова архипелага, которые тоже были в их руках, но когда турки заняли Константинополь, то они закрыли Генуе выход в Черное море, а потом отрезали ее и от архипелага. С Венецией генуэзцы вели длительные и кровопролитные войны, Венеция не раз была на грани гибели, а Пизу генуэзцы разрушили до основания, – в конце концов венецианцам удалось запереть генуэзский флот в Кьоцце, этим было довершено их падение.

* * *

Амальфи, Пиза и другие города материка вместе с Венецией и Генуей участвовали в торговле с арабами и восточными землями, Флоренция обрела независимость и присоединила Фьезоле; город Амальфи свободно торговал во всех владениях египетского халифа; Амальфи, Пиза и Генуя были морскими державами. Прибрежные города Франции и Испании тоже стремились принять участие в торговле с Левантом, а паломники отправлялись в путь не столько ради молитвы, сколько ради наживы. Таково было положение Южной Европы, напротив которой располагались владения арабов; для итальянского побережья арабские земли были чем-то вроде сада, полного специй, какой-то волшебной страной, изобилующей сокровищами. Итальянским городам, пускавшимся в путь вместе с крестоносцами, нужно было не тело господне, а пряности и сокровища той земли. Банк Тира был им землей обетованной, и если они что-либо предпринимали, то замыслы их никогда не отклонялись от обычной торговой тропы, исхоженной за целые века.

* * *

Чужеземные богатства могли даровать лишь преходящее счастье тому, кто сумел заполучить их, но, быть может, первоначальный расцвет итальянской культуры не мог бы обойтись без них. Люди познакомились с жизненными удобствами, с менее суровым образом жизни, теперь можно было приучаться к не столь грубой роскоши, как прежде. Многие большие города Италии лишь тонкой нитью связаны были с их верховным правителем, тем более что его не было поблизости и жил он далеко, по ту сторону Альп; все эти города стремились к независимости и вскоре во много раз превзошли своим могуществом неотесанных обитателей крепостей или разбойничьих замков, и вот почему: города или же привлекали их к себе все укрепляющимися узами роскоши, благосостояния, и тогда феодал становился мирным жителем города, или же города, население которых все увеличивалось, вскоре были достаточно сильны, чтобы разрушить замок и принудить феодала мирно сосуществовать с городом. Роскошь пробуждала трудолюбие: не только художества и мануфактуры, поднималось и земледелие; Ломбардия, Флоренция, Болонья, Феррара, неаполитанские и сицилийские берега по соседству с большими, богатыми, трудолюбивыми городами превратились в прекрасно возделанные, цветущие поля, – Ломбардия была садом, когда бóльшая часть Европы была еще лугом и лесом. Многолюдные города кормила земля, а землевладелец мог получать теперь больший доход, потому что цены на продовольствие повышались, но он и должен был стремиться получить наибольшую прибыль, чтобы не отстать от других в стремлении к роскошной жизни. Так один род деятельности пробуждал другой и не давал ему застыть на месте; вместе с этим новым поворотом вещей не могли не укрепиться и порядок, и свобода собственности, и законность. Нужно было учиться бережливости, чтобы уметь тратить; способность людей находить, изобретать новое отточилась: каждый хотел обогнать другого; если раньше каждый вел свое хозяйство и был предоставлен сам себе, то теперь каждый как бы становился купцом. Итак, если часть арабских богатств прошла через руки итальянцев и в прекрасной Италии показались ростки новой культуры, то это – в природе вещей.

Но цветение было скоротечным. Торговля множилась и пошла другими путями; республики клонились к упадку, богатые города в их гордыне забылись, и их разрывали внутренние неурядицы; вся страна раскололась на партии, и выдвинулись вперед предприимчивые люди и отдельные семейства, сосредоточившие в своих руках большую силу. К этому надо еще прибавить войны, угнетение, а поскольку роскошь и искусства изгнали боевой дух и даже самую честность и верность, то города один за другим становились добычей чужеземных

и отечественных тиранов, и только наистрожайшие меры спасли от гибели Венецию, раздававшую сладостную отраву. Однако каждая пружина, действующая в делах людских, пользуется подобающими ей правами. К счастью для Европы, тогдашняя роскошь отнюдь не распространилась среди всех, а в основном она только наполнила карманы жителей Ломбардии; в противоположность купеческому духу городов пробуждался в Европе иной дух – могучий и бескорыстный дух рыцарства, готовый преодолеть любые трудности, и все только ради чести. Посмотрим, из каких ростков вышел этот цветок, что питало его и какие плоды принес он, сдерживая купеческий дух наживы.

II. Рыцарский дух в Европе

Все наводнившие Европу немецкие племена состояли из воинов, а поскольку самым тяжелым было служить в коннице, то, несомненно, нередко случалось так, что труды конников не были вознаграждены по заслугам. Вскоре возник целый особый разряд конников, где этому делу учили по всем правилам искусства, а поскольку этот разряд составил дружину вождей, герцогов, королей, то, естественно, сложилось нечто вроде военной школы, в которой ученик проводил годы учения, после чего, возможно, должен был пускаться на поиски приключений, в чем и состояло его ремесло, или же, если он хорошо вел себя, то, как выслужившийся подмастерье, мог получить права мастера и продолжать служить дальше или, как мастер своего дела, набирать своих учеников. По всей видимости, у рыцарства именно такое, а не иное происхождение. Немецкие народы, у которых любое занятие складывалось в цех, прежде всего должны были создать цех того искусства, в котором только они и разбирались, и именно потому, что это было их главное и единственное искусство, они воздавали ему все почести, которых не могли признать за другими, не известными им искусствами. Такой исток уже содержит в себе все законы и правила рыцарства*.

А именно, находиться в дружине значило служить, а потому первой обязанностью – обязанностью и оруженосца, и рыцаря – было дать обет верности своему господину. Конные, боевые упражнения были школой, и от них впоследствии произошли поединки и турниры рыцарей, наряду со всем другим рыцарским служением. При

---

* См. «Историю Оснабрюка» Мёзера. Т. I. Вместо множества сочинений, трактующих рыцарские нравы, приведу одного-единственного Кюрна де Сен-Пале, сочинение которого «Рыцарство Средних веков» вышло и по-немецки в переводе Клюбера[3]. Бóльшая часть этой работы говорит о французском рыцарстве, а история рыцарства всей Европы еще не написана.

дворе ученик должен был состоять в окружении своего господина и своей госпожи, оказывать им услуги, поэтому он по всем правилам цеха учился исполнять долг вежливости по отношению к дамам и господам. А поскольку одного оружия и коня было мало и такой воин не мог обойтись и без религии и женской благосклонности, то он выучивал первую по короткому требнику и добивался милости женщин согласно принятым нравам и по своим способностям. Так и сложилось рыцарство – оно составилось из слепой веры в религию, из слепой верности господину, если только этот последний не требовал чего-либо противного правилам цеха, из вежливости в служении и учтивости к дамам, – а помимо этих доблестей голова и сердце рыцаря могли быть пусты и не ведали ничего о каких-либо иных понятиях и обязанностях. Низшие сословия были не ровня ему, а чему учился ученый, художник, ремесленник, все то рыцарь, выучившийся и состоявший на службе у своего господина, мог преспокойно презирать.

Ясно, что подобное ремесло воина должно было выродиться и превратиться в наглое варварство, как только стало наследственным и «могущественный», и «всесильный» рыцарь уже с колыбели был «благородным» отпрыском дворянства, – итак, сами же государи, если они были достаточно дальновидны, должны были не просто кормить свою дружину бездельников, но и позаботиться о том, чтобы как-то облагородить их профессию, привить им некоторые идеи и воспитать своих благородных слуг и оруженосцев для того, чтобы собственный его двор, семейство и земля были в безопасности перед ними. Отсюда пошли более строгие законы, сурово каравшие любой подлый поступок, появились и благороднейшие обязанности – защищать угнетенных, охранять невинность и целомудрие, великодушно поступать с врагами и т.д. – такими средствами пытались предотвратить насилие, смягчить грубый и резкий ум. Эти правила ордена, которые внушались рыцарям с детства, производили сильное впечатление на верные души, – поражаешься тому, как почти уже механически сказывается в словах и делах рыцаря их безусловная преданность и честность. Гибкость характера, многосторонний взгляд на всякий предмет, изобилие мыслей никогда не были «недостатками» рыцарей, – вот почему даже средневековый язык движется церемониальным шагом, выступает твердо, почти скованно, словно рыцарь в железном панцире, тогда как мыслей – всего две, три...

Но вскоре обстоятельства придали бóльшую живость и подвижность фигуре рыцаря; обстоятельства эти сложились одновременно в двух разных концах мира, а странами такой, уже более утонченной, рыцарской культуры стали Испания, Франция, Англия, Италия – прежде всего Франция.

* * *

1. У *арабов* с незапамятных времен существовало столь отвечавшее характеру их племени и климату страны своеобразное бродячее рыцарство, дух которого был пронизан нежной любовью. Арабские рыцари искали приключений, бились на поединках, жестоко мстили за всякую видимость нанесенного им или их сородичам оскорбления. Они привыкли к суровому образу жизни, к простой, небогатой одежде, а превыше всего ставили коня, меч и честь своего рода. Их жены и шатры следовали за ними, они искали в путешествиях любовных приключений, а жалобы о возлюбленной, оставшейся в далеких краях, становились у них тонким дыханием поэзии – на языке, который они так почитали; воспевать пророка, самих себя, славу рода, красавицу стало общим правилом их поэзии, причем они не задумывались о постепенных переходах от темы к теме. Самые отважные жены воспламеняли их на битву, к их ногам слагали рыцари свою добычу: поскольку со времени Мохаммеда женщины оказывали значительное влияние на культуру арабского государства, а в мирные времена у восточного рыцаря нет никаких других развлечений, кроме как развлекаться с женщинами и проводить вместе с ними все свое время, то и в Испании, когда она находилась в руках арабов, устраивались в присутствии дам пышные, блестящие торжества, где рыцари соревновались между собой, например, бросали копье, стремясь попасть в кольцо, и т.д. Красавицы вдохновляли бойцов и награждали их драгоценностями, поясами, связанными ими шарфами, – ибо все эти увеселения устраивались в их честь, портрет дамы победителя висел на виду у всех в окружении портретов побежденных им рыцарей. Соревнующиеся группы рыцарей различались цветом, девизами, облачением, поэты воспевали рыцарские праздники, а любовь была лучшей наградой победителю. Итак, очевидно, что утонченные рыцарские обычаи принесены в Европу арабами; что у тяжеловооруженных героев Севера было цеховым обрядом или оставалось просто поэзией, то у южан вошло в кровь и плоть, стало легкой игрой, веселым упражнением силы и ловкости*.

Итак, этот более легкий и подвижный рыцарский дух впервые распространился среди христиан в Испании, где на протяжении столетий жили рядом друг с другом готы и арабы. Здесь появились не только самые первые христианские рыцарские ордена, учрежденные для борьбы с маврами, для защиты паломников, которых надо было сопровождать на пути в Компостелло, – или, наконец, просто на радость и счастье; более того, рыцарский дух так глубоко врезался в характер испанца, что в полном соответствии с арабским нравом и в Испании странствующие

* См. Рейске о Тограи, Покок об Абулфарадже; см. Сейла, Джонса, Окли[4], Кардона и др.

рыцари и рыцари любви были не просто созданиями фантазии. Романсы, то есть исторические песни, и в первую очередь песни, повествующие о рыцарских и любовных приключениях (может быть, и романы, как старший «Амадис»[5]), – это побеги испанского языка и мышления, и в них нашел Сервантес сюжет для своего несравненного национального романа «Дон Кихот Ламанчский». Но в Испании, как и на Сицилии, в этих двух областях Европы, которыми арабы владели дольше всего, влияние их сказалось прежде всего в *радостных настроениях поэзии**.

А именно, на той земле, которую отнял у арабов Карл Великий и которая простирается вплоть до Эбро, – Карл заселил ее жителями Лимузена, то есть юга Франции, – со временем сложилась по обе стороны Пиренейских гор первая в Европе поэзия на народном языке – поэзия провансальская, или лимузенская. Тенцоны, сонеты, идиллии, вилланески, сирвенты, мадригалы, канцоны и вообще все те изобретательные формы, в которые облекались остроумные вопросы, разговоры и беседы о любви, послужили поводом для удивительного суда – суда любви (corte de amor), – все в Европе было устроено так, что у всего должны были быть свои придворные или цеховые права! Рыцари и дамы, короли и князья выступали в таком судебном разбирательстве сторонами и судьями. Перед таким трибуналом сложилась веселая наука трубадуров, la gaya ciencia, – сначала она была забавой высшей аристократии, рассматривалась как придворное увеселение, и лишь позднее попала в руки контадоров, труанов и буфонов, то есть сказочников, придворных шутов и дураков, и тогда стала низкой и подлой. В первые времена расцвета провансальской поэзии ей присуща была нежная гармония, трогательное, прелестное изящество; она смягчала душу и сердце, развивала язык и нравы; она была родоначальницей всей новой европейской поэзии. Язык Лимузена распространился в Лангедоке, Провансе, Барселоне, Арагонии, Валенсии, Мурсии, на Майорке и Минорке: в этих прекрасных землях, пыл которых охлаждало море, поднялось к небу первое дыхание любви – ее вздохи и радости. Испанская, французская, итальянская поэзия – дочери провансальской; Петрарка учился у нее и соревновался с ней; наши миннезингеры – поздний, более суровый отголосок провансальской поэзии, хотя песни их относятся к самому нежному, что создано на немецком языке. Провансальская поэзия пришла в Германию так: рыцарский дух, распространившийся по всей Европе, преодолел Альпы и занес цветы этой поэзии в Швабию, Австрию, Тюрингию; императорам из дома Штауффенов и ландграфу Герману Тюрингенскому эта поэзия очень пришлась по нраву, а некоторые немецкие государи прославили себя, создав песни в новой манере, иначе имена их мы давно забыли

* См. «Испанскую поэзию» Л.Х. Веласкеса и все написанное о провансальских поэтах, миннезингерах и т.д.

бы. Между тем такое искусство подвергалось порче и во Франции стало подлым ремеслом бродячих жонглеров, а в Германии перешло в жалкий мейстергезанг. В таких языках, вышедших, как сам провансальский, из латыни, в языках романских, тонкая рыцарская поэзия укоренилась лучше и принесла множество плодов во всех странах – от Испании, Франции, Италии до Сицилии. А на Сицилии, на этой бывшей (как и Испания) арабской земле, возникла первая поэзия на итальянском языке.

* * *

2. Что пошло от арабов на юге, тому же еще более энергично способствовали норманны – во Франции, Англии и Италии. Когда романтический характер норманнов, любовь их к приключениям, пристрастие к героическим сказаниям и рыцарским искусствам, их глубокое почитание женщин соединились с утонченным рыцарским духом арабов, – вот тогда рыцарство стало распространяться в Европе и обрело прочную почву под ногами. Теперь пошли в ход те сказания, которые принято называть романами и основа для которых существовала задолго до крестовых походов, – издавна немецкие народы славили своих героев, такие поэмы и песнопения сохранились в века глубочайшего мрака, при дворах и даже в монастырях; более того, чем больше исчезала всякая подлинная история, тем восприимчивее были головы людей к духовным легендам и романтическим россказням. Поэтому можно видеть, что уже с первых веков христианства воображение людей все более упражняется в такого рода рассказах, – сначала это были романы в греческо-африканском, а потом уже и в северноевропейском духе; монахи, епископы и святые не стеснялись сочинять романы, сама Библия и сама истинная история должны были превращаться в роман, если нужно было, чтобы им внимали. Так возникли прения Христа и Велиала, так – всевозможные аллегорические и мистические фигуры доблестей и обязанностей, так – фарсы и моралите духовного театра. Вкус целой эпохи был таким, его порождали невежество, суеверие, воспаленная фантазия, поэтому *рассказы* и *сказки* (contes et fabliaux) были единственной пищей для умов, а рыцарское сословие превыше всего ценило героические песни. Во Франции, в этом средоточии рыцарской культуры, сошлись два направления поэзии, и для нее естественно выбирали наиболее близкие темы и сюжеты. Вот одно направление – поход Карла против сарацин, рассказ обо всех событиях, которые, если верить легенде, приключились в Пиренейских горах; второе направление составляли древние легенды о короле Артуре, сохранившиеся в стране норманнов, Бретани. В рассказы о Карле перенесли двенадцать пэров, которые появились во Франции гораздо позднее: Карл с рыцарями были обрисованы в таком великолепии, какое можно только вообразить, а язычники-сарацины представлены такими варварами, какими только можно их себе помыс-

лить. В той же истории оказались и Оджьер-датчанин, и Гюон Бордоский, и сыновья Гаймона, и множество легенд о паломничестве ко гробу господню и крестовых походах, но, во всяком случае, можно сказать, что самые интересные лица и события происходили из области Лимозена, из Гиени, Лангедока, Прованса и той части Испании, где процветала провансальская поэзия. Легенды второго направления – о короле Артуре и рыцарях его двора – переносились за море и уходили в глубь Корнуолла или, лучше сказать, в глубь такой утопической страны, в которой можно было позволить себе совершенно особый жанр чудес. Зеркало этих романов, в котором видело себя рыцарство, было отполировано до блеска; доблести и недостатки, присущие двору короля Артура, были ясно обрисованы в образах рыцарей Круглого стола с их различными характерами и различными достоинствами, – для таких картин романы об Артуре предоставляли широкий простор, ибо действие происходило в древние времена и в таком мире, какому неведомы были никакие ограничения. Наконец, оба направления породили третий вид романов, и теперь уже не была обойдена ни одна провинция Франции и Испании. Сценой действия были Пуату, Шампань, Нормандия, Арденский лес, Фландрия и даже Майнц, Кастилия, Альгарбия, – невежество и тот вид, какой приобрела в те времена древняя история, позволяли смешивать все времена и народы, и даже заставляли их смешивать. Все сливалось в один цвет рыцарства – Троя и Греция, Иерусалим и Трапезунт, новые слухи и старые басни, – все государства, все народы Европы, все короли и самые могущественные рыцари были глубоко убеждены тогда, что нет большей славы для рода, как происходить от участников Троянской войны. Вместе с норманнами романтическая поэзия переселилась в Англию и на Сицилию – и та и другая области дали новые сюжеты и новых героев, но нигде не было более благоприятных условий для развития романа, чем во Франции. Сошлось множество причин, а потому сам язык, поэзия, образ жизни, даже мораль и религия были заранее, словно нарочно, подготовлены к романам*.

Ибо, – если от сказок перейти к истории, – где цвет рыцарства был прекраснее, чем во Франции? Когда род Каролингов пришел в упадок и заблистало множество дворов всяких герцогов, графов, баронов – незначительных владетелей, которых было почти столько же, сколько провинций, замков и крепостей, – почти всякий двор, почти всякий рыцарский замок превратился в школу рыцарской чести. Живость национального характера, вековые войны с арабами и норманнами, слава предков, которую те снискали в этих войнах, благосостояние и процветание, уже достигнутые некоторыми семействами, соединение французской и норманнской крови, а прежде всего нечто своеобразное в характере народа, что сказывается на протяжении всей истории, начиная

* Об этих направлениях и составных частях романа – в другом месте [6].

с галлов, – всем этим внесены были в рыцарское сословие бодрость, стремительность духа, необыкновенная разговорчивость, гибкость, блеск и изящество; ничего подобного не встретишь у другого народа, разве только в более поздние времена. Сколько французских рыцарей пришлось бы назвать – мужественных, учтивых, благородных в мыслях и делах, в бою и в мирной жизни, которые на протяжении всей истории, даже позднее, когда воцарились деспоты-короли, добыли вечную славу своему роду! Когда раздался призыв к крестовым войнам, французские рыцари составляли цвет Европы; французские роды заняли престолы Иерусалима и Константинополя; законы нового латинского государства были написаны на французском языке. А вместе с Вильгельмом Завоевателем французский язык и французская культура взошли и на трон Британии; французская и английская нации соперничали в рыцарских доблестях, они явили их в Палестине и во Франции, но, наконец, Англия предоставила соседям французам блистать в блеске и славе суеты и выбрала себе более полезную, бюргерскую карьеру. Франция первой оказала сопротивление и власти римских пап, причем с изяществом, легкостью; даже святой Людовик был чем угодно, но не рабом римского папы. В Англии, Германии и других странах бывали короли похрабрее французских, но государственный ум Италии унаследован был Францией; здесь, даже творя позор, всегда умели соблюсти вид благоприличия. Этот же дух проник и в ученые заведения Франции, был усвоен начальниками и судьями – сначала на благо стране, впоследствии – во вред ей. Неудивительно, что французская нация стала самой тщеславной во всей Европе, – почти с самого начала, когда только возникла французская монархия, Франция указывала путь Европе и задавала тон во всех самых важных переменах. Когда все народы, словно на скачки и турнир, съехались в Палестину, немецких рыцарей объединили с французскими, чтобы они укротили свой неистовый дух – furor Teutonicus. Новый тип одежды – с гербами и другими знаками отличия, который возник во время крестовых походов и был принят всей Европой, – тоже в целом французского происхождения.

* * *

Теперь нам следовало бы поговорить о тех трех или четырех духовных рыцарских орденах, которые были учреждены в Палестине, – однако перед нами героическое и государственное действо в пяти или семи актах; пока оно продолжалось, ордена и добыли себе славу и богатства; итак, посмотрим сначала на него!

III. Крестовые походы и их последствия

Паломники и папы долго оплакивали бедственное положение христиан в Иерусалиме; возвещали близкий конец мира, а Григорий VII утверждал, что пятьдесят тысяч человек готовы уже двинуться в поход ко гробу господню, если он сам пойдет впереди них. Наконец одному пикардийцу, Петру Отшельнику, удалось, сговорившись с Симеоном, патриархом Иерусалимским, убедить папу Урбана II перейти от слов к делу. Было созвано два собора, и на втором папа произнес речь, выслушав которую, народ, как один, яростно завопил: «Того хочет Бог!». Итак, тьма народу была отмечена красным крестом на правом плече; во всех пределах римского христианства стали проповедовать священный крестовый поход, а его участникам даровали немало свобод. Не спрашиваясь у своего господина, они могли продавать или отдавать в залог свои земли (духовенству, принимая во знимание бенефиции, эта привилегия была дана на три года), и личность, и имущество крестоносца поступало под защиту и покровительство церкви, на них распространялась церковная юрисдикция, крестоносцы пользовались правами духовных лиц; на время Священной войны они были освобождены от всех налогов и податей, от уплаты долгов и процентов, получили отпущение всех грехов. Собралось неимоверное множество благочестивых, неистовых, легкомысленных, беспокойных, развратных, мечтательных, обманутых людей всех классов и сословий, даже обоих полов, был произведен смотр воинства, и Петр Отшельник зашагал впереди трехсоттысячной толпы, босой, в длинном монашеском капюшоне. Он не мог сдерживать людей, и они грабили всюду, куда приходили; венгры и болгары собрались и прогнали их в леса; в Константинополь Петр пришел с тридцатью тысячами, в самом печальном виде. За ним следовал священник Готтшальк с пятнадцатью и граф Эмих с двумястами тысячами человек. Священный поход начался с кровавого погрома иудеев, которых убито было в нескольких рейнских городах около двенадцати тысяч; в Венгрии их рубили или топили. Первая распутная толпа во главе с отшельником, усиленная итальянцами, была переправлена в Азию, начался голод, и всех крестоносцев, несомненно, поубивали бы турки, если бы не прибыл, наконец, Готтфрид Бульонский с регулярным войском и цветом европейского рыцарства. У Халкедона был произведен смотр войска – пятьсот тысяч пеших, сто тридцать тысяч конных составляли его; с невероятным риском, с великим трудом были заняты Никея, Тарс, Александрия, Эдесса, Антиохия и, наконец, был взят Иерусалим, Готтфрида Бульонского единодушно избрали королем. Брат его Балдуин стал графом в Эдессе, Боэмонд, принц Тарентский, – князем Антиохийским, Раймонд, граф Тулузский, – графом Триполитанским, а кроме них в этом походе прославились все те герои, которые воспеты

в бессмертной поэме Тассо. Меж тем одна беда за другой сыпалась на голову крестоносцев, маленькая империя должна была обороняться против целых туч турок с Востока, против арабов со стороны Египта – и оборонялась с непостижимым мужеством и дерзновенностью. Но прежние герои умерли, королевство Иерусалимское оказалось под опекой, князья и рыцари рассорились между собой, в Египте власть захватили мамелюки, и смелый, благородный Саладин все больше и больше теснил вероломных и испорченных христиан, в конце концов захватил Иерусалим и уничтожил крошечное королевство, которое вело призрачное существование и еще не успело отпраздновать свой столетний юбилей.

Все походы, которые когда-либо предпринимались с целью захватить Иерусалим, были с тех пор безуспешны, а маленькие княжества перестали существовать еще раньше или испытали судьбу Иерусалима. Эдесса только пятьдесят лет была в руках христиан, и спасти ее не мог устрашающий по своей грандиозности второй крестовый поход, в котором участвовало двести тысяч человек и который в ответ на боевой клич, брошенный святым Бернардом, предпринят был императором Конрадом III и французским королем Людовиком VII.

В третий крестовый поход против Саладина отправились три могучих державы – император Фридрих I, король французский Филипп Август и английский король Ричард Львиное Сердце; первый утонул в реке, а сын его умер, двое других, завидуя чужой славе, – особенно франк завидовал бритту, – не смогли завоевать ничего, кроме Акры. Забыв о данном слове, Филипп Август вернулся на родину, а Ричард Львиное Сердце, который не мог в одиночку противостоять могущественному Саладину, вынужден был, против воли, последовать за ним. А возвращаясь на родину в одежде пилигрима, он имел несчастье быть задержанным в Германии герцогом Леопольдом Австрийским, который, помня о якобы нанесенном ему под Акрой оскорблении, подло предал Ричарда императору Генриху VI; этот же, поступив еще более подло, целых четыре года продержал английского короля в строгом заключении, пока Ричард не откупился ста тысячами марок серебра; весь мир был возмущен столь низким, противным рыцарским обычаям поведением императора.

В четвертом крестовом походе французы, немцы и венецианцы под предводительством графа Монферратского так и не дошли до Палестины: своекорыстные, мстительные венецианцы направляли путь крестоносцев, они захватили Зару и подплыли к стенам Константинополя; началась осада императорской столицы – император бежал, Балдуин, граф Фландрский, стал латинским королем Константинополя, империю и добычу делят между собой победители и самую богатую долю награбленного – владения на Адриатическом, Черном и Греческом морях – получают венецианцы. Во главе похо-

да становится король Кандийский, продавший свой собственный остров жадным до добычи союзникам; вместо земель по ту сторону Босфора он получает королевство Фессалоникийское. Появляются княжество Ахейское, герцогство Афинское, где управляются французские бароны, венецианская знать приобретает герцогство Наксос, Негропонт; появляются на свет божий пфальцграф Зантийский и Кефалоникийский, как свалившаяся с неба добыча греческая империя распродается с молотка. Зато потомки греческого императорского дома основывают империю в Никее, основывают герцогство Трапезунтское, которое тоже именуется впоследствии империей, основывают деспотию в Эпире и ее впоследствии тоже называют империей. Поскольку новым латинским императорам Константинополя осталось так мало земли, то эта слабая, всеми презираемая империя едва просуществовала полвека; никейские императоры вновь завладели древней столицей, а в конце концов все эти фантастическим способом приобретавшиеся владения оказываются в руках у турок.

Пятый крестовый поход, которым руководили немцы и венгры, был совсем маломощным. Три короля – венгерский, кипрский и иерусалимский (по названию) – окружили вместе с гроссмейстерами рыцарских орденов гору Фавор – враг окружен, победа в руках, – но нет, раздоры и зависть отнимают победу, и недовольные крестоносцы возвращаются восвояси.

Император Фридрих II, которого не оставляет в покое папская курия, направляет в Палестину флот, идут переговоры о выгодном перемирии, папский легат мешает его заключению, а когда император против своей воли берет на себя руководство военными действиями, папа делает неразумный шаг, отлучает его от церкви, вероломно нападает на владения императора, пока того нет в Европе, и заведомо обрекает поход на неудачу. Император заключает перемирие с багдадским султаном, который уступает Палестину и Иерусалим, но гроб господень остается в руках сарацин в виде вольного пристанища для всякого паломника.

Но и такое двоевластие продолжается в Иерусалиме только пятнадцать неполных лет, и святой Людовик, предпринявший седьмой, самый несчастливый крестовый поход, не может спасти положения. Сам король вместе с войском попадает в Египте в руки неприятеля, он вынужден заплатить за себя огромный выкуп, позднее он погибает во время другого столь же бесполезного и неудачного похода против мавров в Тунисе. Печальный пример его наконец подавил в людях неразумное влечение – устраивать священные военные походы в Палестину, и последние места, которые оставались еще в руках христиан, – Тир, Акра, Антиохия, Триполи, – постепенно перешли к мамелюкам. Так всему безумию пришел конец; стоило оно Европе

несказанно дорого, потеряно было много человеческих жизней и средств, а каков успех*?

Обычно так много благих последствий относят на счет крестовых походов, что если разделять такое мнение, то пришлось бы пожелать, чтобы хотя бы раз в пятьсот лет наш материк охватывала подобная лихорадка, потрясающая и возбуждающая все члены тела; однако если присмотреться лучше, то окажется, что большинство последствий, на какие обычно указывают, происходит не от крестовых походов, – по крайней мере, не от них одних, но что среди множества толчков, которые испытала в те времена Европа, крестовые походы в лучшем случае были каким-то второстепенным, побочным ударом, который что-то и мог ускорить в развитии Европы, но в целом произвел дурное воздействие и, главное, был совершенно излишен для европейцев и их умственных сил. Выдумывать, будто семь совершенно разных походов, предпринятых на протяжении двухсот лет из самых разных стран, по самым различным побуждениям, составляют главный источник исторических событий, и только потому, что все эти походы называются одинаково, – это чистейшая фантазия и мираж.

1. Мы видели, что *торговля* с арабскими странами была доступна для европейцев и до крестовых походов – они вполне могли воспользоваться торговлей подобающим, приличным образом и расширить ее, не прибегая к грабительским походам. От походов выиграли перевозчики, ростовщики и поставщики, но всю свою выгоду получили они от христиан – в своих крестовых походах против их имущества. А все, что было отнято у греческой империи, было позорным купеческим грабежом – купцы грабили, а империя была в итоге так ослаблена, что Константинополь без труда достался турецким ордам. Лев Святого Марка в Венеции своим четвертым крестовым походом обеспечил присутствие турок в Европе, в противном случае они никогда не смогли бы распространить свои владения так далеко. Правда, генуэзцы помогли императорскому роду занять трон, но империя была разъединена, ослаблена, туркам нетрудно было победить ее, а тогда и венецианцы, и генуэзцы потеряли и лучшие свои владения на Средиземном и Черном морях и лишились всей своей торговли с тамошними местами.

2. Не *рыцарство* возникло благодаря крестовым походам, а крестовые походы благодаря рыцарству – уже в первом походе цвет французского и норманнского рыцарства появился в Палестине. Напротив, крестовые походы повлекли за собою лишь одно то, что подлинный цвет рыцарства был погублен и настоящие рыцари – с мечом в руках – превратились в рыцарей на гербовой бумаге. По-

* Мне не пришлось читать трактаты о последствиях крестовых походов, получившие награды ученых обществ, и свой взгляд я излагаю независимо от них[7].

лучалось так, что в Палестине многие надевали шлем, кто в Европе не посмел бы сделать этого, – из Палестины привозили дворянские звания и гербы, эти звания и гербы переходили к наследникам, и так в Европе появилось новое сословие – гербовое, а потом и жалованное дворянство. Поскольку численность прежнего, настоящего дворянства, древних династий, сокращалась, то новое, жалованное дворянство тоже мечтало о земельных владениях и родовых привилегиях, и новые дворяне старательно подсчитывали предков, приобретали титулы и привилегии, так что спустя немного поколений и они тоже начинали называться древним дворянством, хотя и не имели ничего общего с древними родами, которые по сравнению с ними были настоящими царями В Палестине каждый, у кого в руках был меч, мог стать рыцарем; первые крестовые походы были годами больших вольностей для Европы. Вскоре оказалось, что новое, служивое дворянство приходится весьма кстати для растущей монархии, которой удавалось умно воспользоваться ими против остатков прежних высокородных вассалов. Так одна страсть пожирает другую, и одна видимость – другую; служащее дворянство постепенно свело на нет древнее рыцарство.

3. Ясно и не требует доказательств то, что учрежденные в Палестине *духовные ордена* не послужили на пользу Европе. Они до сих пор живут старым капиталом – тем, что было некогда посвящено гробу господню, то есть цели, для нас совсем уж нереальной. Госпитальерам было положено давать кров паломникам, ухаживать за больными, услуживать прокаженным; теперь это высокомерные иоанниты наших дней. Когда дворянин из Дофинэ Раймон Дюпюи ввел среди них новый обет – сражаться с оружием в руках, – орден св. Лазаря отпал и остался при первом правиле, Тамплиеры были монахами-священниками, в течение десяти лет жили подаяниями, охраняли паломников на пути ко гробу господню, но, наконец, они умножили свое состояние, переменили устав, рыцарям были приданы оруженосцы, ордену – служащие ему братья. Наконец, Немецкий орден был учрежден, чтобы оказывать помощь больным и раненым на поле сражения; наградой были одежда, хлеб и вода. Но разбогател и усилился и этот занятый полезным служением орден. В Палестине все ордена доказали свою храбрость и доблесть, но совершили немало предательских и вероломных поступков, однако вместе с Палестиной должно было бы окончиться и их существование. Но когда иоанниты вынуждены были оставить эту страну, когда они потеряли Кипр и Родос, а Карл V даровал им скалистый остров Мальту, что же за странное поручение было дано им – и за пределами Палестины оставаться вечными крестоносцами, а за это пользоваться владениями в таких государствах, по которым ни один паломник не может прийти ко гробу господню и которые вообще не могут бороться с турками! Орден святого Лазаря

Людовик VII поселил во Франции, пытаясь вернуть его к первоначальному призванию – уходу за больными; не один папа собирался упразднить его, но французские короли его защищали, а Людовик XIV объединил с несколькими малочисленными орденами. Он поступил совсем иначе, нежели предок его Филипп Прекрасный, который из жадности и жажды мести жестоко искоренил тамплиеров, присвоив себе их имущества, на которые не имел ни малейших прав. И, наконец, рыцари Немецкого ордена, будучи призваны герцогом Мазовии на помощь против язычников-пруссов, получили в дар от немецкого императора все, что ни завоюют, – все это, разумеется, не принадлежало императору, – и вот они завоевали Пруссию, объединились с ливонскими меченосцами, получили Эстландию от короля, который не умел удержать ее в своих руках, и, таким образом, воцарились на всем пространстве от Вейкселя до Двины и Невы и вели роскошную и распутную жизнь. Древняя народность пруссов была искоренена совершенно, литовцы и самоеды, куры́, летты, эсты, словно стада баранов, разделены между немецкими дворянами. После длительных войн с Польшей они потеряли сначала половину Пруссии, потом всю ее целиком, потом Лифляндию и Курляндию – и осталась от них только молва: невозможно управлять завоеванной страной более спесиво, угнетать еще более жестоко, чем угнетали рыцари это побережье; если бы несли сюда свою культуру морские города, берега эти приобрели бы совсем иной вид. Вообще место трем названным орденам – не в Европе, а в Палестине. Там они были учреждены, там определено было место их пребывания. Там надлежало им воевать с неверными, ухаживать в лазаретах за хворыми, хранить гроб господень, сопровождать паломников, лечить прокаженных. Пришел конец целям – и орденам надлежало прекратиться; имущества их принадлежат делам милосердия – прежде всего людям бедным и больным.

4. Подобно тому как жалованное дворянство исполнило свое предназначение единственно в связи с ростом монархии в Европе, так и *городская вольность,* местное самоуправление, освобождение крестьян в нашей части земли объясняются совершенно иными причинами – отнюдь не безумными крестовыми походами. Если при первом приступе лихорадки всем беспутным хозяевам и должникам отсрочили уплату долгов, если вассалов и крепостных освободили от их обязанностей, если платящих налог освободили от уплаты налога, а платящих проценты – от уплаты процентов, то все это еще не утверждало прав свободы в Европе. Давно уже существовали города, права других городов были давно уже утверждены и расширены, и если ко все растущему трудолюбию, ко все расширяющейся торговле этих городов прибавилась еще, раньше или позже, свобода крестьянина, – ведь и стремление муниципиев к самостоятельности тоже было заложено в развитии поднимающегося абсолютизма, – то нам

не приходится искать в Палестине того, что плывет навстречу нам в потоке всех происходящих в Европе изменений, что совершается по вполне четко выясненным причинам. Едва ли прочная европейская система зиждется на юродстве фанатиков.

5. *Наукам и искусствам* крестоносцы в собственном смысле слова никак не способствовали. Распутные армии, отправившиеся в Палестину, не имели о них никакого представления и не могли приобрести недостающего себе знания ни в пригородах Константинополя, ни у турок и мамелюков в Азии. Если говорить о позднейших походах, то нужно принять во внимание, сколь короткое время находились в походе войска, каким испытаниям подвергались они все то время, которое проводили они иной раз только на границах чужих стран, – и нам придется отказаться от мысли, будто они привезли оттуда какие-то великие открытия. Маятниковые часы, которые получил Фридрих II в дар от Меледина, не повлекли за собой развития гномоники[8], а греческие дворцы, на которые пораженно глядели крестоносцы в Константинополе, не изменили в лучшую сторону европейскую архитектуру. Некоторые крестоносцы, среди них Фридрих I и Фридрих II, способствовали просвещению, но первый – еще и до того, как вообще увидел страны Востока, а второму это путешествие на Восток, где он уже провел однажды короткое время, дало лишь новый стимул продолжать править так, как правил он до тех пор. Ни один из духовных орденов не принес просвещения Европе и не способствовал просвещению.

Итак, все, что можно сказать в пользу крестовых походов, сводится к незначительным масштабам. Новое прибавлялось к уже наличному и против воли крестоносцев способствовало движению вперед.

* * *

1. Множество богатых вассалов и рыцарей отправились в Святую Землю в первых крестовых походах, но значительная часть их не вернулась на родину; это послужило поводом к тому, чтобы земли их были распроданы или слиты с другими владениями. Отсюда извлекал пользу кто мог – феодалы, церковь, города, которые существовали уже и раньше, и каждый извлекал пользу по-своему; все эти вещи не положили начало укреплению королевской власти благодаря учреждению среднего сословия, но они способствовали такому процессу и ускоряли его.

2. Люди знакомились с неизвестными им прежде землями, народами, религиями и политическими укладами; кругозор расширялся; появлялись новые идеи, новые стремления, желания. Люди начали интересоваться вещами, которые раньше оставляли без внимания, лучше научились пользоваться тем, что уже имели, а поскольку мир оказался куда более широким, чем казалось, то проснулось любопытство, жела-

ние узнать далекие страны. В первую очередь взоры всех были привлечены к Татарии, к грандиозным завоеваниям Чингисхана в северной и восточной Азии; сюда отправились в путешествие венецианец Марко Поло, француз Рюбрюкви, итальянец Джованни ди Плано Карпино[9]; у каждого из них была своя цель – первый путешествовал ради торговли, второй – чтобы удовлетворить любопытство короля, третий был послан папой и цель состояла в обращении народов в христианство. Так что нет необходимой связи между этими путешествиями и крестовыми походами: путешествовали не мало и до и после них. И сам Восток не стал после крестовых походов так хорошо известен европейцу, как того хотелось бы, – и до сих пор мы не можем обходиться без сведений восточных авторов, даже о тех временах, когда Сирия кишела христианами.

3. Наконец, во время своих путешествий на этот священный базар суеты европейские народы лучше узнавали друг друга, хотя узнавали и не с самой приятной стороны. Короли и князья привозили с собой, как правило, неискоренимую ненависть друг к другу; так, эти походы дали пищу новым войнам между Англией и Францией. Скверный эксперимент – попытка противопоставить соединенные силы христианской республики неверным – давал основание для подобных же войн в самой Европе, позднее они распространились по всему миру. Но если европейские нации ближе познакомились с сильными и слабыми сторонами своих соседей, то нельзя отрицать, что тем самым, в тишине и незаметно, были заложены основы новой, более общей науки о государстве и новой системы мирных и военных отношений между государствами. Каждый проникся жаждой богатств, торговых выгод, удобной и роскошной жизни – ко всему подобному грубые души легко привыкают на чужбине, завидуя другим. Поэтому лишь немногие из вернувшихся на родину могли свыкнуться с европейской жизнью, многие утратили даже и свой героический дух, стали неуклюже подражать восточным привычкам или мечтали о новых путешествиях и приключениях. Вообще говоря, любое историческое событие может произвести на свет реальное и непреходящее благо лишь по мере заключенной в нем разумности.

Для Европы было бы ужасным несчастьем, если бы в то самое время, когда многочисленные отряды спорили в уголке Сирии о гробе господнем, Чингисхан с нерастраченными силами и без промедления повернул в сторону Запада. Подобно России и Польше, наша часть света стала бы добычей грабителей-монголов, и европейским нациям пришлось бы нищенствовать и уже с посохом паломника в руке отправляться за море, чтобы помолиться у гроба господня. Итак, бросим весь этот безумный фанатический вздор и вернемся в Европу – посмотрим, как постепенно очищается и складывается в ней нравственный и политический разум народов, – как то бывает всегда, самые разные вещи исторически сложно переплетаются между собой.

IV. Культура ума в Европе

В самые первоначальные времена христианства существовали, как мы видели, многочисленные секты, которые ставили своей целью объяснить, истолковать и очистить всю систему религии с помощью так называемой *восточной философии;* эти секты считались еретическими, их преследовали и подавляли. Глубже других было *учение Мани*, которое с древней персидской философией, зороастризмом, соединяло моральное воспитание людей и стремилось нравственно воздействовать на общину. Это учение преследовали еще более жестоко, чем чисто созерцательную ересь; оно нашло спасение в горах Тибета на Востоке, в горах Армении на Западе, иной раз и в европейских странах, где, однако, его ждала та же судьба, что и в Азии. Долгое время думали, что учение это совершенно уничтожено, но в самые мрачные времена Средневековья оно, словно по мановению руки, выплыло наружу в таком конце света, где никто не подозревал о его существовании, и сразу же произвело ужасное волнение в Италии, Испании, Франции, Нидерландах, Швейцарии и Германии. Из Болгарии вышло оно, из варварской области, из-за которой долго дрались греческая и римская церковь, и тут незримо присутствовал глава всей школы, который, в противоположность папе римскому, утверждал, что стремится уподобиться Христу в бедности. Тайные миссии шли отсюда во все страны Европы и с поразительной силой притягивали к себе и низкий люд, особенно трудолюбивых ремесленников и угнетенное крестьянство, и богатых, графов, дворян, прежде всего женщин; это учение придавало людям силы противостоять любому гонению и упорствовать в самой смерти. Это кроткое учение проповедовало человеческие добродетели – трудолюбие, целомудрие, уединенную жизнь, оно ставило перед людьми цель совершенства, к которому общину следовало вести, устанавливая весьма строгие различения, – но кроткое учение это было прямым призывом к борьбе против церкви с воцарившимися в ней мерзостями. Оно особенно нападало на безнравственную жизнь духовенства, на его богатство, распущенность, властолюбие, оно отвергало суеверные мнения и обычаи, отрицало нравственно бессмысленное колдовство таинств, а вместо этого признавало лишь простое благословение рукоположением и союз членов общины под руководством ее настоятеля – Совершенного. Человеческими установлениями, фантазиями считало оно пресуществление хлеба, распятие, мессы, чистилище, заступничество святых, имманентные достоинства римского духовенства; о содержании Писания, особенно Ветхого Завета, они судили очень вольно и все сводили к бедности, чистоте души и тела, к тихому труду, кротости, добросердечию, а потому их нередко называли bons hommes, добрыми людьми. У самых ранних представителей этого учения нельзя не заметить влияния восточного манихейства; они исходили из борьбы света с мраком, материю считали

источником греха и очень резко отзывались о чувственных наслаждениях; постепенно система очищалась. Манихеев, которых в каждой стране в зависимости от обстоятельств называли по-разному – катарами (еретиками), патаренами, публиканами, пассаджьери и т.д., – отдельные учителя, особенно Анри и Пьер Дебрюи, преобразовали в уже гораздо менее уязвимые религиозные партии, и, наконец, вальденсы учили уже почти всему тому, с чем выступил спустя несколько веков протестантизм, и мужественно стояли на своем; в отличие от них прежние секты напоминали скорее анабаптистов, меннонитов, богемских братьев и другие секты Нового времени. Все они ширились с неумолимой силой, с такой красноречивой очевидностью, что в целых провинциях авторитет духовного сословия совершенно пал в глазах населения, тем более что духовенство не способно было опровергать аргументы противника. Эти учения прежде всего распространились в областях *провансальского языка:* Новый Завет – неслыханное дело для тех времен! – был переведен на провансальский язык, правила совершенной жизни были изложены в стихах на провансальском языке, и со времен введения римского христианства впервые появились *воспитатели народа, говорившие на народном языке**.

Но зато и преследовали их, как только могли. Уже в начале XI века в центре Франции, в Орлеане, сожгли манихеев, а среди них самого [1022] духовника королевы, – они не пожелали отречься от своего учения, свидетельствуя о своей вере. Ничуть не мягче поступали с ними во всех странах, где у духовенства была реальная власть, например, в Италии и Южной Германии; в Южной Франции, в Нидерландах их ценили как людей прилежных в работе, и они долгое время пользовались покоем, но наконец, после нескольких соборов и диспутов, гнев духовенства распалился на [1200] них, был создан суд инквизиции, а поскольку покровитель их, граф Раймонд Тулузский, не желал отступаться от них, – этот подлинный мученик за правое дело человечества, – то жуткий крестовый поход обрушил на них свои неисчислимые жестокости. Доминиканские монахи, проповедовавшие против них, были мерзкими их судьями, Симон Монфортский, вождь крестового похода, самым жестоким человеком, какого знала земля, и кровавый суд изошел из этого уголка Южной Франции, где несчастные bons hommes прожили в тишине и покое два столетия, и распространился на испанских, итальянских еретиков, на большинство католических земель. Вот почему так перепутаны самые разные секты Средневековья – для кровавого суда, для духа гонений и преследований все они были одним и тем же; но отсюда же их стойкость, упорное сопротив-

* Из сочинений обо всех этих вероучениях назову только одну книгу, не оцененную по достоинству, – «Новую беспристрастную историю церкви и еретиков в Средние века» И.К.Фюссли[10], три части; здесь ценная подборка материалов.

ление этих учений: прошло три, прошло пять столетий, и Реформация обнаружила во всех странах семена все тех же учений, оставалось только вдохнуть в них новую жизнь. Виклиф в Англии оказывал то же влияние на лоллардов, что Гус на чехов, – Богемия, у которой был один язык с болгарами, была издавна усеяна подобными благочестивыми сектами. Росток истины, решительной ненависти к суеверию, к поклонению перед человеком, к высокомерному и бездуховному духовенству церкви уже не растоптать; францисканцы и другие ордена были противопоставлены сектам как наглядный образ нищенской жизни и подражания Христу, они должны были получить перевес над этими сектами, должны были отнять у них всякий авторитет, но они не достигли этой цели в народе, а, напротив, вызвали еще новые недовольства. Итак, грядущее падение величайшего тирана – римской иерархии – началось с самого малого, с простоты, с сердечности; не без предрассудков и заблуждений, но простые bons hommes нередко говорили свободнее многих будущих реформаторов.

Дело здравого человеческого рассудка, с другой стороны, продвигал вперед *теоретический разум* – продвигал медленнее и утонченнее, но не без своего эффекта. В церковных школах ученики приучались к диспутам о диалектике святого Августина или Аристотеля и привыкали рассматривать искусство спора как духовный поединок и рыцарский турнир. Несправедливо критиковать такую вольность спора как якобы бесполезные упражнения Средневековья, ибо именно в те времена такая свобода была неоценимой. В диспуте многое можно было подвергнуть сомнению, многое можно было проверить аргументами и контраргументами – ведь для многих положений время позитивного и практического сомнения еще далеко не пришло. Разве сама Реформация не началась с того, что люди прибегли к законам диспута и прикрылись его свободами? А когда монастырские школы превратились в университеты, то есть в арены рыцарских игр и поединков с папскими и императорскими привилегиями, то открылся широкий простор для того, чтобы развились и изощрялись язык, остроумие, проницательность ученых спорщиков, быстрота мысли и присутствие духа. И нет ни одного богословского тезиса, нет такой материи метафизики, которая не послужила бы поводом для тончайших разграничений, для споров и перебранки, – из каждого положения со временем была выткана тончайшая паутина. Такая паутина по самой своей природе не столь долговечна, как грубо сложенное здание позитивной традиции, в которую нужно было верить слепо и не рассуждая, – паутину, сотканную человеческим разумом, сам же разум и может распустить и разрушить. Спасибо утонченному духу средневековых диспутов, спасибо каждому государю, который строил ученые замки этих умственных паутин! Если кого-нибудь из спорщиков и преследовала зависть, если некоторые из них и поступали неосторожно, если кое-кого даже и выкапывали после смерти из освященной

земли, то все же искусство развивалось и предельно отточило языковое сознание и мышление европейцев.

Южная Франция была первой сценой, на которой выступила стремящаяся выйти на поверхность народная религия, а в северных областях Франции, особенно в знаменитой Парижской школе, находилась *арена рыцарских поединков схоластики и философской спекуляции*. Здесь жили Пасхасий и Ратрамн, Скот Эриугена нашел пристанище и благосклонное внимание во Франции, всю жизнь или хотя бы лучшие свои годы учили во Франции Ланфранк и Беренгарий, Ансельм, Абеляр, Петр Ломбардский, Фома Аквинский, Бонавентура, Оккам, Дунс Скот – эти утренние звезды, эти солнца схоластической философии; все страны спешили в Париж, чтоб научиться тут высшей мудрости тогдашнего века. Кто прославился в Париже, тому обеспечены были почетные должности в государственной и церковной иерархии, ибо отнюдь не отвлечена от государственных дел была схоластика, и сам Оккам, защищавший Филиппа Прекрасного и Людовика Баварского от римских пап, мог сказать, обращаясь к императору: «Храни меня мечом, я сохраню тебя пером». Если французский язык раньше других обрел философскую точность, то объясняется это еще и тем, что во Франции велись бесчисленные, долгие, легкие и утонченные диспуты, – латинский язык родствен французскому и способ образования абстрактных понятий легко переходил из латыни во французский язык.

* * *

Перевод сочинений Аристотеля был для утонченной схоластики всем, более чем всем, – это явствует уже из того, что на протяжении пятисот лет авторитет греческого мудреца был одинаково велик во всех европейских школах, но причина, почему ученые такое очевидное предпочтение оказали именно книгам Аристотеля, заимствуя их по большей части у арабов, заключена совсем не в крестовых походах, а в склонностях века и в образе мыслей того времени. Арабские науки прежде всего привлекали интерес Европы своими художественными творениями из области математики, но, кроме того, теми тайнами, которые надеялись выведать у них, – тайноведением, необходимым для сохранения и продления жизни, для получения безмерных сокровищ, для познания правящей во всем судьбы. Искали камень мудрости, эликсир бессмертия, в звездах читали грядущее, и самые математические приемы казались какими-то орудиями волшебства. Словно дети, люди того времени шли по следам чудесного – чтобы однажды отыскать вместо него истину, ради этого предпринимали утомительнейшие путешествия. Уже в XI веке Константин Африканец, уроженец Карфагена, в течение 39 лет странствовал по восточным землям и собирал тайны арабов в Вавилонии, Индии, Египте; в конце концов он приехал в Европу, здесь, в монастыре Монте Кассино, он перевел с

греческого и арабского многие книги, главным образом медицинские. Так эти сочинения, каким бы плохим ни был перевод, оказались в руках многих, и в Салерно выросла, благодаря арабскому искусству, первая в Европе медицинская школа. Любознательные французы и англичане отправлялись в Испанию, чтобы пользоваться уроками самых знаменитых арабских учителей; когда они возвращались на родину, на них смотрели словно на колдунов, да и сами они тайком, видимо, гордились своими тайными колдовскими искусствами. Благодаря этому сочинения по математике, химии, медицине, открытия, практические опыты стали известны в самых знаменитых школах Европы. Не будь арабов, не было бы и Герберта, Альберта Великого, Арнольда из Вилла Нова, Роджера Бэкона, Раймунда Луллия – все они или учились в Испании у арабов или изучали их сочинения. Даже Фридрих II, который неустанно поощрял переводы арабских книг и способствовал оживлению наук, любил науки, но разделял многие суеверия. В течение столетий жила и тяга к путешествиям, и сказания о путешествиях в Испанию, Африку, на Восток, где, как говорилось, можно научиться у молчаливых мудрецов самым великолепным тайнам природы; это убеждение породило целые тайные ордена, целые цехи странствующих схоластов; вплоть до века Реформации и еще позднее философские и математические науки выдают свое происхождение от арабов.

* * *

Неудивительно, что к такой философии тесно примыкала *мистика;* научившись многому у схоластики, мистика превратилась в тончайшее построение, в систему созерцательного совершенства. Уже в ранней христианской церкви мистика неоплатонизма перешла во многие школы и секты; благодаря переводу книг Псевдо-Дионисия Ареопагита эта мистика пришла и на Запад, в монастыри, манихейские секты тоже внесли в нее свой вклад, и, наконец, у монахов и монахинь, со схоластикой и без схоластики, мистика приняла такой облик, в котором перед нами открываются то изощреннейшее, настойчивейшее умственное самокопание, то тончайшая нежность любящего сердца. И мистика сослужила свою службу – она отвлекала души от пустых церемоний, приучала их к самоуглублению и давала им духовную пищу. Одиноких людей, отнятых у мира, тоскующих, мистика утешала картинами иных миров, она даже развивала чувства, будучи своего рода духовным романом. Мистика предшествовала метафизике сердца, подобно тому как схоластика уже трудилась ради разума, – мистика и схоластика сохраняли равновесие. К счастью, почти уже прошли времена, когда опиум этот был – и не мог не быть – лекарством*.

* После сочинений Пуаре, Арнольда[11] и других нам недостает только чисто философской истории мистики, особенно Средних веков.

Наконец, *юриспруденция,* эта практическая философия чувства справедливости и здравого рассудка, куда больше, чем мистика и философская спекуляция, способствовала благу Европы и упрочила права общества, она как бы зажгла в Европе новый свет. Когда господствуют честность и простота, то нет нужды во множестве писаных законов, некультурные немецкие народы по праву противились изощренным римским адвокатам, – народы, жившие в других цивилизованных странах или в странах, где нравы были уже испорчены, вскоре не могли обходиться без собственных писаных законов или даже без сокращенного римского права. А поскольку и такого сокращения уже было недостаточно, чтобы уравновесить папское законодательство, которое, напротив того, росло и умножалось с каждым столетием, то разумно поступили, обратившись к целому корпусу римского права, чтобы упражнять на его основе рассудок и способность суждения толкователей и практиков. Не случайно императоры рекомендовали своим университетам, прежде всего итальянским, изучать римское право – римское право было для императоров арсеналом в борьбе с папой; только что возникавшие в ту пору вольные города разделяли тот же интерес к римскому праву, которым могли пользоваться в борьбе с папой, императором и собственными малыми тиранами. Итак, число правоведов невероятно умножилось, они пользовались величайшим уважением при дворах, в городах, на университетских кафедрах – ученые воины, защитники свобод и собственности народа; благодаря юристам Болонья стала «ученым городом». Чем была Франция благодаря схоластике, тем Италия стала благодаря расцвету юриспруденции, древнеримское и каноническое право соревновались между собой, некоторые папы были ученейшими правоведами. Жаль, что пробуждение этой науки пришлось на такое время, когда сами источники еще не были очищены, когда дух древнеримского народа просматривался в них словно сквозь туман. Жаль, что углубляющаяся в тонкости рассуждений схоластика овладела и этой практической наукой и изречения самых рассудительных мужей превратила в коварные словесные сети. И жаль, наконец, что вспомогательные дисциплины, призванные упражнять способность суждения на образцах величайших людей рассудка, каких знала древность, были превращены в позитивную норму, в Библию законов, которые полагалось применять и к самым новым и самым неопределенным казусам. Вследствие этого в законы проник каверзный дух, стерший, можно сказать, национальный характер европейских законодательств. Варварское, книжное знание – вместо живого знания сути дела, судопроизводство – лабиринт формальностей и словесных распрей; вместо благородного, умного судьи – ум, изощренный в применении хитроумных приемов, язык права, законов – запутанный, непонятный; торжествует власть короля – и ложное право государя предпочитается во всех случаях жизни. Последствия всего сказанного ощущались в течение долгого времени.

* * *

Печальную видишь картину, когда европейский дух, пробуждающийся ото сна, сравниваешь с древними временами и народами. Все доброе боязливо выступает из грубого, тупого варварства, из-под гнета духовной и светской власти; здесь самые лучшие семена топчут на твердой дороге, там их похищают птицы, в других местах эти семена с трудом прорастают среди колючек, засыхают, душатся другими растениями – недостает благодатной почвы древней простоты и доброжелательства. Первая народная религия осмеливается выйти на свет божий среди еретиков, фанатических мечтателей, которых все преследуют, гонят, философия выступает в аудитории, где спорят диалектики, самые полезные науки являются под видом колдовства и суеверия, человеческими чувствами управляет мистика, более совершенное государственное устройство предстает в изношенном, заплатанном наряде давно отжившего и совсем не подходящего к новым временам законодательства; и с помощью всего этого Европа должна выйти из путаницы и хаоса и придать себе новый облик! Но если почве культуры недостает рыхлости и глубины, если сами орудия, инструменты вышли из строя, если в самом воздухе нет ясности и свободы, то, быть может, многое возместит сама пространность поля, которое предстоит обработать, ценность культуры, которую придется на нем взращивать. Не Афины и не Спарту – нужно воспитать Европу, и не ради калокагатии греческих художников и мудрецов, а ради гуманности и разума, что охватят в свое время весь земной шар. Посмотрим же, какие меры были приняты, какие нововведения и открытия посеяны были во мрак времен, дабы взойти и созреть в будущем.

V. Открытия и новые начинания в Европе

1. *Города* Европы стали как бы военными лагерями культуры, горнилом трудолюбия, началом нового лучшего хозяйственного строя, без которого земля эта до сих пор оставалась бы невозделанной пустыней. Во всех городах бывших римских владений в той или иной степени сохранились римские искусства и ремесла; в тех краях, которыми Рим не владел, города стали бастионами, отразившими натиск варваров, – убежищем для людей, торговли, искусств, промыслов. Вечная благодарность тем правителям, которые строили города, покровительствовали им, даровали им права и привилегии, ибо вместе с городами возникали такие жизненные формы, в которых ощущалось уже тихое дыхание общественности; сложились аристократически-демократические организмы, члены которых бдительно следили друг за другом, враждовали, боролись друг с другом, но в результате только укрепляли общую безопасность, поощряли дух соревнования в труде, неутомимое усердие. В городских стенах, на ма-

лом пространстве теснилось все, что только могли пробудить, создать прилежание, находчивость, гражданская свобода, хозяйство, порядок, нравственность; законы некоторых городов – это подлинные образцы бюргерской мудрости. И патриции, и подлый люд пользовались благодаря этим законам *гражданскими правами* – первое имя, которое дано было общей свободе. В Италии возникли республики, торговые пути которых заходили куда дальше, чем когда-либо у Афин или Спарты; по эту сторону Альп не только выдвинулись отдельные города, трудившиеся и торговавшие не покладая рук, но между этими городами завязались отношения, сложились союзы городов и, наконец, целое купеческое государство, влияние которого простиралось на Черное, Средиземное моря, на Атлантический океан, на моря Северное и Восточное. Эти города расположены были в Германии и в Нидерландах, в северных государствах, в Польше, Пруссии, России, Ливонии, над ними царил Любек – крупнейшие центры торговли в Англии, Франции, Португалии, Испании и Италии примкнули к союзу городов – самому деятельному, какой когда-либо существовал на свете. И этот союз превратил Европу в единую общность, скрепил ее сильнее всех крестовых походов и римских церемоний; ибо союз этот поднялся над религиозными и национальными различиями и основан был на взаимной пользе, соревновании в труде, на честности и порядке. Города совершили то, чего не хотели и не могли совершить государи, священники, дворяне, – они создали *солидарно трудящуюся Европу.*

2. Городские *цехи* были обузой для начальства, а нередко и для самого развивающегося искусства, однако в те времена такие маленькие общины, слитые в органическое единство тела, были совершенно необходимы; благодаря им честное ремесло могло существовать, умение росло, а художник ценился по достоинству. Благодаря им Европа стала перерабатывать материалы, поставляемые целым светом, и эта часть света, самая маленькая и бедная, взяла верх над всеми остальными частями света. Трудолюбию цехов обязана Европа тем, что из льна и шерсти, шелка и пеньки, щетины и кожи, из глины и клея, из камней, металлов, растений, соков и красок, из соли, пепла, тряпок, мусора и грязи стали получаться чудеса, и чудеса эти служили средством для создания других чудес – так будет всегда. История изобретений – это лучшая похвала человеческому духу; цехи и гильдии были школами, в которых воспитывался дух изобретательства: разделение труда между ремеслами, правильно построенное обучение, даже и конкуренция между цехами, и сама бедность производили на свет вещи, о которых не имели и представления правители и начальники, редко покровительствовавшие ремеслам, редко награждавшие труд и почти никогда не пробуждавшие в людях рвение и прилежание. Под сенью мирного городского управления цехи росли, выделяясь своей дисциплиной и порядком; самые глубокомысленные искусства возникли из ручной

работы, из ремесел, облик которых они долгое время сохраняли, и здесь, по эту сторону Альп, отнюдь не в ущерб себе. Итак, не будем смеяться и не будем сожалеть о чопорной церемонности цехов, о длинной лестнице учения, обо всем, что присуще их практическому распорядку: в цехах сохранялась сущность искусства и они берегли честь художника. Не так нужны были ступени и звания монаху и рыцарю, как труженику, за ценность работы которого ручалось как бы целое товарищество, ничто так не противно искусству, как небрежная, некачественная работа: если художнику чужда честь мастера, то само искусство его гибнет в его работах.

Пусть же будут священны для нас шедевры Средневековья, в которых – свидетельства заслуг городов перед искусствами и ремеслами. Готическая архитектура никогда не достигла бы своего расцвета, если бы республики и богатые торговые города не гордились друг перед другом соборами и ратушами, как греческие города древности – статуями и храмами. В каждом городе мы замечаем, что выбиралось в качестве образца, с какими государствами велась торговля – архитектура древнейших построек Венеции и Пизы совершенно отлична от архитектуры Флоренции или Милана. Города по эту сторону Альп тоже следовали тем или другим образцам, но в целом более совершенная готическая архитектура получает свое объяснение из жизненного уклада городов и духа времени. Как думают, как живут люди – так они строят, и увиденное в чужих странах они могут только применить к себе, как птица, которая строит гнездо по размерам и по образу жизни своему. Если бы строились только монастыри и рыцарские замки, то никогда не было бы смелой, дерзкой и вместе с тем изящной готической архитектуры, в которой – сокровище городской общины, солидарного общества. Так, и на самых бесценных произведениях искусства Средних веков, на работах из металла, слоновой кости, из стекла, дерева, на коврах и одеждах, мы видим герб родов, общин, городов – у этих произведений непреходящая ценность, и по праву стали они неотторжимым достоянием родов и городов. Так трудолюбивый горожанин писал свою хронику, правда, для такого летописца дом, род, цех, город были целым миром, но тем глубже воспринимает он сердцем и умом своим все происходящее, благо странам, если история их составлена по таким хроникам, а не по летописям монахов. И римское право впервые было введено в свои рамки мудрыми и энергичными городскими советниками – иначе оно вытеснило бы со временем самые лучшие уставы и законы народов.

3. *Университеты* были учеными городами и цехами, как городские коммуны они наделены были всеми правами цехов и городов и делили с ними все заслуги. Как политические организмы – не как школы – сбивали они спесь с дворян, поддерживали государей в борьбе с притязаниями пап, и не одному только клиру, как прежде, но целому особому

ученому сословию открыт был путь к государственным должностям и рыцарским почестям. Верно, никогда ученых не уважали так, как во времена, когда только занималась заря знаний, – люди увидели всю несомненную ценность блага, которое презирали они столь долго, а если одна сторона боялась света, то другая с тем большей радостью встречала разгоравшуюся зарю. Университеты были крепостями, бастионами науки, они были направлены против воинствующего варварства – церковного деспотизма; сокровища, вся ценность которых еще далеко не была понята тогда, они сохранили для лучших времен. Вот почему после Теодориха, Карла Великого и Альфреда нам следует прежде всего почтить прах императора Фридриха II – за ним, помимо всех остальных его заслуг, числится еще и та заслуга, что он вдохнул жизнь в тогдашние университеты, которые с тех пор все развивались и развивались, по образцу Парижской школы. И эти учебные заведения превратили Германию в центр Европы; все арсеналы и склады наук обрели в Германии устойчивость, прочность, при величайшем внутреннем богатстве.

4. В заключение назовем некоторые открытия, которые применены были на практике и затем получили всеобщее распространение. *Магнитная стрелка,* указывающая путь кораблям, по-видимому, попала в Европу через арабов и в употребление вошла благодаря купцам из Амальфи, которые рано начали торговать с арабами; европейцы получили магнитную стрелку, а вместе с ней, можно сказать, весь мир. Уже в ранние времена генуэзцы осмеливались плавать на юг по Атлантическому океану, и португальцы впоследствии не зря владели самым западным побережьем Старого Света – они нашли путь вокруг Африки и в результате совершенно изменили торговые пути, связывавшие Европу с Индией, – наконец, один генуэзец[12] открыл второе полушарие и изменил все сложившиеся на нашем континенте условия. Незаметное орудие, с помощью которого сделаны были все эти открытия, прибыло в Европу на заре новых наук.

Стекло – этот давний товар азиатов, некогда продававшийся по цене золота, – в руках европейцев стал дороже золота. Сальвино[13] или, может быть, кто другой, отшлифовав первую линзу, положил начало инструменту, с помощью которого людям суждено открыть мириады небесных миров, упорядочить исчисление времени, навести порядок в мореплавании и развивать величайшую из наук, какими может гордиться человеческий ум. Уже Роджер Бэкон, монах-францисканец, писал в своей келье удивительные вещи о свойствах солнечного света, да и почти всех других царств природы; наградой ему были ненависть ордена и тюремное заключение, но во времена не столь мрачные идеи его были успешно развиты другими. Первый луч утреннего света, запавший в душу этого замечательного человека, явил перед ним новые миры на небе и на земле.

Порох, этот смертоубийственный и все же благодетельный инструмент, тоже пришел в Европу через арабов в описаниях, а может быть уже и в практическом применении. Но, кажется, что порох создавали в разных местах, на основании книг, а употреблять стали очень постепенно; однако порох переменил все способы ведения войны. В сегодняшнем состоянии Европы несказанно многое зависит от этого изобретения – оно, как никакие соборы, победило рыцарский дух, оно, как никакие сеймы и собрания, усилило власть правителей, оно остановило слепую резню озлобленных солдат и положило пределы порождавшему ее способу ведения войны. Целую эпоху в истории человеческого рода составили это и другие химические открытия, прежде всего изобретение губительной водки, которая пришла в Европу через арабов как лекарство, а отсюда распространилась по всему свету как отрава.

То же можно сказать о приготовляемой из тряпок бумаге и о прологах *типографского искусства,* когда стали печатать игральные карты и делать другие оттиски с неподвижными буквами и знаками. Делать бумагу, по-видимому, подсказал пример арабов, привозивших из Азии хлопчатую и шелковую бумагу; печатное искусство развивалось медленно и постепенно, от опыта к опыту, пока технику гравюры на дереве не заменили, оказав величайшее влияние на всю Европу, гравюра на меди и книгопечатание. Арабские *цифры,* изобретенное Гвидо Аретинским *нотное письмо*[14], *часы,* привезенные из Азии, масляная живопись – древнее немецкое изобретение и вообще все полезные открытия, инструменты, изобретения, которые были придуманы, переняты, созданы в Европе еще до наступления новой зари знания, – все это в обширной оранжерее европейского трудолюбия и прилежания становилось семенами нового, семенами грядущих событий истории.

VI. Заключительное замечание

Какими путями пришла Европа к культуре, как обрела она то достоинство, каким отмечена перед всеми другими народами? Время, место, потребности, условия, обстоятельства, поток событий – все шло в одном направлении, но обретенное достоинство в первую очередь было результатом бесчисленных совместных, *солидарных усилий,* плодом *собственного трудолюбия и прилежания.*

1. Если бы Европа была богата, как Индия, если бы материк Европы был однообразным, как Татария, жарким, как Африка, замкнутым, как Америка, то не было бы ничего из того, что выросло и сложилось в Европе. Даже погруженной в глубокое варварство Европе географическое положение ее позволило вновь добыть свет знания; но более всего полезны были ей реки и моря. Пусть не будет Днепра, Дона и Двины, Черного, Средиземного, Адриатического морей, Атлантического океана, морей Северного и Восточного с их берегами, островами, реками – и

вот уже нет почвы для того великого торгового союза, который привел к движение Европу и приучил ее к прилежному труду. Две огромные и богатые части света, Азия и Африка, окружали свою бедную и неприметную рядом с ними сестру Европу, с самого края света, из областей древнейшей культуры они слали сюда товары и изобретения и этим возбуждали жар трудолюбия, дар изобретательства. Европейский климат, остатки древнего Рима и Греции только способствовали всему, и так получается, что все величие Европы покоится на фундаменте *знания, неутомимой деятельности, изобретательности, на всеобщем солидарном старании и соревновании.*

2. *Гнет римской иерархии,* быть может, был необходимым ярмом – цепями, сковывавшими грубые народы Средневековья; не будь ее, и Европа, вероятно, стала бы добычей деспотов, ареной вечных раздоров, если не монгольской пустыней. Поэтому римская иерархия заслуживает похвалы – она послужила противовесом, но если бы действовала всегда и постоянно только эта сила, только эта пружина, Европа превратилась бы в церковное государство по тибетскому образцу. Но действие и противодействие вызвали такое следствие, о котором не подумала ни одна из сторон; нужда, опасности, потребности вызвали к жизни третье сословие – прорастили его между двумя первыми, и этому новому сословию суждено было стать животворной кровью всего огромного деятельного организма, а иначе организм распался и разложился бы. Это – сословие, на котором держится *наука, полезный труд, старание и соревнование;* благодаря этому сословию эпоха, когда рыцарство и поповство были жизненно необходимыми сословиями, медленно, но верно подошла к концу.

3. И какой могла быть новая культура Европы, тоже явствует из предыдущего. Она могла стать только культурой людей, какими они были и какими желали стать, культурой, порождаемой деловитостью, науками, искусствами. Кто презирал труд, науку, искусство, кто не испытывал в них потребности, кто извращал и искажал их, оставался тем, кем был прежде; чтобы культура равномерно и всеохватно пронизывала и воспитание, и законы, и жизненный уклад всех стран – всех сословий и народов, – об этом в Средние века еще нельзя было и подумать, а когда же придет пора думать об этом? Между тем разум человеческий, умноженная солидарная деятельность людей неудержимо, неуклонно идут вперед и видят в этом добрый знак, если даже лучшие плоды и не созревают до времени.

План заключительного тома

Книга двадцать первая

1. *Италия:* о торговле; республики, их правители, строй, следствия; об искусствах; Данте, Петрарка, Боккаччо (вообще о новеллах), Ариосто, Тассо. Трагедия, комедия, музыка; история, философия; архитектура, живопись (разные школы), скульптура.

2. *Франция* и *Англия:* как удалось французским королям возвыситься над своими вассалами. О прагматической санкции, или папе. О третьем сословии. Война с Англией. Итальянские войны. Постоянные армии. Английский common law. Magna charta. Ирландия. Революция в феодализме. Мануфактуры.

3. *Германия:* как сложилась ее судьба после междуцарствия. Австрийские императоры. Людовик Баварский, союз курфюрстов. Золотая булла. Вацлав. Соборы. Какую форму приобрели Швабия, Бавария, Саксония, Франкония. Что стало с землями вендов. О Бургундии, Арелате, Швейцарии. О ганзейских городах и швабском союзе городов. Фридрих и Максимилиан. Науки и искусства: порох, книгопечатание.

4. *Север* и *Восток:* Дания, Швеция, Польша, Венгрия.

5. *Турки:* влияние завоевания турками Константинополя.

6. *Испания* и *Португалия:* объединение Испании. Географические открытия.

7. Размышление о последствиях, которые возымели направленный против Рима свободолюбивый дух, римское право, книгопечатание, возрождение древности, обе Индии.

Книга двадцать вторая

Реформация. Дух и распространение Реформации в Германии, Швейцарии, Франции, Англии, Италии. Последствия Реформации для Германии – от Карла V до Вестфальского мира, для Скандинавии, Пруссии, Курляндии, Польши и Венгрии, для Англии – от Генриха VIII до билля о правах (bill of rights), для Франции и Швейцарии (Женева, Кальвин), для Италии – иезуиты, социнианцы, венецианские принципы, Тридентский собор; общие рассуждения.

Книга двадцать третья

1. Возобновленный дух наук в Италии, Франции; развитие изящных наук.

2. Государственное право и принцип равновесия; дух трудолюбия и торговли – о деньгах, роскоши, налогах; о законодательстве; общие рассуждения.

Книга двадцать четвертая

Россия; Остиндия и Вестиндия; Африка; европейская система; отношение Европы к другим частям света.

Книга двадцать пятая

Гуманность по отношению к отдельному человеку; в сравнении с религией, в связи со строем государств, торговлей, искусствами, науками. Достояние человеческого духа. Как человеческий дух влияет повсюду и на все. Перспективы.

Приложения

А. Гулыга

Гердер и его «Идеи к философии истории человечества»

> Это произведение, возникшее пятьдесят лет тому назад в Германии, оказало невероятно большое влияние на воспитание всей нации; исполнив свое назначение, оно было почти вовсе забыто. Но теперь оно признано достойным того, чтобы так же воздействовать на другую, в известном смысле уже высокообразованную нацию и осуществить самое человечное влияние на массу людей, стремящихся к высшему познанию.
>
> *Гёте. О французском издании «Идей...», 1828 г.*

В «Разговорах с Гёте» И.П.Эккермана можно прочесть: «Мы вновь вернулись к Гердеру, и я спросил Гёте, что он считает самым лучшим из его произведений. «Его "Идеи к философии истории человечества", – сказал Гёте, – безусловно, самое лучшее»*. Не согласиться с Гёте нельзя. Действительно, все написанное Гердером до «Идей» явилось своеобразной их подготовкой, все появившееся после основного труда так или иначе связано с поставленными в нем проблемами, с возникшей вокруг него дискуссией. Раскрыть генезис «Идей» – значит познакомиться с творческой биографией их автора.

Иоганн Готфрид Гердер (1744–1803)–выходец из маленького восточно-прусского городка Морунген. Окончив местную школу, он поступил в 1762 г. на богословский факультет Кёнигсбергского университета. Здесь он слушал блестящего лектора, восходящую философскую звезду первой величины – магистра Иммануила Канта (1724–1804). У Канта Гердер прослушал все тогдашние его курсы: метафизику, логику, математику, физическую географию. Сохранились записи Гердера – аккуратные, ясные, обстоятельно излагающие суть проблемы**. Докритические работы Канта оказали значительное влияние на формирование мировоззрения Гердера. И о личности своего преподавателя он всегда вспоминал с глубокой признательностью. «Его открытое, как бы созданное для мышления чело носило отпечаток веселости, из его уст текла приятная речь, отличавшаяся богатством мыслей. Шутка, остроумие и юмор были средствами, которыми он всегда охотно пользовался, оставаясь серьезным в момент общего веселья. Его публичные лекции носили характер приятной беседы»***.

---

* *Эккерман И.П.* Разговоры с Гёте. М., 1934. С. 248.

** См. *Kant I.* Aus den Vorlesungen der Jahre 1762 bis 1764. Auf Grund der Handschriften J.G.Herders. («Kantstudien». Ergänzungsheft 88). Köln, 1964.

*** *Herder J.G.* Briefe zu Beförderung der Humanität. Bd. 2. Berlin, 1971. S. 350.

Другим мыслителем, влияние которого испытал Гердер, был близкий знакомый Канта, однако своего рода его антипод по образу мыслей – Иоганн Георг Гаман (1730–1788). Совершенно чуждый точным и естественным наукам, талантливый литератор и знаток литературы, религиозно настроенный, Гаман еще больше, чем Кант, овладел умом юного Гердера, оставив в нем глубокий след. В том, что юноша поддался влиянию двух противоположных по своему духовному облику и научным принципам наставников, впервые проявилась противоречивость натуры Гердера, сочетавшего в себе качества просветителя-ученого и протестантского пастора. В 1764 г. Гердер навсегда расстался с Кёнигсбергом и направился в Ригу, с тем чтобы занять там должность помощника ректора церковной школы. Мы не будем разбирать деятельность Гердера на педагогическом поприще; отметим лишь, что она была весьма успешной, о чем свидетельствовало хотя бы то обстоятельство, что после трех лет работы ему было предложено преподавательское место в Петербурге. Гердер отклонил это предложение, он уже чувствовал себя связанным с Ригой. Здесь Гердер быстро акклиматизировался и стал, по выражению его биографа, «горячим русским патриотом»*. Рига импонировала Гердеру своими свободолюбивыми ганзейскими традициями, он сравнивал этот город с Женевой и чувствовал себя легко вдали от ненавистных ему прусских казарменно-бюрократических порядков.

Тем не менее после пяти лет успешной деятельности Гердер неожиданно подал прошение об увольнении, которое было принято, и покинул Ригу. Мотивы, побудившие его к этому поступку, недостаточно ясны, однако несомненно, что не только внезапно вспыхнувшая страсть к путешествиям была причиной его отъезда, но и обстоятельства более серьезного порядка. Дело заключалось в том, что годы пребывания Гердера в Риге были периодом его интенсивного творческого роста. Уже первые его работы – «Фрагменты о новейшей немецкой литературе» (1766–1768) и «Критические леса» (1769), принесшие ему известность, показали, что Гердер выступает сторонником Винкельмана и Лессинга в их борьбе за демократическую, окрашенную в материалистические тона эстетику и критику. В эти годы интенсивно формировались философские воззрения Гердера, обращенные в сторону пантеизма и материализма. Он начал сомневаться в учении о нематериальности души, как и в других церковных догматах. Религия представлялась ему порождением человеческого страха.

Понятно, что подобные взгляды плохо согласовывались с деятельностью священника, которую начиная с 1765 г. Гердер стал совмещать с педагогической работой. Он остро переживал, как сам говорил, «противоречие между самим собой и своими должностями»**. Это все более

---

* *Гайм Р.* Гердер, его жизнь и сочинения. Т. 1. М., 1888. С. 123.

** *Herder J.G.* Briefe, Weimar, 1959. S. 40. Впоследствии, вспоминая о своей жизни в Риге, Гердер говорил, что он был окружен «ненавистью всего духовенства» (ibid.).

обострявшееся противоречие усугублялось систематической травлей в печати, которой Гердер подвергался со стороны своих литературных противников, и было, по-видимому, причиной, заставившей его покинуть Ригу и направиться в центр европейского Просвещения – Париж.

Немецкое Просвещение развивалось в общем русле этого культурного течения, обладая вместе с тем своими специфическими особенностями. Как и другие деятели Просвещения, немецкие мыслители той поры выступают в роли своеобразных миссионеров разума, заботятся о всеобщем распространении знаний. Однако они весьма осторожно обращаются с религией, пытаются реформировать ее, так или иначе приспособить для нужд науки и нравственного воспитания. Бескомпромиссный атеизм – редкое явление в Германии XVIII в.

Двойственная фигура Гердера – знаменье эпохи. Его влечет во Францию, он увлечен Монтескье. Прибыв в Париж, спешит познакомиться с Даламбером и Дидро. Последнего Гердер ставит выше других французских мыслителей. Их сближает, в частности, убеждение в том, что искусство должно играть воспитательную роль и вытеснить из этой области церковь. «Наступит ли время, – записывает Гердер в своем дневнике, – когда разрушат монастыри и амвоны и очистят театр... О, если б я мог хоть чем-нибудь содействовать этому! По крайней мере я хотел бы поддержать голос Дидро!»*. Это с одной стороны. А с другой – и в этом заключалась горькая ирония судьбы – он оставался священником и в дальнейшем высоко поднялся по лестнице церковной иерархии.

На родину Гердер возвращался через Антверпен и Амстердам. Две недели он провел в Гамбурге в обществе Лессинга. Это была первая и последняя встреча с человеком, оказавшим на Гердера наибольшее идейное влияние. Дальнейший путь лежал в Эйтин, где Гердера ждала служба при дворе тамошнего князя-епископа. Он становится наставником наследного принца, сопровождает его в путешествиях. Осенью 1770 г. Гердер приезжает в Страсбург. Здесь он создает трактат «О происхождении языка». Здесь происходит и знакомство Гердера с Гёте, сыгравшее значительную роль в жизни обоих. Уже известный литератор произвел на начинающего поэта сильное впечатление. «Благодаря Гердеру я вдруг познакомился со всеми новейшими идеями, со всеми направлениями, которые из этих идей проистекали»**. Но Гёте отмечает и двойственность Гердера, проявлявшуюся и в его убеждениях, и в манере держаться. «Гердер умел быть пленительным и остроумным, но также легко выказывал и неприятную сторону своего характера»*** – насмешливую нетерпимость к чужому образу мыслей и поведению.

---

* *Гердер И.Г.* Избранные произведения. М.; Л., 1959. С. 332.

** *Гёте И.В.* Собрание сочинений. Т. 3. М., 1976. С. 341.

*** Там же. С. 340.

Гердер тяготился придворной должностью, отношения со свитой принца сложились неблагоприятно, поэтому, когда ему предложили должность советника консистории в Бюкебурге (графство Липпе), он не замедлил дать согласие. В Бюкебурге Гердер провел пять лет (1771–1776). Это был период расцвета движения «Буря и натиск»; Гердер принимал в нем активное участие. В 1773 г. совместно с Гёте он издает сборник «О немецком характере и искусстве», где публикует свои статьи о Шекспире, о народных песнях. В Бюкебурге Гердер охвачен религиозными исканиями, он пишет «Древнейший документ человеческого рода» (1774), где настаивает на том, что Библия представляет собой плод божественного откровения. Вскоре, правда, он отказался от этой точки зрения; продолжая изучение Библии, просветитель рассматривал ее как древнейший памятник народной поэзии (наибольший интерес в этом плане представляет написанная в 1782 г. в Веймаре работа «О духе еврейской поэзии»). Немудрено, что церковная ортодоксия не приняла его в свои ряды. Даже в период религиозных увлечений Гердера лютеранские теологи относились к нему с недоверием; когда Гёттингенский университет предложил Гердеру место профессора (1775), они приложили все усилия к тому, чтобы воспрепятствовать этому назначению. Из созданного в Бюкебурге следует также упомянуть работы: «Пластика» (1773), «Познание и ощущение человеческой души» (1774), «Еще одна философия истории для воспитания человечества» (1774), сборник песенного фольклора.

Новый период в жизни и творчестве Гердера начался с переездом в Веймар в 1776 г., куда он был приглашен на высший духовный пост – суперинтендента протестантской церкви. Инициатором приглашения был Гёте. Религиозные искания бюкебургского периода постепенно сменились в Веймаре интересом к спинозизму, увлечением естественными науками. Вместе с Гёте Гердер занимается биологией, не только усваивая ее достижения, но и открывая перед этой наукой новые горизонты. С 1784 по 1791 г. Гердер публикует свой основной философский труд – «Идеи к философии истории человечества». Параллельно он работает над книгой «Бог. Несколько диалогов» (1787). Затем следуют «Письма для поощрения гуманности» (1793–1797), «Адрастея» (1801–1803) и две работы против Канта: «Метакритика критики чистого разума» (1799) и «Каллигона» (1800). Вокруг Гёте и Гердера складывается кружок вольнодумцев.

Но на закате дней своих Гердер одинок. Нападки на Канта оттолкнули от Гердера Шиллера, который первоначально был восхищен человечностью его церковных проповедей. Чрезмерный ригоризм, настойчиво проводимый Гердером в эстетике и литературной критике, привел к разрыву и с Гёте. По этим же причинам держались вдалеке от Гердера и романтики, много почерпнувшие из его творчества. Только в Жан-Поле Рихтере дряхлеющий Гердер находил верного последователя.

18 декабря 1803 г. Гердера не стало. Так закончилась жизнь, отданная идеалам Просвещения. Она бедна внешними событиями, но заполнена интенсивным духовным ростом, напряженным трудом, гениальными догадками.

С юношеских лет внимание автора «Идей к философии истории человечества» привлекала проблема развития. Он пытался разгадать тайну возникновения и совершенствования специфических атрибутов человека – искусства, языка, мышления. Лютеранский священник, преподававший в церковной школе, не мог примириться с традиционными догмами и искал научное решение волновавших его вопросов, не порывая притом с религией. Идею развития начинающий ученый попытался приложить к изучению поэзии – вида искусства, который был ему особенно близок. Набрасывая «Опыт истории поэзии» (1766–1767), Гердер отмечает, что поэзия не могла быть создана преднамеренно, по определенному плану. Идея естественного возникновения поэтического искусства подводила его к мысли о столь же естественном происхождении языка. Первым шагом в рассмотрении этой проблемы было выяснение взаимоотношений между языком и литературой. Во «Фрагментах о новейшей немецкой литературе» Гердер отмечает наличие неразрывной связи между ними.

Там же мы находим оригинальную статью «О возрастах языка», которая в значительной степени, вплоть до дословных совпадений, перекликается с работой об истории поэзии. Здесь высказываются те же аргументы в пользу исторического подхода к явлениям. Историю общества Гердер сравнивает с жизнью человека и находит между ними определенное сходство. Это дает ему возможность говорить о различных возрастах языка: Молодость языка, богатая синонимами, образными выражениями, метафорами, – это поэтический возраст. На смену ему идет период художественной прозы – зрелость языка. Здесь не утрачена еще поэтическая красота речи, но язык приобрел определенную строгость и стройность. Последний период наступает тогда, когда на смену красоте приходит точность, – это философский возраст языка. В этой хотя и красочной, но весьма наивной, яркой, но произвольной схеме выражена идея противоречивого развития языка: язык прогрессирует как средство выражения абстрактного мышления, но это приводит к потере его поэтического богатства.

Вокруг вопроса о происхождении языка велась давняя полемика, уходившая своими корнями в Средневековье и античность. Мыслители, пытавшиеся решить проблему средствами науки, наталкивались на общепринятый традиционный тезис о «божественном» происхождении языка. Вместе с тем издавна существовал целый ряд теорий, доказывавших естественное возникновение языка. Их слабой стороной было рассмотрение языка в отрыве от мышления и трудового процесса. Общение между людьми понималось чисто механически, как общение

индивидов вне их связи с обществом. В работе «О происхождении языка», получившей первую премию на конкурсе Берлинской академии наук в 1769 г., Гердер старался преодолеть эти недостатки.

Возникновение языка он связал с развитием культуры. Гердер не всегда прав, иногда противоречив, но главная идея, которую он отстаивает, безусловно, плодотворна. Основное содержание сочинения Гердера посвящено анализу естественных законов, определивших необходимость появления языка. Если рассмотреть человека только как животное, то он предстанет в весьма беспомощном и жалком виде. Однако слабость человека становится источником его силы. Человек, лишенный инстинктов, развивает другую способность, дарованную ему природой, – «смышленность» (Besonnenheit), т.е. интеллект в потенции. Непрерывное совершенствование – характерная особенность человека. Это развитие, подобного которому не претерпевает ни одно животное, не знает предела. Человек никогда не бывает завершенным в себе. Возникновение и развитие интеллекта есть возникновение и развитие языка. Цепь мыслей становится цепью слов. Таким образом, непрерывное развитие языка вытекает из самой природы человека.

Слабость человека становится причиной его силы также и потому, что заставляет его объединиться с другими людьми. Без посторонней помощи женщина не может ни произвести на свет, ни вырастить своего ребенка. Родственные узы, совершенно отсутствующие в животном мире, суть элементарные общественные связи. Нет ни одного человека, который существовал бы сам по себе, человек всегда включен в свой род как целое. Без общества человек одичал бы, завял, как вянет цветок, оторванный от стебля и корней растения. Развиваясь, общество совершенствует и язык. Это происходит в ходе изучения и преподавания языка, в ходе развития литературы. Прогресс языка так же бесконечен, как и развитие самого общества. Каждый новый оригинальный автор, новый мыслитель, обогащает и развивает язык.

Язык живет; в речи каждого человека он приобретает неповторимые индивидуальные особенности. Так же как нет двух людей с одинаковыми чертами лица, нет двух полностью совпадающих манер выражения мыслей. Различие в климате и в других внешних условиях накладывает свой отпечаток на произношение. Да и не только на произношение; основное содержание языка – словарный запас – в значительной степени зависит от образа жизни людей. Животные привязаны к определенной среде, люди обитают повсюду на земле. Они образуют различные нации со специфическими особенностями национального характера и языка. Но языки развиваются не обособленно друг от друга, а в тесной связи. Так же как один язык есть определенная целостность, так и все языки человечества составляют единство.

Здесь же Гердер впервые ставит вопрос о преемственности в развитии культуры. В развитии индивидуума имеет место определенная связь состояний прошлого и настоящего, усвоение накопленного опыта. Точно так же и народы усваивают достижения прошлых поколений и развивают их. Культурная традиция идет от народа к народу, видоизменяясь, принимая все новые и новые формы.

Еще до написания трактата о происхождении языка Гердер пришел к аналогичному выводу на материале искусства прошлых эпох. В «Критических лесах» он включился в полемику между Винкельманом и Лессингом по поводу известной скульптурной группы, изображающей гибнущего Лаокоона, и шире – по поводу принципов подхода к античному искусству. Недостатком теоретических воззрений Лессинга Гердер считал его абстрактный, внеисторический подход к искусству. Лессинг прав, утверждая, что красота была высшим законом искусства древних, однако возникают вопросы: каких древних? В течение какого времени? Вследствие каких причин? Винкельман в «Истории искусства древности» (1763) пытался объяснить особенности античного искусства национальным характером греков. По мнению Гердера, надо идти по этому пути. Рассматривая факторы, влияющие на формирование искусства древних греков, Гердер отмечает решающее влияние античной мифологии. Народы Востока представляли богов в виде безликих существ или мрачных чудовищ. Аналогичный характер носило и художественное мышление этих народов. Боги Греции – воплощение человеческого совершенства, силы и красоты. Поэтому красота стала законом искусства, и не только изобразительного. Чувство красоты не дается человеку в готовом виде, оно совершенствуется в ходе развития индивида и всего человеческого рода.

Следующим этапом в становлении у Гердера идеи развития было применение ее к проблеме мышления, психической деятельности человека. К этой проблеме Гердер обращается в связи с конкурсом Берлинской академии наук. Но на этот раз его написанная в 1774 г. работа «О познании и ощущении человеческой души» премии не получила. В переработанном виде она увидела свет в 1778 г. В центре внимания Гердера – проблема возникновения интеллекта. Перед этой проблемой останавливаются в бессилии те, кто находится во власти «механических видений», кто пытается создать душу из «глины и грязи», но в равной мере ничего разумного по этому поводу не может сказать и лейбницевская «предустановленная гармония», которая разрывает связь между душой и телом. В природе же нет ничего, оторванного от другого, все находится во взаимных переходах и переливах. Поэтому зародыши сознания надо искать не вне материи, а внутри ее.

Мышление Гердер выводит из ощущения, а в основе ощущения лежит явление, названное швейцарским естествоиспытателем Гал-

лером раздражимостью. Раздраженный мускул сжимается и снова вытягивается. Раздражимость Гердер характеризует как «первую мерцающую искорку ощущения, к которой поднялась мертвая материя в результате многих шагов и скачков механизма и организма»*. Это важнейший вывод.

Ощущение связано с наличием в организме нервов. Когда ощущения достигают определенной степени ясности, они становятся мышлением; разум возникает из ощущений. Итак, сознание есть нечто, возникшее в ходе развития живого, материального мира. И перед Гердером с неизбежностью встает вопрос: материальна ли душа или нематериальна? От ответа философ уходит: «Я еще не знаю, что такое материальное и нематериальное, но я убежден, что между ними нет железной преграды»**. Фраза, в высшей степени характерная для Гердера: он отказывается от догматических представлений идеализма, но взамен ничего не может предложить. Он – враг дуализма, но его монизм непоследователен.

Идея развития, зародившись первоначально как мысль о естественном происхождении поэзии, языка и мышления, постепенно распространяется Гердером на природу и общество. Конечно, это еще лишь смелые догадки, заключенные подчас в богословскую и даже мистическую оболочку. Нас не должно, например, удивлять то обстоятельство, что мысли о развитии животного мира возникли у Гердера в работе «О переселении душ» (1772).

Работа написана в форме диалога двух лиц: Харикла, сторонника теории переселения душ, и его оппонента Феага, в уста которого Гердер вкладывает свои убеждения. Харикл говорит о трех видах переселения душ. Во-первых, это движение по восходящей линии – от растения к животному, от животного к человеку. Во-вторых, обратное превращение, подобно тому, как индийская религия обещает превратить доброго человека после смерти в слона или корову, а злого – в свинью или тигра. И наконец, третий вариант – переселение душ «по кругу». Т.е. в подобные же существа.

Феаг сразу отвергает существование последних двух видов переселения душ. Уж если отстаивать подобные взгляды, замечает он, лучше прямо назвать себя сторонником теорий идей Платона. Что касается первого вида переселения душ, то Феаг признает его, но вместе с тем дает ему весьма своеобразное истолкование: «Я не стыжусь моих полубратьев – животных: наоборот, в отношении их я большой сторонник переселения душ... Вполне определенный, твердый, хитроумный и поучительный характер животного получает искру света, которую мы

---

* *Herder J.G.* Werke in fünf Bänden. Bd. 3. Weimar, 1957. S. 9.

** Ibid. S. 31.

называем разумом, и человек готов... Мне кажется, это есть антропогенез и перерождение животного в человека»*.

Гердер полон благочестия; он говорит о боге, будущей жизни, но наряду с этим – и это представляет для нас наибольший интерес – он развивает идеи о единстве всего органического мира, об относительном характере классификации живых организмов, об изменении живых существ, так что невольно возникает мысль о естественном происхождении человека.

«Феаг. Ведь вы не думаете всерьез, мой друг, что внутреннее творчество, постоянно ищущее творчество новых форм происходит в строгом соответствии с учебниками покойного кавалера Линнея.

Харикл. Я – нет, но наш друг Гармодий дал умертвить себя, отстаивая это мнение.

Феаг. Тогда он погиб зря, так как наши классификации далеко не совершенны. Они служат лишь для нашего чувственного восприятия, но не являются теми образцами, в соответствии с которыми действует природа, не являются границами, которые она сама установила, чтобы направлять каждое существо по вполне определенной ровной дороге. Посмотрите, как взаимно проникают друг в друга классы живых существ! Как поднимаются и развиваются организмы во все стороны, по всем направлениям, и в то же время остаются похожими друг на друга!

Харикл. Действительно, у самых несовершенных животных можно найти определенное сходство с высшими формами организмов.

Феаг. Во внутреннем строении еще больше, чем во внешнем облике. Даже у насекомых можно найти аналогию человеческим органам»**. Таким образом, мистическая проблема переселения душ получает у Гердера совершенно неожиданную интерпретацию, за разговорами о метемпсихозе скрываются естественнонаучные идеи, опережавшие его век.

Эти идеи получают дальнейшую конкретизацию в основном философском труде Гердера – «Идеи к философии истории человечества», первые книги которого представляют собой философское обобщение достижений естествознания в конце XVIII в. В «Идеях...» история человеческого рода начинается с истории нашей планеты. Гердер описывает ее происхождение и место в системе мироздания, ссылаясь на труд своего учителя Канта «Всеобщая естественная история и теория неба» (1755). Принято считать, что космогоническая гипотеза Канта оставалась неизвестной современникам, так как издатель его книги обанкротился, а склад, где она хранилась, был опечатан. Широкого распространения космогонические идеи Канта действительно не получили, но все же они были известны в научных кругах. С ними был знаком и

---

* *Herder J.G.* Werke.. Bd. 5. S. 71, 72.

** Ibid. S. 74.

Гердер. Его исторический взгляд на природу и общество формировался под непосредственным влиянием космогонической гипотезы кёнигсбергского философа.

Кант вслед за Декартом распространил принципы естественнонаучного материализма на область космогонии. «Дайте мне материю, – говорил Кант, – и я построю из нее мир. Т.е. дайте мне материю, и я покажу вам, как из нее должен возникнуть мир»*. Кант действительно показал, как под воздействием чисто механических причин из первоначального хаоса материальных атомов, отличающихся друг от друга лишь своей плотностью, могла образоваться наша солнечная система. «Прошли, быть может, миллионы лет, веков, прежде чем та сфера сформировавшейся природы, в которой мы пребываем, достигла присущего ей совершенства...»**

Отрицая за богом роль зодчего Вселенной, Кант, однако, не мог обойтись без его помощи при объяснении феномена органической материи. Разве допустимо, спрашивал Кант, сказать: дайте мне материю, и я покажу вам, как из нее можно сделать гусеницу. Одной механики недостаточно для понимания сущности жизни. Высказав эту верную мысль, Кант не мог указать никаких путей для решения этой проблемы. Он всегда считал нелепым надеяться на появление нового Ньютона, который объяснит происхождение стебелька травы естественным путем.

И вот его ученик попытался это сделать. Конечно, высказано было не объяснение, а всего лишь догадки, сформулированные к тому же в весьма туманной, почти мистической форме. По Гердеру, природа находится в состоянии непрерывного развития от низших ступеней к высшим. Только благодаря естественным силам, без постороннего вмешательства развитие природы приводило к возникновению все более сложных образований. Жизнь возникла в воде. Существовали различные соединения воды, воздуха, света, прежде чем возник первый растительный организм. Множество растений возникло и погибло, прежде чем появился первый животный организм, причем насекомые, птицы, рыбы, пресмыкающиеся предшествовали развитым формам наземных животных, пока, наконец, не выступил человек как вершина развития нашей Земли.

Что это? Эволюционная точка зрения? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Гердер сравнивает человека с наиболее близко стоящими по отношению к нему обезьянами. И хотя он прямо не говорит в своей книге о том, что человек в результате естественной эволюции произошел от обезьяны, а иногда даже утверждает противоположное, но факты, приводимые им, могут склонить к этой точке зрения. «Новое произведение Гердера, – писала одна из его читательниц, хорошо

---

* *Кант И.* Сочинения. Т. 1. М., 1963. С. 126.

** Там же. С. 208.

знавшая умонастроение автора, – дает возможность предполагать, что первоначально мы были растениями и животными; что из нас дальше сделает природа, нам, вероятно, останется неизвестным»*.

Притом, однако, надо помнить, что на прямо поставленный вопрос, возникло ли человечество естественным путем, автор «Идей...» неоднократно дает отрицательный ответ. Этим Гердер как бы нарушает свое торжественное обещание не прибегать к помощи сверхъестественного при объяснении того, что свершалось на Земле, и это не может не вызвать определенного недоумения. Каждое обращение Гердера за помощью к высшему существу противоречит не только концепции книги в целом, но и другим вполне недвусмысленным его высказываниям.

Когда Гердер говорит, будто лишь «чудо нового творения» могло вызвать к жизни человеческий род, то это трудно согласуется с его заявлением о том, что чудес не бывает и законы природы и общества носят естественный, причинно обусловленный характер. Когда мы сталкиваемся с его утверждением, что обезьяна не родня человеку и генетически выводить человека от обезьяны «невероятно и постыдно», то это также противоречит его словам, что животные – «старшие братья» людей и что он этого родства не стыдится. Когда Гердер пишет, что люди сами по себе при помощи своих сил никогда не вступили бы на путь культуры и без «высшего вмешательства» не обрели бы ни языка, ни научных знаний, это противоречит им же созданной теории естественного происхождения языка, за которую еще в молодости он получил премию Прусской академии наук.

У нас нет оснований сомневаться в искренности Гердера, хотя условия, в которых он жил и творил, могли вынуждать его прибегать к тому, что принято называть «философской дипломатией», тем более что Гердеру неоднократно бросали обвинение в атеизме, а в его положении главы протестантской церкви Веймара вряд ли это могло быть ему безразлично. Не случайно Гёте, обнаруживший в 1784 г. межчелюстную кость у человека, отсутствие которой рассматривалось противниками естественного происхождения человека как аргумент в пользу принципиального отличия людей от животных, боялся огласки. Сообщая о своем открытии, он просил Гердера: «Только, пожалуйста, не выдавай этого, это надо обделать втайне. Порадуйся от всего сердца, это ведь камень, завершающий все здание человека, и вот он налицо, тут как тут. Да и как еще! Я представлял себе это в связи с твоим целым; как это будет прекрасно»**. Сообщение о своем открытии Гёте опубликовал только через 36 лет, в 1820 г.

---

* *Hohenstein F.* Weimar und Goethe. Rudolstadt, 1958. S. 161.

** *Лихтенштадт В.* Гёте. Пг., 1920. С. 401. В письме к Кнебелю Гердер не преминул поделиться новостью: «Гёте прочитал нам свой трактат о кости, который прост и прекрасен; человек идет истинным путем природы» (*Herder J.G.* Briefe, S. 239).

И все же мы склонны объяснить наличие противоположных утверждений в «Идеях...» противоречивостью образа мыслей их автора. Гердер проделал сложную творческую эволюцию, в ходе которой в его взглядах то ослабевали, то усиливались материалистические тенденции. В своем богословском сочинении «Древнейший документ человеческого рода» он высмеял гипотезу о постепенном превращении животного в человека. Ему казалась странной мысль Гельвеция, что прямая походка человека освободила руки для труда и способствовала возникновению разума; по этому поводу он иронизировал: «Прямая походка создала моды и пороки людей»*. Спустя несколько лет Гердер стал убежденным сторонником определяющей роли прямого хождения в культурном становлении человечества; в «Идеях...» он выражал свое полное согласие с Гельвецием. Однако, как только речь заходила о том, каким образом человек «выпрямился», Гердер неизменно вспоминал о всевышнем, которого, впрочем, во введении к своему труду он условился считать тождественным природе.

Философские идеи раннего Канта Гердер пытался сочетать с учением Спинозы, горячим поклонником которого он становится в 1780-е годы Гердер вдохновляется идеями Спинозы, но интерпретирует их по-своему. У Спинозы единая субстанция (природа) обладает извечно двумя атрибутами: протяженностью. Т.е. материальностью, и мышлением. Основа всего сущего для Гердера – живые, органические силы, определяющие бытие материи и духа. Материя и дух находятся в состоянии непрерывного развития и неразрывно связаны между собой.

Концепцию своеобразного динамического пантеизма Гердер развивает в книге «Бог. Несколько диалогов», которая появилась одновременно с «Идеями...». К оценке этой работы надо подходить с учетом исторической обстановки. Гердер писал о Спинозе в то время, когда имя голландского мыслителя предавалось анафеме, когда его учение третировали, по словам Лессинга, как «мертвую собаку». В памяти современников были еще свежи воспоминания, когда за приверженность к спинозизму люди подвергались жестоким гонениям. К тому же положение главы протестантской церкви в Веймаре не могло не отразиться не только на форме мыслей Гердера, но также и на их существе. Отсюда то противоречивое впечатление, которое возникает при чтении его работы «Бог. Несколько диалогов». Гердер поднимает на щит учение Спинозы, одновременно доказывая его совместимость с христианством.

Гердер защищает Спинозу от обвинений в атеизме, однако сам он все дальше и дальше уходит по дороге, ведущей к материализму. Весьма недвусмысленно отрицает Гердер акт божественного творения, создания мира из ничего: бог, о котором идет речь в диалоге, не является творцом

* *Herder J.G.* Sämtliche Werke. Hrsg. von B.Suphan. Berlin. Bd. VII. S. 72.

мира, это сам мир, состоящий из действующих сил. Принцип деятельности, которым Гердер дополняет учение Спинозы, – результат несомненного влияния Лейбница; однако Гердер не согласен с лейбницевской трактовкой проблем материи. Для Лейбница материя есть порождение духа, для Гердера материя – органическое единство действующих сил. Не согласен Гердер и с Декартом, отождествившим материю с протяженностью. Спиноза, стремившийся преодолеть дуализм Декарта, сделал протяженность (материю) и дух атрибутами субстанции (бога, природы). Но для Гердера это недостаточно монистично. Свою субстанцию – органические силы – Гердер рассматривает как «промежуточное понятие (Mittelbegriff) между духом и материей»*. Развиваясь, субстанциональные силы приобретают пространственную и временную определенность. Что касается духа, то точка зрения Гердера на его возникновение нам уже известна: потенциально связанное с материей мышление актуализируется на высоких ступенях развития – в живом организме.

Вечность, нерасторжимость органических сил, по мнению Гердера, позволяет говорить о бессмертии души. «Пусть не знаем мы душу свою чистым духом, но нам и не нужно знать ее как чистый дух». Это примечательные слова: в XVIII в. самые вульгарные материалистические представления порой сочетались с верой в индивидуальное бессмертие. Неудивительно, что Гердер для обоснования церковного догмата прибегает к естественнонаучному аргументу. Если гусеница может превратиться в бабочку, почему человека после смерти не ждет какая-то новая, неведомая форма бытия? Ведь цепь превращений бесконечна и загадочна.

Мир встает перед Гердером в виде единого, непрерывно развивающегося целого, закономерно проходящего вполне определенные необходимые ступени. О том, как Гердер представлял себе эти ступени, говорит следующий черновой набросок: «1. Организация материи – теплота, огонь, свет, воздух, вода, земля, пыль, вселенная, электрические и магнитные силы. 2. Организация Земли по законам движения, всевозможное притяжение и отталкивание. 3. Организация неживых вещей – камни, соли. 4. Организация растений – корень, лист, цветок, силы. 5. Животные: тела, чувства. 6. Люди – рассудок, разум. 7. Мировая душа: все»**.

Для Гердера эта схема означала не застывшую «лестницу существ», созданных богом, а непрерывно совершенствующуюся «цепь развития». В этом плане следует понимать и загадочную «мировую душу», венчающую, по мысли Гердера, общее развитие. Коль скоро развитие беспредельно, то надо задуматься над тем, во что выльется совершенствование человеческих форм. На Земле человек – предел развития, дальнейшее развитие воображение Гердера переносит в... сверхчувственный мир.

---

* *Herder J.G.* Sämtliche Werke. Bd. XVI. S. 451.

** Ibid. Bd. XIV. S. 646.

Таковы в общих чертах общефилософские воззрения Гердера. Они, как мы убедились, полны противоречий и компромиссов. Вместе с тем они впитали в себя главные достижения предшествующей теоретической мысли. Все вместе образует фундамент, на котором воздвигнута была гердеровская концепция исторического процесса, составляющая главное содержание «Идей к философии истории человечества».

У Гердера и здесь были предшественники. Еще на рубеже XVII и XVIII вв. появилась «Беспристрастная история церкви и ересей», написанная Г.Арнольдом (1666–1714) – пиетистским богословом, поэтом, историком*. О еретических движениях Арнольд судил не по высказываниям отцов церкви, а по свидетельствам и сочинениям противников ортодоксии. Сочинение Арнольда оказало сильное воздействие на свободомыслящие умы и на судьбы складывавшейся исторической науки. Гёте в «Поэзии и правде» называет книгу Арнольда в числе тех, которые влияли на его духовное развитие. Книга Арнольда пробуждала интерес к прошлому, побуждала к пересмотру традиционных оценок.

История накапливает эмпирический материал. Появляются труды и публикуются источники по истории государства и права, возникают как самостоятельные дисциплины история философии и история искусств. Получает признание периодизация, предложенная Хр.Целлариусом (его имя встречается на страницах труда Гердера), согласно которой история делится на древнюю (до Константина Великого), среднюю (до падения Константинополя) и новую.

Из Франции приходит термин «философия истории», предложенный Вольтером. Получают развитие идеи Монтескье, который одним из первых пытался объяснить общественное развитие естественными причинами. (И тот и другой упоминаются в «Идеях...»)

В 1750 г. в Сорбонне будущий министр Людовика XVI Тюрго произнес знаменитую речь об успехах человеческого разума. Интерес, честолюбие и тщеславие, говорил он, обусловливают непрерывную смену событий на мировой сцене и обильно орошают землю человеческой кровью. Но в процессе вызванных ими опустошительных переворотов нравы смягчаются, человеческий разум просвещается, изолированные нации сближаются, торговля и политика соединяют, наконец, все части земного шара. И вся масса человеческого рода, переживая попеременно спокойствие и волнение, счастливые времена и годины бедствия, всегда шествует, хотя медленными шагами, ко все большему совершенству. Мысль, сформулированную Тюрго, разделяли в то время многие из передовых умов.

В Германии идея прогресса находила и сторонников, и противников. Юстус Мёзер (1720–1794) поставил ее под сомнение. Мёзер восхищал-

* См. *Arnold G.* Unparteiische Kirchen – und Ketzerhistorie von Anfang des Neuen Testaments bis zum Jahre Christi 1689. Neuauflage. Schaffhausen, 1740.

ся ранним Средневековьем и критиковал разлагавшиеся на его глазах феодальные отношения с позиций этого давно ушедшего времени. Его глубокий патриотизм, его убеждение в том, что простой народ (особенно крестьяне) являются решающей силой истории, способствовали пробуждению национального самосознания в Германии. Не случайно Гердер и Гёте перепечатали введение к «Истории Оснабрюка» Мёзера в изданном ими сборнике «О немецком характере и искусстве», который представлял собой своеобразный манифест «Бури и натиска». Работа Мёзера начиналась знаменательными словами: «История Германии, по моему мнению, может приобрести совершенно иное лицо, если мы проследим судьбы простых земельных собственников как истинных представителей нации, если мы будем рассматривать их в качестве тела нации, а великих и малых ее служителей лишь в качестве добрых или злых, но случайных придатков...»*

Исторический процесс представал перед Мёзером не как нагромождение разрозненных событий, совершающихся по воле выдающихся личностей, но как последовательная смена состояний, возникающих в результате взаимодействия многообразных условий жизни страны. Однако эту смену состояний Мёзер рассматривал как движение по нисходящей линии.

Подобный взгляд на историю подвергся критике со стороны Исаака Изелина в книге «Об истории человечества»**. По Изелину, решающую роль в истории играют «внутренние» факторы – мораль и психология человека. Соответственно с этим он набрасывает трехступенчатую схему деления всемирной истории. Первая ступень – верховенство чувств, состояние первобытной «простоты», детства человечества; на этой ступени остановились восточные народы. Греки и римляне достигли второй ступени, когда фантазия оказалась сильнее чувств, добродетель и просвещенная мудрость смягчили нравы, хотя и не преодолели еще полностью варварства. Лишь после тысячелетнего царства тьмы (таким рисовалось Изелину Средневековье) европейские народы достигли цивилизации, когда разум берет верх над чувствами и фантазией. Таким образом, история человечества есть постепенное и постоянное движение разума и морали ко все большему совершенству.

Концепцию прогресса отстаивал и Готхольд Эфраим Лессинг. Он не оставил крупных философско-исторических работ, но его сочинения, особенно относящиеся к проблемам религии, пронизаны духом глубокого историзма. Особенно важно в этом плане «Воспитание человеческого рода» (1780). Все существовавшие и существующие религии, по мнению Лессинга, – продукт определенных исторических эпох. Ни об

* Herder. Goethe. Möser. Von deutscher Art und Kunst. Leipzig, 1960. S. 123.

** *Jselin J.* Über die Geschichte der Menschheit. Basel, 1768. В течение короткого времени последовало еще четыре издания этой книги.

одной религии нельзя сказать, что она истинна или ложна. Она истинна потому, что выражает потребность человека в естественной религии, и в то же время ложна, так как на высшей стадии определенного исторического периода уже не соответствует достигнутому уровню духовного развития человечества. Христианство служит лишь ступенькой нравственной эволюции человеческого рода, стремящегося к идеалу гуманности. Лессинг был убежден, что люди достигнут совершенства, всеобщего просвещения и нравственной чистоты, когда мораль не будет нуждаться в религиозном обосновании. Источник развития общества Лессинг видел в воздействии внешних условий, в частности климата. В «Масонских беседах» (1778–1780) он писал, что государства «имеют совершенно различные климаты, следовательно, совершенно различные потребности и способы их удовлетворения, следовательно, совершенно различные привычки и нравы, следовательно, различные этики, следовательно, различные религии»*.

Материалистические догадки о причинах исторического развития можно обнаружить также у Иоганна Кристофа Аделунга – лингвиста и историка. Правда, в отличие от Лессинга, он искал определяющие факторы не в природных условиях, а в росте народонаселения. В «Опыте истории культуры человеческого рода» (1782) история человечества рассматривалась им прежде всего как история культуры. В этом отношении Аделунг – непосредственный предшественник Гердера. И одновременно его последователь. Из трактата «О происхождении языка» Гердера Аделунг заимствует уже известный нам термин «смышленность» для обозначения той способности, которая «отличает человека от животного и делает его тем, чем он есть и может стать, способности, которую можно по праву назвать первой и единственной основной силой души, ибо то, что мы называем вниманием, познанием, размышлением, рассудком, разумом и т.д., суть не что иное, как особые видоизменения, особенности, модификации или степени этой способности»**.

Культуру, по Аделунгу, характеризуют следующие пять признаков: 1) уменьшение роли физической силы; 2) постепенное сокращение господствующей роли чувственного познания и неосознанных понятий; 3) увеличение роли сознания и разума; 4) смягчение нравов; 5) воспитание вкуса. Со временем, «когда разумное познание получит полный перевес над чувственным, они оба обретут истинную пропорцию по отношению друг к другу, которая пока отсутствует в культуре Нового времени и которая одна только способна сделать людей счастливыми»***.

---

* *Lessing G.E.* Auswahl in drei Bänden. Bd. 3. Leipzig, 1952. S. 445.

** *Adelung J.Chr.* Versuch einer Geschichte der Cultur des menschlichen Geschlechts. Leipzig, 1800. S. 10. Цитируемое нами второе издание труда Аделунга оказалось последним. В настоящее время он основательно забыт.

*** Ibid. S. 4.

Культура означает переход от животного состояния к общественной жизни. Начиная с первой пары людей, народонаселение растет в геометрической прогрессии. Когда людям становится тесно, возникает культура. «То, что толкает человека к культуре, не может быть не чем иным, как скоплением людей на ограниченном пространстве. Культура необходима в тесной общественной жизни, именно это вызывает ее к жизни, все зависит от отношения народонаселения к пространству»*.

Прогресс непрерывен, но не однолинеен. В целом современная культура выше древней, но в отдельных сферах, например в области изящного искусства, может ей уступать. Реально существуют две культуры – высших и низших слоев общества. Для народа необходима религия, иначе будет хаос. Сверхразвитая, рафинированная культура разлагает нравы, действует пагубно прежде всего на армию. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить упадок Рима.

Охота, скотоводство, земледелие – таковы последовательные этапы занятий человека, ведущие к смягчению нравов и росту разума. Лучше ухаживать за животными, чем убивать их. Работа на земле требует упорства и знаний. Вместе с земледелием возникает понятие собственности, рождается государственность. «Только враг человеческого рода мог придумать, что государства создаются не иначе, как путем насильственного порабощения»**.

Аделунг окидывает общим взором историю человечества. Он пишет широкими мазками, не останавливаясь на частностях, стремясь создать обобщенную картину культурного развития. Круг затронутых им проблем предвосхищает в миниатюре гигантское полотно истории культуры, созданное Гердером.

Теоретические интересы Гердера всегда были прикованы к проблемам развития общества. Еще будучи студентом Кёнигсбергского университета, он задумывался над характером изменений, происходящих в жизни человечества. В дневнике, который он вел по дороге во Францию (1769), Гердер поставил перед собой задачу написать всеобщую историю развития мира. Первой попыткой этого рода была созданная в Бюкенбурге «Еще одна философия истории для воспитания человечества» (1774). Находясь в пределах теологических воззрений на происхождение человеческого рода и на движущие силы истории, Гердер высказывает здесь глубокие мысли о закономерном поступательном характере изменений, происходящих в человеческом обществе. Его точка зрения

---

* Ibid. «Этот опыт, – пишет Г.Шпет об Аделунге, – есть опыт *объяснительной* истории, исходящей из признания *одного* определяющего фактора, и притом фактора чисто материального порядка» *(Шпет Г.* История как проблема логики. М., 1916. С. 346. На материалистические тенденции у Аделунга обратил внимание и М.Н.Покровский. См. «Историческая наука и борьба классов». Вып. 1. М., 1933. С. 47).

** *Adelung J.Chr.* Versuch einer Geschichte... S. 36.

явно полемизировала со взглядами Вольтера, согласно которому история развивается лишь благодаря счастливым случайностям. Гердер выступал и против плоского исторического оптимизма Изелина. Гердер развивает диалектическую идею о соотношении деятельности людей и достигаемых ими результатов. Человечество развивается вовсе не потому, что люди стремятся к этому. Прогресс может быть отмечен только как результат большого исторического периода.

Книга пользовалась успехом и была быстро распродана. Выпустивший ее книготорговец Харткнох (Рига) предложил подготовить новое издание. В 1777 г. Гердер ответил согласием, но работа затянулась. Через три года ему стало ясно, что возникнет новое произведение. Интенсивная работа над ним началась в 1782 г. Первая часть «Идей к философии истории человечества» была закончена и увидела свет весной 1784 г.

В Центральном государственном историческом архиве Латвийской ССР автору настоящих строк совместно с В.В.Дорошенко удалось обнаружить ряд неизвестных писем Гердера Харткноху, проливающих дополнительный свет на историю возникновения и напечатания «Идей...». Приведем несколько характерных отрывков*.

25 марта 1784 г. жена Гердера Каролина сообщает Харткноху: «Дорогой друг, с удовольствием докладываю Вам, что мой муж с исключительным прилежанием трудится над новым сочинением, которое должно Вам понравиться. Это не переработка старой философии, а совершенно новая вещь, которая получит название «Идеи к философии человеческой истории». Печатают в Эрфурте на писчей бумаге в формате малой кварты, все выглядит прекрасно и будет непременно готово к Пасхальной ярмарке, первые две части. Готовьте кошель с деньгами». В назначенный срок вышла только первая часть книги; Гердер, получив ее из типографии и направляя издателю, писал: «Дорогой Харткнох, вот тебе первая часть философии истории в совершенно иной форме и изложении. Из предыдущего произведения здесь нет ни одного слова хотя бы потому, что его содержание относится к последующим частям» (май, 1784).

Вторая часть появилась только в 1785 г. 24 декабря 1786 г. Гердер пишет Харткноху: «Над третьей частью «Идей...» я работаю вот уже несколько месяцев и с таким усердием, как никогда ранее. С началом нового года приступят к печати, и поскольку Ширах в Рудольфштадте человек точный и исполнительный, то я не сомневаюсь, что к Пасхе книга будет готова». Расчеты оправдались, и 28 апреля Гердер мог переслать ее финансировавшему издание Харткноху: «Получите 3-ю

* ЦГИА ЛатвССР. Фонд 7363. Оп. 1. Д. 734. Расшифровку писем произвели филологи Германской Демократической Республики Г.Арнольд и Г.Штольпе. Первопубликация осуществлена в «Goethe Jahrbuch». Bd. 93 der Gesamtfolge. Weimar, 1976. S. 206–220.

часть, она вышла несколько толще, чем предыдущая. Но я не мог иначе, хотя и сжимал все, как только мог. Слава Богу, теперь я вижу землю и 4-й частью надеюсь завершить крайне тяжелый труд, о котором никто сразу не узнает, как дорого он мне обошелся... Прощайте, мой старый, добрый друг, желаю счастья с "Идеями". Не сомневаюсь, что их примут хорошо, ибо последняя книга, содержащая результат, идет если не от самого мозга костей природы и истории, то от самого сокровенного в моем сердце и опыте».

Работа над четвертой частью продвигалась с трудом. Об этом мы узнаем из письма к Харткноху от 18 декабря 1787 г.: «Я делаю все, что могу, потому что самому мне это очень важно: но очень сомневаюсь, что кроме этой части удастся осуществить что-либо. Эта часть «Идей...» – самая трудная: речь идет о Европе и об основаниях всего нашего государственного строя, которые необходимо раскрыть; все это стоит несказанного труда... О боги, великие боги, дайте мне время, только время! Но меня мучает тысяча дел, меня рвут на части, не дают вернуться к самому себе». 15 апреля 1788 г. Гердер снова жалуется Харткноху на помехи в работе: «Так получается, что когда хочешь сделать слишком много, ничего не выходит. Что касается меня, я хотел устроить Вам богатую ярмарку, а прихожу ни с чем; помимо самых невероятных, непредусмотренных дел, мне помешали боли в пояснице и болезнь жены... Но я с тем большим усердием собираюсь закончить четвертую часть «Идей...», рукопись которой в значительной степени уже готова. Устройте так, чтобы Ширах мог печатать...». Однако до печати было еще далеко. С августа 1780 по июнь 1789 г. Гердер находился в Италии. Вернувшись, он болел и был занят служебными делами. Четвертая часть -«Идей...» увидела свет только в октябре 1791 г.

Задуманную пятую часть, план которой Гердер набросал, по-видимому, во время путешествия по Италии, осуществить не удалось. «Идеи к философии истории человечества» остались незавершенными. Но следующая крупная работа Гердера – «Письма для поощрения гуманности» – непосредственно к ним примыкает не только по времени написания, но и по своей философско-исторической и политической направленности. То же самое можно сказать и об «Адрастее», которую Жан-Поль Рихтер прямо называл «пятой частью "Идей"».

* * *

Центральное место в «Идеях к философии истории человечества» занимает проблема законов общественного развития. Существуют ли они вообще? Есть ли в обществе что-либо похожее на прогресс? Если поверхностный наблюдатель, ограничивающийся лишь внешним рассмотрением судеб человечества, на эти вопросы может дать отрицательный ответ, то более глубокое ознакомление с историей приводит к иным

результатам: философ обнаруживает в обществе незыблемые законы, подобные тем, которые действуют в природе.

Природа, по мнению Гердера, находится в состоянии непрерывного закономерного развития от низших ступеней к высшим; история общества непосредственно примыкает к истории природы, сливается с ней. Тем самым Гердер решительно отвергает теорию Руссо, согласно которой история человечества представляет собой цепь заблуждений и находится в резком противоречии с природой. Для Гердера естественное развитие человечества именно таково, каким оно было в истории.

Законы развития общества, так же как и законы природы, носят естественный характер. Живые человеческие силы – вот двигательные пружины человеческой истории; история представляет собой естественный продукт человеческих способностей, находящихся в зависимости от условий, места и времени. В обществе произошло лишь то, что обусловлено этими факторами. Это, по Гердеру, основной закон истории. Здесь он резко выступает против телеологического взгляда на развитие общества. Он подчеркивает, что учение о конечных целях не принесло никакой пользы для истории природы, породив лишь вредные иллюзии, тем более оно не приложимо к истории человечества. Вместо вопроса «для чего?» нужно ставить единственно возможный вопрос «почему?». В исторических явлениях надо отыскивать не какие-то неизвестные нам тайные предначертания, а причины, эти явления породившие. Всякое событие в истории совершается не ради чего-либо другого, а ради себя самого. (Справедливости ради отметим, что это только одна сторона дела. Другая состоит в том, что в тексте «Идей...» то и дело встречаются упоминания о божественном «плане», «провидении» и т.д., что постоянно напоминает о не преодоленном до конца провиденциальном отношении к истории.)

Развитие народов составляет как бы единую цепь, где каждое звено связано с предыдущим и последующим. Каждый народ использует достижения своих предшественников и подготовляет почву для преемников. Так, Греция опиралась на египетское наследие и дала затем толчок к развитию римской культуры. Современное человечество является наследником всего того, что было выработано предшествующими поколениями.

Причины общественного развития Гердер пытался увидеть во взаимодействии внутренних и внешних факторов. К внешним факторам он относил действия климата, понимаемого в самом широком смысле как совокупность всех условий жизни людей. Шестая книга «Идей...» целиком посвящена анализу влияния внешних условий на человеческий род. Подчеркивая единство человечества как биологического вида, Гердер показывал разнообразие в нем, определяемое в значительной степени географическими условиями. Сравнивая внешний вид, нравы, привыч-

ки и т.д. обитателей северных и южных стран, Гердер подчеркивал, что все это вырабатывалось под действием природы. Значение благоприятных природных факторов Гердер отмечал и при рассмотрении причин бурного развития культуры европейских государств.

Признавая значение внешних факторов, Гердер все же справедливо считает главным стимулом общественного, как и всякого другого развития, внутренние, органические силы. Их действие несравненно превосходит влияние внешних условий. Гердер проводил вполне определенное различие между генетическими силами в природе и обществе. Он отмечал действие целого ряда обстоятельств, присущих только обществу и играющих в его развитии определяющую роль. Это прежде всего само общество, представляющее собой единое органическое целое, совокупность индивидов, вне которой индивид – ничто. «Человек рожден для общества» – любимый афоризм Гердера, старавшегося указать на те силы, которые играют ведущую роль в жизни людей. «Если бы я, – писал он, – свел все в человеке к индивидам и отрицал бы цепь взаимосвязей между всеми людьми и между людьми и целым, то мне осталась бы непонятной природа человека и его история, так как ни один из нас не стал человеком лишь благодаря самому себе». Эта диалектическая мысль об определяющей роли целого (общества) по отношению к части (индивиду) была впоследствии всесторонне разработана Гегелем и послужила исходным пунктом для построения всей его логической системы.

Поскольку Гердер отводит первенствующую роль силе общности, ясно, что его внимание должно быть устремлено в первую очередь к тем средствам, которые сплачивают людей воедино. Такие средства Гердер видит в культуре. Культура – это продукт деятельности людей и одновременно ее стимул. В первую очередь это относится к языку. Для Гердера язык не просто инструмент разума, но связующее звено от человека к человеку, «великий организатор людей». В становлении общества он сыграл, по мнению Гердера, огромную роль, развиваясь во взаимодействии с мышлением. Наряду с языком важными средствами общения людей и их развития являются наука, ремесло, искусство. Рассматривая деятельность людей, направленную на удовлетворение их потребностей, Гердер высказал ряд догадок о роли труда и его орудий в общественном прогрессе.

В «Письмах для поощрения гуманности» он писал: «Люди создают увеличивающееся множество все более сложных инструментов; они учатся использовать друг друга в качестве инструментов. Физическая сила человечества увеличивается, шар прогресса растет, машины, которые должны его двигать, становятся сложнее, искуснее, мощнее, тоньше... Природа человека есть умение. Все, к чему есть склонность в его бытии, со временем становится предметом его умения... Бесконечны связи, в которые могут быть включены предметы природы; дух изобрета-

тельства с целью их использования ничем не ограничен и прогрессирует. Одно изобретение влечет за собой другое, одна деятельность побуждает другую. Зачастую одно изобретение открывает тысячи, десятки тысяч новых видов деятельности»*. Деятельность развивает людей, поэтому и среди природных условий наиболее благоприятными являются те, которые вынуждают людей к труду и дают для этого соответствующие возможности. Народы, о которых мы зачастую думаем, что природа обошлась с ними, как мачеха, на самом деле были ее любимыми детьми; не одарив их сладкими яствами, она дала в их загрубелые от труда руки кубок здоровья.

Важным элементом культуры, фактором движения человеческого общества вперед являются общественные институты, которые Гердер обозначает термином «правление» (Regierung). Сюда прежде всего относится семья – система отношений, возникшая под действием естественных, моральных причин. Отец, дитя, брат, сестра, друг, возлюбленный, кормилец – таковы характеристики людей, заимствованные из естественного права, соответствующие любой первоначальной форме человеческого общества. Гердер называет эту форму отношений «естественным правлением первой степени».

Поскольку совместный труд людей требует руководства, то закономерным является появление в обществе вождей, старейшин, которыми становятся люди, наиболее умудренные опытом. Племя, отправляясь на охоту, нуждается в предводителе; таковым выбирают наиболее умелого охотника, которому все подчиняются по свободному решению для общей пользы. Даже звери, живущие стадами, имеют предводителей; они необходимы в любом общественном деле. Этот вид отношений Гердер называет «естественным правлением второй степени». Сюда относятся также и выборные судьи, пользующиеся определенными правами только при исполнении своих обязанностей.

Совершенно иначе выглядит «третья степень правления», где должности передаются по наследству. Если в качестве судьи избран мудрый и справедливый человек, то это вовсе не означает, что его сын будет обладать теми же качествами. Природа доводит развитие людей только до появления семейных уз, поэтому есть народы, не знающие государства; последнее – результат действия общественных сил, в первую очередь неравенства. Из всех существующих форм государственного правления Гердер предпочитает республику. Однако последняя лишь наименьшее зло, подлинное счастье человечество обретет, по его мнению, после уничтожения государства.

Необходимо обратить внимание еще на одну характерную особенность в понимании Гердером исторического процесса. Убежденный в поступательном его характере, Гердер, как отмечалось выше, был, одна-

* *Herder J.G.* Sämtliche Werke. Bd. XVII. S. 117–118.

ко, далек от плоского оптимизма некоторых просветителей, считавших, что развитие общества представляет собой прямую дорогу к лучшему будущему, что все совершавшееся на Земле наполнено разумным смыслом. Уже Вольтер подверг осмеянию подобный взгляд; Гердер предостерегает своих читателей от наивной веры в повседневный прогресс и пытается подвести к пониманию определенной противоречивости общественного развития. Сравнивая современного «искусственного» человека с первобытным «естественным» человеком, Гердер приходит к выводу, что культура развивает человека и в то же время, помещая его в тепличные условия, расслабляет, ограничивает его возможности. На вопрос о том, приносит ли развитие науки и техники счастье человеку, нельзя ответить односложно. Все дело заключается в том, как используются изобретения.

Поскольку Гердер создавал не эмпирическое, а философско-историческое исследование, его интересовали в первую очередь не факты, а уроки истории. Однако последние он старался выводить из анализа исторических событий. Поэтому Гердер не только теоретик культуры, но также один из первых ее историков. Его «Идеи...» (вторая их половина) содержат грандиозную для своего времени попытку проследить в общих чертах путь, пройденный человечеством в его культурном развитии. В течение длительного времени книга Гердера владела умами современников, являясь непревзойденным образцом подобного исследования, пока, наконец, несколько десятилетий спустя Гегель в своей «Философии всемирной истории» не сделал нового шага вперед в сторону научного понимания общественного процесса.

Гегель воспринял мысли Гердера о поступательном развитии человечества, он глубже сформулировал идею исторической необходимости, управляющей обществом, но его успехи зачастую были куплены ценой потери некоторых научных результатов, достигнутых Гердером. Потерян был глубокий интерес к роли материальных факторов в жизни общества, появилось стремление подогнать историю под умозрительную схему.

По Гегелю, история общества начинается лишь с того момента, когда появляется государство; первобытную культуру он выносил за пределы истории. Гердер старался осветить ранние ступени развития общества.

Человеческий род, по мнению Гердера, возник в Азии. Здесь можно обнаружить древнейшие языки и письменность. Важнейшим шагом в развитии человечества, который произошел в этой части света и «превзошел все последующие революции истории», было приручение животных. Азия – родина скотоводства и земледелия, древнейших искусств и науки.

Гердер подчеркнуто отказывался от европоцентризма в истории культуры. Он стремился воспитать в читателе уважение к народам Азии. Это определялось общими гуманистическими взглядами Гердера,

его убеждением в равноправии народов, отрицательном отношении к колониальному порабощению.

Недостаток источников мешал Гердеру дать сколько-нибудь обстоятельный очерк истории культуры Китая, Индии, Индокитая, Кореи, Японии. Каждой из этих стран он посвящает небольшой раздел, ограничиваясь лишь краткими сообщениями о географических условиях, быте и нравах этих народов. В XVIII в. еще не были расшифрованы ни древнеегипетские иероглифы, ни ассиро-вавилонская клинопись. Гердер поэтому мог дать лишь самую общую характеристику роли народов Двуречья и Древнего Египта в культурном развитии человечества. Он отмечает высокое развитие у этих народов животноводства и земледелия, торговли и ремесел, например плавки металлов; им принадлежит создание сложных ирригационных сооружений. Первые успехи науки, в частности астрономии, Гердер связывает с развитием хозяйственной жизни. Финикийцы первыми создали алфавит, изобрели стекло, чеканку металла, они достигли высокого совершенства в обработке тканей, вели оживленную торговлю по всему Средиземному морю. Становление культуры Гердер пытается объяснить естественным ходом событий, в первую очередь удовлетворением насущных потребностей. «Нужда, обстоятельства, случай» – вот что, по его мнению, двигало людей по дороге цивилизации.

При анализе древнегреческой культуры главное внимание Гердер уделяет искусству. Здесь он во многом опирается на «Историю искусства древности» Винкельмана. Подобно Винкельману, он связывает характер античного искусства с климатом страны, государственным строем, религией, образом жизни древних греков.

Гердер не строит никаких иллюзий о возрождении античности; впрочем, и не скорбит по этому поводу. Он понимает, что мечтать о возврате времен Греции и Рима было бы наивно, юность мира прошла, и даже если бы возможен был возврат к прошлому, вряд ли он принес бы пользу человечеству. К тому же, восторгаясь свободой и демократизмом древнегреческих республик, Гердер был далек от идеализации их. Он не закрывает глаза на войны, которые не прекращались в Греции, на притеснение колоний, тяжелые государственные повинности, лежавшие на гражданах. Но, с другой стороны, Гердер отмечает, что именно эти обстоятельства послужили основой, на которой вырастало прекрасное искусство, ставшее неразрывной составной частью жизни греческого народа, специфической формой, как сказали бы мы, его общественного сознания.

Для будущих исследователей античной цивилизации Гердер намечает основные этапы греческой истории. Начальный период (Гердер определяет его продолжительность примерно в 700 лет) – возникновение родовой культуры; затем постепенное превращение первоначальных родовых монархий в аристократические (Спарта) и демократические

городские республики (Афины). Первым крупным событием в истории Греции Гердер считает войны с Персией, которые открыли перед Афинами дорогу славы и процветания, привели к «веку Перикла», но в то же время заронили опасную искру, разгоревшуюся впоследствии в пламя, уничтожившее афинскую государственность. Этой искрой было стремление к славе и богатству, оно изнутри подорвало некогда здоровый организм Афинской республики. Падение Афин, возникновение Македонской монархии и ее гибель Гердер также объясняет естественным, закономерным ходом событий. Особый интерес представляет гердеровский анализ распада Римской империи, основные этапы истории которой он также рассматривает в «Идеях...». Причины распада он видит не в испорченности нравов, а в факторах, коренившихся в самом внутреннем устройстве Римского государства, прежде всего в борьбе сословий (патрициев и плебеев), подрывавшей изнутри устои государства; в противоречиях между Римом и его многочисленными провинциями; наконец, в рабстве – этом источнике разложения и внутренних потрясений, наиболее сильным из которых было восстание рабов во главе со Спартаком.

В оценке феодализма Гердер смог подняться выше некоторых просветителей, рассматривавших этот период в истории человечества как шаг назад, как возвращение к варварству, как неестественный перерыв в общественном развитии. Но Гердер был далек и от идеализации Средневековья, характерной для романтиков. Он сумел диалектически подойти к оценке этой эпохи, показывая причинную обусловленность, необходимость появления феодальных отношений. Последние, по его мнению, возникали естественно, в результате захватнических войн, которые вели германские народы. Вождь племени становился в завоеванной местности королем; своих воинов он наделял землей, сначала только пожизненно, а затем, с установлением права наследования, земли передавались из поколения в поколение. Коренное население превращалось в крепостных. Вассалы, используя слабость королевской власти, становились почти самостоятельными правителями в своих владениях. Государство стало фикцией.

Средневековье представляется Гердеру необходимым и важным звеном в культурной эволюции человечества. Он высказывает сожаление по поводу того, что не создано подробной истории развития средневекового ремесла, торговли, науки и искусства, и призывает историков решить эту задачу. Сам он отмечает лишь общие характерные особенности развития культуры этого периода, и прежде всего ее религиозный характер. Лучшие писатели Средневековья несли на себе отпечаток схоластики, их внимание ограничивалось узким кругом религиозных и мифологических сюжетов. Наиболее развитым видом искусства была архитектура, так как без нее не могли строиться замки, церкви, монастыри. Так называемый готический стиль есть прямое

порождение духа времени, церковной иерархии и ленных отношений. Церковь и феодальные отношения наложили свой отпечаток и на цеховую организацию ремесла. Под церковной эгидой возникали купеческие организации – гильдии. Объединения ученых привели к созданию университетов, которых предшествующая история не знала. Повсюду возникали и росли города – центры новой культуры.

Анализ развития мировой культуры в Средние века, по мнению Гердера, был бы неполным без рассмотрения того, что создали в эту эпоху восточные народы, и прежде всего арабы. Своеобразие духовной культуры Азии определяет мусульманская религия.

Арабы быстро завоевали Малую Азию, Египет, Персию. В этих войнах погибли остатки античной цивилизации. Однако если арабские воины уничтожали греческие статуи и рукописи, то арабские ученые становились хранителями и продолжателями античной научной традиции. Арабские философы комментировали и развивали идеи Аристотеля, математики – Евклида и Птолемея, врачи – Галена и Диоскорида. Арабские ученые оказали в дальнейшем сильное влияние на европейскую науку, особенно это относится к математике, астрономии, химии, медицине. В этих областях арабы были учителями Европы. Много сделали они и для развития мировой торговли. От арабов узнала Европа о существовании фарфора, бумаги, пороха, магнитной стрелки, имевшей огромное значение в развитии мореплавания, для великих географических открытий. Объективной оценкой роли Востока в развитии средневековой культуры Гердер выгодно отличается от своего гениального преемника Гегеля, в сочинениях которого не нашлось места ни для арабской философии, ни для мусульманской религии.

Еще одна «потеря» Гегеля по сравнению с Гердером – негативная характеристика роли славянских народов во всемирной истории. Гердер пишет о славянах с подлинной теплотой, выделяя черты их национального характера: трудолюбие, добродушие, гостеприимство. Рассматривая взаимоотношения славян с соседями, он отмечает, что «многие нации, но больше всего немецкие племена, совершали по отношению к ним тяжелые преступления», франки и саксы угнетали и уничтожали славянские племена. Гердер предсказывал освобождение и большое историческое будущее славянским народам. Глава о славянах в книге Гердера нашла широкий отклик у деятелей славянского Возрождения XIX в. Ее перепечатывали в славянских журналах.

Гердер рассмотрел развитие культуры человечества лишь до конца XIV в. В дальнейших книгах он предполагал остановиться на культуре эпохи Возрождения в Италии, Франции, Англии, Испании, Германии и на последующем развитии Западной Европы. XXIV книга должна была начинаться рассказом о России и заканчиваться эпохой колониальных завоеваний. Последнюю, XXV книгу Гердер намеревался посвятить гуманности как цели развития человеческого рода. Обстоятельства

сложились так, что ему пришлось перескочить через исторический материал и в «Письмах для поощрения гуманности» обратиться к итоговым рассуждениям.

Философской основой гуманизма Гердера было учение о прогрессе человечества. Общество совершает движение к высшему состоянию, которое он назвал гуманностью. «Мне хотелось бы словом гуманность, – писал Гердер в «Идеях...», – охватить все, что я до сих пор говорил о человеке, о воспитании его благородства, разума, свободы, высоких помыслов и стремлений, сил и здоровья, господства над силами Земли». Гуманность соответствует природе человека. Если люди не достигли такого состояния, то они должны винить только самих себя; никто свыше не поможет им, но никто и не связывает рук. Они должны извлечь уроки из своего прошлого, которое наглядно свидетельствует о том, что человечество стремится к гармонии и совершенству. Вся история народов является школой соревнования в скорейшем достижении гуманности. Никакой деспотизм и никакие традиции не могут задержать его. Против деспотизма необходимо применять силу. Так Гердер приходит к признанию революции необходимым элементом в развитии общества.

Характерно, что в понятие «революция» он вкладывал наряду с основным его смыслом – переворот, скачок – также и первоначальный (ныне почти забытый) астрономический смысл этого термина – закономерное, циклическое движение. Поэтому, провозглашая всеобщность революции, он вместе с тем пытался представить ее в виде постепенного процесса, незаметного накопления новых качеств. Вот характерный черновой набросок: «Революции – воображают, что они представляют собой сплошные перевороты... Однако имеются также: 1. Революции Солнца, звезд, времени... 2. Революции года, плавные – весна, лето... Революции в природе, благодаря которым: 1. Возникла солнечная система (кажется нам простой); 2. Возникла Земля и Луна (весьма смутно, положение, слои Земли, Луна, элементы); 3. На Земле организмы (еще искусственно, многообразие); 4. Люди между собой. Политические революции... 5. Революции всегда... 6. Всегда незаметно, тихо, тем сильнее, без них нет мира, нет человеческого рода. Поэтому государство не должно трепетать перед ними, а господствовать над ними, рассматривать как modus peristaltikus, предвидеть их и поощрять их развитие там, где оно задерживается»*.

Причину многих несчастий людей Гердер видит в существовании деспотического государства. Естественному состоянию человека соответствует мир. Войны, насилия, захваты приводят к возникновению государства. В Европе государства появились в результате вторжения варварских племен, вожди которых делили между собой захваченные

* *Herder J.G.* Sämtliche Werke. Bd. XIV. S. 648.

земли и обращали в крепостных местных жителей. Гердер полемизирует с договорной теорией возникновения государства, он пытается идти дальше этой теории, показывая, что всякое государство связано с насилием, с угнетением.

Об этом идет речь в двух разделах IX книги «Идей...», которые по цензурным соображениям не были включены в опубликованный текст. Уже Лессинг высказывал мысли об уничтожении государства как условии освобождения человечества. Гердер развивал дальше эти идеи. Государство он называет машиной; деспотизм он видит не только в монархической форме правления, но всюду, где власть используется не в интересах народа. В возможность разумного государства он не верит.

В черновиках Гердера мы находим следующую весьма выразительную запись: «Самый лучший правитель тот, кто в меру своих возможностей способствует наступлению такого состояния, при котором человечеству наконец (когда же это будет?) не нужны будут никакие правители... Народу нужен господин до тех пор, пока у него нет своего разума: чем больше у народа появляется разума и способности к самоуправлению, тем слабее должны становиться правительства, а под конец и совершенно исчезнуть»*.

«Идеи...» Гердера – это не бесстрастное повествование кабинетного ученого, а произведение философа-публициста, готового отдать свои силы достижению лучшего будущего для своего народа. Гердер обращается в своей книге не к немецким государям, которые, по его мнению, вряд ли смогут ее прочитать, поскольку немецкий язык они считают варварским и не понимают его. Слово Гердера направлено к Человеку, независимо от его общественного положения, его он призывает действовать во имя свободы, просвещения и благополучия людей, служить всему человечеству. И поскольку Гердер убежден, что сидящие на тронах редко совершают полезные изменения, он, обращаясь к современникам, призывает их стать руками своей судьбы и осуществить то, чего не сделали правители.

Вместе с тем не следует переоценивать революционность Гердера. Он не достиг ни теоретического радикализма своего друга Августа Эйнзиделя (1754–1837), убежденного противника частной собственности, ни тем более революционной практики Георга Форстера (1754–1794), немецкого якобинца, возглавившего Майнцскую коммуну. Первый этап революции во Франции Гердер встретил восторженно. Он приветствовал взятие Бастилии, сочувственно отнесся к перевороту 10 августа, взятию французами Майнца и революционной деятельности Форстера.

---

* Ibid. Bd. XIII. S. 456.

В это время Гердер усиленно работает над «Письмами для поощрения гуманности», содержащими изложение его политической программы. В первоначальном варианте «Писем...» можно было найти непосредственный отзвук революционных битв. «С этим событием, – писал Гердер о французской революции, – со времени введения христианства и вторжения в Европу варваров, кроме Возрождения и Реформации, ничто не может сравниться по своим замечательным последствиям»*. Однако казнь Людовика XVI поколебала положительное отношение Гердера к революции. Подобно многим немцам, он не принял якобинской диктатуры. Якобинцы, по его мнению, «дали революции обратный ход». Следствием его разочарования в политическом развитии Франции были те значительные изменения, которые он внес в окончательную редакцию «Писем для поощрения гуманности».

Из книги, увидевшей свет в 1793 г., были изъяты все положительные высказывания о французской революции. (В последующих выпусках «Писем...» встречаются и отрицательные отзывы о событиях во Франции.) Интересно, что Гёте, не знавший об изменениях в книге и помнивший первоначальное умонастроение Гердера, медлил с возложенным на него поручением автора передать экземпляр вышедшей книги веймарскому герцогу, находившемуся в лагере под Майнцем. Узнав, что его опасения напрасны, Гёте немедленно выполнил это поручение и вскоре переслал Гердеру благодарственное письмо герцога. Важно отметить, что, внося купюры и изменения в первоначальный вариант своего произведения, Гердер столь абстрактно сформулировал свою гуманистическую идею, что его книга понравилась не только веймарскому монарху, но и Георгу Форстеру, перешедшему к этому времени на революционные позиции.

Обосновывая право человека на счастье, свободу, гармоническое развитие, Гердер в «Письмах для поощрения гуманности» ссылается на великих мыслителей прошлого, цитирует и комментирует выдающихся гуманистов – от Конфуция и Марка Аврелия до Франклина и Лессинга. Его книга излагает не только теорию, но и историю гуманизма. Гердеру ясно, что судьба человека, формирование его как личности всецело зависят от того общества, в котором он живет. Следовательно, напрашивается вывод: для гармонического развития личности необходимо изменить общественные условия, ставящие основную массу людей в положение полулюдей и поднимающие над ними одного как сверхчеловека. Человек имеет право на счастье в этом мире, именно здесь он должен осуществить гармоническое развитие своей личности. Эта идея проходит лейтмотивом через все творчество немецкого просветителя Гердера.

Иные великие книги, появившись на свет, получают признание не сразу. (Такой была судьба «Критики чистого разума», которую понача-

* *Herder J.G.* Werke in fünf Bänden. Bd. 5. S. 189.

лу просто не заметили, а те, кто заметил, не поняли; лишь постепенно рождалась ее слава, и чем дальше, тем больше.) Иные вспыхивают, как фейерверк, и столь же быстро гаснут, и нужны потом дополнительные усилия историков, чтобы напомнить миру о том свете, который некогда исходил от них. Нечто подобное произошло с «Идеями к философии истории человечества».

Книга еще не была издана, не была дописана, а вокруг нее закипели страсти. Инициатива полемики принадлежала Канту, который откликнулся на выход первой части ядовитой рецензией. Еще до появления в свет «Идей...» Кант выражал недовольство позицией своего ученика; среди черновых записей мы находим и следующую: «Гердер портит головы, вселяя в них уверенность, что можно высказывать всеобщие суждения, не продумав принципы, исходя только из эмпирии»*.

«Идеи...» укрепили Канта в его мнении. Ничего, кроме легкомысленной дерзости, в начинании Гердера Кант не увидел. Неблагоприятное впечатление на него произвела и манера, в которой была написана книга, – эмоциональная, порой выспренная, лишенная четкости и доказательности. По мнению Канта, произведение, которое Гердер «называет философией истории человечества, есть вовсе не то, что обычно подразумевают под этим»**. Вместо логической точности в определении понятий читатель находит лишь туманные многозначительные намеки. Кант собрал яркий букет выразительных цитат, из которых явствовало, что Гердер рассуждает о вещах, о которых пока можно только фантазировать.

Кант иронизировал по поводу стремления Гердера опереться на эволюционное учение для обоснования идеи бессмертия души. Если даже допустить возможность, что есть существа, которые находятся на более высокой ступени по отношению к человеку, то отсюда не следует вывод, что один и тот же индивид достигнет этой более высокой ступени. Гусеница превращается в бабочку, но между ними лежит не смерть, а состояние куколки. «Здесь следовало бы скорее показать, что даже после разложения и сгорания животных природа допускает их появление из пепла в специфически более совершенной организации, дабы можно было по аналогии сделать вывод и о человеке, превращенном в пепел»***.

Вклад Гердера в сравнительную анатомию представлялся Канту сомнительным. Что касается прямой походки, то Кант видел в ней следствие разумности человека, а не причину (как утверждалось в «Идеях...»). Теорию органических сил Кант называл попыткой «объяснять то, чего мы не понимаем, из того, что мы понимаем еще меньше»****. В заключение рецензии Кант высказывал пожелание, чтобы его ученик «обуздал свой пылкий

---

* *Kant I.* Gesammelte Schriften. Bd. 15. Berlin, 1923. S. 399.

** *Кант И.* Сочинения. Т. 6. М., 1966. С. 39.

*** Там же. С. 48.

**** *Кант И.* Сочинения. Т. 6. М., 1966. С. 49.

гений и чтобы философия, забота которой состоит более в сокращении числа спесивых любимцев, чем в умножении их, могла направлять автора в дальнейших его трудах не указаниями, а определенными понятиями, не предполагаемыми, а установленными наблюдением законами, не воображением, окрыленным метафизикой или чувствами, а широким в замыслах, но осмотрительным в применении разумом»*.

Рецензия появилась в одном из первых номеров только что созданной «Иенской литературной газеты» без подписи, но Гердер «по почерку» сразу узнал своего учителя. Имя Канта стояло среди участников нового журнала, и анонимность рецензии была секретом Полишинеля. Гердер был поражен, возмущен и полон желания нанести ответный удар. В письме к Гаману он замахнулся на «Критику чистого разума»: «Я получу искреннее удовольствие, когда сокрушу и опустошу идол разума»**. Но это были планы далекого будущего. В письме к Якоби он излагал впечатление от статьи Канта «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане», которая появилась в том же 1784 г., что и первая часть гердеровских «Идей...». Употребив по адресу Канта единственное общеизвестное немецкое нецензурное слово, Гердер просил у Якоби поддержки: «Мне бы хотелось, чтобы небо воодушевило тебя написать несколько фраз о бессмысленностях «Идей...» [Канта. – *А.Г.*] (все остальное и весь замысел украден из «Идей...»), например: человек это животное, нуждающееся в господине, человек существует не для себя, а для рода, в роде развивает он все свои силы, и все в конце концов направлено к политическому антагонизму и совершеннейшей монархии, вернее сосуществованию совершеннейших монархий, которыми управляет чистый разум»***.

Ослепленный раздражением, Гердер в своих упреках был столь же неправ, как и Кант в своей рецензии. Каждый из них не только не хотел замечать ничего позитивного у другого, но, излагая мысли противника, намеренно упрощал и искажал их. Рецензия Канта появилась в то время, когда Гердер дописывал вторую часть «Идей...». Последние ее книги содержат ответ Гердера Канту.

Но прежде чем вторая часть «Идей...» увидела свет, Канту пришлось прочитать в печати резкую оценку своей рецензии. Рецензией были недовольны многие****, в том числе Виланд, издававший журнал «Немецкий

---

* Там же. С. 51.

** *Herder J.G.* Briefe. S. 248.

*** *Herder J.G.* Briefe. S. 245.

**** Кнебель писал Гердеру, что рецензия написана «явным болваном, профессором, который меряет мудрость на свой аршин. Было бы жаль, если бы этот ученый осел задержал бы Вас на Вашем пути хотя бы на один шаг» («Ein Jahrhundert deutscher Literaturkritik». Bd. III. Der Aufstieg zur Klassik. Hrsg. von O.Fambach. Berlin, 1959. S. 367. В этой книге собраны основные отклики на гердеровские «Идеи..» – как в печати, так и в частной переписке).

Меркурий». В этом журнале и появился ответ Канту, написанный якобы неким пастором из***.

Антирецензент упрекал рецензента в «метафизической рутине», которая мешает ему увидеть в труде Гердера живую мысль, исследующую новые данные. В его пространной заметке содержалось немало других упреков и резких слов. Под маской пастора скрывался начинающий философ К.Л.Рейнгольд, в то время еще не прочитавший основных работ Канта. Впоследствии, ознакомившись с «Критикой чистого разума», он стал горячим сторонником и активным ее популяризатором.

Кант не удержался от того, чтобы не высказать в печати свое мнение об «антирецензии». Его оппонент, писал он, измыслил себе некоего «метафизика», не признающего эмпирические знания и закостеневшего в «бесплодных абстракциях», на самом деле рецензия опирается именно на фактические данные, собранные антропологией и другими науками. Канта особенно задело замечание мнимого пастора о том, что «разум не должен отшатываться» ни перед какою смелою идеей. В рецензии было сказано, что «разум отшатывается» от идеи эволюции; в реплике Кант настаивал на том, что за этой идеей не стоит никакая научная истина, и снова повторил свое обвинение по поводу того, что книга Гердера не содержит того, что обещает ее название.

Сам автор не счел нужным оправдываться перед рецензентом. Его ответ представлял собой не оборону, а нападение. Гердер ни разу не называет имени Канта, но оно явно подразумевается во второй части его труда. Так, он ставит под сомнение кантовское понимание расы. «Некоторые осмеливаются называть расами те четыре или пять разделений, которые первоначально произведены были по областям обитания или даже по цвету кожи людей, – но я не вижу причины называть эти классы людей расами». Это был выпад против статьи Канта «О различных человеческих расах», опубликованной в 1775 г.

В VIII книге «Идей...» говорится о мире как естественном состоянии человечества. «Бывали философы, которые видели в роде человеческом инстинкт самосохранения, а потому причислили людей к кровожадным зверям и естественное состояние человека полагали в состоянии войны каждого против всех». Это опять-таки выпад не столько против Гоббса, сколько против Канта. «Неужели, – задает риторический вопрос Гердер, – человек – это дикий зверь по отношению к себе подобным, неужели он не склонен к человеческому общежитию?.. Взгляните, как мирно живут между собой немирные племена дикарей. Тут никто не завидует друг другу, каждый добывает себе пропитание и наслаждается добытым в тишине и покое. Если злобный, противоестественный характер согнанных на узком пространстве людей, конкурирующих между собой ремесленников, художников, вечно спорящих политиков, завистливых ученых объявить всеобщей принадлежностью человеческого рода, правда истории будет нарушена».

А в IX книге «Идей...» есть уже прямая цитата из Канта (правда, несколько искаженная). «Вот легкий, но дурной принцип для философии человеческой истории: "Человек – животное, нуждающееся в господине и счастье своего конечного предназначения ожидающее от своего господина"». Все, что касается «счастья», у Канта отсутствует; последний хотел лишь сказать, что люди злоупотребляют своей свободой, и поэтому они нуждаются в «господине», в качестве какового выступает человеческий род в целом и институт государства. Гневные филиппики Гердера против государства нам известны, они также направлены против Канта, который видел в этом институте подлежащее совершенствованию, но неизбежное зло.

И еще один выпад против Канта: необоснованное обвинение в том, что критическая философия пренебрегает человеческим индивидом, главное для нее – род как некая самодовлеющая сущность. «Если кто-нибудь скажет, что воспитывается не отдельный человек, а род, то это будет непонятно мне, потому что род, вид – это только всеобщие понятия, и нужно, чтобы они воплощены были в конкретных индивидах. Какую бы совершенную степень гуманности, культуры и просвещенности ни отнес бы я к общему понятию, я ничего не сказал бы о подлинной истории человеческого рода, как ничего не скажу, говоря вообще о животности, каменности, железности и наделяя целое самыми великолепными, но противоречащими друг другу в отдельных индивидах свойствами. Наша философия истории не пойдет по пути Аверроэса, согласно которому всему человеческому присуща единая и притом очень низкая душа, которая лишь частично передается отдельным людям».

Когда вышла в свет вторая часть «Идей...», Кант получил книгу из рук Гамана и внимательно проштудировал ее («продержал вопреки обыкновению больше недели»*). В «Иенской литературной газете» появилась новая рецензия. На этот раз она начиналась в благожелательных тонах: Кант похвалил умный подбор этнографических источников, их мастерское изложение, сопровождаемое собственными меткими замечаниями. Но тут же стал иронизировать по поводу излишней метафоричности, при которой «синонимы заменяют доказательства, а аллегории истину». Привел примеры того, как в мелочах Гердер противоречит сам себе и принимает всерьез библейскую легенду. Процитировав то место из книги, где Гердер говорит, что первый человек получал указания от Элоима, и обещает еще вернуться к этому в другом месте, Кант писал: «Посмотрим, как ему это удастся и сможет ли он, достигнув цели, благополучно вернуться домой. Т.е. в жилище разума»**.

---

* «Ein Jahrhundert deutscher Literaturkritik». S. 384.

** *Kant I.* Zur Geschichtsphilosophie. Berlin, 1948. S. 111.

От Канта не укрылись содержавшиеся в книге и направленные против него пассажи. Гердер выдвигает на первый план счастье индивида, противопоставляя его государству. Можно быть счастливым по-разному, отвечает Кант. Не призрачная картина счастья, которую каждый рисует по-своему, а «непрерывно растущая деятельность и культура, показателями которой служит упорядоченная в соответствии с правовыми понятиями государственная конституция»*, – вот подлинная цель Провидения. Если идеал – блаженные острова Таити, где столетиями люди жили, не вступая в контакт с миром цивилизации, то спрашивается, есть ли здесь вообще необходимость в людях, не могут ли их заменить счастливые овцы и бараны? Гердер назвал принцип Канта «легким, но дурным». Да, говорит Кант в рецензии, он, действительно, легко усваивается, так как его подтверждает опыт всех времен и народов. Но почему он дурной? Может, правильнее было выразиться, что произнес его дурной человек?

Еще более едкая насмешка звучит в кантовских замечаниях по поводу того, что Гердер не признает никаких атрибутов вида, отличающихся от признаков индивида. Конечно, если сказать, что ни у одной из лошадей нет рогов, а в целом лошадиный род наделен рогами, то это будет бессмыслица. Но человеческий род как целое обладает некими характеристиками, которых нет у отдельного индивида. Только род в целом осуществляет свое «предназначение». Т.е. пребывает в состоянии развития и способен достигнуть его вершины. Коснувшись в этой связи заявления Гердера, что его философия истории не пойдет за Аверроэсом, Кант заметил: «Из этих слов можно заключить, что наш автор, так часто порицавший все, что до сих пор выдавалось за философию, хочет показать всему миру, в чем заключается образец настоящей манеры философствовать – не посредством бесплодных словесных заявлений, а на деле и примере своего тщательно разработанного произведения»**. Т.е., другими словами: тень арабского философа потревожена напрасно, его учение о всеобщем интеллекте к спору отношения не имеет.

На этом Кант закончил полемику. Ее отзвуки, правда, можно обнаружить в некоторых позднейших работах, например в статье «Предполагаемое начало человеческого рода» (1786), где он весьма осторожно иронизирует над милым пасторскому сердцу Гердера Ветхим Заветом, как бы намекая на то, что библейский текст может служить опорой для самых противоположных мнений. И даже в «Критике способности суждения» (1790), где речь идет снова о том, что «последняя цель природы» – не счастье, а культура человека. Но это только отзвуки. В целом Кант считал спор исчерпанным.

---

* Ibid. S. 112.

** Ibid. S. 114.

Для Гердера он только начинался. Уязвленный до глубины души Гердер львиную долю своей энергии посвятил опровержению критической философии. Было время, правда, когда Гердер готов был пойти на мировую. В первоначальной редакции «Писем для поощрения гуманности» (1792) можно прочесть восторженную характеристику Канта-педагога (в начале статьи мы привели выразительный отрывок) и столь же восторженную оценку учения Канта: «Ложь, от начала до конца ложь – утверждение, будто его философия забывает об опыте, наоборот, она в конечном итоге прямо указывает на опыт, где бы только он ни имел место. Ложь, будто он любит философию, которая не хочет знать ничего о других науках и занимается пустой болтовней. Его «Критика чистого разума» должна была укрепить силы философии, определить ее границы, очистить поле метафизической деятельности, отнюдь не затрагивая содержания знания или мышления, о чем автор говорит недвусмысленно. Принимать абрис за изображение, раму за картину, сосуд за его содержимое и думать при этом, что найдены все богатства, – какое заблуждение, какая низость»*. Гердер нахваливал также и «Критику способности суждения», и «Критику практического разума». Напечатано все это было в урезанном виде. Но латинский панегирик увидел свет почти полностью:

> Noster Aristoteles, Logicis quieunque fuerunt,
> Aut par aut melior; studiorum cognitus orbi
> Princeps; ingenio varius, subtilis et acer;
> Omnia vi superans rationis etc **.

Это было в 1795 г. Проходит два года, и Гердер возобновляет полемику. Сначала сдержанно, скрыто, не называя имен. В последних выпусках «Писем для поощрения гуманности» он выступает против трактата Канта о вечном мире и тезиса Канта о «радикальном зле», присущем человеческой природе; затем с открытым забралом, противопоставив «Критике чистого разума» свою «Метакритику», а «Критике способности суждения» – «Каллигону».

Нас в данном контексте может в первую очередь заинтересовать гердеровская программа всеобщего мира. По Канту, подлинный мир на Земле возможен только путем соглашения. Для своего трактата он избрал оригинальную форму дипломатического договора, первая часть которого содержит прелиминарные статьи о вечном мире. Договаривающиеся стороны обязуются устранить на будущее все возможные поводы

---

* *Herder J.G.* Briefe zu Beförderung der Humanität. Bd. 2. Berlin, 1971. S. 351–352.

** «Наш Аристотель, равный всем логикам, которые когда-либо были, или превзошедший их, лучший знаток мудрости мира, многосторонний, тонкий и острый, все подчиняющий силе ума и т.д.» (Ibid. Bd. 1. S. 413). В черновике к этому еще было добавлено: «Prussorum Socrates» – «Прусский Сократ» (Ibid. Bd. 2. S. 354).

к войне, уважать суверенные права всех государств, не вмешиваться во внутренние дела других стран и не оказывать на них никакого давления; постоянные армии должны со временем полностью исчезнуть; особой статьей оговаривается недопустимость применения таких бесчестных приемов борьбы, как засылка убийц, шпионов и т.д., которые подрывают взаимное доверие между государствами. Второй раздел трактата Канта содержит дефинитивные статьи, задача которых состоит в сохранении достигнутого мира. Здесь Кант обосновывает идею союза народов, целью которого должно быть обеспечение свободы каждого государства и всеобщего мира.

Гердер считает, что соглашение, заключенное в мире вражды, не может служить гарантией мира. Для предотвращения войн государства уже применяли всевозможные средства: строили укрепления, превращали пограничные области в пустыни, создавали разного рода оборонительные союзы, но все это оказывалось недостаточным. Для достижения прочного мира необходимо нравственное перевоспитание людей. Только путем повсеместного распространения идей гуманизма – всеобщей справедливости и человечности – можно добиться «если не вечного мира», то, во всяком случае, «постепенного уменьшения войн»*.

Каким же образом можно воспитать людей в духе справедливости и человечности? По Гердеру, воспитание должно базироваться на следующих семи мирных принципах. Первый принцип – отвращение к войне. Речь, однако, идет о войне, которая является не вынужденной самообороной, а нападением на мирный соседний народ. Второй принцип – меньшее почтение к героизму. Здесь опять-таки речь идет лишь о мнимом героизме, проявленном в завоевательных войнах. Третий принцип – отвращение к «ложному государственному искусству», которое сводится к тому, чтобы любыми средствами – хитростью, обманами, насилием – добиться расширения границ и увеличения доходов. Четвертый принцип – просвещенный патриотизм, очищенный от шовинизма. Пятый принцип – чувство справедливости к другим народам, солидарности с ними. «С ростом этого чувства незаметно возникнет союз всех просвещенных народов против всякой агрессивной силы. Скорее приходится рассчитывать на этот немой союз, чем на предложенное Сен-Пьером формальное соглашение дворов и кабинетов. От них не дождешься первых шагов, но и они в конце концов вынуждены будут, вопреки сознанию и воле, подчиниться голосу народов»**. Шестой принцип затрагивает вопрос о торговых притязаниях. Торговля предназначена для того, чтобы объединять, а

---

* *Herder J.G.* Sämtliche Werke. Bd. XVIII. S. 523.

** *Herder J.G.* Sämtliche Werke. Bd. XVIII. S. 271.

не разделять людей. Седьмой принцип – деятельность, труд; колос – орудие против меча.

Апелляция к народу, нравственное и политическое его воспитание, расчет на давление «снизу» – эти идеи Гердера и сегодня звучат злободневно. Но последнее слово во внешней политике принадлежит все же правительствам; предотвращение войны – дело международного соглашения. И идеи Канта в этой области в нашу эпоху впервые приобрели подлинную актуальность. Строго говоря, мирная программа Гердера не исключает, а дополняет программу Канта.

Помимо полемики, разгоревшейся в печати, «Идеи к философии истории человечества» вызвали оживленный обмен мнениями в переписке знаменитостей того времени. Животрепещущей проблемой немецкого Просвещения было отношение к церкви и религии. Книга Гердера излагала компромиссную концепцию. Ее автор отводил религии важное место среди факторов, влияющих на социальное развитие. Религия, по его мнению, – самый древний элемент культуры. Появление религии Гердер пытался объяснить естественными причинами: воображение человека оживляет все то, что предстает перед ним в состоянии действия и изменения; древние наполнили небо, воздух и воду незримыми существами, боялись и почитали их. Наряду с этим просветительским взглядом в «Идеях...» можно было найти (и рецензент Кант нашел их) и реминисценции Ветхого Завета.

Христианство Гердер также не мог оценить однозначно. Основатель новой религии для него – реальная историческая личность, выходец из народа и народный заступник. Именно поэтому его идеи были «подлинной революцией в нравах», они сразу получили широкое распространение среди рабов, бедноты. Первоначальные идеи христианства состояли в создании чисто духовной общины; церковные пастыри должны были ограничиваться лишь заботой о нравственном благе паствы. Однако христианская церковь вскоре, вопреки учению Христа, выступила с претензиями на руководство светской жизнью, в результате чего возникло соперничество за главенствующие посты внутри церковной иерархии, началась борьба между духовной и светской властью, в течение тысячелетия раздиравшая затем Европу. Гердер подробно прослеживает распространение христианства и отмечает, что обращение языческих народов в католичество часто совершалось с помощью огня и меча. Церковь освящала кровавые грабительские походы, которые завершались превращением покоренных народов в христиан и крепостных. Так была создана христианская Европа, а позднее крест Христа как символ убийства был пронесен и в другие части света.

Принц Август Готский, прочитав четвертую часть «Идей...», вспомнил о Вольтере. «Вы сходитесь во мнениях с этим писателем, –

писал он Гердеру, – едва ли не чаще, чем думаете и желаете»*. Фихте, пострадавший в 1798 г. от несправедливого обвинения в атеизме, был просто возмущен тем, что Гердеру сходит с рук критика христианства. В одном из своих писем он даже грозил поднять вопрос о том, почему не привлекают к ответственности веймарского суперинтенданта, печатно изложившего философскую систему, которая так же похожа на атеизм, как одно яйцо на другое»**. Мнение Шиллера: «Гердер склоняется к крайнему материализму, если только не привязан к нему всем сердцем»***.

Однако Кнебель, один из наиболее последовательных материалистов в Германии того времени, в письме к Гердеру судил иначе: «Есть нечто такое, что вызывает мое несогласие. Во-первых, следует страшно осторожно обращаться с таким распространенным взглядом, будто добро порождается злом... Во-вторых, благие последствия, которые Вы приписываете христианству, весьма двусмысленны... Нельзя, конечно, отрицать, что догмат о едином боге, господине мира и существе рассудительном, в противоположность одному или множеству неразумных существ, был причиной всевозможного блага в этом мире, но как можно говорить, что это представляет собой вершину человеческого познания, что помимо этого не может быть чистоты и твердости разума, единства принципов, чистой науки о законах природы и т.д., – этого я не понимаю ни чувством, ни умом. Очевидно, по крайней мере, одно: допущение целеустремленной действующей сущности представляет собой величайшее препятствие для естествознания... Дух христианства испокон веку противостоял любому подлинному познанию природы, это можно обосновать не одним примером»****.

Позицию автора «Идей...» полностью одобрил Гёте: «С христианством ты обошелся по достоинству; что касается меня, я тебе благодарен. Теперь у меня возникла возможность взглянуть на него и с художественной стороны – вот где начинается подлинное убожество. Тут снова ожили в моей памяти прежние жалобы на христианство. По-прежнему верно: сказка о Христе – причина, почему мир может еще простоять десятки тысяч лет, и никто по-настоящему не обретет свой рассудок»*****. Так писал Гердеру в 1788 г. Гёте, уже не штюрмер, но «классик», увлеченный античностью.

Пройдет тридцать лет, и в своем кратком отзыве о французском издании «Идей...» (почти полностью воспроизведенном в качестве эпиграфа

---

* *Гайм Р.* Гердер, его жизнь и сочинения. Т. 2. С. 242.

** Там же. С. 734.

*** Schillers Briefe. Bd. 2. Stuttgart, 1892. S. 26.

**** Von und an Herder. Bd. 3. Leipzig, 1862. S. 32.

***** *Goethe.* Briefe. Bd. 2. Hamburg, 1962. S. 99.

к данной статье) Гёте отметит, что произведение Гердера «почти вовсе забыто» на его родине. Что произошло? Почему книга, некогда взбудоражившая передовые умы, перестала их привлекать? Почему Гегель, непосредственно к Гердеру примыкающий, никогда не называл его в числе своих учителей и в своих «Лекциях по истории философии» не посвятил ему ни строчки?*

Дело, по-видимому, заключалось в том, что на Гердера быстро стали смотреть как на устаревшего мыслителя. Его нападки на Канта (а затем и на Фихте) поставили его вне рамок магистрального развития немецкой философии. Его эмоционально окрашенный, выспренний стиль, богословско-моралистическая фразеология казались чуждыми возникавшей гелертерской традиции, воспринимались как отсутствие строгой научности.

Гердер стал котироваться лишь по ведомству изящной словесности и художественной критики. В фундаментальной «Истории новой философии» Куно Фишера Канту отведено два тома, Гердеру – четыре страницы, и то, что в них сказано, звучит убийственно: «Он пишет скорее живо, чем понятно, избыток чувств часто выливается у него не в ясные выражения, а в немые восклицательные знаки, мысли – в ряд тире»**. Гердера как мыслителя Куно Фишер, полностью дисквалифицировал***. Р. Гайм в своей двухтомной, богатой фактическим материалом биографии Гердера**** оценивает его теоретические заслуги столь же скептически. Для Гайма Гердер – прежде всего филолог и богослов.

С 1877 по 1913 г. в Берлине выходит полное собрание сочинений Гердера в 33 томах, где впервые были опубликованы многие неизвестные ранее работы и черновики, позволившие по-новому взглянуть на его теоретическое наследие. Предпринимаются попытки оценить по заслугам роль Гердера в развитии естествознания*****. С другой стороны, у представителей философского иррационализма рождалось

---

* В молодости Гегель намеревался написать рецензию на второе издание работы Гердера «Бог..» (см.: *Гегель Г.В.Ф.* Работы разных лет. Т. 2. М., 1971. С. 239). К Гердеру восходит знаменитый гегелевский термин «мировой дух» (см.: *Herder J.G.* Briefe zu Beförderung der Humanität. Bd. 1. Berlin, 1971. S. 81). К нему же восходит и гегелевская характеристика предельной индивидуализации в художественном произведении – «этот» (Ibid. S. 190).

** *Фишер К.* История новой философии. Т. 3. СПб., 1905. С. 692.

*** Шопенгауэр пытался дисквалифицировать Гердера и как стилиста: «Гердер употреблял три слова там, где можно было обойтись одним» *(Шопенгауэр А.* Полное собрание сочинений. М. 1910. С. 519).

**** *Haym R.* Herder nach seinem Leben und seinen Werken. Bd. 1. Berlin, 1880; Bd. 2. – Berlin, 1885; Neuauflage Berlin, 1958. Русский перевод.– *Гайм Р.* Гердер, его жизнь и сочинения. Т. 1, 2. М., 1888.

***** *Bärenbach F.* Herder als Vorläufer Darwins und der modernen Naturphilosophie. Berlin, 1877.

стремление опереться на Гердера как на своего предтечу. Появляется ряд работ, в которых философско-историческая концепция Гердера оценивается уважительно, но выдается за некое противостояние Просвещению*.

Объективную оценку сильных и слабых сторон гердеровской философии истории дал Ф.Меринг: «Если объединить заслугу и ошибку Гердера в одном слове, то следует сказать, что он защищал принцип исторического развития в такое время, которое ставило своей задачей разрушение исторических руин пережившего себя прошлого. Он стоял в рядах буржуазного Просвещения как его нечистая совесть»**. Ценные работы о Гердере принадлежат чешскому германисту П. Рейману*** и польскому германисту Э. Адлеру****. Много сделано для изучения теоретического наследия великого немецкого просветителя в ГДР*****.

Русская общественная мысль заинтересовалась Гердером еще при его жизни. Карамзин, Радищев, Державин, Жуковский были внимательными читателями его работ. Точную характеристику Гердера как исторического мыслителя мы находим в «Арабесках» Гоголя. По словам писателя, это один из «величайших зодчих мировой истории... Его мысли все высоки, глубоки и всемирны... Он мудрец в изучении идеального человека и человечества, но младенец в познании человека по весьма естественному ходу вещей, как всегда мудрец бывает велик в своих мыслях и невежа в мелочных занятиях жизни»******.

Лев Толстой, воссоздав в «Войне и мире» духовную атмосферу России начала XIX века, хорошо знал, кто был тогда властителем дум.

---

* *Kühnemann E.* Herder. München, 1895. 3. Aufl. ebd 1927; *Kroneberg E.* Herders Philosophie. Heidelberg, 1899; *Jakoby* C. Herder als Faust. Leipzig, 1911; *Litt Th.* Die Befreiung des geschichtliches Bewusstseins durch J.G.Herders. Leipzig, 1942; *Cillies A.* Herder. Oxford, 1945; *Jons D.W.* Begriff und Problem der historischen Zeit bei J.G.Herder. Göteborg, 1956; *Clark R.* Herder, his Life and Thought. Berkeley, 1955.

** *Меринг Ф.* Легенда о Лессинге. Литературно-критические статьи. Т. 1. М., 1934. С. 520.

*** Первая из них: *Reimann P.* Herder und die dialektische Metode. «Unter dem Banner des Marxismus». М., 1929, № 3; была затем перепечатана под названием «Herder, ein Vorkämpfer des Humanismus» в его книге «Über realistische Kunstauffassung». Berlin, 1949. См. также: *Reimann P.* Hauptstr mungen der deutschen Literatur. Berlin, 1956; 2 Aufl – Berlin, 1961.

**** *Adler E.* J.G.Herder i idea czlowieczenstwa. Olsztyn, 1961; *Adler E.* Herder i Oswiecenie niemieckie. Warszawa, 1965; *Adler E.* Herder und die deutsche Aufklärung. Wien, 1968.

***** См., например: *Dobbek W.* Johann Gottfried Herder. Weimar, 1950; *Stolpe H.* Die Auffassung des jungen Herder vom Mittelalter. Weimar, 1955; «Herder in geistlichen Amt». Leipzig, 1956; *Begenau H.* Grundzuge der Ästhetik Herders. Weimar, 1956; *Lindner H.* Das Problem des Spinozismus im Schaffen Goethes und Herders. Weimar, 1960; *Träger C.* Studien zur Literaturtheorie und vergleichenden Literaturgeschichte. Leipzig, 1970.

****** Гоголь *Н.В.* Сочинения. Т. 5. М., 1889. С. 249.

Его Пьер Безухов, вступавший в масонскую ложу, излагает в беседах с князьями Болконскими (сыном и отцом) учение Гердера – его концепцию беспредельного совершенствования, его гуманистическую идею всеобщего мира.

В советское время о Гердере писали В.Ф.Асмус* и В.М.Жирмунский**. Напутствуемый их рекомендациями, автор этих строк приступил четверть века назад к изучению наследия Гердера. В результате появился ряд публикаций. Но главный итог работы – настоящее издание «Идей к философии истории человечества», впервые публикуемых на русском языке в полном объеме.

---

* *Асмус В.Ф.* Маркс и буржуазный историзм. М., 1933. Переиздано: *Асмус В.Ф.* Избранные труды. Т. 2. М., 1971.

** *Жирмунский В.М.* Жизнь и творчество Гердера. – В кн.: Иоганн Готфрид Гердер. Избранные сочинения. М., 1959. Работа вошла в кн.: *Жирмунский В.М.* Очерки по истории классической немецкой литературы. Л., 1972. В ГДР издана отдельной книгой: *Shirmunski V.* Johann Gottfried Herder. Berlin, 1963.

Примечания

I. Заглавие книги Гердера

Комментарий справедливо начать с толкования заглавия книги, а заглавие книги Гердера действительно требует пояснений. От него, видимо, ведет начало распространенная в свое время модель заглавия. Примеры: *Гумбольдт В. фон.* Идеи к опыту установления границ действенности государства, 1792; *Шеллинг Ф.В.Й.* Идеи к философии природы, 1797; *Боутервек Ф.* Идеи к всеобщей аподиктике, 1799; *Вейллер К.* Идеи к истории развития религиозной веры, 1808–1815. Ср. также рукописные «Идеи» Августа фон Эйнзиделя (1754–1837), предшествующие книге Гердера. О заглавии – см. в издании Зупхана (XIV, 686; ср. ниже, раздел II Б).

Слово «идея» в употреблении XVIII в. обычно лишено терминологически строгого значения; так и здесь «идеи» означают не более чем «материалы к философии истории...» или «мысли к философии истории»; одна из задач этого слова – ограничить тему книги.

Слово «философия» тоже нужно воспринять с характерными оттенками его употребления: в XVIII в. могла существовать «философия зоологии» или «философия анатомии», и такое словоупотребление известно и Гердеру (в I т. «Идей»). Философия такой-то науки означает, что в изложении ее будет проведен определенный, полагаемый в основу, принцип: в «Идеях» это принцип органического развития, становления всего мира, принцип, который находит свое осуществление в разных структурных уровнях бытия, от материальных первоначал до человека. Таким образом, «философия» в заглавии книги Гердера значит и много и мало: с одной стороны, предполагается весьма общий, всеобъемлющий принцип истории, но, с другой стороны, по сравнению, например, с гегелевской «философией истории», в гердеровской «философии» мало специфически философского: в ней делается попытка нащупать общий принцип развития *внутри* позитивных данных, позитивного материала разных наук; «философия» у Гердера по своему объему *уже* «истории» (у Гегеля наоборот!). Не случайно Кант не находил в книге Гердера философского метода.

Два родительных падежа в словах «философия истории человечества» запутывают логическое отношение между понятиями; но Гердером одновременно предполагаются разные их отношения: его книга и философия «истории человечества», и такая «философия истории» (с установленным теперь отношением этих слов), которая, как оказывается, раскрывает заключенный в мире

(телеологически заложенный в нем) гуманный принцип и потому имеет его в виду даже тогда, когда трактует о первобытных стихиях вселенной. Заметим, что немецкое «Menschheit» до XIX в. подразумевает не только совокупность живущих на Земле людей, но и «человечность» и другие оттенки, завися от латинского и новолатинского humanitas. Десять выпусков гердеровских «Писем к поощрению гуманности» (гуманность – Humanität), напечатанных в Риге в 1793–1797 гг., были прямым, но только более вольным продолжением не завершенных им «Идей».

Заглавие книги Гердера заведомо многозначно, а общепринятый его перевод – очевидный буквализм. В этом смысле гораздо точнее были русские переводчики 20-х годов XIX в., которые переводили заглавие так: «Мысли, относящиеся к философической истории человечества».

Перевод такой сразу же отметает всякую двусмысленность и устраняет кажущуюся замысловатость заглавия.

В самой Германии заглавие книги воспринималось как неоправданно сложное; его упрощения укрепились не только в жизни, но и в изданиях Котты, начиная с Собрания сочинений 1805–1820 гг., где книга названа «Идеи к истории человечества» («Ideen zur Geschichte der Menschheit). Такое упрощение неправомерно, но симптоматично для восприятия книги в ту эпоху.

II. Издания книги Гердера

А. Первоначальные издания

1. Первое издание «Идей к философии истории человечества» вышло в свет у рижского издателя Гердера – И.Ф.Харткноха – в четырех томах формата малой кварты: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit von Iohann Gottfried Herder. Riga und Leipzig, bei Iohann Friedrich Hartknoch, 1784–1791.

Тома вышли из печати соответственно в 1784, 1785, 1787, 1791 гг. и печатались в различных типографиях (в Эрфурте у Й.Э.Шлегеля, в Рудольфштадте у Шираха). В 1789 г. три первых тома вышли новым тиражом. Существуют сведения о том, что это издание, – вероятно, несколько позднее, – было повторено с сохранением по возможности всех особенностей первого издания и с указанием прежних дат выпуска; так, имеется I том, отпечатанный «Бегманновской типографией в Рудольфштадте»; насколько известно, сопоставление разных экземпляров до сих пор систематически не проведено.

Вслед за изданием «ин-кварто» Харткнох предпринял издание форматом в восьмую долю листа, тома которого вышли соответственно в 1785, 1786, 1790, 1792 гг.

Первоначальное издание «Идей» было повторено еще дважды в 1821 г. (2-ое изд., Лейпциг) и в 1828 г. (3-е изд., Лейпциг), в двух томах, с предисловием историка Генриха Лудена (1780–1847).

Б. Научные издания книги Гердера

1. В рамках историко-критического издания сочинений Гердера, выходившего под редакцией Бернхарда Зупхана (1845–1911) в 1877–1913 гг., «Идеи» составили тома XIII и XIV: Herders Sämmtliche Werke. Hrsg. von Bernhard Suphan. Berlin. Band XIII, 1887; Band XIV, 1909.

В этом издании были опубликованы первоначальные редакции глав, не вошедшие по весьма существенным причинам идейного порядка, в окончательный текст «Идей», равно как некоторые наброски текста.

2. Вполне сохраняет свое значение комментированное издание «Идей» Эрнста Науманна, составляющее части 5–8 15-томного Собрания сочинений Гердера и части 3–6 8-томного: Herders Werke. Auswahl in 15 Teilen. Hrsg. von Ernst Naumann. Berlin, Wien, Leipzig, Stuttgart, o. J. [1912] (Goldene Klassiker-Bibliothek); Herders Werke. Auswahl in 8 Teilen... Berlin..., o. J. [1908] (...).

3. Издание, тоже комментированное, под редакцией Хайнца Штольпе: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Hrsg. von Heinz Stolpe, Bd. I–II. Berlin und Weimar, 1965 (Ausgewählte Werke in Einzelausgaben).

В. Русские переводы

1. Мысли, относящиеся к философической истории человечества, по разумению и начертанию Гердера. СПб., 1829.

В это издание вошла только первая часть «Идей».

Ср. рецензию в журн. «Московский телеграф», 1829. Ч. 29, № 7. С. 89–91, а также: Разбор рецензии на книгу под заглавием: Мысли [...]. СПб., 1830.

2. Отрывки из «Идей» напечатаны в переводе Л.Ю.Виндт в подготовленном В.М.Жирмунским издании *Гердер И.Г.* Избранные сочинения. Л., 1959. С. 227–274.

Г. Из других изданий следует отметить

1) подготовленное после смерти Гердера Полное собрание его сочинений, выходившее под редакцией известного историка Иоаннеса фон Мюллера (1752–1809), его брата Иоганна Георга Мюллера (1759–1819) и гёттингенского филолога-классика Кристиана Готлоба Гейне (1729–1812): Sämmtliche Werke. Stuttgart und Tübingen. Cotta, 1805–1820.

В этом 45-томном издании «ин-октаво» сочинения Гердера образовали три тематических отдела: «Идеи» составили тт. 3–6 отдела «К философии и истории» и были подготовлены И. фон Мюллером. Впервые здесь был напечатан план книг 21–25 «Идей».

Это же издание было повторено в 1827–1830 гг. в шестнадцатую долю листа, в 60 томах («Идеи» составляют тт. 4–7 названного отдела).

Все в целом это издание никак нельзя считать удовлетворительным; начатое вскоре после смерти автора, довольно поспешно, оно не ставило своей задачей подготовку точного текста, а нередко допускало самые произвольные, вполне сознательные его изменения. Положительной стороной этого издания следует признать композицию исторических сочинений Гердера в нем, где «Идеи» заняли логически определенное место:

а) «Идеям» предшествовали тома, озаглавленные «Первобытный мир» («Die Vorwelt») и «Прелюдии к философии истории человечества»; в первый раздел вошли, в частности, незаконченные и при жизни автора не опубликованные, посвященные археологии «Персеполитанские письма», во второй – сочинения Гердера о происхождении языка и важнейшая, содержащая в зародыше весь замысел «Идей», работа 1773 г. (опубл. в 1774) – «Еще один опыт философии истории для воспитания человечества»;

б) за «Идеями» следовали «Постсцении истории человечества», включавшие ряд статей Гердера по общим вопросам истории, в том числе (в 45-томном из-

дании) его премированный Берлинской академией наук трактат «О влиянии способа правления на науки и наук на способ правления» (1780).

2) 40-томное издание того же Котты: Sämmtliche Werke in 40 Bänden. Taschen-Ausgabe. Stuttgart und Tübingen. Cotta, 1852–1854.

3) Два сокращенных издания «Идей...», появившиеся в ГДР: *J.G.Herder.* Zur Philosophie der Geschichte, Bd. 2. Berlin, 1952; Herders Werke in fünf Bänden. Bd. 4. Wei mar, 1957.

IV. Использованные издания и характер примечаний

Для публикуемого в настоящем издании перевода книги использованы первое издание книги Гердера (см. выше, II А 1), а также указанные в разделе II Б издания Б.Зупхана, Э.Науманна и Г.Штольпе.

Задача примечаний. Разница в уровне развития наук между эпохой Гердера и современностью столь велика, что комментирование всех отдельных мест книги, требующих поправок или разъяснений, – задача неисполнимая по своей обширности и разнообразию материала. Поэтому примечания ограничены комментированием 1) лишь некоторых реалий, 2) лишь некоторых терминов, а кроме этого, 3) указывают источники текстов и 4) содержат перевод иностранных (у Гердера крайне редких) текстов. В отдельных случаях примечания специально оговорены. Примечания дополняются указателем. В нем по возможности приводятся сведения о менее известных деятелях науки и истории.

Подстрочные примечания Гердера в нашем издании оставлены без всякого изменения, библиографические ссылки в ряде случаев уточнены.

В примечаниях много раз цитируется один из распространенных справочников, выходивший в свет на протяжении всего XVIII в., в различных вариантах, с исправлениями и подновлениями – это словарь Иоганна Хюбнера (1668–1731); Johann Hübners reales Staats-Zeitungs– und Conversations-Lexicon [...] Leipzig, in Gleditschens Buchhandlung, 1782. Цит.: *Хюбнер*, с указанием столбца.

Встречающиеся в примечаниях цитаты без указания переводчика принадлежат составителю комментариев.

Предисловие

[1] *Персий* III, 71–73. Пер. Ф. Петровского. Следует принять во внимание, что Гердер (в целом совершенно не склонный к цитированию античных текстов) в этом случае берет строки сатиры Персия в отрыве от контекста и вкладывает в них иной смысл: речь для него идет о «человеческом месте» в мире.

[2] Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit. Beitrag zu vielen Beiträgen des Jahrhunderts, o. O, 1774.

[3] «Я тоже художник» *(итал.)*. Возглас Корреджо перед картиной Рафаэля.

[4] Приведенные по-гречески слова Эпиктета: «Не вещи волнуют людей, а мнения *о* вещах».

[5] Одной из таких работ могла быть, по предположению Э.Шаумкелля *(Schaumkell E.* Geschichte der deutschen Kulturgeschichtsschreibung. Leipzig, 1905. Nachdruck, 1970. S. 110–111.), книга Иоганна Кристофа Аделунга (1732–1806) «Опыт истории культуры человеческого рода» (1782).

[6] Кн. пророка Аввакума, 1, 14.

[7] Аналогия. Следует иметь в виду ясную для Гердера этимологию одного из центральных у него понятий. Греч. analogos – соответствующий смыслу, разуму, или. по Гердеру – «Замыслу». Явления аналогичные заключают в себе один и тот же смысл. Т.е. logos или ratio. Разные явления, будучи аналогичны, одинаково соотносятся с «Замыслом». Ниже – «великая Аналогия» есть соответствие всего сотворенного мира замыслу творца.

[8] Описательное выражение философской формулы пантеизма «hen kai pan» («Одно, и Все»).

[9] *Плиний.* Ест. ист. VIII, I, 6–7.

Книга первая

[1] И.Г.Ламберт, выдающийся немецкий ученый (физик, философ, математик, логик, астроном). «Kosmologische Briefe ber die Einrichtung des Weltbaues». Augsburg. 1761.

[2] И.Э.Боде, известный астроном, автор многих популярных, широко читавшихся работ. Гердер ссылается на его «Введение к познанию звездного неба» («Anleitung zur Kenntniss des gestirnten Himmels». Hamburg, 1768; многочисленные переиздания).

[3] Гемстергейс – выдающийся голландский философ, оказавший огромное влияние на немецкую философию в эпоху позднего Просвещения и романтизма. Жан-Поль (И.П.Рихтер) ставит Гемстергейса рядом с Платоном. Гердер переводил его «Письма о желаниях» («Lettre sur les désirs», перевод издан в 1781 г.) и трактат «О человеке и его отношениях» («Sur l'homme et ses rapports»; перевод частично опубликован в 1781 г.).

[4] Гердеровское понятие «die bildende Natur». Т.е. созидательная, творческая, ваяющая природа, исторически восходит к тому представлению о природе («a Plastick Nature»), какое сформировалось в XVII в. в кругу английских неоплатоников, учение которых пришло в Германию в середине XVIII в. вместе с сочинениями Шефтсбери, оплодотворившими немецкую культуру (Гаман, Гердер, Гёте, Виланд и мн. др.) и способствовавшими складыванию характерного эстетического образа мира. Представление о самодеятельно-творящей природе постоянно сталкивается у Гердера с богословскими идеями и вызывает у него потребность в оправдании или оговорках.

[5] А. Кирхер утверждал в книге «Экстатическое путешествие по небу» (1656), что планеты не населены, но оказывают свое влияние на земные дела. Шведский теософ Сведенборг, французский писатель Фонтенель, физики Гюйгенс и Ламберт считали, что планеты обитаемы. Этого взгляда придерживался и Кант.

[6] Великий французский естествоиспытатель излагал свою гипотезу происхождения Земли и ее постепенного развития в книгах «Теория Земли» (1749) и «Эпохи природы» (1778).

[7] В 1775 г. в Лиссабоне произошло катастрофическое землетрясение, разрушившее город; вся Европа была потрясена этим событием, Вольтер написал «Поэму о разрушении Лиссабона», в которой обрушился на оптимизм Лейбница, на его утверждение о том, что наш мир – лучший из возможных, где все предназначено для определенной цели.

[8] Т.е. учение об атмосфере.

[9] В этом месте Гердер понимает астрологию как такую науку, которая специально изучает зависимость Земли от небесных тел и место Земли во Вселенной. Т.е. астрология здесь для Гердера – часть астрономии.

[10] Гёттингенский проф. Гаттерер – составитель компендиума всеобщей истории; «второй» Гаттерер был бы, следовательно, уже составителем компендиума космической истории, истории всей Вселенной.

[11] Новая Мексика, на западе граничившая с Калифорнийским заливом, простиралась к северу, не имела определенной северной границы и занимала большую часть плохо изученной территории современных США. *Хюбнер,* 1562.

[12] Т.е. к Балтийскому морю.

[13] Гаги – видимо, жители Гаго, страны, расположенной между р. Нигер и Гвинеей. *Хюбнер,* 958.

[14] Мономотапа – государство на юге Африки, ок. 30° южной параллели. Кафры занимали самую южную часть Африки.

[15] Большое преувеличение для конца XVIII в.: не были изучены, например, огромные территории Северной Америки и Австралии.

[16] Австралия была недостаточно известна в конце XVIII в., ее западное побережье было описано в XVII в., восточное было открыто Куком в 1770 г. На картах того времени Австралия значится как Новая Голландия.

[17] Terra Australis incognita, которая предполагалась в районе Антарктиды.

[18] Выдающийся немецкий естествоиспытатель Р.Форстер – участник экспедиции Кука (1772–1775). Сын Р. Форстера, впоследствии знаменитый публицист Георг Форстер, сопровождавший отца в путешествии, написал на основании его дневников «Заметки о предметах физического землеописания, естественной истории и нравственной философии...» («Johann Reinhold Forster's Bemerkungen über Gegenstände der physischen Erdbeschreibung, Naturgeschichte und sittlichen Philosophie auf seiner Reise um die Welt gesammelt»... Berlin, 1783, англ. изд.– London, 1778).

[19] *Ulloa Antonio de.* Physikalische und historische Nachrichten vom südlichen und nördlichen Amerika. Leipzig, 1781.

[20] *Leiste Chr.* Beschreibung des portugiesischen Amerika... Braunschweig, 1780.

[21] Огромная территория Северной Америки, расположенная между Флоридой, Мексиканским заливом, Новой Мексикой, Канадой.

Книга вторая

[1] Выдающийся шведский естествоиспытатель («Philosophie botanica», 1751; «Systema naturae», 1735).

[2] Во втором томе «Естественной истории Южной Франции» (Париж, 1780) аббата Сулави содержится «Физическая история растений по климатам...».

[3] Т.е. Линней.

[4] Немецкое издание книги голландского врача и естествоиспытателя: «Versuche mitden Pflanzen». Leipzig, 1780.

[5] Ср. Кн. Бытия. 1, 28.

[6] Кн. Бытия. 1, 24.

[7] Естествоиспытатель, географ в Брауншвейге, «Geographische Geschichte der Menschen und der allgemein verbreiteten vierfussigen Thiere».

[8] Т.е. Индийского океана.

[9] Унау – бесхвостый ленивец, живет в северной части Южной Африки.

[10] Протоплазма (от греч. protoplasis, protoplastos, у Гердера Hauptplasma) – собств. «первостроение». Т.е. материя, заключающая в себе изначальную силу творческого (пластического, от глагола plasso) акта и получившая или пластический (объемный, изваянный, скульптурный) вид или рельефный вид (как пишет выше Гердер) прототипа, модели-первообраза, формы всего будущего творения.

[11] *Гораций*. Сатиры, I 4, 62.

[12] Идея французского материалиста Ж.Б.Р.Робине (1735–1820).

[13] Разработанная греческим скульптором Поликлетом (V в. до н.э.) система идеальных пропорций человеческого тела.

[14] Кн. Бытия, 2, 19.

Книга третья

[1] А. фон Галлер – швейцарский врач и естествоиспытатель, поэт и романист; знаменитый ученый, многогранное влияние которого ощутимо в разных частях книги Гердера. «Elementa physiologiae corporis humani», t. VI, 1758.

[2] *Martinet J.-F.* Katechismus der Natur. Leipzig, 1779 (пер. с голл.).

[3] Манати – то же, что ламантин (из отряда китовых).

[4] Пипа – разновидность лягушки.

[5] Теория зародышей, или преформации, утверждала изначальное существование готовых форм организмов в зачатках живых существ. Ее сторонники – Галлер, Бонне, Спаланцани. Идея «предустановленной гармонии» Лейбница благоприятствует этой теории.

[6] «Опыт сравнительной анатомии» *(англ.)*.

[7] *Zimmermann E.A.W.* Beschreibung und Abbildung eines ungebornen Elefanten. Erlangen, 1783.

[8] Принятые до конца XVIII в. названия отделов мозга.

[9] Центр ощущения.

[10] *Reimarus H.S.* Allgemeine Betrachtungen über die Triebe der Thiere... Hamburd, 1760 (несколько переизданий, 4-е изд.– 1773; «Наблюдения над особыми инстинктами...» составляют 2-ую часть названного сочинения). Реймарус особо дорог Гердеру как противник религиозной ортодоксии (посмертная публикация Лессингом его так называемых «Фрагментов», 1774, 1778, вызвала бурю возмущения в лагере ортодоксии); именно поэтому Гердер вспоминает (ниже в тексте) книгу Реймаруса «Основные истины естественной религии» («Die vornehmsten Wahrheiten der natürlichen Religion. Hamburg, 1775; несколько переизданий). И.А.Г.Реймарус – его сын, врач в Гамбурге.

[11] Гердер называет ученых, занимавшихся энтомологией в XVII–XVIII вв.

[12] Таково картезианское понимание животного. Ламетри распространил этот принцип на человека.

[13] Perfektibilität, Corruptibilität – способность человеческой души к совершенствованию или к порче.

[14] Такова одна из античных этимологий греч. слова «человек». Ср. *Платон*. Кратил, 399 с. *(Платон*. Соч. Т. 1. М., 1968. С. 436–437). См. у Гердера также «Письма к поощрению гуманности», 28.

[15] В первом томе «Системы природы» в немецком переводе (Нюрнберг, 1773).

[16] Мартини – берлинский врач, переводчик значительной части «Естественной истории» Бюффона (примеры –в томе IV издания «Herrn von Buffons

Naturgeschichte der vierfüßigen Thiere», Bd. IV. Berlin, 1776). О детях, живущих среди животных, писал Руссо («О причинах и основаниях неравенства среди людей», 1755), П.Москати («О существенных физических различиях в строении животных и человека», нем. пер. 1771), Монбоддо («О происхождении и развитии языка», нем. пер. Рига, 1784). Гердер был инициатором перевода и издания последнего из названных авторов, написал предисловие к этой книге. Несколько позже об этой волновавшей современников теме писал гёттингенский естествоиспытатель И.Ф.Блуменбах.

[17] Описанные Диодором Сицилийским («Историческая библиотека», III) примитивные племена, обитавшие на пустынных берегах Красного моря.

Книга четвертая

[1]«Анатомия пигмея...» Эдварда Тайзона более точно называется: «Orang-Outang, sive Homo silvestris or: The Anatomy... London, 1699.

[2] Выдающийся голландский анатом. Он включил свою работу «Об органах речи обезьян» во второй том своих «Малых сочинений» (1785), посвятив его Гердеру.

[3] В 1784 г. Гёте открыл «межчелюстную кость» у человека; см.: *Канаев И.И.* Иоганн Вольфганг Гёте. М.–Л., 1964. Гл. 3, особ. с. 73–77 (связь с Гердером и книгой Кампера).

[4] Полный и краткий курс физиологии А. фон Галлера – «Elementa physiologiae corporis humani». Lausanne, 1757–1766, и «Primae lineae physiologiae». Göttingen, 1747, 2. Aufl., 1756.

[5] Медея, дочь колхидского царя, во время бегства из Колхиды с Ясоном и Золотым руном убила своего брата и разбрасывала части его тела, чтобы задержать преследователей.

[6] Гердер показывает ограниченность физиогномики, определявшей характер человека по чертам его лица, хотя в 1776 г. он положительно оценивал первый выпуск «Физиогномических фрагментов» И.К.Лафатера; Гердер написал даже несколько статей для 2-го и 3-го томов этого монументального собрания; к сожалению, количество и оригинальный вид статей Гердера остались неизвестными.

[7] Основное сочинение Галена (II в.) по физиологии – «О пользе частей человеческого тела» («Peri chreias ton en anthropoy somati morion»).

[8] Гельвеций в своем сочинении «Об уме» (1758) подчеркивал зависимость психических функций человека от его физической организации и особенно выделял значение руки.

[9] Английский философ Дж. Беркли в «Опыте о новой теории зрения» (1709) указал на взаимосвязь осязания и зрения. Беркли называет зрение языком бога. Гердер придает этой мысли иной смысл.

[10] Гердер имеет в виду распространенное определение музыки, которое Лейбницем формулируется так: «скрытый счет души, не сознающей, что она считает» (exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animae).

[11] А.Ф.В.Сак – представитель Просвещения в протестантской теологии: «Verteidigter Glaube der Christen» (8 частей). Берлин, 1748–1751.

[12] См. выше, прим. 2.

[13] Ср. Еванг. от Матф., 4, 4.

[14] Кн. Бытия, 1, 28.

[15] Полемика с французскими просветителями – Ламетри, Гельвецием, Гольбахом.

[16] Автор «Приключений Телемаха» (1699), проникнутой духом гуманности книги о воспитании идеального государя, назван как представитель утонченной культуры современности.

[17] Пешересы – старинное наименование обитателей Огненной Земли.

[18] *Плиний.* Ест. ист. VII, I.

[19] *Moscati P.* Vom körperlichen wesentlichen Unterschiede der Thiere und Menschen.

[20] Кн. Иова 39, 15, 17.

[21] Ср. Еванг. от Матф. 7, 12; Еванг. от Луки 6, 31.

[22] Так Цицерон («Тускуланские беседы». V 4, 10) пишет о Сократе.

[23] Возможно, Гердер имеет в виду приводимые Сенекой (ep. 107, 11) слова Эпиктета: «Судьба ведет добровольно идущего, тащит упрямого» (Ducunt volentem fata, nolentem trahunt).

[24] Ср. 1 Кор. 13, 9.

[25] Называя имя выдающегося швейцарского философа-естествоиспытателя, Гердер вспоминает мыслителя, чрезвычайно важного для формирования мировоззрения той эпохи. Вместе с тем здесь, в последнем параграфе IV книги, Гердер называет тему всей V книги – это «палингенесия», переход человека к иному, высшему состоянию, новое рождение его в смерти в процессе необходимого совершенствования. См.: *Pamp Friedhelm.* «Palingenesie» bei Charles Bonnet (1720–1793), Herder und Jean Paul. Zur Entwicklung des Palingenesiegedankens in der Schweiz, in Deutschland und in Frankreich. Diss., Münster, 1955.

Книга пятая

[1] Гердер имеет в виду работу Дж.Пристли «Исследование о материи и духе» (1777). См.: «Английские материалисты». Т. 3. М., 1968.

[2] Греч. «epigenesis» – букв, «прирастание». Эпигенез всегда противопоставлялся учению о преформации.

[3] Второзаконие 13, 23.

[4] Греч. hule – в философском употреблении «неоформленное вещество», «первоматерия».

[5] Аид, греч. Aides. Haides, «нижний мир», согласно традиционной этимологии – «невидимое» (ср. *Платон.* Кратил, 403 а; см. также: *Платон.* Соч. Т. 1. С. 441 и 566–567).

[6] В работах Ламетри, Гольбаха, Пристли.

[7] Семиотикой называлось учение о признаках (semeion) болезней.

[8] Так в греческой мифологии: Сон (Hypnos) – брат Смерти (thanatos).

[9] Не раз высказанная Лейбницем мысль (в сочинениях «Начала природы и благодати», опубл. 1717, «Монадология», опубл. 1720).

[10] Гердер цитирует (с некоторыми изменениями) одно из стихотворений немецкой поэтессы Анны-Луизы Карш.

Книга шестая

[1] *Теренций.* Heautontim («Самоистязатель»), I 25.

[2] *Engel S.* Mémoires géographiques sur l'Asie et Amérique, 1766 (немецкое исправленное изд.: «Geographische und kritische Nachrichten über die Lage von Asien und Amerika...», 1772).

[3] *Pagés.* Voyages autour du monde et vers les deux poles par terre et par mer, pendant les annees 1767–76, tt. 1–2. Paris, 1782.

[4] *Phipps M.J.* Reise nach dem Nordpol. Berlin, 1777; *Cranz D.* Historie von Grönland. Barby, 1765.

[5] *Ellis H.* Voyage to the Hudsons Bay... in the years 1746–1747; *Egede H.* Det gamle Grönlands Perlustration eller Naturel Historie. Kopenhagen, 1741 (немецкий перевод – Берлин, 1763); *Egede H.* Ausführliche und wahrhafte Nachricht vom Anfange und Fortgange der Grönländischen Mission. Hamburg, 1740; *Curtis R.* Nachricht von der Küste Labrador; немецкий перевод в изд.: «Beiträge zur Völker- und Länderkunde», hrsg. von J.R.Forster und M. Sprengel, Bd. I. Leipzig, 1781 (всего 14 выпусков, 1781–1790).

[6] *Wilson A.* Beobachtungen über den Einfluß des Klima auf Pflanzen und Thiere. Leipzig, 1781.

[7] *Hoegström P.* Beschreibung des schwedischen Lapplands. Stockholm und Leipzig, 1748; *Leem K.*. Beschreibung der Lappen in Finnmark..., 1746 (немецкий перевод–1774); *Klingstedt Th. von.* Memoire sur les Samojedes et les Lappons. Königsberg, 1762 (немецкий перевод – 1769); *Ceorgi I.C.* Beschreibung aller Nationen des russischen Reiches..., Bd. 1– 4. Petersburg, 1776.

[8] *Pallas P.S.* Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reichs, Bd. 1–3. Petersburg, 1771–1776; *Gmelin S.C.* Reisen durch Sibirien. Petersburg, 1742. Reisen durch Rußland in den Jahren 1768–1774, hrsg. von Pallas, Petersburg, 1770–1784.

[9] «Merkwürdigkeiten verschiedener unbekannter Völker des russischen Reichs». Frankfürt und Leipzig, 1777.

[10] *Pallas P.S.* Sammlungen historischer Nachrichten über die mongolischen Völkerschaften, Bd. I. Petersburg, 1776; *Müller G.F.* Sammlung russischer Geschichte, Bd. 1–10. Petersburg, 1732–1766.

[11] Т.е. нездорового, указывающего на дурное питание.

[12] «Всеобщее собрание путешествий» – переведенное с английского и изданное в 21 томе собрание «Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und zu Lande...» Leipzig, 1748–1774.

[13] *Pallas P.S.* Neue nordische Beyträge zur physikalischen und geographischen Erd- und Völkerbeschreibung, Naturgeschichte und Ökonomie, Bd. 1–7. Petersburg, 1781.

[14] «Арракан – царство в Индии по ту сторону Ганга... Его царю принадлежат теперь и царства Ава (там теперь столица) и Каор» (*Хюбнер,* 180).

[15] *Хюбнер,* 201: «Ава, Аба – царство между Гангом и Китаем...» *Хюбнер,* 1853: «Пегу, царство в северной части Индийского полуострова по ту сторону Ганга, граничит на севере с Брамой, на востоке с Тонкином, на юге с Сиамом, на западе с Мартабаном и Арракаоном».

[18] *Marsden W.* Natürliche und bürgerliche Beschreibung der Insel Sumatra in Ostindien. Leipzig, 1785.

[17] Так называли прежде предполагавшийся к северо-востоку от Японии большой материк; во времена Гердера – общее название расположенных там островов *(Хюбнер* 1204: Йесссо или Йедзо).

[18] *Ellis W.* Dritte und letzte Reise der Kapitäne Cooke und Clarke in den Jahren 1776–1780. Frankfurt und Leipzig, 1783; *Forster J.R.* Tagebuch einer Entdeckungsreise nach der Södsee in den fahren 1776–1780 unter Anführung der Capitäne Cook, Clerke, Gore und King. Leipzig, 1781.

[19] Т.е. в «Beyträge zur Völker- und Länderkunde» И.Р.Форстера и М.К.Шпренгеля (Лейпциг, 1781–1790, 14 выпусков).

[20] Антропологическую коллекцию, букв. – собрание колосков.

[21] Лондон, 1782.

[22] Амстердам, 1711.

[23] *Brun C. le (Bruyn).* Voyage par la Moscovie en Perse et aux Indes orientales, tt. 1–2, 1718 (голл. изд.–1711).

[24] *Brun C. le.* Voyage au Levant et dans les principales parties de l'Asie Mineure, 1700 (голл. изд.– 1698).

[25] *Niebuhr Carsten.* Reisebeschreibung nach Arabien und andern umliegenden Ländern, Bd. 1–2. Kopenhagen, 1774–1778.

[26] *Choiseul-Gouffier M.-G.* Voyage pittoresque de la Grèce, tt. 1–3, 1780.

[27] Париж и Гаага, 1728. Имеется в виду переведенное с португальского сочинение миссионера Х. Лобу «Voyage historique d'Abissinie».

[28] Франкфурт, 1681 (с комментарием и приложениями, изданными в 1691–1694 гг.).

[29] *Hoest G.* Nachrichten von Marokko und Fes... Kopenhagen, 1781 (перевод с датского).

[30] Джалоферы (вулуфы) –народы Сенегала *(Хюбнер,* 1191).

[31] *Sparrmann A.* Reisen in Afrika, vom Vorgebirge der Guten Hoffnung aus landwärts... Berlin, 1783 (перевод со шведского).

[32] *Oldendorp G.A.* Geschichte der Mission der evangelischen Brüder auf den Karaibischen Inseln S. Thomas., S. Croix und S. Jan... Bd. 1–2. Barby, 1777.

[33] Народы, жившие в нижнем течении р. Конго.

[34] *Proyart L.-B.* Geschichte von Loango, Kakongo und andern Königreichen in Afrika... Leipzig, 1777.

[35] «Göttingisches Magazin der Wissenschaften und Litteratur» – издававшийся выдающимся немецким просветителем Г.К.Лихтенбергом (а также Г.Форстером) журнал (выходил в 1780, 1781, 1783 гг.).

[36] К.Д.Эбелингом издавалось собрание путешествий: «Neue Sammlung von Reisebeschreibungen», Bd. 1–10. Hamburg, 1780–1790.

[37] История кругосветных путешествий англичан в немецком переводе: «Historischer Bericht von den sämtlichen durch Engländer geschehenen Reisen um die Welt», Bd. 1–6. Leipzig, 1775–1780.

[38] Марианские острова.

[39] Т.е. Австралия.

[40] См. прим. 17 к кн. I.

[41] Э.Лаксман путешествовал в это время по северу Сибири.

[42] *Adair J.* Geschichte der amerikanischen Indianer. Breslau, 1782 (перевод с английского).

[43] *Timberlake H.* The Memoire etc... London, 1766.

[44] «История Мексики в древности» С. Клавихеро.

[45] Включает северную часть Южной Америки и Панамский перешеек *(Хюбнер,* 1548–1549).

[46] *Fermin Ph.* Beschreibung von Surinam. Berlin, 1775.

[47] Путешественники и географы: Ж. де Лери и Г. Марггграф – исследователи Бразилии (их описания вышли в свет соответственно в 1580 и 1648 гг.). Сочинения д'Акуньи и Кондамина были известны Гердеру по 15 и 16 тт. «Allgemeine Geschichte der Reisen».

[48] *Dobritzhofer M.* Geschichte der Abiponer. Wien, 1783 (перевод с латинского); *Gumilla.* El Orenoco illustrado y defendido... Madrid, 1745. Гердер знал также и французское издание 1758 г.

[49] *Robertson W.* Geschichte von Amerika, Bd. 1–2. Leipzig, 1777 (английское издание –1776).

[50] *Falkner Th.* Beschreibung von Patagonien und den angrenzenden Theilen von Südamerika. Gotha. 1775; *Vidaure.* Geschichte des Königreichs Chili (перевод с итальянского).

[51] «Путешествия» Форстера – написанное Г. Форстером по-английски (ср. прим. 17 к кн. I), а затем переведенное им на немецкий язык (Берлин, 1780–1784) описание путешествия вокруг света–«Reise um die Welt, während der Jahren 1772 bis 1775...».

[52] Т. Кевендиш – в т. I собрания «Historischer Bericht...» (см. прим. 37); *Bougainville L.-A. de.* Voyage autour du monde. Paris, 1771.

[53] *Marion-Dufresne N.-Th.* Nouveau voyage à la mer du Sud. Paris, 1783. Марион был убит туземцами на одном из островов Тихого океана.

Книга седьмая

[1] Templa – места в Риме, выбранные для аусписций, гаданий по полету птиц.

[2] Такой расчет поражал воображение современников и, в частности, вдохновлял сатирическую фантазию Жан-Поля (1763–1825).

[3] *Sonnerat P.* Voyage aux Indes orientales et la Chine... Paris, 1782 (нем. пер.– 1783); *Flacourt E. de.* Histoire de la grande isle de Madagascar. Paris, 1658. Гейне – выдающийся гёттингенский филолог-классик; см. прим. 6 к кн. XIII.

[4] Малликолезцы – жители о. Малликоло (Новые Гебриды); певы – индейское племя Амазонки; амикуаны – индейское племя, жившее на острове посреди Гуронского озера.

[5] Понго – орангутан, или горилла.

[6] «Tagebuch eines neuen Reisenden nach Asien», hrsg. von H.A. von Reichard. Leipzig, 1784.

[7] Рассказ о 20-летнем татарском пленении: *Opitz G.* Merkwürdige Nachrichten von seinem Leben und zwanzigjähriger Gefangenschaft, die er unter den Kalmücken erduldet. Breslau und Leipzig, 1748–1752.

[8] «Nachricht von der amerikanischen Halbinsel Kalifornien». Mannheim, 1772, – изданное без указания автора сочинение миссионера Якоба Беггерта.

[9] Немецкое издание – Лейпциг, 1785 («Des Herrn Mackintoshs Reisen...»).

[10] *Römer L.F.* Nachrichten von der Küste Guinea. Kopenhagen, 1769.

[11] См. прим. 53 к кн. VI.

[12] «Рассуждение о причинах и основаниях неравенства среди людей» (1775).

[13] *Brugmans A.* Philosophische Versuche über die magnetische Materie... Leipzig, 1784 (перевод с латинского).

[14] Греч, clima – наклонность, особо – наклонение Земли к полюсу.

[15] А.Г.Кёстнер – гёттингенский физик, математик, поэт, писатель («Erläuterung der Halleyischen Methode, die Wärme zu berechnen»).

[16] *Crell L.T. von.* Versuche über das Vermögen der Pflanzen und Thiere, Wärme zu erzeugen und zu vernichten. Helmstedt, 1778; *Crawford A.* Versuche über das Vermögen der Thiere, Kälte hervorzubrigen. Leipzig, 1785 (отдельное издание немецкого перевода).

[17] *Gaubius H.D.* Institutiones pathologiae medicinalis, 1758.

[18] Наряду с Гиппократом, работы Монтескье («Дух законов», 1748) и некоторых его последователей послужили основой для самостоятельно и глубоко развитой Гердером теории о роли климата в истории человечества. Гердер ссылается на изд.: *Castilhon J.-L.* Physikalische und moralische Ursachen des verschiedenen Genius der Sitten und Regierungsformen. Leipzig, 1770 (перевод с французского); *Falconer W.* Bemerkungen über den Einfluß des Himmelstrichs, der Lage... Leipzig, 1782 (перевод с английского).

[19] «Дух народов» – изданное анонимное двухтомное сочинение аббата д'Эспиара (Гаага, 1752), «Физика истории» – анонимное сочинение аббата Т.Ж.Пишона (Гаага, Париж, 1765).

[20] На примере замерзающего и оттаивающего бараньего языка Монтескье доказывал, что холод придает организму физическую, а стало быть, и духовную энергию, и делал на этом основании далеко идущие выводы о характере различных народов.

[21] Греч. miasma – осквернение, зараза.

[22] *Gmelin J.F.* Über die neuern Entdeckungen in der Lehre von der Luft und deren Anwendung auf Arzneikunst. Berlin, 1784.

[23] «О воздухе, воде, местности» (Peri aeron hydaton topon) (у Гердера два последних слова заглавия книги Гиппократа переставлены).

[24] Т.е. Америка.

[25] Здесь, возможно, «маленький остров между Вайгачем и Новой Землей» (*Хюбнер,* 1683).

[26] «De dignitate et aegmentis scientiarum» («О достоинстве и о преуспеянии наук», (1623) – латинская работа Фрэнсиса Бэкона.

[27] «О зачатии живых существ» (1751); *Вольф К. Ф.* «Теория зарождения» (1759; немецкий перевод – 1764). См. русское изд.: М., 1950.

[28] «Über die körperliche Vershiedenheit des Mohren vom Europäer» (другое изд.– Франкфурт, 1785).

[29] См. русское изд.: *Дюрер А.* Дневники, письма, трактаты. Л.– М., 1957.

[30] Греч. ethos – нрав; techne – умение, искусство, художество. О физиогномике см. прим. 6 к кн. IV. В одном из набросков к этому месту Гердер писал: «Жаль, что мало разработаны такие основания физиогномики; лишь благодаря им она могла бы стать естественной наукой; взгляды Лафатера, словно гения среди людей, как бы непосредственно проникли за внешнюю оболочку, он глубоко читал в душе, на основе незначительных черточек, – не каждый так сумеет. Художник, будь он к тому же еще врач и физиолог, в результате таких многократных обмеров физических пропорций тела пришел бы к самым твердым и красноречивым отношениям – к тем отношениям, что устанавливали основные, немногочисленные формы строения человека, этой самой искусной колонны, созданной Природой».

[31] Патогномика – учение о свойствах каждой болезни (греч. pathos); семиотика – учение о внешних признаках (semeion) болезней.

[32] *Metzger J.D.* Vermischte medizinische Schriften, Bd. 1–3, 1781–1784; *Platner E.* Anthropologie für Ärtze und Weltweise. Leipzig, 1772 и многие другие его сочинения.

[33] Так называет Гердер изданную в Гёттингене, в 11 тт., «Sammlung neuer und merkwürdiger Reisen zu Wasser und zu Lande», 1750–1764.

[34] «Берлинские собрания» – «Berlinische Sammlungen zur Beförderung der Arzneiwissenschaft, der Naturgeschichte, der Haushaltungskunst, Kameralwissenschaft und der darin einschlagenden Literatur», hrsg. von F.H.W.Martini, Bd. 1–10, 1768–1771, 1777, 1779.

Книга восьмая

[1] Диодор Сицилийский (III, 18) пишет об ихтиофагах – «людях без чувства, не знающих жажды и боли». В предисловии к книге Монбоддо (см. прим. 16 к кн. III) Гердер называет рассказ Диодора истинным, хотя и преувеличенным.

[2] «Волуспа» («Прорицание пророчицы») – песня о происхождении и грядущей гибели мира, которой открывается скандинавская «Эдда» (см. «Старшая Эдда», пер. А.И.Корсуна. М.–Л., 1963).

[3] Сообщения о камчадалах были известны Гердеру по 20-му т. «Allgemeine Historie der Reisen...».

[4] Л.Ф.Рёмер, В.Боссман («Reise nach Guinea...», 1708), В.И.Мюллер («Die afrikanische, auf der guinesischen Goldküste gelegene, Landschaft Fetu...», 1673) – писавшие о Гвинее авторы.

[5] Авторы работ о народностях Америки: Ж.Ф.Лафито («Moeurs des sauvages Ameriquains...». Paris, 1724), Ж.Л.Лебо («Ses aventures en Voyage curieux et nouveau...», 1738, немецкий перевод–1751), Дж.Карвер («Reisen durch die inneren Gegenden von Nord-Amerika» в 1-ом томе «Neue Sammlungen von Reisebeschreibungen»).

[6] *Baldeus.* Wahrhaftige und ausführliche Beschreibung der berühmten ostindischen Küste... Amsterdam. 1672 (перевод с голландского); *Dow A.* Abhandlungen zur Erläuterung der Geschichte, Religion und Staatsverfassung von Hindustan. Leipzig, 1773 (перевод с английского); *Halwell J.Z.* Nachrichten von Hindostan und Bengalen. Leipzig, 1778 (перевод с английского).

[7] Государство на территории современного Бенина.

[8] Жителей Марианских островов.

[9] В европейской литературе XVII–XVIII вв. остается необычайно живым утопическое и мифологическое представление об островах, живущих райской жизнью; особенно часто изображали таким земным раем остров Таити (см.: *Brunner Horst.* Die poetische Insel. Stuttgart, 1967); у Гердера неоднократно слышны отзвуки этого мифа, блекнущего по мере завершения эпохи географических открытий.

[10] Легуан, игуан – съедобная лягушка; армадилл – снабженный панцирем тапир.

[11] Ср. *Гораций,* Оды I 16, 13–16:

Ведь Прометей, лепя человечий род,
С людскою глиной глину звериную
Смешал, и в недра нашей груди
Злобы вложил и безумья львиных.
(Пер. А.Семенова-Тян-Шанского).

[12] Аи – ленивец, живущий в Бразилии; что за животное имеет в виду Гердер под «кики» и «паги», не знает ни один комментатор.

[13] Полемика с Т.Гоббсом, которая задела Канта.

[14] «Война всех против всех» *(Гоббс.* О гражданине, 1646, гл. 1).

[15] Гердер ссылается здесь на изданное им собрание «Народных песен» (1778); он указывает на литовскую «Прощальную песнь девушки», эстонские и греческие «Свадебные песни».

[16] Из книги Джонатана Карвера «Путешествие во внутренние области Северной Америки» (немецкий перевод – 1780). Два отрывка из этой книги Гердер цитирует также и в 6-м выпуске своих «Рассеянных листков» (1797), откуда и Шиллер почерпнул тему своего «Надовесского похоронного плача» (1797).

[17] Слова Эпихарма (VI–V вв. до н.э.).

[18] Индийские племена.

[19] Малазийское племя.

Книга девятая

[1] Ср. прим. 7 к кн. III. Гердер пытается встать над богословскими взглядами на природу человека, опираясь на свою физиолого-генетическую теорию становления человека.

[2] Арабский философ Аверроэс (1126–1198) был известен Гердеру в первую очередь из традиции его критики в христианской философии.

[3] Согласно этимологии латинского слова.

[4] Ср. отраженное позднее и у Гёте *(Гёте И.В.* Избр. филос. произв. М., 1964. С. 131, 499) учение Плотина (Enn. I 6, 9) о «солнцевидном» (helioeides) глазе.

[5] Словом «эон» Гердер здесь и во многих других случаях обозначает огромные периоды в истории Земли или человечества, эпохи космического масштаба, заключенные между переворотами (Umwälzungen), или революциями (Revolutionen), мира; как индивидуальная душа переходит в смерти в иное, высшее состояние, так, очевидно, и мир, претерпевая гибель, обретает новый, высший свой облик. И слово «эон» (греч. aiōn, вечно сущее), и представление о периодических переворотах восходит к античности *(Платон.* Политик. С. 269–273; см. *Платон.* Соч. Т. 3. Ч. 2. М., 1972. С. 27–32). Слово «революция», которым пользуется Гердер, лишено политического смысла; оно в соответствии с лат. revolutio заключает в себе 1) астрономическое значение, 2) относится к истории природы Земли как космического тела, 3) затрагивает историю человечества в той мере, в какой жизнь на Земле зависит от космических кругооборотов. См. пространное рассуждение Гердера на эту тему в издании Зупхана (XIV, 648–649).

[6] У Гердера здесь стоит слово Charakter (подразумевается греч. charactēr). Это слово, как и другие, близкие к нему по значению (Typen, Merkmale, Ideenzeichen, Denkmale, Hieroglyphen, Symbol, Ziffern и мн. др.), образуют тут у Гердера хорошо разработанную картину объективных знаков-отпечатков, «черточек», букв (характеров), загадочным, но надежным образом запечатляющих и порождающих смысл.

[7] «Расчет» – в семантическом кругу греч. logos и лат. ratio.

[8] Гердер имеет в виду языковедческие занятия Лейбница – его идею универсального языка и этимологические штудии.

[9] «Книга Евангелий» (ок. 865 г.) Отфрида из Вейссенбурга относится к самым ранним памятникам немецкого языка.

[10] Приводим два черновых фрагмента девятой книги, опущенные и замененные Гердером при публикации по цензурным соображениям. В скобках дается текст, вычеркнутый автором.

Формы правления – это созданные людьми механизмы (опеки), обычно переходящие по традиции

Природа деспотизма, вообще говоря, разбойничья и нищенская; ему хочется иметь все, но у него нет ничего, и, поскольку он не знает законов внутри себя, то он грабит, а его обирают другие...

(Конечно, ни одно деспотическое государство не просвещает и не воспитывает по доброй воле своих закабаленных подданных; да и как может оно просвещать – оно ведь само чуждо просвещения и поступает против всякого правила. Вы хотите взглянуть на статью государственных доходов? Доходы были, а статьи нет. Вы хотите составить свое мнение о расходах? Деспот сам не составил о них суждения и не позволит вам обсуждать свою безрассудность...)

Конечно же, тут мало утешительного, если бы не было иного выхода. Деспотизм грабит, а другие его обирают. Следовательно, надо ухитриться избежать грабежа или же самому заняться грабежом – грабить для него, то есть для себя самого; третьего способа не дано, а тем двум верноподданные деспотических государств следуют неукоснительно. Еще хуже, если, укладываясь на усеянную шипами подушечку традиции, мы будем воображать, что нас колют розы; ведь если наши предки, исходя из добрых намерений, поставили над нами опекунов, то одна-единственная оговорка – опека будет продолжаться вечно – отменяет как добрые намерения, так и наши обязательства. Лишь-слабый добровольно наденет на себя цепи и лишь слабоумный подпишет договор о наследовании, согласно которому он и его потомки принесут в жертву самодержцу и разум и права человечества.

Каждое государство как таковое – машина, а машина лишена разума, если даже своим устройством его и напоминает. Кто ждет просвещения от государства как такового, а культуры и счастья от публики или даже правителя, тот говорит, с моей точки зрения, вещи непонятные. Государство, взятое как целое, – это абстрактное понятие, оно не видит и не слышит, публика как таковая – пустое слово, а слово не может быть ни умным, ни глупым; отдельные люди среди публики и в государстве – вот кто видит, слышит, трудится, просвещает, просвещается. Если правитель такой человек – это похвально, мы ценим его за его человеческие добродетели. Если же он человек не такой, то он остается правителем, частью машины. Наши предки и видели в нем часть машины, когда доверили ему и его потомкам право передавать по наследству его положение; так и мы должны смотреть на правителя, если говорим о нем как о правителе.

Личность первого избранного правителя была отвлеченным знаком, который должен был представлять целый народ; почести, которыми окружали его, служили знаками достоинства, и благодаря им становилась внешне заметной та идея государственной машины, которую представлял наследный правитель. Философ поступает неразумно, когда в двадцатом поколении пытается исследовать правильность сделанного предками выбора, – ведь поколениями управляла судьба; интерес же всякого члена государства требует способствовать тому, чтобы машина терпела наименьший урон даже в том случае, когда во главе ее стоит самый дурной правитель. Но и у самого дурного остаются знаки почестей (корона), он стоит во главе (знак) и не лишен прежнего значения. Таков, как представляется мне, единственный способ сказать что-либо общее о формах правления и как происхождение, так и цели их изложить более или менее достойно самого человечества, тогда в наших руках оказывается мера

совершенства для исследования внутреннего строя различных государств независимо от преходящих личных заслуг правителей.

...Но разве не видели вы, добрейшие праотцы, на какой риск идете, превращая корону в знак высшей власти? Вы видели, что венец не дарует ни добродетелей, ни талантов, но вот что он породит притязания, обманчивым блеском ослепит ваших потомков, этого нельзя избежать. Установления людей хороши, но разве не видели вы, что с каждым ограничением отмирают какие-то силы и что всякое новое сословие – словно мумия в саркофаге, только такая, что один член тела у каждой здесь трудится. В машине государства философ мыслит, писарь пишет, поселянин пашет, правитель раздает титулы и подписывает свое имя – и ничего более; государство в целом требовало такого механизма, если механизм должен был быть искусным. Поэтому никак нельзя было избежать вечного столкновения сил живых и мертвых, сил человеческих и сил государства, ведь государство по сути своей основывается на жертве, ведущей к такому противоречию. Но вы сделали, что могли, и время, неутомимое, все переменяющее, срывает один за другим покровы даже и с самой искусно построенной государственной машины, чтобы показать обманутым смертным, что не дело людей строить на земле вечные здания и что даже самая искусная механическая кукла все же сделана из дерева и железа. Сословия перемешиваются, правители сходят со своих тронов и являются без знаков почестей, так что всякий человек, даже если он и очень обманут видимостью, в конце концов поймет, что правитель – не бог, и что если он, подданный, делает что-то для государства как машины, то он и получает за это сообразные машине дары, титулы, защиту, жалованье. Только глупец потребует от машины человеческого блага и даров просвещения, счастья и покоя, заслуг и достоинства.

Формы правления – это установленные людьми формы строя (притязающие на то, чтобы опекать людей), обычно переходящие по традиции

Я не хотел бы, чтобы даже одну из этих строк приписали накопившемуся в сердце гневу, – у меня нет причин испытывать такое чувство. С большей радостью обрисовал бы я иные результаты истории, будь то возможно! Я пользуюсь лишь словом «деспотизм» – оно подобает не только монархии, но и всем формам правления, если ими злоупотребляют и дурно пользуются. Мои принципы относятся лишь к той грани, где кончаются склонность, долг, должность, благополучие общества и где их место занимает безудержный произвол со всеми сопровождающими его страстями и фантомами. Эта выбранная мною точка зрения уносит меня за пределы Европы, потому что отношения европейских государств устроены сложнейшим образом и почти лишают нас свободы взгляда, если рассматривать только их; дело в том, что цепь традиции связала их как нельзя более тонко и прочно, эту цепь по необходимости влачит и самый трусливый тиран, и самый дерзкий государь, если они только исполняют свою почетную должность. Но Европа – это еще не целый свет, и потребности ее форм правления – еще не история и не цель человечества. Итак, со всей свободой иду вперед...

Наконец догадались, что множество механизмов (в них, как в троянском коне, сидят герои мира и сражаются ради завоевания мира) будут поддерживать друг друга и, безжизненные, все же обретут бессмертие, – величайший в истории

пример этого представляет Европа. Однако древнее время мощно свидетельствует против такой вечности машины страницами истории. И этим машинам тоже подойдет конец, как всему, и уже теперь они явно носят в себе причины своего падения. Счастье, что человечество и государство – разные вещи; как раз человечество должно пройти сквозь все возможные формы, – по неотменимым законам природы за утомительным днем следует ночь, так и человечество вновь приходит в себя после тягостного гнета. И способствуют тому не правители и не искусство людей, а природа, которая при этом пользуется правителями и искусствами.

Смиренный мой голос слишком слаб, чтобы обращаться к владыкам мира; большинство их – даже и на германских тронах – не понимает варварского языка, на котором я пишу (они все равно французы и презирают мой язык); но к человеку я могу обращаться, в каком бы государстве он ни жил, к какому бы сословию ни принадлежал, – ведь я пишу об его истории. Я обращаюсь к нему: «От подданного, чиновника, деспота всегда отличай человека!». Только раб может думать, что человек – животное, нуждающееся в господине. Обратим это суждение: все решения души, вся благородная деятельность воли – все принадлежит самому человеку, а не принадлежит только тогда, когда есть у него потребность в господине. Возможно, что государство нуждается в правителе, его помощниках, войско – в вожде, народ – в повелителе, но только дурной врач будет лечить так, чтобы больной не мог обходиться без него. Это так! Дурной симптом, если формы правления довели бóльшую часть человечества до того, что она более чем когда-либо нуждается в правлении. Не будь среди этого большинства, но если ты должен, служи государству, а если можешь, то способствуй делу свободы, просвещения, счастья человечества, служи человечеству. Лучший правитель, лучший из государственных мужей всегда служил человечеству и радовался, если мог освободиться от цепи, к которой приковали его обычай и традиция государственного строя. Тем ярче сияет имя каждого, кто в государстве (как бы просто в ограждении) опекал угнетенное и ослепленное человечество. О, сколько еще надо воспитывать его, чтобы оказаться там, где был он в самом начале, то есть стать справедливыми дикарями, но поскольку при теперешних средствах культуры, недаром данных нам провидением, возвращаться назад – цель несообразная и по сути дела недостижимая, – пользуйся средствами к устранению причиненного ими вреда, а провидение позаботится об остальном... Ведь все христианские государи подписываются: «милостью божией». Итак, мы вместе с ними бросились в объятья судьбы, чтобы она миловала и карала нас – через их посредство. Высокая судьба идет своим путем, а поскольку благотворные перемены в мире редко производятся с высоты тронов, давайте будем ее руками и исполним все то, чего не сделали государи, будем воспитателями человечества и к непрерывной цепи традиции прибавим лишь все благородное и доброе. Лишь это достойно человечества, лишь в этом бессмертие.

Вообще можно считать принципом истории: не покорить тот народ, который не желает покоряться... Но вот что не искупить никакими слезами – народ, привыкший нести ярмо рабства и делить злосчастную добычу поработителя, этот народ редко поднимается из глубины своего падения. Роскошь и нищета, дерзновение и раболепство сменяют друг друга, мозг костей народа попран, благородный дух, верное сердце против воли приучились лгать. Довольно, Бог предоставил людям решать, как устроят они

свое гражданское общежитие, – люди созданы для общества и в нем цветет нежнейший цвет человеческого рода: устроят они его хорошо – дети и дети детей будут наслаждаться его строем, устроят дурно – и сами понесут на себе его бремя. Необходимым образом открылось тут перед людьми после того, что совершилось впоследствии на Земле и что явит ход нашего рассмотрения, – но только от нас зависит, чтобы многое стало лучше. Правда, мы влачим цепь, составленную долгими веками, традицией, так что я боюсь, что уже сказанным задал неразрешимую загадку многим читателям. Но человечество вечно молодо в своих правах и обязанностях, оно обновляется в своих членах, скидывает старые предрассудки и даже против воли учится разуму и истине.

[11] Еванг. от Матф. 25, 29.

[12] Нимрод (Кн. Бытия, 10, 8–10) – «сильный зверолов пред Господом... Царство его составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне...»

[13] Ср. Кн. пророка Даниила 7, 4–6; Откр. 13, 1–3.

[14] Давид.

[15] I Паралип. 21,13.

[16] *Диодор* III 18; *Плиний*. Ест. ист. VII 2.

Книга десятая

[1] Работа К. Ф. фон Ирвинга (Versuch über den Ursprung der Erkenntnis der Wahrheit und der Wissenschaften).

[2] Кн. Бытия 1, 27.

[3] Речь, произнесенная Палласом в 1777 г. в Петербургской академии наук и напечатанная тогда же на французском языке «Observations sur la formation des montagnes et les changements arrives au globe, particulierement á l'egard de l'empire russe». Немецкий перевод–1778.

[4] К.В.Бюттнер, проф. Гёттингенского университета, с 1783 г. живший в Веймаре, занимался сравнительным изучением языков; его работа «Prodromus linguarum» осталась в рукописи.

[5] Бирма.

[6] «Vergleichungstafeln der Schriftarten verschiedener Völker in den vergangenen und gegenwärtigen Zeiten» von Chr. W.Büttner.

[7] *Goguet A- I.* Vom Ursprung der Gesetze, Künste und Wissenschaften.

[8] *Bailly J.-S.* Geschichte von Sternenkunde des Altertums.

[9] «Шу-цзин» в издании Дегиня; перевод и примечания миссионера Гобила.

[10] И. Анкетиль Дюперрон издал религиозные книги парсов в Париже в 1771 г. (3 тт. – «Zend-Avesta. Ouvrage de Zoroastre...»). В немецком переводе историка религии и философа И.Ф.Клейкера «Зенд-Авеста» вышла в Риге в 1776–1778 гг., с приложением (1781–1783). Гердер на основании издания Клейкера написал свою книгу «Объяс нения к Новому Завету по новооткрытой книге из Передней Азии» («Erläuterungen des Neuen Testaments aus einer neueröffneten morgenländischen Quelle». Riga, 1775).

[11] Санхониатон – мифический составитель финикийской истории, будто бы живший во времена Семирамиды и Троянской войны.

[12] Гердер пользуется гипотезами П.С.Палласа.

[13] Элохим – бог, или, по Гердеру, «животворящий дух» (Кн. Бытия 1, 1: «Дух божий летал над водами»); это слово стоит во множественном числе – так наз.

pluralis majestatis, множественное величие. По Р.Гайму *(Haym R.* Herder. Berlin, 1958, Bd. II. S. 254), это место содержит единственное «чудо» во всей книге Гердера.

[14] Гердер называет здесь свою работу – «Älteste Urkunde des Menschergeschlechts» (2 тт., Рига, 1774–1776). Соответствующие разделы «Идей», толкующие первые главы Книги Бытия, оказываются в кругу посвященных (целиком или частично) библейской экзегезе трудов Гердера, таких, как названный «Древнейший документ», «О духе еврейской поэзии» (1783), «Мараната, книга о пришествии господа...» (1779 – толкование Апокалипсиса), «Объяснения к Новому Завету...» (1775), «Письма об изучении богословия» (1780–1781) и др. Кант в ответ на эти разделы «Идей» написал свою статью «Предположительное начало человеческого рода» (1786).

[15] Т.е. картины библейской.

[16] Автором первых пяти книг Библии («Пятикнижие») считали Моисея.

[17] Т.е. Книга Бытия.

[18] Кн. Бытия 2, 11.

[19] Кн. Бытия 2, 13.

[20] Катай – принятое в Европе в XIII–XVII вв. название Китая.

[21] Кн. Бытия 2, 14.

[22] В «Allgemeine Historie der Reisen...», Bd. XI. S. 216. *(Штольпе).*

[23] *Eichhorn J.G.* Einleitung ins Alte Testament, Bd. 2. Leipzig, 1781.

[24] Кн. Бытия, 9, 27: «Да распространит Бог Иафета...»

Книга одиннадцатая

[1] *Плиний.* Ест. ист., предисловие, 15.

[2] «Magazin für die neue Historie und Geographie», Bd. 1–23. Hamburg, 1767–1771; Halle, 1773.– *Hermann Fr.* Beiträge zur Physik.

[3] Изданные католическими миссионерами в Китае «Записки об истории, науках, искусствах, нравах, обычаях китайцев» (выходили начиная с 1776 г.).

[4] *Noel F.* Sinensis imperii libri classici. Prag, 1711; Купле издал каталог относящихся к Китаю книг (Париж, 1686).

[5] 13 тт. Париж, 1777–1785.

[6] *Schlözer A.L.* Briefwechsel meist historichen und politischen Inhalts, Bd. 1–10. Göttingen, 1778–1782.

[7] *Гесиод.* Труды и дни, ст. 40.

[8] *Dow A.* History of Hindustan, translated from the Persian, to which are prefixed two dissertations. Vol. 1–2. London, 1768. Немецкое издание – 3 тт., 1772–1774.

[9] *Ross A.* A view of all religions. London, 1658.

[10] *Ziegenbalg Bartholomäus.* Neuere Geschichte der evangelischen Missionsanstalten zu Bekehrung der Heiden in Ostindien. Halle, 1710.

[11] Les lettres édifiantes et curieuses écrites des Missions etrangéres par missionaires de la Compagnie de Jesus, tt. 1–6. Paris, 1717–1728.

[12] Париж, 1779. Немецкий перевод – в «Neue Sammlungen von Reisebeschreibungen», Bd. 2, 4.

[13] Лондон, 1776.

[14] Нужно, однако, принять во внимание, что идея метемпсихоза обсуждалась и просветителями – см., напр., §§ 94–100 «Воспитания рода человеческого» Г. Э. Лессинга (1780), написанный в продолжение Лессинга диалог «О

метемпсихозе» (1781) Иоганна Георга Шлоссера (1739–1799). Ср.: *Haym R.* Herder. Berlin, 1958, Bd. II. S. 625. См. также: *Walch J.C.* Philosophisches Lexicon, 2. Aufl. Leipzig, 1733. Sp. 2355–2356. Более общая идея «палингенесии» (греч. palingenesia – возрождение), близкая Гердеру, Жан-Полю, предполагающая восходящий ряд «перерождений» индивида, подробно обсуждается в диссертации Ф.Пампа (см. прим. 25 к кн. IV). См. также раздел «Гердер и идея палингенесии» в кн.: *Unger R.* Herder, Novalis und Kleist. Frankfurt, 1922 (Darmstadt, 1968). S. 1–23.

[15] *Pauw C. de.* Réflexions philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois. Berlin, 1773; *Delisle de Sales.* Histoire philosophique du monde primitif, tt. 1–3. Paris, 1779.

[16] Т.е. первозданной Земли.

Книга двенадцатая

[1] Бел, Ваал – легендарный основатель Вавилона; стены и висячие сады Вавилона причислялись в древности к семи чудесам света.

[2] *Gatterer J.G.* Kurzer Begriff der Weltgeschichte. Гердер неоднократно ссылается на наиболее известную книгу гёттингенского профессора – «Einleting zur synchronistischen. Üniversalhistorie». Göttingen, 1771.

[3] «Neue Erdbeschreibung», Tle 1 –11. Hamburg, 1754–1792. Монументальный труд немецкого географа.

[4] Аристотель о Вавилоне – Политика III 3 (1276а). Гердер не совсем точен.

[5] «Repertorium für biblische und morgenländische Literatur», hrsg. von J.G.Eichhorn. Tle 1–18. Leipzig, 1777–1786.

[6] *Valle Pietro della.* Viaggi descritti in letteri familiari... Roma, 1650–1653 (нем. пер.– 4 тт., Женева, 1674); *Niebuhr C.* Reisebeschreibung nach Arabien... Bd. 2. S. 287–288 *(Штольне).*

[7] *Eichhorn I.G.* Geschichte des ostindischen Handels vor Mohammed. Gotha, 1775.

[8] Идея «воспитания государя» близка европейскому Просвещению: возникает целый ряд «княжеских зерцал» в подражание Ксенофонтову «Воспитанию Кира» – от «Приключений Телемаха» Фенелона (1651–1715) до «Узонга» (1775) знаменитого ученого и поэта А. фон Галлера или «Золотого зерцала» (1772) К.М.Виланда (1733–1813).

[9] Дария III (336–331).

[10] Манефон из Себеннита, египетский жрец в Гелиополе, автор написанной по-гречески (ок. 280 г. до н.э.) истории Египта, сохранившейся фрагментарно и использованной иудейскими и поздними греческими историками.

[11] Авраам.

[12] Иосиф.

[13] Моисей. Характеризуя Моисея и его закон, Гердер пользовался книгой известного ориенталиста Й.Д.Михаэлиса «Закон Моисея», 6 т. Франкфурт, 1770–1775 *(Штольне).*

[14] Второзаконие 34, 1–4.

[15] Иисус Навин.

[16] Кн. Иисуса Навина 13, 14. 33; 21.

[17] Кн. Иисуса Навина 19, 40–48.

[18] Книга Гердера «Vom Geist der Ebräischen Poesie», Tle 1–2. Dessau, 1782–1783.

[19] Соломон (965–928) –третий после Саула (1020–965) и Давида (1004–965).

[20] Т.е. с Иудеей.

[21] Навуходоносор II, захвативший Иерусалим в 597 г. См. 4 Кн. Царств 24, 1; 25, 8–10; 2 Кн. Паралип. 36, 17–20.

[22] 2 Кн. Паралип. 36, 22–23; Кн. Ездры 1–2.

[23] 70 г. н.э.

[24] Тит, будущий император.

[25] Кн. пророка Даниила 7.

[26] Кн. Иисуса Навина 10, 12.

[27] Из современных Гердеру авторов, на которых он особенно часто ссылается, И.К. Гаттерер всецело подчинял Библии свою хронологию.

[28] В устье Гвадалквивира (Бетиса).

[29] Нуждой и гладом изнурены,
убегают они в пустынную сушь,
в место раззора, в кромешную мглу;
собирают они зелень подле кустов,
и коренья дрока – для них хлеб.
Из среды людей гонят их,
словно вору кричат им вслед,
велят селиться на срывах долин,
в пропастях земли и в щелях скал.
Между зарослями воют они,
сбиваются в кучу под терновым кустом –
бесчестный и безвестный сброд,
извергаемый вон из земли.
(Пер. С. Аверинцева в кн.:
«Поэзия и проза Древнего Востока».
М., 1973. С. 604).

[30] 3 Кн. Царств 6, 23–28.

[31] 480 г. до н.э.

[32] *Аристотель.* Политика II 11 (1272b – 1273b).

[33] К которому относились названные знаменитые полководцы.

[34] Диодор III 2–3.

[35] Утверждение принципиальной важности для Гердера, выступавшего против антипросветительских сектантски-теософских и мистических тенденций XVIII в., связанных с оживлением гностицизма и традицией толкования «герметических сочинений» (приписываемых Гермесу Трисмегисту – Трижды Великому). Иероглифы были впервые прочитаны лишь в 1822 г. и в эпоху Гердера весьма часто толковались как знаки тайноведения.

[36] Гермес, отождествленный с египетским богом Тотом, – как изобретатель письма.

[37] 3 Кн. Царств 8, 63.

[38] 3 Кн. Царств 10, 1.

Книга тринадцатая

[1] Гердер, очевидно, имеет в виду не столько греческую поэму Аполлония Родосского (III в. до н.э.) или незаконченную латинскую Валерия Флакка (I в. н.э.), сколько такие произведения, как «Медея» Еврипида, IV Пифийская ода

Пиндара и другие, сохранившиеся фрагментарно. Наконец, и позднеантичная «Аргонавтика» в эпоху Гердера все еще издавалась под именем Орфея.

[2] Мнемосины.

[3] Т.е. Греция в собственном смысле, Иония на побережье Малой Азии и Великая Греция (Сицилия, Южная Италия).

[4] Ликург перенес законы Крита в Спарту: *Геродот* I 65.

[5] См., напр., *Платон*, Горгий, 523 Ь. См. прим. 9 к кн. VIII.

[6] Здесь и ниже Гердер цитирует многочисленные статьи К.Г.Гейне из «Записок Гёттингенского ученого общества» («Commentationes Societatis Regiae Gottingensis»), «Göttingische gelehrte Anzeigen» и других изданий: «Об эпохах Кастора в истории господствовавших на море народов» (1770–1771), «О происхождении греков» (1764), «О Музах» (1766), «Об источниках и причинах ошибок в мифической истории» (1763), «О физических причинах мифов» (1781), «О происхождении и причинах гомеровских мифов» (1778), «Об основанной Гесиодом Теогонии» (1783), «Исправления и дополнения к Истории искусств Винкельмана» (1771), «О ларце Кипсела по Павсанию» (1770), «Некоторые установления первых законодателей Греции для смягчения нравов», «О духе эпохи Птолемеев», «О природе и причинах восприятия мифов и культа греков этрусским искусством», «Об остатках отечественной религии в памятниках этрусского искусства», «Этрусские древности, освобожденные от фантастических толкований», «Памятники этрусского искусства, возводимые к своим жанрам и временам» – все последние из «Opuscula academica» Гейне. Т. I, 1785.

[7] *Riedesel J.H.v.* Bemerkungen auf einer Reise in die Levante. Leipzig, 1774 (перевод с французского).

[8] Пеласги были коренным (неиндоевропейским) населением Греции; древняя этимология соединяла их имя (pelasgoi) с peladzo (приближаюсь), pladzo (странствую).

[9] См. начало «Теогонии» Гесиода.

[10] Написано Гердером после известной теории гомеровских поэм Ф.А.Вольфа («Prolegomena ad Homerum», 1795). Гомер для Гердера – собирательное имя, «Илиада» – собрание «внутренне не связанных между собою поэм» (так в статье «Гомер, любимец времени» в шиллеровском журнале «Die Hören», 1795. Nachdruck: Darmstadt/Berlin, 1959. S. 1034).

[11] Эти важные произведения английской предромантической критики были переведены и на немецкий язык – Блэкуэлл в 1776 г. (Лейпциг), Вуд – в 1773 (Франкфурт).

[12] Гердер, видимо, хочет сказать, что Гомер не придерживался строго одного диалекта, и этим характеризует смешанный характер гомеровского языка – ионийский диалект с примесями (см.: *Тройский И.М.* Вопросы языкового развития в античном обществе. Л., 1973. С. 121–132), его «наддиалектный характер» (там же. С. 127).

[13] Изданные в 1760–1765 гг. «Поэмы Оссиана» были созданием шотландского поэта Джеймса Макферсона, представившего их как переведенную с кельтского (гаэльского, гэльского) языка эпопею III в. В предромантическую эпоху с ее усилившимся интересом к изначальности народного творчества гениальное произведение Макферсона было воспринято как подлинное свидетельство древнего духа народа (вдохновенная статья Гердера «Извлечения из переписки об Оссиане и о песнях других народов» помещена в знаменитом сборнике «Von Deutscher Art und Kunst», 1773, – см. пер. Е.Г.Эткинда в кн.:

Гердер. Избр. соч.. С. 23–59). См. статью Гердера «Гомер и Оссиан» в журнале «Die Hören», 1795. S. 1190–1211; «Оссиан на своем месте – то самое, что Гомер – на своем» (с. 1204); Гомер – «чисто объективен», Оссиан – «чисто субъективен» (с. 1199).

[14] *Winkelmann J.J.* Geschichte der Kunst des Altertums. Dresden, 1764. *Винкельман И.И.* История искусства древности. Л., 1933.

[15] Изображения Сна и Смерти на известном из Павсания (V 17–19) «ларце Кипсела» – об этом писал Лессинг («Лаокоон», гл. 11, и в статье «Как изображали смерть древние», 1769) и Гердер в статье с тем же названием (1786). Ср.: *Einem H. von.* Asmus Jakob Carstens: Die Nacht mit ihren Kindern. Köln – Opladen, 1958.

[16] Ср. *Лессинг.* «Лаокоон», гл. 22 (источники – Страбон, Валерий Максим).

[17] См. «Илиаду», XVII 468–613 (выкованный Гефестом щит Ахилла) и приписывавшуюся Гесиоду поэму «Щит».

[18] Причислявшаяся к семи чудесам света статуя Гелиоса (ок. 37 метров в высоту), простоявшая 56 лет и разрушенная землетрясением 227 г. до н.э.

[19] *Плиний.* Ест. ист. XXXV 69: «Нарисовал [Паррасий] демос афинский следующим изобретательным образом: именно он хотел показать его изменчивым, гневливым, несправедливым, непостоянным и притом послушным, милосердным, великодушным, хвастливым, заносчивым, униженным, дерзким и трусливым – все в одно время».

[20] Амфиктионами, «живущими вокруг», называли союзы племен и полисов, создававшиеся для охраны святилищ; в дельфийской амфиктионии было представлено 12 племен, что Цицерон (De invent. II 23, 69) назвал «общим союзом Греции». Существовавший при амфиктионии суд решал споры между участниками союза.

[21] *Saint-Pierre.* Oeuvres politiques et morales, 1735–1741.

[22] См. тексты, собранные и переведенные в кн.: *Лосев А.Ф.* Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957. С. 221–235.

[23] Необходимо (ср. прим. 4 к кн. IX) видеть в слове «революция» оттенок космического круговращения и, еще шире, периодических переворотов космического порядка.

[24] Гердер перевел 32 фрагмента из Менандра и Филемона в «Письмах к поощрению гуманности», 38.

[25] Пер. Л. Блуменау.

[26] The Orations of Lysias and Isocrates... London, 1778.

[27] *Meiners Chr.* Geschichte der Wissenschaften in Griechenland und Rom. Lemgo, 1781.

[28] Рассказ об этом у Диодора, Ямвлиха, Порфирия. См.: *Diels H.* Die Fragmente der Vorsokratiker (в разделе «Пифагор»).

[29] Образ Сократа у Гердера следует видеть в контексте эпохи – XVIII век был по- своему увлечен личностью Сократа (см.: *Böhm B.* Sokrates im 18. Jahrhundert. Leipzig, 1929). Характерно, что снижение образа Сократа у Гердера, попытка принизить его до благородной, но ровным счетом ничего не значащей роли в домашнем и дружеском кругу, непонимание философских мотивов Сократа в связи с его временем – все это идет параллельно с таким же снижением, одомашниванием, очеловечиванием образа Христа (ниже, в начале кн. XVII), о котором Гердер, собственно, отказывается говорить. Такая наполовину скрытая, наполовину открытая параллель между Сократом и Христом у Гердера не

случайна – она в духе эпохи. Гегель («Философия религии», III 2 III) говорил: «Это – похожие личности и похожие судьбы».

[30] Сократ не раз говорит *(Платон,* Апол. 27 с. Теэтет 151а) о своем «демоне» (daimonion), «гении» или «внутреннем голосе»: см. указание таких мест у Платона и других авторов в комм, в кн.: *Платон.* Соч. Т. 1. С. 506, прим. 29а и 33.

[31] Hē maieytikē technē, повивальное искусство *(Платон,* Теэтет 161е и другие места).

[32] См. Государство IX, 592 а.

[33] Имеются в виду правители Сиракуз – Дионисий Старший (405–367) и Дионисий Младший (367–344); в Сиракузах Платон тщетно пытался осуществить государственные реформы.

[34] Типичный для морализаторского Просвещения взгляд на «Метафизику», несмотря на последующие оговорки.

[35] Под «Этикой» и «Моралью», очевидно, подразумеваются «Никомахова этика», «Евдемова этика» и «Большая этика».

[36] Александр Македонский.

[37] Может быть, Гердер имеет в виду Дионисия Галикарнасского (I в. до н.э.) с его сохранившимся частями историческим трудом. Отчего множественное число? Играет роль, видимо, и распространенность этого имени среди эллинистических ученых, и меньшая в глазах Гердера ценность трудов этой эпохи.

[38] Гердер перечисляет все, что когда-либо приписывали Гомеру (так, комическую поэму «Маргит» считал гомеровской еще Аристотель – Поэтика, гл. 4); под «ямбами», по предположению Э.Науманна, подразумеваются так называемые «гомеровские эпиграммы».

[39] Согласно легенде, идущей из позднейших арабских источников и повторяемой в XVIII в. (Э.Гиббон), Александрийская библиотека была сожжена в 642 г. по приказу халифа Омара (об этом у Гердера говорится ниже, в кн. XIX, гл. IV).

[40] Геродот VI 101.

[41] Геродот VII 141–142.

[42] См. «Анабасис» («Поход Кира») Ксенофонта.

[43] *Tavernier J.B. und Spon J.* Reisebeschreibung. Nürnberg, 1684; *Stuart G.* Größe und Verfall des osmanischen Reiches. Nürnberg, 1783; *Chandler R.* Travels in Asia Minor. Oxford, 1775; *Chandler R.* Travels in Greece. Oxford, 1776 (немецкий перевод двух последних книг – Лейпциг, 1776).

[44] *Houel J.P.* Voyage pittoresque des iles de la Sicile, de Malte et de Lipari, tt. 1–4. Paris, 1782–1787.

[45] В глубь Персии. – См. *Геродот* VI 119.

[46] *Страбон* XIII I, 54; *Плутарх.* Параллельные жизнеописания: Сулла 26. Ср.: *Зубов В.П.* Аристотель. М., 1963. С. 53–55.

[47] О том же пишет Жан-Поль, «Приготовительная школа эстетики», § 36. Источник: *Flögel K.F.* Geschichte der Komischen Literatur. Bd. 1, 1784.

[48] Следует особо принять во внимание, что в 80-е годы XVIII в. в Германии, как никогда интенсивно, обсуждалась проблема Просвещения, в частности в связи с предложенным в 1780 г. Берлинской академией наук вопросом «Полезно ли народу быть обманываемым..?» Среди нескольких десятков работ, посвященных выяснению сущности Просвещения, – статья Канта «Что такое Просвещение?» (1787). См. сборник текстов, изданный Н. Хинске (Was ist Aufklärung? Darmstadt, 1973) и одноименный Э.Бара (Штуттгарт, 1974), а также

рефераты и библиографию в посвященной этой дискуссии книге: *Schneiders W.* Die wahre Aufklärung. Zum Selbstverständnis der deutschen Aufklärung. Freiburg – München, 1974.

[49] *Афиней* VIII 347e. Аристотель (Поэтика, гл. 4) возводит трагедию к «Илиаде» и «Одиссее».

[50] Здесь Гердер отмечает важнейшую черту немецкого гуманизма в его классический период конца XVIII в.; вечное, практически-творческое движение вперед – такая мысль лежит в основе гётевского «Фауста» (ст. 1699–1702 и 11581–11584). В этой идее – диалектически исключающие друг друга стороны: мгновение как осуществление полноты приходящегося на него существования (тогда мгновение уступает место следующему столь же условно выделяемому мгновению) и как снятый итог всего предшествовавшего развития (тогда мгновение должно было бы «остановиться»). Предвосхищая конец Фауста, Гёте пишет в Риме (10.1.1788 – Berliner Ausgabe, Bd. XIV, 1961. S. 670– 671): «Мои титанические идеи были одними воздушными образами, призраками, предсказывавшими наступление эпохи более строгой. Теперь я всецело погружен в изучение человеческой фигуры, этого поп plus ultra всего человеческого знания и делания. [...] Теперь вижу я, теперь впервые наслаждаюсь самым высоким, что осталось нам от древности, – статуями. Да, я вижу хорошо, что можно трудиться (studieren) целую жизнь и в самом конце все еще захотеть сказать: *Теперь* я вижу, *теперь* впервые наслаждаюсь».

[51] Болингброк, английский философ-моралист рубежа XVII–XVIII вв., еще достаточно авторитетный для Гердера в конце XVIII в. Характерно, что Гердер сопоставляет с культурой Греции имена английской культуры.

Книга четырнадцатая

[1] Книга Т. Демпстера об Этрурии (Флоренция, 1723) с дополнениями И.Б. Пассери (Лукка, 1768).

[2] 509 г. до н.э.

[3] Этрусский царь Порсенна осадил (*Тит Ливий 2, 9)* или даже захватил Рим *(Тацит.* Ист. 3, 72; *Плиний.* Ест. ист. XXXIV 39).

[4] *Вергилий.* Энеида, VIII 313 сл.

[5] *Монтескье.* О величии и упадке римлян (1734); *Макьявелли.* Рассуждения о первых десяти книгах Тита Ливия. Флоренция, 1531; *Парута.* Политические трактаты. Венеция, 1599.

[6] Corona civica, navalis, muralis.

[7] *Плиний-* Ест. ист. VII, 28, 101 сл.

[8] См. *Полибий* XXXIX 4, 3. Стихи Гомера – «Илиада», IV 164–165:

> Будет некогда день, как погибнет высокая Троя,
> Древний погибнет Приам и народ копьеносца Приама.
> *(Пер. Н.И.Гнедича)*

[9] *Полибий* VI 56, 7.

[10] Ауспиции и гаруспиции.

[11] *Плутарх.* Параллельные жизнеописания: Помпей, 45.

[12] Гердер относит к Испании строки о киммерийцах из «Одиссеи» Гомера (XI 14– 19) *(Э.Науманн).*

[13] *Плиний.* Ест. ист. VII 25, 92 (у Плиния названо число 192 000 человек).

[14] Полемика с Макиавелли и Монтескье.

[15] *Meierotto J.L.H.* Über Sitten und Lebensart der Römer in verschiedenen Zeiten der Republik. Bd. 1. Berlin, 1776.

[16] *Meiners Chr.* Geschichte des Verfalls der Sitten und der Staatsverfassung der Römer. Leipzig, 1782.

[17] От имени «Цезарь» пошли титулы императора (caesar, kaisar, Kaiser) и царя.

[18] Взгляды некоторых древних грамматиков.

[19] *Middleton C.* History of the Life of Gicero. London, 1741.

[20] Древнейшие культовые песнопения жрецов-салиев («прыгунов») – по-видимому, римского, не этрусского происхождения.

[21] Аналогичные греческим ямбам насмешливые песни-перебранки двух хоров.

[22] Маленькие драмы с постоянными ролями-масками.

[23] Неверные сведения.

[24] В оценке христианской культуры Средних веков.

[25] *Вергилий.* Энеида, VI 847–853. *Пер. С.Ошерова.*

[26] *Плутарх.* О славе римлян (и в других сочинениях).

Книга пятнадцатая

[1] Тиндариды, или Диоскуры, – Кастор и Поллукс (Полидевкт); здесь – созвездие Близнецов.

[2] Слово «чистый» имеет у Гердера моралистический и терминологически-необязательный смысл (ср. ниже «чистый рассудок»).

[3] В 10 000 лет. – *Платон,* Пир, 249а.

[4] Обертоны.

[5] Эпициклоида в строгом смысле – линия, которую описывает точка, находящаяся на окружности круга, если круг этот вращается на поверхности другого вращающегося круга. Гердер хочет сказать не более того, что «колеса притираются друг к другу».

[6] В самом широком смысле – как умение, художество.

[7] Здесь – во всем сотворенном мире.

[8] *Дион Кассий* XVII 49: два греческих стиха из драмы, в которой их произносит Геркулес.

[9] Цицерон.

[10] Казненный по приказу Теодориха (см. ниже, кн. XVIII, гл. II).

Книга шестнадцатая

В IV т. своего труда (кн. XVI–XX) Гердер отмечает некоторые исторические даты на полях книги. Так это сделано и в настоящем русском издании.

[1] По стиху Вергилия («Энеида», I 33), где говорится о «римских родах».

[2] *Tasso.* Освобожденный Иерусалим, песнь XVI.

[3] Книги М. де Ларраменди: 1) Diccionario trilingue: castellano, bascuense y latin. San Sebastian, 1715; 2) De la antiquedad y universalidad del bascuense en Espana, de sus perfectiones y ventajas sobre otras muchas lenguas. Salamanca, 1728 («О древности и распространенности языка басков в Испании, о его совершенствах и преимуществах перед многими другими языками»).

[4] Точнее: «El impossibile vencido. Arte de la lengua bascongada». Salamanca, 1729 («Победа над невозможным. Искусство баскского языка»).

[5] *Velasquez L.J.* Geschichte der spanischen Dichtkunst. Göttingen, 1769 (в переводе И.А.Дице).

[6] *Pelletier L. le.* Dictionnaire de la langue bretonne... Paris, 1752; *Pezron P.* Antiquité de la nation et de la langue des Celtes... Paris, 1703; *Martin J.* Le religion des Gaulois... Paris, 1727; *Martin J.* Eclaircissements historiques sur les origines celtiques et gauloises... Paris, 1744; *Martin J.* Histoire des Gaules et des conqu tes des Gaulois. Paris, 1752; *Picard J.* De prisca Celtopaedia libri quinque. Paris, 1556.

[7] *Barrington D.* Miscellanies on Various Subjects. London, 1781; *Cordiner Ch.* Antiquities and Scenery of the North of Scotland... London, 1780; *Henry R.* The History of Great Britain... Edinburgh and London, 1791–1793; *Jones R.* The Origin of Languages and Nations Defined and Fixed... London, 1764; *Macpherson J.* An Introduction to the History of Great Britain and Ireland. London, 1772; *Maitland W.* The History of Antiquities in Scotland. Vol. 1–2. London, 1757; *Lloyd H.* The History of Cambria... London, 1584; *Owen J.* A Complete and Impartial History of the Ancient Britons. London, 1743; *Shaw W.* A Galic and English Dictionary... Vol. 1–2. London, 1780; *Vallencey Ch.* Collectanea de rebus Hibernicis... Dublin, 1786; *Whitaker J.* The Genuine History of the Britons... London, 1772.

[8] *Sprengel M. Chr.* Geschichte von Großbritannien und Irland. Halle, 1783. В составе «Allgemeine Weltgeschichte...», издававшейся в Галле (т. 47 или, по другому счету. Т. 29). Из известных историков Англии Гердер не называет в этом месте Д.Юма, работы которого были уже отчасти переведены тогда на немецкий язык.

[9] Здесь и далее Гердер очень часто слово «немецкий» употребляет в смысле «германский».

[10] Гердер, как и большинство его современников в Германии, считал произведение Макферсона (см. прим. 13 к кн. XIII) подлинным поэтическим созданием древности.

[11] Известный предромантический критик защищал подлинность Оссиана: «A Critical Dissertation on the Poems of Ossian», 1763.

[12] *Borlase W.* Observations on the Antiquities of the Country of Cornwall. Oxford, 1754; *Bullet J.B.* Mémoires sur la langue celtique..., H. 1–3. Besancon, 1754–1770; *Rostrenen G. de.* Dictionnaire français-celtique ou français-breton. Rennes, 1732; *Briqant J. le.* Elements de la langue des Celtes-Gomerites ou Bretons... Strasbourg, 1779; перевод Библии издан в Лондоне в 1588 г.

[13] *Warton Th.* Of the Origin of the Romantic Fiction in Europe. – В изд. «History of English Poetry». Vol. 1, 1774. Немецкий перевод в изд. «Britisches Museum fur die Deutschen», hrsg von J.J.Eschenburg, Bd. 1–6. Leipzig, 1777–1780 (в тт. 3–5).

[14] Гордон Персель – псевдоним аббата Н.Ленгле Дюфренуа. См. его кн.: «De l'usage des romans...», t. 1–2. Amsterdam, 1734.

[15] *Schlözer A.L.* Allgemeine Nordische Geschichte. Halle, 1771.

[16] К.Харткнох – историк древней Пруссии (среди его работ – «Alt und neueres Preußen», Frankfurt, 1684; Preußische Kirchenhistorie». Frankfurt, 1686). Книги М.Преториуса не увидели света; И.М.Лилиенталь – автор «Изъясненной Пруссии» («Erläutertes Preußen...», Bd. 1–3. Königsberg, 1724–1726).

[17] *Arndt J.G.* Liefländische Chronik, Bd. 1–2. Halle, 1753; *Hupel A.W.* Topographische Nachrichten von Liv- und Estland. Bd. 1–3. Riga, 1774–1782.

[18] Слово «алеманны» этимологически связано с готским «alamans», человечество. «Германцы»: ср. лат. germanus – родной, единокровный.

[19] Ю.Мёзер – известный немецкий историк, близкий Гердеру своим восприятием органической целостности исторического процесса; в таком духе Мёзер разрабатывал историю одной из немецких областей – «Osnabrückische Geschichte». Bd. 1–2. Osnabrück, 1768. «Patriotische Phantasien», Bd. 1–4. Berlin, 1774–1786. Мёзера высоко ценил Гёте.

[20] *Цезарь.* Записки о галльской войне, I 22.

[21] Ср. *Тацит.* Германия, 2 и 9.

[22] Сэмунд Сигфуссон (Мудрый) – исландский ученый XI–XII вв., которому долгое время приписывали составление (создание) «Эдды» (так называемой «Старшей Эдды», см. русское издание: М.–Л., 1963). Снорри Стурлусон (у Гердера – «Снорро».) – автор «Младшей Эдды» (русское издание – Л., 1970). П.Резениус впервые опубликовал отрывки из «Эдды» (1665) и издал первый исландский словарь (1683). О.Ворм издал рунические надписи (1636, 1643). Тормодр Торфасон (латинизированная форма – Торфеус) – историограф, переводчик «Эдды» на латинский язык; С.И.Стефаниус – историк Дании. Т.Бартолин Младший – издатель «Датских древностей» (1689), И.Г.Кейслер – исследователь религии древних германцев (J.G.Keyßlers neueste Reisen... Hannover, 1751); И.Ире – автор работ по истории шведского языка, словарей, И.Гёранссон – издатель рунических надписей (1750); Г.Й.Торкелин издал, с латинским переводом, «Речи Вафтруднира» из «Эдды» (1779), Й.Эрихсен – имеется в виду или комментатор «Жизни Семунда Мудрого» А.Магнуссона или издатель рунических надписей (правильно – Эрихсон); Арне Магнуссон (латинизированная форма – Магнеус) – исследователь скандинавских древностей и основатель названной его именем комиссии, посвященной скандинавским штудиям; И.П.Анхерсен – историк и географ Дании, К.У.Д. фон Эггерс – историк Исландии («Geschichte der isländischen Literatur», 1777).

[23] П.Ф. фон Зум – автор «Истории датчан» (сокращенный немецкий перевод – Фленсбург, 1778; полный перевод – Лейпциг, 1804).

[24] *Schilter J.* Thesaurus antiquitatum Teutonicarum. Bd. 1–3. Ulm, 1726–1728.

[25] Лаузиц.

[26] Винета – древний славянский город на острове Воллин в устье реки Одер, по легенде поглощенный морем.

[27] Гердер называет (без какого-либо порядка) имена немецких, австрийских, чешских, итальянских ученых, которые занимались историей славянских и соседних с ними народов в XVIII в. *Frisch J.L.* Historiae linguae Slavonicae... tt. 1–3. Berlin, 1727–1730; *Müller G.F.* Sammlung russischer Geschichte, Bde 1–10. Petersburg, 1732–1766: *Jordan J.Chr. v.* De originibus Slavicis... Wien, 1745; *Stritter J.G.* Memoriae populorum olim ad Danubium, Pontum Euxinum, Paludem Maeotidem, Caucasum, mare Caspicum et inde magis ad septentrionem incolentium, tt. 1–4. Petersburg. 1772–1779: *Gercken Ph.W.* Versuch der ältesten Geschichte der Slawen... Leipzig, 1772; *Anton K.G.* Erste Linien eines Versuches über die Sitten, Gebräuche, Meinungen usw. der alten Slawen. Bd. 1–2. Leipzig, 1783–1789; *Taube F.W. von.* Beschreibung des Königreichs Slavonien und des Herzogtumes Syrmien. Bd. 1–3. Leipzig. 1777. Особо следует отметить имя выдающегося чешского просветителя Й.Добровского. К истории Богемии среди названных Гердером авторов относятся также: *Peltzel F.M.* Kurzgefaßte Geschichte der Böhmen..., Tle 1–2. Prag, 1782; *Voigt.* Über den Geist der böhmischen Gesetze... Dresden, 1788. *Dobner G.* Monumenta historica Bohemica..,

Bd. 1–6. Prag. 1764–1786. Среди авторов, изучавших в эпоху Гердера историю России, следовало бы назвать прежде всего А.Л.Шлёцера, переведшего на немецкий язык множество источников.

[28] *Grellman H.M.G.* Die Zigeuner, ein historischer Versuch... Dessau und Leipzig, 1783. *Rüdiger J.Chr.* Neuester Zuwachs der deutschen, fremden und allgemeinen Sprachenkünde. Halle, 1782.

[29] *Л. Стерн.* Тристрам Шенди. Ч. II. Гл. 16.

[30] *Гёте.* Тайны, строфа VIII. *Пер. С.В.Шервинского.*

Книга семнадцатая

[1] Переворот – Revolution (ср. прим. 4 к кн. IX).

[2] См. Еванг. от Матф. 8, 20; 11, 19; 12, 32; 24, 27. 37. 39. 44; Еванг. от Марка 2. 10. 28; 8, 31. 38; 9, 31; 10, 33; 13, 26; 14, 62. «Сын Человеческий» – отнюдь не выражение гуманности в гердеровском смысле, но выражение ветхозаветных пророчеств о вочеловечении бога (Деяния апостолов, 7, 56; Иезек. гл. 2).

[3] Еванг. от Иоанна 18, 36.

[4] Имеется в виду Ветхий Завет.

[5] Левитам.

[6] В 70 г. н.э.

[7] Еванг. от Матф. 5, 13.

[8] На рубеже III в. н.э.

[9] «Homooysios» – единосущный, учение церкви о единосущности Христа богу-отцу; homoioysios – подобносущный – осужденное церковью арианское учение.

[10] В 1453 г.

[11] Richtmaas. Т.е. канон.

[12] Иудейские секты.

[13] Первые апостолы – Петр и Андрей (Еванг. от Матф. 4, 18; Еванг. от Марка 1, 16).

[14] Петр; см. I Посл. к Кор. 9, 5: «Или не имеем власти иметь спутницей сестру, жену, как и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа». Т.е. Петр (ср. Еванг. от Иоанна 1, 42).

[15] Утешитель – см. Еванг. от Иоанна 14, 16–17.

[16] *Хилиасты* (греч. chilias, тысяча) – ожидающие наступления тысячелетнего царства бога и праведников на земле. *Анабаптисты* («перекрещенцы») – плебейская религиозная секта в Германии и Швейцарии XVI в. Гердер вспоминает о событиях Крестьянской войны 1524–1525 гг. в Германии и так называемой «Мюнстерской коммуне» 1534–1535 гг. *Донатисты* – последователи епископа Карфагенского Доната в Северной Африке (IV–V вв.), провозглашавшие «церковь бедных» и выступавшие за чистоту нравов в церкви. *Монтанисты* – последователи выдававшего себя за «параклита» Монтана, выступившего во Фригии ок. 156 г. *Присциллианисты*– аскетическая секта в Испании, названная по имени казненного в 385 г. за совершение магических действий Присциллиана; эта секта считала допустимой ложь. *Циркумцеллионы* («ходящие вокруг келий») – нищенствующая секта, подобная флагеллантам, хлыстам, в Северной Африке в эпоху донатистов.

[17] Назореи, эбиониты (ebionim, «нищие», см. Еванг. от Матф. 5, 3) – члены перво начальной христианской общины Иерусалима.

[18] Сабеи, или христиане-иоанниты, – близкая гностикам секта Передней Азии, на званная по имени Иоанна Крестителя.

[19] Гердер имеет в виду, очевидно, и И.Г. и Ф.Вальхов, известных историков религии, очень плодовитых авторов. См. ниже, прим. 21.

[20] См. Деяния апостолов, гл. 15.

[21] Помимо француза Л. де Бособра («Histoire critique de Manichée et du Manichéisme». Amsterdam, 1734–1739) Гердер называет немецких историков религии XVIII в. (забывая здесь о Г.Арнольде), работы которых (особенно Мосхейма, Яблонского и во второй половине XVIII в.– Землера) были этапными для развития науки. См., напр.: *Brucker J.* Historia critica philosophiae... t. 1–5. Leipzig, 1742–1744; *Mosheim J.L.* Institutiones historiae ecclesiasticae antiquioris et recentioris. Helmstedt. 1755 (и др. изд.); *Walch J.G.* Compendium antiquitatum ecclesiasticarum. Leipzig, 1733; *Walch F.* Entwurf einer vollständigen Historie der Ketzerein, Spaltungen und Religionsstreitigkeiten, Tle 1–3. Leipzig, 1762–1766; *Jablonski P.E.* Institutiones historiae christianae, tt. 1–2. Frankfurt a. O. 1766; *Semler J.S.* Versuch christlicher Jahrbücher... Bd. 1–2. Halle, 1783.

[22] Учение Мани (III в. н.э.) – религиозное учение, построенное на синтезе хал- дейско-вавилонских и персидских мифов.

[23] Альбигойцы в Южной Франции (XII–XIII вв.) – ответвление манихейской ереси катаров; в оппозиции к реальным общественным условиям.

[24] Несторианство, названное по имени константинопольского патриарха Нестория (V в.), разделяет божественную и человеческую природу Христа.

[25] «Joseph Simon Assemanis orientalische Bibliothek oder Nachricht von syrischen Schriftstellern...», Tle 1–2.

[26] См.: *Гумилев Л. Н.* Поиски вымышленного царства. Легенда о «государстве пресвитера Иоанна». М., 1970.

[27] *Fischer J.E.* Sibirische Geschichte, Tle 1–2. Petersburg, 1768.

[28] *Koch Chr.G.* Tableau de révolutions... Lausanne et Strasbourg, 1771.

[29] Т.е. из Римской империи.

[30] Амстердам, 1711.

[31] *Bruce J.* Travels into Abyssinia, vol. 1–5. Edinburgh, 1790.

[32] *Монофизиты* (monos – единственный, physis – природа) – сторонники еретического, осужденного Халкидонским собором 451 г. учения константинопольского архимандрита Евтихия об одной, божественной, природе Христа.

[33] В Антиохии: Деяния апостолов, 11, 26.

[34] Гердер вновь имеет в виду кажущиеся ему маловажными вековые дискуссии о природе Христа.

[35] *Фотиниане* – сторонники епископа Фотия из Сирмия в Паннонии, полагали, что Иисус исполнен божественного логоса, но утратит его после победы царства божьего на земле.

[36] *Македониане*, вслед за епископом Македонием из Константинополя, отрицали единосущность св. духа двум первым ипостасям св. троицы.

[37] *Евтихиане* – то же, что монофизиты (см. прим. 32).

[38] *Трифелиты* – полагавшие три отдельных божества вместо триединого бога.

[39] *Монофелиты* (thelema – воля) – осужденное в 680 г. близкое монофизитам учение.

[40] «Разбойничьим» назвал папа Лев Великий Эфесский собор 431 г., на котором учение монофизитов одержало верх.

[41] Так пишет Гердер вместо более принятого «лангобарды».

[42] Распространенные в XII в. в Болгарии и Боснии гностические секты (см. гл. IV кн. XX «Идей»).

[43] *Катары* – сложившееся в Западной Европе под влиянием богомильства еретическое учение манихейского толка.

[44] *Вальденсы* – известная с конца XII в. еретическая секта плебейского характера.

[45] Гердер выделяет имена Г. Каликста, смягчавшего строгость лютеранского учения («Epitome Theologiae». Helmstedt, 1619), французского протестанта И.Даллеуса (Ж.Дайе), историков церкви Дюпена, Леклерка, Мосхейма и, среди своих современников, Землера и Шпиттлера («Geschichte des Kanonischen Rechtes...» Halle, 1778; «Grundriß der Geschichte der christlichen Kirche». Göttingen, 1782).

[46] *Зенобиты* («совместно живущие») – монахи основанного Пахомием в 340 г. на острове Табания близ Фив, в Египте, монастыря, названные так в противоположность отшельникам (анахоретам).

[47] Ж.Барбейрак пишет об отцах церкви в предисловии к французскому переводу книги С. фон Пуфендорфа «О праве природы и народов» (1672). К.Томазиус с характерной для раннего просветителя ясной убежденностью отвергал любой фанатизм. «Библиотека отцов церкви» – «Bibliotek der Kirchenväter in Übersetzungen und Auszugen». Bde 1–10. Leipzig, 1776.

[48] «Histoire des révolutions arrivées dans le gouvernment, les lois et l'esprit humain aprés la conversation de Constantin jusqu chute de l'empire d'Occident». La Haye, 1783. Автор – Ш.-А.Пилати.

[49] Иоанн Златоуст – величайший проповедник греческой церкви.

[50] См. русский перевод: *Константин Порфирогенет.* О церемониях при византийском дворе (отрывки) в кн.: Памятники византийской литературы IX–XIV веков. М., «Наука», 1969.

[51] Три классических историка Англии: Э.Гиббон, как автор «Истории упадка и гибели Римской империи» (6 тт., 1782–1788); Д.Юм, как автор «Истории Англии» (1754–1763); У.Робертсон, как автор «Истории Шотландии» (2 тт., 1759), «Истории царствования императора Карла V» (3 тт., 1769), «Истории Америки» (2 тт., 1777).

[52] Ставшее крылатым выражение Горация (Сат. 1 5, 100): Credat Judaeus Appella («Пусть в то верит иудей Апелла»).

[53] См. *Тацит.* Анналы XV 44.

[54] *Ciampini G.G.* Explicatio duorum sarcophagorum sacri baptismatis ritum indicantium. Roma, 1697; *Aringo P.* Roma subterranea novissima... Roma, 1651; *Bingham J.* Origines Ecclesiasticae or the Antiquities of the Christian Church. Vol. 1–10. London, 1710–1722.

[55] *Плиний Младший.* Ep. X 97.

[56] Еванг. от Матф. 16, 18.

[57] Основан с 529 г. св. Бенедиктом Нурсийским.

Книга восемнадцатая

[1] *Mascov J.J.* Geschichte der Deutschen bis zu Anfang der fränkischen Monarchie. – Leipzig, 1727, 1737; *Krause J.Chr.* Geschichte der wichtigsten Begebenheiten des heutigen Europa. Halle, 1789.

[2] Издания – Лейден, 1717, и Лейден, 1665.

[3] Изданный Энрике Флоресом 29-томный «Географико-исторический театр испанской церкви» (Мадрид, 1747–1773).

[4] *Ferreras J. de.* Historia de Espana, 1700–1727.

[5] Франкфурт, 1613.

[6] Высшая степень знатности.

[7] «Geschichte der Vandalen», Leipzig, 1785 – первая книга известного историка. Его «Geographie der Griechen und Römer» вышла в 16 частях в 1788–1831 гг.

[8] «Sitten und Gebräuche der Europäer...» Frankfurt a. O., 1784.

[9] Ломбардия.

[10] *Giannone P.* Storia civile del regno di Napoli. Napoli, 1723.

[11] Так называемые Декреталии Псевдо-Исидора (IX в.), содержавшие ряд подложных документов.

[12] Санкт-Галлен был выдающимся центром средневековой культуры.

[13] «Geschichte schweizerischer Eidgenossenschaft». Leipzig, 1786–1795 (три тома в четырех частях). Этой книгой швейцарско-немецкого историка зачитывались современники; она считалась классической и по стилю. Гердер был с Мюллером в самых дружеских отношениях. Первый том труда Мюллера в первом издании вышел в 1780 г. под названием «Истории швейцарцев» («Die Geschichten der Schweizer»).

[14] *Hegewisch D.H.* Geschichte der Regierung Kaiser Karls des Großen. Hamburg, 1791.

[15] Видимо, Гердер намекает на Священную Римскую империю немецкого народа, досуществовавшую до 1806 г.

[16] Помимо сочинений историков Гердер мог читать и роман А. фон Галлера «Альфред, король англосаксов» (1774). Другие немецкие романы об Альфреде вышли в свет непосредственно после появления 4-ой части «Идей».

[17] Рюрик.

[18] 951 г.

[19] «Так вы [сделали], но не для себя». По «Жизни Вергилия» Доната, гл. 17, где приводятся повторяющие такую синтаксическую формулу стихи Вергилия: «Sic vos non vobis nidificatis aves...» – «Не для себя строите вы гнезда, птицы...» и т.д.

Книга девятнадцатая

[1] Еванг. от Матф. 16, 18.

[2] Знаменитые историки и правоведы: П.Сарпи – автор «Истории Тридентского собора» («Istoria del concilio tridentino». London, 1619; немецкое издание – 6 тт., Галле, 1761–1765); С. фон Пуфендорф («Einleitung zu der Historie der vornehmsten Reiche und Staaten, so sich in Europa befinden». Frankfurt a. o., 1682 и др. кн.). «Историей Реформации» Гердер называет, видимо, книгу Г.Я.Планка «Geschichte der Entstehung, Veränderungen und der Bildung unseres protestantischen Lehrbegriffs», Leipzig, 1781 («История возникновения, перемен и складывания нашего протестантского вероучения»).

[3] Т.е. принявших христианство иудаистов и язычников. См. Деяния апостолов, 15; Посл. к галатам, 2.

[4] В статье «О воскресении как вере, истории и догме» в кн. «Christliche Schriften. Erste Sammlung». Frankfurt und Leipzig, 1794.

[5] Семи смертных грехов.

[6] Еванг. от Матф. 27, 35; Еванг. от Иоанна 19, 24.

[7] *Pütter J.S.* Historische Entwicklung der heutigen Slaatsverfassung des deutschen Reichs. Göttingen, 1788.

[8] *Möhsen J.K.W.* Geschichte der Wissenschaften in der Mark Brandenburg... Berlin, 1781.

[9] Как папа – Сильвестр II.

[10] О которой, впрочем, во времена Гердера имели довольно смутное представление, смешивая готику с другими стилями. Однако именно к последней четверти XVIII в., особенно к его последним годам, относятся первые опыты искусствоведческого определе ния готического стиля и первые попытки реставрации памятников.

[11] *Korn W.G.* Allgemeine Geschichte der Handlung und Schiffahrt, Manufakturen und Künste, Tle 1–2. Breslau, 1751 –1754; *Anderson A.* Historie und chronologische Geschichte des Handels. Riga, 1773 (перевод с английского).

[12] *Sale G.* Observations historiques et critiques sur le Mahometisme. Geneve, 1751; Gag*nier J.* La vie de Mahomet. Amsterdam, 1732; *Brequigni F. de.* Über Mohammed. Frankfurt, 1791 (перевод с французского).

[13] Аму-Дарья, Окс.

[14] *Schlözer A.L.* Summarische Geschichte von Nord-Afrika, namentlich von Marokko, Algier, Tunis, und Tripoli. Göttingen, 1775; *Cardonne D.-D.* Geschichte von Afrika und Spanien... Tle 1–3. Nürnberg, 1768 (перевод с французского).

[15] «Старик с гор» или «князь с гор»: «князья с гор» – так называлась воинствен ная арабская секта, считавшая еретиками арабских халифов и самыми подлыми средства ми боровшаяся с ними, а позднее с христианами. «Старик с гор» – этот образ крайне распространен в немецкой литературе рубежа XVIII–XIX вв. для обозначения тайной, беспредельной, немилосердной власти, а иногда для обозначения особой, тайной мудрости.

[16] *Sprengel M.C.* Geschichte der wichtigsten geographischen Entdeckungen. Halle, 1783.

[17] Тянь-Шань.

[18] «Orientalische und exegetische Bibliothek», hrsg. von J.D.Michaelis. Bd. 1–23. Frankfurt und Göttingen, 1771–1785.

[19] Испорченный итальянский, в употреблении на побережье Средиземного моря.

[20] «Веселая наука» – рыцарская провансальская поэзия XI–XII вв., как она была названа уже позднее, в XIV в. (см. главу II кн. XX).

[21] В таком подходе выдающееся значение книги Гердера «О еврейской поэзии», 1783.

[22] И.Я.Рейске – немецкий востоковед, один из блестящих знатоков языков Ближнего Востока; в своей автобиографии (1783) он рассказывает о беспросветной, жалкой жизни лишенного средств и возможностей ученого.

[1] *Bret J.F. le.* Staatsgeschichte der Republik Venedig... Bd. 1–3. Leipzig und Riga, 1769. Европейская литература о Венеции скромна и отражает всеобщее увлечение «таинственной» историей этого города-государства.

[2] Феодосия (в Крыму).

[3] *La Curn de St.-Palaye J.-B.* Memoires sur l'ancienne chévalerie. TT. 1–13. Paris, 1759–1781 (немецкий перевод – Нюрнберг, 1786–1791).

[4] *Reiske J.J.* Thograis sogenanntes Lommisches Gedicht... Friedrichsstadt, 1756, *Pococke E.* Gregorii Abul Farajii histona dynastarum. Oxford, 1663; *Jones W.* Dissertation sur la littérature orientale. London, 1771, *Ockley S.* Geschichte der Sarazenen, Tle 1–2. Altona. 1745.

[5] «Амадис Галльский» был сочинен в начале XIV в. португальским автором (этот вариант не сохранился).

[6] В «Письмах к поощрению гуманности», 87–89 99.

[7] О непосредственно предшествующей «Идеям» литературе о влиянии крестовых походов см. *Schaumkell* . Geschichte der deutschen Kulturgeschichtschreibung... Leipzig, 1905 (Nachdruck 1970). S. 303–304.

[8] Наука об определении времени и широты по положению небесных тел. Фридриху II были подарены, по описанию И.Тритемиуса, астрономические часы.

[9] Знаменитые путешественники XIII в.– начало их путешествий относится соответственно к 1272, 1253, 1246 гг.

[10] *Füssli J.K.* Neue und unparteiische Kirchen- und Ketzerhistorie... Tle 1–2. Frankfurt, 1770–1774.

[11] *Poiret P.* Bibliotheca mysticorum selecta, Amsterdam, 1708; *Arnold* G. Historia et descriptio Theologiae Mysticae... Frankfurt, 1702 (немецкий перевод – 1703).

[12] Христофор Колумб.

[13] Флорентинцу Сальвино дельи Армати приписывалось (1317) изобретение очков; но уже Р.Бэкон знал отшлифованные увеличительные стекла.

[14] Гвидо из Ареццо изобрел ок. 1025 г. способ нотации музыки на четырех линейках, фиксировавших относительную высоту звука.

Указатель имен

Абгар XV Уккама (13–50), правитель Осроэнского царства (Эдесса) 520
Абдаррахман (731 или 734–738), арабский эмир из династии Омейядов, основал халифат в Испании 602
Абеляр, Пьер (1079–1142) 638
Абул Фарадж (897–967), автор "Китаб аль-агани" (собрание избранных гимнов с музыкальным сопровождением), историк, возводил свой род к Омейядам 622
Абу-Одейда (–639), арабский полководец 600
Август, Октавиан (63 до н.э. – 14 н.э.*), римский император (с 31) 415, 435, 437, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 488, 496, 576
Август, принц Саксен-Кобург-Готский 687
Августин, Аврелий (354–430), св. 519, 540, 541, 637
Августин (–604), св., апостол англосаксов, первый архиепископ Кентерберийский 562
Аверинцев Сергей Сергеевич (1937–2004) 713
Аверроэс (Ибн Рошд) (1126–1198), арабский философ 242, 684, 706
Аврелий (Аврелиан), Клавдий Луций Валерий Домиций (214–275), римский император (270–275) 439
Агесилай II (444–358), спартанский царь (399–360) 393
Агис: имя спартанских царей – Агис II (правил 427–399), Агис III (правил 388–331), восставший против Александра Македонского, Агис IV (ок. 244–241), проводивший в Спарте экономические реформы 393
Агриппа, Марк Випсаний (62–12), римский полководец, победитель Помпея (36), Антония в битве при Акциуме (31), строитель Пантеона в Риме (27), инициатор создания географической карты всей Римской империи 439, 442, 446
Агриппина Випсания (Старшая) (17–33), дочь Агриппы, жена Германика; сослана Тиберием 441, 442
Аделунг, Иоганн Кристоф (1732–1806), выдающийся немецкий филолог 666, 667, 695
Адельберт (Этельберт) фон Шамиссо (1781–1838), немецкий писатель и ботаник 562, 563
Адельрих, рано умерший наследник Теодориха 551
Адельстан, король Эссекса 564
Адельхейд (931–999), жена короля Оттона I 571
Адольф см.: Атаульф
Адлер Э., польский германист, автор работ о Гердере 690
Адриан, Публий Элий (76–138), римский император (117–138) 439
Азеллион см.: Семпроний
Акунья см.: Д'Акунья
Аларих (ок. 370–410), царь вестготов 404, 533, 542–544
Александр Великий (Александр III Македонский) (356–323) 261, 324, 339, 344, 346, 356, 367, 370, 386, 405–408, 410, 413, 414, 448, 460, 472, 510, 525, 576, 716
Али (602–661), халиф (656–661) 599, 601, 604
Алкей (VII–VI вв.) 401
Алкивиад (450–404), афинский политик и полководец, племянник Перикла, собеседник Сократа 393, 413

* Указания «н.э.» и «до н.э.» при датах даются лишь в неочевидных случаях.

Алкуин (ок. 730–804), выдающийся ученый, советник Карла Великого 561
Альберт Великий (граф Альберт фон Больштедт) (1193 или 1206–1280), монах-доминиканец, философ, естествоиспытатель, комментатор Аристотеля 639
Альбин(ус) (Albinus), Бернгард Зигфрид (псевд. Вейсса) (1697–1770), анатом, проф. в Лейдене 194
Альбоин (VI в.), вождь лангобардов 551
Аль-Валид, халиф (705–715) 602
Аль-Мамун, халиф (813–834) 521, 602, 604, 607, 610
Аль-Мансур (712–775), халиф (754–775) 602, 607
Аль-Рашид, халиф (786–809) 602
Альфред Великий (849–899), король Англии (871–899) 563, 564, 615, 644, 724
Амаласвинда (Амаласунта) (–535), дочь Теодориха, регентша (с 526) 550
Аммиан Марцеллин (ок. 330 – ок. 400), римский историк (о гуннах пишет в кн. 31 "Римской истории") 502
Амру (Амр ибн аль-Усси) (–664), арабский полководец, наместник Египта 565, 566, 600, 601
Ангильберт (740–814), ученый, дипломат, поэт при дворе Карла Великого 561
Андерсон (Anderson), Адам (1692–1765), шотландский экономист ("История торговли", 1763, нем. пер. 1773) 597, 725
Анк Марций (VII в. до н.э.), четвертый римский царь 420, 446
Анкетиль Дюперрон (Anquetil du Perron), Иасент (1731–1805), французский ученый-востоковед, издатель "Зенд-Авесты" (1771, нем. пер. К.Ф.Клейкера – 1776–1778) 324, 344
Ансгарий, св. (801–865), миссионер, "апостол Севера" 570
Ансельм Кентерберийский (1033–1109) 638
Антиох III Великий (ок. 242–187), сирийский царь (223–187), которому Ганнибал предлагал вступить в союз против Рима 448
Антипатр, Луций Целий (140 до н.э. –), римский историк 442
Антон (Anton), Карл Готтлоб (1751–1818), немецкий историк 501, 720
Антоний, Марк (82–30), полководец Цезаря, член второго триумвирата 431, 435, 436, 440, 443, 449, 453, 483
Антонин Пий (86–161), римский император (138–161) 439
Антония Младшая (ок. 36 до н.э. – 38 н.э.), дочь Антония и Октавии, жена Друза Старшего, мать императора Клавдия 441
Анхерсен (Anchersen), Иоганн Петер (XVIII в.), датский историк, географ ("История исландской литературы", 1777) 499, 720
Аполлоний Пергский (265–170), геометр 399
Аполлоний Родосский (ок. 295 – ок. 215), греческий поэт, автор поэмы "Арго-навтика" 370, 713
Арат Сикионский (271–213), деятель Ахейского союза 407
Арбак, наместник горной Мидии 341
Аринго (Aringo, Aringhi, Аринги́ус, Aringhius), Паоло (–1676), итальянский археолог, автор книги "Подземный Рим" (лат., 1651) 537, 723
Ариовист (I в. до н.э.), вождь германского племени свевов, разбит Юлием Цезарем 496
Ариосто, Лодовико (1474–1533), итальянский поэт, автор поэмы "Неистовый Роланд" 647
Аристид (ок. 540–468), афинский полководец, участник сражений при Марафоне и Саламине; почитался как образец справедливости и неподкупности 393, 453
Аристотель (384–322) 194, 337, 340, 358, 391, 396–398, 400, 401, 411, 445, 472, 491, 609, 611, 637, 638, 676, 685, 712, 713, 716, 717
Аристофан (ок. 445 – ок. 385) 380, 401, 411, 412
Арндт (Arndt), Иоганн Готфрид (1713–1767), историк Лифляндии, конректор лицея в Риге ("Хроника Лифляндии", нем., 1733) 495, 719
Арнольд (Arnold), Готфрид (1666–1714), пиетист, историк церкви, еретических движений, мистических течений 639, 664, 722, 726
Арнольд из Вилла-Нова (Арнольдо Бакуоне) (1235–1312), врач, астроном, алхимик 639

Арнульф (855–899), король франков, правнук Карла Великого, короновался римским императором (894) 571
Архилох (ок. 700 – ок. 645) 401
Архимед (ок. 287–212) 428
Аскольд (Оскольд), легендарный варяг, киевский князь (864-888), правил совместно с Диром 565
Асмус Валентин Фердинандович (1894–1975) 691
Аспазия (ок. 470–400 до н.э.), вторая жена Перикла (490–429) 388
Ассемани (Assemani), Йозеф Симониус (1687–1768), востоковед, хранитель папской библиотеки, издатель "Восточной библиотеки" (лат. 1719–1732, сокр. нем. пер. 1776–1777) 520
Атаульф (–415), король вестготов (412–415) 543, 544
Аттик, Тит Помпоний (110–32), друг Цицерона, автор утраченного обзора римской истории 442
Аттила (Этцель), царь гуннов (ок. 434–453) 460, 478, 502, 547–549, 581
Афанасий, митрополит Александрийский (295–373) 528
Афиней (умер около 200 н.э.), греческий грамматик из египетского Навкратиса 717
Ахард (Achard), Франц Карл (1753–1821), физик, химик в Берлине 26

Байер (Bayer), Готлиб Зигфрид (1694–1738), немецкий историк, филолог, синолог, проф. Российской Академии наук 285, 329, 495
Байи (Bailly), Жан-Сильвен (1736–1793), французский астроном 285, 329, 710
Балдуин I (1058–1118), брат Готфрида Бульонского, король Иерусалимский (1110–1118) 627
Балдуин II, граф Фландрский (1172–1205), император Латинской империи в Константинополе (1204–1205) 628
Бальб, Тит Амплий (I в. до н.э.), претор в 58 г., автор утраченного исторического труда 442
Бальдеус (Baldeus), автор "Описания берегов Ост-Индии" (нем. пер. 1672) 215, 288, 705
Банкрофт (Bancroft), Эдвард (1744–1821), английский естествоиспытатель, химик, автор "Естественной истории Гвианы" (1769) 174
Барбейрак (Barbeyrac), Жан (1674–1744), французский историк права, протестант 529, 723
Барка, Гамилькар (V в. до н.э.), царь Карфагена см.: Гамилькар Барка
Баррингтон (Barrington), Дейнз (1727–1800), английский юрист, историк древней Британии ("Заметки о разных предметах", 1781) 490, 719
Бартолин (Bartholin) Младший, Томас (1659–1690), датский историк ("Три книги датских древностей", лат., 1689) 499, 720
Батый (1227–1255), внук Чингисхана 502
Беггерт Якоб, миссионер, автор сочинения о Калифорнии, изданного в Маннгейме в 1772 г. 703
Бегенау Х. (Begenau H.), автор работ о Гердере 690
Бёкман (Böckmann), Иоганн Лоренц (1741–1802), немецкий физик 27
Бел (Бел-ибни), царь Вавилонии (702–700 гг. до н.э.) 337, 340
Бём (Böhm) Бенно Августин (1891–1929), немецкий философ, специалист по античной философии 715
Бенедикт VIII, папа (1012–1024) 592
Бенедикт Нурсийский, св. (480–547), основатель монастыря в Монте-Кассино, определивший основные принципы монашеской жизни в западной церкви 541, 590, 723
Бергманн (Bergmann), Торберн Олоф (1735–1784), шведский геолог, минералог, химик, проф. в Упсале 37
Беренбах Ф. (Bärenbach F.) 690
Беренгарий Турский (ок. 1000–1088) 638
Бернард, св. 628
Беркли (Berkeley) Джордж (1684–1753) 101, 699
Бернулли (Bernoulli), Жан (Иоганнес) (1667–1748), швейцарский математик 180

Бернье (Bernier), Франсуа (1620–1688), французский врач и путешественник, сообщивший сведения о Кашмире 158
Беттель (Battel), Эндрью (ок. 1565–1614), английский путешественник 85
Бингэм (Bingham), Джозеф (1668–1723), автор книги "Начальный период церковной истории" (лат. 1724–) 537, 723
Блуменбах (Blumenbach), Иоганн Фридрих (1752–1840), естествоиспытатель, проф. в Гёттингене 87, 88, 93, 177, 181, 699
Блэк (Black), Джозеф (1728–1799), английский естествоиспытатель, химик 26
Блэкуэлл (Blackwell), Томас (1701–1757), шотландский ученый, писатель ("Исследования о жизни и произведениях Гомера", 1735) 377, 714
Блэр (Blair), Хьюг (1718–1800), шотландский ученый; критик предромантического направления (предисловие к "Песням Оссиана" Макферсона, 1763) 491
Боде (Bode), Иоганн Элерт (1747–1826), немецкий астроном 14, 18, 696
Бойль (Boyle), Роберт (1626–1691), английский естествоиспытатель 26, 194
Боккаччьо, Джованни (1313–1375) 647
Болингброк (Bolingbroke), Генри Сент-Джон, виконт (1678–1751) 413
Бонавентура, св. (1221–1274) 638
Бонифаций, еп. Майнцский 557
Бонифаций (Винфрид, Винфрит), св. (672 или 676–754), миссионер, ученый, поэт 582
Бонифаций VIII, папа (1294–1303) 589
Бонне (Bonnet), Шарль (1720–1783), швейцарский естествоиспытатель и философ 120, 698, 700
Бонций (Бон, Bontius, de Bondt), Якобус (Жакоб де) (1599–1631), голландский врач, естествоиспытатель, умер на Яве 85
Борлейз (Borlase, Borlace), Уильям (1696–1772), пастор англиканской церкви, естествоиспытатель, метеоролог ("Замечания о древностях графства Корнуолл", 1754) 492, 719
Бособр (Beausobre), Исаак де (1659–1738), пастор в Берлине, автор "Критической истории Мани и манихейства" (1734, 1739) 519, 722
Боссманн (Boßmann), Вильгельм ("Путешествия в Гвинею", нем. изд. 1708) 215, 705
Боутерверк Ф. 692
Боэмонд (Боэмунд), сын Роберта Гвискарда 568, 627
Боэций, Аниций Манлий Торкват Северин (ок. 480–524), римский философ; гос. деятель, советник короля Теодориха, автор "Утешения философией", книг по математике и музыке; казнен по ложному обвинению 444, 484, 550
Брейн (Bruyn) см. Лебрен, Корнель
Бренн, вождь кельтов (сенонов), победил римлян в 387 до н.э. 448, 489
Брекиньи (Brequigny), Луи Жорж Удар Федри де (1714–1794), французский историк ("О Мохаммеде", нем. пер. 1791) 599, 725
Бри, Дебри (Brie) Габриэль-Франсуа-Луи де (XVIII в.), французский гравер 178
Брикман Ж. ле, автор работы о кельтах 719
Британник (42–56), сын императора Клавдия, отравленный Нероном 449
Бругманс (Бругмэнс) (Brugmans), Антон (1732–1789), естествоиспытатель, проф. в Гронингене ("Философские опыты над магнетической материей...", нем. пер. 1784) 187, 703
Брукер (Brucker), Якоб (1696–1770), историк философии, пастор в Аугсбурге ("Критическая история философии", лат. 1742–1744) 519, 722
Бруннер (Brunner) Хорст, автор книги об острове Таити 705
Брут, Марк Юний (85–42), убивший Юлия Цезаря 438, 442, 453, 483, 531
Брут, Юний (VI в. до н.э.) 420, 421, 439
Брюс (Bruce), Джеймс (1730–1794), шотландский путешественник по Африке ("Путешествия в Абиссинию", англ. 1790) 163, 522, 722
Бугенвиль (Bougainville), Луи-Антуан де (1729–1811), французский путешественник 176, 703
Булле (Bullet) Жан Батист (1699–1775), лингвист, автор записок о кельтских языках (1754–1770) 719

Бурхаве (Boerhave), Герман (1688–1738), голландский врач, естествоиспытатель, проф. в Лейдене 26
Бутервек (Боутервек) (Bouterwek) Фридрих (1766–1828), немецкий эстетик и философ, профессор в Гёттингене. 692
Бэкон (Bacon, Baco), Роджер (1214–1294), английский естествоиспытатель и философ и естествоиспытатель по прозвищу "Doctor mirabilis", францисканский монах (с 1250) 639, 644, 726
Бэкон (Bacon) Френсис (Бэкон Веруламский) (1561–1626), 192, 254, 256, 704
Бюлле (Bullet), Жан-Батист (1699–1755), французский богослов, филолог ("Записки о кельтском языке", франц. 1754–1770) 492
Бюттнер (Büttner), Кристиан Вильгельм (1716–1801), филолог, проф. в Гёттингене, с. 1783 жил в Иене 281, 283, 493, 710
Бюффон (Buffon), Жорж Луи Леклерк, граф (1707–1788), знаменитый естествоиспытатель ("Всеобщая естественная история") 20, 49, 51, 68, 74, 81, 86, 163, 177, 179, 275, 297, 698
Бюшинг (Büsching), Антон Фридрих (1724–1793), немецкий географ ("География", 1-ое изд. 1754–1794) 308, 336

Валентиниан III (419–455), византийский император 547
Валерий Максим (1-я пол. 1-го в. н.э.), римский писатель 715
Валерий Флакк (–до 95), римский поэт, автор поэмы об аргонавтах 370, 713
Валерия–имя подруги жены Кориолана в "Кориолане" Шекспира (у Гердера упомянута как историческое лицо) 439
Валле, Пьетро делла (1586–1652), итальянский путешественник ("Путешествия, описанные в частных письмах", итал. 1650–1653, нем. пер. 1674) 338, 712
Валленси (Vallancey), Чарльз (1721–1812), историк Ирландии ("Собрание материалов...", 1786–) 490, 719
Вальтер (Walther), Кристоф Теодосий (1699–1741), лютеранский миссионер в Индии, пиетист, автор грамматики тамильского языка (лат. 1739) 285
Вальх (Walch), Иоганн Георг (1693– 1775), теолог, историк философии 519, 712, 722
Вальх (Walch), Кристиан Вильгельм Франц (1726–1784), проф. теологии в Гёттингене, сын И.Г.Вальха 518, 722
Варениус (Varenius), Бернхард (–после 1650), географ ("Общая география", лат. 1650, "Описание Японии", 1649) 37
Варрон, Марк Теренций (116–27), римский ученый, писатель, автор многочисленных работ ("Древности", "Образы"), из которых сохранились три книги о сельском хозяйстве, фрагменты "Менипповых сатир" и др. 445
Вейфер (Wafer, у Гердера – Waffer), Лионель (ок. 1660–1705), английский врач, путешественник 174
Веласкес (Velasquez) де Веласко, Луис Хозе (1722–1772), испанский историк, археолог ("История испанской литературы", 1754, нем. пер. 1769) 543, 623, 719
Велизарий (505–565), полководец императора Юстиниана, разбил государство вандалов, сражался с остготами, гуннами, персами 551, 552
Вергилий Марон, Публий (70–19) 378, 444, 449, 485, 717, 718, 724
Веррес, Гай (–43/42 до н.э.), римский политический деятель, разграбивший Сицилию (см. семь речей Цицерона против Верреса) 449
Веспасиан, Тит Флавий (9–79), римский император (69–79) 446
Ветурия, мать Кориолана, воспрепятствовавшая его наступлению на Рим 439, 441
Видауре (Vidaure), автор "Истории Чили" (нем. пер. 1782) 176, 703
Видевут (V в.), легендарный король пруссов 495
Виклиф (Wiclef, Wiclif), Джон (1330–1374) 637
Виктор (161–180), св. мученик и воин во время царствования Марка Аврелия 580
Виланд, Кристоф Мартин (1733–1813), издатель журнала "Немецкий Меркурий" 681, 682, 696, 712
Виллис (Willis), Томас (1621–1675), автор "Анатомии мозга" (1664) 90
Вильгельм 1 Завоеватель (1027 или 1028–1087), герцог Нормандский (с 1035), король английский (с 1066) 564, 566, 567, 626

Вильсон (Wilson), Александр (1714–1786), врач, фармацевт, химик, проф. в Глазго 26, 151, 208, 701
Вильямсон (Williamson), Джеймс (–1795), проф в Глазго, математик 202
Винкельман (Winkelmann), Иоганн Иоахим (1717–1768) 381, 385, 417, 652, 657, 674, 714, 715
Винфрид см. Бонифаций
Вириат (убит в 139 до н.э.), вождь лузитанцев в борьбе с Римом 432, 449
Владимир (980–1015), князь киевский 591
Вольтер (Voltaire) (Франсуа Мари Аруэ) (1694–1778) 21, 667, 673, 688, 696
Вольф (Wolff), Каспар Фридрих (1733–1794), естествоиспытатель, врач, анатом 62, 70, 192, 193, 704
Вольф Ф.А., автор работ о Гомере 714
Ворм (Worm, Вормиус, Wormius), Оле (Олавс) (1588–1654), датский врач, исследователь и издатель рунических памятников 499, 720
Врисберг (Wrisberg), Генрих Август (1739–1808), врач, анатом, проф. в Гёттингене 62, 89
Вуд (Wood), Роберт (1716–1771), английский ученый, критик ("Опыт об изначальном гении и произведениях Гомера", 1769) 377
Вульфила (ок. 311–383), еп., переводчик "Библии" на готский язык 533, 607

Газдрубал: имя нескольких полководцев Карфагена: 1) убит в 221 до н.э., заключил мир с Римом (226); 2) брат Ганнибала, разбит римлянами (–207 до н.э.) 358
Гайм (Haym), Рудольф (1821–1901), историк литературы и философии, политик, публицист и педагог 652, 688, 689, 711, 712
Гален, Клавдий (129–199) 98, 99, 194, 611, 676, 699
Галл, св. 555
Галлей, Эдмонд (1656–1742), английский астроном 188
Галлер (Haller), Альбрехт фон (1708–1777), швейцарский естествоиспытатель, писатель, дидактический поэт 56, 61, 89, 91, 179, 180, 206, 657, 658, 698, 699, 712, 724
Гальба, Сервий Сульпиций (5 до н.э. – 69 н.э.), римский император (68–69) 431
Гаман (Hamann) Иоганн Георг (1730–1788), немецкий критик, писатель, философ-иррационалист, сторонник учения о *непосредственном знании* 652, 683, 696
Гамилькар Барка (III в. до н.э.), карфагенский полководец 358
Ганнибал (247–183), карфагенский полководец, сын Гамилькара 358, 429, 448, 488
Ганье (Gagnier), Жан (1670–1740), французский востоковед ("Жизнь Магомета", франц. изд. 1732) 599, 725
Ганнон, гос. деятель и полководец в Ливии, политический противник Гамилькара Барки и Ганнибала 358
Гарвей (Harvey), Уильям (1578–1657), английский врач, открыл кровообращение ("О происхождении животных", лат. 1651) 192, 194
Гарткнох (Hartknoch), Кристоф (1644–1687), историк Пруссии, проф. гимназии в Торне ("Трактат о начальном периоде Пруссии", нем. 1674, и др.) 494
Гарун аль-Рашид, халиф из династии Аббасидов (766–789) 602, 607, 609
Гаттерер (Gatterer), Иоганн Кристоф (1727–1799), проф. всеобщей истории в Гёттингене 27, 329, 335, 339, 493, 542, 697, 712, 713
Гаубиус (Gaubius), Иероним Давид (1705–1780), врач ("Установления медицинской патологии", лат. 1758) 188, 194, 704
Гвидо Аретинский (Гвидо д'Ареццо; Аретино) (955–1050), бенедиктинский монах, теоретик музыки 645, 726
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) 671, 673, 676, 689, 692, 716
Гейзерих (Geiserich, Genserich) (–477), король вандалов 547–549, 581
Гейне (Heyne), Кристиан Готлиб (1729–1812), филолог, проф. в Гёттингене 181, 373–375, 377, 381, 382, 387, 399, 417, 694, 703, 714
Геллимер (VI в.), последний король вандалов (530–534) 548
Геллий, Авл (ок. 130 до н.э –), римский историк ("Аттические ночи") 442
Гелон (–478 до н.э.), тиран Гел, затем Сиракуз, победитель карфагенян 358
Гельвеций, Клод-Адриен (1715–1771) 100, 662, 699, 700

Гемстергейс (Hemsterhuys), Франс (1721–1790), голландский философ 14, 696
Генри (Henry), Роберт (1718–1790), английский историк ("История Англии...", (1771–1793) 490, 719
Генрих I Птицелов (876–936), немецкий король (919–936) 571–573
Генрих II Саксонский, св. (973–1024), немецкий король и император (1002–1024) 592
Генрих VI (1165–1197), немецкий король и император (1190–1197) 628
Генрих VIII (1491–1547), английский король (1509–1547) 647
Георги (Georgi), Иоганн Готлиб (Иван Иванович) (1735–1802), историк, этнограф, член Академии наук в Санкт-Петербурге ("Описание всех народностей Российской империи", 4 тт. СПб., 1776) 152–154, 157, 178, 288, 321, 377, 701
Георгиус (Georgius), Августин Антоний, филолог, автор "Тибетского алфавита" (1762) 321
Гёранссон (Göransson), Иоганн (1712–1769), издатель рунических надписей (1750) 499, 720
Герберт (папа Сильвестр II) (940 или 950–1003; папа с 999 по 1003) 596, 639, 725
Гердер (Herder), Иоган Готфрид (1744–1803): упоминания его трудов 292, 651, 672, 677–679, 681, 685–687
Гердер (Herder), Каролина 668
Геркен (Gercken), Филипп Вильгельм (1722–1791), историк Пруссии, дипломатики, юрист 501, 720
Герман (Арминий) (ок. 18 до н.э. – ок. 20 н.э.), полководец херусков, разбил в 9 н.э. римские войска в Тевтобургском лесу 496
Герман I, ландграф Тюрингенский (–1217) 623
Германик (15 до н.э. – 19 н.э.), римский полководец, сын Друза, усыновлен Тиберием, отец Калигулы, муж Агриппины 439, 441, 442, 449, 453
Германн (Hermann), Бенедикт Франц (1750 или 1755–1806), австрийский естествоиспытатель, физик, техник, геолог, с 1783 на русской службе ("Работы по физике, экономике, минералогии, химии, технологии и статистике, прежде всего России и сопредельных стран", 3 тт., 1706–1788) 308, 711
Германн Фр., автор "Работ по физике", (Берлин, 1786) 308
Геродот (ок. 484–425) 324, 341, 370, 400, 475, 714, 716
Гершель (Herschel), Фридрих Вильгельм (1738–1822) 411
Гесиод (VIII–VII вв.) 289, 375, 377, 383, 711, 714, 715
Гёте (Goethe), Иоганн Вольфганг фон (1749–1832) 507, 651, 653, , 654, 661, 664, 665, 679, 688–690, 696, 699, 706, 717, 721
Гиббон (Gibbon), Эдвард (1737–1794), английский историк, автор "Причин падения и гибели Римской империи" (1782–1788) 534, 716, 723
Гильдебранд (ок. 1021–1085), папа Григорий VII (1073–1085) 567, 582, 589, 590, 627
Гиппократ (ок. 460–370) 161, 190, 194, 382, 704
Глиссон (Glisson), Френсис (–1677), английский врач, автор работ по возбудимости тела (1671) 194
Гмелин (Gmelin), Иоган Фридрих (1748–1804), медик, химик, проф. в Гёттингене 189
Гмелин (Gmelin), Самуэль Готлиб (Гмелин-Старший) (1743–1774), врач, путешественник, проф. естественной истории, член Петербургской Академии наук 153, 701, 704
Гнедич, Николай Иванович (1784–1833), русский поэт, писатель и переводчик 717
Гоббс (Hobbes), Томас (1588–1679) 266, 682, 705
Гоге (Goguet), Антуан Ив (1716–1758), французский историк ("О происхождении законов, искусств, наук у древних народов", 1758; нем. пер. 1760–1762) 284, 335, 710
Гоголь, Николай Васильевич (1809–1852) 690, 691
Гольбах (Holbach), Поль Анри (1723–1789), французский философ-материалист 700
Гомер (VII или VIII в. до н.э.?) 250, 342, 370, 374, 377–379, 382, 385, 400, 401, 410–413, 425, 432, 444, 475, 491, 498, 561, 714, 715–717
Гонорий (384–423), римский император (393–423) 542
Гораций Кокл (VI в. до н.э.), герой, прославившийся в борьбе Рима с Порсенной (508 до н.э.) 420

Гораций Флакк, Квинт (65–8) 444, 449, 698, 705, 723
Гортензий Хортал, Квинт (114–50), римский политический деятель, юрист, оратор 442, 443
Готофредус (Gothofredus), Якоб (1587–1652), правовед в Женеве ("Пролегомена к Кодексу Феодосия", лат. 1665) 543
Готтсхальк (Готтшальк) (конец XI в.), монах, проповедник крестового похода 627
Готтфрид Бульонский (1061–1100) 627
Гравесанд (s'Gravesand), Виллем Якоб (1688–1742), голландский математик и физик, популяризатор учения Ньютона 26
Гракх, Гай (младший) (153–121 до н.э.) 439, 441
Гракх, Тиберий Семпроний (старший) (162–133 до н.э.), народный трибун, автор аграрных законов, ограничивающих землепользование 428, 432, 439, 441
Грельман (Grellmann), Генрих Мориц Готлиб (1756–1804), историк, проф. в Гёттингене и Москве (1804) ("Цыганы, исторический очерк...", 1783) 504, 721
Григорий I Великий, папа (590–604) 541, 554, 562
Григорий VII см. Гильдебранд
Гулыга, Арсений Владимирович (1921–1996) 651
Гумбольдт, Вильгельм фон (1767–1835) 692
Гумилев, Лев Николаевич (1912–1992), основатель пассионарной теории этногенеза 722
Гумилла (Gumilla), Хозе (1686–1750), испанский путешественник, миссионер 175, 703
Гундебальд (правильно – Гундобад), король бургундов (473–516) 556
Гупель (Hupel), Август Вильгельм (1736–1819), историк, географ ("Топографические сведения о Лифляндии и Эстляндии", тт. 1–3, нем. 1774–1782) 495, 719
Гус, Ян (1369–1415) 637
Гюйгенс (Huygens), Кристиан (1629–1695) 14, 16, 696

Давид, царь Израильско-Иудейского царства (конец 11 в. – около 950 до н.э.) 349, 352, 713
Д'Акунья (d'Acunja, d'Acunha), Кристобаль (1597–1675), иезуит, миссионер в Чили и Перу 175, 702
Дайе см. Даллеус
Д'Аламбер, Жан Лерон (1717–1783) 653
Даллеус (Dalleus, Дайе, Daillée), Иоганнес (Жан) (1594–1670), французский протестантский богослов 528, 723
Даниил, пророк 340
Данте Алигьери (1265–1321) 647
Дарвин, Чарлз Роберт (1809–1882) 690
Дарий I (549–486), персидский царь (522–486) 343, 345, 346, 408, 409, 465
Дарий III (убит в 330) 344, 712
Дарий Гистасп, отец Дария I 345
Дебри см. Бри
Дебрюи Пьер (сожжен в 1120 г.) 636
Дегинь (Deguignes), Жозеф (1721–1800) историк, издатель "Шу-цзина", автор книг по истории Китая, Турции, Монголии, Египта 287, 310, 329, 519, 710
Дейок, царь Мидии (727–675) 341
Декарт (Descartes), Рене (1596–1650) 20, 660, 663
Делиль (Delisle de Sales), автор работы по истории философии примитивных народов 329, 712
Делюк (de Luc), Жан-Андрэ (1727–1817), французский физик, астроном, метеоролог 27
Деляброс (de la Brosse), Ги де (–1641), французский врач и ботаник 86
Демокрит (460–371) 401
Демосфен (384–322) 412, 443
Дампиер (Dampier), Уильям (1652–1715), английский путешественник, исследователь и пират 169

Демпстер (Dempster), Томас (1579–1625), шотландский историк, преподавал во Франции и Италии ("Об Этрурии при царях", лат. 1724) 416, 417, 717
Державин, Гавриил Романович (1743–1816) 690
Деций Мус, Публий – имя нескольких представителей римского семейства Де-циев, жертвовавших собою родине 439
Джанноне (Giannone), Пьетро (1676–1748), историк, автор "Неаполитанской истории" (1723) 553, 724
Джиллис (Gillies), Джон (1747–1836), переводчик Лисия и Исократа, шотландский историк и филолог 394
Джованни ди Плано Карпини (Карпино) (ок. 1182–1252), монах-францисканец, путешественник ("История монголов", рус. изд. М., 1957) 634
Джонс (Jones) Р. (XVIII в.), автор работ по языкознанию 719
Джонс (Jones), Уильям (1746–1794), английский востоковед ("Рассуждения о литературе Востока", франц. 1771) 284, 490, 622, 690 (проверить написание фамилии) 726
Дидро, Дени (1713–1784) 653
Дильс (Diels) Германн (1848–1922), немецкий историк философии, специалист по античности 715
Диодор Сицилийский (ок. 60–30), греческий историк 83, 204, 270, 360, 371, 699, 705, 710, 713, 715
Диокл (V в. до н.э.) 408
Дион (уб. в 357 до н.э.), тиран Сиракуз 393
Дионисий I (430–367), тиран Сиракуз 397, 716
Дионисий II (367–344), тиран Сиракуз 716
Дионисий Ареопагит, первый апостол Афин (Деяния апостолов 17, 34), которому приписывались называемые "Ареопагитиками" созданные в V в. философско-теологические сочинения 639
Дионисий Галикарнасский (I в. до н.э.), греческий ритор и историк, жил в Риме 400, 716
Диоскорид (Диоскурид) Александрийский (I в.), врач, издатель Гиппократа 611, 676
Дир, легендарный варяг, киевский князь (правил совместно с Аскольдом). Умер в 882 г. 565
Дитрих Бернский см. Теодорих
Дице (Dieze), Иоганн Андреас (1729–1785), немецкий историк, археолог, проф. в Гёттингене, переводчик "Истории испанской литературы" (1760) Веласкеса 489, 719
Добантон (Daubenton), Жан-Луи-Мари (1716–1800), анатом 52, 68, 88
Доббек В. (Dobbek W.), автор работ о Гердере 690
Добнер (Dobner), Феликс Иов (в монашестве–Геласий) (1719–1790), монах-пиарист, историк ("Памятники истории Богемии", лат. 1764) 501, 720
Добритцхофер (Dobritzhofer), Мартин (1717–1791), католический миссионер среди индейцев Южной Америки ("История абипонцев", 1784) 175, 202, 208, 213, 703
Добровский (Dobrovsky, Dobrowsky), Йосеф (1753–1829), чешский ученый-просветитель, славист 501, 720
Домиций Корбулон, Гней (I в.), римский полководец при Клавдии и Нероне 442
Донат Элий (Donatus Aelius) (IV в.), римский грамматик, автор "Искусства грамматики", комментариев к Теренцию и к Вергилию 724
Дорошенко В.В. 668
Доу (Dow), Александр (–1779), шотландский историк, востоковед ("История Индостана", англ. 1767–1768) 215, 288, 324, 325, 705, 711
Дракон (Драконт), один из фесмофетов, автор Кодекса Дракона (ок. 621 до н.э.) 390
Дрогон (Дрого) Шампанский (ок. 670–708), вождь норманнов 568
Друз Нерон Клавдий (38–9), римский полководец 439, 441, 449
Дунс Скот см. Иоанн Дунс Скот
Дуэнар (D'Oihenart), Арно (1592–1668), баскконский поэт и историк ("Записки об обеих Баскониях", лат. 1638) 488
Дюпен (Dupin), Луи Элли (1657–1719), французский историк 528, 723

Дюпюи Раймон (1120–1160), основатель ордена госпитальеров 631 631
Дюрер (Dürer), Альбрехт (1471–1528) 197, 704
Дюфренуа, Никола Ленгле см. Персель, Гордон

Евандр – герой, помогавший Энею (см "Энеиду" Вергилия) в борьбе с латинянами; основатель поселения на месте будущего Рима 419
Евдоксия (Eudokia, Eudoxia) (V в.), дочь Валентиниана III внучка Феодосия II, супруга Онориха. 547
Евдоксия (Eudokia, Eudoxia), (V в.), дочь Феодосия II, супруга Валентиниана III. 547
Евклид (365–300) 398, 399, 401, 462, 611, 676
Еврипид (ок. 480–406) 380, 412, 713
Евтихий (V в.), константинопольский архимандрит, основатель еретического учения монофизитов 722

Жан-Поль (Рихтер, Иоганн Пауль Фридрих) (1763–1825) 654, 669, 696, 712, 716
Жирмунский Виктор Максимович (1891–1971), филолог, академик АН СССР (1966) 691, 694
Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) 690

Залевк (VII в. до н.э.), знаменитый законодтель, автор древнейших писаных законов у греков 408
Землер (Semler), Иоганн Соломон (1725–1791), теолог, проф. в Галле 519, 528, 529, 722, 723
Зёммеринг (Sömmering), Самуэль Томас фон (1755–1830), анатом, проф. в Касселе и Майнце 62, 196
Зенон Элейский (ок. 490–430) 472
Зороастр (1-я пол. I тысячелетия до н.э.), древнеиранский мудрец 288, 344, 345, 369, 470
Зубов В.П., автор работ об Аристотеле 716
Зульцер (Sulzer), Иоганн Георг (1720–1779), швейцарско-немецкий философ, эстетик 254
Зульцер (Sulzer), Франц Йозеф (1727–1791), австрийский географ и историк ("История Дании", нем. 1781–1782) 501
Зум (Suhm), Петер Фредерик (1728–1798), датский историк, филолог, организатор комиссии по изданию древнескандинавских памятников (1772), автор "Критической истории Дании" (14 тт., 1782–1828) 493, 499, 720
Зупхан Бернхард (1845–1911), издатель Гердера 692, 693, 706

Иаков, св. 546
Иероним, св. 540
Изелин Исаак (1728–1782), швейцарский просветитель 665, 668
Изерхельм (Iserhielm), Карл (XVII–XVIII вв.) 545
Иисус Навин, правитель Иудеи после Моисея 351, 712, 713
Иисус Христос 508, 511–514, 516, 517, 520, 529, 531, 537, 716
Ина (688–726), англосаксонский король Вессекса 562, 563
Ингенхаус (Ingen-Housz, Ingenhousz), Иоганнес (1730–1799), голландский врач, естествоиспытатель 45
Иннокентий III, папа (1198 –1216) 589
Иоанн (– ок. 100), евангелист 369, 527
Иоанн (XII в.), пресвитер 520
Иоанн Грамматик (VI в.) 601
Иоанн Дунс Скот (ок. 1266–1308) 638
Иоанн Златоуст (Хризостом) (347–407) 411, 531, 723
Иоанн Скот Эриугена (ок. 810 – ок. 877) 638
Йордан (Jordan), Иоганн Кристоф фон, историк ("О происхождении славян", лат. 1745) 501, 720
Иосиф, отец Иисуса 517

Ираклий (575–641), византийский император (610–641) 500
Ирвинг (Irwing), Карл Франц фон (1728–1801), философ в Берлине 274, 710
Ире (Ihre), Иоганн(ес) (1707–1780), шведский историк, лингвист, лексикограф, проф. в Упсале 493, 499, 720
Иреней (ок. 140–202), богослов, еп. Лугдунский (Лионский) 528
Исократ (436–338), греческий оратор 394, 715

Калигула (12–41), римский император (37–41) 453
Каликст (Calixt, Каллисен, Kallisen), Георг (1586–1656), теолог, проф. в Хельм-штедте 528, 723
Кальвин Жан (1509–1564) 647
Кальм (Kalm), Пер (1716–1799), шведский естествоиспытатель ("Путешествие по Северной Америке", 1753–1761) 201, 202
Камбиз II, персидский царь (539–522) 343, 356, 364, 460
Камилл, Марк Фурий (423–364), римский патриций, сражался с эквами, вольсками, галлами, отстроил Рим, "отец отечества" 439, 448
Кампер (Camper), Петер (1722–1789), голландский врач, анатом 62, 68, 86, 98, 102, 165, 167, 383, 699
Канаев И.И., автор работ о Гёте и Гердере 699
Кант (Kant), Иммануил (1724–1804) 14, 651, 652, 654, 659, 660, 662, 679–687, 689, 692, 696, 705, 711, 716
Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) 690
Карвер (Carver), Джонатан (1710–1780), американский путешественник ("Путешествие по внутренним областям Северной Америки", англ. 1778, нем. пер. 1780) 171, 215, 230, 705, 706
Кардон (Cardonne), Дени-Доминик (1720–1785), историк, автор "Истории Африки и Испании при господстве арабов" (нем. пер. 1768) 605, 622, 725
Карл Великий (742–814), король франков (768–814), император (800–814) 488, 500, 550, 552, 553, 556, 558–566, 569–571, 579, 581, 592, 623, 624, 644, 724
Карл Мартелл (688–741), майордом франкского государства (715–741) 556, 557
Карл V (1500–1558), король и император (1519–1556) 631, 647
Карш, Каршин (Karsch, Karschin), Анна Луиза (1722–1791), немецкая поэтесса 146, 700
Кассий Гемина, Луций (II в. до н.э.), римский историк 442
Кассий Дион (150–235), греческий историк 392, 718
Кассиодор (ок. 490 – ок. 583), римский государственный деятель, писатель, историк, богослов 550
Кастильон, Кастийон (Castillon, Castilhon), Жан-Луи (1720– после 1790), французский публицист ("Опыт о происхождении неравенства среди людей", франц. 1756) 188, 704
Катилина, Луций Сергий (108–62) 436, 449
Катон, Марк Порций (Катон Старший) (234–149) 436, 439, 441–443, 531
Катул, Квинт Лутаций (–87 до н.э.), римский полководец в войне с кимврами, консул 102 г., автор "Записок" 442
Квинтилиан, Марк Фабий (ок. 32 – ок. 96), римский оратор, автор "Ораторских установлений" в 12 кн. 543
Кевендиш (Cavendish), Томас (1555?– 1592), английский мореплаватель, совершил кругосветное путешествие 176, 703
Кедмон Уитбийский, преп. (657–680), монах, пастух, христианский поэт англосаксов 607
Кейлюс (Caylus), Анн-Клод-Филипп де Тюбьер, князь (1692–1765), филолог 488, 519
Кейслер (Keyßler), Иоганн Георг (1693–1743), исследователь древнегерманской литературы, религии ("Избранные древности Севера", лат. 1720) 499, 720
Кеплер (Kepler), Иоганнес (1571–1630) 14, 20
Кёртис (Curtis), Роджер, автор "Подробного сообщения о Лабрадоре" (1774) 150, 151
Кёстнер (Köstner), Абрагам Готхельф (1719–1800), математик, поэт, проф. в Гёттингене 16, 188, 703

Киен-Лонг (1709–1799), китайский император 314, 316
Кимон (510–449), афинский политик 393
Киприан, Тасций Цецилий (ок. 200–258), еп. Карфагенский 540
Кипсел (умер в 627 г. до н.э.), тиран Коринфа 382, 383, 714
Кир, персидский царь (559–530) 341–343, 349, 368, 712, 716
Кирилл, патриарх Александрийский (412–444) 528
Кирхер (Kircher), Атаназиус (1601–1680), универсально образованный ученый, иезуит, проф. в Вюрцбурге 16, 696
Клавдий (10 до н.э. – 54 н.э.), римский император (41–54) 442
Клавихеро (Clavigero, Clavijero), Франсиско Саверио (1731–1793), иезуит, историк, автор "Древней истории Мексики" 173, 702
Кларк Р. (Clark R.), автор работ о Гердере 690
Клейст (Kleist) Генрих фон (1777–1811), немецкий писатель 712
Клеомен, спартанский царь (ок. 520–490) 393, 403
Клеопатра VII (69–30), правительница Египта, жена Птолемея XIII, Птолемея XIV, любовница Юлия Цезаря, жена Антония 431
Климент Александрийский (150–215), богослов, руководитель церковной школы в Александрии, отец церкви 527
Клингштедт (Klingstedt), Теофил фон ("Записки о самоедах и лаппах", франц. 1762) 152, 153, 701
Клодий Пульхер, Публий (92–52), римский политический деятель 435
Клотильда (Хлотильда) (475–545), бургундская принцесса, супруга франкского короля Хлодвига, побудила его к принятию христианства, канонизирована папой Пелагием. 555
Клувий Руф, Марк (I в. до н.э.), римский историк, использованный Тацитом, консул 45 г. 442
Клюбер (Klüber), Иоганн Людвиг (1762–1837), юрист, историк права, дипломат, переводчик Ла Кюрна де Сен-Пале 620
Кнебель Карл-Людвиг (1744–1834), немецкий писатель из Веймарского кружка 661, 688
Кнут II Великий (ок. 1000–1035), король датский (1014–1035) и английский (1016–1035) 564
Колден (Colden) см. Кэдуалледер Колден
Колумб, Христофор (1451–1506) 644, 726
Колумбан, св. (543–615), ирландский монах, миссионер, писатель, основатель монастырей в Бургундии и в Италии 555
Колумелла, Луций Юний Модерат (I в.), римский писатель, автор книг о земледелии 543
Коммерсон (Commerson), Филибер (1727–1773), французский врач, естествоиспытатель, путешествовал на о. Мадагаскар в 1771 г. 175, 181
Кондамин (Condamine), Шарль Мари де ла (1701–1774), французский математик, путешествовал по Южной Америке 175, 702
Конон (– 392 до н.э.), афинский флотоводец 393
Конрад I (– 918), король восточных франков (911–918) 571
Конрад III (1094–1152), немецкий король (1138–1152) 628
Конрадин, герцог швабский (1252–1268), последний потомок Гогенштауфенов, лишен сицилийского престола 589
Константин Африканский (Карфагенский) (–1087), путешественник, врач 638
Константин I Великий (280–337), римский император (306–337) 517, 530, 664
Константин VII Багрянородный (Порфирогенет) (905–959) 532, 723
Конфуций (551–478) 309, 316, 320, 453, 470, 679
Коперник, Николай (1473–1543) 14
Корбулон, Гней Домиций см. Домиций
Кординер (Cordiner), Чарльз (ок. 1746–1794), историк ("Древности Северной Шотландии...", 1780) 490, 719
Кориолан, Гней Марций (VI–V вв до н.э.) 439, 441
Корн В.Г. , автор работ по истории торговли и др. 725

Корнелия (II в. до н.э.), мать Гракхов 439, 441
Корнут (ок. 20 до н.э. – ок. 54 н.э.), римский поэт 444
Корреджо (Correggio) (наст. фам. Аллегри, Allegri) Антонио (ок. 1489–1534), итальянский живописец, представитель Высокого Возрождения 695
Корсун А.И., переводчик 705
Кох (Koch) Кристоф Гвиллауме де (1737 –1813) 520, 722
Кранц (Cranz), Давид (1723–1777), пиетист, проповедник в Силезии, миссионер в Гренландии (1761–1762) 149–151, 185, 210, 211, 701
Красс, Марк Лициний (115–53), римский полководец, участник первого триумвирата с Цезарем и Помпеем 431, 450
Крашенинников, Степан Петрович (1711–1755), исследователь Камчатки, проф. Академии наук в Петербурге 215
Краузе (Krause), Иоганн Кристоф (1749–1799), историк, проф. в Галле ("История важнейших событий современной Европы", 1789) 542, 724
Крелль (Crell), Лоренц Фридрих фон (1743–1816), немецкий физик, врач, проф. в Хельмштедте 188, 703
Кремуций Корд, римский историк при императоре Тиберии 442
Кронеберг Э. (Kroneberg E.), автор книги о Гердере (1899) 690
Крофорд (Crawford), Эдейр (1749–1795), физик, врач в Лондоне 26, 188, 703
Ксенофонт (430–354) 341, 342, 391, 397, 400, 405, 712, 716
Ксеркс (ок. 519–464), персидский царь (486–464) 343, 358, 373, 404, 408, 465
Кук (Cook), Джеймс (1728–1779) 157, 170, 171, 173, 178, 186, 227, 697, 701
Купле (Couplet), Филипп (1622–1693), французский ученый, иезуит-миссионер, соавтор книги о Конфуции (1687), автор каталога миссионеров в Китае (1686) 310
Курион, Гай Скрибоний (– 49 до н.э.), консул 76 г., построил амфитеатр в Риме 446
Куртис Р. (Curtis R.), автор работы об острове Лабрадор 701
Кэдуаллеder Колден (Cadwallader Colden) (1688–1776), врач и философ, чиновник английской администрации в Северной Америке, этнограф ("История пяти индейских народов, живущих вблизи Нью-Йорка", 1727) 171
Кюнеманн Э. (Kühnemann T.), автор работ о Гердере 690

Лагербринг (Lagerbring), Свен (1707–1787). историк ("Очерк истории шведского королевства", 1769–1783, нем. пер., 1776) 493
Лаксманн (Laxmann), Эрих (1737–1796), путешественник, минералог, член Академии наук в Петербурге, жил в Иркутске 171, 702
Ла Кюрн де Сен-Пале (La Curne de St.-Palaye), Шарль де (1697–1781), французский ученый ("Записки о старинном рыцарстве", 1759–1781, нем. пер. И.Л.Клюбера, 1786–1791) 519, 620, 726
Ламберт (Lambert), Иоганн Генрих (1728–1777), немецкий философ, математик, логик, астроном 14, 16, 27, 696
Ламетри (Lamettrie, La Mettrie) Жюльен Офре де (1709–1751), французский философ, врач 698, 700
Ланфранк (1005–1089), философ, богослов, архиеп. Кентерберийский (1070–1089) 638
Лао-цзы (Ли Эр) (4–3 вв. до н.э.), автор древнекитайского трактата "Дао дэ цзин", основатель *даосизма* 309, 320
Ларраменди (Larramendi), Мануэль де (1690–1776), испанский филолог, исследователь баскского языка 488, 489, 718
Лафатер (Lavater) Иоганн Каспар (1741–1801), швейцарский писатель, автор трактата "Физиогномические фрагменты..." (1775–1778) 699, 704
Лафито (Lafitau), Жозеф Франсуа (1670–1740), французский миссионер в Канаде, этнограф ("Нравы дикарей в сравнении с нравами первобытных народов", 1723) 215, 705
Лебо (Lebeau), Ж.Л., автор описания путешествия в Северную Америку (1738) 215, 705
Лебре (Le Bret), Иоганн Фридрих (1732–1807), немецкий историк, проф. в Тюбингене ("История Венецианской республики по Ложье", 1769–) 617, 726

Лебрен, Брейн (Le Brun, Bruyn), Корнелис де (1652–1726 или 1727), голландский художник, автор описания путешествий в Персию, Московию, Турцию (голл. 1711) 159, 160, 178, 702
Лебриган (Le Brigant), Жак (1720–1814), французский ученый, лингвист, автор грамматики кельтского языка (1779) 492
Лев I Великий, св., папа (440–461) 549, 723
Лев IV, св., папа (847–855) 563
Леем (Leem), Кнуд (1697–1774), миссионер в норвежской Лапландии ("Описание лаппов в Финмарке, их языка, нравов и древнего идолопоклонства", 1746, нем. пер. 1774) 152, 701
Лежантиль (Le Gentil) де ля Галезьер, Гийом Иасент Жан Батист (1726–1799),французский писатель, офицер в Индии 168, 285, 326
Лейбниц (Leibniz, Leibnitz), Готфрид Вильгельм (1646–1716) 72, 146, 254, 593, 663, 696, 698–700, 706
Лейсте (Leiste), Кристиан (1738–1815), автор записок по истории Латинской Америки 36, 697
Леклерк (Le Clerc), Жан (1657–1736), проф. церковной истории в Амстердаме 528, 529, 723
Леконт (Le Comte), Луи, миссионер в Китае 310
Леовигильд, король вестготов в Испании (569–586) 544
Леонтьев, Алексей Леонтьевич (1716–1786), русский китаевед 308
Леопольд V (1157–1194), герцог австрийский (1177–1194), участник крестового похода 628
Лепелетье (Le Pelletier), Дом Луи де, автор словаря бретонского языка (1751) 490, 719
Лери (Léry, Léri), Жан де (– 1611), швейцарский миссионер-кальвинист ("Путешествие в землю Бразилию, иначе называемую Америкой", франц. 1580, лат. 1586) 175, 702
Лессинг Готхольд Эфраим (1729–1781) 652, 653, 657, 662, 665, 666, 678, 679, 690, 711, 715
Либон, Луций Скрибоний (II в. до н.э.), римский историк 442
Ливий, Тит (59 до н.э. – 17 н.э.) 442, 717
Ливия Друзилла (58 до н.э. – 29 н.э.), третья жена Августа, мать Тиберия 440, 441
Ликург, легендарный законодатель Спарты 390, 391, 393, 396, 714
Лилиенталь (Lilienthal), Иоганн Михаэль (1686–1750), историк Пруссии, проф. в Кёнигсберге ("Изъясненная Пруссия...", 3 тт. 1724–1726) 494, 719
Линденброг (Линденбруг, Тилиоброга) (Lindenbrog, Lindenbrug, Tiliobroga), Фридрих (1573–1648), адвокат в Гамбурге, филолог ("Кодекс древних законов...", 1613) 544
Линднер Х. (Lindner H.), автор работ о Гердере 690
Линней (Linné, Linneus), Карл фон (1707–1778), шведский естествоиспытатель, ботаник ("Философия ботаники", 1751; "Система природы", 1735, нем. пер. 1773–1800) 44, 45, 50, 51, 81, 279, 659, 697
Лионне (Lyonnet), Пьер (1707–1789), голландский натуралист и гравер, знаменит изучением и замечательными иллюстрациями анатомии насекомых 66, 74
Лисандр (–395 до н.э.), спартанский полководец 393
Лисий (ок. 445 – ок. 380 до н.э.), афинский оратор 394, 715
Литт Т. (Litt Th.), автор работ о Гердере 690
Лихтенберг (Lichtenberg) Георг Кристоф (1742–1799), выдающийся немецкий просветитель 702
Лихтенштадт В., автор книги о Гёте 661
Лициний Мацер, Гай (I в. до н.э.), народный трибун, враг Суллы, автор "Анналов" 442
Ллойд (Lloyd, Lhuyd, Llwyd), Хемфри (1527–1568), историк Уэльса, картограф 490, 492, 719
Лобу (Lobo), Херонимо (1595–1678), португальский миссионер ("Научное путешествие в Абиссинию", франц. 1728) 163, 702

Лосев, Алексей Федорович (1893–1988) 715
Луден, Генрих (1780–1847), немецкий историк 693
Лудольф (Ludolf), Иов (1624–1704), филолог и историк ("Эфиопская история", лат. 1681 с последующими дополнениями) 163
Лукан, Марк Анней (39–65), римский эпический поэт, автор "Фарсалии" 543
Лукреций Кар, Тит (96–55) 444
Лукреция (VI в. до н.э.) 421
Лукулл, Луций Лициний (117–57), римский полководец 430, 431, 436, 549
Лукцей, Луций (I в. до н.э.), историк, друг Цицерона 442
Луллий см. Раймунд Луллий
Лулофс (Lulofs), Иоганн (1711–1768), проф. математики, астрономии, философии в Лейдене 37
Луций Корнелий Бальб (I в. до н.э.), римский полководец, консул (40 г.) 442
Луций Сикций Дентат (ок. 514 – ок. 450), легендарный древнеримский ветеран, консул и народный трибун. Участник более 120 битв, имел более 40 ранений 423
Людвиг IV Баварский, германский король и император (1314–1347) 638, 647
Людовик I Благочестивый (778–840), король франков, император (814–840) 561, 592
Людовик II Немецкий, король восточных франков (855–875) 569, 571
Людовик VII (ок. 1121–1180), французский король (1137–1180) 628, 632
Людовик IX, св. (1214–1270), французский король (1226–1270) 626, 629
Людовик XIV (1638–1715), французский король (1643–1715) 632
Людовик XVI (1754–1793), французский король из династии Бурбонов 664, 679

Магнеи, Магнеусы: латинизированное имя нескольких исландских ученых-историков см.: Магнуссон
Магнуссон (Magnusson), Арне (Арнас) (1663–1730), исландский ученый, исследователь скандинавских древностей 499, 720
Магомет (Мохаммед, Мухаммед) (569–632), исламский пророк 214, 520, 522, 583, 599–602, 604–609, 622
Майяк (Maillac), Жозеф Анн Мари де (1679–1748), миссионер в Пекине, иезуит ("Всеобщая история Китая...", 12 тт. 1777–1788) 310
Майер (Mayer), Тобиас (1723–1762), немецкий физик, астроном, географ 27
Макиавелли (Макъявелли, Macchiavelli) Никколо (1469–1527) 420, 717
Макинтош (Mackintosh), Уильям (1662–1743), английский путешественник 109, 158, 184, 325
Максимилиан I (1459–1519), германский король, император (1493–1519) 647
Макферсон (Macpherson), Джеймс (1736–1796), шотландский поэт, автор "Песен Оссиана" (1760–1765) 489, 490, 714, 719
Манефон из Себеннита (III в. до н.э.), египетский жрец, автор исторического труда 347
Мани (217–274 или 277), основатель религиозно-философского учения 519, 635
Маннерт (Mannert), Конрад (1756–1834), немецкий историк 548
Маргграф, Маркграф (Marggraf, Markgraf), Георг (–1644), естествоиспытатель ("Естественная история Бразилии", лат. 1648) 175, 702
Марий, Гай (156–86), римский полководец и политик, консул 105–110 и 86 гг. , победитель Югурты (104), кимвров и тевтонов 415, 424, 426, 430, 435, 438, 439
Марион-Дюфрень (Marion-Dufresne), Никола-Тома (1729–1772), французский ученый, мореплаватель ("Новое путешествие в Южное море...", 1783) 178, 186, 703
Мария, мать Иисуса 514, 516, 517
Марк Аврелий Антонин (121–180), римский император (161–180), философ 445, 484, 550, 679
Марко Поло (ок. 1255–1323) 634
Марсден (Marsden), Уильям (1754–1836), английский востоковед 156, 181, 701
Мартен (Martin), Дом Жак (1684–1751), историк, монах-бенедиктинец 490, 719
Мартине (Martinet), Йоаннес Флорентиус (1729–1796), голландский проповедник, философ ("Катехизис природы", 1777, нем. пер. 1779) 57, 698

Мартини (Martini), Фридрих Генрих Вильгельм (1729–1778), врач в Берлине, переводчик Бюффона 81, 177, 698, 705
Марцелл, Марк Клавдий (III в. до н.э.), римский государственный деятель, завоеватель Сиракуз 439
Марциал, Марк Валерий (ок. 40 – ок. 102), классик эпиграммы 543
Масинисса (ок. 240 – 149 до н.э.), царь Нумидии (201–149) 430
Масков (Mascov), Иоганн Якоб (1689–1761), богослов, юрист, историк ("История немцев", нем. 1726–1737), проф. в Лейпциге 542, 724
Мёзен (Möhsen), Иоганн Карл Вильгельм (1722–1795), врач, историк ("История наук в Бранденбурге", 1781) 501, 595, 725
Мёзер (Möser), Юстус (1720–1794), немецкий историк, специалист по истории Оснабрюка 497, 620, 664, 665, 720
Мейеротто (Meierotto), Иоганн Людвиг Генрих (1742–1800), ректор Иоахим-стальской гимназии в Берлине 436, 437, 718
Мейнерс (Meiners), Кристоф (1747–1810), немецкий историк, психолог, философ, проф. в Гёттингене 396, 437, 715, 718
Мейтленд (Maitland), Уильям (ок. 1693–1757), топограф ("История и древности Шотландии...", англ. 1757) 490, 719
Мела см.: Помпоний Мела
Менандр (343/342–291) 401, 444, 715
Меринг Франц (1846–1919) 690
Меровей (Меровинг) (ок. 411 – ок. 457), легендарный вождь франков, основатель династии Меровингов. Согласно легенде, дед Хлодвига 556
Месроп Маштоц (371 или 362–440), армянский ученый, философ 522
Мессала Корвин, Марк Валерий (64 до н.э. – 13 н.э.), сторонник Августа, друг Горация, член поэтического кружка Мецената 442
Мессалина (I в.), жена императора Клавдия 441
Метелл, Квинт Цецилий (–115 до н.э.), римский полководец 430
Метцгер (Metzger), Иоганн Даниэль (–1805) ("Разные медицинские сочинения", нем. 1781–1784) 198, 205, 704
Мидлтон (Middleton), Конъерс (1683–1750), автор "Жизнеописания Цицерона" (англ. 1741) 443, 718
Мильтиад (VI–V вв.), афинский полководец, победитель персов при Марафоне (490) 393
Мильтон (Milton), Джон (1608–1674) 413
Михаэлис (Michaelis), Иоганн Давид (1717–1791), богослов, ориенталист, проф. в Гёттингене ("Закон Моисея", 6 тт. 1770–1775) 607, 712, 725
Моисей, иудейский пророк, предполагаемый автор "Пятикнижия" 297–299, 303, 347–351, 353, 366, 368, 391, 475, 510
Моисей Хоренский (Мовсес Хоренаци) (V–VI вв.), армянский писатель, историк 522
Монбоддо (Monboddo), Джеймс Бернетт, лорд (1714–1799), автор "Происхождения и развития языка" (1773, нем. пер. с предисловием Гердера–1784) 103, 181, 699, 705
Монро (Monro) Старший, Александр (1697–1767), врач, анатом 68
Монтескье (Montesquieu), Шарль ла Секондат, барон (1689–1755) 188, 189, 266, 420, 653, 664, 704, 717
Москати (Moscati), Пьетро (1736–1824), государственный деятель, врач 110, 699, 700
Мосхейм (Mosheim), Иоганн Лоренц (1694–1755), историк церкви, проф. в Хельмштедте и Гёттингене 519, 528, 722, 723
Муммий, Луций (II в. до н.э.), римский полководец, консул 146 г., в том же году разрушил Коринф 407, 430
Муса ибн Нусаир (640–), правитель Африки, завоеватель Испании в VII в. 602
Муций Сцевола (VI в. до н.э.), легендарный римский герой 420, 421, 439
Мюллер В.И., автор книги о Гвинее (1673) 215, 705
Мюллер (Миллер) (Müller), Герхард Фридрих (Федор Иванович) (1705– 1783), историк и археограф, секретарь Академии наук в Петербурге ("Собрание по русской истории", нем. 1732–1764) 154, 157, 501, 701, 720

Мюллер (Müller), Иоганнес фон (1752–1809), швейцарский историк, государственный деятель, близок Гердеру 555, 595
Мюллер (Müller) Иоганн Георг (1759–1819), брат Иоганнеса фон Мюллера 694

Навуходоносор II, царь вавилонский (604–562) 337, 338, 349, 356, 367, 460, 713
Наддодд (IX в.), норвежец, открывший о. Исландия (860 г.) 565
Нарсес (Нарзес) (478–568), византийский полководец при Юстиниане I 551, 552
Науманн Эрнст (Naumann Ernst), издатель Гердера 694, 695, 716, 717
Невий, Гней (274–206), автор утраченного эпоса о пунической войне 442
Непот, Корнелий (ок. 100 – после 32) 442
Нерва, Марк Кокцей (35–98), римский император (96–98) 439
Нерон, Клавдий Цезарь (37–98), римский император (54–68) 453
Несторий (после 381 – после 451), патриарх Константинопольский (428–431), положивший начало ереси несторианства 520, 544, 722
Нибур (Niebuhr), Карстен (1733–1815), немецкий путешественник ("Описание Аравии", 1772; "Описание путешествия в Аравию и сопредельные земли", 1744–1778) 160, 178, 324, 338, 346, 702, 712
Нимрод, шейх, основатель вавилонского царства 239, 262, 336
Новалис (Novalis) (наст. имя и фам. Фридрих фон Харденберг, Hardenberg) (1772–1801), немецкий поэт и философ, представитель Йенского кружка романтиков 712
Норберг (Norberg), Маттиас (1747–1826), шведский востоковед, проф. в Лунде 518
Ноэль (Noel), Франсуа (Франциск) (1651–1729), французский ученый, иезуит-миссионер, автор записок о Китае 310, 711
Нума Помпилий (–ок. 673 до н.э.), второй римский царь 419, 420, 446
Ньютон (Newton), Исаак (1643–1727) 14, 20, 107, 351, 660

Овингтон (Ovington), Джон, английский путешественник ("Путешествие в Сурат", 1696) 156
Одоакр (433–493), король первого германского государства в Италии (476–493) 549, 550
Оккам (Occam), Уильям (1285–1349), английский философ-схоласт, логик и церковно-политический писатель, главный представитель номинализма XIV в. 638
Окли (Ocley), Симон (1678–1720), востоковед, проф. в Кембридже ("История сарацин", нем. пер. 1745) 622, 726
Октавия (–62), дочь императора Клавдия и Мессалины, жена Нерона, убита по его приказу 441
Ольдендорп (Oldendorp), Кристиан Георг Андреас (1721–1787), евангелический миссионер 165, 215, 702
Омар, халиф (634–644) 601, 716
Опиц (Opitz), Готфрид, путешественник 182, 703
Ориген (ок. 185–253/254), христианский теолог, философ, филолог, представитель ранней патристики 527
Оскар, сын Оссиана 232
Оскольд см.: Аскольд
Осман, халиф (644–656) 601
Оссиан (III в.), легендарный шотландский бард, которому Макферсон приписал созданные им "Песни Оссиана" (1760–1765) 232, 250, 379, 491, 498, 714, 715
Оттер (Otter), Иоганн (1707–1749), востоковед, проф. в Париже ("Путешествие в Турцию и Персию", франц. 1748) 300
Оттон I Великий (912–973), германский король (936–973), император (962–973) 571–573, 592
Отфрид Вейссенбургский (ок. 800 – ок. 870), первый известный по имени немецкий поэт ("Книга Евангелий", 863–871) 254, 607
Оуэн (Owen), Джон, автор "Истории древних британцев" (англ. 1743) 490, 719
Ошеров С., переводчик 718

Павел, ап. (ок. 10–64) 510, 527, 538, 581

Павел, Луций Эмилий см. Эмилий Павел
Павсаний (—после 390 до н.э.), спартанский полководец 393
Павсаний (II в.), греческий писатель ("Описание Эллады" в 10 кн., ок. 180 г.) 381, 714, 715
Пажес (Pages), Пьер Мари Франсуа, виконт де (1748—1793), автор "Путешествий вокруг света и в сторону обоих полюсов, по земле и по морю, в 1767—1776 годах" (франц. 1782) 149, 173, 174, 235, 701
Паллас (Pallas), Петер Симон (1741—1811), зоолог, ботаник, член Академии наук в Петербурге 37, 52, 153—157, 182, 279, 321, 701, 710
Памп Фридхельм (Pamp Friedhelm), автор работы о Ш.Боннэ 700, 712
Паркинсон (Parkinson), Сидней (1745—1771), художник, участник первого кру госветного путешествия Кука 178
Паррасий (2-я пол. V в. до н.э.), афинский художник 387, 715
Парута (Paruta), Паоло (1540—1598), историк ("История Венеции", 1605) 420, 717
Пассери (Passeri), Джамбаттиста (1694—1780), итальянский историк искусства 416, 417
Пасхасий Родберт (Ратберт), (—ок. 865), философ 638
Пау (Pauw), Корнелиус де (1739—1799), голландский филолог и философ 329, 712
Паулина, жена философа Сенеки, пожелавшая умереть вместе с мужем, покончившим с жизнью по приказу Нерона 441
Пахомий (IV в.), основатель монастыря на о. Табания, близ Фив 723
Пезрон (Pezron) Пезеллино (1639—), французский историк, филолог, генерал ордена цистерцианцев 490, 719
Пелагий (ок. 330—418), ирландский монах, против учения которого о возможном безгрешии человека выступил Августин 540, 544
Пеллетье см.: Лепелетье
Пелопид (—364 до н.э.), фиванский полководец 393
Пельцель (Pelzel), Франц Мартин (1735—1801), филолог, проф. в Праге ("История богемцев...", нем. 1782) 501, 720
Перикл (ок. 495—429), государственный деятель Афин 385, 404, 408, 412, 413, 675
Перро (Perrault), Клод (1613—1688), французский естествоиспытатель, архитектор, анатом 52
Персель (Percel), Гордон (Дюфренуа, Никола Ленгле де) ("О пользовании романами...", франц. 1734) 493, 719
Персий Флакк, Авл (34—62) 5, 444, 695
Петр, ап. 538, 546, 562, 579—582, 585, 586
Петр Ломбардский (ок. 1095—1164), философ и теолог, представитель схоластики, епископ 638
Петр Отшельник 627
Петрарка, Франческо (1304—1374) 623, 647
Петровский Ф., переводчик 695
Петроний Арбитр, Гай (—66), римский писатель ("Сатирикон") 437
Пизон Фруги, Луций Кальпурний (II в. до н.э.), римский государственный деятель и автор исторического труда 442
Пикар (Picard), Жан, автор сочинения о ранней культуре кельтов (лат. 1556) 490, 719
Пилати Ш.-А. (см. кн. 17, сноска 48) 723
Пиндар (522—443), древнегреческий поэт-лирик 380, 384, 401, 714
Пинту (Pinto), губернатор Бразилии 175, 176
Пипин II (из Херисталя) (—714), майордом франков 558
Пипин III Короткий, майордом (741—751) и король (751—768) франков 552, 560
Питу (Pithou), Пьер (1539—1596), парижский историк, правовед, издатель законов вестготов (1579) 543, 544
Пифагор (VI в. до н.э.) 395, 396
Пишон (Pichon), Тома-Жан, аббат, историк 188, 702
Плавт, Тит Макций (ок. 250—184) 444
Планк (Planck), Готтлиб Якоб (1751—1833), немецкий теолог, проф. в Гёттингене 579, 724

Планцина (I в.), жена наместника Сирии Гнея Пизона, подозревавшегося в отравлении Германика 441
Платнер (Platner), Эрнст (1744–1818), немецкий философ, проф. в Лейпциге 187, 198, 704
Платон (427–347) 380, 388, 391, 395–398, 444, 445, 470, 472, 475, 484, 658, 696, 698, 700, 706, 714, 716, 718
Плацидия (IV–V вв.), дочь императора Феодосия 543, 545
Плиний Цецилий Секунд, Гай, Младший (61/62 – ок.113), римский государственный деятель ("Письма" в 9 кн.) 437, 537, 723
Плиний Секунд, Гай, Старший (23 или 24–79), автор "Естественной истории" 13, 109, 270, 381, 305, 442, 445, 447, 475, 700, 710, 711, 715, 717
Плотин (204/205–270), греческий философ-платоник, основатель неоплатонизма 706
Плутарх (46–125) 448, 716–718
Побликола (Попликола), Публий Валерий 421, 439
Покок (Pococke), Эдвард (1604–1691), ориенталист, проф. в Оксфорде 58, 60, 622, 726
Покровский Михаил Николаевич (1868–1932), историк, го сударственный деятель, академик АН СССР (1929) 667
Полибий (ок. 200 – ок. 120) 400, 401, 425, 717
Поликлет (2-я пол. V в. до н.э.) 53, 197
Помпей, Гней (Великий) (106–48) 426, 430, 431, 435, 436, 438, 439, 450, 471
Помпей, Гней (–45 до н.э.) 438, 449, 450
Помпей, Секст (73–35), римский полководец и государственный деятель. Младший сын Помпея Великого, брат Гнея Помпея 531
Помпоний Мела (I в.), римский сенатор 543
Попович (Popowitsch), Иоганн Сигизмунд Валентин (1705–1774), 0филолог, естествоиспытатель, проф. в Вене ("Опыт объединения немецких диалектов...", 1780) 501
Порсенна (VI в. до н.э.), царь этрусков 418, 717
Порфирий (ок. 233 – ок. 300), греческий философ, ученик и биограф Плотина 715
Порция (I в. до н.э.), дочь Катона Утического, жена Брута 441
Постумий Альбин, Авл (II в. до н.э.), римский историк, консул 151 г. 442
Премаре Жозеф-Анри (1670–1735), французский ученый, иезуит 287
Преториус (Praetorius), Маттей (ок. 1640–1707), богослов, историк Пруссии 494
Приск, автор записок про Аттилу 548
Пристли (Priestley), Джозеф (1733–1804), естествоиспытатель, физик, богослов, открыл кислород (1774) 26, 126, 700
Пруайяр (Proyart), Льевен-Бонавантюр (1743–1808), французский историк, политик ("История Лоанго, Каконго...", нем. пер. 1777) 165, 702
Псевдо-Исидор Харакский (IX в.) 554, 582, 592
Птолемей, Клавдий (после 83 – после 161), александрийский астроном, математик, географ 399, 611, 676
Птолемей II Филадельф (308–246), египетский царь (285–246) 526
Пуаре (Poiret), Пьер (1646–1719), философ-мистик 639, 726
Пуфендорф (Pufendorf), Самуэль фон, барон (1632–1694) 579, 723, 724
Пфейффер (Pfeiffer), Август Фридрих (1748–1817), востоковед, переводчик Ассемани 520
Пюттер (Pütter), Иоганн Стефан (1725–1807), проф. государственного права в Гёттингене, автор книги "Историческое развитие современного строя Немецкой империи" (1788) 593, 725
Пьер де Брюи см.: Дебрюи Пьер
Пьетро делла Балле см.: Балле

Рагнвальд, родоначальник великих герцогов Литовских 565
Радищев Александр Николаевич (1749–1802) 690
Раймон Дюпюи см.: Дюпюи Раймон
Раймонд, граф Тулузский (XI в.) 627, 636

Раймунд Луллий (1234–1315) 639
Райнольф, первый граф в Аверсе 568
Ратрамн (–после 868), философ 638
Рафаэль Санти (Raffaello Santi) (1483–1520) 695
Регул, Марк Атилий (III в. до н.э.), римский консул 267 и 256 гг. 439
Рёзель (Rösel) фон Розенхоф, Август Иоганн (1705–1759), естествоиспытатель, энтомолог 74
Резен, Резениус (Resenius), Петер (1625–1688), проф. в Копенгагене, первый издатель "Эдды" 499, 720
Рейман П., чешский германист 690
Реймарус (Reimarus), Герман Самуэль (1694–1768), гамбургский филолог, востоковед, математик, философ-рационалист, "Фрагменты" которого издал Лессинг 72, 698
Реймарус (Reimarus), Иоганн Альберт Генрих (1729–1814), сын Г.С.Реймаруса, врач, естествоиспытатель в Гамбурге 72, 698
Рейнгольд Карл Леонгард (1758–1823) 682
Рейске (Reiske), Иоганн Якоб (1716–1774). филолог, востоковед, друг Лессинга, проф. в Лейпциге 610, 622, 725, 726
Реккард, сын короля Леовигильда 544
Рёмер (Römer), Людвиг Фердинанд, автор "Истории Гвинеи" 185, 215, 703, 705
Реомюр (Réaumur), Рене Антуан Фершо (Ferchault) де (1683–1757), естествоиспытатель 74
Рёсслер, Рёслер (Rößler, Rosier), Кристиан Фридрих (1736–1821), издатель "Библиотеки отцов церкви" (10 тт., нем. 1776–1786) 529
Ридезель (Riedesel), Иоганн Герман фон (1740–1785), дипломат, путешественник 374, 407, 408, 714
Рихтер Ж.-П. см.: Жан-Поль
Ричард I Львиное Сердце (1157–1199), английский король (1189–1199) 628
Роберт I, герцог норманнов 566
Роберт Гвискард (ок. 1015–1085), вождь норманнов 568
Робертсон (Robertson), Уильям (1721–1793), английский историк, автор работ по истории Шотландии (1759) и Америки (1777) 175, 176, 205, 534, 703, 723
Робине (Robinet)Жан Батист Рене (1735–1820), французский материалист 698
Рогер II, граф (1101–) и король (1130–1154) Сицилии 568
Родерих см.: Рюрик
Роджерс (Rogers), Вудз (–1732), английский мореплаватель ("Путешествие вокруг света", 1712) 171
Роземунда (VI в.), дочь короля гепидов Кунимунда 552
Рольф см.: Роберт
Ромул (VIII в. до н.э.), легендарный основатель Рима (753) 391, 420–422, 426, 433, 446, 448, 450, 549
Ромулюс Августулюс (V в.), последний император Западной Римской империи (475–476) 549
Рорик см.: Рюрик
Росс (Ross), Александр (1590–1654), духовник английского короля Карла I, автор "Обзора всех религий" (1658) 325, 711
Россиньоль, Жан-Пьер (1803 г.р.), французский ученый, специалист по греческому языку и литературе 501
Ростренен (Rostrenen), Грегуар де, автор словаря кельтского языка (1732) 492, 719
Рубрук см.: Рюбрюкви
Руссо (Rousseau), Жан-Жак (1712–1778) 187, 670, 699
Рутилий Руф, Публий (ок. 154–75), римский наместник Азии, известный своей неподкупностью, изгнан из Рима в 92 г. 442
Руффин (IV–V вв.), предводитель вестготов 542
Рюбрюкви, Рейсбрук (Rubriquis, Ruysbroeck), Вильгельм (Гийом де) (ок. 1220 – ок. 1290), монах-францисканец, дипломат, совершил путешествие в Монголию (1-е

изд. записок – лат. 1589; рус. пер. "Путешествие в восточные страны". М., 1957) 634
Рюдигер (Rüdiger), Иоганн Кристиан Кристоф (1751–1822), филолог, проф. в Галле (1791) 504, 721
Рюрик (Рорик, Родерих) 565, 724

Сак (Sack), Август Фридрих Вильгельм (1703–1786), берлинский проповедник ("Защищенная вера христиан", 1751) 101, 699
Саладин см.: Селах-эд-дин
Саллюстий Крисп, Гай (86–35) 442
Сальвино дельи Армати (XIV в.), по предположению, изобрел очки 644, 726
Санхониатон (XIII в. до н.э.?) 289
Сапфо (VII в. до н.э.) 401
Сарпи (Sarpi), Паоло (1552–1623), автор "Истории Тридентского собора" (итал. Лондон, 1619) 579, 724
Саул (1020–965), царь Израильско-Иудейского царства 713
Сваммердам (Swammerdam), Иоганн (1637–1680) 74
Сведенборг (Swedenborg), Эмануэль (1688–1772). шведский ученый, теософ 16, 696
Север см.: Септимиус Север, Луций
Сейл (Sale), Джордж (ок.1697–1736), английский востоковед, автор "Исторических и критических наблюдений над магометанством" (1734) 599, 622, 725
Секст см.: Помпей Секст
Селах-эд-дин (1137–1193), султан Египта и Сирии (1171–1193) 602, 628
Семенов-Тян-Шанский А., переводчик 705
Семпроний Азеллион (II в. до н.э.), автор "Историй" 442
Семпрония, сестра Гракхов, по преданию участвовала в убийстве своего мужа Сципиона Эмилиана 441
Сенека, Луций Анней (ок. 55 до н.э. – ок. 39 н.э.), ритор 543
Сенека, Луций Анней (ок. 4 до н.э. – 65 н.э.), философ и писатель 441, 445, 453, 543, 700
Сен-Пале см. Ла Кюрн де Сен-Пале
Сен-Пьер (Saint-Pierre), Шарль-Ирене Кастель де (1658–1743), автор "Проекта вечного мира" 388, 686, 715
Септимиус Север, Луций (146–211), римский император (193–211) 439, 446
Сервантес Сааведра, Мигель де (1547–1616) 623
Сервий Тулий, предпоследний римский царь (578–534) 420, 433
Сервилиан, Квинт Фабий Максим (II в. до н.э.), римский историк, консул 142 г. 442
Серторий, Квинт (123–72), римский государственный деятель, полководец 432, 449
Силан, Гай Юний, римский полководец 430
Сильвестр II, папа см.: Герберт
Симеон, патриарх Иерусалимский 627
Симмах, Квинт Аврелий Меммий (ок. 345 – после 402), римский оратор (у Гердера в неверном контексте) 550
Симон Монфортский, граф Лейстерский (ок. 1200–1265) 636
Симонид Кеосский (556–468) 401
Сисенна, Луций Корнелий (ок. 120–67), римский историк 442
Ситрик Датский (ум. в 927 г.), король Йорка 565
Снорри Стурлусон (Снорро) (Snorri Sturluson) (1178–1241), исландский поэт-скальд, автор "Младшей Эдды" 499, 720
Сократ (470/469–399) 393, 396, 397, 412, 415, 453, 470, 484, 529, 685, 700, 715, 716
Соломон, царь Израильско-Иудейского царства (965–928 до н.э.), сын Давида 348–350, 355, 353, 369, 713
Солон (ок. 640 – ок. 560) 390, 391, 393, 396
Соннерá (Sonnerat), Пьер (1749–1814), французский естествоиспытатель, путешественник ("Путешествие в Ост-Индию и Китай в 1774–1781 годах", 1782, нем. пер. 1783) 181, 215, 288, 325, 703

Соссюр (Saussure), Орас-Бенедикт де (1740–1799), географ, естествоиспытатель, проф. в Женеве 37
Софокл (ок. 496–406) 380, 401, 412, 413, 475
Спаланцани (Spalanzani) Лаццаро (1729–1799), итальянский ученый, один из основателей микробиологии, а также вулканологии и метеорологии 698
Спарман (Sparrmann), Андерс (1748–1820), шведский врач и путешественник, проф. в Стокгольме ("Путешествие к мысу Доброй Надежды...", швед. 1772–1776, нем. пер. 1783) 164, 165, 181, 185, 186, 702
Спартак (I в. до н.э.), руководитель восстания рабов (74–71) 436, 449, 675
Спенсер (Spenser), Эдмунд (1552–1599), английский поэт ("Королева фей", 1590) 493
Спиноза Бенедикт (Барух) (1632–1677) 662, 663
Спон (Spon), Жак(об) (1647–1685), французский историк, путешественник ("Путешествие в Италию, Далмацию, Грецию и Левант", 1678, совместно с Дж. Уиллером (1650–1724) 407, 716
Стерн (Sterne), Лоренс (1713–1768) 505, 721
Стефан I, св. (975–1038), венгерский король (997–1038) 594
Стефан II, папа (752–757) 552
Стефаниус (Stephanius), Стефан Иоганн (1599–1650), датский филолог, историк 499, 720
Стиликон (ок. 360–408), римский государственный деятель 542
Страбон (ок. 63 до н.э. – 20 н.э.), греческий географ 346, 357, 475, 715, 716
Стюарт (Stuart), Джильберт (1742–1786), историк 407, 716
Сулави (Soulavie), Жан Луи (1752–1813), французский дипломат, историк, естествоиспытатель ("Естественная история Южной Франции", 8 тт., 1780–1784) 37, 44, 697
Сулла, Луций Корнелий (138–78), римский полководец (в 86 захватил Афины), позднее диктатор 404, 407, 415, 424, 426, 430, 435, 436, 438–440, 442, 460
Схультинг (Schulting), Антон (–1734), голландский юрист ("Юриспруденция до Юстиниана", лат. 1717) 543
Сципион Младший, Публий Корнелий Эмилиан (185–129) 426, 431, 432, 439
Сципион Старший, Публий Корнелий (ок. 235–183) 358, 425, 426, 429, 430, 432, 439, 441
Сэмунд Мудрый (1056–1133) 499, 720
Сян-Ти (Сянь-ди), китайский император 287, 478

Таверньe (Tavernier), Жан-Батист (1605–1689), французский путешественник ("Шесть путешествий в Турцию, Персию, Индию", франц. 1676–1679, нем. пер. 1684) 156, 716
Тайзон, Тайсон (Tyson), Эдвард (1650–1708), английский естествоиспытатель 85–87, 699
Танкред, король сицилийский (1189–1194) 566, 568
Тарик ибн Зияд, арабский полководец, завоеватель Испании в 711 г. 602
Тарквиний Гордый (VI в. до н.э.), последний римский царь, изгнанный в 510 г. 418, 420, 421, 446
Тассо, Торквато (1544–1595), итальянский поэт Возрождения и барокко 487, 647, 718
Таубе (Taube), Фридрих Вильгельм фон (1728–1778), юрист на австрийской дипломатической службе ("Описание Славонии и Сирмии", нем. 1779) 501, 720
Тахер, полководец у Аль-Мамуна 604
Тацит, Публий Корнелий (ок. 55 – ок. 120) 442, 443, 490, 497, 717, 720, 723
Теодат (VI в.), муж Амаласвинды 551
Теодолинда (VI–VII вв.), королева лангобардов 554
Теодорих (ок. 454–526), король остготов (471–526) 533, 550, 551, 615, 644
Теофил, патриарх александрийский (385– 412) см.: Феофил
Теренций Афер, Публий (ок. 190–159) 147, 444, 700
Теренция, жена Цицерона, активно выступавшая против сторонников Катилины 441

Тертуллиан, Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 – после 220), богослов 540
Тиберий Клавдий Нерон (42 до н.э. – 37 н.э.), римский император (14–37) 442, 449, 453
Тимберлейк (Timberlake), Генри, английский путешественник ("Записки о путешествиях среди дикарей Северной Америки", 1765) 171, 702
Тимолеон (IV в. до н.э.), коринфский полководец, изгнавший Дионисия II и карфагенян с Сицилии 358, 393
Тирон, Марк Туллий (103–4), вольноотпущенник Цицерона, его биограф 442
Тит Флавий Сабин Веспасиан (39–81), римский император (79–81) 439, 446, 531
Тоальдо (Toaldo), Джузеппе (1719–1799), итальянский физик, метеоролог 27
Тограи (Абу-Исмаил аль-Хасан Испаханский) (ум. ок. 1121 г.), известный арабский поэт, ученый и сановник 622
Толстой Лев Николаевич (1828–1910) 690
Томазиус (Thomasius), Кристиан (1655–1728), философ и ученый раннего Просвещения, проф. в Галле 529, 723
Торее (Toree), Олаф (Олоф), путешественник 156
Торкелин (Thorkelin), Гримр Йонссон (1752–1829), исландский ученый, архивариус в Копенгагене, издатель древнескандинавских текстов 499, 720
Торфасон (Торфеус) (Torfason, Torfaeus), (Тормодр) Тормонд (1636–1719), исландский историк, автор латинского перевода "Эдды" 499
Торфеус см.: Торфасон, Тормодр
Тотила (VI в.), король готов (541–552) 551
Траян, Марк Ульпий (53–117), римский император (98–117) 439, 442, 446
Трегер К. (Träger C.), автор работ о Гердере 690
Трог, Помпей (I в. до н.э.– I в. н.э.), латинский автор "Всемирной истории", дошедшей в сокращении 371, 442
Туберон, Квинт Элий (I в. до н.э.), друг и родственник Цицерона, историк, юрист ритор 442
Тулл Гостилий (Tullus Hostilius)–третий легендарный царь Древнего Рима 420
Туллия (VI в. до н.э.), дочь Сервия Туллия, жена Тарквиния Гордого 420
Тульпий (Tulpius) Уистон (1667–1752), английский математик и богослов, автор предисловия к «Армянской истории» Моисея Хоренского 82
Тюрго Анн Робер Жак (1727–1781), французский государственный деятель 664

Уистон (Whiston), Уильям (1667–1752), английский математик и богослов, автор предисловия к "Армянской истории" Моисея Хоренского (1736) 522
Уитейкер (Whitaker), Джон (1735–1808), английский историк ("Подлинная история бриттов...", англ. 1772) 490, 719
Уллоа (Ulloa), Антонио де (1716–1796), испанский астроном, геодезист, участник экспедиции в Перу (1736–1743) 36, 176, 205, 221, 697
Ульфила см.: Вульфила
Унгер Р. (Unger R.), автор работы о Гердере, Новалисе и Клейсте (1922) 712
Унг-хан, тесть Чингисхана 520
Уортон (Warton), Томас (1728–1790), английский поэт и критик ("История английский поэзии", 1774–1781) 493, 719
Урбан II, папа (1088–1099) 627
Уэль (Houel), Жан-Пьер Луи Лоран (1735–1813), французский художник, гравер, путешественник ("Путешествие по Сицилии", франц. 1782–1789, нем. пер. 1797–1809) 408, 716

Фабий Максим Веррукоз (Фабий Кунктатор) (–203 до н.э.), римский полководец, воевавший с Ганнибалом, возражавший против наступательной тактики Сципиона 439, 448
Фабий Пиктор (III в. до н.э.), римский историк 442
Фабриций Луцин, Гай (III в. до н.э.), римский консул 282 г., проявивший бесстрашие и благородство в борьбе с Пирром 439
Фанний Страбон, Гай (II в. до н.э.), римский консул 122 г. 442

Федри де Брекиньи см.: Брекиньи
Фемистокл (ок. 524–459), афинский полководец, победитель персов в сражении при Саламине (480) 393, 404
Фенелон (Fenelon), Франсуа Салиньяк де ла Мотт (1651–1715), проповедник, оратор, автор "Путешествий Телемаха" (1699) 107, 712
Феодосий (346–395), римский император (379–395) 531, 543
Феофил (Теофил) (385–412), патриарх Александрийский, выступавший против Оригена 528
Феофраст (373–288), греческий философ, ученик Аристотеля 401
Фербер (Ferber), Иоганн Якоб (1743–1790), шведский минералог, член Академии наук в Петербурге 37
Фермен (Fermin), Филипп (ок. 1730–), голландский врач ("Описание Суринама", франц. 1769, нем. пер. 1775) 174, 702
Феррерас (Ferreras), Хуан де (1652–1735), испанский историк ("История Испании". 1700–1727, нем. пер. 1754–1722) 544, 724
Фидий (ок. 500–431) 382, 412
Филемон (между 365/360–264/263), греческий комедиограф 401, 715
Филипп II Август (1165–1223). французский король (1180–1223) 628
Филипп II Македонский (382–336), царь Македонии (356–336) 404, 408, 410, 465
Филипп IV Прекрасный (1268–1314), французский король (1285–1314) 632, 638
Филопоймен (253–183), стратег Ахейского союза, воевавший со Спартой 407
Фингал, отец Оссиана 491
Фиппс (Phipps), Константин Джон (лорд Малгрейв) (1734–1794), английский мореплаватель ("Путешествие к Северному полюсу", нем. пер. 1777) 149
Фихте Иоганн Готлиб (1762–1814) 688, 689
Фишер (Fischer), Иоганн Эберхард (1697–1771), проф. истории, ректор Академической гимназии в Санкт-Петербурге ("Сибирская история", нем. 1768) 520, 722
Фишер Куно (1824–1907), немецкий историк философии, гегельянец 689
Фишер (Fischer), Фридрих Кристоф Йонатан (1750–1797), немецкий юрист, историк, проф. в Галле ("История немецкой торговли, мореплавания, искусств, ремесел, мануфактур...", 4 тт. 1785–1794) 506, 548, 597, 615
Флакур (Flacourt), Этьен де (1607–1660), французский путешественник, в 1648 г. губернатор о. Мадагаскар ("История острова Мадагаскар", 1658) 181, 703
Флёгель (Flögel), Карл Фридрих (1729–1788), специалист по истории литературы 716
Флор, Публий Анний (I–II вв.), римский историограф 543
Фойгт (Voigt), Николай (в монашестве–Адаукт) (1733–1787), ученый в Праге ("О духе законов Богемии", нем. 1788) 501, 720
Фокион (400–317 до н.э.), афинский полководец и политический деятель, противник демократии 393, 453
Фолкнер (Falkner), Томас (1707–1784), иезуит-миссионер ("Описание Патагонии...", 1775) 176, 703
Фолконер (Falconer), Уильям (ок. 1741–1824), английский врач ("Замечания о влиянии географической широты, положения, естественных условий и населения...", 1781, нем. пер. 1782) 188, 704
Фома, ап. 525, 526
Фома Аквинский, св. (1225–1274) 638
Фонтенель (Fontenelle), Бернар ле Бовье де (1657–1757), французский писатель и философ, секретарь Французской академии 16, 696
Форстер (Forster), Георг (1754–1794) 173, 678, 679, 697, 702, 703
Форстер (Forster), Иоганн Рейнгольд (1729–1798) 34, 51, 151, 157, 165, 168, 169, 176, 178, 186, 697, 701, 703
Фортис (Fortis), Джован-Баттиста, прозв. Альберто (1741–1803), итальянский литератор и путешественник ("Нравы морлаков", нем. пер. 1775) 501
Фотий (ок. 820 – ок. 893), византийский ученый и политик, Константинопольский патриарх, оспаривал примат папства, способствуя схизме (1054) 722
Франклин (Franklin), Бенджамин (1706– 1790), американский ученый, государственный деятель 26, 679

Фридрих I Барбаросса (1123–1190), германский король, император (1152–1190) 573, 628, 633
Фридрих II (1194–1250), германский король, император (1211–1250) 568, 573, 589, 592, 593, 597, 629, 633, 639, 644, 647
Фриш (Frisch), Иоганн Леонгард (1666 –1743), филолог, путешественник, естествоиспытатель, преподаватель в Берлине 501, 720
Фукидид (460–396) 400
Фюссли (Füßli), Иоганн Конрад (1704–1775), швейцарский ученый ("Новая и беспристрастная история еретиков и церкви Средневековья", 1770–1772) 636, 726

Халед ибн аль-Валид, легендарный арабский полководец по прозвищу "Меч ислама". Умер в 642 г. 600
Хардикнут, король Дании (1035–1042), Англии (1040–1042) 565
Харольд, король Англии (1035–1040) 565
Харонд (VII в. до н.э.), законодатель г. Катаны в Сицилии 408
Харткнох Иоганн Фридрих, рижский издатель Гердера, Канта и др. 693
Харткнох К., прусский историк и правовед, автор работы по истории древней Пруссии 719
Хасан (625–669), халиф (669) 601
Хегевиш (Hegewisch), Дитрих Герман (1740–1812), немецкий историк, проф. в Киле, автор "Истории царствования императора Петра Великого" (1791) 558, 724
Хейлз (Hales), Стефан (1677–1761), английский естествоиспытатель, ботаник, зоолог 26
Хёст (Hoest), Георг (1734–1794), датский ученый ("Путешествие в Марокко и Фес...", дат. 1779, нем. пер. 1781) 163, 178, 702
Хёхстрём (Hoegström), Пер (1714–1784), шведский пастор, автор "Описания шведской Лапландии" (1747, нем. пер. 1748) 152, 701
Хи, слуга императора Яо, астроном 329
Хильдебранд, папа см.: Гильдебранд
Хинске (Hinske) Норберт (р. 1931), немецкий философ, специалист по кантоведению 716
Хлодвиг (466–511), король франков (481–511) 556–560
Хо, слуга императора Яо, астроном 329
Ходжес (Hodges), Уильям (1744–1797), английский художник 178
Холуэлл (Halwell), Джон Зефамия (1711–1798), губернатор Бенгалии ("Сообщение об Индостане и Бенгалии", нем. пер. 1778) 215, 288, 325, 705
Холхед (Halhed), Натаниэл Бресси (1751–1830), английский востоковед 326
Хоэнштайн (Hohenstein) Фридрих Август, автор работы о Гёте 661
Хумфрид, сын Танкреда 568
Хюбнер (Hübner) Иоганн (1668–1731) 695, 697, 701, 702, 704

Целлариус, Христиан, немецкий историк, современник Гердера 664
Цигенбальг (Ziegenbalg), Бартоломеус (–1719), немецкий миссионер, пиетист 306, 711
Циммерман (Zimmermann), Эберхард Август Вильгельм (1743–1815), естествоиспытатель, географ, проф. в Брауншвейге 48, 68, 165, 175, 178, 284, 698
Цинций Алимент, Луций (III в. до н.э.), римский историк 442
Цинциннат, Луций Квинкций (V в. до н.э.), римский полководец 439
Цицерон, Марк Туллий (106–43) 435, 436, 439, 441, 443–445, 449, 470, 484, 531, 700, 715

Чампини (Ciampini), Джованни Джустино (1633–1698), римский историк искусства, основатель Академии изучения церковной истории (1671) 537, 723
Чандлер (Chandler), Ричард (1738–1810), английский филолог, историк ("Путешествия в Малую Азию", 1775, нем. пер., 1776; "Путешествия в Грецию", 1776, нем. пер. 1777) 407, 716
Чингисхан (ок. 1155–1227) 311, 460, 502, 521, 634

Чизлден (Cheselden), Уильям (1638–1752), английский хирург, автор "Остеографии" (англ. 1783) 68
Чосер (Chaucer), Джеффри (1340–1400) 493

Шайновиц, Сайновиц (Sajnovics), Иоганнес (1733–1785), венгерский астроном и лингвист ("Доказательство тождества языков венгров и лаппов", лат. 1770) 152
Шарден (Chardin), Джон (Жан) (1643–1713), автор "Путешествий в Персию и Ост-Индию", 1-я ч. англ. 1686) 159
Шарлевуа (Charlevoix), Пьер Франсуа Ксавье де (1684–1761), французский путешественник, иезуит ("История и описание Новой Франции вместе с историческим дневником путешествия по Северной Америке", франц. 3 тт., 1740) 156
Шаумкелль Э. (Schaumkell E.), специалист по истории немецкой культуры 695
Шекспир, Уильям (1564–1616) 412, 493, 654, 726
Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775–1854) 692
Шервинский С.В., переводчик 721
Шефтсбери (Shaftesbury) Антони Эшли Купер (1671–1713) 696
Шиллер Фридрих (1759–1805) 654, 688, 706
Шильтер (Schilter), Иоганн (1632–1705), проф. в Страсбурге, издатель древненемецких литературных памятников (посмертно – 3 тт. 1728) 499, 720
Шлегель Й.Э., издатель Гердера в Эрфурте 693
Шлёцер (Schlözer), Август Людвиг (фон) (1735–1809), немецкий историк, член Академии наук в Петербурге, проф. в Гёттингене, издатель материалов по русской истории, автор "Сводной истории Северной Африки" (1775) 154, 321, 337, 493, 605, 711, 719, 721, 725
Шлоссер (Schlosser), Иоганн Георг (1739–1799), автор диалога "О метемпсихозе" (1781) 712
Шнайдерс В. (Schneiders W.), автор книги о немецком Просвещении 717
Шнейдер (Schneider), Иоганн Готлоб (1750–1822), филолог и естествоиспытатель, проф. во Франкфурте на Одере (позднее в Бреслау) 36
Шничер (Schnitscher), автор "Сообщения о калмыках" 154
Шобер (Schober), Готлоб (1670–1739), врач, лейбмедик Петра I ("Русско-азиатские достопримечательности", опубл. частично) 154
Шопенгауэр Артур (1788–1860) 689
Шотт (Шотте) (Schott), Иоганн Петер (1744–1785), немецкий врач ("Краткие известия о состоянии Сенегала", 1781) 164, 166
Шоу (Shaw), Уильям, автор словаря гэльского языка (1780) 490, 719
Шпет Густав Густавович (1879–1940) 667
Шпиттлер (Spittler), Людвиг Тимотеус фон (1752–1810), автор работ по истории церкви, проф. в Гёттингене 528, 723
Шпренгель (Sprengel), Маттиас Кристиан (1746–1803), немецкий историк, проф. в Гёттингене, Галле ("История важнейших географических открытий", 1783) 151, 168, 490, 492, 493, 606, 702, 719, 725
Шрёдер (Schröder), Иоганн Иоахим (1680–1756), филолог, проф. в Марбурге, автор словаря армянского языка 522
Шталь (Stahl), Георг Эрнст (1660–1734), немецкий химик и врач, автор теории флогистона 194
Штеллер (Steller), Георг Вильгельм (1709–1746), путешественник, член Академии наук в Петербурге 157, 215
Штольпе (Stolpe), Хайнц, издатель Гердера 690, 694, 695, 712
Штриттер (Stritter), Иоганн Готхильф (1740–1801), историк, член Академии наук в Петербурге ("Сообщения о народах, живших некогда на Дунае, близ Черного и Азовского морей", лат. 1772–1779) 501, 720
Шуазель-Гуффье (Choiseul-Gouffier), Мари-Габриэль Огюст Лоран, граф де (1752–1817), французский ученый, дипломат, автор "Живописного путешествия в Грецию" (франц. 1778–1781) 160, 702

Эбелинг (Ebeling), Кристоф Даниэль (1741–1817), географ, продолжатель "Географии" Бюшинга, проф. в Гамбурге 168, 171, 176, 285, 702

Эгберт (IX в.), саксонский король 563
Эггерс (Eggers), Кристиан Ульрих Детлеф, барон фон (1758–1813), датско-гольштинский историк Исландии 499, 720
Эгеде (Egede), Ганс (1686–1758), норвежский миссионер, составитель словаря гренландского языка, автор "Естественной истории Гренландии" (1741, нем. пер. 1763) 150, 701
Эгинхарт, Эгинхард (Эйнхарт) (ок. 770–840), ученый при дворе Карла Великого, его биограф 561
Эдгар (944–975), английский король (959–975) 564, 567
Эдейр (Adair), Джеймс, торговец, жил среди индейцев Северной Америки в 1735–1775 гг. ("История североамериканских индейцев", англ. 1775, нем. пер. 1782) 171, 702
Эдмунд Железный Бок 564, 567
Эдуард Исповедник, английский король (1042–1066) 564, 567
Эйнзидель (Einsiedel), Август фон (1754–1837), философ, друг Гердера 678, 692
Эйнхарт см.: Эгинхарт
Эйхгорн, Эйххорн (Eichhorn), Иоганн Готфрид (1752–1827), историк, проф. в Гёттингене 284, 303, 339, 354, 711, 712
Эккерман Иоганн Петер (1792–1854), секретарь Гёте. 651
Эллак, сын Аттилы 549
Эллис (Ellis), Генри (1721–1806), английский путешественник ("Описание путешествия к Гудзонову заливу в 1746–1747 годах", 1748) 150, 157, 170
Эмилий Павел, Луций (ок. 228–160) в 182 г. претор Испании, участник 2-й Македонской войны 407, 430
Эмилий Скавр, Муций (163/162–), консул 115 г. до н.э. 442
Эмих, граф 627
Энгель (Engel), Самуэль (1702–1784), швейцарский географ 149, 700
Энний, Квинт (239–169), римский эпический поэт 442, 444
Эпаминонд (418–362), государственный деятель Фив, полководец, основатель Беотийского союза, воевал против Спарты 393
Эпиктет (ок. 50 – ок. 130) 445, 484, 695, 700
Эпикур (342/341–271/270) 472
Эпихарм (550–460) 706
Эратосфен (ок. 282 – ок. 202) 399
Эриугена см.: Иоанн Скот Эриугена
Эрих (V в.), законодатель визиготов 543
Эрихсен (Erichsen), Йон (1728–1787), библиотекарь в Копенгагене, автор комментариев к "Жизни Семунда Мудрого" А.Магнуссона в издании "Эдды" 1787 г. (Копенгаген) 499, 720
Эрихсон (Erichson), Йон (Иоганн) (1700– 1766), пастор в шведской Померании, издатель "Рунической библиотеки" (1766) искать в тексте 499, 720
д'Эспиар (d'Espiard) де Со, Франсуа Игнас (1707–1777), французский церковный деятель ("Опыт о характере и духе народов", 1743; 1752) 188, 704
Эсхил (525–456) 380, 401, 412, 475
Этельберт см.: Адельберт де Шамиссо
Эткинд Е.Г., переводчик 714
Этцель см.: Аттила
Эшенбург (Eschenburg), Иоганн Иоахим (1743–1820), историк литературы, проф. в Брауншвейге, переводчик Шекспира, издатель "Британского Музея" (1777–1780) 493

Ювенал, Децим Юний (ок. 58 – 138) 437
Юлий Цезарь, Гай (100–44) 415, 426, 431, 432, 434–436, 438–440, 442–444, 446, 448, 471, 489, 490, 720
Юм (Hume), Давид (1711–1776), английский философ и историк ("Естественная история религии", 1755) 534, 719, 723
Юстин Мученик (100–165) 527

Юстиниан I (482–565), император Восточной Римской империи (527–565) 533, 543, 551–553

Яблонски (Jablonski), Пауль Эрнст (1682–1757), историк, проф. во Франкфурте на Одере, автор "Египетского Пантеона" (1750–1752) и "Христианской истории" (1766) 519, 722
Якоби (Jakoby) Карл, автор работ о Гердере 690
Якоби Фридрих Генрих (1743–1819) 681
Ямвлих из Халкиды (ок. 280 – ок. 330), античный философ-идеалист, ученик Порфирия, основатель сирийской школы неоплатонизма 715
Яо ("Высоченный") (2353 г.до н.э. – 2234 г.до н.э.), легендарный китайский император, один из "Пяти Древних Императоров") 287, 329, 368

Содержание

Часть первая

Предисловие 7
Книга первая 13
I. Наша Земля – одна из звезд 13
II. Земля наша – одна из срединных планет 16
III. Наша Земля претерпела множество катастроф, пока не приняла свой теперешний облик 19
IV. Земля – шар, вращающийся вокруг своей оси и вокруг Солнца в наклонном положении 22
V. Земля окружена кольцом тумана и подвержена влиянию нескольких небесных тел 25
VI. Населяемая людьми планета есть горный хребет, выступающий над поверхностью моря 28
VII. Направление гор на обоих полушариях предопределило самые странные различия и перемены 35
Книга вторая 38
I. Земля – обширная кузница самых разнообразных органических существ 38
II. Растительный мир Земли в связи с историей человечества 41
III. Мир животных в связи с историей человечества 46
IV. Человек – центральное существо среди земных животных 50
Книга третья 55
I. Сравнение органического строения растений и животных в связи со строением человека 55
II. Сопоставление различных действующих в животном организме сил .61
III. Примеры физиологического строения животных 68
IV. Об инстинктах животных 72
V. Поступательное развитие живых существ, приучающихся связывать разные понятия и свободнее пользоваться органами чувств и членами тела 76
VI. Органическое различие между животными и людьми 80
Книга четвертая 85
I. Органическое строение предрасполагает человека к способности разума 85
II. Взгляд с высот органического строения человеческой головы на существа низшие, приближающиеся по складу своему к человеку 96

III. Органическое строение предрасполагает человека к тонким чувствам, искусству и языку ... 99
IV. Органическое строение предрасполагает человека к тонким влечениям, а потому и к вольности ... 104
V. Органическое строение предрасполагает человека к хрупкому здоровью, но к выносливости и долголетию, а потому и к расселению по всей Земле ... 109
VI. Человек создан, чтобы усвоить дух гуманности и религии ... 112
VII. Человек создан, чтобы чаять бессмертия ... 120
Книга пятая ... 122
I. В нашем земном творении господствует ряд восходящих форм и сил ... 122
II. Ни одна сила в природе не обходится без своего органа; но орган – не сама сила, а ее орудие ... 126
III. Взаимосвязь сил и форм – не отступление и не застой, а поступательное движение вперед ... 129
IV. Царство человека – система духовных сил ... 133
V. Человечность – предварение, бутон будущего цветка ... 138
VI. Нынешнее состояние человека, по всей вероятности, – звено, соединяющее два мира ... 142

Часть вторая

Книга шестая ... 149
I. Органическое строение народов, живущих вблизи Северного полюса ... 149
II. Органическое строение народов, живущих близ горных хребтов Азии ... 154
III. Органическое строение в областях, где живут изящно сложенные народы ... 158
IV. Органическое строение народов Африки ... 162
V. Органическое строение людей на островах теплых морей ... 168
VI. Органическое строение американских народов ... 170
VII. Заключение ... 177
Книга седьмая ... 179
I. В каких бы различных строениях ни являлся род человеческий на Земле, повсюду только одна и та же человеческая природа ... 179
II. Один на Земле род человеческий приспособился ко всем существующим климатам ... 182
III. Что такое климат и как влияет он на душевный строй и телесное сложение человека? ... 187
IV. Генетическая сила породила все органические образования на Земле, а климат лишь содействует или противодействует этой силе ... 192
V. Заключительные замечания о споре генезиса и климата ... 199
Книга восьмая ... 204
I. Присущий человеческому роду характер чувственности изменяется в зависимости от климата и органического строения, но к гуманности ведет лишь человечность чувств ... 204
II. Воображение человека повсюду климатически и органически определено, и повсеместно традиция руководит воображением ... 210

III. Практический рассудок рода человеческого повсюду взраще
н потребностями жизни, но повсюду он – цвет Гения народов,
сын традиции и привычки 217
IV. Чувства и влечения людей повсюду сообразуются с их жизненными
условиями и органическим строением, но повсеместно управляют
ими мнения и привычки 223
V. Счастье человека – это всегда благо индивида, определенное
тем самым климатически и органически, детище упражнения,
традиции, привычки 234
Книга девятая 241
I. Человеку кажется, что он все производит изнутри своего существа,
а на самом деле развитие его способностей зависит от других 241
II. Особое средство для воспитания людей – язык 248
III. Все известные человеческому роду науки и искусства созданы
подражанием, разумом и языком 255
IV. Формы правления суть установленные среди людей порядки,
обычно наследуемые традицией[10] 260
V. Религия – самая древняя и священная традиция Земли 267
Книга десятая 274
I. Наша Земля особо создана для живого творения,
Землю населяющего 274
II. Где создан был человек и где жили самые первые люди на Земле? 276
III. Развитие культуры и истории дает фактические доказательства,
подтверждающие, что человеческий род возник в Азии 281
IV. Что говорят предания Азии о сотворении Земли и начале
рода человеческого 287
V. Что говорит древнейшая письменная традиция о начале
человеческой истории 290
VI. Что говорит древнейшая письменная традиция о начале
человеческой истории. Продолжение 296
VII. Что говорит древнейшая письменная традиция о начале
человеческого рода. Завершение 302

Часть третья

Книга одиннадцатая 307
I. Китай 308
II. Кохинхина, Тонкин, Лаос, Корея, Восточная Татария, Япония 317
III. Тибет 319
IV. Индостан 323
V. Общие рассуждения об истории этих стран 328
Книга двенадцатая 334
I. Вавилон, Ассирия, халдейское царство 336
II. Мидийцы и персы 341
III. Евреи 346
IV. Финикия и Карфаген 353
V. Египет 359
VI. Дальнейшие мысли о философии рода человеческого 365
Книга тринадцатая 370
I. Географическое положение и население Греции 371

II. Язык, мифология и поэзия греков ... 376
III. Греческие искусства ... 381
IV. Нравственная и государственная мудрость греков ... 387
V. Научные занятия греков ... 394
VI. История перемен, происходивших в Греции ... 401
VII. Общие рассуждения о греческой истории ... 408
Книга четырнадцатая ... 414
I. Этруски и латиняне ... 415
II. Строительство военного и политического здания господства ... 421
III. Римские завоевания ... 427
IV. Падение Рима ... 433
V. Римский характер, римские науки и художества ... 439
VI. Общие размышления о судьбах Рима и его истории ... 448
Книга пятнадцатая ... 452
I. Гуманность – цель человеческой природы, и ради достижения ее предал Бог судьбу человечества в руки самих людей ... 454
II. Разрушительные силы природы не только уступают со временем силам созидательным, но в конечном счете сами служат построению целого ... 459
III. Роду человеческому суждено пройти через несколько ступеней культуры и претерпеть различные перемены, но прочное благосостояние людей основано исключительно на разуме и справедливости ... 466
IV. Разум и справедливость по законам своей внутренней природы должны со временем обрести более широкий простор среди людей и способствовать постоянству гуманного духа людей ... 473
V. Благое, мудрое начало правит в судьбах человеческих, и нет поэтому достоинства более прекрасного и счастья прочного и чистого, как способствовать благим свершениям мудрости ... 479

Часть четвертая

Книга шестнадцатая ... 487
I. Баски, гэлы и кимвры ... 488
II. Финны, летты, пруссы ... 493
III. Немецкие народы ... 495
IV. Славянские народы ... 499
V. Чужие народы в Европе ... 502
VI. Общие рассуждения и следствия ... 504
Книга семнадцатая ... 508
I. Происхождение христианства и принципов, заложенных в нем ... 509
II. Распространение христианства на Востоке ... 517
III. Распространение христианства в греческих землях ... 526
IV. Распространение христианства в латинских провинциях ... 534
Книга восемнадцатая ... 542
I. Царства вестготов, свевов, аланов и вандалов ... 542
II. Царства остготов и лонгобардов ... 548
III. Царства алеманнов, бургундов и франков ... 555
IV. Царства саксов, норманнов и датчан ... 562
V. Северные королевства и Германия ... 568

VI. Общее рассуждение об укладе немецких государств в Европе 573
Книга девятнадцатая 579
I. Римская иерархия 580
II. Как воздействовала церковная иерархия на Европу 587
III. Светские бастионы церкви 592
IV. Арабские государства 598
V. Влияние арабских государств 605
VI. Общее рассуждение 611
Книга двадцатая 614
I. Купеческий дух в Европе 614
II. Рыцарский дух в Европе 620
III. Крестовые походы и их последствия 627
IV. Культура ума в Европе 635
V. Открытия и новые начинания в Европе 641
VI. Заключительное замечание 645
План заключительного тома 647

Приложения

А. Гулыга. **Гердер и его «Идеи к философии истории человечества» 651**
Примечания. *Составитель А.В.Михайлов* 692
Указатель имен. *Составители А.В.Михайлов, И.И.Ремезова* 727

Научное издание

Иоганн Готфрид Гердер

Идеи к философии истории человечества

Корректор Н. С. Сотникова
Компьютерная верстка В. Д. Лавреников

По издательским вопросам обращаться:
«Центр гуманитарных инициатив»
e-mail: unikniga@yandex.ru, unibook@mail.ru.
Руководитель центра Соснов П.В.

Оптовая продажа в Санкт-Петербурге
ООО «Университетская книга-СПб»
Тел. (812)640-08-71, e-mail: uknigal@westcall.net
в Москве ООО «Университетская книга-СПб»
Тел. (495)915-32-84, e-mail: ukniga-m@libfl.ru
Розничная продажа в Санкт-Петербурге:
магазин «Книжный окоп»
В.О., Тучков пер., 11. Тел.: (812)323-85-84
Розничная продажа в Москве:
www.notabene.ru (495) 745-15-36
Подписано в печать 25.05.2012

Гарнитура NewtonC. Формат 60x90 $^{1}/_{16}$. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 47,5. Уч.изд. л. 49,6.
Тираж 1000 экз. Зак. 657.

Отпечатано способом ролевой струйной печати
в ОАО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpk.ru, 8(495)988-63-87

Иоганн Готфрид Гердер (1744–1803)

Немецкий философ и теоретик искусства. Творчество и взгляды Гердера представляли собой переходное звено от Просвещения к романтизму. В своем основном труде «Идеи к философии истории человечества» он предпринял попытку осмыслить весь процесс развития человечества и его историю как продолжение истории природы. В его понимании человечество является живым организмом, мировой душой, которая все пышнее расцветает с каждым новым поколением. Вся история – это путь к высшей цели, гуманности

9 785987 121221 >